АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!





АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВ



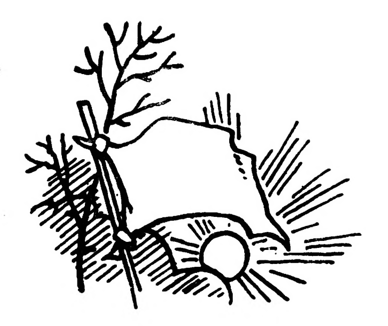
ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!

РОМАН В ТРЕХ КНИГАХ

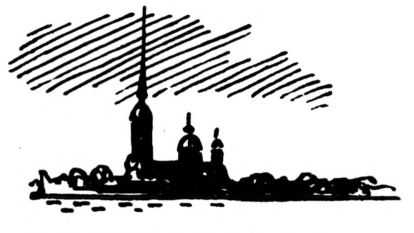
ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА—1972

Р2
В19

Суперобложка и фронтиспис
художника Ю. Реброва



СМЕЛО, ТОВАРИЩИ, В НОГУ...



КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа царь принимал по вторникам, тотчас же после завтрака. Это совсем не означало, что великий князь Владимир Александрович не мог видеть царя в иные дни: Николай Второй приходился ему племянником. Но так уж было установлено, что именно во вторник после завтрака царь выслушивал доклад своего желчного, всегда и всем недовольного дяди.

Во вторник 4 января 1905 года этот твердо установленный порядок был нарушен: главнокомандующего гвардией и начальника его штаба вызвали в Царское Село на рассвете.

Оставив барона Фитингофа в приемной, где и без него уже было много военных, великий князь вошел в кабинет царя. Николай, поздоровавшись, отрывисто спросил:

— Как в столице?

— Тревожно, Ники... Кроме Путиловского, вчера забастовали на Франко-Русском, стала Екатерингофская мануфактура. Можно ожидать, что сегодня станет Невский судостроительный, Балтийский...

Царь поморщился:

— Это меня мало интересует. Сегодня матушка должна переехать из Царского Села в Зимний. Как обеспечен порядок следования? Хотелось бы знать состав столичного гарнизона.

— Позволь пригласить начальника штаба?

— Пожалуйста.

Великий князь позвонил к дежурному адъютанту:

— Барона Фитингофа!

Великий князь внимательно посмотрел на царя. Николай, ссутулясь, шагал по кабинету, то и дело поправляя левой рукой рыжие усы. Взгляд его был печален и тревожен.

«Трусит племянничек, — подумал великий князь. — В четверг — иордань, придется шагать на Неву, а тут забастовки...»

Николай неожиданно остановился и спросил:

— А как с тем делом?

* * *

Дело, о котором царь спросил главнокомандующего, заключалось в следующем. На рассвете 1 января двоюродный брат царя, великий князь Борис Владимирович, еще не протрезвившись после новогоднего бала, решил прокатиться на легких санках по набережной Невы. У Николаевского моста, как потом рассказывал царю Борис, неизвестный в солдатской шинели несколько раз выстрелил в великого князя. Кто стрелял, Борис не рассмотрел, так как лошадь, испуганная выстрелами, понесла, а у поворота на Конногвардейский бульвар он вылетел из саней и зарылся головой в сугроб. Но одно Борис успел заметить: на стрелявшем была шинель и фуражка рядового кавалергардского полка. Это обстоятельство взволновало всю царскую семью. Стрелял не какой-нибудь революционер в очках, а солдат-гвардеец, верная опора императорского престола.

Делу дали ход. В тот же день в старинные кавалергардские казармы на Захарьевской примчались офицеры из Главного штаба и из штаба главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского округа. Затем, хотя это и было весьма неприятно главнокомандующему, в казармах на Захарьевской появились чины отдельного корпуса жандармов. Но все их усилия не привели ни к чему: на поверку выходило, что ни один рядовой полка не мог быть в указанный князем Борисом час около Николаевского моста. Оставалось лишь предположить, что злоумышленник был переодет в форму кавалергардского полка. Мог ли кто-нибудь подумать, что никто в великого князя Бориса не стрелял и что всю историю с покушением выдумал он сам! Во-первых, ему хотелось сделать неприятность командиру кавалергардского полка, который недавно не пожелал уступить князю понравившуюся верховую лошадь. Во-вторых, князь жаждал изобразить из себя жертву революционеров, привлечь внимание царя к своей особе.

Если кто и догадывался о выдумке князя Бориса, то вряд ли посмел высказать свои предположения вслух: все знали вздорный, злой и мстительный характер этого любимца Николая Второго.

О результатах следствия главнокомандующий доложил царю. Николай молча слушал, не глядя на дядю, и только заметил:

— Виновного надо найти!

* * *

И виновный был найден. Унтер-офицер второго взвода второго эскадрона Курков на второй день после происшествия по-

казал под присягой, что рядовой его взвода Степан Важеватов в ночь на 1 января лежал в полковом лазарете и оттуда отлучился самовольно; вернулся он на рассвете и был чем-то необычайно взволнован. Ободренный и польщенный вниманием, которое оказал ему военный следователь, Курков добавил, что он всегда считал Важеватого не подходящим для гвардии, но молчал об этом, так как красавца Важеватова очень любят господа офицеры за звучный голос и умение петь полковые песни.

Стоя перед следователем навытяжку и выкатив рачьи глаза, Курков объяснял:

— Он как затянет нашу ротную, господа офицеры чуть не плачут. А как эту... старинную, про дубравушку, запоет, весь полк слушать собирается.— Нарушая устав, Курков нагнулся к следователю и зашептал: — И еще поет запрещенную: «Меж высоких хлебов затерялося...»

Следователь откинулся на спинку кресла и наставительно сказал:

— Это незапрещенное. В отцовом имении все девки ее поют.

Вечером Куркова снова вызвали на допрос. Он добавил, что несколько раз слышал, как Важеватов в конюшне, в отсутствие господ офицеров, неуважительно отзывался о царской фамилии.

Немедленно был допрошен дежуривший в лазарете лекарский помощник Цветухин.

Лекарский помощник Константин Цветухин службу в кавалергардском полку считал очень выгодной, так как брал с солдат взятки за возможность отдохнуть два-три дня в лазарете. Делал он это очень просто. Пришедшему в лазарет солдату он совал под мышку градусник и тут же вытаскивал его обратно, приговаривая: «С такой температурой хорошо дрова колоть. Нормальная, брат, нормальная. Конечно, можно подогреть». Недогадливый уходил в роту, а кто похитрее протягивал Цветухину целковый. Все знали: меньше рубля Цветухин не берет.

Увидев перед собой следователя, Цветухин сначала насмерть перепугался, но, поняв, что речь идет не о нем, а о Важеватове, начал болтать без умолку, так что следователю пришлось не раз его останавливать.

— Как же-с, помню. Все-с помню. В лазарет Важеватова доставили на второй день рождества Христова. Трезвый был, только запашок легкий, видно, пива хлебнул. Диагноз ему сами его высокоблагородие поставили: опухоль в области лодыжки, по-научному говоря — бластома. Не иначе как прыгнул неловко. Болезнь пустяковая — другой полежал бы два дня с компрессом, и пожалуйте в строй, а Важеватов у нас на особом положении — полковой Шаляпин. Ему полагается лежать, как господину офицеру, до полного выздоровления. Вот он и долежался. В ночь под Новый год он один во всем лазарете оставался. Пришел я его проведать, смотрю — пусто, нет нашего артиста. Явился он под самое утро и был очень бледный.

Тотчас же после допроса Цветухина Степана Важеватова арестовали и временно, до перевода в военную тюрьму, поместили под усиленным конвоем в полковой карцер.

* * *

Степан Важеватов служил в солдатах третий год. В кавалергардский полк он попал потому, что имел белокурые волосы и был высокого роста. Гвардейские полки комплектовались по цвету волос и росту. Каждый год во время призыва воинские начальники по всей России отбирали среди новобранцев тех, кто подходил под гвардейскую мерку, и отсылали их в столицу. В Петербурге новобранцев сортировали: белокурые великаны шли в кавалергарды, худощавые брюнеты — в преображенцы, шатены — в семеновцы, а курносые молодцы отбирались в Павловский полк.

Важеватов не раз проклинал свои льняные кудри и высокий рост. Окажись он чуть потемнее и на два вершка ниже, не пришлось бы ему стоять в дворцовых караулах, где то и дело мимо проходили великие князья, министры, генералы, а нередко и сам царь. Ни мундир кавалергарда, ни сносная пища не могли скрасить тяготы службы в гвардейском полку. За малейшую оплошность на бесконечных парадах, за малейшую небрежность в одежде строго взыскивали, а за случайно неосторожно оброненное слово грозили дисциплинарный батальон, военный суд и тюрьма.

До призыва, в родном своем селе Алексине, Степан работал в кузнице богатея Карасева. У Карасева была не только кузница. На задворках его большого, пятистенного, крытого железом дома попыхивала высокая узкая труба маслобойки. Неподалеку от церкви у Карасева имелся второй двухэтажный дом. Нижний, каменный, этаж Карасев сдавал под казенную винную лавку, в верхнем, деревянном, жил целовальник. У целовальника никакого хозяйства не было, поэтому во дворе хранились карасевские машины: жатка и молотилка.

На выезде из села у Карасева стоял еще третий дом, в котором он держал трактир с постоялым двором. В базарные дни — в четверг и субботу — в Алексино съезжались люди со всей округи. Приезжали даже из села Нарского, находившегося в пятидесяти верстах от Алексина. На площади около церкви, у волостного правления, у многих домов стояли в эти дни десятки распряженных лошадей. Но больше всего возов стояло у трактира. То и дело слышалось: «Идем к Карасеву», «Был у Карасева», «Купи у Карасева», «Продай Карасеву». Даже казенную винную лавку называли «карасевкой». В базарные дни Карасев вставал чуть свет. Высокий, худой, с большой рыжей бородой, он не спеша обходил возы. Его малоподвижное лицо не выражало никаких чувств. Казалось, ему просто скучно со-

вершать эту надоевшую процедуру. И только иногда в глубоко запавших глазах вспыхивало любопытство. Он подходил к возу, бесцеремонно поднимал покрышку и ласково говорил:

— А ну, покажи, чего привез.

Часам к девяти он появлялся в трактире, за буфетом. К этому же часу за маленьким столиком неподалеку от буфетной стойки пристраивался урядник Пушков. Небольшого роста, с большой черной бородой, он ничем не походил на Карасева, но все считали их очень похожими. Это объяснялось тем, что у Пушкова, как и у Карасева, на лице было постоянное выражение скуки. Казалось, что, даже когда он опрокидывал в рот стакан водки, ему все равно было скучно. В трактир Пушков приходил «для соблюдения порядка». Когда он сидел за столиком, в трактире было спокойно. И все же ни один базарный день не проходил без драки. Дрались в трактире, на улице, около церкви. Но всего больше возникало ссор около казенки. Самый опытный следователь запутался бы, доискиваясь до причины драки: они возникали по самым непонятным поводам. Иногда драки переходили в большую свалку. Происходило все это по заведенному порядку. От казенки вдоль ряда палаток бежал взъерошенный, оборванный человек и кричал: «Наших, кузьминских, бьют!..»

И тогда на подмогу кузьминским неслись односельчане и кучей наваливались на завражеских или порошинских. Визжали мальчишки, кричали женщины, стараясь вытащить за рукав расходившихся парней и мужиков.

Степан перестал лезть в драку после памятного случая.

Однажды он стоял в толпе и смотрел, как порошинские бились с наровскими. Порошинских было больше, и, самое главное, на этот раз их возглавлял Василий Сырников, по прозвищу Тютюня, парень огромного роста и необычайной силы.

Кто-то громко сказал: «Наделает Васька покойников. Помочь, ребята, надо!»

И Степан не выдержал: бросился на помощь наровским. Подбадриваемый выкриками зрителей, он врезался в самый клубок свалки. Но не только его, а всех остановил женский вопль: «Убили!»

Разъяренные, в растерзанных, мокрых рубахах драчуны расступились. В пыли лицом вниз лежал Николай Сковородин, единственный сын церковной сторожихи. Тютюня хотел его повернуть лицом к небу, но десятки голосов закричали: «Не трогай! Не видишь, Пушков идет!» Тютюня отошел и перекрестился. Перекрестились и другие.

Пушков легонько ткнул Сковородина носком начищенного сапога:

— Эй, вставай!

Потом он перевернул тело и негромко, беззлобно сказал:

— Доигрались, дьяволы!

Сковородина похоронили. Вскоре был суд. Как ни оправдывался Василий Тютюня, как ни божился на суде, его приговорили к шести годам каторжных работ. А в селе говорили, что Николая Сковородина убил сын Карасева Петр, убил за то, что самая красивая в Порошине девушка, Настя Токарева, предпочла ему Сковородина.

На память о Николае у Степана осталась книжка «Как живут люди в разных местах». Эту книжку Николаю подарил приехавший на каникулы поповский сын. Сковородин дал ее Степану. Важеватов, прочитав книжку, совсем потерял покой. Он подолгу рассматривал картинки. После рассказов о далеких заморских странах, где всегда светит жаркое солнце, прокопченные стены деревенской кузницы казались особенно неприглядными, а когда хозяин, проверяя работу, рыскал глазами, не хотелось смотреть на его рыжую бороду.

Будь Степан одиноким, он давно бы ушел из деревни в город. Больше всего ему хотелось попасть в Одессу, о которой ему со слов поповского сына рассказывал когда-то Сковородин.

— Понимаешь, Степа,— море! Море без конца и без края. Садись в лодку, поднимай парус и плыви, куда только захочешь.

Но уйти из деревни было невозможно: не пускала мать, справедливо считавшая, что после смерти отца хозяином в доме должен быть старший сын. Степан и сам понимал, как туго придется семье без него. Никакой другой работы вблизи не было. Своего хлеба хватало только до Нового года, в крайнем случае — до масленицы. Поэтому и молчал Степан, отводил глаза от неприятного, колючего хозяйского взгляда.

Подошел призыв, и военная служба представилась Степану счастливой возможностью вырваться из кабалы злого, ехидного Карасева.

Гвардейский полк с его муштрой, придирчивой строгостью, с занятиями «словесностью», на которых унтер, изображая «священную особу государыни императрицы», заставлял новобранцев целовать свою потную руку, казался временами еще большей кабалой.

Правда, в этом привилегированном полку отношение офицера к солдату напоминало отношение барина к крепостному человеку: некоторые офицеры, командиры эскадронов баловали своих солдат, щедро давали «на водку», заботились о пище. Но эскадронный Степана Важеватова был прибалтийский немец граф Мантейфель, сухой, придирчивый, смотревший на солдата, как на бездушную куклу, целиком отдавая его во власть унтер-офицера.

Всю тяжесть службы Степан особенно почувствовал после знакомства с семьей бывшего односельчанина Никитина. Начало знакомству было положено в грустный час расставания с родным домом. Степан надолго запомнил дождливый осенний день, горестные хлопоты матери, молчаливые, сосредоточенные лица

сестренок и деловой вид младшего брата, остававшегося дома за большака.

К полудню, когда надо было выходить в уездный город, пошел дождь. У околицы мать подняла на Степана заплаканные глаза и, видно, для того чтобы говорить о чем-нибудь постороннем, вспомнила про Матвея Никитина, с которым еще в девках не раз играла в горелки, лапту и пела хороводные песни. Сестра Нюра тотчас же помчалась на другой край деревни к родственникам Матвея узнать его адрес. Остальные провожающие укрылись от дождя возле кузницы, под станком для ковки лошадей. Стучал по тесовой крыше станка дождь; где-то далеко рыдала гармонь. Все молчали, только, сдерживаясь, вздыхала мать. Нюра быстро вернулась с адресом. Матвей Никанорович Никитин работал токарем в мастерских Технологического института и жил на Загородном проспекте...

Весной после присяги в первый же свободный день Степан, получив у дежурного по эскадрону офицера увольнительную, отправился разыскивать земляков.

Появление кавалергарда наделало немалый переполох в семье Никитиных. Степан заметил, что больше всех смутился сын Матвея Никаноровича Иван. Степан долго потом размышлял, почему, увидев его, Иван так поспешно начал собирать со стола тоненькие книжечки и листы бумаги. Заметил Степан и настороженный взгляд главы семьи. И только узнав, кто их гость, Матвей Никанорович приветливо улыбнулся:

— Свой, значит! А я думал, за каким таким делом императорская гвардия к нам пожаловала?

Настоящим земляком в семье Никитиных оказался один Матвей Никанорович, все остальные — жена Дарья Михайловна, сын Иван и дочь Наталья — родились в Питере и об Алексине знали только по рассказам.

Матвей Никанорович расспросил Степана о деревенском житье-бытье, о порядках в кавалергардском полку. Особое впечатление произвел рассказ Степана о том, как покончил жизнь самоубийством его прежний эскадронный командир граф Шувалов.

— Одни говорят, что его одна танцорка завлекла, а потом бросила; другие болтают, будто в карты за один вечер восемьдесят тысяч просадил, а расплатиться не хватило.

Матвей Никанорович то и дело посматривал на сына Ивана, как бы приглашая его принять участие в беседе, но Иван молча листал книгу. Было непонятно: или он не понимал намеков отца, или ему совсем не интересен кавалергард. Только услышав рассказ о самоубийстве, Иван со злостью произнес:

— С жиру бесятся!

Дарья Михайловна, накрывавшая на стол, переглянулась сначала с мужем, потом с дочерью и вышла на кухню. Тотчас же за ней ушла и Наталья. Через минуту она приоткрыла дверь и позвала:

— Ваня! Иди почисть селедку.

Иван шумно захлопнул книгу, заткнул ее себе за широкий ремень и вышел.

За обедом Ивана точно подменили. Он оживленно рассказывал домашним содержание только что прочитанного рассказа Максима Горького «Мальва». По кратким замечаниям Наташи Степан понял, что и она читала рассказ.

Важеватов не заметил, как пролетело время. Спохватившись, он начал торопливо прощаться с гостеприимными хозяевами. Наташа накинула на голову розовую кружевную косынку и просто сказала:

— Я вас провожу.

За короткий путь до набережной Фонтанки Наташа успела рассказать, что она работает на Екатерингофской мануфактуре, а по вечерам два раза в неделю учится в вечерней школе для рабочих. На вопрос, что делает Иван, Наташа ничего не ответила, как будто не расслышав. Дойдя до Фонтанки, девушка протянула солдату руку:

— Дальше вы один доберетесь. До свиданья.— Она подняла на Степана свои серые, с длинными ресницами глаза и добавила: — Заглядывайте к нам в свободный день. Мы все будем вам рады. К Ване вы тоже привыкнете, он хороший у нас, только сейчас немного нервничает: недавно из тюрьмы вышел.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Степану очень хотелось еще раз побывать у Никитиных, но после весеннего парада на Марсовом поле гвардия ушла на все лето в Красносельские лагеря.

Кавалергардский полк, как всегда, размещался по крестьянским дворам Павловской слободы. Отсюда недалеко было до столицы, но никаких отпусков из лагеря нижним чинам не полагалось. В Петербург можно было попасть только случайно. Так до осени и пробыл Важеватов в лагерях. С шести утра до захода солнца тянулся тяжелый солдатский день, заполненный работой, чисткой и кормежкой коней, ученьями, подготовкой к маневрам. После вечерней зори, лежа в хозяйском сарае на душистом, свежескошенном сене, Степан вспоминал родную деревню, мать, сестренок. Но чаще всего перед ним вставала Наташа в розовой кружевной косынке. Он слышал ее ласковое приглашение: «Заглядывайте к нам. Мы все будем вам рады».

Свидеться пришлось только в сентябре, спустя месяц после возвращения из лагерей. По Загородному проспекту он не шел, а почти бежал. Ему хотелось как можно скорее войти в знакомую маленькую квартирку Никитиных, где, как думал он, его с таким же нетерпением ждет Наташа.

Дома оказалась только Дарья Михайловна. Матвей Никанорович был в мастерских, Иван тоже ушел, а о Наташе Степан спросить постеснялся. Внимательная Дарья Михайловна, заметив его разочарование, улыбнулась и объяснила, что Наташа еще с вечера ушла к больной подруге, Тоне Боевой, и, наверно, опять будет ночевать там.

— Это недалеко, на Царскосельском проспекте, от угла шестой дом.

Подруга Наташи жила в полуподвальном этаже большого дома. Дверь открыла худенькая старушка в темном платье. Увидев солдата, старушка торопливо захлопнула дверь. Удивленный Степан постучал еще раз и услышал:

— Вам кого?

— Скажите, пожалуйста, нет ли у вас Натальи Матвеевны Никитиной?

За дверью посовещались. Затем Степан услышал голос Наташи.

— Меня спрашивает? Солдат?

Дверь распахнулась. На Степана смотрело сразу несколько пар настороженных глаз. Одни глаза он узнал бы из тысячи.

— Господи! Да ведь это Степан Ильич! — сказала Наташа.— Входите, пожалуйста. Девушки, знакомьтесь: папин земляк.

Раздеваясь, Степан спросил Наташу:

— Как здоровье?

— Как всегда, хорошее.

— Я о подруге вашей спрашиваю. Мне Дарья Михайловна сказала, что вы около больной дежурите.

— Спасибо,— сказала Наташа,— она почти поправилась. Познакомься, Тоня.

Тоня на больную никак не походила. На смуглом лице искрились черные насмешливые глаза. Яркие пухлые губы, румянец на щеках — все говорило о прекрасном здоровье. Но она в тон подруге поспешила объяснить:

— Было дело, прихворнула, простудилась: у нас в корпусе все время сквозняки.— Для большей убедительности Тоня попыталась покашлять.

Вся эта сцена Степану не понравилась. Посидев ради приличия с полчаса и поговорив о малозначащих вещах, он торопливо распрощался.

Он брел по проспекту под моросящим осенним дождем, мысленно браня себя на все лады: «Нужен ты, как гвоздь в седле! Приперся, верста коломенская! Только тебя тут и ждали!»

На углу Загородного проспекта его догнала Наташа.

— Вы обиделись на меня, Степан Ильич?

— Нет. Отчего же мне на вас обижаться? У вас своя жизнь — человеческая, а у меня своя — солдатская. У вас подруги, ве-

селье, а у меня унтер Курков да конь Резвый. Вот и вся моя развеселая компания.

Наташа прикоснулась к его руке и сказала:

— Если не торопитесь, заглянем к нам. Мама вам будет очень рада.

* * *

С того вечера все свои увольнительные часы Степан проводил у Никитиных. Крепла его дружба с Наташей. О стариках нечего и говорить. Дарья Михайловна каждый раз, видя, что он собирается уходить, совала ему сверток:

— Возьми, возьми. Знаю я вашу солдатскую пищу... Утром будет чем подкрепиться.

Матвей Никанорович любил рассказывать Степану о премудростях токарного ремесла. Наговорившись, он частенько просил:

— Давай, сынок, спой мою любимую.

Самой любимой была у Матвея Никаноровича песня «Меж высоких хлебов затерялося небогатое наше село».

Выходила из кухни Дарья Михайловна. Матвей Никанорович слушал с закрытыми глазами — видно, вспоминал старик далекое детство, родную деревню, оттого и была эта песня любимой.

Чем больше узнавал солдат Никитиных, тем больше удивлялся, как они хорошо, дружно живут. Заработок у семьи был небольшой, и только опытность Дарьи Михайловны помогала сводить концы с концами. Степан замечал: бывали дни, когда в доме, кроме мурцовки, нечего было есть, но зато всегда все были довольны, ровны, спокойны, и каждый старался позаботиться о другом. Чувствовалось: есть что-то такое особенное, связывающее семью в единое, неразрывное. В чем это заключалось, Степан понять не мог.

Только с Иваном долго не налаживалась дружба. После выхода из тюрьмы младший Никитин долго был без работы, и если бы не старые друзья Матвея Никаноровича, так бы и пришлось его сыну позабыть о профессии слесаря. Но друзья выручили: зимой Иван устроился на Путиловский завод.

Иван хмуро здоровался с солдатом и тотчас же исчезал из комнаты, как будто один вид гвардейца раздражал его. Как-то, не выдержав, Степан спросил у Наташи:

— За что меня Иван так не любит?

Наташа в ответ удивленно посмотрела и промолвила:

— Вам показалось. Он очень устает на заводе, поэтому и молчит.

Но однажды все изменилось.

Во втором эскадроне, где служил Степан, произошло событие, взволновавшее весь полк. Рядовой Василий Вихрев в ответ на брань и тычки унтер-офицера Куркова не сдержался и крикнул ему: «Эх ты, сверхсрочная шкура!» Курков сначала набро-

сился на Вихрева с кулаками, а потом доложил об оскорблении начальству.

Вихрева, имевшего взыскания за нарушение дисциплины, отправили в дисциплинарный батальон. Там он и пропал. По слухам, не вынес телесных наказаний, убил фельдфебеля и был приговорен к расстрелу военным судом.

Рассказывая об этом Матвею Никаноровичу и Наташе, Степан закончил:

— Нигде жизни нет. Из дома пишут — голодают, здесь избивают. Замучили человека ни за что ни про что. Где же правда, Матвей Никанорович? Где она схоронена?

В комнату вошел Иван. Он пытливо посмотрел на солдата и неожиданно спросил:

— Слушай, гвардия! Язык за зубами держать умеешь? Болтать не будешь?

Наташа поднялась и испуганно смотрела на брата, а Матвей Никанорович одобрительно кивнул сыну. Иван продолжал:

— Хочешь правду знать? Вот держи, читай. Но только здесь, с собой не дам. Узнаешь настоящую правду.

Он подал Степану небольшую узенькую книжечку. Степан взял ее и прочитал на второй странице:

«Российская социал-демократическая рабочая партия.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Н. Ленин
К деревенской бедноте
Объяснение для крестьян, чего хотят социал-демократы».

— Читай, Степа. Только запомни: за чтение этой правильной книги угоняют в Сибирь, на каторгу. Читай и думай, а что не поймешь, после поговорим.

Разговор состоялся после того, как Степан прочитал книжечку.

— Это, значит, такими людьми Курков нас пугает!

— Как пугает?

— Говорит: «Есть враги внутренние. Хотят батюшку царя извести и его верных слуг — солдат».

— Для царя и всей его родни, для министров, заводчиков и помещиков — враги,— твердо сказал Иван.— Помнишь, ты мне о вашем деревенском богаче Карасеве рассказывал? Вот для него такие люди тоже враги.

Степан молчал, растерянно посматривая на Ивана.

Иван, как бы угадав его мысли, продолжал:

— Сразу, Степа, трудно понять, кто враг. Тебе Карасев работу давал, казался благодетелем, а он совсем не благодетель, а паук. Тебе гроши платил, а за подковы брал с крестьян втридорога.

— Здорово брал, я даже удивлялся. А тот, кто писал, видно, про все знает. Правильно он про крестьянские дворы рассказал.

На сотню, говорит, бедных есть один богатый. Прямо про нас. У нас у одного Карасева три двора. Все у него: постоялый двор, лавки, трактир. Ходит и шарит глазами, чего бы еще прикупить. Скажи мне, Ваня: этот Ленин одну эту книжку написал или еще другие?

— Есть и другие.

— Дашь почитать?

— Дам. Не сегодня, конечно, а дам.

В эту ночь, дежуря в конюшне, Степан, размышляя обо всем услышанном у Никитиных и о прочитанной книжке, понял, чем скреплена эта семья и откуда в ней эта ровная, спокойная дружба.

* * *

Понемногу Степан прозревал. В новом свете предстало перед ним деревенское житье и порядки хоть и гвардейской, но все же солдатской жизни.

Никто в полку не знал, где проводит рядовой Важеватов увольнительные часы. Как-то товарищ по эскадрону, насмешник и забияка ярославец Василий Туканов, пустил слух, что Степан постоянно пропадает у старой тетки, которая, дескать, за его заботы обещала после смерти оставить ему большое наследство. Многие поверили в эту выдумку. Поверил в нее и унтер-офицер Курков. Иногда, напрашиваясь на угощение и получая у Степана отказ, он искренне изумлялся:

— И чего ты на нее, старую каргу, смотришь? Требуй, да и все тут.

После того памятного вечера Важеватов стал еще тщательнее скрывать свое знакомство с Никитиными и на все шутки товарищей о скряге тетке неизменно отвечал:

— Говорит: «Помру — все тебе откажу». А пока только спитым чаем поит да фунт ситного жалует.

Когда кто-нибудь из солдат просился вместе со Степаном навестить богатую родственницу, Степан, как бы пугаясь, отказывал:

— Что ты, брат! Она меня сразу отвадит! Мне единожды и на всю жизнь приказано одному к ней являться. Она лишних расходов боится. Настоящая баба-яга.

В конце января 1904 года на рассвете полк подняли по тревоге. Через несколько минут застывшие по команде «смирно» солдаты слушали дежурного офицера, читавшего «высочайший манифест» об объявлении войны Японии.

Уходили на восток воинские эшелоны. Гвардейские полки не трогали — их держали в столице для защиты царской фамилии.

Доходили до солдат слухи о гибели адмирала Макарова, а позднее о сражении под Ляояном. Трудно было понять, что

происходит там, на Дальнем Востоке. Отпуска в город почти прекратились. А слухи ползли и ползли...

В редкие встречи со Степаном Иван Никитин каждый раз предупреждал об осторожности:

— Прежде чем говорить с кем-нибудь из солдат по душам, присмотрись, каков он человек, чем живет, чем дышит. Узнай, что он до военной службы делал, где работал, из какой семьи. Начальство за вами зорко следит, смотри не нарвись на доносчика.

Первый, с кем Важеватов поделился своими мыслями, был ярославец Василий Туканов. Их сблизила любовь к чтению. Оказалось, что все: насмешливость, частое подтрунивание над товарищами, легкое отношение к жизни — все было напускным. Туканов оставил дома стариков родителей и молодую жену. Он, как и Степан, невыносимо страдал от постоянной муштры и так же ненавидел унтер-офицера Куркова.

Убедившись после тщательных расспросов в том, что Туканову можно доверять, Степан предложил ему почитать книжку «Борьба за право». Туканов повертел книжку в руках, сказал:

— Читал я это еще в Ярославле, когда на фабрике у Корзинкина работал. Вот если бы ты мне что-нибудь из запрещенного достал... Слышал я, есть такие книжки.

Важеватов раздобыл ему через Ивана нелегальную брошюру «За веру, царя и отечество».

Вскоре удалось подружиться с молчаливым, всегда о чем-то сосредоточенно думающим сибиряком Петром Феоктистовым. Как-то вечером, после отбоя, Феоктистов сидел на койке, мрачно уставившись в одну точку. Степан, давно желавший поближе сойтись с сибиряком, сел с ним рядом и участливо спросил:

— Тоскуешь?

Феоктистов угрюмо ответил:

— А тебе что за дело?

— Чудак ты, братец! Я к тебе со всей душой, а ты гневаешься. Вижу, ты тоскуешь. Рассказал бы — глядишь, и полегчало. Дома что-нибудь случилось?

— Что может там случиться? На прошлой неделе получил письмо. Корова у матери пала... Дела домашние всегда невеселые. Я сегодня в карауле в военно-окружном суде был. Знаешь, на Большой Морской?

И Феоктистов начал рассказывать, что он видел в окружном суде:

— Судили одного пехотного новобранца за покушение на убийство офицера. Я так понял: солдат этот не из крепких, а ротный у него попался подлюга. Гонял он его на ученье отдельно от других, часа по два, по три и все норовил дать в зубы. Ну, бедняга, видно, не выдержал, дошел до предельной точки: бросил колоть чучело и побежал за своим мучителем со штыком. Поцарапал его легонько... Ему за это смертную казнь

присудили. Так передо мной и стоит: худенький, в лице ни кровинки, в глазах испуг. А ротному хоть бы что; он за другого примется, до отчаяния доводить. Эх, Важеватов, разнесчастные мы! Лошадей больше нас берегут. Выходит, солдат дешевле скотины.

Осенью 1904 года появился у Степана еще один знакомый. Получив увольнительную, он немедленно полетел к Никитиным. Дверь открыл Иван:

— Входи, гвардия, входи. Наших никого, кроме меня, нет, но скоро будут. Мы тут с приятелем сидим. Проходи, знакомься.

Навстречу Степану поднялся среднего роста молодой человек в студенческой тужурке. Он подал руку и сказал:

— Михаил. Мне о вас Ваня рассказывал. Очень рад.

Степану он сразу понравился. Над высоким лбом торчал симпатичный ежик густых каштановых волос. Серые глаза смотрели внимательно и дружелюбно. Улыбка такая сердечная, что сразу думалось: «Этому можно верить, не подведет».

Когда все уселись, Михаил продолжал прерванный приходом гостя разговор:

— Какой он человек! Нет такого другого. Нигде нет, во всем мире!

Он повернулся к солдату:

— Извините, что я вас в наш разговор не посвятил. Я Ване рассказываю, как студенты вчера у Максима Горького были. Все к нему с расспросами: «Что пишете сейчас?» А он улыбнулся и говорит: «Пишу. Пишу, но все не то, что нужно». О чем мы с ним только не говорили — о книгах, о Чехове... Очень хорошо он о нем рассказывал. А когда мы уходить собрались, он нам несколько раз повторил: «Идите на заводы. К рабочим идите. Там ваше место!»

Вскоре пришел Матвей Никанорович. По тому, как он поздоровался с Михаилом и как говорил с ним, гвардеец-солдат понял, что студент у Никитиных не впервые. Побыв еще немного, Михаил и Иван ушли. Матвей Никанорович рассказал про студента:

— Хороший парень! Издалека в Питер приехал, с конца света, из Пишпека. Первокурсник. Только не доучится: опасные знакомства свел.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Обо всем этом думал Степан Важеватов, сидя в карцере, и особенно часто возвращался он мысленно к тому, что он пережил в последние дни на свободе.

Вспоминал, как на второй день рождества он зашел к Никитиным. Там, по обыкновению, были Михаил и другие товари-

щи Ивана и подруги Наташи. Немного выпили, спорили, шумели.

Степан слышал, как Михаил сказал, обращаясь к Алексею Колесникову, товарищу Ивана по заводу:

— Ищите материалы для агитации в повседневной жизни. Выдумывать ничего не надо. Читали сегодняшние газеты? Если не читали, рекомендую внимательно посмотреть опубликованную роспись доходов и расходов Российской империи на 1905 год. Там есть много цифр для размышлений.

— Каких?

— Там сказано, что на содержание особ императорской фамилии отпущено около тринадцати миллионов рублей, на тюрьмы — пятнадцать, на суд и прокурорский надзор — пятьдесят, а на городские и начальные школы — двенадцать.

Алексей в ответ ничего не сказал и только после поделился со Степаном, указывая на Михаила:

— Ловко подметил! Мне бы вот и в голову не пришло. Умен.

Они уселись в сторонке, но побеседовать им не пришлось. Наташа взяла гитару:

— А ну, друзья, тише! Степан Ильич, спойте папину любимую.

Степан пел и смотрел на Михаила, который слушал, слегка наклонив голову.

Степан кончил песню, все дружно одобрили его пение. Михаил подошел к нему, крепко пожал руку:

— Хорошо! Очень хорошо! Вам бы не в гвардию, а в консерваторию.

Рядом оказался худощавый студент в новенькой тужурке. Михаил сказал ему:

— Хорошо поет! Правда?

Тот улыбнулся.

— Очень... Я до слез расстроился. Так и представляешь себе ржаные поля, ивы, а под ними одинокая могила. Чудесно поете! — Он протянул руку.— Будем знакомы: Игорь Кручинин.

Михаил шутливо добавил:

— Будущее светило российской экономической мысли.

Наташа взяла Степана под руку:

— Идемте со мной. Сегодня я вам не дам умные разговоры слушать. Спойте еще что-нибудь.

Хороший этот вечер неожиданно кончился для Степана неприятностью: выходя от Никитиных, он поскользнулся и упал, растянувшись во весь свой огромный рост, а когда встал, почувствовал в ноге такую боль, что идти уже не мог. Михаил с Иваном раздобыли извозчика, доставили его в казармы на Захарьевской и сдали на попечение лекарскому помощнику Цветухину.

Именно Цветухин в ночь под Новый год, получив от Сте-

пана рубль, проводил его черным ходом из лазарета прямо на улицу.

Боль в ноге к этому времени утихла. Да разве могло что-нибудь остановить Степана от искушения встретить новый 1905 год с Наташей!

У Никитиных, как и в рождество, собрались подруги Наташи и приятели Ивана. Позже всех, почти в полночь, пришел Михаил. Его заставили произнести первый тост. Михаил встал, поднял рюмку, обвел всех глазами, помолчал, дожидаясь, когда стрелки на часах сойдутся в одну линию, и взволнованно сказал:

— Сейчас, друзья, везде — рабочие и крестьяне в городах и селах, солдаты в казармах, заключенные в тюрьмах и на каторге — с надеждой смотрят на часы: для всех наступает Новый год, и все ждут, что он будет гораздо лучше, чем все предыдущие. И мы ждем. Выпьем, друзья, за нашу надежду, за то, чтобы всем честным трудовым людям жилось в этом году лучше. С Новым годом, друзья! С новым счастьем!

Иван, чокнувшись с Михаилом, сказал:

— Не знаю, чего тебе пожелать...

Михаил улыбнулся и шепнул:

— Новый хороший паспорт.

Потом пели хором, танцевали, играли в фанты. Михаил проиграл. От него потребовали прочитать стихотворение. Он сначала шутливо отказывался, затем встал в круг и внятно начал:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...

Степан тоже проиграл, и его заставили петь. Впрочем, он без просьб готов был петь: рядом с ним сидела Наташа. Она ласково, с улыбкой смотрела на него; он видел ее глаза, милую родинку на щеке и словно чувствовал ее дыхание.

Разошлись под утро. На осторожный стук Степана в окно дежурки показалось сонное лицо Цветухина. Фельдшер открыл форточку:

— Иди к черному ходу.

Почти весь первый день нового года Степан отсыпался. Второго января полковой врач, осмотрев его, коротко бросил:

— В роту!

Вечером к Степану, сидевшему в курилке, подошел унтер-офицер Курков и приказал:

— Выйди!

В коридоре Степан увидел незнакомого офицера и двух солдат из второго эскадрона с винтовками в руках. Курков что-то сказал офицеру, и тот кивнул:

— Веди!

— Пошли, Важеватов,— буркнул унтер.

— Куда?

— Куда поведу.

Они молча пошли в спальню. Завидев эту молчаливую процессию, попадавшиеся навстречу солдаты сторонились и старались не встречаться взглядом со Степаном.

В спальне Курков быстро достал сундучок Степана и зло сказал:

— Давай ключ!

Поняв, что сопротивляться бесполезно, Важеватов подал ключ. Курков торопливо открыл замочек и начал рыться в сундуке. Офицер с любопытством наклонился к нему.

Нелегальная брошюра «Пауки и мухи», которую Степан не успел вернуть Ивану Никитину, лежала на самом дне сундучка, под синей оберточной бумагой. Там же лежали еще две книжки: «Овод» Войнич и «Сон Макара» Короленко. Хотя они были легальные, но все же в сундучке гвардейского солдата их держать не полагалось.

Степан, с трудом сдерживая волнение, смотрел, как унтер выбрасывал на койку вещи из сундучка. Наконец все было выкинуто, перетряхнуто, но ничего, кроме предписанных уставом предметов, обнаружено не было. Курков для верности вырвал устилавшую сундучок синюю бумагу и сразу же увидел книжки. Он схватил их и подал офицеру. Офицер присел на край кровати и начал перелистывать страницы. Дольше других он листал «Пауки и мухи». Потом он поднял глаза на Степана и спросил:

— Где взял?

— Нашел.

— Где?

— На улице.

— На какой?

— На Большой Морской.

Офицер прищурил глаза и деловито сказал:

— Ладно, потом разберемся. Взять!

* * *

После полуночи Степан услышал, как кто-то шепотом позвал его:

— Не спишь? Это я, Туканов. Сейчас тут никого нет. Слушай меня внимательно. Тебя обвиняют в покушении на какого-то князя, царского родственника. Понял? Просись до ветру. Как во двор выйдем, бей меня сильнее. Не жалей. Чем больше синяков будет, тем лучше. Снимай с меня шинель — и ходу. В воротах на посту Петруха Феоктистов.

— А ты как потом? Засудят.

— Не бойся. В живых оставят, а там видно будет. А тебя виселица ждет. Начальство зверем смотрит.

Часа в два ночи Степан забарабанил в дверь. Туканов нарочито грубым голосом прикрикнул:

— Не буянь, каторжный! Чего тебе?

— Проводи.

— Куда?

— Куда царь пешком ходит.

Туканов спросил второго часового:

— Свести?

— А как же, полагается. Согласно уставу.

Туканов отодвинул задвижку и скомандовал:

— Выходи. Пошевеливайся!

Ночь была безлунная. В казарменном дворе темно, хоть глаз выколи, только у самого входа висел небольшой фонарь. Дойдя до поленницы дров, Туканов, снимая шинель, торопливо сказал:

— Возьми винтовку. Брось ее потом во дворе. Бей меня, только глаза побереги... На вот, держи.

— Чего это?

— Кусок портянки на кляп, а это пакет. Если на улице патруль остановит, скажешь: срочно в Главный штаб. Рот мне заткни.

Степан надел шинель, крепко пожал Туканову руку и ровным, спокойным шагом пошел к главному входу.

Феоктистов стоял, прислонившись спиной к колонне. Он поднял небольшой фонарь, осветил лицо беглеца и шепнул:

— Иди налево. В переулке вахмистр Петр Семенович своего пса прогуливает.

* * *

На осторожный стук Степана дверь открыла Дарья Михайловна. Увидев нежданного гостя, она охнула и, словно почуяв грозившую ему опасность, тревожно спросила:

— Господи, откуда ты? Проходи скорее...

Поднялась вся семья. Наташа слушала Степана, кутаясь в материн платок и вздрагивая не столько от холода, сколько от волнения. Матвей Никанорович привернул лампу и плотнее закрыл занавески на окне. Иван, не дав солдату договорить, решительно перебил его:

— Все ясно. Когда во двор входил, тебя кто-нибудь видел?

— Нет.

— Очень хорошо. Снимай все.

— Зачем?

— Все снимай. Наденешь мое. Мы с тобой почти одинаковые. Одежду твою надо куда-нибудь спрятать.

— Может, сжечь? — предложила Наташа.

— Ни в коем случае. Через несколько часов поднимут на ноги всю полицию. Степана дворник у нас видел много раз.

Могут пожаловать и к нам. Горелым сукном будет пахнуть. Они всю золу перероют.

Посовещавшись, решили, что переодетого в штатское Степана надо немедленно отправить к Наташиной подруге Тоне Боевой, а мундир и шинель бросить в Неву. Не принимавшая никакого участия в этом разговоре Дарья Михайловна строго заметила:

— Эх вы, конспираторы! Тоже выдумали! Кто понесет? Наташа? Идет ночью девка с узлом... Да ее первый же городовой по подозрению в краже задержит! Давайте уж лучше я за это возьмусь. До утра не придут, а я пораньше, как рассветет, уложу в бельевые корзинки и к Парфену в котельную снесу. У него в топке не только мундир — лошадь сгорит, и никакого запаха не останется, все в трубу вылетит.

Было еще темно, а Степан, переодетый в одежду Ивана, уже сидел в уютной комнатке Тони Боевой. Наташа, приведя его к подруге, объяснила неожиданное появление очень просто:

— Больше ему деваться некуда, но если его у тебя найдут — и тебя не помилуют.

Тоня задорно блеснула черными глазами и в тон ей ответила:

— Это уж как водится. Попасть на Сахалин очень легко. Шла бы ты домой, Наташа. Я твоего красавца поберегу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ни в этот день, ни в следующие полиция к Никитиным не приходила. В столице разыгрались такие события, что всем полицейским и жандармским чинам, начиная от рядовых и до самых высших, было не до розыска беглого кавалергарда. Нашлись дела поважнее.

Невнимательному наблюдателю в те дни могло показаться, что столица Российской империи живет обычной жизнью. И действительно, на первый взгляд казалось, что все идет по раз и навсегда заведенному порядку.

Как обычно, суетились на бирже маклеры. Утром 4 января из металлургических акций особенно ходко шел Гартман, требовали нефтяные бумаги. Акции Путиловского завода стояли крепко, но оживленного спроса не имели: о забастовке путиловских рабочих знал уже весь Петербург.

Утренние газеты принесли читателям свежие новости. Генерал Стессель, две недели назад бесславно сдавший Порт-Артур, прибыл в Порт-Саид. Германский генеральный консул посетил генерала и торжественно вручил ему от имени своего императора высший орден страны. В Лондоне состоялось первое заседание комиссии по расследованию гулльского инцидента.

Инцидент был из ряда вон выходящий и славу Российской империи отнюдь не умножил. Темной октябрьской ночью эскадра адмирала Рожественского, спешившая по приказу царя на Дальний Восток, встретила близ английского города Гулля рыбачью флотилию. Приняв с перепугу рыбацкие суда и свой несколько отдалившийся крейсер «Аврора» за японские миноносцы, командир флагманского броненосца «Суворов», на котором находился сам адмирал Рожественский, открыл огонь. Вслед за «Суворовым» заговорили орудия на «Орле». Метались на палубах под жестоким огнем рыбаки, ярким факелом пылало подожженное русскими снарядами небольшое судно, падали раненые на «Авроре»...

Комиссия в Лондоне допрашивала очевидцев. Рыбаки недобрым словом поминали эскадру, а она в тот январский день шла где-то в Индийском океане навстречу своей гибели.

В Петербурге торопливо бежали по улицам прохожие, пряча от расходившегося мороза в высокие воротники носы. Валил клубами пар от лошадей. А в это время изнывавшие от тропической жары моряки эскадры ели бананы и ананасы, вслух мечтали о свежих русских щах. Нестерпимый запах от бочек с испорченной квашеной капустой свидетельствовал о взятках, полученных интендантами Кронштадтского порта от поставщиков, заработавших немалую сумму на снаряжении эскадры в далекий и опасный путь.

Рядом с сообщениями о движении эскадры газеты печатали объявления торговых фирм. Магазины фабрики «Бехли» объявили дешевую распродажу. Магазин Циммермана на Невском предлагал на выплату фортепьяно. Табачная фабрика «Лаферм» выпустила новые папиросы «Каприз».

Казалось, ничего не изменилось в Санкт-Петербурге. В известном ресторане Палкина играл по вечерам салонный оркестр Казабланка. «Биржевые ведомости» в утренних изданиях печатали роман из великосветской жизни графа Салиаса. В Мариинском театре давали «Лебединое озеро» с балериной Кшесинской в главной роли. В цветочном магазине поставщика императорского двора Шредермана на Невском проспекте, как обычно, готовили для бенефиса Кшесинской чуть ли не целый сад.

Театр «Буфф» обещал первый выход примадонны Брюссельского королевского театра Анжелы Ван-Лоо в оперетте «Фауст наизнанку». «Петербургская газета», как обычно, рекомендовала читателям «скромное меню»: вестфальскую ветчину, суп из земляных груш с гренками, антрекот, артишоки, меренги с кремом.

В этом же столбце газета сообщала о трагическом случае: оставшаяся без средств вдова на почве голода убила трех своих детей, старшему из которых исполнилось восемь лет. Покончить с собой вдова не смогла. Нож, воткнутый дрожащей рукой в грудь, прошел около сердца.

Казалось, ничего не изменилось в Санкт-Петербурге. Объявлен очередной список убитых и умерших от ран на фронте: корнет Базилович, хорунжий Кобыльчинский, подъесаул Березов... Нижних чинов, понятно, не упоминали.

Состоялись великосветские свадьбы. Городская дума в пятый раз обсуждала вопрос о сооружении в столице трамвая.

Ничего, казалось, не было необычного в том, что в столицу курьерским поездом прибыл командующий Московским военным округом, дядя царя, великий князь Сергей Александрович. В сопровождении адъютанта капитана Джунковского князь, не заезжая в свой дворец, прямо с вокзала отбыл в Царское Село.

6 января, в день праздника крещения, царь, великие князья и многочисленная свита, отстояв торжественную службу в дворцовой церкви, вышли через Иорданский подъезд на набережную, спустились по гранитной лестнице на невский лед и направились к передвижной часовне, установленной около огромной проруби. Царица с многочисленными дочерьми и придворными дамами наблюдала за процессией из окон дворца. По традиции, в момент погружения креста в воду прогремел орудийный салют. Все шло по расписанию. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний, с трудом согнув в коленях старые, подагрические ноги, присел на корточки и окунул большой золотой крест в воду. Первый залп дали орудия Петропавловской крепости, второй — батареи Первой гвардейской артиллерийской бригады, расположенной на Васильевском острове, у самой Биржи. Этот второй залп был особенно громким. Над толпой придворных засвистела шрапнель. С легким звоном вылетели стекла в Николаевском зале Зимнего дворца. Посыпалась со стен дворца штукатурка. Салют гремел, а по льду впереди всех летел с крестом в руках преосвященный Антоний. За ним, путаясь в долгополой шинели, падая на ходу и снова вскакивая, несся главнокомандующий гвардией Владимир Александрович. Едва поспевал за ним бледный, с непокрытой головой царь. Бежали министры, генералы, сенаторы, послы и посланники. От страха свалился в прорубь великий князь Борис Владимирович. Лежал на льду в луже крови смертельно раненный городовой Петр Романов. Не прошло и часа, как его фамилия облетела всю столицу.

На набережной у Биржи метался бледный от ужаса командир батареи штабс-капитан Карцев. Вытянув по швам руки, стояли перед ним фейерверкер Гиндарев и канонир второго орудия Апальков. Канонир, стараясь не смотреть в лицо офицеру, косил глаза на Неву и повторял одно и то же:

— Ничего не знаю, ваше высокоблагородие. Не иначе как шрапнель осталась от учебной стрельбы. Плохо пробанили...

По городу ползли слухи: «Не того Романова кокнули». В сумерки перепуганный царь вместе со своей семьей покинул

Зимний дворец. Императорская родня ринулась в Царское Село.

В запасной половине Зимнего дворца в ночь на 7 января поселился только что прибывший в столицу генерал-майор свиты его величества бывший московский обер-полицмейстер Трепов.

* * *

В полдень у Трепова собрались главнокомандующий гвардией великий князь Владимир Александрович, министр финансов Коковцев, петербургский градоначальник Фуллон и высшие чины штаба гвардейских войск и Петербургского военного округа. Докладывал начальник штаба Фитингоф:

— ...Кроме Путиловского завода, бастуют Невский судостроительный, Обуховский сталелитейный, Балтийский, Трубочный, Невская ниточная мануфактура... Особенно вредной является забастовка на Путиловском: завод изготовляет орудия, снаряды, миноносцы, вагоны и другое снаряжение для действующей армии.

Трепов не допускающим возражений тоном заметил:

— Неприятна любая забастовка! Доложите дислокацию войск.

Фитингоф удивленно посмотрел на великого князя, как бы говоря: «Как смеет этот выскочка приказывать мне помимо вас?» Но, к его удивлению, князь сухо заявил:

— Продолжайте.

Начальник штаба разложил на большом столе карту столицы:

— Город разбит нами на шесть отделений. Первое отделение начинается от набережной Невы до Сената, идет по Гороховой, реке Фонтанке, Забалканскому проспекту, Обводному каналу, Лиговке, Потемкинской улице, Екатерининскому каналу и выходит на Невский. В первом отделении сосредоточено девять с половиной батальонов, два эскадрона и сотня казаков. Общее руководство отделением возложено на генерал-майора Озерова. При нем состоит местный полицмейстер Григорьев...

Доложив обо всех шести отделениях, Фитингоф спросил у князя:

— Прикажете продолжать?

Князь посмотрел на Трепова. Тот молча кивнул головой.

— Всего в столице сосредоточено сорок четыре батальона пехоты из гвардейских полков: Преображенского, Семеновского, Павловского, Измайловского и Московского. Кавалерии — десять эскадронов и семнадцать казачьих сотен. В резерве гвардейский флотский экипаж.

Князь отвернулся от окна и спросил:

— Как обеспечена охрана Зимнего и Аничкова?

Фитингоф, не заглядывая в бумаги, на память ответил:

— Увеличена втрое.

Трепов одобрительно кивнул:

— Отлично, барон... Беспокоюсь за электростанцию, водопровод и газовые заводы. Особенно надо охранять электрическую станцию на Обводном. Затем — вокзалы.

Заговорил молчавший до этих пор Фуллон:

— Нужны пулеметы.

Князь насмешливо посмотрел на градоначальника и, как бы извиняя его наивность, разъяснил:

— Это предусмотрено. Из Царского Села затребована пулеметная рота гвардейской стрелковой бригады. Кроме того, на пути в столицу из Нарвы и Ревеля находятся полки: восемьдесят девятый Беломорский, девяностый Онежский, девяносто первый Двинский и девяносто второй Печорский. Ожидаются в ночь с субботы на воскресенье.

Трепов поднялся первый, за ним все остальные. Великий князь, стоя рядом с Треповым, торжественно произнес:

— Государь выражает уверенность в том, что гвардия и войска исполнены верноподданнических чувств и способны на самые решительные меры.

Трепов добавил:

— В случае необходимости прошу, господа, патронов не жалеть!

* * *

Тоня Боева ушла утром на работу, с улыбкой сказав на прощание:

— Я тебя снаружи на замок закрою. Пусть думают, что дома никого нет. А ты сиди тише и не вздумай соловьем песни распевать; в момент в канарейки произведут — и в клетку.

Степану было не до песен. В комнату изредка доносился голос дворника, очевидно, уговаривавшего возчика:

— Прихлопывай, прихлопывай снежок! Этак мы с тобой до ночи провозимся.

Дворник и возчик ушли из-под окна, и в комнате стало тихо-тихо. Важеватов на цыпочках подошел к столу и принялся за оставленное Тоней молоко и большой кусок черного хлеба. Хлеб показался ему необычайно вкусным. Потом Степан взял с полочки книгу в рябом желто-черном переплете и начал листать ее. На первой странице значилось: «Календарь на 1898 год под редакцией А. Гатцука». Первые страницы занимали сведения о времени церковного благовеста в Москве и Петербурге, алфавитный список святых и описания русских и иностранных орденов. Степан машинально читал:

«Орден Андрея Первозванного. Учрежден 30 ноября 1698 года Петром I; имеет одну степень. Лента голубая через правое плечо. На четырех концах креста S. A. P. R. (Santus Andreas

Patronus Russiae). На обратной стороне девиз: «За веру и верность». При пожаловании взимается 500 рублей, а при пожаловании мечей к ордену еще 250 рублей...»

Он хотел уже положить скучную книгу обратно, но, перелистав еще несколько страниц, чуть не вскрикнул от удивления, увидав строки:

«Это новое, лучшее общество называется социалистическим обществом. Учение о нем называется социализмом. Союзы рабочих для борьбы за это лучшее устройство общества называются партиями социал-демократов. Такие партии открыто существуют почти во всех странах (кроме России и Турции), и наши рабочие вместе с социалистами из образованных людей тоже устроили такую партию: Российскую социал-демократическую рабочую партию.

Правительство преследует ее, но партия существует тайно, несмотря на все запрещения, издавая свои газеты и книжки, устраивая тайные союзы».

Степан даже засмеялся от восхищения: до того ловко была вплетена в старый календарь ленинская брошюра «К деревенской бедноте».

«Так вот ты какая! — подумал Степан о Тоне. — Ах ты, птаха развеселая!»

Комната Тони, беленькая, чистая, показалась ему еще уютнее. Он подложил под голову старенькое Тонино пальто и лег на пол. Беспокойство, владевшее им с момента ареста, сменилось спокойным, осторожным ожиданием. Перебирая в памяти события минувшего дня, он с теплотой вспомнил Туканова и Феоктистова:

«Как-то они сейчас там? Что с ними? Как бы все узнать?»

Затем память начала восстанавливать события этой ночи. Он вспомнил решительное лицо Ивана Никитина, участливый взгляд Дарьи Михайловны: «Эх вы, конспираторы!» Но усталость и пережитые волнения взяли свое, и Степан уснул. Разбудил его громкий смех. На пороге стояли Тоня и Наташа. Тоня, разматывая платок, говорила подруге:

— Нет, ты только посмотри на него! Занял полкомнаты, а спит, как младенец!

Степан вскочил и радостно спросил:

— Наташенька! Тоня! Откуда вы так рано?

Тоня, поправляя волосы, серьезно ответила:

— Бастуем. Попили нашей кровушки, хватит!

* * *

Поздно вечером пришел Иван Никитин. По тому, как Иван нежно обнял Тоню за плечи и как ласково взглянула она ему в лицо, Степан понял: любовь тут неподдельная и дружба настоящая, на всю жизнь.

Иван рассказал подробности забастовки:

— Началось у нас, на Путиловском. Есть там у нас в вагонной мастерской мастер Тетявкин — не человек, а собака, хозяйский холуй. Прикажи ему наш директор Смирнов брата родного удавить — удавит и глазом не моргнет. Злодей, а не мастер. Уволил он четырех рабочих. Одного из них, Сергунина, я хорошо знаю. Еще Уколов, Субботин и Федоров. Все они члены «Собрания русских фабрично-заводских рабочих города Петербурга», а для Тетявкина даже эта смирная гапоновская организация прямо нож в горле. Он любит совсем безответных, таких, чтобы только одному ему в рот смотрели и кланялись. Кланялись и благодарили. Ну и придрался к чему-то, уволил. Вагонники к нему депутацию, а он даже разговаривать не стал: «Ваше дело работать и шапки перед начальством ломать». Народ, понятно, не стерпел, и депутация пошла к самому Смирнову. А у того голос зычный, вышел в переднюю и заорал: «Всех уволю!» И все. Народ — на улицу. Не прошло и получаса — в мастерских никого, всех как ветром выдуло. А потом на другие заводы перекинулось. Бастует весь Питер.

О себе Иван не сказал ни слова. Степан так бы и не узнал ничего, если бы не Михаил. Он пришел вскоре после Ивана, снял вместе с пальто студенческую тужурку и остался в синей сатиновой косоворотке с белыми пуговицами. Поглаживая рукой свой ежик, он, улыбаясь, сказал:

— Расскажи, Ваня, как тебя со стола стащили.— И сам начал рассказывать: — Собрание у них было. Народу набилось — повернуться негде, да еще несколько тысяч на улице стояло. Окна открыли, чтобы всем слышно было. Приехал сам Гапон. Поднялся на стол, руки к небу воздел и кричит: «Я вас к царю поведу! Расскажем ему, батюшке, о наших нуждах». Тут Ваня рядом с ним встал: «Не надо к царю идти. Ничем, кроме свинца, он нам не поможет». Что тут началось! Шум поднялся, крик. Ваню дружки гапоновские сгребли и потащили со стола. Верят все-таки в доброго царя-батюшку. Есть такие простачки...— Михаил помолчал и добавил: — Стрелять, наверно. будут. Везде войска и полиция. Сегодня знакомые студенты рассказывали, что Горький и еще несколько человек из редакции «Наши дни» ездили к министру внутренних дел Святополк-Мирскому.

— Зачем? — спросил Степан.

— Предупредить, чтобы не вздумали в народ стрелять. А он их даже не принял. Сказали, что министра дома нет. Тогда Горький поехал к товарищу министра Рыдзевскому, но и его дома не оказалось. Горький с друзьями направился к Витте. Этот их принял, но заявил, что ничего, дескать, сказать не может... Идем, Ваня, идем! Нам с тобой сегодня надо еще у завода побывать.

Уходя, Михаил сказал:

— Паспорт, Степан Ильич, я вам заказал. К понедельнику сделают. Ваня принесет. Потом мы вас в надежное место переправим.

* * *

В воскресенье Тоня ушла рано утром. Она старательно завязала в платок хлеб, небольшой кусок вареной колбасы и два куска жареной рыбы:

— До дворца далеко, проголодаюсь.

Степан спросил ее:

— Решили идти?

— Ваня идет, и я с ним. Он меня отговаривал, да разве я одного его пущу?

— А Наташа?

— Идет. Она со своими фабричными.

Вместо бежевого платка, который Тоня носила обычно, она повязала большую клетчатую шаль, надела синие с белым варежки. Вскоре она вернулась и, снимая шаль, объяснила:

— Хорошо на улице! Не холодно. Градусов десять, не больше. Я в шали только измучаюсь. В платке полегче.

Переодевшись, она снова ушла, пожелав не скучать.

— Посиди тут. Вечером я к тебе Наташу притащу. Может быть, и Ваня освободится. Кушай, не стесняйся.

Степан взял с полки томик Гоголя и, усевшись поближе к окну, начал читать. День прошел для него быстро. Незаметно надвинулись ранние январские сумерки. Помня совет Тони не зажигать лампу без нее, он отложил книгу и начал терпеливо ожидать, когда послышатся знакомые шаги.

Но никто в этот день не пришел, и только поздно ночью он услышал, как звякнула накладка у двери.

— Кто тут? — шепотом спросил Степан. — Тоня?

— Нет, это я, Наташа.

— Почему вы так поздно? А где Тоня? Лампу зажечь?

— Не надо...

Наташа, не раздеваясь, села на стул. Рыдания сдавили ей горло.

— Наташенька, дорогая! Что с вами?

— Убили... Ваню и Тоню. Как мама им говорила: «Не ходите! Не ходите!» Что в городе творится... Сколько народу положили!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

Несколько дней Степан жил как в тумане. Позабыв об осторожности, он весь понедельник ходил с Наташей и Матвеем Никаноровичем по мертвецким, отыскивая тело Ивана. Впрочем, вряд ли кто даже из однополчан узнал бы сейчас Важева-

това. На нем был старый треух, короткая, видавшая виды овчинная шуба и много раз латанные, подшитые валенки. Лихие когда-то усы опустились вниз. Он побледнел, осунулся и походил на безработного, которых было немало в Питере.

Тоню нашли утром в мертвецкой при Обуховской больнице. Протолкавшись сквозь толпу народа, они сразу увидели ее. Она лежала на полу в расстегнутом пальто, с непокрытой головой. Правая рука была закинута назад, как будто Тоня хотела отмахнуться от летевшей навстречу смерти. На левой, вытянутой вдоль тела и сжатой в кулак, виднелась синяя с белым варежка. Кто-то заботливо положил ей под голову бежевый платок.

Наташа, увидев подругу, не закричала и не заплакала. Она села на цементный пол, положила голову Тони к себе на колени и повторяла:

— Милая ты моя, хорошая! Господи, как же я теперь твоей маме напишу? Она ведь с ума сойдет...

Тело Ивана нашли во вторник в мертвецкой при Александровской больнице для чернорабочих на Фонтанке. Полиция долго не выдавала его, ссылаясь на запрет градоначальника.

Хоронили их вместе. День был ясный, безветренный. К полудню пошел редкий снег. Степан запомнил на всю жизнь: снежинки падали на лоб Тони и не таяли. И еще он запомнил, как мужской голос на кладбище произнес:

— Кровавое воскресенье.

Кто-то добавил:

— И царь у нас кровавый.

Женщина вздохнула и, словно сама себе, размышляя, сказала:

— Какой он царь! Зверь! Видишь, чего натворил!

* * *

Отъезд Степана неожиданно задержался. Человека, обещавшего раздобыть для него фальшивый паспорт, арестовали. Пришлось искать другой выход. В комнате Тони жить было нельзя: хозяйка квартиры тотчас же после похорон сложила все ее небогатое имущество в подвал и сдала комнату новым квартирантам. Степан переселился к Никитиным.

Как-то вечером сразу постаревшая на добрый десяток лет Дарья Михайловна сказала:

— Дворник сегодня про тебя расспрашивал. «Долго ли,— говорит,— у вас племянник прогостит? Отсылайте его скорее восвояси: строго стало, околоточный надзиратель велел обо всех приезжих докладывать. Пусть племяш убирается подобру-поздорову».

Каждый день, прожитый в столице, грозил Степану опасностью. Через неделю после Кровавого воскресенья царь из-

дал указ об учреждении должности петербургского генерал-губернатора, которому фактически передавалась вся власть в столице. Один из пунктов указа гласил, что генерал-губернатор имеет право высылать из столицы нежелательные элементы. Генерал-губернатором назначили Трепова. Полицейские власти, мстя за свой испуг, вовсю усердствовали перед новым диктатором. Тюрьмы были переполнены арестованными рабочими и студентами. Людей хватали по одному слову дворников и городовых. С наступлением темноты на улицах в помощь полиции появлялись казачьи патрули. Безмолвно, без музыки и барабана, проходила по Невскому гвардейская пехота.

Вслед за царским указом появилось воззвание Синода. Его принес Степану Михаил:

— Почитай. Довольно любопытно. Долгогривые в политику пустились.

— «Труженики земли русской! — читал Важеватов.— Берегитесь ваших ложных советчиков. Они суть насильники и наемники злого врага... Святейший Синод, скорбя о пагубных последствиях в современной жизни русского народа, умоляет всех чад православной церкви: бога бойтесь! Царя чтите! Всякой власти. от бога поставленной, повинуйтесь!»

Возвращая воззвание, Степан равнодушно заметил:

— Ерунда! Бога нет, стало быть, нет и власти, поставленной от него.

— Верно, Степа. Только не все так думают.

Обо всем, что происходило в городе, Степан узнавал от Наташи и от забегавшего иногда на минутку Михаила. Матвей Никанорович после гибели сына замкнулся в себе. Он приходил домой поздно, обедал и молча садился с трубкой около окна. Потом он шел к Дарье Михайловне на кухню. Они не говорили о сыне, а только о самом обыкновенном — о том, что пора отдать в починку кожаные сапоги, хорошо бы справить Наташе к весне новое пальто... Но однажды Степан, войдя в кухню, увидел такую картину, что у него сразу перехватило дыхание от жалости к старикам. Матвей Никанорович стоял около печки, а Дарья Михайловна, опустив голову на руки, вздрагивала от беззвучных рыданий. На столе лежала готовальня Ивана. Историю этой готовальни Степан знал по неоднократным рассказам Матвея Никаноровича. Покойный сын случайно выиграл ее в лотерее на благотворительном вечере в Обществе попечения о больных и раненых воинах.

В четверг 20 января еще одно событие взволновало Петербург. Среди бела дня, в три часа пополудни, рухнул в Фонтанку цепной Египетский мост. Старые, ржавые цепи не выдержали тяжести въехавшего на мост эскадрона конной гвардии. Кроме того, по мосту, как обычно, шли пешеходы, ехали ломовые извозчики.

Трепов в беседе с репортером «Биржевых ведомостей» вскользь упомянул, что будет очень рад, если печать больше уделит внимания рухнувшему мосту. Редакторы поняли совет диктатора. Начавшие выходить после десятидневного перерыва газеты накинулись на эту сенсационную новость. Слава богу, нашлась интересная тема. Было чем заполнить газетные листы и не вспоминать о недавних кровавых событиях.

«Петербургская газета» проявила необычайную смелость и, захлебываясь от восторга, сообщила о недостойном поведении цензуры. На второй день после провала моста артистка Вяльцева исполнила на концерте в Народном доме свой любимый романс «Мой костер в тумане светит». Как только она пропела фразу: «Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту», чей-то бас крикнул из зала: «На каком?» Из другого конца зала немедленно под хохот и аплодисменты публики донесся ответ: «На Египетском».

Узнав об инциденте, цензор запретил Вяльцевой исполнять романс.

«Где же свобода? Мы не позволим попирать святое русское искусство!» — негодовала газета.

Из-за шума, поднятого газетами по поводу моста, почти незаметным прошло другое событие. Царь принял депутацию рабочих. Из тридцати трех депутатов половина были мастера и фабричные пристава. Другая половина состояла из переодетых в штатское городовых. Но даже и этих депутатов в присутствии начальника конвоя царя тщательно обшарили самые опытные охранники. Депутатов сначала собрали в Зимнем дворце, учили, как себя держать, и повезли в Царское Село. Выстроенные в Портретном зале Александровского дворца, они долго ждали царского выхода. Почти час потребовался министру двора Фредериксу и Трепову, чтобы уговорить самодержца показаться своим подданным. Сначала царь ссылался на мигрень, затем, не в силах побороть страх, откровенно спросил, хорошо ли обыскали депутатов. И только после уверений свиты, охранки и военных в том, что все меры приняты, царь вышел в зал и, поздоровавшись, прочел подготовленную Фредериксом речь.

Михаил, рассказывая Степану всю эту историю, не удержался и вслух прочитал заключительные слова царской речи:

— «Я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю их вину. Теперь, возвратившись, принимайтесь за дело, и да будет вам бог в помощь!» Видал? Прощает. А народ ему не простит.

На другой день Наташа принесла домой газету и швырнула ее Степану:

— Посмотри, как народ обманывают!

В газете был напечатан список 119 человек, убитых и умерших от ран 9 января. Вот это и возмутило Наташу.

— Смотри, Тони нет. У Семеновых убит сын — его тоже нет. Алеша Колесников — помнишь, на рождество к нам приходил — умер от ран, а его тоже в списках нет. Все врут. Хотят правду скрыть.

* * *

Время шло, а паспорта все не было. Выручила Степана Дарья Михайловна. Ровно через две недели после гибели сына, в воскресенье, 23 января, она утром сказала Степану:

— Вчера дворник дал мне последний срок до завтра. Иначе грозится сообщить в полицию. Паспорт я тебе нашла — на вот, посмотри.

Степан взял серенькую книжечку и, открыв ее, прочитал:

— «Никитин Иван Матвеевич...» Это Ванин?

— Да. Ему он теперь не нужен. Когда мы его хоронили, в полиции, видно, запамятовали и не отобрали. Годен он до 1910 года. Лет тебе почти столько же, приметы сходятся... Пользуйся. Будешь теперь Иван Никитин.

Дарья Михайловна заплакала и ушла в кухню.

Предложение Дарьи Михайловны все одобрили. Понравилось оно и осторожному Михаилу:

— Правильно! Очень хорошо! Только надо придумать, куда тебе ехать. На родине тебе и носа показывать нельзя — сцапают в ту же секунду.

Наташа робко предложила:

— Пускай едет к Тониной матери, в Иваново-Вознесенск.

— А что это за город? — спросил Степан.

— Недалеко от Москвы,— ответил Михаил.— Фабрик там много, можно работу найти. И остановиться на первых порах есть где. Подумай, Степа. Молодец, Наташа, ловко придумала!

— А не покажется подозрительным, почему это я ни с того ни с сего в этот город прикатил?

Михаил улыбнулся:

— Нет. Сейчас столичные власти столько народу отсюда выслали, что никто удивляться твоему появлению не будет. Они, сами не сознавая, с перепугу революции помогают, рассылают агитаторов по всей России. Ну, едешь?

— Еду.

Последнюю ночь перед отъездом молодые люди почти не спали. Наташа поверила другу большую тайну: Иван и Тоня состояли в социал-демократической рабочей партии; Михаил тоже член партии.

— А ты?

— Я пока нет.

— А отец?

— Тоже нет. Но он во всем с Ваней соглашался.

— А с ним нельзя было не соглашаться. Попробуй поспорь

с такой правдой! — Степан помолчал и неожиданно для себя сказал то, о чем думал, когда Дарья Михайловна подала ему паспорт Ивана: — Я вот теперь по паспорту Иван Никитин, а хочется быть не только по паспорту на Ваню похожим. Паспорт его у самого моего сердца...

Уже светало, а они все беседовали. Под конец Степан сказал:

— Не знаю, как матери дать о себе знать. Писать нельзя: в волостном правлении письмо обязательно прочитают. Прямо ума не приложу.

— С Фрунзе посоветуюсь,— ответила Наташа.— У него тоже мать далеко живет, а он, как и ты, нелегальный.

— А кто это Фрунзе?

— Господи! Да это же наш Миша! Это его настоящая фамилия — Фрунзе.

Утром Дарья Михайловна достала из сундука костюм Ивана, его пальто, барашковую шапку и сказала:

— Носи на здоровье.

Вечером Степан, крепко расцеловавшись со своими друзьями, уехал в Иваново-Вознесенск.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вернувшись с вокзала, Наташа застала дома Михаила.

— Проводили?

— Уехал... Еле втиснулся в вагон. Очень я за него боялась: на каждом шагу жандармы, полиция. Глазами так и щупают каждого.

— Их сейчас везде много... Я к вам, Наташа, с большой просьбой. Прежде чем с Матвеем Никаноровичем разговаривать, я хотел с вами посоветоваться.

— Что случилось, Миша?

— Ничего особенного. Просто мне сегодня негде ночевать. На квартире меня незваные гости ожидают. Зашел к Кручинину, а он отпуск взял и сегодня на родину уехал. Силантьева вчера арестовали.

— Ночуйте у нас. Сейчас я все устрою.

Наташа вышла на кухню. В комнату тотчас же вошел Матвей Никанорович. Он сердито посмотрел на Михаила и укоризненно сказал:

— Я думал, что ты к нам по-свойски относишься, а ты в дипломатию пустился. Куда же тебе идти, как не к нам! Раздевайся, давай ужинать.

— Извините меня, Матвей Никанорович, но и вы и Дарья Михайловна, наверно, очень устали.

— Отчего это мы устали?

— От постоянного напряжения. Уж очень беспокойные у вас знакомые — все с чужими паспортами.

— Невелика беда! Семи смертям не бывать, а одной не миновать... Даша! Скоро у вас там? Пойдем, Михаил Васильевич, поедим жареной картошки, да и спать. Тоже, наверно, набегался от шпиков.

* * *

У студента первого курса экономического отделения Санкт-Петербургского политехнического института Михаила Фрунзе были все основания избегать встречи с незваными гостями в голубых мундирах отдельного корпуса жандармов или, еще хуже, с чересчур любопытными сотрудниками охранного отделения. Вторая встреча, если судить по первой, ничего хорошего не сулила.

Первая встреча запомнилась Фрунзе надолго. Когда его в начале зимы, раненного во время студенческой демонстрации, арестовали и привели на допрос, жандармский ротмистр, увидев, что он сел на стул, зычно гаркнул:

— Встать!

Арестованный даже не моргнул при этом окрике и не встал. Ротмистр вышел из-за стола и, схватив Фрунзе за плечо, крикнул:

— Я кому говорю? Встать!

— Если вы еще раз крикнете, я не скажу вам ни одного слова. Уберите руку.

Почувствовав, что студент не из робких, ротмистр сразу сменил грубый тон на радушно-ласковый:

— Обиделись, дорогой мой? Ну извините, коли так...

Он позвонил и приказал принести чаю.

Через минуту жандарм внес на подносе два стакана чаю с лимоном, вазочку с ванильными сухарями. На больших розетках лежал сахар.

— Прошу. Люблю чай с лимоном! Не напиток, а сущий бальзам. Засидишься здесь до глубокой ночи, выпьешь стаканчик-другой, и усталости как не бывало. Словно поспал.

Фрунзе очень хотелось пить. В доме предварительного заключения на Шпалерной, где он провел ночь, о чае не приходилось и мечтать. А тут с лимоном. И сухари.

— Благодарю. Меня уже угостили.

— Чем, осмелюсь спросить?

Фрунзе пошевелил перевязанной рукой.

— Вот что, я у вас не в гостях, не тратьте на меня время попусту.

Ротмистр, помешивая ложечкой чай, грыз сухарик. Из-под густых усов мелькали белые крепкие зубы.

— Отчего ж, погостите у нас. Апартаментов у нас хватит. Ну-с, на самом деле, давайте поговорим откровенно.

Перелистывая бумажки в желтой папке с крупными черными буквами «Дело», ротмистр вслух читал:

— Фамилия — Фрунзе. Звать — Михаил. Отчество — Васильевич. Возраст — девятнадцать лет. Уроженец города Пишпека Семиреченской области.— Он поднял глаза на Михаила.— Издалека пожаловали... Так-с. Сын отставного военного фельдшера... Похвально иметь такого родителя... Ах, ваш батюшка уже умер! Прискорбно, но что поделаешь — все там будем. Окончили гимназию в городе Верном с золотой медалью. Тоже похвально. Три сестры и брат. Забот у вашей матушки много, а вы еще подбавляете. Нехорошо. Стыдно. Маркса почитываете... А ну, посмотрим, что еще за вами числится.

Ротмистр все листал и листал бумажки, иногда приговаривая:

— Опасные у вас знакомства, молодой человек. Живете в столице всего несколько месяцев, а с пути уже сбились. Ну-с, давайте беседовать по душам.

— Давайте! — весело ответил Фрунзе. Каким-то внутренним чутьем он понял: ротмистр располагает о нем только официальными материалами, полученными в институте. Но враг он опасный, и ухо с ним надо держать востро.— Ну что ж, давайте поговорим по душам,— повторил Фрунзе.— Вы будете задавать вопросы...

— ...А вы будете молчать? — перебил офицер.

— Совершенно верно. Не затрудню. Писать вам придется мало.

— Вот я вас и поймал. Бьюсь об заклад, что вы член социал-демократической партии и примыкаете к ее большевистскому крылу.

— Первый раз слышу. Не знаю ни о каких крыльях.

— Бросьте! Мне известно, что все ваши коллеги, памятуя указание Второго съезда вашей организации, решительно отказываются от дачи показаний.

— Возможно. Я, как не посвященный в дела этой организации, могу лишь предполагать... Единственное мое увлечение — наука.

Около двух часов бился ротмистр с Фрунзе, но так ничего и не добился. Он то шутил, то грозил каторгой. Заводил даже разговор на философские темы. Под конец допроса ротмистр предался воспоминаниям:

— А ведь мы с вами почти коллеги. Вы в Политехническом, а я когда-то в Горном институте слушал лекции.

Окончательно развеселившись, Михаил не удержался и сказал:

— А потом вместо поисков редких ископаемых предпочли копаться в донесениях ваших агентов! Каждому свое...

Этой издевки ротмистр не выдержал. От его вежливости и

любезности не осталось и следа. Он с грохотом отодвинул кресло и, вызвав конвой, скомандовал:

— Убрать!

Уходя, Михаил участливо сказал:

— Ах, какой вы вспыльчивый! Поберегите себя. Так можно совсем нервы истрепать. И чай с лимоном не поможет.

Больше допросов не было.

Спустя две недели Фрунзе вызвали в тюремную контору и дали прочесть под расписку постановление, согласно которому он лишался права проживать в столице и высылался на родину.

Всех статей и параграфов, на основании которых он должен был немедленно покинуть Санкт-Петербург, Михаил сразу не упомнил. Но одно врезалось ему в память: отныне он именовался «неблагонадежный».

Перед отправкой на вокзал помощник начальника тюрьмы назидательно заметил:

— Дешево отделались, молодой человек! Советую к нам больше не попадаться. Сгноим!

Михаилу очень хотелось по-мальчишески надерзить длинноногому, похожему на журавля тюремщику. Так и просилось на язык что-нибудь вроде: «Постараюсь» или «Шли бы вы к черту с вашими советами!», но он взял себя в руки и сухо сказал:

— Счастливо оставаться.

И вот «неблагонадежный», нарушив все полицейские запреты, снова в столице. Пока все шло хорошо, а сегодня сразу провалены три квартиры, арестованы товарищи. Это пахло провокацией.

* * *

Поезд к Бологому, где Степану предстояла пересадка, подходил рано утром. Первую ночь в пути Степан провел беспокойно. Единственная свеча, освещавшая вагон третьего класса, сгорела вскоре после того, как отъехали от Петербурга. Все разговоры между попутчиками велись в темноте. Особенно надоела бесконечными расспросами возвращавшаяся домой, в Ярославль, купеческая вдова Евдокия Петровна Малькова, как она сама себя отрекомендовала на третьей минуте знакомства.

— А как вас зовут?

Степану впервые пришлось назваться чужим именем. Он кашлянул и смущенно ответил:

— Иваном.

— А по отчеству?

— Матвеевичем.

Смущение Степана купчихе понравилось, и она начала рассказывать ему, как старому знакомому, все свои дела:

— Сын у меня и дочь. Дочь в Питере, замужем. Муж ее,

дай бог ему здоровья, в дворянском собрании буфет держит. А сын холостой, в отцовском заведении — в крендельной мастерской хозяйствует. Все бы ничего — зашибает. Каждый год два раза по две недели без просыпу. И всегда в одно и то же время — на вешнего Николу и после успенья. А нынче запил неурочно — под крещенье. Сваха мне отписала: приезжай, гуляет. А выехать не на чем, поезда не ходили. Нет, больше я в Петербург ни ногой! Натерпелась страху: на улицах стреляют, керосином не торгуют, выехать нельзя.

Приняв внимание Степана за сочувствие, купчиха начала называть его сначала Ваней, а затем Иванушкой.

— Будешь, Иванушка, в Ярославле, заходи. Спроси крендельную Мальковой — каждый мальчишка укажет. Если, конечно, сынок ее до пепла не распотрошил.

Наговорившись всласть обо всех своих родных и знакомых, купчиха начала закусывать. Она совала в темноте Степану вареные яйца, копченого сига и все угощала и угощала:

— Попробуй, Иванушка! Это мне зятек из буфета принес. Он все остатки, заботясь о душе своей, в Демидовский дом призрения — знаешь, на Мойке? — за полцены отдает. Не пропадать же добру.

Утром словоохотливая купчиха засыпала Степана вопросами: куда он едет, женат ли, каким делом занят.

Перед Бологим Степан, желая как-нибудь отделаться от надоевшей старушки, вышел в тамбур и столкнулся лицом к лицу со студентом Игорем Кручининым, с которым однажды встретился у Никитиных на памятной рождественской вечеринке.

Он узнал Кручинина сразу, и первой мыслью у него было: «Что делать? Как себя держать со студентом? Довериться и назвать себя? Или, быть может, лучше не открываться? Кто его знает, этого студента, что он за человек! Правда, с ним познакомил Михаил, но он сам предупреждал Степана перед отъездом об осторожности».

Идти назад означало вызвать ненужные подозрения, и он посторонился, дав студенту дорогу. Кручинин сначала равнодушно прошел мимо Степана, потом обернулся, и в глазах его вспыхнуло удивление:

— Степан Ильич? Я не ошибся?

Степан, стараясь говорить как можно спокойнее, вежливо ответил:

— Простите... Не имею чести быть знакомым.

— Боже мой, какое сходство! Прямо двойник. Рост, глаза... Как говорится, и голос, и волос.

— Бывает.

— Ну прямо копия с одного знакомого. Правда, он военный, кавалергард...

— Не служил...

Разговор грозил затянуться. Степана выручил контролер.

Посмотрев на билет, он, шелкая никелированными щипцами, строго сказал:

— До Иваново-Вознесенска. В Бологом пересадка,— и протянул руку к Кручинину.— Ваш билет?

Кручинин недовольно ответил:

— Я в первом классе. Иду в буфет.

Контролер взял под козырек и пошел дальше.

В это время в дверь выглянула купчиха и крикнула:

— Иванушка! Куда запропал? До Бологого надо позавтракать.

Степан обрадованно сказал:

— Иду, мамаша, иду...

Кручинин взялся за скобу входной двери:

— Еще раз прошу извинить. А мы с вами попутчики: я тоже до Иваново-Вознесенска, но только я через белокаменную, через Москву.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Раньше всех, как обычно, резал морозный воздух низкий мощный гудок Дербеневской фабрики. Через полминуты к нему присоединялся хриплый бас с Гандуринской, затем с Витовской. Вскоре гудки ревели во всех концах города: на Грязновской, у Зубкова, у Маракушева.

Этот ежедневный утренний концерт заканчивал резкий, пискливый свисток на химическом заводе Лепешкиных.

Яков Савватеев всегда лежал до последнего гудка. Уж очень не хотелось вставать, идти в холодные сени умываться. Последняя минута отдыха казалась самой необходимой, самой приятной.

Но уже шумят, поднимаются с полу многочисленные квартиранты Анны Семеновны Боевой. Потягиваясь на ходу, потряхивая пышными кудрями, подошел к выходу таскальщик основ с Маракушевской фабрики Аким Клещев. Чиркнул спичкой, осветил старенькие, облезлые ходики.

— Опять, окаянные, на целый час отстали! Вот не услышим как-нибудь гудка — и получите, пожалуйста, расчет: на все про все пятьдесят шесть копеек.

— Как раз на бутылку,—отозвался из переднего угла проборщик Федор Кормаков.— А на селедку я уж, так и быть, добавлю.

— Вставай, Яша! — кричал из другого угла Роман Баландин.— Не забудь, сегодня моя очередь на печке спать.

Зажгли крохотную пятилинейную лампочку, желтый свет которой еле доставал до края большого березового стола. Запрыгали по стенам причудливые тени. Жильцы, кряхтя и охая, а кто с шуткой и прибауткой, собирали с полу и скамеек свою одежду, служившую постелью. Гремел железный заслон — лез-

ли в печку доставать положенные с вечера для просушки валенки. Только двое, кочегары с Куваевской фабрики Ефим Сучков и Алексей Мартынов, устроившиеся возле подпечья, не шевелились, не поднимали головы из-под полушубка. В отличие от остальных жильцов они работали ночью и только недавно пришли со смены.

Хочешь не хочешь, а вставать надо. Яков спустил босые ноги с печи, ухватился руками за край полатей и спрыгнул вниз, чуть не сбив хозяйку.

— Не можешь без баловства! — укорила его Анна Семеновна, ставя на стол полуведерный самовар. — Чуть ноги не обварила!

Она сунула руку в карман фартука и достала большую луковицу:

— Роман Петрович, последняя. Купить или сам на базаре будешь?

Роман Баландин отсчитал несколько медяков:

— Купи, Анна Семеновна.

Федор Кормаков, наливая кипяток в жестяную кружку, сказал:

— Много ты денег на лук тратишь, Роман.

— Иначе ничего не выходит. Здоровье дороже. Опять у нас черный анилин пошел. К трем часам в глазах мутнеет. Я вчера утром на окне курительную бумагу положил. Около двенадцати посмотрел, а она вся желтая, как будто ее в охру окунули. Вот чем мы дышим. А лук все-таки противоядие.

— А ты к нам приходи, особенно к вечеру. Вчера Нюша Краснова опять в обморок упала.

Яков взял с полки большой кусок хлеба, густо посыпал его солью и, налив кипятку в кружку, сел за стол рядом с Акимом Клещевым:

— Что с тобой?

— Ничего.

— Почему ничего не ешь?

— Аппетит отшибло. Вчера все съел.

— Бери.

Яков отломил половину куска и подвинул Акиму.

— До получки дотянешь?

— Дотяну.

Не только жильцы этой квартиры, а все рабочие Маракушевской фабрики знали, куда Аким Клещев тратит почти весь свой заработок. Год назад приехала к нему из деревни невеста. Снял Аким у вдовы на Ямах небольшой приделок, купили немудрую обстановку: кровать, три венских стула и комод. Хватило средств даже на небольшое зеркало и самовар. Справили свадьбу, и зажили молодые супруги Клещевы дружно, хорошо. Вскоре поступила Стеша на ткацкую к Маракушеву. Сметливая и проворная, она быстро освоилась со станками и начала

приносить в получку не меньше опытных ткачих. Но, к несчастью, очень понравилась Стеша старому, вечно полупьяному этажному мастеру Быкову. Начал он ее к себе в каморку вызывать сначала просто так, для внушения, потом с куском товара — посмотреть, нет ли, дескать, какого-нибудь скрытого брака.

Как-то работала Стеша в вечерней смене. Перед самым концом смены подошел к Стеше Быков и приказал немедленно зайти к нему. Стеша не ослушалась, зашла.

— Вот что, Клещева,— сурово начал мастер,— велено тебя уволить: плохо работаешь.

Заметив, как побледнела Стеша, мастер ласково заговорил:

— Конечно, можно поговорить с заведующим, может, и оставит. Только при одном условии: будешь после работы ко мне на квартиру заходить. Я рядом живу...

— А если я не соглашусь? — задорно спросила Стеша.— Если я не захочу тебя, старого черта, ублажать? А если я Акиму про тебя, похабника, расскажу? Он тебя, шелудивого, отучит на чужих женок смотреть...

Мастер, выталкивая ее из каморки, заорал:

— Уволю!

Стеша, не выдержав, схватила со стола челнок и бросила его прямо в голову мастеру.

— Увольняй, старый бес!..

Мастер взвыл на весь этаж. Как раз в это время остановили паровую, стали станки, и крики мастера раздались по всей фабрике.

Через неделю Стешу судили за нападение на административное лицо. Свидетелем Быков выставил своего помощника Мишку Осинкина. Осинкин за бутылку водки мог продать кого угодно. Второй свидетель тоже был не лучший — старший браковщик Мартын Кропачев, самый преданный хозяйский холуй. Присудили Стешу к трем годам тюрьмы и отправили куда-то за Вятку.

Все, что было дома: кровать, комод, самовар, зеркало — все продал Аким, чтобы уплатить адвокату. Как только Стешу отправили, он перебрался в общую комнату, к Анне Семеновне. Жил как схимник, отказывая себе во всем: не курил, не пил, ел один черный хлеб, да и того не вдоволь. Все, что мог выкроить, посылал жене.

Аким и Яков вместе вышли из дому. Было еще совсем темно. Во всех домишках светились огни. По тропинкам меж высоких сугробов молча и торопливо шли люди. Скрипел под ногами снег. Сияли в вышине равнодушные звезды.

* * *

Красковарка, где работал Яков, напоминала гигантскую лабораторию средневекового алхимика. Огромные чаны, бочки и

кадушки хаотически громоздились под низким сводчатым потолком. Лежали окрашенные во все цвета, похожие на весла деревянные мешалки. На грязных стенах висели решетки, сита. Повсюду на полу стояли плошки, горшки, и около них были разбросаны большие деревянные ковши. Воздух в красковарке был тяжелый; едкий запах сернистого натра и хлорной извести, казалось, въелся даже в оконные, много лет не мытые, позеленевшие стекла.

К полудню в красковарке становилось жарко, как в бане. По полу бежали струи грязной воды. Среди ядовитых испарений, клубами вырывавшихся из бочек, копошились полуголые люди. Скрипели блоки, гремели жестяные ведра, то и дело слышались крики подмастерьев: «Сыпь крахмал!», «Добавь загустки!», «Растирай лучше!».

В широкую низкую дверь вбегали из печатного цеха промокшие от пота таскальщики красок и коротко бросали: «На пятую машину три ковша бели по кубу».

В углу за конторкой стоял мастер, всегда угрюмый, злой, Макар Степаныч Вьюнков. Было отчего испортиться характеру мастера. Ни один рабочий не выдерживал в красковарке больше трех лет. Здоровый, краснощекий человек через два-три года становился желто-зеленым, начинал харкать кровью. Сюда нанимались только из-за крайней нужды, а Вьюнков провел в этом аду почти тридцать лет. Его давней, но так и не сбывшейся мечтой было попасть в «секретную». Святая святых каждой ситценабивной фабрики, так называемая «секретная», находилась на втором этаже. В ней выписанный хозяином из Франции химик Андре Кот, или попросту Андрей Иванович Котов, разрабатывал рецепты для окрашивания и печатания ситцев и сатинов. Французу платили десять тысяч рублей в год, а старый мастер, переделывавший все рецепты по-своему, получал в месяц пятьдесят рублей и по месячному окладу, наградных к пасхе, рождеству и ко дню именин хозяина.

Был у мастера еще один тайный доход. Два раза в год — 1 января и 1 июня — заходил к нему Павел Семенович Полубояринов, представитель германской анилинокрасочной фирмы, и вручал пакет «за усердие». В пакете лежала сторублевая «катенька». Усердие заключалось в том, что мастер никогда не разделывал краски меньше ушата. В ушат входило не меньше десяти ковшей, а в каждый ковш — самое малое три фунта готовой, разведенной краски. Допустим, нужно было допечатать несколько кусков товара. Требовалось для этого два-три ковша краски, а мастер готовил ушат. Остаток краски, как правило, под конец смены уходил в канаву. Чем больше тратил мастер красок, тем больше покупали их у фирмы. Вот за это усердие и получал Макар Степаныч наградные. И все же никак не мог примириться, что не он, а этот бесов француз Кот хозяйничает в «секретной».

Яков вошел в красковарку в тот самый миг, когда заревел второй двойной гудок, означавший начало смены. Войдя в крохотную раздевалку, где уже толпился народ, он снял пальто, пиджак и рубаху, бережно положил в ящик валенки и надел опорки. Работать в хорошей одежде было нельзя: от кислот и каустика портилось ее столько, что не хватило бы никакого заработка. Хозяин выдавал опорки, прорезиненные фартуки и перчатки.

Яков вместе с другими подошел к конторке мастера, ожидая приказаний. Макар Степаныч, не отрываясь от толстой книги с образцами тканей, буркнул:

— Сейчас скажу, что делать... Только тебя, Савватеев, это не касается. Тобой табельщик интересовался. Поднимись.

Яков оделся и поднялся на второй этаж. Разговор был короткий. Старший табельщик, даже не посмотрев на Якова, протянул ему клочок бумаги:

— Возьми ярлык. Иди в контору — получи расчет.

— Может, скажешь, за что увольняют?

— Сам не хуже моего понимаешь. Молись своему ангелу-хранителю: дешево отделался.

Объяснять, действительно, было нечего. Яков отлично знал, за что его увольняют с фабрики. Позавчера он, явившись на фабрику до второго гудка, разложил в печатном, плюсовочном и других отделениях прокламации, полученные накануне от Федора Афанасьевича, год назад привлекшего Якова в Российскую социал-демократическую рабочую партию. В прокламации, напечатанной на гектографе, говорилось:

«Товарищи рабочие! Петербургские рабочие пролили свою кровь за освобождение рабочего класса. Неужели вы, товарищи, будете молчать в такое время?»

Дальше в прокламации говорилось, что рабочим надо объединяться для борьбы с царем вокруг социал-демократической партии.

Кто-то, очевидно, заметил, как Яков раскладывал прокламации, и предупредил администрацию. Как из-под земли выросли фабричные пристава, прибежали сменные табельщики. Ко второму гудку все прокламации были собраны и отнесены в главную контору. К Якову, стоявшему в курилке, подошел в сопровождении фабричных приставов постоянно торчавший в проходной городовой Нарбеков:

— Что-то ты, братец, сегодня больно заботлив, рано явился.

— Будильник подвел: рано прозвонил.

— А ну, выворачивай карманы!

— Пожалуйста.

Обыскав Якова и не найдя при нем ничего предосудительного, городовой ушел, погрозив Якову огромным волосатым кулаком:

— Я еще доберусь до тебя, красавец!

А вот сегодня пожалуйста — расчет.

Прямо с фабрики Яков хотел пойти к Балашову, но, оглянувшись, он заметил на углу небольшого роста человека в черном пальто и мерлушковой шапке. Яков вспомнил: этот субъект стоял тут вчера, а затем, как будто прогуливаясь, провожал его до самого дома.

«Ах ты пес! — усмехнулся Яков и пошел прямо на него.— Ничего, я тебя, гончего, сейчас повожу. Побегаешь ты у меня, косолапый!»

Он подошел к шпику вплотную и громко сказал:

— Покурить не найдется?

— Некурящий,— дохнул на него водочным перегаром шпик и отвернулся.

Но Яков успел разглядеть висячие усы, придававшие лицу унылый вид, и желтые, как у кошки, глаза.

Яков быстро зашагал по направлению к дому. Шпик, потоптавшись на месте, двинулся за ним. Коротенькие его ножки смешно семенили под длинным пальто. Яков прибавил шагу, потом побежал. Побежал и шпик. Но он не предвидел, какой конфуз его ожидает. Яков, намного опередив своего преследователя, свернул за угол, перевел дыхание и спокойным шагом пошел обратно. Коротышка вынырнул из-за угла и с размаху налетел на Якова.

— Ты что толкаешься? — сурово крикнул Яков.— Налил себе зенки! Я тебя...

— Виноват.

Яков оглянулся. Улица была пуста. Городовых, к счастью, близко не было.

— Виноватых бьют,— насмешливо произнес Яков и изо всей силы ударил кулаком прямо в рыжие усы.

Шпик завизжал и выронил на снег свисток.

— Не ори! И смотри, больше за мной не броди: убью! Ну, лети, некурящий!

Шпик, не оглядываясь, скрылся за углом.

Подойдя к дому, Яков обил веником валенки и открыл дверь. В сенях сидел неизвестный человек. Увидев Якова, он встал, и как ни был высок и плечист Савватеев, все же он доходил незнакомцу только до плеча. Великан снял шапку.

— Здравствуйте. Я Анну Семеновну поджидаю. Она, говорят, на базаре и скоро придет.

— Проходите в комнату,— пригласил Яков.— Только нагибайтесь ниже, а то синяков набьете. Наши двери не для вас. Вы на квартиру вставать или родственник?

— Как вам сказать... Я из Петербурга.

— Из самого Питера! Давно ли?

— Только сейчас с поезда.

— Уж не от Тони ли?

— Не совсем... но вроде.

— Как она там?

— А разве Анна Семеновна ничего не знает?

— Нет, а что?

— Убили ее.

— Тоню убили? Когда?

— Девятого...

— Она же недавно матери письмо прислала! Я сам ей читал. Я всегда ей все письма от Тони читал. Она замуж собиралась за своего Ивана. А вы кто будете?

— Я? Я и буду этот самый Иван. Иван Матвеевич Никитин.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В низенькой темной комнатушке за березовым, скрипучим от ветхости столом сидели Афанасьев и Балашов. Единственное крохотное окно было плотно занавешено лоскутным одеялом. На столе стояли самовар, чашки и пустая бутылка из-под водки, на тарелке лежали сушки. Со стороны посмотреть — самая обычная картина: собрались приятели, выпили по маленькой, а сейчас беседуют о своих фабричных делах и пьют чай с сушками. Кому придет в голову, что бутылка поставлена на стол пустая, для отвода глаз, на случай внезапного визита полицмейстера Кожеловского или его усердных помощников!

Оба они были членами Иваново-Вознесенской группы Северного комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Кроме них, в группу, являющуюся руководящим центром для всех большевиков Иваново-Вознесенска, входили Федор Самойлов, Андрей Бубнов, Иван Уткин, Николай Жиделев и другие. В конспиративных целях не только члены группы, но и многие рядовые члены партии носили вторые, подпольные имена. Семена Балашова назвали «Странником», двадцатитрехлетнего Федора Самойлова — «Архипычем», его ровесника Ивана Уткина сначала называли «Дедушкой», а потом стали звать «Станко». У Андрея Бубнова была своя кличка — «Химик». Под этими подпольными именами большевики фигурировали в партийных документах, переписке, на собраниях и массовках. Иногда полиция узнавала о тайной сходке, о выступлениях «Архипыча» или «Станко». Случалось, попадала в жандармские руки переписка с упоминанием «Северного» или «Рядового». Кто были эти люди, какие у них настоящие имена и фамилии, полиция разгадать не могла. Иногда мужчина носил женское имя, а женщина — мужское. Член партии Клавдия Ивановна Корякина долгое время называлась «Мишкой», а бородатый высокий токарь Роман Горелов — «Надей».

Члены группы Северного комитета Балашов, Самойлов, Уткин и другие работали на фабриках. Все свои партийные обязанности, сопряженные с постоянным риском, огромной опасностью, они выполняли в часы, свободные от фабричного труда,

а это было нелегко: смены тянулись двенадцать-тринадцать часов. И только один Федор Афанасьев, «Отец», как ответственный организатор группы, занимался исключительно партийными делами.

Федору Афанасьевичу шел сорок шестой год. Из-за большой окладистой, начинающей седеть бороды и очков в медной оправе казалось, что ему гораздо больше. Прежде чем попасть в Иваново-Вознесенск, он жил во многих городах: в Петербурге, Туле, Москве, Одессе, Риге, Шуе. Из одних его высылала полиция, из других он уезжал сам, не дожидаясь очередной высылки. Но где бы он ни находился, вскоре около него собирался революционный кружок рабочих. Несмотря на чрезвычайные трудности, Федор Афанасьевич всегда, словно из-под земли, находил нелегальную литературу, организовывал подпольные типографии. Никакие угрозы, преследования жандармов, ссылки, тюремное заключение не могли свернуть его с пути, на который он стал в начале 90-х годов XIX века. По всей России разошлась изданная группой «Освобождение труда» его речь, произнесенная в 1891 году на первом, тайном праздновании петербургскими рабочими Первого мая.

Крестьянин по происхождению, он с детских лет стал рабочим. Полиция дважды пыталась упрятать его на родину, в глухую деревню Язвищи Редкинской волости Ямбургского уезда. Казалось, в небольшой деревушке под бдительным надзором станового, урядника, старосты и попа невозможно было вести какую-либо революционную пропаганду. Но и в заброшенных Язвищах, без всякой связи с внешним миром, без средств к существованию, Федор Афанасьевич не пал духом, а организовал кружок из крестьян. Потом при первой же возможности он самовольно уехал в город.

Петербургские «Кресты», московская Таганка были для него понятиями далеко не отвлеченными. В этих и других тюрьмах он хорошо знал и общие и одиночные камеры. При желании он мог хорошо рассказать и о знаменитом крестовском карцере: он был знаком ему не понаслышке. Федор Афанасьевич ничем не походил на заправского оратора. Голос у него был негромкий, глуховатый, но когда он выступал в кружке или на тайной сходке, сразу становилось тихо, как в классе на очень интересном уроке.

В этом скромном, простом человеке счастливо соединились железная воля, гибкий ум и ничем непоколебимая уверенность в том, что будущее за рабочим классом. Эта уверенность покоилась на глубоких знаниях. Федор Афанасьевич великолепно знал все переведенные к тому времени на русский язык труды Маркса. «Что делать?» и другие ленинские работы помогли Федору Афанасьевичу стать на правильный революционный путь. Вся его жизнь принадлежала партии. На личную жизнь у него не хватило времени, он даже не успел обзавестись семьей. И

хотя своей семьи у него не было, товарищи по партии, рабочие дали ему подпольное имя «Отец».

«Отец», разглаживая рукой небольшой листок бумаги, говорил:

— Вот и все наши капиталы. За январь партийных взносов поступило семьдесят два рубля шестьдесят одна копейка. Ушло сорок семь рублей четырнадцать копеек. Остаток — двадцать пять рублей сорок семь копеек. Типографию нам на эти деньги не поднять. Нужен станок, шрифты, краска. Никто нам такого подарка не сделает.

— Будем, Афанасьевич, пока обходиться гектографом.

— Придется. Но и тут одна закавыка есть. Вчера Архипыч сказывал — кончается бумага. Покупать бумагу у Бобкова больше нельзя. Прошлый раз Архипыч взял у него обычную порцию, уложил в корзину и понес. Только отошел от магазина, оглянулся и видит, что за ним сынишка Бобкова идет. Папаша, видно, послал посмотреть, куда покупатель бумагу понес. Придется где-нибудь в другом месте доставать. А бумага нам сейчас очень нужна. Надо народ на новую стачку подымать.

— Достанем. Попытаюсь в Шуе, через Павла Гусева. У них там новый писчебумажный магазин открылся — «Наука». Хозяин, говорят, из либеральных.

— Поаккуратнее надо с такими либералами. Сегодня он тебя товарищем кличет, а завтра мало ли что...

«Отец» аккуратно сложил листок бумаги, подошел к печке, стал на колени и вынул из плинтуса гвоздь. Отодвинув плинтус, «Отец» вынул два нижних кирпича и засунул в дыру руку по локоть. Он не торопясь достал широкую плоскую железную коробку. В этой коробке, которую Семен шутливо называл сейфом, «Отец» хранил партийные документы и деньги.

Тайничок под печкой сделал ему Семен, способный на разные конспиративные выдумки. Было у «Отца» еще одно секретное хранилище. На другом конце города, в сарае у своей сестры, вырыл Семен глубокую яму, обложил досками и сколотил плотную крышку. На крышку сверху насыпалась земля и для большей безопасности летом ставилась бочка с дождевой водой, а зимой громоздились дрова. В этом хранилище «Отец» держал нелегальную литературу, несколько револьверов, пачки патронов и небольшой мешочек со шрифтом.

«Отец» открыл коробку и вынул из нее несколько листков. Балашов спросил:

— Вчера не успел?

— Немного осталось.

Речь шла об отчете Центральному Комитету. Согласно уставу, принятому Вторым съездом партии, отчет надо было посылать не реже одного раза в две недели. Его составление требовало много времени, так как отправлять приходилось только в зашифрованном виде.

Но не только «Отец» в Иваново-Вознесенске, а большинство руководителей партийных организаций в Нижнем Новгороде, Ярославле, Перми, Туле, Харькове, Баку, Красноярске — везде, где были большевики,— не жалели ни времени, ни сил на составление отчетов. Они знали, что их отчеты попадут к Ленину и как бы невидимыми нитями свяжут его с ними. Они хорошо знали и о том, как важно знать Ленину обо всем, что происходит в партии. Отчет, как правило, вписывался симпатическими чернилами между строками обычного житейского письма с рассказом о разных невинных семейных новостях. На этот раз «Отец» в отчете должен был сообщить, что за январь партийная организация увеличилась на двадцать шесть человек. Надо было не забыть упомянуть, что из этих двадцати шести человек двадцать три приняты в партию во второй половине месяца, после 9 января.

Отчеты не всегда доходили по назначению. Иногда они с почты или при аресте агента Центрального Комитета, везшего их за границу, попадали в охранное отделение и нерасшифрованными складывались в жандармские сейфы. Но большинство отчетов, миновав все преграды, счастливо избежав искусно расставленных полицейских и цензурных ловушек, приходили к Владимиру Ильичу Ленину. «Отец» знал, как радовался Владимир Ильич росту партии, и особенно тому, что в партию шли рабочие, поэтому он с удовольствием зашифровал: «Из 26 принятых в партию в январе все 26 — рабочие-текстильщики».

Закончив отчет, «Отец» сказал Балашову:

— Давай поговорим.

И они начали обсуждать, как лучше написать заметку в газету «Вперед», первый номер которой они недавно получили. Прочитав эту новую газету, «Отец», Балашов, Самойлов и другие большевики поняли, что она идет по пути старой «Искры» и что именно она, эта газета, по существу является центральным органом партии. С особенным вниманием «Отец» прочитал передовую статью — «Самодержавие и пролетариат». По тому, как статья была написана, по ее языку, точным и ясным формулировкам, раскрывающим глубокий смысл происходящих событий, «Отец» понял: писал ее Ленин.

В статье «Пора кончить», также напечатанной в первом номере, «Отцу» очень пришлись по душе заключительные слова о том, что большевики делали все возможные уступки, чтобы работать в одной партии с меньшевиками, но меньшевики в ответ начали еще большую дезорганизационную работу.

«Мы должны,— говорилось в статье,— в отличие от «меньшевиков», которые действуют тайком, прячась от партии, заявить открыто и подтвердить на деле, что партия порывает с этими господами все и всяческие отношения».

Весь первый номер «Вперед» дал «Отцу» ясные, определенные ответы на вопросы, которые его мучили и на которые он

сам не мог ответить. Такое же чувство, прочитав газету, испытывал и Балашов. Оба они с нетерпением ждали следующих номеров, а они все не поступали. Путь от Женевы до Иваново-Вознесенска был долгий и опасный.

— С чего начнем? — спросил Балашов.

— Я думаю, надо рассказать о семнадцатом января.

— А не поздно?

— Нет. Может быть, в газету и не попадет, а товарищ Ленин должен знать, как наши рабочие ответили на Кровавое воскресенье.

— Ну что ж, давай начнем с этого.

О неудачной забастовке «Отцу» и Балашову писать было нелегко.

Забастовку, начатую на двух заводах, жестоко подавили полицейские власти, она угасла, так и не превратившись в общегородскую. Народная молва, для которой не обязательны ни телеграф, ни телефон, принесла в Иваново-Вознесенск вести о кровавом событии в Петербурге на вторые сутки. Столичные газеты не выходили, да если бы они и печатались, правды в них все равно было бы немного.

В понедельник 10 января везде — на фабриках, в казармах, на базаре — люди говорили только об одном: как по приказу царя расстреляли тысячи людей. Во вторник 11 января на многих фабриках раздавались крики: «А чего мы смотрим? В Питере бастуют, а мы чего ждем?»

В среду, когда несколько человек, прибывших из Петербурга, распространили подробности о расстреле и столичной забастовке, напряжение в городе достигло высшего предела. Надо было начинать забастовку солидарности с питерскими рабочими, и вот тут руководители городского партийного центра допустили ошибку. Совещание фабричных и заводских организаторов по поводу забастовки происходило днем 16 января, а забастовку решили начать утром 17-го. 16 января было воскресенье. Фабрики не работали, поэтому времени для оповещения всех рабочих о целях забастовки оказалось мало. Не приняли мер и к охране участников забастовки, к защите их от казаков.

Утром 17 января небольшая группа рабочих-агитаторов пришла на чугунолитейный завод Анонимного общества. Уговорив литейщиков выйти на улицу, агитаторы вместе с ними направились к механическому заводу. Около заводских ворот их встретил большой отряд полиции и казаков. Полицмейстер Кожеловский, как всегда отвратительно ругаясь, без всякого предупреждения скомандовал: «А ну-ка, угостим их!» И началось избиение. Арестованных рабочих отводили в полицию и там во дворе, стащив с них одежду, били нагайками, били ножнами шашек.

Балашов читал заметку, заглядывая через плечо «Отца».

— Надо добавить, Афанасьевич, о том, что, несмотря на эти побои, наши рабочие мысли о всеобщей забастовке не оставили.

— Обязательно.

В окно стукнули два раза. Семен тотчас же вышел в сени. «Отец» положил листы бумаги в коробку, спрятал ее в тайничок, вставил кирпичи, придвинул плинтус и быстро встал, отряхнув колени.

В комнату вошли Семен и Яков.

«Отец», посмотрев на Якова, спросил:

— Уволили?

— Прогнали.

— В полицию не вызывали?

— Нет. Наблюдатель привязался, когда с фабрики вышел. А потом отстал. Шел я быстро, он и выдохся. Меня теперь здесь ни на одну фабрику не возьмут. Придется ехать куда-нибудь.

Балашов спокойно произнес:

— Уезжать тебе никуда не надо, ты и здесь очень нужен, а работу мы тебе найдем.

— Какую?

— Хорошую, Яша. Очень хорошую. Вчера мне машинист Ветров говорил: кочегар ему на паровоз нужен.

— Сроду не ездил!

— Ничего, привыкнешь.

Яков вопросительно посмотрел на «Отца».

— Федор Афанасьевич, а может, Ветрову кого-нибудь другого в кочегары предложить?

— Кого?

— Познакомился я с одним человеком. Он только сегодня из Петербурга приехал.

— Из Петербурга?

— Да. Говорит, что на Путиловском работал. Рассказывает, будто сам сюда прикатил, по доброй воле, а по-моему, бежал он из столицы.

«Отец» и Балашов переглянулись.

— Бежал? — спросил «Отец». — А почему ты думаешь, что он бежал?

— По всему видно. А сюда он попал очень просто. У моей квартирной хозяйки дочь в Питере была. Ее девятого января убили, а он ее жених. Надо помочь парню. Ростом он,— Яков поднял руку к потолку, — коломенская верста. Один за двоих сработает.

— Нет, Яша, в кочегары тебе надо определяться. Ветров товарные поезда в Новки, Кинешму и Александров водит, а иногда и в Москву. Ты на этом паровозе большую нам пользу принесешь. И на паровозе, и в депо. Одному Ветрову там тяжело. Иди завтра к Ветрову чуть свет. Беглецу питерскому мы

в другой раз поможем. Только сначала Семен с ним познакомится и побеседует.

В окно снова стукнули два раза. Балашов, накинув на плечи тужурку, вышел открыть дверь. «Отец» и Яков услышали в сенях возглас:

— Вот это новость! Давай скорее, давай! Входи.

В комнату, весь в снегу, вошел Евлампий Дунаев. Он торопливо достал из внутреннего кармана пальто газету и подал ее «Отцу»:

— Читай! В Москве царского дядю, великого князя Сергея Александровича, пристукнули.

«Отец», подвинув лампу поближе, прибавил огня и, быстро прочитав сообщение о взрыве бомбы в Кремле, передал газету Семену и задумчиво отошел к печке. Дунаев торопливо рассказывал:

— Иду я мимо станции, смотрю — народ. Как раз поезд московский подошел — все к почтовому вагону так и бросились. Максим Галкин, тот, что газетами торгует, идет с пачками, а народ за ним бежит. Потом старший приказчик купца Куражова начал газету вслух читать. Здорово князя угостили — куда голова, куда ноги...

«Отец» прервал его:

— Кто князя прикончил, пока не сообщают. Одно скажу: сделал это человек смелый и решительный. Но будет ли польза народу от этого убийства...

— Как? — перебил Дунаев.— Да знаешь ли, кто он был? Московский генерал-губернатор! Первый царский советник! Зверь почище Трепова.

— Знаю. И все же пользы от этого убийства мало. Царь другого советника найдет, и другой зверь приедет Москвой командовать, а народу в тюрьмы посажают тысячи.

— Выходит, что от этого больше вреда, чем пользы?

— Пожалуй, так... Ежели бить их по одному, царскую власть не сломишь...

— Стрелять их всех надо, как бешеных псов!

Дунаев, нервно скручивая цигарку, торопливо заговорил. «Отец» и Балашов слушали его, не перебивая. Было время, «Отец», выслушав горячую речь Дунаева, вступал с ним в спор. Позднее «Отец» понял причину этих вспышек и, самое главное, что в такие минуты не надо Евлампию перечить: пусть выговорит все, что у него наболело.

Уж очень нерадостное выпало Евлампию детство. Ему не было и трех лет, как умерла мать и он остался на попечении сурового отца, который, пожалуй, ни одного дня не был трезвым.

Как-то зимним вечером пьяный и чем-то особенно разозленный родитель затащил семилетнего сына на речку и, опустив в прорубь, старался засунуть его под лед. К счастью Евлампия, его крики услышали прохожие. Отец, как ни был пьян, заметив

невольных свидетелей своего преступления, бросился бежать вдоль реки. Люди увидели страшную картину: в ледяной воде барахтался полуголый ребенок, судорожно хватаясь ручонками за острые, скользкие края проруби. Евлампия спасли. Отца догнали и привели в дом, где лежал закутанный в тулуп Евлампий.

— Ты что же, поганец, родного сына хотел утопить?

Сначала отец болтал что-то совсем несуразное: «Жить мешает. Корми его, пои, а толку никакого». Потом, окончательно протрезвев, повалился в ноги, плакал, бил себя в грудь, обвинял во всем зеленого змия, который его попутал.

С того дня Евлампий начал жить самостоятельно, старательно избегая даже случайной короткой встречи с отцом. Кормился он тем, что подавали добрые люди; ночевал где придется: летом чаще всего на улице, а зимой у кого-нибудь на печке. Через год его определили в подпаски. Несколько лет он помогал пасти крестьянское стадо, переходя из одной деревни в другую. Старый пастух из отставных солдат научил Евлампия читать; писать старик и сам не умел. Это искусство Евлампий постиг только в двадцатилетнем возрасте.

Зимой, когда в деревне делать было нечего, Евлампий подавался в город искать случайного заработка.

И в деревне и в городе Дунаев видел одно и то же: хорошо, сытно жили, покупали нарядную одежду и обувь только немногие — лавочники, чиновники. Большинство рабочих едва-едва отличались от нищих.

Как-то Евлампий устроился к богатому лавочнику дворником. Его возмутила праздная жизнь купеческой семьи; особенно он возненавидел хозяйского сына Герасима, великовозрастного бездельника, выгнанного за дурное поведение из гимназии и реального училища. Однажды Евлампий, внося ящики с товаром, увидел, как Герасим тайком взял из кассы десять рублей. Вечером лавочник, подсчитывая выручку, хватился десятки и начал допрашивать приказчиков. Больше всех досталось ученику, двенадцатилетнему Коле. Хозяин, запустив руку в его волосы, долго трепал, приговаривая:

— Говори, кто к кассе подходил?

Евлампий схватил купца за руку:

— Ты сына спроси, Гераську, кто вор. Он лучше знает.

Вечером приказчики слышали, как лавочник «учил» сына. Раздавались глухие удары и крики пьяного Герасима:

— Ой, папаня! Ой, больше не буду!

Часом позже опухший Герасим появился во дворе и набросился на Евлампия:

— Ябеда! Фискал несчастный!

Утром Евлампий пришел к хозяину и, не глядя на него, угрюмо попросил расчета.

— Что не живется?

— Боюсь.
— Чего боишься?
— Убить могу.
— Кого, дурак?
— Сынка вашего. Уж очень он у вас въедливый, стервец. Вчера я сдержался, а может случиться, не выдержу и пришибу.
Лавочник тотчас выдал Евлампию расчет. Через два дня Дунаеву повезло: его приняли на ткацкую фабрику Гарелина учеником пробо́рщика.

Началась новая жизнь. Евлампий быстро вошел в круг фабричных интересов. Через год он уже был активным участником стачки, а вскоре отбыл наказание в тюрьме за чтение нелегальной литературы. Полиция несколько лет гоняла его из города в город. Он жил то в Царицыне, то в Саратове, но всегда под особым надзором полиции. Год он провел в одиночной камере в «Крестах». И только в 1902 году Евлампий смог приехать в родной Иваново-Вознесенск.

В 1905 году ему было двадцать восемь лет. Недостаток знаний мешал ему правильно понимать и осмысливать то, что наблюдал его острый ум. Но товарищи по партии, рабочие любили его за смелость, правдивость и дисциплинированность. Случалось, он спорил, но каждое решение группы, принятое большинством голосов, являлось для него законом. После знакомства с «Отцом» Дунаев очень изменился. Характер у него сделался ровнее, спокойнее. Совсем по-иному он стал оценивать людей и события. Оратор он был замечательный. Его простая, но яркая, образная речь потрясала сердца слушателей. Когда он говорил о царе, фабрикантах и полиции, его темные глаза вспыхивали, голос звенел. В каждом слове слышалась неугасимая, многолетняя ненависть.

Подождав, пока Дунаев кончит свою пылкую речь в защиту убийцы великого князя, «Отец» спокойно сказал:
— На вот, почитай.— Он подал Евлампию «Вперед» и ткнул пальцем в подчеркнутые строки.— Читай вслух!
— Что это?
— Ты читай, читай.
Дунаев начал читать.
— «...у нас индивидуальные политические убийства не имеют ничего общего с насильственными действиями народной революции... из революционной интеллигенции особенно увлекаются террором (надолго или на минуту) именно те, кто не верит в жизненность и силу пролетариата и пролетарской классовой борьбы».
— Кто написал? — спросил Дунаев.
— Кто? Ленин,— ответил «Отец».— Над этими словами тебе, Евлампий, надо хорошенько подумать.
Дунаев молча курил, пуская большие клубы дыма.
В окно тревожно забарабанили. Балашов выскочил в сени,

оставив дверь открытой. Мальчишеский голос тревожно сообщил:

— Полиция идет! Сначала к Рогачевым во двор зашли, а сейчас, наверно, к вам...

— Спасибо, парень! Беги.

Балашов вошел в комнату.

— Слышали? Иди, Афанасьевич, и ты, Евлампий, ступай. Я их один приму. Яша, одевайся. Через огород иди — выйдешь к железной дороге.

«Отец» неторопливо спрятал газету в карман и, повязывая шею шарфом, бросил Дунаеву:

— Вот она, твоя «польза»! Видишь, как засуетились? Только держись!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Трудно было Важеватову принести тяжкую весть Анне Семеновне. Старушка, узнав о смерти дочери, несколько минут молча смотрела на Степана, словно не веря свалившемуся на нее горю. Поверив, она, бледная, растерянная, ушла в чулан и долго сквозь слезы разговаривала сама с собой:

— Господи, Тонечка, как же я теперь без тебя жить буду?

К полудню она вышла из чулана. На голове вместо белого ситцевого платка темнела шерстяная косынка. Анна Семеновна принялась за свои обычные дела: затопила печь, достала из подполья картошку и капусту. Она старалась спокойно разговаривать со своим гостем, но Степан видел: руки у нее дрожали. Потом попросила рассказать, как погибла Тоня, где и когда ее похоронили.

Позднее Степан так и не мог понять, отчего он растерялся: от жалости к Анне Семеновне или от непривычки говорить неправду. Но сказанного было уже не вернуть.

— Мы их в одну могилу положили. И Тоню и Ваню.

— Какого Ваню?

Он понял, что проговорился, и смутился.

— Какого Ваню? — переспросила Анна Семеновна.— А ты кто же такой? Чего-то ты, парень, путаешь?

Степану ничего не осталось, как рассказать ей всю правду. Утаил он только свою настоящую фамилию и то, что служил в гвардии и был арестован. Выслушав его, Анна Семеновна сказала:

— Вот что, дорогой: ты как был для меня Ваней, так им и останешься. Не мое старушечье дело вникать, почему ты из Петербурга уехал. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Но здесь тебе жить нельзя. У меня что ни жилец — обязательно у полиции на подозрении. Они все здешние, а ты приезжий, и в этой компании тебе быть не с руки: схватят быстро. Я тебя

завтра сведу на Ямы. Живет там сестра моего покойного мужа и недорого сдает приделок. Она тебя с удовольствием пустит.

На другой день утром Анна Семеновна повела своего гостя в поселок Ямы.

Когда-то вместо города Иваново-Вознесенска было село Иваново и посад Вознесенский, разделенные несудоходной речкой Уводью. Иваново издавна, с петровских времен, слыло богатым торгово-промышленным селом. Выделка льняных тканей, ручная их набойка и окраска почти три столетия составляли основное занятие местных жителей. Не было, пожалуй, ни одного дома, в котором бы не стучал один, а то и три ручных ткацких станка. Летом берега Уводи были покрыты холстами. Окропленные речной водой, они под солнцем отбеливались до снеговой белизны. По всей России шли ивановские ткани: в деревенские хаты где-нибудь в Южном Поволжье, в купеческие хоромы Нижнего Новгорода, в дворянские усадьбы. Более высокие сорта, нарядные, узорчатые скатерти шли и в царские дворцы.

Особенно бурно начала здесь развиваться промышленность после войны 1812 года. В начале девятнадцатого века на одной из мануфактур появилась паровая машина, затем ситцепечатная и бумагопрядильная. Лен все больше и больше уступал место хлопку. Как грибы росли фабрики. К концу века их насчитывалось больше полусотни.

После освобождения крестьян безземельная, голодная беднота из окрестных деревень хлынула за заработком на фабрики. Село и посад срослись, получили новое наименование: город Иваново-Вознесенск. Вокруг стихийно, без всякого плана вырастали поселки и слободки. О невеселой жизни их обитателей говорили сами названия: Ямы, Голодаиха, Рылиха, Сахалин... Была, правда, и Сластиха, но и в ней жилось далеко не сладко.

Власти не любили этот город, потому что в нем начиная с 80-х годов беспрерывно вспыхивали бунты и забастовки. К 1905 году в Иваново-Вознесенске было около ста тысяч жителей, не считая, конечно, непрописанных и беспаспортных, а их имелось немало на каждой фабрике. По количеству населения Иваново-Вознесенск значительно превышал губернский город Владимир и почти вдвое — Шую, уездный. И все же он оставался «заштатным».

Чтобы попасть из Рылихи, где жила Анна Семеновна, на Ямы, надо было пройти через весь город. Степан шел и с интересом разглядывал незнакомые улицы.

Поселок Рылиха чем-то напоминал деревню: кривые улицы, ветхие домишки; попадались и соломенные крыши. Потом потянулась улица, вдоль которой вперемежку с приземистыми деревянными домами стояли двухэтажные каменные, с высокими заборами, крепкими воротами на кирпичных столбах. В цен-

тре колодцев с журавлями не было, вместо них то и дело попадались цепные.

Когда перешли мост через Уводь и пошли по бывшему посаду, чаще стали попадаться огромные особняки с большими зеркальными окнами. Особняки стояли в садах, и Степан подумал, что летом в этих домах хорошо.

Особенное впечатление произвел на Важеватова великолепный, обложенный розовым гранитом дом на углу Вознесенской улицы. Он даже остановился, чтобы получше рассмотреть его. В одном окне была открыта форточка, и до Степана донеслись звуки рояля.

— Любуешься? Это вот квартира! Райские птицы в клетках, золотые рыбы в пруду плавают, а пруд в комнате. Самого главного богача-фабриканта семья тут живет, а вся семья — жена и дочь, да и та, говорят, полоумная.

Они пошли дальше. Только в одном Степан нашел сходство с Питером: снег здесь был такой же, как и там,— ноздреватый, грязный от копоти фабричных труб. И еще одно он заприметил: в Иваново-Вознесенске было мало церквей.

Анна Семеновна, подумав, сказала:

— А я что-то и не замечала. Стало быть, хватит. Нашему народу молиться некогда. Работают по пятнадцати часов...

Поселок Ямы полностью соответствовал своему названию. Узенькие кривые улицы были перерезаны неглубокими оврагами. Дома стояли, тесно прижавшись один к другому. И здесь, как и в Рылихе, было много соломенных крыш. Увидев, как из трубы, торчавшей из-под кучи грязного снега, идет дым, Важеватов спросил свою спутницу, что это за труба.

— Землянка. Тут за каждым почти домом такие хоромы вырыты. Живут люди, как в норах. Все лучше, чем бездомным скитаться.

Как будто в подтверждение слов Анны Семеновны в одной из снежных куч вдруг распахнулась сколоченная из дощечек дверь. Из нее выскочила маленькая девочка в больших заплатанных валенках с корзинкой мокрого белья. Из двери послышался женский голос:

— Как следует полощи! Не торопись!

Дом родственницы оказался на замке, но это мало смутило Анну Семеновну. Она пошарила рукой под ступенькой крыльца и, достав ключ, отомкнула замок.

— Входи.

Степан нагнулся и, миновав крохотные сени, вошел в чисто прибранную комнату, устланную домоткаными половиками.

— Я не рассчитала, думала, что она в вечерней смене работает, а она, видно, в утренней.

Анна Семеновна разделась, ушла в кухню и загремела посудой.

— Придет Паша с фабрики, а на столе самовар. И ей приятно, и мы погреемся. Вам у нее понравится. Она женщина заботливая, тихая. Вы с ней поладите.

В комнату вошла маленькая сухонькая старушка.

— Это ты, Аннушка, у меня хозяйничаешь? А я думаю, кто это ко мне без спросу забрался. А это что за молодой человек?

— Я тебе квартиранта привела. Принимай, Паша. Из самого Питера.

— Уж не от Тони ли?

— Пашенька, голубушка... Нет больше моей красавицы...

— Господь с тобой, Аннушка! Что ты говоришь! Опомнись!

— Правду говорю. Убили ее, проклятые...

Старухи обнялись и заплакали.

Важеватов вышел на улицу.

* * *

Из десяти рублей, которые дал Степану на дорогу Михаил Фрунзе, осталось восемь. Два рубля он истратил на разные мелкие покупки. В дороге израсходовал семьдесят копеек. К приезду в Иваново-Вознесенск у него было семь бумажных рублей и тридцать копеек мелочью. Перебравшись к Прасковье Федоровне, он отдал ей три рубля за квартиру, вперед за два месяца. Рубль двадцать ушло на прописку паспорта. Прописка стоила всего двадцать копеек, но участковый полицейский до тех пор рассматривал паспорт, пока не увидел протянутую Степаном желтую рублевую бумажку. К концу второй недели жизни в Иваново-Вознесенске у Степана оставалось всего-навсего два рубля, а работы не предвиделось.

Он обходил фабрику за фабрикой и везде наблюдал одну и ту же картину. Рано утром, а иногда и с полуночи, у фабричных ворот собиралась толпа безработных. Стояли на холодном ветру, мерзли и молчали. Да и о чем говорить, когда на уме одна мысль: «Авось подвезет — возьмут. Не на станок, куда уж там, а хоть что-нибудь поделать по двору, на топливном складе или разбирать под навесом перепутанные початки — на самую что ни на есть старушечью работу».

После первых свистков выходил табельщик или конторский сторож и бросал в толпу жесткие, страшные слова: «Расходись! Сегодня брать не будем!»

Из разговоров рабочих Степан узнал, что лучше всего работать на фабриках, где три смены. Хотя ночная работа и утомительна, но все же рабочий день не превышал восьми часов. Там, где были одна и две смены, люди работали по одиннадцати и даже по четырнадцати часов.

В конце февраля, когда у Степана оставалось только двадцать копеек, ему повезло. Старший табельщик Маракушевской

фабрики, заметив человека высокого роста, приказал подойти ближе.

— Здоров! Вон какой вымахал! Фамилия?

— Никитин.

— Звать?

— Иваном.

— Проходи. Возьму тебя таскальщиком основ. Будем платить пятнадцать рублей. Работать в две смены. Паспорт при тебе?

— При мне.

— Давай.

Табельщик взял паспорт и ушел в контору. Вернувшись, он бросил паспорт:

— Не надо. Знаем мы вашего брата, питерских!

Степан, ни слова не говоря, повернулся и пошел к воротам. На полпути его остановил окрик табельщика:

— Эй ты, каланча, подожди!

— Что тебе?

— За десятку пойдешь?

Важеватов нащупал в кармане последний двугривенный и ответил:

— Пойду.

— Тогда иди. Давай паспорт.

Через полчаса табельщик привел его в пахнувшее клеем и мылом шлихтовальное отделение и представил старшему рабочему:

— Вот тебе новый таскальщик. Проэкзаменуй, пусти на третий этаж.

— А куда Акима Клещева?

— Приказано уволить. Пришли ко мне. Я ему сам объявлю.

— Жаль. Хороший мужик.

— Всех жаль. Нас не жалеют!

Степан с трудом дождался конца смены. Тяжелые, в несколько пудов основы приходилось носить на третий этаж по скользкой железной лестнице, до блеска обтертой тысячами ног. Двери в ткацком зале были узкие и низкие — с непосильной ношей надо было сгибаться в три погибели. От непривычного шума ткацких станков, беспрерывного хождения по лестнице и от голода он шатался как пьяный. Мокрая от пота рубаха прилипала к телу. Шлихтовальщик, заметив его усердие, скомандовал:

— Отдохни, парень. Ты хоть хлеба пожуй, а то на этой должности недолго и ноги протянуть. Тут, брат, большая привычка нужна.

В конце смены конторский мальчик принес Степану расчетную книжку.

— Грамотный?

— Кое-что соображаю.

— Распишись.

Мальчишка грубил, явно подражая кому-то из старших. Он небрежно сунул химический карандаш и какую-то ведомость:

— Прочитай правила, пока живой.

Степан сел у окна и начал перелистывать книжку. «Правила», о которых ему сказал мальчишка, занимали двенадцать страниц, напечатанных мелким, убористым шрифтом.

В это время в шлихтовальную зашел небольшого роста человек с реденькой рыжей бородой. На нем были брюки навыпуск, черная сатиновая рубашка с таким же галстуком. Поверх рубашки была когда-то белая, а теперь совсем пожелтевшая, засаленная пикейная жилетка. Человек уставился на новичка крохотными, заплывшими глазками.

— Брось читать! Тут тебе не клуб приказчиков.

— А вы кто такой?

— Влеплю тебе штрафу полтинник, тогда узнаешь!

В разговор вмешался шлихтовальщик Осокин:

— Никитин, неси.

Степан взвалил на плечо основу и пошел по лестнице. Рыжий человек смотрел ему вслед, задрав бороденку. Когда Степан вернулся, Осокин сказал ему:

— Поаккуратней с этим рыжим. Старший браковщик Мартын Кропачев. Подлюга страшная.

— Он мне не начальник! — запальчиво произнес Важеватов.

— Эх, парень, у нас на фабрике над рабочим все начальники. Отойди в сторонку, почитай.

«Рабочий обязан,— читал Степан,— беспрекословно подчиняться фабричному управлению и выполнять все его требования. Под словами «фабричное управление» подразумеваются не только хозяин или заведующий фабрикой, но и все прочие лица администрации, как-то: механик и его помощник, мастера, конторщики, табельщики, браковщики, сторожа и другие лица, заведующие отдельными частями фабричного производства».

Он листал книжку дальше и увидал заголовок: «Перечень проступков, за которые должен налагаться штраф». Проступков было сорок три. В конце перечня говорилось: «За дерзкие слова и поступки, за дурное поведение при разговорах со старшими на первый раз штраф в двойном размере, при повторении — расчет».

Степан сунул книжку в карман и подошел к Осокину, возившемуся у машины.

— Прочитал? Интересно?

— Очень. Как на каторге.

— Каторга и есть.

Их разговор прервал все тот же конторский мальчик. Он подошел и грубо крикнул:

— Эй ты, столб, давай твою книжку!

— Зачем она тебе?

— Штраф велено вписать. Полтинник. За грубое обращение. Смотри, напишут тебе — получать будет нечего. Давай...

Осокин незаметно кивнул головой: давай, мол, не ерепенься.

* * *

Вечером дома, умываясь из железного рукомойника, Степан услышал, как кто-то за его спиной сказал:

— Красоту наводит, не мешай.

Он оглянулся. В приделке стояли Яков и Аким Клещев. Яков не улыбался и не протягивал руки, а угрюмо посматривал исподлобья. Первым заговорил Аким:

— Ты за сколько работать согласился?

— За десять рублей.

— За десять! Кто это тебе посоветовал?

— Сам.

— Очень хорошо. Своим умом, стало быть, до этого дошел. Сам догадался. Хорош гусь!

— За что вы меня ругаете?

Яков жестом остановил Акима и сказал:

— Я думал, ты, Никитин, настоящий питерский рабочий, а выходит, ошибся — ни то ни се, середка на половинку. Я тебя в одном месте хвалил, работу подыскивать начали, а ты такую штуку отмочил! Сегодня ты на десять рублей согласился, завтра другой такой дурак найдется — хозяева таким дуракам очень рады. А там, глядишь, и остальным рабочим расценок снизят. Акима вот уволили. Ему восемнадцать рублей платили, а ты за десятку пошел.

— Что же делать, Яша?

— Это уже тебе знать. Наше дело было тебя предупредить.

— Может, расчет взять?

— Как знаешь.

Яков и Аким ушли, не попрощавшись. В приделок тотчас же вошла Прасковья Федоровна.

— Начудил ты, парень. Я тоже думала, что ты как следует быть. На вот твои деньги, ищи себе новую квартиру. Я таких не держу.

Она положила на стол три рубля и вышла.

Утром Степан стоял перед табельщиком:

— Дайте мой паспорт!

— Ишь, загорелось. Жениться захотел, что ли? Наследство получил иль купца какого пристукнул?

— Дайте паспорт!

— Белены, что ли, объелся? Заладил: «паспорт, паспорт».

Степан положил руки на стол и глухо сказал:

— Давай, тебе говорят, паспорт. Не буду я на вашей каторге за десять рублей спину гнуть. Ну!..

Табельщик вскочил и заметался около большого шкафа, испуганно озираясь.

— Получи.

— Давно бы так.

Важеватов взял паспорт и пошел из табельной. Табельщик закрыл дверь на ключ и крикнул через окошечко:

— Больше не приходи, черт долговязый! За трешницу не возьмем!

Выйдя из проходной, Степан нос к носу столкнулся с Игорем Кручининым. Но студент его не узнал. Он шел, задумавшись, низко опустив голову.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Игорю Кручинину было над чем задуматься. Он шел со свидания с жандармским ротмистром Шлегелем.

Этому свиданию предшествовал ряд неприятных событий, которые Кручинин сейчас снова переживал с мучительной остротой.

Приехав после окончания гимназии осенью прошлого года в столицу, Кручинин на первой же студенческой вечеринке встретил свою землячку Веру Орлову, дочь учителя Иваново-Вознесенского реального училища. Вера была старше Игоря и третий год училась на женских медицинских курсах. Дома, на каникулах, Вера, встречаясь с Игорем, знала о его планах ехать учиться в Петербург и обрадовалась ему, как родному.

— Боже мой, Игорь! Наконец-то! Студент!

Она внимательно осмотрела отлично сидевшую на нем тужурку и насмешливо сказала:

— А вы франт, Игорь. Вас за это могут невзлюбить.

— Кто?

— А хотя бы я, — улыбаясь, ответила Вера. — Ну ладно, не сердитесь. Идемте, я буду вас знакомить с моими друзьями.

В числе друзей Веры оказался и Михаил Фрунзе.

После вечеринки Игорь зачастил к Вере. Она жила в небольшой комнатке на Песках, недалеко от медицинских курсов. Но разговоры, которые велись между друзьями Веры, собиравшимися у нее почти ежедневно, были далеки от медицины.

Игорь впервые услышал здесь о Марксе, о существовании социал-демократической рабочей партии. Никогда раньше — ни дома, в семье своего отца, акцизного чиновника, ни в гимназии — он таких разговоров не слыхал.

Игорь совсем забросил лекции и с жадностью накинулся на книги, рекомендованные Верой. Через месяц он уже не сидел во время споров истуканом, а с апломбом цитировал Гегеля, Каутского, Плеханова, щеголяя и удивляя всех своей памятью.

Но он и сам заметил, что в отсутствие Веры все его красноречие пропадало. Михаил Фрунзе в кружке Веры бывал не часто, всего один-два раза. Он больше молчал и только однажды в ответ на очередную бурную речь Игоря улыбнулся и сказал:

— Зачем столько пороха тратить попусту?

Уходя от Веры, Фрунзе подал Игорю руку и повторил:

— Не тратьте сил понапрасну. Идите пропагандировать в другое место.

— Куда?

— На заводы, к рабочим,— ответил Фрунзе.

Однажды вечером к Вере нагрянула полиция. Произведя обыск и найдя много нелегальной литературы, жандармы арестовали всех, кто был в комнате, и отвели в дом предварительного заключения на Шпалерной. В числе задержанных оказался и Игорь Кручинин.

Когда его поздней ночью ввели на допрос, Кручинин растерялся. Одно дело было сидеть в уютной комнате за столом и ораторствовать, видя одобряющий, ласковый взгляд Веры. Тогда он чувствовал себя героем и сам искренне верил в свои убеждения. А тут даже не предложили стула. За столом сидел жандармский полковник. Он посмотрел на Игоря и желчно сказал:

— Доигрались, молодой человек!

Затем позвонил телефон. Полковник снял трубку:

— Слушаю... Так точно, привели. Допрашиваю. По-моему, закоренелый. Не вижу никаких следов раскаяния. Слушаюсь! Каторга? Разумеется.

Кручинин оцепенел. Разве могло прийти ему в голову, что никто полковнику не звонил, а он незаметно нажал кнопку звонка и, сняв трубку, говорил сам с собой! Откуда было сыну акцизного чиновника знать все жандармские трюки!

Офицер остановился около Игоря, заложил руки за спину и сказал:

— О вас справляются.— Он наморщил лоб и многозначительно поднял палец.— Советую вам хорошенько обо всем подумать. Сами изволили слышать — каторга. Пошлем мы вас в какой-нибудь Вилюйск. Дадут вам там в руки тачечку. Убежите — поймают, еще годков десять прибавят. Еще раз убежите — поймают и повесят.

Игорю хотелось узнать, в чем его обвиняют, где Вера и можно ли с ней увидеться. Но полковник позвонил и вызвал конвой. Когда два огромных молчаливых солдата уводили Игоря, полковник крикнул вслед:

— В карцер!

Игоря поместили в низенькую узкую одиночку без кровати. Ночью он чуть не сошел с ума от темноты, шороха и писка возившихся крыс.

Уснул он под утро на полу, свернувшись клубком и закутав голову студенческой тужуркой. Впрочем, это был не сон,

а какой-то кошмар. Ему снилось, что он уже осужден на пожизненную каторгу и спущен в глубокую сырую шахту.

На другой день его снова привели на допрос. В кабинете никого не было. Игорь подошел к зеркалу и чуть не вскрикнул. На него смотрело чужое лицо с ввалившимися глазами и перекошенным ртом. Он сел на стул и заплакал от жалости к себе, от страха. Не мог же он знать, что из соседней комнаты через специально замаскированное отверстие за ним наблюдает зоркий глаз.

Полковник вошел в кабинет неожиданно, с размаху широко распахнув дверь. Игорь даже не успел вытереть слезы.

В голосе жандарма вчерашней строгости уже не было; он звучал приветливо и заботливо.

— Ну, как спали? — Он подошел к окну и раскрыл форточку.— День сегодня изумительный! А воздух — не надышишься.

Усаживаясь в кресло, жандарм крякнул, как старый добрый дядюшка, готовящийся журить любимого племянника.

— Ну-с, давайте продолжим нашу беседу. По-прежнему будете упорствовать?

— Я ничего не знаю.

— Зато я все о вас знаю. Да, знаю. И очень сожалею. Очень. Говорю как друг, как старший брат. Пожалейте и вы себя, пожалейте вашу матушку.— В голосе полковника послышалась скорбь.— Вы подумайте, что будет с ней, когда она узнает о вашей печальной судьбе.

Кручинин не выдержал — слезы выступили у него на глазах.

— Что делать? Что делать? — дрожащим голосом пролепетал он.

— Расскажите все о ваших знакомых — и вы на свободе,— наклонившись к нему, мягким голосом ворковал полковник, подсовывая Игорю заранее заготовленную бумагу.— Остается только поставить вашу подпись... Вот здесь...

В конце концов Игорь беспрекословно подписал расписку в том, что он обязуется сообщать охранному отделению все, что ему будет известно о революционной деятельности его друзей.

На другой день его освободили. Прикрывая своего нового агента, охранка вместе с ним выпустила «за недоказанностью улик» еще двух студентов, арестованных у Веры Орловой. Веру вскоре выслали в Восточную Сибирь. Перед отправкой ей разрешили свидание с приехавшими в столицу родителями. Она, кроме них, пожелала видеть Игоря.

Он надолго запомнил, как она стояла за решетчатой перегородкой и улыбалась, а на глазах были слезы.

Перед отъездом из столицы Игорь в очередной беседе с полковником рассказал ему о Михаиле Фрунзе. Тот выслушал, попросил все написать. Когда Игорь подал ему исписанные листы, жандарм приятно улыбнулся:

— Благодарю. Сегодня вы меня порадовали.

Игорь впервые за последние месяцы почувствовал прилив сил и попросил разрешения выехать на родину.

— Ну что ж, съездите, развлекитесь. Надолго?

— Я возьму в институте отпуск на этот год. Стало быть, до будущего учебного года. Можно?

— Отчего же. Пожалуйста.

Игорь решил не возвращаться в Петербург и, отдохнув, перевестись учиться в Москву. Он надеялся, что полковник забудет о его существовании. А вот сегодня его вызвал ротмистр Шлегель и заявил, что ему известно прошлое Игоря.

— Расписку я с вас не буду брать. В столице все было сделано.

Затем ротмистр без всяких предисловий предложил ему войти в доверие местных социал-демократов и далее действовать по его указанию. В отличие от изысканного в обращении столичного полковника ротмистр Шлегель был грубо прямолинеен. Он повторил: «Вернее, надо втереться в доверие».

Заметив, что его слова покоробили Игоря, он усмехнулся и разъяснил:

— А вы не смущайтесь. Не все ли равно, как это звучит? Это им там, столичным, можно разные онёры разводить, их там целый штат, а у меня времени не хватает. И еще — поторапливайтесь, батенька: у меня есть сведения о том, что готовится новая забастовка. Толковые донесения очень нужны.

* * *

Прасковья Федоровна, узнав, что ее жилец взял на фабрике расчет, согласилась оставить его на квартире и приняла обратно три рубля. На последние оставшиеся у него деньги Степан купил два фунта хлеба, полфунта печенки и с жадностью выпил бутылку пива. Ему казалось: вот он поест, и ему станет лучше, исчезнет из сердца тоска. Но он был сыт, а чувство, похожее на голод, не проходило. Он лег на койку и закинул руки за голову. Сначала он, как всегда, подумал о Наташе. Но на этот раз даже воспоминание о ней не могло заглушить всего происшедшего за последние дни. Кто-то звякнул щеколдой калитки. Степан подумал: «Не ко мне ли?» И сам себе ответил: «Кому ты нужен? Кто к тебе может прийти?» И тут он с необычайной ясностью понял, почему ему так тоскливо: «Один, совсем один. Никого нет у меня здесь. Ни одного друга, ни одного близкого человека. Попался хороший человек, Яков, и я около него не сумел удержаться. А почему не сумел? — спросил Степан и сам себе ответил: — Подлость допустил, вот и не удержался».

Потом Степан начал размышлять, как завтра продаст на толкучем рынке пиджак и шапку и уедет. Куда поедет, он не знал, но твердо решил: надо уехать.

Вдруг он услышал, как кто-то спросил Прасковью Федоровну:

— Спит?

— По-моему, нет. Проходите.

В приделок вошли Яков, Аким и незнакомый Степану невысокий худощавый рабочий. Важеватов вскочил с койки и от неожиданности, по военной привычке, встал, вытянув руки по швам.

Аким протянул ему руку:

— Ну, вот и свиделись. Теперь мы видим: питерский.

Яков протянул ему бумажку:

— Тебе на старый адрес почтовый перевод пришел. На двенадцать рублей.

Степан взял перевод и вспыхнул от радости: почерк на переводе был Наташин.

Худощавый рабочий сел на табуретку, свернул цигарку и, протягивая кисет, спросил:

— Давно из столицы? Девятого января там еще был?

Степан замялся. Яков обнял его за плечи и ласково сказал:

— Ты от нас не таись, а держись за нас. Если мы и накричали на тебя, так для твоей же пользы. Кто против товарищей идет, всегда плохо кончает. Был у нас на фабрике случай...— Яков посмотрел на Балашова: — Рассказать ему про Васю-изобретателя?

— Расскажи.

— Так вот, работал у Гарелина слесарь Вася. Было ему лет под тридцать. Жену имел, двух ребятишек. С самого раннего возраста занимался Вася слесарным делом. Мог часы любые починить, граммофон, гармонь, паровую машину мог с закрытыми глазами разобрать и собрать. Если бы его немножко подучить, вышел бы из него не механик, а золото. Замки делал с музыкой, к самоварам свистки припаивал. Задумал однажды Вася изобрести машину, которая бы сама товар паковала. Начал он мудрить. Узнали об этом паковщики и говорят ему: «Зачем это ты делаешь? Без работы нас оставишь!» А он и отвечает: «Не могу я этого дела бросить. Я эту машину даже во сне вижу. А насчет себя вы не беспокойтесь: я с управляющим договорюсь, вас на другие работы поставят, да еще с повышением. Я же вам труд облегчить хочу».

Выдумал Вася машину, и, как только она действовать начала, рассчитали восемь паковщиков. Был среди них Тимофей Санкин, вдовец с тремя детьми. Рассвирепел Тимофей до крайности: «Не Вася он, а подлец, и мы из-за него страдаем!» Порешили все рассчитанные паковщики Васю проучить. Купили бутылку водки и уселись около железнодорожной линии на травке Васю поджидать, когда он с фабрики домой пойдет. Тимофей говорит: «Убивать мы, конечно, его не будем, но бока намнем». Сидят, ждут. Видят, идет Вася, как всегда, по железно-

дорожной линии и руками размахивает. Тимофей скомандовал: «Приготовиться, ребята, изобретатель показался! Ишь как руками по воздуху чертит! Опять, наверно, какую-нибудь машину выдумывает».

Вася все ближе и ближе. И вдруг видят — идет навстречу Василию из Кинешмы пассажирский поезд. Поезд идет, а Василий в сторону не сворачивает. Все забыли, что Васю бить хотели. Вскочили с травы и кричат ему: «Васька, уходи с полотна! Задавит!»

А он словно не слышит и не видит ничего. Руки на груди сложил и стал. А поезд уже рядом; свисток ревет, надрывается. Тимофей побежал к Васе и не успел: Василия ударил паровоз, сшиб и подмял под себя.

Вытащили искромсанное тело. В кармане нашли записку: «Замучила меня совесть. Обманул заведующий. Пес, а не человек. Не могу я больше жить. Стыдно людям в глаза смотреть, которые из-за моей глупости страдают». Вот и весь рассказ.

Все молчали. Первым заговорил худощавый.

— Слышал? Ты посмотри — нас в комнате четверо. Яшу со всех фабрик увольняют, только вчера на паровозе кочегаром устроился. Аким безработный. Жену у него ни за что ни про что в тюрьму укатали. Тебе тоже, видно, в Питере не сладко жилось, если родных там покинул и здесь скитаешься. Хозяйке твоей Прасковье Федоровне седьмой десяток на исходе. В это время положено человеку отдыхать, на внучат радоваться, а она за десять рублей в месяц спину целыми днями гнет, недоедает, недосыпает. Мужа фабрика сожрала: лопнул в отбельной котел — вынули Алексея Петровича бездыханного. Сын на «Варяге» погиб. Сноха, не выдержав, с ума сошла и во владимирской больнице мается. Все обездоленные. А сколько таких домов в нашем городе! Под каждой крышей свое горе, своя беда. А если мы сами себе помогать не будем, дружить не будем, кто нам поможет? Ты девятого января в Питере был, видел, как царь рабочему народу помог. Держаться нам надо друг друга. И ты правильно сделал, что расчет взял. Мы тебе поможем, потерпи немного.

— Спасибо! Большое спасибо! — торопливо ответил Степан. — Я здесь человек новый, порядков здешних не знаю, вот и промахнулся. А уж так мне, братцы, потом тяжело было! Вы у меня с души камень сняли.

Прасковья Федоровна подсела к Степану и пошутила:

— Ничего, обомнешься. Привыкнешь к нашей жизни. Еще орлом будешь.

Худощавый сказал:

— Обомнется.

Он внимательно посмотрел на Степана и, сделав знак Прасковье Федоровне, чтобы она вышла, спросил в упор:

— Скажи, парень, по совести: ты язык за зубами держать умеешь?

Степан от неожиданности растерялся и невпопад ответил:

— Какой язык?

— Свой, конечно,— усмехнувшись, разъяснил Яша.

— Наверно, умею.

— Давай поговорим об одном предмете. Ты пока без работы, делать тебе нечего. Есть у меня к тебе, товарищ Никитин, просьба. Завтра Яков поедет с товарником в Шую. Ему от паровоза отлучаться нельзя, а в Шуе надо захватить небольшой груз, пуда два-три. Пока паровоз стоит, воды набирает, сходи на Малую Ивановскую улицу, в дом Замятиной, и разыщи там Павла Дмитриевича Гусева. Скажи ему: «Я к вам от крестного». Он тебе выдаст дорожную корзинку. Неси ее на паровоз, а как в Иваново вернешься, храни до распоряжения у себя.

Степан выслушал и спросил:

— А можно знать, что в той корзинке?

— А зачем тебе?

— Как зачем? А вдруг полицейского встречу, и он спросит,— что я ему отвечу?

— Правильно. Я вижу, котелок у тебя варит. В корзинке будет бумага. Самая обыкновенная чистая бумага номер шесть.

— А если меня спросят, зачем мне столько бумаги, что отвечать?

— Надо подумать... Говори так: работы, мол, нет, хочу бумагу на половинки порезать, конвертов наделать и пока по деревням вразнос, а потом мечтаю лавочку открыть.

— Понял.

— Действуй.

Посидев еще минут пять, худощавый малый ушел, пожелав Степану удачи.

— Вернешься из поездки, мы насчет твоего устройства поговорим.

Степан после его ухода долго молчал, поглядывая на улыбавшегося Якова, и, не выдержав, первый спросил:

— Кто это?

— Очень хороший человек.

— Как его зовут?

— Это знать тебе пока рано. Одно помни: с этим человеком не пропадешь. Многому научит. Сам он с малолетства годов двадцать пять по фабрикам мается. Не раз в тюрьме сидел.

— За политику?

— За нее самую. Книг он столько прочитал, что нам с тобой и во сне не снилось. О чем его только не спроси, на все ответит. Я с ним однажды в село Авдотьино по делу ходил, так он мне всю дорогу про «Медного всадника» читал, сочинение Пушкина. Наизусть знает. Какие государства в мире есть, как там люди живут, про моря, про океаны — про все знает...

Важеватов перебил Якова:

— А все-таки он неосторожно поступает.

— Не понимаю, о чем ты.

— Видит меня в первый раз, не знает, кто я, и поручает мне такое дело.

— Какое дело?

— Бумагу привезти.

— Ну и что тут особенного?

— Я же понимаю, для чего ему бумага требуется.

— Для чего?

— Прокламации печатать, листовки.

— Догадлив!

— Ребенок и тот догадается. А вдруг я подведу?

Яков встал и, уже не улыбаясь, серьезно сказал:

— Он меня о тебе спрашивал, и я за тебя поручился. Если я ошибся, у нас только корзинка бумаги пропадет, а тебе, Никитин, не жить больше в этом городе.

— Не обижайся, Яша.

— Не в обиде дело, а в том, что я тебе, сам не знаю почему, верю и хочу с хорошими людьми свести.

Степан протянул ему руку:

— Я тебя никогда ни в чем не подведу.

На другой день, прежде чем идти на станцию, Степан забежал на почту и получил деньги.

«Дорогой Ваня,— писала Наташа,— посылаю тебе немного денег. Дома у нас все по-старому, только мама прихварывает. Миша уехал к себе на родину. Он не хотел, но его очень об этом попросили, и он не смог отказаться. До свиданья. Крепко целую. Любящая тебя сестра Наташа».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Михаил Фрунзе уехал не на родину. Конец февраля и первую половину марта он жил в Петербурге, ночуя то у Никитиных, то у рабочего Путиловского завода Петра Чернышева, с которым его когда-то познакомил Иван Никитин.

Подходя как-то вечером к дому, где жили Никитины, Михаил заметил на углу подозрительного типа, явно смахивающего на шпика. Тот стоял, засунув руки в карманы пальто, и равнодушно, казалось, посматривал по сторонам. Фрунзе зашел в помещавшуюся напротив бакалейную лавку и, делая вид, что выбирает покупку, начал наблюдать за шпиком.

Мимо прошел студент. Шпик ринулся за ним и, очевидно разочаровавшись, отошел на старую позицию.

Сомнения не было: шпик кого-то ждал. Может быть, он ждал и не его, но Фрунзе справедливо рассудил: лучше к Никитиным не заходить.

Уйти от шпика, пока тот не разглядел его в лицо, особого труда не представляло. Ничего студенческого на Михаиле не было. По одежде — ватной тужурке, сапогам и шапке-ушанке — он ничем не отличался от рабочего. Идти к Чернышеву ему не хотелось: он только что провел у него две ночи подряд. Больше беспокоить сердечную, радушную семью было неудобно, и он пошел, раздумывая, куда ему деться.

Оставалась еще одна квартира, где ему всегда были рады и принимали как самого дорогого гостя,— квартира Оли Генкиной.

С Генкиной его тоже познакомил Иван Никитин. Когда они шли к ней впервые, Иван предупредил, что Ольга Михайловна член партии и выполняет очень важные поручения Петербургского комитета. На звонок им открыла дверь молоденькая девушка, почти девочка, в коричневом форменном платье гимназистки с белым кружевным воротничком. Две тяжелые косы темно-русых волос с синими бантами опускались ниже талии. Большие серые глаза из-за густых, длинных ресниц казались черными.

Она приветливо пригласила:

— Проходите, раздевайтесь.

Иван, обняв Михаила за плечи, сказал:

— Ну вот, Оленька, и мой друг Михаил. Прошу любить и жаловать.

Фрунзе, никак не ожидавший, что эта девочка и есть Ольга Генкина, смущенно произнес:

— А я думал... здравствуйте.

Оля улыбнулась, а Иван откровенно расхохотался:

— Я так и знал! Ты, Миша, наверно, предполагал, что Ольга Михайловна совсем другая: высокая, полная, в очках и годится тебе по крайней мере в мамы. А она у нас...

Ольга не дала ему договорить:

— Послушайте, Ваня, я когда-нибудь на вас всерьез рассержусь! Идемте в комнату.

С этой встречи и началась их дружба. Михаил был бы рад хоть ежедневно видеть Олю, но делать этого было нельзя по конспиративным соображениям; кроме того, Генкиной часто не было в столице: она уезжала по заданиям комитета.

Сегодня, Михаил это знал, Оля была дома, и можно направиться к ней. На Обводном канале ему пришла мысль, что он поступает неосторожно: может притащить за собой шпика и провалить Олю,— и он решительно зашагал обратно. Внимание привлекла вывеска трактира для ночных извозчиков, и Фрунзе подумал, что на сегодняшнюю ночь лучшего места, пожалуй, и не найти. Здесь можно совершенно спокойно пробыть до утра.

Он спустился по грязным ступенькам, выбрал столик подальше от входа и заказал бутылку пива, воблу и пару чая.

За соседним столиком сидел пожилой крестьянин и старательно выводил на конверте печатными буквами адрес. Кончив

писать, он тяжело вздохнул, лизнул конверт, заклеил и достал из кармана коробочку из-под ландрина. В коробке была махорка. Он пошевелил махорку тугими пальцами и вытащил марку. Увидев, что Михаил наблюдает за ним, крестьянин печально сказал:

— Письмо нерадостное. Думал заработать здесь, а у меня лошадь пала. И не пойму отчего. Кормил, кажется, как следует. Сам недоедал, а в нее впихивал. Раздулась, как дом, и сдохла.

Он пересел к Михаилу и шепотом заговорил:

— Ты, я вижу, парень толковый, ходовой. Есть, говорят, общество пособия бедным. На Пантелеймоновской улице, в доме Кноппа. Дадут мне там пособие иль нет?

— Нет, не дадут. Там только бедным женщинам помогают, а вы мужчина.

— Какой я мужик! Силы у меня — что у воробья. Значит, не дадут? Плохо. Я думал, дадут.

Крестьянин положил конверт на стол, и Фрунзе невольно прочитал адрес: «Деревня Пречистенка Сибирской губернии». Он спросил:

— Куда вы письмо посылаете?

— Как куда? Домой!

— Откуда вы?

— С Волги мы. Из-под Симбирска.

— Я так и понял. А вы написали — Сибирской губернии. Нет такой. Если не исправить, письмо ваше не дойдет.

— Помоги, братец, напиши как следует.

Михаил исправил адрес, написал, какого уезда деревня Пречистенка.

— Вот теперь дойдет.

— Спасибо! Большое тебе спасибо! Дай тебе бог здоровья.

Мужик пошел к выходу. Около одного столика он остановился и, держа конверт в вытянутой руке, что-то говорил извозчикам, показывая на Михаила.

Фрунзе налил себе стакан чаю, но выпить ему не удалось. К нему подошел молодой извозчик и деловито осведомился:

— Письмо написать можешь?

— Могу.

— Давай пиши.

— На чем писать? У меня ни бумаги, ни конверта нет.

— Это мы устроим

Извозчик подошел к стойке и спросил бумаги. Буфетчик, высокий рябой мужик, кивнул в сторону Фрунзе:

— Адвокат?

— Нет, писарь.

— То-то, а то адвокат сдерет...

Парень положил на стол несколько листков почтовой бумаги и один конверт.

— Пиши.

— Диктуй.
— Чего?
— Сказывай, что писать.
— «Дорогие тятенька и маменька! Любезные братец Николай, сестрицы Лиза, Маня, Катя, Феня, Мотя и Варя...»
Михаил улыбнулся.
— Много у тебя сестер!
— Вот и беда, что много! Земли на них не полагается, только на мужскую душу, а жрать они горазды. Замуж без приданого никто не берет. Ты давай пиши — мне ехать надо.
Перебрав всю многочисленную деревенскую родню и отвесив каждому по поклону, извозчик сказал:
— Теперь пиши так: «Во первых строках сообщаю, что дядю моего Алексея Митрича Солонкина я свез на кладбище. Доктор сказывал, что умер он от простуды. Валенки у него были худые, а на кожаные калоши денег не собрал. Лошадь, сбруя и все имущество у хозяина, где мы стояли. И еще — дошли до вас слухи о здешнем большом смертоубийстве...»
Михаил положил ручку:
— Об этом не надо. Письмо может не дойти.
— Как это так — не дойти? Правильно напишешь, дойдет.
— Я напишу правильно, но на почте могут письмо прочитать.
— Как же они прочитают? Оно заклеенное.
— Отклеят.
— Могут разве?
— Могут.
— Тогда не пиши. Они, наверно, и так знают. Наш поп две газеты получает.
Получив письмо, извозчик встал, порылся в кармане и протянул Михаилу пятачок. Фрунзе чутьем конспиратора понял: отказываться от вознаграждения нельзя. Гораздо удобнее прослыть среди извозчиков и ночных посетителей трактира писарем. Он взял пятак и сказал:
— Много даешь. Хватило бы и трех.
— Ничего, заработаю. Будь здоров.
Молодого извозчика тотчас же сменил высокий старик с длинной белой густой бородой:
— Прошенье мне надо в суд. Напишешь?
Михаил посмотрел на буфетчика, прислушивавшегося к их разговору.
— Прошений не пишу. Не имею права.
— А ты потихоньку.
— Не могу. Судят за это. Письмо родным напишу.
— Давай пиши.
Всю ночь, до самого рассвета, писал он письма. Втихомолку сочинил два прошения в суд.
Разделавшись со своей неожиданной клиентурой, Михаил начал письмо к матери. Он долго сидел, перебирая в памяти

события последних дней. Вспомнил, как в конце лета мать, провожая его в столицу, говорила: «Кончишь институт — мне легче будет. Инженеры, наверно, хорошо живут, доходы у них большие. Заберешь тогда меня и сестренок к себе, учиться им поможешь»,— и вздохнул. «Эх, мама, мама! Не оправдались твои расчеты! Не будет твой Миша инженером. Не брани меня, мама. Пойми. Иначе я жить не могу».

«Жребий брошен. Рубикон перейден», — написал он на листке.

Под утро в трактир ввалился молодой возчик:

— Все пишешь, парень? Смотри, какую я тебе коммерцию устроил! Причитается с тебя. Сколько наскреб?

Уходя, Михаил подошел к стойке и положил шесть пятаков, половину своего ночного заработка. Буфетчик ловко смахнул медяки в ладонь и подмигнул:

— Захаживай!

Из трактира Михаил направился к Чернышевым.

Петр встретил его на пороге:

— А тебя вчера разыскивали.

— Кто?

— Семенов. Ты очень нужен.

Семенов был большевик, активный работник Нарвского района. С ним Михаил познакомился через Ивана Никитина.

— Хорошо,— сказал Михаил.— Я пошел к нему.

Семенов жил недалеко от завода. Войдя во двор большого дома, Михаил сразу увидел его. Он стоял с колуном около большой кучи расколотых дров. Рядом истопник собирал поленья в вязанку.

— Здравствуй. Вот зарабатываю — колю дрова для котельной. Люблю эту работу: полезная для здоровья.

Истопник крякнул, поднял вязанку и ушел в кочегарку. Семенов снял шапку и закурил.

— Собирайся.

— Куда?

— В Москву. Здесь тебе оставаться нельзя.

— Почему?

— Возьмут. Полиция словно бешеная. Не постеснялась даже Горького арестовать. Сажают направо и налево.

— Я не боюсь.

— Чудак ты, брат! Я не об этом. Ты партии нужнее на свободе, нежели в тюрьме. Успеешь еще насидеться. Надо будет— в Питер вернешься. Время сейчас горячее, скоро Третий съезд. Надо выбивать у меньшевиков почву из-под ног. «Вперед» шестой номер видел?

— Нет еще.

— Сейчас я тебе дам. Там есть статья «Две тактики». Ленин, чувствуется, писал. Его мысли и стиль. Почитай.

— Обязательно.

Вернулся истопник. Семенов поднялся:

— Покурили — и хватит. А ну, племяш, работай.

Михаил взял колун и ударил по толстому полену. Оно разлетелось со звоном.

— Молодец! Нашей, семеновской породы!

Вечером, получив явки и деньги на дорогу, Михаил, благополучно избежав слежки, выехал в Москву.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Главный полицейский начальник Иваново-Вознесенска полицмейстер Кожеловский, несмотря на то что он мог, как хотел, управлять большим городом со стотысячным населением, был недоволен своей должностью. Происходило это оттого, что он считал себя пригодным для более видного поста. Оставаясь в кругу семьи и особенно наедине с женой, молчаливой, очень запуганной женщиной, он часто осуждал действия московского обер-полицмейстера Трепова:

— Везет Трепову! А почему? Связи. Деньги. Как-никак, свиты его величества генерал-майор. Только этим и берет. А порядки в Москве аховые. Я бы там навел тишину!

Когда Трепова назначили петербургским генерал-губернатором и поселили в Зимнем дворце, Кожеловский воспринял это как личную обиду.

— Митьку — в Зимний! — говорил он жене.— Мне бы его связи!

И уже совсем неодобрительно отзывался он о своем непосредственном начальнике, владимирском губернаторе Леонтьеве:

— Старый хрыч! Ничего не смыслит!

Особенно раздражало его придворное звание губернатора, которое, он знал, никогда, ни при каких обстоятельствах ему, Кожеловскому, пожаловано не будет. Копируя Леонтьева, он кривил рот, сгибал ноги в коленях, сутулил спину и шепелявил:

— Егермейстер высочайшего двора! Подумаешь! Дубина великосветская!

Высокий, худой, в болтающемся, как на вешалке, мундире, он никогда не улыбался и весь исходил завистью и желчью. Завидовал он всем — Трепову, Леонтьеву, фабриканту Гарелину, завидовал даже своей кухарке Авдотье, глядя на ее пышущее здоровьем лицо.

Рабочих он ненавидел, но к арестованным Кожеловский вначале испытывал нечто вроде своеобразной любви. В каждом заключенном он видел шанс прославиться раскрытием необычайного заговора, что дало бы ему возможность выдвинуться поближе к высшему начальству.

Но всех больше Кожеловский ненавидел жандармского рот-

мистра Шлегеля. У Шлегеля было одно преимущество, которого у полицмейстера не было и о котором он мечтал: ротмистр имел право лично связываться с министром внутренних дел. От секретных донесений Шлегеля зависела судьба и самого Кожеловского. Он, Кожеловский, был хотя и крупным, но все же только полицейским чиновником, а Шлегель был доверенным лицом.

Он не только ненавидел ротмистра — он его боялся. Всегда одетый с иголочки, в белоснежных перчатках, надушенный французскими духами, спокойный, невозмутимый, с легкой иронической улыбочкой, Шлегель вызывал у Кожеловского необъяснимое чувство страха и уважения. Шлегель никогда не бранился, не гневался. В минуты раздражения он лишь слегка оттопыривал нижнюю губу и торопливо лез в карман за тяжелым золотым портсигаром с бриллиантовой монограммой.

Был в Иваново-Вознесенске еще один жандармский ротмистр, Левенец, бывший гвардейский офицер, исключенный из гвардии за растрату казенных сумм. Левенца никто и никогда не видел трезвым. Он ходил в старом, обтрепанном мундире, курил дешевые папиросы «Трезвон», занимал деньги у рядовых жандармов и отдавал долг только после многократных напоминаний. На службе он держался благодаря Шлегелю, который терпеть не мог людей умнее себя.

Донесения, составляемые Левенцом, были всегда кратки: он не любил себя утруждать. Когда доносить было не о чем, он выдумывал.

Кожеловский окрестил Левенца скоморохом, но в одном они сходились: Левенец ненавидел Шлегеля и боялся его.

В руках этих трех людей было стотысячное население города. Сами по себе они ничего не представляли, но за ними стояла вся государственная власть с судом, тюрьмами, каторгой, смертными приговорами. В их распоряжении были сотни городовых, конных стражников, казаков. По их вызову в любую минуту в город могли прибыть карательные отряды. Каждый житель города, исключая, конечно, фабрикантов, дворян и духовенство, мог быть арестован, заключен в тюрьму, избит по одному подозрению, по доносу домовладельца, дворника и просто шпика.

В середине марта главной задачей Шлегеля было найти подпольную типографию большевиков. Во-первых, это сулило награду и еще большую благосклонность высшего начальства; во-вторых, ему надоело выслушивать донесения о появляющихся листовках и прокламациях.

Шлегель не глядел на сидевшего напротив Кожеловского и внимательно изучал листовку. Она была напечатана гектографическим способом на четвертушке обыкновенной писчей бумаги № 6. Кое-где строки лежали неровно, криво.

«Российская социал-демократическая рабочая партия.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ко всем рабочим города Иваново-Вознесенска.

Товарищи! Наши хозяева сбавляют нам полчаса, вводят 11-часовой рабочий день. Хозяева входят с нами в панибратские отношения, приходят (у А. И. Гарелина), дают папиросы и объявляют о своей милости рабочим. Что это такое?

Впрямь ли такая забота напала на хозяев об нас? Что за причина их благодеяний? Знайте, товарищи, — это волки приходят к нам в овечьей шкуре, чтобы легче обмануть нас, легче захватить добычу.

Боязнь забастовок заставила их скинуть полчаса. Скинувши полчаса, наши волки, однако, наверстают свое. Почти везде переменены шестерни и приводы. Ход у машин стал быстрее, труд рабочих будет напряженнее и тяжелее, а хозяева получат большую выгоду. Выходит, не мытьем — так катаньем».

Шлегель, дочитав листовку, вслух сказал:

— Умно написано, ничего не скажешь. Поэтому и вредно, что умно.

Кожеловский махнул рукой:

— Особенного ума не нахожу. Так, обычная босяцкая агитация. Рабочие — овцы, фабриканты — волки. Не в первый раз.

— Вода камень точит, ваше высокородие, а это посильнее. Это написано очень знающими людьми. Вы обратите внимание: «ход у машин быстрее». Пронюхали, скоты!

Полицмейстер, повертев листовку между пальцами, иронически заметил:

— Скажу вам по совести: содержание этих высокоталантливых произведений подпольных литераторов меня абсолютно не интересует. Вот если бы узнать, где их делают, это другое дело.

— Попытайтесь.

— Пытаюсь. Нюхаю.

— А может быть, извините, принюхались? Чутье в некоем роде потеряли.

Кожеловский побледнел от злости, встал и протянул руку к своему черному портфелю. Ротмистр мягко отвел его руку:

— Давайте не будем ссориться. Сейчас не время. Вы посмотрите, чем кончается эта листовка. Читайте вслух.

Полицмейстер громко прочитал:

— «Долой самодержавие!»

— Ну как? Нравится? Поняли, ваше высокородие? Это впервые здесь. Для здешних мест лозунг новый. Вот что нам с вами не нужно забывать — «Долой самодержавие!». Это значит долой и вас, и меня, и всех нас... А типографию мы найдем. Я уже зацепил одну ниточку. Тяну. Может, размотаю весь клубок. Но хочу вас предупредить: провинциальные методы надо сдать в архив. Враги у нас умные. Ум-ны-е!

Кожеловский простился и ушел, договорившись о визите к Гарелину. В дверь постучали.

— Ну, кто там? Войдите!

Вошел дежурный.

— Вас, ваше высокородие, какой-то студент дожидается.

— Я занят.

— Говорят, что очень важное, неотложное дело.

— Пусть войдет.

В распахнутую им дверь не вошел, а влетел Игорь Кручинин. Ротмистр предложил Кручинину стул и деловито спросил:

— Что-нибудь важное?

Кручинин страдальчески сжал губы и театрально схватился руками за голову.

— Не могу я больше! Не могу! Освободите меня.

Шлегель брезгливо пододвинул ему стакан воды:

— Успокойтесь. Что вы, собственно говоря, просите? Чего вы не можете?

— Я жить не могу. Я иду по улицам, и мне кажется, что на меня все смотрят и шепчутся: «Смотрите, вот он идет».

— Кто же это «он»?

Кручинин встал и, набравшись решимости, закричал:

— Я не хочу быть предателем! Не хочу!

Шлегель откинулся на спинку кресла и зевнул.

— Прекратите истерику, вы не девица, а насчет того, что вы больше не хотите быть предателем, — сомневаюсь.

— Я только и мечтаю об этом!

— Зачем мечтать? Откажитесь. Это ваше личное дело.

— Значит, я могу отказаться?

— Пожалуйста.

Кручинин в изумлении посмотрел на ротмистра и вдруг с тревогой спросил:

— А вы?.. Как вы поступите?

— Это уж мое личное дело. Кто нам не друг, тот враг. Я постараюсь где-нибудь обронить вашу расписку, данную в Петербургском охранном отделении, и копии протоколов вашего допроса. Обронить так, чтобы они попали в эти... нелегальные газеты. А может, даже и в легальные. И все ваши знакомые, ваши друзья узнают, что полюбившая вас Вера Орлова своим столь отдаленным местопребыванием обязана вам. Это в лучшем случае. В худшем — вы однажды, возвращаясь ночью домой, натолкнетесь на какого-нибудь верзилу. Он прикончит вас где-нибудь в темном углу, и, как пишут в некрологах, «горе осиротевших родителей не поддается описанию».

— Как это низко!

— Не люблю пышных слов. Они для поэтов. Я человек практический. Почему низко? У каждого своя точка зрения. У поэтов солнце — источник жизни, светило, а для моего дворника Никиты солнце самый лучший дворник. Все, говорит, высушит во дворе, все приберет. Луна для поэтов — непременная спутница влюбленных, а для ночных воров — чистая помеха. Найдите и вы

свою, правильную точку зрения на ваши обязанности и успокойтесь. — Голос Шлегеля стал сух, в нем послышались повелительные нотки. — Успокойтесь и не смейте являться ко мне без вызова. Больше я от вас сентиментов выслушивать не намерен. Идите.

Игорь встал и, шатаясь как пьяный, пошел к выходу. Дойдя до середины комнаты, он повернулся:

— Я покончу с собой. Вы будете во всем виноваты.

— Это ваше личное дело. Но я думаю, что вы будете жить. До свиданья. Я извещу, когда вы мне понадобитесь.

Выпроводив незваного гостя, Шлегель звонком вызвал дежурного:

— Есть там кто-нибудь?

— Никак нет, ваше благородие.

— Через полчаса подать коляску.

И, как было условлено, спустя полчаса Шлегель отправился на именины главы фирмы «Товарищество мануфактур. И. Гарелин с сыновьями».

* * *

Предки у большинства иваново-вознесенских фабрикантов — Гарелиных, Куваевых, Витовых, Дербеневых, Зубковых, Грязновых и других — были крепостными.

К началу XX века Гарелины считались в округе самой богатой семьей. С их миткалевоткацких, отбельных и ситценабивных фабрик ежегодно уходило на Нижегородскую ярмарку, в Москву, а оттуда расходилось по всей России почти два миллиона кусков ситца, бязи, миткаля, сатина, обойных и разных других тканей. В каждом куске было сто двадцать аршин. Гарелинскими тканями можно было несколько раз опоясать земной шар.

На Гарелиных работало несколько тысяч рабочих. Никто не знал, сколько у первейших иваново-вознесенских богатеев денег, но ходила досужая молва, что не меньше двадцати миллионов.

Главе фирмы, Александру Ивановичу, было за сорок лет. Это был крепкий, красивый человек, всегда хорошо, со вкусом одетый. Он ничем не походил на своих отдаленных предков — крепостных, ходивших в армяках и евших щи и кашу в общей трапезной из одной чашки. Он мало походил и на своего отца, всю жизнь не снимавшего долгополого сюртука, подстригавшегося по старинке в кружок и лупившего своих детей за обедом ложкой по лбу. Александр Гарелин получил хорошее образование, не раз бывал за границей, и не только на курортах Ниццы и Баден-Бадена. Он посетил многие текстильные фабрики Англии, Франции, Германии. Все, что было нового и сулило большие прибыли, Гарелин вводил на своих фабриках.

Иные ивановские фабриканты отличались чудачествами. Мефодий Гарелин был настолько скуп и жаден, что мог догнать

нищего, отобрать поданный женой гривенник и заменить его копейкой. Миллионер Фокин, державший отличных лошадей, выезжая на дачу, требовал, чтобы в плохую погоду вместо лошадей на станции его ожидал кучер Трофим. Кучер был богатырского сложения и легко доносил хозяина до дачи на закорках. Когда знакомые спрашивали Фокина о столь странном способе передвижения, он, удивляясь, переспрашивал:

— А как же? По такой дороге экипаж портится и лошадям трудно, да и трясет, а Трофиму одно удовольствие.

Сыновья Полушина все свободное время — а его у них было достаточно — убивали на разные выдумки. Им ничего не стоило заложить парадную коляску и, усевшись в нее совершенно голыми, медленно, шагом проехать по всему городу. Впереди шествовал духовой оркестр.

Фабрикант Бурылин, совладелец крупнейшей Куваевской мануфактуры, по крайней мере сделал полезное дело для будущего. Все свои огромные средства вкладывал в музей, скупал мумии в Египте, древние книги у раскольников, фарфор в Китае, письма Толстого, рукописи Флобера. В огромном особняке, выстроенном специально для музея, хранились ценнейшие экспонаты, сделавшие бы честь любому национальному хранилищу.

Грязнов, внук крепостного, ходившего в лаптях и разбогатевшего после убийства проезжего купца, изощрялся в приготовлении необычайных блюд. Держал двух поваров, француза и грузина, которого сманил из какого-то южного приморского кабачка. Грязнов за всю жизнь не прочитал ни одной книги, не имевшей отношения к ткацкому делу и коммерции. Но он обладал редчайшей библиотекой поваренных книг на всех основных языках мира. За новый, неизвестный рецепт салата, соуса или сладкого блюда Грязнов не жалел тысячи рублей. Его мечтой было создать такое блюдо, которое вошло бы в историю кулинарии, как вошли беф-строганов, гурьевская каша, битки по-драгомировски. Но мечте так и не суждено было сбыться: не хватило фантазии.

Рабочие знали слабости своих хозяев и давали им презрительные клички. Мефодия Гарелина называли Мефодкой Сиротой, Грязнова окрестили Пузырем, Зубкова, любителя лошадей, — Конокрадом. Прозвища настолько прилипали к их обладателям, что одного из Дербеневых даже собственная жена под горячую руку величала Кащеем.

Но сколь ни различны были фабриканты по своему образу жизни и по привычкам, в одном они были одинаковы: в жестоком, беспощадном уменье выколачивать из рабочих каждую копейку. Не было, кажется, нигде такой дикой, бесчеловечной эксплуатации людей, как на текстильных фабриках Иваново-Вознесенского района.

У Гарелина прозвища не было. Он был просто Александр Иванович. Он знал в лицо всех своих рабочих, стариков масте-

ров и подмастерьев называл по имени и отчеству. Беседуя с рабочими, он никогда не повышал голоса, мог раскрыть золотой портсигар и раздать все папиросы.

Фокина, когда фабричный инспектор предложил ему устроить вентиляцию, чуть не хватил удар. Гарелин сам пригласил инспектора, посоветовался с ним.

И все же гарелинские рабочие зарабатывали столько же, сколько и остальные. Жилось им так же плохо. Но прибыли у Александра Ивановича было куда больше, чем у Фокина и Бурылина.

* * *

Старик швейцар, приняв в передней шинель Шлегеля и ротонду его супруги, гостеприимно пригласил:

— Пожалуйте, Карл Францевич, пожалуйте, батюшка.

— Что, мало гостей? Экипажей у подъезда не видно.

— Все лошадей отпускают. Приказывают приезжать не раньше часу ночи.

— И мои отпустят?

— Зачем же лошадкам мерзнуть?

— Пусть стоят — могут потребоваться.

— Ничего, надо будет — на наших доедете.

Поднявшись по мраморной, устланной пушистым ковром лестнице на второй этаж огромного гарелинского дома и пройдя в большую, богато обставленную гостиную, Шлегель услышал сиплый голос Грязнова:

— Сегодня мне рецепт нового салата приволокли. Еще не пробовал, но, видно, толковая будет пища. У меня свои соображения имеются. Хочу вместо чернослива миндаль положить...

Его перебил мрачный Зубков, давно страдавший печенью и сидевший поэтому на диете:

— Охота тебе болтать о пустяках! Приедешь домой, буди своего француза и толкуй хоть до зари. — Заметив Шлегеля, Зубков, не стесняясь, продолжал: — Уловитель заблудших душ прибыл! Вот с ним толковать сейчас в самый раз. Ну как, ваше благородие, будет у нас забастовка или минует нас чаша сия?

— Предсказания, к сожалению, в мои обязанности не входят.

— Жаль, не к гадалке же нам обращаться!

— Ничем не могу, к сожалению, помочь.

— Да что вы, ротмистр, заладили — сожалею, сожалею! Жалеть нас нечего, небось не нищие!

Зубков раздражался все больше. Он уже не говорил, а кричал. На него стали оглядываться. Шлегель невозмутимо отошел.

Толстяк Щапов начал увещевать Зубкова:

— Напрасно в ссору лезешь. Не вышло бы неприятностей. Донесет министру.

— Подумаешь! Сегодня он министр, а завтра ко мне в уп-

равляющие наниматься придет. А на Шлегеля я смотреть спокойно не могу. Вырядился, надушился. А у меня вчера в корпусах все простенки прокламациями заклеили. Он, как старый кот, мурлыкает, а мышей не ловит.

— Но все же надо потише.

— А я не на базаре — промеж своих.

В другом конце гостиной разговор хотя и в более спокойном тоне, но все же вертелся вокруг возможной забастовки и прокламаций.

— Скажите, Карл Францевич,— допытывала Шлегеля фабрикантша Витова,— правда ли, что от нас якобы отзывают казаков? Куда их переводят?

— Мне об этом ничего не известно. Но в одном я уверен: отзовут — пришлют новых. Наш город и вас, дорогая Евпраксия Галактионовна, без охраны не оставят.

Обед прошел в молчании, разговаривать не полагалось, чтобы полностью насладиться искусством повара. Дамы перешли в гостиную, мужчин Гарелин пригласил в кабинет. Туда подали кофе и ликеры.

— Нам, поскольку мы все вместе собрались, надо кое о чем посоветоваться. Петр Ксенофонтыч, рассказывай.

Управляющий домовой конторой Гарелина Рыкунов, только утром возвратившийся из Москвы, начал докладывать о своей поездке:

— Утешительного в первопрестольной мало. Видел я Ивана Никаноровича Дербенева. Он накануне прибыл из столицы. Говорит, что беседовал с министром Коковцевым, спрашивал, какие предположения у правительства в отношении рабочих. А тот ему якобы ответил: «Делайте, как хотите, мы вам помогать ничем не будем, да и не знаем как». Так что вернулся он ни с чем.

Зубков проворчал:

— Не надо было и ездить. Словно не знал! Они там в Питере головы потеряли.

Рыкунов продолжал:

— Позавчера в бирже было собрание. Обсуждали резюме комиссии по рабочему вопросу. Решили, что платить рабочим за время забастовки никто не будет, и даже заключили такую конвенцию — не платить. Кто конвенцию нарушит и будет платить, тому бойкот. А в общем, шуму в Москве много, разговоров еще больше, но никто не знает, что делать.

Зубков в раздражении сказал:

— Мы не знаем, зато они знают — «товарищи»! Что ни день — новая прокламация. Я бы всех, кто пишет в газеты, в порошок стер! Пишут черт знает о чем, а вот не догадаются написать для рабочих, чтобы не слушали агитаторов. Очень просто: агитаторы им работы не дадут. Как ни бастуй, а век доживать придется с нами, с фабрикантами. Рассказали бы на-

роду — глядишь, и перестали бы по городу своевольничать с красными флагами.

Гарелин, не отвечая Зубкову, сказал:

— Мы должны сами об этом подумать. Время мы переживаем тревожное, в делах застой. В одиночку мы ничего не сделаем. Надо и нам действовать сообща, дружно. Рабочие на нас стенкой — и мы на них. Так и будем жить — стенка на стенку. Их, конечно, побольше, но мы зато поплотнее, не очень повоюешь с нами на пустое брюхо.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Нередко случалось, что открытие или изобретение, сделанное пытливым русским человеком, долгое время не признаваемое на родине, возвращалось из-за границы домой под новым, мудреным иностранным названием. Этой горькой судьбы не избежал и множительный аппарат, изобретенный в конце 60-х годов XIX века типографом Михаилом Ивановичем Алисовым. Различным техническим комитетам и министерствам предлагал Алисов свой чудесный ящик, заменявший труд многих переписчиков. Аппарат рассматривали, удивлялись простоте его действия, одобряли дешевизну и... отказывались: «Ни к чему это нам!»

Через несколько лет изобретение Алисова вернулось на родину под новым названием — гектограф и быстро начало завоевывать свое место в государственных учреждениях, конторах торговых фирм и в армии. Но особенно его оценили революционеры. С помощью этого недорогого множительного аппарата даже небольшой студенческий или рабочий революционный кружок мог издавать прокламации и листовки. Правительство, разгадав, какую страшную силу таит гектограф, запретило пользоваться им без разрешения полиции. Только за одно хранение гектографа полагалось тюремное заключение, а за печатание листовок грозила каторга. Для изготовления гектографического слоя требовались химически чистый глицерин и желатин. Оригинал рукописи, с которого хотели сделать копии, писался специальными анилиновыми гектографическими чернилами. Желатин продавали в каждой бакалейной лавке. Труднее было раздобыть глицерин и гектографические чернила. Химически чистый глицерин, кроме аптек, нигде не продавали. Всякого, кто требовал его больше обычной дозы, аптекарь мог уже рассматривать как лицо явно подозрительное, о котором следует оповестить ближайшего городового или околоточного надзирателя.

И все же эти трудности были неизмеримо меньше возникавших при создании нелегальной типографии даже с самым несложным печатным станком. В этом случае все — станок,

шрифт, типографскую краску — приходилось добывать ценой невероятных усилий. Поэтому самым распространенным средством для издания нелегальных листовок в конце XIX и в начале XX века оставался гектограф.

В конце марта «Станко», ведавший типографией, по решению группы Северного комитета занялся военными делами. Он начал организовывать производство и склад оружия для небольшого отряда боевиков. Но прежде чем отпустить «Станко» из типографии, группа обязала его научить Архипыча обращению с гектографом.

Поздно вечером, отработав вторую смену, Архипыч прямо с фабрики отправился в Хуторово, где на Сретенской улице «Станко» облюбовал себе комнату у одинокой, почти совсем глухой старухи. Впустив Архипыча, «Станко» поплотнее закрыл окно и предложил:

— Начнем?

— Давай показывай.

— Смотри... Сначала мы сварим уху.

— Какую уху?

«Станко», разжигавший керосинку, засмеялся:

— Я так смесь для заливки гектографа называю. Она на самом деле ухой пахнет. Запомни рецепт: девять частей глицерина и одна часть желатина, растворенного в воде. Весов у меня нет, меряю стаканом. Но ничего, получается неплохо.

— А что в большой кастрюле?

— Вода.

— Зачем ты ее греешь?

— В нее я поставлю банку с глицерином: он будет нагреваться медленно и не подгорит.

«Станко» опустил банку с глицерином в кастрюлю с водой и, прибавив огня, часто опускал палец в глицерин, пробуя, как он нагрелся.

— Попробуй, Архипыч. Вот сейчас хорошо. Теперь мы в глицерин положим желатин и погреем еще немножко. Мешай чаще и не давай кипеть. Это все-таки не уха, пусть лучше немного не доварится.

«Станко» вооружился тряпкой и насухо вытер небольшой железный противень.

— От ящика я давно отказался. Противень лучше: не вызывает подозрений. Смотри, сейчас я буду разливать. Надо, чтобы слой получился одинаковой толщины и чтобы верх у него был ровный, гладкий как зеркало.

Он ловко опрокинул кастрюлю и залил противень ровным светло-желтым слоем. От слоя шел легкий пар.

— Пока застывает, мы будем печатать на другом.

Он достал из-под койки покрытый газетой противень меньшего размера.

— Я его вчера промыл — сейчас буду заряжать.— «Станко» разгладил свернутый в трубочку оригинал листовки.— Переписывать всегда заставляй Якова. Не пишет, а словно печатает: буквы ровные, четкие. И следи за ним: он два-три раза перепишет хорошо, а потом ему надоедает, а надо не меньше десяти раз, потому что с каждого оригинала получается не так уж много оттисков. Затем текст надо смывать и заряжать массу новым оригиналом. Чуть не забыл: чернила мне достает Пучков.

— Наборщик из Соколовской типографии?

— Да. Я ему завтра скажу, чтобы он тебе пару флаконов добыл. Пробовали мы писать разбавленной типографской краской. Получается, но чернилами лучше.

— А где глицерин берешь?

— Поставщик у меня один — Иван Токарев; у Витовых в печатной лаборатории работает. Он через день выносит в маленьком пузырьке, а как накопит — ко мне. Вчера приносил. Я тебя с ним познакомлю.

Рассказывая, «Станко» приложил оригинал к слою, несколько раз провел по нему валиком.

— Немного полежит, снимем и будем печатать. Хоть и канительное это дело, а я люблю им по ночам заниматься. Сначала одна листовочка получилась, потом вторая, третья. Смотришь — к утру большая пачка. Хорошо! Конечно, лучше бы нам настоящую типографию завести, но чего нет, того нет, будем пока этой пользоваться. Ну вот, Архипыч, все хозяйство. Орудуй. До поры до времени действуй здесь, а потом подыщем новое помещение. Ты сейчас давай самостоятельно печатай, учись, а я пойду.

— Куда?

— Дело есть.

«Станко» оделся и вышел. Архипыч посидел, покурил и принялся за работу. Стараясь подражать «Станко», он аккуратно положил на слой чистую бумагу, провел по ней валиком и снял. Один край листовки пропечатался плохо, буквы еле проступали. Архипыч наложил другую бумагу и провел валиком не один, а три раза, стараясь захватить всю поверхность. Сняв, он даже засмеялся от удовольствия: листовка получилась четкая, почти такая же, как у «Станко».

А «Станко» тем временем шел к центру города, направляясь к оружейному магазину Рослякова.

Как-то «Отец», разговаривая с Балашовым о «Станко», шутливо сказал:

— Из него бы вышел справедливый разбойник!

В этом случайно оброненном замечании было скрыто много наблюдательности. Даже в самой наружности «Станко» было что-то от старых романтических сказок о добрых разбойниках. Огромные карие глаза ярко горели на смуглом лице. Из-под небольших усов мелькали белые ровные зубы. На высокий лоб

крутыми, плотными завитками падали темно-каштановые волосы. Высокий, широкоплечий, он ходил легкой походкой. Одевался «Станко» так же, как и все, но многим казалось, что он даже форсун — так складно и красиво выглядели на нем самые обыкновенные пиджак и кепка.

Ничто на свете «Станко» не ненавидел так, как ненавидел он всяческие проявления деспотизма, жестокость. Тот, кто хоть однажды позволил себе в присутствии «Станко» унизить чье-либо человеческое достоинство, становился его личным врагом на всю жизнь. Правдивый, честный, он не терпел лжи и обмана и навсегда прекращал знакомство с теми, кто легкомысленно относился к своему слову. Отважный, не знающий никакого страха, он охотно брался за самые опасные поручения. Но он не был безрассудным: в каждое порученное дело он вкладывал весь свой ум и смекалку.

Родись «Станко» во времена Разина или Пугачева, он, наверно, примкнул бы к казачьей вольнице. В начале XX века за свободу боролась партия большевиков. «Станко» без колебаний вступил в эту партию и беспрекословно выполнял все, что от него требовали. Сейчас от него требовали создать и вооружить небольшой отряд боевиков. Он не прикладывал руки к козырьку, не щелкал каблуками и даже не сказал: «Будет сделано»,— но «Отец» и вся группа Северного комитета твердо знали: отряд будет.

Подходящие люди для отряда нашлись. Сложнее оказалось раздобыть оружие. Покупать револьверы не хватало денег. У нескольких членов партии нашлись два-три «бульдога» и «смит-вессона». «Станко» решил, как он сказал кочегарам Сучкову и Мартынову, первыми вступившим в отряд, «одолжить» оружие в магазине Рослякова. Два вечера он заходил в магазин и прицenивался к дорогому охотничьему ружью, за которое, он это знал, Росляков не уступит и копейки. Торгуясь, уходя и снова возвращаясь, словно он никак не мог уйти без понравившегося ему ружья, «Станко» внимательно рассмотрел расположение магазина. Входная дверь запиралась изнутри на два огромных крюка и засов. Служащие и хозяин входили через черный ход, который запирался снаружи двумя висячими и одним внутренним замком.

«Станко» повезло: он услышал, что хозяин вечером уезжает в Москву за товаром. «Станко» очень обрадовался этому обстоятельству: закрывать магазин будет старший приказчик, а он не будет тщательно осматривать все закоулки. «Станко» уже заприметил небольшую, задрапированную ковром нишу, где, по его расчетам, мог спрятаться невысокий человек.

О том, чтобы проникнуть в магазин через черный ход или взломать дверь главного входа, нечего было и думать. Лезть в окна тоже невозможно: на ночь опускались железные жалюзи. Оставалось одно: незаметно спрятать кого-нибудь в мага-

зине на ночь. Для этого «Станко» и облюбовал нишу с ковром. Была еще опасность — сторож, охранявший несколько магазинов и ходивший всю ночь вдоль тротуара.

На другой день после отъезда хозяина «Станко» перед самым закрытием зашел в магазин с Костей Зуевым. Поздоровавшись со старшим приказчиком, «Станко» принялся рассматривать охотничье ружье, умоляя уступить. Почти вслед за «Станко» вошли неразлучные друзья — кочегары с Куваевской Сучков и Мартынов. Они загородили нишу и громко спросили:

— Дробь есть?

Пока молоденький приказчик подавал им дробь, Костя юркнул за ковер. «Станко» продолжал торговаться, кочегары затеяли с приказчиком спор о дроби. Хозяйка, поняв, что от этих покупателей мало толку, заторопила старшего приказчика:

— Пора закрывать. Приходите завтра, господа!

Потоптавшись еще, «покупатели» по очереди покинули магазин. Сначала ушел «Станко», за ним, ухмыляясь, выскочили кочегары.

Через полчаса «Станко» увидел, как старший приказчик провожал домой одетую в зеленую ротонду Рослякову. Они шли спокойно, обсуждая свои дела. Донесся голос хозяйки:

— Жду во вторник...

Убедившись, что Костя остался в магазине, «Станко» пошел домой.

Костя, по уговору, мог открыть входную дверь только в два часа ночи и после того, как услышит тройной стук по жалюзи. До этого ему поручили приготовить не менее трех десятков револьверов и как можно больше патронов.

Ночь стояла темная, безлунная. Неподалеку от магазина «Станко» увидел, как впереди вспыхнул и тут же исчез красный огонек. Потом огонек вспыхнул еще раз, рядом с ним появился другой. Подойдя вплотную, «Станко» спросил:

— Где сторож?

Сучков и Мартынов в один голос ответили:

— Бродит тут.

— Который час?

Сучков осветил папиросой часы:

— Без пяти два.

— Пора. Ты, Алексей, останешься на улице и будешь следить за сторожем. Мы выйдем только после твоего стука. Пошли!

«Станко» три раза стукнул гайкой о жалюзи, и почти мгновенно с легким скрипом приоткрылась дверь. «Станко» и Сучков, как тени, проскользнули в магазин. Дверь тихо закрылась.

Мартынов стал за афишную тумбу, прислушиваясь, не зашаркают ли кожаные калоши сторожа.

Через несколько минут к магазину подошли двое в тулупах. Один тихо говорил другому:

— Открывали... Слышал...
— А может, тебе показалось?
— Я тебе говорю, открывали!
Один из сторожей подергал дверь.
— Смотри, закрыто.
— А может, они там сидят? Я пойду к управе за городовым.
— А я?
— Ты постой тут.
— Что я, с ума спятил? А вдруг они выйдут? Не за конфетками забрались. Выскочат и прямо в морду выстрелят. Пойдем вместе.

Сторожа, подобрав полы тулупов, затрусили к управе. Алексей сообразил: медлить нельзя ни минуты. Он подскочил к магазину и стукнул в жалюзи. Снова тихонько скрипнула дверь.

— Скорее! Сторож заметил, в полицию побежал.

Первым из магазина выскочил Костя, за ним Сучков с большим свертком в руках. Последним, не торопясь, вышел, также со свертком, «Станко» и скомандовал:

— На вот, держи, Алексей, помоги Ефиму.— Он протянул ему пистолет. — Осторожно, заряжен. Пошли, ребята!

Все четверо быстро пошли сначала по Соковской, потом свернули на Негорелую. Вскоре до них донеслись свистки городовых и крики.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В конце марта Степану удалось, наконец, поступить в заварку на ситцевую фабрику Зубковых. Место было незавидное. Все одиннадцать часов приходилось стоять по щиколотку в воде. Воздух в заварке был тяжелый, наполненный запахом каустика, мыла и нафтола. Машинисту промывного аппарата платили одиннадцать рублей, но и это уже было счастьем, так как безработных становилось с каждым днем все больше и больше.

Но в новом положении Степана имелось одно преимущество. Для холостых рабочих у Зубкова была «спальня» — огромная трехэтажная казарма. Важеватов очень привык к своему приделку у Прасковьи Федоровны, но, по совету Балашова, перешел жить в спальню.

— Во-первых,— доказывал Балашов,— на рубль дешевле, а во-вторых, в спальне тебе найдется кое-какая работенка.

Степан похудел, осунулся. Внешне он теперь ничем не отличался от коренного иваново-вознесенского ткача. Пальто, суконный пиджак и барашковая шапка давно были проданы на толкучем рынке. Он обзавелся короткой тужуркой, синей сатиновой рубашкой с белыми пуговицами и высоким картузом с лакированным козырьком.

Смотрительница спальни тетка Ираида отвела ему место на втором этаже, около окна с разбитым стеклом, из которого ночью немилосердно дуло. Степан заколотил дыру сиденьем от старого венского стула, которое он нашел во дворе. Вечером к окну подошел бледный до синевы рабочий. Его место на нарах находилось далеко от окна, у противоположной стены. Он, громко ругаясь, отодрал сиденье, разломал и выбросил.

— Барин, видно, у нас поселился, привык на перине спать! Свежего воздуха боится!

Он сильно закашлялся и лег ничком на пол. Сосед Степана по нарам, Никодим Соловьев, объяснил:

— Чахоточный, Куликов. Как только застеклят, он подойдет — звяк, и готово. Так и бросили стекла вставлять. Воздуха ему не хватает.

На другой день Важеватов стал героем дня не только в общежитии, но и на всей фабрике.

У иваново-вознесенских ткачей издавна в обиходе был обычай удалять с фабрики нежелательных людей на тачках. Случалось, потребуют рабочие от хозяев уволить зарвавшегося грубияна-мастера или не в меру усердного хозяйского подлипалу — браковщика — хозяева, понятно, на дыбы: «Как бы не так, не уволим!» Вот тогда появлялась тачка. Осужденного на вывоз ловили, сажали в рогожный куль, укладывали на тачку, вывозили под «Дубинушку» с фабричного двора и сваливали в придорожную канаву, а нередко на свалку.

В тот день, когда Степан перебрался в спальню, на фабрике произошел такой случай. Сшивалка товара, молодая бойкая Евдокия Рожнова, тихонько расщипывала кусок рогожи. Это увидел проходивший мимо конторщик Власиков и поспешил донести начальству. Начальство переполошилось, заметалось по фабрике, гадая, кого на этот раз решили «прокатить» в рогожном куле.

Вызвали полицейского надзирателя. Тот немедленно прибыл, как всегда, в сопровождении казаков. Управляющий фабрикой, надзиратель, казаки и вездесущие фабричные пристава окружили Евдокию. А она, нимало не смущаясь таким вниманием, спокойно продолжала щипать рогожу.

— Куль мастеришь? — взвыл управляющий.

Рожнова подняла голову, посмотрела на окружившую ее ораву и рассмеялась:

— Да что вы, мужики! Две недели в бане не была, страсть как спина чешется. Мочалку готовлю.

Сбежавшиеся рабочие загрохотали. Конторщик Власиков, желая хоть чем-нибудь выслужиться, замахнулся на Рожнову кулаком:

— Врешь, подлая! Говори, куда куль спрятала?

Ударить Евдокию Власиков не успел. Степан схватил его за руку и легко, как слабенького подростка, отшвырнул от Рож-

новой. Власиков, не удержавшись, растянулся на скользком полу. Важеватов погрозил ему пальцем:

— Храбер с бабами! Поаккуратнее руками размахивай!

Не сказав больше ни слова, он пошел к своему аппарату.

Все остолбенели. Швырнуть конторщика в присутствии управляющего, полицейского надзирателя и казаков — нет, на это мог решиться не всякий.

Управляющий, побледнев от гнева, закричал:

— Уволить! Расчет ему! Кто такой? Взять!

Тогда из толпы рабочих вышел угрюмый Анфим Крутов. Он засунул руки за ремень и, глядя на управляющего в упор, ровным голосом сказал:

— Хотим предупредить, ваше степенство: уволите этого парня — все забастуем. Лучше не тронь!

Вечером в спальне Степана встретили одобрительным гулом. Со старого места его перевели в теплый, светлый угол. Когда он, окруженный молодыми рабочими, сидел на табуретке у своих нар, к нему подошел Куликов.

— Прости меня, что я тебя вчера барином назвал. Вижу, не барской ты крови, а нашей, рабочей. Молодец!

Балашов, узнав о его подвиге, как будто вскользь обронил:

— Выделяться тебе не надо.

Степана это сначала удивило и, чего греха таить, обидело. Заметив его недовольство, Балашов сказал:

— В Шую надо еще раз тебе съездить. За бумагой. А на мое замечание не обижайся — я правду говорю: нам выделяться не надо. Ну как, поедешь?

— Поеду.

— Вот и помирились. Собирайся, я скажу, когда выезжать.

* * *

А «Отец» почти в это же время беседовал со «Станко».

— Сколько, говоришь, добыли?

— Тридцать шесть «смит-вессонов», восемь «бульдогов», патронов...

— Ясно,— перебил «Отец».— Ну что ж тебе сказать, товарищ «Станко»? За оружие тебе спасибо, а за метод, которым ты его заполучил, стоило исключить тебя из партии.

— За что?

— За нарушение партийной дисциплины. Ты не имел права идти на экспроприацию вообще, а без ведома группы тем более. Сегодня ты ограбил оружейный магазин, завтра другой кто-нибудь, вроде тебя, казначейство обчистит. Мы не уголовники, и кражами нам заниматься не с руки. Нечего полицейским языкам пищу давать. Они рады будут! Загалдят: «Социал-демократы — грабители!»

— Я же хотел...

— Оправданий тебе, товарищ «Станко», нет. Ты виноват.

— Верно, виноват,— сказал «Станко» и поднял глаза на «Отца».— Понял. Очень виноват. И даю слово: этого никогда больше не повторится.

«Отец» снял очки и уже другим, более мягким тоном произнес:

— Вот и хорошо, что понял.

— А как быть с оружием?

— Обратно не понесем. А сейчас давай собирайся.

— Куда?

— В Москву. Надо привезти шрифт. Адрес такой: Москва, Каретный ряд, дом Немчинова, квартира девять. Звонить два раза. Когда откроют, сказать: «Я от портного, за материалом». Тебе ответят: «Войдите, сейчас вынесем». Запомнил?

— Все запомнил. Шрифта много?

— Много. Привезешь — можем наладить типографию.

— А станок?

— Будет. И еще напомни при разговоре об обещании прислать нам опытного пропагандиста.

* * *

В первое посещение Шуи Степан из-за недостатка времени не успел рассмотреть уездный город. Он едва-едва сумел разыскать Павла Гусева и, получив от него бумагу, добраться до водокачки, где машинист Ветров и Яков нарочно задержали паровоз.

Во второй приезд Ветров вел товарный состав до станции Новки и должен был возвратиться в Шую только к вечеру следующего дня. Этот день приходился на воскресенье, фабрики не работали, и Степан мог не торопиться. Погода выдалась теплая, настоящая весенняя. Утром немного подморозило, а к полудню зашумели ручьи, на пригорках от земли шел пар. Степан попросил Павла Гусева показать ему город.

Как только они вышли на Большую Ивановскую улицу, Павел показал на новый, широкий, с десятком окон дом:

— Вот первая наша достопримечательность: дом бакалейщика Козлова. Охотно продает нашему брату в долг. Для постоянных покупателей завел заборные книжки. Допустим, захотелось тетке Анфисе поесть пшенной каши с постным маслом. На пшено она кое-как денег наскребла, а на масло не хватает. Она к Козлову: «Выручи, Дмитрий Алексеевич, запиши за мной полфунта масла».— «Пожалуйста, Анфиса Антоновна, с удовольствием». Отвесит полфунта масла, конечно, самого паршивого: или одни подонки, или прогорклого. А тетка Анфиса и этому рада — все же масло. «Спасибо, Дмитрий Алексеевич, век не забуду!» — «И я не забуду. У меня записано. Дай твою книжечку». Берет Козлов книжечку и записывает. «Батюшка,

да что это ты записал? Что-то уж очень дорого! У всех масло на пятак дешевле».— «У всех, матушка, за наличные, а у меня в кредит. Я ведь, Анфиса Антоновна, рискую. За тобой по книжечке шесть рублей значится. Долго ли тебе заболеть? Заболеешь, а потом умрешь. С кого я буду твой долг взыскивать? С царя небесного? Вот этот пятачок я за риск и беру».

В получку Козлов со своих должников все, до последней полушки, сдерет. Вон какие хоромы выстроил. Мать моя пришла к нему в лавку и говорит: «А ведь фундамент под твоим домом мой».— «С чего это ты взяла?» — «Из моих пятаков». На этом знакомство кончилось. Больше он матери ни в кредит, ни за наличные не продает. И книжку заборную порвал. «Иди,— говорит,— к Носкову, у него все бери». Лавка Носкова в городе, от нас версты три. Теперь мать и бегает туда за каждым пустяком.

На Московской улице Павел указал на красивый двухэтажный дом, облицованный разноцветными плитками.

— Еще одна наша достопримечательность. Теремок на крови. Терем-теремок, кто в тереме живет? Жулик и убийца, подрядчик строительных работ Терпилов. Приехал в Шую босой, в одной рубахе. Поступил к купцу в дворники. Вскоре купец отбыл в загробный мир, и, как говорят, не без помощи дворника. Через год вдова купца вышла за дворника замуж. Ей было под шестьдесят лет, а ему тридцать. Через два месяца купчиха поела рыбы, занедужила и отправилась вслед за первым супругом. Дворник Васька стал купцом Терпиловым. Наследники шум поднимали, требовали следствия, но ничего не добились. Терпилов сейчас церковный староста, попечитель приюта. Вся полиция, духовенство, городские власти знают, что он убийца, и обедают у него, христосуются с ним. Недавно какую-то медаль ему выхлопотали.

Пройдя Московскую улицу, они повернули налево, обогнули стоявшую на углу церковь и вышли на длинный деревянный мост через реку Тезу. На мосту стояло много народу. Перила скрипели под тяжестью облокотившихся на них людей, наблюдавших за ледоходом. От берега оторвалась большая льдина. Сначала она медленно, словно раздумывая, стоит ли ей пускаться в путь, повернулась, затем, попав на середину реки, слегка покачиваясь, понеслась к мосту. В толпе послышалось:

— Эта качнет!

Но льдина налетела на ледорез, раскололась и скрылась под мостом. Чей-то голос с сожалением произнес:

— Не выдержала, а то бы качнула. В прошлом году...— и не договорил.

Перила скрипнули особенно сильно, одна из стоек повалилась. Толпа отшатнулась на середину моста, и в тот же миг пронзительный женский крик ударил людей в самое сердце:

— Спасите!

Степан увидел: в воде, у самого ледореза, барахталась девочка. Через секунду она скрылась под мостом, там, где недавно прошла льдина. В расступившейся толпе металась молодая, хорошо одетая женщина с детской беличьей муфтой в руке.

— Спасите, Наташу спасите!

Важеватов перебежал на другую сторону моста, снимая на ходу тужурку и фуражку:

— Павлуша, держи!

Он вскочил на перила и, сильно оттолкнувшись ногами, прыгнул далеко вперед и очутился почти около девочки. Степан увидел ее широко раскрытые, полные ужаса глаза. Затем голова девочки исчезла под водой, и только маленькая детская рука, словно умоляя о помощи, несколько секунд виднелась над водой. Важеватов нырнул, схватил ребенка обеими руками и поднял над мутным потоком. Потом он обнял девочку одной рукой и поплыл к высокому, не залитому водой правому берегу, откуда какие-то парни спешили к нему на лодке.

На берегу под навесом около больших кип с хлопком стояла толпа людей. Степан вынес девочку и подал ее матери. Стуча зубами от холода, он сказал, ни к кому не обращаясь:

— Водочки бы сейчас стаканчик...

Из толпы выскочил молодой рабочий с полбутылкой водки в руках. Он ловко вышиб ладонью пробку:

— Пей, дорогой! Пей, сколько душа примет. Грейся.

Степан отпил несколько глотков и, поддерживаемый Павлом, пошел в пристанскую сторожку. К нему подбежала мать спасенной девочки:

— Скажите, за кого я молиться должна? Как ваше имя, отчество? Где вы живете? Как мне найти вас?

Важеватов, забыв от волнения свое положение, сказал:

— Зовут меня Степаном, по отчеству Ильич...

И тут же спохватился. На него в упор смотрел откуда-то возникший Игорь Кручинин.

— А фамилию мою знать ни к чему. И благодарить меня не за что.

Степан сидел на скамейке, завернувшись в тулуп сторожа. Павел, развешивая его одежду около раскаленной железной печки, приговаривал:

— Герой! Я оглянуться не успел, как ты прыгнул.

Увидев, что сторож, взяв топор, ушел за дровами, Павел тихо сказал:

— Значит, тебя Степаном раньше звали. Ну ладно, поговорим об этом после. Отогрелся? А знаешь, чью ты девочку вытащил?

— Откуда мне знать.

— Был у нас в Шуе инженер Перевощиков. Очень хороший человек. Убит под Порт-Артуром. Так это его дочь.

— Меня это, Павлуша, совсем не интересует. Не нравится мне, как он на меня смотрел.

— Кто?

— Один мой знакомый, еще по Питеру. Как я его раньше не заметил?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Михаил Фрунзе жил в Москве третью неделю. В Московском комитете партии его снабдили паспортом на имя Бориса Точанского, родом из города Ташкента, и небольшой суммой денег. Питался он в студенческой столовой на Никитской, ночевал в маленькой комнатке на Пречистенке, неподалеку от первой мужской гимназии. Из окна Михаилу был виден двор, где в большую перемену играли гимназисты. Совсем, кажется, недавно он в такой же серой шинели ходил по улицам Верного с книгами и тетрадками, перевязанными узеньким ремешком, а сейчас он революционер-профессионал, целые дни проводит в библиотеке Румянцевского музея и ждет, куда пошлет его подпольный комитет большевиков.

Раньше Михаил бывал в Москве только проездом и почти не знал города. Теперь он бродил по улицам, заходил в музеи, подолгу не уходил из Кремля, любуясь стариной. На Сенатской площади, там, где бомбой, брошенной 4 февраля Иваном Каляевым, был убит генерал-губернатор, стоял крест, огороженный решеткой. У креста теплилась лампада. Фрунзе заметил: люди шли мимо креста равнодушно, не останавливались. Только две старухи подошли, перекрестились и направились дальше.

Однажды он попал на Пресню. На Прохоровской мануфактуре как раз кончилась смена. Из проходной один за другим выходили рабочие, отряхиваясь, поправляя одежду после обыска.

За высоким забором шумела фабрика. Через решетчатые железные ворота видно было, как толпа рабочих помогала шестерке лошадей везти большой котел.

Хриплый бас однотонно командовал:

— Пошел, пошел! Взяли!

Но котел долго не трогался с места и только после особенно надсадного крика загрёмел по булыжной мостовой.

Разве мог Михаил предполагать, что пройдет всего лишь семь месяцев и он будет в этом самом дворе лежать в укрытии и вести огонь по наступающим семеновцам!

А пока Михаил один раз в неделю заходил в условный час в первое отделение почтамта у Патриарших прудов. За высокой конторкой для посетителей писал письмо молодой человек в очках.

Михаил негромко спрашивал:

— Простите, вы скоро освободите место?

Человек поднимал голову и внятно отвечал:

— Пожалуйста, занимайте через пять минут.

Это означало, что никаких новостей для Фрунзе нет, он может спокойно уйти и обязан явиться через пять дней. В конце апреля после обычного вопроса человек ответил:

— Пожалуйста. Я освободился.

Михаил подошел к конторке и услышал:

— Вы что-то обронили.

У ног лежала бумажка. Он поднял ее и прочитал:

«Завтра. В шесть вечера. Каретный ряд, дом Немчинова, квартира 9. Звонить три раза».

На звонок дверь открыла молодая женщина в сером шерстяном платье с кружевным воротничком.

— Раздевайтесь. Проходите.

В переднюю вышел худощавый человек с небольшой бородкой и длинными волосами.

— Добрый день, товарищ Фрунзе. Ждем вас. Очень ждем.

В комнате за столом сидели двое. Один молодой, почти юноша, с большими карими глазами на бледном лице и маленькими темными усиками. Второго, постарше, с небольшой бородкой клинышком, в пенсне, Михаил узнал сразу. Он случайно познакомился с ним осенью в Петербурге на квартире путиловца Семенова.

Семенов тогда рассказал Михаилу, что товарищ Воронин не раз сидел в тюрьме, бежал с каторги, а сейчас, совсем недавно, нелегально приехал из Женевы, от Ленина.

И Воронин узнал Михаила. Он встал и, протягивая руку, приветливо улыбаясь, произнес:

— Вот мы с вами снова встретились, товарищ. Очень рад видеть вас в добром здравии. Познакомьтесь: это товарищ «Станко», ивановвознесенец.

«Станко» встал и молча крепко пожал Михаилу руку. Вошла женщина в сером платье с подносом. Поставив стаканы с крепким чаем, она ушла, плотно прикрыв за собой дверь.

— Ну, как вы себя здесь чувствуете? — спросил Воронин.

— Очень хорошо. Любуюсь Москвой, но, признаюсь, без дела уже надоело.

— Давайте говорить о деле. Есть предложение послать вас в Иваново-Вознесенск. Как вы на это смотрите?

— Я готов ехать куда угодно и когда угодно.

«Станко» одобрительно кивнул. Воронин деловито продолжал:

— Очень хорошо. Вы поедете в Иваново-Вознесенск в горячее время. Товарищ «Станко» вам о своем городе многое рас-

скажет. Он влюблен в него, считает, что это самое лучшее место на земле.

«Станко» сердечно улыбнулся Михаилу.

— Не спорю, есть города получше. Но мне Иваново-Вознесенск всех милее.

— Вот видите,— продолжал Воронин.— Так что уж кто-кто, а он вам про новое место вашего жительства все выложит. Там назревает большая забастовка. Хочу вас предупредить об одной особенности. Иваново-вознесенская партийная организация входит в Северный комитет. У них сейчас трудно — не хватает людей. Получилось так, что и Московский комитет не стоит в стороне от ивановознесенцев, помогает всем, чем может. Вы, если хотите, живое олицетворение этой помощи. Но вообще настала пора организовать в Иваново-Вознесенске самостоятельную организацию, городской комитет. Вот это наряду с другим будет и вашим делом.

Воронин очень хорошо знал иваново-вознесенский промышленный район, бывал во Владимире, Шуе. Он многое рассказал Михаилу, о многом расспросил и его. Он не навязывал своих советов, а мягко, незаметно давал понять, что надо делать.

— Владимир Ильич говорит, что самое главное сейчас,— организовать рабочих для прямой борьбы с самодержавием. Успешная борьба с ним невозможна без широких и разносторонних рабочих организаций, без сближения их с революционной социал-демократией. Работы у вас в Иванове будет много. И еще об одном хочу вас предупредить: ивановознесенцы сходятся с новыми людьми туго, не сразу. Дело, понятно, не в излишней подозрительности, а в том, что к ним иногда по ошибке попадали любители пышных фраз, а народ там решительный и деловой.

«Станко» снова улыбнулся Михаилу:

— Не пожалеете, что к нам едете. Город наш замечательный, и народ у нас хороший.

На прощание Воронин совсем уж по-отцовски сказал:

— Ну, одним словом, благословляю! Будьте осторожны. Помните, вы в Иваново-Вознесенске партии очень нужны. Соблюдайте все правила конспирации.

* * *

Шлегель вызвал Игоря Кручинина на понедельник, но Кручинин в назначенный час не явился. Ротмистр приказал навести справки. Через полчаса переодетый в штатское жандармский унтер-офицер Вяткин беседовал с дворником дома, где жил Кручинин, о всякой всячине и ненароком вызнал, что молодой барин еще в субботу уехал погостить к тетке в Шую, нынче к вечеру ждут.

— Он болен у нас. Говорит, подцепил в Петербурге какую-то новую болезнь. Жара никакого нет, а человек худеет — чахнет...

Поздно вечером Кручинин, явившись по вызову ротмистра, опустился в кресло.

— Я вас слушаю. Зачем вы меня вызвали?

Шлегель с удивлением отметил странные изменения в поведении студента.

— Пора начинать работу. Надо, чтобы вы как можно скорее установили связь с местной организацией большевиков.

— Хорошо, постараюсь, но это, предупреждаю вас, очень трудно.

— Трудно, но необходимо.

Кручинин замолчал. Последние два дня он, не переставая, думал о Важеватове. Закрывал глаза и видел шуйскую пристань, мать погибающей в реке девочки и Степана — мокрого, с синими от холода губами: «Зовут меня Степан, отчество Ильич...» Рассказать Шлегелю об этой встрече или нет?

— О чем задумались?

Кручинин улыбнулся и произнес небрежно, доставая из портсигара папиросу:

— Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но, мне кажется, я напал на след.

Шлегелю пришлось удивиться еще раз. Но, верный своей привычке держаться настороже со своими агентами, он равнодушно сказал:

— Интересно. Расскажите, что за след. Верный или ложный?

— По-моему, верный.

И Кручинин все, что он знал о Степане, рассказал ротмистру. Шлегель уже не ходил по кабинету, а сидел за столом, торопливо записывая.

— Значит, выдает себя за убитого Ивана Никитина. Очень интересно. Живет в Иваново-Вознесенске, а ездит зачем-то в Шую. Очень интересно, очень. Знакомого называет Павлом... А скажите, как выглядит этот Павел?

— Как обычно: молодой рабочий.

— Особых примет не заметили?

Кручинин недовольно пожал плечами:

— Позвольте, я же все-таки...

— Извините.— Шлегель встал и торжественно протянул Игорю руку: — Большое вам спасибо! И не только мое. Вы заслужили благодарность царя и отечества. Вот видите, молодой человек, на свете нет ничего невозможного. Конечно, при желании. А теперь — к делу. Конечно, этого беглого солдата с вашей помощью легко выследить, посадить и по этапу сопроводить в столицу. Но мы этого не сделаем. Такую глупую роскошь мы себе не позволим. Он от нас никуда не уйдет. Рано или поздно мы его схватим. Но пока за ним надо наблюдать. Осторожно, вдумчиво. Вам надо его найти и восстановить знакомство. С этого и начнем.

* * *

— Так вот, Павлуша, я вовсе не Иван Никитин, а Степан Важеватов. Никогда я на Путиловском не работал, а служил в солдатах. Сказать об этом раньше я не решался ни Якову, ни Семену Ивановичу. Думал, не поверят. Ну, что ты на это скажешь?

— Что скажу? Хочется тебе верить. Наверное, поверю, и не только один я. Но бумагу я сам к Якову снесу, а тебе советую: возвращайся с пассажирским в Иваново-Вознесенск и жди, когда за тобой Семен Иванович кого-нибудь пришлет. Сам к нему не ходи. На улице увидишь его или Якова — не здоровайся, не подходи. Не обижайся, дело наше трудное, суровое, и мы обязаны быть осторожными. За каждым нашим шагом следят враги. Враги умные, злые. Растяпами нам быть не дозволено. Иди. Свидимся — поговорим.

Дома, в зубковской спальне, Степана ждала тяжелая весть. Аким принес письмо от Наташи, которое она послала по старому адресу.

«Дорогой Ваня,— писала она,— у нас огромное горе: мы похоронили маму. Она, бедная, не выдержала всего, что постигло нашу семью. И папа очень плох, похудел страшно, измучился, все кашляет и не спит по ночам. Вот какая нерадостная у нас выходит жизнь. Ваня, милый, очень я по тебе соскучилась. Если бы у меня были крылья, прилетела бы к тебе хоть на один час...»

Степан сидел на нарах, понуро опустив голову. Аким тронул его за плечо:

— Ты что, брат, загрустил? Неприятные вести из дома получил?

— Мать умерла,— сказал Степан и сам вздрогнул от этих простых и страшных слов. «Как же так? Моя мать жива»,— подумал он. Он вспомнил Дарью Михайловну и все, что она для него сделала. «Да, вторая мать. Такая же родная и близкая».

— Мать умерла,— повторил он и вытер рукавом слезы.

Аким сел рядом.

— Вот и будем вместе горевать. У тебя мать умерла, а я вчера из тюрьмы извещение получил. Не выдержала моя Стеша...— Горло его сжала судорога, и он с трудом выговорил:— Повесилась...

* * *

На другой день Степан, выйдя из проходной, стал около покосившейся афишной тумбы, раздумывая, куда ему идти. Дома, в спальне, делать было нечего, и он, вздохнув, пошел без вся-

кой цели вдоль грязной улицы. Совершенно неожиданно он услышал голос Якова:

— Приходи к десяти вечера в Рылиху, к Анне Семеновне. Ждать буду. Не опаздывай.

Важеватов даже не успел ничего ответить. Яков, не оглядываясь, быстро обогнал его и пошел дальше, разбрызгивая лужи.

Ровно в десять Степан был у домика Анны Семеновны. Еще издали он увидел Якова. «Меня поджидает»,— подумал он и не ошибся. Яков хмуро сказал:

— Пошли дальше.

— Куда?

— Куда поведу.

Они долго шли по узеньким уличкам и кривым переулкам. Яков всю дорогу молчал и только раз обронил:

— Держись ближе к забору. Тут утонуть можно.

Наконец они пришли к низенькому, покосившемуся домику. Света в окнах не было. Казалось, в доме никого нет или все уже давно спят.

— Постой, я сейчас.

Яков скрипнул калиткой и исчез в темноте. Вскоре он вернулся и коротко скомандовал:

— Идем!

Открылась дверь, и они очутились в крохотных сенях. На скамейке рядом с ведром воды стояла пятилинейная лампочка. Яков запер дверь на засов и сказал:

— Проходи.

В комнате с большой русской печью за столом сидели Балашов, Павел Гусев и еще несколько незнакомых Степану мужчин и одна женщина.

Человек с большой бородой, в очках, сидевший рядом с Балашовым, приветливо поздоровался:

— Ну, здравствуй, Иван... или Степан. Как тебя правильно звать?

— Степан.

— А по отчеству?

— Ильич.

— Вот что, Степан Ильич, расскажи нам всю правду, всю: кто ты, как к нам попал, зачем. Говори смелее. Все, что ты скажешь, дальше этой комнаты не пойдет.

У Степана от волнения с трудом повиновался язык. По пути сюда он думал: «Я все расскажу, мне поверят, и опять можно будет жить хорошо, с сознанием, что в любое время можно повидать Якова, Акима. Можно будет рассказать Якову и Акиму о Наташе, о доме и находить у них полное сочувствие и душевную поддержку».

А сейчас, стоя перед этими суровыми, пристально смотрев-

шими на него людьми, Степан с ужасом подумал: «Не поверят они мне! Я совсем чужой для них».

Голос у него дрожал и прерывался:

— Не знаю, как вам все объяснить. Я в гвардии служил... Потом он мне книжку дал...

— Кто дал? Какую книжку?— спросила женщина.

— Никитин.

Очкастый с большой бородой заметил:

— Подожди, не мешай! А ты, парень, спокойнее, не волнуйся.

Больше его не перебивали. Только когда он сказал, что покойный Иван Никитин давал ему читать нелегальную литературу и в том числе «К деревенской бедноте» Ленина, бородатый спросил:

— Ну и как по-твоему, правильно Ленин написал?

Степан убежденно ответил:

— Уж так правильно, лучше не скажешь!

Рассказав все, не забыв упомянуть о последней поездке в Шую и о встрече с сыном акцизного чиновника Игорем Кручининым, Степан подумал и добавил:

— Все. Больше мне рассказывать нечего.

Балашов спросил у бородатого:

— Что дальше будем делать, Федор Афанасьевич?

«Отец», подумав, обратился к Степану:

— А доказать свои слова чем-нибудь можешь?

— Могу.

— Чем?

Степан протянул «Отцу» письмо Наташи и талон почтового перевода:

— Она мне деньги переводила. Братом меня называет.

«Отец» внимательно рассмотрел талон и письмо.

— Хорошо, Степан Ильич. Выйди на минутку. Мы тут коечто обсудим. Яша, проводи.

Как только захлопнулась дверь, Балашов оживленно сказал:

— По-моему, все — чистая правда.

«Отец» остановил его:

— Подожди, Семен Иванович, твоя очередь сегодня последняя. Как твое мнение, Илья Михеич?

Пожилой рабочий с яркими голубыми глазами, смотревшими из-под густых бровей, поддержал Балашова:

— Конечно, правда. По всему видно — хороший человек.

— А ты как, Архипыч?

Федор Самойлов кивнул головой:

— Можно верить.

— А ты, Мария Федоровна?

— Подумать надо. Как будто верный человек, а там кто его знает, что у него на уме.

«Отец», тщательно, как всегда, подбирая слова, сказал:
— Шлегель и Кожеловский нам не страшны, пока они в мундирах. А вот если у Шлегеля помощники заведутся среди нас, не в мундире, а в косоворотке с поясочком, да с нами в лес на собрание, а потом побегут в охранку — это хуже пса, хуже змеи: кусает и жалит потихоньку, невзначай.
Балашов решительно:
— Такому псу голову в мешок да в воду!
— А может, и опоздаешь. Пока ты его спрячешь, он о тебе все уже донес, доложил. И ты, Семен Иванович, допустил большую ошибку. Ты ему дал адрес Павла Дмитрича, доверил бумагу привезти, а дело вон как обернулось. Хорошо, что еще так вышло. Я тоже ему верю, чистый парень, не плут. А ведь могло выйти хуже. Я думаю, надо нам так решить: первое — в солдате не сомневаться. Но временно ему ничего не поручать, поскольку в дело вмешался сын акцизного. А от него надо держаться подальше. Пусть Яков с Важеватовым почаще встречается. Семену Ивановичу за допущенную беззаботность — указать. Кто за это мое предложение, прошу поднять руку.
Решение было принято единогласно. «Отец» попросил Самойлова:
— Позови, извелись они там оба.
Степан по улыбке «Отца» понял, что ему поверили, и невольно заулыбался сам. Понял и Яков. Он крепко сжал локоть приятеля.
— Иди, товарищ Никитин, спокойно домой,— сказал «Отец».— Ты для нас как был, так и останешься Никитиным. И ты, Яков, иди. Об одном я тебя, Никитин, попрошу: не всегда сам за любое дело берись. Сначала посмотри, нет ли кого поблизости, кому поручить можно.
— Когда я в воду прыгал, рассуждать было некогда.
— Я не об этом. Тогда ты совершенно правильно поступил. А вот конторщика Власикова бил напрасно. Руку ему мог отвести, а бить не стоило. Надо было после с рабочими посоветоваться, как они думают, и навалиться на Власикова всей кучей, увольнения требовать или на тачке прокатить. Понял?
— Начинаю понимать.
— Вот и хорошо! Ну, будь здоров. Мы еще поговорим с тобой.
Яков и Степан ушли. Слышно было, как Яков в сенях сказал:
— Ну, что я тебе говорил?
— А ты мне ничего не говорил. Молчал, как пень.
«Отец» засмеялся и довольно произнес:
— Дружки... Это хорошо! А теперь, товарищи, перейдем к нашим делам. На повестке у нас два вопроса: о ходе подготовки к забастовке и о праздновании Первого мая. Давай, Семен Иванович, докладывай твои соображения.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Почти треть тканей, выработанных на фабриках, Гарелин сбывал на Нижегородской ярмарке, продолжавшейся ежегодно с 15 июля до 15 сентября. Хотя Гарелин и имел на ярмарке фирменный магазин, но розничная продажа существовала лишь для рекламы. Бойкие, ловкие, хорошо одетые продавцы так и летали, выкидывая на прилавок перед покупателями куски пестрых ситцев, гладко окрашенных сатинов, белоснежных, с чуть заметной голубизной батистов. Здесь начинался, а в отдельном кабинете ресторана кончался разговор гарелинского управляющего с крупными оптовиками. С особо почетными клиентами Александр Иванович беседовал сам, то и дело приказывая лакеям наполнять бокалы.

Плыли потом по Волге-матушке баржи, груженные гарелинскими тканями, в Казань, Самару, Царицын и Астрахань. Везли их по железным и шоссейным дорогам по всей России.

Несли в тюках верблюды в Семиречье, в Монголию, Персию.

Перед Нижегородской ярмаркой успешно совершались, конечно, не крупные, но все же удачные сделки на Кинешемской ярмарке, начинавшейся в июне, и на Шуйской, проходившей неделей позже.

К ярмаркам начинали готовиться с весны. Опаздывать не годилось: слишком много развелось конкурентов. То московская ситценабивная фабрика товарищества Циндель ножку подставит — пустит ситец на копейку дешевле, то ближний сосед, шуйский повелитель Павлов, такие расцветки выпустит — только удивляйся, где он красители добывает.

С половины апреля начинали приходить письма от агентов из Нижнего, Петербурга, Одессы, Астрахани. В конце апреля Гарелин, как правило, отправлялся в Москву, затем заезжал на неделю в столицу — заглянуть на биржу, в министерство финансов.

В этом году в обеих столицах, судя по газетам и письмам доверенных лиц, было неспокойно, да и виды на сбыт вырисовывались явно неблагоприятные. Приходилось сидеть в Иванове, где в воздухе так и пахло новой забастовкой. Год предвиделся тяжелый. Убытков, конечно, не ожидалось, но прибыль предчувствовалась меньше обычной.

Александр Иванович начал действовать. По давно установившемуся обычаю на всех иваново-вознесенских фабриках наем рабочих производился два раза в год: один раз на срок от 1 октября до пасхи и второй раз от пасхи до 1 октября.

Выгоду двухсрочного найма понимали все фабриканты: с 1 октября, на зимний период, легче было найти рабочих. На этот срок, как правило, снижались расценки, увеличивался рабочий день. Рабочим учинялся полный расчет. Контора подчистую удерживала все штрафы, выданные мелкие авансы. Расчетные

книжки отбирались, на некоторых фабриках даже выдавали паспорта. Всю пасхальную неделю фабрики стояли, за исключением кочегарок да слесарно-механических отделений, производивших текущий ремонт. В понедельник на так называемой фоминой неделе начинался наем.

Гарелин предложил сообща решить волновавшие всех вопросы. Сначала фабриканты хотели собраться в зале городской управы, но вмешался Зубков.

— Нынче и у стен уши есть. Обязательно, мерзавцы, подслушают и товарищам донесут. Ежели Александру Ивановичу своего дома жалко, соберемся у меня: не так богато, но зато уж будьте спокойны — все будет шито-крыто, как в склепе.

Так и порешили. Любопытным, собравшимся на противоположном тротуаре, дворник охотно разъяснил:

— Маменька у хозяина плоха. Говорят, совсем в дальний путь собралась. Прощаться приехали.

Собрание было коротким, без долгих речей, без всякого угощения. Гарелин кратко изложил свои соображения. Они сводились к следующему: рабочим ни в чем не уступать, для более согласованного отпора создать, по примеру Москвы, комитет фабрикантов, просить губернатора добавить на всякий случай казаков и войск.

Даже обычно несговорчивый Зубков первым подписал протокол собрания. Когда расходились, он же предложил:

— Надо через приставов и через верных людей разузнать, кто больше всех о забастовках кричит, да и уволить втихомолку. И хорошо бы промеж себя на них списки составить. Надо эту полынь с корнем выдергивать. А то получается вроде баловства: у меня уволят — они к Дербеневу идут; Дербенев прогонит в шею — они к Фокину. Заслон надо поставить.

* * *

Первое мая 1905 года приходилось на воскресенье. Это очень радовало Афанасьева, Балашова и других членов группы Северного комитета большевиков. В воскресенье легче собрать народ на массовку, да и безопаснее. Даже полицмейстер Кожеловский и тот не мог придраться, увидев, как люди идут за город. Кому какое дело, как и кто проводит теплый весенний день! Но члены группы знали: без их направляющей руки, без листовок, без смелого, правдивого слова Первое мая может не удасться, превратиться в простую прогулку. И они начали заранее готовиться к празднику.

За несколько дней до маевки приехавший из Москвы «Станко» сообщил «Отцу» и Балашову, что следом за ним едет командированный Московским комитетом опытный пропагандист, носящий партийное имя «Трифоныч».

«Отец» спросил:

— Пожилой?

«Станко» улыбнулся:

— Старик... лет девятнадцать-двадцать. Но башковитый. Сами увидите. Не завтра, так послезавтра появится. Ну и парень! Я с ним около часу посидел, а как будто мы с ним у одной мамы росли. И все знает.

«Станко» благополучно довез полученные в Московском комитете большевиков шрифт, две верстатки и три банки типографской краски. Даже «Станко» не знал, что Федор Самойлов давно уже хранил случайно купленный по дешевке ручной типографский станок. Теперь листовки можно было печатать уже не на гектографе.

В день приезда «Станко» «Отец» получил из Северного комитета несколько экземпляров листовки «Первое мая». Под листовкой стояла подпись: «Бюро Комитета большинства. Редакция «Вперед».

«Отец» дал листовку Балашову. Семен Иванович прочитал вслух последние строчки:

— «Товарищи! Мы стоим теперь в России накануне великих событий. Мы вступили в последний отчаянный бой с самодержавным царским правительством, мы должны довести этот бой до победоносного конца».

Возвращая листовку «Отцу», Балашов кратко сказал:

— Ленин.

«Отец» кивнул головой:

— Он. Вот ее мы первой и напечатаем в нашей новой типографии. В отчете Центральному Комитету партии так и сообщим: «Начала действовать организованная с помощью Московского комитета новая подпольная типография. Первой была напечатана листовка «Первое мая», написанная, по нашему предположению, товарищем Лениным».

29 апреля ткачиху Марью Наговицину, исполнявшую обязанности партийного организатора первого района, вызвали поздно вечером на квартиру к Балашову. Наговицина знала, зачем ее вызывают, и захватила с собой небольшую бельевую корзинку.

Переходя Шереметьевскую улицу, Марья увидела — навстречу ей шел Петр Веселов, помощник организатора второго района. Высокий, стройный, в мягкой темной шляпе, с лихо закрученными усами, он производил впечатление направляющегося в гости франта. В правой руке — букет искусственных цветов, в левой — небольшой, изящно запакованный, перевязанный голубой лентой сверток.

Поравнявшись с Наговициной, Веселов оглянулся и, убедившись, что никто на них не смотрит, замедлил шаг и тихо сказал:

— Иди быстрее. Ждут.

И пошел, размахивая свертком, сдвинув шляпу на затылок, насвистывая какой-то бравурный мотив.

Балашов, увидев Марью, сказал:

— Опять с корзинкой? Веселова встретила? Орел парень! Кто подумает, что у него в свертке тысяча листовок? Жених к невесте идет. Давай что-нибудь придумаем... Тут у нас хозяйки в овраге клад нашли: со всего города ходят за черноземом для цветов. Насыпай в корзинку, а вниз листовки. Так все-таки лучше будет.

Через час Наговицина раздавала листовки фабричным организаторам. Утром на фабричных корпусах, на стенах домов, у колодцев, в ящиках, в которых ткачи носят уток, — всюду были листовки: «Товарищи рабочие! Наступает день великого праздника рабочих всего мира...»

Весь день 30 апреля фабричные организаторы оповещали членов партии и передовых, надежных рабочих о массовке.

Сбор назначили в лесу около деревни Горино. О месте сбора заранее знали только патрульные. В Горино вели два пути. Жители Ям и Хуторова, миновав вокзал, могли идти по железнодорожной линии. В трех верстах от города железная дорога уходила в лес. У самого леса находились переезд и будка обходчика пути. Жители Рылихи, Сластихи могли добраться до переезда по шоссейной дороге, через молодой сосняк. Переезд и был первоначальным местом сбора. Здесь стоял первый патруль.

Патрульные — Яков и кочегары Ефим Сучков и Алексей Мартынов — сидели на перилах переезда, внимательно осматривая каждого прохожего. Если человек шел мимо, равнодушно посматривая на парней, Ефим Сучков забавлял приятелей игрой на балалайке, весело подпевая: «Ах вы, сени, мои сени, сени новые мои...»

Но чаще прохожий, дойдя до переезда, останавливался и спрашивал:

— Лошадь тут с жеребенком не проходила?

Парни хором отвечали:

— Пробегала.

Яков показывал тропку в лес:

— Прямо по этой тропке.

В лесу, где тропка неожиданно расходилась на две, стоял второй патруль; шагах в ста от места сбора — третий. К часу дня на небольшой поляне собралось около двухсот человек.

Накануне Яков спросил «Отца»:

— Как думаешь, Федор Афанасьевич, моего Ивана-Степана можно позвать?

«Отец» посмотрел на него поверх очков и, подумав, ответил:

— Зови. Но явку дай, как всем, на переезд.

Так Степан впервые попал на массовку. Он удивился, увидев в лесу своего соседа по спальне слесаря Петра Караваева.

Молчаливый, замкнутый Караваев производил в спальне впечатление старательного рабочего, недавно приехавшего из деревни и стремящегося только к одному — как-нибудь сколотить немного денег. В лесу он казался совсем другим. На широком лице Петра сияла радостная улыбка. Он оживленно сказал Степану:

— Вот где хорошо, товарищ Никитин! Воздух чистый, полицейских нет, и Власикова не видно. Не жизнь, а малина!

Еще больше удивился Степан, увидев ткачиху Зубковской фабрики Анну Кочневу. Ей едва исполнилось двадцать лет. Сероглазая, с длинной толстой косой, она чем-то напоминала Степану Наташу. Сходство увеличивала круглая аккуратная родинка на щеке чуть пониже глаза, такая же, как у Наташи. Неделю назад Степан, увидев Анну, заметил в ней какую-то перемену, но в чем она заключалась, он сразу не отгадал. Но когда Анна сняла платок, он увидел: коса короной лежала вокруг головы. Максим Грачев шутливо сказал:

— Проворонил девушку: замуж вышла.

На массовку Анна пришла с мужем. Степан узнал и его. Высокий, плечистый Анфим Болотин снимал квартиру неподалеку от домика Прасковьи Федоровны.

Молодожены стояли около высокой сосны. Анна поднялась на пенек, доверчиво положила руку на плечо мужа.

Степан думал, что на массовке встретит угрюмых людей, похожих на Балашова, а вокруг стояли, сидели на пеньках и на спиленных соснах обыкновенные люди, те самые, которых он привык видеть на улицах, в фабричных корпусах, в своей спальне. Только одеты по-праздничному: женщины в новых кофтах, у многих мужчин новые картузы. Рядом со Степаном стоял молодой парень. Из-под темного пиджака огнем горела кумачовая рубаха; под ремешком картуза белел билетик с ценой. Парень явно хвастался обновкой.

Когда все собрались, «Отец» поднял руку и внятно сказал:

— Говорить будет товарищ «Странник».

Балашов взобрался на пенек и, сильно окая, начал свою речь:

— Товарищи! Все вы, наверное, читали листовку «Первое мая». В ней ясно и понятно сказано, чего хотят социал-демократы...

И Степану пришлось удивиться еще раз. Того Балашова, которого он знал, не было. Семен Иванович обычно ходил немного ссутулясь, говорил негромко, и голос его звучал глухо. Сейчас он казался высоким, голос у него окреп, и его было отчетливо слышно, хотя Степан стоял не близко.

Когда Балашов, кончив речь, соскочил с пенька, ему долго хлопали. Важеватов украдкой посмотрел на Анну. Она громко била в ладоши, повернув лицо к мужу. Потом она обхватила Анфима руками за шею и поцеловала. Степан увидел ее счастливые глаза и снова вспомнил Наташу, и ему на минуту стало

грустно оттого, что она далеко. И она также могла быть в этом лесу, рядом с ним.

После Балашова кратко, но, как всегда, горячо и взволнованно говорил Евлампий Дунаев. Потом «Отец» зачитал резолюцию. Степану особенно запомнились слова:

— «Когда победит пролетарская революция, все фабрики, машины, созданные руками рабочего класса, земли перейдут в общую собственность. Тогда все человечество будет трудиться на общую пользу, а не на кучку капиталистов. Тогда не будет стоять перед нами и тысячами наших товарищей призрак безработицы и голодной смерти на улице. Не будем мы, чьими руками создается все необходимое для человечества, ходить и униженно, из милости, просить работы».

Стоявший рядом Аким Клещев убежденно сказал:

— Крышка тогда будет и Куваевым и Зубковым!

А «Отец» читал дальше.

— «Политической свободы мы добьемся только тогда, когда окончательно будет низвергнуто самодержавие. Долой же умывающееся кровью народной преступное самодержавие!»

Анна снова захлопала в ладоши, а за ней и другие. Потом «Отец» спросил:

— Какие еще будут добавления?

Ткачиха с Полушинской фабрики Надежда Яркова с места крикнула:

— Мало про войну сказано! Скорее бы она кончилась, проклятая!

Аким Клещев нагнулся к Степану.

— На прошлой неделе сообщение получила: мужа у нее убили. В ситцевой у Дербенева работал.

«Отец» сделал карандашом пометку в резолюции:

— Правильно, товарищ Яркова, пора войну кончать!

Расходились с маевки небольшими группами, по два-три человека. Последними ушли патрульные.

Около пяти часов вечера в другом конце города, по дороге к Витовскому бору, гарцевали казаки. Впереди сотни, рядом с есаулом, ехал полицмейстер Кожеловский.

Умело пущенный Балашовым слух о том, что массовка будет происходить вечером за Витовским бором, дошел по назначению.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Накануне отъезда Михаил Фрунзе, помня совет Воронина соблюдать в Иваново-Вознесенске все правила конспирации, решил обзавестись более подходящим костюмом. На эту мысль его навело замечание «Станко»: «Студентов в нашем городе мало, не больше пяти, да и те появляются только в каникулы».

Ехать в студенческой тужурке и фуражке никак не годилось. Наряжаться во все новое ему тоже не хотелось, и он, поборов свою неприязнь к одежде с чужого плеча, пошел на Сухаревку подобрать что-нибудь подешевле. Едва ступив на шумную, крикливую, заполненную народом площадь, Михаил натолкнулся на чистенькую, робкую старушку, державшую в руках черный пиджак и картуз с лакированным козырьком.

Михаил примерил пиджак — он пришелся ему в самый раз. Подошел и картуз, да и цена оказалась явно подходящей. Старушка, получая деньги, обрадовалась, словно получила подарок:

— Спасибо, молодой человек! Уж такое спасибо! Я ведь с ними несколько дней ходила: смотреть смотрят, щупают, а не берут. Может, вам сапожки еще нужны? Сына у меня в солдаты угнали, он мне и велел все продать, чтобы я тут без него себя питанием поддержала.

— А где же сапоги?

— Дома. Я тут совсем рядом живу: на Первой Мещанской. Знаете трактир Романова? Через дом от него. Может, не поленитесь, зайдете? Я уступлю.

Кроме сапог, Михаил купил у старушки черные диагоналевые брюки и синюю косоворотку. Старуха показала набор хороших столярных инструментов и тут же убрала их, аккуратно завернув в чистые тряпки:

— Сережины. Пока продавать не велел, только если уж очень худо станет.

Придя к себе на Пречистенку, Михаил переоделся в обновку и, осмотрев свой наряд, остался очень доволен: теперь он никак не походил на студента.

В сумерки Фрунзе пошел последний раз прогуляться по Москве. Незаметно добрался до Кремля, обошел его и заглянул в Александровский сад. Едва он опустился на скамейку, как мимо важно проплыл огромный полицейский. Сначала он не обратил на Михаила никакого внимания, затем остановился, посмотрел через плечо и, тяжело повернувшись, шагнул к скамье:

— Чего расселся?

— А разве нельзя? — вежливо осведомился Михаил.

— Проваливай! Для вашего брата гулянка в другом месте!

Не желая спорить с блюстителем порядка, Михаил пошел из садика, улыбаясь: «Если этот мастодонт облаял, значит, я действительно похож на мастерового».

От Кремля он направился в Каретный ряд, к дому Немчинова. Дергая за ручку звонка у квартиры номер девять, он подумал: как-то его сейчас здесь встретят?

Дверь открыла все та же молодая женщина в сером платье с кружевным воротничком. Михаил слегка отодвинулся от полосы света, идущего из передней.

— Вам кого? — сухо спросила женщина и быстро, не дождавшись ответа, захлопнула дверь.

Михаил снова позвонил.

На этот раз из двери выглянул знакомый человек с бородкой клинышком. Он снял очки и, узнав гостя, пригласил:

— Входите.

Осмотрев Михаила, он засмеялся и громко позвал:

— Машенька! Идите сюда — это Фрунзе.

В переднюю вошла женщина.

— Я вас не узнала. Смотрю, стоит кто-то и лицо от света прячет.

Мужчина довольно сказал:

— Очень хорошо, замечательно вы оделись!.. Ну, пойдемте.

Он выдал Михаилу по три экземпляра только что полученных из Женевы тринадцатого и четырнадцатого номеров «Вперед» со статьей «Социал-демократия и временное революционное правительство».

— К сожалению, больше дать не могу. Последний транспорт из Женевы где-то застрял. Это мы получили в конвертах по почте. Кстати, Владимир Ильич просил, чтобы рабочие давали свои адреса для посылки «Вперед» в конвертах. Попробуйте организовать это в Иваново-Вознесенске.

— Не дойдут, полиция перехватит.

— Владимир Ильич считает, что полиция сможет перехватить одну-две десятых конвертов, а большая часть дойдет.

— Как это сделать?

— Надо постараться выслать в Женеву один рубль и сообщить свой адрес.

Увидев, что Михаил вынул карманную книжку, собеседник спросил:

— Что вы хотите делать?

— Записать адрес.

— Не надо. Постарайтесь запомнить.

— Я запишу только номер дома.

— Тогда можно. Посылать деньги лучше коллективно. Это обойдется дешевле, потому что, согласно правилам о частной международной корреспонденции, за каждое отправление до шестисот рублей, пусть это будет даже один рубль, взимается по полкопейки с рубля и рубль пятьдесят копеек за всю пересылку. Если вы пошлете десять рублей порознь, вам придется заплатить пятнадцать рублей за пересылку, а если сразу десятку, то только полтора рубля. Поняли?

— Понял. А как же с адресами? Нельзя же все десять адресов сообщить в одном переводе.

— Адреса отдельным письмом.

— Все ясно.

— Запомните еще два адреса: по ним можно посылать заметки для «Вперед». Владимир Ильич пишет, что редакция

очень нуждается в рабочих корреспонденциях. Он настойчиво требует от нас, чтобы десятки, сотни рабочих писали в газету «Вперед». А ивановововознесенцы пишут мало: прислали всего несколько заметок. Приедете на место — постарайтесь выполнить просьбу Владимира Ильича.

— Обязательно.

— И еще: напомните в Иваново-Вознесенске «Отцу», чтобы он не забывал отправлять интересные документы и все местные издания в женевский архив партии и библиотеку. Адрес он знает. Ну вот, кажется, и все. О Третьем съезде вы, конечно, знаете? Он еще не закончился. Как только получим материалы съезда, постараемся снабдить вас всем, чем сможем. Но одно уже сейчас ясно: с меньшевиками разошлись и, очевидно, навсегда.

— Товарищ «Станко» рассказывал мне, что в Иваново-Вознесенске меньшевики непопулярны. Их там нет.

— Почти нет. И вот для того чтобы они там совсем исчезли, надо хорошенько разъяснить рабочим суть меньшевизма. Не забывайте и об эсерах.

— Не забуду.

— Ну, давайте прощаться. Когда едете?

— Завтра утром.

Из Каретного Фрунзе зашел в свою комнату, аккуратно зашил под подкладку пиджака номера «Вперед», затем, уложив все свое небогатое имущество в заплечный мешок, сел у раскрытого окна. Ночь была лунная, серебристо-белая. На улице было тихо, только со двора доносился мальчишеский голос, беспрерывно повторявший:

— Нина! Иди домой, мама велит.

Михаил вспомнил родной Пишпек, мать и милых сердцу сестренок.

«Как-то они там без меня? Даже ведь не знают, где я! А я снова еду в новый город. Надолго ли?»

Он вздохнул и лег на узенькую, жесткую кушетку. Молодость, усталость взяли свое, и он уснул, подумав напоследок: «Как бы завтра не проспать, поезд уходит рано...»

* * *

Ротмистр Шлегель установил, что приехавший из Петербурга Иван Никитин работает у Зубкова и живет в общей спальне при фабрике. Шлегелю стал известен и случай с конторщиком Власиковым. Ротмистр вызвал студента и, сообщив ему все это, приказал:

— Во что бы то ни стало восстановите знакомство с этим фруктом. Не мне вас учить, как вам вести себя с ним. Хочу только предупредить: за провал ответите головой. Будьте

поаккуратнее. Судя по всему, ваш романтический красавец — парень весьма решительный.

На другой день Кручинин выбрал в пивной столик у окна, из которого хорошо видна была дверь проходной фабрики Зубкова. После гудка из проходной повалил народ. Кручинин издалека заметил Степана, возвышавшегося над толпой почти на целую голову.

Студент торопливо расплатился и выскочил на улицу. Еле сдерживая волнение, он пошел навстречу походкой человека, которому некуда торопиться и он просто наслаждается теплым весенним днем.

Не дойдя до Важеватова нескольких шагов, он широко распахнул руки и бросился к нему:

— Степан Ильич! Как я рад вас видеть!

— Здравствуйте, — сухо сказал Степан, поняв, что отпираться бесполезно.

— Как ваше здоровье после шуйского купания?

— Ничего, благодарю, здоров.

— Хорошо вы тогда поступили. Я до сих пор о вас всем знакомым и незнакомым рассказываю. Имени вашего, конечно, по некоторым соображениям, не называю. Вы куда сейчас?

— Домой.

— Позвольте вас проводить. Я так, без всякого дела шатаюсь. Уж очень день сегодня великолепный... Герой! Настоящий герой! Я хотел о вас в газету написать, но воздержался, принимая во внимание нашу встречу в пути.

Важеватов прибавил шагу. Кручинин неожиданно остановился и с дрожью в голосе сказал:

— Нехорошо. Очень нехорошо.

— Что нехорошо? — зло спросил Степан.

— Зачем вы от меня бежите? Если вам неприятно, что я иду с вами, так и скажите.

Степан остановился. Кручинин подошел к нему вплотную.

— Вам от меня бежать не надо. Я не враг, а друг. Я все давно понял. Поймите и вы: если я враг, одно слово любому полицейскому — и вы в участке. Я же молчу. В Петербурге ко мне мои друзья по-другому относились. — Он стал говорить совсем тихо. — Вы бежали, а я выслан на родину. Зачем же нам быть врозь? — Он подал Степану руку. — Пошли. Нам надо поговорить. Только не здесь, здесь неудобно. Знаете что? Пошли ко мне! Кстати, есть чертовски захотелось. При виде вас у меня даже аппетит появился. Матушка моя обрадуется.

* * *

В понедельник 9 мая ткачиха Дербеневской фабрики Аграфена Васильевна Николаева должна была работать в первой смене, которая начиналась в три часа утра и заканчивалась в

два часа дня. Это Аграфену Васильевну никак не устраивало, так как утром в лесу, около деревни Поповское, группа Северного комитета большевиков назначила нелегальную партийную конференцию. Об этом Николаеву предупредил помощник районного организатора Веселов. В субботу вечером он подошел к ней и, остановив станок, чтобы она лучше слышала, сказал:

— Переменись сменами, Груня.

Груня тотчас же отправилась к табельщику. Старшего табельщика Стратилата Иудовича Жучкина ткачи иначе, как Иудиным сыном, не называли. Маленький, весь высохший, похожий на скопца, он радовался и весь расцветал при известии о чужом горе. Записать штраф, доложить управляющему о проступке подчиненных было для него наслаждением.

Особенно люто ненавидел он молодежь. Не дай бог, если он узнавал, что кто-нибудь из рабочих справлял свадьбу. Насмешкам, гаденьким разговорам не было конца. Нередко жертва не выдерживала и огрызалась. Иудычу только этого и надо было: он немедленно вписывал штраф «за дерзкое поведение». Иным становился Жучкин, узнав о чьей-нибудь смерти. Он бледнел, истово крестился и на короткий срок добрел.

Груня вошла в табельную и, вытирая концами платка сухие глаза, заголосила:

— Ой, батюшка Стратилат Иудович, горе-то какое!

— Чего воешь? — сердито крикнул табельщик.

— Как же мне не плакать? Сейчас сестренка в окно кричала, тетенька моя, мать крестная, померла.

Иудыч, перекрестившись, ласково сказал:

— Все там будем. Все. Не в одно время, а все! Домой побежишь?

— Побегу, Стратилат Иудович, побегу.

— Беги, беги,— крестил ее Иудыч.— Не беса тешить идешь, не на веселье — на божье дело.

— Запишите, Стратилат Иудович, может, я в понедельник в вечернюю смену выйду.

— Запишу.

В понедельник Груня встала чуть свет, помогла матери истопить печь и, захватив узелок с печеной картошкой, отправилась в Поповское. При выходе из города, около кирпичного завода, ее окликнул слесарь Фома Котов.

Груня остановилась, подождала его, и они пошли дальше вместе.

Фома Котов никогда не отличался словоохотливостью, а сейчас у него были все основания не быть разговорчивым. Он третий месяц был без работы. Сознание, что он, молодой, здоровый человек, вынужден жить на заработок жены Нади, невероятно угнетало его. С этим еще как-нибудь можно было примириться, но одно мучило Фому: Надя никак не одобряла его образа мыслей и всячески осуждала его поведение. Она, не

стесняясь, говорила ему: «Забыл, что говорил, когда сватался: «Работать буду, жить хорошо будем». А что получилось? Чуть с голоду не подыхаем! С пятой фабрики в шею гонят».

Сегодня перед уходом Котов опять поссорился с женой. Надя, узнав, что он уходит на весь день, со злостью крикнула: «А кто будет огород копать? Опять я? Ты со своими дружками лясы точить, а я после смены опять запрягайся! Дал господь муженька!..»

Груня слышала о семейных делах Котова и поэтому, идя с ним, старательно избегала этой темы. Но Фома не выдержал и пожаловался:

— Опять меня жена распушила. Не знаю, что с ней делать.

Груня предложила:

— Позволь, я с ней поговорю.

— Попробуй, только бесполезно. Она тебя так турнет — не опомнишься.

— Не турнет. Меня бабы слушаются.

Так за разговором о разных делах подошли к лесной сторожке, где их встретил Яков с Акимом, сегодня, как и Первого мая, выполнявшие обязанности патрульных. Проверив пароль, они показали им стоящие вдалеке два стога сена:

— Дойдете до стогов, спускайтесь к речке. У мостика ребята вам покажут, куда идти.

Груня думала, что они с Котовым пришли если не раньше всех, то, уж во всяком случае, одни из первых. Но она ошиблась: все пятьдесят делегатов конференции уже собрались. Открыл конференцию «Отец». Он, по привычке оглядев всех присутствующих, сказал:

— Кажется, все. Давайте начнем. Вопрос, товарищи, у нас один — о забастовке. Давайте советоваться. Своевременно ли начинать ее? Самое главное — как смотрят на забастовку рабочие, особенно женщины. Готовы ли они к ней? Прошу высказаться. С кого начнем? Может быть, ты, товарищ Николаева, начнешь?

Груня вышла на середину:

— Начну. Пора бастовать! Я всю неделю с ткачихами говорила, и они в один голос — бастовать. Есть у нас на фабрике Татьяна Сажина. Детей у ней пятеро, муж инвалид: руку ему в прошлом году на машине оторвало. Татьяна раньше о забастовке и слышать не хотела, а позавчера она мне сама напомнила: «Чего ждут? Надо бы нашим хозяевам сундуки потрясти». Не знаю, как на других фабриках, но за нашу я ручаюсь — все выйдут.

Кончив говорить, Груня села недалеко от «Отца». Тут она впервые заметила, что на нее внимательно смотрит незнакомый молодой человек. Она услышала, как незнакомец спросил у Балашова:

— С какой она фабрики?

— С Дербеневской.

Выступали делегаты с Куваевской, Грязновской, Зубковской и других фабрик. Все они говорили об одном: пора бастовать.

На пенек поднялся Евлампий Дунаев. По всему видно было — говорит прирожденный оратор. Голос у него был звучный и очень приятный.

— Если мы забастовку не объявим, рабочие сами бросят станки.

«Отец» предложил голосовать. Полсотни рук взметнулись вверх. Забастовку решено было начинать в четверг 12 мая. После голосования «Отец» сказал:

— А теперь давайте обсудим требования к фабрикантам. Слово имеет товарищ Дунаев. Начинай, Евлампий.

Дунаев стал зачитывать требования. Первое — о введении восьмичасового рабочего дня — ни у кого не вызвало возражений. За него голосовали все сразу. Так же легко были приняты требования об отмене двух сроков найма — на пасху и на 1 октября. Спор разгорелся по поводу требования об одинаковой заработной плате для мужчин и женщин.

Прочитав это требование, Дунаев своим звучным голосом спросил:

— Включим?

Первым высказался Иван Мурашов. Он усмехнулся и махнул рукой:

— Не надо, ни к чему. Где это видано, чтобы женка вровень с мужиком получала? Разве они столько наработают? Какая у них сила...

Мурашов еще не кончил своей речи, как его перебила ткачиха Настасья Баландина:

— Какая у баб сила, говоришь? Не будут женщины бастовать — и стачка сорвется. А насчет того, сколько женщина может работать, не тебе судить. Ты свою жену спроси. Да что с тобой говорить!

Настасья махнула рукой и села. Дунаев тронул Мурашова за плечо:

— Садись, Иван, не то заклюют.

«Отец» под общее одобрение добавил:

— И правильно сделают!

Требование было принято единогласно, при одном воздержавшемся.

Когда обсуждали требование о том, чтобы отпускать роженицу за две недели до родов и на четыре недели после родов с сохранением полной заработной платы, Иван Мурашов, желая, по-видимому, исправить свою оплошность, под общий смех выкрикнул:

— Каждый год!

Дунаев жестом остановил смех и поправил:

— Каждый раз. Правильно, товарищ Мурашов?

— Правильно. Пусть рожают.

Потом голосовали все двадцать шесть требований.

Груня заметила, как Балашов в это время нагнулся к молодому человеку и спросил:

— Трифоныч, ты не забыл?

— Разве можно!

— Расскажи.

— Нет Идите вы.

Он достал из кармана и подал Балашову листок бумаги. Балашов встал и громко сказал:

— Есть предложение утвердить текст обращения ко всем рабочим и работницам Иваново-Вознесенска. Оно короткое. Позвольте его зачитать?

— Читай.

Балашов развернул листок, поданный ему молодым человеком, и начал читать:

— «Товарищи! Не хватает сил больше терпеть! Оглянитесь на нашу жизнь — до чего довели нас наши хозяева? Нигде не видно просвета в нашей жизни. Довольно! Час пробил! Не на кого нам надеяться, кроме как на самих себя. Пора приняться добывать себе лучшую жизнь. Бросайте работу, присоединяйтесь к вашим забастовавшим товарищам. Выставляйте требования, изданные нашей группой. Присоединяйте к ним, кроме того, свои местные требования. Собирайтесь для обсуждения ваших нужд в городе и за городом. Иваново-Вознесенская группа Северного комитета РСДРП». Вот все, товарищи! Какие будут замечания?

— Есть замечания.

— Давай.

Поднялся старый шлихтовальщик Краснов:

— Там у тебя сказано: «Нигде нет просвета в нашей жизни». А ты напиши: «В нашей собачьей жизни».

— А надо ли?

— Надо! Жизнь-то у нас на самом деле собачья: чуть состаришься — и, как собаку, со двора долой.

— Хорошо. Добавим.

— Отпечатать надо бы побольше.

— Отпечатаем.

Начинать забастовку поручили Бакулинской фабрике: на ней была самая крупная ячейка; возглавлял ее Евлампий Дунаев.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Полицмейстер Кожеловский торжествовал: Шлегель еще раз остался в дураках.

О маевке близ деревни Горино ротмистр узнал только к вечеру, когда все участники благополучно возвратились домой.

Прогулка под конвоем казаков в Витовский бор доставила полицмейстеру много приятных минут. Покачиваясь в седле, он предвкушал, как по возвращении будет издеваться над ротмистром: «Опять подвели вас ваши агенты! Плохо вы их тренируете, ваше благородие».

А тут еще один сюрприз: где-то за городом большевики проводили конференцию. Шлегель опять проворонил. На днях, говорят, в Иваново-Вознесенск прибыл новый агитатор. Шлегель ничего о нем не слыхал. И самое главное — не сегодня-завтра вспыхнет забастовка, а ротмистр уверяет, что это вздорные слухи. Ну и пес с ним! Кичится своей гвардейской выправкой, мундиром, духами, женой — одним словом, всем. Ему же хуже, что не слушается. Сейчас нужны облавы: одна, другая, третья... Облава за облавой, каждую ночь. Надо сажать всех, кто не отводит при встрече глаз, кто не снимает на улице кепку при виде начальства. Не хватит тюрьмы в Иваново-Вознесенске — есть еще свободные камеры в Шуйской и Владимирской. На худой конец можно арендовать у монахов, в Суздальском монастыре. И побольше казаков — не донских и не терских, а астраханских «желтяков». Все они безграмотны и городских не любят.

«Интересно знать, что сейчас пишет Шлегель. Собачий сын! Видит, перед ним сидит полицмейстер, и делает вид, что занят.

Пиши, пиши. Посмотрим, чья возьмет! Много вас тут перебывало, а Кожеловский один. Если бы мне связи да денег побольше, ты бы, фитюлька несчастная, стоял передо мной навытяжку!»

Ротмистр положил перо, откинулся, как всегда, на спинку кресла и закурил.

— Так вы, ваше высокородие, утверждаете, что будет забастовка? А по-моему, не будет. Безработных в городе несколько тысяч. При таком положении эти негодяи фабрики не бросят. Весь этот шум только дипломатический. Просто рабочие хотят припугнуть хозяев, добиться уступок.

— Ну нет, извините. Впрочем, мое дело предупредить. Зачем звали?

Шлегель прошелся по кабинету и сказал:

— Нам надо общими усилиями устроить одно дело. В спальне Зубковых живет Иван Матвеевич Никитин. Между нами говоря, он такой же Никитин, как, скажем, вы московский генерал-губернатор. Но суть не в этом. Надо его оттуда выкурить.

— Куда? За пределы?

— Нет. Надо, чтобы он покинул общую спальню. Тогда он поневоле должен будет снять квартиру, а мне нужно именно это, чтобы он искал себе жилье.

— Проще быть не может. Скажу завтра управляющему, и он его в три шеи.

— Распорядитесь.
— И это все?
— Да, все.
Полицмейстер встал и со злостью произнес:
— Охота вам такими пустяками заниматься!
Через полчаса после ухода Кожеловского на его месте сидел Кручинин. Ротмистр внимательно слушал студента.
— Вчера я опять виделся с ним. Долго сидели у нас в саду. Выпили три бутылки пива. Результатов никаких. О бегстве из столицы молчит, как будто всю жизнь прожил здесь.
— Он вам не доверяет?
— Возможно.
— Не возможно, а на самом деле. О чем вы еще с ним беседовали?
— Даже не могу сказать, о чем. Кажется, обо всем.
— Обо всем и ни о чем!
— Да, разговор был беспредметный. Я не хочу быть назойливым: он может заподозрить.
— Это правильно. Какие у него планы на будущее?
— Хочет обосноваться здесь надолго. Желал бы стать токарем.
— О своих связях с местными социал-демократами не говорил?
— Ни слова, ни одного намека.
— Все ясно. Он вам не доверяет. Надо внушить ему, что вы его искренний друг.
— Как это сделать?
— Очень просто. Завтра его выгонят из общей спальни от Зубкова. Он будет искать себе жилье. Вы предложите ему жить у вас.
— У меня?
— Да, у вас...
— Но у меня негде.
— Придется потесниться...
— Я могу уговорить маму сдать ему комнату.
— Великолепно! Устраивайте. Как только он переберется, поговорим о дальнейшем. А пока чаще встречайтесь с ним. Главное — сочувствуйте ему.
— Постараюсь.
— Мы вас не забудем. И жалованья прибавим, не помешает молодому человеку... на расходы.

* * *

Степан, задержавшись у Якова, ночью поднимался по чугунной лестнице в спальню. На площадке второго этажа его остановила смотрительница тетка Ираида:
— Тебя, милок, пускать больше не велено.

— Кто сказал?

— А кто бы ни сказал. Не велено. Вещички твои внизу, в кубовой у сторожихи.

— Куда я ночью пойду?

— Хоть в монастырь иди, мне какое дело!

Смотрительница хлопнула дверью и закрыла ее на цепь. Степан сел на приступке, не зная, что ему делать. Вскоре по ступенькам загремели шаги.

— Чего разлегся? Пьяный, что ли?

— Смотрительница не пускает.

— Она такая... А ты кто будешь?

Степан назвал себя.

— Никитин! Постой, да это же не ты ли конторщика Власикова отутюжил?

— Выходит, я.

— Идем со мной.

— Куда?

— Идем, не бойся. Мы тут на чердаке бесплатно жилье себе оборудовали. У дымоходов. Тепло, и Ираидка совиные бельмы не пялит. Идем.

Они поднялись этажом выше. Спутник Степана влез по узкой пожарной лестнице и дернул веревку. Раздался звон.

— Видал, как живем? Со звонком.

Сверху грубый голос спросил:

— Кто?

— Свои. Открывай.

Заскрипела железная крышка люка.

— Лезь! Только голову не забудь нагнуть, а то стропила своротишь.

Степан очутился на чердаке. Парень подал ему руку.

— Иди за мной. Васька, зажги свет.

— Керосин весь выгорел.

— На минутку.

— Сейчас.

При свете маленького фонаря Важеватов осмотрелся. На соломе спали два человека. Прислонясь спиной к дымоходу, сидел молодой парень.

— Куревом, Силантий, не разжился?

— Нет, Вася. Вот, может, у Никитина есть.

— Не курю.

— Жаль.

Степан сел к дымоходу.

— Давно вы тут живете?

— Второй месяц.

— И не гонят?

— Никто не знает, мы тихо живем, а так бы давно выгнали.

— Почему вы здесь?

Тот, что привел Степана, объяснил:

— Негде. Все мы безработные. Меня позавчера уволили, а Вася с Нового года без дела. Все пришлые, из деревень. Куда денешься? За квартиру берут рубль, а то и полтора, а у нас ни гроша. Найдем работу — уйдем отсюда.

— А если не найдете?

Силантий равнодушно ответил:

— Будет худо. Да мы привыкшие... Ложись, дядя. Спи. Утром тебя тихонечко спустим.

Парень дунул, и фонарь погас.

Степан лег на солому, прижавшись спиной к дымоходу. Вскоре он крепко уснул. Рано утром парни осторожно открыли ему люк. Он спустился в кубовую, забрал у сторожихи свой сундучок и направился к Прасковье Федоровне. Подойдя к домику, он постучал в окошко. Голос, показавшийся ему удивительно знакомым, спросил:

— Кто там?

— Прасковья Федоровна дома?

— Нет. Она с вечера ушла в деревню и придет прямо на фабрику. А вам ее очень нужно?

— Очень.

Дверь скрипнула. На крыльцо вышел человек. Несмотря на ранний час, он был одет в сапоги, на голове темнела кепка. Но Степан узнал бы его в любом костюме. Он поставил сундучок на землю и протянул человеку руку:

— Миша! Михаил Васильевич! Как вы здесь очутились?

Фрунзе соскочил с крыльца, обнял его:

— Степан, дорогой! Идем! Если бы вы знали, как я рад вас видеть!

Они вошли в дом. Важеватов стоял посреди комнаты, улыбаясь, не зная, верить себе или нет.

— Никак опомниться не могу! Откуда вы?

— Все расскажу. Все. Садитесь.— Фрунзе взял из его рук сундучок.— Садитесь. Как вы здесь поживаете? Вас не узнать. Сейчас вас даже Наташа и та бы не узнала. Похудели. Что, трудно живется? Я понимаю, Степан Ильич, очень трудно. Работаете?

— Да. Скажите, вы когда ее в последний раз видели?

— Наташу? В последний раз я ее встретил в день отъезда. В марте.

— Значит, вы давно здесь.

— Нет, здесь я совсем недавно. Я сюда не из Петербурга.

— Понятно. А я здесь еще одного питерского знакомого встретил... Постойте, да ведь и вы его знаете? Вы же меня с ним познакомили. Помните, на вечеринке?

— Кручинин?

— Совершенно верно.

Степан рассказал обо всех своих встречах с Игорем.

— Не в обиду будь вам сказано, а только ваш дружок, Михаил Васильевич, очень мне не по душе. Очень уж липнет...

Фрунзе встал, походил по комнате, потом сел рядом.

— У меня к вам, Степан Ильич, две просьбы. Очень вас прошу — не называйте меня Михаилом Васильевичем, Мишей. Я теперь не Миша, меня зовут Трифоныч.

— Как?

— Трифоныч.

— Чудно! Вы же молодой.

— Так надо, Степан Ильич.

— Понял. Еще что?

— Если мы встретимся с вами где-нибудь на улице, при посторонних людях, делайте вид, что мы с вами раньше не встречались.

— Хорошо.

— Если еще раз увидите Кручинина, не говорите пока ему, что я здесь.

— Тоже понял. А я ему совсем ничего не говорю. Он болтает, я и слушаю и не слушаю.

— А вы с ним встречайтесь. Кто знает, может, и он когда-нибудь пригодится. Где вам жить, надо посоветоваться с Семеном Ивановичем.

Слышно было, как кто-то прошел сенями. Фрунзе подошел к двери:

— Кто там?

— Свои.

Вошли Балашов и «Станко». «Станко» настороженным взглядом окинул Степана.

— А ты как сюда попал?

— Да вот встретил... разговорились.

Фрунзе улыбнулся и поспешил внести ясность:

— Мы старые знакомые, еще по Питеру... Ничего, товарищ Иван, при них можно, они люди свои.

* * *

У большевиков наступили горячие дни. Особенно много забот было у «Отца» и Семена Ивановича Балашова. Оба забыли про сон, ели на ходу.

Предполагавшуюся забастовку надо было сделать не только всеобщей, но превратить из экономической в политическую. Грамотных, хорошо разбирающихся в политике агитаторов и пропагандистов не хватало. «Отец» собирал партийных рабочих по ночам, по нескольку человек. Беседовал с ними, разъяснял последние сообщения с фронта, новости политической жизни.

Не хватало нелегальной литературы, а без нее рядовым большевикам трудно было разбираться в верноподданнических

статьях «Биржевых ведомостей» и «Московского листка». Либеральные «Русские ведомости» тоже мало помогали. «Отец» чрезвычайно обрадовался номерам «Вперед», которые привез Трифоныч. Еще больше он был рад самому Трифонычу. Несмотря на свою молодость, Трифоныч хорошо разбирался во всех политических вопросах. «Отец» убедился в этом в первые же дни. Увлеченный подготовкой то маевки, то конференции, он не нашел времени по-настоящему разобраться в том, что писали газеты о проекте министра внутренних дел Булыгина создать новые «представительные учреждения». «Отец» понимал, что царское правительство, напуганное революционным подъемом, делало вид, что оно собирается сделать какие-то уступки. Об этом хотелось просто и ясно рассказать рабочим, чтобы они поняли: от булыгинских проектов добра ждать нечего. «Отец» попросил Трифоныча побеседовать на эту тему с фабричными организаторами.

— Только ты им попроще объясни. Ребята наши, к сожалению, малограмотны, на медные гроши учились.

— Хорошо. Постараюсь, чтобы поняли все.

«Отец» тоже пошел на беседу. Происходила она поздно ночью в доме Анны Семеновны Боевой. В комнате, где жили Яков и Аким, собралось около тридцати человек. Несмотря на духоту, Балашов не разрешил открывать занавешенное одеялом окно:

— Казаки то и дело рыскают.

Охранять собрание взялся «Станко». Он расставил на всех углах квартала часовых, приказав им не торчать на всех улицах, а вести наблюдение из-за заборов. Связным он наказал в случае тревоги во весь дух мчаться к дому Боевой.

После того как фабричные организаторы рассказали о ходе подготовки к забастовке, «Отец» сказал:

— Ну, а теперь послушаем товарища Трифоныча.

Фрунзе встал и, подвинув поближе лампу, начал доклад.

— Товарищи! — произнес он и от волнения сам не узнал своего голоса. Это было его первое выступление перед иваново-вознесенцами. Как-то они его примут?

— Товарищи,—повторил Фрунзе и увидел ободряющий взгляд Балашова,—все вы, наверно, слышали или читали о проектах министра Булыгина. Правительство Николая Кровавого хочет этими проектами отвлечь внимание рабочего класса от его настоящей революционной борьбы, обмануть его. Булыгинская «конституция» никак не ограничит самодержавие, так как задуманные министром палаты только совещательные и никаких прав не имеют. Это похоже на то, как если бы здешний фабрикант Гарелин предложил созвать в помощь ему комитет из рабочих. Рабочие советовали бы Гарелину увеличить заработную плату или, еще проще, передать его фабрики в общее пользование. Гарелин на это ответил бы: «Слушать-то я

вас слушал, а поступлю по-своему. Я хозяин». Так же сделает царь с булыгинской Государственной думой. Он ответит: «Слушать я вас могу, но по-вашему не выйдет — я самодержец всероссийский». Для того, чтобы господа советники не очень докучали царю, Булыгин хочет набрать их из помещиков, дворян, офицеров и зажиточных крестьян. Рабочих и бедняков-крестьян в думу пускать не хотят, потому что они самые беспокойные люди: вдруг не попросят, а потребуют от царя, чтобы он отдал фабрики рабочим, а землю — крестьянам? Стоит ли нам, товарищи, надеяться на эту думу?

«Отец» посмотрел на слушателей. Все они пришли после одиннадцатичасового рабочего дня на пыльных, душных фабриках. У каждого немало забот и хлопот по хозяйству. Все страшно нуждались, и поэтому многие ничего не ели с самого утра. Если бы выложить все медяки, что болтались в карманах у этих людей, вряд ли бы набрался даже рубль. Но все они, позабыв об усталости, голоде и нужде, слушали Трифоныча, боясь пропустить хоть одно слово.

Груня Николаева сидит, подперев щеку рукой. Платок съехал с головы, волосы растрепались. Голубые глаза внимательно смотрят на Трифоныча. Фома Котов неподвижно сидит, согнувшись, опустив между колен руки. Можно подумать — не слушает, уснул. Но вот он поднял голову и что-то шепнул соседу, Акиму Клещеву.

Фрунзе перестал волноваться. Голос окреп. Он все реже и реже смотрит на тезисы, изложенные на узеньком листочке.

— Правительство ведет ловкую игру. Рабочий класс не должен обольщаться надеждой, что булыгинская канитель принесет хоть какое-нибудь улучшение жизни трудящихся. Наша надежда — мы сами, наша партия...

«Отец» смотрит на Акима Клещева и думает: «Вот такие люди — наша надежда». Всего, казалось, лишили парня: нужда согнала его из родной деревни в город, отняли и загнали в петлю любимую жену, никуда не принимают на работу. «Отец» случайно вчера увидел, как Аким стирал единственную свою рубашку. Он долго стоял голый по пояс, пока рубашка не высохла. А сейчас он сидит на нелегальном собрании, и ему только за одно это грозит тюрьма или ссылка в Сибирь.

Фрунзе кончил доклад. Складывая листочек с тезисами, он сказал:

— Как будто все. Если у товарищей есть вопросы, давайте побеседуем.

Вопросов задали много. «Отцу» понравилось, как Трифоныч отвечал на них. Он сразу улавливал суть вопросов и, подумав, отвечал неторопливо, обстоятельно.

На один из вопросов он ответил:

— Сегодня, сейчас я вам этого не объясню, потому что сам хорошо не знаю, но постараюсь узнать и вам рассказать.

И это понравилось «Отцу». «Не всезнайка! И не боится в этом признаться. Это очень хорошо».

Балашов поднял занавеску и присвистнул:

— Заговорились мы! На улице белый день. Пора по домам, да и на фабрики. Давай, Архипыч, раздавай.

Федор Самойлов начал раздавать лежавшие под скамьей листовки с призывом о забастовке.

— Сегодня же разбросать по фабрикам!

В это время вдалеке глухо зарокотал гром. Когда участники совещания расходились, начали падать первые крупные капли дождя. Сверкнула молния, и сильный удар раздался, казалось, над самой крышей, и сразу дождь полил как из ведра. Балашов распахнул окно и увидел: на другой стороне улицы под навесом стоял «Станко». Он протягивал сложенные ковшиком руки, набирал дождевой воды и умывался, прогоняя сон.

А гром все гремел. Начинался день 12 мая 1905 года.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Утро выдалось прекрасное. Омытый грозовым ливнем воздух был чист и прозрачен. Как-то по-особенному полнозвучно ревели гудки.

Во всем остальном начало дня было обычным. Вслед за первой сменой прошли рабочие дневной, за ними потянулись конторщики. Бежали в школу, шлепая по лужам, мальчишки. У Туляковского моста кучка реалистов налетела на гимназистов. Конечно, произошла традиционная свалка. Две фуражки — одна темно-синяя с белым кантом, другая — черная с желтым — поплыли по мутной Уводи.

Звонили колокола. Тарахтели по булыжной мостовой ломовики. Проехал в пролетке Зубков, сердито посматривая по сторонам. Открылись лавки и магазины у Куражова, Кузнецова, Лаврентьева, Кашинцева. Из мясной Мужжавлевых несло запахом солонины. Пронесли покойника на кладбище. Городовые Митягин и Фунтиков, сидя на скамье у городской управы, от скуки играли в шашки. Как всегда пьяный с самого раннего утра, бывший парикмахер Сафончиков шел по площади, распевая:

Я поеду в город Шую,
Там куплю гармонь большую,
А как выйду за село,
Заиграю весело...

Митягин, сделав очередной ход, подошел к Сафончикову и беззлобно, так, ради порядка, ткнул его кулаком:

— Куда прешь? Пьяное рыло!

Сафончиков, спотыкаясь, побежал, крича диким голосом:

— Караул! Убивают!

Отбежал на почтительное расстояние, погрозил городовому кулаком:

— Звери-лошади! Я до вас еще доберусь!

Вдруг зацокали по мостовой подковы. Пригнувшись к луке, подлетел к управе казак, спешился и застучал сапогами по ступенькам.

В неурочный час заревел и тут же захлебнулся гудок. Помолчал секунду и завыл снова, вселяя в душу обывателей непонятный страх. Городовые собрали шашки и замерли. Мясник Мужжавлев, испуганно озираясь, выскочил из лавки с топором. Казак скатился с лестницы, взвился на коня и полетел, крикнув городовым:

— Поглядывайте, раззявы! На Бакулинской забастовали...

У ворот Бакулинской фабрики стояла большая толпа рабочих. Невдалеке в полном боевом порядке выстроился отряд казаков. Евлампий Дунаев вышел вперед и скомандовал:

— Пошли, товарищи!

Из толпы послышалось:

— Пошли, ребята, пошли!

Толпа колыхнулась и двинулась за Дунаевым. Казаки раздвинулись; из-за них, тыкая шпорами упиравшуюся лошадь, выехал Кожеловский:

— Куда, мерзавцы? Разойдись! Запорю!..

Толпа остановилась, только Дунаев продолжал идти навстречу Кожеловскому.

Полицмейстер двинул на него лошадь.

— Куда? Ты что, не слышал?

— Слышал,—спокойно сказал Дунаев.—Не мешай, дай людям пройти.

Он повернулся к рабочим и махнул рукой:

— Пошли, товарищи!

Толпа двинулась за ним, выстраиваясь в узкую, длинную колонну. Кожеловский вытащил из кобуры револьвер и, взмахнув им, зычно крикнул:

— Расходись, подлецы!

Дунаев вынул из кармана газету и, явно издеваясь, громко сказал:

— Разве дядя Ваня сильнее царя?

Полицмейстер опешил.

— Какой дядя Ваня?

— Да ты. Ведь тебя, кажется, с детства Иваном кличут. Значит, ты дядя Ваня. И ты нам, дядя Ваня, не указ. На вот, почитай, есть царский указ, разрешающий сходки. А мы идем на сходку...

Кожеловский повернул лошадь и поскакал к казакам.

В эту минуту завыл гудок, за ним второй, третий. Послышались крики:

— У Полушина бросили работу!

— У Зубкова!

Кожеловский, услышав гудки, проскочил через строй казаков:

— За мной! Марш!

Отряд рысью двинулся по направлению к управе. Над толпой взвилось красное полотнище.

На фабрике Товарищества Иваново-Вознесенской мануфактуры, где работал Федор Самойлов, забастовка началась с опозданием.

Разведчики, посланные Самойловым на фабрику Бакулина, давно уже сообщили, что бакулинцы бросили работу и пошли на площадь перед городской управой.

Самойлов обошел все этажи фабрики. Рабочие стояли в коридорах, в проходах. Но машины еще не остановили. Только в первом этаже торопливо одевалось несколько человек. Самойлов подбежал к ним:

— Подождите уходить! Идите поднимайте остальных!

В раздевалку влетела Наталья Разоренова:

— Мужики! У задних ворот полушинцы стоят и зубковские! Нас ждут!

Она побежала по лестнице, громко крича:

— Бабоньки! Бросай работу!

Фабрика вздохнула последний раз и стала. По лестницам, переходам бежали работницы:

— Бросай работу!

Где-то звякнуло разбитое стекло.

Самойлов скомандовал:

— К задним воротам!

От главных ворот, пересекая рабочим путь, бежали полицейские. Но они опоздали. В распахнутые задние ворота вливались зубковцы и полушинцы.

Самойлов увидел, как высокий белокурый гигант взмахнул алым флагом. «Да ведь это Иван Никитин,—вспомнил Самойлов.—Молодец парень!»

Смятые полицейские удирали, прятались в материальном складе за бочками, ящиками с початками.

Через десять минут на фабричном дворе стало тихо и пустынно, как в праздничный день. Только широко распахнуты двери и окна.

* * *

Степан по совету Балашова и «Станко» поселился на улице со странным названием Путанка, у двоюродной сестры «Станко». Тихая, молчаливая Федосья Алексеевна в ответ на просьбу брата пустить на квартиру его приятеля осмотрела Степана с ног до головы и спросила:

— Не пьешь?

— Не люблю.

— Можно не любить, а выпивать. С горя...

— Не пью.

— Тогда живи. Дров наколоть не откажешь, воды принести?

— Все сделаю.

— Спасибо. Сама я не могу: руки болят. А сварить чего потребуется — картошки, щей — сварю.

В этот же день к вечеру Степан сходил к Прасковье Федоровне за своим сундучком. Фрунзе он уже не застал. Прасковья Федоровна, угощая чаем, добродушно сказала:

— И ты, значит, теперь в птицы небесные определился. Летать с места на место. Заходи, если будет можно, ко мне почаще — рубашки постирать, чайку попить...

На обратном пути к себе на Путанку Важеватов около Соковского моста встретил Кручинина. Игорь, не скрывая радости, с деланным удивлением спросил:

— Степан Ильич! Куда это вы?

— На новую квартиру перебираюсь. Выгнали из каморок.

— Зачем же вам новую квартиру искать? Давайте к нам. У мамы как раз свободная комната есть. Лучше не найдете.

— Я уже нашел. У вашей матушки комната мне дорого обойдется. Она рублей пять, наверно, запросит, а я снял за рубль.

— Что вы! Я уговорю маму сдать вам подешевле. А если я ей скажу, что ваше присутствие для меня только радость, она вам еще приплатит.

— Не к чему. Давайте сделаем так. Я на новой квартире уже договорился, задаток вперед за месяц дал. Поживу, посмотрю; не понравится — попрошу вас мне помочь... Если бы я знал о вашем предложении раньше, я, может, не поторопился бы...

— Жаль... Давайте я вам помогу поклажу нести.

— Она для меня как пух.

Степан легко, действительно словно пуховую подушку, поднял на плечо сундучок и зашагал в гору. Кручинин, еле поспевая за ним, пытался начать новый разговор:

— Я вчера... Степан Ильич, рылся в своих книжках и нашел...

Важеватов остановился, спустил сундучок и, глядя в упор на студента, зло сказал:

— Ну что вы ко мне пристали! Какой я вам Степан Ильич? Все знаете и продолжаете чуть не на всю улицу называть меня по-старому. Сколько раз вас надо об этом просить?

— А вы и не просили.

— Сами не маленький. Можно было догадаться. А так с вами и до кутузки недалеко. Извините, я спешу. Поговорим как-нибудь в другой раз.

На другой день рано утром Степан по поручению Балашова должен был вместе со «Станко» идти в паровозное депо уговаривать железнодорожников присоединиться к забастовке. Недалеко от вокзала их обогнала сотня казаков. Впереди трясся на своей высокой гнедой лошади Кожеловский. «Станко» подмигнул Степану:

— Задали мы им хлопот! Поспать некогда.

Затем по мостовой затарахтели три пролетки. В первой, картинно опираясь на эфес шашки, сидел Шлегель. Во второй, тесно прижавшись друг к другу, еле уместились судья Козленко и почтмейстер Савин. В последней — помощник полицмейстера Саваренский и ротмистр Левенец.

«Станко» посмотрел им вслед.

— Куда это они спозаранок поднялись? Не иначе, кого-нибудь ждут.

Как будто подтверждая его догадку, к вокзалу подкатил необычный поезд из пяти вагонов — одного классного и четырех товарных.

— Идем быстрее,— шепнул «Станко».— Надо посмотреть, кто пожаловал.

Первым из классного вагона вышел высокий худой старик с большой седой бородой. Кожеловский, приложив руку к козырьку, почтительно стоял на перроне.

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

«Станко» шепнул:

— Губернатор Леонтьев прибыл. Ну, будет дело!

Распахнулись двери товарных вагонов. Из них выскакивали солдаты. Властный голос скомандовал:

— Становись!

— Немедленно к Балашову. Скажи — привезли солдат.

На второй путь подошел еще один состав — длинный, весь из товарных вагонов. Заскрипели открываемые двери. Снова послышалась команда. Степан перескочил через забор и, стараясь не попасться на глаза стоящим на площади городовым, быстро пошел к Балашову.

На осторожный стук в окне показалась Груня Николаева.

— Семена Ивановича нет. Недавно ушел. Искать его надо в Хуторове, у Веселова.

Важеватов попросил у Груни напиться и побежал в Хуторово. Пустынные несколько минут назад улицы были заполнены рабочими. Степан заметил: в одиночку никто не шел. Люди шли группами, оживленно разговаривая.

— Куваевцы встали?

— Встали. И у Витовых бросили.

— Типографские тоже забастовали.

На углу Троицкой улицы повстречались зубковцы. Впереди в новой розовой кофте и красном платке шагала Евдокия Рожнова. Увидев Степана, она крикнула:

— Здравствуй, заступник! Куда торопишься?

— А вы куда так разоделись?

— Мы? Бастуем. Сейчас к фабрике, соберемся там, а потом всей артелью к управе.

Удаляясь, Степан услышал:

— Уж очень у тебя, Авдотья, платок ярок.

— Какой нравится, такой и ношу.

Балашова не было и у Веселова. Но и здесь сидел связной — ученик слесаря Костя Зуев.

— Семен Иванович сейчас у куваевских фабричных ворот. Крой туда.

Важеватов с трудом пробился через толпу, стоявшую около ворот Куваевской мануфактуры.

Балашов, выслушав Степана, спокойно сказал:

— Мы так и предполагали, что без внимания и без солдат господин губернатор нас не оставит.

На высокое крыльцо проходной поднялся молодой рабочий и крикнул:

— Время, товарищи! Пошли на площадь!

К девяти часам утра на площади перед городской управой собралась многотысячная толпа. Всем места не хватило, многие стояли в прилегающих к площади улицах и переулках. Постоянные спутники всех уличных происшествий — мальчишки взгромоздились на крыши, смотрели из чердачных окон.

Вдруг толпа расступилась. Со двора магазина бакалейщика Чернова двое парней катили огромную бочку. Доставив импровизированную трибуну на середину площади, парни с гиком ловко перевернули бочку вверх дном. Один из них шлепнул по дну и крикнул:

— А ну, кто желает! Вставай!

К бочке подошел Дунаев и погрозил парням:

— Не можете без озорства!

Степан заметил, как Евлампий легко вскочил на бочку, поднял руку и выкрикнул:

— Товарищи!

Шум на площади стал стихать.

— Товарищи!

Стало совсем тихо.

— Товарищи! Посмотрите вокруг. Полюбуйтесь, сколько нас сюда собралось. Тысячи! И все мы как один работаем от зари до ночи, все лучшие дни, месяцы и годы проводим в тесных, душных корпусах за непосильной работой. И все мы живем впроголодь. Голодаем мы, голодают наши дети. А все вокруг создано нашими руками. Кто строил эти дома? Мы. Кто строил фабрики? Опять мы. Кто, не разгибая спины, всю жизнь стоит за станком? Мы. Доколе же мы будем терпеть, чтобы над нами, рабочими, творцами всей жизни на земле, издевались богачи? Мы собрались сюда не просить, а требовать нормаль-

ных условий труда и жизни! Мы требуем, чтобы рабочий день продолжался не больше восьми часов. Правильно я говорю, товарищи?

Сотни голосов откликнулись:

— Правильно! Верно!

Около бочки собрались «Отец», Балашов, Самойлов, Сармантова, Фрунзе. Вокруг них стояли Аким Клещев, Максим Грачев, Ефим Сучков, Алексей Мартынов и еще несколько молодых рабочих, которых Степан иногда встречал вместе со «Станко». У некоторых в руках были железные трости, а у Акима — толстая суковатая палка. Степан догадался: это была охрана.

Степан заметил, что на него с любопытством смотрит высокий рыжеватый паренек. Он стал вспоминать, где видел это веснушчатое добродушное лицо. Другой молодой рабочий, стоявший к Степану спиной, нахлобучил рыжему кепку и знакомым голосом спросил:

— Куда, Вася, уставился? Вон куда смотреть надо.

— Не дури, Силантий!

Важеватов сразу вспомнил ночь, проведенную на чердаке, и хоть с трудом, но все же протиснулся поближе к парням. На него ворчали, толкали его в спину, приговаривая: «Лезет, словно леший! Медведь!»

Степан положил руку на плечо Силантию:

— Здорово, небесные жители! И вы здесь?

Силантий, широко улыбаясь, ответил:

— Здорово, бездомный! А где же нам быть? У нас времечка свободного больше, чем у тебя: бездельные. Теперь нам каюк — работы не найти... Хотим в Кинешму, на Волгу, податься.

— Зачем?

— В грузчики. Пароходы пошли.

А голос Дунаева звенел над площадью:

— Наши требования мы передадим господам фабрикантам. Пусть они попробуют ответить нам отказом! Мы будем бастовать до тех пор, пока все наши требования не будут удовлетворены. Верно, товарищи?

И опять по площади могуче прокатилось:

— Верно! Правильно! Не уступим!

Увлеченный речью Дунаева, Степан не заметил, как рядом очутился «Станко».

— Держи! — «Станко» незаметно достал из кармана и подал револьвер.— Пробирайся за мной. К бочке.

— Как в депо?

— Забастовали...

Проталкиваясь к бочке, «Станко» предупредил:

— Держись около Акима. И не спускай глаз с Трифоныча. Отвечаешь за него.

А Дунаев говорил:

— Вот тут мне женщины подсказывают, что торговцы испугались нас и закрыли свои лавки да магазины. Не хотят нам, забастовщикам, продавать товары. Напрасно. Мы не воры, не грабители, не жулики какие-нибудь, а честные рабочие, труженики. На чужой счет мы никогда не жили. Чужой труд не присваиваем. Всю жизнь мы содержали своим собственным трудом множество всяких дармоедов, праздных бездельников. Пусть люди, закрывшие свои лавки, не меряют нас на свой аршин, пусть они знают, что честные труженики, рабочие — совсем не то, что они.

Степан стал рядом с Фрунзе. Михаил тихо сказал:

— В двенадцать ночи у Балашова. Очень нужно.— И наклонился к Матрене Сарамантовой: — Сейчас будет выступать Лакин, а потом вы.

— Робею... Не знаю, как начинать.

— А так и начните, как уговаривались. Расскажите про дороговизну. Не волнуйтесь. Все будет хорошо.

На бочку поднялся заварщик с фабрики Грязнова Михаил Лакин. По-видимому, многие хорошо его знали. По площади понеслось:

— Тише! Лакин будет говорить!

Лакин снял кепку, постоял несколько секунд молча и расстегнул ворот голубой рубахи. Окинув взглядом площадь, он протянул руку к управе и громко, отчетливо проговорил:

— Полюбуйтесь на них, товарищи! Вот кто нами командует.

Огромная толпа, как один человек, повернулась к управе, из окон которой выглядывало много людей. Гарелина, Зубкова, Дербенева узнали сразу:

— Вот они, наши благодетели!

В среднем, открытом настежь окне, как в раме, стоял губернатор Леонтьев.

— А это их заступник,—продолжал Лакин.—К кому он приехал?—Лакин поискал кого-то в толпе и спросил, обращаясь к пожилому рабочему с явно чахоточным лицом:—Может, к тебе, Семен Карпыч? Или к тебе, Федор Игнатьевич? Может, к нам, товарищи? Нет, не к нам, а к господину Гарелину. Тесно покажется его превосходительству в наших хоромах, неуютно, да и угощать нечем. То ли дело у господина Гарелина! Палаты высокие, полы глянцевые, закусок много. Побеседуют они, шипучего выпьют и договорятся по-милому, по-хорошему, как нам не уступать, а давить, выжимать соки из нас по-прежнему. Нечего нам, фабричным людям, на царского слугу надеяться. Давайте мы сами с собой посоветуемся. Требования наши верные. Стоять за них мы будем крепко. Так ли я говорю, товарищи?

Гул одобрения снова прокатился над площадью.

Лакин говорил долго. Люди с жадностью слушали его яркую обличительную речь. Фрунзе предупредил Степана:

— Слушай, что сейчас Лакин говорить будет.

Лакин, повернувшись к управе, задумался на одно мгновение и неожиданно произнес:

...Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал.
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.

Голос Лакина, чистый, звучный, разносился далеко по площади. Люди замерли, покоренные правдой и силой стихов:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..

У крыльца управы бесновался Кожеловский:

— Прошу прекратить!

Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля...

Кожеловский с револьвером в руке и несколько городовых бросились в толпу.

Молодые рабочие взялись за руки, стали цепью.

Кто-то выхватил у полицмейстера револьвер. Он трусливо попятился и скрылся в здании управы. Городовые, не получив поддержки от молчаливо наблюдавших казаков, поспешили за своим начальством.

На бочку поднялась Матрена Сарамантова. В толпе послышалось:

— Держись! Бабы заговорили!

— Эта сейчас скажет!

— И скажу!—крикнула Матрена.—Правду скажу. Нашу бабью правду. Кто у станков рожает? Мы, бабы. Кто слезами умывается? Мы, бабы. Кто детей голодных спать укладывает? Мы. Кто без мыла белье стирает? Мы, бабы. А почему без мыла? Потому что на мыло не хватает. Попробуй поживи с семьей в пять человек на десять рублей! За квартиру трешницу отдашь. Сколько остается? На все — на обувь, на одежду, на еду — семь рублей. А они,— Матрена махнула рукой на управу,— на одни пуговицы своим женам по сто рублей тратят. На пуговицы! У нас дети голодают, а они на балах пляшут. Мы, бабы,

больше мужиков работаем, а платят нам меньше. Над кем мастера измываются? Над нами. Кто тут есть с Маракушевской? Скажите, кто Степаниду Клещеву до тюрьмы довел? Кто ее в петлю вогнал?

Площадь загудела:

— Вот это говорит!

— Ай да Матрена!

Женские голоса закричали:

— Про нас скажи, Матрена!

— Скажу. Про всех скажу. Мы сегодня вместе с мужиками на улицу вышли не шутить. Мы за свои требования драться будем.

«Отец» знаком подозвал к себе «Станко». Степан услышал ответ «Станко»:

— Готовы. Десять человек. Люди надежные.

После Матрены на бочку снова поднялся Дунаев. Ему дружно захлопали.

— Товарищи! Мы тут сейчас посоветовались и пришли к такому выводу: господа фабриканты, по всей вероятности, ответ на наши требования дадут не скоро. Торговаться, конечно, захотят. Хлопот нам с ними будет много, а на всякие хлопоты нужны деньги. Кое-кто из нас в скором времени без копейки останется. Таким, понятно, помогать придется. Стало быть, опять деньги потребуются. Поэтому я предлагаю начать сбор в стачечный фонд. Согласны, товарищи!

— Согласны!

— Кто согласен, поднимай руку!

Тысячи рук взметнулись вверх. Дунаев, счастливо улыбаясь, одобрил:

— Хорошо! Очень, товарищи, хорошо! Славно у нас получается! Хоть и большая у нас семейка, но зато и дружная. А ну, кто против?

Где-то в самом заднем ряду поднялись несколько рук и сразу опустились.

— Мало! Совсем пустяки,— по-прежнему улыбаясь, сказал Дунаев.—Давайте собирать. Вот что, товарищи! Для того чтобы какой-нибудь чужой человек, мошенник вроде конторщика Власикова, к нашим трудовым грошам не пробрался, мы тут сборщиков приготовили. Первый — Федор Самойлов. Есть против него возражения? — Дунаев помолчал немного и сказал: — Нет? Голосуем. Кто за то, чтобы Федор Самойлов был сборщиком?

Опять поднялись тысячи рук.

— Хорошо. Принимайся, Федор Никитич! Кто за то, чтобы утвердить сборщиком Акима Клещева?

Через несколько минут утвержденные собранием сборщики двинулись по разным направлениям, держа в руках фуражки. Груня попросила фуражку у Степана.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Вечером стачечники собрались на берегу реки Талки. Обширный луг рядом с железной дорогой был переполнен народом. Развевались десятки флагов. Дербеневцы пришли с красным знаменем, на котором белой краской были написаны слова: «Кровь рабочих на нем».

Словно по уговору, бакулинцы сгруппировались около своего знамени, бурылинцы — у своего. Кто-то принес пачку свежих газет. Вскоре появились листовки. Их расхватали с жадностью.

«Отец» переходил от одной группы к другой. Он остановил Степана:

— Тебя Трифоныч ищет. Он у куваевцев.

Подойдя к куваевцам, Важеватов услышал голос Фрунзе:

— Нет, товарищи, это была просто бойня. Поп Гапон завел народ на площадь, а царский дядя по приказу своего племянника, царя, расстрелял тысячи ни в чем не повинных людей... Вот, кстати, товарищ из Петербурга. Он там был в это время. Расскажи, товарищ Никитин, как убили твоих друзей.

Неожиданно для себя Степан очутился посредине группы. Он смущенно посмотрел на Фрунзе. А тот ободряюще подсказал:

— Давай, Иван Матвеевич, говори, как умеешь. Здесь все свои.

Степан почувствовал: молчать нельзя.

— Тяжело об этом рассказывать, товарищи. Был у меня друг. Очень хороший человек. Работал на Путиловском заводе. И была у него невеста. Звали ее Тоня. Хотели весной свадьбу играть. Другу моему Ивану было двадцать лет с небольшим, а Тоне девятнадцать. Только бы жить да жить... Пошли они в воскресенье, памятного девятого января, на Дворцовую площадь и... оба легли в братскую могилу... Истинно кровавое было то воскресенье.

* * *

Фрунзе остановился около группы дербеневцев. Постоял, прислушался, о чем говорит ткачиха Елена Кулева. Накипело у Кулевой на сердце. Много обид помнит она. На прошлой неделе утром, когда уходила Елена на работу, оставила двухлетнюю дочку Танюшу здоровой и веселой. Часа через два прибежала на фабрику соседская девочка со страшным известием: «Беги скорее, тетя Лена, домой. Танюша твоя корчится, бьется по полу, не плачет, а хрипит».

Кинулась Елена к мастеру:

— Отпусти, Иван Алексеевич!

— Что там у тебя стряслось?

— Доченька заболела.

— Эка невидаль! Умрет — другую родишь. Баба ты молодая, здоровая.

Так и не отпустил. А за самовольный уход пригрозил увольнением. Бросила Елена станок: увольняй, пес хозяйский, ребенок дороже твоей работы. И опоздала. Вбежала в комнату и замерла — лежала Танюшка на полу вниз лицом, без движения. Повернула ее мать и дико закричала: все лицо у доченьки синее, глаза выкатились. Увезли ее потом в мертвецкую, резрезали и нашли в горлышке большую иголку. Обронил случайно кто-нибудь, она и подобрала.

Но не о смерти дочери рассказывает сейчас Елена. Близкие товарки об этом знают, а остальных не удивить: у всех дети остаются без присмотра, сами себе хозяева. Ходить дите научилось, есть умеет — стало быть, человек самостоятельный. О другом говорит Елена:

— Нам терять нечего. Это им, хозяевам нашим, забастовка не по нутру: убытков много приносит. Мы вытерпим. Только, бабы, надо тверже быть, не уступать...

Фрунзе доволен. Слушает и думает: хорошо говорит Елена. Замечательный получится из нее агитатор.

Всего несколько дней живет Фрунзе в Иванове, а уже знает по имени-отчеству не одну сотню людей. Идет навстречу Петр Мартьянов. Идет и улыбается смущенно — получился неудачный ночлег. Вчера Балашов подвел его к Фрунзе и сказал:

— Сейчас ребята сказывали — около дома Прасковьи Федоровны шляются подозрительные личности. Ночуй сегодня у него. Место безопасное.

Петр снимал комнату в конце Часовенной улицы, около кладбища. В эти дни он был дома один. Жена с детьми незадолго до забастовки уехала к родственникам в деревню. Фрунзе пришел к Петру, как было уговорено, после двенадцати ночи. На его осторожный стук показалась пожилая женщина.

— Вам кого?

— Петра Федоровича.

Но Петр уже выскочил сам:

— Заходи, Трифоныч, заходи. Правда, тесновато у меня, но ничего, как-нибудь расположимся. Жена вернулась.

В небольшой комнате на полу спало несколько человек. Оказалось, что жена Петра не только сама вернулась, но, не зная о забастовке, захватила с собой родственников.

Фрунзе пришлось лечь на полу, подложив под голову тужурку. Ночью то один, то другой ребенок просил пить. Старая тетка Петра вставала, гремела ковшом, сердито шикала и шлепала детей. Утром жена Петра с огорчением сказала:

— Не выспались? Мы привыкли, а вам, наверно, худо.

— Что вы! Это вы меня извините, что я вас побеспокоил.

Вот поэтому так и смущен Петр, увидев Фрунзе на Талке.

— Понимаешь, как неловко получилось.

— Ничего, товарищ Мартьянов, я спал как убитый.

Поговорив с Мартьяновым, Фрунзе поспешил к лесной сторожке.

Кое-где зажгли костры. Пала на луг ночная роса, а народ с Талки не расходился.

* * *

Лесная сторожка, где по указанию «Отца» собирались члены группы Северного комитета, районные и фабричные организаторы, ничем особенным не отличалась. В ней, так же как и сотнях других сторожек, одиноко стоявших на солнечных полянках, была небольшая, в одно окошко, комнатка с потемневшими от времени закопченными стенами и крохотные сени.

Когда Фрунзе вошел в сторожку, почти все уже собрались. Кто-то догадался и снял с петель низенькую широкую дверь из сеней в комнату, и от этого в помещении стало просторнее. Вскоре пришли Балашов и «Отец», и заседание группы Северного комитета большевиков началось. Фрунзе сел на полу рядом с Веселовым. Впереди Веселова, также на полу, сидела Груня Николаева. Фрунзе услышал, как она тихо сказала Веселову:

— Помолодел наш «Отец»! Посмотри, как хлопочет.

А «Отец» действительно за последние дни словно помолодел. Веселов тронул Груню за плечо:

— Верно говоришь. Он всегда, когда у него дела много, молодеет.

«Отец», стоя у окна, постучал карандашом по подоконнику и сказал:

— Давайте, товарищи, не будем терять время попусту — дел у нас нынче много. Забастовку народ начал хорошо, дружно. Надо и дальше постараться дружнее быть. По этому поводу есть у меня некоторые соображения. Вот я и хочу их высказать, если разрешите.

«Отец» помолчал немного и, словно размышляя вслух сам с собой, не спеша продолжал:

— Сегодня вечером и днем многие рабочие мне одно и то же говорили. Говорили, конечно, по-разному, но смысл одинаков. Хорошо бы, дескать, для руководства стачкой Совет выбрать из самых боевых, самых верных людей. Бакулинцы, скажем, выбирают своих, дербеневские — своих. А потом все выбранные собираются вместе и сообща советуются, как забастовку дальше вести, как с фабрикантами разговаривать. Возьмите хотя бы такое дело. Сегодня на площади собрано много денег... Сколько всего, Архипыч?

— Семьсот двадцать один рубль сорок семь копеек.

— Вот видите, какая сумма: семьсот двадцать рублей! Кто ими распоряжаться должен? А распоряжаться надо с толком, чтобы ни одна копейка понапрасну не ушла. Совет — это не один человек, не ошибется. Или возьмем такой вопрос: как быть с требованием восьмичасового рабочего дня. Некоторые рабочие думают, что требовать восьмичасовой рабочий день пока рано, можно согласиться и на девять часов. Где лучше этот вопрос обсудить? Совету рабочих это будет сподручнее. Слушал я все эти разговоры и понял: хорошее дело народ начинает, и нам, партийцам, это предложение остается поддержать и развить. Надо сделать так, чтобы уполномоченными были выбраны действительно самые боевые, самые верные люди. Какое будет ваше мнение, товарищи?

Груня Николаева стала рядом с «Отцом» и сказала:

— Лучшего предложения и не придумать. Наши дербеневские ткачихи тоже об этом сегодня говорили. Это, видно, по воздуху так и разносится — от одного человека к другому. «Отец» правильно сказал: сообща наши дела гораздо лучше обсуждать. Я не знаю, кто подал первый мыслъ о Совете, но мысль эта хороша.

Чей-то голос из угла степенно ответил:

— Никто и не придумывал: это сам народ так решил. Значит, так и надо.

После Груни говорили Балашов, Архипыч, Марья Наговицина, Дунаев. Все единодушно говорили, что Совет, безусловно, себя оправдает и что дел ему хватит.

Только после того как высказались почти все присутствующие, «Отец» снова взял слово:

— Я вижу, никаких принципиальных разногласий о полезности Совета у нас нет. Давайте действовать. Будем горячо поддерживать это предложение народа. Члены партии обязаны принять самое активное участие в выборах. Тем, кто не сразу поймет, в чем дело, разъяснять полезность Совета рабочих. И еще: надо осторожно, подумав о каждом кандидате, подсказать, кого выбирать уполномоченным. И не забудьте: обязательно выдвигайте женщин. Кто за это предложение, прошу поднять руки.

Решение о выборах в Совет было принято единогласно. Михаил Фрунзе услышал, как Груня сказала Веселову:

— Я недавно книгу читала про новгородское вече. Выходит, и у нас будет вроде своего веча.

— У нас будет посильнее...

Расходились около полуночи. Фрунзе и «Отец» долго шли вместе. По пути «Отец сказал:

— Надо о Совете непременно написать.

— Кому?

— Владимиру Ильичу Ленину. Об этом он должен знать обязательно.

Расставаясь, «Отец» спросил:

— Ты этого питерского Ивана-Степана хорошо знаешь? Как он, все сдюжит? Не сломается?

— По-моему, из крепких. Не во всем еще только как следует разбирается.

— Это дело наживное. Если в нашу партию одних образованных принимать, тогда у нас будет не партия, а английский парламент. Как ты думаешь, можно его в партию принять?

— Можно.

— И я тоже так думаю. Надо, чтобы Яков с ним поговорил. Поговори ты, и я поговорю.

— Хорошо.

«Отец» подал Фрунзе руку.

— Ну, я дальше один.

Фрунзе долго смотрел ему вслед, пока «Отец» не свернул с железнодорожного полотна по направлению к поселку Фряньково.

* * *

Ночью Шлегеля вызвали на совещание к губернатору. В коридоре управы он увидел группу военных. Это были офицеры прибывшего в город батальона Малороссийского гренадерского полка и сотни 32-го Донского полка. Проходя мимо, Шлегель услышал, как молоденький подпоручик нарочито громко произнес:

— Его превосходительство телеграфировал командующему округом. Просил командировать сюда еще два батальона.

В просторном кабинете городского головы собрались губернатор, прокурор Владимирского окружного суда Чернявский и Кожеловский.

Губернатор достал большие золотые часы и, звонко щелкнув крышкой, сказал:

— Опаздывает наш «утоли мои печали».

В этот момент в кабинет вошел старший фабричный инспектор Владимирской губернии Свирский. Губернатор иронически приветствовал его:

— А я только что вас вспоминал: куда, мол, наш специалист по рабочему вопросу запропастился? Начнем, господа.

Свирский понял насмешку, но сделал вид, что ничего не заметил. Ссориться с губернатором не входило в его расчеты.

Фабричная инспекция была введена в России в 1882 году, после первых крупных забастовок. Это была небольшая уступка царского правительства заявившему о себе рабочему движению. Фабричные инспектора были обязаны наблюдать за тем, как владельцы предприятий выполняют законы об охране труда. Фабричным инспекторам предоставлялись некоторые права. Узнав, что какой-нибудь фабрикант самочинно увеличивает рабочий день сверх установленных законом одиннадцати

с половиной часов, инспектор мог оштрафовать фабриканта. На самом деле инспектора своих прав никогда почти не использовали. Многие из них брали взятки и старались ничего не замечать. Попадались среди них и порядочные, честные люди, желавшие хоть как-нибудь облегчить положение рабочих. Но им приходилось очень много времени и сил тратить впустую. «Обижаемые» такими инспекторами фабриканты обращались за содействием к местным властям: губернатору, полицмейстеру, прокурору. Начиналась долгая тяжба, которую, как правило, выигрывали фабриканты.

Фабричные инспектора постепенно превратились в «разумных советчиков», причем их советы большей частью были необязательными для владельцев фабрик. Рабочие, раскусив своих горе-защитников, стали называть их «утоли мои печали».

Свирский принадлежал к числу бывших энтузиастов фабричной инспекции. В начале своей деятельности он искренне надеялся принести какую-то пользу. Со временем, после нескольких крупных стычек с текстильными магнатами и губернскими властями, он превратился в чиновника и настолько привык к ироническому тону губернатора, что уже не обращал внимания.

— Начнем, господа! Первое слово — ваше, господин Свирский,—сказал губернатор.

Инспектор встал, раскрыл большой, темной кожи портфель, достал блокнот и, полистав его, начал:

— Говорить мне особенно не о чем. Я считаю своим долгом сообщить, что, судя по всему, забастовка будет упорной. Представители рабочих, с которыми мне удалось побеседовать...

— Что за представители? — перебил Шлегель. — Вы знаете их?

— Нет. Я видел их сегодня впервые.

— Не мешало бы знать, — желчно добавил Шлегель.

— Это в мои обязанности не входит, — учтиво ответил Свирский. — Мне думается, что это больше по вашей части.

Губернатор раздраженно постучал карандашом:

— Нас не интересует, что думаете вы. Меня больше интересует, что думают рабочие.

— Не могу знать. Особым доверием я у них не пользуюсь. Но одно знаю твердо: бастовать решили упорно.

— Что вы предлагаете?

— Ничего нового. Надо, чтобы господа фабриканты побыстрее рассмотрели требования рабочих и решили, какие из этих требований они считают приемлемыми.

— А если все требования неприемлемы? Что тогда?

— Боюсь оказаться плохим предсказателем, но полагаю: неприятностей у нас с вами будет порядочно.

Молчавший до сих пор Кожеловский, не выдержав, рявкнул:

— Мало пороли мерзавцев, вот они и распустились!

Свирский все тем же равнодушным тоном проговорил:

— Возможно. Хотя я лично не считаю нагайку единственным средством для успокоения толпы. Есть методы более совершенные.

— Какие, с вашего разрешения? — ехидно поинтересовался Шлегель.

— Увеличение заработной платы, хотя бы минимальное.

— Да вы у нас якобинец! — насмешливо заметил губернатор. Он снова постучал карандашом и не допускающим возражения тоном продолжал: — Повышение или понижение заработка — частное дело фабрикантов и рабочих. В эти споры я вмешиваться не собираюсь. Моя священная обязанность — сохранять порядок во вверенной мне государем императором губернии. Я запрещаю, — голос губернатора стал звонче, — да, запрещаю всякие безнравственные речи. Так и передайте вашим подопечным.

— Передам. Разрешите откланяться?

— Пожалуйста.

Свирский вышел. Шлегель бросил ему вслед:

— Каков! С гонором.

Леонтьев ворчливо заметил:

— Вы тоже хороши! Задаете наивные вопросы — «что за представители»! Не мешало бы знать. Прозевали, батенька, забастовку. Надо было вовремя головкой здешних социал-демократов заняться.

Прокурор Чернявский вступился за Шлегеля:

— Не так это просто, ваше превосходительство.

— Тем хуже для нас! — резко сказал губернатор. — Впрочем, сейчас не время и не место спорить. Поскольку мы тут люди свои, я стесняться не буду. План мой таков. Пока не вмешиваться в спор между рабочими и фабрикантами. Пусть это возьмет на себя наш «утоли мои печали». Но надо быть готовыми ко всяким неожиданностям, и поэтому я просил прислать войска. Самое главное — это действительно по вашей части, ротмистр, — надо обезглавить социал-демократов, найти типографию, арестовать вожаков. Если прихватите кого по ошибке, тоже не беда, потом разберемся. Действовать, понятно, надо аккуратно. Прокурору учинить немедленно дознания. Полицмейстеру советую до поры до времени держать язык за зубами и кулаки в ход не пускать. Не к чему кидать спички в бочку с порохом. И прошу обеспечить надежную охрану господ фабрикантов, их семей и имущества. Особенно прошу обратить внимание на дом Александра Ивановича Гарелина. Во все глаза следите за вокзалом, почтой, телеграфом. Все, господа. Вас, ротмистр, прошу задержаться.

* * *

Леонтьев, проводив прокурора и полицмейстера, закрыл за ними дверь на ключ.

— Так спокойнее будет. Поговорим без помех. Я вас, дорогой, попросил остаться для сугубо секретного разговора. Долго я вас не задержу. Прошу понять только одно: если мы с вами не сумеем быстро навести здесь порядок и дадим этому костру разгореться, ни вам, ни мне головы не сносить. В столице нам этого не простят. А о событиях здешних уже доложено царю. Можете познакомиться.

Леонтьев подал ротмистру только что расшифрованную телеграмму. Как ни умел владеть собой Шлегель, но все же губернатор заметил, как у него забегали глаза. Телеграмма ротмистру радости не доставила: «Государь изволили выразить неудовольствие беспорядками в фабричном Иваново-Вознесенске. Примите все меры. Открытого бунта не допускать. Товарищ министра генерал Трепов».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

15 мая к десяти часам утра площадь перед городской управой была заполнена народом. Как и в предыдущие дни, посредине стояла большая бочка — трибуна для ораторов. У входа в управу, в окнах виднелись фуражки с кокардами полицейских и солдат. Во дворе полицейского управления, около Приказного моста, расположились казаки, а в ограде городского собора — эскадрон драгун.

Груня, проходя мимо церкви, услышала, как рабочие разговаривали с драгунами. Подмастерье с Дербеневской фабрики Трофим Позолотин, весельчак и балагур, перекидывался шутками с солдатами. Трофим, улыбаясь, говорил:

— Охота вам здесь околачиваться. Самое время с кухарочками гулять. День-то какой — весенний. А вас гляди как затянули. А что у тебя в подсумке? Боевые или учебные?

Солдат с неохотой отвечал:

— Что положено, то и лежит, а ты о чем не надо не спрашивай.

В начале одиннадцатого часа из управы вышел Свирский. Сойдя с крыльца, он пошел через толпу к бочке, монотонно повторяя:

— Прошу, господа, пропустите, пропустите.

Никодим Соловьев громко скомандовал:

— А ну, раздайся! Дай дорогу!

Толпа расступилась. Добравшись по широкому проходу до бочки, Свирский беспомощно улыбнулся, как бы говоря, что без чужой помощи ему эту неприступную высоту не одолеть.

Все тот же неугомонный, быстрый на выдумку Никодим легко вскочил на бочку и протянул Свирскому руку:

— Давайте, ваше благородие, руку. Трофим, подсади господина инспектора.

Поднятый общими усилиями на бочку, Свирский снял фуражку и пенсне и, наклонившись, сказал спрыгнувшему с бочки Никодиму:

— Весьма тронут. Благодарю...

Трофим Позолотин, широко улыбаясь, ответил за себя и за Никодима:

— Не стоит благодарности. Когда-нибудь сочтемся...

Свирский явно не понял насмешливого ответа Трофима. Впрочем, ему в эту минуту было не до шуток. Он не знал, как сообщить рабочим, что фабриканты согласны вести переговоры только с представителями каждой фабрики в отдельности.

— Господа, — начал Свирский, — я уполномочен второй стороной заявить вам, что никакие ваши объединенные требования второй стороной рассматриваться не будут...

Из толпы посыпались вопросы:

— А кто вас уполномочил?

— Понятно кто: владельцы предприятий.

Гравер Авенир Ноздрин особенно настойчиво продолжал допрашивать Свирского:

— Вы с каждым из них беседовали в отдельности или сообща?

— Не понимаю ваших вопросов. Это не имеет прямого отношения к делу.

На бочку вскочил Дунаев. Отстранив инспектора, он начал:

— А раз не понимаете наших вопросов, нечего тогда и в учителя к нам определяться. Поняли, товарищи, к чему господин инспектор гнет? Разбейтесь, говорит, по кучкам, так вас, дескать, легче вязать по ногам и рукам. Хозяева наши сообща обдумывали, как нас жать да давить, а мы против них обязаны действовать только в одиночку! Хитро. Только мы тоже ученые. Товарищи! Я предлагаю сейчас разбиться по фабрикам и начать выборы уполномоченных в общий Совет для переговоров с господами фабрикантами.

В толпе слова Дунаева, видно, поняли по-разному. Одни решили, что выбирать надо тут же, на месте, и закричали:

— Дунаева! Евлампия!

— Балашова!

— Кузнецова!

Дунаев поднял обе руки, стараясь успокоить народ:

— Я же говорю, товарищи, давайте разбивайтесь по фабрикам.

Но уже действовали в толпе большевики, направленные «Отцом» и Балашовым. Толпились вокруг Николая Жиделева ра-

бочие фабрики Гарелина. Жиделев стоял на тумбе около магазина Чернова, громко повторяя:

— Эй, наши, давай сюда!

Уже вела за собой гандуринских ткачих Александра Найденова.

Дунаев кричал с бочки:

— Пошли, товарищи, на бульвар! Там сподручнее будет!

Рабочие, на ходу пристраиваясь к своим группам, хлынули с площади через Приказный мост по Соковской улице к бульвару, обсаженному молодыми липами.

На мосту Груня неожиданно очутилась рядом с Трифонычем. Трифоныч шел, держа в руках картуз, расстегнув ворот синей сатиновой косоворотки. Увидев Груню, он улыбнулся ей и весело спросил:

— Почему не со своими?

— У меня тут все свои, — в тон ему, также улыбаясь, ответила Груня. — Разве в такой толчее к своим проберешься? Я к ним на бульваре пристроюсь.

Но и на бульваре Груне протиснуться к своим удалось не сразу. На длинном узком бульваре, огороженном невысоким заборчиком, теснилось несколько тысяч человек. Многие переходили от одной группы к другой, громко спрашивая:

— А где грязновские собрались? В том конце или в этом?

Но снова неутомимые фабричные организаторы и выделенные «Отцом» партийцы сделали свое дело. Не прошло и получаса, как на бульваре царил нужный порядок. Рабочие каждой фабрики стояли вокруг своих ораторов.

Проходя мимо бакулинцев, Груня увидела, как пожилой рабочий, стоя на скамье, говорил:

— Я так думаю: Евлампий Александрович Дунаев и Матрена Петровна Сарамантова за наши интересы постоять сумеют. Давайте выбирать их. Еще я предлагаю Федора Васильевича Постнова...

Неподалеку от группы дербеневцев Груню окликнула соседка по станкам Анфиса Алеева:

— Мы тебя, Аграфена, по всему свету ищем. Идем скорее, сейчас тебя выбирать будут. У нас одних женок выбирают: Авдотью Кокурину, Елену Кулеву, Марью Лебедеву и тебя. А ты где-то запропастилась!

Анфиса схватила Груню за руку и потащила ее за собой:

— Бабы! Вот она, наша Аграфена свет Васильевна! Давай покажись народу!

Груня поднялась на скамью. На нее с любопытством смотрело несколько сот пар глаз. Анфиса, став рядом с Груней, заговорила:

— Ну как, нагляделись? Это самая и есть Аграфена Николаева.

Женские голоса закричали:

— Знаем! Кто же ее не знает!

Раздались и скептические возгласы:

— Уж очень молода и собой хороша! Может, у ней одни гулянки на уме?

— Ничего, что молода, зато удала. — Анфиса, обняв Груню одной рукой за плечи, продолжала: — Вот и хорошо, что знаете. Кто за Аграфену Васильевну, прошу поднять руки!

После голосования она потребовала:

— Скажи что-нибудь, Авдотья с Мотей говорили. Очень понравилось.

Груня подтянула голубую косынку и перевела дух.

— Спасибо, товарищи, за доверие. Буду выполнять вашу волю, как только сумею. Мы нынче такое дело начали — на удивление всем. Видано ли — женщины женщин выбирают, чтобы права свои отстаивать да защищать! Никогда у нас этого еще не было.

Закончив свою короткую речь, Груня соскочила со скамейки присоединилась к делегаткам.

— Пошли, — сказала Анфиса. — Всем выбранным приказано у входа собираться.

Пройдя несколько шагов, Груня столкнулась со старшим табельщиком Стратилатом Иудовичем Жучкиным. Иудыч искоса посмотрел на нее, торопливо снял с головы явно не свою, а чужую промасленную кепку и почтительно сказал:

— Аграфене Васильевне, нашему выборному уполномоченному, нижайшее.

Как ни старался Иудыч выглядеть подобострастно, все же Груня заметила, какой злобой горели глаза у верного хозяйского холуя.

* * *

Выборы не всюду прошли гладко. Перед витовскими ситцевиками выскочил на скамью раклист Семен Колосов. Раклисты считались на ситцепечатных фабриках самыми квалифицированными рабочими. Хозяева дорожили хорошими раклистами и платили им и граверам больше всех. Даже средний раклист получал в четыре-пять раз больше лучшего ткача. На пасху и рождество, а на некоторых фабриках и в день именин главы фирмы раклисты и граверы, как правило, получали наградные. Старым, опытным мастерам кассир отсчитывал по месячному окладу, а тем, кто помоложе, перепадало по четвертному билету.

Привилегированное положение раклистов и граверов отделяло их от остальных рабочих. Как только раклист получал право самостоятельно управлять печатной, даже одновальной, машиной, он обзаводился часами и цепочкой.

В воскресенье раклистов легко было отличить: они щеголяли в черных парах, носили шляпы. Годам к сорока у редкого из них не было своего домика с палисадником.

Попасть в ученики к раклисту почиталось за счастье. Для многих это на всю жизнь оставалось несбыточной мечтой, так как печатных машин было немного и их обслуживали семьи из поколения в поколение. В печатном отделе Куваевской фабрики в одной смене почти за всеми печатными машинами стояли Гороховы: дед, два его сына и три внука.

Семен Колосов был среди раклистов белой вороной. Как мастеру ему не было цены. Пожалуй, никто не мог управлять двенадцативальной машиной, как он. Трезвый, он мог печатать самый сложный «азиатский» рисунок. Но он редко бывал трезвым, а хмелел быстро, едва успев выпить шкалик водки. Сначала он пел всегда одну и ту же песню:

Будет дождик осенний мочить,
Ты услышишь протяжное пенье,
То меня понесут хоронить.

Опьянев окончательно, Колосов становился нетерпимым: придирался к первому встречному, говорил грубые, обидные слова закадычным друзьям, лез в драку. Его прогоняли со всех фабрик. Несмотря на сорок с лишним лет, его никто не называл по отчеству, а звали, как подростка, Семкой. Когда-то он имел семью, а теперь жил бобылем: жена умерла, единственная дочь Катюша служила горничной у злой горбатой фабрикантши Маракушевой и виделась с отцом два-три раза в год. Последнее время Колосов работал на фабрике наследников Витовых на одновальной машине и «держался» уже третью неделю без вина, поэтому злился на всех: на забастовщиков, на хозяев, на весь мир.

На бульвар Семка пришел затем, чтобы на ком-нибудь выместить непонятную злобу, душившую его с начала забастовки. В голове уже шумело от выпитой сотки. Прислушавшись к речам, Колосов тоже решил выступить. Оратор, выступавший перед ним, говорил об Иване Петровиче Киселеве:

— Мужик неподкупный! Не выдаст, не продаст.

Колосов, растолкав толпу, пробрался к скамейке и закричал:

— Кто мужик честный? Ванька Киселев? Да разве вы не знаете, что он первый на Ямах вор! Ну-ка, Иван, расскажи, как ты в позапрошлом году у соседки из сундука пуховый платок стибрил. А если про это запамятовал, объясни, откуда у твоей жены новые полусапожки.

— Да сгоните вы его, беса пьяного! Куда он залез? Кто его просил?

Кто-то дернул пьянчужку за полы пиджака:

— Слезай, Семен! Подурил, и хватит.

— Что? Не нравится? Правда глаза колет? — буйствовал раклист.— Я вам сейчас про всех ваших уполномоченных такое расскажу — ахнете! Нашли кого выбирать!

К нему подошел Аким Клещев и сурово сказал:

— Эй ты, пьяная кочерыжка, уходи! Ну!..

Колосов, увидев перед собой Акима, быстро, как ящерица, скользнул в толпу и перелез через заборчик, крича на ходу:

— Я вам еще покажу! Вы еще поплачете у меня!

Аким увидел, как к Колосову тотчас же подошел старший табельщик Дербеневской фабрики Жучкин. Аким пригрозил им кулаком и в ту же минуту почувствовал на плече чью-то руку.

— Кому это ты? — спросил его Трифоныч.

— А вон слякоть с гадюкой встретились, советуются, кого бы измазать да ужалить.

— Кто такие?

Аким кратко рассказал ему все, что знал о Колосове и Жучкине.

— Хуже, если они с нами пойдут, — ответил Трифоныч. — Хорошо, что хоть в открытую играют. Такие нам не страшны.

* * *

Первое заседание Совета уполномоченных состоялось в тот же день в помещении мещанской управы на Негорелой улице.

Население Российской империи делилось на несколько сословий. Высшим сословием считались титулованные особы, записанные в пятую книгу, затем потомки древних дворянских родов, записанные в шестую родословную книгу дворянства, далее шли дворяне, получившие это звание на службе. Следующее место в этой общественной лестнице занимали духовенство и купечество. Духовенство делилось на белое и черное, то есть монашество. Купцы также имели звания, из которых высшими считались мануфактур-советник и коммерции советник. Купцы делились на гильдии, некоторым еще присваивали звание потомственных почетных граждан. Самыми низшими сословиями были мещане и крестьяне.

Отрицая деление на классы, царское правительство цепко держалось за сословное подразделение, оберегало его как могло и создало для его охраны особые учреждения. Существовали дворянские собрания, купеческие управы, мещанские управы. Рабочие по сословному признаку состояли преимущественно из крестьян и мещан, потому одноэтажное кирпичное здание Иваново-Вознесенской мещанской управы и было избрано местом для заседаний Совета уполномоченных.

Заседание назначили на четыре часа дня, а перед этим на берегу реки Уводи, чуть пониже Соколовского моста, там, где начинались огороды, под охраной молодых рабочих, которыми

командовал «Станко», собралась группа Северного комитета большевиков.

Совещание группы продолжалось не больше пятнадцати минут. Балашов, успевший к этому времени переговорить со всеми фабричными и районными организаторами, подвел итог выборов. В Совет избрали сто пятьдесят одного депутата, из них двадцать две женщины. Две трети Совета были большевики.

Заключая свое сообщение, Семен Иванович сказал:

— Вот как вам доверяют, товарищи! Вы понимаете, какая на нас лежит ответственность перед народом?

Надо было решить еще один вопрос: кого выбрать председателем и секретарем.

— Я уже подумал, — сказал «Отец». — А что, товарищи, если мы предложим в председатели гравера Авенира Ноздрина? Народ его уважает, мужик он честный, хорошо грамотный.

— Стихи пишет, — промолвил Балашов. — Согласится ли он? Быть председателем — значит всю жизнь у полиции на отметке состоять. Да в партию он так и не вступил.

— Я говорил с ним, — объяснил «Отец». — Он согласен и сам предложил в секретари Николая Грачева. Поддержим, товарищи?

Прений никаких не открывали, только «Отец» сказал:

— Главное сейчас в единодушии. В Совете должна быть стальная дисциплина. Совет решил — для всех депутатов закон, и чтобы никакой отсебятины. Никаких единоличных решений. Пошли, товарищи, пора!

* * *

За полчаса до начала заседания «Станко» расставил на всех перекрестках вокруг мещанской управы своих парней, которых Балашов уже дважды с удовольствием назвал боевой дружиной. У самого входа в управу стояли Никодим Соловьев, Яков Савватеев и неразлучные друзья кочегары Ефим Сучков и Алексей Мартынов. Тут же находился и сам «Станко», проверяя по переданным «Отцом» спискам входивших в управу депутатов. Кроме депутатов, охрана беспрепятственно пропустила Свирского и двух его помощников.

Пропуская Степана, «Станко» шепнул ему:

— Старайся на всякий случай быть поближе к Семену Ивановичу и Архипычу.

К управе подошел невысокого роста рыжий человек в замасленном пиджаке.

— Не опоздал? — торопливо осведомился он у Якова.

— А вы, извините за любопытство, куда торопитесь? — с ехидством спросил Яков.

— Как куда? На заседание. Объявили к четырем.

— Объявляли, но только не для вас. Вы от какой фабрики

депутатом избраны? Случайно не от той, что около Приказного моста находится и где управляющим Кожеловский состоит?

— С чего вы взяли? Пропустите...

— В чем дело? — строго спросил, выглянув из дверей управы, «Станко». — Кто тут шумит?

— Да вот, еще один «депутат» объявился.

Яков придвинулся к рыжему вплотную и дернул его за нос:

— Лети, некурящий, покуда цел! А, узнал, паршивец...

Шпика словно ветром сдуло. Яков задорно присвистнул ему вслед.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

А в низеньком, тесном зале мещанской управы тем временем шло первое заседание первого в мире Совета рабочих депутатов. Сидели на скрипучих скамейках, тесно прижавшись друг к другу, стояли в проходах; заняли все подоконники ткачи и ткачихи, проборщики и слесари, шлихтовальщики и сновальщики, подмастерья и машинисты, наборщики и токари — простые рабочие люди.

И никто из них не подозревал, что в этот день в историю человечества вписывается новая страница. Никто из них не думал, что пройдет совсем немного времени — и Советы рабочих депутатов появятся в Петербурге и Москве, в Сибири и на Кавказе, в Белоруссии и на Урале. Никто не знал, что великий Ленин, поняв эту новую, рожденную народом форму организации, с гениальной прозорливостью определит ее как самое передовое, самое революционное правительство.

Они, эти первые депутаты, не предполагали, что в жестоких боях будет задавлена генеральная репетиция Великой социалистической революции и сотни, тысячи людей, поднявшихся на борьбу с самодержавием за новую, рабочую власть, будут расстреляны, повешены, сосланы на каторгу, упрятаны в тюрьмы. Начнутся годы мрачной, черной полосы России, когда даже за одно слово о свободе людям будет грозить тюрьма.

Но как ни жестоки и бесчеловечны будут эти преследования, в сердце трудового народа не умрут мечты и надежды о лучшей доле. Пройдет двенадцать лет, и по всей огромной стране из края в край рабочие и крестьяне, измученные мировой войной, выйдут на улицу со знаменами, на которых будет написано категорическое требование: «Вся власть Советам!»

И партия, созданная Лениным на заре века, самая мудрая партия из всех когда-либо существовавших на земле, поведет народ в бой за эту власть и победит. Россия патриархальная, где по вине гнилого режима царила дикость, та самая отсталая Россия, о которой нытики и маловеры говорили, что ей далеко до Европы, станет передовой, социалистической державой, где

навсегда будет уничтожена величайшая несправедливость — эксплуатация человека человеком.

Никто из первых депутатов не думал, что придет такое время, когда миллионы людей во всем мире: в Европе, в Азии, в пустынях и лесах Африки, в далекой Австралии — везде, где бьется человеческая мысль, с любовью и надеждой станут прислушиваться к голосу великой, непобедимой Советской страны.

На небольшом возвышении у круглого столика стоял Дунаев. Он окинул зал взглядом и поднял руку:

— Товарищи! Первым хочет сделать какое-то заявление старший фабричный инспектор господин Свирский. Разрешим?.. Пожалуйста, господин Свирский, проходите сюда, чтобы вас лучше видно и слышно было.

Свирский подошел к столику. Поблескивали золоченые пуговицы форменного сюртука. Фабричный инспектор был взволнован, голос у него дрожал и прерывался.

— Уважаемые... Прежде чем приступить к обсуждению основных вопросов, я обязан довести до вашего сведения просьбу его превосходительства начальника губернии.

Депутаты переглянулись. Интересно, что скажет сейчас инспектор. Какую такую «просьбу» передает губернатор. Знаем, мол, мы эти просьбы.

Но никакого подвоха нет. Свирский на самом деле излагает просьбу:

— Дело в том, господа, что его превосходительству начальнику губернии во время вашей забастовки может представиться необходимость издать для общего сведения какое-либо печатное объявление или распоряжение. Вчера, например, потребовалось напечатать одно извещение, а печатать оказалось негде: типографские рабочие тоже бастуют. Начальнику губернии пришлось посылать в шуйскую типографию, а там сегодня тоже забастовали. Не посылать же во Владимир... Одним словом, господин начальник губернии просит в таких случаях не чинить препятствий.

К столику подошел Евлампий Дунаев. Посмотрел в зал, усмехнулся и сказал:

— Я думаю, уважим, товарищи, просьбу господина губернатора. Если потребуется что-либо отпечатать для общего сведения, разрешим. — Дунаев повернулся к Свирскому: — Но только так и передайте: печатать будут только то, что необходимо для общего сведения. Не более! Правильно, товарищи?

— Правильно!

— Верно!

И тут на глазах у удивленного Свирского случилось уж совсем что-то для него непонятное. Дунаев деловито произнес:

— Для порядка, товарищи, давайте проголосуем. Кто за то, чтобы в случае необходимости разрешить печатать в типографии объявления для общего сведения, прошу поднять руки.

Так, хорошо. Кто против? Против нет. Кто воздержался? Тоже нет. Очень хорошо. Стало быть, принято единогласно. Теперь, товарищи, нам надо выбрать председателя и секретаря.

Из зала послышалось:

— Авенира Ноздрина!

Дунаев подхватил:

— Ноздрина называют. Ну как, товарищи, выберем Авенира Евстигнеевича? Все вы его знаете.

— А почему сам не хочешь? — донеслось из зала.

— Какой же я, братцы, председатель? Я больше всего на свете боюсь бумаг, — отшутился Дунаев. — Давайте лучше выберем Ноздрина. Авенир Евстигнеевич, что ты сам на это скажешь?

Невысокий, но очень плотный человек с умными, живыми глазами подошел к столику:

— Если товарищи мне доверие окажут, все, что надо, делать буду с охотой, но только прошу в тяжелую минуту одного не бросать.

Ноздрина выбрали единогласно. Он сел рядом с Дунаевым. Евлампий громко сказал ему:

— Выдвигай сам Николая Грачева.

Чем дальше шло заседание, тем больше удивлялся Свирский. Ему не раз приходилось присутствовать на заседаниях городской управы. Обсуждение самых мелких, пустяковых вопросов там тянулось часами. Некоторых ораторов унять было просто невозможно. Частный поверенный Огородов-Капустин, когда его перебивали, истерически взвизгивал и колотил кулаками по столу.

Иногда в управе разыгрывались невероятные сцены. В течение нескольких лет обсуждался вопрос о сооружении городского водопровода. Фабриканты никак не хотели принять в этом участие, а своих средств у управы не хватало. Под давлением общественности тузы начали сдаваться. Все дело испортил фабрикант Фокин. В самый разгар споров о целесообразности водопровода Фокин неожиданно выставил на стол две бутылки воды. В одной бутыли плескалась чистая, прозрачная вода, в другой — мутная, с головастиками и зеленой тиной.

— Вот, ваше степенство, полюбуйтесь. Эта, — он показал чистую воду, — наша. Брали по стакану из десяти колодцев. Видите — как хрусталь. Одним словом, святая вода. А эта, — он презрительно сплюнул, — из владимирского водопровода. Поглядите, сколько в ней всякой живности. Чистый аквариум, как у Тестова в трактире. Неужели у людей совести нет — хотят заставить эту пакость глотать! Да ни в жизнь, ни за что не буду!

Доводы Фокина сделали свое дело. Именитые члены управы и гости подходили к столу, качали бутыли с глубокомысленным видом. Одни хитро подмигивали, другие откровенно хохо-

тали. Вопрос о сооружении водопровода был отложен в тридцать седьмой раз «для выяснения санитарно-гигиенических качеств».

После совещания Фокин, усаживаясь в пролетку, басил Мефодию Гарелину:

— Пусть исследуют. У меня в заднем дворе луж хватит. Я им мутной водицы сколько угодно начерпаю, а головастиков мне дворников сынишка Ленька на копейку сот пять за милую душу наловит.

Вспоминая все это, Свирский, посматривая на депутатов, спрашивал себя:

«Откуда это у них? Такая деловитость, решительность. Понимают все с полуслова. В первый раз собрались, а словно сенаторы. Да какие там, к чертям собачьим, сенаторы! У тех от старости труха сыплется. Все глухие, косноязычные. А тут ораторы так и режут...»

У столика депутатка Аграфена Васильевна Николаева:

— Я хочу, товарищи, поговорить о восьмичасовом рабочем дне. Справедливо ли наше требование? Кто мы? Люди, а не рабочий скот. Скот и тот отдыхает. А мы люди с сердцем, с душой. У нас сейчас, кроме работы нашей каторжной да сна, ничего в жизни нет. А мы тоже, господин инспектор, хотим книжки читать, детей воспитывать...

Кто-то из зала засмеялся:

— У тебя, Груня, и детей-то пока нет.

— Нет, так будут! — отрезала Груня. — К тебе занимать не пойду.

У многих на лицах появились улыбки. Однако Груня не сбилась, не умолкла:

— Я не только за себя говорю. Меня от целой фабрики сюда прислали... Да, хотим детей воспитывать, смотреть за ними, чтобы они иголок не глотали, в вонючих канавах не тонули. А где же нам за ними усмотреть, когда мы за станками по одиннадцати часов стоим?

Словно невидимая рука стерла с лиц улыбки. Суровые слова Груни понятны всем: у всех есть дети, а у кого нет, так — Груня права — будут, и если ничего не изменить в этой беспросветной жизни, стало быть, и им, потомкам нашим, всю жизнь придется подставлять шею под хозяйское ярмо.

А Груня ровно, спокойно, как заправский оратор, продолжает:

— Будем драться за восьмичасовой рабочий день, пока не добьемся. Так и передайте, господин инспектор. Не уступим. Правда, товарищи, не уступим?

До поздней ночи заседал Совет. Два раза делали перерыв «на перекур». Никто не ушел. У Анны Струковой дома четверо детей и мужа только позавчера привели из больницы для чер-

норабочих — еле выкарабкался после жестокого двустороннего воспаления легких. Груня в перерыве подошла к ней.

— Шла бы ты, Анна, домой.

— Подожду... Там у меня соседка хозяйствует.

В конце заседания явился непрошеный гость — полицейский надзиратель Назаретский. Поручение ему дали несложное: передать Свирскому о том, что губернатор просит его прямо с заседания, не заезжая никуда, прибыть к нему. Если бы Назаретский сказал об этом вслух, никто бы не придал этому никакого значения: ясно, что губернатор хочет знать, о чем тут разговаривали. А Назаретский решил из своего маленького поручения сотворить великий секрет: смотрите, мол, вы, мелкота, какие мне государственные тайны доверяют! Он наклонился к самому уху Свирского и начал ему нашептывать.

Поднялся все видящий, все замечающий Дунаев. Властным голосом, да таким, что все на него с удивлением посмотрели, сказал:

— Прошу прекратить!

Свирский недоуменно посмотрел на Дунаева:

— Что прекратить?

— Я говорю: прошу прекратить совещание с представителем полиции в нашем присутствии. А вас, господин городовой, прошу удалиться.

Свирский заговорил торопливо:

— Нет никакого совещания. Уходите, Назаретский, уходите.

Казалось, что остается делать Назаретскому? Немедленно уйти, скрыться с глаз. А он, по-видимому, ужасно обиделся на умаление его чина.

— Я не городовой, а полицейский надзиратель!

Дунаев ему холодно:

— В чинах плохо разбираюсь. Вы для нас все одинаковы: что кот, что кошка. Прошу удалиться и впредь на наши заседания без специального приглашения не заходить!

Свирский легонько подтолкнул Назаретского:

— Идите. Вы мне после доложите.

И еще одно событие нарушило ход заседания. В одиннадцатом часу ворвался в зал продавец газет Максим Галкин и, потрясая пачкой «Русского слова», закричал, как кричали все газетчики, повторяя крупные заголовки номера:

— «Потопление русского флота около острова Цусима! Агентство Гавас сообщает, что адмирал Рожественский сдался в плен! Черный день России!»

Неизвестное до того слово «Цусима» обожгло сердца. Женский плач, похожий больше на крик, заставил людей вздрогнуть. Уткнув голову в плечо Груне, причитала депутатка Аксинья Смирнова. Ее муж служил кочегаром на «Димитрии Донском».

Евлампий Дунаев, быстро пробежав газету, сказал:

— Ввиду позднего времени предлагаю наше заседание прекратить.

У выхода Степана поджидал Яков:

— Прости, Ваня, совсем забыл: у меня для тебя письмо. Его еще вчера принесли к Анне Семеновне.

— Что же ты!

Степан схватил письмо и около освещенного окна стал читать. Письмо было от Наташи.

«Дорогой Ваня. У нас еще одна беда — умер папа. Восьмого я его хоронила. Мне теперь в Питере делать больше нечего. Я решила ехать к тебе. В субботу четырнадцатого мая я выезжаю...»

— Чем это вы так заинтересованы? — раздался около Степана знакомый голос.

От неожиданности Степан даже не сообразил, что совсем лишнее рассказывать Игорю о Наташе.

— Сестра приезжает...

— То есть сестра только по документам, — уточнил студент, — а по-настоящему невеста. Поздравляю! От всей души поздравляю! Очень рад!

— А вы чему радуетесь?

* * *

Степан был неправ. Игорь действительно обрадовался. Последнее время Шлегель только и делал, что бранил его. Выслушав от студента «ничего нового», ротмистр брезгливо морщился:

— Когда же будет хоть что-нибудь новое?

В последнюю встречу Шлегель раздраженно заметил:

— Знаете, я начинаю думать, что вы просто уклоняетесь от выполнения своего долга. Одно из двух: или вы начнете действовать, или я начну — против вас, конечно.

И вот сейчас Игорю казалось — он сообщит ротмистру что-то новое. К этому «верзиле», как про себя называл Степана студент, едет невеста. Очень хорошо. Это наверняка обрадует жандарма. Он как-то вскользь заметил, что женщины в подобных делах частенько бывают полезны.

Нарушая уговор, Игорь, не сняв студенческой тужурки, полетел к Шлегелю на квартиру. Он поднялся по черному ходу и позвонил. Унтер-офицер Игнат Суконкин, открыв дверь, грубо спросил:

— Кто такой?

Увидев студента, он сменил гнев на милость и пригласил:

— Войдите. Сейчас доложу.

Игорь шагнул в кухню и натолкнулся на маленького, похожего на скопца человечка.

— Посидите тут,—сказал Суконкин и ушел.

Игорь потоптался у порога, не зная, что делать — то ли на самом деле сесть рядом с этим скопцом, то ли уйти, хлопнув дверью. Но было уже поздно: в кухню вошел Шлегель. За ним выскочил пожилой мастеровой, которого Игорь часто встречал на улицах пьяным и слышал, как его называли Семкой. Пьянчужка оживленно говорил:

— Главный заводила, как я уже сообщал, Дунаев. Я давеча услышал, как говорят: «Фабрика Куваева, да порядки на ней Дунаева». Вы на него, ваше высокородие, особое внимание...

— Хорошо, хорошо. Иди!

Ротмистр строго посмотрел на Игоря и сухо, как незнакомый, спросил:

— Вы ко мне?

Семка топтался у двери.

— Что там? — спросил его Шлегель.

— Одну минуточку. Извините... горло промочить...

Шлегель сунул руку в карман сюртука и вытащил бумажник. Он порылся в нем и, подавая Колосову рубль, наказал:

— Не до бесчувствия.

— Покорно благодарю.

Ротмистр все так же официально бросил Игорю:

— Прошу. Проходите.

Уже в коридоре Игорь услышал, как Суконкин выставлял скопца:

— Иди, Жучкин! Завтра прибежишь. Их благородие с господином студентом долго промаются.

* * *

— Что-нибудь сверхъестественное? — В голосе Шлегеля явно звучали и издевка и недовольство.

— Да. Очень важно. К нему приехала... не совсем еще приехала, но совершенно точно едет.

— Кто едет? К кому?

— Невеста. К нему. К долговязому.

Ротмистр насторожился:

— Невеста... Конечно, лететь ко мне сломя голову и натыкаться на неприятные встречи не следовало. Однако хвалю. Хвалю ваше рвение. Это интересно. Невеста! Давайте придумаем такой ход...

* * *

У губернатора шло совещание. Леонтьев с трудом дождался появления Свирского. Городовые, посылаемые в мещанскую управу на разведку, неизменно возвращались с одним и тем же ответом:

— Ничего не можем знать. Внутрь не пускают.

— Да что у них там, крепость? Нельзя прямо — попробуйте с чердачного хода.

— Пробовали. Все закрыто.

— Скажите, что по моему поручению.

— Сказывали.

— Ну и что?

— Говорят — не можем. У вас, говорят, свое начальство, а у нас свое.

— Это возмутительно!

Наконец Свирский прибыл. Леонтьев так откровенно обрадовался ему, что даже на глазах у прокурора Чернявского протянул фабричному инспектору обе руки:

— Что там, мой дорогой?

— Положение серьезное, ваше превосходительство.

— Чего они хотят?

— Много. Может, я ошибаюсь, ваше превосходительство, но они прежде всего хотят жить по-человечески.

— Вы опять со своей философией.

— А пожалуй, самое страшное в том, что я сегодня слышал,—как раз их философия. И это страшно. Если бы вы слышали, как они разговаривают...

Чернявский сухо перебил:

— Мы ваши откровения слушали не раз. Вы лучше скажите, что они решили практически.

— А они все решили практически. Они, например, постановили закрыть с завтрашнего дня все казенные винные лавки.

— Не понимаю, какое это имеет отношение к забастовке! И вообще, кто им дал право закрывать казенную лавку? Вы понимаете — ка-зен-ну-ю!

Свирский посмотрел на прокурора, как учитель на школьника.

— Право они взяли сами. Поставят у каждой казенки по три человека охраны — вот вам и все право. А какое отношение имеет продажа водки к забастовке, если хотите, объясню. Но только не перебивайте меня, господа, я сегодня очень устал. Впрочем, я буду краток. На покупку водки, как известно, нужны деньги, а их у забастовщиков немного и будет еще меньше, если тратить их на водку. Чем скорее у них кончатся деньги, тем легче они пойдут на уступки. Вот они и хотят, чтобы их запасов хватило на больший срок. Одно могу сказать: руководят ими очень умные головы. Можете их завтра посмотреть. Совет на завтра назначил очередную манифестацию. Сбор у городской управы.

Леонтьев стукнул кулачком по столу:

— Не позволю! На каждую манифестацию нужно мое разрешение! Где же, наконец, Шлегель? Где Левенец?

Чернявский развел руками:

— Ротмистр, наверно, расставляет сети перед каким-нибудь третьестепенным социалистом, а господин Левенец по обыкновению пьян. — Спохватившись, что при Свирском не стоило так резко отзываться о Шлегеле, прокурор более дружелюбно добавил: — Они, ваше превосходительство, совсем с ног сбились...

В эту минуту в кабинет вошел Шлегель.

— Изволили звать, ваше превосходительство?

— Куда вы пропали? Каждую минуту надо ожидать новых осложнений, а вас нет!.. Вас, господин Свирский, я не задерживаю. Идите отдохните, вы в самом деле устали.

Свирский поклонился и ушел.

— Где Кожеловский?—кипятился Леонтьев.—Почему здесь нет господ офицеров? Спят? В городе война, бунт, а они спят! Всех сюда! И распорядитесь, пожалуйста: завтра никаких манифестаций. Никаких! Я запрещаю...

В дверь постучали.

— Кто там еще? — раздраженно спросил Чернявский.

— Это я,—входя, сказал Свирский.—Извините, если помешал, ваше превосходительство. Но я не мог не вернуться. Я совсем забыл сообщить вам последнюю новость: эскадра адмирала Рожественского потоплена японцами у какого-то острова Цусима...

Он положил перед остолбеневшим губернатором «Русское слово» и вышел.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Поезд, на котором должна была приехать Наташа, приходил в Иваново-Вознесенск в девять утра. Степан начал готовиться к встрече, как только рассвело. Он долго размышлял, как сказать своей квартирной хозяйке о невесте.

«Ладно, скажу, что сестра, а потом посмотрим».

Федосья Алексеевна, выслушав, равнодушно сказала:

— А мне что? Живите. Только с девиц я дороже беру: по рублю с полтиной.

Степан выстирал себе рубашки и, развесив их во дворе на веревке, начал убираться в своей узенькой комнатке. Он стащил со стола скатерть и понес ее вытряхивать. На улице, при ярком утреннем солнце, она показалась ему грязной — он выстирал и скатерть. Потом он ошпарил кипятком свежий березовый веник и, обметя сначала стены, чисто-начисто вымыл пол во всем домике. Сняв высохшее белье, он набил горячими углями большой чугунный утюг и начал гладить рубашки. За этим занятием и застал его Яков.

— Готовишься? Правильно. А деньги у тебя есть?

— Есть немного.

— Сколько?

Степан отложил в сторону бумажный рубль, два двугривенных и гривенник:
— Это неприкосновенные. Сейчас отдам хозяйке за квартиру.
Потом пересчитал остальные медяки и вздохнул:
— А это на житье. Мало. Ну ничего, как-нибудь обойдемся.
Яков протянул ему две трехрублевки:
— Возьми.
— Откуда у тебя?
— Тут не все мои. Одна бумажка моя, а другую просили тебе передать.
— Кто?
— Не велено говорить, а я вот сболтнул.
— Я знаю кто — Трифоныч. Три рубля возьму, больше не надо.
— Вот и хорошо. Он мне сказал: «Нельзя без денег. Сестра к нему приезжает, а у него, наверно, ни копейки». Какая она тебе сестра? Это Наташа?
— Да.
— Тогда все бери, потребуются. Я пойду с тобой — помогу вещи донести.
— Спасибо. Я сейчас скатерть поглажу, постелю, и пойдем. Пора.
Они пришли на вокзал за пятнадцать минут до прихода поезда. Проходя мимо товарного двора, где в обычные дни круглые сутки не утихала жизнь, Яков сказал:
— Смотри, как на кладбище! Товарные не ходят. Все грузчики, сцепщики, смазчики — все бастуют.
Степан на перроне настолько взволновался, что потащил Якова к баку с водой.
— Что с тобой?
— Не знаю. А вдруг она не приедет?
— А куда же она денется?
— Возьмет да и не приедет.
— Ты, брат, ошалел совсем! Она же в вагоне сидит и о тебе, дурная голова, думает.
Как назло, поезд задержался у семафора. Машинист начал давать тревожные гудки.
— Почему он стоит?
— Путь закрыт. Видишь, семафор опущен.
— Не вижу. А почему он свистит?
— Путь просит. Да ну тебя!
Рука семафора вздрогнула и поднялась.
— Видишь, сейчас пойдет.
— Яша! Ты иди в хвост, а я к паровозу.
— Я же ее не знаю.
— Ее сразу узнаешь.
А поезд уже у вокзала.

— Яша! Вон она! Наташа!

— Где?

Степан подбежал ко второму вагону. Из открытого окна Наташа протянула ему руку:

— Ваня! Милый...

Важеватов полез в вагон, не обращая внимания на недовольные возгласы выходящих пассажиров.

— Наташенька! Дорогая моя! Ну, как доехала?

Наташа обняла его, крепко поцеловала, успев при этом шепнуть:

— Степа! Как я рада...

Вслух она сказала:

— Спасибо, Ваня, доехала я хорошо. Все потом расскажу.

— Которые вещи твои?

— Вот эти. Чемодан и корзинка. Она тяжелая, Ваня. А тут у меня постель. Много всего. Как мы только с тобой дотащим!

— А я на что?—сказал Яков.

— Наташа, это Яков,—улыбнулся Степан.—Я так тебе обрадовался, что забыл о нем.

— Здравствуйте, Наталья Матвеевна. Со счастливым прибытием в наш город! Давайте вашу корзиночку. И это я прихвачу.

Не успел Яков ступить на перрон, как рядом очутились два жандарма. Один из них привычным движением выхватил у Якова корзину.

— В чем дело?—зло спросил Яков.

— Пожалуйте в дежурку.

Наташа соскочила с площадки:

— Это мои вещи! Вы не имеете права...

— Знаем, что ваши. Вот и пожалуйте с нами. И вы, молодой человек.—Жандарм взял Степана за руку.

Вокруг стали собираться любопытные. Яков шагнул, расталкивая толпу чемоданом:

— Чего собрались? Не свадьба. Смотреть нечего. Пошли.

В жандармской дежурке за деревянной решеткой стоял стол, а за ним сидел известный всему Иваново-Вознесенску жандармский старший унтер-офицер Пулий Пудович Сакердонов, из недоучившихся семинаристов. Трудно сказать, какой бы из него вышел священнослужитель, но жандарм из него получился отменный. Рассказывали, что он однажды даже свою собственную жену приволок к Шлегелю, заподозрив ее в неблагонамеренности. Сакердонов окинул угрюмым взором вошедших и скомандовал:

— Кажи!

Жандармы ловко развязали корзинку и начали выкидывать вещи на стол. Унтер ни к чему не притрагивался и только, уви-

дев маленький ридикюль, перешедший к Наташе по наследству от матери, внимательно исследовал его.

Наконец корзина опустела. Сакердонов снова скомандовал:

— Тряхни!

Жандарм поднял корзину, перевернул и сильно ударил по дну. Сакердонов махнул рукой:

— Кажи!

Жандармы принялись за чемодан.

Наташа сжала Степану руку, и он понял — в чемодане есть такое, что жандармам лучше бы не видеть. Он шагнул за загородку.

— Ваше благородие, напрасно время тратите. Тут, кроме одежды, ничего нет.

Сакердонов поднял голову:

— Выйди!

Жандармы заработали быстрее. Степан похолодел: на стол выкинули толстую книгу в рябом желто-черном переплете. Он узнал настольный календарь Гатцука на 1898 год, который когда-то обнаружил у Тони Боевой. В календарь была очень искусно вплетена ленинская брошюра «К деревенской бедноте».

Унтер взял книгу и начал листать. Наташа еще крепче сжала Степану руку. Ничего не подозревавший Яков шепотом переругивался с жандармом, стоявшим у двери:

— Чего роются? Приехала девка к брату... Эх вы, кроты! Рытики!

Сакердонов вслух читал заголовки:

— «Полный православный месяцеслов», «Роспись святых», «Генеалогия», «Иностранные владетельные дома»...

Степан вспомнил: как раз за главой «Иностранные владетельные дома» и начинается ленинская брошюра. Но в это время внимание унтера привлекла большая металлическая коробка, в которой Наташа хранила нитки, иголки, грибок и другие предметы рукоделия. Сакердонов бросил книгу и занялся коробкой.

Наташа подняла голову и посмотрела на Степана, как бы говоря: «Ну, кажется, беда миновала».

Осмотрев все вещи, Сакердонов все так же односложно скомандовал:

— Собирай!

Жандармы отошли в сторону и закурили. Сакердонов открыл в перегородке скрипучую дверцу и повторил, обращаясь к Наташе:

— Я кому говорю! Собирай свое приданое.

Степан шагнул вслед за Наташей за перегородку. Сакердонов, поняв его намерение, выпихнул его обратно.

— Не велика барыня, сама соберет!

Наташа, не разбирая, как попало, молча бросала смятые

платья в корзину и чемодан. Потом она подняла с грязного пола растерзанную постель и подала ее Степану:

— Свяжи, Ваня! Задали, окаянные, работу. Стирать все придется.

— Ничего, Наташенька, я тебе помогу,—так же тихо ответил Степан.

Наташа с трудом застегнула чемодан, перевязала корзину и спросила унтера:

— Все посмотрели? Довольны? Отпускайте.

— Сейчас. Афонин, крикни Карасиху.

Жандарм привел толстую женщину с большим, мясистым носом. Унтер бросил ей:

— Займись!

Карасиха жестом пригласила Наташу.

— Куда вы меня?

— Куда надо. Пойдем, барышня, пойдем.

Степан начал терять самообладание. Он расстегнул ворот у рубахи.

— Долго вы нас тут проморите?

Унтер подождал, пока Карасиха с Наташей скрылись за дверью, и все так же равнодушно и односложно скомандовал:

— Снимай! И ты,—обратился он к Якову.—Раздевайся!

— Да что же это такое...—начал Степан, но, увидев предостерегающий взгляд Якова, снял с себя сапоги.

Жандармы обшарили карманы, потрясли сапоги и, ничего не найдя, стали, как деревянные, у перегородки.

— Одевайся!

Карасиха ввела Наташу. Девушка на ходу застегивала кнопки у кофточки.

— Ну!

— По чистой смотрела. Только деньги и больше ничего.

Сакердонов сел за стол.

— Хорошо смотрела?

— Как положено.

Сакердонов просмотрел паспорт Наташи и недовольно буркнул:

— На какой ляд сюда питерские едут? Не жилось в столице!

— Я к брату...

— Ладно. Идите.

Выйдя из дежурки на перрон, Яков сказал:

— Пошли быстрее. И пока помолчим.

И только уже на площади перед вокзалом Яков сокрушенно добавил:

— А все из-за меня! Не будь меня с вами, никто бы вас не тронул. А я им давно глаза намозолил. Видят — встречаю кого-то, чемодан, корзина... А вдруг нелегальная литература, а то и бомбы — вот они и вцепились.

— Нет,—задумчиво произнес Степан,—тут дело в другом.
— В чем?
— После скажу.
Перейдя мост через Уводь, друзья сели передохнуть на завалинке около старого низенького домика. По улице шло много людей.
— Наши двигаются,—сказал Яков.—На площадь.
— Иди, а то опоздаешь. Мы одни донесем.
— Успею. Я еще одну ненормальность приметил.
Вместо того чтобы идти прямо по улице, Яков неожиданно свернул в переулок, успев тихо сказать Степану:
— За мной.
В переулке он оглянулся и открыл первые попавшиеся ворота:
— Стойте тут. Я сейчас один спектакль разыграю.—Он нашел в тесовом заборе щель и приник к ней.—Прошел. Ну, держись, подлюга!
Яков выскочил на улицу, догнал какого-то человека в чесучовом пиджаке и круглой соломенной шляпе. Что говорил Яков этому франту, Степан не слышал. Он только увидел, как его друг угрожающе замахнулся и человек в чесуче понесся по переулку. На повороте он потерял шляпу, быстро поднял ее и, оглядываясь, скрылся за углом. Яков вошел во двор, сел на чемодан и засмеялся:
— Ну и денек! Я этого пса еще при выходе из вокзала заприметил. Уж очень он нас с тобой оглядывал. Старых я почти всех знаю. Мы со «Станко» их специально по улицам за собой водим, чтобы лучше знать. И лупили не раз. А это, видно, новенький. Расфуфыркался — в шляпе, при часах. Одних брелоков штук десять понацепил.
— Он сейчас донесет.
— Нет. Когда мы их бьем, они молчат, начальству не жалуются, иначе их уволят. Какой же, дескать, ты филер, если тебя поднадзорные бьют. Он сейчас прибежит и наврет чего-нибудь. Пошли, а то мы так и не доберемся.
Вскоре они были дома. Яков, внеся вещи, тут же ушел, сославшись на неотложные дела.
— Да и вам надо без свидетелей побеседовать. Давно не виделись.
Степан закрыл за ним дверь и подошел к Наташе, стоявшей у стола:
— Наташенька!
— Степа! Родной мой Степушка! Если бы ты знал, как я измучилась! Столько смертей за одну зиму! Ваня, мама, а теперь папа. А эти лезут лапами своими противными...
Наташа прижалась к Степану и заплакала. Он гладил ее волосы, нежно целовал и повторял одни и те же ласковые слова:

— Успокойся, моя ненаглядная! Ты со мной теперь. Я тебя не дам в обиду. Родная ты моя, самая хорошая, самая дорогая...

* * *

Когда Наташа немного успокоилась, он начал ей рассказывать о своем житье.

— Вот и все мои хоромы. Тесновато, но, говорят, зимой тепло. И хозяйка славная.

— Ничего, Степа, проживем. Не весь век так будем. Главное — вместе мы теперь. Товарищи у тебя, видно, хорошие. Яша мне очень понравился. Сердечный такой. Смелый.

— Яша — золотой человек. Мне повезло тут на хороших людей. Здесь такие, Наташа, есть люди! Я тебя с Груней Николаевой познакомлю. А Семен Иванович! И еще... не знаю — говорить тебе или нет.

— Все говори. Что случилось?

— Ничего не случилось. Так и быть, скажу. Ты его все равно увидишь. Михаил здесь.

— Фрунзе?

— Да.

— Как он попал сюда? Ты его видел?

— Только вчера.

— Как я рада: Миша здесь. Ну, Степа, с такими друзьями мы не пропадем. Деньги у нас на первое время есть.

— Откуда они у тебя?

— Как откуда? Я все, что могла, продала. Мы с тобой богачи. У нас почти двести рублей. На вот, спрячь их куда-нибудь.

— Нет, Наташенька. Деньги твои, ты сама и распоряжайся.

— Какой ты глупый, Степа! Это не мои, это наши деньги. Понял? На-ши! Фабрики у вас стоят...

— Откуда ты знаешь?

— Господи! Да об этом от самого Питера в вагонах разговаривают, а в Ярославле даже собрание на вокзале было.

— Значит, прошел слух?

— Ну еще бы!

— Да, бастуем.

— Значит, тем более деньги нужны. Ты и товарищам своим поможешь.

— Золотая ты моя! Наташенька...

— А дома как? Ничего не знаешь?

— Ничего. Ума не приложу, как и узнать. Писать нельзя, ехать туда совсем нельзя. Земляков никого здесь нет.

— А я придумала. Дорогой ехала и думала. Я здесь поживу немного, дней восемь-десять, и поеду к тебе на родину.

— Там тебя и сцапают.

— Не за что. Кто я такая? Ты говорил, что недалеко от вашей деревни монастырь есть. Ну, вот и все. Иду на богомолье. Попрошусь к твоей маме ночевать. Тихонько ей все и расскажу.

— Ой, Наташенька! Да как ты все ловко придумала! Мама тебя обязательно пустит. Она у меня добрая.

Степан так и не ушел бы из дому, если бы Наташа не сказала ему:

— Ты иди, Степа, по своим делам. А я воды нагрею, постираю да вымоюсь.

Она вышла проводить его за ворота и долго махала ему вслед белой косынкой. Степан шел и оглядывался каждую секунду.

* * *

Губернатор выполнил свое обещание.

В десять часов утра, когда рабочие, как и накануне, заполнили всю площадь перед управой, на крыльцо вышел Кожеловский и начал громко, на всю площадь, читать постановление губернатора:

— «Многолюдное скопление народа на городских площадях и улицах даже при условии их мирного течения наносит ущерб торговле и, стесняя уличное движение, вызывает справедливые нарекания не заинтересованного в забастовке фабричных рабочих городского населения. Поэтому, призывая фабричное население к спокойному обсуждению своих нужд и интересов, я с сего числа не нахожу возможным более допускать многолюдные собрания рабочих на площадях и улицах города...»

Не успел Кожеловский закончить чтение, как на бочку поднялся Дунаев:

— Слышали, товарищи? Спокойно, дескать, обсуждайте, но больше трех не собирайтесь. А соберетесь — найду возможность помешать. Полюбуйтесь, товарищи, вот они, эти возможности его превосходительства.— И Дунаев показал рукой на широко распахнутые ворота управы, где виднелись казаки.— Мы знаем, товарищи, что у царских слуг практика большая. От памятного всем царского дня девятого января времени немного прошло. Мы его не забыли и, наверно, никогда не забудем. С голыми руками на казацкие пики лезть да под драгунские сабли головы подставлять не к чему. Этим только кое-кому лишнее удовольствие можно доставить. Мы не трусы, но проливать свою кровь безрассудно не будем. Давайте послушаемся господина губернатора... нет, не послушаемся, а согласимся с ним — на площади собираться пока не станем. Пошли, товарищи, на Талку!

Народ на площади заколыхался. Сначала одиночки, а потом десятки, сотни людей повернулись в сторону Приказного моста.

Дунаев командовал:

— Становись в ряды, товарищи! Запевай!

В толпе на мосту огнем вспыхнуло алое полотнище. Сильный голос запел:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Взвилось еще одно красное знамя, затем третье. Заалели на женщинах косынки. Тысячи голосов подхватили песню, и она гремела над площадью, над улицами, суровая, торжественная:

Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог.

Так, наверно, и ушел бы народ с площади спокойно, без всяких дополнительных происшествий, не случись тут жандармский ротмистр Левенец. Все эти бурные дни он «болел» по третьей степени. Это означало, что очередной запой продолжался не менее трех недель. Накануне «болезнь» кончилась, и Левенец, как всегда после длительного приступа, чувствовал себя омерзительно. Неизвестно, что на него подействовало — то ли находящееся рядом высокое начальство и желание перед ним отличиться, то ли страх перед Шлегелем, который после каждого запоя Левенца грозил сообщить в Петербург. Что бы там ни было, но бывшего гвардейца вдруг охватило желание совершить подвиг. Он растолкал толпу городовых, стоявших на тротуаре около управы, и, лихо заломив фуражку, пошел к бочке, на ходу выкрикивая:

— Эй, ты там! Слезай, тебе говорят! Ну? Кому я говорю!

Губернатор, наблюдавший эту сцену из окна, приказал:

— Уберите этого идиота, пока он нам все не испортил!

Но было уже поздно. Левенец, широко расставив ноги, стоял около бочки, задрав голову. Дунаев, явно издеваясь над ним, улыбаясь, спросил:

— Это вы кому, господин жандарм, кричите?

— Тебе. Слезай, говорю!

— Ай, как нехорошо, господин жандарм! Разве можно так кричать? Горло можно надсадить. И почему вы обращаетесь ко мне на «ты»? Я вам не родня.

— Слезай! Я вот сейчас тебя арестую! Ты и есть самый главный зачинщик. Я знаю тебя. Филимонов! Рачкин! Давай сюда!

Дунаев, не выдержав, захохотал:

— Уморил ты меня, господин жандарм! А за что ты меня арестуешь?

— Чтобы твои дружки не ходили с недозволенными красными флагами.

— Это ты напрасно, жандарм: красный флаг не запрещен.

— Запрещен!

— Я весь свод законов Российской империи прочел, и ни в одном томе не сказано, какой цвет преступный, какой дозволенный. Так что, жандарм, осади назад. Ребята, помоги ему!

Молодые рабочие из группы «Станко» взяли ротмистра за руки и за ноги, легко подняли и отнесли к самой управе. Там они положили его на спину. Паренек в розовой рубашке подал ему руку, поднял с земли, заботливо очистил с Левенца пыль и ехидно сказал:

— Немного запачкались, ваше благородие. Ничего, дома скипидарчиком ототрете.

И побежал догонять своих.

Пока Левенец соображал, что же ему делать, площадь уже опустела. Одиноко торчала высокая бочка, а около нее голубела фуражка ротмистра. Шлегель, проходя мимо Левенца, не сказал ни одного слова. Но зато распалился губернатор:

— Какой бес вас дернул? Идите выспитесь и больше, ради бога, не суйтесь туда, куда вас не просят!

Через минуту губернатор, сходя с лестницы, услышал, как Левенец жаловался кому-то:

— Черт их разберет! Нянчиться с ними заставляют! Дай-ка, братец, папиросу, ужасно курить хочется.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Речка Талка была настолько мала и немноговодна, что ее не заносили ни на одну географическую карту. Летом, в жаркое время, она почти совсем пересыхала, и в самом глубоком месте ее мог без всякого риска перейти даже ребенок.

Большой луг на берегу Талки был выбран для собраний не случайно. В нескольких шагах от берега начинался негустой сосновый лес, где при необходимости хорошо было скрыться от полицейских и казачьих налетов. Отсюда отлично виднелись город и дорога, по которой могли подтянуть войска.

Важеватов, придя на Талку, первым делом начал разыскивать Якова или кого-нибудь из знакомых депутатов, чтобы узнать, где сейчас находится весь Совет. Но сделать это оказалось нетрудным, и не к чему было даже искать знакомых людей. Почти все знали, что Совет заседает на лесной поляне, около сторожки. Пробираясь на поляну, Степан отметил новое, что появилось у ивановских рабочих. То тут, то там люди, собравшись небольшими группами, слушали ораторов. Проходя мимо одной из таких групп, Степан увидел: рабочие сидели на земле вокруг что-то объяснявшего Лакина. До Степана донеслось:

— Посылка эскадры в такой далекий путь... Вот погубили тысячи молодых жизней...

В другой группе оратор, возражая кому-то, говорил:

— Нет, дорогой товарищ, ты неправ. Не все крестьяне одинаковы. У нас в деревне сорок три двора. У сорока дворов земли столько же, сколько у трех, да еще у одного из этих трех постоялый двор с чайной, лавка, и все у него в долгу...

«Как в школе,—подумал Степан.—Если все, что тут говорят, послушать, много узнаешь».

Навстречу ему попались чердачные жители Силантий и Василий.

— Куда, ребята?

— Ходим, слушаем.

— А хотели на Волгу!

— Отдумали.

Василий засмеялся:

— И чего ты, Силантий, врешь? «Отдумали»! Ездили мы в Кинешму со всеми удобствами — на тормозной площадке. На каждой станции, как зайцы, от кондукторов скакали. А вернулись ни с чем.

— Работы не нашли?

— Эх, милый! Там на пристани нашего брата, как тюленей на берегу. Лежат.

— Лежат? Почему?

— Делать нечего, вот и лежат. Днем загорают на солнышке, а вечером по несбиранной деревне с сумкой да с посошком.

— Брось, Васька, не ври!

— А я и не вру. Скажи, не сбирали? Хуже было. Кто на обратном пути в Ермолине у начальника станции селезню голову открутил?.. Плохо живем, Никитин.

Силантий дернул рыжего приятеля за рукав:

— Нарыдался! Пошли.

Едва они отошли, как Степана окликнул Кручинин. Степан даже попятился, увидев студента.

— И вы здесь?—не скрывая удивления, спросил он.

— Да, и я здесь. Какой день, товарищ Никитин! Да разве можно в такой день дома усидеть и о своих заботах думать! Какие люди!

— Обыкновенные.

— Нет, не обыкновенные. Вы посмотрите. Видите, выступает оратор. Кстати, вы не знаете его фамилии? Кто он? С какой фабрики?

— Я здесь мало кого знаю. Какой-нибудь ткач или проборщик, а может, и подмастерье... Вы извините меня, тороплюсь.

— Одну минуточку... Совсем забыл вас поздравить с приездом сестрицы. Ее, если мне память не изменяет, Наташей зовут? Наталья Матвеевна. Как она добралась?

— Спасибо, хорошо. Счастливо оставаться.

Но не так-то просто было отделаться от Кручинина. Он схватил ускользавшего собеседника за руку и торопливо заговорил:

— Почему вы ко мне так плохо относитесь? Я к вам со всей душой, а вы... Нас с вами связывает...

— С чего вы взяли? А насчет того, что нас с вами связывает, лучше не вспоминайте. Я этого не люблю. Вы гуляете, а я здесь по делу.

Студент с жадностью смотрел в рот Степану, ожидая, что-то он скажет.

— Что у вас за дело?

— Понимаете, какая неприятность. Вы даже не поверите. Наташа приехала, а у меня сахару не на что купить. Знакомый обещал три рубля долгу вернуть, вот я его и ищу.

Кручинин достал желтое кожаное портмоне, пошарил в нем и с огорчением сказал:

— Жаль, не могу вам помочь. Мамаша не советовала деньги с собой брать. Долго ли, говорит, до греха.

— Да я бы у вас и не взял! Побегу, а то вдруг мой знакомый куда-нибудь скроется. До свиданья!

У сторожки Степана встретил Яков:

— С новой тебя должностью!

— С какой?

— Сейчас Совет учредил комиссию по распределению помощи. В ней Груня Николаева, Елена Кулева, Аким Клещев, Илья Михеич и ты. А сейчас о милиции решает.

— О какой милиции?

— Как тебе объяснить?.. Фабрикантов и чиновников от нас полиция охраняет, а нас будет милиция охранять от них. Понял?

— Понял, но только не все. У полиции пистолеты, у казаков пики да сабли, а у нас одни кулаки.

— Кое-что и у нас найдется. А ты знаешь, тебя ведь неправильно в комиссию назначили. Ты солдат, умеешь с оружием обращаться, командовать умеешь. Тебя надо в милицию. Я сейчас Семену Ивановичу об этом скажу. Идем быстро.

Депутаты сидели на земле. Некоторые даже прилегли. Трибуной для ораторов служил невысокий широкий ящик. На ящике стоял Балашов. Он громко читал:

— «Мы, рабочие и мастеровые города Иваново-Вознесенска, единогласно постановили: для поддержания порядка на улицах города во время стачки, который может нарушиться черной сотней и хулиганами, ничего общего с нами, рабочими, не имеющими, устроить милицию из рабочих, которая должна следить за порядком в городе и не допускать, чтобы отдельные фабрики, мастерские и заводы начали работать прежде, чем мы не решим всем стать на работу.

Действиями милиции будут руководить депутаты, избранные нами. При этом считаем нужным напомнить, что в случае, если нашей милиции помешают исполнять данные ей поручения, то мы при всем желании сохранить порядок не можем ручаться за его сохранение».

— Что это он читает?—спросил Степан у Якова.

— Письмо губернатору об учреждении милиции. Его вчера вечером Трифоныч сочинил.

— Ну как, товарищи, все в этом письме правильно? Можем его губернатору посылать?

— Можно! Хорошо бы это письмо на заборах расклеить, чтобы все знали, в чем дело.

— Тоже верно! Сделаем. А теперь, товарищи, давайте для нашей милиции выбирать руководителей. Первым я предлагаю Ивана Никитича Уткина, депутата от фабрики Полушина. Его все знают — парень он хоть молодой, но решительный и вполне подходящий.

— Пусть покажется!—послышались голоса.

— Иван Никитич! Покажись народу.

«Станко» поднялся на ящик и стал рядом с Ноздриным.

— Знаем! Годится!

— Еще я предлагаю депутата Василия Евлампиевича Морозова.

«Станко» уступил на ящике место высокому, плечистому парню с густой шевелюрой. Кто-то шутливо заметил:

— Ничего себе дядя! Этот нечаянно двинет — медведь на ногах не устоит.

— Ну как, товарищи?—спросил Ноздрин.—Стоящих парней я вам предлагаю?

— Хорошие мужики!

Яков быстро подошел к Балашову и что-то шепнул ему на ухо. Балашов посмотрел на Степана и отрицательно мотнул головой. Яков снова стал рядом со Степаном.

— Не согласился. Говорят, без согласия группы не имею права. Дисциплина! Ничего не поделаешь. Но я еще раз с «Отцом» и Трифонычем поговорю. Тебя обязательно надо в милицию.

А Трифоныч, легок на помине, сам подошел к ним:

— Приехала?

— Да.

— Очень мне хочется ее повидать. Может, сегодня попозднее забегу. Сарайчик у вас там найдется — переночевать?

— Есть.

— Зайду. Ты здесь долго не задерживайся: мне с тобой по серьезному делу поговорить надо.

А на ящике уже Федор Самойлов.

— Нам сегодня придется еще одно письмо утвердить. Про милицию мы писали губернатору, а это выше — господину министру. Читать?

— Читай!

— «Его высокопревосходительству господину министру внутренних дел от рабочих города Иваново-Вознесенска Владимирской губернии.

Мы, рабочие иваново-вознесенских фабрик и заводов, на наших общих собраниях постановили...»

Кончив читать, Самойлов спросил:

— Все слышали? Правильно написано или, может, чего добавить?

— А может, поубавить?—раздался чей-то голос.—Позвольте мне объяснить.

— Давайте. Подходите ближе.

На ящик поднялся Михаил Милованов, депутат от маленького завода Кирьянова и Калашникова.

— Я считаю, что письмо министру неправильно составлено. Все время: мы требуем, мы требуем, мы требуем. И насчет народных представителей, по-моему, тоже неправильно. Надо бы полегче.

Тут начался такой шум, что Милованову сразу пришлось спрыгнуть с ящика и сесть на свое место. Самойлов передал письмо стоявшему около него депутату и сказал:

— Голосовать мы письмо не будем. Будем подписывать. Начинай, Дмитрий Егорович!

Лист пошел по рядам. Скоро он вернулся к Самойлову. Федор Никитич подсчитал подписи:

— Сто пятьдесят одна подпись! Все подписали. В том числе и товарищ Милованов. Сегодня же и отправим в столицу. А теперь, товарищи, заслушаем еще одно важное сообщение. Давай, товарищ Волков.

Депутат от рабочих фабрики Дербенева Петр Волков начал свое сообщение с откровенного заявления:

— Ох, и устали же мы сегодня! С утра, почитай, весь город обошли. Да это не беда — пройти, а вот разговоры уж больно утомительны. Мы все казенки обходили, а их, вы знаете, у нас немало. Надо было каждому сидельцу растолковать, почему он должен свою лавочку закрыть. Разные, конечно, попадались. Одни сразу в полное понятие приходили, а некоторые ерепенились. Пришлось им втолковывать. Дольше всех упорствовал сиделец из казенки на Михайловской улице. Пришлось нам его из лавки удалить, а саму лавку на ключ. Мы ему сказали, чтобы он за ключом сюда приходил. Потом еще очень долго буфетчик на вокзале с нами спорил. Все кричал: «Не имеете права! Вы не начальство!» Мы ему сказали, что, если он водку не уберет, мы весь буфет прикроем. Подействовало. Должен я вам, товарищи, сообщить: все казенки в городе закрыты. Водкой нигде не торгуют.

К Степану в это время подошел Аким Клещев.

— Пойдем в сторожку.

В сторожке собрались члены комиссии по распределению помощи. Тут же находились «Отец» и Трифоныч. «Отец», передавая Илье Михеичу сверток, сказал:

— Сосчитай и прими. Тут должно быть семьсот девяносто рублей сорок семь копеек. Семьсот двадцать один рубль на площади собрано, двадцать пять рублей поступило от госпо-

дина Свирского и сорок три — от неизвестных пожертвователей. Это весь наш стачечный фонд. У вас, товарищи, работы будет много, и она очень важная. Сами понимаете, дорога каждая копейка. Помогать надо самым нуждающимся. Мы тут через одного человека договорились с потребительским обществом. Деньги эти надо будет передать в потребиловку, а у них взять особые такие талоны. Вот эти талоны и будете по вашему усмотрению выдавать. Надо, конечно, рублей сто оставить наличными — детям на молоко и на другую срочную помощь.

Трифоныч добавил:

— Вам надо будет распределить между собой обязанности. Выберите председателя и секретаря. Мне думается, председателем стоит выбрать Илью Михеича, а секретарем — товарища Николаеву. — Он посмотрел на Акима и, улыбаясь, сказал: — Товарищу Клещеву следует поручить добывание новых средств. Дело очень важное. У нас есть сведения, что сегодня в адрес нашего стачечного фонда поступило из Москвы от рабочих Прохоровской мануфактуры около трехсот рублей. А почтовое начальство эти деньги хочет задержать и после «ввиду ненахождения адресата» отправить обратно. Вот вам, товарищ Клещев, работа: отвоевать эти деньги. Сходите на почту. Я вам скажу, к какому там человеку надо сначала обратиться. На почте с вас потребуют доверенность на получение денег. Доверенность мы вам заготовили, надо ее заверить в полицейском управлении. Если там откажут, посоветуемся, как быть. — Он передал Акиму лист плотной бумаги.—Действуйте решительнее! Деньги нам очень нужны, и они по всем законам наши. А вам, товарищ Никитин, придется помочь товарищу Клещеву. Фигура у вас внушительная.

Когда выходили из сторожки, Трифоныч задержал Акима и Степана:

— На почтамте обращайтесь к чиновнику у второго окошка. Фамилия его Вакурин. Он вам о переводах сообщит... Желаю удачи.

* * *

Полицейский надзиратель Назаретский долго рассматривал доверенность Акима. Потом он начал читать ее вслух: «Совет уполномоченных иваново-вознесенских рабочих в числе 151 человека поручает и доверяет Акиму Авдеевичу Клещеву получить все почтовые денежные отправления, поступающие в забастовочный фонд рабочих. По поручению Совета доверенность подписали уполномоченные на то лица: депутаты Евлампий Дунаев, Федор Самойлов, Аграфена Николаева, Елена Кулева...»

Увидев фамилию Дунаева, Назаретский спросил:

— Это какой Дунаев? Проборщик с Грязновской?

— Совершенно верно.

— Подождите, я сейчас спрошу.

Вскоре в комнату вошел Кожеловский.

— Это что еще за доверенность? Кто вам ее выдал? На какой предмет? Будут всякие Дунаевы подписывать!

— Там все написано,—спокойно сказал Аким.—Не хотите заверять, так и скажите, а кричать нечего.

Кожеловский, заметно сбавив тон, небрежно бросил Назарецкому:

— Заверь!

И вышел, хлопнув дверью.

На почте все вышло совсем просто. У второго окна сидел молодой чиновник с рыжеватой бородкой.

— Вы будете господин Вакурин?—спросил Аким.

— Я. А в чем дело?

Аким просунул голову в окошко и зашептал Вакурину:

— Мы с Талки... от Совета уполномоченных...

— Понимаю. Идите к почтмейстеру и скажите, что вам известно о двух переводах. Один на триста три рубля из Москвы и второй на сто четырнадцать рублей из Ярославля. И покажите ему доверенность.

Почтмейстер, проверив доверенность и убедившись, что она по всем правилам заверена в полиции, спросил:

— А переводы вам есть?

— Должны быть.

Почтмейстер написал на листке бумаги несколько слов.

— Идите. Получайте, если есть.

Вакурин, отсчитывая Акиму деньги, успел сказать:

— Оставьте ваш адрес. Придут новые переводы — дам знать.

Выйдя из почты, Степан и Аким переглянулись и рассмеялись.

— Ловко получилось! И быстро. Я думал, волынить будут, а вышло сразу.

— Это они, товарищ Никитин, не по доброму к нам расположению. Боятся нас. Вакурин — другое дело. Этот, видно, хороший человек, понимает нашу нужду. Ты куда сейчас направляешься?

— Хочу домой заглянуть.

— Иди. А я Илье Михеичу деньги отнесу, наших обрадую. Шутка сказать — четыреста семнадцать рублей!

Не успел Степан повернуть за угол, как натолкнулся на Кручинина. Студент, криво улыбаясь, спросил:

— Получили должок? Поздравляю!

Степан сухо ответил:

— Получил. Благодарю.

И прошел мимо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

И вот они снова вместе — Наташа, Степан и Михаил. Степан, когда стоит, почти подпирает головой потолок. Наташа, готовя чай, боком протискивается между узенькой койкой и комодом. Очень тесно в комнате. Куда бы привольнее посидеть во дворе, около молодой березки. Но лучше здесь. Хозяйки нет дома, можно беседовать обо всем, вспоминать про Питер, не боясь называть Трифоныча Мишей, а Ивана — Степаном.

— Миша, как я рада, что ты здесь! Я ведь думала, угнали куда-нибудь в Сибирь или еще хуже — в Петропавловской крепости сидишь.

Фрунзе, посмеиваясь, пьет чай вприкуску и, притворно вздыхая, ворчит:

— Рано ты меня, матушка, в каторжные определила. А насчет Петропавловки — не достоин я этой царской милости. Туда только особо важных государевых врагов сажают: декабристов, Чернышевского, Горького. Эта хата не для нашего брата.

О чем они только не вспоминали в этот вечер! Кажется, обо всем на свете поговорили. Фрунзе принес с собой свежую газету:

— Смотрите! Даже «Русское слово» пишет о нашей стачке. Ругает, конечно. Вы только послушайте: «В эти тяжелые дни для России не работать, нарушать нормальный ход жизни — преступление. Вся Россия скорбит о наших дальневосточных неудачах». Хороши неудачи! Погубили весь флот. Войну проиграли. Неудача? Поражение! Полный разгром! Говорят, что эскадра и ее снаряжение в этот поход стоили четыреста миллионов рублей. Сколько можно было бы на эти деньги выстроить школ, больниц! А сколько жизней загублено...

Наташа, не промолвившая до этого ни одного слова о своих горестях, тихо сказала:

— И не только там. Сколько здесь замучено да убито! Возьмите нашу семью. Один за другим... — Она вытерла навернувшиеся слезы.— Очень всех жаль... Ну что это я вас расстроила! Рассказывай, Миша, рассказывай.

— Да что рассказывать! Со мной в Москве случай был. Шел я пятого мая по Цветному бульвару. День чудесный, теплый. Торопиться мне было некуда — сел на скамейку и отдыхаю. Подсаживается ко мне старушка, одета просто, в черном платке: «Вы, молодой человек, грамотный?» Я отвечаю: «Грамотный». — «Можете вы мне одну службу сослужить?» — «Смотря какую». Вынимает старушка из кармана поминанье: «Можете вы мне одного новопреставленного записать?» — «Отчего же,— говорю,— могу».— «Вот спасибо! Нате запишите. Только не перепутайте: первые листочки — эти за здравие, а за упокой после». Взял я книжку, а старушка мне химический каран-

даш протягивает: «Помочи немного, лучше видно будет, как чернилами». — «Кого, — спрашиваю, — писать?» — «Пиши, — говорит, — Ивана, по отчеству Платоновича». Я ей отвечаю: «По отчеству не надо. Надо просто: раба божьего Ивана». А она настаивает: «Нет, пиши с отчеством, а то бог не догадается, о ком я молюсь». Тут меня и осенило. В этот день в газетах было напечатано о том, что Ивана Платоновича Каляева повесили. Я старухе и говорю: «Как же так, бабушка, ты за убийцу молиться хочешь? Ведь он великого князя убил, Сергея». А она подняла на меня глаза и отвечает: «За князя во всех церквах молятся, а за Ивана никто, наверно, кроме матери, если она жива. А вдруг и ее в живых нет?» — «А все-таки, — говорю я ей,—отчество писать не надо. Могут догадаться, за кого вы молитесь, и вам попадет».— «Ничего,— отвечает,— за хорошего человека и пострадать можно». Вот вам и бабушка!

Посидев еще немного, Фрунзе заторопился:

— Пойду домой.

— А где у тебя сегодня твой дом? Ночуй у нас.

— Нет. Меня Балашов ждет. До свидания, Наташа. Степа, проводи меня.

Они вышли во двор.

— Сядь, Степа. Давай поговорим. Я сразу, без всяких предисловий, хочу тебя спросить: ты знаешь, что есть Российская социал-демократическая рабочая партия?

— Знаю.

— Скажи, почему ты в партию не вступаешь?

Степан покраснел от волнения.

— Я тебе, Миша, просто скажу: давно хочу, но не знал, как это сделать. Сам заговаривать я не смел. Я очень рад, что ты этот разговор начал.

— Значит, согласен?

— С радостью.

— Очень хорошо! Я сегодня же об этом скажу «Отцу». Ну, давай руку. Иди к Наташе. А то что же получается? К тебе невеста приехала, а ты от нее все уходишь.

Он протянул Степану руку.

— Постой, Миша. Я хочу с тобой о Кручинине посоветоваться.

— Что с ним?

Важеватов рассказал о последних встречах с Игорем.

— Не нравится мне, как он себя со мной держит. Не пойму я его, друг он или враг. Скорее, пожалуй, враг. Уж очень любопытен.

— Надо подумать. Я тоже посоветуюсь с товарищами. Я тебе завтра скажу, как поступать с Кручининым.

Наташа по лицу Степана поняла, что разговор во дворе был необычным.

— Что случилось?

Степан обнял Наташу:

— Ничего, родная не случилось. День у меня сегодня выдался хороший. Я даже не верю, что ты приехала.

— Приехала.

— Навсегда?

— На всю жизнь...

* * *

Кручинин в это время сидел у Шлегеля. Ротмистр со вниманием слушал своего хоть и незадачливого, но все же интересного агента.

— Еще раз я встретил его около почты. Он стоял с рабочим, которого я и раньше видел с ним. Рабочего он называет Акимом.

— Он, наверно, такой же Аким, как мой кучер граф Бобринский.

— Не знаю. Возможно, что это вымышленное имя. По-моему, это неважно.

— Нет, это очень важно. Мне надо знать точно, с кем он водит знакомство, с кем дружит. О чем вы с ним поговорили?

— Не удалось. Я его поздравил с получением долга, а он, видимо, обиделся и ушел.

— Напрасно поздравили. Не надо его раздражать, особенно вам. Ну-с, давайте подведем итог: первое, и самое главное,— он вам не доверяет и говорит неправду. На Талку он приходил, конечно, не за долгом.

Ротмистр полистал бумажки.

— При обыске у его невесты обнаружено сто восемьдесят три рубля. Поняли? Эта сумма для них огромный капитал, так что про трешницу и про чай с сахаром он вам, батенька, наплел. Так и запишем: не доверяет. Второе, не менее главное,— он, несомненно, прислан сюда своим партийным начальством, и, стало быть, он птица крупная. И третье — не особенно важное, но для вас, батенька, малоприятное,—я вами недоволен. Да, недоволен. Какой же от вас прок? Да никакого! Давайте попробуем вас еще на одном деле. Не выйдет — пеняйте на себя.

— Что за дело?

— Появилась в нашем городе новая личность. Агитатор. Не то из Москвы, не то из Питера. По предположению, недоучившийся студент. Фамилия, естественно, мне пока неизвестна, а кличка до меня дошла — Трифоныч. Познакомьтесь с этим Трифонычем. Если он из Петербурга, вам будет нетрудно. Может быть, даже ваш старый знакомый. Ведь вы там... тоже речи в свое время говорили.

— Студентов в Петербурге много. Я всех знать не обязан.

— А мне всех и не надо. Вы мне Трифоныча опознайте и этим благодарность заслужите.

— Попытаюсь.

— Это деловой разговор. А теперь слушайте: Трифоныч ежедневно бывает на Талке, но он очень осторожен...

Затрещал настольный телефон. Шлегель подошел к нему, снял трубку.

— Слушаю. Да, я, ваше превосходительство. Сейчас прибуду.

Ротмистр повесил трубку и, собирая со стола бумаги, сказал:

— Все, батенька. Меня в другом месте ждут. Желаю успеха. И помните: этот Трифоныч — ваша последняя ставка. Недаром же мы вам платим тридцать целковых в месяц.

* * *

Даже в эти беспокойные дни гости собирались к Грязнову с удовольствием: знали — угостит на славу. А тут в дополнение к роскошному обеду с какими-нибудь необычайными блюдами можно будет поближе познакомиться с вице-губернатором Сазоновым, который прибыл в город вместо внезапно заболевшего Леонтьева.

Понимающие люди, услышав о болезни губернатора, улыбались в бороду: знаем, мол, мы эту болезнь — перетрусил старец и поспешил убраться восвояси. Да и бог с ним! Все знали, что настоящим хозяином губернии давно уже был вице-губернатор Сазонов. Хоть и помоложе, а чин солидный — действительный статский советник. Да и связи в столице у него покрепче: как-никак племянник действительного тайного советника Шелгунова, начальника первого отделения собственной его императорского величества канцелярии. А это не фунт изюма!

Сколько Фокин хлопотал о награде? Больше года ходил вокруг Леонтьева. А что получил? Всего-навсего медаль «За усердие» для ношения на шее на владимирской ленте. Подумаешь, отметина! Александр Иванович Гарелин по-другому действовал — через Сазонова, и пожалуйста, каждый может полюбоваться высочайшим рескриптом. Он висит у Гарелина в гостиной, в золоченой раме: «Государь император, по поднесенному канцлером российских императорских и царских орденов всеподданнейшему докладу кавалерской думы ордена святые Анны, соизволил 30 декабря 1904 года пожаловать мануфактур-советнику Александру Ивановичу Гарелину орден святые Анны третьей степени...» Это тебе не медаль!

Фокин, собираясь в гости, делился с супругой:

— Наш кухмистер своих поваров наизнанку вывернет, а уж обед, будьте покойны, подаст отменный. Только бы эти горлопаны забастовщики не пронюхали. Соберутся, окаянные, под окнами, загалдят. Чего доброго, камней на закуску подбросят.

Съезд гостей был назначен к восьми, а в семь Грязнов, сидя в кабинете, проверял с французом меню:

— Так-с. На первое, значит, кокиль из рыбы али московит консоля ройяль... Пирожки разные. Все сделали?

— Все.

— Шеврель, соус пуаврад. Только смотри у меня: если соус как в тот раз, я тебе, месье, покажу, где раки зимуют!

— Не извольте беспокоить свое сердце. Соус по моему рецепту.

— Потом тюрбо де ла мани...

— Спаржа Аржантейль, филе де валяй дофинуаз...

— Артишоки?

— Артишоки кламар...

— Мороженое?

— Парфэ гласэ... Петифуры.

— Хорошо. Пойдем посмотрим, как убрали.

Грязнов прошел в столовую. Огромный стол, накрытый на тридцать персон, сверкал серебром, хрусталем. Окинув глазом знатока все это великолепие, хозяин недовольно крикнул:

— Авдеич!

Вбежал сухонький старичок.

— Что это?—Грязнов ткнул пальцем в вазу с фруктами.— Не от того сервиза! Переменить!

— Слушаюсь.

— Шторы опустить!

— А не душно будет?

— В духоте — не в обиде. Дворники знают? Городовые пришли?

— Все сделано. Казаков прислали.

— Хорошо. Ну, смотрите у меня! Пойдем, месье, посмотрим, я еще одно дельце придумал.

Обед был деловой, без дам. Ровно к восьми все приглашенные были в сборе. Недоставало Сазонова и Шлегеля.

— Опаздывает твой гость, — шутливо сказал Грязнову городской голова Дербенев.

— Он такой же твой, как и мой. Полагается на полчаса, а как сделаем мы его губернатором, будет опаздывать на целый час.

— А сделаем?

— Беспременно.

Действительно, Сазонов прибыл ровно в половине девятого.

— Прошу извинить, господа, дела.

— И мы не бездельники, — шепнул соседу Зубков. — Наверно, перед зеркалом вертелся — ишь, как надушился, на версту несет!

— Тише ты! — унимал сосед желчного Зубкова. — Услышит!

— Ну и пусть услышит.

Но настроение у вице-губернатора вскоре было испорчено от другого, более важного разговора. Как только все уселись, поднялся Гарелин. Стоя с бокалом в руке, он заговорил:

— Приятно посмотреть на наше общество! Почаще бы надо вот так собираться, решать сообща наши дела. Но сегодня здесь, в родном своем городе, в котором предки наши безмятежно век свой прожили, мы собрались в последний раз, и неизвестно, когда еще соберемся.

Сазонов отложил прибор и удивленно посмотрел на оратора.

— Вот вы, ваше превосходительство, недоуменно на меня посмотрели. Я ваш взгляд так понял: заговорился, наверно, Гарелин, что-то непонятное несет. Нет, ваше превосходительство, я истинную правду говорю. Собрались мы в последний раз. Решили мы отсюда уехать в Москву белокаменную. Терпенья нашего нет, обид и оскорблений больше выносить не можем. Семьи наши в страхе, дома наши в опасности. И еще одна причина: как мы только отсюда уедем, талочники наши посговорчивее будут. Они калачи тертые, все понимают.

— Но позвольте, — засуетился Сазонов, — кто же будет с рабочими вести переговоры?

— А мы тут своего уполномоченного оставляем. У них уполномоченные, и у нас свой — господин Дербенев, городской голова. А чтобы ему не скучно было, господин Грязнов по личному желанию остается.

— Я тут. Куда мне!

Обед для Сазонова окончательно был испорчен совсем уж неуместным заявлением Зубкова:

— Мы, ваше превосходительство, жить хотим, а тут недолго и головы лишиться. А на ваше войско особой надежды нет. Вчера ваши драгуны с моими фабричными в обнимку стояли. Сам видел.

На другой день все фабриканты, кроме Петра Дербенева и Грязнова, уехали из города.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Через несколько дней после приезда Наташа пошла со Степаном на Талку.

Проходя кривыми уличками, осматривая домишки и землянки, лепившиеся по краям неглубоких оврагов, Наташа удивлялась на каждом шагу:

— Да как же тут люди живут?

Но еще больше удивилась Наташа, попав на Талку:

— Народу-то сколько! Сколько тут, Ваня? Тысяч десять будет?

— Побольше. В иной день по тридцати собирается. Это, считай, одних рабочих, а еще сколько любопытных приходит! Смотри, какие форсуны стоят.

Степан показал на трех людей, одетых явно не по-здешнему. Один особенно выделялся: в костюме песочного цвета и ярко-желтых, лимонного цвета, ботинках.

— Кто это такие?

— А мы сейчас Яшу спросим, — ответил Степан, увидев своего приятеля. — Кто это, Яша?

— Корреспонденты из Москвы. Этот вон, канареечный, говорят, пишет в «Новости дня», рыжий — из «Русских ведомостей», а с сумкой через плечо — из «Русского слова». Позавчера появились. Теперь жди: наврут с три короба.

Корреспонденты шли к ним навстречу. Рыжий горячо говорил:

— Он прав! Это настоящий университет для них, а если хотите, даже академия. Вы только послушайте, какие тут произносятся речи! А какие поют песни!

Несколько дней назад Евлампий Дунаев, рассказывая рабочим об отъезде фабрикантов, сказал:

— А мы тут пока в нашем университете на Талке будем курс наук проходить.

Эти слова очень понравились, и собрания на Талке все чаще и чаще стали называть университетом. Это крылатое слово попало в местные, а потом и в московские газеты.

Собрания были на самом деле своеобразным университетом. Ежедневно к восьми часам утра у лесной сторожки собирались все депутаты. Заседания Совета тщательно охранялись милицией, потому что на них обсуждались все вопросы, связанные с забастовкой.

Мало кто знал, что еще раньше, ночью, то в сторожке, то где-нибудь на конспиративной квартире собиралась группа Северного комитета большевиков. Заседания группы были короткими. Именно на них и намечалась вся последующая работа Совета уполномоченных.

Часам к десяти-одиннадцати Совет прерывал свое заседание, и депутаты расходились, разыскивали рабочих своей фабрики и рассказывали им обо всех решениях Совета. Вот эти общие собрания и были для иванововознесенцев настоящим политическим университетом. Кроме своих постоянных ораторов, на Талке почти ежедневно выступали незнакомые люди. Кто они были, народ не знал. Их так и называли: «приезжие». Это были присылаемые по просьбе «Отца» пропагандисты Московского и Северного комитетов большевиков. Иной утром появлялся, днем два-три раза выступал с докладом и к вечеру исчезал из города. Другие задерживались, гостили по два-три дня.

Вот и сейчас Наташа со своими спутниками очутилась около рабочих Дербеневской фабрики, внимательно слушающих средних лет человека в очках, с острой, клинышком, каштановой бородкой. Оратор он был, очевидно, опытный, говорил просто, ясно для всех.

— Война с японцами проиграна царизмом бесповоротно. Это не только военное поражение, а полный крах самодержавия... Народам России эта война открыла глаза на многое. Теперь все видят, что царское правительство не способно управлять страной.

Наташе очень хотелось послушать оратора, но Степан попросил:

— Идем. Мне Трифоныча надо найти.

Пройдя несколько шагов, он засмеялся.

— Ты что?

— Дружки мои ночные идут. Чердачные жители. Я сейчас тебя с ними познакомлю. Занятные парни, особенно Василий.

Поравнявшись с двумя приятелями, Степан, продолжая улыбаться, громко произнес:

— Куда торопитесь, братцы?

Василий и Силантий с любопытством посмотрели на Наташу и остановились.

— Дела, Никитин.

— Опять на Волгу?

— Нет, она, матушка, и без нас спокойно течет. А идем мы в город по срочному поручению товарища Дунаева.

— Дунаева? — удивленно переспросил Степан.

— Его самого. Чай, мы тоже не лыком шиты, — сказал Василий. — Стачечники! Будь здоров, Никитин. А у меня к тебе тоже вопросик есть.

— Говори.

— Где ты такую кралю отыскал?

— А что?

— Уж очень хороша... А вы не смущайтесь, красавица, я от всей души... На свадьбу, Никитин, позовешь?

— Обязательно.

— Ну, будь здоров. Бежим, Силантий.

На самом краю луга, у берега Талки, собрались рабочие Товарищества Иваново-Вознесенской мануфактуры и бакулинцы. Они, по-видимому, отдыхали. Высокий, звонкий голос пел:

Нагайка ты, нагайка,
Тобою лишь одной
Романовская шайка
Сильна в стране родной!
На жалобы и стоны
Голодных, темных масс
Один ответ у трона —
«Пороть нагайкой» нас.

Человек, стоявший на ящике, взмахнул короткой палкой, послышался смех, и хор грянул:

Нагайка ты, нагайка,
Тобою лишь одной
Романовская шайка
Сильна в стране родной!

Яков, всмотревшись в дирижера, тоже засмеялся и объяснил:

— Да ведь это Евлампий Дунаев хором командует! Что это у него в руках?

— Нагайка, — ответил молодой рабочий. — Вчера наши бакулинцы вечером домой шли, а на них около станции казаки налетели. Ну, и ошиблись. Одного с коня стащили, да оружие и отобрали. И нагайку прихватили. Вот Евлампий Александрович ею и размахивает.

Пропев «Нагайку», начали «Дубинушку». Тут и Степан не выдержал. Он пробрался в центр круга и запел новые слова песни, которые он услышал здесь же, на Талке:

Но страшись, грозный царь!
Мы не будем, как встарь,
Терпеливо сносить свое горе,
Точно в бурю волна,
Просыпаясь от сна,
Люд рабочий бушует, как море.

Могучий хор, управляемый Дунаевым, подхватил:

Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет,
Сама пойдет...

Дунаев одобрительно кивнул Степану:

— Давай, Никитин, давай! Хорошо поешь!

Твой роскошный дворец
Мы разрушим вконец
И лишь пепел оставим от трона.
А порфиру твою мы отнимем в бою
И порежем себе на знамена!

Так громко, в полную силу, Степан не пел с той памятной новогодней вечеринки. Голос его, покрывая хор, увлекал все новых певцов.

Фабрикантов-купцов,
Твоих верных сынов,
Мы, как тучи, развеем по полю,
А наместо вражды
Да суровой нужды
Установим мы братство и волю.

Наташа, счастливо улыбаясь, смотрела на Степана. Вокруг слышалось:

— Прямо Шаляпин!

— Артист! Кто такой? Откуда?

— Иван Никитин, с Зубковской фабрики. Питерский!

— Молодец!

Кончив песню, Степан соскочил с ящика и направился было к Наташе. Его остановил Дунаев:

— Спой еще что-нибудь. Гляди, как тебя слушали. Хорошая, брат, песня что хочешь с сердцем сделает. Пой!

Степан снова поднялся на ящик, нашел в толпе Наташу, улыбнулся ей и запел свою любимую грустную песню: «Меж высоких хлебов затерялося...»

Почти все на Талке так или иначе были связаны с деревней. Многих выгнала в город злая нужда. И песня о небогатом селе, в котором приключилась беда, всех брала за душу.

Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело...

Наташа заслушалась и не заметила, как рядом с ней встал Кручинин.

— С приездом вас, Наталья Матвеевна!

Наташа вздрогнула от неожиданности:

— Господи! Откуда вы здесь?

— Как откуда? Здесь моя родина. Разве вам, — он кивнул в сторону Степана, — ничего не говорил обо мне?

— Нет. А ведь я вас сначала не узнала.

— Одно из двух — или разбогатею, или на тот свет отправлюсь.

— Зачем же это? Смотрите, какая жизнь начинается.

— Хорошо поет ваш...

— Да, хорошо.

Но Степан уже заметил Кручинина и, не допев последнего куплета, под громкие хлопки слушателей пробирался к ним.

— Как замечательно вы поете, товарищ Никитин! Вам бы в консерваторию. Я помню, вам тогда еще, в Петербурге, советовал то же самое мой друг Михаил Фрунзе. Кстати, Наталья Матвеевна, вы не слышали, где он, что с ним?

— Да он же... — начала было Наташа и осеклась, увидев предостерегающий жест Степана.

— Где же он?

— Да он же вслед за вами тоже к себе на родину укатил. Я его сама провожала.

Именно в эту секунду Степан увидел Фрунзе. Он шел прямо к ним. Еще бы несколько шагов — и Кручинин, случайно повернувшись, мог лицом к лицу столкнуться с Михаилом. Медлить было нельзя. Степан взял студента под руку и повел в противоположную сторону, успев сказать Наташе:

— Я сейчас, подожди меня...

Надо было срочно придумать какое-нибудь важное дело, иначе Кручинин заподозрит в непривычно ласковом поведении какой-нибудь подвох.

— Опять с деньгами туго? — спросил студент.

— Нет, пока держусь У меня к вам один вопрос... Не знаю, как вас об этом и спросить.

— Пожалуйста. Готов ответить на любой, если, конечно, смогу.

— Видите ли, жениться я хочу, — выпалил Степан, — а вы сами знаете, по паспорту я Наташе брат. Так вот, нет ли у вас знакомого попа, чтобы нас втихую обвенчал?

— Намерения ваши вступить в законный брак одобряю. Подругу жизни вы выбрали хорошую. Наталья Матвеевна и красива и умна — просто загляденье. А насчет попа, извините, дорогой, не имею знакомых.

— Жаль... — протянул Степан, посматривая, куда прошел Фрунзе. — Очень жаль. Я думал, с вашими связями...

— С какими связями? Откуда вы взяли?

— Наблюдаю... Кое-что вижу. Просто не хотите мне помочь! — совсем уж невежливо бросил Степан и отошел.

Кручинин посмотрел ему вслед, постоял немного, затем повернулся и решительным шагом направился в город.

Степан нашел Наташу и Фрунзе на берегу речки. Михаил бросал в воду плоские камешки, приговаривая:

— А ну еще. Раз, два, три!.. Мало, только три.

Заметив Степана, он, улыбаясь, спросил:

— Куда ты его отвел?

— Сам пошел. Домой, видно. А я здорово перепугался. Сначала Наташа чуть-чуть не обмолвилась, потом, смотрю, ты собственной персоной плывешь.

— Я тебя искал. Сегодня в десять часов приходи к Прасковье Федоровне.

Побыв на Талке еще немного, Степан с Наташей пошли домой. Подойдя к железнодорожной насыпи, Наташа обратила внимание на трех крестьян, отдыхавших в холодке.

— Смотри, Степа! Какая борода.

Бородач, заметив молодых людей, встал. Борода у него действительно была необыкновенная: белая, пушистая, она доходила почти до пояса. Старик снял войлочную шапку, поклонился и сказал:

— Здравствуйте, дорогие. Позвольте вас спросить: вы фабричные будете или нет?

— Фабричные, — ответил Степан, подходя ближе.

Двое спутников старика — один высокий, чуть пониже Степана, уже пожилой; второй совсем молодой парень, лет двадцати, — тоже поднялись и с любопытством смотрели на Наташу и Степана.

— Оба фабричные? — переспросил старик.

— А в чем дело, дедушка?
— Нам надо фабричных найти.
— У нас тут все фабричные.
— Чай, не все. Есть, наверно, и конторщики. Нам конторщики не надобны. Тут у вас, говорят, какой-то новый комитет появился, депутатский. Есть?
— Есть. Только не комитет, а Совет.
— Вот-вот, Совет. И нам надо посоветоваться. Как бы нам этот Совет найти?
— Могу проводить.
Мужики переглянулись:
— Не обманешь?
— Зачем мне вас обманывать?
— Кто тебя знает. Может, ты конторщик. Возьмешь, да и приведешь в полицию. Она нам ни к чему.
— Не обману. Приведу, куда надо. Впрочем, как хотите. Может, кого другого попросите.
— Веди, — сказал старик. — Пошли, мужики.
Степан шепнул Наташе:
— Подожди меня тут.

Крестьяне подняли с земли котомки, и они пошли на Талку.

— Откуда вы?
— Верст за сорок отсюда. Про Лежнево слышал?
— Слышал.
— Мы за ним.
— Откуда вы про Совет узнали?
— Земля слухом полнится.
— Зачем вам Совет понадобился?
— А ты что? Из Совета депутат?
— Вроде.
— Ну, раз только вроде, нечего и спрашивать.

Степан больше вопросов не задавал, и они всю остальную дорогу шли молча. Увидев огромную толпу на Талке, старик с удивлением произнес:
— Все фабричные? Много их тут.

Рабочие с любопытством смотрели на крестьян. Больше всех привлекал внимание старик с бородой. Знакомый слесарь Иван Костюков шутливо окликнул Степана:
— Где ты этого Черномора подхватил?

Степан довел крестьян до сторожки и пошел разыскивать кого-нибудь из руководителей стачки. Первым ему попался Трифоныч.
— Пойдем, поговори с мужиками, — попросил Степан.
— Идем.
Но старик наотрез отказался объясняться с Трифонычем:
— Молод ты очень. Нет ли кого постарше?

— Есть, — смеясь, ответил Михаил и послал за «Отцом».

Увидев «Отца», старик и его спутники почтительно встали.

— Здравствуйте, товарищи крестьяне! — степенно приветствовал их «Отец».

Слово «товарищ» бородатому деду, видимо, очень понравилось. Он протянул «Отцу» руку:

— Здравствуйте... Ну вот, теперь я вижу: солидный человек, можно и поговорить. Тут будем или где-нибудь под крышей?

— Пойдемте под крышу, — ответил «Отец» и повел крестьян в сторожку. — Рассказывайте, какое у вас дело.

— Дело у нас не простое. Дошел до нас слух, что иваново-вознесенские мастеровые хотят у своих хозяев фабрики отобрать, а у нас вокруг деревни всю землю ваши фабриканты Ясюнин, Терентьев да Фокин у помещиков скупили. Житья никакого нет. Вот мы и пришли посоветоваться: нельзя ли и нам, по вашему примеру, насчет земли похлопотать.

— Вы от себя или от мира пришли?

— От мира. Нас на сходке выбрали, — сказал парень.

— А ты не лезь в разговор! — обрезал его старик. — Слушай, что люди говорят, да запоминай. Я всего не упомню... Мир нас послал, сход.

«Отец» долго разговаривал с крестьянами. Под конец он сказал:

— Погостите у нас, посмотрите. Завтра приходите на заседание Совета, послушайте, как мы свои дела обсуждаем. А в деревню к вам мы грамотного человека пошлем, он все как следует объяснит вашему сходу.

«Отец» попросил дежурного разыскать в толпе шлихтовальщика с Дербеневской фабрики Николая Горшкова, и когда тот пришел, «Отец» попросил его:

— У тебя, Николай, дом большой, устрой товарищей крестьян у себя ночевать, а завтра приведешь их на заседание Совета.

— Можно! Пошли, земляки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Степан с трудом дождался вечера. Он даже отказался съесть приготовленный Наташей обед:

— Не хочу. Совсем аппетита нет!

Он то и дело посматривал на ходики. В девять часов он надел новую, привезенную невестой голубую сатиновую рубашку, подпоясался черным плетеным пояском и, накинув на плечи пиджак, сказал:

— Ну, я пошел. Может, поздно приду, не волнуйся.

Наташа, которой Степан не сказал, куда и зачем он идет,

чутьем поняла, что у него сегодня необычный день. Она взяла его за руки повыше локтя и шепнула:

— Иди, Степа. Пусть все у тебя будет хорошо. Когда бы ты ни вернулся, я все равно спать не буду. Буду тебя поджидать.

На углу узкой и кривой улички в местечке Ямы, где стоял домик Прасковьи Федоровны, Степан обратил внимание на двух молодых парней. У одного в руках была железная трость. Второй стоял, прислонясь к забору, заложив руки в карманы. Оба они пристально осмотрели Степана с ног до головы. Он услышал, как тот, что с тростью сказал:

— С Зубковской.

Недалеко от домика Прасковьи Федоровны Важеватов увидел еще двоих парней. И снова один был с тростью. И они так же пристально осмотрели его. У ворот на скамейке сидела третья пара, а на крыльце стоял «Станко». Он приветливо пригласил:

— Входи! Посиди немного в сенях. Там Яша.

В сенях было темно. Степан шепотом спросил:

— Яша?

— Ваня! Иди сюда, — засмеялся Яков. — Это из-за меня в потемках сидим. Стал у лампы стекло протирать, да и раздавил. А запасного нет. Садись. Волнуешься? Я тоже волновался.

— Очень волнуюсь, — ответил Степан. — Как ты думаешь, примут меня?

Яков серьезно ответил:

— Обязательно примут.

— А о чем меня спрашивать будут?

— О разном. Когда меня принимали, о многом спрашивали, а вот о чем, хоть убей, не помню. Все от волнения забыл.

Из приделка доносились голоса. Ясно слышался глуховатый голос «Отца» и звонкий тенор Дунаева. Потом заговорил Трифоныч:

— Сегодня получен первый номер новой газеты «Пролетарий». На ней значится: «Центральный орган Российской Социал-Демократической Рабочей Партии». Напечатано извещение о Третьем съезде партии. Нам надо его издать листовкой. Когда мы это сможем, Архипыч?

— Смотря какой тираж.

— Надо не меньше трех тысяч.

— Дня три потребуется. Сегодня первый номер своих «Известий» печатать начали. Тираж большой — десять тысяч.

Снова послышался голос «Отца»:

— Ты ему на какое время назначил?

— На десять, — ответил Трифоныч.

— Тогда давайте пригласим. Он, наверно, здесь.

Открылась дверь, и в сени вошел Трифоныч.

— Пришел, Иван Матвеевич? Входи. И ты, Яша.

Степан шагнул в комнату и смущенно стал у порога.

Вокруг стола сидели «Отец», Балашов, Самойлов, Дунаев и еще трое рабочих. Степан знал их в лицо, но фамилии ему были неизвестны. У печки на табуретке сидел подмастерье с Зубковской фабрики Дементьев. Степан никак не предполагал увидеть его здесь. Дементьев казался ничем не интересующимся нелюдимом, с головой ушедшим в семейную жизнь. А сейчас он смотрел на Степана, словно говоря: «Вот мы и встретились по-настоящему». У окна сидел Веселов. Его широкополая шляпа аккуратно висела на гвоздике.

Трифоныч стал у стола.

— Можно?

— Говори, — сказал «Отец».

— Товарищи! Товарищ Никитин дал согласие вступить в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Нет нужды подробно говорить о нем. Вы все его хорошо знаете. Я, может быть, немножко больше, поскольку мы с ним встречались еще раньше. Что о нем сказать? Человек он честный, смелый и будет партии полезен. Обо всем, о чем надо, предупрежден. Работы не боится никакой. Все. Может, товарищ Савватеев добавит?

— Я мало скажу. Верный человек. Я ему, как самому себе, верю. Не подведет.

«Отец» спросил:

— Есть вопросы к товарищу Никитину?

Самойлов за всех сказал:

— Известный человек.

«Отец» подождал немного и начал говорить сам:

— Я несколько слов скажу. Ты, товарищ Никитин, среди нас человек новый. Но мы, зная твою прошлую жизнь, доверяем тебе, как своему, нашему, иваново-вознесенскому. Береги наше доверие. Плохо будет и нам и тебе, если ты его потеряешь. У меня тоже все. Кто за то, чтобы принять Ивана Матвеевича Никитина в Российскую социал-демократическую рабочую партию, тех прошу поднять руку.

Голосовали единогласно. «Отец» протянул Степану руку:

— Поздравляю, товарищ Никитин.

— Спасибо. Спасибо, товарищи, за доверие. Посылайте меня на любое дело...

— Пошлем, — ответил «Отец», — Завтра же. Надо будет съездить в Шую.

— Я бы попросил пока не посылать товарища Никитина, — сказал Трифоныч. — Нам с ним надо сегодня же обсудить одно очень важное дело.

— Хорошо. Пусть остается в Иваново-Вознесенске. А пока, товарищ Никитин, ты свободен. Еще раз поздравляю.

— Подожди меня, — сказал Степану Трифоныч. — Я сейчас выйду.

В сенях стоял «Станко». Он молча крепко пожал Степану руку. Вскоре вышел Трифоныч и сказал:

— Пойдемте сюда.

Они очутились в комнате хозяйки. Прасковья Федоровна тотчас же вышла.

— Рассказывай, «Станко».

— А что рассказывать? Подтверждается. — Он посмотрел на Важеватова. — Да, ведь ты не все знаешь. Дело вот в чем. Трифоныч рассказал мне про твои опасения насчет студента Кручинина. Начали мы за ним следить. А тут еще дошел до нас слух о том, что дочка здешнего учителя из реального, Вера Орлова, в письме из ссылки очень нелестно о нем отзывалась. Намекала: дескать, он виновник ее высылки. Сходили мы к Орлову.

— Ну?

— Подтвердилось. Вера, конечно, по цензурным соображениям прямо не пишет, но понять дает.

Трифоныч возразил:

— На одних догадках обвинять человека нельзя. А вдруг Орлова ошиблась?

— Есть еще кое-что.

— Что же ты тянешь?

— А ты не перебивай. Наши парни несколько дней за ним ходили. Сначала ничего не установили. А вчера к нему из жандармского переодетый унтер приходил. Значит, дело не чисто.

— Это верно.

— Я предлагаю, — сказал «Станко», — пусть Иван ему важную тайну доверит. К примеру, укажет, где у нас типография.

— А я и сам не знаю.

— Тебе пока и знать не надо. Ты выдумай. Скажи, что в ней работаешь и тебе нужна его помощь. Адрес дай такой: сторожка у деревянной церкви, за железнодорожной линией. Там мой дядя живет. Я его об обыске предупредил. Если студент на жандармов работает, он не утерпит, доложит, а они в ту же ночь примчатся. Им за открытие типографии награду большую дают. Понял?

— Понял. Но мне совестно. А вдруг мы его напрасно подозреваем? Хитрить я не умею.

— Без военной хитрости войны не бывает,—заметил Трифоныч.—А мы, Иван, воюем.

— Хорошо. Я к нему сегодня же зайду.

— Лучше завтра. Сегодня мы не успеем все сделать. Но будь с ним очень осторожен. Обдумай все как следует.

Степан и Яков шли домой вместе.

— Ну вот, — сказал Яков, — ты теперь член партии. Я иногда думаю: «Я член партии. Что же это такое?» И сам себе отве-

чаю: «Это очень хорошо!» Значит, я могу приехать в Петербург, Москву или в Ярославль и даже куда-нибудь в Сибирь, и у меня везде есть друзья, которые думают так же, как и я. Это очень хорошо, Ваня. И еще я думаю: огромная страна наша Россия, просторная. Все в ней есть — моря, горы, леса, реки, города. Все, что надо для жизни. А народ живет плохо. И все потому, что над всей Россией царь, как большой паук. В каждом городе есть у него опора. И вот мы эти опоры подпиливаем. Когда-нибудь подпилим совсем, и он рухнет. Работа у нас, Ваня, тяжелая, опасная. Сегодня ты прибыл, завтра — еще один. Нас все больше становится. Все-таки мы поганого паука свалим.

* * *

Кручинин лежал на диване, заложив руки под голову. Завтра надо было являться к Шлегелю. Он опять будет насмешливо смотреть, самодовольно хлопать крышкой золотого портсигара. Иногда Кручинину казалось, что если ротмистр еще раз скажет ему очередную дерзость, он выхватит пистолет и всадит в эту лакированную морду весь заряд. Но ротмистр издевался, а студент только бледнел и не находил даже слов для возражений.

«Трус! Слякоть! — думал о себе Игорь.— Вот возьму и не пойду к нему больше! Ни черта он со мной не сделает!»

В дверь тихо постучали.

— Кто там?

Горничная приоткрыла дверь и сказала:

— К вам пришли.

— Кто? Не мешайте! Я сплю.

— Говорит, что по важному делу. Высокий такой.

— Высокий? Зови.

Игорь вскочил с дивана, глянул в зеркало и сел за письменный стол, раскрыв первую попавшуюся под руку книгу.

— Можно?

— Входите, входите. Боже мой, товарищ Никитин! Какими судьбами? Вы — и вдруг ко мне! Опять по поводу женитьбы?

— Нет. На этот раз я к вам по более важному делу.

Степан подошел к двери и запер ее на ключ. От его внимательного взгляда не укрылось, что студент, заметив это, испуганно посмотрел на него.

— Здесь нас никто не услышит?

— Никто. Маменька внизу, а кроме нее и Клаши, сюда никто не заходит.

— Хорошо. Вы извините, что я к вам так поздно. И еще — прошу не вспоминать мои глупые разговоры с вами. Я чурался вас в силу необходимости. А теперь буду говорить с вами, как... как с товарищем.

У Игоря от волнения задрожали руки.

— Давно бы надо так! Я к вам с чистым сердцем, а вы меня избегали. Как я рад, Степан, что вы пришли!

Степан холодно, расчетливо подумал: «Вижу, как ты рад. Весь трясешься». И он вдруг ясно понял: перед ним враг, и его надо перехитрить. «А ведь мы воюем,— вспомнил он слова Трифоныча. — Ну что ж, будем воевать». Вслух он сказал:

— И я рад, что могу быть откровенным. Мне нужна ваша помощь. Только дайте слово, что разговор будет между нами.

— Честное слово! Самое честное!

— Я работаю в подпольной типографии. Сегодня мы заметили: за нами следят. Конечно, дня два-три мы и там еще продержимся, но надо, пока не поздно, менять адрес. А кое-что надо переправить в надежное место. Я прошу, нельзя ли у вас?

— Конечно, можно.

— Спасибо! Я вам завтра кое-что занесу. А может быть, даже сегодня. Еще раз огромное спасибо.

— Может, вам помочь?

— А не боитесь?

— Что вы! Да я всей душой.

Степан сжал кулаки. «Выпытывает, стервец!» — подумал он.

— Тогда давайте. Только не сегодня, лучше завтра. Приходите прямо в типографию.

— А где она?

— А я и забыл, что вы не знаете, где она. В сторожке у деревянной церкви, за железнодорожной насыпью. Постучите и спросите дядю Федю.

— Понял. Обязательно приду. В котором часу?

— В десять вечера.

— Буду.

Игорь засмеялся.

— Что вы?

— Знаете, Степан, как хорошо у меня сейчас на душе! Я снова не один.

Злоба вдруг охватила Степана, он с трудом сдержался и через силу сказал:

— Значит... завтра, в десять вечера.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

— Ну-с, давайте думать! Что это, на самом деле или вас проверяют?

Ротмистр ходил по кабинету. Кручинин сидел в кресле, втянув голову в плечи.

— Давайте думать. Он сказал вам, что за ними следят. Вот это первая ложь: никто за сторожкой не следит. Впрочем, мы это сейчас уточним. Посидите один.

Ротмистр вышел и тотчас же вернулся, довольно потирая руки.

— А вы знаете, он вам не наврал. Прямого наблюдения за сторожкой нет. Ведется наблюдение за заводскими воротами, а это как раз напротив. Ваш дружок, очевидно, заметил и со страху бросился к вам. Сказал, что завтра будут перебираться в другое место. Куда, не сказал?

— Нет.

— Могут перебраться и сегодня.

— Но меня он просил быть там завтра.

— А ведь это идея! Я вас арестую вместе с ними.

— За что?

— Чудак вы, батенька! В постановлениях есть такая спасительная строчка: «Из-за отсутствия улик освободить» и т. д. Поняли? А так мы двух зайцев убьем: голубчиков сцапаем с поличным и вас от подозрения очистим. Идите, батенька, домой. Отсыпайтесь. А завтра ровно в десять стучитесь к вашему «дяде Феде».

Выйдя от Шлегеля, Игорь внимательно посмотрел направо и налево. Ночь была светлая — хоть читай без огня. Убедившись, что никто за ним не наблюдает, студент перешел улицу и скрылся в переулке. Наверх он не посмотрел. Впрочем, он все равно бы не заметил, что из слухового окна дома, стоявшего напротив жандармского управления, его провожали две пары внимательных глаз.

— Видел? — шепнул «Станко» Якову.

— Вот шкура! Ну, подожди!..

* * *

А в это время далеко от церковной сторожки, в другом конце города, в большом сарае, примыкавшем к дому токаря Пименова, кипела работа. Сарай у Пименова удобный: внизу, в земле, — погреб; затем второй этаж — на крепком настиле хранятся дрова, разные ненужные домашние вещи. На самом верху — сеновал. Это надежное, просторное место и было облюбовано Архипычем для типографии.

Трифоныч сидел на втором этаже и писал листовку к солдатам. Столом ему служил березовый кругляш.

«Товарищи солдаты!» — написал Трифоныч и задумался Что же писать дальше? Какие слова найти, чтобы дошли они к сердцам людей, одетых в толстые солдатские шинели? И он вспомнил, как недавно около управы ткачиха Вера Синцова разговаривала с солдатом. Он не слышал всей беседы, а только часть ее. Синцова, дотронувшись до рукава гренадера, говорила:

«Мать-то у тебя кто? Наверно, не графиня какая-нибудь, а такая же работница иль по крестьянскому делу спину гнет. А

ты на меня волком смотришь. Отслужишь — тоже ведь на фабрику пойдешь или за соху встанешь...» Солдат, отодвигаясь, хмуро ответил: «Ну что ты ко мне прицепилась! И без тебя тошно!..»

И Трифоныч после слов «Товарищи солдаты!» написал: «Мы называем вас товарищами потому, что такие же нищие матери родили вас, как и нас. Ведь и вам горе и нужда напевали свою колыбельную песню, ведь и вы знаете, каково весь свой век стоять за фабричным станком.

С вас сняли городскую одежду и обрядили в мундиры, но с вас не сняли того проклятого ярма, которое зовется жизнью рабочего человека. Через год, два, три вы кончите службу, снова станете на работу и пойдете к нам, к тем самым рабочим, в которых вам теперь приказывают стрелять. И та же неприкрытая нищета будет вокруг вас, и та же непосильная работа будет день за днем, словно червь, подтачивать вашу жизнь. Но на вашей совести лежит несмываемое кровавое пятно, и когда вы будете глядеть кругом на товарищей по работе, ваша совесть скажет вам: «Я сейчас работаю рядом с этими измученными, утомленными людьми, а ведь я убивал их. В худые, больные груди я посылал пули, малых невинных детей оставил сиротами».

Память подсказала Трифонычу еще одно событие. В январе хоронили рабочего Путиловского завода Пименова, убитого солдатом Павловского полка Субботиным. Пименов чересчур близко подошел к конторе завода, которую охраняли гвардейцы. На похоронах неизвестный молодой человек в новенькой офицерской шинели, но без погон и в штатской шапке сказал: «Русский рабочий убит пулей русского солдата. Как это ужасно и чудовищно несправедливо!»

Фрунзе заинтересовался молодым человеком, и ему сообщили, что это поручик Онежского полка Левашов, в знак протеста против 9 января не пожелавший служить в армии и вышедший в отставку. Фрунзе вспомнил хорошее, доброе лицо Левашова, его смелый, открытый взгляд и начал писать дальше:

«Убивать! Да за что же убивать нас? Мы добиваемся своих законных прав. Мы требуем хлеба, потому что мы голодны, мы требуем прав, потому что правительство не считает нас за людей, как и вас, товарищи солдаты! Фабриканты должны справедливо платить нам, а они нас грабят. Правительство должно заботиться о нас, ибо мы русский народ, а оно вместо этого посылает казаков и солдат на помощь капиталистам... Скоро, может быть, очень скоро власти прикажут вам: «Стреляйте!» И братская кровь польется рекой, и штык русского солдата проколет грудь русского рабочего. Голодные, измученные люди лягут костьми на улицах родного города за то, что они голодали, за то, что они добивались лучшей доли.

Солдаты! Ведь не для одних богачей, ведь и для нас, рабочих, солнце светить! Тот, кто посылает вас против нас, по-

сылает вас против русского народа. А ведь вы клялись защищать его! И если у вас не дрогнет рука, значит, вы отреклись от родной земли и за светлые пуговицы, которые у вас потом все равно отнимут, предали народ кровопийцам-фабрикантам и кровопийцам-чиновникам.

Так будьте же братьями нам, а не иудами-предателями! Мы ждем от вас помощи, а не убийства!»

— Как подпишем?—спросил Архипыч.

— Иваново-Вознесенская группа Северного комитета РСДРП.

— Правильная листовка, — сказал Балашов. — Надо печатать.

— На этих днях не успеем,—возразил Архипыч.—Сегодня будем бюллетень Совета печатать, завтра листовку с извещением о Третьем съезде. Тиражи большие. Придется солдатскую пока отложить.

— Откладывать нельзя. Надо работать круглосуточно.

— Ребята вконец измотались.

— Я тебе двух новых пришлю.

— Кого?

— Никитина и Савватеева. Парни надежные. А Петр с набором один справится.

— Посмотрим.

Балашов взял листовку со стола и начал ее внимательно разглядывать.

— Я тебя, Трифоныч, не напрасно про подпись спросил. «Иваново-Вознесенская группа Северного комитета РСДРП». Пора нам называться по-другому. Было бы гораздо лучше: «Иваново-Вознесенский комитет Российской социал-демократической рабочей партии». Свой комитет. Сил у нас хватит.

— Подождем,—сказал Трифоныч. — Будет и комитет.

* * *

На полпути от железнодорожной насыпи к сторожке Игоря тихо окликнули:

— Товарищ Кручинин, идите сюда!

Студент остановился. Из-за низенького заборчика на него смотрел Степан.

— Сюда скорее, а то худо будет.

Кручинин шагнул в калитку:

— В чем дело?

— В сторожку нельзя, там засада.

— Значит, выследили? — спросил Игорь.

— Пронюхали... Посидим пока тут. Они там долго не пробудут... Смотрите, обратно катят. «Станко», смотри! Смотрите, Кручинин, едут...

— Вижу. Кто это в пролетке?

— Это... это Шлегель. Начальник жандармского управления. Не дай бог вам с ним познакомиться. Пропадете!

Кручинин облегченно вздохнул: «Ничего не знают».

А пролетка уже поравнялась с ними. В пролетке рядом со Шлегелем — его постоянный спутник, специалист по обыскам унтер-офицер Тряпкин. Впереди и сзади пролетки — верховые полицейские стражники. Что-то много их. Десятка два. Да еще казаков не меньше. Позади громыхает телега, а на ней рядом с кучером унтер-офицер Суконкин. Крепко, видно, надеялся ротмистр захватить типографию, вот и прихватил телегу, чтобы удобнее было везти несколько пудов шрифта и прочие трофеи.

Подождав, когда цоканье копыт и тарахтенье телеги окончательно стихло, «Станко» сказал:

— Теперь можно. Пошли!

— Куда? — спросил Игорь.

— Как куда? В сторожку. Они пустые проехали — значит, ничего не нашли.

— Плохо искали,—насмешливо сказал один из парней.

— А вдруг засаду не сняли? — забеспокоился студент.

— Нет. Они все проехали. Они у нас были пересчитаны.

— Пошли, — твердо скомандовал «Станко», — Надо торопиться, а то скоро рассветет.

Дверь у сторожки была широко распахнута, маленькое окошко открыто.

— Вот видите, никого нет.

«Станко» показал парню на окно. Тот моментально захлопнул его. В комнате стоял длинный узкий стол и несколько табуреток.

— Садитесь, товарищи! И вы, Кручинин, можете сесть. Поговорить надо.

Игорь сразу почувствовал угрозу и невольно посмотрел на дверь. У двери стоял Степан.

— Может быть, выйдем на улицу?—попросил Кручинин.— Здесь что-то душно.

— Нет, лучше здесь,—возразил «Станко» и сразу, без всяких предисловий, в упор спросил:—Вы зачем вчера ходили к Шлегелю?

— Нужно было,—ответил не ожидавший такого вопроса Кручинин и тут же спохватился. — Ни к кому я не ходил. Я всю ночь был дома.

— Понятно... Знаете, Кручинин, давайте не вилять. Нам все известно. Понимаете — все. Как вы выдали Веру Орлову и ее друзей, как вы гонялись за Никитиным. В том, что вы провокатор, мы не сомневаемся ни на одну секунду. И еще нам ясно: вы не имеете больше права жить.

Кручинин, как подрубленный, упал на колени:

— Товарищи, дорогие! Товарищ Никитин! Ваня! Милые! Я все расскажу. Меня заставили. Я не хотел!

— Не надо, Кручинин, не ползайте,— сказал «Станко».— Встаньте. Я хочу вам предложить: искупите свою вину сами.

Студент вскочил с полу.

— Я все сделаю! Все, что вы прикажете! Все!

«Станко» вынул из кармана револьвер и повернул в нем барабан. Патроны звонко защелкали у него на ладони. «Станко» положил револьвер на шесток печи. Кручинин попятился и стал у стены.

— Вот, Кручинин, возьмите. В нем две пули. Мы сейчас выйдем отсюда, а вы останетесь. Можете написать матери записку — мы передадим.

— Вы с ума сошли! Я буду на вас жаловаться! Пустите меня!

Кручинин подбежал к печке, схватил револьвер и выстрелил в «Станко». Второго выстрела он сделать не успел. Степан торопливо, словно боясь опоздать, всадил в него одну за другой три пули. Кручинин грохнулся около порога, дернулся несколько раз и застыл.

«Станко» наклонился над ним, прислушался:

— Не дышит. Обыщите его, ребята! Только поаккуратнее, не испачкайтесь.

Один из парней присел на корточки, расстегнул на Кручинине куртку и, ощупав карман, подал записную книжку и несколько трехрублевок. «Станко» взял книжку, а деньги положил на стол.

— Пошли, ребята!

Они ушли, не закрыв за собой дверь. Ветер сдул со стола деньги. Одна трехрублевка упала у головы Кручинина в лужу крови.

Дружинники шли быстро, молча. Вскоре им в поле попалась большая яма, наполненная водой. «Станко» наклонился и долго мыл руки. Парни последовали его примеру. Один из них, рассматривая рукав на пиджаке «Станко», сказал:

— Смотри, куда он попал. Если бы не Никитин, быть бы тебе покойником.

— Ни черта!

Помолчав, «Станко» добавил:

— Вымойте, ребята, сапоги.

* * *

Вице-губернатор Сазонов начал действовать. Вечером 1 июня он созвал на совещание командиров всех воинских частей, прибывших в город, Кожеловского, городского голову Дербенева, прокурора Чернявского, Шлегеля и только что прибывшего из Петербурга в помощь Шлегелю ротмистра Филагриева.

— Господа! Сейчас не время для длительных заседаний и громких речей, мы должны действовать. Не мое дело влиять на господ фабрикантов и увещевать их уступить рабочим. Хотя, кстати сказать,—Сазонов строго взглянул на Дербенева,—господам фабрикантам стоило бы кое о чем позадуматься. Но не в этом сегодня суть. Дело в том, что собрания рабочих за городом переходят все границы. Я располагаю примерным списком тем, которые там усиленно обсуждаются. Вот некоторые: «Почему Россия проиграла войну». Скажите, какое им дело до этого? Или еще: «Какие есть в мире конституции». Что это такое? Бунт! А это уж совсем возмутительно: «Кто виновник расстрела рабочих в Петербурге?» Я решил положить конец этому безобразию! Я распорядился с завтрашнего дня запретить всякие собрания. Все равно где: в городе или за городом. Вас, господа офицеры, и вас, господин полицмейстер, прошу быть решительными до конца. По-моему, все ясно.

Городского голову, фабриканта Петра Дербенева, рабочие не зря окрестили Каустиком. Хитрый, злой, он даже с начальством не мог разговаривать иначе, как с подковырками и ехидными намеками.

— Позвольте, ваше превосходительство, слово молвить!

Сазонов недовольно поморщился:

— Пожалуйста.

— Вы, когда о фабрикантах упоминали, в мою сторону неодобрительно посмотрели. Я так понял — надо, мол, нам, владельцам, рабочим уступочку сделать. Правильно я вас понял? Не можем, ваше превосходительство. Никак не можем. Вы, извините, человек приезжий. Может статься, вас министром назначат, чему я лично буду безмерно рад, и вы уедете. А мы тутошние. Мы отсюда никуда. Тут наши деды и отцы хребет гнули, по кирпичику корпуса возводили. Мы здешний народ знаем. Уступи им сегодня, а они завтра опять заорут: «Бастуем!» Опять, выходит по-вашему, надо уступить? А они опять глотки разевать будут: «Давай нам пряников бесплатно!» Нет, ваше превосходительство, уступать нам нет никакого расчета. Мы крепкие, вытерпим. А они скоро выдохнутся. Насчет вашей строгости — мы приветствуем. Давно бы пора! А ежели от нас что потребуется войску вашему — овса там, клеверу и солдатам на водку,— только скажите. У меня от общества полная на все доверенность.

Каустик с победоносным видом осмотрел всех и сел. К нему тут же подсел командир драгунского полка подполковник Третьяков и зашептал на ухо. Сазонов недовольно заметил:

— Успеете, господа, договориться. Прошу ознакомиться с текстом моего постановления, которое утром будет расклеено по всему городу.

— Любопытно, — произнес Шлегель и взял из пачки длинный узкий листок. — Где же вам удалось напечатать? Неужели они вам разрешили?

— Стану я их просить! Святые отцы помогли. В Суздале напечатали.

— Можно вслух?

— Пожалуйста.

Шлегель начал читать:

— «Ввиду ежедневно доходящих до меня от самих же рабочих сведений, что лица, собирающиеся на реке Талке, не ограничиваясь обсуждением своих чисто фабричных нужд, занялись вопросами государственного значения, причем отдельные лица позволяют себе явно возмутительные речи против правительства, я не нахожу больше возможным допускать многолюдные собрания на реке Талке, а также и в других окрестностях города и предупреждаю, что виновные в нарушении сего распоряжения будут подвергаться законной ответственности».

— Вот это по-нашему! — одобрил Дербенев. — Коротко и ясно.

Похвала Каустика примирила Сазонова, но, стараясь быть строгим, он все же напомнил:

— Дело не в нас и не в вас. Я стою за законность и не могу позволить, чтобы в моей губернии, в городе, где я лично руковожу событиями, неуважительно относились к особе государя императора. Прошу, господа, и вас с рвением за этим следить. На этом мы кончим. Вас, господин ротмистр, прошу остаться.

Когда все удалились, Сазонов, не скрывая раздражения, спросил:

— Что это у вас там произошло?

— Где?

— Сегодня ко мне прибежала вся в слезах вдова акцизного надзирателя... как ее... госпожа Кручинина. Убили единственного сына. При довольно странных обстоятельствах. В какой-то сторожке.

— Слышал.

— Самое неприятное в рассказе госпожи Кручининой, что окрестные жители якобы видели, как в этой сторожке незадолго до убийства находились ваши люди. Это правда?

— Могу доложить только одно: ее сынок из этой же шайки. Он давно состоял у нас на подозрении.

— Тогда другое дело. Но вы как-нибудь объясните ей. Все же мать...

— Непременно, ваше превосходительство.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Утром 1 июня Наташа уехала в село Алексино разузнать, как живут родные Степана, и сообщить им, что он жив, здоров и не теряет надежды повидать своих близких.

Важеватов, проводив ее, не заходя домой, пришел на Талку, на заседание Совета уполномоченных.

В этот день Совету предстояло решать много важных и неотложных дел. Первым вопросом стояло сообщение комиссии по оказанию помощи. Позавчера комиссия выдала особо нуждающимся первые талоны в лавку кооператива «Единение — сила». На каждый талон полагалось десять фунтов ржаной муки, по четыре фунта гречневой крупы и пшена, по фунту постного масла и сахара и по пятнадцати штук вяленой воблы. Многодетным давали еще дополнительный талон на манную крупу и рис.

Комиссия послала Груню Николаеву посмотреть, как продавцы отпускают работницам продукты, нет ли каких жалоб, недоразумений.

Груня пришла в лавку к самому открытию. У дверей уже толпилось десятка четыре ткачих с кошелками и корзинками. Заведующий лавкой, открывая железные ставни, урезонивал:

— Чего это вы спозаранок?

— Есть ребята хотят, а вы не скоро всем отвесите.

— Напрасно, бабы, беспокоитесь. Отпущу всех за десять минут. Продавцы у меня бойкие.— Он открыл широко дверь и пригласил: — Входите, женки!

На прилавках лежали свертки. Заведующий объяснил:

— Кто с детскими талонами — направо, а у кого только основные — налево.

Два продавца начали ловко и быстро выдавать свертки, приговаривая:

— Получите! Мука, крупа, сахар, вобла.

Заведующий лавкой стоял в середине прилавка и быстро отмерял в бутылки постное масло.

Растроганные ткачихи наперебой восхищались порядком в лавке:

— Павел Лукич! Вот спасибо! Как ловко все у вас получилось!

Груня подошла к заведующему:

— Большое вам спасибо!

Заведующий, узнав Груню, улыбаясь, объяснил:

— Это мне, товарищ Николаева, вчера днем Семен Иванович подсказал...

Заведующий не договорил, быстро вышел из-за прилавка.

— Прошу вас выйти! — сказал он рыжему человеку с длинными отвислыми усами. — Сегодня торговли нет.

— А этим почему отпускаешь? — хрипло осведомился рыжий.

— Это не ваше дело. Уходите.

— Ладно... выйду. Дай пачку «Трезвону».

Заведующий выбросил на прилавок папиросы. Рыжий сгреб их огромной, не по росту, рукой с грязными ногтями и, уплатив деньги, ушел.

Не прошло и получаса, как у лавки появились казаки. Огромный астраханец с черной бородой загородил лошадью дверь. Ткачихам оставалось или стоять в лавке и ждать, когда чернобородый отъедет в сторону, или нырять у лошади под брюхом. Но только одна из ткачих попробовала это сделать, как астраханец под хохот остальных казаков огрел ее плетью.

Заведующий открыл черный ход и тихо сказал:

— Давайте, бабы, через двор. Товарищ Николаева, выходи. А я пока лавку прикрою.

Выйдя со двора, Груня увидела: у афишной тумбы стоял рыжий с длинными отвислыми усами. Груня сразу поняла, что это он, шпик, привел казаков.

А работницы все подходили и подходили и с удивлением читали объявление: «Закрыто на обед».

— Что они там, с ума посходили — в такую рань обедать? Выдали талоны, а товаров не дают!

Но как только заведующий снял табличку и открыл дверь, чернобородый снова закрыл лошадью вход. Груня попыталась вернуться в лавку через черный ход, но и там уже стояли два казака.

«Ну и леший с вами, стойте, — подумала девушка и побежала за помощью к «Станко».

Никто не знал, каким путем «Станко» оповещал своих дружинников, но делалось у него все очень быстро. В скором времени работницы, переругивавшиеся с казаками около лавки, увидели: посередине улицы шли два десятка молодых рабочих с железными тростями в руках. Впереди шагали «Станко» и Груня. Рыжий шпик при виде «Станко» торопливо нырнул в чьи-то ворота.

«Станко», подведя свой маленький отряд вплотную к казакам, скомандовал:

— Стой!

Тихо он добавил:

— Отойди, Груня!

Казаки с любопытством смотрели на отряд. Кто-то из них громко произнес:

— Дисциплина! Смотри, как стали!

«Станко» подошел к чернобородому.

— Эй, дядя, отодвинься! Не мешай.

Казак не отвечал и не двигался с места.

— Я вас честью прошу — не мешайте торговать.

Чернобородый повернул голову:

— А то что будет?

«Станко» настойчиво повторил:

— Я прошу вас: не мешайте покупателям!

Казак презрительно посмотрел на рабочего и, достав из шаровар кисет, начал свертывать цигарку, коротко бросив:

— Закуривай, ребята!

Но не напрасно ежедневно в лесу за Талкой тренировал «Станко» своих дружинников. Он подал еле заметный знак, парни обступили лошадь, и через несколько секунд чернобородый, со страшной силой сдернутый Яковом Савватеевым с седла, валялся на земле. Кто-то ударил лошадь железной тростью по крупу, и она понеслась вдоль улицы. Чернобородый попытался с плетью наброситься на «Станко», но парни крепко держали его за руки. Казак дико заорал:

— Лупи их, Семен!

Но, видно, не очень любили чернобородого остальные казаки. Никто из них не тронулся с места. Только пожилой казак припустился догонять скрывшуюся уже за углом лошадь.

— Эх ты, вояка! — беззлобно говорил Яков казаку. — Тебе только с бабами и воевать! Пустите его, он теперь ученый.

Парни отпустили казаку руки. Он, чертыхаясь и размахивая плетью, пошел к своей лошади.

А «Станко» уже вполне дружелюбно беседовал с астраханцами:

— Не дело, казаки, над женками издеваться. Ехали бы в другое место.

Весь день смена за сменой стоял у лавки патруль дружинников. Раза три проезжали мимо казаки, но к лавке не приближались. Выдача продуктов по талонам шла беспрепятственно.

Депутаты, внимательно выслушав рассказ Груни обо всем, что произошло у лавки, приняли короткую резолюцию: «Поведение дружинников одобрить. Усилить у лавки патруль».

Вторым отчитывался о вновь поступивших суммах в стачечный фонд Аким Клещев. Он стал на ящик, достал из фуражки листок бумаги и начал перечислять:

— За вчерашний день поступило: от рабочих фабрики Корзинкина из Ярославля сто двенадцать рублей; из Минска от портных семнадцать рублей сорок копеек; из Нижнего Новгорода от рабочих Сормовского завода четыреста восемь рублей девяносто копеек.

Депутаты громко захлопали. Аким, переждав, когда они успокоятся, напомнил:

— Вчера кто-то сказал, что нам деньги со всей России шлют. А ведь правда, товарищи. Я вам сейчас такое скажу — вы ахнете.— И, найдя в списке нужную строчку, он громче обычного крикнул: — Из Кронштадта от матросов первого флотского экипажа восемьдесят один рубль четырнадцать копеек!..

Аким поднял руку, призывая к спокойствию.

— Это еще не все, товарищи! От неизвестных казаков двадцать два рубля сорок копеек и письмо.

— Читай, Аким, читай!

— «Товарищи рабочие. Примите от нас вам на подмогу, что мы промеж себя собрали. И знайте: не все казаки такие злодеи, как вы думаете. Хотели бы подписаться, да нельзя: всыплет начальство, если узнает».

Никогда ни одному оратору не аплодировали депутаты так, как Акиму.

— Вот это здорово!

— Ай да казаки!

Данила Кустов вскочил на ящик и крикнул:

— Да здравствуют братья казаки!

Хлопали и ему. Потом заговорил Балашов:

— Письмецо радостное, ничего не скажешь. Выходит, наша правда и среди казаков начинает действовать. Но, товарищи, только начинает! Поэтому глядеть мы должны в оба, не спать. Господин губернатор к нам в город войска пригнал порядочно. Одних казаков, наверно, сотен пять, не меньше. Давайте прикинем. Допустим, даже целая сотня нашу правду поняла — все равно четыреста на нас с нагайками полетят. Расчет простой...

Кто-то громко перебил:

— Ты, Семен Иванович, всегда пугаешь!

— Я не пугаю, а предупреждаю.

Затем вновь дали слово Акиму. Он подвел итог:

— А всего на сегодняшний день поступило от разных лиц и обществ шесть тысяч двести сорок рублей восемьдесят копеек. Превращено в талоны и выдано особо нуждающимся три тысячи восемьсот два рубля. Остаток две тысячи четыреста тридцать восемь рублей восемьдесят копеек.

Из самого последнего ряда донеслось одобрение:

— Ну и Аким, чисто бухгалтер!

Аким усмехнулся и опять поднял руку:

— А теперь, товарищи, я хочу об одном нехорошем случае рассказать. Сами понимаете, семья у нас вон какая, а денег у нас немного. Мы постановили выдавать пособие только особо нуждающимся. За все время жалоб на наши действия не поступало. Видно, мы на самом деле помогаем тем, кому уже невтерпеж. Я должен сказать: народ наш понимает, и никто понапрасну заявления не подавал. А вот вчера осечка вышла. Выдали мы талон Николаю Муравьеву. Признаться, не хотелось ему давать, но уж очень он просил. А знаете, что он сделал? Он тут же все, что ему в лавке по талону выдали, продал за полцены и купил у шинкарки водки. Судите его сами.

Решение было принято единогласно: «Отчет комиссии принять к сведению, поступок Николая Муравьева осудить как недостойный».

Объявили перерыв. Задымили костры, появились жестяные чайники, на траву было выложено все, что положили дома в карманы: хлеб, вобла, вареная картошка.

После перерыва Балашов привел незнакомого высокого, очень худого человека с козлиной бородкой. Когда они проходили, кто-то из депутатов произнес:

— Смотрите, не брат ли Кожеловского? Уж очень похож.

Груня Николаева за всех ответила:

— Откуда у Кожеловского братьям быть? У него, говорят, и матери не было. Его в змеином гнезде нашли.

Балашов поднялся на ящик, погрозил Груне и сказал:

— Внимание, товарищи! Попрошу поближе. К нам приехал господин... — Он наклонился к своему спутнику: — Простите, как вас величают?.. Так вот, господин Машинский хочет с нами поговорить.

— Откуда он? Кто такой? — посыпались вопросы.

— Сейчас все узнаете, товарищи,— слезая с ящика, ответил Балашов. — Прошу, господин Машинский. Начинайте.

Приезжий на ящик не поднялся, а стал рядом с ним. Как только он произнес первые слова, все переглянулись: огромный оратор говорил тонким, как у подростка, голоском.

— Товарищи рабочие! Священная борьба за свободу, которую ведет Россия, разгорается сильнее и сильнее...

Депутаты постепенно привыкли к тонкому голосу Машинского и начали слушать с интересом. Но так продолжалось, пока оратор говорил о свободе и равноправии вообще, не касаясь главного — каким путем их добиваться.

— У пролетариата есть свои особые, только ему одному присущие задачи и интересы! — выкрикивал Машинский. — Именно ими и надо заниматься вам, дорогие товарищи рабочие...

— Что же это за особые задачи? — перебил Балашов. — Может, скажете?

— Да, скажу! Первое и самое главное — помочь всем рабочим стать грамотными, для того чтобы правильно разбираться в политике.

— Позвольте еще раз спросить, — снова перебил Балашов,— как нам можно грамоте научиться? В гимназию прикажете всем поступать, в университет? Или, может быть, экстерном сдавать? — Он поискал среди депутатов нужного ему человека и, найдя, крикнул: — Петр Федорович, подойди поближе!

Петр Мартьянов, у которого ночевал Фрунзе, стал по другую сторону ящика. Балашов подчеркнуто вежливо обратился к Машинскому:

— Извините, мы сейчас ваше предложение на практике проверим. Разрешаете?

— Что за вопрос? Пожалуйста.

— Петр Федорович, — улыбаясь, спросил Балашов Мартьянова, — скажи, пожалуйста, хочешь ты учиться или нет?

— Чудак ты, Семен Иванович! Кто же не хочет?

— Так. Превосходно! Куда тебе лучше поступить: в гимназию или в университет?

Мартьянов засмеялся и махнул рукой:

— Куда мне! Годы не те.

— А что же ты раньше не учился?

— А ты будто не знаешь? Я же с восьми годов на фабрике работаю. На ученье у моего тятьки грошей не хватало.

— Понятно. Значит, ты раньше не мог и теперь не можешь. А где твои дети учатся? В гимназии? — допытывался Балашов.

— А теперь у меня для них грошей нет. У меня пять душ, а я получаю одиннадцать рублей да жена — десять.

— Значит, и ты не мог, и дети не могут?

— Выходит, так.

— Продолжайте, Машинский... Тише, товарищи, давайте послушаем.

Машинский, как будто все только что происходившее не имело к нему никакого отношения, высморкался в большой синий платок и заговорил:

— Я еще раз подтверждаю: у пролетариата в борьбе за свободу есть свои задачи.

Откуда-то из самого заднего ряда донеслось:

— Этого не собьешь! Как дятел, знай свое долбит!

А Машинский, как ни в чем не бывало, тыкал в воздух костлявым указательным пальцем и говорил:

— Допустим, что, впрочем, маловероятно, пролетариат победит в революции. Давайте рассмотрим такой вариант. Где у пролетариата силы управлять промышленностью, просвещением? Хаос и разрушение — вот что вас ожидает! Нет, товарищи рабочие, этот путь, предлагаемый вам безрассудными фантазерами, гибельный. Он означает возврат к дикарству...

К ящику торопливо пробиралась Груня. Она несколько секунд постояла рядом с Машинским, с усмешкой оглядывая его нескладную фигуру, и, не выдержав, перебила:

— Спасибо за науку, господин хороший! По-вашему, выходит так: сначала мы должны выучиться, стать образованными, а потом к хозяевам с лаской: «Дорогие наши благодетели, нельзя ли вам потесниться?» — Она повернулась к депутатам своей фабрики. — Слышали, бабы? Как вы думаете, можно Мефодия Гарелина — Сироту нашу — уговорить, чтобы он нам по доброй воле по пятаку прибавил?

Депутаты засмеялись. Никодим Соловьев крикнул:

— Да он лучше удавится!

Груня, спрятав улыбку, серьезно продолжала:

— И я так думаю. А вот этот господин хороший нам доказывает, что мы должны раньше университеты пройти, а потом уже с Мефодкой разговаривать. А вы скажите, господин, по какой дороге нас, образованных, на каторгу погонят? По новой

или по старой, по Владимирке? И еще скажите: когда наш царь-батюшка подобреет и вместо свинцовых ягодок райскими яблочками угощать начнет? Шли бы вы, господин, в гости к нашему торговцу Куражову. Он вас с удовольствием послушает да еще заплатит за беседу — бутылку рябиновой пожертвует.

Машинский затоптался вокруг ящика.

— Это демагогия! Это черт знает что такое! Вы мне мешаете говорить!

Балашов поднял руку:

— Ну как, товарищи, будем слушать господина Машинского или отпустим?

— Пусть уходит! Долой!

Семен Иванович тронул Машинского за локоть.

— Не хотят вас слушать. Придется вам уступить. Народ у нас серьезный. Ребята, проводите господина, куда он пожелает.

Словно из-под земли выросли дружинники Иван Рябов и Матвей Рыбаков. Рябов вежливо приподнял картуз:

— Извольте, милостливый государь...

Когда Машинский с провожатыми скрылся в лесу, Балашов поднялся на ящик. И сразу посыпались вопросы:

— Где ты, Семен Иванович, это чучело раздобыл?

Балашов, подождав, когда все утихнут, ответил:

— Многие меня спрашивали, какие такие меньшевики. Своих у нас тут почти нет, а те, что есть, знают свое место да помалкивают. А этот, приезжий, на успех надеялся. Насмотрелись, товарищи?

В эту минуту на тропке показался Самойлов. По тому, как он торопливо шел, все поняли: Архипыч несет важное известие. Самойлов с ходу поднялся на ящик и стал рядом с Балашовым. Лицо у Архипыча сияло. Он звонко объявил:

— Товарищи, мы каждый день слышим о том, что нам шлют со всех концов России материальную поддержку. Мы получили полтыщи рублей от московских рабочих. Нам этот подарок очень дорог. Но еще дороже братское сочувствие москвичей. Сегодня мы получили листовку, выпущенную Московским комитетом большевиков. Слушайте, товарищи, что в ней написано: «Сильное и могучее движение охватило Иваново-Вознесенский район. Зашевелился, стал расправлять свои плечи пролетариат Центральной России. Новый удар царскому правительству... Быстрыми шагами приближается революция, и в ряды ее борцов смелой поступью вступил иваново-вознесенский пролетариат. Стачка грозит затянуться. Фабриканты не желают уступать. Кто не знает, как ничтожен заработок рабочих в этих районах? Трудно будет ивановознесенцам кормиться во время забастовки. Нужны средства. Жертвуйте на стачку, если вы только понимаете ваши интересы. Ибо только пролетариат на пути к социализму освободит всю Россию от царского правительства. Неужели мы, московские рабочие, останемся в сторо-

не и не поможем нашим товарищам? Мы должны помочь им делом, мы должны поддержать их, доказать, что весь рабочий класс России одно целое...»

Тут не выдержал даже такой скупой на изъявление своих чувств, как Семен Балашов. Он громко захлопал в ладоши и крикнул:

— Ура товарищам москвичам! Ура!

Заседание Совета решили тут же закрыть и начать общие собрания рабочих, на которых и объявить о солидарности московских товарищей.

Груня Николаева шла рядом со Степаном и все повторяла:

— Батюшки мои, как хорошо! Батюшки мои!..

В полдень начали раздавать очередной бюллетень Совета, напечатанный типографским способом. Та же Груня указала Степану на строчку: «Отпечатано в количестве 10 000 экземпляров в типографии группы Северного комитета РСДРП».

— Это понимать надо! — сказала Груня.

Прошло меньше суток — и сотни людей были ранены, избиты нагайками, а многие расстались с жизнью...

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

До села Алексино, родины Степана, Наташа добиралась три дня. Почти двое суток она ехала на поезде, потом, сойдя рано утром на глухом лесном полустанке, шла шестьдесят верст пешком: сначала, до уездного города, по большой дороге, а затем по проселочной. Почти весь путь от полустанка до села она прошла одна. И хотя было очень скучно и даже страшно идти одной, она в то же время радовалась этому: ей очень не хотелось слушать неизбежные в таких случаях расспросы спутников, кто она, куда идет, замужем ли, где живет. Только не дойдя до Алексина двенадцать верст, Наташа, отдыхая в деревне со странным названием Фарисеиха, разговорилась с молоденькой крестьянской девушкой Липой, которая шла еще дальше, за Алексино, в деревню Фенино.

Липа сразу же преподала урок правильного поведения в чужой деревне. Наташе очень захотелось пить. Она направилась к колодцу.

— Ты куда? — спросила Липа.

— Хочу воды достать.

— Не вздумай. Попроси лучше вон в том доме.

— А почему из колодца нельзя?

— А из чего ты пить будешь? Прямо из бадьи? Увидят бабы — они тебе зададут. А может, ты какая порченая. Тут много в монастырь всяких больных ходит.

Когда они, отдохнув, пошли дальше, Липа спросила:

— Давно из города?

— А почему вы думаете, что я из города?

— Сразу видно. В гости?

— В монастырь.

Липа с недоумением посмотрела на Наташу.

— В монастырь...— протянула она.— Чего это ты? Или здорово согрешила? Замаливать торопишься?

— Нет, я не совсем, я не в монашки, а только помолиться.

— Жениха вымаливать?

Наташа невольно рассмеялась:

— Почему жениха? У меня есть.

— Вот хорошо. А то в монастырь все больше больные идут да семейной удачи выпрашивать. Тут даже икона такая есть, так ее бабы всю исцеловали. Два раза в год подновляют, красят.

— Ну и как, помогает?

— Мне вот не помогло. Целовала я ее, целовала, а жениха моего убили.

— На войне?

— Нет, дома. Стражники зарубили.

— За что?

— По доказу. Как войдем в Алексино, увидишь дом горелый, на фоминой неделе горел. А в этом доме у хозяина Карасева маслобойка была — в ней и загорелось. Петя в этой маслобойке работал и взял расчет перед самой пасхой. Карасев ему шесть целковых недоплатил. Петя его ругал. А на фоминой неделе загорелось. Сразу на Петю. Стражники начали ему руку вязать. Ему надо было стерпеть, после бы разобрались, а он вырвался да на стражников с колуном. Один его и зарубил... А народ говорит, что Карасев сам поджег, хотел страховку получить за маслобойку. Самую-то главную машину он накануне, говорят, продал. Андрюшка Важеватов видел, как Карасев ночью в маслобойку шел, а через полчаса загорелось.

Наташа, услышав знакомую фамилию, даже похолодела от волнения.

— А как же этот Андрюшка мог видеть?

— Они рядом живут.

— А чего же Андрюшка молчал?

— Он не молчал, да разве ему поверят? Они сами через старшего сына Степана страдают. То урядник с обыском все ездил, а потом мать в волостное правление каждую неделю вызывали.

— А что со Степаном приключилось?

— С каторги, говорят, убежал. Его на всю жизнь осудили, он какого-то важного барина убил, потом долго разбойничал, а когда его поймали да в тюрьму посадили, он убежал. Его опять поймали — да в каторгу, а он и с каторги снова убежал. А вот недавно, рассказывали, его не то повесили, не то утопили.

— Родные разве не знают?

— Может, и знают, да не говорят. Мать извелась вся. Девки уехали из деревни. Нюра где-то в няньках, а про старшую, Катерину, слух прошел — в Нижнем Новгороде замуж вышла за какого-то фабричного. А ты их знаешь, что ли?

— Нет. Ты рассказываешь, а я заинтересовалась.

Так за разными разговорами они добрались до Алексина. Два ряда домов тянулись вдоль широкой дороги. В конце села, на пригорке, виднелась небольшая церковь. Людей на улице было видно мало, только недалеко от церкви бегали дети.

— Видишь дом горелый?

— Вижу.

— Это и есть Карасева. А следующий за ним Важеватовых.

— А в монастырь как идти?

— До него еще верст десять. Не дойдешь, ночь в лесу захватит. Ты лучше здесь, в Алексине, ночуй.

— А ты?

— Мне только две версты. Как только село пройду — поле и лесок, а там и наша деревня. Я доберусь. Только вон в этот дом не просись, там не пустят... Ну, я побегу. Счастливо тебе.

И Липа быстро пошла вдоль деревни. Наташа, выждав, когда она скроется за церковью, свернула поближе к домам и постучала в окно к Важеватовым.

— Кто там? — спросил мужской голос, удивительно похожий на голос Степана.

— Пустите, ради Христа, переночевать.

В окно выглянула пожилая женщина. Она внимательно осмотрела Наташу и сказала:

— Ночуй! Андрейка, поди встреть. Иди, родимая, к воротам, сейчас тебя встретит.

Скрипнула калитка, и на улицу вышел парень. Наташа снова с трудом сдержалась, чтобы не выдать свое волнение. Перед ней стоял двойник Степана — такой же высокий белокурый красавец.

— Пойдем. Давай руку, а то у нас в сенях темно. Можно так лоб расквасить.

* * *

— Жив ваш Степан. Жив и здоров. Никого он не убивал, враки все это. Его ни за что арестовали, он и убежал... Вот письмо вам от него.

Дорогой Наташа все думала, что она объявит родным про Степана не сразу, а осторожно, но как только вошла в бедную их избу и увидела мать с тоскливыми глазами, забыв про всякую осторожность, едва успев снять свою котомку, сказала:

— Я к вам от Степана Ильича!

Мать сначала не то чтобы не поверила, а просто не поняла и переспросила:

— От кого, касатка?
— От вашего сына, от Степана.
Андрейка понял сразу:
— Мама! От нашего Степы. Жив он. Где он?
Поверила и мать. Она села на скамейку около стола и заплакала.
— Где же он, болезный мой, скитается?
— Я вам, Анфиса Петровна, все о нем расскажу, все. Вот, пожалуйста, возьмите. Он просил вам деньги передать.
— Господи! Да откуда же у него они?
— Он работает. Я вам все о нем расскажу, с самого начала, по порядку.

* * *

Вечером 2 июня всюду, где их только можно было наклеить — на афишных тумбах, на стенах домов, в витринах магазинов,—забелели афишки с постановлением вице-губернатора. Кое-где их тотчас же после расклейки сорвали. На постановлении, висевшем у ресторана «Вена», углем нарисовали комбинацию из трех пальцев и подписали: «Не все для нас обязательно». На место сорванных извещений городовые наклеивали новые. У «Вены» около афишной тумбы появился постовой.
Ночью члены группы Северного комитета собрались на короткое совещание.
— Как поступим? — спросил «Отец», держа в руках извещение губернатора.
— Не обращать внимания! — запальчиво ответил Дунаев.
— Вы неправы, Евлампий Александрович, — возразил Трифоныч. — Мы должны обратить на это постановление самое серьезное внимание. Оно говорит о том, что местные власти решили отказаться от временного нейтралитета и начать помогать предпринимателям. Это запрещение собраний — первая ласточка. Несомненно, последуют и другие. Возможно применение оружия. Разведчики товарища «Станко» донесли: драгунам и пехоте выдали дополнительно по три комплекта боевых патронов. Это не случайно. Как же нам не обращать внимания? Нам надо решить другое: идти завтра на Талку или выждать?
— А как ты думаешь? — спросил «Отец».
— Я думаю, надо идти. Всякое иное наше поведение будет расценено как наша слабость.
— Правильно! — подтвердил Самойлов.
Посоветовавшись, группа приняла решение: собрания на Талке, несмотря на запрет начальства, продолжать.

* * *

Утром 3 июня Степан спросил свою хозяйку:
— Какой сегодня день?
— Вторник.
— Верно, вторник. Когда не работаешь, дни путаются.

Степан вспомнил: во вторник он обещал зайти к «Станко». Умывшись и торопливо позавтракав печеной картошкой, Степан вышел из дому. Проходя центральными улицами города, он удивился их необычайному виду. В первые дни забастовки торговцы позакрывали свои лавки и магазины. Обыватели в эти дни сидели по своим квартирам и на улицу показывались не часто. Рабочие собирались за городом, и поэтому на шумных, людных когда-то улицах было тихо, пустынно. Но с двадцатых чисел мая торговцы и обыватели, поняв, что им никто не угрожает и что, наоборот, созданная рабочими милиция поддерживает в городе образцовый порядок, осмелели, и центр зажил своей обычной жизнью. Магазины и лавки торговали, у городской управы стояли извозчики, начал действовать «Клуб господ приказчиков». О забастовке напоминали лишь бездымные фабричные трубы да непривычное для Иваново-Вознесенска обилие военных в самой различной форме.

Сегодня город снова притих, насторожился. Все лавки и магазины закрыты, и только мясники братья Мужжавлевы стояли в широко распахнутых дверях. Степан, проходя мимо, невольно заглянул в лавку. Старший Мужжавлев, огромный мужик с длинными руками и багровым лицом, угрюмо покосился на рабочего и бросил вдогонку:

— Шляются!

С Песков вылетели на Георгиевскую казаки. У Туляковского моста стояли драгуны. В посаде около особняков Бурылина и Маракушева толпились городовые. Город походил на большой военный лагерь.

День обещал быть теплым. Даже в девять часов утра большой термометр у ворот Иваново-Вознесенской мануфактуры показывал восемнадцать градусов выше нуля.

«Станко» стоял у ворот своей квартиры. Увидев Степана, он махнул ему рукой.

— Я уж думал, не придешь.

— Очень в городе сегодня интересно. — И Степан рассказал приятелю о своих наблюдениях.

— Понятно, — ответил «Станко». — Готовятся... Пойдем в сарай.

В сарае их поджидали Яков, Карташов, Сучков и еще несколько молодых парней.

Увидев среди них своего старого знакомого, молчаливого Силантия, Степан спросил:

— А ты здесь чего делаешь?

— Что все, то и я.

Степан, исправляя оплошность, продолжал:

— Я хотел спросить, почему ты один. А где Василий?

— А я тут, — раздался насмешливый голос, и широкое веснушчатое лицо выплыло из-за чьей-то спины. — Нам порознь никак нельзя — у нас на двоих одна шапка.

— Значит, нашли себе дело? — спросил Степан.
— Как видишь.
Василий помолчал и добавил:
— Мы не только дело — мы себя нашли. Дураками жили, а сейчас понимать начали, что к чему.
Степан хотел было спросить, давно ли они познакомились со «Станко», но промолчал, вспомнив совет Трифоныча никогда не расспрашивать своих товарищей при незнакомых людях.
Через несколько минут в ворота громко постучали:
— Эй, хозяйка! Открывай ворота.
«Станко» торопливо выскочил из сарая и снял у ворот тяжелый деревянный брус. Во двор, скрипя, въехал большой воз сена. «Станко» тотчас же закрыл ворота. Возчик бросил вожжи и громко заговорил:
— Смотри, какого я тебе сена привез. Один клевер. С этого корма ваша буренка одни сливки будет давать.
«Станко» и возчик быстро вытащили из-под сена три больших ящика.
— Ребята, принимай! — скомандовал «Станко».
Яков и Степан понесли ящики в сарай.
— Тяжелые, — усмехнулся Яков. — Клевер...
А «Станко» уже шумел во дворе, ругая возчика:
— Забирай свое сено, мошенник! Обещал клевер, а привез одну осоку! Не надо, не надо!
Возчик, ухмыляясь, старался кричать как можно грубее:
— На тебя сам черт не угодит! Кабы знал, ни в жисть не повез бы тебе. Осока! Видел ты осоку...
«Станко» распахнул ворота, а около них уже толпились несколько любопытных.
— Давай вези свое добро! Жулик! Хотел за осоку, как за клевер, содрать!
Квартирная хозяйка поддакивала в окно:
— Спасибо, родимый! А то долго ли меня, бедную вдову, надуть.
Снова закрыв ворота на засов, «Станко» вернулся в сарай.
— Открывай! Осторожнее.
Яков кончиком топора поддел крышку у первого ящика, оторвал ее и снял толстую промасленную бумагу. В ящике лежали новенькие «смит-вессоны».
— Проверь, — обратился «Станко» к Степану. — Сейчас и раздавать начнем.
В другом ящике тоже оказались револьверы, в третьем несколько штук «смит-вессонов» и пачки патронов. «Станко» брал проверенное Степаном оружие и раздавал парням по пять штук.
— Солодов! На твою пятерку. Выходи на улицу. Латышев, получай. Иди через огород. Круглов, выйдешь после Солодова минут через пять. И все сейчас же на Талку.

Когда все оружие было роздано, Степан не сдержался, спросил:

— Откуда?

— Из Москвы, спасибо, помогли. Сразу сюда везти опасались. Мы его с поезда в Кохме приняли, а уж оттуда в сено.

— Ловко! — с восхищением сказал Степан.

— Надо как-нибудь выкручиваться, — засмеялся «Станко». — Ну, парни, давайте и мы на Талку. Что-то там мои разведчики подсмотрели?

* * *

В этот день по предложению группы Северного комитета большевиков заседание Совета уполномоченных решили не проводить, а сразу, как только соберется достаточное количество рабочих, начать общее собрание. К десяти часам утра у опушки леса, близ лесной сторожки, собралось несколько тысяч человек. Большинство сидело на земле, поджидая остальных. На дороге, на тропках—всюду виднелись люди, спешившие на Талку.

При выходе из города Степан, Яков и «Станко» нагнали Анфима Болотина с женой Анной. Степан не встречал их с памятной майской массовки в лесу у деревни Горино и очень обрадовался. «Вот с кем надо Наташу обязательно познакомить! Будут как две сестры, и родинки у обеих одинаковые», — подумал он и вслух сказал:

— Очень вы на сестру мою похожи, на Наташу.

— Я вас с ней видела... А я подумала — она жена ваша. Где она сейчас?

— Уехала к родственникам.

— И я завтра в деревню собираюсь. Скоро покос. Многие едут. Все полегче будет, хоть поедим там досыта. В покос всегда хорошо кормят.

— Муж тоже едет?

— А чего ему здесь одному делать? Поработаем оба и вернемся.

У мостика «Станко» жестом остановил Степана и Якова. Отведя их в сторону, он посоветовал им на всякий случай держаться вместе.

— А ты куда? — спросил Яков.

— Я к Семену Ивановичу. Он меня ждет в сторожке.

На другом берегу к «Станко» подбежали молодые рабочие и тихо сказали:

— Около станции сотня казаков с винтовками.

У сторожки Степан и Яков встретили Груню. Она шла с озабоченным лицом.

— Ты что такая невеселая? — спросил Яков.

— Сама не знаю. Жарко, что ли...

Они уселись на земле под большой сосной. Груня прислонилась спиной к дереву и сказала:

— Не высыпаюсь я, видно, поэтому и устаю. Вот так бы целый день могла просидеть.

Рядом, под другой сосной, сидели несколько рабочих. Один из них, уже пожилой, лет под пятьдесят, говорил:

— А что ты думаешь? Вполне возможно, со временем так и будет. Чем, скажем, я хуже Куражова? Он всю жизнь торгует, людей обманывает, а я работаю, миллионы аршин наткал. Ему медаль, а мне шиш. Неверно это. У меня орден должен быть. Чтобы шел я по улице и все видели: идет самый лучший в городе ткач.

Чей-то голос скептически произнес:

— Дожидайся! Куражов шесть домов имеет, на то он и Куражов.

— А я Осинкин, — возразил пожилой.

Яков, прислушавшись к разговору, крикнул:

— Правильно, Сергей Степанович! Только от этой власти тебе отличия не дождаться.

— А я на нее не рассчитываю. Я говорю — со временем так будет.

— Лет через сто! — снова раздался скептический возглас.

— Дурак ты, Вася! — обрезал Осинкин. — Мне Трифоныч объяснил, что это гораздо раньше будет.

Он встал, повернулся лицом к городу и с беспокойством спросил:

— Что это там?

— Где? — вскочив, спросил Яков.

— А вон пылит.

— Казаки! Вставайте, товарищи! Казаки!

От станции к Талке неслись две сотни казаков. Впереди с казацкой нагайкой в руках летел Кожеловский. Он первым проскакал по мостику. Подковы гулко зацокали по деревянному настилу. Подъехав к рабочим, полицмейстер, тяжело дыша, хрипло крикнул:

— Расходись, мерзавцы!

Груня схватила Степана за руку:

— Смотри, товарищ Никитин, что они делают!

Степан увидел: казаки, проскакав мостик, разделились. Одна сотня уходила влево, другая вправо, окружая луг.

— Окружают! — догадался Степан.

А Кожеловский, очевидно, ожидая, когда казаки окружат рабочих, размахивая нагайкой, орал:

— Расходись! Кто вам разрешил тут собираться? Расходись!

Из толпы рабочих вышел «Отец».

— Напрасно, ваше благородие, кричите. Давайте поговорим по-хорошему.

На дороге от станции показалась третья сотня. Казаки неслись с гиканьем и какими-то дикими воплями. Прогремев по мостику, они плотной стеной стали позади Кожеловского. Лица у них были красные. Даже за несколько шагов доносился крепкий запах спиртного.

— Ребята, они пьяные! — донеслось из толпы.

— Расходись! — заревел Кожеловский и двинул лошадь. Потом он повернулся в седле и скомандовал: — Казаки! За мной!

— Что вы делаете! — крикнул «Отец», схватив под уздцы лошадь полицмейстера. И не договорил: Кожеловский нагайкой сбил с него фуражку.

Пьяные казаки с трех сторон врезались в толпу рабочих. Они сваливали людей с ног, топтали их лошадьми. Но и этого Кожеловскому показалось мало. Степан видел: по краю луга к мостику бежали женщины. Груня бросилась им навстречу, громко крича:

— Куда вы? Бабы! Давайте в лес...

Женщины, услышав крик Груни, повернули к лесу. И в ту же секунду захлопали выстрелы. Кожеловский, стоя на стременах, истошно орал:

— Огонь! Огонь!

И еще одно врезалось в сознание Степана: от сторожки с тростями и револьверами в руках наперерез казакам бежали дружинники. Впереди, размахивая револьвером, — «Станко» и рядом с ним Трифоныч.

— Лупи их, дьяволов! — кричал «Станко». — Бей по лошадям!

Степан, выхватив «смит-вессон», побежал за «Станко», на ходу стреляя в чернобородого казака.

Через полчаса на лугу все стихло. Казаки умчались в город, уведя с собой несколько десятков арестованных. Брели по тропкам легкораненые рабочие; несли тяжелораненых и убитых. Яков разорвал оброненный кем-то белый платок и перевязал Степану голову.

— Ну как, дойдешь? Пойдем лесом, а то как бы опять на этих стервецов не нарваться.

У опушки Яков крикнул:

— Смотри!

Из лесу с женой на руках шел Анфим Болотин. Руки у Анны беспомощно болтались.

— Ранена? — спросил Яков. — Сильно?

Анфим поднял на него глаза и тихо ответил:

— Умерла... Помоги, Яша, один я ее не донесу.

Он опустил тело жены на траву и заплакал. Степан не отрываясь смотрел на круглую родинку Анны. В ушах звучал ее голос:

«И я завтра в деревню собираюсь. Хоть поедим там досыта...»

* * *

Вечером большие группы озлобленных рабочих бродили от особняка к особняку. Звенели разбиваемые камнями зеркальные стекла, валялись вывороченные телеграфные столбы. К ночи в небе заполыхало зарево; ветер по всему городу разносил запах гари: горели на Ямах ткацкая фабрика Гандуриных и лесной склад Ивана Гарелина. Не помог начавшийся сильный дождь — фабрика и склад сгорели дотла. Под самое утро вспыхнули дачи городского головы Дербенева, его брата, Фокина и Бурылина.

По улицам мчались казаки и драгуны. Слышались выстрелы.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Быстро прошла короткая летняя ночь. Уже начало светать, а Наташа все рассказывала родным о Степане. О себе она не сказала ни одного слова, даже не упомянула, кем она приходится Степану. Анфиса Петровна сама догадалась обо всем и ласково сказала:

— Ложись, доченька.

— Пожалуй, лягу. Что-то у меня голова разболелась, и словно знобит меня. Не простыла ли я, когда с Липой у колодца сидела.

Анфиса Петровна достала из сундука одеяло из разноцветных лоскутков и отвела ее на сеновал.

— Усни. Я тебе, доченька, утром блинков напеку.

Но пришло утро, и Наташа не смогла встать. Все тело горело, тупая боль в правом боку мешала дышать. Андрюша, пришедший за ней, испуганно сказал:

— Что ты такая красная? Не заболела ли?

Анфиса Петровна сходила за фельдшерицей. Старая, седая Марья Осиповна долго выслушивала ее, смерила температуру и безапелляционно заявила:

— Берите в дом. Воспаление легких. Кто она вам?

Анфиса Петровна сквозь слезы ответила:

— Чужая... Совсем чужая... На богомолье шла, а я ее ночевать пустила. Ладно уж, похожу за ней. Только бы поправилась.

— Поправится. Андрей, идем со мной. Я для нее порошков дам. А вы ее обязательно в дом забирайте.

До половины июня пролежала Наташа в постели. Она даже не помнила, как ее переносили с сеновала в избу. Как-то утром

в полузабытье до нее донеслись обрывки разговора. Чей-то бас наставительно урчал:

— Умрет она у тебя, вот и будешь отвечать. Ты бы мне хоть паспорт ее показала.

Анфиса Петровна умоляла:

— Ну как же я ее подыму, Сидор Евстигнеевич? Она почти не дышит. Богомолка она, какой у нее может быть паспорт.

— Должен быть, — гудел бас. — Смотри, будешь отвечать.

Потом над Наташей наклонилось бородатое лицо. Жесткие руки легли на пылающий лоб. Запахло дегтем и конюшней.

— Горит! — сказал бас. — Умрет...

Но Наташа не умерла. Молодость и здоровый организм победили.

Как-то утром, когда никого не было дома, она встала с постели и, держась руками за стену, вышла в сени, отдохнула немного на табуретке и побрела на улицу. Она села на завалинке и, прислонив голову к березе, закрыла глаза и подставила лицо под солнышко.

Так и застала ее Анфиса Петровна, прибежавшая с поля проведать свою больную.

— Господи, доченька! Сама выбралась!

— Сама... Мне сегодня лучше. Совсем хорошо. Я даже есть захотела.

Дело быстро пошло на поправку. Наташа целые дни проводила на улице, и только когда летний зной давал себя знать, уходила в тень сеновала. По вечерам она иногда долго сидела с Андреем, рассказывала ему о Петербурге, об Иваново-Вознесенске.

Но, случалось, Андрей после ужина исчезал и появлялся только на рассвете. На осторожные расспросы Наташи, где он бывает, Андрей густо краснел:

— Та-а-ак, дела всякие.

Наташа, поняв, что он уклоняется от беседы на эту тему, перевела разговор на другое. Но вскоре она неожиданно и совершенно случайно узнала тайну Андрея. После того как ей стало немного лучше, Наташа принялась за вязание. Анфиса Петровна снабдила ее шерстью, спицами и показала, как быстро вязать варежки с одним пальцем, которые у Анфисы Петровны охотно покупали лесорубы.

Как-то вечером Наташа вспомнила, что днем оставила свое рукоделие на сеновале, и пошла за ним. Подойдя к сеновалу, она услышала, как кто-то тихо читает: «Но крестьянин не знает, отчего он бедствует, голодает и разоряется и как ему от этой нужды избавиться. Чтобы узнать это, надо прежде всего понять, отчего всякая нужда и нищета происходит и в городе и в деревне».

Наташа повернулась, чтобы уйти, но закашлялась. Из сарая выскочил Андрей, за ним еще трое парней.

— Кто тут? Это ты, Наташа? Зачем по росе ходишь? Опять простынешь.
— Я за вязаньем.
— Где оно?
— Там, у окошечка.
— Сейчас вынесу.
Андрей вынес ее рукоделие и предложил парням, молча наблюдавшим за всем:
— Пошли, ребята, по домам.
Он еще раз сходил в сарай, вынес фонарь, погасил его, и все пошли через огород к дому. Когда они остались вдвоем, Андрей спросил:
— Ты что-нибудь слышала?
— Слышала, — твердо ответила Наташа, — и даже поняла, что вы там читали.
— Что?
— Книжечку Ленина «К деревенской бедноте». Где вы ее достали?
— Гриша Краснов из города привез.
— Ну и как? Интересно?
— Да еще как! Вся правда в ней. Мы ее уже третий раз читаем.
Они долго сидели в горнице. Андрей, не таясь, рассказал Наташе о своих приятелях.
— Мы понимаем: так жить нам больше нельзя. Надо действовать. А вот как, мы и не знаем. Был у нас хороший человек, учитель, да пропал. Выслали. Хочу в Митрофаново сходить.
— Зачем?
— Там у нашего учителя дружок был, Геннадий Петрович Коробков. Умная голова. Надо с ним посоветоваться. Если он ничего не подскажет, пойду в город.
Дней через пять Андрей пришел домой очень взволнованный. Он как-то странно посмотрел на Наташу и сказал:
— Не знаю, говорить ли тебе...
— Что случилось, Андрюша?
— У вас в Иваново-Вознесенске стрельба была. Много народу убито, а еще больше арестовано.
— Кто тебе сказал?
— У попа сын газеты получает. Дает мне читать. Я раньше бы на эту заметку об Иваново-Вознесенске внимания не обратил, а теперь всю прочитал.
— Что там?
— Рабочие собрались на берегу какой-то реки...
— Талки!
— Верно, Талки... А на них казаки налетели...
Уж и досталось Андрею от матери за взволновавшее Наташу сообщение! Как ни уговаривали Анфиса Петровна и Андрей

свою дорогую гостью дождаться окончательного выздоровления, ничего не помогло. Наташа твердо решила немедленно возвращаться домой. Она попросила Андрея сводить ее к дому, где когда-то родился и жил ее отец и где сейчас жили ее дальние родственники. Она постояла у покосившейся избы Никитиных, но войти в нее так и не решилась. Вернувшись к Важеватовым, она долго плакала.

— Что за жизнь! Даже дом отца как следует посмотреть не могу!..

На следующий день утром Андрей долго переругивался с соседом, нанимая у него лошадь.

— Совести у тебя нет! — увещевал он соседа. — Пять рублей! С ума сойти можно.

— А что тебе? Чай, не ты будешь платить, а твоя богомолка. А она, говорят, не из бедных.

Сторговались на четырех рублях, и Андрей, мягко устелив телегу сеном, повез Наташу на станцию. Анфиса Петровна, чтобы не вызывать подозрений у соседей, крепко поцеловала Наташу еще во дворе и сказала:

— Если там у вас плохая жизнь будет, приезжай, доченька, ко мне. Может, как-нибудь и Степа покажется хоть на часок...

Через три дня Наташа, сойдя в Иваново-Вознесенске с поезда, увидела: у вагона стоял Яков, всматриваясь в проходящих пассажиров. Она, предчувствуя недобрую весть, тревожно спросила:

— А где же Степа? Почему он меня не встречает?

Яков принял у нее корзинку и тихо сказал:

— Иди обратно в вагон! Стой на площадке.

Он пролез под вагоном, отомкнул ключом другую дверь и быстро проговорил:

— Иди за мной!

Яков повел ее по путям, мимо депо. И только когда они отошли подальше от вокзала, он перевел дух и сказал растерянно смотревшей на него Наташе:

— Не волнуйся... Очень тебя прошу, не расстраивайся. Степу вчера ночью взяли жандармы. Тебе на квартиру возвращаться тоже нельзя — там засада.

* * *

Губернские и городские власти, и больше всех вице-губернатор Сазонов и полицмейстер Кожеловский, надеялись, что расстрел и аресты забастовщиков на Талке если не «образумят», то уж, наверно, напугают рабочих, и они скорее примутся за работу. Но они жестоко ошиблись.

На другой же день после расстрела по настоянию группы Северного комитета большевиков Совет депутатов собрался нелегально и единодушно решил продолжать забастовку, не де-

лать фабрикантам никаких уступок. В этот же день подпольная типография большевиков выпустила несколько тысяч листовок. Ими буквально засыпали весь город.

«Чувство обиды, злости, мести глубоко затаились в нас, — говорилось в листовке. — До тех пор оно не изгладится, пока невинные не будут освобождены и не падет с них обвинение...»

Вместо больших собраний на Талке большевики начали созывать рабочих на нелегальные сходки и массовки в лесу, в окрестных деревнях.

Казаки и драгуны рыскали по лесам и по деревням, разыскивая собрания и сходки, но никогда не могли их обнаружить, потому что за ними следили не только разведчики «Станко» — за ними наблюдали тысячи глаз. И как только казаки или драгуны выезжали с постоя, впереди них летели гонцы к «Станко», Трифонычу, «Отцу».

Почти каждую ночь горели дачи. «Красного петуха» в загородные хоромы фабрикантов и торговцев пускали не столько рабочие, сколько молодые крестьянские парни, решившие, что и им пришло время рассчитаться за обиды и притеснения.

Утром 9 июня на многих фабриках долго, захлебываясь, выли гудки, зазывая рабочих в корпуса. Но и из этой затеи властей и уполномоченного фабрикантов Дербенева ничего не вышло: ни один человек не стал к станкам.

И было еще одно, к чему привела стачка, особенно в последние дни после расстрела. Об этом Сазонов и Шлегель могли только догадываться, а точно знали лишь «Отец», Балашов и Трифоныч. Это был необычайный в те годы, невиданный рост партийной организации. В мае 1904 года в Иваново-Вознесенске насчитывалось сто шестьдесят большевиков. Через год, к началу стачки, было около четырехсот членов партии. И только за один месяц, начиная с 15 мая, организация выросла сразу на двести человек. Большевистские ячейки были на всех предприятиях города. Спаянные железной дисциплиной, тщательно законспирированные, неуловимые большевики вели за собой десятки тысяч беспартийных рабочих, которые ежедневно, ежечасно убеждались в том, что только большевики ведут их по правильному революционному пути.

Разгромить большевиков, обезглавить их стало мечтой Сазонова, Шлегеля, присланного из столицы Филагриева и даже вечно пьяного Левенца. Но они очень мало знали о большевиках и особенно об их руководителях. Мелкие агенты, вроде пьянчужки Семки Колосова и табельщика Стратилата Жучкина, приносили самые поверхностные сведения: кто выступил на Талке, что сказал очередной оратор. В глубь партийной организации эти доносчики проникнуть, конечно, не могли. Разве могли, например, Колосов или Жучкин рассказать Шлегелю, какой гость навестил «Отца» в первой половине июня?

А гость был необычный. Услышав пароль, он понял, что дей-

ствительно попал по адресу. Гость первым делом выложил из саквояжа пачку второго номера газеты «Пролетарий».

«Отец», посмотрев на заголовок, удивленно спросил:

— Откуда это у вас?

— Как откуда? Из Женевы.

— Я понимаю. Но объясните, как могла попасть к вам газета, выпущенная в свет третьего июня? Прошло всего несколько дней.

— Я сам только что из Женевы. Приехал в Московский комитет, а они меня к вам. «Побывайте, — говорят, — в Иваново-Вознесенске». Поэтому я у вас. Впрочем, не только поэтому, есть еще одна причина: Владимир Ильич очень интересуется вашей стачкой и действиями вашего Совета. Расскажите мне все что можете.

Они проговорили всю ночь. Приезжий особенно расспрашивал «Отца» об участии в забастовке женщин. Узнав, что в Совете более двадцати работниц, он с удовлетворением сказал:

— Владимира Ильича это очень обрадует!

На другой день гость побывал на Талке, послушал местных ораторов, побеседовал с рабочими, а вечером в Хуторове, в квартире Самойлова, собрались члены группы Северного комитета, районные и фабричные организаторы и их помощники.

Собравшиеся с любопытством смотрели на незнакомого пожилого человека с небольшой рыжеватой бородкой. Он сидел, протирая очки платком, когда «Отец» сказал: «Слово для информации о Третьем съезде имеет участник съезда товарищ Китаев». Помощник организатора второго района Веселов не выдержал и вслух восхищенно сказал:

— Вот это здорово!

Все засмеялись. Докладчик тоже улыбнулся и сказал первые слова, сразу же увлекшие слушателей:

— Товарищи! Владимир Ильич Ленин сказал, что Россия переживает великий исторический момент. Революция вспыхнула и разгорается все шире...

Разве могли обо всем этом знать всякие там Жучкины? Не знал об этом и Шлегель. Но он чувствовал: большевики крепнут с каждым днем. В городе начались аресты и облавы. В одну из таких облав и был задержан Степан Важеватов.

* * *

Водить арестованных на допрос по улицам из тюрьмы в жандармское управление было небезопасно: в любую минуту могли налететь дружинники и отбить заключенных. Поэтому Шлегель сам приезжал на допросы в тюрьму. Для допросов была отведена узкая камера, окрашенная масляной краской в темно-серый цвет. В ней стоял небольшой письменный стол, жесткое кресло на толстых ножках и черная табуретка. На стене,

чуть пониже крышки стола, виднелась кнопка звонка для вызова конвоя, который, доставив арестованного, выходил в коридор.

Вечером 11 июня Шлегель вызвал на допрос Степана. Арест беглого кавалергарда ротмистр считал большим своим достижением. Он предполагал, что солдат, узнав о том, что все его прошлое известно, испугается и даст ценные показания о местных социал-демократах. Готовясь к допросу, ротмистр предвкушал, какое сильное впечатление произведет на арестованного обвинение в убийстве Кручинина. Шлегель настолько надеялся на успех допроса, что даже не сказал о нем Филагриеву, желая удивить его сюрпризом.

Шлегель, как любой жандармский офицер, знал несколько приемов допроса. С одними арестованными он был груб, с другими, наоборот, изысканно вежлив и даже ласков. Некоторым он представлялся добродушным простаком, верящим каждому слову, иных он пытался победить доказательствами незыблемости царского строя.

Степана он решил сразу огорошить напоминанием о его побеге из кавалергардского полка.

Когда унтер-офицер Суконкин в сопровождении двух конвоиров ввел Степана в кабинет. Шлегель коротко приказал:

— Можете идти!

Унтер-офицер и конвойные, гремя оружием, вышли в коридор, глухо захлопнув обитую клеенкой дверь. Шлегель с любопытством осмотрел арестованного и, улыбаясь, сказал:

— Вот мы и встретились, Важеватов. А знаешь, гвардейский мундир более к лицу тебе...

По мысли ротмистра, обвиняемый в это мгновение должен был побледнеть, может, даже вскрикнуть от внезапности и, уж на худой конец, ухватиться рукой за край стола или за стенку. Но белокурый великан в изодранном во время ареста пиджаке даже не шелохнулся. Он стоял, сложив руки за спиной и спокойно смотрел, как будто слова ротмистра не имели к нему никакого отношения.

— Я тебе говорю, Важеватов! Брось валять дурака. Имей в виду — мне все известно... Садись!

Арестованный продолжал молча, все так же внимательно разглядывать офицера.

— Садись!

Вторичное приказание не имело успеха. Великан молчал, и лишь в голубых глазах да в усах таилась чуть заметная усмешка.

— Садись, тебе говорят! Фамилия? Имя? Откуда?

Допрашиваемый молчал.

— Не хочешь отвечать? Заставлю!

Ротмистр сел в кресло и продолжал:

— Впрочем, все равно — будешь говорить или не будешь, виселица обеспечена.

Арестованный неожиданно шагнул к столу и очень вежливо, деловито осведомился:

— Разрешите спросить, ваше благородие, какой сегодня день?

— Суббота, — с удивлением ответил Шлегель. — А тебе-то зачем это знать?

— Правильно, суббота, — все тем же деловитым тоном продолжал заключенный. — Банный день, стало быть. Шли бы вы, ваше благородие, париться, чем время попусту со мной терять.

Такой наглости Шлегель не ожидал.

— Суконкин! Выведи! — заорал он, забыв даже про кнопку звонка.

Ротмистр, конечно, не знал, что беглый гвардеец с первых же минут пребывания в тюрьме не забывал слова Трифоныча:

«Тюрьма, она, конечно, не пансион для благородных девиц, самому лезть туда не к чему. А если уж случилось, попал, то самое правильное — молчи. Помни решение съезда партии — ничего не говори на допросах».

И Степан решил: «Пусть что хотят со мной делают, не скажу им, окаянным, ни одного слова!»

Не знал ротмистр и о том, что почти перед самым допросом в руки Степану попала записка. В ней было всего два слова, но от них сильнее забилось сердце и мрачная, темная камера словно расширилась: «Держись. Выручим».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Большинство иваново-вознесенских фабрикантов имели в Москве свои дома. Никанор Дербенев, как московский домовладелец, даже состоял гласным Московской городской думы. Только Зубков, приезжая в белокаменную, останавливался в «Славянском базаре», где ему всегда готовили богато убранный номер из трех комнат. Здесь хорошо знали вкусы капризного, желчного старика. Прислуга в расчете на большие чаевые охотно угождала ему, повара приходили прямо в номер посоветоваться, что будет кушать их богатый гость. От «Славянского базара» рукой подать до нужных Зубкову мест. На Ильинке, в доме Троицко-Сергиевской лавры, находилось Московское купеческое общество взаимного кредита, почти рядом с ним были Купеческий банк и Торговый банк, неподалеку, на Солянке — Государственный банк. На Большой Лубянке, по Варсонофьевскому переулку, в доме Камынина, размещалось правление Шуйско-Иваново-Кинешемской железной дороги. И вообще «Славянский базар» находился в самом центре деловой Москвы.

Выбравшись из Иваново-Вознесенска в надежде на то, что «теперь горлопаны скорее угомонятся», фабриканты сдружились, позабыв домашние распри и конкуренцию. К Зубкову и днем и вечером посидеть на перепутье, отдохнуть и освежиться заходили тузы: Гандурин, Дербенев, Маракушев и другие. Мелочь вроде Лепешкина или Смолякова заглядывать сюда опасалась: могли не принять совсем или принять так, что после долго бы пришлось отплевываться от подчеркнуто оскорбительной вежливости хозяина.

Поговорить было о чем. Бастовали рабочие в Питере, в далеком Красноярске и Баку. Останавливались железные дороги, не дымили заводские трубы. Шахтеры поднимали на божий свет из темных, сырых шахт слепых лошадей: пусть и они, сердешные, отдохнут, подышат чистым воздухом, пока мы бастуем. По всей огромной стране — от Лодзи до Владивостока, от Архангельска и до Кушки — вспыхивали крестьянские бунты и восстания. В заволжских степях горели по ночам барские усадьбы. Зарево пожаров вселяло страх и смятение в соседей, временно избежавших этой горькой участи. Летели по дорогам тройки, тарахтели тарантасы, гремели старинные дедовские кареты: дворянство потянулось в большие города, в обе столицы, подальше от косых взглядов сыновей и внуков своих крепостных. Да и многие бывшие крепостные были еще живы и подогревали своих детей воспоминаниями о порках на конюшнях, о продаже матери одному помещику, а детей — другому. По вечерам старая бабка рассказывала внукам:

«Ох же и зол был старый барин, деда вашего насмерть забил плетьми... Следствие было, только откупился злодей».

У внуков постарше при этих рассказах сжимались кулаки, пылали гневом глаза, а ребята в страхе прижимались к бабке. Пугались и запоминали на всю жизнь.

Жутко было в дворянских усадьбах. Шатался и трещал старый порядок в России.

Два дня — 24 и 25 мая — в Москве происходило бурное совещание представителей земств и городов. Кроме городских и земских гласных, в совещании участвовали городские головы, предводители дворянства. Представители помещиков и капиталистов обсуждали политические судьбы страны.

Особенно горячо обсуждалась петиция к царю. Несмотря на присутствие так называемых «либералов», петиция получилась полностью верноподданнической. Особое место в петиции уделялось великой опасности для России и для самого престола, которая грозила не столько от врагов внешних, сколько от врагов внутренних. В этом насквозь лживом и подобострастном документе участники совещания сваливали всю вину за поражение в войне, за гибель флота, за все беды и зло, творимое в стране, на якобы плохих советчиков царя, которые, дескать, искажают его мудрые предначертания. Петиция заканчивалась просьбой

созвать без замедления народных представителей, чтобы они в полном согласии с царем решили вопрос о войне и мире и установили, опять-таки в полном согласии с царем, обновленный государственный строй.

Для представления петиции царю совещание избрало делегацию из пятнадцати человек. Среди них было шесть князей и два барона.

Десять дней министр двора барон Фредерикс не пускал депутацию к царю, ссылаясь на то, что ему очень трудно уговорить императора принять делегатов, так как в их числе господин Петрункевич, а у него есть опасные революционные связи. Наконец царя уломали, и прием состоялся. Подробности этого любопытного приема рассказал Зубкову Маракушев, только что вернувшийся из Петербурга:

— Доставили их всех, как полагается, в Царское Село и проводили в зал, где должен был с ними разговаривать Николай. Начали их осматривать, все ли в порядке, может, у кого пуговица оторвалась, волосы торчат или борода не причесана, и вдруг видят, что этот самый либерал Петрункевич, из-за которого их неделю морили, без белых перчаток. Батюшки мои! Скандал! Сейчас царь выйдет, а этот фрукт вроде как босой. Спасибо, говорят, лейб-гвардии полковник Путятин выручил — сунул свои перчатки. Они ему немного великоваты оказались, но ничего, ежели кулак сжать, незаметно. Едва он их напялил, как вышел царь. С речью к царю обратился князь Трубецкой. Сначала он, конечно, поблагодарил за прием. А Николай стоит, молчит. Потом Трубецкой начал дальше говорить. Но то ли он забыл про петицию, то ли ему Фредерикс запретил о ней говорить, но ничего такого, что было в петиции про свободу личности и слова, печати и союзов, Трубецкой не сказал. Царь стоит, молчит. И на лице у него одна скука. Трубецкой кое-как домямлил и замолчал. Вот тогда царь заговорил. О чем он говорил, делегаты так и не поняли. Но одно они запомнили: «Моя царская воля собрать народных представителей непоколебима».

— Ишь ты! — заметил Зубков. — Так и сказал? Гляди, что выделывает Николашка-то!

— Ты подожди, что он потом выкинул. Кончив речь, Николай начал беседовать с делегатами. Подходит он к Петрункевичу и спрашивает: «А не состоите ли вы где-нибудь предводителем дворянства?» Тот от волнения и со страху, что царь на нем чужие перчатки разглядит, еле языком ворочает, но все же ответил: «Нет, ваше императорское величество, не состою». Царь ему и пообещал: «Нет, так будете состоять». Затем Николай ушел, а делегатов отвели в задние комнаты и предложили им завтрак. Говорят, на каждого было отпущено на семьдесят пять копеек — рюмка водки, пирожки и в придачу еще по ревельской кильке...

— Я участковому городовому Митьке Рыжему на подносе

больше высылаю, — перебил Зубков. — Что у него, у царя, мошна оскудела?

— А кто его знает! Может, хотел подчеркнуть — по гостям, мол, и угощение... Ты дальше слушай. Вернулись делегаты из дворца и ну во все колокола трезвонить: «Обещал народных представителей собрать. Сам сказал. Сами слышали». Начали телеграммы слать. А на другой день им вручили официальный текст речи царя. Они прочитали и глазам не верят. Слова «созвать народных представителей» из текста выброшены. И осталось только: «Моя царская воля непоколебима!» Вот это фокус!

— Плох!

— Кто плох? — переспросил Маракушев.

— Царек у нас плох, — раздраженно сказал Зубков. — Убрать бы его...

— Что ты, господь с тобой, сват! За такие речи...

— Правду говорю, плох... Мелковат для нынешних дел.

— Дунаева, что ли, на площади наслушался?

— Хотя бы и его. Мне тоже кричать охота. Только между нами одна разница. Дунаев кричит: долой самодержавие, а я бы закричал: давай царя поумнее. А то с эдаким царем и мы пропадем.

Вошли Гарелин и Гандурин. Зубков, подражая своему деду — крепостному, по-деревенски спросил:

— Ну, что нового, мужики?

— Домой нас требуют.

— Кто требует?

— Хозяева.

— Какие хозяева?

— Наши с тобой новые хозяева. Талочники. Требуют, чтобы мы с тобой приезжали для переговоров. Грозят: не приедете — хуже будет. Грязнов с перепугу хочет на уступки идти.

— Что он, очумел?

— Кто его разберет!

— Этого дозволять нельзя! Он всю воду перемутит. Надо его урезонить.

— Попробуй урезонь! Ему если в башку втемяшится, колом не выбить! Весь в отца. Помнишь, сколько с тем мучились?

— С чего он перепугался?

— Сердиться не будешь? — спросил Гарелин.

— Ну не буду.

— Так вот. Сегодня мой управляющий приехал, говорит — дачи твоей нет. Как корова языком слизнула.

— Спалили?

— Спалили.

— Ах, сволочи!

Зубков мрачно уставился в одну точку.

— Не горюй,— утешил Гандурин.— У тебя дачу, а у меня на Ямах ткацкую сожгли, а у свояка — лесной склад.

— Да, еще одна новость, — вспомнил Гарелин, — Кожеловского прогнали.

— Совсем?

— В отставку.

Зубков насупился:

— Не пойму.

— О чем ты? — спросил Гарелин.

— Не пойму, чего они все перетрусили?

— Кто все?

— Губернатор, Грязнов, да и вы все словно к повешению приговоренные ходите. Я этого дурака Кожеловского сам терпеть не мог. Руки уж больно липкие: какую прорву у меня позанимал без отдачи! Одно слово — Ванька-каин. Но я бы его сейчас в отставку не отослал. Это Дунаеву на руку. Он теперь не такую антимонию разведет — победили!

Гарелин вынул из кармана газету и развернул ее перед Зубковым:

— Читай! В Нижнем Новгороде на Сормовском заводе забастовали. Все стоит, как и у нас. И такие вести каждый день отовсюду. Если вдуматься, жить неохота...

* * *

Фабрикант Зубков оказался прав. Известие об отставке ненавистного полицмейстера Кожеловского рабочие встретили с ликованием. Дня через три после прибытия нового полицмейстера, Иванова, Кожеловский ехал в пролетке по Напалковской улице. Хотя кожаный верх у пролетки был поднят, все же бывшего полицмейстера узнали, и, как ни тяжело было злому, желчному старику выслушивать насмешки молодежи, чашу пришлось испить до конца. Он уже не мог, как прежде, вызвать астраханцев или, на худой конец, городовых. Не мог он, встав в пролетке, грозно потрясать револьвером и рычать: «Расходись, мерзавцы!» Власти у него уже не было.

Отставка не в меру ретивого полицмейстера была первой уступкой губернатора Леонтьева, снова прибывшего в Иваново-Вознесенск. За ней последовала вторая.

Вечером 10 июня к квартире депутата Совета Николая Жигарева подъехали казаки. Чего греха таить — увидев непрошеных гостей, Жигарев спрятался в огороде, но казаки очень вежливо заверили жену Жигарева, что муж нужен губернатору по очень срочному делу и никакого вреда ему не причинят. В скором времени Жигарев предстал перед губернатором. Леонтьев с любопытством смотрел на рабочего.

— Вы депутат?

— Состою...

— Если состоите, то скажите мне, пожалуйста, почему рабочие собираются тайно?

— Вы же сами запретили собираться явно. Разрешите — вот и не будут таиться. Вывесьте об этом объявление.

— Но меня об этом не просят, — сказал губернатор. Потом, подумав, торопливо добавил: — Вот вы попросили — это хорошо. Вы депутат, а раз депутат просит, можно будет разрешить.

Жигарев, сразу поняв, чего добивался губернатор, охотно подтвердил:

— Разрешите. Как депутат прошу.

— Обязательно разрешу... Сегодня же.

Через полчаса по городу разъезжали казаки с извещением, чтобы рабочие утром собрались на площади перед управой по приглашению губернатора.

— Знаем мы вас, ухарей! Соберемся, а вы нас плетьми.

Казаки снимали картузы, крестились и заявляли:

— Вот те крест, не тронем. Мы что — мы люди маленькие. Начальство прикажет — порем, не прикажет — пальцем не тронем. А сейчас без обмана. Сам губернатор велел народ собрать на площади.

Утром город облетела еще одна необычайная новость: из тюрьмы выпустили двадцать два человека из тех, кого арестовали 3 июня на Талке.

К десяти часам на площади перед управой было так же тесно, как и в первый день стачки, а рабочие все шли и шли. Большие толпы стояли за Приказным мостом, в переулках; даже на крышах торговых рядов виднелись люди.

Новый полицмейстер, наблюдая из окон за площадью, посоветовал губернатору:

— А не лучше ли, ваше превосходительство, во избежание всяческих неприятных осложнений отправить их за город, на их любимую Талку? Спокойнее, знаете, будет.

— Пожалуй,— быстро согласился Леонтьев.— И скажите, что я разрешаю им собираться на Талке сегодня и завтра. И чтобы никаких политических речей. Только пусть о своих нуждах.

— Речи будут, ваше превосходительство. Набаловались.

— Надо уметь иногда кое-что и не замечать, — наставительно разъяснил губернатор. — Мы об этом после поговорим. Идите объявите им мое разрешение.

Не прошло и получаса, как площадь опустела: все, кто был на ней, от мала до велика, с песнями, знаменами двинулись на Талку.

Через два дня губернатор повторил свое разрешение еще на два дня, потом еще и еще. Собрания на Талке, как и до расстрела, происходили ежедневно. «Университет» опять заработал в полную силу. Снова, словно из-под земли, появлялись лекторы и докладчики, фамилий которых никто не знал. Все чаще и чаще на большом лугу можно было видеть крестьян в лаптях.

В перерыв они устраивались где-нибудь в холодке, вынимали из котомок караваи хлеба. Было видно, что они пришли сюда не на день, не на два, а готовы прослушать весь «курс». Около крестьян часто видели «Отца», Балашова, Трифоныча. Приезжие лекторы нередко прямо с Талки отправлялись по шуйскому, тейковскому, кинешемскому трактам — читать лекции в деревне.

Казалось, не одну, а не меньше пяти подпольных типографий завели большевики. Листовки и бюллетень печатались многотысячными тиражами.

Губернатор Леонтьев умел иногда кое-что не замечать. Впрочем, к этому у него было много причин, а одна из них была весьма тревожной. О ней очень хорошо рассказал прокурору Чернявскому чиновник особых поручений Лисицкий:

— Как только этого депутата... как его... ну, Жигарева, выпроводили, его превосходительство дал телеграмму командующему Московским военным округом. Я ее лично шифровал. Его превосходительство просил дополнительно выслать драгун, гусар — одним словом, какой-нибудь кавалерии. Казаков не просил: казаки сейчас нарасхват; того гляди, и этих от нас заберут. Когда ответ пришел, я не знал, как его патрону показывать. Точно не помню, но смысл такой: вы, дескать, не понимаете обстановки и требуете войск, словно собираетесь атаковать Мукден. Управляйтесь наличными силами и больше кавалерии не просите. Вот так положение! Хуже губернаторского...

А тут еще одна гроза разразилась над Россией. Раскаты ее могучего грома докатились до самых глухих углов. В четыре часа утра 15 июня, выйдя из Тендровского залива, на рейде у Одессы стал на якорь броненосец «Князь Потемкин Таврический». Алый флаг призывно трепетал в голубом небе.

В Одессе ходили по рукам маленькие листовки:

«От команды броненосца «Князь Потемкин Таврический».

Просим немедленно всех казаков и армию положить оружие и соединиться под одну крышу на борьбу за свободу, пришел последний час нашего страдания, долой самодержавие! У нас есть уже свобода, мы действуем самостоятельно, без начальства. Начальство истреблено. Если будет сопротивление против нас, просим мирных жителей выбраться из города. По сопротивлению город будет разрушен».

Внизу вместо подписи значилось: «Печатано в типографии Одесской группы РСДРП».

Словно подтверждая грозное обещание, все башенные орудия броненосца повернулись к городу.

В одесском кафедральном соборе дьякон, дымя кадилом, гудел молитву за упокой души новопреставленных боярина Голикова и Гиляревского, прапорщика Левенцова, мичмана Григорьева, судового врача Смирнова и других убиенных. Собор был пуст.

Тысячи одесситов молча, обнажив головы, проходили по берегу моря мимо палатки, где лежал убитый старшим офицером «Потемкина» Гиляревским матрос Вакулинчук.

Горела в сложенных на груди матроса руках восковая свеча. Язычок пламени то замирал, склоняясь от тихого ветра с моря, то разгорался. Стоял почетный караул из рабочих, студентов, гимназистов. Росла и росла гора венков и цветов.

Было над чем задуматься губернаторам.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Группа дружинников «Станко» на рассвете разведывала лес около Талки. Парни внимательно осматривали каждый кустик— не притаился ли где шпик. Проверили все овраги, зашли в деревню Горино — не стоят ли там с вечера казаки, чтобы днем неожиданно окружить собрание.

Неразлучные кочегары с Куваевской Ефим Сучков и Алексей Мартынов, как всегда, шли вместе, беззлобно подтрунивая друг над другом. Сучков неожиданно дернул приятеля за рукав.

— Брось, Ефимка, не балуй!

— Смотри! — шепнул Сучков. — Кто это там лежит?

— Где? Не вижу.

— Смотри налево. Видишь ноги?

— Теперь вижу. Правда, ноги... Идем ближе.

— А может, не стоит? Обойдем.

— Я тебе обойду! Тоже мне дружинник! Я вот скажу «Станко», он тебе пропишет. Эй, дядя! Вставай!

Но ноги не шевелились. Мартынов подошел, наклонился над телом.

— Да ведь он мертвый. Ей-богу, мертвый! Совсем холодный. Давай, Ефимка, свисти ребят.

Сучков заложил в рот два пальца и пронзительно свистнул. Издалека ответили таким же свистом. Потом засвистели в разных концах леса и послышались голоса: «Куда?», «Кто свистел?».

Через несколько минут у трупа неизвестного собрались все разведчики.

— Я его знаю,— наклонившись над мертвым, сказал Костя Зыков. — Это Герасим Снегирев с Гандуринской. А живет он на Всехсвятской, в доме Лисина... Мы с ним вчера виделись, я еще ему махорки в банку отсыпал...

— Что мы с ним делать будем? — спросил Мартынов. — В город понесем или оставим? Надо бы «Станко» сообщить.

— А по-моему, надо в полицию заявить, — заметил более осторожный Зыков. — Может, он сам чего-нибудь с собой сделал... Его вскроют. И к нам цепляться не будут.

Оставив у трупа трех караульных, дружинники понеслись в город разыскивать «Станко», а Зыков пошел в полицейское управление.

Вскоре пожарная телега с телом громыхала к часовне при больнице для чернорабочих. Вечером тот же Зыков принес «Станко» выписку из медицинского заключения: «Смерть наступила от паралича сердца на почве голода».

«Станко» передал выписку «Отцу». Федор Афанасьевич долго молча смотрел на бумажку, потом вздохнул и сказал:

— Будь добр, разыщи Груню Николаеву.

* * *

Наташа вторую неделю жила у Груни. По совету Якова, она почти не выходила на улицу. Мать Груни, Марья Михайловна, еще в мае уехала к брату в деревню, поэтому Наташа целыми днями была в одиночестве. Она перечинила, заштопала Грунины кофточки и рубашки, до блеска отчистила старенький самовар. И все же свободного времени оставалось достаточно. Если бы не книги, которые ей приносили то Яков, то забегавший на одну минуточку Трифоныч, Наташа совсем бы завяла от тоски по Степану.

Как-то Наташа спросила Якова про Кручинина. Савватеев помрачнел и нехотя ответил:

— Умер, говорят... Одним словом, преставился.

Груня приходила поздно. Войдя, она сразу бросала на скамейку свою выгоревшую голубую косынку, стаскивала клетчатую кофточку и долго умывалась, приговаривая:

— Ай, как хорошо! Словно в раю побывала!

Потом она садилась за стол, ела сваренную подружкой картошку, пила кипяток и подробно рассказывала, где была за день, что делала, Наташа слушала, смотрела на ее загорелое лицо, маленькие руки и удивлялась:

— Господи, Грушенька, да как же ты все успела? Утром в Богородском была, в полдень в лавке, затем на Талке, а вечером на Хуторове.

— А я все бегом, — смеясь, ответила Груня. — Ноги у меня быстрые.

Но стоило Груне лечь на свою узенькую койку, и она тотчас же засыпала как убитая.

А вот сегодня Груня, придя домой, не шутила, не смеялась. Она торопливо умылась, молча села за стол. Наташа тоже притихла, ожидая какого-нибудь тяжелого известия о Степане.

— Покушай, Груня, — сказала Наташа, подвигая ей блюдо.

Груня взяла картошку и положила обратно.

— Не могу... В горло не идет, как вспомню...

— Что случилось?

— С голоду мрут... Талонов у нас больше нет. Деньги кон-

чились. Я сегодня к Вере Синцовой заходила. Она во вторник заявление подала о помощи. Детей у нее трое, муж умер, да еще бабка старая. Как живут — не знаю. Вера вся высохла... Девчонка у ней, последняя, Катька, четырех годов нет, совсем еще глупенькая, а она на нее кричит: «Не проси есть, нет у нас ничего!» А сама плачет, и Катька плачет. Не знают, где бы хоть трешницу раздобыть.

Наташа вздохнула:

— Деньги у меня есть, только не знаю, как их взять.

— Где они у тебя?

— На квартире. Когда в деревню поехала, я их за икону спрятала. Сто двадцать рублей. Если жандармы не нашли, так там и лежат.

— Я схожу, — сказала Груня. — Хозяйка ваша женщина порядочная, она пустит меня. А засаду там давно сняли, да я и не боюсь.

— А вдруг...

— Ничего не будет. Я сейчас же сбегаю. Посиди пока одна.

Груня быстро оделась и вышла. Наташа услышала, как она сказала:

— Дома. Я скоро вернусь.

В комнату вошли «Станко» и Яков. Наташа, увидев друзей Степана, взволнованно спросила:

— Как он там?

«Станко» рассмеялся:

— Вы, Наташа, каждый раз меня так спрашиваете, как будто я только что у него в гостях был.

— Про вас говорят, что вы даже через каменную стену можете пройти.

— Пустое говорят. А мы ведь за вами, Наташа. Собирайтесь.

— Куда?

— В Шую. Здесь вам оставаться нельзя: могут арестовать.

— Ну и пусть.

— Это не пустяк. Вам много присудят.

— Не за что.

— Они найдут за что. Обвинят вас, что вы Степану чужой паспорт отдали, — вот уже четыре года тюрьмы. Да укрывательство пришьют — еще два года. Они наберут лет на десять.

— А почему в Шую? Где же я там жить буду? Я никого не знаю.

— Там сейчас Трифоныч. Он теперь больше в Шуе, чем здесь. И самое главное — там есть очень хорошая женщина, Елена Васильевна Перевощикова. Муж ее, инженер, убит под Порт-Артуром. Вам Степан не рассказывал, как он весной девочку из реки вытащил?

— Нет, ничего не говорил.

— Девочка маленькая в реку с моста упала, а Степан ее

спас. Вот вы у Елены Васильевны и поселитесь. Будете вроде как горничная. Ничего, Наташа, привыкнете. Много еще у вас впереди всяких неожиданностей.

— Я что угодно вынесу, всю жизнь отдам, лишь бы он остался жив...

* * *

Груня не вошла, а вбежала и прямо с порога закричала, хлопая себя рукой по груди:

— Принесла, принесла! Все принесла, только хозяйке твоей дала два рубля.

Она достала сверток и положила на стол.

— Как ты их положила, так и лежали.

Наташа развернула деньги и подала Груне:

— Возьми, Груня. Они тебе нужнее, чем мне.

«Станко», увидев деньги, переглянулся с Яковом и спросил:

— Сколько тут?

— Сто восемнадцать рублей, — ответила Груня.

— Это ваши деньги, Наташа? — снова спросил «Станко».

— Степы...

— Очень хорошо. Вы их хотели отдать Груне? В фонд?

— Да.

— Спасибо вам. Но мы сделаем иначе. Груня, забирай пятьдесят в фонд. Завтра же преврати в талоны. Пятьдесят возьмем мы. Мы с Яшей прямо голову изломали, думая, где достать денег. Они нужны на побег Степана. Остальные, Наташа, берегите. Они вам скоро понадобятся...

«Станко» отсчитал пятьдесят рублей, потряс ими и весело добавил:

— Ну, Яша, теперь наше дело выгорит! Утром в Шую! Он за вами, Наташа, зайдет...

* * *

Трифоныч последнее время находился больше в Шуе. «Отец», сам побывавший в уездном городе, по возвращении предложил:

— У них там туго, нужных людей не хватает. Поживи в Шуе — временно, конечно. Павел Гусев ждет тебя не дождется.

Он дал Трифонычу явку в дом Личаева на 2-й Нагорной улице:

— Сам там жил. Надежное место. Хозяйка Александра Михайловна — свой человек.

«Отец» посмотрел на своего молодого друга поверх очков и развел руками:

— Только одно плохо: денег у меня для тебя нет.

«Отец» и Трифоныч получали из средств группы по десять рублей в месяц — почти столько же, сколько зарабатывала средняя ткачиха. На большую помощь они рассчитывать не

могли. Средства группы состояли главным образом из членских взносов. На десять рублей Трифоныч и «Отец» должны были питаться, платить за квартиру, приобретать себе одежду и обувь. Впрочем, об этом заботы было мало: «Отец» несколько лет подряд носил свои старенькие, поношенные брюки и пиджак. Он уже давно забыл, когда последний раз купил себе картуз, а две рубашки — синяя и черная — были все в заплатах.

«Отец» выдавал Трифонычу деньги в два приема — по пять рублей. Срок первой выдачи за июнь давно уже прошел, а денег в партийной кассе не было.

— Пробьемся как-нибудь? — спросил «Отец».

— Не беспокойтесь. Все будет отлично.

«Отец» открыл плоскую железную коробку.

— Всех капиталов у нас один рубль. Надо дать тебе на дорогу.

Он повертел в руках серебряный рубль и вышел в сени. Трифоныч слышал, как он сказал:

— Сбегай, Коля, разменяй.

Через пять минут хозяйкин сын принес медяки. «Отец» отсчитал девять пятаков:

— Возьми. Сорок одна копейка на билет до Шуи, а на остальные, как приедешь, хлеба купи.

— Спасибо.

В день, когда Груня выручила деньги Наташи, Трифоныч был в Иваново-Вознесенске. Он приехал сюда по двум очень важным делам. Во-первых, группа Северного комитета большевиков должна была решить вопрос, продолжать стачку или приниматься за работу, и во-вторых, надо было спасать Степана, которому — Трифоныч это знал твердо — грозила смертная казнь через повешение.

Поздоровавшись с «Отцом» и поговорив о делах, Трифоныч подал ему сорок одну копейку.

— Что за деньги? — спросил «Отец».

— Помните, на билет мне давали? Они у меня остались. Пришел на станцию, смотрю — товарный в Шую отправляют, а машинист Ветров. Я с ним на паровозе бесплатно доехал.

— А обратно?

— Пешком... Уж очень погода хорошая. Погулял с удовольствием.

«Отец» одобрительно хмыкнул, снова полез за своей коробкой и отсчитал четыре рубля шестьдесят копеек.

— Стало быть, теперь за вторую половину мы с тобой в расчете.

— Полностью... Федор Афанасьевич, а у вас самого деньги есть?

— Есть... Если бы и не было, тоже не беда. Я тут дома, среди своих, а ты в Шуе...

Вскоре собрались все члены группы, и заседание началось.

— Вы все видите и ежедневно наблюдаете, как хорошо началась и проходит наша забастовка, — начал «Отец». — Но пришла пора всерьез подумать, как ее закончить. Народ устал, изголодался, денег у нас нет. Все, кто мог нам помочь, помогли. Больше помогать нам некому. Есть случаи голодной смерти. Особенно трудно многодетным... Но кончать стачку завтра, послезавтра пока нельзя. Нам известно, что фабриканты Грязнов и Щапов согласны идти на уступки. Хотят уступить на заводе у Мурашкина, у Жохова, в типографии Дилегенского. Значит, торопиться нам не след. Но народу тяжело, трудно. Надо нам все взвесить, обдумать. И еще одно: от верных людей стало известно, что губернатор Леонтьев и Свирский обратились к министру внутренних дел с просьбой, чтобы тот воздействовал на фабрикантов — убедил пойти на уступки. И еще известно: министр финансов Коковцев обещал оказать на фабрикантов давление. Конечно, и наши местные власти, и министры начали вроде заступаться за нас неспроста, не по душевному к нам расположению. Побаиваются как бы еще новый «Потемкин» не объявился.

— А что обещает Грязнов? — спросил Трифоныч.

— Десятичасовой рабочий день. Тем, кто получал от восьми до девяти рублей в месяц, прибавить по три рубля, кто получал десять — два с полтиной. Гарантирует один и тот же заработок зимой и летом, выдавать по рублю квартирных каждый месяц, оставить один срок найма, с пасхи до пасхи, и никого из бастовавших не увольнять. Такие же уступки обещает Щапов. И еще женщинам во время родов месяц отпуска с пособием в три рубля.

Совещание затянулось до полуночи. После долгих споров и обсуждений стачку решено было продолжать.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Смелый план побега Степана, задуманный Трифонычем и «Станко», родился в последние дни, после того как стало известно, что бывшего гвардейца срочно должны отвезти во Владимир, а оттуда уже в Петербург — для предания военному суду. О побеге из Иваново-Вознесенской тюрьмы, а тем паче из Владимирской нечего и думать. Там были высокие ограды, тюрьмы хорошо охранялись; вдобавок на прогулки Степана не выпускали. Бежать, следовательно, надо было только на пути из Иваново-Вознесенска в губернский город.

Одиночных арестантов во Владимирскую тюрьму, как правило, перевозили в общих пассажирских вагонах третьего клас-

са, занимая для них отделение. Наиболее серьезных, по мнению начальства, заключенных сопровождали три, а иногда и четыре конвойных. Несомненно, что Степана должны были охранять крепче. «Станко» сначала предложил купить не менее двадцати билетов, посадить в вагон, в котором повезут Степана, дружинников и где-нибудь за Шуей напасть на охрану. Трифоныч, подумав, решительно забраковал этот проект.

— В вагоне могут оказаться еще пассажиры. Одних в перестрелке можно будет нечаянно поранить или даже убить, а другие, кто их знает, окажутся на стороне охраны.

Трифоныч предложил другой план. В вагон сядут десять дружинников, но только на крайний случай. Степану надо передать железнодорожный ключ и известить, чтобы он на перегоне между Шуей и станцией Лодыгино, в первом часу ночи, вскоре после того как поезд отойдет от Шуи, попросился в уборную. Машинист в это время замедлит ход. Все остальное будет зависеть от находчивости и ловкости Степана. Соскочив с поезда, он должен идти назад, к Шуе. На переезде его будут ожидать дружинники.

Передать ключ в тюрьму — значило провалить все дело. Его могли обнаружить при обыске, и тогда бы рухнул весь план. Поэтому ключ, а вместе с ним заряженный револьвер решено было заранее положить в уборной между стенкой и унитазом.

У «Станко» везде были свои люди. Из трех машинистов, которые могли повести поезд, двоим — Семенову и Горбунову — «Станко» доверял как родным братьям. Положить ключ и револьвер взялся осмотрщик вагонов Лаптев. Для самого трудного — передать Степану письмо с подробным планом побега и установить день выезда — «Станко» решил использовать тюремного надзирателя Телегина, отличавшегося необычайной жадностью и трусостью.

Надзирателя зазвали в гости, хорошо угостили и пообещали заплатить за все сто рублей. «Станко» повертел у него под носом кредитками:

— Полсотни задаток, расчет через неделю.

— А не обманете?

— Новенькими отсчитаем.

— Может, фальшивыми?

— Не занимаемся.

Телегин помял деньги в руках, вздохнул и согласился:

— Все равно в ад попаду. Семь бед — один ответ. Готовьте остальные.

«Станко», в свою очередь, сурово намекнул:

— Подведешь — не обессудь. Парни у нас решительные: не ровен час, подстрелят...

Старик, пряча деньги, серьезно, без тени улыбки, ответил:

— Деньги шуток не любят. Я даром их не беру.

* * *

Ротмистр Левенец сначала никак не мог понять, почему его коллега Шлегель так легко отказался вести дело беглого кавалергарда.

— Непонятно! — делился с женой Левенец. — Словить такого зверя и отдать потрошить его другим! Чудовищно! Дело верное. За него меньше Анны второй степени не дадут.

Левенец не знал, что Шлегель при всем его желании получить Анну на шею и прослыть среди высшего жандармского начальства опытнейшим и ловким слугой престола не мог больше разговаривать со Степаном. Когда Важеватов, и он же, как значилось в деле, Никитин, входил на допрос и вставал, заложив руки за спину, Шлегель в ту же секунду терял всю свою выдержку. На все, казалось, самые каверзные вопросы арестант неизменно отвечал: «Ничего не знаю» — или попросту молчал, усмехаясь в бороду, отросшую в тюрьме.

Шлегель заставлял его на допросах стоять по многу часов. Это не дало никаких результатов. Важеватов, изредка переставляя ноги, советовал ротмистру:

— Я вижу, вы устали, ваше благородие. Взяли бы да и полежали. А я постою.

Однажды ротмистр, совсем потеряв голову, подскочил к бывшему гвардейцу и замахнулся кулаком, а тот даже не отодвинулся и только предупредил:

— Уберите руки, ваше благородие! Ваше дело допрашивать, а бить меня палач связанного будет. Вас я ненароком зашибить могу.

И Шлегель понял: ничего не выйдет, лучше не ставить себя в дурацкое положение перед заключенным и, самое главное, перед начальством. После очередного недолгого допроса он сочинил в Петербург бумагу и, сославшись на перегрузку местными делами, попросил забрать дезертира. Ответ пришел быстро. Главный военный прокурор Философов предлагал доставить опасного государственного преступника Важеватова в распоряжение Главного военного суда.

Отправка была назначена на вторник 28 июня с вечерним поездом.

* * *

Небольшой особняк вдовы инженера Елены Васильевны Перевощиковой в тихом, обсаженном столетними липами переулке знала большая часть интеллигенции города Шуи. Здесь нельзя было встретить директора или инспектора мужской гимназии, носившей длинное название: «имени его императорского высочества, наследника цесаревича, великого князя Алексея Николаевича». Директор и инспектор сводили разго-

воры к проповеди наказания как самого разумного метода воспитания. Не заглядывал сюда и адвокат Засыпкин, любитель лошадей и собак. Но зато здесь, особенно в каникулы, можно было встретить студентов. Сюда любили заглядывать молоденькие учительницы. И в то же время дом Перевощиковой не обходил стороной городской голова Китаев, заезжал на минуту уездный предводитель дворянства, брат известного поэта Бальмонта.

Одних в этот дом влекла возможность встретить веселую компанию, других — отличные закуски и выдержанные крепкие настойки. И никто из завсегдатаев не имел даже понятия о том, что иногда в особняк попадали гости совсем иного образа мыслей. В задней комнате уютного особняка однажды две недели прожил и потом никем не замеченный скрылся бежавший из ссылки социал-демократ Иван Дубровин. И, конечно, ни городской голова Китаев, ни Бальмонт не догадывались, что в гостиной кадка для пальмы, под которой они любили поспорить о разных разностях, была покойным инженером сконструирована с двойным дном, и в ней однажды хранился типографский шрифт...

Елена Васильевна не разбиралась в тонкостях политики и, чего греха таить, слабо различала, кто такие большевики и кто меньшевики. Но она помнила завет мужа, когда-то начавшего свою сознательную жизнь строительным рабочим: помогать всем гонимым и преследуемым. И она помогала, чем могла.

Когда ее попросили укрыть на время невесту человека, спасшего жизнь ее дочери, она, не раздумывая, сказала:

— Господи! Я за него молюсь каждый день!

Узнав, что невеста — тезка ее дочери, она окончательно растрогалась:

— Боже мой! Какое счастливое совпадение!

Увидев Наташу, Елена Васильевна сразу сказала:

— Нет, нет. Выдавать ее за горничную я не согласна... Она будет моей кузиной, благо их у меня хоть пруд пруди.

В тот же вечер она достала из сундуков свои девичьи платья, слегка подправила их согласно моде, и новая обворожительная кузина прелестной мадам Перевощиковой была представлена самому городскому голове.

Попозднее, когда расходились последние гости, хозяйка и «сестрица» усаживались на диванчик и подолгу беседовали. Наташа рассказывала о Петербурге, вспоминала своих близких и, конечно, без устали говорила о женихе. Елена Васильевна слушала и, вздыхая, говорила:

— Счастливые! Молодые, любите друг друга и такому делу служите. А я вот не могу, привыкла к моей праздной жизни... Скучно мне, Наташа!

Ночью на 30 июня они обе вздрогнули от негромкого неожиданного стука в окно, выходящее в сад. Елена Васильевна

осторожно подошла к окну. Наташа стояла бледная, с широко раскрытыми глазами, полными тревожного ожидания.

— Кто тут? — спросила Елена Васильевна.

— Свои, — ответил мужской голос.

— Подождите. Сейчас открою.

Елена Васильевна вышла в кухню и открыла черный ход. Наташа смотрела на нее, как лунатик.

Сначала в кухню вошел молодой рабочий, потом шагнул Яков Савватеев.

— Давай входи, — пригласил он.

И вошел Степан. Наташа молча припала к его широкой груди. Елена Васильевна задернула занавеску. Яков ласково сказал:

— Ну, вот и свиделись.

* * *

— Рассказывай, Степа, рассказывай! И ты сразу все нашел?

— Все. Револьвер в левую руку, ключ — в правую. Вышел из уборной, а конвойный, видно, про поезд говорит: «Еле тащится!» Смотрю — дверь в вагон закрыта. Я револьвер на конвойного наставил и шепчу: «Молчи! Убью!» Солдатик молоденький, неопытный. От неожиданности, совсем как цыпленок, рот раскрыл. Я дверь открыл, на площадку выскочил и сразу ту дверь, что в вагон ведет, захлопнул — и на ключ... Солдатик закричал, но уже поздно: я в это время наружную дверь отомкнул. И как это у меня получилось, даже не знаю. Уж очень ловко я ключом орудовал! Когда прыгал, как будто стреляли, а может, мне показалось. Поднялся, смотрю — только фонарики у поезда видны. Летит, как курьерский.

— На днях опять путешествие предстоит, — сказал Яков. — Только не прыгать с поезда будешь, а на ходу вскакивать...

— Зачем?

— Насчет тебя долго советовались. «Отец» и Трифоныч советуют тебе уехать отсюда подальше. Хотят в Москву направить.

— Я не поеду. Я здесь буду жить.

— Чудак человек! Что тебе, жизнь не дорога? Если бы ты был не такой приметный, а то вымахал чуть не выше телеграфного столба. Тебя здесь очень легко поймать, а в Москве ты больше пользы принесешь.

— А как же я? — сказала Наташа.

— И о тебе решили, — ответил Яков. — Поживешь немного, потом, когда Степа устроится, поедешь к нему.

— Опять, значит, врозь...

— Что ж поделаешь, моя родная... Будет когда-нибудь и на нашей улице праздник.

* * *

Через несколько дней Трифоныч утром принес Степану новый паспорт. Отдавая его, сказал:

— Привыкай, Степа, к новой фамилии. Теперь ты Иван Корнеевич Железнов, родом из города Алатыря.

На вопрос Степана, что происходит в Иваново-Вознесенске, Трифоныч протянул ему листовку:

— Последняя. Из нее все узнаешь.

«Товарищи, — читал Степан, — стачка кончилась. Мы опять принимаемся за свой тяжелый труд. Фабриканты ликуют: они думают, что сломили нашу солидарность; они думают, что победили, что мы сдались, считая себя побежденными. Но так ли, товарищи? Побежденными ли мы возвращаемся на наши фабрики и заводы, могут ли наши враги торжествовать свою победу? Нет, товарищи, ошибаются наши враги, рано торжествуют свою победу. Товарищи, пусть малого мы добились. Пусть не все наши требования удовлетворены. Но зато пусть всякий себя спросит, что было до забастовки и что теперь. Не сплотила ли она нас, показав, какую силу мы представляем, если мы действуем дружно?

Товарищи, многому другому научила нас Талка.

Разве не прозрели мы там, разве не пробудились, разве не увидели ясно, кто держал нас до тех пор в темноте и кому выгодна наша темнота? Разве не увидели мы, кто помогает нашим врагам — хозяевам, разве не увидели мы, для чего нужны царю войска и полиция, и чьи интересы они защищают, и против кого он посылает наших мужей, братьев, сыновей?

Многому научила нас эта забастовка.

Поняли мы, что при теперешних порядках мы никогда не сможем улучшить свое положение, никогда не сможем бороться с капиталистами. Мы поняли, что власть находится у царя, который только и думает о капиталистах. Он даже разрешил караул поставить около фабрик и домов хозяев, часовые охраняют фабрикантов, как царей. Вот, товарищи, для чего нужна армия правительству.

Товарищи, до тех пор мы не сможем улучшить наше положение, пока не будет политической свободы, пока политическая власть не перейдет ко всему народу.

Поэтому забастовка научила нас требовать: «Долой самодержавие!» и «Да здравствует демократическая республика!» Забастовка показала нам также, что добиваться политической свободы нужно с оружием в руках.

Боритесь до тех пор, пока не добьемся такого порядка и строя, когда не будет ни богатых, ни бедных, когда фабрики, заводы и земля не будут принадлежать кучке паразитов и богачей. Тогда все фабрики, земля и заводы будут принадлежать всем, все одинаково будут трудиться и одинаково делиться плодами своего труда...»

Трифоныч смотрел на Степана и, когда он кончил читать листовку, спросил:

— Понял?

— Все понял. Будем, стало быть, копить силы...

Вечером Степан уезжал. Чтобы не мозолить глаза станционным жандармам, было решено посадить его на паровоз товарного поезда, который вел в Новки машинист Горбунов. При выезде из города Горбунов обещал замедлить ход.

За полчаса до прихода поезда они сели на скамейке около земской больницы. Яков, поглядывая в сторону вокзала, сказал:

— Ну вот, Степа, опять у тебя начинается новая жизнь,

От вокзала донеслась песня:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

— Хорошо поют! Запретную! — сказал Яков.— И не боятся.

К ним подошли молодые парни, те, что шли с песней от вокзала. Поравнявшись, один из них по-военному отрапортовал:

— Все в порядке, Яша. Через пять минут отойдет. Посадка будет вон у того столбика.

Степан сразу узнал своих старых знакомых — Василия и Силантия.

— Ребята, и вы здесь? Каким ветром занесло?

Василий охотно объяснил:

— Мы в Шую теперь перекочевали, поближе к Трифонычу. Спать не дает, с ним весело... Будь здоров, товарищ Никитин. Мы пойдем посмотрим, как бы архангелы-херувимы из полицейского управления не появились.

Яков успел рассказать:

— Силантий еще не вступил, а Василия в партию уже приняли. Агитатор из него получается замечательный. Хотим в деревню послать.

Послышался паровозный гудок.

— Отошел. Сейчас будет здесь. Идем, Степа, поближе...

Из-за больницы быстро вышел человек. Он оглянулся и направился к ним.

— Это Трифоныч! — удивился Яков. — Не выдержал...

Подбежав, Трифоныч торопливо объяснил:

— Думал, что опоздаю. Захотелось тебя еще раз повидать.

А поезд уже рядом.

— Ну, Степа, будь здоров!

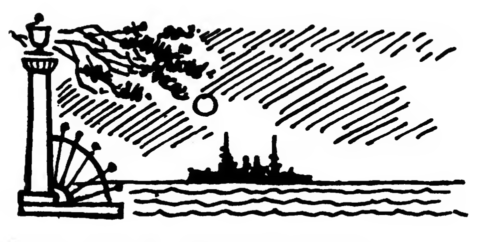
Трифоныч крепко пожал руку другу, потом обнял его и поцеловал.

— Встретимся. И не раз...

— Обязательно, дорогой ты мой... До свиданья.



ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ



КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Председатель комитета министров Российской империи граф Сергей Юльевич Витте проснулся в собственном доме на Каменноостровском проспекте, как всегда, ровно в восемь часов. Он подошел к окну, сам потянул за толстый шелковый шнур и раздвинул штору. Стоял октябрь, но утро было совсем не петербургское — ясное и, очевидно, теплое. Вошел камердинер и, протянув поднос с газетами, сказал:

— С добрым утром, ваше сиятельство!

Петр еще не привык к новому, недавно пожалованному титулу хозяина, и «ваше сиятельство» произносил торжественно, с заметным удовольствием.

— Спасибо, Петр.

Витте перебирал газеты, отыскивая «Новое время», с этого он всегда начинал свой рабочий день.

— Как телефон?

— Не действует, ваше сиятельство. Последний звонок был в шесть часов.

— Кто звонил?

— С телефонной станции. Предупредили, что они тоже забастовали.

— Где «Новое время»?

— Не принесли, ваше сиятельство. Говорят, не вышло сегодня.

— Ванну, надеюсь, можно принять?

— Воды нет, ваше сиятельство. Для кухни взяли у соседей, из артезианского колодца...

— Иди.

Камердинер вышел. Граф принялся за газеты: «Санкт-Петербургские ведомости», «Гражданин», «Петербургская газета», «Новости», «Биржевые ведомости».

«Гражданина» граф почти никогда не читал и выписывал,

так сказать, для порядка, зная, какой необъяснимой любовью царя пользуется его издатель князь Мещерский. Каждый раз, взглянув на заголовок «Гражданин», Витте вспоминал, как он, будучи министром финансов, попытался однажды протестовать против ежегодной выдачи князю Мещерскому восьмидесяти тысяч рублей из казенных сумм на поддержание его никому не нужного печатного органа. Из протеста ничего не вышло. Князь получил субсидию, а у Сергея Юльевича прибавился при дворе еще один опасный недруг.

Витте взялся за московские газеты.

Либеральные «Русские ведомости» граф последнее время читал с особенным вниманием: редакция не скупилась на затраты и любыми способами добывала информацию о положении в стране.

Витте мельком просмотрел пестревшую объявлениями последнюю страницу. В самом верху бросающимися в глаза буквами значилось: «А. Я. Таубе возвратился из-за границы». Это назойливое извещение появлялось в газете не впервые. Вчера граф Витте приказал Петру узнать, кто этот господин Таубе, сообщающий о своем прибытии с таким упорством.

— Петр! Ну что, узнал?

— Так точно, ваше сиятельство, узнал. Альберт Янович Таубе. Профессор оккультных наук, доктор черной и белой магии, совершеннейший предсказатель во всех делах: торгово-коммерческих, семейно-любовных и прочих...

— Довольно. Иди.

Все было ясно. А. Я. Таубе просто извещал о своем возвращении многочисленную клиентуру. Удивляться спросу на знатоков потустороннего мира не приходилось. Что можно было спрашивать с обыкновенных верноподданных, когда только вчера самый ближайший родственник императора Николая Второго, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, его императорское высочество великий князь Николай Николаевич младший всерьез уверял графа, что он, князь, с помощью блюдечка и алфавита всю ночь советовался с блаженной памяти в бозе почившим императором Александром Первым по самому животрепещущему вопросу: даровать России конституцию или воздержаться.

За примерами можно было подняться еще выше — к самой государыне императрице всероссийской Александре Федоровне. Готова день и ночь сидеть с доктором никому не известных наук Филиппом и слушать всякую мистическую чепуху.

Граф торопливо пробегал длинные столбцы:

«Клин. Сюда проездом из Москвы в Петербург прибыл министр путей сообщения князь М. И. Хилков. В беседе с нашим корреспондентом министр сообщил, что весь путь от Москвы до Клина он самолично вел паровоз, так как все машинисты бастуют».

«Еще бы ему не вести паровоз, в Америке обучился», — подумал Витте и снова погрузился в чтение.

«Москва. Городские электростанции предупредили, что подача электротока прекращена на неопределенное время. Вчера усилился спрос на керосин и свечи. Свечи раскуплены. С полудня прекратилась подача в город воды. Для булочной Филиппова воду брали в банях Стрельцова, в Чернышевском переулке».

«Москва. Ввиду того что поезда не ходят, между Москвой и Тверью, Москвой и Владимиром, Москвой и Тулой пущено сообщение дилижансов».

«Самара. Сегодня забастовала Самаро-Златоустовская железная дорога. Правление дороги закрыто».

«Екатеринослав. Город в темноте. Все стоит. Телеграф не работает».

«Харьков. Разгромлен оружейный магазин. Все стоит. На улицах красные флаги».

«Калиш. Все стоит».

«Ярославль. Все стоит. Разрывом самодельной бомбы убит гимназист».

«Симферополь. На железнодорожных путях сняты все стрелки. Стрелки сняты и в Севастополе. Все стоит».

«Саратов. Все стоит. На улицах темно».

«Петербург. Сегодня с вокзала Николаевской железной дороги отошел только один севастопольский поезд в составе одного паровоза, одного товарного вагона и одного вагона первого класса. Паровоз вели унтер-офицерские чины железнодорожного батальона. Поезд дошел только до станции Петербург-II, так как на пятой версте разобрано полотно, где собралась семитысячная толпа рабочих Александровского вагоностроительного и Обуховского сталелитейного заводов. Произошел митинг».

«Москва. На Московско-Курской и Нижегородской поезда не ходят. Иногородним пассажирам, которым по воле забастовщиков приходится находиться в Москве, правление дороги распорядилось выплачивать на пропитание едущим в первом и втором классах по одному рублю, в третьем классе — по полтиннику».

Граф отложил в сторону «Русские ведомости», повертел в руках «Биржевку», решительно встал и, бормоча «все стоит, все стоит», открыл дверь:

— Петр! Одеваться.

* * *

Пост председателя комитета министров считался в Российской империи самым высшим, но это совсем не означало, что человек, занимавший эту высокую должность, обладал наи-

большей после царя государственной властью. Хотя все министры и входили в состав комитета, но они подчинялись не председателю, а непосредственно царю. Председатель комитета не имел даже права отменять решений министров и не мог требовать, чтобы министры согласовывали с ним свои распоряжения.

Два года назад Витте, бывший в то время всесильным министром финансов, был неожиданно для него назначен председателем комитета министров. Он понял это как почетную отставку и стал терпеливо ждать, когда его призовут к настоящему делу. Ждать пришлось недолго. Хотя Николай Второй не любил людей умнее и образованнее себя, но он все же вынужден был обратиться к Витте. Осенью 1903 года Витте неофициально, как частное лицо, отправился по поручению царя во Францию для секретных переговоров о займе. В Париже он несколько раз встречался с главой банкирского дома Ротшильдов — бароном Альфонсом Ротшильдом, семидесятипятилетним старцем, слово которого было законом для многих королей и императоров.

Как ни старались придворные противники Витте оттеснить его от участия в государственных делах, царские поручения, одно сложнее другого, посыпались на него. Он посылался в Германию заключать торговый договор, подготавливал новые законодательные акты. Летом 1905 года Николай назначил Витте главноуполномоченным по ведению мирных переговоров с Японией, и он отбыл в Америку. Витте не только подписал мирный договор, но успел повидаться и подружиться с президентом Соединенных Штатов Америки Рузвельтом, повидаться с миллиардером Морганом и заручиться его согласием предоставить заем России. На обратном пути в Петербург Витте посетил президента Французской республики Лубе и германского императора Вильгельма Второго.

Дома, в Петербурге, его ждала высокая награда: за услуги, оказанные отечеству и престолу, царь возвел Витте в графское достоинство.

В тот же вечер в бочку меда недруги подложили ложку дегтя. Блестящий гвардейский офицер доставил в дом новоиспеченного графа большой пакет, предупредив дежурного чиновника, что пакет прислан из дворца и его надо вручить графу немедленно. Вскрыв пакет, Витте извлек из него кусок блестящего бристольского картона, на котором печатными буквами, аккуратным готическим шрифтом значилось:

«Глубокоуважаемый Сергей Юльевич! Неисчислимы заслуги Ваши за последнее время. Но труды Ваши оценены недостаточно полно. Возводя вас в графское достоинство, забыли присвоить Вам наименование. В свое время разбойник Ермак получил звание князя Сибирского. Потемкин за благоустройство Крыма стал именоваться Таврическим. Вы, подписавший по-

зорный мир и отдавший японцам Порт-Артур и половину Сахалина, никакого наименования не получили. Исходя из этого, повелеваем Вам отныне именоваться графом Полусахалинским. В соответствии с этим званием закажите себе новый герб».

Подписи не было, но и без нее Витте знал, кто мог сочинить этот пасквильный рескрипт. Большим мастером на подобные штуки давно слыл князь Урусов, люто ненавидевший Витте и пользовавшийся самыми горячими симпатиями генерал-губернатора Петербурга, товарища министра внутренних дел генерала Трепова, большой приятель князя Мещерского.

Привыкший за многие годы придворной жизни ничему не удивляться, знавший все дворцовые и правительственные сплетни и интриги, Витте спокойно положил пакет в сейф. Сейчас было не до расследования мелких уколов самолюбию.

Российский императорский двор в этот год напоминал старый, дырявый корабль, несущийся в шторм по безбрежному морю. Ветер все крепчал и крепчал, грозился перейти в ураган, а на капитанском мостике, где по правилам полагалось стоять отважному, спокойному капитану, метался из стороны в сторону трусливый, слабовольный правнук Николая Первого, унаследовавший от прадеда лишь глупую жестокость и коварство.

Опасность усугублялась тем, что старшие офицеры у капитана корабля особыми качествами не отличались. С января сверхпочетное место занял Трепов. В ближайших советниках числились обер-прокурор святейшего Синода Победоносцев, престарелый граф Сольский, министр внутренних дел Булыгин, больше всего на свете боявшийся своего товарища министра Трепова. За ними шли дяди и тети, братья и сестры, племянники и племянницы, древние старцы и ловкие льстецы. Каждый, причисленный ко двору, имел возможность дотянуться до казенного пирога, и каждому хотелось откусить как можно больше.

И все вместе со страхом прислушивались к бушующему шторму: а вдруг не выдержит старая посудина, и все, кто есть на ней, вместе с капитаном и подручными, пойдут ко дну.

Одни требовали введения чрезвычайного положения и самых крайних, решительных мер. Другие вспоминали не только о кнуте, но и о прянике — советовали кинуть подданным с царского стола какую-нибудь мелочишку, хотя бы намек на свободу. В августе выкинули первую подачку — совещательную Булыгинскую думу, рассчитывая, что она, как вылитое в волны масло, утихомирит взбаламученное море ненависти и гнева. Но шторм не утихал. О Булыгинской думе с насмешкой писали даже правые газеты; в кафешантанах пели непристойные куплеты.

Сделали заискивающий жест перед интеллигенцией и учащейся молодежью: издали указ об автономии университетов. Указ разрешал профессорам выбирать ректоров; студентам по-

зволялось собираться и обсуждать свои чисто учебные дела, не отклоняясь, однако, в политику. Ректором Московского университета избрали единогласно ординарного профессора истории князя С. Н. Трубецкого. Во дворце облегченно вздохнули: слава богу, выбрали все-таки не какого-нибудь нигилиста, а титулованного, древнего рода. Но события заставили полеветь даже князя. Новый ректор оказался хуже, чем предполагали, и потребовал демократических свобод, и даже заикнулся о конституции. Еще хуже повели себя студенты: на сходки, разрешенные только для них, начали приглашать рабочих. На первой сходке изящные молодые люди в щегольских мундирах на белой атласной подкладке пытались прочитать благодарственный адрес на высочайшее имя и затянули: «Боже, царя храни...» Парни в синих косоворотках стаскивали их с трибун, сами становились на их место и настойчиво, убедительно доказывали, что спасти Россию может только созыв Учредительного собрания. На следующие сходки белоподкладочники являться уже не посмели. В актовом зале загремело: «Долой самодержавие!»

События в Московском университете взволновали сиятельнейший Санкт-Петербург. Нового ректора потребовали для отеческого внушения к министру просвещения генерал-лейтенанту Глазову. Министр по-фельдфебельски рявкнул на князя. Трубецкой не вынес такого грубого обращения и скоропостижно скончался тут же, в приемной министра. Смерть первого выборного ректора Московского университета произвела впечатление на всю страну. Было время, когда каждая новая жертва деспотического произвола волновала сердца. Петербург устроил Трубецкому торжественные похороны. На всем пути от клинического института имени великой княгини Елены Павловны на Кирочной улице до Николаевского вокзала стоял народ. Агенты охранки донесли шефу жандармов, что рабочих за гробом шло значительно больше, чем студентов.

Николай, просмотрев всеподданнейший доклад шефа жандармов, написал на полях: «Довольно странно!»

Проводив гроб на вокзал, демонстранты с пением революционных песен прошли по Невскому. У Казанского собора после речей запели «Вы жертвою пали». У Полицейского моста звучала «Марсельеза», через Дворцовый мост шли под «Варшавянку».

К университету подошли ночью. Горели факелы, алые знамена казались темными, но, когда на них изредка падал свет электричества, они пламенели.

В Москве гроб с телом Трубецкого встретила многотысячная толпа. Белоподкладочники долго искали охотника нести венок от Николая Второго с надписью: «Доблестному гражданину», но так и не нашли. Наконец уговорили какую-то темную личность за неслыханную цену: двести рублей и новый костюм. Костюм дали: нельзя же было нести венок от императора в

рваных штанах. Оборванец тут же попросил сто рублей задатка. Процессия двинулась. Впереди несли огромную пальмовую ветвь, перевитую алой лентой. Пройдя площадь, личность швырнула венок на мостовую: «Не понесу я венок от всякой сволочи!»

В сентябре началась московская стачка. Ее начали булочники Филиппова и служащие типографии. Вскоре бастовала вся Москва, а за ней вся Россия. Бастовали рабочие, студенты, банковские служащие, аптекари, извозчики. Бастовали железнодорожники, учителя, адвокаты и судьи. Забастовали даже студенты Московской духовной академии и требовали, чтобы и на них распространился указ об автономии университетов. Ректор академии протоиерей Смирнов сообщил вольнодумцам, что светские распоряжения на слуг господних не распространяются. Он не стал даже пускаться в излишние дебаты, а попросту лишил будущих ревнителей церкви обедов и запретил отцу келерю выдавать керосин для освещения спален.

Голодные богословы распевали в темноте «Гаудеамус игитур».

В эти дни из румынского порта Констанца доставили броненосец «Князь Потемкин Таврический». Царским указом он был переименован в «Пантелеймона». Но дух мятежного корабля жил. В матросских кубриках, в солдатских казармах находили листовки и прокламации, начинавшиеся одним и тем же призывом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Скончался великий физиолог Иван Михайлович Сеченов. Прошел слух, что тяжело заболел Лев Толстой. В иное время это были бы события первостепенной важности, а сейчас и они прошли незаметно. В эти дни и почитатели науки, и поклонники изящной словесности, и даже актеры больше всего на свете интересовались политикой.

Со всех концов необъятной империи в столицу, к царю и его близким, стекались тревожные вести.

Тогда, откинув мысль о пряниках, с еще большим ожесточением взялись за кнут. Но политика кнута и пряника не помогла. Забастовки, крестьянские бунты подавлялись со звериной жестокостью. Стреляли в рабочих и студентов, до смерти пороли мужиков. Бастовали все новые и новые фабрики и заводы, пылали барские усадьбы.

Нужны были чрезвычайные меры. Российскому императорскому дому нужен был новый спаситель. Эту трудную роль поручили графу Витте.

* * *

Перед завтраком Витте зашел в кабинет, посмотрел вчерашние записи в листке настольного календаря: «В два часа Меньшиков, в три — П. Н. Дурново». Меньшиков — видный сотруд-

ник «Нового времени», Дурново — товарищ министра внутренних дел, директор департамента полиции, — люди самых различных общественных положений, а говорят об одном и том же. Меньшиков принес с собой проект манифеста о конституционных началах, а Дурново уверял, что главное сейчас — убрать Трепова с его замашками Держиморды: «Если не уберем, доживем до величайших ужасов».

Витте машинально перевернул назад листок календаря. На позавчерашнем дне значилось: «Убит Г. В. Гагарин».

Граф перекрестился: «Господи, помяни душу усопшего раба твоего!..» Вызвали князя с курорта — хотели назначить товарищем министра внутренних дел. Не доехал. На станции Грязи убили в буфете. Сколько их, насильственно убиенных: министр просвещения Боголепов, министр внутренних дел Сипягин, еще министр внутренних дел Плеве. Положим, этого не жаль, так ему и надо, покойнику, — интриган, немало крови испортил Сергею Юльевичу Витте. А сколько убито губернаторов, не говоря уже о земских начальниках и становых. Боятся назначения в министры. На днях передавали, как барон Шернваль-Валлен на предложение занять пост товарища министра юстиции ответил: «Во-первых, у меня дети, а во-вторых, хочу умереть естественной смертью...»

Размышления графа перебил Петр. Он постучал и кратко доложил:

— Ждут!

Витте поднялся. Супруги он побаивался: она не терпела, если он опаздывал. Кофе полагалось пить вместе.

Витте любил утренние встречи с женой. Когда-то, в спокойные годы, приятно было за кофе побеседовать о дочери, о предстоящей поездке в Биарриц, где хозяев ждет уютная собственная вилла. С женой — верным другом долгой жизни — можно было говорить обо всем не опасаясь. Она не хуже его самого разбирается во всех придворных тонкостях и отношениях между высшими правительственными лицами. У обоих есть любимая тема: оба с одинаковым презрением относятся к государыне императрице, оба невысокого мнения и о помазаннике, ныне царствующем милостью божьей, и оба в то же время убежденные монархисты, искренне верующие, что без августейшего монарха начнется на святой Руси такая свистопляска, что и им, верноподданным, не сносить головы. Конечно, не мешало бы на время слегка ограничить власть самодержавного монарха, пока не утихнет смута.

Об этом и шла речь за кофе. Слуг нет, говорить можно не стесняясь.

— Пойми, моя дорогая, кто его окружает, кто на него влияет. Трепов! Помнишь, я тебе рассказывал? Привезли тело покойного императора Александра Третьего в столицу. Настроение соответствующее, столь скорбное событие... На Невском вдруг

слышу: «Смирно!» Смотрю, молодой ротмистр при приближении гроба скомандовал своему эскадрону: «Голову направо, смотри веселей!» Я тихонько спрашиваю министра внутренних дел: «Кто этот дурак?» Он мне в ответ: «Трепов!»

Графиня знает рассказ наизусть, но и сейчас слушает с удовольствием.

— Вот кто на него влияет! Трепов все-таки свитский генерал, а этот полковник от котлет князь Путятин! Мошенник, каких мало. Притворщик, ханжа, комедиант. Недавно самолично покрывало для раки с мощами Серафима Саровского расписал. Знает, подлец, что царица этого святого чтит. Сейчас все перепугались, как гимназисты, которых инспектор за куреньем застал. Вчера мне Трепов доказывал: «Надо отдать крестьянам половину помещичьей земли. Говорю вам как помещик: надо отдать!» Я его спрашиваю: «Что с вами, ваше превосходительство? Давно ли вы в социалисты записались?» А он мне в ответ: «Лучше отдать половину, пока все не забрали». Дурак! Не понимает, что дай крестьянину половину, он вторую сам заберет. Ума и так мало, а сейчас от страха остатка лишился.

— Как же твое представление о создании кабинета министров?

— Доложили. Даже великий князь Николай Николаевич меня поддерживает, тоже, понятно, с перепугу. Сегодня жду ответа.

В столовую без приглашения никому входить не разрешалось. Запрещалось приглашать графа к телефону, носить почту, даже телеграммы, если они не исходили от императора.

В дверь осторожно постучали. Графиня с неудовольствием ответила:

— Войдите.

Вошел флигель-адъютант, полковник князь Орлов. Протянул пакет и, как полагалось по уставу, отрапортовал:

— По поручению его императорского величества. Прошу лично расписаться.

Отказавшись от любезно предложенного хозяйкой кофе, Орлов ушел.

Витте прочитал про себя, потом вслух супруге:

— «Впредь до утверждения закона о кабинете поручаю Вам объединить деятельность министров, которым ставлю целью восстановить порядок повсеместно. Повелеваю быть сегодня у меня в Петергофе в час дня. Николай».

Граф перекрестился:

— Услышал господь мои молитвы! С нынешнего дня, дорогая, я премьер-министр. И вместо комитета министров, не тем он будь помянут, будет у нас совет министров. И я первый премьер-министр. Как в Европе! Вот тебе, дорогая, и ответ на мое представление.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В начале сентября Груню Николаеву остановил в проходной сторож, старый, вечно угрюмый татарин Абдул. Совсем еще недавно он при виде Груни быстро стаскивал с плешивой головы войлочную шляпу, а сейчас закричал:

— Куда лезешь? Не велено пускать.

Груня облокотилась на железную загородку:

— Только обо мне приказ дан или еще о ком?

— Не твое дело! Отойди. Не мешай людям проходить.

В проходную важно вошел старший табельщик Стратилат Иудович Жучкин с толстой конторской книгой:

— Кто тут Николаева?

— Не узнал, Иудин сын? — насмешливо спросила Груня. — Память отшибло.

— Получи свой паспорт. Распишись.

Груня внимательно посмотрела на паспорт, приговаривая:

— Мой ли даешь? Я тебя знаю, и фальшивый подсунуть можешь. А деньги?

Иудыч вынул из книги четыре бумажных рубля:

— Причиталось тебе без шести копеек, да уж ладно, знай нашу доброту. Получай без сдачи.

Груня пошарила в кармане и бросила Иудычу два медяка.

— Зачем без сдачи? Тебе еще не раз сдачи дадут...

— Расписалась и проваливай! И забудь к нашей фабрике дорогу.

Груня взялась за скобку двери, вернулась и поклонилась табельщику:

— Стратилат Иудыч, прости меня, дуру набитую. Я тебе про одно важное дело забыла сказать.

— Говори, — согласился Иудыч, полагая, что непокорная депутатка попросит не выгонять ее с фабрики.

— Очень плохо я сегодня ночь спала, Стратилат Иудыч, все тебя во сне видела, да еще в каком виде...

— В каком?

— Будто ты помер. Не то сам, не то пристукнули тебя. Лежишь ты в гробу — синий-синий...

Иудыч побледнел и начал креститься.

— Уйди, сумасшедшая! Уйди!

— Испугался, старый бес? Боишься смерти? Все равно сдохнешь, сколько ни злобься.

Груня вышла, громко хлопнув дверью.

В тот же вечер она зашла к Балашову и застала у него «Отца» и Трифоныча. «Отец», выслушав, сказал:

— Уволили многих. Дербенев всех депутаток разогнал: Авдотью Кокурину, Елену Кулеву и Марью Лебедеву. Мы потребуем всех обратно принять, а табельщика Жучкина пусть

куда хотят денут. Но тебе, Груня, работать пока не придется: надо съездить в Петербург.

— Зачем?

— Трифоныч тебе все объяснит.

* * *

Груня приехала в Петербург в конце сентября. Задание оказалось не из легких. Надо было найти большевика Чернышева, через него установить связь с активным работником Нарвского района Семеновым и передать ему письмо от Трифоныча.

Боевая дружина Иваново-Вознесенского комитета большевиков к осени выросла вдвое. Она могла стать еще более многочисленной, но не хватало оружия. Вот за ним и послал Трифоныч Груню, помня обещание Семенова помочь всем, чем он только может.

«Отец», Трифоныч и «Станко» снарядили Груню по всем правилам. Подавая ей паспорт, «Отец» сказал:

— Привыкай, Груня, к новому имени. Ты теперь только для нас Груня, а для городовых и жандармов Мария Павловна Платонова, мещанка, родом из города Коврова.

— Со своим нельзя?

— А если задержат, начнут в Иваново-Вознесенске справки наводить? Здешние полицейские все про тебя напишут. Знаем, мол, такую.

Письмо к Семенову Трифоныч предложил завернуть в медицинскую клеенку и спрятать в полусапожки, под стельку. Когда Груня обулась, он ласково спросил:

— Не жмет?

Груня хотела ехать в летнем саке и косынке, но Трифоныч уговорил ее одеться потеплее и обязательно раздобыть зонт.

— Ты там сразу попадешь под дождь; он там осенью идет целыми неделями. Надеюсь, все сойдет благополучно. Но если вдруг тебя задержат в Питере, как ты себя держать будешь? Кто такая? Зачем в Петербург пожаловала?

— Чего-нибудь придумаю.

— Надо сейчас придумать.

Придумали все вместе историю. Жила, дескать, Мария Павловна Платонова в горничных у хороших господ. Жила в полном довольстве, спокойно, пока не познакомилась с унтер-офицером гвардейского полка. Не выдержало девичье сердце, и влюбилась Маша без ума. Каждый раз приносила она ему то барский носовой платок, то сигар дорогих, которые барин после обеда употреблял. Ну, а дальше обыкновенная история: пообещал милый жениться и уехал. Прощаясь, приказал прибыть в Петербург в уговоренный день и обещал свою душеньку поджидать на

вокзале у самого входа. Простояла, дескать, Машенька у вокзала почти весь день, а он, злодей, так и не показался.

Трифоныч добавил:

— Если спросят, какой у него мундир, отвечай: «Не помню, только пуговок много...»

Провожал ее Яков Савватеев. Они пришли на вокзал минут за двадцать до поезда и сели на скамейке в крохотном скверике. Яша, против обыкновения, молчал, опустив голову; изредка грустно посматривал на Груню.

— Что ты, Яша, словно голубь под дождем?

— Не хочется с тобой расставаться. Я просил Трифоныча вместе нас послать.

— Действительно... Выдумал! Ты бы все-таки меня спросил, поеду ли я с тобой.

— А почему бы и не поехать?..

Груня не ответила, долго стояла на площадке и все махала платком, пока не скрылся маленький ивановский вокзал.

В дороге ей все казалось просто. Думалось, что прямо с вокзала она направится к Чернышеву, а если в чужом городе хоть один человек знакомый есть, все уж легче.

Квартиру Чернышева она нашла быстро. Сначала постучала тихонько, потом погромче — никто не отзывался. Груня прислушалась и застучала во всю мочь.

Где-то скрипнула дверь. На лестнице показалась старуха с крючковатым носом и злыми глазами, в черной кружевной косынке и коричневой тальме.

— Нельзя ли потише?

Старуха подозрительно осмотрела девушку и вышла во двор. Груня медленно пошла вниз. Навстречу поднимался дворник, а за ним старуха. Молодой курносый парень поправил бляху и строго спросил:

— Вам кого?

Груня приветливо улыбнулась, и парень, сразу подобрев, уже мягче повторил:

— К кому, красавица, заходила?

— Хотела земляков, Чернышевых, повидать, да, видно, дома никого нет. Как-нибудь после зайду.

— А пожалуй, и не зайдешь, — простодушно поделился дворник.— Не к кому. Самого или в «Крестах», или в предварилке на Шпалерной ищи. С месяц как его зацапали, а жена с детьми в деревню укатила.

— За что же его? — изумилась Груня. — Смирный такой, не пил.

Старуха, не спускавшая с Груни глаз, что-то шепнула дворнику, и тот, приняв сразу грозный вид, вспомнил о своих прямых обязанностях.

— Покажи, что у тебя в корзинке?

Груня засмеялась и, открывая корзинку, заметила:

— Строгая у тебя, парень, начальница. На, смотри. Не воровка какая-нибудь.

Дворник пошарил в корзинке и заворчал на старуху:

— Всегда вы, Проскудия Христофоровна, по пустякам меня тревожите. Смотрите сами, в корзинке-то ничего нет.

Груня, закрывая корзинку, продолжала с издевкой:

— Думал, поди, краденое найти. Сыщик добровольный... Барыню пошарь... С утра в кружева вырядилась...

Отойдя на добрых два квартала, Груня подумала, какой опасности она подвергалась. «Хорошо, курносый добряком оказался, а если бы вроде нашего фабричного сторожа Абдула? Поволок бы рабу божию Аграфену в участок. Тут сказка про гвардейца-жениха не поможет. Ехала к жениху, а стучалась на квартиру к арестованному большевику. «А ну-ка, Мария Павловна, как вас по-настоящему поп крестил?»

Размышляя, Груня добралась до набережной. Она села на скамейку, поставила поближе к ногам корзину и посмотрела на Неву, по которой торопливо шел небольшой пароход. Чуть правее моста виднелись розовато-песочные сфинксы, а еще правее возвышался огромный дом с большими окнами. Неожиданно мост опустел. Под ним лязгнуло железо, что-то заскрипело, и часть моста начала медленно подниматься. Груня, как зачарованная, любовалась великолепной, ни с чем не сравнимой панорамой. Она вспомнила о Якове. Почему бы не сидеть ему вот тут, рядом? Было бы гораздо спокойнее.

Однако надо попытаться найти приют. Был у нее еще один адрес, и, расспрашивая прохожих, уже усталая, она добрела до Песочной улицы и очутилась в обширном дворе, застроенном двухэтажными деревянными домами. Здесь было тихо, почти как в Иванове или в Шуе. Во дворе росли молодые деревья, и Груня, увидев скамью, почти упала на нее. Так она просидела с полчаса, размышляя, в каком именно доме живут люди, которых она искала. Она даже не заметила, что мимо нее прошла молоденькая девушка в коротеньком темном пальто, из-под которого виднелось коричневое гимназическое платье. Она остановилась, поглядела на Груню: должно быть, растерянный вид и внешность Груни привлекли ее внимание.

— Не помешаю?

— Нет, отчего же, пожалуйста.

Девушка села рядом, расстегнула у пальто верхнюю пуговицу. Груня увидела белый узенький кружевной воротничок. Гимназистка закрыла большие серые глаза с густыми черными ресницами, посидела так несколько секунд и улыбнулась.

— Вы не здешняя? — спросила гимназистка.

— Почему вы так решили?

— Говорите вы не по-здешнему, окаете.

— Угадали. Я первый день тут.

— Надолго?

— Сколько проживу.

— Издалека приехали?

И Груня, неожиданно для себя, повинуясь необъяснимому чувству доверия к незнакомке, ответила:

— Из Иваново-Вознесенска.

Гимназистка спросила:

— Из Иваново-Вознесенска? Давно вы оттуда?

— Два дня, как выехала. Вы там бывали?

— Не приходилось, но знакомые там есть.

— Может, я знаю их?

— Едва ли. А почему вы здесь с багажом сидите?

— Идти некуда. Приехала к родственникам, а их никого дома нет, и неизвестно, когда будут. Сижу и думаю, что теперь делать.

Гимназистка поднялась:

— Пошли!

— Куда?

— Идемте со мной. Не бойтесь, — улыбаясь, сказала гимназистка и вдруг, посмотрев прямо в глаза Груне, спросила: — А почему вы сюда пришли? Как вы сюда попали?

— Адрес мне дал один знакомый человек. — И она назвала фамилию тех, кого искала.

Девушка от удивления широко открыла глаза.

— Они переехали. Переменили адрес. Это были наши соседи... — И, помолчав, добавила: — Да ведь к ним-то я вас и хотела вести.

Прошло около часу, пока Груня и ее доброжелательница попали на большую площадь. Пройдя площадь и узкую улицу, они вышли на набережную небольшой реки.

— Вы мне рассказывайте, где мы, это что за речка? — попросила Груня.

— Пожалуйста. Это вот Мойка, а мостик называется Поцелуев.

— Как?

— Поцелуев мостик.

— Интересно. А это что такое? — указала Груня на огромный серый дом на берегу Мойки.

Гимназистка странно усмехнулась:

— Литовский замок.

— Замок?

— Так народ зовет, а по-казенному Санкт-Петербургская городская тюрьма. Парадный вход с Офицерской улицы, дом двадцать пять.

Они вышли на площадь, на которой стояли два больших красивых здания.

— А это что?

— Налево консерватория, а напротив Мариинский театр.

— Значит, Трифоныч мне про него рассказывал.

Гимназистка остановилась:

— Кто рассказывал?

— Родственник мой, — спохватившись, уклончиво ответила Груня. — Он в солдатах тут служил.

— Как вы его назвали?

— Трифоныч.

Девушка протянула руку к корзинке:

— Давайте я понесу. Вы, наверное, устали... А сколько ему лет, вашему родственнику?

— Много: лет за пятьдесят.

Желая замять неприятный разговор, Груня спросила:

— Говорят, в этот театр сам царь приезжает?

— Редко: боится.

— Чего ему бояться?

— Как чего? Вдруг в ложу под кресло бомбу положат, ну и вознесется государь император прямым сообщением на небо.

— Какие страсти! Неужели это возможно? — притворилась Груня непонимающей, простодушной провинциалкой.

— Бывали же случаи. Ну вот мы и дошли, — сказала гимназистка, остановившись около высокого многоэтажного дома.

Они вошли в переднюю. Встретившая их худенькая старушка приветливо поздоровалась с Груней.

— Проходите. Корзиночку можно здесь поставить.

Гимназистка провела гостью в крохотную столовую, предложила кресло, а сама встала около притолоки. На стенке, прямо перед Груней, висели фотографии. Одна, в самодельной, выпиленной лобзиком рамочке, была почти на уровне ее глаз. Свет от керосиновой лампы-молнии падал прямо на эту фотографию. На ней были три молодых человека в незнакомой Груне форме с поперечными широкими погончиками на плечах. Двое в форменных фуражках стояли рядом; третий, поодаль от них, выставив вперед ногу, держал в руках фуражку и весело улыбался. Груня невольно подалась вперед, увидев знакомую прическу «ежиком». Заметив настороженный взгляд гимназистки, она отвела глаза от карточки. Но, видно, гимназистку провести было трудно. Она без всяких намеков просто сказала:

— Не узнали вот этого на карточке, без фуражки?

— Откуда же мне его знать?

— Посмотрите еще, не стесняйтесь.

— Знаю его. Встречались.

— В Иваново-Вознесенске?

— Да.

— Это вам он про театр рассказывал? Трифоныч?

— Он.

Гимназистка бросилась к ней и крепко обняла ее:

— Как я рада! Как тебя зовут?

— Маша.

— А меня Оля. Как я рада, господи, как я рада!

* * *

Из окон дворца сквозь мохнатые ветви сосен чуть виднелись свинцовые осенние волны Финского залива. У самого берега покачивался катерок со сверкающей, точно золотой трубой. Справа на горизонте чуть заметно, скорее угадывался, чем виднелся, купол Исаакия. У Кронштадта, на рейде дымил крейсер.

В кабинете за малахитовым столом сидело пятеро. Царь Николай, в серой тужурке с полковничьими погонами, нервно теребил аккуратно подстриженную рыжую бороду. Глаза царя были устремлены в сторону залива.

— При настоящих обстоятельствах, ваше величество, могут быть только два выхода. Первый — диктатура. Надо облечь неограниченной диктаторской властью особу, пользующуюся доверием государя императора, дабы беспощадно в самом корне подавить всякое противодействие мерам правительства. Второй выход — покориться общественному мнению, даровать России конституционное устройство. Осмелюсь доложить, что первая мера — диктатура — едва ли принесет успокоение.

Царь повернул голову в сторону Витте:

— Вы в этом уверены, Сергей Юльевич?

— Уверен, ваше величество.

— Можно задать вопрос графу? — спросил великий князь Николай Николаевич и продолжал: — Сергей Юльевич, почему вы против введения диктатуры?

— Диктатура, ваше высочество, должна опираться на армию, а наша армия устала от войны.

— Вы хотите сказать, что она ненадежна?

— Да.

— И я так думаю, граф. Какой мерзкий сон мне приснился прошлой ночью!

Николай, до сих пор внимательно следивший за катером, вдруг отвернулся от окна и спросил:

— Проект манифеста с вами, граф?

— Он не совсем готов, ваше величество. По пути к вам, на пароходе, барон и князь Оболенский предложили некоторые исправления.

— Вы приехали в Петергоф на пароходе? В такую погоду? Почему не поездом, господа?

Витте несколько замялся, подбирая слова:

— Погода хорошая, ваше величество. Конечно, поездом было бы лучше, но поезда не ходят... даже в Петергоф.

Николай хмуро посмотрел на Витте и, обращаясь не к нему, а к министру дворца барону Фредериксу, укоризненно сказал:

— Вот видите, что делается в империи, барон! А вы уговариваете меня подписать манифест, даровать России конституционные устройства. А кто поручится, что после манифеста не

забастует даже дворцовая прислуга? Где проект манифеста? Я вас не задерживаю, господа. Подумаю... Жду вас завтра в это же время.

* * *

Домой, в Петербург, возвращались вдвоем — Витте и князь Оболенский. Неподалеку от входа, на широкой аллее парка, остановился автомобиль. Из него вышел молодой человек в офицерской шинели. Витте и князь поспешно поклонились. Офицер любезно ответил Витте, а князя как будто не заметил.

По дороге на пристань, когда они отошли от дворца на почтительное расстояние, князь спросил:

— Вы ничего не заметили?

— Мудрено не заметить, дорогой князь. Чем вы прогневали его высочество?

— Старая история. Помните, в ночь под Новый год в Бориса Владимировича кто-то стрелял. Я имел неосторожность в одном доме выразить сомнение в правдоподобности этого покушения. Великому князю донесли, и вот скоро уже год, как он меня не замечает. Не замечает — ну и бог с ним, но он при каждом удобном случае порочит меня перед государем. А сколько неприятностей он причинил из-за этого случая Булыгину!

— За что?

— По рассказу Бориса Владимировича, в него стрелял кавалергард. Сначала виновного не нашли, а потом арестовали какого-то солдата. Он стрелял или не он — одному богу известно. При обыске у солдата нашли революционные прокламации. Выходит, прямое доказательство; значит, покушение имело место. Солдатик, видимо, оказался сообразительным и, не дожидаясь суда, удрал. Если бы вы знали, что стало с князем! Лично допрашивал конвойных, говорят, даже бил их. Совсем недавно князь узнал, что его обидчика поймали под Москвой — не то во Владимире, не то в Ярославле, а по дороге в столицу он из арестантского вагона опять удрал. Вот тут князь и принялся за Булыгина.

— В общем, его высочество отчасти прав. Преступник дважды бежал — безобразие.

Витте радовался этому разговору. Не возникни он, неизбежно пришлось бы делиться впечатлениями о совещании у царя, а это не устраивало графа: Оболенский секретов держать не умел.

Посвежело. Волны глухо били в правый борт. До столицы не попалось ни одного судна, кроме канонерской лодки да финской лайбы. Трусоватый князь как сел в салоне на диван, так и не поднялся до Петербурга. Витте стоял рядом с командиром, с удовольствием подставляя лицо холодному ветру.

— Не простудитесь, ваше сиятельство?
— С детства не боюсь простуды.
— Качает, ваше сиятельство.
— Всех нас качает, капитан. Такая уж нынче погода.
— Это как позволите понимать?

Витте молчал и больше не проронил ни одного слова.

Около пристани, у Летнего сада, ждали экипажи. На прощание граф напомнил:

— Не забудьте: завтра в час дня.

Витте сел в карету и нахмурился: «На пароходе с капитаном пустился в откровенность, а сейчас невежливо обошелся с князем. Нехорошо. Старею... Нервы».

Зато дома, с супругой, граф дал себе волю:

— Я ему так и сказал: или диктатура, ваше величество, или конституция. Ведь он, дорогая, по натуре неврастеник-оптимист, чувствует страх только во время грозы, а как гром утихнет, мигом успокаивается. Сейчас на него нагоняют страх Трепов и Фредерикс. И больше всех — царица. Будет советоваться с ней. Кончится тем, что призовет это ничтожество Горемыкина, а тот совсем из ума выжил. Вдруг заявил корреспонденту «Нового времени»: «Это все студенты и евреи мутят воду. Наш рабочий народ — богобоязненный и любит своего государя». Идиот! Эти богобоязненные вон что выделывают!

Графиня поинтересовалась:

— А как Николай Николаевич? Он все же старше их всех.

— Мистик... Верит в сны. Никто из них не понимает, в какое время мы живем. Государя трудно убедить, он не может разобраться в сложной обстановке. Я ему сказал: «Хотите вы или не хотите, государь, но надо переплыть бушующий океан. Допустим, вы изберете мой курс, ваше величество. Когда мы отойдем от берега, начнет качать, затем пойдут аварии. Возможно, кое-кого из наших спутников смоет, и посыплются жалобы, что Витте выбрал не тот курс. Надо быть твердым, ваше величество».

Графиня испуганно смотрела на мужа:

— Ты так говорил с ним? Он никогда тебе этого не забудет. «Надо быть твердым». Стало быть, он, по-твоему, не тверд? Боже мой, что он мог подумать!

— Он, дорогая, сейчас совсем лишен способности думать о чем-либо другом, кроме спасения себя и своих присных. Ты бы видела, как он выглядит! Желтый, под глазами мешки. Глаза совсем потухли, а ему ведь только тридцать семь... Скажу тебе по секрету: против дворца в Петергофе стоит под парами крейсер. Это для него — на всякий случай, чтобы можно было отплыть в Данию. Сам видел.

Витте взял со столика «Биржевку»:

— Неужели вышла?
— Представь, принесли. Посмотри сводку. Ужасно!

Витте читал вслух:

— «На бирже угнетенное состояние. Государственные фонды понижаются день за днем. Падают самые прочные ценности. Государственная рента котировалась по небывало низкой цене — $82^1/_2$, но даже и по этой цене не находила покупателей. Выигрышные займы упали на десять рублей... Много денег уходит за границу. С начала месяца переведено в Лондон и Берлин более пятидесяти миллионов рублей». Вот это, дорогая, действительно самое ужасное.

В дверь постучали:

— От государя императора!

Вошел флигель-адъютант князь Орлов:

— Простите, что беспокою вторично, граф. По поручению государя.

Как только Орлов скрылся за дверью, Витте прочитал: «Повелеваю быть у меня в Петергофе не в час дня, а в десять утра. Николай».

— Видишь, дорогая, нервничает. О, господи, господи! И это, самодержец всероссийский... Пожалуй, вызову Дурново.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Город казался особенно темным еще и потому, что окна домов были не освещены, а витрины магазинов закрыты ставнями. Многие ставни белели в темноте: владельцы второпях не успели их покрасить. Только Невский освещали два прожектора, установленных на крыше Адмиралтейства. Конки не ходили. Нигде не было городовых. У Полицейского моста обычно день и ночь торчали огромные, усатые, очень похожие друг на друга, как два близнеца, городовые, теперь и их не было видно.

На площади у Мариинского театра с вечера стояла очередь за билетами на «Фауста». Пел Шаляпин, и ради этого стоило простоять ночь, а то и две, и получить билет на галерку.

В очереди не смолкали споры, порой их перебивали смех, шутки, затем снова возникал серьезный разговор.

Оля стояла в конце очереди, рядом с ней устроилась Груня, она решила разделить с ней бессонную ночь. Было около часу ночи, но молодежь еще не угомонилась.

— Оленька, неужели так две ночи стоят?

— Даже три. Осень теплая, а ты подумай — зимой, двадцать градусов мороза...

— И стоят?

— Стоят... Вот что значит сила искусства!

Впереди Оли стоял студент без фуражки. Пламя освещало его бледное лицо с небольшими усиками. Густые волосы падали

на лоб, он то поправлял их, бережно поглаживая волосы, то, размахивая фуражкой, с азартом восклицал:

— Пролетариат не запугать! Пролетариату нечего терять!

Груня спросила Олю:

— Это кто будет? Смотри, какой смелый!

Оля, всмотревшись в оратора, ответила:

— Знаю я этого краснобая: Козловский его фамилия, студент политехнического института. Недавно объявил себя социал-демократом, а когда его спросили, кому он больше сочувствует — большевикам или меньшевикам, ответил: «Не все ли равно. Я за пролетариат!» Пустомеля!

— Стачечное движение, стачечная борьба — это проявление коллективного духа, коллективной энергии, которую таит в себе пролетариат, — с азартом продолжал студент.

Неожиданно рядом с Козловским вырос другой студент, дернул его за полу шинели:

— Послушайте, Козловский, какого черта вы тут делаете? Вы лучше скажите, с кем вы вчера ужинали?

— Оставьте меня в покое! — сердито отмахнулся Козловский.

Соседи, заинтересованные странным вопросом, зашумели: «А ты ответь!»

— Понравились вам остендские устрицы, мсье Козловский? Вот, товарищи, — продолжал неугомонный обвинитель Козловского, — яркий образец мимикрии, или, говоря попросту, приспособления к местности. На этом господине вчера был сюртук на белой подкладке, он ужинал в ресторане Кюба, пил французские вина и разглагольствовал о необходимости предоставить больше прав деловым людям. Своих денег, чтобы расплачиваться, у господина Козловского, конечно, нет, поэтому за него платил...

Козловский кричал:

— Молчите, негодяй!

Но студент продолжал громовым басом, словно читал лекцию:

— ...поэтому платил за него господин Алексинский, директор страхового общества «Саламандра», который, кстати, живет неподалеку, в доме Елисеева, на Большой Морской. Сегодня днем господин Козловский обедал в обществе сотрудников подлейшей суворинской газетки, которую справедливо называют «Чего изволите?». А сейчас он, видите ли, разглагольствует о пролетариате... Хамелеон, если не хуже!

— А вы сами за кого? — вдруг раздался голос здоровенного парня в куртке и картузе.

Обвинитель Козловского пожал плечами и нехотя сказал:

— Смотря кто вы: наш или ваш?

— А все же за кого вы? — интересовались в очереди.

— Я, товарищи, за всех! За свободу всех от всяческих оков, против всякого угнетения.

— Ясно! — громко сказал парень в картузе. — Анархист пятьдесят шестой пробы! Сейчас начнет Кропоткина вспоминать.

Он не ошибся.

— Я и мои единомышленники против всякого угнетения. Величайший поборник свободы личности Кропоткин говорит...

Но тут поднялся шум и смех, аплодисменты...

Оля обняла Груню за плечи:

— Наслушалась?

Груня, улыбаясь, ответила:

— Досыта! Чудной народ в Питере. Всякое болтают. У нас в Иваново-Вознесенске таких не любят.

— Здесь не Питер, — усмехнулась Оля. — Питер в другом месте. Туда мы с тобой пойдем завтра... Поищем друга Трифоныча — Семенова Сергея Ивановича.

* * *

Сергей Иванович Семенов носил в эти дни другое имя и другую фамилию. От собственного имени у него осталось только отчество — Иванович. По паспорту на имя Петра Ивановича Прохладина он был прописан на Песках, в доме № 4, рядом с богадельней Христорождественского братства. Вдова бывшего смотрителя богадельни Феонила Пименовна Саломатина была очень довольна жильцом. Платил он исправно, был чистоплотен, жил тихо, скромно; гости к нему ходили редко, и все такие же приятные, обходительные люди, говорили промеж себя все больше о коммерции — о товаре, капитале и еще о чем-то мало понятном. Служил жилец на хорошей должности — в акционерном обществе «Полюстровское содо-мыловаренное и клееваренное товарищество», частенько разъезжал по ярмаркам и каждый раз привозил Феониле Пименовне какие-нибудь сувенирчики: то чашечку, полуфунтовую пачку чайку, а то и наливочки. Этот напиток вдова в меру, конечно, но все же обожала. Приведя себя в порядок после дороги, жилец весело рассказывал, какие удачные сделки совершил, и, к удовольствию хозяйки, беседу заканчивал одним и тем же:

— Скоро опять в путь-дорогу.

— Куда, батюшка, отправитесь?

— Думаю в Енотаевск. У них с шестнадцатого ефимьевская ярмарка. До этого, если господь сподобит, в Бузулук загляну. Посоветуюсь с патроном, как бы впустую не съездить. Время неблагоприятное, коммерция в упадке, в забросе.

Получив как-то в подарок плетеную коробочку из соломки для рукоделия, вдова вспомнила, что точно такие же делают богаделки из дома призрения купца Захарьинского, на Зеленной улице, что на Петербургской стороне. Вечером она шутя вы-

сказала свое предположение жильцу. Он пристально рассмотрел коробочку и сокрушенно сказал:

— Ах, какие мелкие люди пошли, Феонила Пименовна! Покупал в Царевококшайске, на ярмарке. Нарочно спросил, местные или привозные. Мне, говорю, надо местную, на память, везу хорошей даме. Буду у них на будущий год — пристыжу.

Конечно, разве могла старушка предположить, что жилец в ее тихую квартиру залетел не по собственному желанию, а по прямому указанию Петербургского комитета большевиков и что никуда он дальше Невской части не выезжает? В апреле члены Петербургского комитета предупредили Сергея Ивановича, что за ним установлена слежка. Отпустить его в другой город комитет не мог, потому что дни наступили боевые, горячие и опытные партийные работники были очень нужны. Подумав, нашли выход: Сергея Ивановича из Нарвского района перевели в Невский, где он по другому фальшивому паспорту — на имя Виктора Ивановича Яснова — устроился на Невский судостроительный завод надсмотрщиком в пожарную команду.

Эта должность очень устраивала Сергея Ивановича. Он мог беспрепятственно, в любое время суток ходить по всем мастерским. Вскоре он стал членом Невского районного комитета большевиков и ответственным организатором на заводе.

Через два дня на третий, а иногда, если это требовалось, и ежедневно, Сергей Иванович встречался с прикрепленным к району членом Петербургского комитета и получал от него подробную информацию о всех решениях и советах комитета и еженедельно, за редким исключением, свежий номер «Пролетария», приходивший из Женевы.

Нередко и самого Сергея Ивановича приглашали на заседания Петербургского комитета, собиравшегося, как правило, каждый раз в новом месте.

Особенно запомнились Сергею Ивановичу два последних заседания. На первом, посвященном боевой работе, Сергей Иванович с большой тревогой прислушивался к речам двух членов комитета. Они с необычной серьезностью и ученым видом говорили о схеме и функциях боевого комитета, о распределении обязанностей, но когда их спросили, сколько имеется действующих боевых отрядов и дружин, оба докладчика ничего путного ответить не смогли. Сергей Иванович рассердился и попросил слова.

— Что же это такое, товарищи? Мы надеялись, что у нас создана боевая организация, а ее нет. Одни схемы, чертежи да какие-то фантастические цифры, а где же дружины?

Один из докладчиков, полный, лысый человек с черной бородой, наставительно сказал:

— Вы что же, против схем?

Сергей Иванович, с трудом сдерживая злость, продолжал:

— Не задавайте демагогических вопросов. Я не против

схем, но я против академического подхода к такому важному, жизненному делу...

Докладчик снова перебил его:

— Не так просто создавать отряды. Нужна осторожность.

— Вы с вашей осторожностью оставите Питер без боевых дружин, — отпарировал Сергей Иванович и предложил: — Надо обязательно познакомить с состоянием боевой работы Владимира Ильича.

И как же был рад Сергей Иванович, когда в начале октября на заседании Петербургского комитета прочитали письмо Ленина по поводу боевого комитета! Особенно понравились Сергею Ивановичу слова Ленина в начале письма:

«Все эти схемы, все эти планы организации Боевого комитета производят впечатление бумажной волокиты... Тут нужна бешеная энергия и еще энергия. Я с ужасом, ей-богу, с ужасом, вижу, что о бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали!»

Письмо Ленина сразу расшевелило комитет, и он усиленно начал заниматься вооружением. Сергею Ивановичу поручили снабжение мастерской бомб стеклянными трубками для серной кислоты. Верные люди подсказали, что трубки можно заказать на небольшом заводике, изготовлявшем аптекарскую посуду. Отправляя на Охту готовые трубки, Сергей Иванович каждый раз думал о том, что кто-то другой доставит в мастерскую серную кислоту, третий — гремучий студень, четвертый — запалы с гремучей ртутью. И, наконец, люди, которых он никогда не увидит и не узнает даже их имен, соберут все принесенное, начинят оболочки, и бомбы попадут к дружинникам того же Невского района. Придет время, и сам Сергей Иванович метнет с баррикады такую бомбу с трубкой, добытой им самим.

Большую часть времени Сергей Иванович уделял пропагандистской работе на Невском судостроительном заводе. В восемнадцати мастерских завода работало более десяти тысяч человек. По количеству большевиков организация не уступала ни Обуховскому сталелитейному, ни Колпинскому заводам, входящим в этот же Невский район.

Так и жил этот человек даже не двойной, а тройной жизнью. Жандармы усиленно разыскивали мещанина Сергея Ивановича Семенова, тридцати двух лет, родом из города Нижнего Новгорода, роста выше среднего, кудрявого, блондина, с большими усами и бородой, с серыми глазами, без особых примет.

В заводских мастерских, в столовой, в курилке — везде, где собирались люди, появлялся Виктор Иванович Яснов, без бороды, с небольшими «солдатскими» усами в щетку, обритый наголо, сероглазый, с явной приметой — небольшим шрамом чуть повыше левого уха.

На Песках, в квартире вдовы смотрителя богадельни, ни у кого не вызывал подозрений приличный господин Петр Ивано-

вич Прохладин с прической на прямой пробор в чуть седоватых волосах и, уж понятно, без особой приметы.

Фениле Пименовне не приходило в голову поинтересоваться, чем жилец занимается дома, а она могла бы увидеть следующее. Тщательно закрыв дверь, жилец первым делом снимал парик, быстро раздевался, почти падал на диван и через секунду засыпал самым крепким сном. Отдохнув, придя в себя от бессонных ночей, он доставал из своего аккуратного чемодана тоненькие книжки и принимался читать. Иногда он с удовольствием приговаривал: «Ай, как хорошо! Здорово их «Старик»[1] чешет!» Потом он принимался торопливо писать.

Фенила Пименовна искренне бы удивилась: коммерческий агент «Полюстровского содо-мыловаренного и клееваренного товарищества» писал отчеты какому-то Центральному Комитету, письма какому-то Владимиру Ильичу, когда сам говорил, что его патрона зовут Николай Фомич, а корреспонденции — в газету «Пролетарий», хотя выписывал только одну «Биржевку».

В тихой квартире на Песках Сергею Ивановичу очень удобно было работать. Никто не мешал поразмыслить над статьей «Политическая стачка и уличная борьба в Москве», над брошюрой «Две тактики социал-демократии в демократической революции». На самые, казалось, запутанные вопросы есть у Ильича точный ответ, рассеивающий все сомнения. На прошлой неделе молодые партийцы из механической мастерской спрашивали: надо ли социал-демократам участвовать в буржуазной революции?

— Конечно, надо. Надо расширять рамки революции, надо бороться за интересы пролетариата, за его нужды.

Очень пригодились советы Ленина.

А позавчера кто-то подбил рабочих в котельной мастерской принять почтительный адрес градоначальнику и петицию с предложением услуг по искоренению крамолы. На собрание по этому поводу, якобы мимоходом, случайно, заглянул сам директор завода его превосходительство господин Гиппиус. Большевика Мартына Аржанова, выступившего против петиции, избили, едва унес ноги. Попозднее уговаривать котельщиков пришла группа слесарей из механического. Их встретили ломами, предварительно раскалив концы докрасна.

Отчего все это произошло? Никто лучше Ленина не объяснит:

«Правда, наше, социал-демократическое, влияние на массу пролетариата еще очень и очень недостаточно; революционное воздействие на массу крестьянства совсем ничтожно; разбросанность, неразвитость, темнота пролетариата и особенно крестьянства еще страшно велики».

Все верно. В котельной многие из деревни — народ темный,

---

[1] «Старик» — псевдоним В. И. Ленина в то время.

безграмотный, но падать духом не надо. Позавчера было одно, а вчера пришел от котельщиков Иван Кротов и рассказал:

— У нас такое творится! Ребята шумят, директора лают. Они к нему с просьбой: «Нельзя ли расценки повысить?» А он им: «Это уже баловство!»

Хорошо здесь, в тихой, спокойной комнате, побыть денек-другой, но засиживаться некогда: пора снова в «поездку по коммерческим делам». Очень много дел. Начались выборы в Петербургский Совет рабочих депутатов. Надо добиться, чтобы в Совет прошло как можно больше большевиков и беспартийных рабочих и как можно меньше меньшевиков.

Утром надо побывать на Обуховском заводе. Начальник завода полковник Шеманов угрожает приказом: все, принимающие участие в стачке, никогда не будут допущены на завод. Можно, конечно, послать к обуховцам кого-нибудь из агитационной коллегии райкома, но лучше побывать самому.

В полдень надо успеть на митинг в университет. Петербургский комитет поручил выступить там с речью.

С митинга обязательно вернуться на завод. Вечером в столовой назначено собрание. Не забыть сказать, чтобы открыли вход: вчера кто-то из администрации распорядился заколотить дверь досками.

Что еще сегодня надо сделать? Главное как будто все. Остальное — текущие, ежедневные дела. Ночью побеседовать с молодыми рабочими, едущими в Финляндию за оружием. Недавно около острова Кальмера сел на мель пароход «Джон Графтон». Пароход заметили таможенные чиновники и обнаружили на нем большой транспорт оружия и патронов. Команда парохода не сообразила задержать чиновников, и они, разумеется, донесли своему начальству об опасном грузе. Ночью команда, побросав оружие в море, покинула пароход, захватив с собой только самую малую часть. Под утро пароход взорвали. Вчера член Петербургского комитета сообщил, что из этой спасенной части кое-что можно получить для Невского района. И еще: товарищ Оля просила передать, что из Иваново-Вознесенска, от Трифоныча, прибыла девушка, очевидно связная, и хочет повидать. Где же с ней лучше всего встретиться?

* * *

Встретились на квартире, где ночевала Груня. Сергей Иванович, увидев, откуда она достает письмо, сказал:

— Узнаю выучку Трифоныча. Аккуратный.

Он внимательно посмотрел на Груню и серьезно спросил:

— Вы знаете, Мария Павловна, зачем вас сюда послали?

— Как же не знать?

— Не боитесь? Если, не дай бог, попадетесь с этим грузом,

несдобровать. Каторжные работы обеспечены. Это в лучшем случае, а в худшем могут и на месте...

— Я не маленькая,— почему-то рассердившись, отрезала Груня.— Не маленькая и все знаю!

— Экий скипидар,— пошутил Семенов и уже серьезно добавил:— Много дать не сумеем. Да много вы и не увезете.

— Это я-то не увезу?! Да вы мне набейте три таких корзинки полностью — все доставлю.

— Столько не получите, не хлопочите. Но придется вам, девушка, подождать. Поезда все равно не ходят. Поживите в Питере, посмотрите столицу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Последнее время правитель канцелярии московского оберполицмейстера статский советник Соболев часто болел: никак не мог войти в норму после происшествия на Моховой, где его ночью основательно помяли какие-то молодчики. Правителя канцелярии заменял делопроизводитель Потехин. Чин у Потехина был небольшой — губернский секретарь, всего-навсего двенадцатого класса. В отсутствие начальства делопроизводитель важничал, как особа по меньшей мере четвертого класса. Вместо скороговорки у него появлялась медлительная речь. Изменялась и походка: он уже не трусил мелкой рысцой, а ступал не торопясь, тяжело. Садился так, будто под ним не казенного образца стул, а широкое, просторное кресло. Дежурные городовые и рядовые жандармы, присылаемые из жандармского дивизиона на Петровке, старались как можно реже попадаться на глаза Потехину, и не от страха, а от желания избежать ненужных поручений, давать которые делопроизводитель был большой мастер. Ему ничего не стоило послать дежурного с разносной книгой куда-нибудь подальше — в Лефортово или за Тверскую заставу. Не успеет посланный вернуться, как Потехин снова гнал его по этому же маршруту: «Забыл послать с тобой вот эту срочную бумажку».

Особенно торжественно обставлял Потехин утренние часы, читая почту. У дверей кабинета сидело не менее пяти дежурных: ждали приказаний. Зная, что старые городовые и жандармы потихоньку подтрунивают над ним, Потехин любил держать в коридоре новичков. Особенно понравился Потехину недавно поступивший в жандармы Курков. Вначале Потехин попробовал «шпынять» Куркова, так же как и всех остальных, но потом, узнав, что новичок до этого служил в гвардейском кавалергардском полку и рекомендован в жандармы флигель-адъютантом Джунковским, временно исполнявшим обязанности губернатора, сразу изменил свое отношение к Куркову.

Разобрав почту, Потехин вызвал к себе Куркова. Милостиво кивнув головой на стул, приказал:

— Садись!

Курков стоял, вытянув руки по швам:

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие, я постою.

— Садись, садись. Разговор будет долгий.

Потехин, явно подражая правителю канцелярии, пожевал губами, многозначительно посмотрел на собеседника и спросил:

— Ты, братец, я слышал, в кавалергардах служил?

— Так точно, ваше благородие.

Делопроизводитель заглянул в бумагу, лежащую перед ним.

— Скажи мне, братец, не знавал ли ты в вашем полку рядового Важеватова?

Даже дисциплинированный Курков, считавший, что с любым начальником он может разговаривать не иначе, как только по уставу, не сдержавшись, воскликнул:

— Как же мне этого подлеца не знать! Очень хорошо знаю. Через него, можно сказать, страдаю. У меня во взводе правофланговым стоял. Меня как раз к вахмистру представили, а он из-под караула убежал. Меня, конечно, за недоглядку под арест, а потом уволили. Я бы у него из спины ремней нарезал...

— Каков он из себя?

— Ростом повыше меня. Одним словом, настоящий кавалергард.

— Особых примет не замечал?

— Как будто нет.

— Это хуже. Вчера одного субчика из Нижнего Новгорода доставили. Год за ним гонялись. По всей России разъезжал, а тут сцапали. По примете — ухо у него отмороженное и эта самая... как ее, мочка на левом ухе длиннее... Нет ничего лучше, если у преступника какая-нибудь на фасаде ненормальная отметина: кривой глаз, шрам или какое-нибудь пятно родимое. По волосам не найдешь: пока ты его ищешь, он их пять раз перекрасит. А если морда изуродована, это, братец, никакая краска не возьмет. Ты в нашем деле человек молодой — присматривайся, учись. За твоего Важеватова объявлена награда: пять тысяч рублей. Так и написано: «...пять тысяч рублей из личных средств его императорского высочества великого князя Бориса Владимировича». Хвост за твоим дружком тянется длинный. Сейчас посмотрим: хранил нелегальщину, покушался на великого князя, бежал из-под стражи, в Иваново-Вознесенске около социал-демократов крутился, ухлопал какого-то студента, опять бежал, на этот раз из вагона, при побеге ранил конвойного. По агентурным данным, направился в Москву. Невенчанная жена жила с ним в Иваново-Вознесенске и тоже скрылась. Фамилия ее Никитина, звать Наталья, по отчеству Матвеевна. Росту выше среднего, светлая шатенка, глаза серые, большие. Особые приметы: на правой щеке, чуть пониже глаза,

круглая родинка размером меньше гроша. Увидишь, Курков, своего дружка — сразу в участок, а заодно и эту, с родинкой, прихватывай.

* * *

Если бы кто-нибудь в деревне или в полку два года назад предсказал Степану Важеватову, что он будет жить с чужим паспортом, скрываться от полиции, то и дело менять один город на другой, Степан в ответ, наверное бы, рассмеялся и назвал такого предсказателя сумасшедшим, а сейчас он не находил ничего необычайного в том, что приехал в Москву нелегально, с чужим паспортом. Правда, иногда ему думалось: а вдруг он ошибся и пошел не по тому пути? Но стоило ему вспомнить Ивана Никитина, Михаила Фрунзе и всех своих иваново-вознесенских друзей, камеру тюрьмы, из которой его дважды выручали товарищи, как отпадали все сомнения.

В Москве он много раз вспоминал слова Якова Савватеева, сказанные им после того, как Степана приняли в партию: «Запомни: у тебя всюду друзья, куда бы ты ни попал».

Другом оказался член Московского комитета большевиков, которого Степан нашел по явке Трифоныча. Член комитета дал ему новый паспорт на имя Капитона Игнатьевича Елкина, немного денег и познакомил со слесарем Прохоровской мануфактуры Василием Петровичем Синцовым. Василий Петрович уговорил мастера принять Степана в цех красильщиком на аппарат «Джигерс».

— Мастеру скажи, что работал в Иваново-Вознесенске на ситцевой у Фокина. Он родом из Шуи и земляков принимает на работу с удовольствием. Изловчись и сунь трешницу. Тогда он сам поведет тебя к табельщику и скажет, что ты его дальний родственник.

Три серебряных рубля привели мастера в отличное настроение.

— Пойдем, племянник, в табельную.

Старший табельщик сначала показал себя неприступным барином и небрежно процедил:

— Ничего не выйдет, Фрол Митрич. Федьку надо со двора в помещение переводить. Третью зиму во дворе мается.

Мастер притворно-испуганно возразил:

— Да куда мне его, твоего балбеса? Товар портить?

Степан подложил под конторскую книгу два рубля. Табельщик подобрел:

— Ни за что бы не принял, но уж очень ты, парень, здоров. Вижу, хорошо работать будешь. Давай паспорт.

По дороге из табельной мастер ворчал:

— Каждый раз, собачий сын, Федькой пугает. Сколько ты ему дал?

— Два рубля.

— Хватило бы и одного. Магарыч берет не знаю за что.

Работа досталась Степану не из легких. Тяжело дышалось в воздухе, пропитанном вредными испарениями и запахом красок. Роли мокрого товара весили по нескольку пудов, а поднимать их приходилось высоко. Но Степан и этому месту был очень рад. За первые две недели ему подсчитали больше восьми рублей. С такими деньгами можно было всерьез думать о вызове Наташи. Конечно, она не могла приехать сразу. Жить ей по старому паспорту было нельзя: обнаружив Наталью Матвеевну Никитину, родом из города Санкт-Петербурга, полиция легко могла напасть и на след беглого кавалергарда Степана Ильича Важеватова.

Вера, жена Синцова, недалеко от фабрики — в Малом Грузинском переулке — нашла комнату Степану, небольшую, светлую, недорогую.

Через Синцова Важеватов связался с партийной организацией фабрики и вскоре получил партийное поручение: привлекать слушателей на массовки, которые собирались почти еженедельно то на Ваганьковском кладбище, то у заставы, а иногда и в Хорошевском бору.

Как-то Степана в конце смены вызвали в табельную. Предчувствуя недоброе, он на всякий случай повторил все данные своего паспорта. Елкин Капитон Игнатьевич, рождения 15 марта 1882 года, из города Тихвина, того же уезда, Новгородской губернии. Жил в Иваново-Вознесенске с детства.

Одно волновало Степана: он забыл узнать, в какой день Капитоны именинники — не то в марте, не то в августе.

В табельной, кроме старшего табельщика, сидел околоточный надзиратель при полной форме. Табельщик сказал: «Он самый» — и тут же ушел, плотно закрыв за собой дверь.

Околоточный, большой, грузный человек с сизыми висячими усами, очень похожий на моржа, вежливо осведомился:

— Вы будете господин Елкин?

— Совершенно верно.

— Капитон Игнатьевич?

— Правильно.

— Скажите, Капитон Игнатьевич, вы давно из родимых мест?

— Давно. Лет, наверное, двадцать.

— Двадцать? Не может быть! Вы же в прошлом году в Иваново-Вознесенске работали.

— Вы спросили с родины, а я родом...

— Совершенно верно, Капитон Игнатьевич, но я имел в виду Иваново-Вознесенск.

— Оттуда недавно, в конце лета.

— А почему, позвольте спросить, вы родные места покинули?

Степан, еще не зная, к чему клонится допрос, решил прикинуться любителем больших заработков.

— Судите сами, ваше благородие. В Шуе у Павлова я получал семь рублей, в Иваново-Вознесенске у Фокина — девять целковых, а здесь выходит не меньше пятнадцати. Мастер обещал со временем в браковщики определить, а это уже четвертным билетом пахнет.

Околоточный с любопытством смотрел на него:

— Куда же ты такую прорву денег девать будешь? Женатый?

— Жениться, ваше благородие, скоро не собираюсь, а если и женюсь, то только с приданым...

— Хорошо замышляешь,— перебил околоточный,— и будет тебе в этом сопутствовать удача, если мне кое в чем поможешь. Ты мне, я тебе...

Степан с трудом удержался от улыбки:

— Чем могу быть полезен, ваше благородие?

— Слушай внимательно. Только смотри, о нашем разговоре ни-ни.— Околоточный достал из-за обшлага шинели бумажку и, посмотрев в нее, продолжал: — Ты, когда в Иваново-Вознесенске жил, не знал человека по фамилии Никитин, зовут Иваном, отчество Матвеевич, а до этого его звали Важеватовым?

У Степана на какое-то мгновение закружилась голова.

— Не слыхал.

— Подожди, не перебивай!.. Служил в гвардии. Одним словом, Капитон Игнатьевич, этот Важеватов крупная птица. Кто его словит, тому награда. Вот если ты, например, укажешь мне его, получишь сто рублей, как одну копеечку.

Степан торопливо забормотал:

— Сто рублей! Я бы за семьдесят пять его приволок, ваше благородие! Сто рублей!

Околоточный посмотрел на Степана с явным презрением:

— Ну, раз не знаешь, значит, не заработаешь. Можешь идти. Скажи табельщику, чтобы сюда шел.

Степан позвал табельщика, задержался в коридоре у дверей табельной и услышал голос околоточного:

— Ну и дурака ты мне подсуропил...

Табельщик обидчиво ответил:

— Я ум у них не вешаю. Сами сказывали: будут поступать иваново-вознесенские — оповещай.

— Ну, этот уж совсем дурак... Только на деньгу жадный. А кто еще из иваново-вознесенских есть?

— Больше никто пока не приходил.

Вечером к Степану зашел Синцов.

— Мне, Василий Петрович, надо про важное дело рассказать,— перебил его Важеватов.

— Говори.

— Меня сегодня околоточный допрашивал.

— О ком же?

— О Важеватове, из Иваново-Вознесенска.
— Что ты ему сказал?
— Сказал, что я такого не знаю.
Синцов протянул Степану руку:
— Очень я рад, что ты сам мне об этом сказал. До тебя околоточный еще одного человека вызывал и тоже про этого Важеватова спрашивал. Я рад, что ты, выходит, парень честный, а околоточный Сахаров большая скотина, мерзавец, каких мало. Развел по всей фабрике своих агентов; слова нельзя сказать — тут же ему доносят. Ну, да черт с ним! Тебе два важных поручения. Оповести народ о массовке. В воскресенье, в восемь утра, у заставы.
— Так рано?
— Хотим фараонов перехитрить. Они предполагают, что соберемся вечером, а мы им сюрприз. После массовки подбери десять парней — и в Исторический музей. Там митрополит Владимир для черносотенцев молебен служить будет.
— Мы тут при чем?
— Тебе Говоров расскажет, как себя во время молебна вести. Ну вот и все. Я пойду. Да, кстати, ты этого парня, о котором тебя околоточный спрашивал, на самом деле не знаешь?
— Немного знаю.
— А что он такое натворил, что его повсюду ищут?
— Ничего особенного. Парень самый обыкновенный.
— Ты так говоришь, словно не один пуд соли с ним съел?
— Не пуд соли, а встречаться приходилось.

* * *

Молебен для «представителей верноподданных рабочих» шел пышно и торжественно. Служил сам владыка — митрополит Московский и Коломенский Владимир. Красавец дьякон, бледнолицый, с черной бородой, гудел, как колокол, надуваясь до синевы. Пел известный на всю Россию хор чаеторговца Перлова.

После молебна владыка пожелал произнести проповедь. Пока выносили аналой, хор грянул «Славься, славься, наш русский царь!». Из публики послышались хлопки. Недоумевающий регент опустил руку, и хор, повинуясь ему, умолк. Хлопки усилились. Помощник обер-полицмейстера, стоявший в первом ряду, поднялся на цыпочки и, вытянув шею, тыкал воздух рукой, видимо отдавая какое-то приказание полицейским чинам.

Регент снова взмахнул камертоном, и хор запел все сначала. Аплодисменты послышались в другом месте. Забегали городовые, но хлопки не утихали. Они слышались то справа, то слева. Хор кое-как дотянул до конца, и вышел митрополит с листом бумаги в руках. Он положил листок перед собой, не спеша разгладил его и негромко, хорошо поставленным голосом, с отличной дикцией произнес:

— Дорогие чада православной церкви! Великую смуту переживает отечество наше.

Громко всхлипнула какая-то кликуша. Митрополит строго посмотрел в ее сторону и продолжал:

— Не повиноваться властям и благоверному государю императору нашему призывают простой народ дерзкие вероотступники и клятвопреступники...

— Неправду говорите, ваше высокопреосвященство! — раздался в тишине спокойный голос. — Клятвопреступник сам царь. Он нарушает обет заботиться о народе.

Полицейские бросились туда, откуда раздавался голос. И в тот же миг другой голос из другого места внятно сказал:

— Вы, ваше высокопреосвященство, должны молитвы читать, а не политикой заниматься!

Митрополит гневно посмотрел на слушателей и выкрикнул:

— Изыдьте из святого места, слепые черви!..

В ответ в разных местах загремели аплодисменты. Кликуша, почувствовав свободу, заголосила непонятные слова. Поднялся шум, крик. Одни кричали: «Как не стыдно! Вывести их!» Кто-то на одной ноте визгливо тянул: «Христопродавцы!» Митрополит крикнул:

— В театр превратился святой молебен! — и, широко шагая, ушел с амвона.

Началась свалка. Городовые хватали людей, толкали в спину кулаками. Помощник полицмейстера зычно командовал:

— Освободить помещение! Освободить!

У выхода стояли городовые и люди в штатском. Среди них Степан увидел старшего табельщика Прохоровской мануфактуры. Очевидно, и другие штатские были мастера, табельщики и прочие мелкие чины фабричной администрации, созванные полицией для установления личности выходивших из музея.

Важеватова пропустили, а вышедшего вслед за ним пожилого рабочего задержали. Городовые цепко впились в него.

В толпе любопытных, окружавших паперть, Степан заметил Синцова, подмигнул ему, и они пошли к набережной. От набережной поднимался жандарм с толстой разносной книгой.

Поравнявшись со Степаном, жандарм крикнул:

— Стой!

Степан сразу узнал унтер-офицера кавалергардского полка Куркова. Курков спокойно, словно знал, что встретит беглеца, сказал:

— Пойдем, Степан,— отстегнул кобуру и выхватил револьвер.

Синцов со всей силой ударил его в подбородок и выхватил револьвер. Курков рухнул на мостовую и схватился руками за лицо. На подмогу к нему бежал городовой. Синцов махнул рукой, показывая, куда бежать, и, повернув за будку, два раза выстрелил в городового. Тот, струсив, повернул обратно. Синцов, пятясь, отходил к реке, не сводя глаз с Куркова.

Попозднее они встретились у Степана.

— Он тебя раньше знал? — спросил Синцов.

— Встречались, — усмехнулся Степан. — Вместе служили в кавалергардах. Да что я от тебя буду таиться? Помнишь, меня околоточный вызывал, об одном человеке расспрашивал?

— Конечно, помню. О Важеватове. В чем же дело?

— Дело в том, товарищ Синцов, что Важеватов — это я сам.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Товарища министра внутренних дел Дурново граф Витте презирал. В молодости Дурново был морским офицером, но потом молодой карьерист рассудил, что от праведных корабельных трудов каменных палат не нажить, и, распростившись с мундиром морского офицера, предпочел форменный сюртук судебного следователя. Через несколько лет он уже занимал важный пост товарища прокурора судебной палаты в Киеве, а в начале 80-х годов стал директором департамента полиции. Министру финансов Витте отлично было известно, какие огромные денежные средства выделялись в безотчетное распоряжение директора департамента полиции на секретные расходы и сколько денег из этих колоссальных сумм Дурново тратил на себя лично. Но и этих сумм не хватало на содержание любовниц, на уплату картежных и биржевых проигрышей, и Дурново откровенно и беззастенчиво брал взятки. Не десятки, а сотни проходимцев, крупных аферистов, жуликоватых подрядчиков казенных работ избежали каторги благодаря его далеко не бескорыстному вмешательству.

Незадолго до смерти Александр Третий, узнав о мерзостях Дурново, приказал: «Убрать эту свинью!»

Витте знал все это и, полагая себя в денежных делах образцом порядочности, старался как можно реже встречаться с Дурново, но сейчас он был необходим графу: разве можно было о чем-нибудь советоваться с министром внутренних дел Булыгиным, которого граф в минуты раздражения весьма недвусмысленно называл «огородным чучелом в парадной форме»! Иное дело Дурново: этот хотя и грязный плут, но успел побывать товарищем министра при четырех министрах: Сипягине, Плеве, Святополк-Мирском и при Булыгине. Никто, кроме него, пожалуй, не знал, что творится в необъятной Российской империи.

Разговор состоялся с глазу на глаз. Дурново, понимая свою роль и чувствуя, как он нужен Витте, держался скромно, загадочно. Граф с первых слов взял необычный в разговорах с Дурново доброжелательно-доверчивый тон:

— Завтра у меня, по всей вероятности, решительная аудиенция у государя. Не буду от вас скрывать: очевидно, разговор коснется двух важных предметов. Во-первых, о составе будущего совета министров. Вас, Петр Николаевич, я бы хотел видеть в моем кабинете министром внутренних дел. Как вы к этому расположены?

В волчьих глазах Дурново сверкнула радость. Зашевелились густые усы, и вместе с ними чуть заметно задвигались большие бледные уши.

— Разрешите, Сергей Юльевич, сейчас мне не давать вам окончательного ответа. Разрешите посоветоваться...

«Интересно, с кем этот каторжник собирается советоваться? С очередной любовницей?» — подумал граф, а вслух сказал:

— Не возражаю, но желаю, чтобы ваши советчики были благоразумны.

— Мне не с кем советоваться, граф, кроме как с собственной совестью.

«Худой советчик», — усмехнулся про себя Витте и проникновенно сказал:

— Это лучшее, что я мог предполагать. Верю, что с помощью этого советчика вы, безусловно, примете мое предложение.

— Я подумаю, ваше сиятельство, — уклончиво ответил Дурново. — Каков же второй предмет вашего разговора с государем?

— Высочайший манифест. И вот в этом деле мне нужен ваш совет, откровенный, беспристрастный, — одним словом, совет государственного человека. Вы лучше меня знаете внутреннее положение. Скажите, что нам сейчас нужнее: уступка или — я буду откровенен — кнут?

— Я ожидал вашего вопроса, Сергей Юльевич, и на всякий случай захватил...

Он достал из портфеля пачку бумаг.

— Вот, извольте. «Время самодержавной монархии прошло. Мы теперь должны не мечтать о конституции, а требовать ее». Это, Сергей Юльевич, из речи бывшего саратовского предводителя дворянства статского советника Кривского. А вот, пожалуйста, разговор иваново-вознесенского фабриканта Зубкова.

— Я его знаю, — вставил Витте. — В мою бытность министром финансов он обращался ко мне. Желчный господин.

— Вы послушайте, что он заявил: «Надо нашему государю руки укоротить. Дать больше воли нам, деловым людям». А вот, пожалуйста, еще: «Спасение России — в ликвидации неограниченной монархии». Это высказано на собрании акционеров Соколовской мануфактуры Асафа Баранова, и не кем-нибудь, а самим директором-распорядителем. Разговор идет в открытую, Сергей Юльевич. О господах пролетариях и их вожаках я уже не говорю. Но все это, как говорится, полбеды. Со всеми их мечтами можно было бы справиться. Главная беда — армия не на-

дежна. Братаются солдатики с пролетариями. В Харькове, да и не только там, а во многих гарнизонах, отказываются стрелять. В Ревеле солдаты на собрании постановили — вы понимаете, солдаты на собрании постановили! — уйти из города. В гвардейских полках появились прокламации; того и гляди, у преображенцев или измайловцев дело до митингов дойдет. А флот? А пример «Потемкина»? Вчера ночью в Кронштадте из главного склада похитили сто двадцать винтовок и два пулемета. Очевидно, не за зайцами по первой пороше собираются... А вот, пожалуйста, телеграмма из Красноярска: офицеры перебиты, батальон участвовал в манифестации. Я еще в детстве заприметил: бабы, когда с колодца идут с полными ведрами, кружочки деревянные на воду кладут, чтобы не расплескалась. Манифест будет вроде этого кружочка: успокоит волнение. Я с вами, Сергей Юльевич, тоже буду откровенен. Там, в Петергофе, не все понимают... Не понимают, какой опасности мы все подвергаемся.

— Душевно рад, что наши мысли сходятся. У меня к вам еще вопрос о Совете рабочих депутатов. Что вы о нем можете сказать?

— Особого значения не придаю. Было бы хуже, если бы в Совете верховодили сторонники самого главного из социал-демократов — Ульянова-Ленина. Там главенствует Хрусталев-Носарь, здешний помощник присяжного поверенного. Этот господин большой опасности не представляет. Во всяком случае, шума от них много, страху меньше. По мере возможности за ними следим. Если уж очень начнут своевольничать, — Дурново выразительно надавил ногтем большого пальца ручку кресла, — к ногтю!

Витте вспомнил рассказы о жестокости Дурново при допросах заключенных: «Каторжник, чистый каторжник... Но ничего не поделаешь, шеф жандармов. Ангела на такую должность не поставишь».

Они расстались, казалось, почти друзьями. Крепко пожимая протянутую графом руку, Дурново попытался разведать:

— Как быть с обер-прокурором святейшего Синода уважаемым Константином Петровичем Победоносцевым?

Граф ответил уклончиво:

— Не мне решать вопрос о воспитателе государя императора.

Дурново сделал решительный жест:

— И ему и министру просвещения Глазову надо уйти. Если их оставить, никто ни в России, ни за границей не поверит в наши добрые намерения.

— Это уже дело государя,— снова уклонился граф и переменил тему разговора.— Вы, надеюсь, не один?

— Кто же сейчас один разгуливает! С охраной, граф, с охраной. За мной господа бомбисты давно охотятся.

Граф, проводив гостя, прошел на половину жены.

— Ты еще не спишь, дорогая?

Витте опустился в кресло, постучал по ручке.

— Каторжник! «К ногтю».

— Ты о чем, Сергей Юльевич?

— Так, вспоминаю. Когда-нибудь он и меня вот так же «к ногтю»...

* * *

Из Петергофа на другой день возвращались поздно вечером. На пристани Витте ожидала втрое увеличенная охрана. Кроме двух велосипедистов, впереди кареты стояла коляска с открытым верхом. В коляске — четыре типа в штатском; руки угрожающе засунуты в карманы. Сзади еще коляска с тремя широкоплечими молодцами, похожими друг на друга, как новенькие полтинники. Граф, усмехнувшись, справился у ожидавшего на пристани управляющего делами комитета министров Мансурова:

— Откуда эти господа?

— Присланы по распоряжению временно исполняющего обязанности шефа жандармов Дурново. С трех часов ждут.

«Старается, — подумал Витте, и тут же подозрительная мысль встревожила душу: — Теперь каждый мой шаг под контролем».

Казалось, можно было успокоиться. В портфеле лежал подписанный царем манифест, текст которого Витте знал почти наизусть: «Божией милостью, мы, Николай Вторый, император и самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем нашим верноподданным. Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей тяжелой скорбью преисполняют сердце наше. Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты...

На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли: даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов...»

Витте вспомнил бледное лицо царя, подавшего ему подписанный манифест, красную от волнения царицу с закушенной нижней губой, испуг в глазах великого князя Николая Николаевича. Царь, как всегда, не глядя на собеседника, глухим голосом сказал: «Дело сделано, Сергей Юльевич, вам его осталось продолжать». Всхлипнул легко приходящий в состояние экстаза барон Фредерикс. Великий князь, крестясь, выразил последнее сомнение: «А может, геенну огненную для себя разверзли?»

Карета катилась по мостовой. Хлюпал под колесами мокрый снег. Граф протер запотевшее окно и увидел: рядом, согнув спину и вытянув шею, старательно работал ногами велосипедист. «Как же они зимой будут? — подумал Витте и спохватился: —

Какие глупости идут в голову! При чем тут эти сыщики? — И снова подумал о них: — Конечно, при чем. Отныне моя жизнь в их руках. Впрочем, не уберегли же ни Сипягина, ни Плеве...»

Послышались шум, пение. Кучер не успел проскочить через улицу, и карета, отстав от передней коляски, остановилась. Витте еще раз протер окно и посмотрел. По улице при свете факелов шла манифестация. Мокрые флаги и знамена тяжело колыхались на осеннем ветру. Тысячи голосов пели: «Смело, товарищи, в ногу...»

Сначала на карету премьер-министра внимания не обращали, потом окружили. Стучали в стекла. Поднесли несколько факелов, и вокруг стало совсем светло. Охранник слез с велосипеда и, пугливо озираясь, послушно отдал его каким-то парням. Граф подложил себе под зад портфель с всеподданнейшим докладом и царским манифестом, словно так было надежнее. Демонстранты отошли от кареты, и кучер, повернув лошадей, погнал в объезд по малолюдной улице.

Потом кучер снова попытался пересечь Невский, но и здесь бесконечная демонстрация преградила путь. «Куда они так поздно? Как их много!» — тревожно думал Витте, и к сердцу подступили тоска, беспокойство.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

За последние две недели Сергею Ивановичу Семенову не хватало времени не только на чтение, а даже на то, чтобы лечь на диван, вытянуться и мгновенно уснуть. На ходу читал газеты, на ходу ел, спал урывками. К концу второй недели он вспомнил, что, «уезжая», обещал Феониле Пименовне вернуться самое большое через пять-шесть дней. А вдруг хозяйка забеспокоится и, чего доброго, заявит в полицию о пропаже жильца! Войдут, начнут перетряхивать вещи, а там целый склад. Конечно, старуха знает, что поезда не ходят, а все-таки «береженого и бог бережет».

Всегда строго соблюдавший все правила конспирации, Семенов поругал себя за оплошность и, справившись по коммерческому календарю, где в это время бывают ярмарки, послал Феониле Пименовне записку о том, что задержался из-за печальных событий в Новоузенске и оттуда, если поезда начнут ходить, проедет в Кимры, а записку, дескать, посылает со знакомым, едущим в столицу на своих лошадях.

В половине октября Петербургский комитет создал коллегию митинговых ораторов. В эти дни митинговал, казалось, весь Петербург. Собирались на улицах, на мостах, в вестибюлях банков и контор, в аудиториях университета и технологического института. Митинговали не только на окраинах — на Выборгской, за

заставами, — митинговали в центре. Даже министерские канцелярии шумели: «Требуем конституции!» Случалось, влезал на стол человек в вицмундире чиновника министерства просвещения и кричал: «Долой самодержавие!» Митинговали дворники, и даже городовые добивались какой-то справедливости, требуя у начальства отчета, куда делись деньги, собранные на сооружение богадельни для престарелых городовых.

Ораторам, выступавшим на митингах, задавали самые разнообразные вопросы, поэтому в коллегию Петербургский комитет отобрал самых опытных, самых находчивых. Сергею Ивановичу приходилось не только выступать самому, но и готовить материалы для выступлений других.

Вечером 17 октября коллегия командировала Сергея Ивановича на митинг в актовый зал университета. Митинг начался при дневном свете, но как только стемнело, в зале появились десятки восковых свечей, принесенных из университетской церкви. На кафедру вскочил очередной оратор. Он выкинул вперед левую руку и театрально воскликнул:

— Товарищи! Мы стоим с зажженными свечами, как на молитве. Эти маленькие язычки пламени...

Сергей Иванович сразу узнал меньшевика Ярцева, три дня назад безуспешно пытавшегося выступать перед судостроителями Невского завода и ушедшего с трибуны под яростные крики «Долой!», «Прекратите болтовню!». Но здесь Ярцева слушали с интересом, а он патетически восклицал:

— Дорогие мои товарищи! Ваша горячность мне понятна. Но неужели вам не наскучило повторять одно и то же: вооруженное восстание, революционная армия, временное революционное правительство? Разве так делается революция? Не отпугнем ли мы крайними лозунгами либеральную интеллигенцию, которая хочет идти вместе с народом?..

Все, что говорил Ярцев дальше, потонуло в шуме и криках, он еще что-то пытался сказать, но, поняв, что ему не дадут говорить, слез с кафедры.

Получив слово, Сергей Иванович посмотрел на Ярцева, усмехнулся и сказал:

— Благодарю вас за комплименты, господин Ярцев. Вы, как видно, сами того не желая, похвалили большевиков. Вы говорите, что вам скучно, но ведь политика — это не спектакль. Сюда ходят не развлекаться, а участвовать в борьбе за лучшую жизнь.

Почувствовав, что он овладел вниманием слушателей, Сергей Иванович решил нанести противнику еще один удар:

— Вы сказали, господин Ярцев, что не понимаете, как можно твердить одно и то же. И за это вам большое спасибо: вы очень хорошо подметили постоянство большевиков, нашу верность основной идее и подчеркнули тем самым изменчивость и колебания течения, которое вы имеете честь представлять. Сегодня вы, меньшевики, за одно, завтра — за другое, совсем про-

тивоположное. Комичны ваши опасения — будто мы отпугнем либеральную интеллигенцию, вернее буржуазию. Это, конечно, весело, забавно, настолько весело, что даже правительство вашу деятельность серьезной не считает. А по-моему, нет ничего хуже для политической партии, если ее считают смешной...

Из университета Сергей Иванович возвращался ночью. На Невском, у типографии «Нового времени», стояли несколько человек. Господин в крылатке, размахивая узким, длинным листком, истерически, захлебываясь от восторга, кричал:

— Заря святой победы поднялась над многострадальной нашей землей!

Подошел патруль городовых. Старший, пожилой городовой направился к оратору, привычно повторяя:

— Попрошу, господа! Попрошу-с!

— Позвольте, господин, — дернул оратора за пелерину городовой, — это что за сборище? Мало вам дня — ночью народ будоражите!

Оратор с пафосом воскликнул:

— Вы теперь не имеете права прикасаться ко мне! Государь император даровал народу свободу слова...

— Нам об этом ничего не известно, — невозмутимо ответил городовой. — Прошу разойтись!

— Нате, читайте. Глупый вы человек! Вот манифест.

— Попрошу разойтись! А за оскорбление при исполнении служебных обязанностей пожалуйте в участок.

— Да посмотрите же вы, серый человек! Это царский манифест!

Городовой взял влажный листок, подойдя к освещенному окну, тупо уставился на него.

— Без царской подписи, — наконец, вымолвил он, — недействительно. Расходитесь, господа, расходитесь.

— Поймите, — убеждал господин в крылатке, — мне дали в типографии неполный текст манифеста, а подпись царя еще не набрали.

— Расходитесь, господа, прошу честью!

К типографии подскакал казачий разъезд. Любопытных как ветром сдуло. Сергей Иванович, не желая нарываться на неприятность, вошел в подъезд типографии. Швейцар поклонился и поздравил:

— Со светлым праздником! Получили. Сам Алексей Сергеевич к графу Витте, за манифестом ездил. Наборщиков кое-как собрали, а за печатниками уже послали. Скоро привезут. Если желаете оттиск, за трешницу уступим.

Сергей Иванович сунул старику зелененькую и получил взамен оттиск манифеста.

В переднюю ввалился казачий вахмистр:

— Хозяина можно?

— В чем дело, ваше благородие? — засуетился швейцар.

— Доложите, что прибыли в его распоряжение. Для охраны типографии. А этот господин что тут делает?

— Мой знакомый, — поспешно объяснил швейцар. — Зашел манифест почитать. Не желаете взглянуть, ваше благородие?

— Нас это не касается, — обрезал вахмистр. — А знакомый пусть побыстрее убирается.

Сергей Иванович выскочил на улицу. У подъезда стояли спешенные казаки. Один из них — молодой, с озорным лицом — шепотом спросил:

— Эй, дядя! Нет ли у тебя манифеста? Чем царь-батюшка порадовал?

Когда он добрался до Невского района, было почти светло. Весть о манифесте уже разнеслась по всему городу. У ворот завода стояла огромная толпа. До Сергея Ивановича донеслись слова оратора:

— Теперь не время распрям и взаимным обидам. Вся Россия стала единой семьей свободных граждан...

Сергей Иванович начал протискиваться к трибуне. А с нее другой оратор, токарь из механической мастерской, большевик Иван Тихонов, рекомендованный им в коллегию митинговых ораторов, произносил совсем иную речь:

— Уверяю вас, товарищи, что ничего особенного не случилось. Царское правительство попросту испугалось и пошло на небольшую уступку. Только на уступку, товарищи! Запомните это!

«Молодец, — подумал Сергей Иванович. — Не оплошал. Правильно начал».

А Тихонов убедительно доказывал:

— В царском манифесте одни только обещания. Свобода слова, собраний!.. Да где же она, эта свобода, когда все тюрьмы переполнены борцами за свободу? Кто будет проводить в жизнь обещания царя? Уж не граф ли Витте? Какую он даст нам свободу? Свободу работать по пятнадцать часов? Свободу подыхать с голоду? Иль, может, свободу ходить без работы? Нет, товарищи, царский манифест — это попытка обмануть народ.

Ворота завода широко распахнулись. Повалил народ. Впереди двое огромных дворников в белых фартуках несли портрет царя в золоченой раме.

Сергей Иванович вспомнил, что этот портрет висел в вестибюле главной конторы. За портретом шли мастера, конторщики, группа пожилых рабочих. Городовые забегали вперед, придерживая руками шашки, и теснили людей к забору:

— Дайте дорогу! Не мешайте! Желаете — присоединяйтесь.

Сотни голосов пели:

Спаси, господи, люди твоя
И благослови достояние твое.
Победы благоверному государю нашему...

Тихонов, поднявшись на выступ кирпичного забора, кричал:

— Вот это можно петь свободно! Никто не запретит! Такая манифестация — царю по душе, пожалуйста, сколько угодно.

Рядом высоко подняли красный флаг. В ту же минуту послышались крики: «Казаки! Казаки!» Другие голоса кричали: «Не посмеют! Не бойтесь! Манифест!»

Казак, весь в медалях, на полном скаку, давя людей, подлетел к человеку с красным флагом и сорвал полотнище с древка.

Те, что шли за царским портретом, перестали петь, свистели и кричали: «Лупи их! Лупи!»

Казаки давили людей у забора, стегали нагайками тех, кто пытался перебраться через него в заводской двор.

Вскоре казаки умчались. Черносотенцы, снова заголосив молитву, двинулись дальше. Сергей Иванович подбежал к лежавшему на тротуаре Тихонову, и первое, что он увидел,— слипшиеся в крови волосы и остекленевшие глаза мертвеца.

Рабочие подобрали убитых. Хромая и шатаясь, брели раненые. Сергей Иванович отошел в сторону, он искал знакомые лица и увидел связную из Иваново-Вознесенска. Она стояла около забора, вытирала платком кровь с подбородка.

— А ты как тут очутилась, Маша?

— Вас разыскивала, за обещанным. Сегодня, говорят, первый поезд пойдет на Москву. Я уже и билет почти что купила.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Вагон был переполнен. В отделение, где полагалось быть восьмерым пассажирам, набилось около двух десятков. Груня была этому очень рада: кто в такой тесноте полезет проверять багаж! Ее корзинка, в которой под нехитрыми девичьими пожитками лежало двадцать браунингов и шестьдесят пачек патронов, стояла под сиденьем у самой стенки.

Сергей Иванович, выдавая оружие, сказал ей:

— Больше не дам. Не довезете. И себя погубите и пистолеты. Передайте Трифонычу: пусть в начале ноября присылает надежных людей, да парней, а не девушек вроде вас.

Груня даже не обиделась на его ворчливое замечание. Радовалась, что едет домой и не с пустыми руками.

Ее провожала Оля. Она так энергично работала локтями при посадке, что ворвалась в вагон одной из первых и заняла Груне хорошее место в среднем отделении у окошка.

— Скоро и я уезжаю... Передавай привет.

Груня и так догадалась, что она хотела передать Трифонычу. Дней пять назад Оля, освободившись от дел, уселась в стареньком креслице, подвернула под себя ноги и попросила:

— Расскажи мне, как он там живет. Все расскажи.

Груня поняла, что Трифоныч для Оли не только товарищ по партии. Она и сама не скрывала своего чувства, а просто сказала:

— Как же его не любить! Он такой, Машенька, хороший, такой родной! — И тихо добавила: — Редко вижу его, а теперь не знаю, когда и встречусь.

Если бы поезд отходил в обычный день, в вагоне уже за станцией Петербург-II началась бы обычная дорожная жизнь. Послышались бы всякие мирные разговоры — кто о чем горазд: о дороговизне, о том, что в столице хорошо, а дома, где-нибудь под Ярославлем или Тулой, куда лучше. Поругали бы осеннюю петербургскую погоду: «Все дожди и дожди, а то мокрый снег». Похвалили бы Исаакиевский собор. А там, глядишь, кто-нибудь первый вынул бы из корзинки знаменитый петербургский ситный, чайную колбасу; другой развернул копченого сига, третий раскрыл плетушку с золотистыми копчушками, а там и Любань: пора спать.

Напротив Груни сидел пожилой человек в пенсне. Судя по торчавшему из кармана пиджака стетоскопу, это был врач. Еще не скрылись трубы питерских заводов, а он уже принялся за газету: читал, хмурил брови — видно, чем-то был очень недоволен.

— Что нового пишут? — склонился с третьей полки бородатый мужик. — Все про свободу?

— Разное пишут,— уклонился от разговора врач.

— Прочитали бы нам. — И, словно ища поддержки, мужик обратился ко всем сидящим внизу: — Послушаем господина хорошего.

— Если никто не возражает, я с удовольствием. Не знаю, право, с чего и начинать.

— А вы давайте по порядку, — сказал мужик. — Нам теперь все интересно.

— «Слух об отставке обер-прокурора святейшего Синода действительного тайного советника Победоносцева, — громко, чужим голосом начал врач, — встречен обществом не только с удовольствием, а с ликованием. Этот слух приятен еще и тем, что вместе с Победоносцевым в отставку, по всей вероятности, уйдет и министр просвещения Глазов».

— Понятно,— сказал мужик.— Отставили, значит. А этого, Трепова, еще держат?

— Да не мешайте вы, — сердито перебил мужика молодой человек в серой гимназической шинели.

— Пока держат, — ответил врач. — Напечатано его указание о порядке созыва собраний, в дополнение к манифесту.

— Интересно. Читайте.

— Пожалуйста. «Желающие устроить собрание письменно сообщают об этом начальнику местной полиции за три дня, точно обозначив день, час, место и предмет занятий собрания, фамилию, имя, отчество устроителя. К устройству собрания не до-

пускаются малолетние, учащиеся и нижние воинские чины. На собрании, по мере надобности, может присутствовать или сам полицейский начальник, или кто-либо из чинов полиции по его усмотрению. Устроитель должен закрыть собрание после двукратного предупреждения полицейского чина в случае отклонения от предмета собрания, возбуждения населения, противозаконных денежных сборов...»

— Вот это свобода! — иронически произнес молодой человек в гимназической шинели. — За три дня объяви, лишнего не говори.

— Правильно! — в тон ему сказал мужик сверху. — Кто ты такой-сякой? А может, вместо того чтобы собрание устраивать по какому-нибудь предмету, тебя надо в холодной подержать для отрезвления поведения?

— Вы, я вижу, грамотный, — поднял голову врач. — Разбираетесь.

— Нынче, барин, все грамотные.

— Чересчур образовались, — со злостью проговорил высокий пассажир в хорошей, синего сукна, поддевке. — У нас в волости таких грамотеев в проруби топили.

— Уж не ты ли топил? — ехидно спросил мужик. — Это вам не прежнее время, ваше степенство. Сейчас, шалишь, в прорубь не полезем, скорее кого-нибудь другого спихнем.

— Это кого же? Ты о ком говоришь? — закричал купец. — А если я сейчас жандармов крикну?

— Зови, — равнодушно сказал мужик.

Купец начал пробираться к выходу. Груню так и подмывало встать и крикнуть: «Эй, дядя, брось, не ходи. Человека погубить хочешь?» Но, помня о своем опасном грузе, молчала, сердито посматривая на соседей: неужели никто не заступится за мужика? Врач сложил газету и направился вслед за купцом. Парень в солдатской шапке, стоявший в проходе, подбодрил:

— Ну, держись, борода, сейчас архангелы прилетят.

Вскоре врач вернулся, протиснулся на свое место и снова развернул газету.

— А где этот, в поддевке? — не выдержав, спросила Груня.

— На площадке, станцию дожидается.

— Вы бы с ним поговорили.

— Разве такого уговоришь!

Груня подняла глаза на мужика. Тот смотрел на нее, улыбаясь:

— Не беспокойся, красавица. Не в таких переделках бывал...

Поезд остановился. И тотчас же появился купец. Он молча вытащил из-под полки свой чемодан. Парень в шапке вежливо осведомился:

— Во второй класс перебираетесь, ваше степенство? Может, подсобить? Дорого не возьму.

— Я ему бесплатно подсоблю, — насмешливо сказал му-

жик. — А то с ним страшно: все пугает то прорубью, а то еще хуже — жандармами.

Купец не сказал ни слова и, только выбравшись в проход, зло бросил:

— Босяки! Каторжные! Будет и на вас управа!

Мужик спрыгнул с полки и пригрозил купцу огромным кулаком:

— Неохота с тобой связываться, ваше степенство. Я показал бы тебе босяка. — Потом он спокойно, словно ничего не произошло, спросил: — А насчет земли, ваше благородие, в газете ничего не пишут?

— А что бы вы хотели? — справился врач.

— Лев Толстой писал, что человеку только три аршина земли надо, а у меня и аршина нет.

— Ишь, чего захотел, — сказал парень в шапке. — Где столько аршин взять, если каждый помногу захочет?

И начался спор про землю: где ее больше — в Сибири или на Дальнем Востоке — и где она лучше.

Вскоре новые события взволновали пассажиров. Начиная от Любани, на каждой большой станции возникали митинги. Груня из вагона не выходила и знала о митингах по восторженным рассказам парня в шапке.

— Ну и говорит! — восхищался парень оратором, выступившим в Малой Вищере. — Так и режет, так и режет. Не верьте, говорит, манифесту. От него, говорит, свободой даже и не пахнет.

День прошел в спорах да разговорах. Даже ночью — не то в Клину, не то в Твери — Груня сквозь дремоту слышала топот ног, гул голосов и звуки оркестра, игравшего «Боже, царя храни!».

* * *

Москва встретила хмуро. День был серый, ветреный. Груня вышла из вагона последней. Она взвалила тяжелую корзинку на плечо и пошла, посматривая по сторонам, не наблюдает ли за ней любопытный жандарм или, не дай бог, кто-нибудь в штатском. Она помнила наставления Трифоныча: «Когда жандарм смотрит, это не беда, он обязан смотреть: за это ему и деньги платят, наградные выдают. И ты на него смотри — он весь перед тобой: с усами и с саблей. Хуже, когда шпик прицепился: он тебя видит, а ты его нет».

Выйдя на площадь, Груня поставила корзинку на мостовую и тут же услышала:

— Куда тебя, красавица, проводить?

Рядом с ней стоял мужик — тот, что ехал с ней в вагоне.

— Нам не по пути, — попробовала Груня отделаться от спутника.

— А я думаю, что по пути: тебе на Ярославский вокзал, и мне туда же.

— Мне на Курский, — совсем уж сердито заявила Груня и, подняв корзину на плечо, зашагала прочь.

— С Курского, бесценная, до Иваново-Вознесенска дольше проедешь. Придется в Новках пересадку делать, а с Ярославского прямо довезут.

— С чего это вы взяли, что мне в Иваново-Вознесенск надо?

— Да ты же сама, когда садилась, свою подружку туда приглашала. Ты меня, красавица, не бойся. Я тебе пригожусь. Поклажа у тебя тяжелая, а у меня, видишь, ничего нет. Давай понесу.

— Сама справлюсь.

— Тебе говорят, давай, — строго сказал мужик. — Да идем скорее, видишь, городовой на тебя бельма выпучил.

Он легко, словно пустую, поднял корзинку и пошел к Ярославскому вокзалу, приговаривая:

— Камешками, что ли, набила свою посудину? Иль, может, этим... как их называют?

— Чем?

— Ну, те, что взрываются, бомбами? Теперь эти штуки, говорят, часто возят.

Они дошли до вокзала. Мужик поставил корзинку, снял с плеч свою котомку и исчез, сказав:

— Жди меня тут.

Груня присела на корзинку, с любопытством посматривая вокруг. Несмотря на ранний час, Москва уже проснулась. Тарахтели по булыжной мостовой извозчичьи пролетки. Четверка светло-серых лошадей протащила по площади в сторону Сокольников тяжелую карету. Старушка около Груни перекрестилась:

— Иосаф проехал.

— Кто? — спросила Груня.

— Игумен в монастырь. Скоро зазвонят. Он всегда за полчаса к заутрене приезжает.

Карета игумена неожиданно повернула. Старуха опять закрестилась:

— Стряслось чего-то. Опять, наверно, башибузуки улицу перегородили.

— Какие башибузуки? — заинтересовалась Груня, встав на всякий случай с корзины.

— Забастовщики. Господи, хоть на один бы денек успокоились! Бегают, стреляют, дерутся.

Подошел мужик. Он снял шапку, вытер со лба пот.

— Сколько бегал и все попусту. Плохо наше дело, красавица. Поезда не ходят и завтра еще, говорят, не пойдут. В вокзал не пускают. Сегодня, мне сказали, хоронят какого-то Баумана; только из тюрьмы вышел, а его убили. Все железнодо-

рожники собираются на похороны. Чего же мы с тобой делать будем? Куда пойдем?

— Что-нибудь придумаем,— ответила Груня и в ту же секунду услышала знакомый голос:

— Груня, милая! Как ты тут очутилась?

Перед ней стояла Наташа.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Большевика Николая Эрнестовича Баумана, убитого 18 октября черносотенцем, агентом охранки Михальчуком, Степан никогда не видел. Синцов рассказал ему, что Бауман, или иначе, «товарищ Грач», был руководителем Московского комитета партии, один из самых убежденных сторонников Ленина. Мысль о том, что подлый, гнусный человек из-за угла убил Баумана, который недавно вырвался на свободу и которому надо было жить и жить, не давала Степану покоя. Он был сам не свой, мерил шагами свою комнату и все спрашивал Синцова:

— Как же этого паршивого пса к нему допустили? Такого человека потеряли! Ты только подумай: на свободу вышел, на волю. Как ему, наверное, жить хотелось...

— Да, жизнь он любил. Я его много раз видел, слушать не раз приходилось. Товарищ Бауман всегда говорил, что большевики так просто, за здорово живешь отдавать жизни не должны. Большевик принадлежит партии, народу и должен своей жизнью рисковать не ради бахвальства, а ради дела. Вот я тебе и говорю: уезжай из Москвы. Ты для партии человек нужный и где-нибудь в Нижнем Новгороде, в Твери очень будешь полезен. Давай уговоримся, что после похорон товарища Баумана ты уедешь. Сам видишь, Курков тебя узнал сразу. На первый раз мы от него отделались. Жаль, конечно, что не пришибли. Он, понятно, обо всем начальству доложит. Прикажут Куркову тебя выследить, а арестовать воздержаться. Потом приставят к тебе самых наилучших быстроходных филеров. Выйдешь ты на улицу, а один из них где-нибудь стоит, ждет. Ты, скажем, к Корженевскому, а филер, как гончая, за тобой. Сегодня он по твоему следу Осипа Корженевского на заметку взял, завтра Семена Короткова. Они, филеры, терпеливые, на ходьбу не скупые. Бешеной собаке — семь верст не крюк! И будут они за тобой бегать, пока полную ведомость фамилиями наших парней не испишут, а потом хлоп, возьмут в один день да и завяжут всех в один узелок и прямым сообщением в государственные меблированные комнаты с казенным питанием и бесплатной одеждой.

— Куда же?

— В Бутырскую тюрьму. Понял?

— Понял. Хорошо. Уеду. Только скажи, чтобы меня в такой город послали, где бы я мог больше пользы принести.

— Все скажу. А сейчас иди на Большую Никитскую, в консерваторию. Там во дворе найдешь Осипа Корженевского. Скажи ему, что ты от меня. Гроб с телом товарища Баумана в час дня понесут на Ваганьковское кладбище по Немецкой улице, потом по Мясницкой, через Театральную площадь. На Никитскую попадут, наверное, часам к трем. Консерваторцы решили встретить гроб оркестром и проводить до самого кладбища. Боевой группе Осипа Корженевского поручено охранять оркестр, чтобы полиция музыкантов не разогнала. Я — на кладбище: там наши парни вход охраняют.

К трем часам Степан пробрался по запруженной народом Большой Никитской к юридическому корпусу Московского университета.

Сначала он услышал, как могучий хор в несколько тысяч голосов пел: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» Огромная толпа, запрудившая Никитскую улицу, расступилась. Стало видно большое знамя из алого бархата с золотой каймой. Всмотревшись, Степан увидел буквы «РСДРП» и понял, что это знамя Московского комитета большевиков. Вокруг знамени шли молодые рабочие с обнаженными головами. У одного из-под расстегнутой ватной тужурки пылала кумачовая рубаха. Парень нес большой щит с надписью: «Просим полицию не вмешиваться. Порядок охраняют граждане». За первой группой людей шла вторая, с венками. Венков было так много, что их нельзя было даже пересчитать. Вдруг улица затихла, и только слышалось: «Несут! Несут!»

Высоко над огромной толпой плыл обитый красным гроб.

Степан начал пробираться обратно к консерватории. Оркестр уже встал на середине улицы. Дирижер, пожилой седовласый человек, поднял руку, и торжественно-скорбная мелодия похоронного марша поплыла над толпой.

Музыканты отошли в сторону, освободив дорогу знамени и венкам; затем дирижер вышел на середину, и оркестр присоединился к шествию.

Корженевский сказал Степану:

— Смотри, не видно ни одного фараона. Но ты пока не уходи. Стой тут.

Мимо шли и шли люди: старики и молодежь, рабочие и интеллигенты, гимназисты и студенты Много солдат и офицеров. Люди шли по десять человек в каждом ряду. Несли флаги и знамена с надписью: «Долой самодержавие!», «Да здравствует социализм!»

В начале четвертого часа, когда совсем почти стемнело, зажгли факелы.

Последними мимо Степана прошли три фуры Красного Креста. На козлах рядом с кучерами сидели студенты.

Как только процессия прошла мимо консерватории, из соседних ворот высыпало несколько десятков молодых рабочих. Послышалась команда: «Становись!» Парни быстро выстроились, и отряд быстрым шагом стал догонять медленно ехавшие фуры Красного Креста.

* * *

Дома, в комнатушке в Малом Грузинском переулке, Степана ждала негаданная радость. Еще в сенях он услышал голос Наташи и с такой силой рванул дверь, что чуть не сорвал ее с петель.

— Наташенька! Родная! Счастье ты мое...

Он схватил ее на руки и стал целовать. Наташа, отбиваясь, смущенно уговаривала:

— Степа, дорогой... Мы же не одни. Ты посмотри...

Только тут Степан увидел Груню. Она, улыбаясь, стояла в узеньком простенке и шутливо говорила:

— Облапил, как медведь, свою Наталью и никого больше знать не хочет. Меня завидки берут. Не знаю, что и делать — то ли уходить, то ли оставаться.

Степан бросился к ней:

— Груня!..

— Ну то-то же!

Квартирная хозяйка, ставя на стол самовар, заметила Степану:

— Я вижу, парень, ты совсем от радости ошалел. Девицы, наверное, голодные. Хочешь, я мальчишку моего в лавочку пошлю? Говори, чего купить.

Наташа достала из корзинки свой старенький ридикюль и дала хозяйке деньги:

— Большое спасибо. Пусть колбасы купит, селедочку и ситного побольше. Он тут, наверное, без меня голодный ходит.

— Пусть сушек прихватит, — добавила Груня. — Очень их люблю.

Вскоре они сидели за накрытым скатертью столом. Степан с нежностью смотрел на Наташу:

— Я узнал сегодня, что поезда перестали ходить, и расстроился. Ну, думаю, теперь моя Наташа долго не приедет.

— Как только письмо твое получила, тут же собралась. Елена Васильевна меня долго уговаривала остаться, все пугала, что в Москве сейчас опасно.

— Наташа-то твоя приехала, а вот как я домой попаду?.. Трифоныч и «Отец» меня, наверное, ждут не дождутся.

* * *

Почти в это же самое время жандарм Курков писал рапорт помощнику начальника губернского жандармского управления полковнику Липатову:

«...Как я и предполагал, государственный преступник Важеватов не мог не участвовать в похоронах социал-демократа Баумана. Он обнаружен мной в пять часов вечера на Большой Никитской, возле консерватории, где разговаривал с неизвестным — судя по одежде, мастеровым. Хотя я и был, согласно вашего приказания, в штатском, я, дабы не привлечь к себе его внимания, в пять часов десять минут пополудни передал его под наблюдение сопровождавшим меня агентам Епифанову и Чашкину.

Епифанов и Чашкин, приняв от меня объект, проследовали за ним до дома № 8 по Малому Грузинскому переулку, куда преступник вошел в шесть часов пятнадцать минут. Из разговора с дворником агент Епифанов установил, что Важеватов в этом доме снимает комнату у вдовы Зайчонковой. Через несколько минут сын Зайчонковой выбегал в лавку и тотчас же вернулся с покупкой.

Агент Епифанов, решив, что наблюдаемый зашел домой не на короткий срок, поспешил на извозчике сюда, оставив наружный выход под наблюдением агента Чашкина.

Доводя о вышеизложенном до сведения вашего высокородия, прошу, ваше высокородие, разрешить мне лично произвести арест Важеватова. Учитывая некоторые свойства его характера, прошу, кроме агентов Епифанова и Чашкина, дать мне в сопровождение двух пеших нижних чинов и двух конных.

Прошу, ваше высокородие, при случае попомнить, что государственный преступник Важеватов обнаружен и опознан лично мной, без чьего-либо участия. Агенты Епифанов и Чашкин не имели о нем никакого понятия...»

* * *

Чашкин служил в филерах недавно, всего три месяца, и самостоятельных поручений ему еще не давали. Он «ходил в паре» со старыми, видавшими виды наблюдателями вроде Епифанова. По молодости и неопытности Чашкин неуклонно придерживался инструкции. Если наблюдаемый в дневное время с людной стороны входил в помещение и оставался там на длительный срок, филеру по инструкции предписывалось изображать обывателя, прогуливающегося после завтрака или обеда. На малолюдной улице, где-нибудь в тихом переулке изображать праздношатающегося не рекомендовалось: можно было вызвать подозрение наблюдаемого, поэтому надо было действовать иначе — сесть на скамью и изобразить выпившего, конечно, не в стельку пьяного, так себе, слегка навеселе. В исключительных случаях филер мог даже лечь в канаву и притвориться мертвецки пьяным.

Расставшись с Епифановым, Чашкин вспомнил про инструкцию. Скамейки, на которой он бы мог разыгрывать подгулявше-

го молодчика, не оказалось. Хотя случай и был исключительный, но ложиться в грязную, мокрую канаву Чашкину явно не улыбалось. Он решил действовать по последнему параграфу инструкции, который гласил: «Во всех остальных случаях агент поступает, сообразуясь с обстановкой и здравым смыслом».

Здравый смысл подсказал Чашкину встать около афишной тумбы и облокотиться на нее с видом человека, испытывающего мучительные переживания после обильно выпитого «ерша».

Именно в этой позе и застал его Василий Синцов. Опытный конспиратор сразу догадался, какая птица залетела в тихий Малый Грузинский переулок. Он наклонился к филеру и участливо спросил:

— Мучаешься, милок?

Чашкин завертел головой и прохрипел:

— Мутит...

Синцов обнял его и сразу нащупал в правом кармане пальто револьвер.

— Пойдем, милок, пройдемся. Со мной тоже бывало. Я в таком случае мятные лепешки употребляю.

Он силой оторвал упиравшегося шпика от тумбы и, повернув его к свету, старался заглянуть ему в лицо.

— Как тебя, милок, разобрало! Хоть морда у тебя и противная, пупырышная, а все же держись за меня, опирайся.

— Ну чего ты ко мне пристал? — взмолился филер.

— Разве я могу человека в таком виде оставить? — уже издевался Синцов.— Пойдем в аптеку, я тебе мятных лепешек куплю.

— Отстань! — зло крикнул шпик. — Проваливай, пока цел.

Синцов плюнул и отошел от филера, сказав на прощанье:

— Ну и замерзай, леший с тобой.

Войдя к Важеватову, Синцов удивился:

— Да тут пир горой!

Поздоровавшись, Синцов вызвал Степана в коридор.

— Кто такие?

— Невеста моя Наташа с подругой.

— Не вовремя твоя Наташа прикатила.

— А это уж мое дело, — обиделся Степан. — Она ко мне, а не к тебе приехала.

— А ты не ерепенься, а одевайся да выходи скорее. Я сейчас на улице шпика заприметил. Не иначе, как к тебе приставлен. Давай проверим. Ты выходи и иди не спеша по Малому Грузинскому, потом по Камер-Коллежскому валу, затем сверни на Курбатовский и Малой Грузинской улицей вернешься к дому. Все время иди правой стороной, а я к тебе навстречу. Если он к тебе приставлен, то уж, будь спокоен, не потеряется.

Степан, одеваясь, заметил недоуменный взгляд Наташи и ласково объяснил:

— Я сейчас вернусь, Наташенька. Только вот Василия Петровича провожу.

Степан постоял возле ворот и пошел по уговоренному маршруту. Пройдя шагов двадцать, он оглянулся и увидел: от афишной тумбы отделилась темная фигура. Степан, усмехнувшись, перешел на правую сторону, постоял, посмотрел на темное небо и двинулся дальше. У поворота на Камер-Коллежский вал он оглянулся. Сомневаться больше не приходилось: шпик хотя и на почтительном расстоянии, но неотступно следовал за ним.

Степану стало весело.

«Сейчас расскажу Наташе, как с провожатым ходил. — Но потом его охватила тревога. — А ведь он за мной неспроста тащится. Наверное, Курков подослал».

Он ускорил шаги. В Курбатовском переулке Синцов встретил его, на ходу сказал:

— Перебирайся к Короткову. Я его задержу.

* * *

В этот беспокойный день хлопот у полиции было много, и поэтому помощник начальника жандармского управления полковник Липатов рапорт Куркова прочитал не сразу, а часа через два. Курков эти два часа страшно волновался: вдруг дурак Чашкин упустит Важеватова? Одно утешало: квартира Степана известна, и его, стало быть, не сегодня, так завтра все равно схватят. Куркову не давали покоя будущие наградные. Он подсчитал, сколько следует раздать начальству: «Так уж и быть, сотню пущу на угощение, на пропой души. Сотнягу-другую раздам натурой. Епифанову дам четвертной билет, а Чашкину хватит и красненькой. Что они? Только до дому проводили. Это и дурак сумеет. Ты вот поди обнаружь такого зверя...»

С учетом всех возможных расходов получалось, что на руках может остаться больше четырех с половиной тысяч. От мысли этой Курков еще больше разволновался: «А вдруг он уйдет?» Он побежал к начальнику наружных агентов ротмистру Филатову:

— Чашкин продрог там, ваше благородие! И к тому же он, как я заметил, невнимателен. Пошлите Епифанова.

Но Епифанов, оказывается, уже убежал за кем-то в Лефортово, а посылать другого ротмистр отказался:

— Они у меня сегодня и так набегались.

Но, разобравшись, о ком беспокоится Курков, ротмистр прошел к полковнику и вскоре вернулся с приятной вестью.

— Приказываю захватить живьем. Бери пролетку.

* * *

— Придется вам, дорогие, перебираться в другое место.

— Что, зацепили? — спросила Груня.

— Да, спасибо Синцов заметил.

— Ну, что ж, бывает. Наташа, одевайся. А ну, жених, помоги мне поднять мою корзиночку.

Переулок был совершенно пуст, и только у поворота на Камер-Коллежский вал им попалась группа парней. На шумной обычно Большой Пресненской никого не было.

Груня, шагавшая с корзинкой на плече, удивлялась:

— Совсем как у нас в Иваново-Вознесенске. Тишина какая... И городовых, слава богу, не видно.

— Попрятались, — объяснил Степан. — Обыкновенно их тут видимо-невидимо. А сегодня по участкам сидят, боятся нос высунуть.

Словно в ответ, где-то не то на Большой Никитской, не то на Поварской загремели выстрелы, послышались крики.

— Пошли, девушки, быстрее! Давай, Груня, твою корзинку.

— Ладно уж, тащи свое приданое, — весело отозвалась Груня.

Привыкший не удивляться появлению неожиданных гостей, Коротков без всяких расспросов пропустил их в свою комнату и только спросил:

— С ночлегом?

— Заночуем, — поспешила заверить Груня. — Приехали в гости, а у хозяина, как у дикого гуся, осенний перелет начался. Под головы найдется чего-нибудь подбросить?

— Найду, — спокойно ответил Коротков. — Сначала я вас чаем напою.

— Спасибо, — поблагодарила Груня. — С удовольствием. Нас как раз за чаем побеспокоили.

* * *

Филер Чашкин сразу узнал Синцова и хотел проскочить мимо, но Синцов с ходу схватил его за правую руку:

— Ну как, все еще мутит?

Синцов выхватил из кармана шпика револьвер и свисток, втолкнул его во двор и отвел за поленницу дров.

— Садись! — приказал Синцов.

Шпик покорно сел на большое полено.

— Давно по следу ходишь? — осведомился Синцов.

— Я новенький, — грустно сказал Чашкин. —А теперь меня, наверное, прогонят.

— Правильно сделают, — назидательно согласился Синцов. — Ты должен мне спасибо сказать. Прогонят тебя с этой паскудной должности, ты, может быть, хорошим ремеслом займешься. В ассенизационный обоз поступишь, будешь на бочке ездить. Можно в ночные сторожа определиться.

— Отдай мне револьвер. Он казенный.

— Ты, друг, совсем с ума спятил. Я тебе револьвер, а ты мне пулю?

— Патроны выбери. Я скажу, что все расстрелял.

— Хитер ты! Не выйдет. Он мне самому пригодится.

— Тогда свяжи меня. Я оправдаться смогу. Скажу, налетело на меня трое.

— Ври больше: говори пятеро. Ладно, свяжу. Веревки у тебя нет?

— Откуда она у меня?

— Надо на всякий случай с веревкой ходить.

— Поясок есть.

— Покажи какой.

— Шелковый, крепкий.

Филер снял крученый шелковый пояс с кистями. Синцов попробовал его на разрыв:

— Хорош! Я тебе им ноги опутаю, а для рук, так уж и быть, свой пожертвую. Ложись.

— А может, сидя?

— Ну и барин! Давай ложись.

Шпик нехотя лег вдоль поленницы. Синцов, наклонившись, начал завязывать ему ноги, приговаривая:

— Калоши у тебя новые, подарил бы...

И не договорил. Шпик ударил его поленом по плечу. Не посторонись Синцов, удар пришелся бы по голове.

Увидев, что его удар не достиг цели, шпик завыл от страха:

— Не убивай! На, вяжи руки, вяжи!

Синцов распутал у него с ног поясок:

— Вставай!

Шпик лежал, закрыв лицо руками.

— Я кому говорю, вставай! — холодно повторил Синцов. Шпик поднялся и прислонился к поленнице. Синцов изо всей силы ударил его по скуле.

— Лежачих мы не бьем. А ну, стервец, защищайся!

Но шпик молча принимал удары и только мотал головой из стороны в сторону.

— Ну, хватит с тебя, — сказал Синцов и двинул филера последний раз по зубам. — Теперь ложись.

Он крепко скрутил ему руки и ноги и, дав хорошего пинка, предупредил:

— Смотри у меня, с полчаса шума не поднимай, а то вернусь, и, будь здоров, вознесешься туда, где ни печали, ни воздыхания...

* * *

Как ни велик был риск появиться в Малом Грузинском переулке у квартиры Степана, Синцов все же не удержался.

Рисковать, оказывается, стоило. Возле пролетки стояли три жандарма и дворник. На углу, около афишной тумбы, два спешенных казака молчаливо курили возле лошадей. Синцов услышал, как один из них сказал другому:

— Наше дело маленькое — подсоблять, а ловить — это их забота. Парень, видно, не дурак, не стал ждать, когда за ним придут. Кому охота взаперти сидеть!

Второй в тон ему ответил:

— Курков совсем обозлился. Дворнику всю морду искровенил, а за что, и сам не знает. Не дворник упустил.

Заметив Синцова, казак грозно крикнул:

— А тебе чего тут надо? Проходи!

В конце переулка Синцова обогнала пролетка, а за ней не спеша ехали, переговариваясь, казаки.

Дверь ему открыл Коротков.

— Гости мои у тебя?

— У меня.

— Как они?

— Ничего. Чай пьют. Уж очень одна из них, ивановская, хороша. Веселая, все шутит.

— Смотри не влюбись. Такая сразу приворожит. Идем к ним.

Груня, подвигаясь, пригласила Синцова:

— Милости просим. Мы тут про вас говорили. Если бы не вы, нас бы другим чаем угощали, с сухарями. Меня бы сразу — на хлеб и на воду.

Синцов строго обратился к Степану:

— Ну, теперь понял? Тебе здесь оставаться нельзя. Был бы ты хоть немного пониже ростом, а то вон какой вымахал.

— А нам все равно жить спокойно нигде не дадут, — подняла на него глаза Наташа. — Все равно за нами ниточка потянется.

— Не в каждом же городе бывшие гвардейские унтеры в жандармах служат, — ответил Синцов.

— Поедем в Шую, — попросила жениха Наташа. — Елена Васильевна нас с радостью приютит. И Трифоныч сейчас там и «Станко».

После долгих споров решили, что раньше в Шую уедет Наташа и даст знать Степану, можно ли ему туда возвращаться.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После летней стачки перед иваново-вознесенскими большевиками встали новые задачи. Вся Россия бурлила. Повсюду — в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Твери, в Донецком бассейне, во многих городах Царства Польского, в Финляндии и Прибалтийском крае — вспыхивали забастовки, сопровождавшиеся вооруженными столкновениями рабочих с полицией и войсками.

В Иваново-Вознесенске, Шуе, Тейкове и других городах и поселках текстильного края наступило некоторое затишье. Устав-

шие, наголодавшиеся за время летней стачки рабочие вряд ли поддержали бы новую длительную забастовку. Да еще не было покончено с летней стачкой: она до сих пор давала знать о себе.

На фабриках хозяева увольняли всех депутатов Совета. Пришлось, понятно, за них вступаться, требовать приема на работу. Там, где разговоры с администрацией к желанным результатам не приводили, приходилось устраивать однодневные забастовки. Хозяева быстро уступали, и скоро почти все депутаты были приняты обратно.

Несмотря на то что Совет уже не существовал, депутатов по-прежнему называли депутатами, и они продолжали оставаться самыми уважаемыми, авторитетными людьми.

Новый полицмейстер с помощью старших конторщиков и табельщиков вроде Жучкина составил большой список наиболее активных участников летней стачки. Список, в который вошло более трех тысяч человек, отпечатали и разослали всем фабрикантам с указанием, что этих неблагонадежных рабочих принимать на работу не следует. О черном списке узнали. Неизвестный человек подкинул председателю Совета Ноздрину два экземпляра списка. С этих экземпляров сняли копии и роздали депутатам. И когда того или другого «неблагонадежного» не принимали на фабрику, администрации показывали копию списка и сурово предупреждали:

— Вы это бросьте! Не примете — забастуем!

Всяких мелких конфликтов и стычек с хозяевами было множество. Откажет администрация в установке бака с кипяченой водой — депутат идет к управляющему, и после внушительного разговора, смотришь, волокут бак — кипятят воду.

Там, где хозяева поупрямее, возникала «летучка» — так рабочие прозвали короткие митинги у ворот фабрики. Летучки, как правило, созывались после смены, когда народ выходил из проходной. Кроме чисто местных вопросов — о приеме кого-либо из уволенных на работу, об улучшении условий труда, — на летучках произносились и политические речи. На них чаще всего раздавались листовки и прокламации. Хозяева очень побаивались летучек, но еще больший страх нагоняли они на мастеров, табельщиков и других мелких чинов фабричной администрации.

На летучке у ворот фабрики Маракушева основательно поругали за грубость и приставание к девушкам старшего счетовода Ефима Брызгалова. Маракушев хотя и не уволил его, но жалованье убавил, перевел в конторщики материального склада, подальше от рабочих.

Но, кроме этой открытой борьбы с хозяевами и управляющими, у большевиков были дела тайные, нелегальные. Наиболее важным являлось вооружение рабочей дружины, обучение стрельбе, уличному бою — иваново-вознесенские большевики отлично понимали, что впереди их ждут серьезные дела.

Много внимания партийный комитет уделял пропаганде.

Событий в стране происходило много, надо было их объяснять. Михаил Фрунзе встал во главе всей пропагандистской нелегальной работы. Его подпольная кличка «Трифоныч» стала все чаще и чаще мелькать в агентурных донесениях и жандармских рапортах. Случалось, что в один и тот же день и Шлегель и начальник шуйского уездного полицейского управления исправник Лавров получали от своих агентов сообщения о только что состоявшемся выступлении «окружного агитатора Трифоныча».

Однажды Шлегель и Лавров всерьез поссорились, оспаривая достоверность своих сведений. Ротмистр уверял, что его агенты видели Трифоныча в этот день, в десять утра, в местечке Ямы на сходке рабочих Товарищества Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры, где он, как всегда, произнес противоправительственную речь. Исправник, ссылаясь на самые проверенные данные, заявлял, что Трифоныч в этот день, в шесть часов утра, был в лесу, на Осиновой горе, в трех верстах от Шуи. Проведя военные занятия с боевой дружиной, он затем беседовал с дружинниками о Портсмутском мирном договоре с Японией. Беседа, как и многие предыдущие, содержала нападки на существующий государственный строй и в особенности на государя императора.

Сначала полицейские чины подумали, что Трифоныч после беседы на Осиновой горе сел в поезд и через час приехал в Иваново-Вознесенск. Но оказалось, что никакого поезда в эти часы не бывает. Единственный пассажирский поезд из Шуи в Иваново отходил в десять часов сорок пять минут. Кинулись проверять, не проходил ли товарный. Товарный тоже не проходил. Оставалось предположить только одно: Трифоныч прошел пешком. Начали подсчитывать, и получилось что-то уж совсем невероятное: тридцать верст от Шуи до Иваново-Вознесенска да плюс три версты от Осиновой горы Трифоныч никак не мог пройти за три часа.

Оба начальника переругались, обвиняя друг друга в том, что держат недобросовестных агентов, которые, очевидно, высасывают донесения из пальца. Лавров высказал предположение, что большевики в целях наибольшей конспирации кличку Трифоныч дали не одному, а двум-трем своим единомышленникам. Шлегель сначала называл все это утопией, а потом, поразмыслив, подвел итог:

— Действительно, тут что-то есть. Не на крыльях же он летает!

Крыльев у Трифоныча на самом деле не было, а велосипед был. Предприимчивый владелец большого галантерейного магазина Пророков ежегодно, весной, с дозволения начальника, устраивал лотерею. Большую часть лотерейных билетов он продавал по полтиннику за штуку, а меньшую выдавал бесплатно, премируя постоянных солидных покупателей. Каждому было за-

манчиво приобрести бесплатно или, на худой конец, за полтинник самовар, роскошный чайный сервиз или серебряные карманные часы. Билеты расходились бойко, убытков от лотереи Пророков не терпел, зато реклама получалась отменная. Весной 1905 года главным выигрышем был, как об этом оповещалось в афишах, отпечатанных на розовой бумаге, «настоящий бельгийский велосипед, с исключительной втулкой, послушный и легкий на ходу, с полным набором инструментов и запасных частей». Главную приманку лотереи с Нового года подвесили в магазине так, чтобы каждый желающий мог, чуть подтянувшись, легким толчком пальца пустить в ход колесо, которое долго крутилось, сверкая никелированными спицами. Слегка покачивалась прикрепленная к седлу желтая картонка с черной заманчивой надписью: «Не продается, а достается за полтинник».

Сверкающее никелированно-лакированное чудо досталось Андрюшке Шаронову, ученику слесаря Терентьевской фабрики. Когда обалделый, растерявшийся Андрюшка выходил из магазина, к нему подлетел гимназист, сын городского головы Китаева, и начал уговаривать уступить ему велосипед за настоящую цену. Андрюшка, даже не разобрав толком, о чем гудел у него над ухом гимназист, вскочил на седло и полетел к себе в Заречье, провожаемый завистливыми взглядами мальчишек. Андрюшка ухаживал за своим механическим конем, словно за живым: чистил и смазывал его каждый день, ласково разговаривал с ним, на ночь ставил его рядом с собой и, засыпая, держался рукой за педаль. И все же, когда старший брат Петр шепнул ему, что велосипед нужен для важного дела, Андрюшка молча вывел свое сокровище:

— Раз надо, значит, бери. Только пусть поаккуратнее с ним. Он у меня уход любит.

В тот день, когда высшие полицейские чины уезда спорили о том, как мог Трифоныч почти одновременно быть в Шуе и Иваново-Вознесенске, Михаил Фрунзе после беседы с дружинниками на Осиновой горе забежал на пять минут на свою очередную конспиративную квартиру переодеться. Через несколько минут мимо полосатой полицейской будки, стоявшей у въезда на Большой мост через Тезу, проскочил на новеньком велосипеде молодой человек в летней студенческой тужурке. Постовой городовой, на секунду оторвавшись от шашечной доски, козырнул по привычке и, двигая дамку, вскользь заметил партнеру, лодочнику Потапу:

— Не иначе, как опять к предводителю дворянства Бальмонту гости нагрянули.

А «гость», энергично работая ногами, миновал переезд через железную дорогу, небольшой поселок Дубки и помчался к синеющему недалеко лесу, через который пролегала большая дорога на Иваново-Вознесенск.

Вечером того же дня радостный, улыбающийся во всю свою

широкую физиономию Андрюшка Шаронов снимал мягкой тряпочкой последние пылинки со своего сокровища. Тут же во дворе, около дровяника, лежали на куче сена его брат Петр и незнакомый парень в синей косоворотке.

— Успел? — спросил Петр.

— Как видишь. Только ноги немного ноют с непривычки.

Но чаще всего свои путешествия между Шуей и Иваново-Вознесенском Трифоныч совершал пешком. Он любил эту дорогу. Каждый раз, выйдя из Шуи, он, добравшись до молодого, росшего на горе леса, садился отдыхать. Отсюда хорошо виднелась Шуя с ее стройной, высокой соборной колокольней и фабричными трубами. На переднем плане на фоне багряной осенней листвы четко вырисовывалась белая церковь села Мельничного, блестели на солнце голубоватые полоски железной дороги.

Второй привал Трифоныч делал не доходя до городка Кохмы, у колодца в небольшой деревушке. После десятка верст хорошо было выпить ковш холодной воды и съесть ломоть круто посоленного черного хлеба. В Кохме Трифоныч, хотя у него времени было мало, на короткий срок останавливался возле льнопрядильной фабрики полюбоваться на ее белые, похожие на крепостные стены, воздвигнутые чуть ли не при Петре Великом. От Кохмы рукой было подать до Иваново-Вознесенска: каких-нибудь девять-десять верст.

Приятно было идти полями и лесом. Легко дышалось, хорошо думалось. Какие только мысли не приходили в голову за этот долгий путь! Однажды, возвращаясь в Шую, отдыхая у колодца, Трифоныч услышал густой звон шуйского соборного колокола.

— Почему звонят? — спросил он женщину, переливавшую из бадьи в ведро воду.

— Ильин день завтра. В Заречье праздник. К крестному ходу готовятся.

Трифоныч торопливо зашагал дальше и прямиком направился к Павлу Гусеву.

— Какую я, Паша, штуку придумал... — усмехаясь, начал он

На другой день, в среду 20 июля, по главной улице Заречья Московской от новой церкви Ильи-пророка двигался крестный ход. Впереди, сияя золотом и серебром риз, шло духовенство. В одинаковых черных костюмах шагали певчие. В толпе богомольцев немало было рабочих, особенно женщин.

Кто-то в первых рядах от избытка верноподданнических чувств, а возможно, и от желания выслужиться в столь смутное, тревожное время, нес портрет царя, которому в крестном ходе быть никак не полагалось.

У ткацкой фабрики Небурчилова в крестный ход влилась новая колонна. Даже священник ильинской церкви, повернувшись лицом к толпе, с довольным видом кивнул головой, словно

хотел сказать: «Смотрите, люди добрые, каких нечестивцев удалось вернуть в лоно православия».

Но в руках у богомольцев беленькие листки. Некоторые их бросали, но многие читали на ходу, посмеивались и прятали листовки подальше.

Одна из листовок дошла по рядам до исправника, Лавров глянул и выскочил на тротуар. Уже бежали к нему, придерживая рукой «селедки», городовые, но делать было нечего — нельзя же у всех на виду хватать из рядов подозрительных и шарить у них по карманам, да и бесполезно: у тех, кто принес листовки, карманы давно уже пусты.

Крестный ход еще пылил по Заречью, а на Нагорной улице Трифоныч, Павел Гусев и Петр Шаронов подводили итоги.

— Сколько ты Малышеву выдал? — спросил у Павла Гусева Трифоныч.

— Триста, и Осокину двести.

— Всего было полторы тысячи. Пятьсот Петр взял. Где же остальные?

— А про Сизова забыл? Ему две пачки выдали.

— Правильно. Здорово Лавров перепугался!

— Поп из Мельничного украдкой листовки в карман опустил.

— Он либерал, детей в университете учит.

— Женька Калашников бухгалтеру Овсянникову в карман сунул. Придет домой, почитает.

Павел Гусев недовольно заметил:

— Это уже озорство, ни к чему! И вообще мне наша затея не понравилась. Кому наши листовки в руки попали? Стоило на такую публику порох тратить?

Трифоныч мягко поправил его:

— Во-первых, все это тебе надо было сказать раньше. Теперь уже поздно: дело сделано. И, во-вторых, сделано не так уж плохо. Напомнили, что мы существуем и не боимся раздавать прокламации на глазах у начальства. Кое-кто нас обругает, а большинство скажет: «Видали? Под носом у самого исправника!»

В комнату вбежали Василий и Силантий.

— Вы бы посмотрели, что там творится! — захлебываясь от восторга, начал Василий. — Перлову на пуговицу у заднего кармана листовку повесили. Он с ней минут пять бегал.

Павел, все еще хмурясь, заметил:

— Озорство все это. Ни к чему. Это озорство.

Трифоныч, поднимаясь, сказал:

— В нашем деле и озорство иногда нужно. Ну, я пошел к Поликарпову. Возможно, и на ночь там останусь.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Николай Поликарпов, к которому пошел Трифоныч, два месяца назад вернулся из действующей армии. До военной службы он шесть лет работал на ситцевой фабрике у Павлова подраклистом. Он был очень доволен своим положением: впереди радостной надеждой маячило обещанное печатным мастером место раклиста на трехвальной машине, а стало быть, и заработок в тридцать пять—сорок рублей. Правда, раклист, у чьей машины мечтал встать Поликарпов, несмотря на свои шестьдесят лет, был еще крепок и, самое главное, хорошо видел даже без очков, но Николай понимал, что придет время, старость возьмет свое, Тихомирова уволят, а он, раклист Поликарпов, будет властно покрикивать на подраклистов и крыловых.

Началась война с Японией, и кандидата на хорошую жизнь угнали на Дальний Восток. В бою под Ляояном у самых ног Николая разорвалась японская шимоза. Он не помнил, как товарищи по взводу донесли его до санитарной двуколки, как трясся он в ней до походного лазарета.

Сознание на короткий срок вернулось к нему на операционном столе. Вокруг стоял резкий запах йодоформа. Высокий толстый человек в белом, испачканном кровью халате сердито кричал:

— Я не позволю людей губить! Вы посмотрите, ваше превосходительство. Если бы этому солдату все было сделано вовремя, он бы человеком остался. А ему больше суток даже сапоги не сняли. Это же черт знает что такое!

Заметив, что Николай открыл глаза, доктор наклонил к нему свое красное бородатое лицо и ласково спросил:

— Очнулся, голубчик?

И тут же крикнул:

— Сестра! Сюда! Захватите мне чистый халат.

Он стащил с себя испачканный халат и бросил его Поликарпову на ноги. Но Николай ничего не почувствовал, как будто халат лег на пустое место. И тут он понял: у него отняли ноги. Он высвободил из-под грязно-желтой простыни руки и поманил доктора.

— Что ты, братец?

— Обе? — хрипло спросил Николай.

— Да, голубчик, пришлось обе. Ничего, голубчик, поделать нельзя.

Николай заплакал.

На другой день к его койке подошел генерал в сопровождении нескольких офицеров.

— Фамилия? Где ранен? — спросил генерал. Не дожидаясь ответа, он положил на грудь Николаю Георгиевский крест и подошел к следующей койке. Молодой подполковник что-то шеп-

нул генералу, и тот недовольно сказал: — Что же вы путаете, подполковник?

Он вернулся к Николаю и положил ему рядом с крестом золотую пятирублевку.

— Как фамилия? — спросил он еще раз.

Николай облизнул засохшие губы.

— Поликарпов, ваше превосходительство.

— Ну вот что, Поликарпов, поправляйся... Скоро домой поедешь.

Домой Николай попал не скоро. Он долго ждал очереди на отправку. Раненых было много, а санитарных поездов мало. Наконец из походного лазарета его перевезли в госпиталь в Иркутск, где он пролежал больше трех месяцев. Там ему выдали костыли. Когда он в первый раз добрался на костылях до окна, с койки, стоявшей у самой стены, донеслось:

— Поликарпов! Здоро́во!

Николай оглянулся. На него, чуть приподнявшись на локтях, смотрел незнакомый солдат.

— Земляка не узнаешь?

Всмотревшись в худое, бледное лицо, Николай узнал Макара Языкова, с которым вместе работал на фабрике у Павлова. Николай сел к нему на койку, и начался обычный для госпиталя разговор: где и когда ранен, далеко ли до полной поправки, что пишут из дома. Николай рассказал и о полученной награде — Георгии — и о золотой пятирублевке.

Макар усмехнулся:

— Пять рублей, говоришь, дали? По два с полтиной за ногу.

Заметив, что Николай обиделся, Макар добавил:

— Ты не сердись на меня. Я тебе правду говорю: дешево они наши жизни ценят.

Николай в эту ночь долго не мог уснуть. Впервые он всерьез задумался над тем, как жить дальше. Что он будет делать?

Под утро в палату вошел дежурный фельдшер. Он на цыпочках подкрался к койке Языкова, прислушался и бесшумно вышел. Через минуту в палате появился офицер, за ним четыре солдата с винтовками. Офицер молча пальцем указал, где им встать. Один остался у двери, второй возле единственного окна, и двое подошли к самой койке Языкова. Офицер потряс Языкова за плечо. Макар вскочил и, видно, не разобрав спросонок, кто его разбудил, сердито спросил:

— Чего тебе?

Зашевелились раненые. Некоторые подняли головы.

Офицер коротко приказал:

— Одевайся, Языков! Быстрее. — И приказал одному из солдат: — Помоги ему.

— Не надо, — отрывисто бросил Языков. — Сам оденусь.

Он одной рукой накинул на себя шинель, собрал в наволочку немудреные свои пожитки.

— Можно с земляком проститься?

Офицер кивнул головой. Макар шагнул к Николаю:

— Прощай, Коля. Доберешься до дому, кланяйся родне.

Он крепко пожал Николаю руку и пошел впереди офицера. У двери он остановился, повернул свое худое, желтое лицо и крикнул:

— До свиданья, братцы!

Как только Языкова увели, в палате начались горячие споры, кто он такой и за что его арестовали. И все сошлись на одном: «Языков, наверно, «политик».

Разговор с Макаром, его арест пробудили у Николая беспокойные мысли. Он подолгу молча размышлял, как он сам себе говорил, «по поводу жизни». И чем больше он вспоминал прошлое и задумывался о будущем, тем больше жизнь казалась ему плохо устроенной, а собственное поведение в этой неустроенной жизни неправильным.

Он вспомнил, как его провожали в армию. Он, слегка подвыпив, стоял у вагона. Плакали воспитавшая его тетка и квартирная хозяйка, хмуро посматривал ее муж. Больше никто проводить его не пришел. А где же были товарищи, друзья? Он с горечью признался, что друзей у него не было. «Почему?» — спросил он сам себя и сам же ответил: «Потому что хотел выбиться в люди, стать раклистом. Хотелось больше зарабатывать». Вспоминая о прошлом, он упрекал себя, что неинтересно провел свою молодость, не ухаживал за девушками, не ходил на вечеринки, не танцевал. «Вот теперь не потанцуешь, без ног, — зло подумал он и выругался: — Ах, дурак! Какой же я был дурак!» И он в сотый, наверно, раз вспомнил слова Макара Языкова: «По два с полтиной за ногу. Недорого!»

Месяца два спустя после ареста Макара он, погруженный в свои невеселые мысли, сидел в госпитальном садике, возле самой решетки. Его окликнул девичий голос. Обернувшись, он увидел молоденькую девушку в голубом ситцевом платье.

— Вы, случайно, не Поликарпов будете? — спросила девушка.

— Я. А в чем дело?

— Вы можете ко мне ближе подойти? У меня для вас письмо.

Николай, неловко орудуя костылями, подошел к решетке. Девушка, оглянувшись, быстро подала ему конверт и ушла.

Николай торопливо разорвал конверт. На колени упала фотография Макара в солдатской форме. Он, улыбаясь, стоял около высокого столика, на котором стопкой лежали ненастоящие толстые книги.

В записке, нацарапанной карандашом, говорилось:

«Дорогой мой земляк Коля! Меня приговорили к расстрелу. Сегодня ночью кончат. Будешь в Шуе, сходи к моим старикам на Большую Ивановскую улицу и передай им фотографию. Рас-

скажи им, что я не вор и не разбойник, а погиб за рабочее дело. Макар».

Николай еще раз посмотрел на фотографию, положил ее вместе с письмом в конверт и спрятал на груди под рубахой. Его вдруг охватила страшная тоска. Он не заметил, как девушка в голубом платье снова подошла к решетке.

— Не подходите ко мне, — предупредила она. — На нас смотрят из окна. — Она наклонилась и, сделав вид, что у нее расстегнулись на ботинке пуговицы, сказала: — Прочитали?

Он в тон ей, тихо ответил:

— Прочитал. Он же раненый был?

— Его сначала вылечили, а уж потом...

Она разогнулась и, поправляя волосы, тихо сказала:

— Спасибо вам. Теперь я буду спокойна: вы довезете.

— Обязательно. А вы кто ему будете? Как вас зовут?

— Никто. А зовут меня Катя. До свиданья!

Она пошла не оборачиваясь.

В Шуе Николай на другой же день добрался на Большую Ивановскую улицу к родственникам Макара. Сестра Макара беззвучно заплакала. Ее муж Егор Таланов, плечистый рябой кочегар с Терентьевской фабрики, долго смотрел на фотографию свояка:

— Эх, Макар, Макар!

В комнату вошел Павел Гусев. Егор молча подал ему карточку и письмо. С этого и началось знакомство Николая с Павлом Гусевым.

Отдохнув с дороги, Николай, нацепив Георгия, явился на фабрику, к управляющему. Тот встретил его ласково, угостил папиросой, но когда Николай завел разговор о работе, управляющий сокрушенно покачал головой:

— Ума не приложу, куда тебя определить? В сторожа тебе идти рано, да и места у меня свободного сейчас нет. Наведайся через недельку, а лучше всего сходи в дом трудолюбия. Там вашего брата в первую очередь принимают.

На прощанье он подал Николаю трешницу. Поликарпова охватил приступ ярости. Он отстранил руку управляющего и процедил, еле разжимая побелевшие губы:

— Спасибо, ваше степенство. Мне за мое увечье уж заплатили — по два с полтиной за каждую ногу.

Толкнул дверь кабинета и заскрипел костылями по лестнице.

Больше он на фабрику не ходил. Тетка отдала ему нехитрый сапожный инструмент и десяток колодок, оставшихся после мужа. Николай, посидев в качестве ученика несколько дней у знакомого сапожника, повесил между окон самодельную вывеску: «Прием в починку кожаной и валяной обуви. Исполнение срочное». Новой обуви он, понятно, не шил, но чинил хорошо, крепко. И к нему потянулись заказчики. Отдав мастеру стоптанные сапоги или до дыр заношенные детские ботинки, заказчик при-

саживался поговорить, послушать человека, побывавшего на краю света. Потом заходил еще кто-нибудь и тоже присаживался, и в конце концов получилось, что по вечерам у Николая собиралась небольшая компания. Нашлись и добровольные помощники: сучили дратву, счищали гвозди. Однажды заглянул Павел Гусев, попросил побыстрее поставить набойки. Николай протянул руку за сапогами:

— Посиди, сейчас сделаю.

Павел, закурив, ввязался в разговор. Родион Баталов, свертывая козью ножку, шутливо говорил:

— Дунаевской полукрупкой можно тараканов морить.

Набойки давно уже были приколочены, заказчики приходили и уходили, а Гусев все сидел, изредка переговариваясь с Баталовым. Потом Баталов поднялся, а за ним и Павел. Они встали за спиной Николая, и он в крохотное зеркальце, висевшее в простенке, увидел, как Гусев передал Родиону небольшой бумажный сверток и, попрощавшись, ушел. Родион, засунув сверток в карман, как ни в чем не бывало свернул новую козью ножку и снова пустился расхваливать дунаевскую полукрупку. Вскоре ушел и он.

Дня через три Гусев опять зашел, на этот раз с сапогами младшего брата Николки.

— Ловко у тебя получается,— сказал он Поликарпову.— Что это у тебя сегодня народу мало?

— Рановато. Подожди, часам к девяти полна коробочка наберется.

Вскоре начали приходить заказчики, но Родион не пришел. На этот раз разговор о дунаевской полукрупке завел Филимон Подборнов. Он и Гусев оставались дольше всех, и опять, как в прошлый раз, Гусев передал Подборнову сверток.

Третий раз Гусев явился в конце этой же недели: принес женские полусапожки.

— Мать просила поскорее сделать.

Николай, не отрываясь от работы и не поднимая глаз, глухо спросил:

— С какой обувкой, Павел Дмитриевич, ты ко мне в следующий раз придешь? У знакомых будешь занимать?

— Не понимаю, Коля, о чем ты говоришь!

— А ты не притворяйся, Павел Дмитриевич! Твои сапоги в порядке, брательниковы залатаны, сейчас я мамашины отделаю. Вот и вся ваша семейная обувь. А тебе ко мне, я так думаю, еще не раз наведываться придется.

— Не один ты сапожник,— упорствовал Гусев.

— Полно, Павел Дмитриевич. У меня удобнее свертки дружкам передавать. Обидел ты меня, Павел Дмитриевич, крепко обидел. Я давно догадался, что ты за человек. Сказал бы мне прямо: позволь, мол, мне у тебя с нужными людьми встретиться. Может, чего сохранить надо — сохраню. Ты не бойся, я не

из тех, кто в полицию бегает. Я, брат, до сих пор помню, как Макара Языкова из лазарета уводили. Он у меня в голове навеки остался.

Вскоре начали приходить заказчики, и разговор прекратился.

В этот же день Гусев все рассказал Трифонычу.

— Ну что ж, — ответил Трифоныч. — Выходит, нашего полку прибыло. Посмотрим. Судя по твоему рассказу, из него хороший партиец, может быть, получится. И все-таки, Павлуша, из всей этой истории есть для нас и неприятный вывод.

— Не понимаю. Хороший человек объявился, полезный.

— Все это верно. Человек он хороший, но зато плохие мы конспираторы, если он после двух твоих посещений обо всем догадался.

— Зеркальце ему помогло. Он мне сам сказал.

— Вот именно. Отразилась в этом зеркальце наша небрежность. Придется нам за конспирацию по-настоящему взяться.

В конце недели Трифоныч завернул в газету свои старые штиблеты и попросил Павла:

— Отведи меня к этому сапожнику. Посижу, пока у него народу мало.

Вернулся Трифоныч под вечер. Развернул штиблеты, довольно постучал подметками по табуретке:

— Как новенькие! Опять на целый год хватит.

Павел с укоризной посмотрел на друга. Трифоныч, угадав его мысли, улыбнулся.

— Ну и человека, Павлуша, нашел! Правильный парень. А то, что он сапожник и все время дома сидит, это для нас большое удобство. Здорово!

Николая Поликарпова приняли в партию, а его сапожную мастерскую превратили в склад нелегальных брошюр и листовок. Трифоныч, проверяя, как Николай хранит нелегальщину, пришел в восторг:

— Молодец! Ну и выдумщик!

На стене в березовой рамочке висел групповой портрет ныне царствующих монархов. В центре сидели Николай Второй и очень похожий на него английский король. Слева, на самом краю, виднелся японский император, которому Поликарпов предусмотрительно выколол оба глаза.

— Не успел я повесить разлюбезную компанию, — объяснил Поликарпов, — как ко мне городовой Севастьянов сапоги принес. «Что это, — говорит, — у тебя одна высокопоставленная личность вроде ослепла?» Я ему в ответ: «Это же дракон японский. Я, можно сказать, из-за него ростом почти на аршин стал ниже. Почему же я на эту рожу любоваться должен?» — «Правильно, — говорит. — Выходит, ты у нас патриот».

Николай ловко поднялся на табуретку, снял картинку и, потянув гвоздь, на котором она висела, вынул небольшой кусок бревна.

— Эту дырку еще мой покойный дядя выдолбил. Принесут ему, бывало, фабричные шорники краденых ремней для подметок, он их на куски порежет и сюда. Ни один черт не сыщет. И водочку от тетки там прятал. Тут прохладно, не испортится.

* * *

Возвращаясь от Николая, Трифоныч на железнодорожном переезде встретил человека среднего роста, в короткой тужурке и круглой барашковой шапке. Сначала он прошел мимо, не обратив на Трифоныча никакого внимания, затем повелительно окликнул:

— Эй, парень!

— Вы меня?

— Тебя, тебя...

Человек подошел вплотную, Трифоныч рассмотрел огромные рыжие усы и большой, толстый нос, напоминавший проросшую картофелину. От незнакомца несло конским потом и махоркой. Маленькие глазки впились в Трифоныча.

— Здешний?

— Нет, приезжий... Из Середы.

Трифоныч положил руку в карман и ощутил холодную сталь револьвера.

— Закурить не найдется?

— Не занимаюсь.

— Ну и черт с тобой. Шляются по ночам...

Рыжеусый выругался и шагнул в темноту осенней ночи.

Разве мог предполагать Михаил Фрунзе, что придет время — и военный суд приговорит его к смертной казни через повешение за покушение на этого рыжего человека?..

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Груне удобнее было бы уехать из Москвы с Ярославского вокзала, но поезда по этой дороге еще не ходили, и друзья отправили ее по Нижегородской, с Курского вокзала.

Без всяких происшествий доехала Груня до станции Новки, где ей надо было пересаживаться на другой поезд.

Груня сначала решила подождать тут же на платформе, возле большой группы возвращающихся с заработков торфяниц, но потом рассудила, что она в своем городском пальто будет выделяться, и пристроилась неподалеку от кипятильника, рядом с двумя старушками.

В полдень на первый путь прибыл товарный поезд. Как раз напротив Груни остановился единственный в составе арестантский вагон. На платформу соскочил конвойный, высокий рябой солдат в короткой шинели. Из вагона крикнули:

— Узнай, долго ли стоять будем! Кипятку просят.

У вагона начали собираться любопытные. Сначала все молча всматривались в решетчатые пыльные окна, через которые смутно виднелись лица заключенных. Железнодорожник с большой масленкой в руках невесело пошутил:

— Салон-вагон для курящих. Пружины мягкие, а спать жестко.

Человек, несмотря на осень одетый в летнее пальто и соломенную мятую шляпу, в тон железнодорожнику проговорил:

— А посему решили мы даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности.

Железнодорожник с любопытством оглянул соломенную шляпу и деликатно осведомился:

— Я извиняюсь, вы, случайно, это не из манифеста взяли?

Незнакомец засмеялся:

— Совершенно справедливо, из него, а вот, — он кивнул на вагон, — иллюстрация.

Железнодорожник нарочито строго продолжал:

— Нехорошо над царским словом смеяться. Он, батюшка, нам, дуракам, свободу предоставил.

— Вот и я про то же, — подхватил человек в шляпе. — Свобода.

— Конечно, свобода. Вот она самая, только за решеткой, — со злостью крикнул железнодорожник и сплюнул прямо под ноги подходившему конвойному.

Конвойный хмуро посмотрел на него и, встав на подножку, постучал в дверь. Она открылась, и на площадке показался заспанный прапорщик. Он равнодушно оглядел толпу и начальственно прикрикнул на солдата:

— Тебя, Куроедов, только за смертью посылать! Узнал?

— Говорят, полчаса будем стоять, ваше благородие.

Прапорщик крикнул в вагон:

— Пузырев, выведи! — И, спрыгнув, встал у вагона, предусмотрительно расстегнув кобуру.

Сначала появился с ведром в руках пожилой арестант с черной окладистой бородой, резко оттенявшей его неестественно белое, пухлое лицо. За ним, тоже с ведром, легко соскочил моloденький заключенный, почти мальчик.

Старуха, стоявшая рядом с Груней, громко вздохнула:

— Господи! Совсем еще дите заарестовали!

Пожилой поставил ведро и, разминаясь, стал размахивать руками. Поймав на себе взгляд Груни, он, как бы объясняя свое поведение, сказал:

— Хочется побольше свежего воздуха в легкие набрать: душно у нас.

Старушка опять вздохнула:

— Образованные, видно.

Железнодорожник все тем же ироническим тоном поддержал:

— В самом главном университете обучался.

Человек в соломенной шляпе, ежась от холода, добавил:

— По указу его величества — кому манифест, а кому арест.

Молоденький арестант подставил ведро и открыл кран. Кипяток побежал тоненькой струйкой.

— Хорошо течет, — обрадовался арестант, — медленно: подольше на улице постою. Сейчас хоть кипятку попьем, а то застряли на каком-то полустанке почти неделю — ни кипятка, ничего, даже хлеба нельзя было прикупить.

— Па-пра-шу с заключенными не общаться, — зарычал прапорщик. — Отойти!

Человек в соломенной шляпе что-то шепнул железнодорожнику, и они отошли в сторону. Потом послышался голос железнодорожника:

— Совсем сдурел, дядя! С голыми-то руками...

Прапорщик торопил заключенных:

— Проходите в вагон, господа.

— Позвольте, — возмутился пожилой, — у меня ведро пустое.

— Пузырев! Нацеди.

Поезд ушел. Люди долго смотрели ему вслед. Железнодорожник словно подвел итог всему:

— Как это в песне поется — «Царь испугался, издал манифест, мертвым — свобода, живых — под арест...»

И снова плюнул.

Вскоре на путь подали пассажирский состав. Груня села почти в пустой вагон и в сумерки приехала в Иваново-Вознесенск. На пустынной вокзальной площади, около единственного фонаря, трое здоровых, рослых мужчин сдирали шинель с гимназиста. Перепуганный гимназист прерывисто умолял:

— Пустите меня! Я русский! Благородное слово, русский. Вы ошиблись, господа. Желаете, я вам крест покажу...

— Все вы нынче русские! — орал здоровенный верзила, втаптывая в грязь фуражку, синюю с белым кантом.

С Шереметьевской улицы ввалилась на площадь еще одна кучка галдящих, видимо, совершенно пьяных, молодцов. Впереди, в поддевке, украшенной белым бантом, несся старший приказчик из мясной лавки братьев Мужжавлевых кривой Герасим Астахов.

Гимназист, наконец, выскочил из шинели, побежал через площадь. Хлопнул выстрел.

Груня, стараясь остаться незамеченной, свернула в узенький переулок и пошла, разбрызгивая лужи, к Балашову.

Дверь открыл Трифоныч.

— Груня, дорогая, наконец-то!

— Слава богу, вернулась, — обнял ее Балашов. — Снимай

скорее свою обувь. Наверное, насквозь промокла. Трифоныч, скинь ей с печки валенки.

— Не сахарная, не развалюсь. Ну давай, переобуюсь. Что это у вас тут творится? Кривой Гераська шумит, стреляет.

— Расскажем, — глухо ответил Балашов. — Тут у нас такое случилось, даже представить трудно.

— Ничего, говори. Я всего насмотрелась.

— Федора Афанасьевича убили,— тихо сказал Трифоныч.— Позавчера. Мы до сих пор не верим, что уже нет с нами «Отца».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Во вторник 18 октября в Санкт-Петербургской городской думе состоялось внеочередное чрезвычайное заседание. Гласные стоя выслушали манифест. Председатель думы Красовский позвонил и начал речь:

— Господа! Совершилось великое историческое событие! Поздравим же друг друга с исполнением заветных наших чаяний. Обнимемся, как свободные люди, как граждане конституционной России.

Кто-то в местах для публики насмешливо крикнул:

— Повторите, что-то непонятно!

Красовский, не обращая внимания, продолжал:

— Обнимемся, как люди, которые отныне могут с гордостью повторять: «Мы живем в конституционной стране, где не позволено...»

Из другого угла донеслось:

— Слово «конституция» в манифесте не упоминается. Эта ваша фантазия.

Красовский растерянно объяснил:

— Оно подразумевается. Конституции пишутся в сердцах. Раз обещана свобода...

По широкому проходу уже шел пристав в серой шинели, внимательно осматривая места для гостей.

Красовский, кое-как кончив речь, предоставил слово гласному Немидовскому, обладавшему приятным, звучным голосом. Поднявшись на трибуну, Немидовский расправил золотистую бороду и, то и дело вытирая белоснежным платком слезы, захлебываясь от восторга, слегка грассируя, начал читать резолюцию:

— «Городская дума с великой радостью приветствует возвещенную народу желаемую свободу, твердо веря в святое, великое будущее нашей дорогой матери отчизны. Ура! Ура царю свободного народа!»

Первым в зале откликнулся гласный Елиферьев, директор-распорядитель санкт-петербургского общества для выделки бумаги и обоев. Он закричал «ура» так громогласно, что его со-

сед, владелец пивоваренного завода «Гамбринус», вздрогнул от испуга и невольно зажал ладонью левое ухо. Потом, сообразив, в чем дело, дребезжащим тенором присоединился к елиферьевскому реву.

Этот дуэт послужил сигналом для всех остальных. Не войди в зал церковный причт, гласные, наверное, охрипли бы от излияния верноподданнических чувств. Но уже могуче басил рыжий, с медно-красным лицом дьякон, вторя дородному, представительному священнику. Грянул синодальный хор. Торжественный молебен начался.

Еще не успел растаять кадильный дымок, как чей-то бархатный баритон барственно приказал:

— Шампанского!

Влетели в зал стоявшие в коридоре официанты в белых перчатках. Захлопали пробки, пенистые струи забили в потолок.

Тот же барский голос повелительно провозгласил:

— Здоровье государя императора! Ура, господа!

Потом пошли тосты за царицу, за драгоценное здоровье цесаревича-наследника.

Заранее обдуманный церемониал нарушили ворвавшиеся в зал студенты. Один из них, бледный, без фуражки, в изодранной шинели, крикнул Красовскому в лицо:

— Уймите негодяев! Слышите? Они избивают народ!

Красовский, так и не успевший за все время, пока длилось заседание, сесть на председательское кресло, перегнулся через барьер:

— В чем дело, молодой человек?

Студент, очевидно овладев собой, повторил:

— Я вам говорю, господин председатель, уймите негодяев, на улицах льется народная кровь.

— Каких негодяев? Какая кровь?

— Вы удивлены? Драгунами только что тяжело ранен наш профессор. Да, да! Наш профессор! А вы тут заседаете.

На улице послышались выстрелы. Гласные посмелее подбежали к окнам. По мостовой с шашками наголо проскакали драгуны и казаки. Голос, обеспокоивший Красовского в начале заседания, иронически воскликнул:

— Конституции пишутся не в сердцах, а плетью на спинах народа!

Чей-то бас рявкнул:

— Вывести хулигана! Полиция!

— Полиции некогда,— отозвался тот же голос.— Она водворяет конституцию.

Красовский, устав звонить, бросил колокольчик и истерически выкрикнул:

— Объявляется перерыв!

Весь день 18 октября на улицах столицы раздавались выстрелы. На Дворцовой и Сенатской площадях, в начале Невского

проспекта, на ближних к Зимнему дворцу набережных, в переулках — повсюду стояли войска. Мосты охраняли казаки. В полдень рота Семеновского полка окружила технологический институт. Студентов, пытавшихся выбраться из института, жестоко избивали и отправляли в Литовский замок. В два часа пополудни сотня казаков врезалась в толпу демонстрантов, направлявшихся из-за Нарвской заставы к центру города. К вечеру драгуны атаковали университет. Ночью на окраинах Петербурга в квартирах рабочих начались обыски и аресты.

Из Петербурга волна полицейского террора, убийств в течение одних суток докатилась до отдаленных городов России.

Официально ни царь, ни премьер-министр Витте, ни министр внутренних дел не отдавали приказа начать погромы, избивать рабочих и студентов, сажать в тюрьмы «крамольников». И все же погромы и избиения начались по всей России.

Самый близкий в эти дни царю человек, свиты его величества генерал-майор, петербургский генерал-губернатор Трепов поднял темные силы и приказал им: бейте, убивайте, ничего вам за это не будет. По всей России, по всему миру разнеслись его слова: «Холостых залпов не давать, патронов не жалеть!»

Многие не понимали, почему Митька Трепов, как его называли при дворе, пользуется у царя доверием. Секрет успеха Трепова, в сущности, был прост. Как дрессировщик каким-то особым, только ему присущим чутьем угадывает характер зверя, Трепов угадал главную черту характера Николая Второго— его трусость.

Николая за его тридцатисемилетнюю жизнь много раз пугали. Деда и дядю убили, не раз покушались на отца, да и его самого террористы не оставляли в покое. Трепов с его представительной, внушительной фигурой, властным голосом нравился Николаю. Николай привык к тому, чтобы перед ним распинались в верноподданнических чувствах, и не особенно верил своим приближенным. Зная характер царя, Трепов никогда не высказывал своих верноподданнических чувств, но делился ими с Анной Вырубовой, понимая, что все сказанное им будет немедленно передано царице, а через нее Николаю.

Говорили, что возвышению Трепова помог случай. Во время аудиенции, которую царь дал крестьянам нескольких южных губерний, общее внимание привлек высокий человек с молодым лицом и большой седой бородой. Царь проходил вдоль выстроенных в ряд крестьян. В приемный зал влетел Трепов. Извинившись перед царем, Трепов сделал знак жандармам, и те вывели старика с бородой. В соседнем зале Трепов собственноручно сорвал у крестьянина привязанную бороду, обнаружил в кармане у него револьвер и приказал:

— Увести! Допрошу сам.

Барона Фредерикса, в ведении которого находились аудиенции, чуть не хватил удар: в царские покои пробрался террорист.

Злые языки уверяли, что незнакомец с привязанной бородой вовсе не террорист, а нижний чин отдельного корпуса жандармов и что весь этот спектакль с переодеванием выдумал сам Трепов. Но царь был доволен: рука всевышнего, олицетворенная в образе Дмитрия Федоровича Трепова, спасла его от верной гибели.

Царь поверил, что его жизнь и жизнь его близких может спасти только Трепов. И не случайно Николай тотчас же после манифеста 18 октября назначил Трепова дворцовым комендантом.

Ни одного, даже самого незначительного решения Николай не принимал, не посоветовавшись с Треповым и супругой Александрой Федоровной. От нее и Трепова зависели судьбы миллионов людей. Николай, невнятно изложив суть дела, молчал, переводя свой тусклый взгляд с жены на диктатора. Царица изредка бросала отрывистые фразы, судорожно сжав руки под подбородком. Ее красивое лицо с тонкими злыми губами от волнения покрывалось красными пятнами.

Больше всех говорил Трепов. Из всех троих он один готовился к этим тайным совещаниям, поэтому его советы были наиболее благоразумными. Царю казалось, что Трепов великолепно осведомлен о положении в России.

Немедленно после издания манифеста Трепов лично вручил Николаю «Записку о революционном движении в стране». На трех десятках страниц подробно и откровенно излагались события, происшедшие в обеих столицах, Привислинском крае, Царстве Польском и центральных губерниях. В «Записке» были и такие разделы: «Брожения среди войсковых частей», «Аграрные беспорядки», «Вооружение рабочих масс».

Царь прочитал «Записку» и вопросительно посмотрел на генерала. Трепов встал, перекрестился и решительно сказал.

— Не хочу скрывать, ваше величество, внутреннее положение страны более чем опасно. Но с вами бог, ваше величество, и мы с вами. Враги будут сокрушены.

На вторые и третьи сутки после появления манифеста, обещавшего свободу совести, слова, собраний и союзов, можно было произносить только патриотические, верноподданнические речи, собираться только с хоругвями и царскими портретами. Против всех, кто хотел говорить правду народу, применяли все средства — от черносотенной дубины до артиллерии. Темные силы, поощряемые Треповым, начали кровавые погромы. Не избежал этой участи и Иваново-Вознесенск. Погромная волна докатилась сюда почти через неделю — 22 октября. В этот день был убит Федор Афанасьевич Афанасьев.

* * *

Балашов рассказал Груне об убийстве «Отца», казалось, обычным своим тоном, медленно подбирая слова. По блеску

его сухих глаз с покрасневшими от бессонницы и усталости веками девушка поняла, какое горе переживает Семен Иванович. Она вспомнила, как волновался Балашов весной, перед самой забастовкой, когда «Отец» уехал в Шую и не вернулся в указанный срок.

— После митинга на площади, — рассказывал Семен Иванович, — пошли мы на Талку. На Шереметьевской видим — идет черная сотня. Впереди несут портрет Николки. Орут «Спаси, господи...», все вдребезину пьяные. Ребята потом узнали: мясники Мужжавлевы десять ведер водки им поставили. Увидели нас — и в драку.

На Талку мы все же пробрались. Начали митинг. Смотрим, а эта сволота, черносотенная сволочь лезет к нам со своим Николкой впереди. Сзади казаки. Еле в седлах сидят, морды у всех красные. Остановились на том берегу, галдят. И вот тут, Груня, мы сплоховали. Вахмистр закричал нам: «Эй, вы! Кто у тюрьмы с казаками говорить хотел! Иди сюда, поговорим». И «Отец» пошел. Он действительно днем у тюрьмы хотел с казаками поговорить, а за ним Павел Павлович, приезжий агитатор. Что им «Отец» говорил, не знаем, только услышали его последние слова: «Что вам, места мало? Зачем сюда пришли? Манифест для всех разрешил свободно созывать собрания. Не мешайте нам!»

Мы опомниться не успели, как они Федора Афанасьевича сбили с ног. Павел Павлович вырвался и перебежал к нам.

Балашов кивнул на Фрунзе:

— Вот и этого чуть не лишились. Все хотел на тот берег бежать.

— До сих пор простить себе не могу, что не побежал, — грустно сказал Фрунзе.

— И тебя бы ухлопали, — жестко перебил Балашов. — Из-за своей оплошности «Отца» потеряли.

* * *

Несколько дней тело Федора Афанасьевича находилось в лесу, в надежном месте, о котором знали только самые близкие друзья. О похоронах нельзя было и думать: они только бы увеличили и без того тяжелые потери. Все эти дни на улицах города с раннего утра до темной ночи бушевали пьяные черносотенцы, и всегда за ними в отдалении следовали астраханцы, готовые в любую минуту хлестать нагайками, топтать конями, рубить «крамолу».

Днем жители еще рисковали появляться на улицах, но ночью никто не решался выходить дальше своих ворот. Пустынны, темны были улицы, и только у освещенных хозяйских особняков стояли на страже городовые.

Черносотенцы ловили по городу депутатов Совета и наиболее приметных участников летней стачки.

Василий и Силантий собрались в Шую. Никем не замеченные, они уселись в темный вагон. Перед самым отходом поезда в вагоне появился старший табельщик Стратилат Иудович Жучкин, по совету Шлегеля осматривающий все поезда, уходившие из Иваново-Вознесенска. Если бы Жучкин, увидев приятелей, сразу крикнул полицию, может быть, друзьям удалось бы какнибудь скрыться. Но Жучкин тихо вышел из вагона и помчался в жандармскую дежурку, около которой всегда толпились крючники. Увидев артельщика Бочкина и старшего мужжавлевского приказчика Астахова, славившегося умением разрубать пополам баранью тушу с одного удара, он им крикнул: «Депутаты!» Несколько человек — кто с крючьями, а кто и просто с дубинами — устремились за ним.

Первым ввалился в вагон кривой Герасим Астахов.

— А ну, разбойники, выходи! Мы вам сейчас покажем прибавку!

Силантий быстрым рывком открыл окно и, загородив собой Василия, приказал ему:

— Лезь! Я с ними поговорю!

К счастью для Василия, окно выходило не на платформу, а на междупутье. Выскочив, он побежал за рабочими депо. Вернувшись через несколько минут с ними к вагону, он услышал выстрелы. Силантий, решив, что кулаками не пробиться, пустил в ход оружие. Около вагона, как осатанелый, визжал Жучкин:

— Полиция! Караул! Убивают!

Заливались свистки станционных жандармов, где-то стучали в рельс. Поезд тронулся. Василий и еще трое рабочих на ходу уцепились за подножку и пробрались через толпившихся на площадке перепуганных пассажиров. В пустом вагоне стоял весь окровавленный Силантий. Его левая рука, видимо, перебитая в плечевом суставе, бессильно повисла вдоль тела. Чуть поодаль от него в узком проходе ничком лежал убитый им Астахов.

Один из рабочих крикнул:

— В Кохме их заберут! Я на паровоз.

Василий и двое деповских попросили пассажиров войти в вагон, вытащили Астахова на площадку и, раскачав, сбросили его под откос. Семипудовое тело грузно шлепнулось, сверкнув при свете луны лакированными голенищами.

Около леса поезд замедлил ход. Василий помог Силантию выбраться из вагона, предупредив пассажиров:

— Вы, господа, лучше помалкивайте.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

На другой день Груня надела, по совету Балашова, старое пальто, повязалась по-старушечьи черным шерстяным платком и пошла разведать, о чем говорят люди на фабриках.

На Соковской улице она издали заметила Жучкина и, не желая попадаться ему на глаза, зашла в чью-то приоткрытую калитку. Выждав немного, она решила выйти на улицу. Навстречу шагал, крестясь на ходу, высокий старик с большой окладистой, совершенно белой бородой. Он окинул ее подозрительным взглядом недобрых глаз:

— Чего по чужим дворам шляешься? А ну, покажи, чего под шалью прячешь!

— Я по нужному делу заглянула, простите Христа ради... Извините, пожалуйста.

— Тебя Аграфеной кличут. Депутатка! Я тебя сейчас объявлю.

Он потащил упиравшуюся Груню на улицу.

— Ах ты, старая колода, — обозлилась Груня и изо всех сил толкнула старика в грудь. Он опрокинулся навзничь, со странным, глухим звуком ударился головой о ступеньку крыльца...

В доме было тихо, только в окне, выходящем во двор, мелькнуло чье-то девичье лицо. Груня наклонилась над стариком и со злостью сказала:

— Лежи, старый черт. Увяжешься за мной — наши ребята ребра пересчитают.

В окне снова показалась девушка. Она засмеялась и несколько раз энергично взмахнула маленьким кулачком, словно помогая Груне. Выскочив из калитки, Груня столкнулась с Яковом Савватеевым.

— Яша, — окликнула его Груня, — подожди!

— Груня! Как ты сюда попала? И одета, как монашка! Ты куда направилась?

— Надо Елену Кулеву навестить.

— Можешь к ней не ходить. Вчера в больницу положили. Ее Федя Домовой избил.

— Кто?

— Федя Домовой, у Зубкова работает. Старик лет за шестьдесят, а здоров, как бык. Руки у него лохматые, как у медведя, морда свинячья и лба совсем нет. Одним словом — страхолюд. Он сейчас за пять рублей кого хочешь на тот свет отправит.

— А ты не врешь?

— Правду говорю. У нас тут без тебя многое изменилось. Помнишь Петра Шведова? На Талке выступал, а на днях царский портрет на площади целовал, каялся. А уж если Петруха Шведов лоб о паперть бьет, что же с Федьки Домового спра-

шивать? Что пень, что он — рассудок один. А его Зубковы водкой поят и за каждого избитого депутата пять рублей жалуют.

На противоположном тротуаре стояли несколько молодых парней, все как на подбор в сапогах с лакированными голенищами. У всех на груди белели банты.

— Куражовские приказчики, — шепнул Яков. — Ну, Груня, сейчас будет разговор.

А парни уже перешли дорогу. Один из них, красивый, с черными усиками, подошел к Якову:

— Банта не вижу.

— А у меня денег на ленты нет.

— Может быть, тебе наш цвет не по нраву? Красный любишь?

— Это мой секрет, что я люблю.

Второй парень, рыжий, весь в веснушках, с кривыми редкими зубами, сдернул шаль с Груни:

— Чего закрылась? Чай, не рябая!

— Убери руки! — приказал Яков. — Ну, кому я сказал? Отдай шаль!

Черноусый примиряюще сказал:

— Мишка! Черт с ними, отдай им платок. На что он тебе, им только пол подтирать. Пошли, ребята.

Может, на этом и закончилась бы встреча, если бы не подвернулся раклист Семен Колосов. Увидев Груню, он снял свою замасленную рваную механку и, заплетаясь, заговорил:

— Ваше благородие! Аграфена Васильевна, госпожа-товарка, самая развеселая депутатка.

Приказчики остановились.

— Эй ты, пьяное рыло, — заинтересовался черноусый,— кто тут депутатка?

— Оба депутаты. Этот еще магазины грабил, — с ходу приврал раклист.

Парни окружили Груню и Якова.

— Ну, какой тебе цвет нравится? — ехидно спросил рыжий.

Яков, загородив Груню, спокойно сказал:

— Слушайте вы, ухари, идите своей дорогой. Не послушаете — не взыщите.

— А что будет? — спросил рыжий и не договорил, сваленный страшным ударом Якова прямо в челюсть.

В правой руке у Якова блеснул револьвер, левой он достал из кармана что-то круглое:

— Считаю до трех. Ну! Раз, два...

За спиной Якова грохнул выстрел. На тротуаре корчился, держась руками за ногу, один из громил.

Парни врассыпную с ревом бежали по мостовой, вопя: «Полиция!»

Яков схватил Груню за руку:

— Скорее! Сейчас «желтяки» налетят!

Пробежав несколько улиц и переулков, они добрались наконец до Груниной квартиры.

— Ну, счастливо отделались, — улыбнулся Яков. — Ловко ты ему!

— Пусть не суется в следующий раз, — серьезно ответила Груня. И снова со злостью добавила: — До чего довели, проклятые! Девку стрелять заставили. Ну, скажи, Яша, разве это мое дело?

— Конечно, не твое, — засмеялся Савватеев. — Твое дело молодое, пора замуж выходить.

— Никто не берет.

— Я бы взял. Грушенька, милая, если бы ты знала...

* * *

В среду 26 октября к городскому голове Дербеневу прибыли Шлегель и вице-губернатор Сазонов, еще в начале месяца приехавший в Иваново-Вознесенск. Шлегель плотно закрыл дверь кабинета.

— Нынче, ваше степенство, на прислугу надеяться не приходится. Мигом продадут. А у нас разговор конфиденциальный.

— Нехорошо получилось, — начал вице-губернатор. — Пересолили.

— Что нехорошо? — насупился Дербенев. — Не понимаю, на что вы намекаете?

— Полюбуйтесь, — протянул Сазонов Дербеневу лист бумаги.

— Что это за список?

— Убиенных, господин Дербенев. Как видите, список не так уж мал. И прошу обратить внимание на подчеркнутые фамилии. Вот, например, Остроумов. Нашли?

— Ну, нашел.

— Это не талочник и не крикун: купец третьей гильдии. Или вот еще: Хитров — владелец галантерейного магазина. Скворцов — ну, этого Левенец напрасно подчеркнул: этот правильно заслужил возмездие.

Сазонов покачал головой:

— Переборщили. А сейчас даже самые благонамеренные обыватели боятся показываться на улице.

— Позвольте, — вскочил Дербенев. — Кто это, позвольте узнать, ваше превосходительство, пересолил?

— Ваши люди, господин Дербенев.

— Ну нет, батенька! Я никого не науськивал. Обращайтесь к господину Мужжавлеву, он мастак по этой части. А потом мне, ваше превосходительство, ведомо, что и господин ротмистр постарался. Так что бросьте на моих людей все сваливать. Мы хоть и не политики, но кое-что соображаем... Мы тоже...

— С вами трудно разговаривать, — оборвал его вице-губер-

натор. — И что у вас за манера огрызаться, не слушать до конца! Если я сказал — пересолили, значит, не только вы, а и мы, все мы. Слегка недоглядели и дали черни полную свободу. Господин ротмистр правильно действовал, но одно дело — зачинщиков ловить, кого надо, так сказать, приструнить, а другое — всех под одну гребенку.

— Надо собрать городскую думу, — примирительно посоветовал Сазонов, — выпустить воззвание к населению, призвать к спокойствию. Одним словом, дать понять, что все печальные происшествия исходили стихийно.

— Еще чего? — опять усмехнулся Дербенев.

— Придется вам некоторую сумму ассигновать,— продолжал Шлегель, играя золотым портсигаром.

— На какие цели, позвольте полюбопытствовать?— спросил Дербенев.

— Сироты остались. Небольшая помощь вызовет отрадное впечатление у населения. Надеюсь, пример государыни императрицы вам известен? Из средств императорского Человеколюбивого общества пожертвовано на сирот девять тысяч рублей.

— Ну, у нас столько не набежит. Поистратились за лето. Еще что?

— Пожалуй, все,— встал Сазонов.— Я полагаю, что этот разговор между нами.

— Кому вы говорите!— обиделся Дербенев.— Мы люди коммерческие, умеем язык за зубами держать.

Прямо от Дербенева Шлегель проехал в свою канцелярию и послал дежурного за Куражовым. Не прошло и получаса, как торговец сидел перед Шлегелем, положив на широко расставленные колени свои огромные кулаки.

— Вы, кажется, член городской думы, господин Куражов?— вежливо осведомился ротмистр.

— Состою.

— Приятно слышать,— продолжал Шлегель.— Значит, вы будете на заседании?

— Пока не извещен.

— Известят. Одним словом, будете. Хочу вас предупредить о некоторых возможных неприятностях.

Куражов настороженно посмотрел на жандарма.

— Да, о вполне возможных неприятностях, — деликатно изъяснялся Шлегель. — По всей вероятности, будет поднят вопрос о последних происшествиях в нашем городе. Вполне вероятно, что действия некоторых лиц, в частности ваши, будут осуждены.

— Это почему же? Мы город от нечисти спасали, и нас срамить? Пусть только сунутся!

— Я бы советовал вам пренебречь этим и в споры не вступать. Сделано — значит, сделано, и не господину Дербеневу оценивать ваши поступки. Государю доложено о вашем патриотическом рвении. Звание коммерции советника вам обеспече-

но. — Помолчав, добавил: — А препирательства тут излишни. Больше того: на этом же заседании будет предложена некоторая помощь семьям убиенных. Вы должны показать пример. Пожертвуйте сотню-другую.

Заметив недоумевающий взгляд Куражова, ротмистр открыл ящик стола и достал две сторублевые бумажки.

— Получите. Расписки не надо. Ваши расходы за эти дни мне известны.

— Покорно благодарю.

— Политика, господин Куражов, есть политика. Но помните: главная политика делается не у нас, в Иванове, а в Санкт-Петербурге.

Вечером по городу расклеили воззвание городской думы, на другой день думский сторож прибил рядом с дверью краткое извещение:

«С прошениями о пособии на сирот и пострадавших следует обращаться в комнату № 4 к господину Чижову. Прием с 12 до 1 часу дня».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Наступил день похорон «Отца». Больше ждать было уже нельзя: полиция могла найти в лесу тело Федора Афанасьевича и возбудить новое дело — о непогребении в установленный законом и церковью срок.

Хоронили «Отца» ночью, на Талке. Могилу вырыли на хорошем месте — под высокой сосной, рядом с лесной сторожкой, там, где летом заседал Совет. «Отца» переодели в новую сатиновую рубашку, синюю с белыми узенькими полосками. В такой, только старенькой, он всегда ходил при жизни.

Первым взял слово Балашов:

— Дорогие товарищи! Не знаю, до сих пор я не верю, что нет с нами дорогого Федора Афанасьевича. Тяжела наша утрата, худо нам будет без «Отца», без его советов. Одним словом, не вовремя мы осиротели. Прощай, «Отец»!

Семен Иванович подошел к гробу, встав на колени, поцеловал мертвого друга и, вытирая слезы, сказал Фрунзе:

— Говори ты, Трифоныч, я не могу.

— Верно, товарищи, — начал речь Трифоныч, — трудно нам будет без Федора Афанасьевича. Многим мы ему обязаны. Мы, большевики, — материалисты и прекрасно понимаем, что жизнь человеческая имеет предел. Очень жаль, что прекрасная жизнь нашего «Отца» прервалась преждевременно. Это наша беда и наша ошибка... Я верю, товарищи, придет время — и оно придет скоро, — победивший рабочий класс воздвигнет на этой могиле памятник славному борцу за свободу — нашему «Отцу».

Вы видите, как жестоки, неумолимы наши враги. Давайте же на могиле «Отца» поклянемся быть беспощадными к ним.

Холмик на могиле временно решили не насыпать. И все же на другой день полиция нашла могилу и перевезла гроб на городское кладбище. Но не зевали и дружинники «Станко». Они проследили, где положили «Отца», и как ни бесился новый полицмейстер, как ни злобствовал Шлегель, долго, до самого снега неизвестные люди по ночам приносили на могилу «Отца» цветы.

* * *

Вскоре наступил еще один грустный день — день расставания. Городской партийный комитет приказал уехать из Иваново-Вознесенска Семену Ивановичу Балашову и Евлампию Александровичу Дунаеву. Оставаться в городе им было нельзя — за ними беспрерывно гонялись шпики. Даже «Станко», знавший когда-то в лицо чуть ли не всех гончих Шлегеля, теперь сбился со счета.

Первым уезжал Дунаев.

Вечером в Рылихе в последний раз в полном составе собрался Иваново-Вознесенский городской комитет большевиков: Балашов, «Станко», Андрей Бубнов, Самойлов, Матрена Сарамантова и отъезжающий в этот день Дунаев.

Ходики давно уже показывали условленное время, а Трифоныч и Николай Колотилов все еще не появлялись.

— Уж не схватили ли их? — заволновалась Сарамантова.

— Я знаю, где они, — успокоил Балашов, — сейчас явятся.

И действительно, они пришли, оба в копоти, усталые, но довольные. Трифоныч выложил на стол свежую листовку.

— Перевели типографию? — спросил Балашов.

— Как видишь, — ответил Колотилов. — И даже первую пробу сделали.

— Эх, товарищи, — вздохнул Дунаев, — если бы вы только знали, до чего же мне не хочется уезжать. Определите меня в типографию. Как крот буду сидеть, из-под земли не вылезу. Оставьте меня!

— Не дури, Евлампий, — строго сказал «Станко» и положил на стол разбитые очки в металлической оправе.

Все замолчали, узнав очки «Отца».

— Где ты их взял? — спросила Сарамантова.

— Нашел, — сказал «Станко». — Когда мы его хоронили, я заметил, что очков нет, а ведь он с ними не расставался. Ну, я и пошел на то место...

— Так вот, Евлампий, не дури, — сказал Балашов. — И тебе и мне надо уехать. Какой расчет нам добровольно сесть в тюрьму? Мы, Евлампий, и в другом месте партии нужны. Пусть здесь молодежь временно за нас поработает. Давай, «Станко», докладывай: как у тебя с дружиной?

— Не так плохо, как мы думали, — начал «Станко». — Сегодня утром беседовал с командирами шести десятков. В полной готовности сорок три человека. Завтра буду разговаривать с остальными десятками. Думаю, человек двадцать еще соберется. Точный состав дружины доложу дня через три. В ком сомневаюсь, придется отсеять. За эту неделю дважды получили оружие. Одну партию привезли из Петербурга, а вчера получили из Москвы.

— На днях еще получим, — сказал Балашов. — Надо больше самим вооружаться.

— Чем? — спросил «Станко». — Охотничьими ружьями? С двустволкой по улице не пойдешь, не очень-то разгуляешься. Нужно больше пистолетов.

— И я о них говорю, — пояснил Балашов. — Сколько в городе городовых? Если у каждого по револьверу отнять, сколько получится? Только, конечно, с умом действовать надо — не днем же на площади перед управой отнимать.

— Семен Иванович, — засмеялся «Станко», — да что ты, разве не знаешь, что они, окаянные, как только стемнеет, на улицу не выходят?

— Выманивать надо взяткой, — улыбнулся Бубнов. — Они на барашка в бумажке охотники.

— Ну что ж, товарищи, — заключил Балашов. — Я предлагаю одобрить действия «Станко» по собиранию боевой дружины.

Поговорили подробно о типографии — где достать бумагу для десятитысячного тиража листовок. Посоветовались, как лучше привлекать в партию новых людей. И когда все уже было сказано, замолчали, поняв, что пришло время прощаться с Дунаевым.

Первым подал ему руку Трифоныч:

— До свидания, Евлампий Александрович... Извини, тороплюсь. Мне надо сегодня еще за Витов Бор попасть. Ждут меня. Счастливого пути, товарищ Дунаев.

Евлампий крепко обнял Трифоныча:

— Будь здоров, дорогой.

Часом позже Трифоныча, окровавленного, почти бездыханного, волочили по мостовой на аркане казаки.

* * *

Накануне Трифоныч ночевал у рабочего Куваевской фабрики Осипа Костылева и уговорился вместе с ним идти на собрание агитаторов. У Костылева он встретил шуйского большевика Григория Прошина, только что бежавшего по дороге на каторгу из Даниловской тюрьмы. Григорий, несмотря на усталость и пережитые волнения, попросил Трифоныча взять его с собой.

Они подходили к Витовскому бору. Наперерез им внезапно выехали шесть астраханцев.

Старик вахмистр крикнул:

— Стоять смирно! Кто такие?

Осип Костылев шепнул Трифонычу:

— Я поговорю. На рожон лезть нельзя. Сомнут.

Вслух он сказал:

— Плотники, ваше благородие. Ходили к витовскому приказчику о подряде договариваться. Срубы ставить.

Вахмистр недоверчиво спросил:

— Плотники? А где же ваши топоры?

— Мы же только договариваться ходили.

Вахмистр, не слезая с коня, скомандовал:

— Обыскать!

Маузер, найденный у Трифоныча, привел вахмистра в ярость. Он соскочил с коня, подошел к Трифонычу и взмахнул плетью.

Неравная схватка кончилась. Вахмистр стер с лица кровь, в последний раз пнул лежавшего без сознания на дороге Костылева и, погрозив Трифонычу плеткой, сказал:

— Плотнички! Срубы ставите. Сейчас я тебе покажу! Красноперов! Этого, на дороге, бери под свое попечение. Подними и доставь. Воронов, берись с Вязчиковым за подмастерья, а с главным плотничком я сам займусь.

Вахмистр неожиданно накинул Трифонычу ременный аркан, вскочил на коня и сразу, с места, погнал его рысью. Трифоныч ухватился руками за петлю, чтобы она не сдавила ему шею, и побежал за лошадью. По бокам, подгоняя его, скакали два молодых казака. Вахмистр оглядывался, скалил зубы:

— Ну как, плотничек? Какова прогулочка?

Трифоныч вытер с губ пену:

— Подожди, подлец, за все заплатишь!

Вахмистр стегнул коня:

— Ты еще не сыт? Разговариваешь?

Не вмешайся молодой казак, худо бы пришлось Трифонычу.

— Вы, Гордей Максимович, напрасно в бесчувствие его вгоняете. Так вы его, свободно дело, можете навовсе укокошить, а он у них, по-моему, из главных. За него, может, награду дадут. Давайте его мне. Я его вперед себя посажу. Так мы его сподручнее доставим.

Вахмистр указал плеткой Трифонычу на низенький решетчатый заборчик:

— Становись! Петро, подводи коня.

Трифоныч, сцепив зубы от боли, поднялся на забор. Но вахмистр решил еще поиздеваться над пленником. Он дико гикнул, и лошади понеслись. Трифоныч зацепился ногой за решетку забора и не сумел вовремя соскочить на землю. В ноге что-то хрустнуло. Он упал, потерял сознание.

Его долго волочили по мостовой, и только у въезда в город

казаки подняли его с земли и, положив поперек седла, повезли в канцелярию помощника начальника владимирского жандармского управления по Шуйскому уезду, где уже находились Григорий Прошин и Осип Костылев.

* * *

К счастью для всех троих, Шлегеля в этот день вызвали в губернский город, и допрос вел ротмистр Левенец.

В редкие дни, когда оставался за Шлегеля, Левенец вместо стакана водки, заменявшего ему утренний кофе, ограничивался небольшой рюмкой, наскоро съедал поданную женой глазунью и торопливо уходил, говоря супруге:

— Дела, дела!

Даже папиросы в эти дни он курил подороже; брился и для большего авторитета надевал белые перчатки. С посетителями, агентурой и заключенными он разговаривал, как Шлегель: спокойненько, с ехидными намеками, а иногда с подкупающей искренностью в голосе и простотой.

Левенец сначала допросил Трифоныча и Костылева и, не добившись ничего путного, отправил их в камеру, а ночью принялся за Прошина. Левенец встретил арестованного стоя у стола. Прежде чем начать допрос, он долго молча смотрел испытующим взглядом. Прошин пододвинул ногой табурет, сел без приглашения и начал разговор сам:

— Смутить взглядом хотите, ваше благородие? Ничего не выйдет.

Левенец сел, перелистал желтую папку с крупной черной надписью «Дело» и подвинул коробку с папиросами:

— Курите, Прошин. Как видите, ваша настоящая фамилия мне известна. Я знаю, кто вы такой и как вам удалось бежать из Дунилова. За вами десять лет каторжных работ плюс побег, плюс нападение на должностное лицо, плюс вооруженное сопротивление. В итоге, я полагаю, вас ожидают два столба с перекладиной.

— Что вы говорите? — с наигранным удивлением спросил Прошин. — Неужели столбов не пожалеют?

— Я думаю, учтут ваши заслуги, не пожалеют, — язвительно, вежливо, с гвардейской игривостью ответил Левенец. — Я так думаю, что виселицу вы вполне заслужили, а у вас семья: молодая женушка, сынок.

Левенец посмотрел в дело:

— Если пожелаете, могу послать в деревню нарочного за вашей женушкой и сыном. Могу устроить свидание. И вообще могу многое устроить, но сначала попрошу от вас расписочку. Вы мне расписочку, а мы вам скидочку.

— Большую? — деловито осведомился Прошин.

— Судя по тому, как себя поведете. Начнем с ваших спут-

ников. Меня особенно интересует молодой человек. Вид у него интеллигентный. Студент?

— Пишите, все расскажу.

Левенец радостно вздохнул: «Вот это повезло! Такого агента завербовать! Шлегель лопнет от зависти...» И, предвкушая наслаждение, с которым он будет докладывать начальству о своей победе, Левенец, слегка оттопырив нижнюю губу, наклонился над протоколом. Перо торопливо забегало по бумаге:

«Протокол, город Иваново-Вознесенск.

Я, отдельного корпуса жандармов ротмистр Левенец, сего числа...»

Григорий Прошин диктовал свои показания медленно, тщательно обдумывая каждое слово:

— Один из задержанных — студент. Фамилия его Правдин, родом из села Неелова Княжевского уезда Романовской губернии.

— Какой губернии? — переспросил Левенец.

— Я сказал: Романовской.

— Чушь, братец, порешь!.. Нет такой губернии. Я лучше знаю.

— А я говорю, есть! — загремел Прошин. — И не только губернии — вся Россия пока романовская. Но только пока, ваше благородие. Обрадовался! — Григорий встал. — Хотел рабочего человека в провокаторы определить? Смертью пугаешь! Два столба с перекладиной сулишь? Дурак ты, ваше благородие. На, получи напоследок!..

Прошин легко, словно тоненькую дощечку, поднял стол и обрушил его на ротмистра. Массивная чернильница, лампа с зеленым абажуром — все грохнулось на пол. Сразу стало темно, только слышались визг Левенца и крик Прошина:

— Получай, морда!

* * *

Мрачный, с заклеенной пластырями физиономией, Левенец торопливо писал постановление. Вся его ярость вылилась на Прошина. Ночью, после того как конвойные, скрутив Григорию руки, выволокли его в коридор и били до потери сознания, ротмистр заискивающе попросил подчиненных:

— Только его высокоблагородию об этом ни слова. Ни к чему это, лишнее.

Жандармы, зная его отношения со Шлегелем, ухмылялись:

— Мы понимаем. Причитается с вас, ваше благородие, за приборочку...

— Как же, как же, — засуетился Левенец и достал откуда-то из глубин мундира припрятанную от супруги зеленую бумажку.

И он решил: дело о задержании трех подозрительных закончить срочно, до приезда Шлегеля.

Левенец писал:

«...А посему постановил: меру пресечения для Прошина оставить прежней — содержание под стражей, с немедленным направлением по месту последней подсудности — в Шуйскую уездную тюрьму. Остальных задержанных подвергнуть административному выселению — Костылева в город Кострому и второго — задержанного вместе с ним студента — в город Казань».

Трифоныч ехал из Иваново-Вознесенска под конвоем двух жандармов — Игната Суконкина и Федора Холодова. Хотя Левенец их лично предупредил как можно строже следить за арестованными, жандармы обрадовались поездке. Шутка сказать, отдохнуть почти целую неделю от бесконечных ночных облав, обысков, постоянной опасности не вернуться домой живыми! А тут, подумаешь, труд — вдвоем довезти до Казани и сдать под расписку одного арестанта, а обратный путь — порожняком. Это же сплошное удовольствие!

Трифоныч не понял, почему так деликатны его провожатые. Когда он, сильно хромая, слез с пролетки, они с преувеличенной заботой помогли ему подняться в вагон, всю дорогу называли на «вы», именовали господином студентом и охотно приносили кипятку.

На станции Новки долго ждали поезда. Посидев несколько минут в тесной, вонючей жандармской дежурке, Трифоныч твердо сказал:

— Я тут сидеть не буду. Ведите на улицу.

Здешний жандарм, сшивавший бумаги, искренне удивился:

— А как же я тут работаю?

— Это ваше личное дело, — отрезал Трифоныч, — а я к этой вони привыкать не хочу.

— Из благородных, видно, — усмехнулся жандарм. — Ведите его в первый класс. Какавы ему закажите, пышек...

Суконкин вопросительно посмотрел на Холодова, но тот хранил молчание, не желая прослыть потатчиком незаконных требований арестованного. Тогда Суконкин решительно сказал:

— Давай на улицу! Мне и самому тут сидеть противно.

Они вышли и уселись на скамье под старой липой в станционном дворике. Около них тотчас же собрались любопытные. Трифоныч попросил жандарма купить ему газету. Тот с неохотой, но все же принес ему «Старый владимирец» за прошлую неделю. Новости в газете были для Трифоныча уже известными, и он от нечего делать принялся изучать объявления. На первой странице была изображена большая бутылка и три туза. Вверху жирным шрифтом значилось: «Три козыря Шустова — коньяк, рябиновая и чистая». Затем какой-то Зайцев сообщал, что в его магазин поступила большая партия елочных игрушек. Трифоныч подумал: «Ай да Зайцев! Рано позаботился. До рождества еще два месяца». Потом он вспомнил, как дома, в родном, таком теперь далеком Пишпеке, покойный отец устраивал им елку. От нахлынувших воспоминаний о семье, о покойном отце Трифоны-

чу стало грустно. Вдобавок заморосил осенний дождь, подул холодный ветер, посыпались с липы последние листья.

Постояв около молодого студента, любопытные разошлись Только одна женщина не уходила, а смотрела издали.

Трифоныч положил газету в карман и, подняв голову, тотчас же узнал Наташу. В ее широко раскрытых глазах он прочел вопрос: «Подойти к тебе? Как назвать?»

Он отрицательно покачал головой, и она села неподалеку под другим деревом, закрыв от дождя голову холстинкой. Трифоныч старался незаметно от жандармов показать ей на пальцах несколько слов. Сначала он передал ей: «Я скоро». Первую букву третьего слова «вернусь» она никак не могла понять. Тогда он громко сказал: «Вернусь». Суконкин, вздрогнув от неожиданности, спросил:

— Что вы сказали, господин студент?

— Я сказал, что́, пожалуй, вернусь в вокзал. Зачем же вам мокнуть?..

И посмотрел на Наташу. Она поняла и улыбнулась.

— Пойдемте, — охотно согласился Суконкин, и они прошли в зал третьего класса. Вскоре появилась Наташа. Она выбрала место, откуда ей хорошо было видно Трифоныча, и таким же образом показала ему: «Я еду обратно в Шую». Не зная, как изобразить букву «у», она дотронулась до уха и, заметив, что он ее понял, счастливо засмеялась. Потом она передала: «Степан пока», и мотнула головой в сторону Москвы. Он опять понял. Он хотел ей передать, чтобы она рассказала о встрече Гусеву, но подошел поезд, и жандармы заторопились. Тогда она, осмелев, подбежала к нему и сунула в руки три рубля, шепнув:

— Пригодится!

А вслух добавила:

— Прими, арестантик, Христа ради. Помолись за здоровье воина Степана.

— Спасибо, — сказал Трифоныч, и к горлу у него подступил горячий комок.

Дождь уже лил вовсю. По вагонным окнам бежали ручьи.

* * *

В Казань приехали ранним утром. Было непонятно, дождь ли идет или падает мокрый снег. Перейдя вокзальную площадь, повернули направо и, поднявшись в гору, долго шли по прямой, длинной Воскресенской улице, в конце которой виднелась колоннада университета.

Трифоныч вспомнил, как в августе он приезжал в Казань на конференцию большевистских организаций по аграрному вопросу. Тогда он пробыл здесь всего несколько дней и не успел как следует повидать город. Не думал он тогда, что ему еще раз придется побывать в Казани, да еще с такими провожатыми. Он

шел посередине дороги, с любопытством осматривая мало знакомые дома. Стуча тяжелыми сапогами по булыжнику, шагали жандармы.

Казанское полицейское управление, по странной иронии судьбы, находилось по соседству с университетом. В одном доме учились, а в другом читали бесконечные инструкции о борьбе с крамолой и писали протоколы и постановления об арестах и обысках.

Трифоныча долго держали в темном коридорчике. От жандармов нестерпимо пахло мокрым шинельным сукном и махоркой. Суконкин вслух мечтал:

— Сдадим сейчас господина студента, освободимся — и в трактир.

Менее разговорчивый Холодов перебил:

— Сегодня же надо обратно.

— А чего нам торопиться! Вечером уедем.

Пришел начальник арестантского стола. Он по-хозяйски осмотрел Трифоныча, проверил в статейном списке его приметы и, расписываясь, сказал жандармам:

— Все. Можете идти.

Суконкин бережно спрятал расписку во внутренний карман мундира и, козырнув начальнику, обратился к Трифонычу:

— Счастливо оставаться, господин студент!

Трифоныч почти дружелюбно ответил:

— До свиданья. Смотрите, на поезд не опоздайте.

Продержав Трифоныча около часа в запертой комнате с узеньким решетчатым окном, начальник арестантского стола повел его к начальнику.

Начальник казанского полицейского управления ничем не отличался от других. Он был верным царским слугой и ярым врагом революционеров. Но в эти дни он очень злился на своих коллег из соседних городов и губерний, посылавших под его надзор все новых и новых беспокойных людей, а у него своих таких же беспокойных было хоть отбавляй. Совсем недавно большевики провели у него под носом конференцию, а его агентура проспала, и он получил из Петербурга очередной нагоняй.

Начальник посмотрел на Трифоныча и опытным взглядом старого полицейского служаки определил: «Убежит! Этот долго под надзором не будет».

Он с удовольствием бы посадил Трифоныча в тюрьму, что было бы гораздо спокойнее, но, полистав сопроводительные документы, он понял, что сажать в тюрьму нет формальных оснований.

Чертыхнувшись, он начал размышлять, как ему поступить с новеньким, молча сидевшим на табурете с таким видом, словно все происходившее не имеет к нему отношения. «Посадить нельзя. Значит, он убежит. Ну и черт с ним. Инструкцию я не нарушу». Вслух он сердито сказал:

— Определяйтесь на жительство, молодой человек. И чтобы у меня ни-ни! Чтоб я о вас ничего худого не слышал. И на отметку являйтесь аккуратно, один раз в три дня. Нарушите — посажу!..

Трифоныч сидел и подсчитывал, хватит ли ему на обратный путь. Вместе с трешницей, полученной от Наташи, на билет все же не хватало.

— Я не могу определяться. У меня нет денег.

Начальник с удивлением посмотрел на него и распорядился:

— Галактион Осипович, скажите, чтобы ему выдали из сумм общества попечительства о тюрьмах.

— Никак невозможно, — возразил столоначальник. — Он же не под замком-с.

— Ладно, выдайте. Черт с ним...

* * *

Выпивший и все же не в полную свою меру насытившийся Суконкин сходил с поезда на каждой станции, где был буфет. Не отказал он себе в этом удовольствии в Шуе, тем более, что на станции служил жандармом его брат.

Вернувшись в вагон, Суконкин, запинаясь, начал рассказывать Холодову:

— Ничего не пойму. Где мы его оставили?

— Кого? — раздраженно спросил его напарник.

— Господина студента. Того, что мы в Нижний везли?

— В какой Нижний? Ты, брат, совсем уж ничего не соображаешь.

— Я все соображаю... Мы в Казань — и он в Казань. А сейчас я его на платформе видел. Я к нему, а он — раз, и нет его.

Холодов спохватился и кинулся к выходу, но поезд тронулся, мимо вагона уже бежали домишки Заречья.

Суконкин не ошибся: Трифоныч ехал обратно в одном поезде с ними, избегая встреч со своими спутниками.

Прямо с вокзала он, прихрамывая, направился на Нагорную улицу к Личаевым. Войдя в сени, он услышал голос Наташи:

— Какие вы оба странные! Что я, спала? Приснилось мне? Вот как вас, я его видела. Он мне на пальцах показал: «Скоро вернусь».

— Ничего не понимаю, — раздался голос Павла Гусева. — В Иваново-Вознесенске его собираются выкрасть из тюрьмы. Не может быть, чтобы его так быстро выслали.

Трифоныч шагнул в комнату:

— Что же вы, товарищи, не верите девушке?

Павел Гусев растерянно, словно не веря, что перед ним Трифоныч, расспрашивал:

— Откуда ты? С неба свалился?

Трифоныч, широко улыбаясь, махнул рукой.

— Скучно рассказывать. Одно ясно: пока у царя помощники вроде ротмистра Левенца, мы не пропадем. Побольше бы таких дураков на наше счастье.

Утром Павел Гусев, разжигая самовар, сказал:

— Здесь, говорят, прошел слух, что тебя в Казань выслали. Очень хорошо, нам это на руку. Опровергать этот слух не будем. А ты придумай себе другую кличку.

— Пожалуй, ты прав. Называй меня Арсением.

— Арсением? Что ж... можно.

Так и исчез с того дня «Трифоныч». Как в воду канул. Но зато появился «Арсений».

Вскоре новая кличка Михаила Фрунзе прочно вошла в обиход подпольщиков.

После его выступления на сходке рабочих завода Толчевского старый литейщик Илья Горшков с улыбкой спросил стоявшего рядом товарища:

— Здорово Арсений на Трифоныча похож. Они что, братья?

— Вполне возможно.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Миша!

— Что, Наташенька!

— Можно с тобой поговорить?

Фрунзе сразу почувствовал, что разговор будет необычный, и с готовностью отложил книгу.

— Слушаю, Наташа.

— Ты прости меня, Миша, что я тебя по пустякам отвлекаю. Сейчас не время, чтобы о таких делах говорить, но я не могу, мне трудно молчать, да и Степан, когда я из Москвы уезжала, просил тебе все рассказать. Видишь ли, Миша, я жду ребенка.

Наташа залилась румянцем и опустила голову. Фрунзе подсел, обнял ее за плечи.

— Я ничего не боюсь, только вот невенчанные мы, ребенок мой будет незаконнорожденный. А венчаться нам нельзя: у Степы документов нет. По паспорту Вани он мне брат. Вот я и не знаю, что делать.

Фрунзе задумался.

— А если вам обоим с нелегальными паспортами повенчаться? Ты, скажем, какая-нибудь Наталья Матвеевна Широкова, а он Степан Ильич Смирнов. Имена и отчества ваши, а фамилии фальшивые. А потом все узаконите.

— Когда это потом?

— Когда удобное время подойдет.

— Нужны настоящие метрики, справка из полиции, свидетельство об исповедании. Много всего нужно.

— Надо будет достать. Я попрошу «Станко» раздобыть вам все необходимое, и закатим мы, Наташа, вам свадьбу.

— И еще, Миша, я больше жить у Елены Васильевны Перевощиковой не смогу, а Степе туда совсем нельзя показываться.

— Не поладили?

— Замуж она собирается. Не знаю, что она в нем нашла. Какой-то Поляков. В земской управе служит. Весь прилизанный, руки потные. Еще не муж, а во все суется. Вчера обнял меня, смотрит ласково, а сам спрашивает: «Вы, надеюсь, ненадолго к нам, кузина?»

— Поищем другое место, а самое лучшее — поживите вы пока вместе с Груней. Ей сейчас в Иванове жить нельзя. Найдем мы вам комнату. Устроим Груню работать, а ты будешь за хозяйку, и меня иногда, бездомного, обедом накормишь. Яков сюда перебирается, а там и Степан явится... Груня! Легка на помине.

Груня еще с порога улыбнулась:

— Устроилась! Двадцать первого на работу. Пришла я к доктору, к которому ты меня послал. Симпатичный такой, обходительный. Спрашивает: «Вы же ткачиха. Почему на фабрику не устраиваетесь, а к нам, в сиделки?» Я ему стала заливать: мол, я люблю в больнице работать, чисто у вас, а он смеется: «Полно, — говорит, — голубушка, не сочиняйте, я старый воробей, все понимаю: не берут вас на фабрику — язычок у вас больно остер. Может, случайно еще депутаткой были?» Очень проницательный человек. «Ладно, — говорит, — приходите»... Попадете теперь ко мне в палату — компрессик по знакомству погорячее поставлю, подушечку взобью, как пух. Наташа, не смотри на меня так скучно: у меня, Наташенька, такая радость. Такая радость...

Фрунзе смотрел на нее с улыбкой:

— Поделись, Груня, с нами.

Груня, словно спохватившись, сказала:

— Я же вам все рассказала! Как же не радоваться — работу нашла, жалованье хорошее...

* * *

В тот день, когда Яков неожиданно заговорил с ней о своей любви, Груня, все время ждавшая этого разговора, сама не могла понять, почему она сказала ему: «А может, я тебя совсем не люблю». Яков грустно посмотрел на нее и начал рассказывать о том, как они вместе с Трифонычем ходили в село Парское на деревенский сход, как там хорошо выступил Трифоныч и как крестьянские парни провожали их до самой Шуи.

Груне вдруг стало грустно. Она ждала, чтобы Яша снова заговорил о своих чувствах, а он, видимо обиженный, ушел, не сказав больше об этом ни слова.

Груня долго не могла в эту ночь уснуть, — все думала, почему она так плохо обошлась с Яковом. «Хороша буду, если он никогда больше мне этого не скажет, — ругала себя Груня. — Дурочка! — Она вспомнила Якова, его растерянный вид, ожидающие глаза и улыбнулась — Скажет, не утерпит. А не посмеет, я сама ему скажу».

Следующий раз она увидела Якова на похоронах «Отца». Он проводил ее до дома, крепко пожал на прощанье руку и молча ушел. Затем она уехала в Шую к Трифонычу. Боже мой, как она обрадовалась, узнав от Трифоныча, что Яков тоже будет жить здесь!

И вот вчера они встретились на станции, вместе пошли в Марьяновку. Прощаясь, Яков крепко пожал ее маленькую руку и вздохнул:

— Если не любишь, так и скажи...

Она освободила руку и, встав на ступеньку, обняла его.

Ночь была темная, холодная, а они, ничего не замечая, просидели на крылечке почти до рассвета.

* * *

Арсений, угадав отношения между Груней и Яковом, стал им давать такие поручения, чтобы они могли быть вместе. Яков, поняв это, не выдержал и сказал:

— У тебя, Арсений, случайно нет в кармане какого-нибудь человекоскопа?

— Чего? — рассмеялся Арсений.

— Есть микроскопы, в них ученые козявок рассматривают. Я сам не видел ни разу, но слыхать — слыхал. А у тебя, видно, есть свой — человекоскоп. Уж очень ты быстро все замечаешь.

— Да тут, Яша, через простое стекло все видно. У вас с Груней все на лицах написано.

В середине ноября Арсений попросил их отвезти в Иваново-Вознесенск для типографии бумагу.

— Может, завтра, если успею, и я подъеду. Так и скажите Семену Ивановичу.

Приехав в Иваново, они зашли к Балашову.

— А у меня гостья, — сообщил Семен Иванович. — Тебя, Груня, знает. Говорит, что в Питере с тобой встречалась.

— Оля! — догадалась Груня.

— Нет, Соня.

— С косами, глаза большие.

— Кос не рассмотрел, она в шапочке, а глаза действительно как будто большие.

— Про Трифоныча спрашивала?

— Спрашивала.

— Где же она?

— Пошли с Кузнецовой на вокзал, за багажом.

В дверь сильно постучали. Балашов открыл, и в комнату не вошла, а вбежала Кузнецова:

— Семен Иванович! Голубчик. Убили!..

— Кого? — вскрикнула Груня.

— Приезжую, с которой я пошла. О, господи! Я еле вырвалась...

* * *

Подъезжая к Иваново-Вознесенску, Оля Генкина не отходила от окна, всматриваясь в окраины города, где, как она предполагала, ей придется задержаться надолго.

Проехали переезд, поезд застучал на стрелке, и она начала собирать вещи, сама себя спрашивая: «Что это со мной? Я скоро Мишу увижу, а мне грустно стало. — И она, чтобы отделаться от каких-то смутных, грустных мыслей, начала думать о другом: куда деть корзинку, пока она разыщет конспиративную квартиру. — В камеру хранения не стоит, да ее, может, и нет. Что-нибудь придумаю».

Вокзал ей не понравился: маленький, деревянный, с тесными коридорами. Тяжелая корзина давила ей плечи, и она остановилась передохнуть. Грубый голос со злостью крикнул:

— Чего стала! Проходи.

Ее обогнал высокий грузный старик в коротком пальто и черной каракулевой шапке пирожком. Он повернул к Оле красное лицо с багровым носом и бросил кому-то идущему сзади: «Я в буфете буду. Приходи туда!»

Оля с трудом подняла корзинку и, миновав коридор, попала в зал третьего класса. Оттуда доносились звуки гармошки и пьяные голоса: «Пускай могила меня накажет за то, что я его люблю...»

«Какой же сегодня день? Воскресенье? — подумала Оля. — Нет, среда. Почему же тут так много пьяных?»

Двери зала третьего класса широко распахнулись, и в них встал совершенно пьяный парень в голубой рубахе, без пиджака, с растрепанной кудрявой головой.

— Тишка! — крикнули сзади Оли. — Пойдем в господский зал. Куприяныч велел.

— Мне и здесь неплохо. — Увидев Олю, гармонист попытался состроить ласковую улыбку. — Барышня! Пермете, франсе, муа... Не хочешь со мной? Черт с тобой! — И, грязно выругавшись, шагнул обратно. Оля пошла направо, в зал первого класса. Он был почти пуст, только за одним столиком сидели несколько человек и среди них высокий грузный старик в каракулевой шапке. За стойкой, прислушиваясь к их разговору, толстый, на вид очень добродушный буфетчик с пушистыми бакенбардами вытирал полотенцем яблоки и укладывал их в вазу.

— Можно у вас на часок корзиночку оставить?

— Чего изволите-с? — привычно спросил буфетчик Олю, видимо, не расслышав ее просьбы.

— Корзиночку на сохранение... Я заплачу.

— Оставьте, — с неохотой разрешил буфетчик.

Она зашла за стойку и осмотрелась, куда поставить корзинку.

— Поставьте тут, я приберу, — сказал буфетчик и поднял корзинку. — Тяжелая! — удивился он.

— Книги! — объяснила Оля. — Спасибо вам, — и подала ему рубль.

— Не за что, — пряча бумажку в карман, ответил буфетчик. — Только вы долго не гуляйте. Мне к пассажирскому пиво привезут — она мне помешает.

— Я скоро.

К буфетчику подошел старик в каракулевой шапке и заказал рюмку водки.

— Что это за фря к тебе приходила? Родственница иль знакомая?

— Багаж поставила.

— Багаж? А разве у тебя склад? Вдруг она бомбистка? Почем ты знаешь?

— Полноте вам, девушка простая, хорошая.

— Покажи, что за багаж, не то Пулия из жандармской позову.

— Идите смотрите, — струхнул буфетчик.

Старик приподнял корзинку и безапелляционно сказал:

— Тяжесть какая! Бомбы!

— Книги, сказывала.

— Ты поверил! Дай гвоздодер, я замочек пощупаю.

— Кирилл Кузьмич! Да разве можно? Человек на сохранение оставил.

— Помалкивай, — огрызнулся старик, орудуя гвоздодером. Он крякнул и отбросил замок.

— Я же говорю вам, видите, — сказал буфетчик. — Видите, кофта, гребенка. Отвечать придется.

— Полотенце столько не весит, — роясь в корзине, ворчал старик. — А ну-ка, — торжествующе закричал он, — это что? Булавки? — На вытянутой ладони лежал новенький браунинг. — Ну, кому отвечать придется? — издевался старик над побледневшим буфетчиком. — Ума в тебе, сколько в твоем самоваре. Раз, два, три, пять... восемь, — считал он револьверы, выкладывая их на стойку. — Ребята, сюда!

И, уже совсем куражась над буфетчиком, старик начал громко, на весь зал кричать:

— Видали дурака? Ему бомбистка корзинку подсунула, а он обрадовался, сгреб-с... «Пожалуйста, мамзель-с, с почтением...» — передразнил он буфетчика. — Принимай, ребята! Патроны пошли.

Когда все оружие было выгружено, старик скомандовал:

— А теперь брысь все от стойки! И сидеть тихо! Как только мамзель подойдет — хватать. Торопиться мы не будем — мы ей корзиночку дадим подержать.

Когда Оля подошла к буфетчику и приподняла корзинку, она сразу все поняла.

Ее схватили под руки какие-то парни и повели в жандармскую комнату. Впереди шел старик в каракулевой шапке и весело, даже радостно покрикивал: «А ну, господа, пропустите!»

Жандарм Пулий Сакердонов, составляя протокол, все кричал на нее, а она, не отвечая на его вопросы, смотрела в окно: не подойдет ли кто из своих? «Вдруг Миша зашел к Балашову и тот сказал, что я приехала?..»

Сакердонов в десятый раз спросил: «Как твоя фамилия?» Она, не сводя глаз с окна, холодно ответила: «Я вам не родня — говорите мне «вы». А сама думала: «Нет, не следует Мише здесь появляться: он не выдержит, попытается меня выручить, и его схватят».

Старик в каракулевой шапке приоткрыл дверь:

— Ждать нам или уходить? Долго, ваше благородие, разговаривать с ней будешь?

Жандарм вскочил и дико крикнул:

— На кой ты черт ее притащил? У меня своих дел по горло!

Он схватил Олю за воротник и вытолкнул в коридор, прямо на старика.

Первым ее ударил по лицу буфетчик. Мстя за испуг, он, брызгая слюной, кричал:

— Сволочь! Под монастырь хотела меня подвести! За рублевку... Гадина!

Кто-то ударил ее гвоздодером. Потом ее поволокли за косу на улицу. Били крючьями, несколько раз ударили ломом. Но она все еще жила. Последним ее видением был старик с багровым носом, дико вопивший во всю глотку:

— На улицу давай! На улицу!..

Она долго лежала под дождем на булыжной мостовой. Толпа любопытных все росла и росла. Груня все же протиснулась, и хотя в этом истерзанном теле трудно было узнать Олю Генкину, Груня узнала ее сразу. Безмолвная, не имевшая права ни рыдать, ни причитать, Груня стояла и не могла оторвать глаз от темно-русой косы, мокнувшей в луже крови.

Приехали пожарные. Они уложили покойную на застланные рогожей дроги и повезли в мертвецкую. Груня долго шла за ними по тротуару. Она увидела, как Олина рука упала на высокое заднее колесо. Груня не выдержала и подбежала. Пожарный остановил лошадь:

— Чего ты там?

— Нехорошо...

Она подняла руку и положила на грудь. На мгновенье на

указательном пальце Груня увидела небольшое чернильное фиолетовое пятно: «Бедная моя! Видно, писала недавно». Пожарный подоткнул получше рогожку и, усаживаясь, произнес:

— Ей теперь все равно. Отжила. Отойди, девушка, а то и к тебе привяжутся.

В больничный двор Груня не вошла и повернула к Балашову. Из калитки навстречу ей стремительно вышел Яков.

— Что они с ней сделали! Если бы ты видел, Яша!

Они вошли в дом. Арсений, увидев их, отошел от окна и молча крепко пожал Груне руку. Потом он пододвинул табуретку поближе к топившейся печке.

— Никак не могу согреться!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— Я здесь совершенно не сплю, прислушиваюсь к каждому шороху. И эти глупые физиономии, торчащие у подъезда...

— Что же делать, дорогая?

— Надо было остаться дома, на Каменноостровском. Не понимаю — иметь свой великолепный, хорошо устроенный дом и жить здесь, где так ужасно. Эти воспоминания... Эти цареубийцы...

— Здесь, дорогая, никого не убивали. Убивали в других местах.

— Все равно ужасно!

— Ты устала, дорогая. Однако мне пора.

Граф Витте встал из-за стола.

— Вчера я снова просил у государя разрешения вернуться в наш дом. Он и слышать не хочет. Ему удобнее, чтобы я жил здесь. А Трепов прямо сказал: «Сергей Юльевич, вы требуете невозможного. К вам должны ездить министры, высокопоставленные лица, и охранять их будет трудно».

— Это ужасно!

— Будет еще ужаснее, если кого-нибудь по дороге ко мне или, не дай бог, у нашего дома убьют бомбисты. Тогда вся ответственность падет на меня.

С тех пор как граф стал премьер-министром, утренние встречи с женой за кофе стали все реже и реже, а с переездом в Зимний дворец совсем почти прекратились. Только иногда граф, уступая супруге, откладывал все самые срочные дела и аккуратно появлялся в столовой, как когда-то на Каменноостровском.

Но в воскресенье 4 декабря графу так и не удалось повидаться с супругой. В семь часов его потревожил звонок Дурново. У Витте с Дурново сложились странные отношения. Несмотря на представление и рекомендации Витте, царь, по совету Трепова, утвердил Дурново не министром внутренних дел и шефом жан-

дармов, а только управляющим министерством. Хотя Дурново фактически являлся министром и шефом жандармов, но все же звание «управляющий министерством», как менее почетное, не устраивало его и даже обижало. Он понял, что министром он сможет стать, только угодив Трепову и царской семье, а угодить он мог только одним — водворением порядка и особенно в столице, на глазах у царя. Он считал, что единственным средством для восстановления порядка является физическое истребление тех, кто поднимал голову против царя, или в крайнем случае длительная их изоляция, и в этом он расходился с Витте, считавшим, что только одни крайние полицейские меры могут вызвать в народе еще большее озлобление и не подавят революцию, а загонят ее на время внутрь.

Угождая царю и Трепову, Дурново не мог в то же время не угождать и премьер-министру, поэтому у Дурново всегда наготове было два выражения лица, две манеры разговаривать. Одна подобострастная, но с решительными нотками, — для разговора с Треповым: «Доложите его величеству, что Петербургский Совет рабочих депутатов почти в полном составе арестован вчера во время его заседания. С преступным элементом поступят со всей строгостью».

С Витте он разговаривал по-другому. Разбудив графа в семь утра, Дурново доложил:

— Доброе утро, Сергей Юльевич! Разрешите доложить о случившемся. Пришлось пойти на крайнюю меру: арестовали часть депутатов Совета. Разумеется, самых рьяных. Поступим по закону.

В половине восьмого Дурново позвонил снова:

— Простите за беспокойство, граф! Только что получены вести из Москвы. Не знаю, как быть: доложить государю или не портить ему настроение накануне высокоторжественного дня тезоименитства?

— Что-нибудь серьезное, Петр Николаевич?

— Собираются начать всеобщую забастовку.

— Мне это известно.

— Но вам, наверное, неизвестны некоторые подробности.

— Возможно. Что вы имеете в виду?

— Готовится вооруженное восстание. На всех заводах изготовляют оружие. А самое главное, граф, — гарнизон ненадежен. Хотел бы посоветоваться с вами конфиденциально.

— Приезжайте.

Так и не пришлось графу — даже в воскресенье — попить кофе вместе с женой. Беседовал сначала с Дурново, потом с министром финансов, с новым обер-прокурором святейшего Синода Оболенским. В полдень выехал в Царское Село.

По пути Витте высчитывал, сколько лет прошло, как убили Александра Второго. Получилось двадцать четыре года. Следовательно, нынешнему императору было тогда всего тринадцать

лет. Мальчишка! Насмерть, поди, перепугался. А случай в Японии, когда какой-то сумасшедший хватил его палкой по голове! И, как всегда в такие минуты, холодное презрение к самодержцу сменилось страстным желанием: «Дать бы ему под команду батальон преображенцев — хватило бы за глаза, или послать путешествовать с матушкой царицей. Не поедет, боится за порог дворца ступить. Позавчера подписал высочайшее повеление дополнительно ассигновать на охрану два миллиона рублей. Хочет царствовать. Ведет дневник. Интересно, что он там пишет? Как колол дрова, что сказал за обедом Трепов... Господи! Дал же ты нам помазанника!..»

Дурново уже успел обо всем доложить. Николай, хмурый, с мешками под глазами, смотря в сторону, глухо бормотал:

— Как же понять, Сергей Юльевич? Где же обещанное успокоение? Где же тишина? Дубасов просит прислать в Москву гвардию. Не знаю, что делать.

— Только не гвардию, — решительно возразил великий князь Николай Николаевич. Он стоял тут же — долговязый, выше царя почти на аршин, с маленькой для огромного роста головой, с седеющими холеными усами и бородкой. — Только не гвардию, — повторил он. — Я распорядился выслать в Москву из Царства Польского Ладожский полк. Полк вполне надежен.

— Позволю посоветовать, ваше высочество, послать гвардию. Не всю, понятно, но два полка, не менее.

Николай, умеющий в отсутствие Трепова и жены соглашаться с тем, кто говорил последним, поддержал графа:

— Придется послать семеновцев. Генералу Мину я верю.

Великий князь зло посмотрел на Витте и продолжал с ним спорить, точно царя тут и не было.

— При теперешнем положении прежде всего надо охранять Петербург и его окрестности, в которых пребывает его величество и вся августейшая семья. У меня и сейчас на это не хватает войск, а вы предлагаете отправить всю гвардию в Москву.

— Не всю, — поправил Витте, — а два полка.

— Ни одного солдата! — выкрикнул князь. — Боже сохрани и помилуй, а вдруг восстание в Петербурге? Кто будет защищать нас?

— Но нельзя же и Москву оставлять на произвол судьбы!

— Пропади она, ваша Москва, — со злобой сказал великий князь. — Никакой беды не будет, если ее разгромят. Когда-то она была действительно сердцем России, а сейчас это проклятое место, откуда исходят только одни революционные идеи. А потом там Дубасов, решительный мужчина, хотя и моряк, и не сегодня-завтра прибудет Ладожский полк.

— Вот видите, Сергей Юльевич, — вмешался в разговор Николай, — видите, как трудно, пожалуй, даже невозможно выводить гвардию из столицы.

Так и не договорившись ни о чем, пошли к обеденному столу. Витте приглашали редко, в исключительных случаях. Нельзя же было сегодня отсылать премьер-министра домой за десять минут до обеда.

Обедали по-семейному, почти без прислуги. Кроме царской четы, великого князя и Фредерикса, Витте, к своему великому неудовольствию, увидел за столом издателя «Гражданина» князя Мещерского, постоянную спутницу царицы Анну Вырубову и дряхлого барона Гойниген-Гюне, занимавшего в прошлом царствовании важный пост в Кавказском комитете. Сейчас барон, удалившись от всяких дел, жил на покое в своем имении в Саратовской губернии и в столицу пожаловал хлопотать за многочисленных внуков и племянников и заодно поразведать, нельзя ли получить ссуду под трижды заложенное поместье.

По тому, как барон топорщил усы и победоносно поглядывал на премьер-министра, Витте почувствовал, что старикашке сегодня будет уделено особое внимание: царица выдаст его за очередного предсказателя будущего и мудрого государственного деятеля.

Витте не ошибся. Царица, как всегда краснея от волнения, молча посмотрела на Николая и, получив его одобрительный кивок, обратилась к барону, продолжая, очевидно, прерванный разговор:

— Прошу вас, барон, расскажите, как чувствует себя несчастная сиротка?

Барон, желая заинтересовать всех присутствующих, и особенно царя, повторил рассказ сначала:

— Вся трагедия началась с отрезков. Мужики пошли к управляющему: «Посылай княгине телеграмму. Все отрезки и земли, которые мы арендуем, пусть уступает нам безвозмездно».

— На каком основании? — осведомился Мещерский, отлично знавший всю историю.

— На том, что они якобы платили арендную плату сорок пять лет.

— Это не основание, а произвол, — подлил масла в огонь Мещерский.

— Мужики нынче по-другому рассуждают, — грустно сказал барон. — Управляющий, конечно, отказал. Тогда они взялись за межевые знаки. Начался спор, шум, и бедного управляющего убили. Жена выбежала к нему на помощь, и ее убили, а малютку, девочку пяти лет, представьте, не тронули.

— Бедное дитя! — совсем покраснев, сказала царица и поднесла к глазам платочек.

— Какая жестокость! — поддакнул Мещерский, дав понять барону, что от сентиментального повествования пора переходить к делу.

— Вы правы, князь, это жестокость, — подхватил барон. — Но скажите, чем она вызвана? Где ее корни? Вы позволите мне, ваше величество?

— Продолжайте, — сказал Николай. — Очень интересно.

— Жестокость порождается благодушием. Народ, простой русский народ, не говоря о разных инородцах, любит узду и твердую руку...

К Витте никто не обращался, точно его не было.

Обед подходил к концу.

Вошел камер-лакей и наклонился к Фредериксу. Фредерикс пожал плечами, а затем согласно кивнул головой. Лакей все так же неслышно подошел к Витте:

— Ваше сиятельство просят к телефону.

Витте встал и, получив молчаливое согласие императрицы, вышел в соседнюю со столовой комнату, где висел телефон.

Граф узнал голос Дурново.

— Только что от Дубасова пришла шифрованная телеграмма. Положение в Москве более чем серьезное. Гарнизон ненадежен. Из пятнадцати тысяч солдат дай бог на пять тысяч можно положиться. Каково мнение государя о посылке гвардии?

— Я доложу... — уклончиво ответил Витте.

Возвращаться в столовую и слушать глупую болтовню барону Витте не хотелось. Он просидел около телефона до конца обеда и, услышав голос царя, выходящего из столовой, сделал вид, что только сейчас положил трубку. Царь говорил Мещерскому:

— Вы правы, законы — самое главное. Соблюдать их — священный долг верноподданного.

Вечером, улучив полчаса свободного времени, граф по старинке отвел душу с женой.

— Говорит о законах, а не прочитал за всю жизнь ни одного закона. Вообще, дорогая, я убедился, что под влиянием страха ни одно качество человека так не увеличивается, как глупость, а у него особенно. Боже мой! Кто его окружает! А этот верстовой столб с великокняжеской короной. Хорош! Пропади, говорит, пропадом эта Москва.

Во втором часу ночи, едва граф уснул, его разбудил адъютант великого князя с запиской: «Государь вечером попросил меня послать войска в Москву. Ваше желание будет исполнено. Николай».

Витте попросил дежурного чиновника соединить его с Дурново.

— Телеграфируйте шифром Дубасову: в Москву посылают Семеновский полк.

— Добрые вести, — ответил Дурново. — В Москве худо — по последним сообщениям, даже на Тверской стреляют...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Степану Важеватову уехать из Москвы не пришлось. Сначала не удавалось достать новый паспорт, а в декабре служивший в гвардии и умеющий владеть оружием Важеватов был особенно нужен партийной организации.

Еще в середине ноября Синцов дал ему отпечатанный на папиросной бумаге устав боевой дружины:

— Прочитай внимательно.

Степан тотчас же принялся за чтение.

— Что скажешь? — спросил его Синцов.

— Толково, но, по-моему, тут не все сказано: нет ни слова о том, как надо драться с полицейскими и войсками. Кто этот устав писал?

— Не знаю, но он одобрен Московским комитетом.

— Напрасно они его в таком виде одобрили. Ты скажи кому следует.

Синцов с уважением посмотрел на Степана:

— Выходит, мы не ошиблись.

— В чем?

— В тебе. Я рекомендовал тебя командиром десятка, а помощником у тебя будет Коротков.

— Он же тихий, как теленок.

Синцов засмеялся:

— Ничего себе тихий! Два раза с каторги бежал. Он питерский, с Путиловского. И еще дадим тебе Митю Страхова. Вечером я его к тебе пришлю, познакомьтесь.

Вечером к Степану пришел совсем молоденький паренек и по-военному представился:

— Страхов. В ваше распоряжение.

Степан с любопытством осмотрел своего будущего дружинника, прикидывая, сколько ему лет. Паренек, догадавшись, внес ясность:

— Семнадцать лет! Родился на Пресне. Все улицы, переулки и проходные дворы знаю... Получите ваше личное оружие. — Он ловко достал из внутреннего кармана револьвер. — Отобран позавчера на Берсеневской набережной, у Каменного моста, около столичного мирового суда у постового городового, бляха № 3167.

Степану сразу стало весело с этим подтянутым, видно, озорным пареньком.

— А у тебя оружие есть?

Страхов вынул из другого кармана «смит-вессон».

— Где достал?

— Он давно у меня. Ваш, конечно, лучше бьет, но я к этому привык.

Он положил на стол хорошо начерченный план района, примыкающего к Прохоровской мануфактуре.

— Вот смотрите: это Большая Пресненская; это Камер-Коллежский вал...

Вскоре пришел Коротков.

— Ну, товарищ командир, принимай под свое начало. Завтра я тебе весь десяток представлю. Ребята хорошие, боевые, и руки у них на фараонов давно чешутся.

* * *

Недели три спустя, вечером 5 декабря, Синцов известил:

— Завтра твой десяток выделен на охрану Московского Совета рабочих депутатов.

И дал ему адрес, где Степан должен был получить все инструкции.

Степан выслушал и спросил:

— То ты меня из Москвы гнал, запрещал на улице показываться, а теперь такие дела поручаешь. Как же все это прикажешь понимать?

— Понимай, как надо. Во-первых, ты не один — с тобой десять орлов, в обиду не дадут. Во-вторых, времена переменились. Сейчас тебя днем на улице ни один жандарм не схватит — побоится. Теперь на улице хозяева не они.

Человек, к которому Степан обратился с паролем от Синцова, оказался малоразговорчивым пожилым железнодорожником.

— Ручные бомбы есть? — спросил железнодорожник.

— Две штуки.

— Маловато. Мясницкую улицу знаешь? Недалеко от Лубянки — Банковский переулок. Ровно в пять часов вечера быть там. Задача: следить за Кривоколенным и Армянским переулками; не пропустить на Мясницкую ни казаков, ни драгун, если они появятся. Смотри на план. В этом доме на углу — столярная; из нее удобно вести огонь — вот отсюда, из этого подъезда. Если будете аккуратны, мышь и та не проскочит. Понял?

— Понял.

— Выдели связного. Если что потребуется, у почтамта будет стоять парень с черной повязкой на правом глазу. Пароль: «Москва поднимается». Отзыв: «Вся Россия».

Попозднее Степан с Митей Страховым отправились посмотреть завтрашнюю позицию. Железнодорожник, видно, хорошо знал свое дело. Все оказалось так, как он объяснил. Окна из столярной на уровне роста человека выходили в переулок, и из них действительно удобно было вести обстрел.

У Короткова Степана ждало письмо от Наташи. Она писала, что живет вместе с Груней и с ее помощью устроилась в земскую больницу. «Вот уж не думала, что когда-нибудь надену белый халат». О своем здоровье она сообщила скупо:

«Чувствую себя хорошо». Потом, очевидно после, сбоку мелко-мелко приписано: «И он тоже». Письмо заканчивалось ласковым и в то же время грустным призывом: «Что же ты не едешь? Я только и думаю о тебе. Крепко тебя целую. Твоя жена Наташа».

Степан несколько раз перечитал последние строчки, и оттого, что Наташа впервые подписалась «жена», на душе у него стало хорошо. «Жена!» — подумал он.

Коротков, чистивший свой огромный пистолет «свойской», как он говорил, марки, спросил:

— Из дома?

— От жены, — ответил Степан.

Ночью Степан все думал о Наташе, о будущем своем ребенке: «Какой-то он будет? Только бы сама была здорова». И Степан совершенно ясно представил, как он идет по знакомой улице Путанке с фабрики домой. У калитки ждет Наташа, и тут же около нее маленькая девочка...

Так и уснул Степан с мыслями о своем счастье, таком возможном и таком далеком.

На другой день в пять часов вечера десяток Степана занял свой пост. Разместив дружинников, Степан медленно прохаживался по узенькому Банковскому переулку, изредка заглядывая на Кривоколенный. Неотлучный Митя Страхов заметил:

— Спокойный у нас пост.

— Вижу, — с огорчением ответил Важеватов. — Мы пока необстрелянные новички, вот нам и дали место потише.

Прошло уже больше двух часов, как началось заседание. Луна осветила притихшую столицу. За все время только один человек — доктор с небольшим саквояжем — появился в переулке. Объяснив Степану, что он живет в доме два, доктор торопливо пересек переулок и, не оглядываясь, скрылся в подъезде.

Подождав еще немного, Степан приказал Страхову:

— Иди к почте. Доложи, что все в порядке, и спроси, когда сниматься.

Вернулся Митя быстро:

— Тебя требуют. Нам приказано стоять. Сигнал будет.

Вызвав Короткова из укрытия и передав ему командование, Степан поспешил к почтамту. По дороге его встретил Синцов. Они вошли в здание Варваринского общества, охраняемое дружинниками.

В зале заседаний находилось около полутораста человек. Они внимательно слушали пожилого рабочего.

— Московский пролетариат ждет нашего решения, и мы должны его принять. Вся страна охвачена восстанием, и нам с этим нельзя не считаться. Вы слышали передо мной выступление делегата почтово-телеграфного съезда, а еще раньше — делегата от железнодорожников. Они говорили не от себя, а

от имени тех, кто их послал. И мнение у них одно: бастовать. Неужели же мы, товарищи, будем малодушными? — Он помолчал, обвел взглядом зал и громко сказал: — Бастовать! Вот вам мое последнее слово! — И ушел с трибуны, сопровождаемый аплодисментами всего зала.

Заговорил высокий плотный человек с большой темной бородой:

— Я предлагаю, товарищи, кончить наше обсуждение. Пора переходить к делу.

— Правильно! Давно пора! — загудел зал.

— Слушайте проект нашего постановления, — продолжал оратор и громко, четко начал читать: — «Московский Совет рабочих депутатов объявляет всеобщую политическую забастовку в среду, седьмого декабря, с двенадцати часов дня, всемерно стремясь перевести ее в вооруженное восстание». Все, товарищи! Кто за это постановление, прошу голосовать!

В ответ раздались такие аплодисменты, что и сам оратор не выдержал, начал хлопать со всеми вместе. Когда в зале снова водворился порядок, оратор продолжал:

— Прошлая, октябрьская стачка показала, что от недостатка воды и хлеба больше всего страдает сам же рабочий класс и беднейшая часть населения. Зажиточные люди, как правило, имеют большие запасы съедобного. Поэтому предлагается принять такое постановление: «Водопровод во время забастовки продолжает работать. Булочные на окраинах могут быть открыты с разрешения районных Советов рабочих депутатов при условии, что они не будут повышать цены на хлеб».

Женский голос добавил:

— Пусть черный хлеб выпекают! Без белого обойдемся!

Посыпались и другие предложения:

— Казенки надо закрыть! Пивные!

Синцов показал Степану на пустой стул у стены:

— Посиди тут. Я скоро вернусь.

Он вернулся в сопровождении человека лет тридцати, в пенсне. Незнакомец спросил:

— Питер хорошо знаете?

— Как будто знаю. Жил там.

— Поедете? — спросил незнакомец Степана.

Важеватов хотел было сказать, что в Питер ему ехать опасно — можно нарваться на бывших сослуживцев по гвардейскому полку, но ответил:

— Поеду.

— Очень хорошо, — обрадовался незнакомец. — Выехать надо сегодня же, с последним поездом. Идемте со мной, я вам все объясню.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Сергей Иванович Семенов жил еще на Песках. Феонила Пименовна Саломатина по-прежнему была довольна жильцом: жил тихо, скромно, и хотя кругом все бушевало — то забастовки, то какие-то манифестации и разные смертоубийства, — Петр Иванович, к большому удовольствию Феонилы Пименовны, ухитрялся ездить по ярмаркам. В сентябре, по его словам, он побывал в Несвиже и Острогожске. В октябре, на что уж беспокойный выдался месяц, жилец отсутствовал дней десять: ездил в Порхов и в Новоузенск, в ноябре — в Шадринск и удачно, сказывал, закупил большую партию сала. И отовсюду привозил сувенирчики. Из Шадринска, ввиду большой удачи, презентовал Феониле Пименовне пуховый оренбургский платок. Тяжеловат немного, не первого, видно, сорта, но все же вещь ценная, особенно зимой.

Правда, выдался у вдовы беспокойный день, после которого она вздыхала целую неделю.

Квартирант находился в очередном отъезде. Поздним вечером постучали. Обрадованная вдова заторопилась открыть: не Петр ли Иванович вернулся? Но вместо приветливого, симпатичного жильца увидела усатого квартального надзирателя.

— Пардон, мадам! — громыхнул он и, сев без приглашения, строго, значительно спросил: — А ну-ка, матушка, кто у вас проживает?

Перепуганная вдова сразу не смогла толком ответить:

— Никого у меня нет. Уехал.

— Совсем уехал?

— Совсем... нет, нет, не совсем, по делам...

— Что вы, мадам, путаете? То совсем, то по делам. Скажите мне точно фамилию, имя, отчество, род занятий.

— Вдова я, ваше благородие. Всю мою жизнь вдова.

— Да я не про вас, мадам, про вас мне известно. Вы про жильца расскажите.

Выудив наконец у старухи все сведения, квартальный пожелал осмотреть его комнату.

— Пожалуйста, ваше благородие. Чисто живет.

Квартальный долго рассматривал толстый фолиант в кожаном переплете.

— Умственная книга.

— Что вы сказали, ваше благородие?

— Книга у вашего жильца умственная: «Описание чудотворных икон божией матери в алфавитном порядке». И это полезное чтение, — взял он другую книгу, потоньше. — «Коммерческий справочник». Очень интересно: вычисление процентов, процентные бумаги, акционерные общества, ярмарки в России.

— Он все по ярмаркам, сало скупает, воск.

— Воск — богоугодное дело, пчелкин труд, — солидно подтвердил квартальный. — Холостой он у вас?

— Не женатый, — обрадовалась жизненной теме вдова и слегка посплетничала: — Больно разборчив. Я ему пыталась знакомую девушку посватать — так он посмотрел и отказался. «Худа, — говорит, — а я люблю пополнее». А потом жалел: упустил, дескать, случай!

Как только жилец ввалился в квартиру, вдова все ему доложила, умолчав, понятно, о разговоре про невесту. Сергей Иванович, утираясь строченым полотенцем (сказывал, привез из Владимирской губернии), еле заметно усмехнувшись, одобрил действия квартального:

— Очень хорошо. Значит, в нашем участке все в своем благонамерении состоит. Полиция, Феонила Пименовна, обязана все знать, на то она от государя поставлена и приличные оклады получает.

Слышала бы вдова, как ее жилец двумя часами позже, похлопывая по алфавиту чудотворных икон божьей матери, тихо говорил своему гостю:

— Эта книжища, товарищ Андрей, сто сотен стоит. Как полицейские ее увидят, сразу видят, какой я благонамеренный. А квартиру все-таки надо менять.

Но дни были горячие, и Сергей Иванович остался пока у вдовы.

* * *

Благонамеренный, верноподданный российский обыватель мог беспредельно возмущаться. Еще бы не возмущаться! В Санкт-Петербурге, в столице, резиденции благоверного императора и самодержца всероссийского, царя польского, великого князя финляндского и прочая и прочая, там, где правительствующий Сенат и святейший правительствующий Синод, там, где Государственный совет, совет министров, собственная его императорского величества канцелярия, где министерство императорского двора и уделов, где дипломатический корпус, Адмиралтейство, Исаакий и Петропавловская крепость, — как грибы после тихого, теплого летнего дождя, появлялись газеты и журналы с названием одно чище другого. Вместо солидных, привычных «Биржевых ведомостей», «Гражданина», «Петербургской газеты», «Ведомостей С.-Петербургского градоначальства» и хотя иногда визгливого, но в общем все же вполне благонамеренного «Нового времени» (по-английски это совсем не резало слуха — Нью Таймс»), на удивление всем, вдруг появились «Новая жизнь», «Борьба», «Известия Совета рабочих депутатов» и еще черт знает что.

Говорили, что сам граф Сергей Юльевич Витте состоит подписчиком «Известий Совета рабочих депутатов». Ему поло-

жено многое читать, даже перлюстрационные сводки, составленные «черным кабинетом» из частных писем. Ну и дочитался. Под орех отделали. Он, видите ли, к рабочим с телеграммой: дескать, братцы рабочие, довольно вам бунтовать, пожалейте ваших жен и детушек! Послушайте, братцы, человека, к вам расположенного и желающего вам добра. На государя сослался: приказано, мол, обратить внимание на рабочий вопрос, организовано новое министерство торговли и промышленности, которое должно установить справедливые отношения между рабочими и предпринимателями.

И получил его сиятельство ответ от Совета рабочих депутатов. Напечатали жирно, на первой странице: «Совет рабочих депутатов, выслушав телеграмму графа Витте к «братцам рабочим», выражает прежде всего свое крайнее изумление по поводу бесцеремонности царского временщика, позволяющего себе называть петербургских рабочих «братцами». Пролетариат ни в каком родстве с графом Витте не состоит». И еще: «В ваших советах не нуждаемся, милость царскую от 9 января хорошо помним». В конце приписано: «Принято единогласно при громе аплодисментов».

Угостили своего подписчика по первому разряду. Да разве с этим народом так разговаривать надо?.. Нашел кого уговаривать!

А журналы?

Вдруг появились какие-то «Жупел», «Маски», «Сигнал» и десятки других. Самое главное — никто из них не признает никаких ограничений: плюют на цензурный комитет, печатают откровенные пасквили. Какой-то Шебуев в своем «Пулемете» додумался напечатать текст высочайшего манифеста от 17 октября. Манифест как манифест, но на нем явственно виднелся кроваво-алый отпечаток большой мужской руки. Внизу подпись: «К сему генерал-майор Трепов руку приложил!»

А сколько всяких анекдотов распространили по Русской империи все эти вырвавшиеся из-под цензуры издания! На что это похоже? Бунт!

Печатают такие, с позволения сказать, истории. Стоят будто трое на улице, разговаривают. Подходит к ним городовой: «Ну что вам, господа, надобно? Манифест напечатан, свобода собраний и слова объявлена, о чем же больше рассуждать? Расходитесь, господа».

Или это:

Собрались будто дети, и самый маленький, рыженький говорит: «Давайте играть в правительство». Остальные спрашивают: «А как же это играть в правительство?» — «Очень просто. Ты Коля, будешь министр финансов». — «А у меня денег нет». — «Вот и хорошо. Стало быть, ты правильный министр. А ты, Петя, будешь министром внутренних дел. Это нетрудно: рычи на нас сильнее, и этого с тебя довольно. А ты, Сережа, будешь

за главного, премьер-министра». — «Не хочу, — заревел Сережа. — Я врать не умею».

Если вдуматься: про кого это? Петя — да ведь это Дурново! А Сережа? Господи Иисусе, да ведь это опять нашего графа высмеяли!

Воскресить бы покойного императора Николая Павловича, он бы показал, где раки зимуют. А нынешний притаился в Царском Селе, ничего будто не видит и не слышит.

Или вот еще:

Появилась газета «Новая жизнь». Открыли контору, и не где-нибудь за заставой, а на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки, почти под боком у самого Зимнего, поблизости с Аничковым дворцом. Редактор-издатель — Н. М. Минский. Уж не тот ли, что иногда пописывает стишки? Знаем мы этих поэтов!

«Новая жизнь» еще не вышла, а о ней уж растрезвонили: «Будет издаваться при ближайшем постоянном участии Максима Горького». Удивили! Сотрудников подобрали под стать: Андреев, Вересаев, Луначарский и иже с ними. С первых-де номеров будут печатать очерки Максима Горького «Заметки о мещанстве». Нашел тему! А что оно, мещанство, ему дурного сделало? Кормит, поит, согревает. И еще обещали: «Газета ставит своей задачей быть выразительницей политических и экономических интересов рабочего класса». Чего смотрит Дурново? Отставили обер-прокурора святейшего правительствующего Синода, воспитателя государя императора Победоносцева — вот вам и результаты.

А кто газету издает? М. Ф. Андреева. Уже не гражданская ли жена Максима Горького? Она и есть. Теперь понятно, откуда ветер дует и что это за редакция. Недаром с первого же номера начали печатать такое, чему трудно даже название подобрать. Вот почитайте: «Кровавые дни». Скажите, пожалуйста, кому все это нужно? Это еще цветочки — ягодки пошли дальше. В восьмом номере напечатали заметку: «Администратор-террорист». Заметка крохотная, строк двадцать, не больше, а яда в ней хватит на всю империю:

«Лавры Трепова решительно не дают спать прочим сатрапам, подвизающимся на поприще обуздания восстающего народа и искоренения разрастающейся «крамолы». Подобно треповскому «патронов не жалеть», приказ Богдановича, тамбовского вице-губернатора, «меньше арестовывать, побольше стрелять» имеет право на внимание революционного народа. Пролетариат и революционные слои крестьянства должны запомнить имена выдающихся извергов, возводящих убийство в систему и гордых своей беспощадной жестокостью. Необходимо полное уничтожение всей системы белого террора, устранение всех сил, поддерживающих его».

Каково? Это почище, чем у господ социалистов-революцио-

неров. Те ухлопают станового пристава или губернатора. Недаром пошла по России поговорка: «Положение хуже губернаторского». На днях, кажется, в Архангельске или в Астрахани бросили бомбу в губернатора, егермейстера высочайшего двора, действительного статского советника Эдуарда Леонтьевича Лерхе. Рассуждая по-человечески, жаль, конечно, покойного. И вдову жаль, и деток. Но ведь это только один егермейстер высочайшего двора! А эти, из «Новой жизни», вон куда замахиваются — на высочайший двор! «Необходимо полное уничтожение всей системы!» Вот вам и манифест! Да разве можно было его даже в черновике составлять? Кто его выдумал? Кто его предложил? Кто? А теперь вот любуйтесь!

Читали, что происходит в Гродно? Солдаты 26-й артиллерийской бригады предъявили начальству требования. Неслыханно! Солдаты начальству?! Требуют, видите ли, сокращения срока службы, свободы собраний для обсуждения своих нужд. А какая нужда может быть у солдата? Одет, обут, сыт, спит под казенным одеялом. Чего ему еще надо? Так требуют: свободное посещение солдатами библиотек, театров. А в балет не угодно? Может, им ложу бенуара предоставить? И еще: подписку на казенный счет журналов и газет. Самое главное требование — не посылать солдат на усмирение. Каково? Что же это происходит в России?

Еще сюрприз: воззвание от союза чинов санкт-петербургской столичной полиции. Начинается-то как: «Товарищи околоточные надзиратели и городовые!» Вы только подумайте: «товарищи»! Интересно, что же эти «товарищи» городовые захотели? Все нынче объединяются в союзы, артельно, дескать, жить лучше, только городовые в союз не объединены, и от этого им, видно, живется худо.

С ума сошли — городовые. Ничего, подождем. Улягутся волнения и страсти — придется кому-нибудь из «товарищей городовых» проследовать за настоящими «товарищами» в места не столь отдаленные.

Еще новый союз — официантов ресторанов и трактирных заведений. Тоже требуют: «Введения одного свободного дня в неделю для служащих трактирных заведений». Видели? «Выдачи столового содержания деньгами или натурой: обед из двух блюд, ужин, чаю полфунта и пять фунтов сахару в месяц». А паюсной икры не хотите? Подождите: дай им чай с сахаром — они шампанского потребуют, сначала так, а потом с ананасами. А это как вам понравится? «Требуем безусловно вежливого обращения со стороны хозяев и посетителей». Видали? Значит, теперь не смей трактирной шестерке рыло горчицей мазать! А ежели я ему за это мое удовольствие заплачу-с?

Слава богу, дали им, бездельникам, по зубам. В «Аквариуме» собрались рестораторы и постановили: кто из шестерок в союз вступит — увольнять. Трактирщик Чураков так и заявил:

«Нешто я потерплю, чтобы мои холуи от меня благородное обращение требовали? Да я лучше свое заведение закрою, а потом снова открою».

А это как вам нравится? Гимназисты второй классической гимназии собрали в фонд помощи бастующим рабочим 113 рублей и внесли в кассу Советов рабочих депутатов. Гимназисты! Надо бы, как в прежнее время, при Николае Первом, опять розги ввести. Жаль, долго министра просвещения найти не могут. Никто не идет, боятся. Надо опять какого-нибудь генерала, посерьезнее.

А что происходит в Севастополе! В июне восстал «Потемкин», а в ноябре — «Очаков». На «Потемкине» верховодил матрос Матюшенко. Матрос и есть матрос — чего с него взять, та же голытьба, а тут командование «Очаковым» принял лейтенант в отставке Шмидт. Это уж не матрос. Разумеется, из потомственных дворян, кончил Морской корпус. «Принял командование!» Да как он посмел? Впрочем, бывали в российской истории и не такие камуфлеты: люди княжеского рода поднимали руку на монарха — Трубецкой, Волконский, потом Кропоткин, Герцен тоже ведь из родовитых. Бывший вице-губернатор Салтыков превратился в литератора Щедрина. Разве мало примеров! Но те как-то по-благородному, а этот Шмидт заодно с матросней. Недаром же В. Ленин в «Новой жизни» о нем с надеждой пишет. А кто это такой Ленин? Постойте, постойте, да ведь это Ульянов, брат того самого Александра Ульянова, казненного... Пять лет его не было, пребывал в недосягаемом для чинов отдельного корпуса жандармов месте — в Женеве... Того и гляди появится в столице!

* * *

Сергей Иванович конспиративного образа жизни не изменил. Много, конечно, перемен в Санкт-Петербурге: выходит легальная большевистская «Новая жизнь», идут собрания, митинги, существует Петербургский Совет рабочих депутатов, — это все верно, но осторожность не мешает. Недаром же Ленин в статье «О реорганизации партии», напечатанной за его подписью в «Новой жизни», пишет:

«Итак, задача стоит ясно: сохранить пока конспиративный аппарат и развить новый, открытый».

Сергей Иванович думал: «Хорошо бы Ленину в Питер приехать! Хорошо бы повидать его, посоветоваться».

Прочитав в девятом номере «Новой жизни» заметку «К созыву Четвертого съезда РСДРП», он сначала не обратил внимания на сноску. Сноска как сноска, извещает о том, что обращение Центрального Комитета ко всем партийным организациям и рабочим социал-демократам принято единогласно, в полном составе ЦК. И, уже прочитав всю газету, Сергей Иванович

еще раз пробежал глазами сноску, и вдруг мысль поразила его: «Как же я раньше не сообразил? «Принято единогласно в полном составе Центрального Комитета». А раз в полном, то, значит, всеми, а раз всеми, значит, Ленин здесь. Не мог же он голосовать из Женевы!»

Скорее, скорее в «Новую жизнь» — на угол Невского и Фонтанки!

Сергей Иванович на минуту даже позабыл, где находится и в каком виде, и чуть не выскочил в прихожую без своего седоватого парика, расчесанного на прямой пробор.

Он оделся, как полагалось солидному коммерческому агенту «Полюстровского содо-мыловаренного и клееваренного товарищества», в долгополое пальто с каракулевым воротником. Пройдя несколько улиц, он вошел в большой дом на Екатерингофском проспекте, недалеко от Никольского садика. Здесь Сергей Иванович хранил свой другой наряд.

Через полчаса из подъезда вышел рабочий средних лет в коротком пальто. Из-под серой барашковой шапки выглядывал гладко выбритый затылок. Никто, даже самый натасканный филер и Феонила Пименовна не узнали бы в этом человеке солидного коммерческого агента господина Прохладина.

В редакции «Новой жизни», где всегда было шумно, Сергея Ивановича поразила необычная тишина. Из комнаты вышел человек среднего роста, плотный, с пышной шевелюрой, в больших очках. Он дружелюбно приветствовал Сергея Ивановича:

— Добрый день, товарищ Семенов. Принесли заметку? Проходите, садитесь.

Сергей Иванович сел в низенькое креслице и осмотрел комнату. Маленькая, с одним окном, полна книг. Кроме двух шкафов, набитых до отказа, книги лежали на столе, на подоконнике, на стульях и даже на полу, около тумбы письменного стола. Увидев, что гость особенно внимательно рассматривает книги, лежащие на полу, хозяин шутливо объяснил:

— Не стоит особого внимания! Болтовня одного священника.

— Григория Петрова? — спросил Сергей Иванович, вспомнив известного проповедника-литератора.

— Нет, Булгаковского. Можете посмотреть его воззвание.

Сергей Иванович начал читать:

«Меняется время — меняются и убеждения. Когда я несколько лет назад создавал брошюры для солдат, то был убежден, что своим трудом приношу пользу. В настоящее время с сожалением в душе сознаю, что шел по ложному пути и сеял гнилые семена и тем вместо пользы вносил в жизнь несомненный вред. В этом приношу публичное раскаяние. Обращаясь ко всем заведующим частными и правительственными библиотеками и читальнями, убедительно прошу исключить как из каталогов, так и из употребления мои следующие издания: «Священ-

ная преданность царю и отечеству», «За веру, царя и отечество», «Первые шаги молодого солдата».

— Любопытное воззвание?

— Весьма. Что это с ними со всеми случилось, товарищ Литвинов?

— Кого вы имеете в виду?

— Всех, кто спешит присоединиться к рабочему классу: земцев, фармацевтов, попов и даже городовых.

Литвинов одобрительно посмотрел на Сергея Ивановича.

— Вы хорошо сказали: спешат. Если нам не повезет, — побегут. Клеветой и грязью будут поливать! Нет ничего хуже бывших друзей и ренегатов... Заметка ваша очень нужная. Большая к вам просьба: отнесите ее прямо в типографию, на Коломенскую, тридцать девять. Кстати, захватите вот это. — И он подал Сергею Ивановичу сверток. — У нас небольшая неприятность: курьер понес в типографию оригиналы и пропал. Скажите — от Максима Максимовича.

— Тихо у вас сегодня.

— Ждем незваных гостей, — улыбаясь, объяснил Литвинов. — Предупредили — от господина Дурново визитеры собираются. Зачем же им удовольствие доставлять быть в большом обществе? Пусть со мной поскучают.

— Вам разве не опасно?

— Нисколько, — засмеялся Максим Максимович. — Я ни в чем не замешан. Паспорт у меня новенький. Кто я? Никто, технический работник, служу-с. Меня не тронут. Доброго пути. Пишите нам чаще.

Сергей Иванович остановился на пороге и вопросительно посмотрел на Литвинова:

— Хотел вас спросить...

— Знаю о чем. Многие об этом спрашивают. Вам я отвечу: пока я не имею права говорить, что Ленин в Петербурге.

Сергей Иванович засмеялся:

— Большое спасибо!

И отправился прямо на Коломенскую, 39.

Получив сверток, метранпаж открыл низенькую застекленную дверь, и Сергей Иванович увидел сидящего за столиком, освещенным лампой с зеленым абажуром, человека. Он писал, подперев левой рукой голову.

— Принесли, Владимир Ильич, — сказал метранпаж.

— Чудесно. — Он встал и быстро развернул принесенный Сергеем Ивановичем сверток. — Что-то новое. С Невского судостроительного, о восьмичасовом рабочем дне! Это очень важно. Попросите набрать поскорее.

— Хорошо, Владимир Ильич.

«Да ведь это Ленин! Конечно, он!» — подумал Сергей Иванович и хотел шагнуть в комнату, но не решился, увидев, что Ленин начал снова быстро писать.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Человек в пенсне отвел Степана подальше от зала заседаний в маленькую комнату и, прикрыв поплотнее дверь, сказал:

— Поезжайте в Питер. Сегодня же. Прямо с поезда идите на Десятую Рождественскую, найдите дом номер один и поднимайтесь в квартиру господина Румянцева. Звоните три раза. Вам откроют и спросят: «Вы к кому?» Вы ответите: «Мне нужен «Старик». Вас снова спросят: «Вы от кого?» Отвечайте: «От Марата».

Степан посмотрел на своего собеседника, и тот, поняв, о чем подумал Важеватов, внес ясность:

— Я не Марат. Я только говорю с вами от его имени. Он сейчас в зале.— Он подал Степану конверт.— Может случиться, что вам на звонок сразу не откроют. Зайдите через час и снова позвоните. Если и на этот раз вам не откроют, идите на Знаменскую улицу в дом двадцать и спросите господина Пятницкого. Вручив письмо, считайте себя свободным и катите обратно. Вот вам деньги в оба конца и немного на съестное. И последнее: если вам будет угрожать арест, письмо вы немедленно уничтожьте. Для непосвященных, оно, правда, непонятно, но все же лучше его порвать. Все. Желаю вам благополучного путешествия.

В Петербурге Степан прямо с вокзала направился на Десятую Рождественскую. Все получилось как нельзя лучше. На его трехкратный звонок открылась дверь, и молодой человек в студенческой тужурке спросил: «Вы к кому?» Дальше все пошло так, как говорил человек в пенсне. Услышав: «Я от Марата», студент приветливо улыбнулся и пригласил Степана пройти из прихожей в большую столовую: «Посидите здесь. Я сейчас вернусь».

Но вместо него вошел человек среднего роста, с небольшой рыжеватой бородой.

— Здравствуйте,— протянул он Степану руку.— Вы от товарища Марата?

— Так точно,— по-военному ответил Степан и подал пакет.

— Садитесь,— пригласил незнакомец.— Извините,— добавил он,— я на минуту отвлекусь.— Он присел к столу боком и, вскрыв пакет, начал читать письмо.

Степан с интересом смотрел на его большую лысоватую голову с огромным лбом. Незнакомец оторвался от письма и поднял на Важеватова карие веселые глаза:

— Вы вчера из Москвы? Вы москвич?

— Я в Москве недавно.

— А где до этого жили?

— В Иваново-Вознесенске.

— Летом там были?

— Так точно. Всю весну и лето.

— Очень интересно. С Федором Афанасьевичем встречались?

— Много раз.

— Жаль Федора Афанасьевича. Очень жаль.

Заметив, что Степан не понимает, в чем дело, объяснил:

— Разве вы не знаете? Федора Афанасьевича убили.

Видя, что Степан очень огорчен этим тяжелым известием, незнакомец с теплотой повторил:

— Очень жаль Федора Афанасьевича. Замечательный был человек.

Они долго беседовали. Незнакомец посмотрел на часы:

— Большое вам спасибо за ваш рассказ. Извините, я вас задержал. Ведь вы не спали ночь и прямо с поезда сюда. Соловья баснями не кормят. Вы где остановились? Нигде? Думаете сегодня же обратно в Москву? Это правильно — вы там сейчас будете очень нужны. Торопитесь. Железная дорога не сегодня-завтра станет. Счастливого пути.

Он крепко пожал Степану руку.

— Если уехать не придется, приходите сюда. Вам устроят ночлег.

Степан вышел из дома с радостным чувством исполненного долга. Ему было приятно, что он хорошо выполнил поручение товарища Марата и повидался с членом Центрального Комитета партии. Он ни на минуту не сомневался, что человек, у которого он только что был, член Центрального Комитета. «Наверное, Ленина знает!» — подумал Важеватов, не подозревая того, что разговаривал с Владимиром Ильичем.

На вокзале Николаевской железной дороги в зале третьего класса сидели несколько пассажиров. Кассир на просьбу выдать билет до Москвы удивленно посмотрел на Степана через решетку, пожал плечами и привычно сказал:

— Восемь рублей шестьдесят восемь копеек!

Стукнул компостер. Кассир, подавая билет вместе со сдачей, предупредил:

— Поезд может не пойти. Обратно билеты не принимаем.

До отхода поезда по расписанию оставалось больше шести часов, и Степан решил побродить по городу. Он шел на Загородный проспект, где когда-то жила семья Никитиных. Шел и думал, что с того памятного дня, когда он ночью, после побега, пришел к Никитиным, прошло меньше года — всего одиннадцать месяцев. Неужели только одиннадцать? Как мало!

На набережной Фонтанки он вспомнил, как Наташа, провожая его в первый раз, сказала ему: «Заглядывайте к нам. Мы будем рады». Здесь же прошлой осенью он впервые поцеловал ее. «Дорогая моя женушка! Вот вернусь в Шую и все ей расскажу. Скажу, что и день был такой же — снег шел потихоньку».

До поезда оставалось еще много времени. Он вспомнил, что отец и мать Наташи похоронены на Преображенском кладбище рядом с Иваном и Тоней.

Долго бродил по дорожкам, разыскивая могилу Никитиных. Возле ограды церковного дома он увидел холм, слегка запорошенный снегом. Посредине возвышался большой деревянный крест, выкрашенный синей краской. Вокруг него стояло много крестов поменьше, крестиков и просто колышков с небольшими прибитыми к ним дощечками. На одном кресте Степан увидел фотографию молодого паренька и надпись белой краской: «В братской могиле покоится прах раба божия Андрея Ивановича Круглякова, 18 лет, 4 месяца и 22 дня. Покорному сыну от родителей». Под надписью химическим карандашом было приписано: «Убит 9 января». Под соседним крестом на дощечке значилось: «Неизвестный мужчина. Доставлен со 2 участка Литейной части 9 января 1905 года».

Степан начал считать кресты и сбился со счета. Потрясенный видом братской могилы, он по привычке перекрестился и долго стоял, сняв шапку. Могила Никитиных оказалась неподалеку от братской. На кресте у Ивана было тоже написано: «Расстался с молодой жизнью 9 января 1905 года». Степан вспомнил, что именно такую надпись и хотел когда-то написать Матвей Никанорович.

Начинало темнеть, и Важеватов, долго простояв у могилы родных, отправился на вокзал.

В этот день поезд на Москву не пошел. Степан, вспомнив приглашение, пошел на Десятую Рождественскую.

На Знаменской площади он услышал:

— Важеватов! Подожди!

Степан, не оборачиваясь, зашагал быстрее. Тот же голос совсем рядом проговорил:

— Не беги! Не хоронись от меня. Что ты? Я не доносчик.

Степан обернулся.

Перед ним стоял солдат из его бывшей роты Захар Калинин. Отпираться было бессмысленно, и Степан, не подавая руки, со злостью произнес:

— Ну, рад? Словил? Давай свисти.

— Дурак ты, — просто ответил солдат. — Идем со мной.

— Куда?

— Да хоть вот в эту подворотню. Поговорить с тобой охота.

Они вошли в темный подъезд и, увидев во дворе возле фонаря скамейку, сели.

— Значит, ты тут? — спросил Захар.— А нам сказывали, что ты где-то далеко разбойничаешь, фальшивые деньги мастеришь...

Степан засмеялся:

— Надоело. Теперь я их трачу. Сейчас в ресторан пойду. Сотенку-другую пропью. Какой это дурак вам про меня эти сказки сказывал?

— Так, болтали.

— Как там Туканов с Феоктистовым поживают? — осведомился Степан.

— Ловкачи! — восхитился Захар. — Мы-то не догадались, что они тебя выпустили. Кто бы это смог Туканова избить да связать, такого медведя. Ясно, что поддался. Дружки твои дешево отделались: Туканову два, а Феоктистову три года крепости дали.

— А где Цветухин, фельдшер?

— Подымай выше. В придворную контору перевели. К самому князю Голицыну.

— Как живете сейчас?

— Не поймешь, что творится. Учений никаких. За ворота не выпускают, только по делу. Мне сегодня повезло: эскадронный с запиской к своей мамзели посылал. Зато кормить стали хорошо. Каждый день ситный, щи мясные. Вчера вечером колбасы дали с полфунта. На прошлой неделе по две пачки господских папирос выдали, кому «Каприз», а кому «Дюшес» достался.

Расставаясь, Захар повторил несколько раз:

— Ты не сомневайся! Я никому о тебе не скажу.

И все же, когда они вышли на проспект, Важеватов показал:

— Ты давай прямо, а я сюда.

Выждав, Важеватов свернул в первый же переулок и долго колесил по улицам, прежде чем попасть на Десятую Рождественскую.

«Если опять встречу, с кем утром разговаривал, обязательно про солдатскую еду расскажу. Так просто, за милую душу, колбасой и «Дюшесом» угощать не станут».

* * *

И на этот раз дверь Степану открыл студент.

— Наконец-то! А мы узнали, что поезд не пошел, и очень за вас волновались.

— Как я теперь в Москву попаду?

— Завтра один поезд должен пойти. Вам помогут уехать с ним. Отдохните немного, и пойдем. Я вас с нужными людьми познакомлю. Кстати, там и заночуете.

Они долго шли по темным улицам. Около Никольского садика они вошли в большой дом.

Степан хорошо знал это место. Когда-то он приходил сюда с Тукановым навещать его земляка матроса, служившего во Втором гвардейском флотском экипаже. Казармы экипажа находились на Екатерингофском проспекте. Он с Тукановым и его земляком сидели в садике, а мимо то и дело пробегали молоденькие девушки — не то швейки, не то горничные — и весело посматривали на трех рослых гвардейцев. Все это показалось Степану таким далеким, как будто прошло не меньше десятка лет.

— Все в порядке. Пошли.

Они поднялись на шестой этаж и вошли в небольшую кухню, где за столом сидели трое мужчин и женщина. Один из мужчин, по-видимому хозяин квартиры, пригласил:

— Раздевайтесь. Клава, собери чайку.

Второй, с гладко выбритой головой, с небольшими усами, приветливо сказал:

— Присаживайтесь.

Хозяйка поставила на стол стаканы, сахар, блюдо с солеными огурцами и нарезанный большими кусками черный хлеб. Хозяин строго посмотрел на нее, и она, смущенная его взглядом, достала из шкафчика воблу. Студент от угощения отказался и тотчас же ушел, сказав Степану на прощание:

— Я теперь за вас спокоен. Вы здесь, как у родных.

— Кушайте, пожалуйста, — пододвинула хозяйка Степану воблу.

— Чем богаты, — подтвердил хозяин. — Бастуем, почти весь год с хлеба на квас перебиваемся.

— У нас так же было, — поспешил успокоить своих гостеприимных хозяев Степан. — Тоже бастовали и дошли до крайности, даже помирать начали.

— Где это? В Москве? — спросил бритоголовый.

Степан уклончиво ответил:

— Нет, поблизости.

Бритоголовый, догадавшись, что гость не новичок в конспиративных делах, больше вопросов не задавал. Скажи Степан, что он из Иваново-Вознесенска, тогда Сергей Иванович Семенов — а это был он — обязательно спросил бы про Трифоныча и про Машу, приезжавшую к нему с поручением. Но Степан промолчал, и они, ничего не зная друг о друге, все же долго не ложились спать, рассуждая: поддержат ли петербургские рабочие москвичей?

— Истощен народ,— сказал Сергей Иванович.— Выдохлись. Лучшая часть Совета депутатов арестована, на меньшевиков надежды мало.

На другой день Степан проснулся, взглянул на ходики и крякнул. Сказывались бессонные ночи: ни бритоголового, ни хозяина дома не было. Хозяйка, угощая чаем, объяснила:

— Ушли чуть свет. У моего на заводе вчера забастовали, а сегодня как будто работают. Не поймешь, что творится.

Степан весь день ходил по улицам. После полудня сначала на Невском и на Садовой, а затем и на других улицах начали открываться магазины. Около трех пошла конка. На Невском перед городской думой красовались двое городовых. Один из них, полный, румяный, с черными нафабренными усами, наблюдал за публикой, заложив за спину руки в белых перчатках. Заметив пристальный взгляд Степана, городовой начальственно прикрикнул:

— Чего встал?

Оттого, что город принимал обычный, буднично деловой вид, и особенно от окрика городового, Степану стало очень тоскливо. «Там, наверное, стрельба идет,— подумал он о Москве,— люди гибнут, а здесь прежний порядочек...»

И сразу Невский с высокой башней на городской думе, приземистый Гостиный двор, где то и дело визжали поднимаемые жалюзи, — все показалось ему чужим, и захотелось как можно скорее в Москву, на Пресню, поближе к Синцову и Короткову. Он с нежностью вспомнил Митю Страхова. «Скорее, скорее в Москву!» — подгонял он себя...

Пассажиров в вагоне было немного, человек десять. Кондуктор перед самым отходом поезда вежливо предупредил:

— Пока не поздно, господа, подумайте. Всякое может случиться. Вполне вероятно, что до Москвы не доедем. За последствия не ручаюсь.

Двое пассажиров, видно передумав, в самую последнюю минуту торопливо выскочили из вагона.

«Сколько ни проеду, — подумал Степан, — все равно к Москве ближе».

Он забрался на самую верхнюю полку, подстелил пальто и спокойно, как дома, уснул.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В среду 7 декабря, ровно в двенадцать часов — в срок, указанный Московским Советом рабочих депутатов, — протяжно завыли заводские гудки, извещая о начале всеобщей забастовки. К ним присоединились свистки паровозов на Казанской, Ярославской, Курской, Брестской, Киевской, Виндавской и Савеловской дорогах. Тихо было только на Николаевской.

Утром почти на всех заводах, фабриках, в мастерских и депо раздавали первый номер «Известий Московского Совета рабочих депутатов». На первой странице под заголовком во всю ширину крупными буквами было напечатано воззвание Совета и Московского комитета Российской социал-демократической партии о начале стачки.

К четырем часам дня забастовало свыше ста тысяч человек. Четыреста предприятий прекратили работу, в том числе все типографии. Кроме «Известий», не вышло ни одной газеты.

На второй день, в четверг 8 декабря, забастовали все Зарядье, Рязано-Уральская дорога, булочники, портные, сапожники. Бюро Московского союза деятелей средней школы решило присоединиться к стачке. «Известия» сообщили, что бастуют уже более ста пятидесяти тысяч рабочих и служащих.

Растерянность, охватившая московские власти в первый день, начала проходить. 8 декабря генерал-губернатор Дубасов объявил Москву и Московскую губернию на чрезвычайном по-

ложении. Казаки и драгуны заняли вокзал Николаевской дороги, почтамт, телефонную станцию, Государственный банк.

Еще вечером 7 декабря полиция нанесла большевикам чувствительный удар — арестовала руководителей Московского комитета Шанцера — Марата и Васильева-Южина.

Вечером 8 декабря на митинги в Политехническом музее, в Домниковском училище, в театрах «Олимпия» и «Аквариум» собрались тысячи людей. Все ораторы призывали к свержению самодержавия.

Театр «Аквариум» был осажден полицией и войсками. Одной только пехоты, не считая казаков и драгун, стянули четыре роты. Среди осажденных были люди, которым арест мог угрожать серьезными последствиями. Чтобы спасти этих людей, дружинники разобрали забор. Человек пятьсот перебрались в соседнее Комиссаровское училище и отсиделись там до снятия осады. А в «Аквариуме» несколько часов шел обыск: искали главным образом оружие, но не забыли конфисковать собранные на митинге деньги для стачечного фонда.

Все эти дни происходила борьба за армию. Кое-что партийной организации удалось сделать. Около шести тысяч солдат различных полков отказались участвовать в подавлении восстания. Солдат разоружили и заперли в казармы. Но перетянуть все войсковые части на сторону народа не удалось: у восставших не хватило для этого умения и энергии.

9 декабря по Большой Серпуховской шел к рабочим полк солдат. Впереди оркестр играл «Марсельезу». Делегацию от рабочих, направившуюся навстречу полку, опередил командующий войсками Московского военного округа генерал Малахов. Он пообещал солдатам выполнить все их требования, и солдаты, окруженные подоспевшими драгунами, повернули в казармы.

Кто-то подсказал Дубасову спасительную мысль — демобилизовать старшие возрасты. Демобилизацию провели в один день. Солдаты, лишенные оружия, торопились по домам.

Власти, поняв свою силу, начали более решительные действия. Первое сражение между драгунами и рабочими произошло 9 декабря у Страстного монастыря. Убитые и раненые были с обеих сторон. Через несколько часов на Тверской улице собрался митинг. Налетели драгуны. Полсотни участников митинга укрылись в павильоне трамвайной станции. Драгуны подожгли павильон.

Вечером на Триумфальной площади, на Большой Садовой, у театра «Аквариум» появились первые баррикады.

12 декабря по всей Москве был расклеен приказ московского генерал-губернатора Дубасова:

«После шести часов вечера всех на улицах обыскивать. Больше трех не собираться. При нарушении — стрелять. За вывешивание мятежного красного флага — стрелять. За повреждение

телефонных и телеграфных столбов — арестовывать, судить военным судом. В более важных случаях — расстреливать на месте».

Словно в ответ Дубасову вышел очередной номер «Известий Московского Совета рабочих депутатов» с воззванием от боевой организации Московского комитета РСДРП:

«Советы восставшим за свободу рабочим.

«Товарищи! Началась уличная борьба восставших рабочих с войсками и полицией. В этой борьбе может много погибнуть ваших братьев, борцов за свободу, если вы не будете держаться некоторых правил. Боевая организация при Московском Комитете РСДРП спешит указать вам эти правила и просит вас строго следовать им.

1. Главное правило — не действуйте толпой. Действуйте небольшими отрядами человека в три, четыре, не больше. Пусть только этих отрядов будет возможно больше, и пусть каждый из них выучится быстро нападать и быстро исчезать. Полиция старается одной сотней казаков расстреливать тысячные толпы. Вы же против сотни казаков ставьте одного, двух стрелков. Попасть в сотню легче, чем в одного, особенно если этот один неожиданно стреляет и неизвестно куда исчезает. Полиция и войска будут бессильны, если вся Москва покроется этими маленькими неуловимыми отрядами.

2. Кроме того, товарищи, не занимайте укрепленных мест. Войско их всегда сумеет взять или просто разрушить артиллерией. Пусть нашими крепостями будут проходные дворы и все места, из которых легко стрелять и легко уйти. Если такое место и возьмут, то никого там не найдут, а потеряют много. Все же их взять нельзя, потому что для этого каждый дом нужно населить казаками.

3. Поэтому, товарищи, если вас кто будет звать идти большой толпой и занять укрепленное место, считайте того глупцом или провокатором. Если это глупец — не слушайте, если провокатор — убивайте. Всегда и всем говорите, что нам выгодней действовать одиночками, двойками, тройками, что это полиции выгодно расстреливать нас оптом, тысячами.

4. Избегайте также ходить на большие митинги. Мы увидим их скоро в свободном государстве, а сейчас нужно воевать и только воевать. Правительство это прекрасно понимает, и нашими митингами пользуется для того, чтобы избивать и обезоруживать нас.

5. Собирайтесь лучше небольшими кучками для боевых совещаний, каждый в своем участке, и при первом появлении войск рассыпайтесь по дворам. Из дворов стреляйте, бросайте камнями в казаков, потом перелезайте на соседний двор и уходите.

6. Строго отличайте ваших сознательных врагов от врагов бессознательных, случайных. Первых уничтожайте, вторых щадите. Пехоту по возможности не трогайте. Солдаты — дети на-

рода, и по своей воле против народа не пойдут. Их натравливают офицеры и высшее начальство. Против этих офицеров и начальства вы и направьте свои силы. Каждый офицер, ведущий солдат на избиение рабочих, объявляется врагом народа и ставится вне закона. Его безусловно убивайте. Казаков не жалейте. На них много народной крови, они всегдашние враги рабочих. Пусть уезжают в свои края, где у них земля и семьи, или пусть сидят безвыходно в своих казармах. Там вы их не трогайте. Но как только они выйдут на улицу — конные или пешие, вооруженные или невооруженные — смотрите на них как на злейших врагов и уничтожайте без пощады. На драгун и патрули делайте нападение и уничтожайте.

В борьбе с полицией поступайте так. Всех высших чинов до пристава включительно при всяком удобном случае убивайте. Околоточных обезоруживайте и арестовывайте, тех же, которые известны своею жестокостью и подлостью, убивайте. У городовых только отнимайте оружие и заставляйте служить не полиции, а вам. Дворникам запретите запирать ворота. Это очень важно. Следите за ними, и если кто не послушает, то первый раз поколотите, а второй — убейте. Заставьте дворников служить себе, а не полиции. Тогда каждый двор будет нашим убежищем и засадой. Необходимо устраивать баррикады, чем больше, тем лучше.

Вот главные правила, товарищи. В следующих листках боевая организация даст вам еще несколько советов о том, как защищаться, как нападать, как строить баррикады.

Теперь же скажем несколько слов совсем о другом. Помните, товарищи, что мы хотим не только разрушить старый строй, но и создать новый, в котором гражданин будет свободен от всяческих насилий. Поэтому тотчас же берите на себя защиту всех граждан, охраняйте их, делая ненужной ту полицию, которая под видом охранительницы общественной тишины и спокойствия насильничает над беднотою, сажает их в тюрьмы, устраивает черносотенные погромы. Наша ближайшая задача, товарищи, передать город в руки народа. Мы начнем с окраин, будем захватывать одну часть за другой. В захваченной части мы сейчас же установим свое выборное управление, введем свои порядки, восьмичасовой рабочий день, подоходный налог и т. д. Мы докажем, что при нашем управлении общественная жизнь потечет правильней; жизнь, свобода и права каждого будут ограждены более, чем теперь. Поэтому, воюя и разрушая, вы помните о своей будущей роли и учитесь быть управителями».

Это уже была не просто смута или крамола. Это была война, тем более жестокая, что у одной стороны было все: полиция, войска, казаки, арсеналы и склады, набитые оружием и боеприпасами, а у другой мало оружия, но зато жгучая ненависть к врагу.

* * *

Несколько дней в центре — на Мясницкой, на Покровке, на Бронной, Арбате, Большой Никитской, Поварской, на площадях и бульварах — шли жестокие, упорные бои. Но силы были неравны. Против восставших начали действовать артиллерия и пулеметы.

К исходу первой недели бои на главных, ближних к Кремлю улицах начали стихать. Центром восстания стала Пресня. Здесь имелись крепкие большевистские организации, хорошо подготовленные, обученные боевые дружины и умелые руководители. Начальником штаба боевых дружин Пресни выбрали Зиновия Литвина-Седова. У двадцатидевятилетнего Седова была богатая биография. В партию он вступил в 1893 году, дважды сидел в тюрьме, неоднократно побывал в ссылке. Это был начитанный, смелый человек с железной волей и редкой выдержкой.

У Седова, его помощников, у всех дружинников Пресни, рабочих Прохоровской мануфактуры, мебельной фабрики Шмита, Трехгорного пивоваренного завода, сахарного завода и всех других мелких фабрик и мастерских была одна мысль — где раздобыть оружие.

На второй день восстания дружинники ходили по квартирам городовых и офицеров и отбирали у них револьверы, охотничьи ружья и шашки. Конечно, без столкновений не обошлось. В слесарных и механических мастерских, где и раньше потихоньку, с оглядкой делали пики, ремонтировали старые револьверы, сейчас вовсю кипела работа. В химической лаборатории ситцевой фабрики Прохоровской мануфактуры готовили ручные бомбы. Кто-то сообщил, что в аптеке на Большой Пресненской улице большой запас глицерина. Ревком немедленно послал туда дружинников с наказом: не отдаст по доброй воле — забрать силой!

Перепуганный аптекарь хотел звонить по телефону в канцелярию обер-полицмейстера барона Медема. Дружинники втолковали ему, что звонить он, конечно, может, но это явно бесполезное дело. Во-первых, глицерин они все равно заберут, а во-вторых, никаким полицейским чинам, солдатам и драгунам на Пресню не пробраться: везде, на всех улицах и переулках, ведущих к центру, воздвигнуты баррикады.

И они действительно были воздвигнуты, причем с необычайной быстротой. На постройку пошло все, что попадалось на глаза: ворота, бочки, дрова, кирпичи, булыжники, мешки с песком, телеграфные столбы. Особенно ловко сваливали столбы шмитовцы. У них нашелся специалист, который в одну минуту большими кусачками отделял провода. Затем он вдвоем со своим помощником, молодым пареньком, деловито и споро подпиливал столбы, и те со звоном падали на замерзшую землю. Паренек покрикивал: «Давай! Забирай!» — и бежал к другому

столбу. На некоторых баррикадах внешняя, обращенная к противнику сторона засыпалась снегом и обильно поливалась водой. Получался ледяной накат, подняться по которому под прицельным огнем было почти невозможно.

Восставшие заняли все полицейские участки, входившие в черту баррикад. Там, к большому удовольствию подпольщиков, обнаружили несколько сот бланков паспортов. Их сдали в ревком. Дольше всех сопротивлялся пресненский участок, но и он пал. Городовые и жандармы вышли с поднятыми руками. Их обыскали и отпустили под честное слово, что они не будут сражаться против народа. Это была великодушная ошибка революционных пролетариев, еще не успевших в полной мере понять всю низость и жестокость своих врагов. В тот же день на Горбатом мосту были задержаны двое из отпущенных жандармов. Они, снова вооруженные, но уже в штатском, пробирались на разведку в центр восстания — на Прохоровскую мануфактуру.

На этом же Горбатом мосту дружинники опознали переодетого в штатское околоточного надзирателя Сахарова, которого иначе как зверем и душегубом никто не называл. Разговор с Сахаровым был короткий: он напрасно валялся в ногах, ползал по снегу и целовал дружинникам валенки — его расстреляли.

Днем 11 декабря подросток на Большой Пресненской улице заметил, как в дом Кутинской вошел переодетый в штатское ее зять, начальник московской сыскной полиции Войлошников. Для визитов к теще начальник сыскной полиции выбрал время явно неподходящее. Очевидно, Войлошникова влекла не кулебяка с мясом, а желание разведать, что происходит у восставших. Подросток сообщил о нем в военно-боевой штаб. Через час мадам Кутинская имела все основания записать зятя в поминанье «за упокой». У Войлошникова нашли подробный план района со всеми баррикадами, патрульными стоянками: он действительно пришел на разведку. Особой пометкой на плане было обозначено городское училище Копейкина-Серебрякова, где в эти дни питались дружинники и куда собирались перевести боевой штаб.

Несколько позднее задержали трех солдат-артиллеристов и снова, отобрав оружие, великодушно отпустили под честное слово. И снова были наказаны: не прошло и часа, как начался артиллерийский обстрел. Особенно пострадали Бирюковы бани, превращенные в лазарет.

Дружинникам приходилось сражаться на баррикадах и поддерживать революционный порядок, охранять мирных граждан от уголовников.

На рассвете в Расторгуевском переулке задержали двух воров, выходивших из ворот с большим мешком. Мошенников привели к дежурному члену ревкома Мазуру. Один из жуликов, постарше, с нахальными черными глазами навыкате попробовал оправдаться.

— Что ж это происходит, начальник? Нельзя стало честным людям со своими пожитками по улицам ходить?

Мазур спокойно, как опытный следователь, ответил:

— Сейчас отпустим, только скажи, что у тебя в мешке.

У вора дрогнули веки; большой кривой нос стал словно восковой.

— Домашние вещи, начальник. Тряпье разное.

— А ты назови, что: рубахи, юбки...

— Все есть, — ответил кривоносый и замолчал.

— Не можешь, стало быть, — подвел итог Мазур. — А ну, ребята, посмотрите.

Мешок вытряхнули. Из него шлепнулись на пол два мужских пиджака, три женских платья, чугунные карманные часы, детская синяя шерстяная матроска и три ботинка: два мужских и один женский, на правую ногу.

Мазур усмехнулся:

— Торопились, туфлю забыли, — и махнул дружинникам рукой.

Воров расстреляли.

По ночам на Пресню пробирались дружинники из других районов Москвы, где восстание уже было подавлено. Шли металлисты от Гужона, Бромлея и Дукса, текстильщики с Цинделевской мануфактуры, филипповские булочники, типографщики от Сытина. Шли в одиночку и группами. Шли с оружием и без оружия — заменить тех, кто пал на баррикадах, вынуть оружие из холодеющих рук, чтобы бить по ненавистному врагу.

Помощь из других городов не приходила, поэтому Седову особенно радостно было узнать о том, что какая-то девушка ночью привела в лазарет незнакомого раненого дружинника. На вопрос, кто она, девушка ответила:

— Мы иваново-вознесенские... Если можно, приютите этого парня, а я обратно, на Триумфальную площадь. Наши там. В них стреляют из пулемета. Когда я уходила, они решили этот самый пулемет к своим рукам прибрать.

* * *

В Шую не раз приезжали видные чиновники из губернии; бывал здесь и хозяин губернии — его превосходительство господин губернатор. А тут приехал сам господин Блом. Правда, Блом был всего-навсего подполковником, но дело не в чине, подполковник Блом стоил многих генералов: он был близким другом и советником Дурново.

Получив известие о прибытии Блома, исправник Лавров даже вспотел от волнения. Гостя надо было принять поприличнее, подготовить жилье получше. Нельзя же поселить его в номерах у Ершова или, еще того хуже, в гостинице «Лондон», которую за обилие клопов давно уже прозвали «пыталовкой». Вся

надежда оставалась на местного воротилу, миллионера, владельца прядильных, ткацких и ситцевых фабрик Павлова.

Роскошный особняк Павлова стоял хотя и напротив фабрики, но в превосходном саду, отгороженном от посторонних взоров трехаршинным кирпичным забором с железными остриями. Одна из комнат второго этажа, обитая темно-синим французским шелком, в которой всегда останавливался губернатор, так и называлась «губернаторская».

Лавров приказал заложить коляску и поехал к Павлову. Тот просил ни о чем не беспокоиться. Все, что нужно — закуска, вина, устрицы, обед, фрукты, — будет самое лучшее.

* * *

Блом сидел на маленьком диванчике, далеко выдвинув длинные, худые ноги в лакированных сапогах, и аккуратно перебирал бумаги в темно-зеленой сафьяновой папке. Лавров сидел на краешке кресла, стараясь хоть как-нибудь поджать под сиденье свои огромные ноги. Но кресло было низенькое и вдобавок немилосердно скрипело.

— Здешних социал-демократов большевиков мы подсекли основательно!

Блом оторвался от бумаг и переспросил:

— Большевиков? А остальных?

— Остальные, осмелюсь доложить, здесь успеха не имеют. Меньшевики, эсеры и прочие у нас почти не водятся. Главные тут — большевики.

— Продолжайте, — кивнул Блом.

— Большевиков мы, повторяю, подсекли основательно. Был у них главарь в Иваново-Вознесенске, Афанасьев, по кличке «Отец», — убит. Убит еще один — Лакин. Евлампий Дунаев куда-то скрылся. Так что головка разгромлена.

— А этот ваш беглый студент Трифоныч?

— Выбыл в неизвестном направлении. По агентурным данным, как будто к себе на родину.

Блом положил папку на диван, встал и, звонко щелкнув портсигаром, иронически сказал:

— Так-с! Стало быть, выбыл. В неизвестном направлении.— Блом мягко, как будто он разговаривал с младенцем, произнес: Ай-яй! Выбыл в неизвестном направлении. Головку, говорите, подсекли? Превосходно! Но почему организация у большевиков выросла почти в десять раз?

Блом уже строго начальнически продолжал:

— Появился другой руководитель — Арсений. Это и есть ваш бывший Трифоныч. Никуда он не уезжал, а просто сменил кличку. Ничего вы, батенька, не знаете.

Наверное, немало неприятного услышал бы еще от подполковника Лавров, если бы в комнату не вошел Синявский с те-

леграммой. Подполковник взглянул на бланк и торопливо спросил Лаврова:

— Когда уходит поезд на Москву?

— В пять утра.

— Прошу вас, распорядитесь о моем отъезде.

Заметив удивленный взгляд Лаврова, Блом протянул ему расшифрованную телеграмму:

«Москве всеобщая забастовка. Немедленно выезжайте распоряжение генерал-губернатора Дубасова. Дурново».

* * *

К девяти часам вечера большой сарай кирпичного завода был заполнен дружинниками.

В пухлом томе свода законов Российской империи были всякие разделы. Один из них назывался «Уложение о наказаниях». Многие из его статей грозили страшными карами. За принадлежность к партии большевиков полагалось не менее четырех лет каторжных работ, за попытку низвергнуть государственный строй — каторга, за вооруженное сопротивление — смертная казнь через повешение.

В сарае кирпичного завода, тускло освещенном фонариком, собрались вооруженные рабочие. Все они принадлежали к партии большевиков, все они покушались на существующий государственный строй. Каждый из них собирался идти против войск и полиции с оружием в руках. Всем им грозило лишение прав состояния, долгое пребывание в тюрьме, а в итоге — смертная казнь.

Все они это знали и все пришли по призыву своего комитета.

За стенами сарая выла декабрьская метель. Прижавшись к поленнице дров, стояли дозорные, не сводя покрасневших от ветра глаз с дороги, на которой каждую минуту мог появиться казачий разъезд.

В сарае выступал Арсений.

— Москва — это мать всем городам русским, а мы — ее дети. Мать наша истекает кровью. Рабочие Москвы на баррикадах борются за свободу для всей России. Мы должны, мы обязаны помочь московским рабочим. Клянемся же, товарищи, что ни один из нас не будет подлым трусом и не испугается опасности! Клянемся, товарищи, что все свои силы отдадим делу революции!

И все, кто был тут — пожилые, семейные люди, молодые и совсем юные, — твердо сказали:

— Клянемся!

Сбор отъезжающих в Москву назначили утром, в половине пятого, около вокзала. Каждый командир десятка выделил санитара, который должен перед отходом поезда получить у

фельдшерицы железнодорожного приемного покоя запас бинтов и медикаментов.

Расходились небольшими группами.

Через полчаса еще сильнее разбушевавшаяся метель намела сугробы, запорошила тропу, как будто никто по ней и не ходил. Шумели, раскачиваясь на студеном ветру, высокие сосны.

* * *

Поручик Синявский разбудил Блома ровно в четыре часа утра. Несмотря на ранний час, хозяин дома Павлов был на ногах. Он пригласил гостей в столовую выпить перед дорогой кофе.

Войдя в столовую и увидев, что часы уже показывают четверть пятого, Блом заторопился:

— Опаздывать ни в коем случае нельзя. Я обязан сегодня же быть в первопрестольной.

Павлов подошел к окну, отдернул штору и сказал:

— Видите огни? Это вокзал. Пешком идти десять минут, а мои львы вас за две минуты доставят. Успеете, не беспокойтесь.

В ярко освещенном дворе у роскошных санок Блома поджидал Лавров. Козырнув, исправник ловко отвернул медвежью полость:

— Пожалуйте, ваше высокоблагородие!

— Благодарю. Садитесь, поручик... э-э простите... как вас, господин исправник... прошу, поедемте с нами до вокзала.

Лавров с трудом втиснул свое грузное тело в санки. Обитые тонкой сталью полозья заскрипели по снегу.

У вокзала стояла большая толпа. Лавров вылез из санок и прошел в жандармскую комнату. Дежурный унтер-офицер, увидев исправника, отошел от жарко пылавшей железной печки.

— Что это там за люди?

— Пассажиры.

— А почему они все на улице?

— По случаю отмены поезда вокзал закрыт.

— Кто отменил?

— Распоряжение из Москвы.

Лавров через перрон понесся к дежурному по станции. Увидав дежурного, он наклонился к нему и стал шепотом что-то объяснять. Невозмутимый дежурный односложно повторял:

— Все понимаю. Все. Но ехать не на чем. Поезд из Новок не пришел. С удовольствием бы, но ничем не могу помочь.

Исправник бросился обратно. У фонаря Лавров увидел высокую фигуру Блома и побежал к нему.

К перрону подошел маневровый паровоз с тремя товарными вагонами. Паровоз гулко свистнул и выпустил огромные клубы пара. На перроне и в здании вокзала в эту минуту погас свет, но Лавров все же увидел, как в вагонах открылись двери и в

них торопливо садились какие-то люди. Чей-то спокойный голос громко и твердо скомандовал:

— Садись, товарищи! Быстрее. Сейчас едем.

Лавров подскочил к дежурному по станции:

— Что это за люди? Куда они едут?

— Не волнуйтесь. Это рабочие, нанялись к фабриканту Терентьеву дрова пилить. Едут в лес, под Кохму.

Снова вспыхнул свет. Паровоз еще раз свистнул и тронулся с места. Двери вагонов были раскрыты. Сначала Лавров подумал, что ему чудится, — ветер донес песню:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе...

Все трое — Блом, Лавров и Синявский — ворвались в телеграф.

— Остановить! Задержать!

— Сейчас распоряжусь. Сейчас...

Молодой телеграфист незаметно улыбнулся и застучал ключом, отбивая непонятные для начальства точки и тире: «Поезд без номера, три вагона, пропускать без промедления. Специальный состав...»

* * *

Необычно выглядела Москва в последние дни восстания. В центре понемногу открывались магазины, а на Пресне не прекращалась стрельба, гремели артиллерийские залпы. На Тверской на балконе дома генерал-губернатора трехцветный флаг, а на Камер-Коллежском валу и на Большой Пресненской развевались красные знамена.

С наступлением темноты город замирал. Пустели центральные улицы, не зажигались фонари, и только зарево пожаров стояло над Пресней.

Два дня горела подожженная артиллерийскими снарядами мебельная фабрика Шмита. Всю ночь напролет пылал сахарный завод. Горели склады, мастерские, баня. Снег за Москвой-рекой стал черным от копоти.

На Пресне все было как на войне. Уже обозначались фронты. Самыми главными считались западный и восточный. Наибольшая опасность грозила на западном, проходившем у заставы. Отсюда больше всего беспокоили казаки, укрывшиеся на Ваганьковском кладбище, и скорее всего можно было ожидать нападения свежих войсковых частей, доставленных по Николаевской дороге из Петербурга, Твери и Новгорода.

Дружинники Степана все дни восстания находились на западном фронте, защищая вместе с другими баррикады на Камер-Коллежском валу, чуть подальше Большого Тишинского переулка. Два дня — 12 и 13 декабря — здесь было сравнитель-

но тихо. Несколько раз налетали казаки, но их встречали таким сильным огнем, что они, неся большие потери, быстро уходили за полотно Московско-Брестской железной дороги на пустыри, тянувшиеся до самого ипподрома.

Два раза на Камер-Коллежском валу показывались гусары Сумского полка. В среду 14 декабря баррикаду беспрерывно атаковали. На рассвете спешенные гусары, сделав в трех местах проломы, попытались зайти с тыла. Разведчики во главе с Митей Страховым заметили солдат, пробравшихся во двор транспортной конторы «Надежда». Митя сразу понял, в чем дело.

— Видал? — шепнул он своему дружку Коле Очкину. — Они там засядут, а как солдаты на баррикады полезут, они нашим в спину. Лети в штаб и скажи там, чтобы по левой стороне никто не ходил.

Митя оказался прав. Через несколько минут начался обстрел баррикады. Как только на левой стороне переулка показался человек, тотчас же щелкнул выстрел. Человек упал. И в то же мгновение за спиной у Мити громыхнуло. Солдат, уронив винтовку, замер на тротуаре.

— Не будешь, паршивец, высовываться, — сказал рядом с Митей знакомый голос. Митя оглянулся:

— Командир! Вернулся?..

— Как видишь, — ответил Степан, внимательно всматриваясь в слуховое окно в доме напротив, — вернулся. В подъезд! — крикнул он дружинникам. — С чердака стрелять будут.

Уйдя в укрытие, Степан высунул на палке от метлы шапку. Из слухового окна тотчас же открыли огонь. Митя удовлетворенно отметил:

— Молодец, командир! Вовремя заметил.

— Мудрено не заметить. Надо их оттуда выбить. Ищи, Митя, дворника. Требуй ключ от чердака.

Дворник не хотел отдавать ключ. Митя показал ему свой заслуженный «смит-вессон»:

— А это, дядя, видел?

И ключ тотчас же нашелся.

Степан взял у подошедшего дружинника винтовку, отдав ему свой браунинг:

— Подержи пока. Пошли, Митя!

Степан к окну не подошел, а, найдя в передней стенке чердака щель, прильнул к ней:

— Смотри. Видишь, из окошка наблюдают?

— Вижу.

— Сколько их было?

— Двое и один офицер.

— Одного они потеряли. Значит, тут двое. Если мы еще одного уберем, второй не усидит, уйдет.

Степан осторожно расковырял щель пошире и вставил дуло винтовки.

— Сейчас мы ему покажем, как в спину стрелять, — проговорил он.

Раздался выстрел. Из слухового окна напротив посыпались стекла. Раздался крик.

— А ну, Митя, проверим, — проговорил Степан и снова, как и внизу, высунул из окна шапку. Выстрелов не последовало.

— Все. Утек, — подвел итог Степан. — Пошли, Митя.

Митя заглянул в окно.

— Лежит!

— Кто?

— Винтовка. Около ворот. Сейчас я за ней сбегаю.

Он кубарем скатился с лестницы; даже не пригибаясь, перебежал переулок и схватил винтовку, и в ту же секунду раздался выстрел. Митя, пробежав несколько шагов, упал. Степан крикнул: «За мной!» — и первым ворвался во двор транспортной конторы «Надежда». Меж пустых, с поднятыми оглоблями телег бежал с винтовкой в руках офицер в светло-серой шинели. Он был совсем близко от пролома в кирпичной стене. Еще секунда, и он бы скрылся. Степан опустился на колено и прицелился. Но, к его удивлению, офицер отскочил от пролома и заметался между телегами. Потом он лег на землю. Степан с бешенством выкрикнул:

— А ну выходи!

Офицер отбросил винтовку и с поднятыми руками встал, прислонившись к телеге.

— Ведите в штаб! — приказал Степан и побежал к Мите Страхову. Дружинники поднимали его тело на телегу. Оно еще не успело остыть, но смертельная бледность уже покрывала лицо Мити.

Из пролома выскочили двое:

— Ребята! Давай сюда, тут земляки орудуют.

— Яша? — удивился Степан, узнав Савватеева.— Ты как сюда попал?

— К вам на помощь,— все тем же веселым тоном ответил Яков и умолк, увидев Митю.

— Дружка моего убили.

— Совсем еще мальчик, — сказал подошедший Арсений. — Здравствуй, дорогой, — и протянул руку Степану.

— Товарищи! Да откуда же вы взялись?

Вокруг телеги стояло десятка два иваново-вознесенцев.

— А все оттуда же, — невесело усмехнулась Груня, — с Триумфальной площади. Вот все, что от нас осталось.

* * *

Николаевская железная дорога подвела: гвардейский Семеновский полк беспрепятственно прибыл в Москву.

Полк встретил сам Дубасов со всей свитой и начальником штаба Московского военного округа генерал-лейтенантом Рауш фон Траубенбергом. Первым из вагона вышел командир полка Мин, за ним флигель-адъютант царя Гольфоф и генерал-лейтенант барон Штакельберг. Дубасов расцеловался с бароном:

— Слава тебе, господи!

Штакельберг подал Дубасову конверт с короной и императорским вензелем. Генерал-губернатор перекрестился. Быстро прочитав письмо, он снова перекрестился и повернулся к солдатам.

— Смирно! — скомандовал командир третьего батальона подполковник Риман.

Солдаты привычно застыли.

— Здорово, семеновцы! — крикнул Дубасов.

Солдаты дружно ответили. Дубасов потряс конвертом:

— Видите, братцы! Это мне наш батюшка государь император прислал письмо. Он просит... — Дубасов посмотрел на Штакельберга, словно желая его спросить, так ли он говорит, и, увидев одобрительный кивок барона, повторил: — Да, государь-батюшка просит меня и вас, нас с вами, спасти древнюю нашу столицу, нашу матушку Москву от внутреннего врага.

Дубасов много раз вспоминал смутьянов и крамольников и, не зная, чем кончить речь, неожиданно выкрикнул:

— Спасем царя-батюшку! Перебьем всех жидов!

Барон Штакельберг недовольно поморщился и по-немецки сказал Гольфофу:

— Государыня права: он, конечно, не слишком умен.

Полк прямо с вокзала был двинут на усмирение. Третий батальон направился на Пресню.

* * *

Боевой штаб ивановововознесенцев послал защищать баррикады на Камер-Коллежском валу.

Когда прекратился обстрел, Фрунзе вызвали в штаб. Ночную тишину нарушили крики и смех. Сначала никто не мог понять, почему развеселились дружинники, и только «Станко», всмотревшись, радостно сказал:

— Смотри! Явились! — И громко позвал: — Ребята, сюда!

К ним подошли Василий и Силантий.

— Живы? — улыбаясь, спросил «Станко».

— Почти,— мотнул перевязанной головой Василий.— Силантий совсем цел, а мне пришлось обручи набивать — рассохлась моя посудина. Но зато мы с прибылью.— Он выложил два браунинга.

— Где добыли? — спросил «Станко».

— Шел один чин — не то частный пристав, не то околоточ-

ный, мы в темноте не разобрали. Он на нас крикнул, а мы на него. С перепугу нам и отдал.

Силантий махнул рукой:

— Всегда ты, Вася, наплетешь неведомо чего. Ему, братцы, какой-то офицер в голову пальнул. Ну, мы его успокоили. Груня! Перевяжи его, пожалуйста, а то я залепил ему кое-как...

Груня, достав из заплечного мешка бинты и склянки, посадила Василия поближе к лампе.

— Господи! Вася, как же ты ходишь?

— Ничего, Груня, со мной не случится. Мне маленькому цыганка нагадала, что я до ста лет проживу, два раза овдовею, каменный дом приобрету, всех переживу и скончаюсь в одиночестве.

— Сиди, Вася, смирно. Не болтай.

— А мне, Грушенька, так легче. Уж очень ты долго меня терзаешь...

Вошел Фрунзе:

— По местам, товарищи!

Ивановознесенцам досталась центральная часть баррикады. Они лежали в укрытии за мешками с землей. Груня тоже пристроилась к ним.

В щель между мешками и половиной огромных железных ворот, принесенных на баррикаду из дома купца Фалалеева, хорошо просматривался Камер-Коллежский вал.

— Сегодня, товарищи, день серьезный, — предупредил Фрунзе. — Прибыли семеновцы.

Словно в подтверждение, поблизости послышалась барабанная дробь, одновременно громыхнул артиллерийский залп и раздались одиночные выстрелы.

— Идут! — крикнул Яков. — Смотрите, ребята, как на параде.

Семеновцы шли во весь рост, не пригибаясь. Впереди шагал барабанщик.

— Внимание, — скомандовал Фрунзе. — Не стрелять! Подпустим ближе.

— Красиво идут, — заметил Яков.

— Сейчас эти красавчики тебе покажут, — со злостью ответил Степан. — Знаю я эту сволочь.

— Прекратить разговоры! — послышалась команда Фрунзе.

Степан с удивлением посмотрел на него и шепнул Якову:

— Видал? Здорово командует.

— Приготовиться! — снова скомандовал Фрунзе. — Первые выстрелы по офицерам.

— А их тут и нет, — возразил Степан. — Одни унтеры.

— Выбивать унтеров, — последовала спокойная команда.

Семеновцы совсем рядом.

— Огонь!

Несколько семеновцев упали; остальные, несмотря на крик

и ругань унтер-офицера, бежавшего по тротуару, повернули обратно.

— «Станко»! Заткни ему глотку!

Унтер, не добежав до спасительного угла, упал, обхватив тумбу.

Фрунзе снял шапку и вытер со лба пот.

Минут через двадцать в дом, стоявший налево от баррикады, попал снаряд. В доме начался пожар. Второй снаряд угодил в дом направо. Третий снаряд разорвался перед баррикадой, засыпав дружинников комьями мерзлой земли. И на валу сейчас же показались семеновцы. Они уже не шли, а бежали, низко пригибаясь к земле. Некоторые, добежав до ближних от баррикады ворот, скрывались в них, Фрунзе, заметив это, крикнул:

— Наблюдать за крышами!

Третья атака началась в полдень. Силантий, лежавший рядом с Василием, выпустил из рук пистолет и перевернулся на спину.

— Силка! Чего ты? — крикнул Василий. — Силка!

Фрунзе махнул рукой, и Груня ползком добралась до них. Она расстегнула на Силантии тужурку, разорвала рубашку и отдернула испачканную в крови руку.

— Убит.

Степан слышал, как злобно Василий ругал семеновцев, и, увидев, как Груня пытается оттащить тело Силантия в сторонку, встал, чтобы помочь ей. Но в этот момент что-то горячее, тяжелое ударило его в плечо, и он, услышав команду Фрунзе: «Берегись», упал, потеряв сознание.

* * *

Доцент Московского университета доктор Виктор Владимирович Воробьев считал себя человеком, не имеющим никакого отношения к политической жизни.

— Мое дело медицина! — любил говорить он жене, друзьям и даже малолетней дочери.

В бурные дни 1905 года он не посещал шумных собраний в университете:

— Мое дело — здоровье людей, а кто они — монархисты, социал-демократы или, не дай бог, террористы,— меня совершенно не интересует.

В первый день восстания, как только загремели выстрелы, Виктор Владимирович вывесил на балконе, выходящем на Большую Пресненскую улицу, флаг с красным крестом. Не прошло и пяти минут, как домовладелец старик Котлам забарабанил к нему в дверь:

— Вы с ума сошли! Снимите флаг. Они сожгут дом!

Воробьев поверх пенсне посмотрел на белое от страха лицо хозяина дома:

— Кто?

— Солдаты.

— Меня это не касается.

— Я буду жаловаться. Я хозяин.

— А я врач.

Хозяин привел дворника и попытался силой пробраться на балкон. Воробьев вытолкнул его и в первый раз упомянул слово «дружинники».

— Идите прочь, иначе я пошлю за дружинниками.

К вечеру большая квартира Воробьева превратилась в приемный покой. Доктор сразу же ввел строгий порядок: легкораненые после осмотра и перевязки немедленно покидали квартиру; тяжелораненых он оставлял до утра, наказывая санитарам:

«Не забудьте забрать вашего коллегу: у меня лежачих мест нет».

Сюда принесли и Степана Важеватова. Воробьев, осмотрев его, сказал Груне:

— Ваш коллега, мадемуазель, будет жить. Ручаюсь! С таким сердцем и с таким телосложением в эти годы не умирают. До завтра я его продержу у себя, а потом забирайте.

Ночью доктор несколько раз подходил к Степану и, увидев, что он, наконец, пришел в себя, сел около него и, как бы советуясь, сказал:

— Ну, что мы дальше делать будем?

И он рассказал Степану, что рабочие отряды оттеснены семеновцами к самой Прохоровской мануфактуре.

— Не придумаю, куда вас спрятать. Семеновцы совсем озверели, даже раненых добивают.

Утром в дверь ударили чем-то тяжелым, — очевидно, прикладом винтовки. Доктор вскочил с дивана и, по привычке на ходу застегивая халат, в котором он так и уснул, крикнул жене:

— Подожди, не открывай!

Но она уже открыла. В прихожую вошли хозяин дома Котлам, дворник, рослый полицейский пристав с черными усами, жандарм и трое городовых.

— Вот, пожалуйста, с ним и разговаривайте, — злобно сказал Котлам.

Пристав, не обращая внимания на врача, спросил дворника:

— Где выход на балкон?

— Пожалуйте, ваше благородие.

Воробьев загородил дверь:

— Прошу здесь не распоряжаться.

Пристав оттолкнул доктора:

— С тобой мы после поговорим, поганая морда!

Воробьев снова загородил вход:

— Вы не имеете права говорить мне «ты». Я врач... Доцент университета! Я дворянин...

— А я говорю, не мешай мне! — заорал пристав, оттаскивая врача от двери.

— Вы подлец, — спокойно сказал Воробьев. — Подлец и насильник. Я о вас доложу градоначальнику барону Медему.

Пристав торопливо расстегнул кобуру и вытащил револьвер.

— Витя! — крикнула жена. — Не спорь, Витя. Уйди.

Воробьев отошел от двери.

— Ты права. Бесполезно. Я уступаю грубой силе. А барону о вашем некорректном обращении я все-таки доложу. Да-с, доложу.

И повернулся к приставу спиной. Пристав, наливаясь злобой, крикнул: «Докладывай!» — и выпустил ему в спину одну за другой три пули. Воробьев упал, на секунду приподнял голову и слабо крикнул: «Аня! Какой подлец...»

— Витя! Витенька! — забилась на полу жена. Маленькая дочь в коричневой гимназической форме вырывалась из рук городовых, крича на одной ноте: «Мамочка! Мамочка!»

Степан в соседней комнате с трудом поднялся с пола, достал из кармана пальто револьвер и, держась руками за стену, вышел в переднюю.

— Важеватов? — крикнул унтер Курков и, боясь, как бы пристав в горячке не пристрелил его драгоценную находку, торопливо начал объяснять: — Не стреляйте, ваше благородие. Его только живьем приказано брать.

В какую-то долю секунды Степан понял, что отсюда живым не уйти. Он поднял револьвер к виску:

— Не возьмешь, шкура барабанная!

И нажал на спуск. Но выстрела не получилось: в обойме не было ни одного патрона.

Не прошло и часа, как Степана водворили в Бутырскую тюрьму. Сидя в ожидалке, он через дощатую временную перегородку услышал голос Груни. Она, явно издеваясь над кем-то, говорила:

— Ну и хоромы! Отродясь в таких не жила. Ты мне скажи: на прогулку пускают? Очень хорошо. И в баню водят? Не жизнь, а малина. Ты там начальству доложи, что я привередливая, хожу в баню с веничком, с березовым.

Потом послышался глухой удар и снова голос Груни:

— Только тронь еще. Я тебе так двину, ведьма бутырская...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Наташа зажгла спичку и осветила ходики. Они показывали половину одиннадцатого. До конца 1905 года оставалось полтора часа. Невесело встречала Наташа Новый год. В шесть ча-

сов она, как всегда, пришла из больницы, прибралась в своей крохотной комнатке и прилегла отдохнуть. Заснуть она не смогла. Даже ночью она спала теперь плохо. Лежать долго на правом боку она не могла, а стоило ей повернуться на спину, как ребенок начинал сильно толкаться, словно требуя, чтобы она послушалась и приняла удобную для него позу. Было очень мучительно лежать с открытыми глазами и слушать, как монотонно тикают ходики. Днем, на людях, Наташа старалась делать вид, что ничего не произошло, хотя это ей было очень трудно. Первые дни после известия об аресте Степана, приходя домой, подолгу, иногда всю ночь напролет плакала.

Чтобы квартирная хозяйка ничего не узнала, она старалась плакать потихоньку, уткнув лицо в подушку. Горький клубок в горле, казалось, не уменьшался, а все рос и рос. Она понимала, что ожидает Степана, и ни на минуту не сомневалась в том, что никогда больше его не увидит. «Кому я теперь нужна? — думала она. — У меня теперь никого нет. Никого».

Особенно тяжело прошло ее первое воскресенье. На работу в больницу не надо идти, и, стараясь хоть чем-нибудь отвлечься от горьких мыслей, затеяла стирку.

День выдался очень хороший, солнечный, и в оттаявшее окно Наташе было видно, как мимо проходили разные люди, бегали дети с санками. Она долго сидела и тупо смотрела, как высыхала на полу разлитая ею мыльная пена. «Что это я сижу? Стирать надо. А зачем? Кому я нужна? Кто меня с ребенком встретит?» И она с необычайной отчетливостью представила, как одна побредет с младенцем на руках.

Не помня себя, не соображая, что она делает, Наташа взяла из кучи мокрого белья простыню, разорвала ее на три узких полотенца и сделала петлю.

Она встала на стол и накинула жгут на крюк, на котором когда-то, видно, держалась висячая лампа. Ей оставалось только завязать узел, но в дверь сильно постучали. Она инстинктивно спрыгнула со стола и спросила:

— Кто там?

— Это я, — ответила хозяйка. — Чего ты среди бела дня заперлась? Открой.

Наташа отодвинула задвижку. Хозяйка с порога заговорила:

— Я капусты с погреба принесла. Не хочешь ли?

Наташа, торопливо стягивая жгут с крюка, бормотала:

— Спасибо. Не хочу, спасибо...

Хозяйка вошла в комнату и увидела свешивающийся с крюка жгут. Она поставила блюдо с капустой на табуретку и изо всей силы ударила Наташу по щеке. Она била ее и кричала:

— Ах ты, падаль несчастная! Это ты что задумала? У меня в доме! Иди, чертовка, вешайся на любом суку, а мой дом поганить не смей.

Наташа упала на пол и, колотясь в истерике, молила:

— Простите меня! Простите!.. Не говорите никому. Очень вас прошу, не говорите.

— Чтобы и духа твоего тут не было! Вставай, собирай свое, — хозяйка пнула ногой кучу мокрого белья. — Всем расскажу, чтобы тебя добрые люди боялись на квартиру пускать.

Наташа, сидя на полу, перекладывала белье на другое место. Платье на ней намокло. Хозяйка, внимательно посмотрев на нее, наклонилась и дотронулась холодной рукой до ее горячего плеча:

— Наталья! Да ты уж не тяжелая ли?

Наташа ничего не ответила и уткнулась ей в колени.

— А ну-ка встань. Вот так. Ложись.

Она помогла Наташе лечь на койку, села рядом и, ласково поглаживая ее голову, приговаривала:

— Обманул пес какой-нибудь. Много нас, дур, пропадает! Поплачь, поплачь — легче будет.

Марья Петровна взяла на себя всю тяжелую домашнюю работу: носила воду, топила печь, стирала, а Наташа готовила обед, занималась починкой. Она особенно привязалась к своей пожилой подруге, узнав, что вскоре после смерти мужа — паровозного машиниста — ее постигло еще одно тяжкое горе: единственный сын, двенадцатилетний Саша, катался на коньках по только что ставшей Тезе и провалился под лед. Река выкинула его только в половодье.

Хозяйка, рассказывая всю свою печальную историю, много раз повторяла:

— Думала, вроде тебя, руки наложить, а вот, видишь, живу.

Будь в Шуе Фрунзе, Яков или «Станко», Наташе все же было бы легче. Яков, привезя страшную весть о Степане и Груне, исчез, а о Фрунзе не было ни слуху ни духу. Знакомые дружинники, вернувшиеся после вооруженного восстания из Москвы, в ответ на все расспросы угрюмо молчали. Некоторые делали вид, что ни в какую Москву не ездили.

Как-то к Наташе зашел Василий. В похудевшем, обросшем бородой усталом человеке она еле-еле узнала всегда весело балагурившего Васю.

— Насилу отыскал тебя. Вон ты куда забилась! — сказал он, осматривая голые бревенчатые стены ее комнатенки. Он подошел к углу и приложил ладонь к нижним бревнам: — Дует... Надо было осенью завалинку повыше наложить. Лопатка есть у вас? Пойду снегу накидаю.

Ему, видно, не хотелось рассказывать о Москве, и он придумывал себе занятие. Накидав снега почти до крыши, он наколол дров, подрезал фитиль у лампы и, когда делать было уже нечего, спросил:

— Может, самовар вычистить? Что-то он у вас невеселый...

Наташа, хорошо понимая его настроение, улыбнулась:

— Сама вычищу. Мне ведь тоже без дела тошно.

— Всем тошно.

Помолчав, Наташа сказала:

— Ты прости, Вася, но в молчанку играть еще тошнее. О Степане я тебя расспрашивать не буду. Я все, Вася, о нем знаю. А где Арсений? Где «Станко»? Почему ты о них молчишь? Словно я чужая им.

— Я и сам не знаю, Наталья Матвеевна. Арсения я видел в последний день во дворе Прохоровской мануфактуры. «Станко» там же был. Он с ним вместе стоял около проходной. Потом Арсений и «Станко» куда-то побежали с винтовками, а мне Арсений крикнул, чтобы я уходил через реку. Мы с Анфимом Болотиным — помнишь, у него жену на Талке убили? — реку вместе переходили. За середку уже перебежали, когда по льду начали из орудий бить. Я чудом спасся, а Анфиму прямо под ноги ударили. Когда стрелять перестали, я долго по берегу ходил, все ждал, не выплывет ли Анфим. Может, и Арсений в это же время реку переходил. А если его во дворе поймали, тоже не помиловали. Они там, подлецы, на месте расстреливали. Ребята рассказывали, что какой-то полковник с немецкой фамилией да поручик из кавказцев до того озверели, что людям прямо в лицо стреляли. До Александрова я пешком по шпалам добрался, а там на поезд хотел сесть — посмотрел, а на станции полным-полно жандармов. Я снова по шпалам до Юрьев-Польска...

Уходя, Василий попытался подбодрить Наташу:

— Может, ему каторгу дадут. Хлопотать надо.

— На хлопоты деньги нужны, а у меня только на хлеб и хватит. За ним столько всего числится — не помилуют.

Вот и сегодня, в канун Нового года, те же грустные мысли: нет, не помилуют. Скорее бы пришла с фабрики Марья Петровна!

В окно постучали. У Наташи захолонуло сердце: «Господи! Уж не полиция ли?» Она привернула лампу и посмотрела в окно: трое! На городовых не похожи, в штатском. Слышно, как говорят: «Постучи еще».

— Кто там?

— Наталья Матвеевна, открой. Это мы.

Какое это было счастье — видеть Арсения и «Станко» живыми, невредимыми! А кто же этот третий, в студенческой тужурке, невысокого роста, с белокурой бородкой, в очках с толстыми стеклами?

— Знакомьтесь: Наташа, товарищ Петр.

Арсений и «Станко» выгружали из карманов свертки, коробки и бутылку вина.

— Не сердись, Наташенька, что мы без предупреждения. Мы, так сказать, первая волна. Приготовься еще к одной. Сейчас Гусев придет и с ним еще двое. Они в лавочке застряли.

Арсений увлек Наташу в кухню.

— Покажи, где самовар ставить? А где угли?

Прикрыл дверь и шепотом:

— Есть хорошие вести. Степан жив. Его переводят в Петербург. Не плачь, Наташенька, не надо. Петр ничего знать не должен.

И уже громко:

— Хороши угли, крупные! А где у вас лучинка?

И снова тихо:

— Хозяйка как? Верный человек? Не забранит тебя?

— Рада будет.

— Очень хорошо. Уже шумит. Товарищ Петр, вам поручается наблюдение за самоваром. Вы с этой сложной машиной знакомы? Как внутри забулькает, снимайте трубу. Желательно прихватывать ее тряпкой. Учтите: металл имеет свойство нагреваться. И добавьте угольков, чтобы подольше кипел. Мой отец говорил: «Холодный чай пить — это все равно что немилую целовать!»

До чего же хорош получился этот неожиданный праздник! Пришли Павел Гусев, Яков Савватеев и Николай Поликарпов. Николай поставил свои костыли в угол и легко поднял свое большое тело на скамейку.

— Ну, хозяюшка, здравствуй. Дай я посмотрю на тебя.

Пришел Родион Баталов с женой. Явилась с работы Марья Петровна и, узнав, что это все друзья ее жилички, гостеприимно засуетилась:

— Давайте ко мне в комнату, у меня посвободнее. Натальюшка, достань из комода скатерть чистую. Я сейчас в подполье спрыгну: огурчиков, капустки выну. Грибочков еще немножко сберегла. Груздочки, рыжички.

Наташа, улучив минуту, вызвала «Станко» в кухню.

— Где же вы пропадали столько времени?

— В Москве. Московским товарищам помогали. Паспорта добывали, оружие прятали.

— Скажи мне, «Станко», можно Степу выручить?

«Станко» посмотрел ей прямо в глаза:

— Трудно. Совсем почти невозможно.

— А Арсений сказал — хорошие вести.

— У него такая натура: до последней секунды не терять надежды.

Без пятнадцати двенадцать, как все добрые люди, сели за стол.

Наташа незаметно вытерла слезы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

По-разному встретили люди 1906 год. Одни самым важным событием считали то, что накануне Нового года царь пожаловал Дурново чин действительного тайного советника и утвердил его министром внутренних дел. Для других столь же важным явилось награждение министра юстиции Акимова орденом Белого Орла. Особое значение придавалось тому, что нетитулованный, из небогатых дворян Акимов получил Белого Орла в один день с генерал-лейтенантом князем Васильчиковым и гофмейстером высочайшего двора Танеевым.

Третьи радовались, что петербургским градоначальником вместо отставленного Дедюлина назначили тамбовского губернатора фон дер Лауница. Четвертые, и таких было очень много, самым знаменательным историческим событием считали предстоящие выборы в первую Государственную думу, которая, по их мысли, должна была вывести Россию на другой, более светлый, конституционный путь. Впрочем, слово «конституция» произносилось редко и всегда с оглядкой: нет ли поблизости городового, агента охранного отделения или, пронеси господи, чина отдельного корпуса жандармов.

Ревнителей тишины и порядка порадовал новогодний прием у московского генерал-губернатора адмирала Дубасова. На приеме среди прочих гостей присутствовали губернский предводитель дворянства князь Трубецкой, городской голова Гучков и городовой московской полиции Семен Широков. Генерал-губернатор предложил за здоровье Семена Широкова особый тост. Понятно, что адмиралу все равно было, за кого пить — за Широкова или за другого нижнего чина. Дубасову был нужен не Широков, а символ полицейской власти. И надо было отблагодарить полицию за рвение, проявленное во время подавления восстания. Да и сейчас у городовых было немало хлопот.

В самый разгар приема, когда уже достаточно было выпито за здоровье царя, его августейшей супруги и всего императорского дома, Дубасову принесли телеграмму. Он, прочитав ее, встал и поднял руку. Гости смолкли.

Дубасов по-адмиральски строго, словно командуя, читал:

— «Передайте первопрестольной Москве, что я вместе с ней с глубокой душевной скорбью переживал тяжелые дни вооруженного мятежа на улицах столицы...»

Последние слова царской телеграммы Дубасов читал, то и дело вытирая слезы умиления.

Потом снова пили за здоровье драгоценного монарха, за его августейшую супругу и всю царскую семью.

Против городского головы Гучкова сидел новый московский градоначальник генерал-майор Рейнбот, сменивший уволенного в запас барона Медема. Гучкову столь близкое соседство гене-

рала удовольствия не доставляло. Только вчера Рейнбот потребовал от головы выделить на содержание городской полиции дополнительно, сверх обычных ассигнований, еще девятьсот тысяч рублей. Голова попробовал возразить, ссылаясь на напряженное финансовое положение городской думы. Генерал с шумом захлопнул зеленую сафьяновую папку:

— Деньги надо внести не позднее шестнадцатого января. Сполна! В противном случае мы освобождаем себя от обязанности иметь в полиции дополнительное число нижних и офицерских чинов.

И вот сейчас, подняв тост за городового Семена Широкова, Гучков с неприязнью посмотрел на Рейнбота: «Задал же ты мне, ваше превосходительство, задачу! Попробовал бы сам с гласными разговаривать...»

Всю первую неделю нового года из ресторана в ресторан гонял на рысаках канцелярист московского акцизного управления титулярный советник Глазов, выигравший по англо-голландскому займу 1864 года двести тысяч рублей. Чаще всего его видели то у Тестова, то в ресторане «Яр» или в «Стрельне». Маленький, щуплый, он входил в зал в огромной, не по росту, енотовой шубе и бобровой шапке, которая сползала ему на глаза, закрывая потный лоб. Лакеи стаскивали с него одеяние, а он, обалделый от радости, бросал им трешницы и пятерки и требовал самых дорогих вин и изысканных закусок. Из всего, что ему подавали, он набрасывался на зернистую икру, соленые грибы и жареных рябчиков. Икру он ел ложкой, приговаривая:

— До чего дошел крестьянский сын!

Напившись, он стаскивал со стола скатерть, бил посуду. Ему подавали огромные счета. Он оплачивал их вдвойне. Побитому лакею он сунул сотенный кредитный билет.

У других были радости меньшего масштаба. По высочайшему повелению все служащие Николаевской железной дороги за образцовое, примерное поведение во время декабрьского вооруженного мятежа были награждены месячным окладом. Но не все остались довольны наградой. Машинисты депо Бологое Матвей Сиротин и Егор Коноплев отказались получить наградные. Их немедленно уволили. Помощник начальника станции Любань Анастасьев, получив наградные, выпил полбутылки водки и повесился, оставив записку: «Стыдно жить, особенно после того, как нам бросили подачку за участие в душегубстве».

Были и другие неприятности. Из опубликованного баланса Государственного банка даже не посвященным в экономические тонкости обывателям было ясно, что казна отощала основательно. Количество бумажных денег, находившихся в обращении, превысило все дозволенные нормы. Приближался финансовый крах и конец золотой валюте. Требовался внешний заем,

его могли дать только сильному, крепкому правительству, а тут что ни день — сюрпризы.

В первый день нового года эсеры бросили две бомбы в черниговского губернатора Хвостова, возвращавшегося от поздней обедни. Обе угодили в губернатора, оставив мадам Хвостову безутешной вдовой.

В Риге, на Ключевой улице, в доме Алексеева, полиция обнаружила склад бомб, двадцать тысяч патронов и сотню чистых бланков паспортов.

В этот же день в Ярославле двумя выстрелами наповал убили помощника начальника губернского жандармского управления. Если верить донесениям начальников губернских жандармских управлений, за один только день нового года было разграблено мужиками четырнадцать имений, убито восемь помещиков и пять управляющих.

Нет, никак не удавалось установить на Руси покой и тишину. Вдобавок ко всему нависла еще новая угроза: приближалась годовщина 9 января.

Слухи один другого нелепее — и чем нелепее, тем казалось, вероятнее — передавались шепотом по гостиным, биржевым конторам, по министерским канцеляриям и департаментам.

— Девятого, душечка, на улицу не выходи и прикажи Евстигнею следить за черным ходом и за парадным.

— Вы слышали, говорят, под все мосты заряды положены. Не вздумайте на набережную выйти: разнесет на куски.

— Упаси вас бог идти девятого в Гостиный двор! Прикажите лучше домой приказчика позвать.

— Запасайтесь, матушка, свечами и керосином. Слава богу, морозы стоят, можно мясца в запас прикупить. Мука-то у вас есть ли? На булочную не надейтесь — все станут. Господи! Когда же все это уляжется?

В Санкт-Петербурге в это время у десятков тысяч людей не было денег на хлеб. Стояли заводы: Балтийский, Обуховский, Невский, Путиловский, Франко-Русский. На Семянниковском шла «фильтровка». Уже уволили три с половиной тысячи человек. Стояли фабрики: Екатерингофская мануфактура, Новая бумагопрядильная, Охтенская бумагопрядильная, Российская бумагопрядильная, Санкт-Петербургская тюлевая, Санкт-Петербургская по изготовлению благовонных веществ.

Стояли длинные вереницы у бесплатных столовых и питательных пунктов. У молочного бесплатного пункта на Галерном острове с полуночи вставали несколько сотен матерей — получить бутылочку с молоком. В первый день роздали двести пятьдесят бутылочек, во второй — двести, в третий — только сто сорок.

Общественный комитет по оказанию помощи безработным обратился с воззванием:

«Мы уже роздали две тысячи кредитных листков в закон-

трактованные лавки. Открыли две столовые. Но это все капля в море. На сие число в кассе комитета наличных средств 439 рублей 81 копейка, а безработных в столице свыше тридцати тысяч. Убедительно просим пожертвователей поторопиться».

Литературно-художественный студенческий кружок отчислил чистый сбор со спектаклей — восемь тысяч рублей, и это было все. Другие господа пожертвователи не торопились.

А тут напомнил о себе еще один благотворительный комитет — «Общественная помощь голодающим». Комитет в отчете с горечью упрекнул: «Городские события заставили нас забыть о далекой деревне. А голод растет. Он уже охватил 24 губернии».

Нет, не было тишины и покоя на Руси. И не могло быть. И не случайно, встречая Новый год, люди реже говорили традиционное: «С новым счастьем», а чаще повторяли: «Поживем — увидим!»

* * *

Как ни велика была Россия и как ни много было в ней тюрем — предварительных, пересыльных, центрально-каторжных и просто каторжных, — как ни толсты были стены тюрем и ни многочисленна охрана, заключенные, и особенно политические, все знали о своих товарищах. День и ночь действовала неуловимая тюремная связь. Использовались все средства: перестукивание, случайные встречи в коридорах, обмен записками во время прогулок. Широко использовались содержавшиеся менее строго уголовники, убиравшие коридоры и камеры. В редкой тюрьме не находилось надзирателя, который бы не соглашался помогать политическим. Одни сделали из этого источник наживы, других побуждала жалость и сочувствие, третьи, попавшие в надзиратели случайно, старались хоть чем-нибудь успокоить угрызения совести.

В конце 1905 и в начале 1906 года многие тюремные чины помогали политическим потому, что боялись победы революции. А так все-таки есть чем оправдаться перед новым начальством, которое — чем черт не шутит! — возможно, сидит в одной из камер.

Даже в тюрьмы с самым строгим режимом, как, например, Орловский централ, начальник которого на всю Россию славился своей жестокостью, проникали не только вести с воли, но и посылки, деньги, напильники, веревочные лестницы и многое другое, необходимое для побега. Пример рижских рабочих, напавших на тюрьму и освободивших своих товарищей, которым грозила смертная казнь, вдохновил многие смелые головы.

В начале января, вскоре после утренней поверки, дверь общей камеры, где сидела Груня, открылась и надзирательница, толстая рябая баба, известная среди заключенных под кличкой «Стряпуха», крикнула:

— Савватеева! Выходи.

Груня подумала, что ее вызывают на допрос. Ее соседка москвичка Елена Гарина незаметно пожала ей руку, как бы успокаивая Груню.

Груня дружила с Гариной. Первый день тюремной жизни Груня молчала, присматриваясь к товаркам по камере. Гарина первой заговорила с ней и сразу рассказала, что она коренная москвичка, родилась на Калужской улице, а всю жизнь прожила на Таганке. Там же, на Таганке, кончила женскую гимназию, училась на женских публичных курсах. Она рассказала даже и о том, что, когда ее арестовали, ее отец навестил градоначальника барона Медема и тот разрешил ей на время следствия жить дома, но вскоре жандармы ее снова арестовали.

— А кто же ваш отец? — справилась Груня.

— А я толком даже и не знаю, — немного смутившись, ответила Гарина. — Знаю только, что он каждый день на Ильинку в банк ездит.

— Что же он — бухгалтер, писарь или чай подает?

— Нет, он там какой-то главный, член правления.

— Квартира у вас какая? — деловито осведомилась Груня.

— У нас свой дом, — снова смущаясь, сказала Гарина.

— Понятно, — подвела итог Груня. — Буржуи, стало быть.

— Не совсем... Я незаконнорожденная, — краснея, призналась Гарина. — Моя мама горничной была, а отец — студентом. Он на маме так и не женился. Но меня он любит, помогает мне.

— А мать жива?

Гарина отрицательно покачала головой...

— Я еще совсем маленькая была...

Так завязалась их дружба.

* * *

Стряпуха строго прикрикнула на Груню:

— Быстрее пошевеливайся!

В коридоре, выждав, когда поблизости никого не было, надзирательница шепнула:

— Важеватов из мужского просил передать, что его перегоняют в питерскую тюрьму. Отправка завтра.

Груня, зная понаслышке, что за человек Стряпуха, равнодушно переспросила:

— Это вы мне?

— А кому же?

— Кого-то куда-то пересылают?

— Не кого-нибудь, а Важеватова.

— Не слыхала такого...

Стряпуха усмехнулась.

— Не ври. Мне что, — добавила она, — мне сказали, и я передала.

Груню привели не к следователю, у которого она уже была, а в комнату, находившуюся рядом с кабинетом начальника тюрьмы. За столом сидели сам начальник, какой-то очень важный господин в штатском и еще один, в незнакомом Груне мундире.

Штатский любезно предложил:

— Садитесь.

Груня села поодаль от стола.

Штатский что-то сказал господину в мундире не по-русски. По знакомому ей слову «гретхен» Груня сообразила, что они разговаривают по-немецки.

Человек в мундире, почтительно выслушав штатского, внимательно посмотрел на Груню и ответил:

— Вы правы, князь. — И снова послышалась немецкая речь.

Поговорив еще, штатский сказал по-русски:

— Можно отпустить.

Обратно Груню вела все та же Стряпуха. Сначала она молчала, затем, не выдержав, объявила:

— Везет тебе, красотка! И тебя в Питер вытребовали. Да ты не пяль на меня свои плошки, не вру. В конторе писаря сказывали.

* * *

Степана Важеватова вылечили и повезли в Петербург. Его везли как самого опасного государственного преступника. В арестантском, набитом заключенными вагоне ему отвели целое отделение. Охраняли его семь человек: четыре солдата были присланы из Петербурга и двое из московской конвойной команды. Седьмым был Курков, напросившийся у начальства сопровождать Важеватова. Сначала Курков начал было всеми командовать. Степан словно не слышал его. Когда к нему обращались солдаты, он отвечал и даже попытался сам заговорить с ними, но они, напуганные рассказами о его смелых побегах, отворачивались. «Разговаривать не положено».

Как-то случилось, что после Клина ночью Степан на короткий срок остался один на один с Курковым. Унтер злорадно сказал:

— Догулялся! Отвинтят тебе буйную головушку.

Степан, отвернувшись, молчал. Тогда Курков, распаляясь от презрительного невнимания, замахнулся на Важеватова.

— Не вороти морду, гад, когда с тобой говорят!

— Отстань. Попомни, Курков: не жить тебе долго на этом свете. Убьют, как бешеную собаку.

Курков крикнул солдат и ушел. С этого времени солдаты попарно сидели рядом со Степаном, то и дело проверяя, достаточно ли надежны на нем кандалы, а другая пара дежурила в

коридорчике. На каждой остановке все входили в купе и молча не сводили со Степана глаз.

В Петербурге в закрытой карете его доставили в военно-исправительную тюрьму на Нижегородской улице и поместили в одиночную камеру. Но в этой тюрьме он находился недолго; через два дня его перевели в одиночную камеру Литовского замка.

Потом начались мучительные дни ожидания допросов. Степан было совсем загрустил, если бы не записка, которую ему вместе с дневной пайкой хлеба передал надзиратель.

Не понимая, от кого может быть записка и поэтому еще более волнуясь, Степан развернул ее и прочитал: «Хлопочем. Ищем хорошего адвоката. Твои близкие друзья».

* * *

К счастью для Груни, жандармские власти ничего не знали о ее знакомстве со Степаном. Груня попала в Петербург по приказанию министра внутренних дел Дурново.

В конце 1905 года, после подавления Московского вооруженного восстания, Николай особенно хорошо относился к тем, кто, как ему казалось, помог спасти Россию от смуты. В число таких людей попал и Дурново. Николай назначил Дурново министром и произвел его в действительные тайные советники. Одновременно его некрасивой дочери оказали величайшую честь, которой тщетно добивались для своих дочерей многие родовитые люди и знатные сановники: ее пожаловали фрейлиной царицы.

Это время было для Дурново днями наивысшего счастья и торжества. Сбылась его давнишняя мечта: он стал полновластным министром. Честолюбивый и хитрый, он начал мечтать о том, чтобы стать диктатором. Он понимал, что, пока жив и любим царской четой Трепов, он, Дурново, будет всего только исполнителем. В премьер-министре графе Витте он уже не видел конкурента, сознавая, что графа в недалеком будущем ждет отставка. После московской победы манифест 17 октября о «даровании свобод» никто при дворе иначе, чем вымогательством Витте, не называл.

Великий князь Николай Николаевич, в октябре 1905 года в порыве чувств сказавший Витте: «Вы наш спаситель!», сейчас, в январе 1906 года, смотрел на него поверх головы холодным, чуть презрительным взглядом.

Дурново все это понимал. В его руках теперь был черный кабинет, занимавшийся перлюстрацией частных и служебных писем. Ему были известны все дворцовые интриги. Из опыта прошлых временщиков он знал: заслужить полное доверие царя можно только, заручившись полным доверием царицы, имевшей огромное влияние на своего супруга, упрямого с другими и

необычайно покладистого с женой. Заслужить доверие бывшей немецкой принцессы с ее холодным взглядом и злым лицом можно было только замаскированной лестью и показной преданностью.

Дурново распорядился выдать сто рублей мелкому чиновнику министерства Худионову, который нашел и выписал для него изречение: «Лесть, говорят, пища глупых. Между тем сколько умных людей готовы отведать этой пищи». На другой день Худионов, потрясенный баснословным гонораром, вручил его высокопревосходительству еще одну мудрость: «Лесть есть род дудки, которой приманивают птиц, подражая их голосу».

Министр прочитал, остался доволен и представил титулярного советника Худионова сразу в надворные советники, минуя очередной чин коллежского асессора. Дурново хорошо помнил, что граф Муравьев, типичный великосветский хлыщ, несколько лет назад был назначен министром иностранных дел только потому, что умел хорошо забавлять царицу плоскими анекдотами.

Кроме царицы, надо было угождать ее фаворитке фрейлине Анне Вырубовой, хранительнице интимных секретов императорской семьи. Примеры были. Сын князя Лобанова-Ростовского получил золотые флигель-адъютантские аксельбанты в награду за вечер, проведенный в гостиной мадам Вырубовой.

Дурново начал — иногда даже в ущерб многим другим делам — выполнять все желания царицы и ее наперсницы. В конце января до слуха Дурново дошло, что Вырубова, разговаривая с царицей, сказала: «Почему длинноволосые студенты и всякие семинаристы идут в революцию, мне еще понятно, а почему женщины — не понимаю. Хорошо бы спросить женщин разных сословий — простую деревенскую бабу, фабричную, учительницу, дворянку, что их толкнуло на преступный путь. Правда, ваше величество?»

Царица, всегда слушавшая Вырубову с интересом, согласилась.

В тот же день Дурново распорядился доставить в Петербург из тюрем разных городов десять женщин различных имущественных положений, чтобы на основании разговора с ними составить для царицы и Вырубовой доклад.

В число этих десяти заключенных попала и Груня.

* * *

О том, что Важеватова и Груню увезли в Петербург, Яков Савватеев узнал от московских большевиков, внимательно следивших за тюрьмами. Яков собрался в столицу.

— Я там им обоим пригожусь.

Накануне его отъезда к нему пришла Наташа и решительно сказала:

— Еду с тобой!

— В твоем положении?!

— Самое нормальное, естественное для женщины положение. В больнице меня отпустили, а денег я у Перевощиковой заняла. Она мне девяносто рублей дала.

Наташа не стала рассказывать Якову, с каким трудом она достала деньги. Дверь ей открыл муж Елены Васильевны и, сделав вид, что не узнал Наташу, крикнул: «Лелечка, кажется, к тебе!»

Елена Васильевна выпорхнула в переднюю с улыбкой, но, увидев недовольное лицо супруга, сдержанно сказала:

— Ах, это вы, Наташа! Проходите.

Выслушав просьбу, Елена Васильевна смутилась:

— Я сейчас попрошу у Всеволода Игнатьевича.

Она ушла и очень долго не возвращалась. Наташа не знала, то ли ей уйти, не дождавшись хозяйки, то ли терпеливо ждать.

Наконец Елена Васильевна вернулась. Все лицо у нее было в красных пятнах, глаза заплаканы. Наташа начала прощаться.

— Извините меня, Елена Васильевна. Я, право, не знала...

В комнату вошел Поляков с папкой в руках:

— Вы хотите получить кредит в сто рублей?

— Да, мне очень нужно... Я должна...

— Больше меня ничто не интересует. Мы посоветовались и решили, что можем оказать вам эту услугу. Распишитесь, пожалуйста. — Он подал Наташе лист вексельной бумаги.

Она, изумленная, прочитала: «Гор. Шуя, Владимирской губернии. 3 февраля 1906 года. Вексель на 100 рублей. По предъявлении, по сему моему векселю, не позднее 3 февраля 1909 года повинна я заплатить Полякову Всеволоду Игнатьевичу, или кому он прикажет, сто рублей золотом, которые я от него получила сполна.

Наталья Матвеевна Никитина, санкт-петербургская мещанка».

Наташа молча расписалась. Поляков спрятал вексель в папку и отсчитал ей девяносто рублей и восемьдесят пять копеек:

— Расчет, мадемуазель, такой: три процента годовых на три года составляют девять рублей, и стоимость гербовой вексельной бумаги пятнадцать копеек. Пожалуйста, проверьте.

Наташа скомкала кредитки, боясь встретиться взглядом с Еленой Васильевной.

Не сиди Степа в тюрьме, с каким бы наслаждением швырнула Наташа деньги Полякову прямо в сытое, холеное лицо с блудливыми глазами.

Как ни сопротивлялся Яков, но после того, как Наташа заявила, что все равно поедет одна, без его помощи, он уступил. Арсений дал Якову явку к Сергею Ивановичу Семенову и письмо к нему с просьбой сделать все возможное для облегчения участи Степана и Груни. Все думали, что она арестована по делу Степана и что ей грозит большое наказание.

Через день Яков и Наташа выехали в Петербург. Целью поездки для всех случайных вагонных и иных знакомых было богоугодное дело — поклонение мощам святого великого князя Александра Невского, с превеликой просьбою даровать сына.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В начале января Сергей Иванович Семенов обзавелся новым паспортом на имя Маврикия Александровича Каретникова и снял отдельную комнату в квартире вдовы чиновника речной полиции Агнессы Николаевны Протопоповой, проживавшей на Мойке, неподалеку от бельгийского посольства. На шутливые расспросы друзей, почему он опять снял комнату у пожилой вдовы, да еще чиновника речной полиции, Сергей Иванович совершенно серьезно отвечал:

— Да это же самые удобные хозяйки! Помоложе потребуют комплиментов, а я на них не мастер. А принадлежность к речной полиции — тоже неплохо: меньше подозрений. Соседство с бельгийским посольством — тоже хорошо: охранное отделение к этим местам любопытство проявляет, и, если они на мой паспорт внимания не обратили, значит, жить можно спокойно.

Новой хозяйке Сергей Иванович отрекомендовался все в той же должности — коммерческий агент «Полюстровского содо-мыловаренного и клееваренного товарищества». Эта должность ему очень пришлась по душе. Можно было снова, не вызывая подозрений, пропадать на многие дни и недели. Все понравилось Сергею Ивановичу на новом месте: и сама хозяйка, любезная, чистоплотная старуха, и веселая комната с окнами на юг, и даже большой, толстый кот тигровой окраски, напомнивший детство и родной дом. Но кое-что Сергея Ивановича насторожило.

Не успел он разложить свои вещи, как постучали. Он открыл дверь и увидел высокого, худого старика в вицмундире тюремного ведомства.

— Позвольте представиться: брат Агнессы Николаевны. Хочу знать, кого моя дражайшая сестрица приютила.

Он несколько раз обежал Сергея Ивановича с головы до ног колючим взглядом, подставил табуретку и, оправив перед иконой лампаду, зажег ее.

— Святой праздник завтра — крещение, а у вас лик божий недопустимо в темноте пребывает.

Сергей Иванович перекрестился и вежливо поблагодарил за заботу:

— Забываешь о душе в суете мирской.

— Забывать не след, молодой человек. От забвения души недалеко и до кощунства. Мне лучше вашего ведомо, сколь велики доходы сатаны... Чем заниматься изволите?

— Вот видите, располагаюсь на жительство.

— Я не в том смысле, — разъяснил старик, цепко всматриваясь в стопки книг, выложенные жильцом на подоконник. — Чем на жизнь добываете? В каком чине состоите, где служите — в казенном управлении или в промышленном заведении?

Сергей Иванович ответил.

— Сколько получаете? — никак не отвязывался непрошеный собеседник.

Сергей Иванович для большей авторитетности сказал, что в хорошие, удачные месяцы зарабатывает до ста рублей...

Старик уважительно посмотрел на него и задал новый вопрос:

— А почему с таким содержанием в холостяках находитесь?

Сергей Иванович, не зная, что попадет в точку, выпалил:

— А ну их, сосуд скудельный.

Старик перекрестился.

— Золотые слова сказали, драгоценный. И я их, бесстыжих, не люблю. Возьмите сестрицу мою Агнессу — дура дурой.

Позлословив о женском вероломстве и глупости, гость ушел, пообещав иногда наведываться для душевного разговора.

«Ну и братец! — тревожно думал Сергей Иванович. — Такой и комнату в отсутствие обшарит, письмо вскроет. Нет, видно, надо новое жилье подыскивать».

Старик, словно угадав его мысли, вернулся и с прежней подозрительностью сказал:

— Сестрица моя как была в молодости легкомысленная, так и осталась: забыла вас предупредить, чтобы вы в отсутствие комнату вашу не замыкали, а то вон недавно одни наши знакомые так же вот жильца приютили, а он за шкафом целую лабораторию учредил.

— А зачем она ему? — притворился наивным Сергей Иванович. — Научные опыты производил?

— От таких опытов у высокопоставленных особ куда голова, куда ноги деваются. Я не в обиду вам сказываю и не в намек, а все же комнатку не замыкайте.

— С удовольствием. Мне удобнее: без меня прибраться можно.

Прошла неделя — старик не появлялся. Сергей Иванович хотел отложить поиски другой комнаты, но в пятницу, спускаясь по лестнице, встретил малоприятного гостя.

— Давненько у нас не были, — приветствовал он старика.

— Неужели соскучились? — с хитрецой ответил тот. — Я сюда каждую пятницу хожу. Разве моя глупая сестрица вас не предупредила? Так вот-с, знайте — каждую пятницу.

«Нет, тут, видно, не жить, — думал Сергей Иванович. — Какая досада! Дел столько, а из-за этого чертополоха придется новую квартиру искать...»

А дел и забот у Сергея Ивановича в это время было действительно хоть отбавляй. Самая главная задача была очень простая и в то же время очень трудная — не дать распространиться малодушию, неверию в силы революции, которое охватило многих рабочих и членов партии после подавления декабрьского вооруженного восстания.

Нечего греха таить, сам Сергей Иванович, получив тяжелые вести из Москвы, сначала приуныл. Уж очень много надежд возлагал он на московское восстание, поэтому тем сильнее было разочарование. Но первые, самые горькие дни прошли, и Сергей Иванович начал размышлять более трезво, спокойно: «А что, собственно говоря, произошло? Восстание не удалось, это верно. Почему? Мы, питерские, не поддержали. Что же делать? — Мысли его все чаще и чаще возвращались к Ленину: — Он знает, что надо делать. Он уж наверняка не пал духом, как я».

Как же рад был Сергей Иванович, получив первый номер газеты «Молодая Россия» со статьей Ленина «Рабочая партия и ее задачи при современном положении». Об этой новой газете Сергей Иванович узнал от Литвинова, встретив его в конце декабря на Невском, возле закрытой полицией редакции «Новой жизни».

— Ничего, — бодро говорил Литвинов. — Скоро в этом же доме новая редакция появится. Как ее назовут, пока не знаю, но будет обязательно.

Сергей Иванович уже знал, что первый номер «Молодой России» за статью Ленина конфисковали и газету цензура прикрыла навсегда, а редактора арестовали. И вот драгоценный экземпляр из немногих уцелевших от конфискации попал к Сергею Ивановичу, попал, правда, всего на два часа. Член районного комитета, вручая Сергею Ивановичу газету, предупредил:

— Сегодня же передай товарищу Лядову, с Семянниковского завода. Он к тебе зайдет.

Сергей Иванович с жадностью читал:

«Долой конституционные иллюзии! Надо собирать новые, примыкающие к пролетариату, силы... Надо приспособиться опять к восстановленному самодержавию, надо уметь везде, где надо, опять залезть в подполье».

Сергей Иванович прочитал статью дважды и впервые за тяжелый этот месяц почувствовал себя увереннее, спокойнее: в подполье так в подполье. Не впервой!..

Он обходил квартиры знакомых рабочих, заводил осторожные разговоры сначала о вещах, имевших к политике самое отдаленное отношение, а уж потом заговаривал о главном — о том, как смотрит товарищ на все происходящее вокруг. Встречали его по-разному. Жена литейщика Невского завода Федора Лопатина сразу огорошила бранью:

— Пришел? А кто тебя звал? Хочешь моего Федора под

петлю подвести? Уходи! Уходи, пока я тебя веником не отхлестала.

Да и сам Лопатин смотрел неласково, с недоброй усмешкой:

— Не вышло по-твоему, товарищ, — как тебя по-настоящему зовут, не знаю. Не удалось нам Николку сковырнуть. Сидит. И, видно, крепко сидит. Веником я тебя, понятно, моей дуре хлестать не позволю, но и слушать тебя пока повременю. Мне сейчас не до разговоров. Ребятишки мои с голоду пухнут.

Проходя коридором, Сергей Иванович услышал, как Лопатин выговаривал жене:

— Дура! Веником! Саму тебя веником надо.

Радость наполняла сердце Сергея Ивановича, когда люди с самых первых слов попросту заявляли:

— Послушай, друг, ну что ты меня пытаешь, начинаешь издалека? Говори прямо, не опасайся, не тревожься — не подведу.

А некоторые прямо, без всяких намеков говорили:

— Хорошо бы в годовщину 9 января тряхнуть государеву семейку.

Сергей Иванович, помня совет Ленина, отвечал:

— Невыгодно это нам сейчас. Не к чему врагам нашим удовольствие доставлять. Повременим малость. За нами не пропадет!

Вскоре Сергей Иванович услышал Ленина. В начале февраля член районного комитета сказал ему:

— На днях будет очень интересное собрание о бойкоте думы. Адрес и точное время сообщу послезавтра.

Сергей Иванович на собрание опоздал: попал по пути в полицейскую облаву. По всей видимости, искали какого-то важного преступника: оцепили весь квартал, документы проверяли с особенной тщательностью.

В зале его поразила необычайная тишина, а когда он, войдя, неосторожно двинул стул, на него зашикали. В человеке, стоявшем на небольшом возвышении, он сразу узнал Владимира Ильича.

Ленин говорил, что это не народная, а полицейская и помещичья дума, и Сергей Иванович понял, что Ленин объясняет, почему большевики бойкотируют думу. А Ленин говорил, что выборы назначены не поровну от всех, а подстроены так, чтобы помещики и крупные капиталисты имели полный перевес над рабочими и крестьянами, и что из рабочего класса три четверти совсем лишены права выборов, а остальная четверть будет выбирать с просевкой через три сита: сначала выберут уполномоченных, уполномоченные — выборщиков, а выборщики — депутатов.

Сосед Сергея Ивановича громко сказал: «Ясно!», но на него строго посмотрели сразу несколько человек, и он замолчал.

Ленин на секунду остановился, подвинулся к слушателям бли-

же и заговорил о том, как правительство издевается над крестьянами, как депутатов от крестьян просеивают через четыре сита. И все это для того, чтобы рабочие и крестьяне не могли провести в думу своих настоящих выборных, чтобы не попали в думу люди, стоящие за рабочих и крестьян.

Сергей Иванович заметил, что многие записывают речь Ленина на листках, в тетрадочки, и пожалел, что у него не было бумаги.

В зале стало особенно тихо, когда Владимир Ильич заговорил о полицейском терроре, о том, как правительство без суда и следствия хватает лучших рабочих и крестьян, о том, что расстрелы и экзекуции крестьян, боровшихся за народное дело, идут по всей России.

Особенно врезались в память Сергею Ивановичу последние слова Ленина: «Долой фальшивую, полицейскую и помещичью думу!»

«Вот в чем сейчас главное,— думал он, возвращаясь с собрания.— Надо разоблачать думу, иначе кое-кто может всерьез поверить, что она нужна народу».

* * *

Прошло несколько дней. Сергей Иванович уходил из дома на рассвете, а возвращался, как правило, к полуночи. Хорошо, что новая хозяйка, Агнесса Николаевна, действительно оказалась глуповатой и нелюбопытной: молча открывала дверь, позевывая, крестила рот и уплывала в свою спаленку, указав на чайник, завернутый в старое шерстяное одеяло:

— Наверное, еще не остыл. Кушайте на здоровье.

Однажды, вернувшись домой пораньше, он страшно удивился, услышав от Агнессы Николаевны, что к нему приходили какие-то родственники.

— Сказали, что сегодня придут еще раз. Такой симпатичный, видно, из купеческого звания, да и она премилая, только, видно, нездорова — бледная очень.

Сначала Сергей Иванович подумал, что за ним под видом родственников присылали по поручению Петербургского или районного комитета. Он совсем уже собрался уйти, как хозяйка крикнула:

— Маврикий Александрович, к вам.

Сергей Иванович открыл дверь и увидел молодую пару. Женщина действительно — он это сразу заметил — была бледна. На какое-то мгновение Сергею Ивановичу показалось, что он ее раньше где-то видел. Ее плечистый спутник улыбался по-родственному, словно желая сказать: «Неужели ты меня не признал?»

Неизвестно, как бы повел себя Сергей Иванович с этой парой, не окажись в прихожей брата хозяйки. А уж тут, под по-

дозрительным взглядом старика, все пришлось решать в одну секунду. Сергей Иванович на редкость хорошо изобразил радостное удивление и ринулся к незнакомцу с родственными возгласами:

— Господи! Дорогой ты мой! Каким ветром?

Незнакомец тоже оказался человеком бывалым, сметливым и отлично запомнил, как хозяйка назвала своего жильца.

— Маврикий! Голубчик!.. Аннушка, ты только посмотри на него.

— Смотрю, Коленька, смотрю, — приблизилась к Сергею Ивановичу гостья, давая ему понять, как зовут его родственников.

— Проходите, родные, проходите, — пригласил Сергей Иванович и попросил Агнессу Николаевну: — Хозяюшка, самоварчик вам можно заказать? Может, за водочкой, Коля, сбегать?

— Пожалуйста, не беспокойся. Мы на минуточку к тебе. Пойдем лучше к нам. Мы в номерах у Чернышева моста остановились. У нас там все припасено для встречи. Все домашнее. Даже рыжиков баночку захватили, наливочки...

На лестнице Яков передал Сергею Ивановичу письмо Арсения:

— Прочтите.

Они зашли в первый попавшийся им трактир. Пока официант бегал за закуской, Сергей Иванович прочитал письмо.

— Понял. Значит, вы от Трифоныча. Но вы, молодой человек, рискованно себя вели... И вообще, как вы меня нашли?

— Она вас сразу узнала. Мы около дома вас поджидали. Ивана Никитина помните? С Путиловского? Это сестра его.

— Наташа! Наталья Матвеевна...

— Изменилась? — спросила Наташа.

— Есть немного, да ведь я видел вас, наверное, один раз. Какое же у вас ко мне дело?

— Трудное. Муж Натальи Матвеевны здесь в тюрьме, и ему грозит смертная казнь. Вместе с ним арестована и моя жена. Она, по слухам, тоже здесь, но в какой тюрьме, мы еще не узнали.

— Понимаю. Дело действительно трудное...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

К началу февраля страх, охвативший после подавления московского восстания людей так называемого «приличного общества» — адвокатов, учителей, промышленников и других — стал проходить. Правда, в газетах ежедневно сообщалось о смертных казнях, каторжных приговорах. Но вешали главным обра-

зом революционеров и крестьян-«аграрников» за сопротивление властям. С «приличными» людьми обходились по-другому: им даже дали возможность без умолку говорить. И они говорили, состязаясь в красноречии.

Первые страницы газет заполнили различные объявления и воззвания партий. Чем ближе подходили выборы в Государственную думу, тем больше печаталось объявлений и воззваний. «Благо России, — говорилось в воззвании торгово-промышленной партии,— мы видим в осуществлении коренной русской идеи: царь и народ. Наша партия намерена провести в думу людей достойных, честных».

Иногда партии объединялись и выпускали совместные воззвания, но призывы вступать в партию и адреса комитетов печатались отдельно. Особенно зазывала к себе торгово-промышленная партия. В Москве почти на каждой афишной тумбе висели ее объявления с указанием адресов районных комитетов.

Воззваниями и афишами, подписанными председателем Союза русского народа доктором Дубровиным, были заклеены все заборы и стены домов.

Оживились и в Зимнем дворце. Царь то и дело принимал всевозможные депутации. Извозопромышленник из Рязанской губернии Боринев доложил царю, как ему удалось удержать извозчиков от участия в забастовке.

— Удалось? — спросил царь.

— Удалось, ваше императорское величество.

— Передайте мою благодарность рязанским извозчикам.

Депутации крестьян Щигровского уезда Николай сказал:

— Вы, братцы, конечно, должны знать, что всякое право собственности неприкосновенно. Земля принадлежит вам и помещикам. Ваши нужды мне дороги. Я помню о вас.

Один из депутатов в тот же вечер, сидя в трактире, внес в речь царя поправку:

— Он так и сказал: земля принадлежит помещикам и вам.

Кто-то его поправил:

— Он не так сказал, а по-другому: земля принадлежит вам и помещикам.

Подвыпивший депутат осерчал и показал собеседнику кукиш: «У нашего царя мужики всегда на последнем месте!» В тот же день не в меру догадливого депутата отправили домой по этапу.

И все — предвыборная суета, партийные споры, всякие крупные и мелкие события текущей жизни — седьмого февраля отошло на задний план. В этот день вся Россия вздрогнула и тревожно притихла, ожидая вестей с Черного моря, где начался суд над лейтенантом Шмидтом и его товарищами. Один вопрос волновал сердца миллионов: посмеют ли судьи вынести смертный приговор?

* * *

Михаилу Фрунзе казалось: будь в сутках хотя бы на час больше, у него тогда на все хватило бы времени, даже на то, чтобы один раз в неделю выспаться как следует. Все чаще и чаще из деревень приезжали молодые парни и разными путями, главным образом через знакомых и родственников из рабочих, добирались до «самого главного агитатора Арсения» с единственной просьбой: не можешь приехать сам, пошли к нам кого-нибудь потолковее — уж очень много накопилось у мужиков разных вопросов.

И Фрунзе, только что придя с собрания рабочих завода Толчевского или фабрики Терентьева в Шуе, отправлялся пешком за двадцать-тридцать верст куда-нибудь в Парское, Дунилово, Васильевское. За пять-шесть часов пути он выспрашивал своих провожатых обо всем, что делается в селе, кто как живет, сколько коров и лошадей у богатея Сизова, о чем болтает эсер учитель Павел Юницкий, сколько народу из села побывало на войне, кто убит, кто ранен.

Деревенские собрания, проходившие чаще всего в овине или в омшанике, затягивались до полуночи. Отдохнув немного, поспав тут же на соломе, Арсений отправлялся обратно и в полдень уже сидел над корректурой новой листовки, а еще попозднее проводил занятия с очередной пятеркой боевой дружины — учил стрелять, разбирать и смазывать оружие.

На каждом шагу его подстерегала опасность, особенно с тех пор, как за ним буквально по пятам стал гоняться урядник конной стражи Никита Перлов.

Никиту Перлова в полиции не любили. Он был груб, хитер, завистлив и страстно желал любым путем выслужиться перед начальством. Но зато начальнику полицейского управления Лаврову угодливый урядник пришелся по душе.

— Без лести предан, — отвечал Лавров всем, кто пытался очернить угодливого урядника.

Мечтой Перлова было поймать Арсения. Чего он только не делал для этого! Он бродил переодетым вблизи подозрительных квартир, по целым ночам валялся в канавах, подслушивая разговоры рабочих, но Арсений был неуловим, а Никите не раз попадало по шее от рабочих.

Перлов понял, что одному ему Арсения не изловить. Он перестал маскироваться, перекрашивать рыжие усы. Стал ходить в мундире, при полной форме.

Он с утра появлялся в жандармском управлении и, ожидая вызова к Лаврову, терпеливо сидел на табуретке у дверей несколько часов. Лавров, получив донесения шпиков, звал Никиту к себе. Тот входил, смиренно останавливался у стола и, почтительно наклонившись, внимательно выслушивал задание.

С января 1906 года у Лаврова завелся новый шпик. Несмотря на все старания, Перлов его ни разу не видел. Судя по донесениям, шпик был опытный, толковый, хорошо знал город. Лавров давал всем агентам клички. Степкина за его медлительность и всегда печальные глаза он звал «Карасем», а Анчипова — попросту «Балда».

Новенького он окрестил «Шустрым». В первые дни после появления Шустрого Перлов был очень расстроен. Обещанные Лавровым награда и медаль могли достаться не ему, а этому новому, быстроногому кобелю. Но Никита не сдавался.

— Без Перлова не обойдутся! — хвастался он жене. — Новый только что побыстрее, а толку-то в нем немного. Все равно Арсению моих рук не миновать. Сдохну, а словлю.

* * *

Арсений подходил к квартире Павла. Короткая, на одной подкладке, без ваты, тужурка почти не грела; кожаные сапоги немилосердно скрипели по твердо утрамбованному снегу. Дойдя до обсаженной елями лавки бакалейщика, Арсений по привычке оглянулся. Улица как будто вымерла; крайние дома, уходящие вниз, под гору, сливались в сплошное черное пятно. Окна домов были темны. Арсений, поеживаясь, прибавил шагу. Недалеко от квартиры он услыхал, как кто-то шепотом позвал его.

В узеньком проходе между домами стоял Павел. Он был в опорках, в одной рубашке и без шапки. Арсений быстро шагнул к нему, нашел его руки и, крепко сжав их, спросил:

— Что случилось, Павлуша?

Павел, с трудом раздвигая застывшие губы, ответил:

— Обыск... Я утек. Тебя дожидался. Идем к Личаевым через огороды.

Друзья, низко пригнувшись проскользнули чужим двором и, перескочив низенький плетень, побежали через поле к речке, на другом берегу которой чернели дома Нагорной улицы. Павел бежал, прикрыв руками уши.

Добежав до мостика через речку, Арсений остановился, снял тужурку и накинул ее на плечи Павлу.

У кого из путников, потерявших ночью в метель дорогу, не вырывался вздох облегчения при виде далекого огонька! Стало быть, близко жилье, люди. Хорошо обогреться в жарко натопленной избе, забраться на широкую печь и уснуть, позабыв пережитые волнения... Радостно на душе в такой час, и только одна мысль тревожит: не иссякли бы последние силы.

На окне у Личаевых стояла лампа. Увидев ее яркий свет, друзья переглянулись и остановились. Ветер бросал им в лицо сухой, колючий снег. Они подождали. Свет в окне горел ярко, не угасая. Во дворе у Личаевых, захлебываясь, выл пес.

Зажженная лампа, стоявшая на окне, означала, что в доме засада.

Арсений тронул Павла за руку:

— Пошли, Павлуша, дальше. Все равно раньше утра они не уйдут.

Шел двенадцатый час ночи. Друзья побывали у многих квартир, где им всегда были рады, и нигде в эту ночь они не могли найти приюта: везде условные знаки предупреждали об опасности.

Павел мелко дрожал всем телом. Носовой платок, повязанный ему Арсением, еле прикрывал отмороженные уши. С трудом повиновались ставшие вдруг деревянными ноги. Арсений нахлобучил шапку на лоб, часто снимал с ресниц иней; ободряя друга, крепко обнимал его.

Вся надежда оставалась на литейщика Кочнева. Это была последняя конспиративная квартира.

У Кочнева окна были наглухо закрыты ставнями. Павел обрадованно сказал:

— Вот мы и дома!

Арсений молча потянул его ближе к забору: во дворе у Кочнева стоял городовой.

Осторожно, стараясь не привлечь внимания постового, друзья свернули в узкий переулок и, миновав его, пошли через пустырь. Становилось все холоднее и холоднее. Снегу на пустыре было по колено. Павел споткнулся и упал. Он лежал на снегу, крепко сжав губы. Арсений, стоя на коленях, оттирал ему ноги, уговаривая подняться. Павел молчал и не двигался.

Арсений поднял его и понес через железную дорогу в поселок Памфиловку. Дойдя до маленького покосившегося домика, первого, что попался навстречу, он посадил Павла на лавочку и постучал. Старческий голос негромко спросил из-за двери:

— Кто там? Вася, ты, что ли?

Арсений внятно, спокойно произнес:

— Не дайте человеку замерзнуть. Пустите переночевать.

В доме было тепло. Вкусно пахло хлебом и сапожным товаром. Хозяин дома, незнакомый Арсению высокий, худой старик, ушел и вскоре вернулся с большим блюдом, полным снега. Он ловко уложил Павла на скамейку и принялся оттирать ему ноги. Арсений хотел помочь, но старик сердито заворчал:

— Ты, брат, не в свое дело не суйся. Лучше себе уши да руки оттирай.

Потом старик достал из сундучка белые носки из грубой шерсти. Натягивая их Павлу на ноги, он как будто невзначай задал вопрос, которого Арсений давно ожидал:

— А откуда вы такие?.. Пустил ночлежников, а кто вы, даже не спросил.

Павел махнул рукой, как будто сбрасывая с себя пиджак. Арсений понял совет друга:

— Из Бойтова мы. На заводе работаем. Домой шли, а нас по дороге раздели. Ну, мы и решили к кому-нибудь постучаться. К тебе не к первому стучались, да не пускают: мало ли, говорят, вас по ночам шатается...

* * *

Павел спал. Арсений сидел на печке. На нем были огромные с кожаными заплатками валенки. Глаза у него слипались от усталости, ему хотелось спать, а хозяин уже не в первый раз рассказывал одно и то же:

— Сплю, а вы стучитесь. Что, думаю, за оказия? Кому же это, думаю, быть? Василий мой в ночной работает, должен прийти под самое утро. Смотрю, а это вы. В такой мороз раздеть. Долго ли замерзнуть!

Арсений молчал и только иногда тревожно поглядывал на Павла.

Неожиданно старик подошел к Арсению и решительно сказал:

— Ложись, парень, спи! Скоро светать будет. Я же тебя сразу узнал. Тоже басню сочинил — раздели! Как тебя по имени-отчеству величают, не знаю, но слушать тебя ходил не раз.

Арсений осторожно переспросил:

— Узнал, говоришь? Ну вот и хорошо! У знакомого человека и гостевать лучше. Что же теперь делать будем?

— А ничего. Ты ложись и спи. У меня тебя никто не сыщет. Не сомневайся.

— Спасибо, дед!

— А ловко ты их... хозяев-то! Слушал я тебя на прошлой неделе. И до чего же правильно все!

Старик не договорил — Арсений спал.

Осторожно, стараясь не разбудить спящего, старик поднял его ноги на печь, прикрыл тулупом и подложил под голову валенки.

Арсений дышал ровно, спокойно. Старик выпустил кошку, запер за ней дверь и сел у окна.

Светало. По снежным улицам проносились конные стражники и казаки. У домов, выслеженных Шустрым, мерзли городовые и жандармы. Никита Перлов, завернувшись в тулуп, лежал за погребом, в канаве, наблюдая за крыльцом Павловой квартиры. Лавров в ожидании, когда приведут к нему неуловимого Арсения, нетерпеливо ходил по кабинету.

* * *

Как только начался процесс над лейтенантом Шмидтом, Арсений чуть свет бежал к телеграфисту Воронкову, который покупал для него в вокзальном киоске свежие газеты, доставляемые из Москвы ночным поездом.

. Тут же, в комнатенке у Воронкова, Арсений торопливо развертывал «Московские ведомости» или «Русское слово» и, найдя на первой или на второй странице среди черной россыпи объявлений о дешевых распродажах, сдаче комнат и предложений всевозможных услуг заголовок «Суд над Шмидтом», глотал судебный отчет, а потом медленно перечитывал, часто повторяя: «Молодцы! Как держатся!».

Ночью, прежде чем уснуть, Арсений подолгу думал о Шмидте.

По газетным отчетам он хорошо представлял его наружность: высокий, худощавый человек в форме лейтенанта флота, на бледном лице большие печальные глаза. Рядом — матросы: Частник, Гладков и Антоненко. О них газеты писали скупо. Частник казался Арсению смелее всех.

Иногда Арсений даже просыпался ночью, и первой мыслью его было: «Как они там? Не спят, наверное?»

Приходил день, и возникали неотложные дела: то надо было ехать в Иваново-Вознесенск, где Федор Самойлов организовывал первые профессиональные союзы; то надо было добираться до Горок, где забастовали шорыгинские ткачи, или торопиться в Кохму, откуда товарищи сообщали тревожную весть: среди них, по всей видимости, завелся провокатор — уж очень много арестовано большевиков, причем самых опытных конспираторов.

И каждый день Фрунзе вспоминал Олю Генкину. Острая боль прошла, но осталась в сердце тихая грусть. И почему-то чаще всего вспоминалась Оля такой, какой она была в один из осенних вечеров в Петербурге. Они тогда стояли на набережной. Хмурая, черная Нева плескалась внизу.

— Знаете, Миша, о чем я мечтаю? Очень мне хочется поехать с вами по Волге на пароходе. Утро. На реке тишина. Все спят. На окне беленькая занавеска чуть колышется от ветерка...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Адвокат Осип Иванович Лукьянов, которого нашел Сергей Иванович Семенов, взялся вести оба дела: Важеватова и Груни.

Увидев Лукьянова впервые, Яков шепнул Наташе:

— Ничего не выйдет. Ценой не сойдемся. Потребует столько, что нам и в год не заработать.

Хорошо сшитый сюртук из тонкого дорогого сукна плотно облегал крупную, дородную фигуру адвоката. Холеное лицо с большими голубыми глазами навыкате, красиво подстриженная борода, ослепительной белизны манжеты, запах духов — все выдавало в нем барина, любителя хорошо пожить.

Рассказав Лукьянову о деле, Яков весьма неделикатно предупредил:

— Гонорар от нас будет небольшой.

Лукьянов встал и вежливо, но очень твердо дал понять, что этот разговор считает излишним и обидным.

— Вас, очевидно, не предупредили. За защиту политических я гонорара не беру-с!

Вскоре Наташа и Яков были в восторге от нового знакомого. Там, где им потребовались бы дни и даже недели, Осип Иванович управлялся за час-полтора. Он быстро узнал, в какой тюрьме сидит Груня, почему она оказалась в Петербурге. Только одного он не мог понять: почему Груне надели наручники.

Он вслух читал Якову и Наташе статью 408 «Уложения о наказаниях»:

— Вот, пожалуйста, посмотрите: «Кандалы суть ножные и ручные; те и другие могут быть налагаемы только на лиц мужского пола».

Он листал страницы, разыскивая все, что относится к кандалам.

— «Вес от пяти до пяти с половиной фунтов. Под обручи ножных кандалов надеваются подкандальники...» А вот, пожалуйста, можно, оказывается, и женщинам. Это пересыльным, особо опасным и только в пути, для предупреждения побега, — объяснил Осип Иванович. — Нет, с вашей женой что-то необычайное приключилось. Даже свидания не дают.

Недели через две Осип Иванович приехал к ним в номера рано утром и объявил Наташе:

— Следствие закончено. Сегодня у вас будет возможность повидаться со Степаном Ильичом. Скажите, на какое имя хлопотать о пропуске? Если иметь в виду дальнейшее — вашу просьбу о бракосочетании,— то вам следует открыться, назвать свое имя.

Наташа назвала ему свое настоящее имя и фамилию.

Лукьянов крепко пожал ей руку:

— Готовьтесь! Ждать осталось немного. Может быть, даже в полдень вы увидите мужа.

Уходя, он кивком вызвал Якова в коридор:

— Сегодня адмирал Чухнин утвердил смертный приговор Шмидту и матросам. Расскажите ей об этом осторожно. Я очень опасаюсь, что ее мужа ждет такая же участь.

Пока Яков провожал Лукьянова, в комнату к Наташе во-

шла молоденькая коридорная и, предполагая, что жиличке все уже известно, вытирая слезы, сказала:

— Ничего делать сегодня не могу, все из рук валится. Как же это? Таких людей казнить! Да разве можно?

Наташа сразу поняла:

— Откуда вы знаете?

— В газетах напечатано. Вы выйдите на улицу — не протолкнуться...

* * *

Наступил час свидания. До тюрьмы Наташу провожал Яков. У ворот он передал ей сверток со съестным для Степана и еще раз напомнил, о чем так много говорил раньше:

— Держись, Наташенька! Его не расстраивай и себя побереги.

В большой комнате было много женщин и детей. В руках у всех узелки, коробки. Наташа подошла к окошечку, над которым висела табличка: «Прием пропусков». Она подала свой пропуск.

— Вызовем.

Часто входил дежурный и называл фамилии. Женщины торопливо вскакивали и бежали к узенькой двери. Наташа углубилась в свои невеселые мысли.

— Никитина! Наталья!

Наташа, очнувшись, спросила соседку:

— Кого вызывали?

— Никитину, а ее, видно, нет.

— Я здесь! — закричала Наташа. — Пустите меня! Я здесь!

— Что же вы, Никитина, — подозрительно посмотрел на нее дежурный, — фамилии своей не помните? Мечтать надо не здесь, а на островах, на Стрелке-с. Позвольте вашу покупочку на досмотр.

Ее ввели в комнату с решетчатой перегородкой, около которой стояли женщины и громко говорили. В коридорчике между двумя решетками шагал от стены к стене надзиратель. Заключенные стояли за второй перегородкой и говорили так же громко.

— Встаньте тут, — показал провожатый место у стены.

— Я его не вижу, — с отчаянием сказала Наташа. — Где же он?

— Сейчас приведут.

За второй перегородкой хлопнула дверь, и Наташа тотчас же услышала:

— Наташенька! Подойди. Я тут.

Как ни крепилась Наташа, и все же не выдержала, заплакала.

Наташа почти не слышала, что говорил Степан, и только кивала ему головой. Потом она крикнула ему:

— Когда суд?

Подошел надзиратель.

— Об этом говорить не положено. Предупреждаю в первый раз.

Но Степан понял и тоже крикнул:

— На этой неделе!

А потом произошло совсем уж неожиданное. Молодая высокая женщина в черной меховой шапочке и с огромной муфтой в руках звонко крикнула заключенным:

— Товарищи! Суд приговорил Шмидта к смерти! Адмирал Чухнин утвердил. Вы слышите, товарищи?

— Слышим, — донеслось с той стороны.

В приемную вбежали надзиратели. Они схватили молодую женщину и потащили к выходу, а она все кричала:

— Товарищи! Товарищи!..

* * *

Как ни пытался Осип Иванович устроить Якову свидание с Груней, ничего не вышло. Везде, куда только ни обращался он, слышал одно и то же:

— Содержится в тюрьме под личным наблюдением Дурново. Обращайтесь только к нему.

Груня сидела в «Крестах». Ее только один раз вызвали к следователю, который ни о чем не расспрашивал, а осмотрев с ног до головы, приказал увести в камеру. Дня через три надзирательница принесла в камеру синее шерстяное платье, чулки, ботинки на пуговицах и белый платок:

— Одевайся!

Ничего не понимая, даже не догадываясь, что все это означает, Груня переоделась.

В конторе около маленького настенного зеркала, висевшего у самого выхода, Груня на секунду задержалась. Она поправила плохо повязанный второпях платок и усмехнулась:

— Укатали сивку...

В большой комнате сидел тот самый человек в незнакомом Груне мундире, которого она видела в московской тюрьме.

— Садитесь, — указал он на стул с высокой спинкой.

Из комнаты направо вышел еще один в таком же мундире и спросил:

— Скоро?

— Еще одну приказал вызвать.

Из кабинета начальника вышла молодая женщина в таком же, как у Груни, синем платье, только платка на ней не было, и Груня рассмотрела ее пышные пепельные волосы, стяну-

тые сзади в большой узел. Заметив Груню, женщина улыбнулась и сказала:

— Еще одна участница этого спектакля. Ничего, держись, товарищ!..

В коридоре кто-то бежал. Дверь распахнулась, просунулась голова в форменной фуражке:

— Приехал! Его высокопревосходительство!

Чиновник постучал в дверь:

— Ваше превосходительство, к вам Петр Николаевич.

Едва он успел отскочить от двери, как в приемную быстро вошел Дурново.

— У себя? — спросил он, направляясь к двери налево.

— У себя-с, ваше высокопревосходительство. Ждут-с вас.

Дурново прошел мимо Груни, даже не посмотрев на нее. Из кабинета навстречу ему вышел жандармский генерал.

— Петр Николаевич! Добрый день.

— Здравствуйте, Карл Георгиевич. Как идут дела?

— По-моему, успешно.

— Поговорили? — спросил Дурново, сбрасывая шубу на руки подбежавшему чиновнику.

— Пятую вызвал.

— Поговорим вместе.

Они ушли в кабинет, и только тут чиновник вспомнил о Груне:

— Что ты стоишь на самом виду, дура!

— Сами поставили.

— Тс! — зашикал на Груню второй чиновник. — Помолчите.

Раздался звонок. Чиновник просунул голову в дверь и тотчас же распахнул ее.

— Входите, — сказал он Груне. — Быстрее.

— А мне торопиться некуда, — задорно ответила Груня. — У меня в будуаре еще приборочка идет.

Она не спеша вошла в кабинет. Генерал сидел за большим письменным столом, а Дурново — в глубоком кожаном кресле. Напротив стояло такое же. Груня, не найдя другой мебели, без приглашения утонула в кресле, сказав:

— Мягко!..

Дурново весело, с удовольствием посмотрел на нее:

— Очень рад, если понравилось... Простите, ваше имя и отчество? — обратился он к Груне.

— Савватеева, — вежливо ответила Груня и тут же насмешливо осведомилась: — Простите, с кем имею честь разговаривать?

Дурново усмехнулся и лукаво посмотрел на генерала.

— Я — Петр Николаевич Дурново, министр внутренних дел, и генерал-майор Курнанд Карл Георгиевич, начальник первого отделения департамента общих дел. Вас это устраивает?

— Вполне, — снова усмехнулась Груня. — Очень приятно. А я — Аграфена Васильевна, ткачиха Дербеневской фабрики из города Иваново-Вознесенска. Слыхали о таком городе?

— Приходилось, — все с той же приятностью сообщил Дурново. — Поскольку мы, так сказать, познакомились, давайте поговорим. Продолжайте, Карл Георгиевич.

— Вы должны говорить нам только одну правду, — начал генерал, строго посмотрев на Груню.

— Я никогда не вру. Это только ваш Леонтьев все время нам врал.

— Какой Леонтьев?

— Губернатор наш.

— Вы, госпожа Савватеева, видно, за словом в карман не лезете.

— У меня карманов нет, господин Дурново. В казенном платье не положено.

— Попрошу не отвлекаться, — заметил генерал.

— Не я его, а он меня отвлекает, — резонно заметила Груня.

— Довольно шутить, — продолжал генерал, — отвечайте на вопросы.

— Задавайте.

— Первый вопрос: почему вы, такая молодая...

— И хорошенькая, — добавил Дурново.

— ...Такая молодая, примкнули к противоправительственному движению? Из вашего дела видно, что вы состоите членом РСДРП. Что вас толкнуло на этот опасный путь?

— Вам трудно будет понять меня, господин генерал.

— Отчего же? — вмешался Дурново. — Мы люди с понятием. Тебе бы, милая, в субретки к богатому старичку идти, а не политикой заниматься, — вставил Дурново.

— А вам бы к нему, — в тон ответила Груня, — в дворники идти или в ночные сторожа. Все бы жулики боялись.

Хорошее настроение у Дурново пропало, но он все же попытался держаться шутливого тона и, подойдя к Груне, потрепал ее по щеке:

— А ты, красотка, злюка...

— Какая есть, — отрезала Груня. — Спрашивать, барин, спрашивайте, а рукам воли не давайте.

— Ну, замолола! — крикнул генерал. — Вызову взвод, да и выпорю.

— А я от вас, барин, ничего хорошего и не жду. Вижу, что вы за птицы.

— Уберите эту фабричную шлюху! — со злостью сказал Дурново, махнув перчаткой.

— Ах ты, скотина! — вспыхнула Груня.

Генерал нажал кнопку звонка.

Вбежали чиновники. Груню потащили к дверям.

— Вот и поговорили, ваше превосходительство! — успела она крикнуть на пороге.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Степана Важеватова судили в Санкт-Петербургском военно-окружном суде.

Как и на предварительном следствии, весь допрос свелся к покушению на великого князя Бориса Владимировича. Все остальные обвинения: участие в забастовках, дезертирство, убийство Игоря Кручинина и побеги из-под стражи — мало интересовали председательствующего на суде генерал-майора фон Геллерна. Степан был этим очень доволен. Ничего хорошего он от суда не ждал, а слабый интерес судей к его революционной деятельности избавлял его от показаний, которых он и не думал давать.

— Подсудимый, — сказал председательствующий, — на предварительном следствии вы утверждали, что в ночь с тридцать первого декабря 1904 года на первое января 1905 года были в гостях у ваших знакомых. Назовите, кто там был.

На такой же вопрос на предварительном следствии Степан назвал родителей Наташи, Ивана, Тоню, Алешу Колесникова и, проговорившись, даже Игоря Кручинина,— впрочем, назвав его только по имени.

Следователь, узнав, что все эти люди умерли, засмеялся:

— К сожалению, свидетелей с того света не вызываем. Вспомните кого-нибудь живых.

— Не помню...

— Так и запишем, — иронически заметил следователь и задал следующий вопрос, на который, как он и предполагал, заключенный мог сказать только одно слово:

— Кто вам разрешил покинуть лазарет?

— Никто.

— Так и запишем, — снова с улыбкой сказал следователь.

Степан тогда еще решил: «На суде буду молчать. Я могу говорить что угодно — все равно бесполезно. Все равно повесят. Зачем же им удовольствие доставлять? Пусть позлобятся...»

Председательствующий, полагая, что подсудимый не понял его, повторил.

— Я слышу, — ответил Степан.

— Надо отвечать на вопросы суда, — назидательно сказал полковник, сидящий слева от фон Геллерна.

— Я слышу, — повторил Степан.

Степан на все вопросы отвечал или одним словом «слышу», или молчал, рассматривая портрет царя, висевший за судейским столом.

Председательствующий пошептался с членами и спросил:

— Вы здоровы, подсудимый?

Важеватов посмотрел ему прямо в глаза и с усмешкой ответил:

— Совершенно здоров, ваше превосходительство.

Председатель снова пошептался и объявил:

— Садитесь, подсудимый.

Начался допрос свидетелей. Первым допрашивали бывшего унтера Куркова, потом допросили трех однополчан Степана и среди них Захара Калинина. Степан с любопытством смотрел на Захара, думая, скажет он или нет о последней встрече в декабре. Но Захар промолчал.

Затем допрашивали фельдшера Цветухина. Цветухин мог бы его спасти, если бы сказал правду. Только разве он скажет, подлая душа! И Цветухин, после того как священник принял от него присягу и клятву говорить только правду, начал врать, как врал и на предварительном следствии.

Степан не слушал ни его, ни прокурора, все считал, сколько квадратов паркета умещается на полу от скамьи подсудимых до судейского стола. Один раз он насчитал двадцать шесть, а другой — двадцать семь. Он начал считать еще раз, но ему помешал председательствующий.

— Вам предоставляется последнее слово.

Степан встал:

— Кончайте скорее, ваше превосходительство.

Председательствующий удивленно пожал плечами и торопливо объявил:

— Суд удаляется на совещание.

Всего приговора со ссылками на многочисленные статьи и параграфы Степан не упомнил, да он и не интересовал его. Ему важно было услышать последние слова, определяющие меру наказания. Бледный, он стоял по стойке «смирно» и никак не мог унять дрожь в руках. Он услышал:

«На основании всего вышеизложенного оный бывший солдат кавалергардского полка Важеватов Степан сын Ильичов, виновный в покушении на жизнь высочайшей особы его императорского высочества великого князя Бориса Владимировича, а также в убийстве мещанина города Иваново-Вознесенска Кручинина, а также за двукратные побеги из-под стражи с покушением на жизнь охраняемых приговаривается к смертной казни через расстреляние...»

Степану очень хотелось в это мгновение кому-нибудь сказать хотя бы два слова. Он повернулся к конвойным:

— Слыхали, братцы?

Конвойные, молодые солдаты, испуганно посмотрели на него, а председатель, прервав чтение, привычно сказал:

— Подсудимый, разговаривать с конвоем воспрещается.

После того как генерал дочитал приговор, все судьи собра-

ли со стола бумаги и ушли в маленькую дверь, находившуюся справа от стола. Степан, ожидая, пока старшой вызовет дополнительный конвой, сел на скамью. За плохо прикрытой дверью слышался голос фон Геллерна:

— Курите, господа, курите. Я так давно бросил это занятие, что меня теперь дым абсолютно не раздражает.

* * *

Наташу в зал заседаний суда не пустили. Она несколько раз пыталась подойти к дверям, но конвойные отгоняли ее. Она села у дверей на скамью и, вся дрожа, заявила, что никуда отсюда не уйдет.

— Его здесь поведут. Я его обязательно увижу.

Она еще в глубине души надеялась на милосердие судей.

Хлопала тяжелая дверь, мимо проходили люди, все больше военные. Наташа никого не видела. Появился Осип Иванович. По его расстроенному, печальному лицу Наташа поняла, что произошло самое страшное.

Осип Иванович обнял ее:

— Идемте, родная, отсюда. Нам надо торопиться.

— Подождите. Его здесь поведут.

— Его уже увели. Для осужденных другой выход. Я задержался в канцелярии. Идемте. Надо как можно скорее писать прошение о помиловании.

Наташа схватила Лукьянова за руки:

— Осип Иванович! Милый! А это можно?

— Конечно, можно. За успех, Наталья Матвеевна, никто ручаться не может, но попытаться обязательно надо. Скорее ко мне: я живу близко от комиссии.

— А теперь перепишите вы. — Лукьянов посмотрел на часы. — Побыстрее. Комиссия по приему прошений находится в здании Эрмитажа. Занятия в ней до четырех, а статс-секретарь по принятию прошений кончает в два. Садитесь и пишите.

Наташа, в один день похудевшая до неузнаваемости, покорно ответила:

— Давайте.

— Пишите разборчивее. Я буду диктовать: «Всепресветлейшему Вседержавнейшему его императорскому величеству государю императору...» Пишите, так полагается. Это — форма. «Ваше императорское величество государь император! Припадая к стопам вашего величества в высокоторжественный день рождения вашего родителя...»

— Разве так надо?

— Что ж поделаешь, форма... «...прошу помиловать моего жениха, а если, ваше величество, вам будет не благоугодно оказать вашу монаршую милость и сохранить жизнь моему возлюбленному, то прошу вас о последней милости — разрешить мне

бракосочетание с ним, дабы будущий ребенок мой, которого я решила назвать в честь вашего сына Алексеем, был полноправным перед людьми, законом и господом богом».

Лукьянов, аккуратно складывая прошение в папку, торопил Наташу. Заметив недоверчивый взгляд Якова, объяснил:

— У меня надежда на два обстоятельства: во-первых, царь сентиментален, и если прошение до него дойдет, он может оказаться не гуманным, нет, а именно сентиментальным. На него может повлиять, что вы обещали ребенка назвать в честь его сына. И второе: сегодня действительно день рождения его отца. Это тоже может сыграть свою роль. Но самое главное для нас — заставить статс-секретаря принять прошение. Тогда мы получим в канцелярии квитанцию и отвезем ее в тюрьму. До получения ответа приговор приведен в исполнение не будет.

Если бы не Лукьянов, Наташу, конечно, не пустили бы в приемную статс-секретаря, но Осип Иванович очень ловко умел со всеми разговаривать. Швейцару у подъезда он сунул в руку зелененькую трехрублевую бумажку. Тот, сразу оценив щедрость, безмолвно распахнул белую с золотом дверь.

Большого труда стоило Лукьянову уговорить дежурного чиновника по приему.

— Не могу. Их сиятельство уже выходили. Приняли восемь прошений.

Четвертной билет, положенный под пресс-папье, подействовал на чиновника необычным образом. Он взял его, протянул Лукьянову и строго сказал:

— Как вам не стыдно! Сейчас доложу.

Он ушел и тотчас же вернулся.

— Сейчас выйдут. Станьте вот тут.

В приемную вышел статс-секретарь комиссии прошений барон Будберг, высокий худощавый старик, очень похожий на императора Александра Второго.

— Что у вас?

— Прошение на августейшее имя. Просьба о помиловании приговоренного к смертной казни.

— За что приговорен?

— За революционную деятельность.

— Принять не могу, — сухо ответил Будберг и повернулся.

— Ваше сиятельство! — умоляюще крикнула Наташа. — Помилосердствуйте...

— Я вам сказал — не могу.

Наташа упала на колени:

— Ваше сиятельство, у меня еще просьба.

— Встаньте. Я этого не люблю. Что еще?

Наташа подала ему прошение:

— Я прошу разрешения повенчаться с отцом моего ребенка. Помилосердствуйте. Это может разрешить только государь.

— Не могу.

— Ваше сиятельство! У вас есть дети? Внуки? Ради них! Помилосердствуйте...

— Мои дети и внуки — верные слуги престола и отечества.

Наташа вдогонку ему крикнула:

— Пожалейте... Господи!

Будберг повернулся, подошел к распростертой на паркете Наташе:

— Бог с вами, приму.

Наташе показалось, что все происходило как во сне. Она не помнила, как Осип Иванович благодарил чиновника, как получал от него квитанцию. Опомнилась она уже на улице. До Невского они почти бежали. Потом крикнули первого попавшегося извозчика:

— В тюрьму, братец! Скорее! Рубль на водку.

— В какую, барин? Их у нас много. В Литовский замок, что ли?

— Угадал, братец. Гони!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Звезда графа Витте закатывалась. Это понимали все, и в первую очередь он сам. Намеки на недовольство царя своим первым министром были слишком ясными даже для непосвященных. Спасая свое положение, Витте перестал играть в либерализм и не только не морщился, узнавая о кровавых подвигах карательных отрядов, но сам руководил их действиями.

Он охотно содействовал награждению особо отличившихся офицеров и жандармов. Именно по его инициативе железнодорожникам Николаевской дороги выдали наградные за то, что они не поддержали декабрьское вооруженное восстание и пропустили в Москву Семеновский полк.

Витте начал заискивать перед Дурново, добивался свиданий с Треповым и царицей, делал подарки Вырубовой. Ничто уже не помогало.

Не спросив согласия премьер-министра, царь уволил в отставку ставленника Витте министра земледелия Кутлера. Обиженный граф попросил Николая обставить уход Кутлера поприличнее и назначить его членом Государственного совета. Царь согласился, но как только граф приехал домой из Царского Села, к нему прискакал фельдъегерь с запиской о том, что царь, подумав, решил не назначать Кутлера членом Государственного совета. Иной, видя столь немилостивое отношение, наверняка бы отступил. Упорный Витте потребовал назначения Кутлера хотя бы сенатором. Царь согласился и тотчас же послал вдогонку фельдъегеря с запиской: «Назначение Кутлера в Сенат считаю неудобным».

Были щелчки и поменьше. Среди награжденных орденами к Новому году не оказалось тех, кого особенно настойчиво представлял Витте. А вскоре был нанесен еще один чувствительный удар: супруге премьер-министра в день ее рождения «забыли» прислать из придворной оранжереи цветы, тогда как этой чести совсем недавно удостоили жену морского министра.

Граф, окончательно убедившись, что его только терпят до поры до времени, попросил отставку. Ее не приняли. Отказав графу в отставке, царь тем временем все чаще и чаще поступал вопреки его мнениям и советам. Николай успел оправиться от испуга. Ему казалось, что Витте против его воли вырвал у него манифест 17 октября, а все близкие к царю люди теперь считали манифест не только преждевременным, а просто ненужным и вредным. Николай с большим желанием избавился бы от Витте, но он был еще нужен: российская казна находилась накануне банкротства, нужен был иностранный заем, а добиться его быстрее всех и на наиболее выгодных условиях мог Витте, пользовавшийся в иностранных финансовых кругах большим доверием.

К тому же за границей началась агитация против займа царской России. Известный во всем мире писатель Максим Горький, которого пришлось выпустить из Петропавловской крепости, был выслан за границу. Горький горячо протестовал против займа царю Николаю.

Французские писатели Анатоль Франс, Виктор Маргерит выпустили сборник с протестом против смертных казней в России.

Все это заставило царя еще некоторое время мириться с пребыванием Витте на посту премьер-министра. Однако на всеподданнейших докладах премьер-министра царь откровенно зевал, делал замечания невпопад — очевидно, думал о чем-то другом. Иногда начинал спорить по совершенно понятным вопросам и часто выходил из себя, резко обрывая Витте.

На совещании по обсуждению законопроекта о смертных казнях присутствовал сам Николай. После сообщения министра юстиции Акимова Николай первому предоставил слово Дурново:

— Ваше мнение, Петр Николаевич?

Дурново, не успевший узнать, что думают по поводу проекта царица и Трепов, уклончиво ответил:

— Проект в главном заслуживает внимания, но требует глубокого изучения.

— Что скажете вы, Сергей Юльевич?

Витте встал и начал подробно излагать все свои соображения «за» и «против» нового законопроекта. Он говорил обстоятельно, со ссылками на старые законы, как русские, так и иностранные. Через несколько минут он заметил, что Николай со скучающим видом рисует синим карандашом что-то длинноухое отдаленно напоминающее кролика. И Витте понял: законопроект давно одобрен и обсуждение происходит лишь ради формы. Же-

лая как-нибудь вывернуться из глупого положения и доказать, что он все-таки что-то значит, Витте продолжал:

— Военному суду обязательно предаются лица, совершившие следующие политические преступления: покушение на здоровье или жизнь правительственных лиц и приготовления к этому, а равно лица, занимающиеся изготовлением взрывчатых бомб. Военный суд, признав подсудимого виновным, обязан присуждать его к смертной казни. Приговор такого суда не должен иметь санкции административной власти, то есть утверждения его генерал-губернатором, министром внутренних дел и так далее.

Николай, заметно оживившись, остановил графа:

— Что значит «так далее»?

Наступило неловкое молчание. Не получив ответа от Витте, Николай встал из-за длинного стола, за которым шло заседание, и подошел к стоявшему у окна письменному столу. Он полистал какие-то бумаги и неожиданно для всех сказал:

— Любопытно! Сегодня барон Будберг оставил мне на заключение два прошения о помиловании лиц, приговоренных к смертной казни. Кстати, Сергей Юльевич, оба лица осуждены за покушение на жизнь моих близких. Как я должен поступить по вашему мнению?

— Утвердить оба приговора, ваше величество.

— Войти в ваше понятие «и так далее»? А что вы скажете, Петр Николаевич?

Не ожидавший вопроса Дурново быстро сообразил, что его ответ должен коренным образом отличаться от мнения Витте:

— Позвольте, ваше величество, высказать следующие соображения. Бесспорно, повинные в покушении на правительственных лиц и особ царствующего дома заслуживают только смертной казни. Но в переживаемое Россией время, когда наконец восторжествовали порядок и законность и когда нам, вашим верноподданным, приходится очищать русскую землю от крамолы, я бы лично желал видеть моего государя милосердным. Не потому, что я склонен потворствовать темным силам, а потому, что наш добрый народ желает видеть таким своего монарха. Мое мнение, ваше величество, помиловать.

— Обоих? — спросил Николай.

У Дурново задвигались уши, но он все в том же тоне продолжал:

— Наш народ любит говорить: если миловать, так уж миловать, ваше величество.

Николай хмуро, подозрительно посмотрел на министров, подошел к общему столу, присел и тем же синим карандашом, которым недавно рисовал что-то длинноухое, написал на первом прошении: «Оставить в силе». Поднял глаза, испытующе посмотрел на Витте и написал на втором: «Дарую жизнь» — и расписался: «Николай».

— Продолжим, господа, наше обсуждение...

Витте, сидящий почти рядом, по правую сторону от Николая, мельком посмотрел второе прошение, положенное царем сверху, и на долю секунды остановился на фамилии. Фамилия помилованного была довольно редкая — Важеватов.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Хотя Сергей Иванович, не выдержав визитов братца хозяйки, снова сменил квартиру, Фрунзе, остановившись по дороге в Стокгольм на Четвертый съезд партии, все же разыскал его и остался у него ночевать. От Семенова Фрунзе узнал о судьбе Степана и Груни, которую к этому времени увезли обратно в Москву. Наташа и Яков были еще в Петербурге, ожидая, когда духовная консистория даст разрешение на венчание. Фрунзе хотел повидать своих друзей, но он отказал себе в этом удовольствии, понимая, что, как делегат съезда, не имеет права рисковать и, не дай бог, прицепить к себе филера. Фрунзе даже Сергею Ивановичу не сказал, что едет на съезд, и Семенов подумал о нем: «Вот это конспиратор! Вот это дисциплина!»

Вскоре новые хлопоты овладели Сергеем Ивановичем. Петербургский комитет счел нужным, чтобы товарищ Семенов, конечно, под другой фамилией, начал работать в одной из столичных газет. Но вышло еще лучше: Сергей Иванович устроился в Санкт-Петербургское отделение московской газеты «Русские ведомости». Это было удобнее во всех отношениях. Можно было иногда ездить в Москву и служить хорошим связным между двумя партийными организациями. Кроме этого, репортерский билет солидной газеты разрешал вход во многие ранее недоступные места.

Семенов решил не отличаться от своих трех коллег и в особенности от Александра Барышева, высокого, очень худого человека с лысой головой и лошадиной челюстью. Совсем недавно Барышев, несмотря на довольно преклонный возраст, опередил репортеров всех петербургских газет и первым явился в Озерки, где на углу Варваринской и Ольгинской, на даче госпожи Звержинской, обнаружили труп Гапона. В последние дни гордость прямо-таки распирала старика.

— О деятельности первого российского парламента москвичи узнают от меня. Это не шутка. Учитесь, мой друг, пока я жив!

За два дня до открытия думы старик помчался в банк «Лионский кредит», куда, как он узнал, направились вскрывать личный сейф Гапона прокурор Санкт-Петербургского окружного суда и судебный следователь по важнейшим делам. Барышев дождался результатов и, получив точные сведения от самого прокурора, что в сейфе обнаружено сто сорок тысяч рублей и четырнадцать тысяч франков, с несвойственной его годам прытью по-

скакал по лестнице. Старика подвели стертые клиентами ступени: он поскользнулся и сломал ногу.

Заведующий отделением «Русских ведомостей», узнав о печальной новости, горевал недолго. Он вызвал Сергея Ивановича:

— Придется думой заняться вам. Идите в дворцовую контору, получайте разовый пропуск в Зимний, а потом бегите в канцелярию думы за постоянным пропуском в Таврический.

* * *

Утром 27 апреля все площади, улицы и переулки вокруг Зимнего дворца заполнили войска. Ближние подходы к Зимнему охраняла гвардия. На Дворцовой площади стояли семеновцы. У Адмиралтейства расположились преображенцы. Набережную заняли лейб-уланы.

У Певческого моста стояла сотня лейб-казаков. На Невском вход через арку Главного штаба охраняли кавалергарды. Вдоль решетки Александровского сада стояли городовые, у выхода с Невского — лейб-гвардии гренадеры.

Солдатам выдали по шестьдесят боевых патронов.

Но как ни многочисленна была охрана, все же без инцидента не обошлось. У малого эрмитажного входа за пять минут до появления дворцового коменданта Трепова чины собственного его величества конвоя задержали неизвестного, пытавшегося проникнуть во дворец. Допрошенный с должным пристрастием показал, что он Павел Кот, крестьянин Замостского уезда Люблинской губернии. На вопрос, зачем он пытался проникнуть во дворец, Кот ответил, что его послали односельчане рассказать в думе про их жизнь, так как депутат от Люблинской губернии граф Замойский всей правды не скажет.

После того как Павла Кота отправили в предварительную тюрьму, дежурный генерал вызвал лакея, и тот брезгливо подмел в совок два зуба, выбитые у Кота при допросе.

По приказанию Трепова на Дворцовом и Троицком мостах установили рогатки и заставы. Но и этого показалось мало. Как только депутаты думы, члены Государственного совета и многочисленные гости заполнили залы Зимнего, мосты развели. Приглашенные распределялись по залам согласно пропускам.

В эрмитажном павильоне, поближе к Тронному Георгиевскому залу, собрались члены Государственного совета. В одиночестве, обращая всеобщее внимание, стоял у окна ушедший накануне в отставку премьер-министр Витте. Высшие сановники империи толпились возле его преемника Горемыкина. С независимым видом, как будто ничего не случилось, прохаживался по залу Дурново, так же, как и Витте, совершенно неожиданно уволенный царем в отставку.

В Николаевском зале, отведенном для депутатов думы, чер-

нели фраки и сюртуки. В углу теснились депутаты от крестьян. Неподалеку от них тихо перешептывались духовные особы.

В Концертном зале расположились дамы в придворных платьях и кокошниках. Тут же находились «ко двору доступ имеющие» первые чины двора, ожидая от церемониймейстера приказа нести в Тронный зал царские регалии: корону, скипетр, державу, государственный меч, государственное знамя и государственную печать, лежавшие на обитых алым бархатом столах. Около столов застыли четыре дворцовых гренадера.

В половине первого открылись двери Георгиевского зала, где в полном составе собрался дипломатический корпус. Под руки ввели еле передвигавшего ноги митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония.

Сергею Ивановичу повезло. На галерее, где отвели места для прессы, он успел стать у барьера, и ему великолепно была видна вся нарядная толпа и царский трон.

Оркестр заиграл гимн, и в сопровождении супруги и матери вошел Николай в мундире полковника Преображенского полка. Митрополит поднес ему крест, окропил святой водой и громко, внятно сказал: «Христос воскресе!»

Царь поцеловал крест, неловко повернулся, торопливо поднялся на возвышение и стал около трона, между матерью и женой. Он запустил руку в карман брюк и, очевидно, не найдя там чего искал, полез во внутренний карман мундира. Достав листок бумаги, тихонько откашлялся и произнес первые слова тронной речи:

— «Всевышним промыслом вверенная мне власть побудила призвать выборных людей к содействию в законодательной деятельности...».

Сергей Иванович, зная, что получит текст речи при выходе, с любопытством смотрел на царя, казавшегося сверху совсем маленьким. Неожиданно пришла шальная мысль: «Вот бы шарахнуть отсюда в Николку бомбу! Что бы поднялось! А ничего бы не произошло — возвели бы на трон его мальчишку». Он посмотрел на расшитые золотом мундиры придворных: «Вот оно, самодержавие! Он что — полковничек!»

Снизу доносился глухой голос, монотонно читавший: «Призываю благословение господа, да поможет вам господь оправдать надежды...»

Царь что-то сказал супруге. Она ответила, чуть шевельнув губами. Он покраснел, повернулся к трону, запнулся за угол ковра и пошатнулся, едва удержавшись на ногах. Мимо него вереницей шли депутаты. Николай с беспокойством всматривался в лица и, только увидев знакомых ему людей, слегка кивал головой.

Сергей Иванович еще раз взглянул в зал и пошел вслед за другими к выходу. К четырем надо было успеть в Таврический дворец на первое заседание думы.

* * *

За стодвадцатилетнюю свою историю Таврический дворец, построенный по приказанию Екатерины Второй архитектором Старовым, видел многое. Щедрая императрица подарила дворец «герою Тавриды» Григорию Потемкину. В мае 1791 года светлейший князь задал в новом дворце бал, о котором десятилетия спустя еще ходили легенды.

Еще был известен дворец оргиями разврата. Пожалуй, только у Михайловского замка, где убили Павла Первого, была такая же дурная слава.

Павел Первый, ненавидящий Потемкина, отвел дворец под казармы конной гвардии. При Александре Первом здесь жил и умер Карамзин.

В конце XIX века творение Старова напоминало забытую усадьбу разорившегося магната: картины, фарфор, драгоценные гобелены перевезли в Зимний и Эрмитаж.

Сейчас пахнувший красками и лаком дворец принимал новых гостей. Продажная газета «Новое время» поторопилась окрестить дворец «храмом единения монарха с народом».

А монарх, бледный от страха, находился уже на яхте «Александрия», увозившей его вместе со всеми домочадцами в уютный Петергоф, подальше от нелюбимого опасного Петербурга.

Депутаты — кто в собственных экипажах, кто в наемных, а кто и просто пешком — направлялись на Шпалерную между двумя рядами войск и полиции, отгораживавшими избранников народа от любопытных.

После молебна, отслуженного в Екатерининском зале все тем же митрополитом Антонием, депутаты проследовали в зал заседаний. Правую ложу заняли министры, левую — члены Государственного совета. На трибуну вошел статс-секретарь Фриш и старческим голосом строго сказал:

— Предлагаю господам депутатам выслушать торжественное обещание. Прошу встать!

Он громко, нараспев прочитал:

— «Мы, нижеподписавшиеся, обещаем перед всемогущим богом исполнять все возложенное на нас по крайнему разумению и по силам, храня верность царю, помня о России».

Чиновники в синих вицмундирах разнесли по рядам листки с текстом присяги.

Сергей Иванович услышал, как иностранный корреспондент сказал соседу:

— Обратите внимание: обещание дано богу и царю; о народе не упомянуто. Забавно!

После заседания депутатов на Шпалерной собралась огромная толпа. Оратор, стоя на тумбе, что-то надсадно кричал, показывая на думу. Тотчас же налетели казаки. От подъезда дворца толпу теснили городовые и семеновцы. Раздались крики: «До-

лой самодержавие!» Толстый господин, бледный от гнева, задрав бороду, потрясал депутатским билетом перед казаком.

— Меня ударили по шее! Я не позволю! Моя фамилия Седельников. Я неприкосновенен!

Казак, поглаживая вздрагивающую лошадь, равнодушно повторял:

— Кто прикосновенный, а кто нет, нам разбирать не приказано.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Все необходимые документы у Наташи и Степана были собраны. Долго не отвечал священник из Алексина, но наконец и он прислал свидетельство о принадлежности Степана к приходу. Кончился великий пост, прошли пасхальные дни, родительская неделя, и тюремное начальство разрешило обвенчать «приготовленного по замене смертной казни к отправке в каторжные работы на двадцать лет» Степана Важеватова с добровольно вступающей в брак девицей Натальей Никитиной.

За день до венчания Степана вечером отвели в тюремную церковь. В пустой церкви у двух больших икон теплились лампады. Священник ласково сказал:

— Тебе надо исповедаться, сын мой. Согласен?

Степан встал на колени, священник накрыл его голову епитрахилью и задал первый вопрос:

— В чем грешен, сын мой?

Степан отвечал невпопад, думая о своем: «Если бы не Наташа, ни за что бы не согласился».

Утром Степана водили причащаться, а вечером состоялось невеселое венчание. Жениха почти за час привели в церковь. Все дело чуть не сорвалось из-за шаферов. Шафером, по церковным правилам, мог быть только холостяк, а в камере, где сидел Степан, таких не оказалось. Старший надзиратель приказал привести двух уголовников.

Надзиратель и священник долго спорили: как венчать арестанта — в кандалах или без них? Священник выдвинул самый сильный аргумент: «Как же я ему кольцо на палец надену, когда у него на обеих руках браслеты?» Надзиратель перелистывал «Установление о содержащихся под стражей» и ворчал: «Не положено!» Сошлись на том, что ручные кандалы можно снять, а ножные оставить. Под конец надзиратель раздобрился и разрешил привести в церковь всех арестантов из камеры Степана.

Степан не видел Наташу больше месяца. Когда она в своем стареньком платьице и в белом газовом шарфике вошла к нему в придел, его охватила такая нежность к ней, что он не мог выговорить ни слова, а только осторожно обнял ее и крепко поце-

ловал в сухие, слегка опухшие губы. Она прижалась к нему и тихонько сказала:

— Ненадолго мы с тобой вместе, Степа!

Он поцеловал ее, улыбнулся и чуть слышно шепнул:

— Все равно убегу. А ты уезжай к маме.

Якова под видом родственника невесты впустили в церковь. Он, обняв Степана и желая подразнить стоявшего поодаль надзирателя, заговорил:

— Тебе, Степа, обязательно надо из тюрьмы удрать. Соберем мы с тобой шайку — и на Волгу: «Сарынь на кичку!» Как при Степане Разине.

Пошутив с надзирателем, будет ли он ходить за Степаном вокруг аналоя, Яков грустно сказал:

— А мою Грушеньку завтра в Сибирь отправляют.

Степан негромко, чтобы не услышал надзиратель, ответил:

— Скоро и мой черед. Жду не дождусь...

Внимание Якова привлекло что-то стоявшее в углу, закрытое чехлом.

— Купель, — объяснил Степан. — Детей крестить. Родится у заключенной ребенок, пожалуйте сюда. Крестят бесплатно.

— Смотри, какие удобства, — с усмешкой сказал Яков. — Живи и радуйся.

Священник совершил обряд быстро. Вопросы жениху и невесте задал тихо и, не дожидаясь ответа, торопливо надел им медные обручальные кольца.

Степан краешком глаза посматривал на Наташу. Она стояла без всякого смущения, гордо приподняв голову, и, поймав взгляд Степана, радостно улыбалась. Только когда пожилой заключенный, вспомнив, очевидно, свою вольную жизнь, молодость, громко вздохнул, Наташа сурово сдвинула брови.

Окончив венчание, священник поздравил молодых:

— Ну вот, вы теперь муж и жена. И грех ваш прикрыт святым таинством.

— Греха на нас не было и нет! — вспыхнула Наташа. — Грешны те, кто мешает нам жить в любви и согласии. Вы бы, батюшка, лучше попросили у начальства разрешения хоть сегодняшний день нам с мужем вместе побыть.

Священник, деловито завертывая в епитрахиль крест, словно инструмент, сказал:

— Посмотреть на тебя, чадо, так ты святая. Пойду попробую.

Заключенные покинули церковь, и только старик псаломщик помогал дьячку собирать потушенные свечи.

Надзиратель потянул Степана за рукав:

— Пошли, новобрачный, в камеру.

— Я просила... — умоляюще произнесла Наташа.

— Начальника нет. Не разрешили. Приходите завтра.

На другой день Наташа истратила последние три рубля, отложенные от дорожных денег: купила Степану еды, конвертов

и в полдень прибежала в тюрьму. Надзиратель вышел из-за загородки:

— Опоздала, баба. Утром угнали.

— Куда? — холодея от догадки, спросила Наташа.

— Куда всех. На станцию.

Наташа, задыхаясь, побежала к конке.

Носильщик объяснил ей, что арестантский вагон прицепили к московскому поезду и он ушел три минуты назад.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Весна 1906 года выдалась на редкость холодной. В середине мая вдруг подул резкий северный ветер, выпал снег и намело сугробы. Под ногами хлюпала противная серая каша. Туманы не расходились до полудня. Голые мокрые деревья качались от ветра. Истошно, словно жалуясь, кричали поторопившиеся прилететь грачи.

Невесело было на душе у Павла Гусева. Больше месяца назад уехал на съезд партии в Стокгольм Арсений, и с тех пор о нем ни слуху ни духу. Доехал ли? Не схватили ли его в поезде или на границе?

«Где-то он, друг сердечный? Только бы не сцапала охранка. А то возьмут в Центральном Комитете да и направят его в другое место. Сюда же прислали! Могут и в другой город послать. С каждым поездом ждем, а его все нет и нет».

Сколько дел сразу набежало! В Иваново-Вознесенск не к кому съездить за советом: «Отца» нет, Балашов и Дунаев уехали. Есть, правда, Федор Самойлов, но он с Константином Гандуриным занят организацией профессионального союза. Хлопот с союзом немало. Новый полицмейстер Виноградов как черт ладана боится слова «союз», и союз поэтому называют «профессиональным обществом рабочих ситцепечатных фабрик города Иваново-Вознесенска».

Очень плохо без Арсения.

Удивительный он человек. Сколько всего прочитал! Глотает, а не читает. Песни любит, стихи. Давно хочет Павел показать ему свой рассказ «Расчет», да все не решается. Если разобраться, так и писать он начал по совету Арсения.

Ну, раз нет его, не погибать же. Будем сами думать. Недаром Арсений все время повторяет: «Посмотри, Паша, сколько вокруг людей хороших». Вот, например, в «Русских ведомостях» напечатана заметка, что депутатами Государственной думы выбраны восемь князей, девять графов, один барон, восемь потомственных дворян, пятьдесят семь промышленников, пятнадцать служителей церкви. Заметка хорошая, а напечатана так, что ее почти не видно, а мы ее перепечатаем отдельной листовкой с дельными примечаниями.

Сообщают о новых министрах. Министром внутренних дел назначен Столыпин. Говорят, мерзавец, каких мало. Был губернатором в Саратове — на всю Россию известен казнями. Отсюда родилась поговорка «столыпинский галстук».

Надо о Столыпине и о других новых министрах тоже рассказать в листовке. Чего стоят одни фамилии: Шванебах, Редигер, Шауфус, Кауфман, Фредерикс — все немцы.

Какое это, оказывается, трудное дело написать листовку, чтобы она получилась краткой и всем понятной.

Кто-то прошел под окнами.

Вошел Семен Усачев. Он в последние дни мрачен. Скоро полгода, как без работы, а у него жена и двое детей. Вчера Павел видел, как жена Семена понесла на толкучий рынок самовар — последнюю вещь, оставшуюся в доме.

— Ну как, продали самовар?

— Никто даже не приценился. Да брось ты, Паша, про самовар и про мою бедность! Как-нибудь вытяну. Арсений приехал?

Еще кто-то обивает в сенях веником снег с сапог. Вошел Иван Корнеич Тихомиров.

Павел вопросительно посмотрел на Корнеича.

— Из Новок поезд пришел вовремя, а московский опоздал. Продрогли, как дворняги. Закусить у тебя ничего нет?

— Картошка в печке.

Корнеич вынул из кармана сотку водки:

— Выпьем, ребята, по капельке. Это я ему припас. Думал, сойдет он с поезда насквозь промороженный — пальто ведь у него на рыбьем меху.

Павел не мог терпеть даже водочного запаха, а Семен, посмотрев на сотку, отказался:

— Что тут делить! Комариная порция.

Корнеич, подняв чашку, произнес:

— Ну, за плавающих и путешествующих. Будьте здоровы!

Донесся приглушенный туманом басистый фабричный гудок. Корнеич засмеялся:

— У Полушина гудит! Третья смена закончила. Я сегодня оттуда еле выбрался. Объявили вчера, что у Полушина на дровяной склад будут народ набирать. Набежало человек двести. Ждем под навесом. Я от скуки ребятам сказку рассказал. В некотором, говорю, царстве, в некотором государстве жил-был царь, рыжий, как червонец. И было у него пять дочерей да сын-дуралей, и была, конечно, жена. Не столько умна, сколько зла. И была еще мать-царица. Не вдовица, а сущее наказанье. И вот эта семейка-злодейка...

Семен угрюмо заметил:

— Ничего себе сказочка! Недолго и на виселицу угодить.

— Не свита еще веревка для моей шеи!—отрезал Корнеич.— Сказку я от Арсения услышал. Он мне посоветовал: будешь дру-

гим рассказывать, оглянись: нет ли где архангелов. А я налетел на самого Лаврова. Смотрю, он с Полушиным вдоль улицы идет...

В комнату вошел Николай Мякишев. Незаменимый в боевой дружине, храбрый и способный на разные ловкие выдумки, он в последнее время стал вялым, равнодушным. Увидев Павла с книгой в руках, он с раздражением проворчал:

— Все с книжечками! Дважды два четыре...

Корнеич положил ложку на стол.

— Что это с тобой, Коля?

Павел, не отрываясь от книги, произнес:

— Пройдет, не впервой.

— А может, я не хочу, чтобы проходило?

— Прошлым живешь, — сказал Павел.

— По крайней мере знали, на что силы тратили. А сейчас книжки читаете. Терпеливые стали! А я терпеть больше не хочу! Сил у меня нет такую жизнь терпеть!

— Ты неправ, Коля, — попробовал урезонить Павел.

Мякишев махнул рукой и ушел, хлопнув дверью. Корнеич посмотрел в окно:

— Куда пошел, и сам не знает. Надо будет, Павлуша, с ним всерьез поговорить. Как бы не вышло с парнем беды...

Вошел Яков Савватеев:

— Куда это Николка как бешеный понесся?

— Дурит, — отозвался Павел. — А что у тебя нового?

— Получил.

— Давай скорее читай.

Яков сел поближе к окну:

— Слушай. «Дорогой мой Яшенька! Пишу из Красноярска. Приехали мы сюда только сегодня. Еле дотащились. Подолгу стояли на больших станциях, где к нам все время новеньких подсаживали. К Омску наша коробочка так наполнилась, что даже дышать стало трудно».

Яков показал письмо:

— Дальше цензура черным замазала. «Но ничего, — продолжал он читать, — народ со мной едет хороший. Деньги у меня есть. Я трачу их понемножку — неизвестно, когда и куда нас привезут. Как ты там, мой дорогой? Как питаешься? Очень тебя прошу, поддевай под пиджак безрукавку, которую я тебе сшила. Когда придется бывать в Иванове, каждый раз заходи к маме — и ей будет приятно, и тебе она все, что надо, починит и постирает. Я об этом ей написала».

Яков сделал пропуск.

— Самое интересное в конце. «Пишу тебе на другой день, так как вчера письмо отправить не удалось. Вчера вечером сюда пригнали Степу Важеватова. Не знаю, получил ли ты мое письмо, в котором я тебе писала, что меня выбрали старостой партии и мне в каждой пересылке приходится...»

Яков снова показал замазанные тушью строки:

— Видал, что окаянные делают? Все измазали. Так ничего о Степе и нет. Оставили только последние строчки. «Очень он беспокоится о Наташе».

— Далеко теперь Степан, — проговорил Корнеич. — Красноярск! Пешком идти — год пройдешь, не меньше.

— Николай Поликарпов двигается, — сказал Семен Усачев, заглянув в окно. — Трудно ему в такую погоду.

— Торопится узнать, не приехал ли Арсений.

Вскоре в сенях послышался веселый голос Поликарпова, а потом сам он ловко перепрыгнул через порог.

— Привет честной компании! Одни? Никого нет?

Он не договорил. Дверь распахнулась. На пороге стоял Мякишев. Он несколько раз повторил одно и то же слово:

— Идет!.. Идет!..

— Кто идет?

Николай только замахал руками. Да и так было понятно: в комнату входил Арсений.

* * *

Когда улеглось волнение, все уселись за стол и начали расспросы. Больше всех удивился появлению Арсения Корнеич:

— С каким же ты поездом приехал? Я только перед тобой со станции пришел. Все поезда давно прошли.

— Я на товарном, — сказал Арсений, — а от Кохмы пешком шел.

— В такую погоду?

— Лучше немного померзнуть, чем в каталажку попасть. Лавров, наверно, меня ждет не дождется. Ну, как вы тут живете?

Павел кивнул на Мякишева и шутливо ответил:

— Живем! Некоторые личности начали без тебя разума лишаться. А так ничего живем. Ты лучше рассказывай, какова она, заграница?

— Чисто, — улыбнулся Арсений. — Чисто. Шведы вежливые, спокойные, но скучные. У нас веселее.

Зная, что Арсений, всегда тщательно соблюдавший все правила конспирации, при Семене Усачеве не будет подробно рассказывать о съезде, Павел старался свести разговор к местным делам, а затем начал откровенно выпроваживать засидевшихся гостей:

— Пора, товарищи, и честь знать! Надо же человеку с дороги отдохнуть.

Арсений попытался уговорить Павла:

— Дай людям посидеть! Я же по всем так соскучился...

Но гости сами догадались. Корнеич поднялся первым и потянул за собой остальных.

* * *

Была у Арсения любимая песня. Вечером, бывало, устав от домашних дел, садилась его мать, Мавра Ефимовна, за машинку. Хочешь не хочешь, а работать надо: все лишний четвертак за вечер заработать можно. В комнате тихо. Младшие дети спят, брат Костя учит уроки, а он сидит и смотрит, как бежит из-под ловких рук матери, привычных к любой работе, белый миткаль. Опять мать, видно, шьет наволочки для больницы.

Работая, мать начинала тихонько напевать, и всегда одну и ту же песню:

Уж ты сад, ты мой сад...

Так и осталась эта песня у Арсения любимой с милого, далекого детства. Оставаясь наедине, Арсений всегда напевал «мамину песню».

Павел, проводив товарищей, обошел дом, запер наружную дверь и вошел в сени. Арсений негромко пел:

...Сад зелененький...

Павел слушал. Многие считали Павла черствым, сухим человеком. На первый взгляд он производил такое впечатление. Было что-то суровое, непреклонное в его лице. Но близкие друзья знали, какой это был чуткий, заботливый товарищ, сколько у него было настоящей, глубокой любви к людям.

Павел решил войти в комнату, когда Арсений закончит песню. Он стоял, держась за скобу, и огромная любовь к этому поющему ясноглазому человеку, только что совершившему большой опасный путь, наполнила все его существо.

* * *

Арсений открыл дверь и позвал Павла:

— Куда ты пропал?

— Я здесь. Рассказывай.

— Не знаю, Павлуша, с чего и начинать. Столько интересного! В Петербурге попал я по явке в столовую технологического института. Подхожу к столику, вижу: сидит очень симпатичная женщина с добрыми глазами. Я ей говорю: «Вы не знаете, где можно комнату снять?» А она улыбается: «Знаю, где хорошие комнаты сдают». Потом пригласила: «Садитесь, я вам адрес дам». Дала она мне немного денег и адрес: «Отправляйтесь в Финляндию, в город Або». Указала точно улицу, дом. Напоследок посоветовала, чтобы я ехал сначала на дачном поезде до Выборга, а дальше в Або. Я уж потом узнал, что эта женщина — жена Владимира Ильича Ленина.

В Або я очень быстро нашел дом и квартиру. Позвонил. Вышла дама — высокая, красивая, глаза голубые, волосы пыш-

ные. Вид и голос такой... ну, одним словом, из благородных. «Вам кого?» — спрашивает. Я уж подумал: туда ли я попал? Говорю пароль. Ох, и всыпала она мне!

— За что?

— Я к ней пришел во всем вот в этом. «Неужели вы не понимаете, что в таком костюме вас любой, самый глупый городовой заподозрит? Как же я вас в вашей косоворотке и этой фуражке за учителя-туриста выдам?» Дала мне деньги и погнала в магазин. «Идите быстрее, только с умом все покупайте, а то один молодчик из Луганска тоже вроде вас приехал — брюки в сапоги, косоворотка, фуражечка с лакированным козырьком. Я его послала в магазин, а он купил котелок. Да разве учителя котелки носят!»

Когда я из магазина к ней пришел, этот парень у нее сидел. Товарищ «Абсолют»[1] — это ее партийная кличка — меня вместе с луганским товарищем на пароходе «Боре» отправила в Стокгольм. Ну, а там было проще. Мы быстро нашли винный магазин Вальтера Шеберга, и там была «Дяденька»[2]. Она нам помогла устроиться в гостинице.

Съезд проходил в Народном доме. Его директор Ялмар Брантинг, видно, нашей партии сочувствует.

Как зовут луганского, как его фамилия, я не знаю. Знаю только подпольную кличку — Володя. Жили мы с ним вместе и очень подружились. На все заседания вместе ходили.

Сидели мы, большевики, кучкой, отдельно от меньшевиков. Их на съезде все же было больше, хоть и не намного. Придется, Павлуша, с меньшевиками драться всерьез. Ох, и злы они на Ленина. А он себя чувствует превосходно.

Как Владимир Ильич говорил, Павлуша! Разбил все доводы Плеханова! Слушаешь Ленина — и все, что раньше казалось сложным, запутанным, становится у него простым и ясным. Иногда одно слово освещало весь вопрос по-новому. Ты только послушай. Обсуждалась аграрная программа, и вместо слов «отчуждение земли», то есть переход ее от помещиков к крестьянам за небольшой выкуп, он предложил написать «конфискация земли». Понял разницу? У меньшевиков отчуждение — у нас конфискация.

Как-то в перерыв стоим мы с Володей, обсуждаем выступление Ленина. Увлеклись и не заметили, как подошел Владимир Ильич. Заговорил с нами. Очень интересовался нашим Иваново-Вознесенским Советом. Какой человек, Павлуша! У меня сейчас энергии втрое больше стало. Жить хочется тысячу лет!

Павел, внимательно слушавший друга, улыбнулся:

— Это видно. Ты прямо весь сияешь. Ну что ж, будем жить! Я с тобой готов хоть две тысячи лет!

---

[1] «А б с о л ю т» — псевдоним Е. Д. Стасовой.

[2] «Д я д е н ь к а» — псевдоним Л. М. Книпович.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Первое время после приезда Наташи мать Степана Анфиса Петровна много плакала. Потом, почувствовав, что ее слезы дурно влияют на сноху, взяла себя в руки и только ночью втихомолку вздыхала и производила грустные подсчеты:

— Двадцать лет! Мне сейчас пятьдесят восьмой. Стало быть, когда Степе каторга кончится, мне будет почти восемьдесят. Разве я доживу? Да и он разве выдержит? Уморят...

Как многие бабушки, впервые ожидавшие внука, Анфиса Петровна очень хотела, чтобы Наташа родила сына и назвала его Степаном: «Одного Степу погубили, а у нас другой будет», — рассуждала она с Андреем. Наташа угадала ее желание и однажды, в тихий вечерний час, сидя на крылечке рядом со свекровью, в ответ на ее неизменную просьбу: «Внука мне роди, внука», сказала:

— Обязательно, мама. Я уже и имя ему придумала: Степан Степанович.

Анфиса Петровна впервые за все время засмеялась.

И досталось же от нее Андрею, который, не зная, чем бы порадовать свояченицу, купил одеяло!

— Купил, называется? И кто тебя просил розовое, когда мальчику голубое надо?

И родилась дочь. Тут же все разговоры о внуке были забыты, и крохотная Даша заняла в сердце бабушки прочное место. Назвать внучку Дашей Анфиса Петровна посоветовала сама:

— Мать бы твоя порадовалась.

Но, видно, такое уж было время, что долго жить тихо и мирно было нельзя. Недели через две после рождения Даши Наташа, все еще слабая, похудевшая, пошла к фельдшерице Марье Осиповне попросить немного борной кислоты для дочки. Проходя мимо трактира, она услышала, как сын трактирщика Карасев Петр громко сказал каким-то двум парням:

— Степкина побирушка идет. Самим жрать нечего, а она кутенка родила.

Наташа, держа Дашу на руках, весь вечер повторяла:

— Ах ты, моя кутя! А он, кутя, дурак.

Андрей, узнав от матери, что произошло с Наташей, погрозился:

— Я ему покажу побирушку!

В тот же вечер Петра Карасева окружили парни. Они ловко схватили его и, сильно раскачав, бросили в пруд. Он, весь в зеленой тине, выбрался на сушу и, выливая из сапог воду, увидел Андрея, стоявшего в сторонке:

— Знаю, чья это работенка! Кутенков дядя.

Андрей погрозил ему:

— Помолчи, а то я тебе самолично морду разукрашу, без посторонней помощи.

— Только тронь! Смотри, как бы Степку догонять не пришлось.

Андрей поднял его и швырнул в пруд:

— Это тебе за кутенка, а за Степана я тебе еще добавлю, когда обсохнешь.

Наутро к Важеватовым пожаловал урядник Пушков.

— Здравствуйте, хозяева, — поздоровался он с непривычной ласковостью. — Пришел поздравить с прибавлением семейства. Кого тебе бог послал, Анфиса Петровна, — внучонка или, как ее, бесприданницу?

— А вам не все равно? — с насмешкой спросил Андрей. — Сказывайте: зачем пришли?

— Мне не все равно. О мальчишке я обязан начальству сообщить, а если девчонка, можно не беспокоиться.

— А я и не знала, — промолвила Наташа, — что начальство нами не интересуется. Это даже лучше, хлопот меньше.

— Хлопот с вами больше, — возразил Пушков. — Возьми хоть тебя, скороспелку.

— Как вы сказали?

— Скороспелка. Повенчана в марте, а родила в июне. Этак скоро только крольчихи рожают.

Андрей выскочил из избы. Его синяя рубашка промелькнула под окнами.

— Куда он сорвался? — поинтересовался Пушков.

— Вы у него спросите, — ответила Наташа. — Вот вы про крольчиху упомянули, а я читала, что ослица целый год беременная ходит, а все равно осла приносит. А теперь уходите. Угощать вас нечем.

Послышался голос Андрея: «Здесь еще!» В избу вошли товарищи Андрея. Двоих из них Наташа знала хорошо — это были те самые парни, которые прошлым летом читали на сеновале брошюру Ленина.

Пушков взял сурово официальный тон:

— Кто из вас Андрей Важеватов?

— Смотрите, не узнает! А зачем тебе он понадобился?

— Жалоба на него есть. От Петра Карасева.

— Ребята! Поможем господину уряднику на улицу выйти?

Парни навалились на Пушкова, вытащили у него из кобуры пистолет, поволокли во двор. Не прошло и двух минут, как измазанный в навозе урядник бежал по селу и, грозя кулаком, истошно кричал.

— Где револьвер? — спросила Наташа.

— У меня, — ответил Андрей.

— Сейчас же выкинь. За нападение на полицейского и отнятие у него оружия суд меньше десяти лет каторги не дает. Понял?

Андрею было трудно расстаться с револьвером, но он послушно выбросил его на заросшую травой дорогу.

Все это было началом бурных событий, разыгравшихся в селе в ближайшие дни.

Почти всю следующую неделю всем селом возили лес. День и ночь скрипели тяжело нагруженные дровами и бревнами телеги. Кое-кто снял телеги с передков и, привязав к ним добычу, тянул целые мачтовые сосны.

— Строиться, что ли, все хотят? — спросила Наташа у Андрея.

Андрей засмеялся и рассказал:

— Ну да. Лес принадлежал барину Языкову. У него были два сторожа и лесник. В прошлом году Ванька Безменов уволок две сухостоины — сторож ему всю морду расквасил. А теперь барин лес продал. Сначала наш Карась приценивался, да, видно, дешево давал. Купил Горелов из Порошина, богатей, почище нашего Карася. Он перво-наперво прогнал языковских сторожей и лесника: «Жулики, — говорит, — они, моим лесом торгуют». Наши мужики этому случаю очень обрадовались: если сторожей нет, значит, можно рубить лес беспрепятственно.

— А вы почему не поехали?

— Маманя не велит. Да и куда он нам? Строиться не собираемся, а дрова у нас пока есть.

Прошло три дня. В Алексино приехали Горелов и становой пристав в сопровождении десяти конных стражников. Начался повальный обыск. Становой обходил дворы и, увидев свежие дрова и бревна, тыкал хозяина рукоятью плети:

— Где нашел?

Гореловский приказчик диктовал стражнику:

— Запиши. Бревен восьмиаршинных — одиннадцать, шестиаршинных — семь. Дров березовых — две сажени, осиновых — сажень.

Потом был сход. Выступал становой.

— Вот что, мужики! Говорю пока от чистого сердца: везите все обратно Ивану Платоновичу Горелову на склад. Кто хочет наличными расплатиться, он не препятствует. Все. Можно расходиться.

Из толпы спросили:

— Значит, лес теперь окончательно гореловский?

— Окончательно и, как говорится, бесповоротно.

— Ну, это мы еще посмотрим!

— Кто там бормочет? А ну, выходи!

— Я возражаю, — вышел из толпы крестьян Артамон Кокин, пожилой мужик, отец пяти детей, большой любитель книг, известный на селе по прозвищу «Барсук». Он на самом деле чем-то напоминал барсука, поднявшегося на задние лапы. — Я возражаю, — повторил «Барсук». — Граф Лев Николаевич

Толстой в своих сочинениях писал: «Все сущее на земле должно отойти к народу...»

— Корытов! Дай ему по шеям!

Стражники подошли вплотную к Артамону.

— Не мешайте мне!

— Корытов, двинь ему!

Стражник неловко ударил Артамона по шее.

— А-а, так?..— обозлился Артамон и дал Корытову оплеуху.

— При исполнении служебных обязанностей! — орал становой. — Корытов! Разрешаю стрелять.

Стражник, красный как рак, вынул из кобуры пистолет и завертел им под носом у Артамона.

— Что ты мне тычешь? Что?

— Стреляй! — дико завопил становой. — Разрешаю.

— Мужики! Что же это? Живых людей стрелять...

Толпа, до этого молча наблюдавшая поединок между стражником и Артамоном, кинулась на подмогу к односельчанину. Захлопали выстрелы. В несколько секунд была разобрана изгородь. Откуда-то появились вилы. Становой удрал раньше всех. Горелов укрылся у попа.

До поздней ночи гудело село. Одни, во главе с раненым Артамоном, пришли к мнению, что станового и стражников выпускать из села нельзя: «Они теперь сюда с казаками нагрянут!» Другие собрались около избы Филиппа Коробова и отстаивали свою точку зрения: «Лес Горелову надо вернуть, иначе жди порки».

В первом часу ночи из ворот поповского двора выскочил на дрожках Горелов. Парни вслед ему кричали: «Держи его! Держи!» Однако никто, кроме черной собаки, за дрожками не погнался.

На рассвете к Важеватовым прибежала фельдшерица Марья Осиповна. Не присев, задыхаясь от быстрого шага, заговорила:

— Куда хотите девайте, только тут ей оставаться нельзя.

— Кому?

— Снохе вашей, Наталье. Я разговор слышала. Пушков с Карасевым советовался. «Вся смута, — говорят, — от этой каторжанки. Артамона Барсука и ее в первую очередь надо хватать».

Анфиса Петровна растерянно повторяла:

— Да куда же она с дитем денется? Кормить их кто будет?

Андрей остановил мать:

— Тут, маманя, дело серьезное. Не убережем Наташу, придется ей за Степой до Сибири версты мерить. Я думаю, ей уехать следует.

— Куда? — заплакала Анфиса Петровна. — Куда она с Дашенькой поедет?

— Как ты думаешь, Наташа? — спросил Андрей. — А если тебе Дашку у нас пока оставить? Прокормим.

— Не знаю, Андрюша, ей-богу, не знаю. Голова у меня кругом идет.

На другой день к вечеру в село вступил отряд драгун. Впереди, рядом с офицером, по правую сторону хлюпал в седле становой, по левую — урядник Пушков. Позади, чуть поодаль от драгун, тащились конные стражники.

У избы Важеватовых отряд остановился. Пушков соскочил с коня и заколотил кулачищем в дверь, потом рванул ее, и вслед за ним в темные, прохладные сени вошли становой и офицер.

— Сноха где?

— Уехала.

— А Андрюшка?

— С ней уехал.

— Куда?

— Не сказали.

В люльке заплакала Даша.

— А это что?

— Как что? Внучка.

— Что же она, сноха твоя, одна уехала? Без ребенка?

— Разве можно дите в такую жару возить!

Зашли в избу, заглянули во двор, сбегали в омшаник, в овин. Убедившись, что Наташи на самом деле нет, становой пожаловался офицеру:

— Видали, ваше благородие? Разве это люди? Ребенка грудного, стерва, бросила.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Последние числа июня шуйскими фабрикантами почитались днями особенными. 29 июня, в день Петра и Павла, отмечали день именин два местных воротилы: Павел Павлов и Петр Рубачев. 30 июня праздновал именины Иван Терентьев. В этот же день начиналась в городе двухнедельная смоленская ярмарка.

В старой купеческой семье Терентьевых с прадедовских времен вошло в обычай в день именин главы фирмы устраивать рабочим обед, раздавать подарки и оделять нищих мелкой монетой. Подготовку к торжественному дню начинали за неделю. Каждому полагалось по граненому стакану водки; женщины, по желанию, вместо водки могли получить двугривенный. Обедали в фабричном дворе, под навесом, где обычно хранились ящики с початками. Кому не хватало места за столами, устраивались на пустых ящиках.

Ровно в двенадцать из домовой конторы выходил хозяин. После молебна и речи какого-нибудь седобородого Митрофаныча, проработавшего на фабрике полсотни лет, Иван Михайлович го-

ворил: «С праздником, братцы!» На виду у всех выпивал стакан водки, закусывал воблой и обходил столы, то и дело повторяя: «Ешьте, братцы, ешьте! Чем богаты, тем и рады». После обеда раздавали подарки: бабам и девкам ситцы на кофты и по платку, мужикам на рубаху — кому коленкора, кому ластика.

Около белого двухэтажного дома Терентьевых собирались нищие старухи и мальчишки. Многие в надежде получить несколько двугривенных и медяков приходили из окрестных деревень, приезжали из Кохмы.

Толпа жадно слушала рассказы мальчишек, ходивших на разведку к сыну счетовода домовой конторы.

— Говорит, все больше серебра наменяли. Медных чуть-чуть. А всего раздавать будут не меньше трехсот рублей.

Люди оглядывались, прикидывали: сколько собралось охотников.

Старухи жались поближе к дому, под самый балкон.

— Прошлый раз сюда больше кидали, прямо из мешочка вытряхивали.

Все стихало, как только на балкон выскакивал младший хозяйский сын. За ним в сопровождении лакеев появлялась Терентьиха — маленькая, толстенькая, с лицом круглым как блин.

Первую горсть монет бросал сын. Слышно было, как мать наставляла:

— Подальше кидай, подальше! Эти вон, мордатые, за ними кинутся, а я старушкам подброшу.

Но «мордатые», давно изучившие нехитрую тактику, не бросались, а терпеливо ждали, когда Терентьиха начнет сыпать из мешка: а вдруг опять пофартит, как Федьке Косому? О случае с Федькой Косым вспоминали несколько лет. Тогда еще жива была старая Терентьиха. Не удержала она по слабости мешка с серебром, и он шлепнулся в кучу старух, оглушив одну до беспамятства. Федька не растерялся: рванулся к мешку и, работая кулачищами, распихал всех, ухватил мешок — и был таков. В мешке, говорят, было без малого на семьдесят рублей одних двугривенных.

У молодой Терентьихи руки крепкие, сыплет с осторожностью, мешок через балкон не перекидывает.

Постепенно от Терентьевых обычай переняли Рубачевы, Павловы, Посылины, Балины. Расходов получалось не так-то уж много, не больше шестисот-семисот рублей, а доброй славы хватало на целый год, тем более, что расходы лихо возмещались на штрафах да на пол-аршинках. Гораздо больше уходило на вечер для званых гостей. Тут уж скупиться не полагалось: вина, устрицы, фрукты, не говоря уже о закусках — все подавалось самое лучшее, привозилось из Москвы от Елисеева. Местный бакалейщик Носков и братья Кочетковы поставляли только водку, чай да сахар.

30 июня 1906 года, кроме обычных гостей и родни, Терентьев ожидал почетных гостей: вице-директора департамента полиции, действительного статского советника Мавроди, сопровождающего его по губернии губернатора Сазонова и архиепископа Владимирского и Суздальского Феогноста. Правда, всех этих трех высоких лиц успел перехватить Павлов. Видимо, предупрежденный кем-то из Владимира об их приезде, он подал к поезду для архиерея тройку белоснежных «львов» из собственного выезда, а сам приехал в единственном на всю губернию автомобиле, неделю назад привезенном из Москвы.

Дождавшись, пока станционные жандармы разгонят толпу любопытных, Павлов важно прошел на перрон. Шофер-москвич, весь с головы до ног в черной коже, курил за рулем, снисходительно поглядывая на все увеличивающуюся толпу зевак.

Подошел поезд, и любопытные ринулись на перрон посмотреть на владыку и губернатора. Его высокопреосвященство Феогноста, бережно поддерживая под руки, усадили в коляску. Павлов раз десять наказал кучеру: «Осторожнее», потом погрозил пальцем: «Смотри у меня», и «львы» легонько, словно игрушечную, тронули коляску.

Самодовольный шофер, не обращая внимания ни на хозяина, ни на высоких гостей, все еще дымил. Услышав команду Павлова «трогай», он не спеша выколотил трубку о тормозную рукоятку и, нажав для острастки грушу гудка, включил мотор. Автомобиль сорвался с места и громко, со скрежетом застучал ободьями по булыжной мостовой. И сразу десятки голосов закричали:

— Шины лопнули! Шины!

Шофер выскочил из машины и наклонился к колесам. Вся важность мгновенно слетела с него:

— Ах, подлецы, что наделали!

В задних колесах зияли дыры от ножа.

Пришлось Павлову посылать за лошадьми.

Все это случилось во вторник 27 июня, а в четверг 29-го, в день Петра и Павла, у Павлова и Рубачевых все прошло благополучно: накормили рабочих обедом, покидали мелочь из окна, вечером попировали. Его превосходительство господин Мавроди оказал мадам Рубачевой высокую честь: не торопясь, слегка приседая, прошел с ней один круг первого вальса. Как только стемнело, гости перешли в сад. Там их ожидал пышный фейерверк: крутились огненные колеса, взлетали вверх разноцветные ракеты, римские свечи, шипели бенгальские огни.

Молодежь, перебежав дорогу, спустилась фабричным двором к реке, где на воде качались лодки и легонько, приятно постукивала моторная лодка «Нептун» с голубой полосой вдоль борта. Уютно светились крохотные оконца ее двух кают.

Капитан «Нептуна», приняв на борт гостей, развернул свое послушное суденышко и повел вверх — похвастать перед сотня-

ми людей, стоявшими на Большом мосту. Навстречу ему из-под моста вылетел терентьевский «Орленок», такой же белоснежный, но с алой полосой.

Отсалютовав сиренами, нарядные посудины разминулись. И тут же что-то круглое, брошенное с моста, промелькнуло и ударилось о сваю. Раздался сильный взрыв. В каюте у «Нептуна» зазвенели стекла. Флагшток с сине-белым флагом вылетел на берег. Народ на мосту разбежался в разные стороны.

На другой день во дворе фабрики Терентьева были расставлены столы, но желающих поздравить главу фирмы почти не было видно. Пришли лишь старики, конторщики и браковщики. Они, переглядываясь, уселись на краю стола, несмело взяли по куску хлеба, словно это был не хлеб, а готовая взорваться бомба.

На свою беду, Терентьев накануне, будучи в гостях у Павлова, желая похвастаться трогательным единением рабочих с предпринимателями, пригласил посмотреть обед архиерея, губернатора и его превосходительство господина Мавроди.

Три высоких гостя в сопровождении всего наличного уездного полицейского гарнизона и казачьей сотни прибыли ровно в двенадцать. Терентьев, белый от злобы, провел их в фабричный двор, под навес.

Его превосходительство Мавроди удивленно приподнял брови. Павлов не утерпел, съехидничал:

— Тесно у тебя, Иван Михайлович. Ты что, все три смены сразу пригласил?

В дополнение к конфузу, во двор ввалились три брата Тетерины — Иван, Егор и Василий, все круглые дураки, постоянная забава городских мальчишек. Младший Тетерин, Егор, самый придурковатый и злой, подскочил к губернатору и, дико вращая зрачками, крикнул:

— А березовой каши не хочешь?

Гостей как ветром сдуло.

В этот день впервые за много лет нищие понапрасну стояли под балконом: денег не бросали.

Вечером в большом парадном зале тихо, словно на похоронах, шушукались малочисленные, второсортные гости. Ни его превосходительство Мавроди, ни губернатор, ни архиерей не приехали — сослались на занятость. Не приехал даже городской голова Китаев. Напоив гостей, а потом выгнав их, пьяный Терентьев бушевал в зале:

— Бомбистов испугались, трусы!

* * *

В тот же вечер его превосходительство Мавроди, с опаской поглядывая на окна, за которыми гудела фабрика, назидательно выговаривал исправнику Лаврову:

— Агентура у вас дрянь!

И хотя Лавров и не думал возражать, Мавроди, накаляясь, свирепел:

— Пожалуйста, не возражайте! Дрянь! И у вашего, так сказать, коллеги, помощника начальника губернского жандармского управления по вашему уезду — как его фамилия, не помню, — тоже дрянь. У вас под носом бросают бомбы, срывают важные начинания местных деловых людей, а вы ни черта не знаете! Ни черта-с! Сопоставьте два последних события — взрыв бомбы и обед у господина... как его, не помню. Это звенья одной и той же преступной цепи, которая опоясала ваш город. И этот человек, который так неприятно смотрел на меня...

— Он дурак, ваше превосходительство, — попробовал объяснить Лавров. — Три брата, и все дураки. Они безобидные, ваше превосходительство.

— Три дурака сразу? — усомнился Мавроди. — Не может быть! Впрочем, не мое дело считать, сколько в вашем городе идиотов. Меня больше волнует, почему у вас агенты тоже дураки. Вербуйте новых. Ищите толковых людей. Соблазняйте подачками, запугивайте...

Вошел губернатор.

— Час от часу не легче, — сказал он устало.

— Что случилось?

— В казацких казармах обнаружены листовки. Двое на допросе показали, что в сотне неблагополучно, надеяться на полное подчинение нельзя.

— Вот видите, — забеспокоился Мавроди. — Когда уходит поезд в Москву? Я, пожалуй, сегодня уеду.

И снова начал пилить исправника.

— Действовать надо энергичнее. Буду у самого Петра Аркадьевича Столыпина, доложу.

* * *

И Лавров начал действовать. Дней через пять Павел Гусев пришел домой в сопровождении незнакомого Арсению рабочего средних лет.

— Познакомься: Платон Иванович Колокольников.

— Здравствуйте, товарищ Колокольников, — поздоровался Арсений и вопросительно посмотрел на Павла.

Павел, гремя умывальником, сказал:

— Рассказывай, Платон Иванович.

Колокольников, смущенно посмеиваясь, с явной неохотой заговорил:

— Ты бы лучше сам, Павел Дмитриевич. Я ж тебе все обрисовал.

— У тебя лучше получается, веселее.

— Вот какое, понимаешь, дело. Иду я позавчера со смены. Встречает меня в фабричном дворе жена. Мы с ней в разных сменах: я эту неделю утром выхожу, а она в вечернюю. Она мне и говорит: «Иди домой скорее, там полицейский тебя ждет». Я немножко струхнул. «Зачем, — говорю, — я ему понадобился?» — «Ничего не сказал. Ждет тебя на скамейке. Иди». Прибежал домой: вижу — ждет. «Собирайся, — говорит, — пойдем». — «Куда?» — «Говорить не велено. Пойдем».

Привел он меня в полицейское управление. Входим в кабинет. Смотрю, за столом сам Лавров. Остались мы с ним с глазу на глаз. Поначалу разговор был обыкновенный: где работаю, сколько получаю, часто ли выпиваю, — одним словом, разговор деловой, про жизнь. А потом и началось: «Хочу, — говорит, — вашу с женой жизнь улучшить». Я ему, понятно: «Спасибо, ваше высокородие, очень вам благодарен за заботу!» А он мне свое: «Ты должен не меня благодарить, а царя-батюшку. У Рубачева ты получишь четырнадцать рублей, а от меня за царскую службу будешь получать еще половину». Я, конечно, заинтересовался, какая такая царская служба. Он говорит: «Нехитрая и не особенно обременительная: будешь ко мне каждую неделю приходить и все рассказывать: кто из фабричных о чем говорит, какие книжки читает, кто с кем водится. А самое главное: как узнаешь чего-нибудь про агитатора Арсения — где он живет, во что одевается, где ночует, — лети сразу ко мне, не жалей подошв».

Арсений молча слушал. Только когда Колокольников сказал, что Лавров за каждое важное донесение обещал выплачивать по рублю, иронически усмехнулся:

— Видал, в какие расходы государеву казну вводим!.. Что же дальше было?

— Я начал отказываться: времени, говорю, у меня нет. А он как заорет: «Для царской службы времени нет? Забыл про ремни? Я помню».

— Что это за ремни?

Колокольников повертел в руках свою механку:

— Весной мы с Лешкой Лапшиным попались. Он аршина два приводного ремня порезал на подметки и с фабрики вынес. Я помог их сапожнику сбыть, Боброву, а он, чертов сын, взять-то взял, а деньги не отдал. Лешка пошумел. Одним словом, неладно вышло. Лавров, видно, запомнил.

— Он не запомнил, — вступил в разговор Павел, — он нарочно все про тебя узнал и припугнул.

— На чем же вы порешили? — спросил Арсений.

— Да ни на чем. Я сказал: «Дайте подумать». А потом еще добавил: «Как же я жене объяснять буду, откуда у меня лишние деньги?» А Лавров меня успокоил: «Это мы обстряпаем: вызовем ее и поговорим». Но это, товарищ Арсений, не самое главное. Лавров меня на прощание предупредил, чтобы я нико-

му ни слова: «Выдашь наш разговор, не миновать тебе Сибири». А под конец еще сказал: «Ты сюда ко мне больше не ходи. Неудобно, могут увидеть. Приходи в пятницу, в шесть вечера, на Соборную улицу, в дом Калмазиной». Вчера, ради интереса, туда сходил. Думаю, увидит меня Лавров, спросит, отвечу: «Перепутал, ваше высокородие. Вы же мне в среду велели». И вышло, что я ходил не напрасно: кое-что интересное узнал. Сначала Сашка Власов туда прошел. Пробыл с полчаса, вышел, огляделся и бегом вниз, к Тезе. Потом один незнакомый парень лет двадцати. По-моему, я его как-то в Кохме видел. Но, может, ошибаюсь. А теперь советуйте: как мне быть? Послезавтра пятница.

Арсений барабанил по столу пальцами:

— А как ты думаешь?

— Я не соглашусь. Скажу, что жена у меня баба глупая, шумливая и хвастунья. Она, мол, не выдержит и кому-нибудь обязательно проболтается про наш дополнительный заработок. Дурачком прикинусь. Ну, а если уж не выйдет, зайду, посоветуюсь.

— Спасибо,— пожал ему руку Арсений.— Большое спасибо.

— А как же иначе? Да я лучше... Он дурной, Лавров-то. Все расспрашивал меня, не знаю ли я, кто с моста бомбу бросил. А потом как стукнет кулаком по столу: «Это его штучки, больше некому!» Даже покраснел. А я справляюсь: «На кого вы, ваше высокородие, думаете?» — «Это все он, Арсений, выкамаривает». А потом выставил меня: «Иди, иди. Не ты меня, а я тебя должен расспрашивать».

* * *

— Ну, что скажешь? — сказал Арсений.

— Хорошо, что Лавров на Платона нарвался. Могло быть хуже. Давай гадать, как себя Власов поведет.

— Гадать нечего. Раз не пришел, не сказал, значит, струсил. Черт с ним, он нам не страшен. Меня больше волнует второй, из Кохмы. Вот это загадка.

— А третий?

— Какой третий? — переспросил Арсений.

— Тот, кого еще Лавров уговорит или запугает. Я все «Отца» вспоминаю. Он мне как-то говорил: «Многим интересно, даже весело с большой толпой под красным флагом по улице пройтись. Целовать нас будут, братьями называть. А когда нам туго придется, одни в сторонку отойдут — я не я, и лошадь не моя,— а другие, шкуру спасая, побегут в полицию...» Надо ко всему быть готовым. Особенно после того, как царь всероссийскую государственную говорильню прикроет.

— Думу? А ты думаешь, прихлопнет?

— В самом недалеком будущем.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В конце мая старый репортер петербургского отделения газеты «Русские ведомости» Александр Барышев вышел из больницы. В первый же день он заявил заведующему отделением:

— Прошу вас, Дмитрий Иванович, думские отчеты поручить мне.

— А почему вам? — невозмутимо спросил заведующий. — Нас вполне устраивают отчеты господина Рыбакова; он, в отличие от вас, пишет кратко и интересно.

Но, увидев, что старик чуть не плачет от обиды, заведующий успокоил:

— Постараюсь выправить билет и для вас. Будете сидеть в думе по очереди: один день Рыбаков, один день вы. Вас это устраивает?

Предложение заведующего устроило Сергея Ивановича больше, чем Барышева. Петербургский комитет назначил его руководителем паспортного бюро. Сергей Иванович и два его помощника обязаны были снабжать паспортами и другими документами нелегальных, заведовать явками, отыскивать конспиративные квартиры, вести шифрованную переписку с паспортным бюро Московского комитета.

Дела было много, и ежедневные посещения думы стали обременительны. И вдруг такая удача: можно ходить в думу через день! И все же, заглянув к вечеру в отделение и выслушав рассказ Барышева о заседании думы, Сергей Иванович жалел, что не был там: уж очень интересные события иногда происходили в Таврическом дворце.

Первые, самые страстные прения произошли 5 мая, после оглашения проекта ответа депутатов на тронную речь царя. Робкие пожелания кадетов о разрешении земельного крестьянского вопроса за счет удельных, кабинетных, монастырских, церковных земель встретили яростное сопротивление помещиков. Особенно долго говорил крупнейший землевладелец депутат граф Гейден. Ни звонки председателя думы Муромцева, ни крики депутатов — трудовиков и кадетов — не смогли остановить разгневанного графа. Кончив речь, он торжественным шагом вышел из зала. За ним торопливо побежало несколько депутатов — помещики и два священника.

И все речи говорились впустую: царь отказался принять депутацию думы с ответом на его тронную речь.

Это был первый чувствительный щелчок «народным представителям». Вскоре началось открытое издевательство. Дума потребовала, чтобы правительство, руководимое Горемыкиным, ушло, «как не отвечающее интересам России», в отставку. Председатель совета министров Горемыкин высокомерно ответил: «Мало ли чего они хотят» — и предложил думе обсудить наиважнейшие вопросы об ассигновании средств на прачечную при

Юрьевском университете и о праве открывать частные женские курсы.

Составляя отчеты для «Русских ведомостей», Сергей Иванович по утрам жадно читал легальные большевистские газеты. Сначала это была «Волна», но она вскоре была запрещена цензурой. Газета «Вперед» просуществовала всего двадцать дней. Появилось «Эхо» и тоже ненадолго: вышло только четырнадцать номеров.

Сергей Иванович знал: редактором всех этих газет неизменно был Ленин, и именно он под разными псевдонимами, а то и просто без подписи пишет статьи и заметки для отдела «Среди газет и журналов». Какой бы вопрос ни обсуждался в думе — продовольственный, проект закона о смертных казнях, о сохранении сословий, национальный вопрос, — в большевистских газетах немедленно появлялись статьи и заметки, объясняющие истинный смысл происходящих событий. И не случайно к дому семь в Поварском переулке, где помещалась редакция «Эхо», с раннего утра и в одиночку и группами шли рабочие.

Сергей Иванович жил в этом же самом Поварском переулке, неподалеку от редакции «Эхо».

8 июля Сергей Иванович рано утром направился в Александринский театр к Марии Гавриловне Савиной, с которой на днях познакомился на гражданской панихиде, устроенной почитателями Антона Павловича Чехова по случаю второй годовщины со дня его смерти. Мария Гавриловна, игравшая когда-то роль Аркадиной в «Чайке», обещала показать репортеру «Русских ведомостей» неизвестные письма Чехова.

Но не только письма Чехова влекли Сергея Ивановича в Александринку. Ему срочно надо было сообщить новый пароль билетному кассиру театра, служившему связным между тремя явками.

У редакции «Эхо», накануне закрытой полицией, толпились люди. До Сергея Ивановича донеслось:

— Прихлопнули!

— Газету закрыли? — спросил Сергей Иванович.

— Какую газету? Думу царь-батюшка распустил. Видно, за ненадобностью.

Позабыв о Савиной, Сергей Иванович заторопился к Таврическому дворцу.

А дворец походил на осажденную крепость. Повсюду виднелись солдаты. У входа стояли несколько депутатов. Среди них особенно выделялись председатель думы Муромцев и священник Поярков. Муромцев с записной книжкой в руках разговаривал с полицейским приставом:

— Я вас спрашиваю в последний раз: разрешите нам забрать личные вещи? Нет? Назовите вашу фамилию!

— Послушайте,— попробовал уговорить пристава Поярков,— это председатель Государственной думы Сергей Андреевич Муромцев.

— Бывший председатель бывшей думы,— ухмыльнулся пристав и строго прикрикнул: — Не толпитесь, господа! Личные вещи сейчас вынесут, а кто желает суточное довольствие за вчерашнее число получить, пожалуйста, со второго парадного.

Вскоре из подъезда вышли три жандарма и начали раздавать депутатам пальто. У некоторых пальто карманы были выворочены.

— Это возмутительно! Нарушение неприкосновенности! — поднял крик депутат в мундире министерства просвещения.

— Поаккуратнее, господин! — повысил голос пристав.— «Неприкосновенность»! В «Кресты» захотели?

Сергей Иванович не стал дожидаться конца перепалки и направился в отделение.

Переходя улицу, он услышал разговор двух извозчиков:

— Слыхал, Терентий, у Калинкина моста новую чайную открыли? Чудно́е название: «Приходи и посиди!» Большая, говорят, с музыкальным ящиком.

«Вот и уравновесилось,— подумал Сергей Иванович.— Думу закрыли, зато чайную открыли, с музыкой».

— Собирайтесь в Выборг,— встретил его заведующий отделением.— Туда едут около двухсот депутатов на какое-то собрание. Напишите отчет.

Но в Выборг Сергею Ивановичу поехать не пришлось. Выйдя из редакции, он столкнулся с братом своей бывшей квартирной хозяйки Протопоповым.

— Добрый день, Маврикий Александрович,— с недоброй улыбкой приветствовал его старик.— По газетной части пошли? Надоело, видно, по ярмаркам ездить.

«Принесло тебя, старого беса»,— думал Сергей Иванович и, сославшись на занятость, поспешно попрощался с малоприятным знакомым.

Но его тут же окликнули:

— Господин Рыбаков, подождите.

К нему подходили два типа в штатском. Один, с каштановыми усиками в стрелку, вежливо приподнял соломенную шляпу «канотье»:

— Разрешите документик, господин Рыбаков. Так-с. Значит, вы Рыбаков-с, и вы же-с господин Позднов, и говорят, что вы же Прохладин. Пройдемтесь!

Сергей Иванович понял, что бежать и сопротивляться бесполезно. Спокойно заложил руки за спину:

— Пошли!

Из-за стеклянной двери отделения «Русских ведомостей» торжествующе смотрел старик Протопопов.

* * *

Самым важным событием после царского указа о роспуске думы явилось назначение премьер-министром министра внутренних дел Столыпина.

Новый премьер-министр в первый же день объявил на военном положении все Киевское генерал-губернаторство. Потом, очевидно для устрашения депутатов думы, собравшихся в Выборге, объявил и этот город со всеми окрестностями на чрезвычайном положении.

Депутаты обратились к народу с воззванием. Особенно страстную речь произнес при этом депутат Герценштейн, приват-доцент Московского университета. Через два дня его убили в Териоках в девять часов вечера, а в черносотенной газете «Маяк», вышедшей в свет на два часа раньше, уже сообщалось об этом злодействе.

Депутатов, собравшихся в Выборге, предали суду. Судебных процессов этим летом и осенью вообще было много. В Кронштадте судили восставших матросов. Семь человек расстреляли. Судили матросов и в Свеаборге — расстреляли. В Нижнем Новгороде судили трех рабочих «за подстрекательство к забастовке». Повесили. В Красноярске судили семь железнодорожников. Оправданных не было: двух повесили, остальные пошли на каторгу.

Полуэскадрон драгун под командованием ротмистра Граховского совершил «прогулку» по селам Волковысского уезда Гродненской губернии. По доносу священника задержали девять крестьян. Суда не было. Трех крестьян расстреляли, остальных выпороли и переправили в Гродненскую тюрьму.

В Санкт-Петербургском окружном суде подготавливалось к слушанию дело Петербургского Совета рабочих депутатов. В Московском окружном суде разбиралось дело убийцы Баумана — Михальчука. Присяжные заседатели признали убийцу виновным, «но без умысла лишить жизни». Судья Нилус, читая приговор, искоса посматривал на чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе, прибывшего в зал суда до начала процесса.

— «А посему приговорил вышеозначенного Михальчука к лишению особых прав и отдаче в арестантские роты сроком на полтора года. Обвиняемый может быть освобожден из-под стражи под денежный залог в пятьсот рублей».

Чиновник, поймав взгляд судьи, благосклонно кивнул головой. В тот же вечер пять хрустящих, видно, только что из банка, сторублевок были внесены в кассу суда. Михальчук ехал домой на извозчике.

Судили пристава пресненской полиции Ермолаева, убившего приват-доцента Московского университета доктора Воробьева. Оправдали.

Судили генерала Рожественского, погубившего флот под Цусимой. Оправдали.

Судили городового, застрелившего в Конотопе двух гимназистов, распевавших на улице «Марсельезу». Оправдали.

В Уфе задержали громил, избивавших девушку-башкирку, отказавшуюся перекреститься на царский портрет. Их не судили. Жандармский офицер отпустил их с напутствием: «Пошли прочь, дурачье! Разве можно на людях?»

Новый премьер-министр вел себя на европейский лад: охотно принимал репортеров, давал интервью, позировал перед фотографами, появляясь то во фраке, то в парадном мундире со звездой, и произносил речи, смысл которых сводился к одному: сначала успокоение, а затем реформы.

Успокоение проводилось жестоко и методично. Налетали на села и деревни карательные отряды. Усатые штабс-капитаны и безусые пьяные поручики единолично выносили смертные приговоры. В городах действовали временные военные суды. Все чаще и чаще затягивался «столыпинский галстук».

В ответ поднялась волна террористических актов.

Второго августа во многих городах Царства Польского — в Варшаве, Лодзи, Радоме — были совершены вооруженные нападения на полицию, организованные польской социалистической партией. Двенадцатого августа эсеры-максималисты бросили бомбу в дом премьер-министра на Аптекарском острове. Были убитые и раненые, но Столыпин уцелел. На другой день, в три часа пополудни, на станции Новый Петергоф эсеры убили командира Семеновского полка генерала Мина. В этот день, к вечеру, в Варшаве застрелили генерал-губернатора Вонлярского. В тот же день, в сумерки, оглушительный взрыв сорвал крышу в або-бьерноборгском жандармском управлении. В эту же ночь сгорело шестнадцать помещичьих усадеб, были убиты пять исправников, три урядника и один городовой.

Второго сентября неожиданно умер генерал Трепов. Николай не явился на похороны — струсил. За гробом диктатора шли несколько высших чиновников и солдаты из собственного его величества конвоя. Даже близкие к генералу люди считали неприличным сопровождать его прах. Неделей позже хоронили известного русского знатока искусства Владимира Васильевича Стасова. За его гробом шли тысячи людей. В первых рядах видели Римского-Корсакова, Глазунова, Направника, Лядова, Репина, Куинджи.

Царь, просмотрев донесения о похоронах Трепова и Стасова, пометил: «Довольно странно!»

Он любил эту, как ему казалось, загадочную фразу. Его именем действовали суды: окружные, военные, военно-полевые. Его именем начинались все манифесты. От его имени шли все указы. А он сидел взаперти в своих зимних и летних резиденциях, уходил на яхте в море, подальше от Кронштадта. В день, ког-

да расстреливали матросов в Свеаборге, он осматривал новую форму нижних чинов отдельного корпуса жандармов. Осмотрев, остался в общем доволен, но, увидев, что кушак красного цвета, сказал: «Довольно странно!» — и предложил заменить его белым. Вечером он записал в своем дневнике: «Ловил рыбу удочкой. Клев был средний. Играл в карты. Ужасно не везло».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Было время: начальник шуйского уездного полицейского управления исправник Лавров жил по твердому расписанию, составленному не на день, не на неделю, а на месяцы и годы.

Если к небольшому особняку на Миллионной улице подкатывала коляска, запряженная парой белых лошадей, значит, десять часов, и господин исправник сейчас поедет в управление. Весь город знал: по субботам исправник с трех часов дня до шести вечера в бане у Абросимова.

В любое воскресенье с семи часов до полуночи Лавров сидел в благородном собрании за карточным столом.

Ближайшие сотрудники Лаврова знали и другое расписание исправника. По вторникам и пятницам он самолично принимал секретных, только одному ему известных агентов. По понедельникам и средам он лично допрашивал арестованных, нередко пуская при этом в ход кулаки.

Но все это было давным-давно. Последние два года от расписания не осталось и следа. Нередко вместо двенадцати ночи исправник ложился спать под утро. Иногда он мечтал: уехать бы куда-нибудь в тихий уезд, подальше от осточертевших Шуи и Иваново-Вознесенска, где каждый день можно ожидать забастовки, противоправительственной манифестации и еще бог знает чего. То ли дело сидеть исправником где-нибудь в тихом Юрьевецком уезде или, еще лучше, в лесном Макарьеве! Но приходила почта, и Лавров узнавал, что в спокойном Юрьевецком уезде крестьяне сожгли в одну ночь семь помещичьих усадеб, а в глухом Макарьеве лесорубы прикончили самого богатого лесопромышленника — купца Хвостова.

Нет, не было в ту пору тихих мест для исправников!

Самое неприятное для Лаврова было то, что шел январь 1907 года, а неуловимый «окружной агитатор» Арсений все еще был на свободе. Ничто не помогало: ни объявления о награде в пять тысяч рублей, ни секретные агенты.

Кто же он такой, этот Арсений?

Дурак Перлов уверяет, что это он выступал на митинге в гостинице «Лондон» под фамилией Санина. Перлов хотя и исполнителен, а в общем фантазер. Каждую неделю доставляет в полицейское управление по два, а то и по три «Арсения». На

днях приволок очередного — оказался женихом дочери фабриканта Балина. Просто конфуз. А настоящий Арсений выделывает черт знает что! Вот, пожалуйста, агентурные донесения за последнюю неделю: дважды выступал в Шуе, сочинил листовку к крестьянам о податях и рекрутах. Податей, дескать, не платите, рекрутов не отправляйте. За каждую листовку по нынешним временам можно повесить. Поди повесь! Сначала поймать надо! Ездил, говорят, во Владимир на совещание выборщиков во вторую Государственную думу. Не поймешь этих большевиков: первую думу бойкотировали, а в эту сами лезут. А все-таки зачем он во Владимир ездил? Непонятно. Где живет? Неизвестно.

А начальство сердится. Почти ежедневно запросы: от губернатора, от начальника губернского жандармского управления полковника Юрцева. Положим, по закону он мне, Лаврову, не начальник, но приходится слушаться и помалкивать. Им теперь такие права дали, что сам губернатор перед ним лебезит.

Лавров позвонил.

— Звали, ваше высокоблагородие?

— Крикни Перлова. ...и этого... зови всех. Надо поговорить, надо.

* * *

У большевиков тоже совещание. Обсудили листовку «Ко всем избирателям», написанную Арсением по поводу выборов во вторую думу. Получилось хорошо, но где печатать? Надо напечатать несколько тысяч. Арсений знает, что только в Иваново-Вознесенске, Шуе, Кохме, Тейкове и других городах одних членов партии больше пяти тысяч. Он вопросительно смотрит на друзей:

— А если попробовать по примеру петербургских и московских товарищей? Занять частную типографию? Печатали же москвичи свои «Известия» в больших типографиях.

«Станко», всегда готовый в бой, горящими глазами смотрит на Арсения:

— Правильно!

* * *

Большие круглые стенные часы пробили шесть. Владелец типографии Лимонов оторвался от толстой конторской книги и подошел к окну. За окном лениво падал большими хлопьями снег.

Лимонов вспомнил: сегодня он приглашен играть в карты к казначею. Надо будет зайти за соборным дьяконом. Он хоть и не картежник, но посидеть с ним занятно. После второй рюмки дьякон начинает рассказывать такие анекдоты, что все диву даются.

В дверь кабинета тихо постучали.

— Ну кто там? Войдите.

Вошли двое. Один, постарше, встал около двери, рядом с телефоном. Второй, помоложе, снял белую заячью шапку и вежливо приветствовал хозяина:

— Добрый вечер!

Лимонов принял деловой вид и любезно ответил:

— Прошу. Чем могу быть полезным?

Молодой посетитель расстегнул тужурку и достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги:

— Извините за беспокойство, но нам надо спешно отпечатать.

— Что прикажете понимать под вашим «спешно»?

— Сегодня. Сейчас же.

— Не могу. Впрочем, покажите, что за работа.

В серых глазах посетителя засверкали озорные огоньки. Пряча улыбку, он произнес:

— Пожалуйста. Текста немного, а о тираже мы, надеемся, договоримся.

Хозяин взял текст и, прочитав его, вскочил с кресла:

— Позвольте? Что-то я ничего не понимаю. Что это такое? Да как вы смели?!

Но Лимонову осталось только возмущаться. У посетителей в руках револьверы. Один задернул на окне занавеску, вышел в коридор и спросил:

— Все на месте?

Густой бас ответил:

— В порядке. Можно начинать.

Лимонов опустился в кресло. Вот тебе и вечеринка! Вот тебе анекдот! Такого не выдумает и дьякон.

Молодой посетитель спокойно, как будто у себя дома, распоряжается:

— Успокойтесь! Ничего худого с вами не случится. Прикажите начать набор.

Лимонов вскочил с кресла:

— Ну что ж, пожалуйста! Только прошу вас учесть: я уступаю силе... Позовите сюда кого-нибудь из рабочих: я должен иметь свидетелей.

В кабинет вошел наборщик Орешкин. Хозяин, обычно недолюбливавший независимо державшегося рабочего, встретил его, как родного:

— Дорогой! Видишь, заставляют. Силой оружия...

Орешкин усмехнулся и сказал:

— Не беспокойтесь, хозяин. Когда полиция за вас возьмется, мы подтвердим, что вы действовали не по своей охоте. Давайте листовочку. Мы ее быстренько наберем.

Соборный дьякон, не дождавшись Лимонова, решил сам зайти за ним и затащить его к казначею. Войдя в типографию,

дьякон стряхнул с енотовой шубы снег, кашлянул для очистки голоса и, увидев около кабинета рабочего, рявкнул на всю типографию:

— Хозяин у себя?

— У себя, отец дьякон. Проходите.

Дьякон открыл дверь кабинета и замер на пороге. У телефона стоял парень с пистолетом. Дьякон хлопнул дверью и понесся по коридору к выходу, заревев во всю мощь своей глотки:

— Караул! Грабят!

Через минуту он в одном подряснике, без шубы сидел в кабинете. Павел Гусев уговаривал его:

— Напрасно, отец дьякон, волнуетесь. Никто грабить вас не собирается. А на улицу мы вас, извините, пока не выпустим. Придется подождать. Кончим, тогда пожалуйста.

Вечер у городового Шишкина прошел тихо, и ему стало скучно на посту. Вдруг он увидел, что лошадь, стоявшая около типографии, забралась на тротуар и закрыла санями путь для прохожих. Обрадованный подвернувшемуся делу, городовой направился в типографию, предвкушая двугривенный, который он сдерет с хозяина лошади.

Револьвер и шапка с молниеносной быстротой сняты с блюстителя порядка, а сам он, перепуганный насмерть, поднял руки вверх. Веселый голос командует:

— Пожалуйте, господин городовой! Проходите.

Городового ввели в кабинет. А там уже мирная беседа. Дьякон, поняв, что ему ничто не угрожает, расспрашивает парня у телефона:

— Где шапку купил? У Пророкова? Он вчера большую партию получил. Умеет торговать...

* * *

В наборном цехе на столе верстальщика Арсений правил листовку:

«Граждане избиратели! Если вы сочувствуете делу освобождения России, если вы хотите, чтобы крестьянство получило землю, рабочий класс добился восьмичасового рабочего дня и других улучшений, чтобы весь народ получил волю, то голосуйте за социал-демократическую рабочую партию...»

Наборщики постарались: нет ни одной ошибки.

Чтобы напечатать листовку в подпольной типографии, потребовалось бы не меньше недели, да и шрифт уж очень подбит — совсем слепой. А здесь, у Лимонова, все новенькое: шрифт, печатная машина. Очень хорошо! Уже зашелестели приводные ремни на печатной машине. Вот они — свеженькие, пахнущие краской листовки. До чего же они хорошо удались! И бумага хороша, в меру плотная.

А в кабинете еще гость. Зашел на огонек проведать Лимонова учитель словесности мужской гимназии Водарский. Сидит рядом с дьяконом на диванчике и с любопытством рассматривает парня у телефона.

В кабинет вошел Арсений. Через неприкрытую дверь было видно, как рабочие выносят пачки с листовками. Одна, две, три. Водарский соображает: видно, много напечатали эти молодцы противоправительственной литературы. Недурно бы почитать, что они там сочинили.

Часы пробили восемь. Лимонов вздрогнул. Боже мой! Уже два часа хозяйничают в его типографии большевики. Что-то будет?

Арсений прощается:

— До свиданья, господа! Извините, так сказать, за беспокойство. И еще: не рекомендую выходить после нашего ухода на улицу минут десять-пятнадцать. Телефоном пользоваться, к сожалению, пока нельзя: он отключен. Еще раз до свиданья.

Хлопнула тяжелая входная дверь Но еще стоит около телефона молодец в белой заячьей папахе с револьвером в руке. Стрелка у часов как будто не двигается. Прошла минута, вторая, третья... Наконец и этот покидает типографию. Он ничего не сказал на прощание, только слегка кивнул головой. Еще хлопнула дверь. В типографии тихо. Дьякон вскочил с дивана и вылетел на улицу, пугая редких прохожих истошным воплем:

— Караул! Помогите!..

* * *

Его высокоблагородие сам господин Лавров лично прибыл в типографию. Городовые и жандармы перевернули все вверх дном, стараясь найти хоть какой-нибудь след, но так ничего и не нашли. Допросы рабочих также ничего не дали. Все словно сговорились:

— Были какие-то люди. Кто такие, не знаем.

Не помог и дьякон. Бестолково твердил одно и то же:

— Все в белых заячьих шапках.

К полуночи человек двадцать в белых заячьих шапках были доставлены в полицейское управление. На допросе все задержанные показали, что купили шапки вчера в магазине Пророкова.

Самым последним из полиции выпустили учителя словесности Водарского. Проходя мимо аптеки, он подумал, что не худо бы купить эфирно-валерьяновых капель, а то как бы чего не случилось ночью с сердцем — столько волнений. На углу, возле аптеки, — афишная тумба. Из больших окон на тумбу падал яркий свет.

«Шуйское землячество студентов объявляет бал».

Чуть повыше — продолговатый листок. Водарский надел очки и прочитал:

«Граждане избиратели!..»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

После налета на типографию прошло больше месяца, а полиция никого из участников не поймала.

Всю вторую половину января и почти весь февраль иваново-вознесенские и шуйские большевики снова были заняты по горло. И вот, пожалуйста, результаты: несмотря на сопротивление властей, в депутаты второй Государственной думы от рабочих выбран большевик Николай Жиделев. Летом 1905 года он был депутатом рабочего Совета на Талке от рабочих фабрики Ивана Горелина.

Двенадцатого февраля устроили своему депутату проводы. К вокзалу собралось несколько тысяч человек. Говорили речи. Арсений последние дни не расставался с Жиделевым: помогал готовить ему выступления, рассказывал о Петербурге, снабдил явками.

В конце февраля у Арсения выдались дни потише. Можно просто посидеть с Павлом, поговорить.

Второй день живет Арсений на новой квартире — в доме Соколовой на Мало-Ивановской улице. Домик, как все домишки шуйских рабочих, маленький, низенький. Арсений занимает крохотную комнату с одним окошком. У хозяйки двое маленьких детей. В первой комнате на печке спит второй квартирант — рабочий с фабрики Небурчилова Василий Малышев. Павел устроился неподалеку на этой же улице, в доме Закорюкина.

Скоро должен прийти «Станко». Он вечером уехал в Кохму: срочно вызвали братья Шеевы — Аким и Петр. Может, узнали, кто из кохмовцев ходит на свидания к Лаврову.

— Скажи, Арсений, по совести, если бы тебе предложили переехать в другое место, как бы ты к этому отнесся?

— Смотря куда!

— Прямо отвечай. Не увиливай.

— Я не увиливаю, уважаемый Павел Дмитриевич! Конечно, в Петербург я поехал бы с огромной радостью.

— Откинем Петербург. Возьмем какой-нибудь другой город, ну, скажем, Тверь, Владимир или Самару.

— Если пошлют, конечно, поеду, но тосковать по нашим местам буду. Ты знаешь, Павлуша, мне иногда кажется, что я тут всю жизнь прожил: такое все родное и любимое. Иду я на днях по Московской улице и слышу — с Павловской фабрики краской запахло. Ты подумай — краской, а мне нравится. Или возьми здешнюю соборную колокольню. В бога я не верю, в

церкви несколько лет не был, а колокольню люблю: очень она красивая.

Вошел «Станко».

— Что там случилось?

— Ничего особенного, — начал рассказывать «Станко» и умолк. Сильный кашель долго не давал ему говорить. — Простыл я где-то, ребята. Позавчера мне моя Саша растерла грудь скипидаром — как будто легче стало, а сейчас опять трясет. А в Кохме ничего особенного... Какие-то парни собрались торговца ограбить. Пришли к большевику Матюнину и говорят: «Мы хотим экспроприацию устроить. Из каждой добытой сотни пятьдесят рублей отдадим вам». Он их послал к Шеевым, а те попросту: «Если вы, чертовы дети, начнете эксы проводить, мы вас самих так экспроприируем — дорогу домой забудете». Одним словом, пошумели...

Снова кашель прервал «Станко». Он вынул платок и отвернулся в угол. Павел потребовал:

— Покажи!

— Что показать? — недовольно отозвался «Станко».

— Платок покажи.

— Не к чему.

— А я говорю, покажи!

Павел вырвал у него платок.

— Кровь. Я давно заметил.

— Ваня, дорогой, — сказал Арсений. — Это очень серьезно. Тебе надо полечиться и, самое главное, хотя бы немного отдохнуть, выспаться и подкормиться. Мы запретим тебе работать в типографии. Это опасно. И хорошо бы уехать на юг.

— Никуда я не поеду. Бросьте меня отпевать. Поспать мне действительно надо. Пойду домой.

Они долго слушали, как он, очевидно хлебнув на улице холодного воздуха, кашлял у калитки.

Вечером в тот же день друзья возвращались из земской больницы от фельдшерицы Сусанны Дамской, с которой советовались насчет «Станко». На железнодорожном переезде Павел, замедлив шаг, тихо сказал:

— Смотри! Перлов. К нам идет.

Перлов крикнул: «Стой!» — и начал расстегивать кобуру.

Арсений опередил его:

— Получай, рыжий пес!

Щелкнул, но выстрела не последовало. Осечка!

Перлов ввалился в сани и начал бешено стегать лошадь. Громыхнул выстрел, но Перлов был уже далеко.

— Ушел, мерзавец, — виновато сказал Арсений. — Упустил.

— Идем скорее, — заторопился Павел. — Мы пешком, а он на лошади. Он сейчас на станцию. Будет погоня. Пошли к Поликарпову.

* * *

Какой тяжелый, мрачный день! Кровь у «Станко», неудача с Перловым, а вот сейчас видно, как плохо Поликарпову. Он дышал тяжело, с хрипом, мелкими глотками хватая воздух:

— Худо, братцы... Ночью чуть не умер. Говорят, воспаление легких у меня. С обеих сторон... Третий раз с тех пор, как ранило. Простыл я тогда, долго на земле лежал.

— Павлуша, надо сходить за Сусанной Дамской.

— Не беспокойтесь. У меня Матвей Иванович был. Лучше любого доктора. Ничего, братцы, пройдет. Ноги, проклятые, покоя не дают.

Он затих и долго лежал в забытьи. К полуночи пришел фельдшер Матвей Иванович. Грея руки у печки, объяснил:

— Тяжело ему. Другой бы на его месте от одной боли криком кричал, а у него еще жесточайшее воспаление легких, крупозное.

Он смерил больному температуру:

— Видите, сорок! Я посижу около него.

Замигала, закоптила лампочка.

— Керосин выгорел,— сказал фельдшер.— Надо погасить, а то начадит.

— У меня свечка есть,— чуть слышно произнес Поликарпов.— Посмотри в верстаке.

Павел достал толстую железнодорожную свечу.

— Я думал, ты спишь!

— Нет, Павлуша, я все слышу. Матвей Иванович, спасибо вам. Домой идите. Мне вроде легче.

— Ничего, Коля, я посижу.

— Идите,— настойчиво повторил Поликарпов.— Очень вас прошу, не томитесь.

— Хорошо, хорошо, уйду. Если потребуюсь, зови, прибегу.

— Ушел он?— спросил Поликарпов.

— Ушел.

— Слушайте, товарищи. Умирать мне неохота, но, наверное, умру. Война меня все-таки доела. Арсений, возьми мое пальто. Оно у меня хорошее, на вате. Павлуша, достань из верстака банку из-под ваксы. Нашел? Открой ее. Осторожно, не оброни.

В банке что-то звякнуло. Павел открыл ее и увидел золотую пятирублевку.

— Возьми, Павлуша, на память...

На рассвете Поликарпов умер.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Вторая половина марта выдалась на редкость теплой. Сразу почернела, кончилась санная дорога. На пригорках, освободившихся от снега, зазеленели первые травинки. Удивительные стояли дни — ясные, ласковые.

Безработный Семен Усачев с утра до вечера сидел на завалинке и через увеличительное стекло выжигал на деревянных кружочках силуэт колокольни с надписью: «На память о Шуе». Первые десять кружочков, изготовленных на пробу, жена продала на базаре за один час и принесла сорок копеек чистой прибыли.

Вроде солидная коммерческая фирма. А Усачеву с завалинки хорошо видно, кто идет вдоль широкой улицы, посреди которой проложена железная дорога. Появится околоточный — Семен легонько стукнет в окошко. В комнате сразу же стихает негромкий гул.

Попозднее, когда солнышко перестанет греть, Усачев займется подготовкой кружочков: обдирает их шкуркой, полирует. И никому невдомек, что в подполье у Усачевых печатают листовки.

Сейчас в подполье Арсений. Скоро он выйдет и пойдет не торопясь по железнодорожному полотну. Да разве узнать в нем питерского студента? Ничего похожего. Разве он стрелял в Никиту Перлова на переезде около земской больницы? Тот был без усов, в длинном пальто и серой шапке. На этом короткая тужурка и картуз.

— Будь здоров, Семен Игнатьевич! Я пошел.

Арсений зашагал по полотну. Через несколько дней ему пора собираться в дальнюю дорогу — в Лондон, на Пятый съезд. Товарищи доверили, выбрали делегатом. Опять Ленина увидит. Может, луганского Володю встретит. Интересно и Лондон посмотреть.

Вот и домик Баранова. Арсений осмотрелся. Почему так злобно брешет у Барановых пес? Обычно встречает, как своего, тыкается мордой в колени. А сейчас прямо хрипит.

Арсений постучал и попросил хозяина:

— Посмотри, что это с Шариком? Может, покормить забыли?

— Сейчас вынесу...

* * *

Пристав Декаполитов свалился с коня и застучал подкованными сапогами по железной лестнице уездного полицейского управления. Старший писарь не успел даже предупредить его, что исправник занят и приказал никого не пускать. Декаполитов с силой рванул дверь.

— В чем дело?

Пристав шепотом прохрипел:

— Накрыл! Поехали, ваше благородие.

— Сведения надежные?

— Самые верные-с. Мы его с утра из-под наблюдения не выпускаем.

Пока Лавров запирал стол и одевался, пристав продолжал хрипеть:

— Хитер! Залетел в Маремьяновку к Баранову, а там у меня Коноплев и Сычев с вечера в засаде лежали. Посидел немного и ушел в другой одежде. В Дубки подался, к Коркину. Там посидел, переоделся и к Соколову.

— Засада есть?

— Не уйдет! Птичка почти в клетке-с. Сейчас захлопнем. И Пашка Гусев неподалеку, у Закорюкиных спит. И его заодно прихватим.

Через несколько минут взвод конных стражников под командой Никиты Перлова скакал за легкими санками исправника. На большом мосту их нагнала сотня астраханцев.

Город спал. Шел второй час ночи на 23 марта 1907 года.

* * *

Арсений читал Чехова. Спать еще не хотелось. Очень хорошо написал Антон Павлович «Тоску». Бедный Иона! Сколько таких людей, задерганных, измученных, убитых горем, раскидано по России!..

Вошел Малышев, наклонился и тихо сказал:

— Погаси свет. Ходит около дома.

— Кто ходит?

— Леший его разберет. Три раза мимо прошел. Я выйду, посмотрю.

— Пошли вместе.

Арсений погасил лампу, и они вышли. Полная луна плыла по небу. Они обошли дом, заглянули в соседние дворы, постояли у калитки и вернулись... Хозяйка проснулась.

— Дверь прихлопните, несет. Арсений, ты ужинал? Достань картошку из печки.

— Спасибо. Утром съем...

Забираясь на печь, Малышев услышал, как в комнате у Арсения звякнуло стекло.

— Чего ты там?

— Вторую раму выставлю. На всякий случай.

Потом все стихло, только изредка капало из рукомойника.

Вскоре хозяйка поднялась с пола, чиркнула спичкой и осветила ходики:

— Половина второго. Как бы смену не проспать.

Ей никто не ответил. Все в доме крепко спали.

* * *

В дверь не стучали. Ее сразу сорвали с петель, и она с грохотом упала. Хозяйка сначала ничего не увидела, кроме двух ярких фонарей. Она дико закричала и бросилась к детям. В комнату сразу вошло много людей.

— Свети лучше!

Малышев через низенькую перегородку увидел, как спавший одетым и в сапогах Арсений вскочил, быстро накинул тужурку и шапку, достал из-под подушки два револьвера. Один сунул в карман. Он поднялся на табуретку, ногой открыл окно. Из окна показалась рука с пистолетом, и чей-то голос злорадно крикнул:

— Давай сюда, давай!

Арсений повернулся и пошел прямо на пристава, на ходу вынимая другой револьвер. Стражники попятились. Декаполитов пригнулся, втянув голову в плечи. Арсений шел, спокойно приказывая:

— А ну, дай дорогу! Застрелю!

Под ноги ему бросилась хозяйка:

— Не стреляй! Деток пожалей. Убьют!..

Арсений опустил револьверы. На него грудой навалились стражники:

— Ваше благородие! Входите.

Вошел Лавров. Посмотрел, как пристав выворачивал у Арсения карманы, и, поняв, что никакой опасности больше нет, улыбнулся:

— Здравствуйте, голубчик...

В сенях зашумели:

— Иди, иди. Тут тебя дружок ждет не дождется.

Перлов втащил окровавленного, босого Павла:

— Все в порядке, ваше благородие. Проснулся, дьявол. Пришлось укротить.

* * *

Арсений и Павел сидели на сундучке, молча наблюдая за обыском. Лавров часто посматривал на часы, торопил. Павел усмехнулся:

— Смотри! Хотят до гудков управиться, чтобы народ не увидел.

Декаполитов писал протокол обыска:

«При обыске обнаружено и изъято: «Капитал» Карла Маркса, письмо вышеуказанного Маркса к Кугельману, протоколы Четвертого съезда РСДРП, программа РСДРП, экземпляр газеты «Вперед», устав шуйской организации РСДРП, 79 экземпляров листовки «Граждане избиратели!»

Лавров посмотрел листовку и вежливо осведомился:

— в типографии господина Лимонова изволили отпечатать?

Не получив ответа, съехидничал:

— Не успели распространить или для коллекции сохранили?

Декаполитов, рассмотрев номера на найденном оружии, с удовольствием вносил в протокол: «Винчестеры № 307823 и 301379, браунинг № 127684, маузер № 46435». Он писал, повторяя вслух написанное:

— «И еще обнаружены письма противоправительственного содержания, адресованные депутату Государственной думы Жиделеву».

— Не врите, — перебил его Арсений. — Вы же писем не читали — как же вы можете знать их содержание?

— После разберемся. — Лавров посмотрел на часы.

Вошли стражники:

— Все посмотрели, ваше благородие: сарай, погреб и курятник. Ничего не обнаружено.

Арсений не сдержал улыбки:

— А куры? Не забудьте их пощупать...

Наконец обыск закончили. Декаполитов еще раз пошарил в дорожной корзинке, заглянул под печь, постучал по стенам рукоятью пистолета:

— Все, ваше благородие.

— Ведите!

Стражники вытащили из кобур револьверы. Декаполитов скомандовал:

— Эй вы, пошли!

Арсений не двинулся с места:

— Дайте ему сапоги, пальто — все, что полагается. И не кричите на нас.

Лавров коротко бросил Перлову:

— Одеть!

Хозяйка, поняв, что жильца сейчас уведут, суетливо полезла в печку и, достав из золы печеную картошку, совала ее Арсению:

— Возьми, миленький, возьми, Голодный ты... Возьми...

Декаполитов схватил ее за руку. Картошка покатилась по полу.

— Уйди, баба! Не беспокойся, накормим.

Вошел Перлов с валенками и пальто:

— Шапку не нашли. Хорошо и так, дойдет!

Арсений тем же властным тоном заявил:

— Найдите. Без шапки не пойдем.

Лавров, которому не терпелось вывести поскорее арестованных на улицу, торопливо сказал Декаполитову:

— Ну дайте ему какую-нибудь. Опаздываем. Прошу вас, господа, пойдемте.

Арсений с Павлом засмеялись:

— Вот это я понимаю — вежливое обращение! Ну что ж, пошли. До свиданья, Васильевна!

Выйдя на улицу и увидев охрану, Арсений шутливо сказал Павлу:

— Видал? Весь гарнизон, как на параде!

Их вывели на середину улицы. По бокам выстроились конные стражники. Впереди на санках — Лавров и Декаполитов. Сзади казаки. Луна зашла, и стало темнее. Похрустывал под ногами тонкий ледок застывших ночью луж. Арсений и Павел шли, тесно прижавшись друг к другу.

Во многих домах уже светились огни.

* * *

На ткацкой фабрике Терентьева первая смена, как всегда, начала работать в четыре утра.

Весь корпус фабрики дрожал. Казалось, тряхнуть его еще немножко, и он развалится.

Подмастерье Николай Сизов ставил на станок новую основу. Мастер Ковригин, позевывая, говорил:

— Ставь побыстрее и приходи в материальный склад за погонялками.

Не успел мастер отойти, как к Сизову подбежал шлихтовальщик Осекин и, стараясь пересилить шум станков, крикнул в самое ухо:

— Иди в курилку! Быстро.

Курилка была полна рабочих. Необычным в этой мужской комнате казалось присутствие женщин.

У двери на страже стояли двое парней.

Василий Малышев возбужденно рассказывал:

— Я все видел! У меня на глазах забрали. И Павла Дмитриевича. Я бы раньше сюда приехал, да меня стражники долго не выпускали. Как же, братцы? Неужели так и отдадим Арсения?..

Николай Сизов подошел к Малышеву:

— Сам видел?

— При мне все дело было.

— Нет, так не отдадим. Пошли, товарищи, в корпус. Снимай народ. К тюрьме!..

* * *

Владимирский губернатор Сазонов получил первую телеграмму об аресте Арсения в пять часов утра. Несмотря на то, что его разбудили рано, губернатор был чрезвычайно доволен. Он несколько раз перечитал телеграмму: «Шуе арестован окружной агитатор Арсений. Лавров».

Губернатор имел все основания быть довольным. Только вчера отбыл в столицу чиновник особых поручений при Столы-

нине, приезжавший во Владимир по личному приказанию премьер-министра. Чиновник был очень вежливый молодой человек, сын знакомого Сазонова еще по кадетскому корпусу. Гость был очень любезен, рассказывал много столичных новостей, похвалил Владимир, восторгался древними Успенским и Дмитриевским соборами. Но накануне отъезда он в очень милых выражениях дал понять, что его высокий патрон весьма недоволен столь медленным искоренением в губернии крамолы. Особенно запомнилось Сазонову, как чиновник с брезгливой миной на лице, очевидно подражая Столыпину, сказал:

— Это же черт знает что такое: до сих пор не можете поймать этого Арсения! Что он — невидимка?

И вот удача! Арсений арестован. Молодец Лавров! Есть еще у старика порох...

Губернатор присел к столу и крупным почерком написал: «Петербург, Столыпину. Сегодня Шуе принятыми мною мерами арестован окружной агитатор Арсений. Подробности позднее. Сазонов».

Вторую телеграмму губернатору принесли в восемь утра. От телеграммы веяло беспокойством: «Все фабрики стали. Требуют освобождения Арсения. Ожидаю столкновений. Осаждают полицейское управление. Необходимо немедленно подкрепление в составе не менее двух рот. Лавров».

Через час губернатору принесли еще телеграмму: «Прошу выслать пехоту. Положение очень серьезное. Лавров».

Телеграмма вывела губернатора из равновесия. Лавров уже не казался молодцом:

— Старый дурак! Да разве можно положиться на эту рухлядь!

В Шую Лаврову полетел ответ:

«Высланы казаки и пехота — две роты десятого гренадерского Малороссийского полка. Открытый бунт не может быть допустим. К вам выехал товарищ прокурора Унтилов. Надо быть энергичным и помнить, что сил у вас достаточно. Сазонов».

Отослав телеграмму и распорядившись о посылке в Шую сотни казаков из Коврова, губернатор решил опять побеспокоить Петербург. Пусть Столыпин узнает истинное положение от него, нежели, не дай бог, от кого-нибудь другого. Он испортил много бумаги, прежде чем телеграмма получилась краткой и спокойной: «Вследствие ареста агитатора Шуе стали все фабрики. Меры принимаю».

В полдень в кабинет к Сазонову донеслась солдатская песня:

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет...

Гренадеры шли на вокзал.

* * *

Шуйская тюрьма стояла в самом центре города, рядом с полицейским управлением. Перед тюрьмой на огромной площади высился Покровский собор. С утра вся площадь была заполнена рабочими. Казалось, что все взрослое население Заречья сошлось сюда. А народ все прибывал и прибывал. Шли ткачи со всех фабрик — Терентьевской, Посылинской, Балинской, Небурчиловской, Рубачевской. Большой толпой с красным кумачовым знаменем пришли прядильщики Павловской фабрики.

Соборный сторож Матвеич беспрекословно выдал ключи от колокольни, и пяток молодых рабочих забрались к самым колоколам наблюдать за тюремным двором.

Быстро выбрали депутацию для переговоров с Лавровым. Подмастерье с Терентьевской Николай Сизов, Василий Малышев, красильщик Анисим Баландин и литейщик Шувалов подошли к крыльцу полицейского управления и потребовали пропустить их к Лаврову.

Лавров вышел на крыльцо под охраной трех дюжих казаков:

— В чем дело, господа?

Литейщик Шувалов сказал:

— Выпускайте!

— Не могу.

Шувалов показал рукой на площадь.

— Видите? Не отпустите по доброй воле — будет хуже...

Один из казаков по знаку Лаврова подбежал к воротам тюрьмы и постучал нагайкой. Ворота тотчас же распахнулись, и казачья сотня с обнаженными шашками вылетела из тюремного двора. Высыпали на улицу пешие стражники и городовые.

Лавров осмотрел свое войско и, повернувшись к рабочим, произнес:

— Советую, господа, разойтись. При первой же попытке подойти к тюрьме я прикажу открыть огонь. Имею на это особые полномочия.

Анисим Баландин потянул Шувалова за рукав:

— Пойдем. Тут ничего не добьешься.

Когда депутаты перешли дорогу и вступили на площадь, откуда-то сразу появилась табуретка. Баландин поднялся на нее и начал речь. Толпа затихла. Голос у Баландина был зычный, его слышно было даже на колокольне:

— Обещают угостить нас свинцовым подарком, если мы не разойдемся. Я думаю, товарищи, что мы тут до тех пор будем стоять, пока к нам Арсения не выведут.

Толпа зашумела, послышались выкрики: «Чего нам их бояться!»

На табуретке Семен Усачев. Он поднял руку, и толпа стихла.

— Позвольте мне, товарищи, совет дать. Есть у нас в Пе-

тербурге защитник, член Государственной думы товарищ Жиделев, наш рабочий депутат. Надо к нему обратиться.

Народ снова зашумел. Одни говорили, что это очень дельное, правильное предложение. Другие уверяли, что телеграмма до Жиделева не дойдет, задержат, и не стоит понапрасну терять время. Но все же выбрали делегацию и поручили ей идти на телеграф — дать телеграмму Жиделеву.

Стало смеркаться, а народ с площади не расходился. Ровно в шесть часов вечера с колокольни раздался удар колокола. Многие вспомнили, что завтра большой церковный праздник — благовещенье, и решили, что звонят ко всенощной. Но звон прекратился. Люди смотрели на колокольню, не понимая, в чем дело. Потом с колокольни донесся крик:

— Товарищи! Солдаты идут!..

С вокзала шли гренадеры. По Ковровскому тракту в город въезжали казаки.

* * *

Арсения и Павла развели по разным камерам. Арсений попал в маленькую камеру с окном на реку.

Осмотревшись, Арсений тихонько постучал по стенам. Ответа не было — очевидно, соседние камеры были пусты.

Арсений лег на нары. Вскоре усталость последних дней дала себя знать, и он уснул. Несколько часов сна освежили его, и он встал с нар бодрый, готовый к любым испытаниям.

Первое, о чем он вспомнил после сна, это был совет понравившегося ему на Стокгольмском съезде Володи из Луганска: «Главное в тюрьме — гимнастика. Упражняйся, и рыхлым не будешь».

Арсений деловито выполнил несколько гимнастических упражнений. Больше делать было нечего, оставалось только ходить из угла в угол: пять шагов вперед, пять шагов назад.

Потом ему подали деревянную миску с жидким картофельным супом и ломоть черного хлеба. В шесть часов надзиратель зажег над дверью опутанный проволокой фонарь, а вскоре пришел конвой, и Арсения повели, как он подумал, на допрос.

В большом кабинете за столом он увидел Лаврова. Сбоку сидел неизвестный Арсению человек в штатском. Лавров пригласил:

— Садитесь.

— Не устал.

— Как хотите. Впрочем, разговор будет недолгий. С вами желает беседовать товарищ губернского прокурора.

Унтилов кивнул головой и сказал:

— Буду откровенен. Мы хотим использовать ваше влияние на толпу.

— Не понимаю.

— Сейчас поймете. — Унтилов подошел к окну и открыл штору. — Смотрите. Эти люди пришли за вами. У нас есть сведения, что толпа собирается напасть на тюрьму. Я предупреждаю, сил у нас предостаточно. Могу даже вас точно проинформировать: у нас около тысячи вооруженных людей — солдаты, казаки. Освободить вас не удастся, а жертвы безусловно будут.

Унтилов говорил медленно, стараясь показать, что он спокоен. Но Арсений понял: товарищ прокурора напуган не на шутку.

— Что же вы от меня хотите?

— Вы должны уговорить толпу разойтись. Повторяю: в случае нападения будут жертвы.

Арсений посмотрел на заполненную народом площадь и подошел к окну:

— Открывайте!

Лавров распахнул окно:

— Пожалуйста.

— Пустите товарищей ближе, иначе они меня не услышат.

— Сейчас распоряжусь.

Через несколько минут толпа, как один человек, подалась ближе к полицейскому управлению. Арсений рассмотрел в первых рядах лица, освещенные фонарями. Вот они, стоят рядом, дорогие, родные люди!

Вон Николай Сизов, Баландин, Усачев... Как было бы хорошо сойти к ним, пожать им руки...

Он подошел к перилам. Его узнали, и шум на площади усилился. Но все сразу стихло, как только он сказал первое слово:

— Товарищи! Вы слышите меня, товарищи? Вы пришли выручить нас. Спасибо вам за вашу заботу. Но я очень прошу вас: идите по домам. Вы видите, сколько согнали сюда солдат и казаков. Берегите силы, товарищи! Они нам еще пригодятся в боях с самодержавием...

Лавров положил руку на плечо Арсению:

— Прошу говорить только о деле.

Арсений во весь голос продолжал:

— Вот здесь меня останавливают. Просят говорить только о деле. А я и говорю о деле. Не надо сейчас затевать бой с полицией. Эти трусливые звери начнут стрелять. Берегите силы, товарищи! Я прошу вас — расходитесь...

Вскоре на площади не было ни одного человека, только дозорные остались на колокольне наблюдать за тюремным двором. Сизов дал им строгий наказ: если Арсения и Павла ночью или утром куда-нибудь поведут из тюрьмы, звонить во все колокола.

Утро 25 марта было по-настоящему весеннее. Ярко светило солнце. Бежали ручьи. Несмотря на праздник, церкви были пусты: весь народ был на улицах. Даже в новом городском со-

боре, где собирались дворяне, купцы и чиновники, было свободно.

Ночью в город вошел 184-й Варшавский стрелковый полк. Две цепи солдат стояли от самой тюрьмы до вокзала. В десять часов утра Арсения и Павла вывели из тюрьмы и повели по этому живому коридору. Закованные в кандалы, они шли, окруженные казаками и конными стражниками. И как ни старались солдаты и городовые оттеснить толпу, многим удалось подбежать к Арсению и Павлу и пожать им руки.

А они шли, подняв голову, и отвечали всем, кто так любил и ждал их:

— Мы еще вернемся, товарищи!

Арестантский вагон стоял не на пассажирской, а на товарной станции. Через решетчатое окно Арсений увидел: под навесом пакгауза из-за хлопковых кип молча наблюдали грузчики. Один, в лохматой шапке, видно, посмелее других, пододвинулся ближе и стал, ярко освещенный весенним солнцем. Потом к нему присоединился второй, в поддевке и картузе, — видно, артельщик. «Да ведь это «Станко» и Яков», — догадался Арсений. Впереди лязгнуло железо, и вагон тронулся. «Станко» крикнул что-то, но из-за двойных рам его не было слышно.

Арсений не мог предполагать, что увидит своего друга только в тесовом гробу, который он сам сделает для него в тюремной мастерской.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

— Снимай все!

— Если вы будете на меня кричать и говорить мне «ты», я не пошевелю ни одним пальцем.

— Подумаешь, какое вашевысокоблагородие! Я говорю — снимай! Ну, снимите с себя вашу курточку... Очень хорошо. А теперь получите, пожалуйста, вот эту. Коротковата немного. По форме сшита. По инструкции на бушлат из равендука положено три аршина четырнадцать вершков.

— Много воруете.

— Поаккуратнее выражайтесь, молодой человек. Доложу начальнику — всыплют вам за оскорбление чина тюремной стражи при исполнении служебных обязанностей. Ботиночки, извиняюсь, не жмут? Не беда, далеко ходить не надо будет.

Тридцать лет служит во Владимирском централе надзиратель Наседкин. Весь высох, пока добился выгодного места начальника вещевого склада. Был младшим надзирателем, был старшим. Не одну тысячу арестантов, политических и уголовных, провел он по длинным коридорам и захлопнул за ними тяжелые, окованные железом двери камер. Много всяких людей

повидал Наседкин. Но вот такого видит впервые. Человека одевают в казенную форму последний раз. Сведет сейчас Наседкин его в кандальную к своему приятелю Хвостову, наденут там этому парню ручные и ножные кандалы, и поведет он его дальше, в камеру, из которой только один выход — во двор, к деревянному помосту, к двум столбам с перекладиной.

А он, чудак, одевается, как на прогулку, словно не знает, что до помоста и сотни шагов не будет.

— Обулись?

— Сейчас... Все. Готов.

Впереди Наседкин, за ним в трех шагах, как положено по тюремному правилу, идет Арсений. С обеих сторон — конвойные, позади — унтер-офицер; в правой руке у него пистолет. По уставу пистолет должен быть в расстегнутой кобуре, но унтер-офицер предупрежден: преступник только что приговорен военным судом к смертной казни через повешение, и смотреть за ним приказано строго. Пытался, говорят, недавно бежать из тюрьмы.

Вот и мастерская. Хвостов молча надел Арсению кандалы. Арсений шагнул. Кандалы не звенели, а глухо, мертво стукнули.

Вспомнились стихи любимого поэта, Николая Алексеевича Некрасова:

Я им завещаю железный браслет...
Пускай берегут его свято:
В подарок жене его выковал дед
Из собственной цепи когда-то...

Мысли бегут и бегут. Впереди еще три дня. Три дня! Их надо хорошо прожить, чтобы не было стыдно перед товарищами. Только не надо волноваться. Надо что-то придумать, заняться чем-нибудь.

До чего же длинны тюремные коридоры! И ни одной живой души, кроме этого злого старика и конвойных. Солдаты идут молча, стараются не смотреть на Арсения. Поворот. Коридор стал у́же. Еще поворот, три ступени вверх — и впереди опять длинный, совсем узкий коридор. Конвойные идут почти вплотную к Арсению. Чья-то рука жмет Арсению руку. Быстро сует в руку записку. Записка зажата в кулак. Нет, так нельзя — могут найти. Надо наклониться и опустить записку в башмак.

Арсений споткнулся и встал на одно колено. Один миг — и записка уже в башмаке. Наседкин, ядовито улыбаясь, говорит:

— Не привык к железам... Ничего, стерпится — слюбится.

Конвойные идут все так же молча, сурово, стараются не смотреть на Арсения. Только второй справа украдкой посмотрел один раз.

Коридор кончился. Камера без номера. Узкая, низенькая дверь. Около двери — надзиратели. Один сидит на табуретке и,

покрякивая, пьет чай из большой жестяной кружки. Он удивительно похож на Наседкина. Такой же худой, с редкой бороденкой и, видно, ко всему равнодушный. Посмотрел на Арсения и продолжает дуть в кружку.

Второй — толстый, как откормленный боров, и глаза, как у борова, — крохотные, с белыми ресницами. Взял у унтер-офицера прошнурованную книгу, внимательно прочитал, достал из заднего кармана химический карандаш и не спеша расписался. Затем вставил ключ, но дверь еще не открывает. Худой надзиратель поставил кружку на табуретку и ловко, почти неслышно запустил руку в карман к Арсению. Конвойные повернулись лицом к Арсению. Один — тот, что передал записку, — пристально смотрит на Арсения. Арсению очень хочется сказать ему что-нибудь хорошее, поблагодарить за смелый поступок, и он говорит:

— Спасибо, солдаты! Хорошо довели.

Унтер-офицер замахал пистолетом:

— Молчать! Отставить! С конвоем разговаривать строго запрещается.

Но солдат понял. Чуть заметная улыбка пробежала по лицу.

Распахнулась дверь. Арсений переступил порог, и дверь тотчас же с силой захлопнули. И сразу ничего не слышно.

* * *

Сначала Арсению показалось, что надзиратель открывает глазок и смотрит в камеру не регулярно, а как ему вздумается. Затем Арсений нашел пульс и стал считать:

— Один, два, три... десять... двадцать...

Вышло, что надзиратель подходит к двери, как только Арсений насчитывает 48. Очевидно, посмотрев в глазок, надзиратель доходил по коридору до поворота и возвращался. Арсений проверил свои наблюдения. Следовательно, надо сначала достать записку из сапога и зажать ее в кулаке. Потом, как только надзиратель отойдет, подойти к более светлому месту, напротив двери, и, считая до 48, успеть прочитать и спрятать записку.

Все удалось блестяще.

«Дорогой Арсений! Мы все знаем. Верим в тебя. Знаем — тебя никто и ничто не сломит. Пока ничего утешительного не обещаем, но принимаем меры. Крепко тебя обнимаем».

Подписи не было. Арсений перечитал записку еще раз и, разорвав на мельчайшие кусочки, проглотил. Очень жаль было уничтожать последний привет с воли, но хранить нельзя: могут неожиданно войти, обыскать.

Он сел на широкие деревянные нары. Чувства одиночества уже не было: он был не один. Через толстые глухие стены донеслась весть от друзей.

* * *

К концу второго дня привели старика крестьянина Ивана Васильевича Соколова, осужденного за убийство урядника и поджог усадьбы помещика Ярцева. Старик лег:

— Спать хочется. Устал я очень.

Через час дверь снова открылась, и в камеру втолкнули высокого широкоплечего человека с черными усами. Он тотчас же забарабанил огромным кулаком в дверь. Надзиратель через глазок спросил:

— Чего тебе?

— Дайте пить.

— Не видишь — бачок с водой. Пей сколько хочешь.

Черноусый зачерпнул полную кружку воды, выпил не отрываясь.

— Хорошо! А то в горле пересохло. Горит все! Ну, а теперь давайте знакомиться. Григорий Орлов, матрос Балтийского флота, с крейсера «Изумруд».

— С «Изумруда»? Был в Цусимском бою?

— Так точно, был. Насмотрелся, как русский флот погубили. Видел, как на боевых кораблях японский флаг поднимали. Все видел!

— На вашем корабле японского флага не было.

— Верно.

— Ваш командир капитан второго ранга барон Ферзен мог довести быстроходный «Изумруд» до Владивостока. Струсил.

— Верно! Струсил... А ты на каком корабле служил?

— На флоте я не был.

— Кто же вы, братцы?

Соколов слез с нар и встал напротив Орлова:

— Кто мы? Раз в этих хоромах вместе с тобой находимся, стало быть, хорошие люди.

Орлов сел рядом с Арсением, обнял его за плечи и тихо сказал:

— Много нашего брата кончают. В Петербурге и Кронштадте все тюрьмы переполнены. Меня вот сюда прислали. Здесь и судили. Втихомолку, чтобы матросы ничего не узнали. Сколько тебе лет, парень? Совсем ты еще молодой.

— Ничего, что молодой, — сказал Соколов. — Таких дел натворил...

Орлов посмотрел на старика и спросил:

— Вы по одному делу?

— Действовали врозь, а дело как будто одно.

Арсений удивленно смотрел на Соколова:

— Вы меня знаете?

— А кто же тебя в нашей округе не знает! Помнишь, к вам в Иваново-Вознесенск, в Совет, мужики из Майдакова приезжали — спрашивали, как землю помещичью делить?

— Помню, отлично помню.

— Ну так вот, я в этой депутации тоже был.

Арсений протянул Соколову руку:

— Простите, товарищ, что я вас сразу не узнал.

— А я тебя сразу признал. Все думал: назвать себя иль виду не показывать, что я тебя знаю? В тюрьме лишнего болтать нельзя.

Арсений шутливо сказал:

— А я вижу, вы человек опытный. — И уже серьезно добавил: — Нет, дорогой товарищ, теперь нам ничто уж не повредит.

Соколов тяжело вздохнул, расстегнул воротник рубахи, словно он его душил, и ответил:

— Скорее бы! Очень трудно, товарищ Арсений, ждать...

Орлов, внимательно слушавший их беседу, громко переспросил:

— Арсений? Ты Арсений? Здравствуй, товарищ! Я пока в общей камере сидел, много о тебе слышал. Очень рад, что последние часы своей жизни с тобой проведу...

* * *

Они долго не спали. Орлов все рассказывал о походе эскадры.

Арсений слушал, как умел он слушать людей — терпеливо, не перебивая. Знакомые по школьным занятиям названия далеких морей и портов оживали в рассказах матроса.

— После Мадагаскара наша эскадра взяла курс к Зондскому архипелагу...

Казалось, собрались три друга после разлуки и беседуют о самом милом, задушевном. Но задвижка у глазка непрерывно хлопала, напоминая о страшном приговоре.

Около десяти часов вечера надзиратели внесли в камеру большого, очень, видно, тяжелого человека и бросили его на пол. Толстый надзиратель, отдуваясь, выругался: «Здоров, дьявол!»

Арсений наклонился над телом:

— Товарищ! Товарищ!

Надзиратель пнул тело:

— Он тебе задаст товарища! Это же Ванька Колокольчик. Как объявили приговор, так и рухнул. Душегуб проклятый!

Он пнул Колокольчика еще раз и ушел, предупредив:

— Вы ему пальца в рот не кладите!

Арсений снова начал тормошить новичка:

— Товарищ! Водички дать?

Орлов дотронулся пальцем до век и тихо сказал:

— Притворяется. — И властно скомандовал: — Эй ты, вставай!

Колокольчик лежал как мертвый.
— Сейчас вскочит, — сказал Орлов и нажал уголовнику пальцем под носом.
Тот на самом деле поднял голову:
— Убери лапу!
— Заговорил. Брось притворяться. Не к чему, главное...
Колокольчик вскочил и забарабанил в дверь.
— Чего тебе?
— Доложи. Христом богом прошу, доложи. Скажи: согласен, мол, Колокольчик...
Надзиратель закрыл глазок.
Орлов, сразу догадавшись в чем дело, объяснил:
— Товарищи, вы поняли, на что он согласен? Его палачом уговаривали стать.
— Не ври! — завизжал Колокольчик. — Я такой же приговоренный. Палач у них есть — Мотька Преснов.
— Видали, товарищи? Все, гадина, знает.
Открылся глазок, и надзиратель объявил:
— Потерпи до завтра. Подумают.
Уголовник долго бушевал, кричал непонятные слова, плакал, потом забился в угол нар и притаился.
В три часа утра они услышали, как заскрежетал в двери ключ. Матрос вскочил с нар и вопросительно посмотрел на Арсения. Арсений помог подняться Соколову и спокойно сказал:
— Это за нами, товарищи.
Колокольчик испуганно смотрел с нар.
Дверь распахнулась, и в камеру вошло несколько надзирателей. В коридоре стояли конвойные солдаты с винтовками. Кто-то негромко, деловито сказал:
— Орлов, собирайся в контору!
Матрос сразу же шагнул вперед, потом повернулся к Арсению, протянул к нему руки:
— Прощай, дорогой! Зовут...
Он крепко пожал Арсению руку, обнял его и поцеловал. Так же прощался с Соколовым.
— Не тужи, дед!.. Я им не даром в руки дался. Долго они будут помнить Григория Орлова!.. Эй вы, стража господня, пошли!
И Орлов громко, сильным голосом запел:

Вихри враждебные
Веют над нами...

Соколов лег ничком на нары и зарыдал. Заплакал и Колокольчик. Арсений молча ходил по камере. Стучали на ногах кандалы...
Через полчаса дверь снова распахнулась. Тот же голос деловито произнес:
— Фрунзе, собирайся в контору!

* * *

Было еще совсем темно и очень холодно. Над узким тюремным двором висело черное звездное небо. Около деревянного помоста, на утоптанном снегу, лежало длинное тело, покрытое рогожей.

Арсения подвели к помосту. Никто ничего не говорил. Было очевидно, что все эти люди — конвой, врач, стоявший в отдалении, священник, тюремное начальство — совершают привычное им дело. У столба стоял высокий человек в овчинном полушубке с открытой головой. Он бросил на помост окурок, придавил его ногой и, обдавая Арсения запахом махорки, снял с него шапку.

Арсений брезгливо отодвинулся от него и сам стал под перекладину.

Было очень тихо. Только где-то далеко лаяла собака. Потом несколько раз на станции свистнул паровоз. От кучки тюремной администрации отделился начальник тюрьмы Гудима и громко скомандовал:

— Отставить!

Палач, не поняв сразу, в чем дело, переспросил:

— Что вы сказали, ваше благородие?

— Отставить! Перепутали, не того привели...

Это была неправда: тюремное начальство не ошиблось. Через три дня ночью Арсения снова вывели к помосту, и опять он услышал: «Отставить! Не того привели...»

На несколько дней его перевели в одиночку, а затем снова поместили в камеру смертников.

Многие проводили в ней свои последние часы. Больше всего было политических, но иногда приводили уголовников. По-разному вели здесь себя люди. Некоторые молчали, тупо уставившись в одну точку. Иные бушевали, переругивались с охраной. За два месяца через камеру прошло пятьдесят девять человек. Трое из них сошли с ума в первую же ночь.

Тюремный врач передал Арсению две книги. Одна, без обложки, оказалась учебником английского языка, вторая — «Введение в изучение нравственности и права» Петражицкого. Странно было в камере смертников вникать в основы нравственности и права и изучать чужой язык, но Арсений был чрезвычайно рад книгам.

Однажды в камеру впихнули депутата Иваново-Вознесенского Совета Акима Клещева. Увидев Арсения, похудевшего, бледного, Аким бросился к нему и, как будто боясь, что ему не дадут высказать все, торопливо заговорил:

— Что они с тобой сделали!

Арсений усмехнулся и ответил:

— Ждут... ждут, когда я английский язык выучу.

Ночью он сел на нары рядом с Клещевым, закинул за голову скованные руки и долго молчал. Услышав тяжелый вздох Акима, он сказал:

— Все бы ничего, только вот сплю плохо. Очень мне, Аким, выспаться хочется...

Помолчал и спросил:

— О «Станко» знаешь? Умер он. От чахотки. Так суда и не дождался. Сначала его Шура умерла. Родила в тюрьме девочку и умерла...

— Павел где?

— Не знаю... Ему тоже смертную дали... Но нас с ним после суда сразу разлучили.

— За Перлова вас?

— За все вместе.

— Поганец рыжий...

* * *

На рассвете увели и Акима, а об Арсении как будто забыли. Прошло больше месяца, а он все так же спокойно ходил по камере, вслух заучивая английские слова:

— «Лайф» — это значит «жизнь». «Фридем» — «свобода»...

«Интересно, как будет по-английски: «Надзиратель! Идите ко всем чертям»? Я теперь с ними, с окаянными, только по-английски буду разговаривать».

И был один счастливый день — получил письмо. По содержанию понял: оно от Якова и Федора Самойлова. Сколько радости доставили тоненькие листочки:

«Здоровье у мамы великолепное. Семья растет».

«Мама» — это партийная организация. Растет. «Шаляпин, говорят, поет в Нижнем Новгороде». Да ведь это о Степане! Это его товарищи иногда называли Шаляпиным. Степан, дорогой! Как я рад за тебя! «Моя дочка из путешествия еще не вернулась». Это, конечно, о Груне. Яков ее так и зовет: моя дочка. Милые вы мои, дорогие!

И последнее:

«Сестра и юрист хлопочут неустанно».

Сестра — это сестра Катя. Приехала из Пишпека еще до суда.

На шестьдесят восьмые сутки его вызвали из камеры днем и привели в кабинет начальника тюрьмы Гудимы. За столом начальника сидел пожилой полковник корпуса жандармов. Больше в кабинете никого не было. Полковник ровным, глухим голосом очень вежливо сказал:

— Здравствуйте, Фрунзе! Садитесь. Я прибыл сюда из Петербурга и вызвал вас для разговора по очень важному делу.

— Я очень сожалею, что вам так далеко пришлось ехать.

— Вы догадываетесь, зачем я вас вызвал?

— Нет.

— У вас есть шанс остаться в живых.

— Какая цена за этот шанс?

— Ваше чистосердечное раскаяние, прошение на августейшее имя его величества государя императора.

— Можно уточнить?

— Да, конечно.

— Как вы понимаете чистосердечное раскаяние?

— Полный рассказ обо всем содеянном, отказ от дальнейшей деятельности на этом... поприще и — самое главное — публичное заявление об отходе от ваших единомышленников.

— Ясно. Теперь вы будете мне говорить, что я еще молод и что мне еще надо жить и жить. Потом вы скажете, что революция подавлена.

— Вы почти угадали. Только о том, что революция подавлена, я вам говорить не буду. Об этом вам скажут ваши друзья. В одной из передач обнаружена записка, которую должны были передать вам. По инструкции я не имею права сообщить вам ее содержание... но, уж так и быть, скажу. Там сказано: «Вода пошла на убыль».

Арсений встал. Лицо его было спокойно, сосредоточенно, и только в глазах мелькнула насмешка. Он иронически сказал:

— По своей инструкции, я не имею права говорить, что это значит. И не скажу. — Затем Арсений посмотрел в упор на насторожившегося полковника и спросил: — Мне можно уйти?

Полковник, как будто не слыша вопроса, достал из золотого портсигара толстую папиросу, закурил и произнес:

— Если вы решите написать государю, вас, конечно, помилуют. Даю вам слово. Потом, после сравнительно легкого наказания, вы сможете уехать за границу. Париж! Боже мой! Из этой затхлой атмосферы, из вони камеры — и вдруг Париж, Елисейские поля, бульвары, опера...

— Там есть еще кладбище Пер-Лашез.

— Я вас не понимаю.

Арсений внятно, чеканя каждое слово, повторил:

— Кладбище Пер-Лашез. Стена, у которой расстреляны коммунары.

Полковник, пуская колечки дыма, игриво продолжал:

— Ну, если не хотите во Францию, тогда можно за океан. Или можем дать паспорт в Италию.

— Я никуда не поеду. Я люблю свою родину. Россию. Если бы не вы, она была бы лучшей страной в мире.

— Вы так полагаете?

— Я в этом уверен.

Полковник тоже встал и, оставив игривый тон, торжественно произнес:

— Триста лет стоит дом Романовых и будет стоять еще ты-

сячу! Разве можно детской рукой сокрушить колокольню Ивана Великого?

Арсений перебил его:

— Вы ошибаетесь!

— Боже мой, как вы, молодежь, самонадеянны! — воскликнул полковник, опускаясь в кресло.

— Нет, — сказал Арсений, — это вы близоруки! За феодализмом пришел капитализм, за капитализмом придет социализм, как день приходит за ночью.

Полковник, не скрывая иронии, спросил:

— Это по вашему Марксу?

— Да, по нашему Марксу и по нашему Ленину.

— Читал, читал. Все очень туманно и не совсем понятно.

— Не всякому дано понять. Иван Андреевич давно об этом писал.

— Какой Иван Андреевич?

— Крылов. Помните: «Невежи судят точно так: в чем толку не поймут, то все у них пустяк...»

Полковник деланно рассмеялся:

— А вы злой! Забияка. Ну, хватит спорить. Напишете прошение о помиловании? Нет? Не забывайте, что вы смертник!

— Я об этом отлично помню. И если вы будете на меня кричать, я с вами не буду разговаривать.

— Врешь! Заговоришь, когда к петле потянут! В ногах валяться будешь.

— Не дождетесь!

Арсений прислонился к каменной стене, ощущая затылком холод. Он был бледен, глаза потемнели, губы крепко сжались.

Полковник позвонил. Сразу вошел конвой.

— Убрать! В карцер!

Арсений твердым шагом не спеша вышел из кабинета.

* * *

Полковник бушевал, срывал зло на начальнике тюрьмы:

— Распустили! Книги ему дали!

— Все делали по инструкции, — оправдывался Гудима, — не отклонялись ни на йоту. Виселицу показывали — никакого впечатления. «Веревки, — говорит, — у вас, что ли, не хватает, что так долго со мной тянете?» В одиночке держали. Опять ничего. Посмотришь в глазок, а он или поет тихонько или стихи декламирует. А по утрам гимнастикой занимается.

— Я вижу, даже вы им восхищаетесь!

— Ну, я, знаете, далек от этого. Не первый год с этим народом воюю.

Полковник достал из портфеля лист бумаги и недовольно сказал:

— Самое неприятное, что я все-таки должен объявить о замене смертной казни каторгой.
— Что?! Есть такое решение?
— К сожалению, есть.
Гудима удивленно пожал плечами:
— Не понимаю. Таких надо только вешать.
Полковник снисходительно сказал:
— Вздернуть нетрудно. А вы хотите, чтобы вокруг стали все фабрики? Рабочие следят за каждым нашим шагом. А за Фрунзе они горой встанут. Вот и хотели заставить его отказаться от своих убеждений. Вы понимаете, какое впечатление произвело бы на рабочих его заявление на имя царя о помиловании? Знаменитый Арсений стал тих, как кролик!
— Ну, этого в кролика не превратить. Я за ним ежедневно наблюдаю.
Полковник выпил воды, закурил и, расхаживая по кабинету, сказал:
— Давайте его сюда.
— А вы не сразу ему объявляйте: может, еще подпишет.
Войдя в кабинет, Арсений звякнул кандалами и стал у самой двери.
Полковник подошел к нему, положил на плечо руку и примирительно произнес:
— Видите, Фрунзе, я терпеливее вас. Хочу еще раз с вами поговорить...
— Бесполезное занятие.
— Я советую вам еще раз подумать о просьбе на имя государя.
Арсений слегка дернул плечом, стряхивая руку.
— Как с вами скучно, полковник!
— Это ваше последнее слово?
Арсений, не выдержав, рассмеялся:
— Самое последнее! Разрешите мне уйти.
— Черт с вами! Нате, читайте.
— Что это еще за фокусы?
Начальник тюрьмы подтолкнул Арсения ближе к свету:
— Читайте, Фрунзе, читайте! Это очень интересно для вас.
Арсений взял у полковника бумагу с гербом. Ему бросились в глаза заключительные слова:
«А посему заменить ему, Фрунзе, смертную казнь ссылкой в каторжные работы...»
В груди как будто что-то оборвалось. На мгновение закружилась голова, стало трудно дышать. Он овладел собой, прочитал все постановление и, возвращая полковнику, весело сказал:
— Это действительно интересно!
Полковник назидательно заметил:
— Не понимаю, чему вы радуетесь? Каторга — это не пик-

ник. Может быть, когда у вас выпадут зубы и вылезут волосы, вас отправят на поселение. Сибирь — она, знаете ли, не шутит.

Арсений, не в силах больше сдерживать свою радость, возбужденно сказал:

— Сибирь! Сибирь не страшна! Туда дорога одна, а обратно дорог много!..

* * *

Вечером его перевели в общую камеру. Вся тюрьма уже знала о его судьбе и ликовала. Когда его повели по коридору, из-за дверей доносилось: «Фрунзе! Поздравляем!»

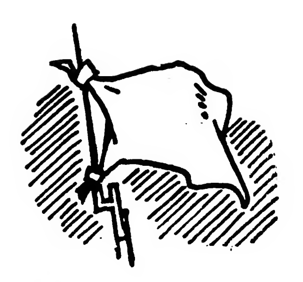
Товарищи по камере устроили торжественную встречу. Едва он переступил порог, грянула песня:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе...
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

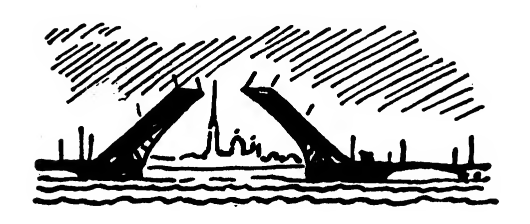
Попозднее, когда все успокоились, ему показали листовку, недавно выпущенную в Иваново-Вознесенске.

«Придет и наш день, дорогие товарищи! Он не за горами!»

Здоровье у «мамы» действительно было великолепное.



ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!



КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Утро было великолепное, ясное. Только запах прелой листвы да тишина напоминали о рано наступившей осени. В прозрачном голубом воздухе отчетливо виднелись Татры. Казалось, протяни руку, помани — и горы поплывут навстречу.

Рассыльный с телеграфа долго стучал в дверь, но никто не показывался. Тогда он несколько раз нажал тугую грушу велосипедного рожка. Рожок сипло крякнул.

Из домика, стоявшего поодаль, вышла женщина с ведром. Рассыльный снял форменную фуражку с прямым козырьком и гербом Австро-Венгрии, поклонился:

— Доброе утро, госпожа Скупень! Угодно вам получить телеграмму для вашего жильца?

Тереза Скупень поставила ведро. Расписалась и, поглядывая на тропинку, словоохотливо заговорила:

— А вы не хотите подождать? Господин Ульянов скоро вернется. Он сказал мне: «Пойду попрощаюсь с вашей речкой». Он очень любил купаться в Дунайце.

Она прикрыла ладонью глаза, защищаясь от яркого солнца:

— Вот он. Скоро и супруга придет. Она в Закопане.

Владимир Ильич быстро шел по тропинке. Вместо обычного кепи на нем была кремовая панама. Из-за кустов вылетел черный лохматый пес, радостно завертелся под ногами. Увидев отъезжающего рассыльного, Ленин приветливо взмахнул альпенштоком и крикнул по-польски:

— День добрый, пан Станислав! Большое спасибо.

Скупень подала ему телеграмму. Владимир Ильич с шутливой галантностью приложил руку к панаме:

— Спасибо, мадам Тереза.

И уселся на пенек лицом к Татрам. Пес пристроился рядом, успев преданно лизнуть руку. Телеграмма была из Кракова: «Сняли комнату улице Любомирского 51 цена подходящая».

Лето 1913 года для Ульяновых выдалось беспокойное. В Поронино переехали с мыслями о том, что если мягкий горный климат не полностью восстановит здоровье Надежды Константиновны, то хотя бы оно не будет ухудшаться. Но болезнь обострилась, все чаще и чаще появлялись приступы сердцебиения, невыносимые головные боли.

В июне положение стало совсем серьезным, и врачи посоветовали немедленную операцию. Пришлось выехать в Берн, к знаменитому хирургу Кохеру. Операция прошла удачно, но в Поронино вернулись только через полтора месяца.

И все же, как ни омрачила болезнь Надежды Константиновны все лето, было много и радостных дней: часто приезжали гости с родины. Только что, совсем недавно, разъехались участники совещания, названного по конспиративным соображениям «летним». Почти двадцать человек приехали из России, в том числе вся большевистская фракция четвертой Государственной думы. Ленин сиял — столько нового, интересного рассказали делегаты, как будто сам побывал дома.

А вот теперь подошло время, и из спокойного Поронина надо перебираться в Краков. Кто знает, сколько ясных, солнечных дней подарит еще осень. Могут неожиданно подуть ветры, сползут с гор туманы.

Ленин поднялся с пенька, размахивая альпенштоком, пошел к дому.

Стол у окна завален газетами, книгами. На первый взгляд — беспорядок. Но это только кажется — все лежит на своем месте. Владимир Ильич снял пиджак, достал из кармана пачку писем. Распечатал узкий длинный конверт. На балконе скрипнули половицы.

— Это ты, Надюша? У нас новость!

Вошла Надежда Константиновна.

— Ты звал, Володя?

Он подал ей телеграмму. Крупская прочитала, вздохнула:

— Надо укладываться...

Увидела длинный узкий конверт.

— От Горького?

— Собирается зимой в Россию. С его здоровьем! Я очень боюсь, что он себе страшно повредит...

— Скучно ему на Капри, — задумчиво заметила Надежда Константиновна. Она еще раз прочитала телеграмму. — Дом пятьдесят один. Это рядом с прежней квартирой. Ну что ж, будем собираться. Ты, Володя, что будешь делать?

Владимир Ильич, разбирая газеты, ответил:

— Напишу заявление для «шестерки». Мы, наверное, не представляем себе, как им сейчас трудно. Семь думских меньшевиков хотят съесть нашу «шестерку» и требуют, чтобы это было названо «единством». А ты, Надюша, чем займешься?

— Надо рассчитаться со всеми.

— Денег у нас хватит? — тревожно осведомился Владимир Ильич.

— Должно хватить. На билеты, на всякий случай, я отложила.

Крупская ушла. Ленин несколько секунд сидел неподвижно. Потом он достал чистый лист бумаги и начал писать, слегка наклонив голову направо:

«Уважаемые товарищи! Год совместной работы в Государственной думе обнаружил целый ряд столкновений и трений между нами и вами, т. е. остальными семью депутатами...»

* * *

Вечером погода испортилась: подул порывистый ветер, начался мелкий противный дождь.

На кухне Ульяновых, служившей одновременно рабочей комнатой Надежды Константиновны, горела керосиновая лампа. Владимир Ильич с зонтиком в руках стоял у двери.

— Дождь на всю ночь зарядил, Надюша. Только бы не опоздать к поезду. Письма надо отправить сегодня же. Им там, в Питере, сейчас очень тяжело. Ты не волнуйся, я скоро вернусь.

Он спустился с крылечка. Дождь, как назло, усилился. Надежда Константиновна накинула на плечи плед и вышла на балкон. Из темноты до нее донеслось:

— Это вы, товарищ Багоцкий? Куда же вы, батенька, в такую мерзкую погоду? На станцию? Превосходно. Пошли вместе.

Потом послышался смех Владимира Ильича и возглас Багоцкого:

— Осторожно, тут целое море!

Восточная часть неба очищалась от туч. Яркая звезда стояла низко над горизонтом. В той стороне была милая сердцу, далекая, недоступная Россия.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Шум и крики из зала заседаний Государственной думы разносились по всему Таврическому дворцу. Даже в министерском павильоне слышно было, как кто-то под аккомпанемент стука пюпитров визжал на одной высокой ноте.

Запоздавший член думы, дородный священник в шелковой фиолетовой рясе, расчесывая с удовольствием свою золотисто-рыжую бороду, спросил думского служителя:

— Кто речь держит?

— Господину Бадаеву не дают говорить.

Позабыв всю важность, батюшка помчался в зал. Депутат от рабочих Петербургской губернии Алексей Бадаев стоял на трибуне и медленными глотками пил из стакана воду, дожидаясь, когда утихнут вой и крики. Председатель думы Родзянко, поднявшись во весь свой огромный рост, неистово тряс колокольчиком:

— Господа члены думы! Господа!

Но не так-то просто было уговорить господ угомониться. Особенно громогласно орал что-то совсем уж непонятное высокий грузный человек с мясистым красным лицом.

— Член Государственной думы Марков! — взывал к нему председатель. — Если вы не перестанете, буду вынужден исключить вас на одно заседание.

Марков, не обращая внимания на Родзянко, продолжал орать, размахивая портфелем.

Зал утих. Бадаев, отодвинув стакан, продолжал прерванную речь:

— Спешность нашего запроса ясна будет для всех тех, кто не утерял еще совести, кто может реагировать на акты произвола, хотя, между нами будь сказано, я не имею основания рассчитывать, как и в прошлый раз, на отзывчивость вашей совести, господа...

Справа кто-то неистово завопил:

— Господин председатель, что же это такое? Оскорбление...

Родзянко, звякнув колокольчиком, строго предупредил:

— Член Государственной думы Бадаев, призываю вас к порядку! Прошу подобных выражений больше не употреблять, иначе лишу вас слова.

Бадаев посмотрел на пятерых большевиков, сидевших на крайней левой скамье, чуть заметно улыбнулся в ответ на энергичный жест Федора Самойлова, означавший: «Так их, Алеша! Так!..» — и продолжал:

— Внося запрос мы не надеемся на правительство, построенное на провокации, произволе и насилии... Такое правительство... не достойно управлять Россией...

Поднялся Родзянко.

— Член Государственной думы Бадаев, за подобные выражения я вторично призываю вас к порядку.

Бадаев досадливо отмахнулся от председателя и продолжал:

— Аресты уполномоченных больничных касс — это не что иное, как вызов, брошенный рабочим... Имейте в виду, господа, приближается время, когда рабочие заставят вас дать ответ за все...

С правых скамей послышался вопль Маркова:

— Заткнуть ему глотку!

И снова зал заседаний думы превратился в кипящий котел. К возгласам Маркова присоединились другие, энергичные: «По

морде его за это!..», «Долой его с трибуны!» Двое депутатов вовсю замолотили крышками пюпитров. Бадаев подвинул к себе графин с водой и наполнил стакан.

Наконец, когда наступила относительная тишина, председатель торжественно возгласил:

— Член Государственной думы Бадаев, за недопустимые выражения я лишаю вас слова и исключаю на одно заседание! Попрошу покинуть зал.

Бадаев не спеша сложил бумаги и спокойно сошел с трибуны, успев на ходу бросить Родзянке:

— Благодарю вас, господин председатель, я почти кончил.

Следом за Бадаевым ушли и остальные депутаты-большевики. Роман Малиновский догнал Бадаева и, пожимая ему руку, одобрительно говорил:

— Хорошая речь, Алексей. Пойдем вместе, у меня к тебе дело...

Он обнял Бадаева за плечи и повел по коридору. Шагов, внимательно посмотрев им вслед, сказал Федору Самойлову:

— Удивительное дело, Никитич, никак я не могу понять Малиновского. Просили его с запросом выступить — отказался. Говорит, болен, голос сдал. А сейчас — полюбуйся: веселый, хворь как рукой сняло.

— А глаза опухшие, — заметил мимоходом Муранов. — Видимо, нездоров.

— Может, просто хватил лишнего. — И Шагов, кивнув, отошел от товарищей.

— Что ты, — бросил вдогонку ему Муранов. — Он же непьющий...

Самойлов посмотрел на часы.

— Ты куда, Никитич? — спросил Муранов.

— Нам по пути. Надо поспеть к одному чинуше. Хочу еще раз попытаться добиться для Фрунзе скидки по амнистии.

— Где он сейчас?

— Все там же, в Николаевской каторжной. Седьмой год в тюрьме. Вчера получили письмо от его сестры, пишет, что он мечтает о поселении, как о рае небесном.

— Да уж натерпелся, бедняга.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Хлопотные дни выдались в ту осень у Степана Петровича Белецкого, товарища министра внутренних дел, ведавшего департаментом полиции.

Больше всего хлопот ему доставляло наблюдение за старцем Григорием Распутиным; оно отрывало Белецкого от, так сказать, его прямого дела, от борьбы с крамолой. Наблюдать за старцем было необходимо. Восемнадцать филеров под на-

чальством полковника Комиссарова, постоянно дежуривший на Гороховой, 64, у дома, где проживал старец, автомобиль — все было приготовлено ради того, чтобы ни один шаг старца не остался без внимания Белецкого. Наблюдение осложнялось тем, что Распутин не допускал к себе на квартиру филеров, пускал только полковника Комиссарова, которого иногда потчевал из собственных рук стаканом красного вина. Даже самому Степану Петровичу весьма польстило приглашение проведать старца в день его ангела, «великомученика Григория».

Степан Петрович начинал свою деятельность не в полиции. Он окончил Киевский университет по юридическому факультету, некоторое время даже пребывал в должности почетного мирового судьи, но вскоре обнаружил способности настоящей ищейки и дослужился до высокого поста директора департамента полиции. Он считал себя человеком образованным, поэтому ему претило, откровенно говоря, общество мужика, которого он именовал не иначе как «Гришка». Но что поделаешь, если даже судьбы людей чином повыше Степана Петровича зависели от Распутина, «царского лампадника», запросто вхожего в «собственные покои их величеств». Об этом Белецкий мог только мечтать.

От того, что было вчера, от дня ангела старца осталось неприятное чувство обиды, хотя все было сделано департаментом полиции, чтобы ублажить Распутина. Из секретного фонда была выдана крупная сумма на подарок — серебряную вазу от Фаберже; кроме того, часы золотые с цепью для сына старца, для Мити, браслеты с камнями для дочек. Двух филеров удалось устроить в качестве лакеев, они прислуживали за столом. Неприятно было Степану Петровичу, что с ним свысока разговаривал князь Андронников, о котором всем было известно, что он мошенник и проходимец, каких мало.

В общем обед прошел хорошо, синодальный чиновник Любомудров произнес похвальное слово имениннику:

— ...всемилостивейшему монарху и монархине благоугодно было избрать себе советника не из дворян или иерархов, а из верноподданных низкого звания. Кому, как не простому селянину, ведомы нужды православных, и да понесет он их к подножию престола, как нес до сей поры...

Распутин даже вспотел от умиления. Взяв в руку чашу с вином, Гришка сказал:

— Духом радостно молимся за здравие папы и мамы и болящей Аннушки... А враги пусть сдохнут, сволочи!

«Папа» и «мама» — их величества. Вспомнил старец и приближенную их, Анну Вырубову.

Потом благолепие пошло на убыль, Гришка скоро опьянел, повел плечами и пустился в пляс. Приехали цыгане, и началось такое, от чего Степан Петрович потихоньку сбежал.

Вспоминая день ангела, Степан Петрович находил утеше-

ние в том, что рисовал себе в мечтах, как бы он поступил с Гришкой, если б не «папа» и «мама»... А пока что надо терпеть; одно Гришкино слово — и Степан Петрович полетит в тартарары, словно и не был превосходительством.

Он взглянул на часы — предстояло одно серьезное дело, свидание с агентом, которого весьма ценил департамент полиции. В последнее время этот секретный агент позволял себе вольности, уклонялся от поручений, а человек был нужный, особенно в такое крутое время.

И Степан Петрович, одетый для этой встречи в штатское платье, как только стемнело, ушел из своего кабинета в доме на Фонтанке, 16, где помещался департамент полиции.

Он прошелся пешком до ближайшего извозчика, сел в пролетку с поднятым верхом и велел себя везти в один известный ресторан. Подъехал не к главному входу, а к тому подъезду, где был ход в отдельные кабинеты. Его ожидали — у подъезда прохаживался филер, сдернувший шапку и распахнувший перед его превосходительством дверь.

Степан Петрович послал ему «дурака» за излишнее усердие, в таких случаях он избегал чинопочитания.

В отдельном кабинете был накрыт стол, за столом скучал полковник Виссарионов, тоже в штатском.

— Опаздывает, скотина! — сердито бросил Белецкий. — Тоже взял себе моду... Распустили вы его, каналью...

Но тут открылась дверь и почти вбежал человек неприметной наружности, с усами и подстриженной бородкой.

— Опаздываете... — строго сказал Виссарионов и посмотрел на часы.

— Да, вам хорошо, вы с другого хода пришли, а я через зал шел, а там попалась знакомая рожа, где-то я его видел...

— Ну и что же? Нас-то никто не видел... Да и вы не мальчик, Малиновский. Кого хотите обведете.

— Меня Федор Самойлов задержал... Кстати, Степан Петрович, есть в министерстве юстиции некто Кафафов?

— Есть такой. А в чем дело?

— Завтра Самойлов к нему пожалует с претензией. На родине у него, в Иваново-Вознесенске, в ваш бредень вместе с разной социал-демократической плотвой несколько крупных лещей попалось. Ну-с, зачем звали?

Виссарионов вопросительно посмотрел на начальника и, получив молчаливое согласие, заговорил, осторожно подбирая слова:

— Мы хотим, Роман Вацлавович, обратить ваше внимание на некоторую, как бы сказать, неполную вашу откровенность. Особенно после возвращения из Поронина.

Лицо Малиновского покрылось красными пятнами. Виссарионов не обратил на это никакого внимания и продолжал:

— У нас много фактов, свидетельствующих о вашей не-

откровенности. Подробно перечислять наши претензии к вам не собираюсь, вы их знаете сами.

Малиновский пожал плечами:

— Не знаю, что вам от меня еще нужно. Все самое важное вам известно.

Виссарионов достал из кармана номер «За правду» и показал Малиновскому заголовок статьи «Материалы к вопросу о борьбе внутри с.-д. думской фракции».

— Читали очередное сочинение Ленина?

— Предположим, читал.

— В газете-то мы все читали. А вы, конечно, ее в рукописи видели. Почему не предупредили?

— Не могу же я извещать вас о каждой статье Ленина.

— Обязаны. Неужели Ленин забыл про существование своих единомышленников в России и не шлет им из Кракова писем? Где копии этих писем? Мы их не видели больше месяца.

— Вы требуете невозможного.

— При желании вы все можете. Куда ездил Шагов? К себе в Кострому?

— Как будто. Он со мной не откровенен.

— Вы говорите неправду. Вы знаете, где был Шагов, и мы знаем. Почему вы умолчали о его поездке в Москву?

— Не придал значения.

— Вы стали многому не придавать значения. В Петербурге, говорят, появился Свердлов, а вы об этом ни слова. Как видите, фактов у нас вполне достаточно... Знаете ли...

Малиновский тупо уставился в налитую до краев рюмку. Он слегка побледнел. Белецкий, рассеянно рассматривавший свои ногти, вдруг перебил Виссарионова:

— Роман Вацлавович, полковник говорит вам не в обиду. Поймите, мы с вами друзья, мы знакомы шесть лет, и заметьте, что мы всегда свято выполняем свои обязательства в отношении вас.

Малиновский сидел в той же унылой позе. Он привык к тому, что Белецкий разыгрывал добродушного начальника, а Виссарионов — грубого бурбона. Они отлично сыгрались, эти прохвосты.

Виссарионов достал толстый бумажник и, отсчитав семьсот пятьдесят рублей, подвинул их Малиновскому.

— Получите жалованье за ноябрь. Расписку, будьте добры, и поразборчивее.

Он подвинул Малиновскому листок, тот привычно написал расписку и сунул деньги в карман. Не убирая бумажника, Виссарионов сухо осведомился:

— Когда вы в Москву и надолго ли?

— В начале декабря. Вернусь после думских каникул. А как же насчет наградных?

— Не последний раз видимся, в следующий раз, через две недели, получите.

— Кстати, о Москве, — вспомнил Белецкий. — За вами еще должок — как же будет с большевистской газетой «Наш путь»?.. Приедете в Москву, непременно дайте знать, кто из людей, причастных к газете, еще на свободе.

— А вы их, конечно, за решетку? Я бы просил вас, Степан Петрович, в Москве пока никого не арестовывать, или сделайте это, в крайнем случае, до моего приезда. А то Самойлов опять мне скажет: «Что же это, Роман, только ты уехал — в Москве опять провалы».

— Какие у вас с ним отношения? — спросил Белецкий, слегка зевнув.— Он вам все-таки доверяет?

— Еще бы... А вот с Шаговым не могу наладить отношения. Смотрит исподлобья, помалкивает. Черт его знает, что он думает... — Малиновский потянулся к рюмке. — Зачем же все-таки вы меня вызывали? Что еще надо сделать в Москве?

— Своевременно узнаете. Вы торопитесь? А я нет, хотя у меня побольше дел, чем у вас, — усмехаясь, сказал Белецкий. — Вернетесь из Москвы, составите подробный отчет о деятельности московской организации. По обычной форме, особое внимание связям с Петербургским комитетом и с заграницей. И еще — начните собирать факты о подпольной работе ваших коллег по социал-демократической фракции. В первую очередь о Бадаеве и Петровском.

— Трудновато. Очень они осторожны.

— Попытайтесь. Есть у вас что-нибудь особо интересное?

Малиновский расстегнул жилет, достал из внутреннего кармана три листка почтовой бумаги и подал их Белецкому.

— Что это? Копия из Кракова. Это уже интересно. За это — спасибо. — Белецкий пробежал письмо и отдал Виссарионову. — Хорошо... Хорошо, что вы уклонились от того, чтобы выступить с запросом в думе.

— Да?.. А чего это мне стоило! Шагов скорчил такую мину...

— Что вы все Шагов да Шагов. Надо уметь себя поставить.

— Разрешите? — Малиновский выпил рюмку и налил другую.

— Что еще у вас готовится? — спросил Виссарионов и спрятал бумажник, на который нет-нет да и поглядывал Малиновский.

— Запрос о восьмичасовом рабочем дне. Забыл самое главное — завтра будем беседовать с Родзянко о нашей фракции, Решили назвать ее «Российской социал-демократической рабочей фракцией».

— Рабочей? — переспросил Виссарионов.

— Да, рабочей, в отличие от меньшевиков.

— Стало быть, с меньшевиками полный разрыв?

— Полный.

Малиновский молча, словно он был один, торопливо пил рюмку за рюмкой, не глядя тыкал вилкой в блюда с закусками. Наконец вытер губы и коротко спросил Виссарионова:

— Можно уходить?.. Можно?

— Ежели торопитесь, ступайте, — отмахнулся от него Белецкий. — И помните...

Это «помните» он сказал не добродушно, как всегда, а угрожающе, так что Малиновский, не простившись, поторопился уйти. Он вышел в коридор, Виссарионов в щелку дверей посмотрел ему вслед...

— Пошатывается... Сильно выпивает... в последнее время. — И, убедившись, что Малиновский в самом деле ушел, брезгливо заметил: — Ну и тип... Действительно, скотина.

— Говорите, пьет... Трусит, понимает, чем пахнет дело, а в общем такой же, как все, — равнодушно проговорил Белецкий. — И конец будет, как у всех этих...

— Нет, не скажите, не такой, как все, это особенный мерзавец. Хладнокровно выдает даже личных друзей и сходит с ума от страха, когда грозит малейшая опасность. Пятнами покрылся, когда вы его припугнули. Струсил, подлец.

— Деньги любит. Видели, как сгреб!

— Сегодня напьется с какой-нибудь уличной девкой. А завтра будет уверять своих коллег, что всю ночь работал.

— А что ему делать? — тем же философским тоном заметил Белецкий. — Знакомого в общем зале увидел — долго не мог успокоиться. Надо бы ему добавить еще одного филера. А то действительно спьяну чего-нибудь сболтнет, и его пристрелят, как собаку. А он пока нужен, очень нужен.

Вошел лакей со счетом. Виссарионов заплатил.

— Во сколько влетело? — поинтересовался Белецкий.

— Семьдесят пять рублей. Недешево этот подлец обходится.

— А вы попробуйте найти другого члена Центрального Комитета большевиков, — возразил Белецкий. — За миллионы не найдете. Что вы там рассматриваете?

— Ах, скотина, — сокрушенно ответил полковник. — Вы только посмотрите, он опять в расписке сумму не указал. «Деньги сполна получил» — и все. А мне отчитываться надо.

— Не волнуйтесь. Я заверю, поскольку расход был при мне.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Восьмилетний срок каторжных работ, к которому была приговорена Груня Савватеева, кончался в декабре 1913 года. В июне, к трехсотлетнему юбилею дома Романовых, объявили амнистию, и Груню выпустили.

Она с дороги, подъезжая к Красноярску, дала мужу телеграмму. Яков получил неожиданную весть, помчался на вокзал узнать, когда поезд, на котором ехала жена, придет в Ярославль. Знакомый дежурный по станции, полистав толстую книгу, сказал, что поезд пройдет не меньше недели. Яков, не выдержав, отпросился у мастера и на пятый день уехал в Ярославль.

За восемь лет он три раза приезжал к жене на несколько дней. От этих коротких встреч, особенно от последней, в 1912 году, когда им удалось побыть вместе всего два часа, да и то под присмотром молодого, мордатого надзирателя, с нахальным видом не спускавшего с Груни глаз, осталась лишь горечь и обида.

А сейчас Груня ехала без казенных провожатых. Одно очень волновало Савватеева. Поезд приходил в Ярославль ночью, а Яков, не зная, в каком вагоне едет Груня, боялся потерять ее в толпе.

«Побегу вдоль вагонов и буду кричать во всю мочь: «Груня!» Услышит. Сердце ей подскажет, что я тут, жду ее, мою родную».

И действительно, поезд еще не остановился, как на встревоженный Яшин крик из окна второго вагона почти по пояс высунулась Груня.

— Яшенька!

Через несколько минут они уже были в поезде, уходившем вскоре на Иваново. Груня, встав у открытого окна, обняла Якова за шею, крепко поцеловала и счастливо засмеялась:

— Яшенька! Да как же это ты тут очутился?

В соседнем отделении кто-то гудел:

— Он, милок, скотину лучше любого ветеринарного понимает... У Морозова Лексея лошадь совсем помирать собралась, а он ее поднял...

Груня прильнула к мужу:

— Господи, как на воле хорошо. Я пока ехала, все слушала, о чем народ говорит. Кто во что горазд — и про заработки, про детей, про мужьев. Одна молодайка целый день со мной ехала, все про своего свекра рассказывала — какой он у нее тиран. Муж, говорит, у меня золотой, но отца очень боится. Я ей посоветовала — уйдите, говорю, от свекра, отдельно живите. Говорю, а сама думаю — не в тюрьме я. Хочу — прилягу, хочу — у окна постою...

Короткая июньская ночь кончилась быстро, и при первом свете утренней зари Яков увидел, как изменилась Груня с последней встречи. Все те же были милые, родные голубые глаза, не погасли в них всегдашние, слегка насмешливые, озорные искорки — и все же Груня казалась другой.

Заметив внимательный взгляд мужа, Груня тихо спросила:

— Постарела я, Яшенька? Очень?

— А я, Грушенька, разве молодел? Смотри, голова у меня стала, как у старого бобра.

Груня еще крепче прижалась к нему.

— Отдохну с дороги денек-другой и возьмусь за тебя. Мама, видно, плохо за тобой следила — смотри, как похудел ты у меня. Пуговки на рубашке не все пришиты. Я уж тебя кормить буду досыта...

И только у самого дома, никого не увидев у калитки, Груня догадалась, почему так скупо и односложно отвечал Яков на расспросы о матери.

Едва переступив порог и рассмотрев плохо прибранную комнату, блюдечко с окурками на шестке, окно, занавешенное газетой, Груня помолчала и вдруг спросила:

— Когда, Яшенька, мама умерла?

— В прошлом году. Я не сообщил тебе, прости меня, не хотел тебя волновать.

Груня, ничего ему не сказав, тяжело вздохнула и, не присев, стала наводить порядок. Яков, вернувшись через полчаса из бакалейной лавочки, не узнал комнаты: кровать была застелена, газета с окошка снята, на столе белела скатерть. Груня все улыбалась и даже о тюремном своем житье вспоминала шутливо.

И только ночью Яков, проснувшись, заметил, что жена тоже не спит:

— Что ты, Грунюшка?

Она повернула к нему мокрое от слез лицо и тоскливо сказала:

— Маму жаль. Так и не дождалась меня, моя бедная. Яшенька! Сколько они, проклятые, у меня жизни украли — целых восемь лет...

Так они больше и не уснули. Вспомнили друзей — погибших и живых, вспомнили о Степане и Наташе.

— Где они, Яшенька?

— Не знаю, Грушенька. Года три назад слышал я, что Степан после побега с каторги скрывался в Нижнем Новгороде. А где они сейчас, никто не знает.

* * *

На полпути между Нерехтой и Костромой в глухом лесу стояла железнодорожная будка путевого сторожа. Высокий, широкоплечий, с густой белокурой бородой обходчик Ермолай Петрович Барышников разговорчивостью не отличался. При встрече с посторонними молча кланялся и проходил дальше, постукивая по рельсам молоточком. Тем, кто очень настойчиво пытался заговаривать с ним, отвечал односложно, не вдаваясь в подробности.

Зато жена его Евгения Александровна, миловидная, с большими серыми глазами, с круглой родинкой на правой щеке чуть

пониже глаза, охотно и приветливо рассказывала обо всем — и особенно о своей шестилетней дочке Дашеньке, до необычайности похожей на мать. А когда девушки и молодайки в ближних деревнях узнали, что у сторожихи есть швейная машина «Зингер» и что Евгения Александровна может и скроить и сшить платья и кофточку по-городскому, заказы посыпались один за другим, благо дополнительно стало еще известно, что шьет она хорошо, а берет недорого.

Слава о мастерстве сторожихи докатилась до фельдшерицы и жены урядника. Фельдшерица, рыжая, веснушчатая девица-перестарок, и урядничиха, худая, костлявая особа, посетили будку и, поговорив с портнихой, на обратном пути тут же, на ходу, сочинили романтическую историю о том, что в семейной жизни будочника есть какая-то тайна.

— Тут что-то не так. Вы только посмотрите на нее — прелестна, как ангел, лицо интеллигентное, по разговору видно — начитанная, — одним словом, из хорошей семьи. А он? Борода чуть не до пояса, взгляд угрюмый, молчит — сущий бирюк. Хотя импозантен, ничего не скажешь. Есть в нем что-то такое.

К вечеру фельдшерица самостоятельно присочинила, что Евгения Александровна воспитывалась чуть ли не в Смольном институте благородных девиц, а будущий мужлан-муженек служил у ее отца на какой-то небольшой должности — не то конюхом, не то дворником, увлек девушку, и вот теперь она, проклятая стариком отцом, вынуждена прозябать в глуши.

Все это, смеясь, рассказывала Евгении Александровне учительница Нина Алексеевна, почти ежедневно приходившая к будочнику за газетами, которые для нее покупали в городе машинисты и сбрасывали, проезжая мимо.

Как-то фельдшерица, зайдя к сторожихе в неурочное время, услышала, как Евгения Александровна окликнула: «Это ты, Степа?»

Фельдшерица, понятно, ответила, что она не Степа, и тогда хозяйка объяснила, что ночью видела во сне любимого брата Степана и сейчас, думая о нем, оговорилась.

Но, как ни старалась Евгения Александровна скрыть свое, пусть легкое, смущение, фельдшерица все же подметила его и насторожилась.

Урядничиха, с которой фельдшерица поделилась своими наблюдениями, попыталась воздействовать на мужа, чтобы он, так сказать, не понес впоследствии от начальства урона за то, что чего-то недоглядел, но урядник охладил административный пыл своей желчной супруги:

— Не имею законного права. Полоса отчуждения вверена железнодорожному жандармскому управлению. И оставь меня в покое с твоими глупостями. По этой дороге сам государь император недавно в Кострому следовал и обратно. Прощелыгу какого-нибудь на охрану путей не поставят!

Так никто и не знал, что путевой обходчик Ермолай Петрович Барышников—бежавший с каторги бывший солдат-кавалергард Степан Ильич Важеватов, приговоренный к смертной казни с заменой двадцатилетней каторгой, член Российской социал-демократической рабочей партии, пятый год разыскиваемый департаментом полиции.

* * *

Когда-то в одиночной камере Степан совсем было расстался со своей давней мечтой пожить семейным человеком.

В тоскливую последнюю ночь, в ожидании казни, еще не зная о помиловании, он решил, что все кончилось: никогда больше не увидит Наташу.

Сейчас у Степана и Наташи было все: семья, работа, свой угол, небольшой огород и даже садик — несколько яблонь и вишен оставил в наследство предшественник.

Хорошо было здесь в любое время. С ранней весны до поздней осени на поляне вокруг будки пестрел ковер полевых цветов. От леса тянуло густым хвойным запахом. Две березы в палисаднике протягивали ветки прямо в окна. В первую осень посадил Степан две рябины и перенес с опушки леса молодую елочку.

Вернувшись с обхода пути, Степан с наслаждением умывался ледяной водой у колодца, брызгая на Дашу сверкавшими, как ртуть, струйками. Даша за обедом хвасталась собранной на лесной поляне крупной земляникой. Горьковатый ее привкус напоминал Важеватову родное село, детство.

Проходил вечером десятичасовой, последний пассажирский поезд. Мелькали освещенные окна, потом долго еще доносился грохот колес. Степан и Наташа, проводив поезд, задерживались на крылечке. В протекавшей неподалеку заросшей осокой безымянной речушке квакали лягушки. Где-то далеко ухала выпь. Степан заботливо накрывал плечи жены пиджаком.

— А не пора ли нам, Наташа?

Они входили в комнату. На кроватке, отгороженной самодельной ширмой, спала Даша. Степан поправлял сползшее одеяло, целовал дочку, от нее исходила уютная теплота.

Хорошо было в домике и зимой. Правда, дела у Степана становилось больше; много времени уходило на расчистку снега, и он уставал сильнее, чем летом. Но как приятно было сидеть по вечерам в теплой комнате, читать оставленную учительницей газету под тихое стрекотание швейной машинки!

Степан с Наташей часто с благодарностью вспоминали седоволосого господина в крылатке, с которым познакомились на пароходе по пути из Нижнего Новгорода. Он срисовал на память Дашеньку. Тяжело им было в те дни: безработные, бездомные, с фальшивыми паспортами. Случайно разговорились с господином. Сначала он им ничего не сказал, понимающе взглянул на

них и только перед самой Костромой подал конверт: «Идите по этому адресу, вам, по всей вероятности, помогут».

Велико же было их удивление, когда человек, которого они нашли по этому адресу, оказался не кем-нибудь, а вице-губернатором. Прочитав письмо, вице-губернатор доброжелательно заявил:

— Зайдите через два дня. Нашему знаменитому художнику я отказать не могу...

Через неделю Степан получил место путевого обходчика.

* * *

Однажды Степан, сидя вечером на крылечке, тихонько затянул свою любимую песню:

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село...

Наташа с радостной улыбкой посмотрела на него. Степан на полуслове оборвал песню, взял молоток, гаечный ключ и пошел к калитке. Потом обернулся и на молчаливый вопрос жены объяснил:

— Я недалеко.

С этого дня Степана словно подменили. Он все больше молчал, перестал читать газеты, словно боялся растревожить тоску по городской жизни, которая охватила его со страшной силой. Наташа, понимая его состояние, не хотела заговаривать об этом первая.

В начале мая 1914 года учительница Нина Алексеевна, получив от Степана газету, спросила:

— Читали?

— Не интересуюсь, — сухо ответил Важеватов.

— Плохо делаете, — назидательно заметила учительница. — Сейчас нельзя газетами не интересоваться. Смотрите, что происходит в столицах.

И она, развернув «Русское слово», вслух прочла заголовки:

— «Забастовка типографий в Москве», «Забастовка на Прохоровской мануфактуре»... Вы бывали в Москве, Ермолай Петрович?

— Не привелось, — буркнул Степан.

— А я жила там. Как раз неподалеку от этой самой Прохоровской мануфактуры, в Средне-Тишинском переулке.

Наташа посмотрела на Степана — он сидел, равнодушно посматривая в окошко. Нина Алексеевна снова принялась за газету:

— «В Петербурге на Выборгской стороне забастовали рабочие Металлического завода. Выйдя с завода, забастовавшие пошли к меднопрокатному заводу Розенкранца. Толпа долго шла по Полюстровской набережной. На Симбирской улице ее встретили усиленные наряды полиции. Возле Финляндского вокзала

путь преградили рогатки. Забастовщики с Петербургской стороны успели прорваться на Марсово поле. За Невской заставой не работают заводы Поля и Мансвеля. Рабочие Невского судостроительного с красными флагами (вы слышите, Ермолай Петрович, с красными флагами!), распевая «Марсельезу», вышли на Шлиссельбургский проспект. Стоит Путиловский...»

Степан все с тем же равнодушным видом спросил жену, куда она положила ключи от сарая.

— Пойду дров поколю.

И ушел, поклонившись Нине Алексеевне. Учительница тоже заторопилась домой, сказав на прощание:

— Странный у вас муженек.

— Устает он очень. Столько верст за день пройдет.

Позднее Степан, отвечая на свои мысли, вслух произнес:

— Не видать нам теперь его, как своих ушей.

— Кого? — спросила Наташа.

— Петербурга, — грустно ответил Важеватов и с горечью, удивившей Наташу до боли, добавил: — Так и просидим тут всю жизнь. Полоса отчуждения.

— Что же делать, Степа?

— Я и сам не знаю. Но жить здесь долго не смогу. Еще немного, и я, словно наш Полкан, на четвереньки опущусь и выть от тоски начну.

Наташа с укоризной посмотрела на него.

— А мне, ты думаешь, легче? Давай подумаем — может, уедем отсюда.

За все последние годы не было у них более беспокойной ночи. Они то ссорились, то, помирившись, придумывали всяческие планы, как выбраться из осточертевшего обоим глухого угла, поближе к старым друзьям — в Шую, Иваново-Вознесенск, а то и в Москву.

— Синцов, если он в Москве, поможет на первых порах, — подбодрял Степан жену.

— Поедем лучше в Шую или в Иваново-Вознесенск, — настаивала Наташа. — Василия разыщем, Якова...

Под утро договорились, что сначала Наташа переправит Дашу к сестре Степана в Нижний Новгород, а сестра в свою очередь, выдав ее за свою дочь, отвезет в Алексино, к матери. Вернувшись, Наташа отправится на разведку в Шую и Иваново-Вознесенск.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Поздним июньским вечером 1912 года Николаевскую каторжную тюрьму качнуло, словно под нее откуда-то из самых глубин земли подошла катастрофической силы волна, и не грохот, а продолжительный, тяжелый гул, сопровождаемый диким посвистом, услышали заключенные.

В камерах сразу стало светло, как будто рядом зажгли фантастический фейерверк. Сосед Михаила Фрунзе Алихов, родом из кишлака Дюшамбе, с воплем скатился с нар:

— Землетрясение! Спасите!

Началась паника. Арестанты колотили в дверь, кто-то исступленно выкрикивал:

— Горим! Горим!

Фрунзе поднялся на плечи спокойного, рассудительного ростовчанина Мальцева и, посмотрев через разбитое окно, понял, в чем дело.

— Спокойно, товарищи! Это взорвался пороховой погреб.

Понемногу все успокоились, только Алихов все еще выл от страха. Потом было еще несколько взрывов, но уже послабее... Их слушали с интересом, даже посмеиваясь:

— Вот это рвануло! А ну-ка еще разик!..

Утром всезнающие уголовники, разносившие по камерам кипяток, сообщили, что в погребе хранилось триста пудов черного пороха.

Больше никаких из ряда вон выходящих событий тюрьма не переживала. Режим в ней отличался крайней строгостью. Смотритель, надворный советник Поляновский, из обрусевших поляков, выучку проходил в знаменитом Орловском централе, был жесток, неумолим и не допускал ни малейших отклонений от правил и инструкций, которыми щедро снабжало места заключения главное тюремное управление.

Точно в срок — с первого апреля по первое октября — действовал летний распорядок дня: в пять часов подъем, поверка, молитва, кипяток, с шести до двенадцати — работа; полчаса на обед и час на отдых; снова работа, молитва, ужин, поверка. В девять часов мертвая тишина. Зимний распорядок отличался только тем, что поднимались на час позднее.

Ничем не нарушался уклад тюремной жизни. По воскресеньям гоняли в церковь. Свято соблюдались посты. На пасху одаривали крашеными яйцами, собранными дамами из благотворительного попечительского общества «Утоли мои печали». На место арестантов, выходивших на волю или на поселение, приходили новые. Болели. Умирали. Иногда по ночам не спали, настороженно вслушивались — вот сейчас поволокут кого-то по коридору или донесется голос: «Прощайте, товарищи!»

Утром старались не вспоминать о казни и не смотреть друг другу в глаза — было мучительно обидно и стыдно за свое бессилие. Изредка получали письма. Несмотря на строгий режим, не дозволенные тюремной цензурой книги и газеты неведомыми путями проникали в камеры. Случалось, «Русское слово» или «Новое время», полученные утром в Николаеве, в обед уже оживленно обсуждались политическими.

И все же Фрунзе не хватало книг. Самым лучшим подарком от сестры Кати были книги. Михаил долго не расставался с учебником английского языка, тем, что когда-то принес ему во Владимире в камеру смертников тюремный доктор.

А потом учебник пропал, очевидно, кто-то из уголовников пустил его на курево.

Во Владимире Фрунзе от плохого питания и надорвавшись на переноске восьмипудовых хлопковых кип заболел туберкулезом. Однако помогал садовнику. Как только Фрунзе немного окреп, его определили в мастерские. Три месяца он был столяром, потом его послали в слесарную, там стал водопроводчиком. Весной 1914 года, в Николаеве, работал жестянщиком — делал ведра, лейки, тазы.

В начале марта Михаил кроил листовое оцинкованное железо для большой партии ведер, заказанных в тюрьме пароходством.

Уголовник, старый каторжанин Максим Синица, войдя с охапкой железных прутьев, весело крикнул:

— Собирайся, Фрунзе! Скоро к чертям на кулички поедешь.

Михаил засмеялся:

— Меня черти не примут без тебя.

Синица уже серьезно добавил:

— Я бы рад с тобой, да меня не высылают. А насчет тебя распоряжение пришло, мне сейчас фельдшер сказал.

После обеда Фрунзе действительно вызвали в канцелярию и известили, что он на днях будет отправлен на поселение в Иркутскую область.

— Какой уезд? — поинтересовался Фрунзе и улыбнулся, подумав: «А какая разница? Не все ли равно куда?»

— Определят на месте, — ответил делопроизводитель и тоже усмехнулся: «Загонят тебя, парень, в Верхоленскую погибель, не очень-то там распрыгаешься». Вслух делопроизводитель сказал: — Вам еще два письма, Фрунзе. У вас сегодня не день, а сплошной праздник.

Одно письмо было на бланке Государственной думы от Федора Самойлова, второе — от сестры Кати. Оба писали, что хлопоты, слава богу, приходят к концу и есть надежда получить сокращение срока и выйти на поселение. Михаил посмотрел на даты писем и возмутился:

— Послушайте, это же бог знает что такое. Письма отправлены еще в январе. Почему вы мне их так долго не вручали?

— Не хотели волновать раньше времени бесплодными надеждами. А вдруг бы вас тут задержали? Капельки сердечные вам прописывать? — все с той же усмешкой объяснил делопроизводитель. — А теперь получите, читайте и наслаждайтесь на законном основании.

— Какой же вы... — не договорил Фрунзе.

— Поаккуратнее, молодой человек! — огрызнулся делопроизводитель. — Пока вы еще из-под нашего попечения не вышли. Продержим до самой отправки в карцере.

* * *

Сергею Ивановичу Семенову до конца срока заключения оставалось два месяца. За восемь лет он, кроме петербургских «Крестов», побывал в семи тюрьмах. Дольше, чем в остальных, его продержали в Новониколаевской — почти три года.

Тюрьма была старая. Зимой в камерах замерзала вода. Худые печи чадили, и заключенные часто угорали до потери сознания.

В первые годы Сергей Иванович несколько раз пытался бежать, но неудачно. В Ярославской тюрьме его и трех политических, решивших бежать вместе с ним, выдал уголовник, случайно подслушавший их разговор. В Екатеринбурге Сергей Иванович и еще один узник три месяца вели подкоп. В последний день перед побегом по тюремному двору проезжала телега, груженная кирпичами, и земля под подкопом осела. Заметив неладное, возчик-уголовник донес начальству. В Нижнем Новгороде, где он находился всего два месяца, Сергей Иванович пытался убежать во время прогулки. В день, когда все было подготовлено, начальство, очевидно, что-то пронюхав, отменило прогулку.

Через два дня Сергея Ивановича повезли в Новониколаевск. Здесь думать о побеге уже не приходилось — в этой старой, плохой тюрьме были высокие стены, великолепная сигнализация и крепкая охрана. И самое главное — опытный тюремный смотритель так рассортировал заключенных по камерам, что сговариваться о побеге нечего было и думать.

С приближением конца срока Сергей Иванович все реже и реже стал думать о побеге. Большим утешением являлись книги, в тюремной библиотеке книг было достаточно. Их пожертвовал некто Голубович, у которого в этой тюрьме умер единственный сын, студент. Голубович, видно, понимал толк в книгах и знал, какой духовной пищи жаждут политические.

Одно очень угнетало Семенова — большинство заключенных были уголовники, а среди немногочисленных политических почти не было большевиков. В пятой, самой большой камере, где Сергей Иванович провел около года, сидели большей частью эсеры и меньшевики. Только однажды, как он шутя говорил, «проездом на восток», задержался на короткий срок иваново-вознесенец Николай Мякишев.

В конце 1912 года в камеру попал меньшевик Ярцев, с которым Сергею Ивановичу приходилось сталкиваться в Петербурге. Ярцев сначала сделал вид, что не узнал Семенова. Сергей Иванович вспомнил нехорошие слухи, ходившие вокруг Ярцева. Даже меньшевики упоминали о нем с оттенком презрения за его

якобы подозрительно откровенные показания на предварительном следствии и судебном процессе.

Вечером Ярцев, прислушавшись к беседе Сергея Ивановича с двумя латышами-эсерами, на правах старого знакомого протянул руку:

— А ведь мы, по-моему, встречались.

— Возможно, — вежливо, но сухо ответил Сергей Иванович и нехотя пожал руку.

Затем начался самый обыкновенный разговор. Ярцев спрашивал, а Семенов односложно отвечал о сроке, здоровье, об особенностях местной тюрьмы. Потом Ярцев сам начал рассказывать о порядках в Рыбинской тюрьме, где он сидел последнее время и где, как он заявил, не было ни одного порядочного человека, а одна шваль.

Заметив, как Семенов нахмурился, Ярцев поправился:

— Были, конечно, симпатичные люди, но, к сожалению, мало, совсем мало...

Под конец Ярцев совершенно неожиданно заявил, что всем политическим независимо от срока, кроме особо важных государственных преступников, осталось сидеть меньше года.

Сергей Иванович скептически усмехнулся, а Ярцев взволнованно заговорил:

— Не верите? Как хотите, но вы еще вспомните меня. Весной трехсотлетие дома Романовых. Обязательно будут объявлены милости...

Не произнеси Ярцев последнего слова, возможно, его заявление ничего, кроме насмешливого удивления, не вызвало бы. Но слово было произнесено, и оно стало искрой, воспламенившей дух раздражительности, который всегда живет в камерах, где люди сидят давно.

— Как вы сказали? — накинулся на Ярцева эсер Богаткин, тосковавший по воле сильнее всех. — Нет, вы повторите, что вы сказали? Милость. Что же это такое, товарищи? Видели этого фрукта? Он ждет милости от царя.

Начался беспорядочный спор на тему, стоит ли принимать милость от Романовых. И когда уже в качестве аргументов пустили в ход обидные слова, Сергей Иванович, не принимавший участия в споре, охладил всех, заявив:

— А ведь мы, товарищи, уподобились Лутоне. Он еще не женился, а по ребеночку рыдал. О чем мы спорим? Указа еще нет, и неизвестно, будет ли.

Ярцев, очевидно, потерявший власть над собой, истерично крикнул:

— Будет! У меня самые верные сведения.

С верхних нар послышался голос меньшевика Гольцмана:

— Вполне вероятно, господин Ярцев, что вас за особые заслуги перед правосудием освободят еще до указа...

— На что вы намекаете, Гольцман? — взвизгнул Ярцев. — Прошу объяснить.

Гольцман, не сводя с него черных глаз, медленно произнес:

— Вам, господин Ярцев, это великолепно известно...

Все замолчали. Ярцев бросился к двери и заколотил в нее кулаками.

— В чем дело? — послышалось из коридора.

— Откройте! Я требую — откройте! — молил Ярцев, приходя от собственного крика в еще большее исступление.

Дверь открылась. Надзиратель, растопырив ноги, встал на пороге.

— Ну, в чем дело?

— Переведите меня в другую камеру. Я не могу тут быть. Я вас очень прошу.

— Завтра заявите претензию, — равнодушно ответил надзиратель, захлопывая дверь.

Ярцев полез было на нары, потом соскочил и, подойдя к Гольцману ближе, выкрикнул:

— Сволочь! Погань!..

Ему никто ничего не ответил. Ночью Сергей Иванович сквозь сон слышал, как Ярцев плакал, повторяя одно и то же:

— Какие свиньи! Какие свиньи!..

* * *

И все же и в тюрьме у Сергея Ивановича случались радостные, счастливые дни. В начале 1914 года в очередной передаче, которые ему время от времени посылала сестра, он обнаружил вырезку из газеты «За правду» со статьей «Материалы к вопросу о борьбе внутри с.-д. думской фракции».

Сергей Иванович узнал автора с первых слов.

Прочитав статью, Сергей Иванович подумал о своих постоянных оппонентах по камере, меньшевиках Карпове и Гольцмане.

— Ну, дружки, теперь держитесь. Посмотрим, чья возьмет.

Гольцман приметил довольный вид Семенова.

— Подкрепление получили. Дайте посмотреть.

— Смотрите... Только вам не понравится, не в вашем вкусе, — пошутил Сергей Иванович.

— О вкусах не спорят, но меняться они могут, — серьезно ответил Гольцман.— Я не буду читать этой статьи, иначе вы скажете, что помогли мне стать на ваш правильный путь. А я, представьте, частенько думаю, что мой путь ведет, кажется, не туда, куда мне надо...

Сергей Иванович с любопытством посмотрел на собеседника.

— Вы удивлены, Семенов? Борис Гольцман — и вдруг такие речи. Ничего не поделаешь, товарищ Семенов, надо признаться мои единомышленники во многом ошиблись и, к сожалению, продолжают повторять это с завидной методичностью. Не знаю,

возможно, у людей там, на воле, другие понятия, иное восприятие действительности, но я здесь много думал и многое пересмотрел.

— Это на вас тюрьма так подействовала?

— Да, тюрьма. Понимаю, вы можете что угодно говорить по моему адресу. Вы можете сказать, что вас тюрьма не заставила пересмотреть ваши взгляды. Вам это не нужно. А мне, Сергей Иванович, это очень нужно. Сидеть тут, взаперти, спокойно может только тот, кто верит в дело, за которое его сюда упрятали. А я в свое дело потерял всякую веру...

Гольцман стал торопливо рассказывать о том, что мучило его последнее время. Они увлеклись беседой и не заметили, как внимательно слушает их Карпов.

— Исповедуешься, Борис, — язвительно сказал Карпов. — Новый символ веры проверяешь? В правоверные торопишься?

Гольцман строго посмотрел на него:

— Нехорошо подслушивать чужие разговоры, товарищ Карпов.

— Чужие? — переспросил Карпов.

— Да, чужие, — твердо повторил Гольцман.

Через несколько дней Гольцмана перевели в другую камеру. До ухода он не сказал Карпову ни одного слова. Прощаясь с Сергеем Ивановичем, дружески улыбнулся:

— Получите новости — постарайтесь сообщить.

И неожиданно перешел на «ты».

— Будь здоров, Сергей Иванович... Мы с тобой, надеюсь, еще не раз поговорим.

* * *

Дни хотя и медленно, но все же тянулись. И вот наконец до конца срока остался только один месяц. Сергей Иванович соорудил табель-календарь и каждый вечер, перед сном, с удовольствием зачеркивал очередную клеточку.

Пора было собираться в обратный путь.

* * *

Только до Москвы Михаила Фрунзе везли около месяца. Арестантский вагон на некоторых станциях загоняли в тупик на два-три дня — поджидали новых заключенных. Конвойные, чувствовавшие себя более или менее спокойно на перегонах, на остановках зверели от постоянного страха побега арестантов, чертыхались и на любые просьбы злобно кричали:

— Не положено!

Начальник конвоя, принявший вагон на станции Елисаветград, на просьбу заключенных вывести их в Треповке погулять, без тени улыбки ответил:

— Мне, господа, будет гораздо приятнее доставить вас даже больными, но в сохранности. А в общем — не задохнетесь...

Он помолчал и крикнул унтер-офицеру:

— Легошин! Опусти немного окна... Поглядывай.

Отчаянно надоели частые пересадки из вагона в вагон и неизбежные при этом смена конвоя, проверка багажа, обыски. Каждый новый начальник конвоя подозрительно рассматривал статейный список Михаила Фрунзе. Просмотрев графы с именем, отчеством и фамилией, узнав о звании, вероисповедании, возрасте, где судился, на какой срок приговорен и чем снабжен для этапа, начальник, как правило, спотыкался на последней графе:

— Что это у вас, господин Фрунзе, зачеркнуто?

— Следую согласно статье 410 только в наручниках, — спокойно объяснил Михаил.

— А ножные вам разве не положены?

— Сняты. Посмотрите партионный список.

— Странно. Интересно, кто это вам устроил?

Но все было верно — приписка в списке о снятии ножных кандалов была скреплена печатью и подписью начальника Николаевской тюрьмы. «На основании ходатайства члена Государственной думы Ф. Н. Самойлова и по его ручательству следует на этапах только в наручниках».

За месяц только однажды, в Воронежской тюрьме, удалось вымыться в бане, постричь волосы и бороду. Усы Михаил трогать не дал. Парикмахер-уголовник аккуратно подровнял их и восхищенно сказал:

— Шедевр! — И подарил на память небольшую щеточку. — Носите на здоровье, молодой человек. Очень вы мне симпатичны. Вы из каких будете? За что отбываете?

— Фальшивомонетчик, — пошутил Михаил. — Сторублевки делал.

— Скажите, какой талант! Газетку свежую не желаете?

— Очень.

— Теперь я вижу, какие вы сторублевки делали. Фальшивомонетчики политикой брезгуют. Нате, читайте. Сейчас только принесли.

Михаил с жадностью принялся за «Русское слово» и сразу увидел жирный заголовок: «Забастовка на Новом Леснере». «Сегодня похороны рабочего Я. Л. Стронгина, доведенного до самоубийства мастером Лацлем».

«Вот бы куда ехать — на Выборгскую сторону, а не в далекую Сибирь. Ну, да ладно, поживем, увидим...»

А вот еще событие: «К предстоящему визиту президента Франции г-на Пуанкаре в Россию. В официальных кругах известно, что г-н Пуанкаре посетит Россию летом текущего года».

«Интересно, зачем едет эта старая лиса?» — размышлял Фрунзе. Он и в тюрьме не утратил интереса ко всему, что происходило на воле.

* * *

Москва была рядом. До арестанского вагона, стоявшего на запасном пути недалеко от Курского вокзала, доносился городской шум: протяжные заводские гудки, настойчивые звонки трамвая, тарахтенье колес по булыжной мостовой и голоса. Часто у ближнего пакгауза слышалось: «А ну, давай кантуй!» Один раз Михаил явственно услышал, как где-то тяжело покатилась бочка, кто-то кричал, потом раздался треск и пьяный голос с заметным удовольствием произнес:

— Ну и солонинка! И куда ее столько гонят?

По вечерам в бараке, напротив которого стоял вагон, подолгу играли на гармошке одну и ту же грустную татарскую мелодию. На Михаила звуки гармошки всегда навевали грусть, даже если исполняли что-нибудь веселое. А тут этот тоскливый, заунывный мотив еще больше бередил душу.

Чтобы совсем не впасть в меланхолию, Михаил постучал в дверь и потребовал начальника конвоя:

— Долго вы нас тут продержите? Пора бы, шестой день стоим.

— А мне, вы думаете, приятно торчать здесь? Пересылка не принимает, мест, говорят, нет. По трое на одном месте спят.

По междупутью часто проходили люди. Как-то ночью Михаил сквозь сон услышал:

— Читал, как наш бывший губернатор Джунковский шагает? Назначен товарищем министра внутренних дел.

Другой голос скептически ответил:

— Что Маклаков, что Джунковский — один черт, а правит-то всем Гришка Распутин.

Как-то в газете промелькнула телеграмма Распутина царице, которую Гришка послал после неудавшегося покушения на него: «Какая-то стерва пырнула меня ножом, но с божьей помощью остался жив».

Интересно бы посмотреть на этого конокрада. Ловкий, видно, подлец. Как он всю эту нечисть зажал в кулак!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В кабинете царя, кроме него и супруги Александры Федоровны, находились вновь назначенный председатель совета министров Горемыкин и министр двора, совсем одряхлевший барон Фредерикс.

Николаю в 1914 году шел сорок шестой год, но выглядел он гораздо старше, особенно по утрам, когда под глазами заметнее выдавались синеватые мешки.

Как всегда, не глядя на собеседника и теребя начавшую седеть рыжую бородку, Николай глухо говорил:

— Ничего не понимаю. Надо, наконец, положить конец всем этим очень неприятным разговорам. Вчера какой-то депутат говорил о республике... Как это можно?.. Ваша первая обязанность, Иван Логинович, добиться принятия думой закона об ответственности депутатов за злоупотребление свободой слова. Мы посмотрели ваш проект, он нас устраивает.

Царица милостиво улыбнулась Горемыкину, но так, что это походило скорее на гримасу.

— Иван Логинович идет навстречу всем нашим желаниям... Это любезно с его стороны.

Фредерикс осторожно заметил:

— А новый законопроект не вызовет нежелательных эксцессов?

Царица подняла голову и, не скрывая раздражения, перебила:

— Тогда надо поступить со всей решительностью — распустить думу.

Горемыкин, вздыхая, извиняющимся тоном, словно он сам был причиной всех этих беспокойств, заметил:

— Опасно, ваше величество... Закрытие думы вызовет всякие нежелательные кривотолки, и не только внутри, но и за границей.

Царь, как и всегда в присутствии посторонних, державший себя с царицею более самостоятельно, примирительно сказал:

— Поговорите с Родзянко, Иван Логинович. Я верю, что депутаты проявят благоразумие и примут законопроект.

Бесшумно открылась дверь. И хотя появление Распутина не было неожиданностью для Горемыкина, он слегка вздрогнул. Распутин неслышными шагами прошел по кабинету и, подняв глаза к иконе в переднем углу, перекрестился, потом поклонился в пояс царю и царице. На нем была длинная белая косоворотка, синие, заправленные в сапоги шаровары. Расчесанные на прямой пробор черные волосы доходили почти до плеч. На узком, бледном, заросшем бородой лице выделялся крупный, мясистый, с большими ноздрями нос.

Горемыкин довольно быстро для своих лет встал и поклонился. Поспешность председателя совета министров не ускользнула от Распутина. На какую-то долю секунды в его умных, недобро глядевших глазах мелькнула довольная усмешка.

— Уйду, уйду, — сказал он, поднимая руки. — Сидите. Думайте. Я простак, куда мне до ваших дел.

— Останьтесь, Григорий Ефимович, — попросил царь, заметив легкий кивок жены. — Мы сейчас кончим.

— Пошто мешать? Думайте. Я к Аннушке заходил, благослови ее Христос, давно обещал, все как-то некогда... Суета, мирские дела. Сядь, — почти насмешливо сказал он Горемыкину. — Сядь. В ногах правды нет. Так и быть, и я рядышком сяду.

Думайте. Господь с вами. Думайте. Я нынче ночью солнышко-Алешу во сне видел.

Распутин начал рассказывать о том, как видел во сне наследника Алексея:

— Гора. Вся в цвету. Море видно. Как на Афоне. Красота дивная, райская. Алеша-солнышко бегает. А к нему на плечико бабочка села. Золотая. Радостная. Чудно. Вот и весь сон.

Все молчали. Царица порозовела и вся подалась вперед, вглядываясь в старца. Горемыкин осторожно шуршал бумагами.

— Позвольте удалиться, государь.

— Пожалуй... Как будто обо всем поговорили?

И царь достал портсигар. Он, видимо, был рад тому, что скучный доклад кончился.

Горемыкин и Фредерикс ушли, отступая к двери, склонив головы, не поворачиваясь тылом к царю и царице.

Распутин смотрел на них ласково, но, едва закрылась дверь, повернулся к царице. Николай вопросительно посмотрел на жену.

Распутин, от внимательного взора которого не ускользало ни одно движение, заговорил, как бы размышляя вслух:

— Светлый старец. Царя и царицу любит. И фамилия жалостная. Горемыка. Был у нас в Тобольске купец. Тоже Горемыкин. Начал с короба, сам на плече таскал, хребтину тер. Едва дышал, бедный, а раздышался — пять домов. В магазине только птичьего молока нет. Вот то и Горемыка. И этот тоже раздышится. Люб он мне, правдивый человек. Видели очи мои спасение твое, — медоточивым голосом рассуждал он.

Царь внимательно слушал, Александра комкала в руках крохотный платочек. В голубых глазах блестели слезы умиления.

Распутин вдруг поднялся с места и яростно зашептал:

— А этих дьяволов окаянных в думе усмирить надо. Будет, однако, им хулу изрыгать...

И совсем уж деловито посоветовал:

— Сажать надо. За решетку, как зверей лютых.

Затем сел в кресло у большого стола, стоявшего посреди кабинета, вытянул ноги и словно забылся. Царица приложила к губам палец. Николай недовольно дернул плечом и уткнулся в какую-то бумагу на столе. У Распутина дрогнули веки, он быстро встал, широко, истово перекрестился.

— Мир дому сему. Божья благодать. Утренней росой беззаботные птахи умываются. Молитвы сотворим, бога славим. Припаду к деве чистой, матери божьей.

Дошел до двери. Обернулся, и Николаю почудилось — Распутин с трудом сдерживает насмешливую улыбку. А он уже стоял у двери — высокий, прямой, в глазах строгость:

— Господь с вами!

Александра, перейдя на привычный в обращении с мужем английский язык, спросила:

— Милый Ники, ты все понял, что сказал наш друг?

— Кажется, — неопределенно произнес Николай. И тут же поправился: — Да, да, все. Отлично, дорогая, превосходно. Он был особенно хорош сегодня.

* * *

Малиновский критически осмотрел скромно накрытый стол и с иронией заметил:

— А мне, полковник, больше нравится встречаться втроем — я, вы и Степан Петрович. Уютнее как-то получается: коньяк «мартель», икра, лососина... Грешен — люблю покушать. Ну, раз генерала нет, выпьем смирновской и закусим чем бог послал.

Он налил рюмку водки, выпил, крякнул и закусил груздем.

— Степан Петрович занят, представляется новому начальству.

— Джунковскому? Понимаю... Вот я явился, как видите, без опоздания.

— Что нового у ваших коллег?

— Как будто ничего особенного. 22 апреля в думе будет обсуждаться бюджет. Мои коллеги хотят не допустить обсуждения до тех пор, пока не будет обсужден законопроект об ответственности депутатов за думские речи. Готовят обструкцию Горемыкину.

— Одни?

— Нет. Вошли в соглашение с меньшевиками и трудовиками.

— Что еще?

— Вспомните, что произошло 22 апреля 1912 года.

— Простите, не припоминаю...

— Вспомните, полковник, иначе я буду плохого мнения о ваших способностях.

Виссарионов рассмеялся.

— Ей-богу, не помню, Роман Вацлавович. Ну, не томите душу, скажите.

— Как же вы, полковник, могли забыть! В этот день два года назад впервые вышла «Правда».

— Черт возьми! Этого мне действительно забывать не следовало.

— Юбилейный номер будет отпечатан в размере ста тридцати тысяч экземпляров. Вы меня поняли?

— Понял. Конфискация. Есть к чему придраться?

— Найдется. Только пусть ваши не торопятся, пока они не напечатают весь тираж. Денег в кассе «Правды» почти нет, так что штраф и убытки от конфискации надолго свалят ее с ног.

— Благодарю. Еще чем порадуете? Какие вести от Ленина?

— Собирается на днях переезжать из Кракова в Поронино. Вчера получили от него статью «Из прошлого рабочей печати в России». Опубликована будет двадцать второго.

— Интересная?
— Прочитаете — увидите.
— Обязательно. Едва ли Ленин предполагает, что у него есть такой внимательный читатель.
— Возможно. Да, совсем чуть не позабыл — в Питере появился некто по паспорту Краснов. Бежал из тюрьмы. Временно живет на Обводном, кажется, дом 26, нет, точнее — дом 28. Собирается за границу.
— Если мы ему помешаем, вам не повредим?
— Нисколько. Сведения случайные. Хватит... — Он отодвинул рюмку. — Не буду.
— Пейте... Что это вы вдруг?
— Что-то сердце стало шалить. Утром встал, чуть не упал. Все поплыло. Это опасно?
— Вообще бывает... Вряд ли опасно. Надо посоветоваться с эскулапами. Сколько вам лет?
— Тридцать пятый.
— Рано сдаете... Ну что ж, Роман Вацлавович, я вас покину.
— Идите. Я посижу. Впрочем, подождите. Степан Петрович как-то попросил у меня посмотреть архив нашей думской фракции. Скажите ему — он сейчас у меня на квартире. Могу предоставить на одну ночь. Только на ночь — днем ни в коем случае. А риведерчи.
— Каким словам научились...
— Бабы... Они всему научат.
После ухода Виссарионова Малиновский быстро допил бутылку. Пошатываясь, нажал кнопку звонка. Вошел татарин-лакей.
— Слушай, князь, мой приятель за все заплатил?
— Сполна, барин.
— Подай коньяк, фрукты. Плачу сам. И вот что, вели швейцару или сам позвони... вот тут на бумажке телефон... мамзель Мальвина... Понял?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Был один из тех немногих дней, когда обе социал-демократические фракции думы — большевистская и меньшевистская, — не забыв о своих принципиальных разногласиях, действовали сообща. На этот раз к ним присоединились и трудовики.

Пока докладчик бюджетной комиссии Ржевский уныло излагал свои соображения, депутаты трех левых фракций удалились из зала заседаний для совместного обсуждения будущей обструкции председателю совета министров. Когда оговорили все детали, депутаты вернулись в зал. Они еще усаживались, когда Родзянко громко объявил:
— Слово имеет председатель совета министров.

Горемыкин, с трудом передвигая ноги, взобрался на трибуну и, откашлявшись, невнятно произнес:

— Господа члены Государственной думы!..

Немедленно с левой стороны донеслось: «Долой!», «Свободу слова депутатам!», «Долой!». И тотчас же началась пулеметная дробь пюпитров. Бледный от злости и испуга, Родзянко тряс колокольчиком. Шум не стихал. Родзянко перегнулся к Горемыкину, что-то сказал ему, и председатель совета министров, пожав плечами, сошел с трибуны. В зале тотчас же наступила тишина. Родзянко, стоя с поднятым звонком, зычно выкрикнул:

— Предлагаю членов думы, которые только что вели себя недостойно, исключить на пятнадцать заседаний. Прошу голосовать.

Депутаты с правой стороны торопливо, с одобрительным гулом подняли руки.

Родзянко, все так же стоя, по очереди вызывал виновных в обструкции депутатов, предоставляя им согласно положению слово для объяснений. Один за другим выходили степенные трудовики. Дошла очередь и до большевиков. Бадаев успел шепнуть Муранову:

— Готов?

— Я им сейчас отвечу,— усмехнулся Муранов и, встав поудобнее, начал: — Меня исключают на пятнадцать заседаний, но я все же и впредь буду отстаивать с честью свободу слова, по крайней мере с думской трибуны, не так, как ее отстаивают, например, кадеты и прогрессисты. Вчера они с нами совместно внесли заявление о том, чтобы не обсуждался ни бюджет, ни какой-либо законопроект о свободе депутатского слова. Но они голосуют сегодня за наше исключение только потому, что мы его отстаиваем не так, как они, а так, как мы умеем. Мои избиратели говорили мне, чтобы я, подобно вам, не шел на поводу у правительства. Моим избирателям больше нравится республиканский строй...

Родзянко тревожно посмотрел на сидящего в ложе Горемыкина и задребезжал колокольчиком:

— Член Государственной думы Муранов, пожалуйста, ближе к делу.

Муранов невозмутимо посмотрел на председателя и как ни в чем не бывало продолжал:

— Я говорю, что моим избирателям больше по душе республиканский строй.

Родзянко, не переставая звонить, выкрикнул:

— Говорите по делу... Ближе к вопросу...

Муранов встретился взглядом с Бадаевым и, чувствуя, что друзья одобряют его речь, строго сказал:

— Это уж позвольте мне, господин председатель Государственной думы, знать, далек ли я или близок к вопросу, который волнует моих избирателей. Все-таки, покамест я на трибуне, я

буду пользоваться той свободой слова, которая у меня есть. Я буду продолжать...

На правых скамьях поднялся шум. Кто-то громко мяукнул, кто-то свистел, чей-то бас гудел, как в бочку. Хлопали крышками пюпитров. Родзянко попытался утихомирить зал:

— Покорнейше просил бы не мешать оратору. Прошу не шуметь.

Муранов рассмеялся, показав рукой на правые скамьи, насмешливо сказал:

— Пусть пошумят, может быть, вы их тоже на пятнадцать заседаний исключите. Я покамест буду делать то, что угодно моим избирателям, и буду восхвалять тот строй, который им нужен, а не тот, который сейчас существует.

Родзянко яростно стучал кулаком по столу:

— Член Государственной думы Муранов, прошу вас держаться в пределах вопроса.

— Вы здесь хотите зажать нам рты, но у нас есть другая сила, на которую можно будет опереться, которая создаст настоящую свободу...

— Лишаю вас слова! — рычал Родзянко.

Через несколько минут все депутаты, обвиненные в обструкции, закончили свои объяснения, однако некоторые из них отказались покинуть зал. Родзянко объявил перерыв, но никто из депутатов не вышел, ожидая, чем же кончится бурный день.

Послышался топот, и в зал вошли полицейские. После негромкой команды офицера они встали вдоль барьера. Пристав подошел к членам думы:

— Прошу выйти, господа!

Несколько трудовиков встали и, крикнув «Подчиняемся насилию», вышли.

Несколько раз входили и уходили полицейские, уводя депутатов. Наконец все принимавшие участие в обструкции были удалены, и Родзянко предоставил слово Горемыкину.

Но не успел председатель совета министров подняться на трибуну, как часть депутатов слева, не принимавшая участия в первой обструкции, начала шуметь: «Долой!», «Не хотим слушать!».

— Гнать их всех! На каторгу! — орал Марков.

Родзянко подвинулся к Горемыкину:

— Извините, ваше высокопревосходительство. Я должен продолжать меры взыскания.

Новая группа депутатов была выведена с помощью полиции.

Но и в третий раз Горемыкину не дали говорить. В зал вошли социал-демократы и трудовики, которых не было во время двух первых обструкций, и устроили третью, не менее шумную.

Их выводили, даже не дав им слова для объяснений.

Горемыкин в четвертый раз появился на трибуне и с опаской посмотрел налево. Там было пусто. Премьер уныло про-

шелестел несколько слов о взаимном понимании и прискорбном беспорядке, только что происшедшем в зале, и сошел с трибуны.

Проходя мимо открытых дверей, Бадаев увидел: на трибуне стоял управляющий министерства финансов Барк. До Бадаева донеслось:

— На содержание членов императорской фамилии, высочайшего и великокняжеских дворов со столичными, загородными и варшавскими дворцами и министерство императорского двора с подведомственными оному отдельными частями двадцать три миллиона рублей. На ведомство святейшего Синода...

В зале тишина...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Новый товарищ министра внутренних дел генерал Джунковский, выслушав доклад Виссарионова, с удивлением поднял брови.

— И вы считаете, полковник, вашим огромным успехом, что депутат Государственной думы Малиновский ваш агент?

— Не столько моим, сколько Степана Петровича Белецкого.

— Это все равно, — брезгливо поморщился генерал. — Вы же вместе пользовались услугами этого господина?

— В интересах охраны государства, ваше превосходительство. Лучше иметь в агентах одного члена Центрального Комитета, нежели какую-нибудь партийную мелюзгу...

— Но вы пустили его в думу. Он произносит противоправительственные речи! Как это назвать?

— А мы все его речи предварительно просматривали. Ничего особенного в них нет. Они не опасны. Если желаете — взгляните, у меня копии стенограмм.

— Посмотрю. Кстати, покажите мне его личное дело.

— Слушаюсь.

Джунковский молча перелистывал дело Малиновского, изредка посматривая на Виссарионова.

— Позвольте, да он судился в 1902 году в третий раз «за кражу со взломом из обитаемого строения»?

— Совершенно верно.

— Как же он попал в думу? Он же не имел права баллотироваться.

— Пренебрегли. Очень нужный человек.

— Ну-с, знаете, полковник, это черт знает что такое. Вор, мелкий взломщик. Как он попал в революционеры?

— Какой же он революционер? Наш очень преданный агент.

— Есть границы дозволенного, полковник. Недопустимо, чтобы Малиновский выступал с речами в думе. Его надо оттуда убрать.

— Это будет неразумно, ваше превосходительство. Уж очень ловко мы его замаскировали. Не подкопаешься. Если коллеги его до сих пор не раскусили...

— Пригласите его ко мне сюда завтра к десяти утра.

— Он не придет. Побоится.

— Приведите под конвоем. Можете идти, полковник. — И, поморщившись, точно проглотив что-то очень горькое, Джунковский встал.

Виссарионов помчался к Белецкому.

— Степан Петрович! Он с ума спятил!

— Кто? У нас столько сумасшедших, что я, право, не догадываюсь, о ком вы говорите.

— Джунковский. Велит Малиновскому уйти из думы. Подумайте, столько мы с ним возились, создали, так сказать, репутацию, и нате вам...

Белецкий усмехнулся.

— Новая метла... Я, к сожалению, — бывший директор департамента полиции; ничем помочь не смогу, могу только посоветовать: не обращайте внимания на Джунковского. Он долго не усидит. Он, знаете ли, чистюля в мундире шефа жандармов. Не хочет запачкаться. А мундир этот для чистюль не подходит. Да и недолго ему его носить. Старца он не терпит, а тот это знает. Полетит ваш Джунковский.

— Да... Но он лишит нас Малиновского.

— Ну что ж... Повторяю — чистюлям не место в департаменте полиции. Скоро полетит... Ну, еще что новенького? А у меня есть. Не желаете ли взглянуть?

— Любопытно...

— Последнее письмо царицы к августейшему супругу. Помните, Гришка здорово кутнул в Москве, у Яра: разбил зеркала, избил лакеев, в заключение плясал с какой-то девкой в костюме Адама — с листочком от фикуса...

— Припоминаю.

— Джунковский по глупости решил все это расследовать и доложить царю. Тот, конечно, поделился с императрицей. Вот она ему и отвечает: «Ты с самого начала объясни ему, Джунковскому, положение нашего друга, чтобы он не смел поступать с ним плохо. Скажи ему, что, преследуя нашего друга, он действует против нас». Поняли? А теперь делайте вывод — долго ли продержится Джунковский?

* * *

На другой день в половине десятого утра Малиновский вошел в кабинет Виссарионова и с недовольным видом спросил:

— В чем дело, милейший? Почему такая поспешность? Присылаете за мной какого-то идиота, зовете прямо на Фонтанку, так же провалить можно... Хорошо, что застал меня не дома, а на Боровой у... — игриво усмехнулся Малиновский.

— С вами желает познакомиться новый товарищ министра внутренних дел.

— Джунковский? А вы знаете, полковник, что-то не хочется. Говорят, он человек временный, скоро уйдет, к чему лишнее знакомство.

— Я вас понимаю, Роман Вацлавович, но ничего не могу поделать — начальство, к сожалению, он, а не я. У меня к вам просьба — больше помалкивайте и постарайтесь его не раздражать.

— Черт с ним, идем.

Джунковский принял, стоя у стола. Не подав Малиновскому руки, сухо осведомился:

— Малиновский?

Малиновский побледнел и вызывающе ответил:

— Депутат Государственной думы Роман Вацлавович Малиновский. Между прочим, у меня есть имя и отчество. С кем имею честь разговаривать?

Джунковский, не обращая внимания на тон Малиновского, все так же сухо продолжал:

— Не ломайте комедию, Малиновский. Вы отлично знаете, с кем разговариваете. Слушайте меня внимательно. Завтра или лучше даже сегодня вы обратитесь к председателю Государственной думы господину Родзянке с заявлением о том, что вы слагаете с себя звание члена Государственной думы...

— Что? — побледнев, едва выговорил Малиновский.

— После этого вы немедленно покинете пределы Российской империи на срок, который вам сообщат позднее.

— Позвольте, как же так?..

— Полковник, — продолжал Джунковский, уже не обращая внимания на Малиновского, — пусть этот тип напишет заявление на имя Родзянки. Покажите мне — я посмотрю.

Малиновский, пугливо озираясь, как затравленный зверь, почти упал в кресло.

— Я ничего не понимаю. Вы хотя бы объясните мне: в чем дело? Что случилось?

Джунковский, не повышая голоса, но глядя на Малиновского в упор, ответил:

— Подробности вам сообщит полковник Виссарионов. Вы лицо, трижды судившееся за воровство со взломом, вы не имели права баллотироваться в думу. Заявление напишите в приемной. Затем ставлю вас в известность, что Родзянко ждет вас. Он предупрежден о цели вашего визита.

Вошел дежурный чиновник. Джунковский простился с изысканной вежливостью, словно несколько минут назад ничего не случилось:

— Желаю здравствовать... Проводите господина Малиновского в приемную... Полковник, останьтесь...

Как только за Малиновским закрылась дверь, Виссарионов растерянно пробормотал:

— Ваше превосходительство, мы лишились самого лучшего агента.

— Вы, надеюсь, не забыли историю с Азефом. И с Богровым! Эта история стоила жизни председателю совета министров Столыпину.

— Вы на самом деле позвонили Родзянке?

— Я не привык шутить такими вещами, полковник.

— Боже мой! Что вы наделали?!

— Агентурное дело надо делать по возможности чистыми руками,— с эффектным жестом произнес Джунковский.

«Рыцарь! Черт его возьми!» — подумал Виссарионов.

— Дайте этому субъекту денег... тысяч десять, не меньше. И чтобы завтра его не было в Петербурге. Приготовьте ему заграничный паспорт, пусть он забудет дорогу в Россию, по крайней мере, пока я жив. И подобной грязи больше не разводите. Не люблю! — брезгливо вытирая платком руки, уходя, сказал Джунковский.

Он не заметил улыбки, которой проводил его Виссарионов.

* * *

Родзянко чрезвычайно обрадовался. Из всех фракций думы большевистская «шестерка» была самой неприятной и беспокойной. И вдруг ошеломляющее известие — Малиновский сам придет с заявлением о сложении депутатского звания.

Чутьем старого, опытного политического интригана Родзянко понимал, что департамент полиции и охранное отделение не могли оставить без внимания членов думы и, конечно, вели за депутатами постоянное наблюдение через филеров. Он догадывался, для чего переодетый в штатское жандармский полковник появляется иногда в ложе журналистов. Все, что угодно, мог предполагать Родзянко, но думать, что Малиновский агент охранки,— нет, эта мысль никогда не приходила ему в голову.

Размышления Родзянки нарушил секретарь:

— К вам член думы Малиновский. Как прикажете?

— Проси! — поспешно ответил председатель Государственной думы и по привычке встал из-за стола, но тотчас же уселся снова в кресло, подумав: «Приму, подлеца, сидя».

Малиновский вошел и, не поздоровавшись, бросил на стол конверт.

— Прощайте!

— Господин Малиновский! Куда же вы? Одну минуточку. Одну минуточку.

Родзянко выбежал из кабинета, но Малиновский уже быстро шел по коридору, пугая встречных своим взъерошенным, мрачным видом.

— Подождите! Послушайте!..

Малиновский на секунду повернулся, и Родзянко увидел его белое, искаженное злобой лицо.

— Что вам надо? Я все написал! — Он почти побежал к выходу.

Родзянко вернулся в кабинет.

Прочитав заявление Малиновского, Родзянко поспешил в зал заседаний и, попросив своего заместителя прервать очередного оратора, громко позвонил. Члены думы, поняв, что случилось какое-то неожиданное, необыкновенное происшествие, нарушившее скучный думский день, смолкли. Опустели обычно шумные думские кулуары — все поспешили в зал. Заполнилась ложа журналистов.

Родзянко посмотрел на скамью большевиков. На ней одиноко сидел Муранов, впервые появившийся в думе после исключения.

— Господа члены Государственной думы, — торжественно начал Родзянко. — Я должен огласить одно прискорбное заявление...

Он помолчал, наслаждаясь тишиной и вниманием.

— Мной только что получено заявление от члена Государственной думы господина Малиновского. Он слагает с себя звание члена Государственной думы и выходит из ее состава.

Зал загудел. С правой стороны чей-то бас рявкнул:

— Скатертью дорожка!

— Разрешите огласить заявление господина Малиновского?

— Просим.

Сотни глаз уставились на Муранова, ему стоило большого усилия сохранить спокойствие.

— Я думаю, мы удовлетворим желание Малиновского? — спросил Родзянко, прочитав заявление. — Надо полагать, господину Малиновскому тяжко нести бремя государственных забот, упрашивать его, право, не стоит. Переходим к очередному вопросу, — продолжал Родзянко. — Продолжайте, господин председательствующий.

Муранов вышел из зала заседаний. Вслед ему донеслось:

— Всем бы им из думы уйти, а они, видите ли, не догадываются...

* * *

Григорий Иванович Петровский, посланный от имени всей фракции, с трудом сдерживая гнев, смотрел на корчившегося в истерическом припадке Малиновского.

— Объясни свое поведение!

— Уйди! Судите меня, делайте со мной, что хотите, я ничего не скажу. Я уезжаю... совсем, навсегда.

— Я тебя последний раз спрашиваю — дашь объяснение или нет?

— Уйди, Григорий! Очень тебя прошу, уйди.

— Какая же ты мразь! Как мы тебя, мерзавца, раньше не раскусили! — И он ушел, хлопнув дверью.

Малиновский вытер потное, заплаканное лицо, спокойно начал укладывать чемодан. Потом подсел к столу и деловито пересчитал большую пачку кредиток.

— Пятьсот, шестьсот, восемьсот, девятьсот... шесть тысяч... Почему шесть, раньше он сказал — десять? Ах, скотина!

Он позвонил по телефону.

— Полковник, какое-то недоразумение. Я написал расписку на десять, а получил только шесть. В чем дело?

Из трубки послышался голос Виссарионова:

— Извините, но вы, как всегда, написали «сполна», не указав суммы. Очевидно, так и надо — шесть.

Малиновский плюнул:

— Подавись, собачий сын, моими кровными!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Недели через две после возвращения Груня, проснувшись на рассвете, сказала мужу:

— Хватит, Яшенька, мне в бездельницах ходить. Пора на фабрику.

— Что ты, родная! Подожди до осени, отдохни.

Груня, ласково улыбнувшись, достала у него из кармана кошелек.

— Сколько ты вчера у Седлова занял?

— Он мне долг отдал, еще весной десятку брал.

— Какой ты у меня хитрый, Яшенька, — как карась. Я вечером Анну Седлову встретила, она мне все рассказала. «Получил, — говорит, — мой дуралей за спасение какого-то утопающего барина четвертной билет, да и тот почти весь в долги роздал. Твоему Якову десятку, Анциферову три рубля, Марье Лазуткиной рубль — да рубль пропил». Так что, Яшенька, не завирайся.

Яков рассмеялся.

— Вот чертова баба, теперь пойдет трезвонить.

— Давай, Яшенька, отдадим им деньги. Уж очень не люблю я у чужих просить. А я сегодня пойду к Дербеневу. Может, возьмут. Только бы Жучкин старое не вспомнил.

— А его нет, Грушенька. Разве я тебе не рассказал? Его еще прошлым летом убили. Он совсем лютый стал. Сколько из-за него людей пострадало, сколько с фабрики поувольняли! Ну, его и пристукнули. Так и не нашли, кто его на тот свет проводил.

— А ты, Яшенька, не знаешь?

— Откуда мне знать? Меня в то время дома не было.

— Ну раз его нет, тем лучше. Может, сразу возьмут.

Но как ни велика была в те дни нужда в рабочих, все же Груню к Дербеневу не взяли. Новый старший табельщик сначала с радостью взял у нее паспорт, потом ушел, видно, к заведующему и, возвратясь, протянул паспорт:

— Политиков брать не приказано.

Случись такое несколько лет назад, Груня обязательно наговорила бы злых, обидных слов. А сейчас она хмуро бросила табельщику:

— Не берете? Ну и не надо. Леший с вами.

Три дня ходила Груня по фабрикам, и всюду, внимательно рассмотрев паспорт, ей отказывали. Напоследок Груня, уже не веря в успех, пошла к Гарелину. И здесь повторилось то же, что и на других фабриках: табельщик злобно кинул паспорт и нехорошо обругал.

— Что ты, пес, лаешься? — прикрикнула Груня. — Не учили тебя?

В контору неожиданно вошел сам Гарелин. Груня сразу узнала его, хотя Александр Иванович за эти годы изрядно постарел и обрюзг. Уже не было стройности в фигуре, поредели волосы, только по-прежнему ладно сидел на нем безукоризненно сшитый костюм и, как всегда, из верхнего кармана торчал белоснежный платочек.

— Чего шумишь, красавица? — обратился он к Груне тоном, который, как ему казалось, сразу располагал даже малознакомых людей.

— А вам что за дело? — резко ответила Груня, сделав вид, что не узнала хозяина фабрики.

— Стало быть, есть, — продолжал Гарелин. — В моей конторе находишься.

Табельщик успел шепнуть Гарелину несколько слов, и тот с любопытством разглядывал Груню.

Она пошла к двери, сказав напоследок:

— Дураки! Бабы боятся.

Гарелин крикнул ей:

— Постойте! Дайте паспорт.

Груня недоверчиво посмотрела на него:

— Испугаешься каторжную брать.

— Давайте паспорт, — строго приказал Гарелин и, даже не посмотрев на поданный Груней паспорт, приказал табельщику: — Взять. И не в запас, а поставь на станки. До свидания, красавица. Выходите завтра в утреннюю смену.

— Ну что ж, Александр Иванович, спасибо. Поработаю на вашу милость.

* * *

Прошло немного времени, и Груне стало казаться, что она никогда не покидала Иваново-Вознесенск, а восемь тяжелых

каторжных лет представлялись дурным сном. Первые дни после приезда она вообще не выходила на улицу, а, устроившись работать, прямо с фабрики торопилась домой. Из старых подружек она мало кого встречала.

Как-то ее окликнули:

— Аграфена! Подожди.

Груня не сразу узнала Анну Курбатову. Вместо веселой, румяной девушки, щеголявшей, бывало, в розовой кофточке, перед ней стояла пожилая женщина с худым желтым лицом. Из-под плохо выстиранного платка виднелись седые пряди.

— Анка! — удивилась Груня. — Господи, я бы... — и осеклась, не желая обидеть подружку.

— Что, не узнала бы? А ты ни капельки не изменилась, все такая же.

— Где уж там, — печалясь за Анну, грустно ответила Груня. — Как живешь-то?

— Плохо, Грушенька. Детей полна изба, а Григорий мой в прошлом году в машину попал, а потом взял да удавился. А я вот теперь с ними маюсь. Колька! — закричала она белобрысому мальчугану, копавшемуся в песке. — Иди, дьяволенок, покачай Таньку. Заходи как-нибудь, Аграфена, я в денной смене, по вечерам всегда дома. Колька! Видела? Как сквозь землю провалился.

Особенно поразила Груню встреча с бывшей депутаткой первого Совета Марьей Кокуриной.

Груня радостно бросилась к ней:

— Маша!

Кокурина с поразившей Груню злобой оттолкнула ее:

— Чего тебе? Опять, сволочь, народ мутить приехала?

И пошла, брезгливо поджав губы.

Яков вечером объяснил:

— Забыл предупредить. Она давно у начальника сыскного отделения Орлова в кухарках живет. Такая шкура стала, не приведи бог.

Случались у Груни неожиданные встречи. В воскресенье на базаре ее остановила молоденькая девушка и застенчиво поздоровалась.

— А я вас, тетя Груня, знаю. Вы с моей мамой дружили.

— А кто твоя мама? — улыбнулась Груня.

— Софья Петровна Осокина.

— А ты, значит, Катя?

— Катя Осокина. Вспомнили?

— Да как же не вспомнить! Мама как поживает?

— Мамы нет. Она умерла. Мы с папой живем. Нас две сестры да брат Петя. Вы его не знаете, ему пяти лет нет.

— А тебе, Катя, сколько?

— Скоро восемнадцать. Когда вы к нам приходили — мне десяти еще не было. А теперь видите, какая выросла. Вместе

с вами на гарелинской работаю. Я вас там, тетя Груня, и увидела, да все стеснялась подойти. Вы простите, что я вас тетей называю. Это мама покойная все говорила: «Вот вернется тетя Груня, я тебя с ней познакомлю».

— Давно мама умерла?

— В августе три года. Она у нас сразу, в один час сгорела. Прямо на фабрике. День жаркий был. Выпила кружку холодного квасу и жаловаться начала: «Горит у меня внутри, ну прямо горит!» Ее не успели даже до приемного покоя довести.

Вечером Груня с мужем зашли к Осокиным. Груня, здороваясь с хозяином дома, заметила, какими осторожными и в то же время дружескими взглядами обменялся он с Яковом, и догадалась, что между ними существуют какие-то другие отношения, о которых Яков почему-то не сказал.

В доме у Осокиных было чисто, уютно. Отец несколько раз ласково похвалил дочерей: «Они у меня заботливые. Смотрите, как живем — с кружевными салфеточками. Сами вяжут».

Когда сели за стол, вошел среднего роста человек с небольшими темными усами. Весело посмотрел на Груню и сказал:

— С приездом, Аграфена Васильевна. Смотрите, как муженек с вашим прибытием поправился.

Груня улыбнулась и подумала, где и когда она видела этого человека. Осокин, догадавшись о ее мыслях, спохватился:

— А я вас и не познакомил. Это, Аграфена Васильевна, самый развеселый мой приятель, Егор Степанович Зиновьев, вместе с вами у Гарелина работает.

И Груня вспомнила, что видела Зиновьева на фабрике.

Посидев немного, Зиновьев выпил рюмку водки и ушел, сославшись на какие-то срочные дела. Прощаясь, он спросил Якова:

— Когда нам с Михаилом Николаевичем к вам зайти можно?

— Когда хотите, — ответил Яков. — Хоть завтра.

Вернувшись из гостей, Груня, заводя будильник, спросила:

— А кто это Михаил Николаевич, с которым Зиновьев к нам прийти хочет?

Яков долго, кряхтя снимал сапоги, потом старательно сложил праздничную рубашку.

— Что молчишь?

— Не знаю, как тебе объяснить. Фамилия его — Кадыков. Да что я, Грушенька, буду от тебя таиться. Михаил Николаевич один из членов городского комитета партии и хочет поговорить с тобой. Он вчера меня спрашивал, как у тебя со здоровьем и вообще как ты себя чувствуешь.

— А как ты, Яша, думаешь? Надо мне за старое приниматься? Иль подождать?

— А чего ждать, Груня?

— Я ведь меченая, с каторги. Могу товарищей подвести.

— Мы, Груня, с Федором тебе такую должность придумали, никто вовек не догадается, что ты за старое принялась.

— С каким Федором?

— Это мы между собой Зиновьева так называем.

* * *

В передовой статье новогоднего номера «Ивановского листка» редактор и издатель, он же фельетонист, международный обозреватель, репортер и хроникер, он же сборщик объявлений и корректор Зайцев написал: «Живем мы в нашем богоспасаемом городе неплохо. Все сыты, обуты, хватает и на чарку водки. Чего же еще человеку надо?»

С точки зрения Зайцева, в недавнем прошлом ротного фельдшера и скупщика краденых вещей, Иваново-Вознесенск в первые месяцы 1914 года действительно жил недурно, а главное — тихо. Полным ходом работали фабрики и заводы. Впервые за многие годы толпы безработных не стояли у фабричных ворот.

На двух главных улицах и в богатых домах появилось электрическое освещение. Городская управа после многолетних споров всерьез решила, что и водопровод и канализация городу необходимы, и ассигновала триста пятьдесят семь рублей на исследование почвы. Ходили упорные слухи, что к городскому голове Лаханину приезжали представители американской фирмы и предлагали построить трамвай.

Все больше появлялось разных увеселительных заведений. Сначала господин Гюбнер открыл электротеатр «Мир», где перед сеансами можно было послушать струнный оркестр под управлением, как сообщалось в афишах, «широкоизвестного не только у нас, но и в Европе» дирижера Ивана Григорьева. Правда, все в городе отлично знали, что Иван Григорьев днем стоит за высокой конторкой в лабазе у Чернова и что никуда дальше Кохмы известный дирижер не выезжал, — и все же было приятно принести домой на память программку, на которой жирным шрифтом напечатаны слова: «широкоизвестного» и «Европе».

Успех Гюбнера воодушевил домовладельца Антропова, и вскоре он в черном фраке, с красной гвоздикой в петлице встречал гостей у дверей своего электротеатра «Вечерний отдых». За борьбой двух конкурентов следил весь город. Если в «Мире» показывали драму «Кошмар преступника», то в «Вечернем отдыхе» обязательно демонстрировалось «Иго любви» и дополнительно «Прихоти сердца».

А потом и Иван Григорьев со своим струнным оркестром перекочевал к Антропову — соблазнился более высоким гонораром: вместо трех рублей стал получать три с полтиной. Но господин Гюбнер не растерялся — выписал из Москвы артиста-

мелодекламатора и куплетиста Пьера Ами и пианиста Альфреда Монти. Кто-то — не без ведома господина Антропова — немедленно выпустил афишку с жизнеописанием Пьера Ами, где весьма убедительно доказывалось, что Пьер Ами не кто иной, как уволенный со станции Кинешма телеграфист Петрушка Кособрюхов, уличенный в свое время в похищении пары лаковых сапог у своего квартирного хозяина. Что же касается пианиста Монти, то он действительно музыкант и лучше всего играет на гармошке. Именно за это его любили приглашать на свадьбы в Костроме, где он провел свою молодость и был известен как Андрюшка Мотин.

И все же и «Мир» и «Вечерний отдых» процветали — молодежи в городе было много.

К услугам прожигателей жизни с полудня и до рассвета действовал «ресторан первого разряда» Быстрова и ресторан с ренсковым погребом Шорыгина при гостинице «Националь».

У Быстрова посетителей развлекал «румынский» оркестр из двух скрипок, контрабаса и трензеля. По вечерам оркестр исполнял тягучую, заунывную мелодию, а попозднее, после полуночи, на подмостки выходила высокая белотелая, с большими навыкате глазами певица Маша Днепрова и низким — под Варю Панину — голосом пела «Мой костер в тумане светит».

У Шорыгина было проще — два гармониста почти без передыху наяривали «Вдоль да по речке» или меланхолично играли вальс «Дунайские волны». Но зато у Шорыгина к ресторану примыкало заведение с отдельными кабинетами.

Дворянского собрания в городе ввиду малого количества представителей этого сословия не имелось, и поэтому самым солидным местом являлось общественное собрание. Здесь собирались фабриканты, колористы, главные механики. В концертном зале при собрании ставились пьесы из репертуара столичных театров. Много лет из уст в уста передавали страшную историю о том, как во время представления драмы Барышева-Мясницкого «Старческая любовь» из быта старообрядцев актер Минский, приревновав свою легкомысленную супругу к красавцу инженеру-химику Ларину, выстрелил в жену не из бутафорского, а из настоящего пистолета и как бешено аплодировала публика натуральному падению госпожи Минской-Бархатовой и рыданиям ее мужа, не подозревая, что через минуту из будки выскочит суфлер и, вытирая с лица брызнувшую на него кровь, дико закричит: «Полиция!»

Служилая мелкота — конторщики и приказчики — теснилась в клубе господ приказчиков, ревниво оберегая его от нежелательного вторжения фабричной молодежи.

У людей пожилых были свои удовольствия. То церковный староста церкви погоста Николо-Талицы известит, что в воскресенье состоится снятие разбитого колокола, и попросит прихо-

жан и ревнителей звона господня пожертвовать монеты, как новые, так и старые, разные ломаные серебряные вещи, и предупредит, что отливка нового колокола будет произведена под его личным наблюдением.

А там глядишь, готов колокол, и снова удовольствие — подъем, сладостное ожидание первого благовеста — хорош ли «голос» у нового, все ли серебро потрачено на литье.

А то можно побывать в суде, где выездная сессия владимирского окружного суда много дней слушала дело бывших надзирателей Иваново-Вознесенской сыскной полиции Ганыкина, Шацкина и Варенцова, обвиняемых в мздоимстве, лихоимстве и вымогательстве.

А чем плохо послушать доклад старшины общества хоругвеносцев господина Аливанова о целях и задачах этого общества или лекцию миссионера-священника Жука «Сущность и смысл жизни».

Так текла жизнь в городе, и только изредка происходили необыкновенные происшествия и события вроде того, что у Куражова обокрали магазин готового платья, а у Бобкова — обувной; убило молнией корову; три ночи подряд случались пожары. Неожиданно (это в июне-то!) ударил мороз — побил цвет на огурцах, — не к добру. Эти нарушавшие плавное течение жизни события принимались с философским спокойствием: «Бывало и хуже! И что тут особенного? Пожары всегда бывали, не еженощно, так через ночь. И воровали постоянно. Хорошо, что у Куражова и Бобкова, а не у нас. Так им и надо, уж больно хлопочут, хотят побольше других заработать. У нас молния корову убила, а во Владимире — начальника почты... Ежели огурцы пропадут — подумаешь, привезут из Мурома или из Вязников получше наших, твердых и горьких...»

Впрочем, были неприятности посерьезнее: после нескольких лет спокойствия вдруг начались стачки. Конечно, не общегородские — куда там! — и не длительные, а все же кое-где бастовали. Редактор Зайцев злобно писал в своей газетке: «Кровавые воспоминания о пятом годе все еще бродят в хмельных головах доморощенных робеспьеров. Это значит, что они не все гниют в Сибири. Имеющие уши да слышат...»

Партийная организация, оправляясь от многих тяжелых ударов и разгромов, начинала новую жизнь. Собирались кружки, распространяли «Правду». Очень была нужна своя типография. Без нее нельзя было работать по-настоящему. Но не было ни денег, ни людей, способных наладить типографию. Немногие уцелевшие «старики» вздыхали, вспоминая «Станко», Арсения, «Отца».

— Они бы из-под земли все достали: станок, шрифты. А если бы Семен Иванович Балашов воротился? Он живо бы чего-нибудь придумал.

Не хватало смелых, опытных людей. Новые руководители

партийной организации — Зиновьев, Кадыков, Рахов, Артамонов — обрадовались, узнав о приезде Груни.

— Ну, Яков, как отдохнет твоя супружница, мы к ней с поклоном: «Давай, Аграфена Васильевна, берись за наших женок». Как ты думаешь, пойдет? — не очень уверенно спрашивали они.

И вот разговор об этом самом с Груней подходил к концу. Яков не сводил с жены восхищенного взгляда: она согласилась сразу и еще добавила, что готова взяться за любую, самую тяжелую работу. Кадыков и Зиновьев крепко пожали ей руку:

— Спасибо, Аграфена Васильевна. Очень нам приятно, что мы в тебе не обманулись.

— А как же иначе жить?

— Разные люди из тюрьмы да каторги приходят. Помнишь Алексея Разоренова из Тейкова? Пришел из ссылки и сразу, можешь себе представить, в монахи. Этот хоть ничего, богу служит. А Николай Черепанов самому черту — до того верноподданным стал, что в городовые пошел. У шуйской управы на посту стоит.

— Случается. Что же я, мужики, делать должна?

— Начни женок фабричных в кружок собирать.

— Хоть одна есть, кроме меня?

— Ни одной.

— Трудную вы мне, мужики, работу дали.

— Знаем, что не легкую. Но, Аграфена Васильевна, кроме тебя, некому поручить.

— Что ж, попробую. Постараюсь...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Сергею Ивановичу оставалось сидеть десять дней. Последний день срока приходился на субботу, и Сергей Иванович волновался — успеет ли тюремная контора приготовить ему документы и не продержат ли его лишние дни до понедельника. Но его в начале последней недели вызвали в контору. Делопроизводитель, сухонький старичок, заполнив опросный лист, поздравил:

— Ну вот и дождались светлого Христова дня.— И, посмотрев в какую-то бумажку с большой печатью, уже официально сказал: — Жительство можете иметь в губерниях: Архангельской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Вятской, Калужской, Костромской...

Сергей Иванович перебил:

— А в Петербургской?

— Лишены.

— А в Новгородской?

— Лишены. Вам поближе к Санкт-Петербургу хочется? Сейчас посмотрим. Можете в Псковской, за исключением трех уез-

дов — Псковского, Островского и Порховского, и во всех губерниях за Уралом, а также в Семипалатинской области, Семиреченской...

— Благодарю, — усмехнулся Сергей Иванович, прикидывая: сколько же верст от Пскова до Питера? И тут же вспомнил, как ездил однажды в Торошино, а от него до Пскова не больше двадцати верст. Стало быть, недалеко.

— Пожалуйте фотографироваться, — предложил делопроизводитель. — Уланов! Проводи.

Пока тюремный фотограф из уголовников устанавливал треногу и вешал на стенку «фон», Сергей Иванович все прислушивался к удивительно знакомому спокойному голосу, доносившемуся из соседней комнаты:

— Мне это тоже известно. Чины жандармского корпуса имеют право в любое время дня и ночи посещать тюрьмы, но никаких распоряжений по части административной делать не могут. Правильно ли я говорю?

— Совершенно верно, но...

— Никаких «но». А господин ротмистр задержал отход ко сну всей нашей камеры на три часа. Это произвол. И второе — вчера нам опять недодали хлеба. По норме на каждого заключенного положено один фунт и двадцать четыре золотника муки. Вот одна пайка, вот другая.

— Чего же вы хотите? Вся норма — в самом аккурате.

— А припек? И третье — нашему товарищу отказали в медикаментах.

— Это кому? Потапову?

— Да, ему. Заявили, что нет даже йода.

— Возможно, и нет. Что же особенного?

— Особенное в том, что на каждого заключенного в день полагается на три копейки медикаментов. В нашей партии шестьдесят человек, а болен один Потапов. Где же медикаменты?

— Ну что вы пристали? Тоже, законник!

Фотограф уже командовал: «Встаньте так. Анфас. Благодарю. Теперь, пожалуйста, профиль. Благодарю. Вы свободны. Уланов! Забирай».

Сергей Иванович помедлил выходить из комнаты, надеясь, что, может быть, человек, голос которого показался знакомым, выйдет в коридор одновременно с ним.

Из-за перегородки донеслось:

— Я так и передам товарищам. До свидания.

Сергей Иванович выскочил в коридор, чуть не сбив с ног своего провожатого, и крикнул идущему впереди заключенному:

— Товарищ!

Заключенный обернулся и бросился к нему.

— Это ты? Какими судьбами?

Фрунзе долго жал ему руку и, поняв, что Семенов не знает, как назвать его, засмеялся:

— Я тут под своим именем.
— Я тоже. Откуда ты, Миша?
— В Иркутск везут. В ссылку. А ты?
— Выхожу. Осталась неделя.
Уланов, равнодушно слушавший их, встрепенулся, заметив появившегося в коридоре старшего надзирателя.
— Разговаривать не положено! — дернул он Сергея Ивановича за бушлат.
Фрунзе обратился к надзирателю:
— Представьте, двоюродного брата совершенно неожиданно встретил. Разрешите свидание?
— А вы кто такой?
— Староста пересыльной партии Фрунзе, Михаил Васильевич.
Надзиратель с любопытством посмотрел на него.
— Это вы вчера Пугай-Рыбку утихомирили? Ну, тогда так и быть. Уланов! Отведи в прокурорскую. Десять минут.
Фрунзе взял Семенова под руку.
— Где у вас тут прокурорская? Недурно устроился господин прокурор. Ну что ж, господин надзиратель, мы тут посидим, а вы у дверей постойте. Не беспокойтесь, не убежим. Ему расчету нет — неделя осталась, а за меня целая партия в ответе.
— Говорите, — равнодушно согласился надзиратель, — а я покурю, — и вышел в коридор.
— Куда? — торопливо спросил Фрунзе. — В Питер?
— А куда же больше? Права въезда в столицу я, понятно, не имею, но все равно рано или поздно в Питере буду.
— Явки есть?
— Ни одной.
— Разыщи депутата думы Самойлова. Пароль: «Я из Иваново-Вознесенска. По вашему запросу». Скажи, что от меня. Никитич все сделает.
— Спасибо. Очень хорошо.
Михаил вопросительно посмотрел на Семенова:
— А тебе сразу в Питер надо? Может быть, в Иваново-Вознесенск заглянешь? Явка у меня есть. Там хороший народ, помогут.
— Давай на всякий случай.
— Улица Путанка, дом Лазаревой.
— Путанка! Странное название.
— Там много таких. Путанка, Рылиха, Хуторово. Удивительный город — пыльный, грязный, а привязывает людей на всю жизнь. Так вот — дом Лазаревой. Спросишь Якова Савватеева. Скажи: «Поклон от Арсения».
— Я же знаю его. Помнишь, он от тебя ко мне приезжал с женой Важеватова, с Наташей.
— Правильно. Он самый. Еще лучше. А где Важеватов? Где его жена?

— Ничего не знаю. Ну, а как ты, Миша?

— Не знаю, куда водворят. Боюсь, не попасть бы в Киренск. Бежать далеко.

— А что это за Пугай-Рыбка?

— Уголовник. Убийца и вор, каких мало. Вчера в нашей партии двух товарищей обчистил. Его поймали, он и разошелся вовсю. Пришлось усмирить.

— Сам усмирял? Теперь поглядывай, может напакостить.

— Он мне сегодня вечную дружбу предложил, — рассмеялся Фрунзе. — Дружбу и в качестве задатка полбутылки водки.

Уланов вошел в комнату.

— Старший идет. Кончайте.

— Будь здоров, Миша!

— Счастливого пути, Сергей Иванович! Давай поцелуемся.

* * *

Сергея Ивановича выпустили в понедельник. До отхода поезда он успел побывать в магазине — взял колбасы, печенья, чаю. Потом, подумав, добавил шкалик водки и привязал к нему ниткой записку: «За плавающих и путешествующих. За будущие радостные встречи». По дороге в тюрьму купил в киоске свежие газеты.

Он долго уговаривал дежурного надзирателя принять передачу для Фрунзе. Тот сначала все упрямился, а потом смилостивился: «Ну ладно, так уж и быть, передам. Только водку и газеты возьми обратно. Не положено». Бумажный рубль, сунутый надзирателю, окончательно покорил его: «Уж очень ты, Сергей Иванович, мужик хороший. Будь спокоен. Передам. Сейчас же».

Едва Сергей Иванович отошел в последний раз от тюремных ворот, как навстречу попалась женщина с полными ведрами. Он вспомнил старинную примету, счастливо засмеялся и, не оглядываясь, зашагал к вокзалу.

Стоя в очереди у решетчатой кассы, он размышлял, куда же ему ехать — к сестре в Балахну или сразу направиться в Псков и оттуда пробираться в Питер. Подавая в окошечко деньги, он вспомнил предложение Фрунзе об Иваново-Вознесенске, Якова Савватеева и неожиданно решил:

— До Иваново-Вознесенска!

Кассир высунул в окошко усатое лицо.

— Что вы? — спросил Сергей Иванович.

— Удивляюсь... Третий пассажир берет сегодня до Иваново-Вознесенска, и все из ваших.

— Возможно, — уклончиво ответил Сергей Иванович.

Кассир стукнул компостером и, подавая сдачу и билет, показал глазами на молодую женщину, стоявшую у противоположной стены:

— Эта тоже до Иваново-Вознесенска. Случайно, не ваша знакомая?

Непонятное раздражение вдруг охватило Сергея Ивановича:

— Какой вы, однако, любопытный. Вам бы не в кассе работать, а в другом месте...

Кассир захлопнул окошечко и, выйдя из кассы, поманил Сергея Ивановича.

— Вы, милостивый государь, ни за что оскорбили меня. В полиции я не служил и не служу-с! Я в этой клетухе много лет сижу и продал вашему брату не одну тысячу билетов во все концы. Вот вас, я вижу, только сегодня выпустили. Знакомых у вас тут ни души, и я подсказываю вам про земляков. А вы про другое место. Эх, вы!

Сергей Иванович растерялся.

— Извините. Очень прошу, извините... Я это сдуру ляпнул. Одичал.

— Ну то-то же, — уже добродушно засмеялся кассир. — Билетик не оброните. Счастливого пути.

Поблагодарив доброго старика, Сергей Иванович подошел к женщине, стоявшей у стены.

— Извините меня, но мне сказали, что вы тоже до Иваново-Вознесенска?

— Да, да, — охотно согласилась она. — Кто же это вам сказал?

— Кассир. Интересный старик. Вы не возражаете, если я к вам пристроюсь? Дорога дальняя, вдвоем лучше будет.

— Конечно, лучше, — снова согласилась она. — А вы ивановец?

— Почти...

Мимо прошел железнодорожный жандарм с желтой папкой под мышкой. Женщина съежилась, как от холода.

— Не могу смотреть на них.

— Надоели?

— Я после тюрьмы три года в ссылке была. Каждую неделю вот к такому же мордатому отмечаться ходила. Опротивело.

— А не пойти ли нам в буфет? До поезда еще около двух часов. Успеем чаю напиться, закусить.

— С удовольствием. Я давно хочу, да одна не решалась.

Вскоре Сергей Иванович узнал, что его новую знакомую зовут Вера Александровна Орлова, что родом она из Иваново-Вознесенска, где и сейчас живет ее мать, а отец, учитель реального училища, умер год назад. Арестована Вера Александровна была в Петербурге, где училась на высших женских курсах. Получила пять лет каторги и три года ссылки.

На вопрос, за что она сидела, Вера Александровна, усмехнувшись, весьма лаконично ответила:

— За излишнюю доверчивость.

И только уже в поезде, к вечеру, на третьи сутки, переговорив, что называется, обо всем на свете, начиная от приезда в Петербург президента Франции Пуанкаре и кончая воспоминаниями детства, стоя в тамбуре, куда они вышли подышать свежим воздухом, Вера Александровна с горечью призналась, из-за кого она и ее товарищи попали на каторгу:

— Земляк мой, студент политехнического института Игорь Кручинин, струсил, видно, и оговорил всех...

— Где он? — поинтересовался Сергей Иванович.

— Убили его у нас в Иваново-Вознесенске. Папа мне писал, какое-то странное убийство. Нашли его в церковной сторожке, похоронили в тот же день, и на похоронах почти никого не было. Папа зашел попрощаться, он его с детства знал, а гроб стоял закрытый. Так его и не открыли.

Она замолчала. Потом, посмотрев на мелькавшие за окнами сосны, сказала:

— Такие же сосны, когда к Иваново-Вознесенску будем подъезжать. Господи! Восемь лет не была дома.

Сергей Иванович встал с ней рядом. Она, не смотря на него, тихонько сказала:

— Вы простите меня за этот разговор. Лучше бы не вспоминать.

Сергей Иванович ласково дотронулся до ее локтя.

— Я должен вас поблагодарить.

— За что?

— За доверие. — И шутливо добавил: — За то, что господь бог в лице билетного кассира наградил меня такой спутницей. Видите, как время летит. Скоро приедем.

Почти всю последнюю ночь они простояли в тамбуре.

— Я вам все о себе рассказала, как на духу, а вы даже не сказали, к кому едете в Иваново-Вознесенск. Кто у вас там? Жена, дети?

— Никого у меня там нет, — чистосердечно признался Сергей Иванович. — Никого, кроме дальнего родственника, а его, возможно, в Иванове нет.

— Как же вы? Вам даже остановиться негде?

— Обойдусь как-нибудь. Схожу к родственнику на улицу Путанку, а если дома нет — на вокзал и поеду дальше.

— Я никуда вас не отпущу, — решительно заявила Вера Александровна. — Идемте прямо к нам. Мама вас примет как родного.

— А вы? — серьезно спросил Сергей Иванович.

— Я? — Она дружески протянула ему руку. — Мне кажется, что я вас сто лет знаю. Забираю вас к себе, и никаких разговоров. Я ведь строгая.

В Ярославле ночью, пересаживаясь в другой поезд, она послала матери телеграмму. Остаток дороги она то перекладывала свои вещи, то ходила по коридору вагона. Сергей Ивано-

вич, видя ее волнение, попытался завести разговор о Питере. Она отвечала невпопад, а потом призналась:

— Я очень боюсь! Мне кажется, что я не доеду до дому — умру от разрыва сердца...

Последний перегон она не отходила от окна, ничего, видимо, не замечая. Сергей Иванович напомнил:

— Смотрите, Вера Александровна, вот они, сосны. Скоро, значит, приедем?

Она повернула к нему побледневшее лицо с полными слез глазами:

— Вероятно, это глупо... Но ничего, я сейчас себя возьму в руки. Понимаете, сколько раз я по ночам представляла себе: поезд, я еду домой — и вот дождалась.

Поезд, замедляя ход, шел мимо маленьких домишек. Проплыла фабричная труба с длинным хвостом черного дыма.

— Это уже Иваново, приехали...

Вера Александровна побежала по проходу и первой выскочила из вагона.

— Мама! Я здесь, мама! — и она бросилась к высокой, полной, хорошо одетой женщине. Та, не желая, очевидно, чтобы посторонние заметили ее волнение, слегка отстранилась. Рядом стоял представительный старик в форменном сюртуке ведомства просвещения. Сергей Иванович рассмотрел: судя по звездочкам в петлицах, он был коллежский советник. Окно было опущено, и Семенов слышал весь разговор:

— Мамочка! Господи, мамочка, — со слезами в голосе повторяла Вера Александровна.

— А ты хорошо выглядишь, Верочка...

— Поедем, дома наговоритесь, дома, — вмешался старик.

Вера Александровна с удивлением посмотрела на старика, не понимая, почему он оказался рядом с матерью.

Старик сдержанно поклонился. Мать, слегка смущаясь, объяснила:

— Извини, Вера, я тебе не писала. Дело в том, что Модест Назарович... Мы с Модестом Назаровичем зимой повенчались.

Вера перебила ее:

— Да? Ну что ж, хорошо, мамочка. Да мы же знакомы. Модест Назарович у нас преподавал историю.

— А где же твой багаж, Вера?

— Ах, да. Я сейчас.

Сергей Иванович вынес ее корзинку и мешок и, уходя за своими вещами, услышал голос матери:

— Это кто?

— Сейчас я вас познакомлю, мама.

Приближаясь, Сергей Иванович заметил, как недоуменно переглянулись мать и отчим.

— Это мой друг, мама.

— Очень приятно.

Сергей Иванович назвал себя и, здороваясь, посмотрел на Веру. У нее был такой растерянный, такой убитый вид, что ему захотелось тут же при всех обнять ее и сказать: «Ничего, Верочка, бывает хуже!» Но он только дружески улыбнулся ей и предложил:

— Давайте я вам помогу.

— Ну зачем же? — запротестовал Модест Назарович и, крикнув носильщика, тростью ткнул в вещи Веры: — Возьмите это, любезный...

— Мама! Я пригласила Сергея Ивановича к нам, — заикаясь, сказала Вера Александровна.

— Да? Ну что ж... — И Сергей Иванович тотчас увидел не то смущение, не то растерянность в лице матери.

— Нет-нет, что вы! Я к своим, — заторопился Сергей Иванович.

Вера в упор посмотрела на него и, взяв за руку, отвела в сторону:

— Почему вы не хотите к нам?

— Мне кажется... Да вы сами понимаете...

— Чепуха. Идемте. Вы меня обидите.

— Я к вам после зайду.

Глаза у нее были полны слез.

— Не оставляйте меня одну. Я вас очень прошу.

— Верочка! — позвала мать. — Мы ждем.

— Идите. За меня не беспокойтесь. Не пропаду, — шепнул ей Сергей Иванович.

— Приходите к нам. Сегодня!

Уже из пролетки Вера крикнула:

— Не забудьте, Часовенная улица...

Модест Назарович церемонно приподнял форменную фуражку.

— Будем рады... Загляните как-нибудь...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Осенью, обходя участок, подобрал Степан на полотне подбитого снегиря и принес домой. Даша устелила ватой маленькую корзиночку и бережно положила туда птицу. То ли ушиб был незначительный, то ли Дашенькин заботливый уход, но вскорости снегирь ожил, начал, прихрамывая, ходить по скамейке, а там и летать. Степан соорудил клетку, и стал снегирь полноправным членом семьи — как только Даша ставила на стол хлеб к обеду или ужину, он просовывал голову между проволочек и смешно поглядывал на свою хозяйку: давай, дескать, и мне мою порцию, сыпь в кормушку конопляного семени.

Степан предупредил дочку, что гость жить должен в клетке только до благовещенья. В этот день пленника обязательно надо выпустить на волю.

День 25 марта выдался на редкость яркий, весенний. Утром Даша последний раз накормила своего любимца и в полдень, когда солнышко совсем пригрело, не дождавшись отца, вышла с клеткой на крыльцо. Наташа, занятая шитьем, не обратила на нее внимания.

Даша открыла дверку, но снегирь пугливо озирался и не вылетел.

— Лети! Ну лети же, — упрашивала Даша, наклонив клетку.

Снегирь неловко, боком выскочил и пристроился на ступеньках, отряхивая растрепанные перышки. И тут огромный черный кот, не раз битый Степаном за дерзкие набеги на цыплят, стремительно кинулся на птицу и, кровожадно урча, понесся с ней по двору, держа направление на сарай для дров, где по его хитрому кошачьему замыслу он мог совершенно спокойно расправиться с добычей.

Даша, плача, как была, без шубенки, в стареньких валенках, побежала за котом, разбрызгивая лужи. Вор, почуяв погоню, изменил маршрут и нырнул через продух под дом. Даша схватила палку от грабель, легла на землю и просунула палку в продух, надеясь выгнать кота из подполья.

Степан с полотна услышал ее крики и побежал к ней на помощь. Он для начала несколько раз шлепнул дочку, а потом, спохватившись, подхватил на руки и понес домой, приговаривая:

— Простудишься, глупая...

К вечеру Даша была как в огне и часто просила пить. К ночи ей стало совсем плохо, и Степан, сбиваясь в темноте с тропы, проваливаясь в рыхлый снег, добрался до фельдшерицы и с трудом уговорил ее пойти с ним.

— Не беспокойтесь, Агнесса Владимировна, там, где глубоко, я вас на руках перенесу.

Фельдшерица, может быть, и отказалась бы, но ей нравился этот богатырь и, кокетливо улыбаясь, сунув в саквояжик склянки, она поправила перед зеркалом свои рыжие кудри и, закурив папиросу, вздохнула:

— Ну что ж, пошли!..

Степан шел впереди, часто оборачивался и успокаивал спутницу: «Я вас совсем сухой приведу». Он дважды поднимал фельдшерицу на руки — переносил через межевые канавы. Агнесса Владимировна обхватывала его шею руками, плотнее прижималась к нему и жеманничала: «Боже мой! Только не уроните меня в воду. Я умру от испуга. Возьму и умру!»

Наташу они застали в полном смятении. Меняя дочке влажную рубашонку, она разглядела розовую мелкую сыпь, особенно обильно выступившую у Даши на груди.

Фельдшерица с суровым выражением выслушала и осмотрела больную и, моя руки над тазом, поставила диагноз:

— Самая настоящая корь. Корь вульгарис. Болезнь в общем и целом пустяковая. Но в ее процессе, а он идет уже несколько дней, только вы, мамаша, ее по неопытности не заметили, девочка приняла холодную ванну. Это уже опасно. Но ничего, бог не выдаст, свинья не съест. Пока рекомендую полный покой, завесьте окна от света. Утром придете ко мне за микстурой. Проводите меня, Ермолай Петрович.

— Переночуйте у нас, — предложила Наташа. — И вы утомились, и он тоже. А утром он вас проводит.

— Что вы! — отмахнулась фельдшерица. — Разве я усну в чужой постели? Да меня могут вызвать в больницу. Привели, так уж доставьте обратно.

Добравшись до опасного места, Степан снова предложил:

— Давайте понесу.

Агнесса Владимировна на этот раз не жеманничала, а положив голову на плечо к Степану, томно произнесла:

— Какой вы богатырь!

И, не получив ответа от мрачно шагавшего по колено в воде Степана, зашептала, касаясь сухими, горячими губами его щеки:

— С вами хоть на край света!..

— Ну вот, здесь уж вы сами, — опустил ее Степан на утрамбованную дорогу.

Они долго шли молча. Перед самым селом в низинке Важеватов, вздохнув, предложил:

— Сами пройдете или донести?

Фельдшерица отбросила папироску, и она, сверкнув, потухла в мокром снегу.

— Ладно уж, помогайте...

Когда они были посреди большой, как озеро, лужи, Агнесса Владимировна крепко поцеловала Степана в щеку:

— Какой вы милый...

Степан молча донес ее до безопасного места и, поблагодарив за внимание к дочери, показал на видневшиеся поблизости окна больницы.

— Я постою, пока вы добежите.

Она всплеснула руками.

— Боже мой! Да ведь на вас нитки сухой нет. Может быть, зайдете ко мне, обсушитесь?

— Не могу. Жена будет волноваться.

* * *

Агнесса Владимировна диагноз поставила точно. Корь у Даши осложнилась воспалением легких, потом прилипла ветрянка, и девочка весь апрель провела в постели. Фельдшерица на-

вещала ее аккуратно каждый день и, придя обычно вечером, засиживалась до полуночи. Как только Наташа уходила из комнаты хотя бы на минуту, Агнесса Владимировна кидала на Степана пламенные взгляды.

Первое время, пока Дашеньке приходилось тяжело, Наташа относилась к фельдшерице с уважением и как-то упрекнула мужа:

— А ты говорил, что она вертихвостка. Стала бы другая на ее месте так за Дашенькой ухаживать.

Степан только усмехнулся в бороду, его рассмешила наивность жены. Но когда дочери стало лучше и надобности в беспрерывном медицинском наблюдении миновала, Наташа сама удивлялась частым визитам фельдшерицы.

— Что она все ходит и ходит...

Как-то, просеивая муку в чуланчике, Наташа с ужасом услыхала, как Агнесса ласково спросила:

— Скажи, Дашенька, как твоего папу зовут?

— Папой.

— Глупенькая ты. Папа это не имя, а вот как мама его называет?

— Папа.

— Какая ты непонятливая. Я уж тебе сказала, что папа это не имя. У твоего папы имя должно быть — Петя, Алеша. Как мама его называет?

— Ермоша.

— А Степой она его раньше не называла?

— А когда раньше? Когда я совсем маленькая была?

— Да, да.

— Называла.

Наташа застыла на месте, боясь себя выдать. А фельдшерица продолжала расспросы:

— А как твою маму зовут?

Наташа услышала на лестнице шаги мужа и громко, испуганно позвала его.

— Что ты, мать?

— О, господи, мышь! — И шепнула: — Иди скорее домой. После расскажу.

Уложив Дашу, Важеватовы долго обсуждали, откуда фельдшерица узнала их тайну.

— Проговорились, наверное, когда Дашеньке плохо было, — сказал Степан, — не заметили, а она видишь какая въедливая.

Через несколько дней, засидевшись по обычаю почти до полуночи, Агнесса Владимировна попросила проводить ее. Наташа накинула пальто:

— Давайте я вас провожу.

Степан остановил ее.

— Я сам, Женя.

Всю дорогу он молчал и, только подходя к больнице, хмуро сказал:

— Спасибо вам, Агнесса Владимировна, за дочку. Она теперь, слава богу, поправилась. Зачем вам затруднять себя? Если уж что-нибудь опять случится, я прибегу за вами. Не откажете, наверное?

Агнесса повернулась и ушла не попрощавшись.

Вернувшись, Степан, увидев настороженные, беспокойные Наташины глаза, обнял ее.

— Как только Дашенька окрепнет — уедем.

* * *

Наташа разбудила его ночью:

— Степа! Дашенька опять вся горит. Дышит тяжело.

Степан положил руку на голову ребенка и сразу почувствовал, как она горяча. Девочка открыла глаза и, не узнав родителей, хрипло пробормотала что-то невнятное.

— Она бредит! — с ужасом сказала Наташа. — Что же это за напасть?

Степан вопросительно посмотрел на жену, и она, догадавшись, о чем он думает, ответила:

— Сходи... Может, придет...

Но Агнесса Владимировна не пришла.

Дашенька умерла на рассвете. Ее задушил дифтерит.

* * *

Первые дни после похорон Наташа не отходила от маленькой Дашенькиной могилки. Когда приходил Степан, она покорно поднималась и, не сказав ни одного слова, шла по тропинке. Дома она ела, ходила, разговаривала — все делала, как во сне. Когда ей попадалась под руку какая-нибудь дочкина вещь — платье, ботиночек или даже пуговка, она, с трудом сдерживая рыдания, уходила в чулан и подолгу сидела там.

Степан сам не знал, куда деваться от тоски. Он мучился от сознания, что, живи он не в этой глуши, а в городе, где есть хорошие врачи, Дашеньку можно было бы спасти. Он старался бодриться, понимая, что ему никак нельзя поддаваться горю, а надо быстрее покинуть это место, оказавшееся таким несчастливым. Особенно он заторопился с отъездом после беседы с урядником. На девятый день Наташа с утра ушла на кладбище. Степан, собравшись в обход, стоял на крыльце, дожидаясь товарного поезда.

В комнату, отдуваясь, вошел урядник. Поздоровавшись, он спросил:

— Хозяйка дома?

— На кладбище.

— Пойдем в дом, поговорим.

Урядник сел на скамью, расстегнул душивший его воротник мундира и попросил воды. Напившись, ухмыльнулся и спросил:

— Скажи, пожалуйста, что у тебя с этой рыжей вышло?

— С какой рыжей?

— Будто не знаешь. С Агнессой.

— Не знаю, о чем вы говорите.

— Как будто не видишь. Она в тебя, как кошка, втюрилась.

— Не замечал. И напрасно вы, ваше благородие, со мной об этом говорите. Нам с женой сейчас не до шуток.

— Ну ладно, ладно. Не сердись. Только она, рыжая ведьма, все уши моей жене прожужжала, что ты вовсе не Ермолай, а какой-то Степан.

— С ума спятила!..

— И я это жене твержу. Брось, говорю, чепуху молоть. Просто баба от злости, что он на нее не смотрит, небылицы плетет.

Урядник помолчал, затем испытующе посмотрел на Важеватова.

— А может быть, ты на самом деле не Ермолай?

Степан достал с полки казенную клеенчатую папку, где хранились инструкции по наблюдению за путями, и вынул свое свидетельство.

— Такие бумаги разным проходимцам не выдают,— строго сказал он.— Здесь царский поезд недавно проходил... Кто за путь отвечает? Я.

— Это понятно,— примирительно согласился урядник.— Я-то знаю, а вот что с ней, с дурой рыжей, поделаешь. Одно порет: «Он не Ермолай, а она не Евгения». Вчера все грозилась в город написать.

— Пусть пишет,— равнодушно сказал Степан.— Самой потом за свой поклеп придется стыдиться.

Урядник поднялся и, проходя мимо швейной машинки, спросил:

— Не продадите? Я бы хорошую цену дал.

Степан, сообразив, что машинка при отъезде будет только помехой, ответил:

— Как раз с женой думали, кому бы продать. Я с ней поговорю.

— Зайду вечером,— обрадовался урядник.— И моя дура успокоится. Будь здоров. До вечера.

Степан поспешил на кладбище рассказать жене о неприятных новостях.

* * *

Вечером урядник пришел с женой. Поговорив для приличия о покойной Дашеньке, урядничиха попросила разрешения сесть за машинку и, оставшись довольна, дипломатично сказала:

— Так уж и быть, выручим вас. Купим.

Урядник, подавая Степану десятку, кивнул на жену.

— Это все она. Я бы ни за что не купил.

Степан повертел десятку.

— Вы ошиблись, ваше благородие. Машинка дороже стоит.

— Знаю. Это же задаток. Остальное в рассрочку. Отдам все. Не сбегу.

— Нет уж, ваше благородие. Давайте все.

После спора сошлись на том, что урядник сейчас даст половину, а остальное к петрову дню.

Когда осчастливленная урядничиха с мужем ушла, Наташа со злостью хлопнула дверью.

— Взяточник окаянный.

— Черт с ним, — бросил Степан. — Хорошо, что половину отдал. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

Наташа уложила в две корзины самые необходимые вещи, кое-что потихоньку от урядничихи продала в деревне. На все расспросы баб, почему она распродает вещи, она отвечала одно и то же:

— Муж тут остается, а я уеду к родным, не могу я тут больше оставаться — мне по ночам все Дашенька чудится. Боюсь, с ума сойду.

Дня через три все лишнее было продано. Оставалась только корова, за которой утром должен был прийти барышник.

А ночью нагрянули жандармы.

* * *

Степан стоял около печки босой, в синей рубашке и молчал. Наташа держала в руках старую Дашенькину шубенку и не сводила с нее глаз. Жандарм выдернул у нее шубенку из рук и запустил свои короткие толстые пальцы в крохотные карманчики. Он достал кусочек красной ленточки, два камешка и бросил все на пол.

Двое жандармов соскочили в подполье и крикнули оттуда:

— Принимай!

Сначала подняли кадку с огурцами. Жандарм выкинул на затоптанный пол деревянный кружок, который Наташа, доставая огурцы, всегда тщательно обмывала.

Офицер посмотрел на кадку.

— Давай!

Жандарм засучил рукава и начал выкидывать огурцы на пол. Наташа посмотрела на Степана, а он только переступил ногами и прислонился спиной к печке. Когда все огурцы были выкинуты, офицер скомандовал:

— Переверни!

Кадку перевернули, рассол растекся прямо Степану под ноги, и он перешел на другое место. Офицер крикнул:

— Простукай!

Жандарм постучал по кадушке со всех сторон, приложился ухом:

— Обыкновенная, ваше высокоблагородие.

Сильно пахло укропом. Черноусый жандарм украдкой поднял огурец и откусил. Он старался жевать тихо, а огурец хрустел. Степан без улыбки сказал:

— Кушайте на здоровье. Все равно выбрасывать.

Жандарм бросил остаток огурца. Подняли кадку с капустой.

— Тряхни!

Жандармы перевернули кадушку и вытряхнули всю капусту разом.

Наташа вспомнила, как весело было осенью, когда рубили капусту. Она то и дело очищала Дашеньке кочерыжки.

Вошел урядник.

— Звали, ваше высокоблагородие?

Офицер презрительно посмотрел на него:

— Звал. Хотя тебе давно бы тут следовало находиться. Понятых привел?

— Во дворе, ваше высокоблагородие.

— Давай сюда!

Урядник, проходя мимо Степана, крутнул рукой, показав, как шьют на машинке, и подмигнул.

Офицер строго окрикнул:

— Урядник! Чего ты там сигнализируешь?

У Степана мелькнула догадка, что урядник раньше знал про обыск и поэтому так торопился купить швейную машинку подешевле. «То-то он, боров, десятку мне совал», — подумал он.

Важеватов хотел было крикнуть уряднику, чтобы он немедленно вернул машинку или принес остальные деньги, но увидел предостерегающий взгляд жены, которая, видно, поняла его намерение. «Черт с ним и с деньгами, — подумал Степан, — меня, конечно, уведут, а она останется, и эта свинья ей после здорово насолит».

Так до конца обыска и простоял Степан молча, изредка переглядываясь с Наташей. Под утро, когда все в доме, в подпечье и в сарае было переворошено, офицер, смахивая с воротника пыль, приказал:

— Ну, Ермолай Барышников, или как там тебя, Степан, собирайся, поедешь с нами в Кострому.

Степан неторопливо оделся.

— С женой позвольте попрощаться, ваше благородие.

— Простись, только поскорее.

— Не волнуйся, Женя. Меня с кем-то спутали. Я скоро вернусь. — Он крепко поцеловал жену и успел ей шепнуть: — Уезжай в Иваново.

* * *

Беда становится еще более горькой, если человек в это время один, если нет поблизости родных и друзей. А на Наташу сваливались с неумолимой жестокостью одна беда горше другой. После того как увели Степана, Наташа оцепенела и весь день, не двигаясь, просидела у стола с Дашиной шубкой в руках.

Несколько раз в комнату заглядывал урядник, потом постучался какой-то бородатый мужик, одетый, несмотря на теплую погоду, в черный дубленый полушубок.

— Меня, хозяйка, временно подослали за путем поглядеть. Где у вас флажки?

Он повертел в руках поданные Наташей флажки, свернул покурить и ушел, сказав на прощание:

— Я, в случае чего, в сарайчике переночую.

После его ухода Наташа словно проснулась от тяжкого сна. «Здесь оставаться нельзя, — отчетливо подумала она и начала торопливо собирать вещи. — А Дашенька? Как же я от нее, голубушки, уеду?» И, забыв запереть дверь, быстро пошла на кладбище. У могилы дочери она опустилась на колени и, положив голову на холмик, повторяла одно и то же: «Дашенька! Как же я теперь жить буду? Дашенька!»

В сумерки над высокими березами закружилась большая стая галок. Они то опускались на ветви, то снова испуганно взмывали вверх, словно пытались разглядеть — что это такое черное неподвижно лежит там внизу. А у Наташи не хватало сил оторваться от могилы.

Когда совсем уже стемнело, хриплый голос сказал:

— Пойдем, родимая, домой. Сейчас дождик хлынет. Ты посмотри, как молния освещает. Пойдем.

Мужик в овчинном полушубке помог ей встать и повел домой, рассказывая по дороге:

— Прихожу, смотрю — темно. Я в горницу, а там все раскидано, словно Мамай прошел. Одежонка валяется — кофточки, юбки. А тебя нет. Я в деревню. Добрые люди сказали, ищи, говорят, ее на кладбище. Она беспременно там, больше ей деваться некуда. А ты действительно тут. Тебе, хозяйка, надо чего-нибудь поделать — пусть кто-нибудь тебя с уголька водичкой сбрызнет или святой водой умыться. А может, к доктору сходить надо. Смотри, ты, видно, и плакать разучилась. Слезы, они горячие, душу хорошо омывают, а у тебя, видно, застыло.

Без слез, деловито собрала Наташа вещи в два узла, разговаривая сама с собой: «Ты меня простишь, Дашенька. Ты же видишь, как мне отсюда уходить не хочется. Надо, доченька.

Отца нашего опять, видишь, схватили. Надо же о нем позаботиться...»

Утром, после бушевавшей всю ночь грозы, Наташа вышла с узлами, решив пешком добираться до разъезда, а там сесть на поезд до Костромы.

Но, видно, не только на линии, но и в депо уже знали об аресте Степана. Не успела Наташа отойти и сотни шагов, как ее нагнал товарный поезд. Услышав гудок, она сошла с пути и, прикрыв от солнца глаза ладонью, по привычке стала всматриваться, кто ведет паровоз. Поезд замедлил ход и остановился. Машинист соскочил с подножки и, подбежав к ней, схватил узлы.

— Давай, Барышникова, забирайся быстрее.

Кочегар уложил ее узлы на тендере между дров. Машинист усадил на свое сиденье и, что-то сказав помощнику, спросил Наташу:

— Когда они его сцапали?

— Вчера ночью.

— Вот подлецы, обязательно по ночам хватают. Есть у тебя кто-нибудь в Костроме? Жить-то есть где?

Наташа отрицательно качнула головой.

Две недели, пока Степана держали в Костроме, Наташа прожила у матери машиниста, в маленьком домике на берегу Волги. Машинист зашел только дважды — один раз просто проведать, а в другой принес десять рублей, сказав:

— Это наши деповские тебе собрали. Бери, бери. Мало ли что у тебя есть. И это пригодится.

Он рассказал Наташе о том, что Степана увезли в Ярославль.

— Люди узнали, что его там и судить будут. А пока ищи его в «Коровниках». Тюрьма есть такая в Ярославле.

Наташа сначала хотела ехать сразу в Ярославль, но потом передумала и собралась в Иваново-Вознесенск. Машинист уговорил ее поехать пароходом до Кинешмы, а уже оттуда поездом до Иваново-Вознесенска.

— Так гораздо лучше будет. Спокойнее. Пароход приходит в Кинешму в шесть вечера, а в восемь поезд на Иваново пойдет. Через три часа там будешь. А в Нерехте тебе почти сутки придется пересадки ждать.

За час до отхода парохода незнакомая женщина принесла ей билет до Кинешмы и не взяла за него денег. Вскоре пришли двое железнодорожников и, легко подняв узлы, проводили Наташу до пристани. Они были немногословны, эти молодые парни, но от их крепкого рукопожатия у Наташи стало тепло на душе, и она, растроганная их заботой, долго не уходила с палубы и все махала им платком.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Подождав, пока пролетка, увозившая Веру с ее спутниками, скрылась за углом, Сергей Иванович зашагал разыскивать улицу Путанку.

Вскоре он уже стучал в низенькое окошко небольшого домика.

— Савватеев здесь живет?

В окошке поднялась кисейная занавеска. Молодой женский голос ответил:

— Сейчас выйдет. Входите во двор.

Сергей Иванович вошел в калитку и очутился в залитом солнцем дворике, сплошь поросшем густой травой и одуванчиками.

— Кто мной интересуется? — спросил Яков и тут же узнал Семенова.

— Сергей Иванович! Идемте, скорее идемте. Груня! Ты посмотри, какого нам бог гостя прислал.

— Вы одни дома? — осведомился Сергей Иванович, пожимая руку Груне.

— Одни.

— Ну, тогда можно. Попал я к вам не столько по воле божьей, сколько по совету товарища Арсения.

Яков ставил самовар, а Сергей Иванович, умывшись, рассказывал о последней встрече с Фрунзе, то и дело называя хлопотавшую у стола Груню Машей.

— Помните, Маша, как мы с вами у завода в переделку попали?

— Еще бы не помнить. Еле живая выбралась. Только я не Маша, товарищ Семенов, а Груня.

— Вы же сами мне тогда в Питере Машей отрекомендовались.

Вспомнили и про Олю Генкину.

— Скоро десять лет минет, — с грустью сказала Груня, — а я никак забыть не могу, как она лежала на площади.

Рассказал Сергей Иванович и о своей спутнице Вере Орловой.

— Вернулась? — спросил Яков и начал рассказывать про Игоря Кручинина: — Странная у нас тут история произошла. Кто-то еще в 1905 году ухлопал этого студента. Потом прошел слух, будто он провокатор, выдал эту самую Веру Орлову и застрелился. Отец у него давно умер, а мать, похоронив сына, все продала и уехала неизвестно куда. Года через два такое начали болтать — хоть святых выноси. Бывший дворник Кручининых в пьяном виде проговорился, что он сам в пустой гроб кирпичи укладывал и что, дескать, похоронили не тело, а эти самые кирпичики.

— А не легенда все это? — перебил Сергей Иванович.

Яков серьезно ответил:

— Мы тоже решили сначала, что это глупая выдумка. Наши ребята к дворнику с расспросами подъезжали, а он на них с бранью — какая, говорит, сволочь про меня такую пакость распустила. Полицией пригрозил. А прошлой весной дворник умер. Перед смертью покаялся, что действительно кирпичи в гроб укладывал. Как там начальство решало, нам, понятно, неизвестно, но одно мы узнали — приезжала какая-то комиссия не то из самого Синода, не то от архиерея, могилу вскрывали. Врач, который подписал свидетельство о смерти Кручинина, тоже умер. Выяснилась еще одна подробность — все, что было у Кручининых, — мебель, ковры — все оказалось в доме у этого врача. Его вдову, говорят, вызывали в полицию, допрашивали. Она будто ответила, что покойный муж за все заплатил наличными.

— Интересно, — заметил Сергей Иванович. — А как бы все это поточнее разузнать? Поскольку Вера Орлова приехала.

— Понятно, — сказал Яков. — Точнее быть не может. Наши парни, кто посмелее, после синодской комиссии могилу осмотрели — гроб пустой. Значит, Кручинин жив и живет где-нибудь под чужой фамилией.

— Интересно, где?

— Велика Россия-матушка! Разве сыщешь!

Потом заговорили о главном — зачем Сергей Иванович приехал в Иваново-Вознесенск.

— Помогите, друзья, с паспортом. По теперешнему моему положению я в Питере жить не могу, связи все потеряны, а я хочу только туда.

Яков внимательно осмотрел Семенова, словно прикидывая, какой же паспорт надо готовить неожиданному гостю.

— Что-нибудь сделаем. А пока поживите у нас, отдохните.

Узнав, что вечером Сергей Иванович собирается навестить Веру Орлову, Яков предупредил:

— Поаккуратнее с ее отчимом обращайтесь. Мы этого Модеста Назаровича хорошо знаем — черносотенец каких мало. Недаром его гимназисты шпионом кличут. Особенно он с прошлого года разъярился. Царь в Кострому приезжал, и наши иваново-вознесенские отцы города депутацию на станцию Нерехта посылали царский поезд встречать. Царь вышел к ним и с Модестом Назаровичем за руку поздоровался, видно, понравилась Николке борода. Видали, какая она у Модеста?! С тех пор он и ходит надутый как индюк. Городовые его боятся больше губернатора, в струнку вытягиваются.

Накормив гостя, хозяева заспешили на фабрику. Груня принесла из сарайчика деревянную раскладушку, застелила ее чистой простынкой:

— Отдыхайте. Если к Орловым соберетесь, ключик вот сю-

да, в эту дырочку схороните. Мы раньше десяти с фабрики не вернемся.

Яков сходил к соседу за газетой и, подавая ее Сергею Ивановичу, сказал:

— Порохом все сильнее пахнет.

Проводив хозяев, Сергей Иванович устроился во дворике — уж очень хорошо было в нем на ярком солнце — и раскрыл газету. На второй странице бросился в глаза жирный заголовок:

«К пребыванию в С.-Петербурге президента Франции господина Пуанкаре». После описания высочайших торжеств по случаю приезда Пуанкаре в конце сообщалось, что 11 июля президент на броненосце «Франс» отбыл на родину.

Хотя и скупо, но все же сообщалось о забастовке и демонстрациях в Петербурге. Подробнее других описывалось о демонстрации на Выборгской стороне, о многотысячных толпах, заполнивших Сампсониевский проспект. Прочитав о том, что трамвай в Питере ходит под охраной городовых и только в центре, Сергей Иванович усмехнулся: «Эх, батюшка Питер, ты все такой же, как и был!»

Сообщалось о многочисленных арестах. Особенно много людей было взято в редакции «Рабочей газеты» на Ивановской улице. Полиция окружила дом, и все, кто находился в нем, попали в этот бредень. Потом шли заметки о сараевском следствии. Корреспондент агентства Рейтер сообщал из Белграда, что оружие — шесть бомб и четыре пистолета — убийцам эрцгерцога Фердинанда Принципу и Габриковичу было передано неким Цыгановичем.

Затем Сергей Иванович прочитал заметку о том, что штабс-капитан Нестеров на самолете «Моран», изготовленном на заводе «Дукс», на рассвете явился на аэродром и, не сказав никому ни одного слова о предстоящем полете, поднялся в воздух и через четыре с половиной часа опустился около Тосно, неподалеку от Петербурга.

Репортеры, пытавшиеся получить у молчаливого штабс-капитана интервью о подробностях этого небывалого перелета, в ответ услышали всего три слова:

— Лететь было хорошо...

Несколько заметок посвящалось предстоящей нижегородской ярмарке, следствию по делу Феонии Гусевой, покушавшейся на жизнь Григория Распутина. Подробно сообщалось о бывшем председателе совета министров Витте. Граф проживал в Зальцшлиффере. Его ежедневно в сопровождении маленького внука можно было видеть в курортном парке в обществе какого-то английского лорда. Заметку в самом конце страницы, на последней колонке, Сергей Иванович прочитал дважды: «Десятого июля австро-венгерский посланник в Белграде вручил сербскому министру-президенту ультиматум, заключающий в себе обвинение сербского правительства в поощрении

великосербского движения, приведшего к убийству наследника австро-венгерского престола. Австро-Венгрия требует от сербского правительства осудить в торжественной форме означенную пропаганду и принять меры под контролем Австро-Венгрии к раскрытию заговора, наказанию виновников и пресечению в будущем подобных посягательств. Для ответа на ультиматум сербскому правительству предоставлено 48 часов».

Под заметкой было напечатано правительственное сообщение: «Правительство весьма озабочено наступающими событиями и посылкой Австро-Венгрией ультиматума Сербии. Правительство зорко следит за развитием сербско-австрийского столкновения, к которому Россия не может оставаться равнодушной».

«Это худо, — с беспокойством подумал Сергей Иванович. — Выходит, порохом на самом деле пахнет всерьез».

Словно в подтверждение с третьей страницы глянуло большое объявление: «Запасные! Страхуйте вашу жизнь в высочайше учрежденном страховом обществе «Россия»!»

Сергею Ивановичу захотелось скорее поближе к людям, куда-нибудь, только не сидеть одному в этом залитом солнцем дворике. К Вере раньше вечера идти было нельзя. Сергей Иванович вздохнул и снова принялся за газету, но его тотчас же окликнули. У калитки стояла Вера:

— Простите, что я так неожиданно, но мне очень трудно было дождаться вечера.

Она протянула ему руки и заплакала:

— Я так рвалась домой, так мечтала, а приехала к чужим...

Сергей Иванович обнял ее и поцеловал в мокрые от слез глаза.

— Вера! Дорогая моя, успокойтесь. Я здесь, рядом. Вы для меня самая родная.

— Правда, Сергей Иванович? Правда?

Вера села на крыльце и начала рассказывать об отчиме.

— Не успела я умыться, а он уже ко мне в комнату. И поместили меня не в моей бывшей комнате — я так ее любила, — а в другой, маленькой, при папе мы ее чуланом звали. Постучал, встал у порога и сразу начал свои нравоучения. Теперь, говорит, не 1905 год, времена переменились, и, говорит, надеюсь, что вы ваши бредни оставили на месте вашего последнего пребывания. Я, понятно, вспылила и попросила его убраться. А он свое: «Я очень люблю вашу матушку и пекусь о ее здоровье и благополучии. Если вы за старое приметесь, матушка не переживет». Подошел ко мне ближе, в лицо заглядывает, руку протянул, а глаза блудливые. Попросил: «Прошу о нашей беседе мамочке не докладывать». И мама стала совсем другая. Боится его. В столовой я села, а она стоит: «Подожди, Верочка, сейчас Модест Назарович выйдет». По старой привычке она мне первой чашку подала. Если бы вы видели, как он на нее

посмотрел. Сидит на папином месте, важный, надутый, и все говорит, говорит... Не смогу я с ним в одном доме жить. Придется уехать.

— Поедемте в Петербург, — предложил Сергей Иванович.

— В Петербург? — удивленно спросила Вера. — Что я там делать буду?

— Жить будем, — улыбнулся Сергей Иванович. — Жить, работать, старых друзей разыскивать, новых заводить. — Он нежно обнял Веру за плечи. — Был у меня, Вера, когда-то товарищ в Нижнем Новгороде. Я ему все завидовал, уж очень у него хорошая жинка была. Редко такие друзья встречаются. А познакомились они на пароходе. Плыли из Нижнего в Самару — он мать проведать, а она на каникулы. За три дня друг друга так полюбили, если врозь, так лучше головой в омут. Вот и я, Вера, чувствую — без вас будет трудно мне. Я вот тут весь перед вами — ни кола, как говорится, ни двора, и откровенно говорю, прежде чем в Питер ехать, должен о хорошем паспорте позаботиться. Спокойной жизни, Вера, со мной не получится, а любить вас буду всю жизнь.

— Я вам очень верю, Сергей Иванович. Но все это так неожиданно. Дайте мне немножечко подумать.

Она увидела газету.

— Простите меня, Сергей Иванович, что я так грубо перебиваю хороший разговор. Вы читали газеты? За завтраком мамин муж чего-то все хорохорился, собирался австрийцев бить. Неужели война близко?

— Да. Кажется, даже ближе, чем все мы думаем.

В калитку постучали.

— Хозяев дома нет! — крикнул Сергей Иванович.

— А где они? Скоро придут?

— Да вы войдите, — встал Сергей Иванович. — Входите!

Во дворик вошла женщина с двумя узлами.

— Вера, — тихо сказал Сергей Иванович, — я ее знаю. Это она. Наталья Матвеевна, это вы?

— Я, а вы кто?

— Неужели не помните?

— Нет, — устало ответила Наташа. — Вы извините меня, но у меня очень голова болит. Скажите, здесь Савватеевы живут?

— Здесь, здесь. Только их дома нет, на фабрику ушли.

— Я подожду.

Сергей Иванович осторожно спросил:

— Помните, вы ко мне в Петербург вместе с Яковом приезжали?

— Сергей Иванович! — вскрикнула Наташа. — Господи, да как же я вас раньше не узнала.

— Тогда у меня бороды не было. А где ваш муженек, если не ошибаюсь, Степан Ильич?

— А где же ему быть? Опять в тюрьме. В «Коровниках».

— Слыхал про это заведение, — сочувственно произнес Сергей Иванович. — Давайте, Наталья Матвеевна, ваши вещи. Аграфена Васильевна и Яков придут не скоро. Вот, познакомьтесь, — товарищ Орлова, Вера Александровна. Мы тоже только сегодня из матушки Сибири прибыли. А что вы, Верочка, насчет чайку думаете? Может, соорудим? И гостья наша с дороги, наверное, с удовольствием попьет, да и мы с ней за компанию.

* * *

Вечером, когда пришли Груня и Яков, Наташа совсем «отошла» и даже несколько раз улыбнулась на шутки Якова. Вера украдкой шепнула Сергею Ивановичу: «Какая же она красавица!» Сергей Иванович также шепотом ответил: «Удивительная. В Питере, помню, адвокат, который дело ее мужа вел, долго ее вспоминал. Все говорил: «Ушел бы за ней на край света».

А Наташа, рассказав о Степане, допытывалась:

— Как вы думаете, что ему будет?

— Этого вам никто не скажет, — сказал Сергей Иванович. — Самое главное — знают ли, что ваш супруг тот самый Важеватов.

— Гадать не будем, — заметил Яков. — Постараемся, Наташа, все разузнать. Есть у нас дошлые парни — могилы и те раскапывают.

Попозднее, оставив женщин одних, Яков и Сергей Иванович пошли на другой конец города, в Хуторово, к Михаилу Кадыкову.

— Интересно, зачем это я ему понадобился? — спросил Сергей Иванович.

— Поговорить хочет, — уклончиво ответил Яков и перевел разговор на другую тему: — А вот и наша знаменитая река Уводь. — И продекламировал:

Как на Уводи вонючей
Стоит город премогучий...

— Что же это вы о своей родной реке так нелестно отзываетесь? — пошутил Сергей Иванович.

— Почему нелестно? Это правда.

Они вошли на мост.

— Слышите, краской пахнет? В нашей Уводи рыба не живет, дохнет. Ребята после купания вылезут — а на них разводья лиловые, как на чертенятах. И все равно я свое Иваново люблю. Ярославль, например, куда лучше. Или Нижний — Волга, домов больше хороших. А Иваново не променяю. Плохо заботятся о нем. Вот посмотрите — свалка. А ведь это центр. Моя бы воля — я бы тут парк насадил с фонтанами...

На столе стояла бутылка с пивом и моченый горох. Кадыков разлил пиво в стаканы и сразу, без всяких предисловий, начал говорить о главном:

— Яков попросил нас о вашем паспорте позаботиться. Мы дня через три добудем. Мы каждому товарищу обязаны помочь, а вам вдвойне, поскольку вы от Арсения прибыли. Его слово для нас закон. Но я хочу вам другое предложить — оставайтесь у нас. Мы вам все найдем — работу, квартиру...

— И семью перевезете, — добавил Зиновьев.

— Спасибо, товарищи, за доверие. Город мне ваш понравился, и я бы рад тут остаться. Но я столько лет Питера не видел. Вот мы сюда шли, и товарищ Яков мне про Иваново рассказывал — тянет, говорит, сюда. А меня Питер тоже тянет.

— Знал бы, не рассказывал, — пошутил Яков. — Я для того и говорил, чтобы вас в Иваново завлечь.

— Вот и завлек, — так же шутливо заметил Зиновьев. — Ну как, товарищ Семенов, может, подумаешь?

— Нет, товарищи, за паспорт спасибо, а остаться не смогу.

Кадыков побарабанил пальцами по столу.

— Ну, значит, не вышло по-нашему, Федор. Спасибо за откровенность, товарищ Семенов. Паспорт мы вам раздобудем. А теперь расскажите нам все про Арсения. Как он там? Когда вы его в последний раз видели?

* * *

Через три дня Сергей Иванович получил новый паспорт на имя Павла Ивановича Мельникова и выехал в Петербург. Вера, прощаясь, крепко поцеловала его и сказала:

— Напиши, когда можно будет приехать к тебе. Хорошо бы поскорее.

Оттого, что утро было настоящее петербургское, с влажными от ночной сырости тротуарами и сизым, пахнувшим морем и дымом воздухом, Сергею Ивановичу сразу стало веселее. На Знаменской площади стоял все тот же огромный городовой с роскошными усами. А когда совсем рядом на Невском звякнул трамвай, Сергей Иванович не мог сдержать радостной улыбки: «Вот я и дома!»

Родным домом был весь Питер. Даже извозчики, стоявшие на Гончарной, строгие дворники в белоснежных фартуках, Невский с Адмиралтейской иглой вдали — все было петербургское, такое, чего нет нигде.

Все было, а своего угла не было. Сергей Иванович сдал корзинку в камеру хранения и пошел на Лиговку, он помнил — где-то неподалеку от вокзала находится трактир.

Трактир был на старом месте, и за стойкой переставлял бутылки все тот же буфетчик. Сергей Иванович, как только вошел, вспомнил: буфетчика звали Павлином Федоровичем.

Во втором от входа маленьком зале посетителей не было. Сергей Иванович, заказав порцию сига и пару чая, попросил полового подать открытку, принялся за письмо: «Верочка! Дружок мой дорогой. Вот я и в Питере. Сейчас отправляюсь искать квартиру...»

Еще в тюрьме, мечтая о свободе, Сергей Иванович решил, что, как только попадет в Петербург, поселится в Петергофской части, поближе к Путиловскому заводу. Он понимал, что по конспиративным соображениям лучше бы устроиться где-нибудь на Выборгской стороне или на Васильевском острове. Но он свыкся с мыслью жить около Путиловского, возможно, работать на нем, и прямо из трактира, не раздумывая, направился на Петергофское шоссе.

Помня совет Веры снять жилье попроще, он проходил мимо больших домов, не обращая внимания на белые билетики в окнах с предложением комнат. Но чем дальше он шел по шоссе, тем все реже попадались большие дома. Сергей Иванович с удовольствием вспомнил, что в кармане у него настоящий, хороший паспорт и даже год рождения и месяц соответствовали его настоящим датам — август 1879 года. Это было, пожалуй, единственный раз за последние годы. Когда-то на паспорте, полученном в Нижнем, ему было тридцать два года, а на самом деле едва исполнилось двадцать шесть. По паспорту коммерческого агента «Полюстровского содо-мыловаренного товарищества» он был старше на целых восемь лет. Тогда это его не волновало — ну тридцать, тридцать пять, какая разница, важно, чтобы жандармы не сомневались в его возрасте. А вот сейчас ему было очень приятно знать — годы в паспорте настоящие. «Старею, видно, — усмехнулся Сергей Иванович. — О возрасте начал думать».

В доме на углу Петергофского шоссе и Елизаветинской улицы белые билетики виднелись во многих окнах. Сергей Иванович поднялся на второй этаж и постучал в дверь, обитую черной клеенкой.

Вышла полная, румяная блондинка с ямочками на щеках, певуче, не по-питерски, спросила:

— На хлеба желаете?

— Я не один. Скоро жена приедет, — сразу предупредил Сергей Иванович.

— Пожалуйста, места хватит. Взгляните сначала мои хоромы, а уж потом, если понравятся, разговаривать будем.

Чистенькая комната, оклеенная белыми с золотыми полосками обоями, с уютно расставленной недорогой мебелью Сергею Ивановичу очень понравилась. Все — и цена и обещанное хозяйкой питание — было подходящим. Не понравилось только одно — в комнате, находившейся в конце коридора, жил еще один жилец. Сергей Иванович начал отказываться.

— Что же вы мне раньше не сказали? Нет, не уговаривайте,

не могу. Кто его знает, каков он человек? Может, выпивает, шумит, а у меня семья.

— Да что вы? Он у меня, как ангел, тихий. Чертежником служит. И дома все за доской. Пойдемте, я вас познакомлю. Он дома сегодня. Николай Васильевич, можно к вам?

— Пожалуйста.

Сергей Иванович посмотрел на будущего соседа и с трудом удержал едва не сорвавшееся «Здравствуй!». На него, повернувшись вполоборота от чертежной доски, смотрел Алексей Некрасов, бывший партийный организатор Обуховского завода, сидевший с ним восемь лет назад в одной камере предварительной тюрьмы на Шпалерной.

— Познакомьтесь, пожалуйста, Николай Васильевич, это вот, возможно, мой будущий жилец и ваш сосед.

— Мельников Павел Иванович, — протянул руку Сергей Иванович.

— Новиков Николай Васильевич, — широкой улыбкой ответил чертежник. — Очень приятно.

Он чуть заметно подмигнул гостю, словно хотел сказать: «Знаю, какой ты Мельников». И гость ответил тем же: «Новиков? Хорошо, будь пока Новиковым, а там увидим».

— Ну как, господин Мельников? — запела хозяйка.— Останетесь?

— А почему бы и не остаться? — спросил чертежник. — Что вас смущает? Хозяюшка наша — лучше не найти: поит, кормит и пуговки пришивает.

— Они не одни, — пояснила хозяйка. — К ним должна супруга прибыть. А они насчет вас подозрение имели — не выпиваете ли, не шумите ли?

— Что вы! Что вы! — прервал словоохотливую даму Сергей Иванович. — Я теперь сам вижу, что жилец у вас просто ангел.

— Оставайтесь, — внимательно посмотрел на него Новиков. — Вы же ничем не рискуете. Не понравится, съедете.

— Быть по сему! — согласился Сергей Иванович. — Получите задаток.

— Паспорт пожалуйте, — попросила хозяйка, считая деньги. — Вот таких жильцов я люблю — сами денежки вперед предлагают, не торгуются. А я вам сейчас глазунью мигом подам, кофейку. Пьете?

— Обожаю, — весело ответил Сергей Иванович и, поклонившись чертежнику, ушел в свою комнату.

— Кушать можно в столовой, — предупредительно сообщила хозяйка. — А где же вещички ваши?

— Сегодня привезу. Да их немного у меня, только носильное. Остальное жена привезет. У матери она сейчас.

— Ну и расчудесно,— пропела хозяйка.— Пожалуйте к столу.

Вечером, привезя вещи и увидев, что Елены Андреевны нет дома, Сергей Иванович постучал к соседу.

— Входи, друг, — встал ему навстречу «Новиков». — Давай садись, поговорим, так сказать, как мужчина с мужчиной. Только не обижайся на мое предисловие. Мы с тобой восемь лет не виделись. Сам знаешь, что это за годы. Не только рядовые члены партии, как мы с тобой были, люди покрупнее нас, философы — и те черт их знает куда переметнулись. Один Плеханов чего стоит, а ведь я, да и ты наверное, богу на него в свое время молился. Я за эти годы такие метаморфозы видел — аж в тупик вставал, как мог человек наизнанку вывернуться. Поэтому я тебя и хочу спросить попросту, без всяких дипломатий и хитростей. Посмотри мне, Сергей Иванович, в глаза и скажи, наш ты или нет?

Сергей Иванович поднялся и протянул руку:

— Я, Алексей, этой вот минуты, когда приеду в Питер и первого большевика увижу, восемь лет ждал. Весь я тут — и готов на любую работу. А теперь, Алеша, давай по-настоящему поздороваемся.

Они обнялись и крепко трижды расцеловались.

— Давай рассказывай. Давно из холодных мест? Что делать собираешься?

— Работать надо. Хорошо бы на Путиловском.

— А мы тебя никуда в другое место и не пустим. Специальность у тебя какая?

— Могу токарем.

— А что ты на Невском судостроительном делал?

— Надсмотрщиком в пожарной команде. Вроде хожалого.

— Это неплохо. Завтра я с парнями посоветуюсь, что-нибудь придумаем. Жить в этой квартире можно. Хозяйка доброты неописуемой, чудное существо.

— А муж где?

— На заводе в позапрошлом году погиб, взорвалась на верфи какая-то чертовщина. Пенсию она получает да вот нас, жильцов, кормит. Поговорить любит всласть. Она у меня вроде живой газеты — вечером все доложит, где что происходит, по-своему, конечно. Ты о наших событиях знаешь?

— Только из газет.

— Сходи к заводу, посмотри, что там делается. У проходной конторы несколько тысяч стоит. Сегодня после локаута нанимать начали.

— Пожалуй, схожу.

— Поди, потолкайся. А вечером я тебя кое с кем познакомлю.

* * *

Ближе к заводу шоссе было все более оживленным — кучками шли рабочие, бежали мальчишки. Все чаще и чаще попадались казачьи патрули и отряды городовых.

То и дело скрипели двери проходной конторы. Протиснувшись поближе, Сергей Иванович услышал, как пожилой рабочий, судя по исколотому окалиной лицу — кузнец, возмущенно сказал:

— Что же это такое, братцы? Митька Елкин уж на что забулдыга, и то в лафетно-снарядную взяли. Егора Степина из башенной взяли, а нас с Андрюшкой Зиминым чуть не вытолкали.

Рабочие хмуро молчали, только молодой паренек посоветовал:

— А ты, дядя, не дремли. Беги скорее к Дурдину на пивной завод — у них третью смену пускают.

— Я — на пивной завод! Иди, я тебе, сукин сын, уши нарву.

Кто-то посоветовал:

— А ты с Норкиным поговори. Вот он идет.

Через толпу пробирался человек в сдвинутом на затылок котелке, с небольшой каштановой бородкой.

Кузнец бросился к нему.

— Ваше благородие!

— Что? Не берут?

— Так точно, ваше благородие.

— Подожди до завтра. Возьмут.

— А вдруг?

— Я тебе сказал, возьмут, стало быть, возьмут. Я лучше знаю.

Сергей Иванович не удержался и спросил соседа:

— Кто это Норкин?

— Неужели не знаешь? Инженер, начальник башенной мастерской. До нашего брата понятливый. Гляди, как народ к нему льнет.

Но больше всего в толпе говорили о войне.

Высокий, худощавый рабочий в широкополой шляпе, из-под которой на лоб выбивались длинные волосы, желчно объяснял слушателям:

— Вот наденут казенную шинель, да и угонят к чертям на кулички, куда-нибудь на австрийскую границу. А там, будь здоров, голову в момент открутят.

— Ты в заводоуправление телеграмму: так-то, мол, и так, остался без головы, прошу выслать новую. Они тебе посылочку.

— Тебе все смешки, Коля, а у меня трое, и я ратник первого разряда, меня сразу позовут.

— Раскудахтался. Нам не впервой за царя-батюшку голову под пули подставлять. Видал, как мне японцы ухо обкорнали. Позовут — пойдем.

К пяти часам проходную контору закрыли. Сразу стало шумно.

— Чего там заперлись? В чем дело?

Кто-то объяснил, что по распоряжению дирекции наем на сегодня прекращен по всем мастерским.

* * *

Утром всюду — на стенах домов, на афишных тумбах появился приказ о мобилизации запасных и ратников первого разряда.

Сергей Иванович спал, когда к нему забарабанил Алексей Некрасов.

— Мобилизация! — крикнул он.

— Неужели объявили?

— Сам видел. Где твой паспорт?

— У хозяйки. А что?

— Как что? Если она снесла его квартальному, и тебя забреют. А тебе это сейчас не к чему.

Он сходил к хозяйке в комнату и вернулся с паспортом Сергея Ивановича.

— Пойдем на завод.

На шоссе у каждого темно-красного приказа о мобилизации толпились люди. На углу Зимина переулка молодая простоволосая женщина в голубой кофте, вцепившись в мужа, голосила: «Коленька, да что же это, Коленька!» Девочка, держась за материну юбку, испуганно жалась к отцу.

— Видал? — спросил Некрасов. — Вот она, война, всегда с женских да детских слез начинается. Ах, сволочи, что наделали.

На завод в этот день принимали всех, без особого разбора. Сергей Иванович вспомнил вчерашний разговор начальника башенной мастерской Норкина с кузнецом: «Знал, видно, о приказе».

Некрасов подвел Сергея Ивановича к толстяку с большими моржовыми усами. Несмотря на теплое, ясное утро, толстяк был в черной суконной паре, с галстуком. Позади него на гвозде висело черное длиннополое пальто и котелок.

— Афанасий Петрович! Посмотрите, вот он, о ком я вам говорил.

«Морж» поднял заплывшие глаза.

— Паспорт давай. — Не глядя, кинул паспорт в ящик стола, написал на клочке бумаги несколько слов и крикнул рябому конторщику: — Выдай!

У одного из столов тихо переговаривались двое в форменных фуражках.

— Это недомыслие! Не подумать об отсрочке призыва для мастеровых. Через три дня с завода заберут половину. Останутся старики и подростки.

— Говорят, завтра обещают что-то сделать.

— Завтра! Они завтра в казармах будут, оттуда их труднее вытаскивать.

Сергею Ивановичу выдали пропуск, и Некрасов повел его в комнату к пожарникам.

— Слышал? Отсрочку хлопочут для мастеровых. Теперь наше дело дрянь. Тех, у кого язык поострее, — на фронт. Остальные присмиреют. Кому охота за Гришку с царицей башку под пули подставлять. Ну вот мы и пришли. Принимай, Семен, нового надсмотрщика. Сам Афанасий прислал.

Старший пожарный внимательно осмотрел новичка.

— Сам Афанасий, говоришь? Ну, тогда давай знакомиться. Лавров Василий Иванович. На, почитай инструкцию и с завтрашнего дня за дело. Хочешь, пойдем со мной, я сейчас в башенную. Народ сегодня не работает, а это для нас нет хуже, того и гляди чего-нибудь вспыхнет.

Пожарный хитро подмигнул, и они пошли в башенную.

— Хочешь послушать, о чем народ говорит? — неожиданно спросил пожарный. — Да ты не смотри на меня, как на чучело. Если ты от самого Афанасия и привел тебя Новиков, значит, я знаю, кто ты такой.

Сергей Иванович засмеялся:

— Понимаю. Ну что ж, очень приятно. Пойдем послушаем.

— То-то же. Давай зайдем в уборную. Тут у нас вроде дворянского собрания — говорят, что в голову придет.

Курилка при уборной была полна людей. Здоровяк лет под тридцать с большой лохматой головой, войдя вслед за Сергеем Ивановичем, зычно крикнул:

— Егор! Иди в кладовку, сдавай инструмент.

— А ты?

— Освободился. Сейчас покурю последний раз и шабаш — в Ямские бани.

— Помыться перед отправкой?

— Черта с два. Баню в казарму превратили. Не хватает для нашего брата казарм.

В углу рабочий солидного вида в очках рассматривал распяленный на руках пиджак.

— Сколько просишь? — деловито осведомился он.

— Сколько дашь? Новенький, весной справил. Мне он теперь не потребуется — в казенное оденут.

— Не дай бог.

Из другого угла слышалось:

— Ты скажи: на кой ляд нам с тобой или вот ему эти самые Дарданеллы?

— Проливы. Корабли по ним ходить должны.

— Твой корабль по ним сейчас ходит?

— Нет.

— А если мы эти самые Дарданеллы к рукам приберем, твои корабли будут ходить?

— Да что ты ко мне пристал!

Кто-то плечом легонько двинул Сергея Ивановича. Он всмотрелся: незнакомый. Сергей Иванович полез в карман за платком и нащупал бумажку. Вытащил, развернул. И сразу понял — листовка: «Кровавый призрак веет над Европой. Жадная конкуренция капиталистов, политика насилия и захвата, династический расчет и боязнь за привилегию перед растущим международным движением толкают правительства всех стран на путь милитаризма, на путь увеличения военщины, давящей своими расходами трудовой народ всех земель и всех цветов...»

Сергей Иванович посмотрел на подпись: Петербургский комитет РСДРП.

Пожарник шепнул:

— Спрячь. Золкин идет.

В уборную вошел ничем не отличающийся от других рабочий. Боком прошмыгнул мимо курящих.

— Кошка мышку ищет, — иронически сказал тот, кто рассказывал о Дарданеллах. — А она, подлая, в норку.

В дверь ввалились трое молодых парней. Встали у порога и взмолились:

— Пожалейте несчастных сирот. Уступите, у кого дома полбутылка уцелела? Геньку провожать, а выпить нечего. Подрубили, окаянные, под самый корень. Казенки не вовремя закрыли.

— Чего захотели? — отозвалось несколько голосов. — Сами бы...

— Я вчера вечером, словно чувствовал, просил у жены на водку. Не дала. А теперь и сама бы рада угостить, да нечем.

— Пашка Сметанкин за полбутылки на измайловских огородах нужник сегодня вычистил, — со смехом сообщил один из парней. — Опередил нас, кошачий сын.

Пожарный пригласил Сергея Ивановича.

— Покурили, и хватит.

В коридорчике, подмигнув на карман, пожарный, улыбаясь, заметил:

— Подложили?

— Наверное, меня с кем-нибудь спутали.

— Увидели — новенький, пусть узнает, на чем хлеб родится.

— Ловко работают. Я и не заметил, когда сунули.

— Тертые калачи. Поди, читай инструкции, а я в лафетно-снарядную загляну.

* * *

Вечером дома Сергей Иванович написал Вере: «Хорошая моя! Все у меня теперь есть — квартира, работа и даже друзья, верные товарищи. Не хватает только тебя. А война, проклятая, того и гляди начнется. Приезжай».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Волнение, охватившее Европу после убийства в Сараеве наследника австро-венгерского престола Франца-Фердинанда, захватило весь мир. И хотя причиной беспокойства было убийство эрцгерцога, о самом Фердинанде почти уже не упоминали. Говорили о другом — о войне.

Журналисты, как русские, так и иностранные, сначала пытались делать вид, что ничего не произошло, что все идет по установленному порядку, и целые полосы заполняли процессом жены французского министра финансов Генриетты Кайо, застрелившей на романтической почве редактора парижской газеты «Фигаро» Гастона Кальметта.

Но люди во всех частях света, торопливо пробегая длинные столбцы с подробностями об интимной жизни семьи Кайо, искали краткие известия о развитии сербско-австрийского конфликта.

Газетчики на улицах Петербурга, Берлина, Лондона, догадавшись, какие новости больше всего интересуют покупателей, надрываясь, кричали: «Беседа министра иностранных дел Сазонова с германским послом Пурталесом!», «Сэр Эдуард Грей принял русского посла в Лондоне».

Читатели рвали свежие, пахнувшие краской листы из рук мальчишек. Несмотря на удвоенные и утроенные тиражи, газеты раскупались в несколько минут, и через какой-нибудь час за них платили в пятикратном размере.

События принимали зловещий оборот.

Прибывший в свою постоянную резиденцию Пуанкаре за один день трижды имел беседу с русским послом Извольским.

Дряхлый австро-венгерский император Франц-Иосиф с балкона дворца невнятно пробормотал несколько слов гудящей внизу толпе верноподданных и, приветственно кивнув головой, шаркая расслабленными ногами, ушел с балкона.

Кайзера Вильгельма, появившегося на улицах Потсдама, встретили овациями. Дамы в огромных шляпах с белыми страусовыми перьями бросали под ноги императорского коня цветы. Летели вверх котелки. Усатые господа и даже их расфранченные подруги восторженно кричали: «Разобьем Сербию!»

Через 17 часов после вручения Австро-Венгрией ультиматума Сербии министр иностранных дел Российской империи Сазонов принял австро-венгерского посла и указал на желательность нового обсуждения ультиматума.

Все это была только дипломатическая игра: война сильных государств за ограбление слабых, за колонии, за передел мира, которую в течение десятилетий подготовляли правительства и буржуазные партии всех стран, была неизбежна.

Австро-венгерское правительство уклонилось от новых переговоров.

Якобы в ответ на это, а на самом деле по заранее намеченному генеральным штабом плану, русское правительство объявило мобилизацию в ряде военных округов. Германскому послу Пурталесу было заявлено, что частичная мобилизация является лишь последствием австрийских вооружений и не направлена против его отечества.

Приближение войны измерялось уже не днями, а часами. Одинокие голоса поборников мира тонули в диком хоре шовинизма.

В Париже, в кафе Круассан на улице Фобур-Монмартр, за столиком у окна сидел депутат парламента, редактор «Юманите» Жан Жорес. Он был весь в поту, еще не остыл после только что произнесенной речи против войны. Один из друзей, окружавших его, положил в бокал с белым вином крохотный кусочек льда. Жорес отпил глоток, расправил пышную бороду и заговорил с друзьями.

В кафе вошел мужчина в каскетке. Посмотрел на Жореса и вышел, сунув руку в карман брюк, прошелся по тротуару под окном. Жорес, улыбаясь, беседовал. Рауль Виллан — так звали мужчину в каскетке — выстрелил в Жореса через окно. Жорес был убит, кровь из раны попала в бокал. Белое вино чуть покраснело, в бокале плавал не успевший растаять кусочек льда.

В этот же час Австро-Венгрия произвела всеобщую мобилизацию. Русское правительство в ответ «расширило военные меры предосторожности». Из Берлина последовал запрос: «Что это значит?» Сазонов ответил Пурталесу:

— Мы вынуждены предохранить себя от всяких случайностей.

Восемнадцатого июля германское правительство обратилось к российскому правительству с требованием к 12 часам 19 июля приостановить военные меры, угрожая в противном случае приступить к всеобщей мобилизации. Российское правительство ответило отказом. Девятнадцатого июля в семь часов вечера Пурталес последний раз посетил Сазонова — передал от имени своего правительства объявление России войны. Немецкий посол так разволновался, что вручил министру две ноты: в одной говорилось о войне, во второй, заготовленной на всякий случай, — о возможности дальнейших переговоров.

Двадцатого июля все русские газеты напечатали царский манифест: «Божией милостью, мы, Николай Вторый, император и самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая, объявляем всем верным нашим подданным: в грозный час испытания да будут забыты внутренние распри, да укрепится еще теснее единение царя с его народом и да отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага...»

По сообщению главного управления генерального штаба, русские войска 19 июля установили соприкосновение с неприя-

телем на большой части русско-германской границы. Немецкие отряды заняли Бердин и Калиш, а двадцатого — Ченстохов.

На рассвете двадцать четвертого июля австрийцы у Воложска открыли огонь по русским часовым и взорвали свой устой железнодорожного моста через пограничную реку Збруч.

Вступили в войну против Германии и Австро-Венгрии Англия и Франция. В Петербурге у зданий английского и французского посольств собирались с флагами огромные толпы. Пели национальные гимны. Полиция не мешала петь запрещенную «Марсельезу». Качали сотрудников посольств. Попозднее большая толпа собралась на Фурдштатской у бельгийского посольства — приветствовать представителей союзной державы, в эти часы Бельгия защищалась от немецкого вторжения. Кто-то сказал, что в доме напротив живет Родзянко. Толпа кинулась под его окна. Родзянко вышел на балкон, выпятив живот, перекрестился и истово выкрикнул: «С нами бог! Постоим за родную Русь!» Долго кричали «ура».

Шумно было на Исаакиевской площади у темно-серого грузного особняка германского посольства. А он словно вымер: спущены шторы, заперты парадные двери. Толстый господин в чесучовом пиджаке, размахивая тростью с золотым набалдашником, разразился патриотической речью:

— Братцы!.. Русские люди! Наши солдатики, сирые герои, проливают кровь, защищая нас от проклятой немчуры... А мы? А мы стоим сложа руки. Бей их, тевтонов проклятых!

Верзила в жилетке поверх голубой рубахи, по всей видимости кучер, размахнулся. Камень полетел в окно посольства. Толстое зеркальное стекло выдержало, только трещины, словно на льду от удара каблуком, звездой разбежались по нему.

— А ну еще разок!

Рядом в окне со звоном вылетели стекла. Там, в посольстве, чья-то большая белая рука поправила штору, прижала, видно, ее каким-то тяжелым предметом, чтобы не открылась от ветра.

— Боятся, сволочи! Закрываются...

И толпа рванулась к окнам.

На Невском громили магазины, принадлежащие немцам. В музыкальном — у Циммермана — летели из окон на тротуар гитары и скрипки, жалобно звенели струны. Долго и неумело вытаскивали рояль, он упрямо застревал в дверях. Ломовой извозчик — могучий, лохматый — со всей силой рубанул огромным топором по роялю. Белые и черные клавиши посыпались, как выбитые зубы. Мальчишка в белом колпаке, весь в муке, старательно дул в подобранную на мостовой флейту: получалось плохо, еле слышный мышиный писк.

Раскатывались по лестницам шерстяные и шелковые ткани в магазине Штенберга. Ломом пытались приподнять стальные жалюзи у ювелира Ганса Брауера. Начали было громить мод-

ный магазин голландца Ситгифа, приняв его по ошибке за немецкий.

С Екатерининской улицы, очевидно, по пути из Михайловского манежа, свернул на Невский сводный отряд военных училищ. На мундирах юнкеров блестели золотые офицерские погоны — полагающееся по уставу офицерское обмундирование для досрочно выпущенных воспитанников еще не успели сшить. От перекрестка Большой Садовой батальон шел под оркестр. Цветы падали под ноги марширующим юнкерам. Экзальтированная особа в огромной шляпе и розовом платье бросилась на шею молодому подполковнику, который шел впереди юнкеров, и звучно поцеловала его в щеку. Подполковник слегка вспыхнул, вежливо освободился и на ходу галантно поцеловал даме руку. Его наградили криками «ура», хлопками. Особу в розовом качали. Шляпа слетела, из-под розового платья взлетали белоснежные кружева. Два официанта из Европейской гостиницы подбодряюще крикнули: «Держись, Ванда!»

С Литейного на Невский выехали кавалергарды. От Знаменской площади двигались в сторону Адмиралтейства лейб-казаки. Гремела медь оркестров, сверкали на солнце трубы.

Мимо городской думы проходили только что мобилизованные запасные. Поношенные пиджаки, запыленные сапоги, косоворотки — все это было резким контрастом по сравнению с гвардейскими мундирами.

Но и им уделили некоторое внимание: кричали «ура», кинули немножко цветов. Еще один диссонанс слегка омрачил торжество — позади запасных шла, причитая, какая-то старуха: «Болезный мой! На кого меня спокинул!»

Потом случилось совсем непредвиденное. Из-за Гостиного двора выбежали парни с красным полотнищем, на котором белым было написано: «Долой войну!» Парней смяли, тех, кто не успел скрыться, потащили в участок.

Тихо было у дома посольства Северо-Американских Соединенных Штатов. Странно выглядел пустой флагшток — на нем не развевалось знамя со звездами и полосами, заокеанская держава в войну не вступила. У парадного подъезда, заложив руки в карманы брюк, с трубкой в зубах стоял бритый господин в рыжем пиджаке и кремовых брюках и внимательно смотрел на проходившие мимо толпы.

В полдень всю колоссальную Дворцовую площадь заполнили тысячи людей. Колыхались хоругви, всюду виднелись сине-красно-белые национальные флаги. Вдруг шум затих. Тишина катилась от Зимнего, все ближе и ближе к арке Главного штаба, к зелени Александровского сада.

На балкон вышли царь и Александра. Люди на площади опустились на колени.

«Новое время» выпустило экстренный выпуск. Захлебываясь от умиления, газета описывала: «...показался государь импера-

тор, за его величеством изволила выйти на балкон государыня императрица. Многотысячная толпа, как один человек, упала на колени». Далее, описав происходившее на площади, хроникер выразился так: «Государь отвечал народу наклонением головы». Через час после выхода газеты редактора вызвали в цензурный комитет и дали нагоняй за непочтительность. Надо было написать: «милостивым наклонением головы».

В «высочайшем манифесте» было сказано глухо: «В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри...»

Шумела биржа. Продавцов бумаг было сколько угодно — все ценности, включая государственную ренту, летели вниз с головокружительной быстротой.

Попозднее немножко поползли вверх акции тульских патронных заводов, золотопромышленные, металлургические.

Еле дышала открывшаяся, как всегда, 15 июля нижегородская ярмарка. Меха не шли совсем. Каракуль и белка упали в цене наполовину. Соболя и бобры хотя и держались на уровне, но оживленного спроса не имели. Хорошо шли ситцы — за аршин на полкопейки дороже. Повезло с толстым сибирским товаром — бобриком и сукном, почти все скупил главный интендант. Основательно вздорожали аптекарские товары, масла, краски. Купцов-оптовиков на ярмарке было мало — одни киргизы да персы. Совсем не видно было покупателей из Европы.

Двадцать первого июля появился указ сената о созыве на двадцать шестое число распущенной на каникулы Государственной думы и Государственного совета. Несмотря на то что все члены этих высших представительных учреждений не могли к этому сроку прибыть в столицу, в 11 утра в Николаевском зале Зимнего дворца состоялся высочайший прием. Впереди, у самых дверей, из которых должен был выйти царь, вокруг великого князя Николая Николаевича, назначенного верховным главнокомандующим всеми вооруженными силами, стояли министры. Чуть поодаль, по правую сторону разместились члены Государственного совета, по левую — члены Государственной думы, за исключением большевистской фракции, отсутствовавшей в полном составе.

Николай, постаревший, с отекшими глазами, глухим голосом прочитал свою речь, закончив ее словами, которые ему вписала жена в самую последнюю минуту: «Велик бог земли русской!» Члены обеих палат и свита пропели гимн, прокричали «ура», а Николай тоскливо думал: «Ах, как не повезло — в такие дни самый лучший советчик, верный друг старец Григорий лежит больной в далекой Тюмени».

После скучной речи председателя Государственного совета Голубева вперед шагнул толстый, неприятный царю Родзянко. Он говорил долго, тяжело задыхаясь от волнения: «Государственная дума, отражающая в себе единодушный порыв всех областей России и сплоченная одной, объединяющей всех мыслью,

поручила мне сказать вам, государь, что народ ваш готов к борьбе за честь и славу отечества».

Родзянко сначала сказал «наш народ», а потом поправился и сказал так, как было написано в заранее приготовленной речи, — «ваш народ». Николай, несмотря на умение скрывать перед посторонними свои чувства и мысли, недовольно поморщился.

Из Зимнего члены думы направились к себе — в Таврический. Снова говорил Родзянко. После него выступали лидеры фракций. Они повторяли речь председателя: клялись хранить единство царя с народом, до последнего вздоха защищать отечество. От трудовиков выступил Керенский. На этот раз он обошелся без выспренной отсебятины и только прочел декларацию: «Мы непоколебимо уверены, что великая стихия российской демократии вместе со всеми другими силами даст решительный отпор нападающему врагу, защитит свои родные земли и культуру, созданные потом и кровью поколений».

Керенскому аплодировала вся дума, кроме социал-демократов. Ревел «браво!» Марков 2-й, одобрительно взвизгивал Пуришкевич.

Читать декларацию большевиков вышел Петровский. Когда он поднялся на трибуну, воцарилась мертвая тишина: ждали — что-то он скажет? Петровский хотя и волновался, но его голос отчетливо слышали даже на хорах:

— «Страшное, небывалое бедствие обрушилось на народы всего мира. Миллионы рабочих оторваны от мирного труда, разорены, брошены в кровавый водоворот. Миллионы семей обречены на голод...»

Кто-то, торопившийся раньше других доказать свои верноподданнические чувства, уже крикнул: «Заткните ему глотку!» Но гул возмущения стал нарастать позже. Петровский продолжал:

— «Не может быть единения народа с властью, если эта власть не представляет интересов народа. Сознательный пролетариат воюющих стран не мог помешать возникновению войны, но он найдет средства к скорейшему ее прекращению. Мы выражаем надежду, что война раскроет глаза народным массам на действительный источник насилия и угнетения...»

В зале стоял рев. Родзянко долго успокаивал депутатов. Перешли ко второму пункту повестки дня — вотированию военного бюджета. Как только министр финансов поднялся на трибуну, большевики в знак протеста покинули зал.

В кулуарах на них налетели правые, кадеты, трудовики, потрясая кулаками, вопили:

— Что вы делаете? Толкаете Россию в бездну!..

— Мы спасаем ее от позора.

— Думают, что они умнее всех! Немецкие социал-демокра-

ты не глупее вас, а голосовали в рейхстаге за войну. А социалист Вандервельде? Он что, хуже вас?

— Мы хотим идти своим путем...

— Дойдете до Сибири, изменники!

* * *

В тот же день Бадаеву доставили на дом пакет с траурной каймой. Он вскрыл письмо. На стол выпал кусок картона. Черным по белому был нарисован череп и две скрещенные кости. По-латыни печатными буквами было написано: «Memento mori» — помни о смерти.

Вечером Бадаев с Петровским поехали посмотреть, что происходит в Питере. Чем дальше от центра, тем тише и тише было на улицах. За заставами — за Нарвской и Невской, на Выборгской стороне и не только в столице, но и в Москве — на Пресне и в Симоновской слободе, в Замоскворечье, в Туле и Иваново-Вознесенске, в тысячах больших и малых городов, сел и деревень народ метался, ища ответа на мучительный вопрос: «Что теперь будет? Как теперь жить?»

Война, о которой так много говорили, которую ждали, все же пришла неожиданно.

* * *

Накануне объявления войны Наташа по просьбе Груни пошла на базар. Расплачиваясь с мясником, услышала вкрадчивый голос.

— Если я не ошибаюсь, госпожа Никитина?

Наташа резко повернулась и чуть не столкнулась с Поляковым, мужем Елены Васильевны Перевощиковой.

— Давненько в наших краях? — осматривая ее с ног до головы, спросил Поляков.

— А вы теперь разве в Иваново-Вознесенске живете? — сорвалось у Наташи.

— Представьте себе. Пришлось покинуть милую Шую. Мы здесь уже третий год.

— Как Елена Васильевна? — не зная, о чем говорить, осведомилась Наташа.

— Благодарствую. Немного прихварывает. А вы, как всегда, восхитительны.

— Куда уж там, — усмехнулась Наташа. — Вы меня извините, тороплюсь.

— Разрешите проводить?

— А стоит ли вам с женой каторжного по улице идти? — попыталась отделаться Наташа.

— Я думаю, стоит, — многозначительно намекнул Поляков. — Впрочем, долго я вас не задержу. Пожалуйте сюда вот

в тень, здесь и поговорить можно. Если мне память не изменяет, вы у меня в некое отдаленное время заимствовали небольшую сумму.

— Сто рублей. Точнее, девяносто рублей и восемьдесят пять копеек.

— Совершенно верно. Так вот, разрешите напомнить — срок векселька давно кончился. Когда соблаговолите вернуть?

— Хоть сегодня.

— Да вы просто прелесть. А у меня, знаете ли, как раз не хватает наличных. Когда же вас ждать прикажете?

— Когда вам удобно.

— Заходите часикам к двенадцати.

— Зайду. Давайте адрес.

— Пожалуйста. Воздвиженская, собственный дом. Очень кстати, я завтра в Нижний Новгород собираюсь...

Наташа, не попрощавшись, отошла от Полякова. Он нагнал ее и строго добавил:

— Не вздумайте опять на десять лет исчезнуть. Заявлю в полицию.

— Отстаньте. Я же сказала — принесу.

* * *

Отдав Груне покупки, Наташа пересчитала деньги. Еще в Костроме она разделила вырученную от продажи имущества сумму на две части. Сто рублей отложила как неприкасаемый запас для Степана, а восемьдесят рублей для себя: на дорогу, питание и на первое время до приискания работы. Сейчас от этих восьмидесяти рублей оставалось только шестьдесят два.

Для того чтобы расплатиться с Поляковым, приходилось взять из запасных, как она их называла — Степиных, денег по меньшей мере сорок пять рублей: тридцать восемь из них уйдет Полякову, а семь рублей она решила растянуть по крайней мере на месяц — до работы.

Сидя во дворике, она долго перекладывала деньги из одной кучки в другую, пока не решила, что ей на месяц вполне хватит трех рублей.

Груня, выйдя на крыльцо, чтобы позвать Наташу пить чай, шутливо крикнула:

— Ты, как Мефодка Гарелин. Он страсть любил деньги считать.

Наташа смутилась и, не рассказав Груне о встрече с Поляковым, наскоро выпив чаю, направилась на Воздвиженскую.

Дверь ей открыла гимназистка лет тринадцати, очень похожая на Елену Васильевну, и Наташа догадалась, что это та самая девочка, которую Степан когда-то вытащил из воды.

— Вы к маме?

— Нет, к папе, — улыбнулась Наташа.

— К Всеволоду Игнатьевичу, — сердито поправила гимназистка. — Сейчас скажу.

И ушла, презрительно сжав губы.

Поляков выскочил в переднюю. Вытирая салфеткой жирные губы, забормотал:

— Пожалуйста, сюда. Очень рад, очень рад. Прошу садиться.

— Давайте вексель, — не глядя на него, потребовала Наташа, положив деньги на стол.

— Пожалуйста. Одну минуточку. Я его приготовил. Позвольте денежки.

Наташа пододвинула ему деньги. За дверью кто-то чуть слышно сказал: «Это она!» Поляков пересчитал деньги:

— Здесь не хватает, мадам Никитина.

— Почему это не хватает? — вспылила Наташа. — Ровно сто рублей.

— Совершенно верно. Но вы брали у меня, как вы справедливо отметили, сто рублей на три года, до 8 февраля 1909 года. А сейчас, если мне память не изменяет, июль 1914 года. Просрочка пять лет и пять месяцев.

Он достал из бюро какую-то таблицу и защелкал на счетах:

— За пять лет по три процента годовых пятнадцать рублей, да за пять месяцев рубль двадцать пять, итого шестнадцать рублей двадцать пять копеек. Но это еще не все. На первый год на процентные три рубля девять копеек да второй год...

Наташа перебила его:

— Меня ваши вычисления не интересуют. Сколько я вам еще должна?

— Одну минуточку.

Поляков несколько раз стукнул костяшками, поиграл карандашиком.

— Всего с вас сто двадцать один рубль и восемь копеек. Если для вас сразу затруднительно, я приму основной долг сто рублей, сделаю на векселе соответствующую надпись, а проценты вы мне донесете. Можете сегодня, можете завтра...

— Пишите...

Поляков, вздыхая, еще раз пересчитал деньги, спрятал в бюро и заскрипел пером по векселю. В дверь постучали.

— Кто там? — недовольно спросил Поляков.

— Это я, Всеволод Игнатьевич. Можно войти?

— Ну уж если вам так хочется, войдите.

В кабинет вошла Елена Васильевна.

— Ах ты не один, ты занят.

— Ничего, входи. Я сейчас освобожусь.

— Наталья Матвеевна, это вы? Господи, да вы ни чуточки не изменились.

Наташа со смешанным чувством испуга и жалости смотрела на Елену Васильевну. От прежней веселой, румяной, с симпа-

тичными ямочками на щеках Елены Васильевны не осталось и следа. Поблекшие, какие-то серые губы безвольно опустились вниз. Лоб весь в морщинах, особенно много их разбежалось на висках. Прелестные пепельные волосы поредели, в них заметно пробивалась седина. Даже ростом Елена Васильевна стала меньше, несмотря на туфли с высокими каблуками.

— Да, да, — забормотал Поляков. — Смотри, Лелечка, какая редкая гостья нас навестила.

— Надолго в Иваново? — очевидно, не зная, о чем говорить, спросила Елена Васильевна.

— Пока неизвестно, — уклонилась от прямого ответа Наташа.

— Сколько вашей сейчас? — неосторожно поинтересовалась Полякова. — Мне рассказывали, что вскоре после отъезда в Петербург у вас родилась девочка?

— Умерла,— коротко сказала Наташа и, чувствуя, что больше не может здесь оставаться, обратилась к Полякову: — Готово?

— Пожалуйста. Вот, посмотрите. Надпись сделана по всем правилам.

— Не сомневаюсь, — отрезала Наташа. — Чего-чего, а законы вы знаете. Шкуру с любого снимете на законном основании.

В кабинет вошла гимназистка.

— Мама! Я иду к Наде. Можно?

А я бы не советовал,— желчно вмешался Поляков.— Она вам не пара.

— Вас никто не спрашивает,— дерзко повернулась девочка. — Мама, можно?

Желая как-нибудь замять неприятный разговор, Елена Васильевна подвела дочь к Наташе.

— Помнишь, я рассказывала: когда тебе было четыре года, тебя спас от смерти Степан Ильич?

— Господи! Конечно, помню. Ты мне столько раз об этом повторяла.

— Познакомься, доченька, это Наталья Матвеевна, жена Степана Ильича...

Девочка с улыбкой протянула Наташе обе руки.

— Мне мама много о вас рассказывала. Я очень рада, что вас увидела.

Поляков протянул вексель.

— Берите, Наталья Матвеевна. Так уж и быть. Ради такого случая — погасим.

Наташа взяла вексель, прочитала надпись Полякова и, возвращая, холодно проговорила:

— Не извольте беспокоиться, господин Поляков. Ваши проценты не пропадут. Завтра получите. До свидания, Елена Васильевна. — Она притянула к себе девочку, поцеловала ее в лоб. — До свидания, Наташенька.

— Заходите к нам, — с жалкой улыбкой попросила Елена Васильевна. — Посидим, старое вспомним.

В коридоре до Наташи донесся голос Елены Васильевны:

— Как вам не стыдно!

— А вы бы не совались не в свои дела, — огрызнулся Поляков. — С вашими замашками мы бы давно нищими были.

— Не смейте обижать маму! — крикнула девочка.

Наташа с облегчением хлопнула дверью. В этот же день она отнесла Полякову остальные деньги.

* * *

Вечером Наташа снова пересчитала деньги. У нее осталось тридцать девять рублей с копейками. Работы пока не предвиделось, а главное, она истратила почти весь запас, отложенный для Степана. Она с ужасом подумала, что билет до Ярославля в оба конца стоит около восьми рублей. Не меньше трех рублей, а то и все пять надо будет отдать в Ярославле за ночлег, не меньше десяти придется раздать тюремным чинам. «Что же я ему передам? А вдруг его вышлют? С чем же он поедет в каторгу?»

Горячий клубок подступил к ее горлу. Нестерпимая тоска охватила ее, и она заплакала, уронив голову на стол.

— Господи! Да что же это такое? Когда же кончатся наши мучения?

На какой-то миг она с неприязнью подумала о Степане.

«Это из-за него у меня такая жизнь окаянная. Не узнай я его, все, наверное, сложилось бы по-другому. А Ваня? — вспомнила она покойного брата. — Разве Ваня из-за него погиб? — Ей стало стыдно, и она еще сильнее заплакала.— Господи! Дашенька, девочка моя».

Вот такую, всю в слезах, и застала ее Вера Орлова.

— Наташа, милая, что с вами? О Степане узнали? — с тревогой спросила она.

Наташа все рассказала ей — о встрече с Поляковым, о своих мыслях, даже о том, что плохо подумала о Степане.

— Вы только подумайте, Вера, во всех наших несчастьях я начала его обвинять. А в чем он виноват?

— Вы измучились, Наташа. Столько напастей... О деньгах вам расстраиваться не надо было. Возьмите у меня триста рублей, можете даже пятьсот. Я ведь богатая. Папа мне наследство оставил. Я вас очень прошу — возьмите. Я сейчас принесу.

— Спасибо, Верочка, но я, право, не знаю, когда сумею вернуть их.

— А вы не думайте об этом: берите, и все тут... Все равно эти деньги не мои, а папины. И не думайте больше о Полякове.

Плюньте на него. И жену его не жалейте, сама виновата, если он так ее скрутил. Давайте умойтесь, да пойдемте подышим воздухом...

Но уйти им не пришлось. С улицы донесся гневный голос Груни:

— Дурак и есть! Ладно уж, иди домой, вояка...

В калитку, сильно пошатываясь, вошел Яков. Он с трудом добрался до крылечка и плюхнулся на него, словно мешок с травой.

— Видали? — язвительно спросила Груня. — Нализался. Вы знаете, что он начудил? В добровольцы записался. Пойду, говорит, немцев бить. Сначала все о немецких социал-демократах болтал. Они, говорит, за войну, и я за войну.

— Ты ничего не понимаешь, Грушенька, — замотал головой Яков. — Я хоть и пьян, а все соображаю. Побьем немца, потом у себя порядки наведем. Правильно, Наташа?

— Он серьезно записался в добровольцы? — спросила Вера.

— Завтра являться.

— Господи! Какой ужас!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Смотритель Александровской центральной пересыльной тюрьмы надворный советник Чусов без конца звонил в Иркутск. Слышимость была очень плохая: как-никак, от Александровска до Иркутска около семидесяти верст.

А тут, как на грех, воскресенье, и никого из высших губернских чинов нет дома. Губернатор Юган, говорят, с утра в дворянских номерных банях Шварца, на Поплавской улице. Вице-губернатор Измайлов, сказывают, укатил в Хомутовку.

С трудом дозвонился до адъютанта генерал-губернатора Отто Павловича де Струве. Тот выслушал и посоветовал обратиться к штабс-офицеру для поручений при генерал-губернаторе подполковнику Римскому-Корсакову. Этого тоже не застал дома: заседает в дамском отделении губернского комитета попечительского общества о тюрьмах. Понятно, в чем тут дело: председательницей отделения состоит жена генерал-губернатора Князева.

В кабинет вошел делопроизводитель Богословский — маленький, белобрысый, круглый как шар, с плутоватыми глазками.

— Что там? — настороженно справился Чусов.

— Все то же самое. Митингуют. Сейчас уполномоченного выбрали для переговоров. Голодать собираются.

— А, черт, — снова принялся крутить ручку смотритель. — Барышня, дайте 29. Да, да, центральную каторжную. Это ты,

Иван Сергеевич? Как у тебя? Спокойно? Тебе что — у тебя народ определенный, а у меня проходной двор. Бунт не бунт, а вроде. Голодовку объявляют. Всем звонил, никого застать не могу. Кому позвонить? Советуешь самому? А удобно ли? Ну, спасибо. Сейчас попробую. Барышня, дайте первый. Что? Не приказано соединять? А у меня чрезвычайное дело. Спасибо, душечка.

Чусов встал и самым нежнейшим голосом, на который способно было его охрипшее, луженое горло, закудахтал:

— Можно попросить его высокопревосходительство? Говорит Чусов из пересыльной тюрьмы. Бунт у меня.

В трубке что-то булькнуло. И почти мгновенно послышался старческий тенорок:

— Я слушаю. Что у вас там произошло?

— Бунтуют, ваше высокопревосходительство! У меня большая партия на водворение в ссылку приготовлена, а отправлять не с кем — конвойных нет. Половину конвойных на фронт забрали. А ссыльные требуют отправки. Я отказал. Объявляют голодовку.

— Что вам нужно?

— Ходатайствую о присылке дополнительной охраны и конвойных.

— Сейчас распоряжусь.

В дверь постучали.

— Кто там? Войдите!

Вошел ссыльный. На вид ему было лет под тридцать. От самых висков курчавилась небольшая борода. Из-под усов с опущенными вниз концами виднелись плотно сжатые губы. Спокойный взгляд серых глаз. Над высоким, чистым лбом с чуть заметными морщинками каштановый ежик. Из арестантского на заключенном только куртка, все остальное — серые брюки, заправленные в высокие сапоги, синяя сатиновая рубашка, подпоясанная широким ремнем, — свое. Остановился в двух шагах от стола, заложил руки назад. Начал говорить: вежливо, спокойно, не вызывающе, но и без особой почтительности — как равный с равным.

— Общее собрание следующих в ссылку уполномочило меня заявить протест...

— Кто уполномочил? — хрюкнул делопроизводитель. — Вы слышали, Александр Осипович? Собрание!

— Слышал. А откуда я знаю, что именно вы уполномочены? Собрание! Где протокол? И вообще, что это за чушь — собрание. Ваша фамилия?

— Протокола, конечно, не было, но голосование было. Большинством голосов я уполномочен заявить, если меры к водворению нас на места поселения приняты не будут — политические объявят голодовку. Фамилия моя Фрунзе, зовут Михаил, отчество — Васильевич.

— Так вот что, Фрунзе Михаил Васильевич. Идите к своим дружкам и передайте — здесь не Государственная дума, чтобы голосовать, а тюрьма. О всяких мерах, мной принимаемых, я вашу братию в известность ставить не намерен. В ссылку пойдете, когда будет возможно, а голодовкой ничего не добьетесь. Все. Можете идти. Господин Богословский, крикни конвой.

Фрунзе все тем же спокойным тоном предупредил:

— Сейчас одиннадцать часов сорок пять минут. Согласно распорядку дня в полдень полагается выдавать обед. Прошу не беспокоиться — политические обедать не будут. И еще — предполагая ваш отказ, мы о начале голодовки заблаговременно сообщили на волю. К вечеру об этом узнают в Иркутске, а завтра утром телеграф сообщит об этом социал-демократической фракции Государственной думы, туда, где, по вашему мнению, можно голосовать!

Повернулся и ушел, прикрыв дверь спокойно, словно хозяин.

— Из опытных, видно, — ехидно улыбаясь, заметил Богословский. — Как разговаривает! Разрешите его статейный список принести?

— Принеси. И прикажи Лопаткину: обед разносить. Будут жрать или не будут, ихнее дело, а там посмотрим.

Крутнул ручку телефона:

— Барышня, соедините с двенадцатым. Спасибо. Ваше благородие! Доложите их превосходительству. Начали. Что начали? Голодовку, ваше благородие, голодовку.

Бочком впихнулся делопроизводитель.

— Вы только посмотрите, Александр Осипович, что это за фрукт. Два раза к смертной казни приговаривался. Гляньте на особые приметы: «Глаза серые, лоб чистый, волосы каштановые...» Дальше читайте: «Походка — твердая, манера держаться — прямо». И еще: «На основании ходатайства члена Государственной думы Ф. Н. Самойлова и по его ручательству следует на этапах только в наручниках». Значит, про думу он правду сказал. Связи, видно, большие.

* * *

В большом, низком бараке пересылки не слышно обычного шума. Заключенные лежат на нарах, тихо переговариваются. Фрунзе устроился ногами к проходу, между Гамбургом, с которым идет вместе от Красноярска, и кавказцем Шавишвили с большими грустными глазами на белом, заросшем густой щетиной лице.

— А если бы, Миша, перед вами поставили сейчас большое блюдо с шашлыком. Неужели бы удержались?

Фрунзе смеется:

— Не знаю. Трудно сказать.

— Я бы не удержался, — мечтательно говорит Шавишвили. — А эту бурду мне даже есть не хочется. Видел, он вчера мне прямо под нос чашку пихал. А я все равно не стал.

— Нашел, чем хвастать, — вмешивается Гамбург. — Осипу Ивановичу надзиратель кусок колбасы оставил. Больше фунта, а он ее тут же в парашу выкинул. Надзирателя чуть кондрашка не хватила.

— А не переменить ли нам, товарищи, тему, — предложил Фрунзе. — Послушай, Шави, если ты еще раз заговоришь про еду, я тебе, ей-богу, бока намну.

— Перестану. Молчать буду.

— Зачем молчать? О другом говори.

— О другом скучно. Мне есть хочется.

— Шави!

— Молчу, не дерись.

— Я тебя предупреждал.

Со второго этажа крикнули:

— Фомин! Опять сухарь грызешь?

— Не болтайте глупостей, Озолинь. Давайте лучше попросим Фрунзе обзор военных событий сделать. Фрунзе, газета у вас?

— У меня.

— Что же вы молчите?

— Рано еще, товарищи отдыхают.

— Давайте, Фрунзе, давайте.

Михаил слез с нар, сел поближе к окну.

— Только уговор, товарищи, всем лежать. Начнем с сообщения главного управления генерального штаба: «Восьмого сентября наши войска взяли приступом правобережные укрепления Ярослава и, захватив в них 20 орудий, продолжали наступление, которое противник тщетно пытался остановить взрывом моста через Сан. Вскоре наши войска овладели Ярославом. Двумя днями ранее был занят город Старое Место. Развивая успешные действия, наши войска заняли Пржеворск и Ланцун».

— А что дальше?

— Ничего особенного. Наши войска в близком соприкосновении с неприятелем, но боевых столкновений не было. Вот еще телеграмма от штаба верховного главнокомандующего: «Наши войска достигли Вислоки. У Перемышля действия развиваются успешно».

— Ну, что ты скажешь?

— Если все сообщения правдивы, в чем я основательно сомневаюсь, то это небольшой, частичный успех, не имеющий серьезного влияния на ход войны. Возможно, продвижение русских войск продолжается, будут взяты новые города. Вполне вероятно, падет крепость Перемышль, но потом все может покатиться назад.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что слабо подвижны фланги фронта.

— А неприятельские потери? Разве это не успех? — вмешался со второго этажа насмешливый голос. — Извините, Фрунзе, что перебил.

— Не устали, товарищи?

— Нет, давай говори.

— Слабо подвижные фланги могут...— Фрунзе не договорил. В барак в сопровождении надзирателей и конвойных вошел смотритель тюрьмы. Младший надзиратель крикнул:

— Встать!

Никто не пошевелился. Смотритель покосился на не в меру услужливого подчиненного:

— Лежите, господа, лежите. Только прошу внимания. Сейчас, господа, вам принесут обед. Не обычный, а значительно улучшенный против рациона.

— За счет других бараков? — спросил Михаил.

— Вы бы помолчали, Фрунзе, — со злостью ответил смотритель. — Взяли бы один и голодали, а то всех подбили. Не за счет других бараков, а на средства губернского комитета попечительского общества о тюрьмах. На первое сегодня — щи мясные, на второе — баранина с гречневой кашей.

— А что на десерт? — поинтересовались со второго этажа.

— А вы не шутите, — отпарировал смотритель. — Мы и это предусмотрели — получите холодный кисель...

— Как в «Яре»? А цыгане будут? — продолжали иронически расспрашивать со второго этажа. — Фрунзе, спросите их благородие, какой марки подадут шампанское?

Трое уголовников в грязно-белых куртках и колпаках внесли ведра со щами. От ведер поднимался пар, по бараку понесся аппетитный запах.

— Поднимайтесь, господа,— попросил смотритель.

Никто на нарах не пошевелился. Только сверху раздалось:

— Ах, сволочи, что делают!

— Поднимайтесь, господа! — продолжал смотритель. — Я не понимаю вас, господа! Зачем изнурять себя? Все равно вы голодовкой ничего не добьетесь. Конвойных нет, подвод нет — стало быть, нечего и думать об отправке. Не могу же я вас одних пустить.

— Не бойся, не разбежимся, — засмеялись наверху. — Сами дойдем.

— А мне потом за вас по шее дадут? Поднимайтесь, господа. Щи-то какие, наваристые...

— Сам бы ел, — посоветовал кто-то.

— А что? Могу. Кудинов! Дайте мне плошечку. Хлебца кусочек. Ну и щи. Золотые.

Смотритель встал в проходе с плошкой в руках. Перекрестился и долго дул на ложку:

— Горячи...

Он ел не торопясь, причмокивая, с удовольствием крякая.

— Спасибо, Кудинов. Хорошо щи сварил. Подержи плошку. Ну как, господа? Будете кушать? Поднимайтесь.

В бараке стало совсем тихо, только где-то на втором этаже стукнули посудой. Смотритель расстегнул воротник мундира:

— В последний раз спрашиваю. Встанете? Будете жрать, сукины дети? Заставлю, сволочи! Силком впихивать буду. Скоты!

Фрунзе соскочил с нар. Не спеша, вразвалочку подошел к смотрителю.

— Прекратите ругань, ваше благородие. Наши условия вам известны — мы кончим голодовку только после того, как вы объявите, что наша партия уйдет на поселение не позднее первого октября. Все остальные разговоры бесполезны.

— Ну подожди, Фрунзе. Ты у меня еще поплачешь...

Один из уголовников, принесших щи, высокий, худой татарин, наклонился к нарам. Заключенные пошептались. С нар соскочил и стал рядом с Фрунзе москвич Струнников.

— Товарищи! Уголовные из третьего барака в знак солидарности с нами тоже объявили голодовку...

Смотритель схватил татарина за ворот:

— Это ты, князь, сказал?

И ударил его рукоятью револьвера по скуле:

— В карцер!

Фрунзе схватил смотрителя за руку. Тот, все больше приходя в бешенство, заорал:

— Ты кого хватаешь? Меня? При исполнении службы! Бунт?..

Заключенные вскочили с нар, окружили Фрунзе.

— Уходите, ваше благородие, — спокойно продолжал Михаил. — Не дразните нас и не провоцируйте. И товарища, извините, — поклонился Фрунзе татарину, — не знаю вашей фамилии, товарища, которого вы сейчас оскорбили, я вам в карцер сажать не советую. Не советую. Могут быть крупные неприятности.

— Хитровцы! Босяки! — заорал смотритель и пулей вылетел из барака.

— Забирайте ваше варево, Кудинов,— попросил Михаил.— Кушайте на здоровье.

Уголовники унесли ведра. Ушли надзиратели, заперев двери барака. И сразу начался шум, крики: «Вот и пообедали!», «Молодец, Фрунзе!», «А щи, товарищи, видно, вкусные были».

Михаил поднял руку, прося слова:

— Товарищи! Пошли четвертые сутки. Надо беречь силы. Рекомендую всем лечь и разговаривать тише.

Шум начал умолкать. Михаил протиснулся на свое место, лег, заложив руки под голову. Шавишвили шепнул ему:

— Есть хочется.

— А мне, думаешь, не хочется. И боль в желудке отчаянная.

Он помолчал, затем спросил:

— Может, споем, товарищи! Только не очень громко. — И первый затянул:

Славное море, священный Байкал,
Славный корабль, омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал...

Стоголосый хор стройно поддержал:

Молодцу плыть недалечко.

* * *

Через час в барак вошли надзиратели и конвой. Старший надзиратель начал выкликать по списку:

— Дубов! Выходи. Шатров! Выходи. Баженов! Озолинь! — Двадцатым он выкликнул Шавишвили. Михаил сжал ему руку выше локтя:

— Держись, Шави.

Прошел еще час. Никто из вызванных в барак не вернулся. И только в конце второго часа втолкнули кубанца здоровяка Дубова. Он был весь в кровоподтеках, с разорванной губой.

— Силой, дьяволы, пихали. А я им, стервецам, все обратно выплевывал.

Вторым привели Озолиня. Латыш тяжело дышал, вытирал с подбородка кровь.

— Палачи...— И засмеялся: — Так у них ничего и не вышло. Но я одному здорово, как это говорят, всыпал...

— А как Шавишвили? — спросил Михаил.

— Шакал твой Шави! — с презрением бросил Озолинь. — И Лукин шакал. И Фомин. Сами ели. На моих глазах.

Фрунзе ничего не сказал и продолжал прерванный приходом товарищей разговор:

— Самый тихий и приятный, говорят, ветер на Байкале, култук, дует с северо-запада. Ничего шелон, южный, боковой. Самые опасные ветры горные. Налетают внезапно, достигают ураганной силы. Тут уж не Байкал, а бездна, кромешный ад...

В барак втолкнули Шавишвили. Все стихли. Сверху крикнули:

— Озолинь! Двинь ему.

Но предатель ящерицей проскользнул на свое место, закрыл лицо шапкой. Умоляюще позвал:

— Миша! Прости.

Фрунзе отвернулся к Гамбургу. Шавишвили заплакал.

— Не визжи, — прикрикнул Фрунзе. И добавил, уже мягче: — Как ты мог! Эх, Шави, Шави. А я-то думал.

* * *

На следующее утро делопроизводитель Богословский, вскрыв пакет от генерал-губернатора, прочитал бумагу и, даже не вписав входящий номер, чего с ним никогда не случалось, побежал к смотрителю.

— Кончились наши мучения, Александр Осипович. Нате читайте.

В бумаге говорилось: «По договоренности с командующим военным округом в ваше распоряжение направлена конвойная команда в составе двух офицеров, сорока нижних чинов и восьми подвод. Немедленно по прибытии направьте партию на водворение под военным конвоем до Усть-Орды. От Усть-Орды предписываю сдать водворяемых волостному конвою, который и доставит их в места назначения — в ближние волости Верхоленского уезда. Военный конвой по миновании надобности должен возвратиться в распоряжение штаба округа.

Генерал-губернатор, тайный советник,
егермейстер двора его величества Князев».

Смотритель перекрестился:

— Услышал господь мои молитвы. Скорее бы избавиться от этих босяков. Иди, Богословский, объяви. Может, жрать начнут...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В первые дни войны сводки от штаба верховного главнокомандующего и от главного управления генерального штаба ожидались в тылу с нетерпением. Но постепенно интерес к ним упал, так как в них больше всего рассказывалось о мелких столкновениях на отдельных участках. По этим сообщениям нельзя было судить, что же на самом деле происходит на огромном, растянувшемся более чем на тысячу верст фронте.

По сводкам выходило, что русские войска, повсюду геройски сражаясь, одерживают одну победу за другой, а ощутимых результатов этих побед не было.

Тем, кто интересовался положением на фронте, а этим интересовались все от мала до велика, предоставлялась возможность предполагать, что в сводках сообщается заведомая неправда и положение на фронте далеко не блестящее.

Однажды дело дошло до того, что вместо оперативной сводки в печати появилась телеграмма верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича царю: «Не смел бы беспокоить донесением о мелком деле, но решаюсь это сделать, как державному шефу нижегородского полка: семьдесят отборных немецких разведчиков с офицерами были встречены эскадроном нижегородцев. Результат: кроме шести взятых в плен,

все изрублены; нижегородцы — четыре ранены пулями, два — тяжело; холодным оружием — ни царапины.

Генерал-адъютант Николай».

Сводка за четвертое августа известила только об одном: о столкновении на восточнопрусском фронте русской кавалерийской дивизии с тремя батальонами германской пехоты. Судя по сводке, местность не давала возможности вести бой в конном строю. Дивизия повела наступательный бой, спешившись, и заставила противника отступить.

Понимая, что скудные официальные вести и победные реляции о мелких стычках с фронта не могут утолить читателей, жаждущих подробностей, редакции газет начали выдумывать небылицы. Всю русскую печать облетело сообщение из Вильно, где на несколько часов «проездом в действующую армию остановился герой казак Кузьма Крючков». Далее сообщалось, что Крючков почти оправился от шестнадцати ран и снова рвется в бой. Двадцатидвухлетний герой уже здоров, только «слегка болят пальцы левой руки да спина, где у него девять ран глубиной от полутора до двух вершков». На вопрос любопытных, почему он не остался в лазарете, герой ответил: «Зачем? Раны пустяковые».

Это была, так сказать, вершина славы удалого донского казака. До этого описывалось, как он поддевал на пику сразу по семь немцев, один брал в плен неприятельские роты.

В десятых числах августа характер сводок изменился. В них появились прямые намеки на наступление русских войск в Восточной Пруссии и на австрийском фронте — в Галиции.

Население Российской империи, не посвященное в тайны союзной дипломатии, не знало, что наступление в Восточной Пруссии и Галиции было предпринято по беспокойному настоянию союзников — Англии и Франции.

Вторжение русских войск в Восточную Пруссию и Галицию заставило германское командование перебросить с западного на русский фронт три пехотных корпуса и кавалерийскую дивизию.

Это имело огромное значение для англо-французских войск на Марне и под Парижем. Немцам пришлось отказаться от мысли овладеть столицей Франции так же легко, как они овладели Брюсселем.

Пятнадцатого августа сводка была краткой, но многообещающей: «Германия и Австро-Венгрия не в состоянии остановить наступательное движение наших войск в пределах Восточной Пруссии и Галиции. Вторжение в эти районы продолжается на широком фронте».

Восемнадцатого августа появился указ: «Государь император высочайше повелеть соизволил именовать впредь город Санкт-Петербург — Петроградом».

Переименование столицы в самый разгар наступления русских войск имело свой смысл. Оно явилось ответом на начавшееся глухое недовольство «немецким засильем» при царском дворе, в правительстве и в генералитете.

Патриотический подъем еще не спал, но в сводках департамента полиции уже отмечалось, что императрицу кое-где начали называть Алисой, явно намекая на ее немецкое происхождение.

Сообщение о приближении русских войск к крепости Кенигсберг было встречено ликованием. Звонили колокола. В церквах служили молебны, прося у бога милости и дарования новых побед. Повсюду продавались портреты царя. На некоторых снимках он был изображен в одиночестве, на других вместе с десятилетним наследником Алексеем, одетым в военную форму. Для большего поднятия воинского духа цесаревич держал в руках настоящую винтовку. Особенно много появилось портретов верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Сказки о его энергии, уме, твердой воле и военных талантах не пропали даром — его портреты раскупались нарасхват.

Но уже девятнадцатого августа в сводке штаба верховного главнокомандующего зазвучали мрачные ноты: «Вследствие накопившихся подкреплений, стянутых со всего фронта, благодаря широкоразвитой сети железных дорог, превосходные силы германцев обрушили на наши силы около двух корпусов и подвергнули наши войска сильному обстрелу тяжелой артиллерией, от которой мы понесли большие потери. По имеющимся сведениям, войска дрались геройски; генералы Самсонов, Пестич и некоторые чины штабов погибли. Для парирования этого прискорбного события принимаются с полной энергией и настойчивостью все необходимые меры. Верховный главнокомандующий твердо верит, что бог поможет их успешно выполнить».

И в этой сводке было много неправды. Генерал Самсонов не погиб, а покончил жизнь самоубийством. Переброшенные с западного фронта силы помогли немцам остановить русское наступление. Но было еще одно, о чем в сводке, понятно, не сообщалось, но о чем солдаты и даже офицеры на фронте шепотом, оглядываясь, говорили между собой — о полном бездействии командующего первой армией генерала Ренненкампфа, который вовремя не оказал помощи второй армии Самсонова. Говорили и о другом — кто-то помогал немцам перехватывать радиограммы о местоположении и передвижении корпусов армии Самсонова. По фронту и тылу поползли слухи о гибели русских корпусов в районе Мазурских озер, предательстве генералов с немецкими фамилиями, о нехватке снарядов, винтовок и патронов.

Глухо сообщив девятнадцатого августа о неудачах в Восточной Пруссии, штаб верховного главнокомандующего и главное управление генерального штаба словно забыли об этом

фронте, и все внимание в сводках стало уделяться событиям в Галиции, где наступление развивалось успешно.

Двадцать первого августа великий князь Николай прислал царю телеграмму, которую газеты выпустили отдельным, экстренным выпуском: «С восторженной радостью и принося благодарение богу, доношу вашему величеству, что победоносная армия генерала Рузского сегодня, в одиннадцать утра, взяла Львов, а армия Брусилова — город Галич. Ходатайствую о награждении за все предыдущие бои генерала Рузского Георгием 4-й степени, а за взятие Львова — Георгием 3-й степени, генерала Брусилова за все бои — Георгием 4-й степени. Подробностей еще нет».

Подробности были получены на следующий день. Отступление австро-венгерской армии после поражения у Львова обратилось в бегство. Русские войска захватили сотни орудий, много обозов и десятки тысяч пленных. Снова звонили колокола, служили молебны о ниспослании новых побед своим и союзным войскам.

В Петрограде у английского и французского посольств собирались толпы. Английский посол сэр Бьюкенен народу не показался, выслал второго советника. Молодой джентльмен стоял в дверях и старательно изображал на породистом выхоленном лице улыбку. И только когда наиболее отчаянные союзники выскакивали вперед и пытались пожать руку представителю дружественной державы, советник закрывал левой рукой, туго обтянутой лайковой перчаткой, рот и нос — спасал себя от горячего, взволнованного чужого дыхания: в городе была эпидемия инфлюэнцы.

Французский посол Морис Палеолог тоже не вышел, и толпа, собравшаяся у посольства, начала подкидывать выскочившую из подъезда служанку. Когда ее наконец поставили на тротуар, мамзель весьма внятно завизжала по-русски:

— Бесстыжие черти, делать вам нечего! Качали бы вон их.

И показала на окна, из которых, смеясь, выглядывали чины посольства.

Какой-то парень лет двадцати, то ли не искушенный в дипломатических тонкостях или, наоборот, чересчур смекалистый, неучтиво подлил в бочку веселья ложку дегтя.

— Интересно. Уборкой у них занимаются русские девки, а умирают за них русские солдаты.

Два хмельных молодца, исступленно оравших до сего времени «ура», мгновенно протрезвели и, подхватив парня под руки, поволокли во двор выяснять личность.

Вокруг имен генералов Рузского и Брусилова складывались легенды. И все чаще и чаще произносилось:

— Рузский и Брусилов — наши, русские. Они и воюют по-настоящему. Это вам не Ренненкампф. Зачем ему против своих идти...

О Восточной Пруссии сводки молчали. Только в начале сентября кратко сообщили:

«После боев, дорого стоивших неприятелю, наши доблестные войска в Восточной Пруссии в полном составе выведены из трудного положения и заняли исходные позиции для дальнейших операций».

* * *

Двести восьмой пехотный полк, входивший в 27-ю дивизию 3-го армейского корпуса, в мирное время стоял в местечке Олита на берегу Немана, в ста верстах от германской границы.

В середине августа прямо из своих казарм полк выступил на фронт и уже двадцатого августа удачно участвовал в сражении под Гумбиненом. Полк отбил все атаки немцев и захватил у неприятеля несколько орудий.

Затем полк, все время находясь в авангарде дивизии, с боями прошел до окрестностей Кенигсберга. Но, как ни храбры были солдаты и офицеры полка, его действия все же не могли повлиять на общий ход событий не только всего огромного фронта, но даже и того участка, который занимала первая армия генерала Рененкампфа.

После трагической гибели II армии генерала Самсонова I армия, в состав которой входил 3-й корпус, стремительно покатилась из Восточной Пруссии назад, к русской границе.

В середине ноября измотанный в новых осенних боях, понесший большие потери 208-й полк занимал позицию под местечком Вальтеркемен. Фронт полка тянулся на семь километров. В одном месте, около деревни Самелюкен, фронт перекидывался через реку Роминта. Река была довольно широкой, около пяти с половиной сажен, и с быстрым течением.

Штаб полка, резервный батальон с двумя пулеметами расположились в местечке Вальтеркемен. Тут же находился и перевязочный пункт. Полку был придан артиллерийский дивизион из трех батарей по шести орудий в каждом. Батареи стояли за каждым батальоном, и, кроме этого, за полком стояли еще две тяжелые двухсотпудовые гаубицы, снятые из крепости Ковно.

После того как полк дважды успешнее других ходил в наступление и особенно после того, как в начале осени он добрался почти до самого Кенигсберга, за ним прочно укрепилась слава самого боевого полка. Эта слава сначала вышла за пределы дивизии и корпуса, а затем армии и всего восточнопрусского фронта. И, как всегда бывает в таких случаях, большинство солдат и офицеров старалось всеми средствами поддерживать добрую славу своего полка. Даже внешний вид личного состава полка отличался от солдат соседних полков. И у них были такие же шинели и мундиры, такие же ремни, подсумки и головные уборы, но солдат 208-го полка легко можно было отличить по какой-то особенной подтянутости и лихости,

с которой они козыряли начальству. Особенно резко они отличались от полков соседних 73-й и 56-й дивизий, получивших после вторичного отступления издевательское прозвище «Занеманское беговое общество».

В Вальтеркемене и других деревнях и хуторах, где расположился полк, было много хороших домов, и солдаты полкового и батальонных резервов жили с большими удобствами. Поблизости от окопов находились хутора или крепкие каменные сараи, где люди могли отдохнуть и обогреться.

Окопы размещались на холмах, а позади на скатах были устроены убежища-землянки, где солдаты и проводили все свое время, оставляя в окопах только наблюдателей и дежурных.

Продукты полк получал прямо с главной базы первой армии, которая находилась в Вильно; мясо было хорошего качества.

Все это, вместе взятое, — боевая слава, удачное расположение, хорошее снабжение — привело к тому, что настроение в полку было бодрое.

Короче говоря, это был один из самых надежных полков фронта.

В этот благополучный полк в середине ноября прибыло пополнение. Попал сюда и рядовой Яков Савватеев.

* * *

Прежде чем попасть на передовые позиции, Яков вместе с другими новичками около двух недель находился в Гродно. Здесь за день до отправки Яков получил от Груни последнее письмо.

Военная цензура уже действовала, но, видно, из-за нехватки цензоров письма читались на выбор. Письмо Груни попало в число счастливых, избежавших досмотра, и поэтому, несмотря на содержание, дошло до Якова без вымарки.

В первых письмах мужу Груня не скрывала своего отрицательного отношения к «безумному поступку», так она еще в Иваново-Вознесенске называла его запись в добровольцы. «Добро бы по мобилизации, а то ведь сам под пули лезешь, а за кого воюешь?» — много раз повторяла она ему на прощание. И в письмах каждый раз намекала: «Помнишь, мы с тобой в Москву на Пресню с друзьями ездили. Я тебя тогда ни от чего не удерживала, а сейчас не могу никак опомниться, как это ты промашку сделал».

В последнем письме Груня ни о чем таком уже не писала, а только тревожно спрашивала: «Неужели, Яшенька, и ты скоро попадешь на передовую?» Затем шли всякие семейные и городские новости: «Живем мы втроем — я, Наташа и Вера. Вера от родителей ушла, но в Петроград еще не уехала. Наташа дважды ездила в Ярославль. Степан все еще болен, и на-

дежд на выздоровление мало: возобновился старый процесс, вдобавок с каким-то осложнением. Сама Наташа работает в госпитале господ фабрикантов, который находится в бывших артельных Куваевских спальнях. Раненые все прибывают и прибывают. Вчера опять привезли целый эшелон. Странное дело, Яшенька, когда прибывали первые раненые, их встречали с музыкой да с цветами. Ресторанщик Быстров прямо на станции сам раздавал обед: куриный бульон, котлеты и пшеничный хлеб. Я сама видела, как губернатор угощал раненых папиросами, а жены Дербенева и Гарелина — апельсинами. А сейчас, Яшенька, кроме наших женок, никто раненых не встречает, и они подолгу лежат в вокзале на каменном полу. Подарков им не дают и папиросами не угощают. Махорку и ту носят наши женки. А женки ходят встречать санитарные поезда потому, что высматривают, нет ли кого-нибудь своих.

Вчера к нам пригнали первых пленных австрийцев — девять офицеров и сорок солдат. Офицеров поместили на Ямах, в доме Дворникова, а солдат — в бараке на ярмарочном поле. Когда их вели со станции, народу собралось несколько тысяч.

На фабриках у нас какая-то неразбериха. У Грязнова вместо трех смен пустили только две, говорят, не хватает суровья. В Кохме у Ясюнинских половину октября фабрика стояла тоже из-за суровья.

А цены все повышают. Сначала набавили на спички, потом на железнодорожные билеты, на сахар. А на днях набавили на ржаную муку. Теперь даже простая мука, а не сеяная, стоит не рубль двадцать пять, а рубль шестьдесят пять, а пшено вместо двух рублей — два рубля сорок. Многие хозяева набавили за квартиры. Говорят, что нам сбавят расценки, потому что на хлопок ввели военный налог по два рубля с пуда, а фабрикантам это невыгодно, и они эти деньги хотят выколачивать с нас.

Вот как мы тут, Яшенька, живем. А на днях была просто смехота. В женской гимназии разыгрывали лотерею в пользу семей мобилизованных. Главный приз — корова — достался полицейскому Авчинникову, а второй приз — жеребенка — отхватил его помощник Назаретский. Все над ними смеялись, а им, бесстыжим, хоть наплюй в глаза, — погнали призы домой».

В конце письма Груня написала:

«Дурачок ты мой, ненаглядный. Очень я по тебе истосковалась. Береги себя, не суйся, куда не спрашивают. Крепко целую. Твоя верная жена Груня».

* * *

Из-за высокого роста Якова определили правофланговым в 1-ю роту, находившуюся в это время в полковом резерве. За два первых дня Яков не услышал ни одного выстрела. Не столько обрадованный этим, сколько удивленный тишиной, царившей

вокруг, он наивно поделился со своим соседом Иваном Зубыниным, служившим в полку с мирного времени.

— Так лестно воевать! Живем, как в раю.

Зубынин достал из золы печеную картошку, покидал ее из руки в руку, подул и, усмехнувшись, ответил:

— Завтра 4-ю роту сменим. Они сюда, а мы туда.

— В окопы? — спросил Яков.

— А куда же больше? — невозмутимо сказал Зубынин. — Вот там будет настоящий рай. Можно навеки успокоиться. Чего ты на меня смотришь? Испугался?

— Не из пугливых. Очень даже интересно, как там в окопах.

— Не дует, — мрачно пошутил Зубынин и уже серьезно, без тени улыбки добавил: — Сейчас, слава богу, немец не лезет и из пушек не стреляет. А как начнет палить, так за сердце и хватает, ну прямо дышать нечем.

Зубынин оказался прав. Ночью рота, покинув теплые дома Вальтеркемена, ушла в окопы. Эту первую ночь и весь следующий день взвод Якова был резервным и находился в хуторе неподалеку от деревни Сургунхен. И этот день прошел спокойно. Противник молчал, словно вымер.

Яков, лежа на полу, устланном свежей соломой, которую ночью притащили солдаты, продолжал шутливый разговор с Зубыниным:

— Что-то твои предсказания, Иван, плохо сбываются. Тихо.

— Подожди, дурень. Еще оглохнешь, — хмуро произнес Зубынин и перекрестился. — Молись царице небесной, пока жив.

Настал день, когда и Якову стало не до шуток. Погода в этот день выдалась на редкость скверная. Ночью небольшой мороз затянул тоненьким ледком лужи, небо было ясное, звездное. Под утро сырой западный ветер натащил туч, посыпались крупные хлопья снега. К вечеру снег смешался с дождем. И когда взвод с наступлением темноты, добравшись по ходам сообщения, занял окопы, под ногами хлюпала липкая, противная каша. Сразу намокли и отяжелели шинели, даже поворачиваться в них стало трудно.

Взводный унтер-офицер Кузяков, широколицый владимирец, указал Якову место:

— Не спать у меня! Башку оторву!

Рядом стоял молчаливый Зубынин. Дождавшись, когда унтер-офицер отошел, он беззлобно спросил:

— Ну, как, Савватеев, нравится тебе райская жизнь?

— Ничего, — с напускной беспечностью ответил Яков. — Не стреляют, ну и слава богу.

Словно в ответ, за рекой у немцев раздался орудийный выстрел, потом второй, третий. Где-то позади окопов рвались снаряды.

— Чего это он? — спросил Яков у Зубынина.

— Наши батареи ищет. Ничего, постреляет, да и перестанет.

Орудия действительно вскоре замолкли, и немцы открыли ружейный огонь.

— Почему стреляют? — снова обратился Яков к Зубынину.

— Кто его знает. Он все время так: помолчит день-другой, а потом начнет палить.

— А мы почему не отвечаем?

— Об этом ты у начальства спроси.

— Ты давно тут, должен сам знать.

— Наше дело солдатское, подадут команду — в атаку полезем, не подадут — будем спать.

— Хитришь, Зубынин!

— А кто ты такой, почему я с тобой в откровенности пускаться должен?

— Такой же, как ты, рабочий. И кое-что понимаю.

— Ну и понимай на здоровье. Плохо ты, видно, понимаешь, если добровольно сюда сунулся.

— Зубынин! — крикнул отделенный. — Ротный требует.

— Зачем, не знаешь? — спросил Зубынин и, не дождавшись ответа, растаял в серой мгле.

Туман был такой густой, что не видно было в трех шагах. Яков, устав стоять, нащупал деревянный обрубок и присел спиной к брустверу.

Не прошло и минуты, как рядом с ним очутился помощник командира роты подпоручик Юрасов. Яков вскочил.

— Сиди, братец, — равнодушно сказал подпоручик и, нагнувшись, прошел мимо.

Первый офицер, под начало которого Яков попал прямо с призывного участка, был прапорщик Носков, сын торговца, больше всего боявшийся отправки на фронт. Место в запасном батальоне Носков получил благодаря усиленным хлопотам отца и сестры, бывшей замужем за каким-то крупным чиновником в московской судебной палате. Молва о необычайной трусости прапорщика передавалась от одной партии призывников к другой. К счастью для Носкова, его взаимоотношения с мобилизованными были недолгими, он доставлял их в шуйские казармы и возвращался в Иваново-Вознесенск в свой запасной батальон, где он командовал ротой.

Маленький, прыщеватый, с большим печальным носом, он вызвал у Якова гадливое чувство. Савватеев с первых дней службы выработал в себе определенное отношение к офицерам — внимательно слушать все, что они говорят, но не лебезить перед ними, не заискивать и по возможности как можно реже попадаться им на глаза.

Потом первые впечатления об офицерах стали пропадать, особенно после пребывания в шуйских казармах. Поручик Слонов, заведовавший обучением новичков, никогда без дела не по-

вышал голоса, был справедлив, а что особенно понравилось Якову, не запрещал солдатам по вечерам читать книги.

Но все же Яков относился к офицерам с настороженным вниманием, отчетливо понимал, что любой из них, пусть даже самый хороший, все же его высокоблагородие, барин, и не ровня.

Поэтому, хотя подпоручик Юрасов, по отзывам старых солдат, был «человеком, понимающим, на чем хлеб родится», Яков поднялся с обрубка и встал, прислонившись спиной к сырой стене окопа.

— Ты чего встал? Сиди, — снова сказал возвращавшийся подпоручик. — Сиди. В такой туман все равно ничего не видно. Вот на прошлой неделе...

Подпоручик не договорил. Совсем рядом разорвался снаряд. Подпоручик быстро пошел на доносившиеся крики.

Потом все стихло. Через полчаса к Якову подошел солдат его взвода Пономарев, которого он не раз видел беседующим с Зубыниным. Пономарев сел рядом и спросил:

— Ну, как тут?

— Ничего, тихо. А где ж Зубынин?

— Убит. Его наповал зашибло да двух ранило.

— Когда же это?

— Только что. Немец угостил.

Если бы убили кого-нибудь другого, кого он не знал, Яков отнесся бы к этому известию более спокойно. А тут погиб человек, с которым Яков каких-нибудь полчаса назад разговаривал. Он стоял вот здесь, в окопе, прислонившись спиной к стене, и не то с грустью, не то с горечью говорил: «Плохо ты, видно, понимаешь, если добровольно сюда сунулся».

Яков вспомнил его доброе лицо, внимательные глаза, и ему стало страшно от мысли, что он никогда больше не сможет поговорить с Зубыниным, которого если еще не закопали, то скоро зароют в эту сырую, тяжелую, чужую землю.

«Не суйся, куда не спрашивают», — вспомнились строчки Груниного письма. «Не суйся». И Зубынин говорил: «Добровольно сюда сунулся». Что они, сговорились, что ли? А может, я на самом деле напрасно старался? А кто же будет родину защищать? «Первых раненых встречали с музыкой, куриным бульоном кормили, а теперь никто внимания не обращает», — пишет Груня. «Все дорожает, фабрики работают плохо». Вот тебе и родина! Яков скрипнул зубами: «Какой же я дурак!» И он, не удержавшись, крепко выругался.

— Что ты? — спросил из тумана Пономарев.

— Погода, язви ее душу, — спохватился Яков.

— Едучая, — согласился Пономарев. И, помолчав, добавил: — Ты ничего не слышал, Савватеев?

— О чем?

— Про Зубынина. Что при нем нашли?

— Откуда мне слышать. Я с места не сходил.

— Ребята на нем какие-то листки нашли, тоненькие, из папиросной бумаги — все против царя.

— Может, понапрасну треплют?

— Сам видел...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— Ты посмотри, Миша, воздух-то какой! А? Чувствуешь? А снежок?

Какое это было счастье — после восьмилетнего без малого скитания по тюрьмам и этапам под постоянным бдительным надзором стражи идти по слегка запорошенной снегом дороге. Правда, солдаты еще рядом, но скоро и они отстанут, сдадут ссыльнопоселенцев волостному конвою. А с теми мы поладим, сибирские мужики, крестьяне, присяги не принимали. А солдаты тоже рады-радешеньки — все-таки небольшая отсрочка, а то бы катили сейчас в теплушках на фронт.

Ни на руках, ни на ногах нет железа. Все. Сдали звонкое казенное имущество вместе со всеми принадлежностями — подкандальниками, поджильниками и сыромятными ремнями-подвесками. Чудак Дубов отхватил изрядный кусок, с пол-аршина, на память: «Вернусь домой на Кубань, детям покажу, на какой привязи меня держали».

Изумительный день. Погода, словно по заказу. Слегка морозит. Великолепная видимость. За падью Топка поднялись на Верхоленскую гору, и открылся чудесный вид на долину Ангары. Простор.

— А что это виднеется там вдали?

— Горы, Миша.

— До чего же хорошо!

Командир конвоя, молоденький розовощекий прапорщик, почти мальчик, все пытался заговорить. Видно, неловко чувствует себя. Собрался на войну, защищать отечество от внешнего врага, а попал в провожатые к врагам внутренним. Особенно наказывали посматривать вот за этим самым Мишей. Дважды приговаривался к смертной казни, несколько раз пытался бежать. Начальник пересылки перед отправкой отвел в сторону и посоветовал:

— Поглядывайте за Фрунзе. От него все смуты. Захочет он, и все будет в порядке, спокойненько доведете. Не захочет — все за ним потянутся. Мне лучше знать, натерпелся.

Первое время прапорщик не спускал глаз с опасного подопечного. А посмотреть — вид у него добродушнейший. Шапка сдвинута на затылок. Глаза голубые, веселые. Идет за подводой вразвалочку, посмеивается, только изредка наклоняется и рукой до коленки дотрагивается.

— Слушайте, что вы все кланяетесь? — решается для острастки крикнуть прапорщик.

Вежливо ответил:

— У меня коленная чашечка не в порядке.

— А что с ней?

— Ваши коллеги однажды перестарались.

Прапорщик явно сконфужен. «Фу, черт, лучше бы не спрашивать!» Не желая прослыть перед подчиненными размазней, сухо предложил:

— Сядьте на подводу. Разрешаю.

— Благодарю. Я по инструкции имею право садиться на подводу без разрешения.

Прапорщик отвернулся. «Как еж колючий. Ну его к дьяволу. Лучше не разговаривать».

Ссыльные идут, не обращают на офицера внимания. Шутят с солдатами:

— Давай я винтовку понесу, а ты отдохни.

Пожилой конвойный улыбается:

— Подожди, скоро, может, свою получишь. Ребята сказывали, скоро и вас мобилизуют.

— Прекратить разговоры! — кричит прапорщик. И неожиданно для себя обращается к самому опасному: — А вы знаете, кто шел этой же дорогой?

— Дорога утоптанная. Больше ста лет по ней недовольных гоняют.

— Этого человека вы знаете... Чернышевский.

— Вы правду говорите?

— А зачем мне вам лгать? Когда я учился, у нас словесник был из ссыльных. Он нам и рассказывал.

— Спасибо. Большое спасибо. Это очень интересно. — «Самый опасный» остановился на несколько секунд, обвел глазами горизонт.

— И Гончаров возвращался после кругосветного путешествия этой же дорогой, — с гордостью сообщил прапорщик.

— Знаменитая, выходит, дорога, — роняет кто-то позади.

А вот и Хомутовская. Привал. На поверку становись!

* * *

В Усть-Орде расстались с военным конвоем. Прапорщик протянул на прощание руку:

— Счастливо дойти, Михаил Васильевич!

— Всего хорошего, Константин Степанович. У вас впереди путь тоже не близкий, да и не безопасный.

— Ничего не поделаешь, — вздохнул офицер. — Случится быть в Иркутске, заглядывайте к моим. Пестеряевская улица, через дом от оружейного магазина Яковлева.

— Помню...

Еще один хороший человек повстречался и ушел. Жаль. Кто знает, придется ли когда-нибудь встретиться.

Вот и новые провожатые.

— Эй, сотские! Десятские! Все готово? Лошади напоены? Кнуты не забыли? Родион, подними берданку дулом кверху! Чай, не палка.

...На пятые сутки добрались до Манзурки. Село большое, домов триста, а может и больше. Неподалеку лес. Под боком река,— тоже Манзурка, приток Лены, говорят. Место, кажется, неплохое. Ничего, поживем, увидим.

По квартирам ссыльных распределял сам становой пристав четвертого стана Верхоленского уезда, коллежский секретарь Николай Николаевич Витковский. Пока его благородие, закрывшись в канцелярии, таинственно шептался с урядником, ссыльные сидели в передней, отдыхали от долгого пути. У дверей толпились десятские, ждали приказа разводить новеньких по селу.

Фрунзе постучал в дверь.

— В чем дело? —приоткрыл дверь урядник.

— Передайте становому, что мы решили жить вместе.

— Сколько вас?

— Шестеро. Нас в один дом.

— Ладно, подумаю.

А у десятских разговор о своем, деревенском.

— Вчера Шафердинов опять дрова пилить нанимал. По семьдесят пять копеек за сажень давал.

— Пусть сам хребтину потрет. Никто за эту цену не пойдет. Одежи больше истреплешь...

Фрунзе прислушался.

— А кто это такой Шафердинов?

— Лесом промышляет. Богатей наш.

— Много ему рабочих надо?

— Всех берет, только платит дешево. Хоть по рублю бы давал за сажень, а то — семьдесят пять.

— Кто-нибудь идет?

— Идет. Она как за горло-то хватит, за полтинник побежишь.

— Нужда?

— С ней мы дружно живем. Не расстаемся. Посерьезнее есть. Голодуха...

А потом десятские, как обычно, заговорили про войну.

— Слышал про Николая Суханова?

— Слышал. Ранен, говорят.

— Убили. Вся семья второй день воет. Алену водой отливали.

— Гуляевы намедни получили про Алексея Иннокентьича. В госпитале умер. Так и не выкарабкался.

Вышел урядник со списком.

— Лаптев, веди вот этого к Ивановым.

Дошла очередь до шестерки.

— Бирюков! Отведи господина Фрунзе с товарищами к Аграфене Рогалевой. Она рада-радешенька будет.

* * *

— Проходите, мужики, проходите. Что-то больно много вас?

— Шестеро, Аграфена Ивановна.

— У меня места хватит. Раздевайтесь. Может, мужики, в баньку сбегаете? Соседка мылась. Воды горячей много.

— Ну и хозяйка у нас! Золото.

Пока парились, хозяйка сварила картошки, полила ее постным маслом, посолила. Нарезала хлеба. Сели за стол — все чистые, румяные. Хозяйка приподняла с полу тяжелый самовар.

— Одну минутку, Аграфена Ивановна. А ну, я попробую. Ничего себе самоварчик. Рассказывайте, Аграфена Ивановна, как вы тут поживаете? Какие работы есть?

— Работу сыщете. Мужиков сотни полторы на фронт угнали, почти в каждом доме подсоблять надо. Сейчас, конечно, убрались. А весной вас нарасхват.

— До весны протянуть надо.

— А вы к Шафердинову.

— Нельзя. По рублю за сажень он не даст, а по семьдесят пять копеек мы не пойдем. А то он и вашим не прибавит. Почта часто приходит?

— Раньше через день возили, а теперь два раза в неделю. Лошадей, говорят, на фронт взяли.

— Газеты привозят?

— Случается. Мой Василий Григорьевич, царство ему небесное, иногда к агроному слушать ходил.

Посидели, поговорили.

— А не пора ли, товарищи, на боковую?

Фрунзе долго не мог уснуть. Первая ночь без стражи за столько лет. Можно выйти во двор, на улицу, дышать свежим воздухом. Можно пройти по селу и даже выйти за околицу, добраться до леса. А если на самом деле выйти? Михаил накинул тужурку и осторожно, чтобы не потревожить товарищей, выбрался в сени. Ощупью добрался до выхода. Ночь великолепная. Вот это Большая Медведица, а это, стало быть, Полярная звезда. Следовательно, север тут, а запад там. В той стороне настоящая жизнь, большие города — Москва, Питер. И Иваново-Вознесенск там же. И фронт там же.

Край неба неожиданно поалел, потом погас и озарился с новой силой. Громче залаяли собаки. Откуда-то издалека донесся набат. Хозяйка скрипнула дверью:

— Опять, видно, в Полоскове горит. Господи, сохрани и помилуй. А ты чего не спишь?

— Подышать вышел.

— Я слышала, как ты в сенях по двери шарил.
— Запор искал.
— А мы не запираем. Воровать у нас нечего, да и некому. Беглые — те не трогают. Возьмут пропитание с подокошка, и все.
— Много бежит?
— Кто их знает, не считали. А пропитанием пользуются.
— Может, ваши сельские берут?
— Христос с тобой! Ни у кого рука на тихую милостыню не поднимается. Знают, кому это приготовлено. Иди, парень, спать. Охолодаешь.

* * *

Чуть свет явился шафердиновский приказчик.
— Может, поработаете? Попилите дровишек. Платим хорошо — по семьдесят копеек за сажень. Напилить, наколоть, уложить, щепочки собрать.
— За такую цену не пойдем.
— Что так? — удивился приказчик. — Из богатых, видно?
— Это уж наше дело.
— А как согласны будете?
— По рублю, и ни одной копейкой меньше.
Приказчик ушел. Товарищи с удивлением посматривали на Фрунзе:
— Здорово ты торгуешься. Как будто всю жизнь в батраках служил.
— Не к чему кулака баловать. Слышали, Аграфена Ивановна вчера рассказывала, что, если Шафердинов договор с кем-то по поставке дров не выполнит, неустойку заплатит. Сам пилить не пойдет.
Не прошло и часа, как снова появился приказчик:
— Хозяин сказал, так уж и быть, только вам даст по восемьдесят копеек, но чтобы вы мужикам об этом не говорили. А инструмент у вас есть?
— Есть, — крикнула из кухоньки Аграфена Ивановна. — Три пилы и два топора. Колун тоже подходящий десятифунтовый.
Фрунзе, посмеиваясь, предложил свое:
— По рублю за сажень и без тайных соглашений. Хозяин твой не Пуанкаре, а мы не кабинет министров.
— Чего? — не понял приказчик.
— Скажи, не уступают.
В полдень пришел сам Шафердинов. Молча посидел, покрякал.
— По девяносто копеек дам. Больше не могу.
— По рублю!
— Черт с вами, дам. Раздеваете меня.
— Вас разденешь... Вон вы какой, пудов на восемь...

* * *

С шумом, похожим на стон, падают могучие лиственницы.

Сначала дело не спорилось. Выходило не больше сажени на брата. Помогла Аграфена Ивановна, посоветовала взять в старшие деда Кутепова.

— Он по лесному делу всю жизнь.

Дед и впрямь оказался знатоком.

— Ты ее, матушку, вали, куда она наклон держит. А колоть надо умеючи: «Больше щепочек, больше дырочек!»

В первых числах октября шестерка по предложению Гамбурга и Фрунзе обсудила свое экономическое положение.

— Работа в лесу сезонная и постоянного заработка не даст, — справедливо заявил Гамбург. — А самое главное — изнурительный труд выгоден лишь Шафердинову. Надо что-нибудь придумать.

— А что, если нам открыть столярную мастерскую? — предложил Фрунзе. — Меня, спасибо тюрьме-матушке, столярному делу научили неплохо. Николай тоже почти краснодеревщик — табуретки делать умеет.

— Я у Шмита на мебельной пять лет работал,— радостно сообщает зашедший «на огонек» москвич Дубравин.

— Нашего полку прибыло, — увлеченно говорит Фрунзе. — Заказы будут, я уже разведал. Агрономическому полю нужны ульи, штук полтораста. Потом начнем табуретки делать для жителей, столы, полки. Сухой лес есть на том же агрономическом поле.

— Инструмента нет, — огорченно вставил Дубравин. — Какой у меня дома инструмент остался, если жена не продала!

— За инструментом надо в Иркутск. Говорят, на углу Ивановской и Большой есть технический магазин Метелева. В нем любой инструмент. Денег у нас на все, понятно, не хватит. Очень дорого обойдется доставка сюда.

— Примите меня в вашу коммуну, — говорит Дубравин, — вношу пай сорок рублей. Только вчера получил.

— С удовольствием. Будешь за инструктора.

— Попытаемся раздобыть денег в Иркутске.

— Кто поедет?

И вот тут сразу все стихли. До Иркутска сто восемьдесят верст. Мороз стоит под тридцать градусов и что ни день, то все злее и злее. Понятно, одного из семерых можно собрать в дорогу как следует: отдать самые хорошие валенки, пальто, шапку. Но все равно в такой холод в санях не усидишь, замерзнешь. Большую часть пути придется пешком, вдогонку за санями. Все не страшно. Но есть одна закавыка — становой, конечно, разрешения на поездку не даст ни в коем случае, а за самовольную отлучку можно схватить четыре года каторжных работ. Объявят побегом, вот и все, поди потом доказывай, что ездил за инстру-

ментом. Лучше уж молчать об этом инструменте, а то еще припишут «организацию» ссыльных.

— Ну так кто же поедет?

— Я поеду, — соглашается Фрунзе. — Давай, товарищ Дубравин, составим список, что надо купить. Как бы второпях чего не забыть.

* * *

У въезда в Иркутск на заборе большое объявление: «Отель «Централь», угол Большой и Амурской. Удобно. Уютно. Чисто. Цены доступные. Просим не смешивать с «Центральным Деко» и не верить извозчикам, что все номера заняты».

Бог с ними, с отелями. Там наверняка паспорт нужен. Лучше спросить у крестьян:

— Мужики, где ночевать собираетесь?

— Известно где, на монастырском подворье.

— Значит, и я с вами. Справлю свои дела и приду.

— Смотри, парень, не наткнись на кого-нибудь.

— Спасибо, Иван Спиридонович, за совет. Не пропаду.

А все-таки отвык один ходить по улицам. Кажется, все смотрят на тебя. Полно, успокойся, никому нет дела до тебя, все спешат по своим делам. Да и холодно засматриваться на прохожих.

Вот и магазин Метелева. Хорошо, что покупателей два человека. Стекольщик пробует алмаз, да паренек рассматривает пилки для лобзика.

— Скажите, могу я у вас подобрать хороший столярный инструмент?

— А что вам угодно?

— Вот по этому списку и дополнительно фунтов пятнадцать-двадцать клея, шурупов...

— Присядьте. С удовольствием.

Приказчик юркнул за перегородку. Вышел старик, очевидно хозяин. Поздоровался, глянул в список.

— Подберем. А что это за цифры у вас? Два, три...

— Количество. Вот видите: стамесок — четыре, коловоротов — два.

Хозяин оживился. Покупатель солидный.

— Все сделаем в точности. Когда заберете?

— Завтра. И деньги завтра. Задаток не нужен?

— Обойдемся. А если суммой интересуетесь, можем прикинуть.

Хозяин долго хлопал на счетах. Потом назвал сумму, почти вдвое превышавшую наличность Фрунзе.

Торговец сразу догадался, почему покупатель поскучнел:

— Как хорошему покупателю, процентиков пять скину.

— Готовьте. Завтра зайду.

Не успел Михаил выйти, как снова хлопнула дверь, кто-то потянул за рукав. Оглянулся — стекольщик.

— Подожди, мил человек.

— В чем дело?

— Вы, я вижу, из ссыльных будете?

— С чего вы взяли?

— А ты не серчай. Я не со злом. Я вижу — из ссыльных, артель сколачиваешь. Тогда пошто к Метелеву пошел? Он тебе лишку верных рублей сорок насчитал. Иди сейчас по Большой, сверни во второй переулок — почти на самом углу лавка. Там подешевле возьмут.

— Правда? Ну спасибо, дядя. Ах, чертовщина, список я у него оставил, а так я могу ошибиться.

— Поди да возьми. Я тебя подожду.

— Неудобно. Впрочем, деньги не только мои.

Вошел в магазин и, набравшись храбрости, с порога сказал:

— Извините, господин Метелев, я кое-что в список добавлю, за счет скинутых вами процентов.

— Пожалуйста. Куда же вы? Можете здесь.

— Дома удобнее. До завтра.

Стекольщик оказался прав. В небольшой лавке нашлось все то же самое и дешевле на целых пятьдесят четыре рубля.

— Спасибо, дядя! — горячо поблагодарил его Фрунзе.

— Не за что, мил человек. Я вижу — ссыльный. Сам из этаких...

— Упакуйте получше. Я завтра зайду.

Теперь денег почти хватит. Но все же рублей пятнадцать-двадцать надо где-то раздобыть. Есть один адрес, но товарищи предупреждали: не особенно надежен. А все же зайти придется, иначе ни книг, ни чаю с сахаром купить не на что. Придется, как говорит Аграфена Ивановна, пить «с забелкой». И еще. Где бы раздобыть свежих газет? Проще всего на вокзале. Там наверняка в киоске есть. Но лучше туда не показываться. Чем черт не шутит, нарвешься на не в меру догадливого жандарма. А не зайти ли в чайную? Да вот же книжный магазин. Надо зайти, посмотреть — нет ли чего по военному делу? А заодно и газеты спросить.

Тихо звякнул дверной колокольчик. За высокой конторкой стоя читал высокий худой человек.

Как будто знакомое лицо. Но хозяин или приказчик увлечен книгой и не обращает внимания на посетителя. Наконец поднял голову, и Михаил сразу узнал — конечно, это он, Роман Баландин, «талочник», депутат Иваново-Вознесенского Совета. Как же он попал сюда? Сейчас выясню. Смотрит, долговязый, и не узнает.

— Вам что угодно?

Голос сухой, равнодушный. Нет, Роман, с таким отношением к покупателю много не выручишь.

— Молитвенничков бы.
— Не держим.
— Может, псалтырь найдется? Поминаньев? Я бы штук десять взял.
— Я же сказал вам, не держим. То, что вам надо, продается возле собора.
— Не можешь, нехристь, покупателю потрафить.
— Но, вы, поаккуратнее... Господи! Арсений!
— Тс-с! Меня зовут Михаил, Михаил Васильевич Фрунзе.
— Да заходи ты, заходи.
Баландин запер дверь, затащил Михаила за прилавок. Провел по темному коридорчику, потом по винтовой лесенке—вверх, в небольшую чистую комнатку.
— Настенька! Ты посмотри, кто у нас!
— Арсений! Дорогой! Дай я тебя расцелую...

* * *

— Я здесь третий год, Миша. Отсидел свое и остался. Привык к Сибири, да и Настенька не хочет в Иваново.
— Магазин твой?
— Что ты! Откуда у меня такие капиталы. Служу. У хозяина два магазина. В большом он с женой, а в этом я. Один за всех — и продавец и сторож. Тут и живем. Настя в пекарне, рядом работает. Да ты о себе рассказывай, о себе...
Как ни уговаривали Баландины Михаила остаться ночевать— он не остался.
— Односельчане беспокоиться начнут. В полицию с перепугу, не дай бог, заявят.
На прощание Михаил, запинаясь от смущения, попросил:
— Послушай, Роман, ты деньгами не богат?
— Сколько тебе?
— Рублей двадцать.
— Нет, Миша, столько не смогу. Есть у нас с Настей в кубышке пятнадцать рублей. Десять бери, а пять оставь нам на раззавод. Матерям мы помогаем, а у Насти сестренка в Иванове осталась...
— Что ты, Рома! Как будто я не понимаю. Мы тебе их быстро вернем.

* * *

«Где бы еще раздобыть денег?»
Михаил шел, всматриваясь в вывески. «Оружейный магазин Н. В. Яковлева. Все для охотников». Зайти, что ли? Посмотреть. Не стоит без денег заходить. Постой, постой, да ведь это Пестеряевская улица. Совершенно верно. Вот вывеска «Дом Родионова». Стало быть, где-то поблизости живет прапорщик Констан-

тин Степанович. «А зачем я к нему пойду? Почему не зайти? Милый юноша. Была не была, зайду».

Дверь открыла старушка в очках.

— Можно видеть Константина Степановича?

Старушка удивленно посмотрела на гостя.

— Входите. Сейчас скажу. — И ушла, перекрестившись.

В переднюю вышел пожилой грузный человек в распахнутом медицинском халате.

— Вам Костю? — Доктор приложил к глазам платок и сказал сдавленным голосом: — Нет нашего Кости. Убили.

Михаил, не зная, что говорить, взялся за ручку двери.

— Простите...

— А вы откуда Костю знали?

— Случайно познакомились... в дороге... Как это печально... Ведь молодой, совсем молодой...

— Его в первом бою убили. Едва успел до фронта добраться — и вот... Разве можно детей посылать на войну? Ему же не было восемнадцати. Он документы подделал, чтобы поступить в школу прапорщиков. И вот как... получилось. Проходите, пожалуйста. Чаю выпейте.

— Благодарю. Я пойду. Еще раз извините.

Доктор, что-то вспомнив, спросил:

— Вы, случайно, не Михаил Васильевич?

— Да.

— Тогда раздевайтесь. Я вас так не отпущу.

Не понимая, в чем дело, Михаил разделся, прошел за доктором в столовую.

— Няня! Подай нам чего-нибудь.

Пока старушка накрывала на стол, доктор объяснял ей:

— Няня! Это вот тот самый человек, о котором Костенька рассказывал. Помнишь? Мой сын, — уже обращаясь к гостю, продолжал доктор, — с восторгом рассказывал о встрече с вами. Знаете, что он мне сказал, когда, проводив вас, вернулся домой: «Кажется, папа, я совершил большую глупость, не надо было идти в офицеры. Есть другой путь служения родине». Он был очень хороший, честный мальчик. Только немного увлекающийся.

Доктор захмелел с третьей рюмки.

— Я виноват в его смерти! Я! Мать у него умерла, воспитывали я да нянька. Ее дело только накормить-напоить. Я не заметил, как он вырос и принял это безумное решение. Кого он решил защищать? Распутинскую шайку...

— Мне пора, — встал Михаил. — Меня ждут.

— Идите, — махнул рукой доктор. — Всех кто-то ждет. Меня никто.

Нянька почти насильно повязала Михаилу теплый шерстяной шарф.

— Костенькин. Носите на память. — И вздохнула. — А мой-то теперь запил. Надолго. До самого рождества.

* * *

— Ну-с, где же господин Фрунзе?

— Мы же сказали, ушел на охоту. Заблудился, видно.

— Заблудился?

— Ничего особенного в этом нет. Места для нас новые, долго ли след потерять.

Становой пристав встает, поправляет свою сложную кожаную сбрую.

— Передайте господину Фрунзе, что я заходил лично и его не обнаружил. Если он завтра к восьми утра не объявится — я сообщу в Иркутск о побеге.

Фрунзе нет и нет. Скоро двенадцать дней, как он уехал. Одиннадцать дней товарищам удавалось скрывать его отсутствие, а на двенадцатый становой пристав сам пожаловал проверить, как чувствует себя поднадзорный.

Глубокая ночь. До утра осталось несколько часов. Пристав аккуратный — явится ровно в восемь. Теперь от него отвертеться трудно будет. А мороз все крепчает. Сорок градусов, наверное, не меньше.

Дубравин одевается потеплее. Снимает со стены ружье.

— Ты куда? — поинтересовался Гамбург.

— Потом скажу, — уклончиво отвечает Дубравин.

Вот и мутный рассвет. Все квартиранты Аграфены Ивановны проснулись раньше обычного. Принесли дров, сходили за водой. Хозяйка насыпает в самоварную трубу горячих углей.

Гамбург посмотрел на свои чугунные часы:

— Сейчас явится!

И действительно, в сенях начальственный голос, покашливание:

— Ну-с, где же господин Фрунзе? Все еще на охоте? Хозяйка, освободи стол. Надо протокол составить.

За окнами скрипят сани. Простуженный голос покрикивает:

— Встречай гостей, хозяйка. Приехали.

Гамбург испуганно рванулся к двери — предупредить Фрунзе о нежелательном госте. Поздно. Ворвались в распахнутую дверь клубы пара, и в них, словно дед-мороз — вся борода в сосульках, с мохнатыми белыми бровями, — стоит Фрунзе. К поясу привязаны пять беляков, за спиной ружье.

— Принимай, хозяйка, добычу. Больше было, да одного ночью потерял, да еще одного собакам отдал. Батюшки, да у нас гость. Доброго здоровья, ваше благородие!

Пристав собирает со стола бумаги.

— Это вы?

— Конечно, я. Что вы, ваше благородие, не узнали?

— Где же вы были?

— Как где? Как видите, на охоте. Заблудился малость, пришлось ночевать в тайге. Нет, товарищи, дал зарок — больше один на охоту не ходить. Ваше благородие! Куда же вы? Посидите с нами, чаю попьете.

— Тороплюсь...

— Вечерком заглядывайте. Зайчатинки отведать...

Ничего не понимающие товарищи смотрят на смеющегося Фрунзе.

— Откуда у тебя ружье, зайцы?

— Об этом вы Дубравина спросите. Краснодеревщик! Входи. Ушел пристав.

Вошел Дубравин.

— Я видел, как он выполз. Злой, как кабан. Чего вы смеетесь? Встретил Мишу за селом и рассказал ему все.

— А где зайцев добыл?

— У соседа занял. Он вчера девять штук добыл.

— Товарищи, пойдемте инструмент выгружать.

— Привез?

— Все привез. Книг целую кучу. И чаю, и сахару. И газеты, главное, газеты.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Депутат четвертой Государственной думы большевик Федор Самойлов здоровьем вообще не отличался: сказались голодное детство и юность, аресты и тюрьмы. В начале 1914 года подорванное здоровье совсем расстроилось. Кто сообщил об этом Ленину, Федор Никитич не знал, возможно, Бадаев, но, как бы там ни было, Владимир Ильич вызвал Самойлова к себе в Краков. На другой же день по просьбе Ильича известный врач, доцент краковского университета Ландау осмотрел Самойлова и посоветовал ему поехать на лечение в Швейцарию.

Через несколько дней Федор Никитич уезжал в Берн. В кармане у него лежало письмо Ленина к эмигрантам-большевикам с просьбой сделать все возможное «для восстановления здоровья товарища Федора».

Ильич пришел на вокзал и, на прощание крепко пожимая Федору руку, улыбаясь, говорил:

— Я верю, что увижу вас богатырем. Запомните — больше быть на воздухе, как можно больше. И побольше спать...

В Берне Федор Никитич почти еженедельно получал от Ленина письма с просьбой чаще сообщать о ходе лечения. К июлю благодатный воздух Швейцарии, лечение и заботы товарищей сделали свое дело, можно было собираться в Россию, но началась война, и Федор Никитич застрял в Швейцарии.

Неожиданно пришла необычная телеграмма от Ленина —

Ильич просил, если можно, выслать немного денег. Самойлов в тот же день отправил в Краков почти все свое жалованье члена думы, недавно полученное из Петербурга.

Прошло несколько дней — от Ильича ни слова. И вдруг в конце августа неожиданная радость — Ильич, бодрый, веселый, крепко пожимал руку Федору:

— Ну вот, Федор Никитич, мы и встретились.

— Мы все так волновались за вас, Владимир Ильич. Известий никаких, газет австрийских нет. Все думали, что с вами случилось.

— Ничего особенного. Дайте-ка я на вас посмотрю. Молодец! Хорошо выглядите. А я, представьте, был арестован. Как подданный русской державы, воюющей с Австро-Венгрией. Причислили к числу верноподданных Николая Романова. Сначала явились в Поронино с обыском. Обшарили по российскому образцу — подняли все вверх дном, а назавтра пригласили в Новое Тарге и посадили. Продержали одиннадцать дней, пока друзья не втолковали полицейским властям, что эмигранты-большевики дружбы с русским императором не поддерживают. И не только освободили, а разрешили выехать сюда. Кстати, денег ваших я не получил. Извещение о переводе показали, а деньги не выдали. Извините, говорят, не можем. Вы все-таки русский подданный. Прибрали к рукам... Вы знаете, завтра собрание нашей группы? В лесу, за городом. Приходите обязательно.

Через две недели Федор на деньги, добытые Владимиром Ильичем, выехал в Россию. Путь был сложным: через Италию и Балканские государства.

За подкладкой пиджака у Федора лежали написанные Лениным тезисы ЦК РСДРП «Задачи революционной социал-демократии в европейской войне».

Милан, Салоники, София, Бухарест, Галац и, наконец, река Прут — граница. Русский чиновник много раз, словно не веря сам себе, проверил документы, долго копался в багаже.

Прямо с границы, не заезжая в Петроград, Федор Никитич приехал в Иваново-Вознесенск.

* * *

Так уже повелось, что все подружки — Груня, Наташа и Вера — собирались вечером в маленькой кухоньке. И поговорить можно, и посуду помыть, и обед на завтра приготовить. Было у кухоньки еще одно преимущество — окно у нее выходило во двор, стало быть, подальше от взоров любопытных соседей. А любопытных находилось много: как это так, живут три молодые женщины, все хорошенькие, а одна прямо красавица. Не поймешь, кто такие. Живут тихо, словно монашки, никто, кроме фабричных женок, да и то изредка, к ним не ходит. Впрочем, знаем, какие они монашки. Две — солдатка Аграфена Сав-

ватеева да дочка госпожи Орловой — по восемь лет в Сибири оттяпали, да и третья, Наталья Важеватова, тоже хороша птица, то и дело в Ярославскую тюрьму ездит, мужу передачи возит. Это, брат, такой монастырь, не приведи бог! Не мешало бы, понятно, посмотреть, что они по вечерам делают. Может, деньги печатают? А? Поди, сунься во двор! Аграфена Савватеева такого пса завела, прямо на грудь бросается, жаром в лицо так и пышет.

Подкатывались к подружкам и просто любители легких удовольствий. «А почему бы нам и не посидеть вечерок в приятной компании?» Известный на всю Рылиху кавалер и дамский угодник Митька Бархатов от самой фабрики провожал Груню. Всю дорогу рассыпался мелким бесом, льстил так, что, казалось, совсем умаслил солдатку.

— Вы, Аграфена Васильевна, сейчас вроде как на вдовьем положении. Поди, и дров наколоть некому...

— Правда, Митя, некому, — притворно, еле сдерживая смех, вздохнула Груня. — Зашел бы, потрудился, оказал бы помощь семье защитника отечества.

— Я с удовольствием. Хоть сейчас.

Вошли во двор. Митька увидел на двери замок и страшно обрадовался — никого нет дома: с дровами управлюсь, можно посидеть с солдаткой, покалякать о том, о сем.

Старался Митя отчаянно, рубаха взмокла, хоть выжми. Переколол с полсажени. Уложил клеткой, пусть сохнут на ветерке.

— Аграфена свет Васильевна. Принимай работу.

— Ой, Митя, да как ты скоро. Умойся. Я тебе из ковшика воды полью, холодная водичка, свежая.

Подала чистое полотенце.

— Давай, Митя, рассчитаемся. Сколько с меня?

— Нисколечко... Поцелуй, сахарная, покрепче, вот и сквитаемся.

— Что ты сказал? Ах ты, пакостник! Брысь со двора, пока Полкана с цепи не спустила. Говори, сколько денег надо, а про поцелуй забудь. Не на таковскую налетел.

— Черт с тобой, не надо мне твоих денег.

— И на том спасибо. Заходи, Митя, на той неделе, мне еще на зиму полсажени прикупить надо...

— Поищи другого дурака, — хлопнул калиткой Митя.

А тут зашел к Груне среди бела дня гость. И не кто-нибудь, а думский депутат Федор Самойлов, только вчера, говорят, прикатил из-за границы, и прямо сюда.

* * *

— Ты только подумай, Федор Никитич, что муженек мой выкинул?

— Слышал. К сожалению, не один он от этого чада угорел. Ничего, Груня, очнется.

— Убить могут. Тогда поздно будет.

— Расскажи, Груня, как народ живет, чем дышит и о чем думает?

— Плохо, Федор Никитич. Запуганы. Как война началась, столько народу полиция похватала — не сосчитать. Под корень вырубили. Кому отсрочку с фронта дали — язык за зубами держат. Скажет что-нибудь не так — отсрочку снимают и пожалуйте к воинскому начальнику, а там и в маршевую роту. И жены у них помалкивают. Солдатки посмелее, кричат, им терять нечего.

— Что о войне говорят?

— В первые дни все словно с ума посходили, вроде моего Якова, а сейчас по-другому заговорили. Громко, понятно, при компании ничего не услышишь, а с глазу на глаз такое высказывают, не приведи бог царю-батюшке услышать. Да ты видел ли хоть раз его, царя нашего? Какой он?

— Мусорный мужичонка. Если бы ему вместо мундира шубенку рваную да шапчонку — ни дать ни взять сторож из бани Васька Сухов. Леший с ним, не в нем дело.

— Дорожает все, Федор Никитич. На хлеб опять накинули, на керосин, на спички. Пропадают товары. На прошлой неделе пшено пропало, гречка. Масла постного три дня нигде нет. Женки злые ходят. А тут еще на ситцевых суровья недостаток, простои. Невеселая жизнь, товарищ Самойлов.

— Приходи, Груня, завтра вечером к Кадыкову на собрание. Я кое-что буду рассказывать. Я прямо от Владимира Ильича.

— Вот это здорово! Очень бы хотелось послушать, но не смогу.

— Почему? — искренне удивился Самойлов. — Работаешь?

— Нет, свободна. Подвести товарищей боюсь. Меченая я, каторжная. За мной тут неотступно ходят.

Самойлов изучающе посмотрел на свою собеседницу.

— Бумага и карандаш найдутся? Садись, переписывай...

Он положил на стол тоненькие листочки.

— Начинай. А мне, чтобы не скучно было, чаю налей.

Груня, улыбаясь, прочла заголовок.

— Спасибо, Федор Никитич. Я быстро перепишу. А ты пей чай. Угощайся постным сахаром...

— К тебе, Груня, никто не придет?

— Только Вера, подружка моя. Наташа в Ярославле, у Степана.

— Ну, тогда я вздремну полчасика, пока ты пишешь... Приехал неожиданно, жена в деревне у родителей.

— Ложись, Федор Никитич. Отдыхай с дороги.

Через минуту Самойлов крепко спал. Груня накинула на него шаль и принялась за переписку. На улице тихо, только

Полкан гремит цепью. Вот он тявкнул два раза. Стукнула щеколда. Пес залаял сильнее. Чужой кто-то.

«Превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг...»

«До чего же все правильно! Вчера Ольга Кулемина говорила: «Надо бы нашим солдатикам винтовки в другую сторону повернуть!» Обязательно спрошу Федора Никитича, можно ли Ольге это показать. И надо ли распространять. Вот бы моему Яшеньке, в окопы, такие листочки! А если я ему пошлю? Не в письме, конечно, а как-нибудь по-другому. В книжку положить, в кисет с махоркой?»

Груня посмотрела на спящего Самойлова и принялась снимать вторую копию.

— Сколько времени, Груня? — спросил гость.

— Лежи... семи еще нет.

— Да ты с ума сошла! Мне в семь в другом конце быть надо. Что же ты меня не разбудила?

— Жаль было, крепко спал. А я без твоего разрешения второй раз переписываю. Можно?

— А почему же нет? Чем больше, тем лучше. Аккуратности мне тебя не учить, сама понимаешь, что по военному времени за это присудят.

— Двум смертям не бывать, Федор Никитич.

Снова стукнула щеколда. Полкан тявкнул и затих.

— Свои. Наверное, Вера. Спрятать?

— Спрячь пока.

— Познакомься, Вера. Депутат... наш... от рабочих.

— Я уже догадалась. Вы надолго к нам?

— На днях еду в Питер.

— Очень хорошо. И не удивляйтесь, если к вам зайдет один товарищ. Он от товарища Арсения.

Самойлов улыбнулся.

— Ну, если он от Арсения, буду рад.

— Можно ему сообщить ваш адрес?

— Лучше не надо. Пусть разыщет меня в думе.

* * *

Соседа Сергея Ивановича по квартире, большевика Алексея Некрасова, забрали в армию и угнали на фронт. Хозяйка пустила других жильцов, подозрительно любопытного молодого человека с женой и ребенком. Новый сосед в первый же вечер постучался к Сергею Ивановичу и попросил почитать «чего-нибудь такого, какое не все читают». Выждав неделю и сославшись на скорый приезд жены, которая якобы очень не любит детей, Сергей Иванович съехал с квартиры и поселился на Уша-

ковской улице, неподалеку от канцелярии Петергофской полицейской части.

На этой же улице неподалеку от ночлежного дома расположилось организованное вскоре при Путиловском заводе «Попечительство о семьях призванных на войну».

Каждое утро, выйдя из дому, Сергей Иванович видел огромный «хвост», очередь, выстроившуюся у попечительства за получением пособия. Вместе с матерями стояли дети, сидели на ступеньках, а то и прямо на тротуаре старики. Небольшого капитала, пожертвованного администрацией завода, хватило ненадолго. Начали проводить кружечные сборы. Но и этого оказалось мало. Тогда с каждого рабочего начали удерживать два процента с заработка. И этого не хватало. Все чаще и чаще у дверей попечительства вывешивалась картонка: «Сегодня выдача пособия производиться не будет».

В конце сентября Сергей Иванович, возвращаясь с ночного дежурства, услышал у попечительства крики.

Женщины обступили двух мужчин. В одном из них Сергей Иванович сразу узнал депутата думы Бадаева. Второго, высокого шатена с бородкой клинышком, он видел впервые.

— Что же это такое, Александр Егорович?— громко спрашивала Бадаева женщина с ребенком на руках. — Почему над нами издеваются? Стояли почти с ночи. До десяти утра ничего не говорили, а потом нате вам, объявление вывесили. Разве не могли пораньше нас отпустить? Дети не кормлены, на работу опоздали.

— Не о том говоришь, Татьяна,— крикнули из толпы.

— Пусть депутаты узнают, почему в кассе денег нет. Когда мужиков наших угоняли, не то обещали.

Крики усилились. Многие заплакали. Бадаев поднял руку, призывая к спокойствию.

— Товарищи женщины! Сейчас я вам ничего не скажу, потому что не знаю, почему нет денег. Я даю вам слово, что завтра ровно к восьми утра буду здесь и расскажу все, что узнаю...

И улыбнулся, показав из-под усов белые, крепкие зубы.

— А стекол, товарищи, в попечительстве бить все же не стоило. Не к чему давать повод обвинять вас в буйстве. Расходитесь, товарищи. Прошу вас потерпеть до завтра.

Толпа стала таять. Только женщина с ребенком долго не отходила от Бадаева, что-то негромко, но, видно, горячо доказывала ему. Его спутник отошел и прислонился к фонарному столбу. Бадаев сказал ему вдогонку:

— Я сейчас, Никитич. Подожди.

Сергей Иванович догадался, что Никитич — это и есть тот самый Самойлов, о котором ему говорил Фрунзе и писала Вера.

Он подошел к Самойлову и тихо спросил:

— Можно с вами поговорить?

— Отчего же?— улыбнулся Самойлов. — Пожалуйста.

— Я Мельников Павел Иванович... Вам просил передать привет Арсений. А в Иваново-Вознесенске вам обо мне говорила Груня...

— И Вера Александровна,— продолжал Самойлов.— Я очень рад, но извините, что я не подаю вам руку, за нами наблюдают. Если вы сегодня вечером свободны, то приходите в меблированные комнаты «Белград», Невский, 81. А сейчас отойдите. Дойдете до ворот, оглянитесь. Тип в куртке с рыжим воротником — шпик.

* * *

Министр внутренних дел Маклаков был очень доволен своей карьерой. Еще бы — в сорок два года достигнуть такого поста. Ему, самому молодому из министров, доверена охрана государственного порядка в военное время.

Подчиненные замечали, что иногда, даже на весьма важных заседаниях, на лице министра появлялась блаженно-счастливая улыбка. В эти мгновения министр думал: совсем как будто недавно был он Коленька Маклаков, прилежно учился, слушался маменьку, очень побаивался строгого папеньки-профессора и до тоски в сердце завидовал старшему брату Васеньке. Приедут на каникулы в отцовское имение — все для Васеньки. Васенька способный, говорит, как Цицерон,— крупный из него человек выйдет, не то что из Коленьки.

И правда, Васенька быстро пошел в гору. Адвокат. Защитник на громких процессах. Когда Василий Александрович Маклаков в суде должен речь произнести — пускали только по билетам, от несметной толпы вход охраняла полиция. Член Государственной думы трех созывов. Фигура!

А Коленька тихо в министерстве финансов лямку тянул, но знал, кому визит сделать, чью супругу на вальс пригласить. В тридцать восемь лет стал черниговским губернатором. Четыре года хозяйничал в губернии. Навел отменную тишину и порядок. А теперь он — ваше высокопревосходительство, и все говорят с ним почтительно. Чем черт не шутит, вдруг сделают премьером. Правда, премьерства добивались многие министры внутренних дел — Дурново, Макаров. Не у всех выходило. У Столыпина вышло. Пять лет был премьером, и если бы не убили его в киевском театре, пожалуй, до сих пор был бы первым после государя лицом в империи. Чем черт не шутит, может, и ему самим господом от рождения приуготовлено управлять Россией. Именно управлять. Царствовать — дело нехитрое. Это может и Николай Александрович Романов, а управлять надо уметь. Ох, как надо! Нужна железная, твердая рука.

На чем укрепился покойный Столыпин? А все на том же — на борьбе с крамолой. Кто эту гидру недооценивал, вылетел с министерского кресла, как пробка из бутылки с шампанским. Значит, надо не проморгать. Найти повод для поднятия престижа.

Найти из ряда вон выходящую крамолу. Найти, скрутить и изничтожить. А что, если взяться за социал-демократическую фракцию Государственной думы? Конечно, не за всех, а за большевиков. Неплохо бы укротить господ Бадаева, Петровского, Самойлова и иже с ними. Хорошо бы! Но как? Депутатская неприкосновенность? Чепуха. Докажем, что вышеозначенные господа, помимо депутатской деятельности, занимаются еще и нелегальной. А это уже статья 102-я. Если применить часть вторую, можно господам депутатам дать по восемь лет каторги.

Все возможно, но как доказать виновность? Нужны свидетели, факты, вещественные доказательства. Поневоле вспомнишь Малиновского. Золотой был человек. Мог любую компрометантную бумажку раздобыть, шифр, адреса. А все Джунковский! Ему, видите ли, неприятно видеть в думе провокатора. А каково министру его величества смотреть на господина Бадаева? Хорошо, что дума давно не собирается, поэтому хоть противных речей не слышишь. А прижать их все-таки надо. Во всех смыслах полезно.

* * *

Всеподданнейший еженедельный доклад министра внутренних дел подходил к концу. Николай молча курил, держа папиросу в левой руке, а правой по обыкновению рисовал зверюшек.

— Еще одно дело, государь,— почтительно доложил Маклаков. — Считаю необходимым в корне пресечь деятельность социал-демократической фракции Государственной думы. Тлетворно действуют на население, однако ведут себя крайне скрытно. Арест и лишение депутатских званий мыслимы только при доказательстве нелегальной деятельности.

Николай положил папиросу, посмотрел на синий дымок, спирально поднимающийся вверх, и задумался. «Социал-демократы? Это о них говорил на днях старец Григорий: «Дурную траву с поля вон! Вся смута от них, окаянных». А что скажет господин Родзянко? Он совсем странно ведет себя, дает непрошеные советы, посылает докладные записки. Просил аудиенции, был принят и весь разговор свел к Распутину».

— А как отнесется к этому председатель думы?

— Я думаю, положительно, ваше величество. Они ему самому надоели.

— Тогда постарайтесь доказать их нелегальную деятельность. Я не возражаю... В конце концов есть пределы... Надо обуздать.

— Будет исполнено, государь.

Как только вышел министр, к Николаю вошла Александра. Даже не присев, она положила перед ним телеграфный бланк.

Николай прочитал и виновато заморгал глазами:

— Я ничего не понимаю, душа моя. Что это значит? «Приезжай точка повешу точка».

— Это ответ Длинноногого нашему другу. Григорий Ефимович послал верховному телеграмму. Я сама ее читала: «Хочу приехать в ставку». И получил такой ответ. Возмутительно, Ники. Как он может так поступать с нашим другом!

— Не надо волноваться, Алис... Я поговорю с Николаем.

— Ты не должен позволять обижать нашего друга. Он так любит тебя и нашего мальчика. Я много раз убеждалась, что, когда мы поступаем по его советам, все идет хорошо. Ты не должен поступать против его желаний.

Кровь бросилась ей в лицо, прижимая руки к груди, она заговорила со слезами в голосе:

— Он сказал мне, что Николай хочет погубить нас. Все хорошее, что происходит на фронте, приписывается ему, все плохое — нам.

Николай растерянно смотрел на супругу.

— Душа моя, это серьезно?

* * *

— Кто это такой Шурканов? — спросил Маклаков, переворачивая листы агентурного дела, поданного помощником начальника департамента полиции.

— Бывший член третьей Государственной думы. Близок к Бадаеву.

— Надежен?

— Вполне.

— Это его сообщения? Вернувшись из-за границы, Самойлов ездил в Иваново-Вознесенск, устроил нелегальное собрание, на котором сообщал, что думает Ленин о войне. Петровский, Шагов, Муранов выезжали на родину с теми же целями... Очень интересно!

— Самое интересное впереди, ваше высокопревосходительство. 30 сентября в Финляндии, в деревне Нейвола, около станции Мустамяки состоялась нелегальная конференция большевиков, где присутствовали Бадаев, Петровский, Муранов и Самойлов.

— Там и надо было их накрыть!

— Не следует торопиться, ваше высокопревосходительство. Намечена новая конференция, более широкая. На нее съедутся видные социал-демократы из многих мест.

— Меня больше всего интересуют депутаты.

— Они все будут там, ваше высокопревосходительство.

— Когда, где? Я хочу знать.

— Намечено на второе ноября. А где, скажет Шурканов.

— Он точно узнает?

— Точнее быть не может. Бадаев ему поручил найти место и подходящее помещение.

— Превосходно! Ну и как он — нашел?

— Ищет, ваше высокопревосходительство.

— А здорово попался этот господин Бадаев! Так сказать, сам лезет в капкан.

— Совершенно верно, ваше высокопревосходительство.

— Кто завербовал Шурканова?

— Лично я, ваше...

— Похвально! Напишите рапорт. Лично мне. Отметим ваше служебное рвение.

* * *

В передней меблированных комнат «Белград» возле конторки портье стоял молодой человек интеллигентного вида с газетой в руках.

— Вам кого? — спросил портье у Сергея Ивановича и, узнав, что ему нужен господин Самойлов, поспешно объяснил: — Второй этаж, третья дверь направо.

Сергей Иванович, поднявшись на площадку второго этажа, оглянулся: на него, вытянув шею, смотрел снизу молодой человек с газетой в руках. «А ты, видно, из этих, из любопытных»,— подумал Сергей Иванович и повернул обратно.

— Извините за беспокойство, — спросил он у портье, всматриваясь в лицо молодого человека,— может быть, господин Самойлов отдыхает?

— Он недавно пришел, только сейчас чай ему подали.

— Ну, тогда я подожду, пока он попьет. Нам не велено беспокоить заказчиков. Господин Самойлов у нас костюм заказывали, тройку, а мастер мерку записал и потерял,—плел Сергей Иванович, не спуская глаз с молодого человека.

— А вы поднимитесь, — сочувственно посоветовал портье, — а то к нему кто-нибудь придет.

Сергей Иванович, поблагодарив, поднялся на площадку и снова оглянулся — молодой человек стоял, прикрыв лицо газетой.

— Раздевайтесь,— приветливо пригласил Самойлов.— Давайте со мной чаевничать. У нас в Иванове обожают это занятие.

— К сожалению, мне придется уйти,— сказал Сергей Иванович и рассказал о молодом человеке с газетой.— Шпик, ясно если не с первого, то со второго взгляда.

Самойлов рассмеялся.

— Надоели они мне до чертиков. Один все под художника рядится. Плед, шляпа, кудри до плеч. Приходится из-за них всю мою канцелярию при себе носить. Позавчера пошел я по делу. Вышел на улицу и вспомнил, что бумажник с деньгами на столе забыл. Поднимаюсь в номер, смотрю — у двери горничная стоит. Увидела меня и в номер. Вхожу, а какой-то подлец мою постель перетряхивает. Горничная, видно, ловкая бе-

стия, что-то про починку матраца залопотала. Не дают, чертовы дети, спокойно жить. Так вы, значит, портной? Давайте я пиджак сниму, а вы около меня стойте. Сейчас постучат, счет принесут или еще что-нибудь. Проверят, правду ли вы сказали. Слышите, стучат.

Самойлов сбросил пиджак.

— Кто там, войдите?

Вошел коридорный с подносом.

— Звонили? Я стаканчик принес. Не желаете ли крендельков?

— Нет, не звонил. Ошибка.— И уже строго к Сергею Ивановичу: — Передайте вашему хозяину, что я отказываюсь от заказа.

— Мое дело снять мерку. Позвольте-с!

Коридорный вышел.

— Опять снять мерку!— бушевал Самойлов.— А потом опять потеряете. Черт с ним, снимайте!— И уже тихо:— Ушел, подлец! Я очень рад нашей встрече. О вас мне Груня и Вера Александровна все рассказали. Когда вы последний раз видели Фрунзе? Как он выглядит? О его здоровье очень беспокоился Владимир Ильич. До него дошел слух, что он тяжело болен.

Сергей Иванович рассказал о встрече в тюрьме.

— Вот видите,— улыбнулся Самойлов,— нам о многом надо бы поговорить. Но вы правы — сейчас вам лучше уйти. Как вас найти?

Сергей Иванович сказал адрес.

— А пока самое важное: чем богат, тем и рад. Держите.

— Что это?

— Последняя работа Ильича. Снимайте копии, распространяйте любым путем. Вы с Бадаевым знакомы?

— Немного.

— Я ему все расскажу о вас. Он тоже обрадуется. Сейчас нужны верные люди. Давайте увидимся завтра — в семь вечера в книжном магазине Вольфа. Жаль мне вас отпускать, да ничего не поделаешь. Такая уж у нас служба...

Молодой человек с газетой все еще стоял у конторки. Портье, увидев Сергея Ивановича, изобразил на опухшем лице приятную улыбку.

— Ну как, сняли мерку?

— Насилу уговорил. Он было меня в шею.

— Депутат. Без пяти минут министр,— усмехнулся портье.

— Наше дело маленькое, хозяин приказал, надо сделать. Будьте здоровы!

* * *

Выйдя из «Белграда», Сергей Иванович оглянулся. Из соседнего подъезда вышел человек в широкополой шляпе, из-под которой виднелись длинные волосы. «Художник»,— вспомнил

Сергей Иванович рассказ Самойлова.— Ну, посмотрим, маэстро, кто кого одурачит!» Сергей Иванович прибавил шагу, «художник» быстро шел за ним, делая широкие шаги. «Эк тебя натренировали»,— усмехнулся Сергей Иванович и, увидев вывеску «Мужской портной», деловито свернул в подъезд. В подъезде висело объявление: «Портной — 3-й этаж». Сергей Иванович поднялся на совершенно темный второй этаж и прислушался. По лестнице поднимались. Сергей Иванович поднялся выше, позвонил и быстро бесшумно поднялся на четвертый. На третьем этаже открылась и тотчас же хлопнула дверь. Выждав несколько секунд, Сергей Иванович спустился на третий этаж и быстро зажег спичку. На мгновение осветилось лицо с длинным, словно восковым, носом, пряди волос, плед.

— Ну что ты, сволочь, за мной ходишь? — злым шепотом спросил Сергей Иванович и изо всей силы ударил шпика в подбородок.

Не ожидавший нападения филер молча сопел.

— Убью, как собаку,— шипел Сергей Иванович, стукая филера затылком об стену. Потом он пнул его ногой в живот, кубарем скатился по лестнице и вскочил в проходивший мимо трамвай.

* * *

Федор Никитич вскоре после ухода Сергея Ивановича собрался к Бадаеву. В передней, поправляя перед зеркалом шарф, он ласково, как хорошего знакомого, пригласил молодого человека с газетой:

— Ну, я готов. Пойдемте.

Шпик растерянно спросил:

— Это вы мне сказали?

— Кому же. Конечно, вам.

— Извините, но вы ошиблись.

— Возможно,— усмехнулся Самойлов.— Значит, остаетесь? Ну, в добрый час. Ваш коллега меня за дверью ждет?

— Не понимаю, о чем вы? — пробормотал шпик. — Вы меня за кого-то другого принимаете.

— Адью!— шутливо поклонился Федор Никитич.— До скорой встречи. Прикажете коллеге привет передать?

«Художника» на улице не оказалось. «Кто-то другой дежурит»,— подумал Самойлов и, оглядываясь, медленно пошел на трамвайную остановку. Прошел один вагон, второй, третий — Федор Никитич не садился, наблюдал, кто еще из пассажиров выжидает, вроде него.

У столба курил невысокий человек в студенческой фуражке. Прошел еще поезд, «студент» остался, закурив новую папиросу.

«Сейчас я с тобой поговорю»,— весело подумал Федор Никитич и шагнул к «студенту».

— Вы не скажете, который час?

— К сожалению, без часов,— отвернулся «студент».— Но предполагаю — около трех.

Подошел вагон. Самойлов вскочил на переднюю площадку прицепа. «Студент» рванулся к задней.

Проехав немного, Федор Никитич соскочил на ходу и чуть не сшиб толстого городового.

— Что же это вы, господин, на ходу прыгаете? В участок захотели?— назидательно проговорил городовой.

Федор Никитич показал ему билет члена Государственной думы.

— Виноват!— отдал ему честь городовой.

А «студент» уже поодаль чиркал спичкой.

— Не в ту сторону поехали?— вежливо осведомился Самойлов.— Я вот тоже перепутал, глядя на вас.

Тем временем подошел трамвай. Федор Никитич спокойно поднялся на площадку, даже не оглядываясь, он знал — «студент» висит на подножке.

Раздеваясь у Бадаева, Федор Никитич, смеясь, рассказывал:

— Ну, Егорыч, дорого мы с тобой охранке обходимся. Я с собой хвост привел, да и твои где-нибудь болтаются.

— И Шурканов тоже рассказывал, еле отбился.

— Он здесь?

— Здесь. Нашел помещение для конференции. Хорошее место. В Озерках, на Выборгском шоссе, дом 28-а. У Гавриловых. Люди вполне надежные.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

— Но он же мерзавец, Андрей Семенович! Мерзавец, каких свет не видывал. Знаете, что о нем рассказывают? Когда казнили Тарельникова и Сафронова, палач оказался пьяным, и начальник тюрьмы его прогнал. Тогда этот мерзавец добровольно взялся за обязанности палача. И перестарался, подлец. Он так тянул Сафронова за ноги, что оборвал веревку, и тот полумертвый упал на помост. И эта сволочь, нет, вы слушайте, Андрей Семенович, эта гадина задушила Сафронова. Я должен его убить. Отдайте молоток. Как он войдет в камеру, я разобью ему голову...

— И тебя повесят, Степан Ильич. Повесит какой-нибудь другой Королев.

Степан Важеватов сел на койку соседа и с тоской заговорил:

— Пусть повесят. Все лучше, чем гнить тут. Один конец. Андрей Семенович, дорогой, отдайте молоток.

— Успокойся, Степан Ильич. Молоток я тебе не отдам.

— Отдайте!— кинулся на него Степан.

— Ты с ума сошел,— вскочил с койки сосед. Маленький, худой, он рядом со Степаном казался еще меньше.— Если ты не перестанешь, я вызову надзирателя. На, выпей воды. Чего ты, дурень, взбесился? Давай поговорим. Ты радоваться должен — на работу ходишь. Чем сегодня занимались?

— Походные кухни начали делать.

— Видишь, как интересно. Сколько вас там работает?

— В слесарной человек двадцать да в столярной около сорока.

— Где молоток взял?

— В столярной.

— Видел кто-нибудь?

— По-моему, нет.

— Завтра обратно отнесешь. А сейчас спи.

— Я все равно не усну.

— Тогда давай заниматься.

— А вы спать не хотите?

— Не хочу. Ложись.

Степан послушно лег.

— Сегодня я расскажу тебе о Щедрине. Ты читал что-нибудь из его произведений?

— Не привелось.

— Тогда слушай сказку про карася-идеалиста.

Удивительный был это человек — Андрей Семенович Носов. Маленький, худенький, в чем только душа держится. Просидел в одиночной камере «Коровников» пять лет. Впереди — еще пятнадцать. Другой с его здоровьем давно бы приуныл и опустился. А он всегда ровный, спокойный. Утром гимнастику делает и Степана приучил к этому. Но самое поразительное у него — память. Помнит сотни книг. А сколько знает стихов! Некрасова почти наизусть. На днях читал Степану поэму «Саша» и про железную дорогу.

Прямо дороженька, насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты,
А по краям-то все косточки русские,
Сколько их, Ванечка! Знаешь ли ты?..

Четыре месяца Степан сидит с ним в одной камере и узнал столько, сколько не успел за многие годы. Пока не гоняли Степана на работу, Андрей Семенович занимался с ним целый день. А сейчас только по вечерам. Уроки распределил, словно в школе: один день история, другой — литература, география. Так увлекательно рассказывает про разные страны, как будто сам всюду побывал. Да он и побродил по белу свету немало. Жил во Франции, в Германии и долго в Женеве. Встречался там с Лениным. Как-то после рассказа Андрея Семеновича о Крымской войне Степан огорчился.

— Много книг на свете. Разве все прочитаешь! Жизнь и так коротка, а тут и ее портят.

Андрей Семенович шутливо утешил:

— Ты еще многое узнаешь. Большевик должен много знать.— И впервые за все время совместной жизни с горечью пожаловался:— Меня вот здоровье подвело.— И сразу переменил тему разговора. — Хочешь послушать Фета?

— Кого? — переспросил Степан.

— Стихи Фета,— поправился Андрей Семенович.— Человек он был неважный, махровый реакционер, а стихи писал отличные, главным образом природу описывал...

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало...

* * *

Вскоре после начала войны Степана заставили работать. Андрей Семенович не скрывал своей зависти.

— Хорошо! Людей увидишь. А меня на прогулку и то одного выводят. Ну, ничего, ты будешь мне новости сообщать.

Но новостей было мало. Где-то за стенами тюрьмы выходили газеты, журналы, книги. Мир жил войной. Не только каждый день, каждый час приносил какие-то известия. А в «Коровники» не проникало ни слова.

Иногда надзиратель Головин тайком приносил листок «Вечерних телеграмм», из которых ничего нельзя было понять. О войне напоминали военные заказы, которых тюрьма получала все больше и больше. В двух ткацких каторжных фабриках вместо арестантского вырабатывали теперь солдатское сукно. В портновской шили шинели, а в сапожной — солдатские сапоги. Напоминало о войне и ухудшившееся питание. Официально никто норм довольствия не убавлял, но из рациона исчезло мясо, которого полагалось в день по сорок золотников. Перестали давать пшенную и гречневую каши, вместо них появились чечевица и овсянка. Чаще всего в обед стали кормить супом из полбы и темной, видно прихваченной первыми морозами, сладкой картошкой.

Рабочий день увеличили на два часа.

Андрей Семенович как-то отказался от плохо пропеченного, тяжелого, как глина, хлеба. Через несколько минут в камеру вошли в сопровождении трех надзирателей помощник начальника тюрьмы Савельев и тюремный врач Сущев, которого заключенные за его жестокость звали не иначе как «сучий сын».

— Ты что, дерьмо, от хлеба отказался?— с порога заорал Савельев.

— Я болен, и этот хлеб мне вреден.

— Французских булок захотел! Да тебя, дохлятину, давно бы удавить надо. Только продукты на тебя, дьявола, переводим. Доктор, посмотрите.

Сущев брезгливо скомандовал:
— Встань к свету.
Он дотронулся пальцем до лба Андрея Семеновича:
— Открой рот! Живо! Здоров, как боров. Капризничает.— И вытер руки платком.
— Капризничает!— зловеще протянул Савельев.— Сейчас мы ему покажем капризы. Ну, будешь хлеб жрать?
— Не буду.
— Шипов! Харузин! Взять. В карцер.
Степан, вернувшись с работы и не обнаружив своего наставника, забарабанил в дверь.
— Ты что, свинячья морда, шумишь?— окрикнул надзиратель.
— Где Носов? Куда вы его перевели?
— В карцере твой Носов.
— За что его?
— Жрать хлеб отказался. Сырой, говорит.
— И я не буду.
— Что?!
— Не буду я ваш хлеб есть. Не буду.
— Шипов! Крикни его благородие.
Вскоре избитый до крови Степан сидел в карцере на полу, рядом с Андреем Семеновичем.
— Напрасно ты, Степан, погорячился. Я бы дней через пять явился. А теперь тебе работать не дадут.
— Леший с ними, Андрей Семенович. На мне, как на собаке, все заживет, а вот вас они, видно, здорово отделали.
— Ничего, товарищ Степан, отлежусь.
Ночью Андрею Семеновичу стало плохо. В груди у него клокотало и хрипело. Сильный кашель душил его.
— Боюсь, что опять воспаление легких схватил. Седьмой раз. Очень пол холодный.
Степан снял куртку, подложил ее под спину Носову, сел, прислонившись к сырой стене, и положил голову друга к себе на колени. Андрей Семенович на короткий срок затих, потом начал стонать и бредить. Он весь пылал. Степан осторожно опустил его голову на пол и начал стучать в железную дверь. Он стучал долго, около часа, с тревогой прислушиваясь к тяжелому дыханию больного. Наконец, очевидно уже на рассвете, сонный голос спросил за дверью:
— Чего тебе?
Степан как можно вежливее попросил:
— Откройте, пожалуйста, человеку здесь очень плохо. Совсем худо.
Надзиратель постоял, погремел ключами и ушел. Степан сел на пол и снова положил голову Носова к себе на колени.
— Андрей Семенович! Голубчик, вы меня слышите?
Носов молчал.

Открылась дверь. Надзиратели, освещая карцер фонарем, наклонились над Носовым.

— Что он? Без памяти?

— Почти все время.

— Давай, Харузин, берись. Ты за ноги, я за руки. Да он легкий, дотащим. А ты куда, Важеватов? Тебя выпускать не велено.

* * *

О наступлении нового дня Степан догадывался по визгу железной двери — она открывалась тяжело. Надзиратель кидал кусок хлеба и ставил кружку с кипятком — значит, пришло утро.

Первые два дня Степан бушевал, расколотил об дверь кулаки. Потом до хрипоты пел и больше всего свою любимую: «Меж высоких хлебов затерялося небогатое наше село». Затем его охватила апатия. Он молча, не двигаясь, лежал на соломе, которую ему бросили, после того как унесли Носова.

На пятые или шестые сутки он уже сбился со счета, ему стало казаться, что это не он, Степан Важеватов, мучится в этой страшной камере, а кто-то другой, а он лишь наблюдает за этим человеком. В тот же день он поймал себя на том, что вслух разговаривает с Дашенькой. Будто сидит он на крылечке, а дочка маленькой лопаткой, которую он сам ей сделал, насыпает в старое блюдо песку. Он явственно увидел и это блюдо — голубое, с белыми мраморными прожилками, а сбоку — темное ржавое пятно. Степан вспомнил и про пятно. Это он сам однажды в сердцах стукнул блюдом по столу и отколол кусочек эмали. «Дашенька!— сказал он.— Дай я тебе чулочек поправлю.— И потянулся к дочери. Рука наткнулась на влажную стену, и Степан вскочил.— Да ведь я так с ума сойду! Надо что-то делать». А делать было нечего — можно было только колотиться головой о стену. «А они рады будут,— подумал он о своих мучителях.— Нет, не дождутся они от меня глупостей».

Он сел на солому, и к нему неожиданно пришла спасительная мысль. Лихорадочно, словно боясь, что ему помешают, он схватил пучок соломы и, выбрав три самые длинные соломинки, начал плести из них жгутик — когда-то из таких жгутиков учительница в Алексине научила его делать корзиночки для ягод.

На девятый день пришли помощник начальника тюрьмы Савельев и доктор. На все их окрики Важеватов молчал и даже не поднялся с пола. Савельев осветил фонарем угол, увидел девять кусков хлеба — все дневные порции — и пришел в бешенство.

— Будешь жрать, сволочь? Отвечай! Или я тебя тут самого червякам скормлю.

Но драться не стал, видно, боялся получить сдачу.

Через день Степана перевели в камеру. На столе он увидел миску с гречневой кашей и большой кусок пшеничного хлеба. Надзиратель Головин грубо крикнул:

— Давай жри!

И, пододвинув прикрытую хлебом кружку, тихо добавил:

— Ешь, Важеватов. Молока выпей. Чудак ты, братец. Зачем себя изводить? Все равно им, дьяволам, ничего не докажешь.

В тот же день Степану выдали бушлат, сапоги, шапку и повели на прогулку. В середине круга, по которому ходили заключенные, лежали на козлах матрац и одеяло с подушкой. Все в тюрьме знали — постель проветривали только после умерших.

Степан спросил бредущего впереди заключенного:

— Не знаете, кто умер?

— Носов, из 109-й, — ответил тот и удивленно обернулся, услышав приглушенный крик высокого, худого арестанта с огромной бородой.

* * *

В камере Степана ждал новый сосед.

— Ну, давайте знакомиться,— протянул он Степану руку.— Архипов, из Рыбинска. А вы Важеватов? Слышал о вас, слышал. Идите сюда.

Он передал ему бумажку. Степан развернул и прочел: «Дорогой товарищ Важеватов! Большое тебе спасибо за все. Мои дела идут на поправку. Носов».

Степан заплакал. Новенький подсел к нему.

— Ничего, Важеватов. У них, окаянных, сегодня тоже траур. Вчера вечером убили помощника начальника тюрьмы Савельева и надзирателя Королева. Доктор, сучий сын, уцелел. Панцирь, собака, носит...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Министр внутренних дел Маклаков был доволен до чрезвычайности: вся большевистская фракция Государственной думы в западне. Не сегодня, так завтра щелкнет крышка, и господа Бадаев, Самойлов, Петровский и все прочие очутятся в клетке.

Маклаков лично давал указания помощнику начальника департамента полиции.

— Сколько дней они собираются заседать?

— Шурканов докладывал — не меньше трех.

— Не подведет?

— Достоин доверия, ваше высокопревосходительство. Извещен о наградных и о взыскании на случай провала.

— Это хорошо. В первый день не брать. Пусть разговорятся, документиков побольше сочинят: решений всяких, воззваний. Вот тут-то мы их и накроем. Но глаз с дома не спускать. Поручить самым опытным агентам — одному-двум — не больше.

— Будет исполнено, ваше высокопревосходительство. Мы уже предусмотрели. Агентам наружного наблюдения дано указание провожать поднадзорных не далее Ланского шоссе и Английского проспекта с таким расчетом, чтобы поднадзорные предполагали, что они сбили агентов со следа. Тогда они будут в большей уверенности, что их квартира не открыта.

— Правильно. Но одного-двух для контроля надо проводить подальше.

— Только не депутатов, особенно Петровского и Самойлова. Эти любого агента собьют. Мы прицепим к новичкам. Гости у них не такие, наверно, опытные, да и город хуже знают.

— Полагаюсь на вас. Действуйте.

— Рад стараться, ваше высокопревосходительство. А как господин Родзянко?

— Поставим в известность. Успеем.

* * *

Пятого ноября совещание заканчивалось. Делегаты, опасаясь привлечь внимание полиции, двое суток не выходили из дому.

Бадаев, довольный, что все прошло гладко, посмотрел на часы.

— Шестой час. А не пора ли нам, товарищи, выпить чаю? Я что-то проголодался. Посидим потом еще часика два и разойдемся.

Хозяйка дома Ульяна Егоровна подала самовар. Муранов налил чай из стакана в блюдце и достал из кармана записную книжку.

— Не люблю горячий. Пусть постынет.

И начал что-то записывать в книжку. Бадаев шутливо спросил:

— Куда ты свою книжку на ночь прячешь?

— А что?

— Уж очень ты ее бережешь. Вот я и хочу ее ночью похитить.

Муранов также шутливо погрозил пальцем:

— Только попробуй. У меня в ней все мое хозяйство.

— Ну, товарищи, давайте продолжать. Слово имеет товарищ...

В дверь сильно постучали. Шагов, прохаживавшийся по комнате, посмотрел в окно.

— Полиция!

Упала сорванная с петель дверь. В комнату ворвалась толпа городовых и стражников. Между жандармским ротмистром

и становым приставом ехидно улыбался маленький человечек в штатском. Ротмистр крикнул:

— Руки вверх! Я должен произвести обыск и арест.

— Вы ошиблись, — сухо ответил Бадаев. — Здесь присутствуют члены Государственной думы, а на основании статей 15 и 16 положения о думе никто не имеет права нас обыскивать и тем более арестовывать. За свои незаконные действия вы ответите. Тем более, что мы здесь просто в гостях. Собрались отметить годовщину свадьбы хозяйки.

Ротмистр заглянул в какую-то бумажку.

— А кто из вас ее супруг?

— Его пока нет. Он на службе. Должен скоро вернуться.

Ротмистр опять посмотрел в бумажку:

— Здесь не все члены думы. Есть и простые смертные.

Самойлов усмехнулся и, обращаясь не к ротмистру, а к товарищам, сказал:

— Недурно осведомлены. Кто-то постарался. А обыскивать себя мы все же не позволим.

Ротмистр, поспорив, сдался:

— Хорошо, господа члены думы. Вас мы пока обыскивать не будем, а остальных обыщем. Лосев! Начинай. — И обратился к штатскому: — Папрашу!

Городовые взяли за руки рижанина Линде. Штатский снял пальто и шляпу и, подойдя к Линде, расстегнул на нем жилетку.

— Извиняюсь! Карманчики потайные носите?

— Ищите, — невозмутимо ответил Линде. — Вы, я вижу, специалист.

Охранник деловито ощупал Линде, быстро вывернул все карманы и приговаривал, выкладывая на стол добытые предметы:

— Щеточка! Это мы вернем. Записная книжечка. Это, извиняюсь, препроводим-с. Бумажничек, записочка, брошюрочка. Это, извиняюсь, занесем в протокольчик. Попрошу, господин, разуться...

Кончив с Линде, охранник принялся за другого.

— А зачем у вас лишний шов на подкладочке? А? А ну-ка мы его легонечко вспорем. Нехорошо, господин, очень нехорошо не сознаваться. Надо было сразу сказать, что у вас там зашито.

Наконец обыскали всех, кроме депутатов, и ротмистр снова взялся за них.

— Имейте в виду, господа, у меня ордер.

Петровский хладнокровно ответил:

— Это нас не касается. Смотрите, как бы не было вам худо.

Ротмистр ушел. За ним выскочили охранник в штатском и пристав, погрозивший городовым:

— Поглядывай!

Бадаев вежливо спросил усатого городового, оставшегося за старшего:

— Разрешите сходить до ветру.

— Идите.

Бадаев незаметно подмигнул Самойлову, вышел и быстро вернулся. Еще с порога он слегка кивнул головой: дескать, дело сделано. Следующий!

Следующим пошел Петровский, за ним Самойлов, Шагов. Самойлов, возвратясь, показал за спиной Петровского жестами, как рвут бумагу. Бадаев, поняв, улыбнулся краешком губ.

Муранов в передней столкнулся с ротмистром.

— Куда вы? Не разрешаю.

— А я вас и не спрашиваю. Мне по делу.

— Какое у вас может быть дело?

Муранов поднял руку и попросил, как школьник в классе:

— Позвольте выйти.

— Фокин, проводи.

Появился охранник в штатском. Он наклонился к ротмистру. Донеслось одно слово:

— Едут!

Городовой Фокин крикнул из коридора:

— Ваше высокородие, он бросает!

Ротмистр кинулся к уборной, но Муранов уже вышел оттуда и как ни в чем не бывало сказал:

— Так-то вот!

Ротмистр накинулся на городового:

— Ты куда смотрел, болван!

— Виноват, ваше высокородие! Но он только вошел и сразу кинул, я даже не успел за руки схватить.

— Что вы бросили?— строго спросил ротмистр.

— Обыкновеннейший смятый листок ненужной бумаги.

— Он, ваше высокородие, записную книжку бросил,— объяснил городовой.

— Достать! Фокин, ты недосмотрел, ты и доставать будешь.

Охранник в штатском понимающе заметил:

— Можно достать. Это не в господской квартире, с промывным устройством. Там каюк-с! Пиши пропало...

Городовые замерли. Даже ротмистр подтянулся, и с лица у него сползла высокомерная мина — в комнату вошел в сопровождении двух штатских грузный жандармский полковник.

— В чем дело, ротмистр?— сухо спросил он, не глядя на задержанных.

— Оказывают сопротивление обыску. Депутаты.

— Никаких депутатов. Обыскать. Что, вы не можете справиться? Распорядитесь.

Ротмистр схватил Самойлова за воротник пиджака.

— Снять.

Городовые подхватили Федора Никитича под руки, силой подняли со стула. Охранник в штатском засунул руки в карманы.

Полковник уселся за стол, начал рассматривать отобранные бумаги. Потом, видно, вспомнив о чем-то, приказал, указывая на ранее обысканных:

— А почему этих господ не отправили?

— Куда прикажете, ваше высокородие?

— На Шпалерную.

Всех недепутатов и хозяйку одели и вывели на улицу. Часам к трем ночи обшарили весь дом, выстукали стены, подняли половицы. Офицеры ушли и долго не возвращались. Вернулись они часов около пяти. Полковник со злостью посмотрел на депутатов и нехотя сказал:

— Господин Бадаев, вы свободны. Получите ваш билет члена Государственной думы. Можете идти.

Александр Егорович, пряча билет в карман, не тронулся с места.

— Что же вы? Я вам сказал: можете идти.

— Я не пойду никуда, пока не освободят моих товарищей.

— Рабочая солидарность!— со злой усмешкой бросил жандарм.— Сейчас всех освободим...

Депутаты кучкой вышли на улицу. У дома стояло несколько автомобилей и не меньше сотни полицейских чинов.

— Пошли, товарищи, — пригласил Петровский. — Дойдем до Муринского проспекта, а там и трамвай пойдет.

Прошли мимо молчаливо наблюдавших полицейских. Кто-то негромко сказал:

— Смотри, как идут! Депутаты, язви их душу...

Неподалеку от дома Гавриловых, в здании полицейского участка Лесной части, ярко были освещены все окна. У подъезда стояли вокруг автомобиля городовые. По соседству, около пожарной части, снова толпа городовых чуть поменьше.

— Видите, товарищи?— сказал Бадаев.— Задали мы им хлопот.

На углу Муринского проспекта сели в пустой трамвай. Стоя на площадке, Бадаев посоветовался с товарищами:

— Возможно, что дома нас тоже ждут. Могут взять и уже не выпустить. Надо кому-то рассказать обо всем.

Вагон наполнялся рабочими, ехавшими на заводы. Бадаев подошел к кондуктору и громко, чтобы слышали все, сказал:

— Товарищи! Мы рабочие депутаты Государственной думы. Я Бадаев, а это вот товарищи Петровский, Самойлов, Муранов и Шагов.

— Знаем! Знаем!— закричали пассажиры.

— Нас только что задержала полиция...

Бадаев рассказал все.

— Просим вас, товарищи, сообщить о нас в думу, если нас снова арестуют...

* * *

Бадаев в жилетке ходил по комнате. Самойлов рассматривал лежащие на коленях бумаги и говорил:

— Я так радовался, что у тебя все это оставил. Неужели жечь, Егорыч?

— Ничего не поделаешь, Федор. Я понимаю, очень жаль. Но они обязательно придут.

— А если спрятать?

— В квартире найдут, а вынести невозможно. Окружили, дьяволы, весь дом. Надо жечь, Федор. Будет лучше, если они не попадут в охранку.

Самойлов пересел поближе к «голландке». Открыл дверцу. Помешал маленькой кочергой горячие угли и бросил первый листок. Долю секунды он лежал спокойно, потом края его поднялись. Резче проступили ровные строчки с мелкими буквами. Вспыхнуло пламя — и через секунду легкий серовато-черный пепел свернулся трубочкой.

Федор Никитич бросал лист за листом, молча смотрел, как навсегда исчезали письма Ленина. Бадаев сел рядом, положил ему руку на колено.

Вскоре пришли Петровский, Шагов и Муранов.

— Как же быть, товарищи?— начал Петровский.— Надо идти в думу.

Шагов скептически махнул рукой:

— Сходить, конечно, надо, только толку от этого будет мало.

Впятером вышли из дому и сразу увидели — на всех углах стоят шпики, не меньше десятка. Не отстали они и в трамвае, заняли места напротив, повисли на подножках. Самойлов вслух начал разговаривать со случайно оказавшимся в вагоне знакомым.

— Видите эти рожи? Это наши провожатые. Филеры. Смотрите, как морды отворачивают, подлецы.

В Таврический дворец шпики войти все же не рискнули — остановились у подъезда.

К председателю думы пошли Петровский и Бадаев.

Родзянко, видимо, уже извещенный о происшедшем, выслушал так, как будто он ничего не знал. Пожал плечами и, вздыхая, сказал:

— Я возмущен, искренне сожалею, постараюсь принять меры...

Вечером передняя меблированных комнат «Белград» напоминала полицейскую дежурку — всю ее заполнили городовые. Пристав звонил по телефону, требовал дополнительно выслать еще наряд.

— Если можно ожидать неприятностей — присылайте! — повесил трубку и скомандовал портье:— Веди! Показывай.

— Вот здесь, ваше благородие.

— Стучи.

Портье постучал:

— Господин Самойлов! Откройте!

— Входите, у меня не заперто.

— Вы член Государственной думы Самойлов?

— Как будто вы не знаете.

— Потрудитесь собраться.

Через час Федора Никитича вели из канцелярии «предварилки» в отдельный «номер». Оглянувшись, он увидел в коридоре Петровского, Муранова и Шагова. Где-то внизу слышался голос Бадаева.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Гибель Зубынина потрясла Якова до глубины души. В этой, как ему казалось, бессмысленной смерти и он, Савватеев, чем-то был виноват.

А тут еще Груня подлила масла в огонь. Разбирая полученную от жены посылку, Яков с удовольствием вынимал из ящика полезные вещи: большой кисет с махоркой, шерстяные носки, пару теплого белья, чай, сахар, бумагу, конверты. И вдруг евангелие! Яков повертел толстую книгу в черном переплете, положил на лежак и принялся за чтение письма:

«Дорогой мой Яшенька! Посылаю тебе маленькую посылочку. Новостей у нас особенных нет. Живем, как и раньше. Евангелие начинай читать немедленно, это укрепит твою душу. Береги его, особенно переплет. Он очень ценный — бабушка привезла его когда-то из Киево-Печерской лавры. Храни тебя бог. Твоя верная жена Груня».

Яков вспомнил, что это евангелие в черном переплете, по рассказам Груни, было выдано ей в школе вместе с похвальным листом при переходе в третий класс. Неверующая Груня не раз употребляла тяжелую книгу в качестве покрышки для крынки с молоком и совсем ее не берегла. При чем же тут Киево-Печерская лавра? «Беречь его, особенно переплет. Он очень ценный».

Яков начал рассматривать евангелие. Крышка переплета на этот раз показалась ему толще, чем была, и он понял, что в нее что-то заклеено. Ему не терпелось сразу вскрыть переплет. Но в землянке было много солдат, и он решил потерпеть до ночи.

В эту ночь половина взвода находилась в окопах, а резерв, в который входил и Яков, оставался в землянке. Яков охотно подменил дневального и, с трудом дождавшись, когда все уснули, достал из переплета письмо Груни и еще какие-то листочки. Груня писала: «Ненаглядный мой Яшенька! Я надеялась на твою догадливость и послала тебе кое-что интересное. Не сердись, что я посылаю тебе, чего ты не просил. А по-моему, раз уж ты по своей глупости очутился на фронте, то будь поле-

зен там по-настоящему. Прочитай, что я тебе посылаю, внимательно. Это все написано товарищем Лениным и попало ко мне в руки случайно. О нашей жизни могу только одно сказать — народ мучается. Все дорожает, а заработки все меньше и меньше. Так худо мы еще никогда не жили. Крепко тебя целую. Береги себя, мой дорогой. Мне без тебя жизнь будет мукой. Твоя Груня. Письмо порви, а листочки давай потихоньку читать другим солдатам, а кто хочет, пусть переписывает, но только осторожно».

Яков принялся за листочки. На них рукой Груни было мелко-мелко переписано написанное Лениным обращение Центрального Комитета РСДРП.

Вся землянка спала. Яков, не торопясь, дважды прочитал все обращение, и впервые после гибели Зубынина спокойствие овладело им. Он улыбнулся хитрости Груни. «Ай да Груня! Ну и молодец же она у меня! В евангелие такую штуку запрятала. Я, конечно, сдурил, что полез в это пекло. Ну, да ничего, теперь я знаю, как себя тут держать».

В полночь в землянку ввалился весь запорошенный снегом унтер-офицер.

— Тебя, Савватеев, ротный требует. Давай быстрее.

Яков разбудил поддежурного и пошел в темноте, разглядывая занесенную тропинку по сосновым вешкам.

Околачивая снег у двери офицерского блиндажа, он услышал голос подпоручика Юрасова.

— Говорить правду — это еще не измена отечеству. Я не настаиваю на своей точке зрения, но арестовывать их не следовало.

— Да вы у нас совсем социал-демократ, Юрасов,— иронически произнес поручик Бритов.

Яков постучал, и разговор смолк.

— Подойди ближе, Савватеев,— приказал ротный.— Ты ведь у нас доброволец?

— Так точно, ваше благородие.

— Грамотен?

— Так точно, ваше благородие.

— Доставь этот пакет в артиллерийский дивизион. Возвратишься оттуда по приказу командира дивизиона. По возвращении примешь отделение у Чепурнова. Можешь идти. Впрочем, подожди минуту.

Ротный вырвал из тетради листок и начал что-то писать. На столе лежало «Новое время». Яков скосил глаза и успел прочитать крупный заголовок: «К аресту социал-демократической фракции Государственной думы».

Яков сразу понял — это об их аресте офицеры говорили до его появления. «Стало быть, подпоручик Юрасов арест не одобряет»,— мелькнула у Якова мысль.

— Политикой интересуешься?— услышал он вопрос поручика Бритова.

— Никак нет, ваше благородие. Просто смотрю — газетка у вас, а у нас во взводе цигарки крутить не из чего. Махорка в достатке, а бумагой обеднели.

Бритов сложил газету.

— Ладно, пришлю. Эту нельзя, свежая.

На рассвете, миновав лес, Яков на опушке еще раз перечитал письмо Груни и воззвание Центрального Комитета. Сейчас совсем по-новому прозвучали для него строчки: «Но наше парламентское представительство — Российская социал-демократическая рабочая фракция в Государственной думе — сочла своим безусловным социалистическим долгом не голосовать военных кредитов и даже покинуть зал заседаний думы для еще более энергического выражения своего протеста, сочла долгом заклеймить политику европейских правительств, как империалистическую...»

Так вот за что тебя, Федор Никитич, посадили!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Благонамеренный, верноподданный российский обыватель недоуменно пожимал плечами:

— Что же это происходит? Скоро год, как воюем, и никаких успехов. В приснопамятный, торжественный день 26 июля в Государственной думе не то нам обещали. Еще совсем недавно в реляции верховного главнокомандующего прямо говорилось: «Расширяя успех наш по всему 500-верстному австрийскому фронту, мы сломили повсюду сопротивление врага, который находится в полном отступлении. Одержанная победа позволяет нашим войскам перейти к новым задачам...»

В марте взяли крепость Перемышль. Когда о Перемышле объявили, газетчики номер «Русского слова» по полтиннику продавали, да и то нарасхват. А дальше что? Двух месяцев не прошло — сдали Перемышль. А еще через две недели отдали и Львов. Вот тебе и Галиция! Около трехсот тысяч своих солдат уложили! Триста тысяч! Это ж население двух губернских городов!

Немцы от Варшавы в пятидесяти верстах. От Ковно — в тридцати. От Риги — в ста верстах. Решили вывезти все из Риги. Да разве все вывезешь? Сведущие люди рассказывают: чтобы все ценности вывезти, надо тысяч двадцать вагонов подать. А где их взять?

Что же это происходит в Российской империи? Вагонов нет, керосину нет и снарядов, говорят, не хватает. А ведь объявляли, что снарядов у нас запасено около семи миллионов, а за всю русско-японскую войну израсходовали только два с чем-то миллиона. Пушек, дескать, хватит — семь тысяч штук!

Почему же раненые солдатики, а им врать нет резону, все как один рассказывают:

— «Он» нас прямо засыпает снарядами, а наши молчат — стрелять нечем, снарядов нет.

Видно, дело не в одних снарядах. Отставили военного министра Сухомлинова. Перед этим судили и повесили за измену его дружка подполковника Мясоедова. Оказывается, у военного министра друг — немецкий шпион. Назначили нового министра — Поливанова. Но этот долго не усидит, уволят. Говорят, Гришка Распутин его не любит. Будто попросил Гришка у нового министра бронированный автомобиль. Опасается, видно, в простом ездить, как бы не ухлопали. Поливанов Гришке отказал. Значит, скоро слетит.

А про Марию Александровну Васильчикову слышали? Фрейлина обеих цариц — матери царя и его жены. Жила постоянно в Австрии, в собственном имении Глогниц, у станции Клейн-Вартенштейн, неподалеку от Вены. У всех русских недвижимую собственность австрийцы отобрали. А Васильчиковой оставили. Мало того, к ней в гости ездил Эрнст-Людвиг, великий герцог гессенский. А он — родной брат государыни и брат великой княгини Елизаветы Федоровны, вдовы убиенного князя Сергея Александровича, того самого, которого в 1905 году порешил Каляев.

А кстати говоря, герцог гессенский Людвиг — германскому императору Вильгельму двоюродный брат.

И вот эта самая Васильчикова явилась в Петроград, заняла в «Астории» апартаменты. Прибыла из вражеской державы — и делает визиты. Пожаловали к ней с обыском (понятно, в ее отсутствие) и обнаружили письма от императора австро-венгерского Франца-Иосифа и дневник, из которого следовало, что перед самым отъездом Мария Александровна побывала с визитом в Потсдаме, у самого кайзера Вильгельма. И что бы вы думали? Всего-навсего повелел государь отправить мамашину и женину фрейлину в имение к ее сестре.

Впереди зима. Сколько надо для солдат теплого белья, валенок, полушубков? Миллионы! А тут еще новый призыв — 1896 год. Сколько же им, родившимся в 1896 году? Девятнадцать лет! Выходит, скоро ребят на войну будут брать.

Дополнительную мобилизацию лошадей объявили. Что же это такое? И так на коровах пашут. Стон стоит по деревне, когда лошадей со дворов уводят. Детишки плачут, бабы вцепятся в гриву и ревут. Свинью и ту год растить надо. А лошадь?

Деревня без соли, без керосина. Лампадное масло начали жечь, лучинку — не сидеть же в темноте. Все дорожает. На чай, на сахар, на табак — каждый месяц новый налог. Все это, конечно, баловство — и чай, и сахар, и табак. Ну и дрожжи? Это уже не баловство! Мужику совсем невмоготу. Чтобы пуд гвоздей купить, надо пятнадцать пудов пшеницы на базар вывезти. А на чем? Скату колес красная цена была пятнадцать

рублей, а сейчас — сто. Телегу за двадцать пять покупали, а сейчас за полтораста не отдают. Пуд веревки самой лучшей, которой пользовалось тюремное ведомство для некоторых целей, стоил пять рублей, а сейчас двадцать.

Новое слово появилось — «спекулянты». Вроде как бы торговец, но не совсем. Торговец закона придерживался. Если, скажем, у Елисеева масло на пятак дороже, но зато и качество! А эти спекулянты норовят на грош пятаков купить. В Туле керосин рубль восемьдесят, а в Воронеже три рубля. Овес во Владимире рубль тридцать, а в Юрьеве два с полтиной. Гречневая крупа в Ельце рубль восемьдесят, а в Дмитрове три рублика. Если, допустим, купить в Ельце мешков сорок да поставить на своих лошадях в Дмитров, сколько выручить можно. На пятистенный дом скорехонько сколотить можно. Хватит и воинскому начальнику и доктору в лапу сунуть за освобождение от воинской повинности «ввиду наличия грыжи». И земли вокруг много продажной. Солдатки еще жмутся, ждут, авось муж целым вернется. Вдовы, тем ждать нечего, вовсю разбазаривают земельку. А живоглоты все скупают — и землю, и дома, не жмутся, деньги платят аховые. Да и деньги пошли какие-то чудные. Вместо серебра марки, вроде как почтовые, но без клею: синие, зеленые, серые, все с царскими портретами, а настоящей цены не имеют.

Что-то часто главные министры меняются. Коковцева сменил Горемыкин, Горемыкина — Штюрмер. О министрах и говорить нечего — только успевай фамилии запоминать.

Слух прошел: опять нового председателя совета министров ищут. Как решит Гришка Распутин, так и будет. Недаром его даже великий князь Николай Николаевич «государственным суфлером» называет. Он и взаправду суфлер — что скажет, то царь и делает. Не понравился Гришке министр юстиции — сменили. Поговорил с обер-прокурором святейшего Синода Саблером и прямо к царице: «Матушка, да ведь синодский прокурор чисто разбойник!» Матушка царственному супругу: «Ники! Моя икона с колокольчиком мне во сне подсказала — прокурор Саблер дурной человек». И пожалуйте, ваше высокопревосходительство, в отставку!

Резиденцию государя императора охраняет от верноподданных дворцовый комендант Воейков. Кому комендант, а для Гришки просто собутыльник, друг, и, понятно, не бескорыстный. Добыл Гришка разрешение Воейкову фабриковать минеральную воду «Кувака». Так и зовут теперь дворцового коменданта «генерал от кувакерии». А ему что? С каждой бутылочки доход.

И никак не оторвать царскую чету от Гришки. Слушаются его, как маленькие.

Чего же царская родня смотрит? Михаил — брат, Ксения — родная сестра. Дядей — трое, теток — четверо, двоюродных

братьев и сестер — не меньше двадцати. А сколько троюродных, свояков, конца нет. Что они, слепые, немые?

Не тем, видно, заняты. Великий князь Константин, президент Российской Академии наук, хоть стихи пишет. Сочинил песню «Умер бедняга в больнице военной». И на том спасибо — вся Россия поет. Недавно, говорят, Гамлета, принца датского, играл в пьесе Шекспира собственного перевода. Если поразмыслить, конечно, время сейчас не до забав. Но бог с ним. Живет тихо, казну не обворовывает, в дела военные не вмешивается, и на том спасибо. А остальные: Борисы, Владимиры, Кириллы, Павлы — все в генеральских чинах. Корпусами, бригадами командуют.

Все больше хворые, малосильные, а выпить любят. Куда им с Гришкой тягаться. Говорят, не сегодня-завтра верховный главнокомандующий Николай Николаевич слетит. Если Гришке не потрафил — слетит.

Родня родней, но есть еще далекие люди: промышленники, торговцы, финансисты. Куда смотрят господа путиловы, рябушинские, гучковы, коноваловы? Неужели не соображают, что эдак можно все государство российское по ветру пустить?

А интеллигенция: профессора, журналисты. Куда смотрят Милюков и этот адвокат думский Александр Федорович Керенский? Да и сам Родзянко куда смотрит?

Учредили какой-то центральный военно-промышленный комитет.

А что это такое? Говорят, что комитет будет всем армию снабжать: пушками, снарядами, обмундированием, продовольствием. Что же будут делать министры? Даром деньги получать?

Кто же в этом центральном военно-промышленном комитете заседает? Коновалов — фабрикант, Терещенко — сахарозаводчик, банкир фон Дитмар — углепромышленник, Жуковский — промышленник и много еще всяких заводчиков и фабрикантов. Председателем избрали Гучкова. Ну, это известный деятель, создатель партии «Союз 17 октября». Энергичный мужчина.

В московском военно-промышленном комитете тоже не промахи сидят: Рябушинский, Гужон, Поплавский.

Зачем только в комитеты рабочих пригласили? Им трудиться надо не покладая рук для спасения отечества, а не заседать. Понятно, их взяли в компанию для формальности: смотрите, мол, господа французы, у вас министры-социалисты и у нас вроде чего-то намечается. Надо нашим пролетариям по губам помаслить, чтобы про 1905 год реже вспоминали.

Все это так, а все же непорядок, что такую власть взял не то монах, не то расстрига, колдун тобольский. Ничего хорошего от этого ждать нельзя. А куда пойдешь? Кому скажешь?

* * *

Сначала вместе с милым другом тобольским архиереем Варнавой чинно посидели у Аннушки Вырубовой в ее домике, что напротив царскосельского парка и близехонько от дворца.

Аннушка угощала крепким ароматным чаем. Распутин, улучив момент, когда хозяйка вышла из комнаты, посоветовал Варнаве:

— Ты, Суслик, водой не наливайся. Побереги место.

Варнава, держа толстыми волосатыми пальцами крохотную, хрупкую чашечку, хмыкнул:

— Я этих наперстков штук двадцать опрокинуть могу! А куда мы поедем, Григорий Ефимович?

— Звали в одно место... Попроще... Я этих хоров цыганских не жалую. Мне бы попроще... Понял? Заедешь ко мне, переоденешься. В духовном туда не с руки показываться.

Послышались голоса. Распутин дернул Варнаву за рукав.

— Отряхни, батя, крошки с пуза! Царица идет! Она почти каждый день к Аннушке заходит. Как бы с прогулки, передохнуть, а на самом деле с Аннушкой потолковать.

Варнава, сметая с рясы крошки, угодливо льстил:

— С Аннушкой! Это только так говорится, что с Аннушкой! Она ради тебя сюда ходит.

Распутин погрозил пальцем, но было видно: ему приятны слова Варнавы.

— Смотри у меня, при чужих не ляпни!.. А иначе нельзя. Не учи их уму-разуму — бог знает чего натворят.

Вошли Александра Федоровна и Вырубова. Варнава встал, а Распутин не пошевелился, точно не видел. Его словно подменили: куда делась нагловатая, дерзкая ухмылка; лицо стало строгим, а глаза — долу, весь в мыслях, в раздумье. Царица слегка кивнула Григорию. Варнава понял: они уже виделись сегодня.

— Здравствуйте, дорогой друг.

— Спасибо, государыня! Намедни запамятовал сказать, будешь писать папе, отпиши от меня земной поклон. Молюсь. Денно и нощно молюсь. И еще отпиши, пущай к евангелью припадает с чистым сердцем. Она книжица хоть и махонькая, а светит далеко. Вот послушай, государыня, отца Варнаву, послушай про крест животворящий.

Александра так и впилась в архиерея.

— Слушаю вас, отец святой.

Варнава исподтишка глянул на Григория: «Что же ты, чертушка, не предупредил? Как же я теперь вывертываться должен?» Григорий с едва заметной усмешкой глянул на милада друга: «Ну-ка, Суслик, показывай, как извернешься?»

— Случилось это знамение, родная государыня, в селе Барабинском 16 июня, в день святителя Тихона-чудотворца.

Только ход вокруг церкви начали, как на небе вдруг появился крест. Стоял он в небесном своде минут пятнадцать. А что святая церковь поет? «Крест царей держава верных утверждение». Это — святое предзнаменование, государыня! Божие благословение!

— А потом что с ним стало? — невпопад спросила Вырубова.

— С кем? — недовольно переспросил Распутин.

— С крестом, Григорий Ефимович!

В глазах у Григория вспыхнули на миг бесовские, лукавые огоньки. Он с любопытством посмотрел на Варнаву: что-то он соврет?!

— Растаял крест, матушка, — смекнул Варнава. — Растворился в небесной лазури.

Царица перекрестилась:

— Спасибо вам, отец святой! Я непременно напишу об этом государю... Вы надолго к нам?

— Поживет, — ответил за архиерея Распутин. — Надо ему тут пожить. От клеветы и суесловия защититься. Обидели простого человека синодские.

— Да, ужасные люди в Синоде! — подняла коротенькие, пухленькие ручки Вырубова.

— Завистники! — отрубил Распутин. — Взяточники и завистники!

Царица испуганно посмотрела на старца.

— Я знаю вашу доброту, матушка. Не любите, когда я мытарей и фарисеев браню. Взяточники и есть! Купца Житкова из Вологды начисто разорили. Я, матушка, говорил о нем.

— Я сказала об этом, Григорий Ефимович, сказала кому следует.

Григорий искоса строго глянул на Вырубову. Та сразу заметалась, не понимая, чего он хочет. Распутин кивнул на Варнаву: уведи!

Вырубова догадалась, смиренно залепетала:

— Икону хочу показать вам, ваше высокопреосвященство, строгановского письма. В киоте у меня, дар от Григория Ефимовича.

Варнава сначала не сообразил, но, посмотрев на своего покровителя, вскочил.

— Иду, драгоценная Анна Александровна!

Распутин после их ухода долго сидел молча, изредка поднимая на царицу испытующий взгляд. Потом встал, взял из угла палку и вложил Александре в руки. Та взяла, не заметив искусной резьбы: рыба, держащая птицу, — положила подарок на колени.

— Не пугайся, — забормотал Григорий. — Вера и знамя обласкают. Эту штуку мне с Афона прислали. Пошли государю.

Терпеньем спасайте душу. Претерпевший до конца спасен будет!

Помолчал и заговорил по-деловому:

— Отпиши государю, пусть прикажет наступать под Ригой. Напиши, виденье мне ночью было. Сегодня же отпиши! Число укажи: наступать после двадцатого...

Александра вынула маленькую записную книжечку в зеленом сафьяновом переплете. Пока она записывала, вернулись Вырубова и Варнава. Царица встала, поклонилась Григорию и стремительно вышла, сопровождаемая Вырубовой.

— Пойдем и мы... отец святой! — с издевкой сказал Распутин.— Лихо врешь, толстопузый!.. Люблю...

У подъезда ждал автомобиль. Шофер распахнул дверцы. Григорий развалился на сиденье, вытянул ноги в простых сапогах.

— Домой! На Гороховую!

Ехали быстро, пугая гудками прохожих. Встречные лошади рвались из оглобель, поднимали головы, дико ржали. Распутин за всю дорогу не сказал ни слова; но зато дома, переодеваясь в спальне, разошелся:

— Слыхал? Царь поклон прислал! В каждом письме поклоны шлет. Она мне письма читает. Глупости пишет. И в каждом письме про погоду. — Помолчал, вздохнул и добавил: — Запамятовал, как этих называют, что погоду угадывают... Астрономы!

Варнава почтительно поправил:

— Метеорологи, Григорий Ефимович.

— Они самые... Хороший бы из него этот самый... метеоролог вышел.

Распутин снял простые сапоги, надел лаковые. Белую холщовую рубаху сменил на шелковую, вышитую по вороту и на рукавах крестиками, длинную, ниже колен. Подошел к туалетному столу, налил на ладонь французского одеколона, похлопал себя по шее, крякнул.

— Суслик! Попрыскайся, чтобы ладаном не пахло.

Варнава вышел из-за ширмы в красной рубахе, поверх был накинут Гришкин кафтан, но босой.

— Ты что копыта-то не закрыл?

— Вели сапоги мои наваксить.

— Сам не велик барин! Поплюй да помахай щеткой. Лукерья!

Вошла молодая, здоровая девка. Распутин кинул ей сапоги Варнавы.

— Скажи Егорке, чтоб глянец навел!

Распутин захлопнул за ней дверь, постоял и снова с силой распахнул обе половинки. Посмотрел в коридор.

— Ушла! Любят, дьяволы, подслушивать. — Помолчал, по-

том вздохнул. — Эх, царица-матушка! Воли ей не дают, Суслик! Я б из нее вторую Катьку сотворил.

— Какую Катьку? — заморгал Варнава.

— Дурак, Суслик! Ты что, про Екатерину Великую забыл? Большого ума была немка! Эта, конечно, поглупее, но тоже характерная... Лукерья! Скоро вы там? За смертью лодырей посылать!

— Ну что вы кричите? — войдя с сапогами, укоризненно сказала Лукерья.— Взяли себе манеру во дворцах энтих...

И ушла, хлопнув дверью. Варнава захихикал:

— Ну и дьяволица! Пошто ты ее держишь?

— Ты, Суслик, в чужие дела не суйся! Пойдем!

У автомобиля стояли трое в штатском. Тихо переговаривались с шофером. Распутин на цыпочках подкрался, схватил самого маленького за шиворот:

— Сколько раз говорил: не тревожь моего кучера! Он у меня и так нервный. Наслушается вас, дураков, и буду в канаве... Брысь, стервецы!

Трое кинулись в сторону. Там стоял другой автомобиль.

Распутин сел рядом с Варнавой.

— На Петроградскую!

Высунулся в окно и, увидев, как филеры бросились к своей машине, крикнул:

— Догоняйте, легавые!

* * *

На Лопухинской улице, неподалеку от Аптекарского проспекта, Гришка скомандовал:

— Стой!

Кряхтя для пущей важности, легко выскочил из машины:

— Слезай, приехали! Заводи машину за угол. Жди!

В полутемной передней встретила нарядно одетая дама с лорнетом на цепочке. Всплеснула руками, трижды крест-накрест расцеловалась с Гришкой.

— Барышни! Кого нам бог послал! Барышни!

Набежали девицы, одетые гусарами, гимназистками, монахинями и просто в ночных сорочках, и с визгом бросились к Распутину.

— Погодь...— сказал он,— прежде делами займусь.

В переднюю вошел Манус, высокий, лысый мужчина в визитке — директор Международного коммерческого банка.

— Григорий Ефимович! Какая встреча! — потом повернулся к даме: — Надеюсь, никого посторонних нет.

Распутин вспомнил про Варнаву и показал на него даме.

— Возьми моего Суслика под уздцы, возьми, хозяйка. Плесни ему в стакан горячительного. Французского! — Затем махнул девицам: — А ну по местам. Сейчас придем! — Встал

у зеркала, потрогал пальцами свой большой мясистый нос. Манус стал рядом, узенькой щеточкой приглаживая подстриженные усы.

— Чем порадуешь, Григорий Ефимович?

Распутин, охорашиваясь, тихо сказал:

— Двадцатого начнут под Ригой. Понял?

* * *

Шофер понадобился только под утро. Гришка вдвоем с Манусом впихнули в автомобиль мертвецки пьяного Варнаву.

— Домой!

Осоловело посмотрел на мила-друга, Суслика. У того из-под разорванного ворота красной шелковой рубахи виднелась архиерейская панагия.

— Дурак! — зевая, сказал Гришка и заправил панагию под рубаху. — Дурак, Суслик, нашел куда с иконой ездить!..

* * *

Гришка продрал глаза, глянул на большие красного дерева каминные часы.

— Суслик, проспали, дьявол тебя возьми!

Варнава приподнял голову с дивана.

— Крикни, чтоб прохладительной принесли!

— Поди к водопроводу и лакай, сколько хочешь.

Варнава опустил голову, прикрыл веки.

— Леший с тобой, дрыхни! Мне во дворец надо. В Царское.

Распутин ушел в ванную. Слышно было, как он плещет водой и фыркает. Вошел с мокрыми волосами, голый по пояс. Варнава открыл глаза, посмотрел, как Григорий до красноты растирает полотенцем крепкое, жилистое тело.

— Здоров ты, Григорий Ефимович! И живота совсем нет! — Похлопал себя. — А у меня вон какой бредень! Измучился!

Григорий, расчесывая длинные волосы, презрительно скосил глаза.

— Поповское вместилище вина и елея. Жрать надо помене!

Встал от зеркала, накинул темный кафтан.

— Я во дворец. Дрыхни! Лукерью не дразни. Она не посмотрит, что ты в ангельском чине, как двинет в зубы, почище всякого городового.

Царица ждала Григория у Вырубовой. В маленькой гостиной на синем с золотом диванчике смирно сидели две старшие дочери Александры — Ольга и Татьяна. Упросили мать посмотреть дорогого друга, Григория Ефимовича.

Он появился тихий, скромный, чем-то опечаленный. Низко поклонился:

— Здравствуй, матушка царица!

Поцеловав в лоб дочерей, почтительно поздоровался с Вырубовой.

— Что с вами, дорогой друг? — с беспокойством осведомилась императрица. — Утомились?

Григорий дернул плечами, будто смахнул с них огромную тяжесть. Поднял голову и уставился, не мигая, на Александру.

— Знаю, матушка, о чем у тебя душа болит. И я этим же терзаюсь. Злое он намыслил! Мужа твоего отцовского престола хочет лишить!

Царица посмотрела на Вырубову. Та, бледная до синевы, судорожно вцепилась в ручки кресла. За несколько минут до появления старца они как раз говорили об этом же, о тайном желании великого князя Николая Николаевича стать царем.

Гришка по лицам слушательниц понял, что попал в точку. Опустил голову, замолчал. Длинные пряди упали, закрыли глаза. В тишине слышалось только прерывистое дыхание старца. Великие княжны с испугом смотрели на него. Распутин вскочил, истово перекрестился, взял царицу за руку повыше локтя, забормотал:

— Виденье было!.. Святой дух!.. Отпиши муженьку дорогому. Пусть прикажет министрам о хлебе лучше заботиться для стольного града. Хлеба не будет, бунты будут! Самый большой ущерб, матушка, твоя семья от голодных может понести. Нечего по чугунке синие вагоны взад-вперед гонять. Хлеб надо возить. Неделю, вторую — один хлеб. Надо еще масло, сахар. Напиши мужу, пусть никого не слушает. Его разные дураки из думы лаять будут: «Не на чем в Петроград ехать!» Пусть лают. Наплевать на них! Ты мужу строго напиши. Лучше германцу уступить, а то знаешь — революция, как в пятом году, еще хуже... Сюда муж приедет — еще строже поговори!

Распутин поцеловал княжен в лоб — одну и другую.

— И вы, девочки, тятеньке скажите. Поплачьте. На коленки встаньте. Молиться горячей надо. Просить у бога совета.

Григорий опустился на колени. Крестился, кланялся до пола. Приник лбом к паркету, осторожно поглядывая, что происходит со слушательницами. А они уже все на полу распростерлись, плачут. Распутин загудел снова:

— Помолимся! Помолимся! Укрепи, господи, твердость духа государева!..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Утром 10 февраля 1915 года Федора Никитича Самойлова, как всегда, вывели на прогулку. Гулять полагалось полчаса, но Федор Никитич не сделал и первого круга по тюремному двору, как надзиратель окликнул его:

— Пора, господин Самойлов.

— Как это так — пора, — возмутился Федор. — Пяти минут не прошло.

— Требуют!

В камере Федору объявили:

— Пожалуйте в суд, господин Самойлов. Желаете подстричься, бороду подровнять...

— Ну что ж, пройдемся.

Потом повели в главный коридор. Там уже находились Бадаев, Петровский и Шагов. Бадаев, слегка посмеиваясь, пошутил:

— Смотрите, братцы, и Федор у брадобреев побывал. Хоть сейчас в думу...

Привели Муранова, за ним всех остальных. Выстроили и повели по переходу в соседнее здание петроградской судебной палаты.

В большой зал первого отделения петроградского окружного суда публику в этот день пускали только по билетам, дважды проверяя их — у входа в палату и у дверей зала.

Во втором ряду сидели близкие родственники подсудимых. Федор Никитич приветливо помахал рукой жене, сидевшей рядом с Бадаевой.

— Смотри, Егорыч, пустили, — толкнул он локтем Бадаева.— Пустили-таки наших женок.

— Ты посмотри, кто в зале сидит, — ответил Бадаев. — Милюков, Родичев, Скобелев, Чхенкели... вроде как в думе заседаем.

Петровский, посмеиваясь, сказал:

— Посмотрите.— И показал на места, расположенные за креслами судей. Там, склонив голову налево, внимательно слушая своего соседа, члена Государственного совета Ковалевского, сидел граф Витте.

— Сам Сергей Юльевич на нас смотреть пожаловал,— иронически произнес Бадаев.

Судило членов Государственной думы — большевиков особое присутствие петроградской судебной палаты под председательством сенатора Крашенинникова. Он задавал обычные вопросы.

— Подсудимый Петровский, признаете ли себя виновным?

— Нет, не признаю.

— Желаете ли дать суду объяснения?

— Желаю.

Опросили всех обвиняемых, кроме Муранова. Никто виновным себя не признал. Все пожелали дать объяснения.

— Подсудимый Муранов, признаете ли себя виновным?

— Конечно, нет.

— Желаете ли дать объяснения?

Секундная пауза.

— Не желаю. Я вообще отказываюсь отвечать царскому суду.

Крашенинников переглянулся с членами суда. Сословный представитель Сомов, гласный петроградской городской думы, известный своими черносотенными речами, даже привстал, чтобы получше рассмотреть дерзкого арестанта. Раздалось несколько робких хлопков. Крашенинников встал, строго посмотрел в зал. В нескольких местах поднялись усатые физиономии в штатском, обшарили публику настороженным взглядом.

— Подсудимый Петровский! Вам предоставляется слово.

Григорий Иванович встал, посмотрел на товарищей.

— Я буду говорить от имени всей социал-демократической рабочей фракции Государственной думы. Я не скрываю, что наша фракция примыкает к большевистскому течению. В своей деятельности мы всегда старались отстаивать интересы рабочих. Мы считали своим долгом совещаться с рабочими, спрашивать их совета. Вот для такого разговора мы и собрались на квартире Гавриловой...

Суд слушал внимательно, не перебивая. Председательствующий частенько посматривал на корреспондентов петроградских и иностранных газет. И только когда Петровский заговорил о войне, Крашенинников спросил:

— Скажите, подсудимый Петровский, почему вы по вопросу о войне нашли нужным совещаться именно с рабочими?

— А с кем же нам советоваться, как не с нашими избирателями...

После перерыва начался допрос Муранова.

— Подсудимый Муранов, почему вы бросили в уборную ваш блокнот?

И снова в зале становится тихо. Все ждут, что скажет этот упрямец:

— Хотел уберечь от тюрьмы рабочих, адреса которых там были записаны.

— Вы часто ездили на Урал. Вас приглашали ваши избиратели?

— Я считал своим долгом ездить к ним, когда они и не звали меня.

— Вы, следовательно, занимались политической деятельностью и вне думы?

— Считаю позорным скрывать это.

— А почему вы встречались со своими, как вы говорите, избирателями в лесу?

Муранов с трудом сдерживает усмешку.

— Потому что в лесу полная свобода слова, которой мы лишены в других местах.

В зале движение и негромкий говор.

Крашенинников жестом успокоил зал.

Адвокаты перешептываются. На них почти не смотрят. Внимание публики сосредоточено на подсудимых. Это, видимо, неприятно одному из адвокатов. Он принимает эффектные позы, закидывает голову, поглаживает волосы. В середине зала, ближе к окнам, устроилось несколько дам, вероятно, его поклонниц. Временами они шепчутся: «Смотрите, улыбнулся», «Поздоровался с Милюковым», «Опять улыбнулся». Кто-то тихо спрашивает у дам: «Это вы о ком?» — «Как, вы не знаете? Керенский, Александр Федорович...»

На местах позади судей, неподалеку от Витте, судебный следователь по особо важным делам Машкевич. В петлице — новенький орден. Петровский объяснил:

— Видел орденок у Машкевича? Это он за нас получил.

За окном уже темнело. Публика в зале поредела. Председатель посмотрел на часы, обеими руками захлопнул толстый том дела.

— Объявляется перерыв. Продолжение заседания — завтра.

* * *

Получить билет на вечернее заседание Семенову помог случай. Выйдя встречать жену Самойлова, Сергей Иванович остановился на углу Литейного и Шпалерной. Тотчас хрипловатый голос спросил:

— Билетики не требуются? Могу уступить за небольшое вознаграждение.

Рядом стоял старикашка в форменной фуражке министерства юстиции.

— Сколько? — осведомился Сергей Иванович. — А он не фальшивый? Не вытолкают с ним в три шеи?

— Помилуйте, разве мыслимо. Три рубля пожертвуете и сидите в тепле безбоязненно.

— У меня только два.

— Бог с вами, берите.

Сергей Иванович бежал по лестнице, перескакивая через ступеньки. Служитель у входа в зал, посмотрев его пропуск, поплотнее прикрыл дверь:

— Не сюда. На хоры.

Попав на хоры и пробравшись к барьеру, Сергей Иванович удивился — за судейским столом стояли пустые кресла.

— Перерыв? — спросил он соседа, завсегдатая, судя по всему, типичного судебного.

— Удалились в совещательную комнату,— тоном знатока ответил сосед.— Часа два, меньше не проговорят.

Сергей Иванович посмотрел в зал. В проходах теснились городовые и люди в штатском, широкоплечие, усатые, с бегающими глазами.

— Много их нагнали, — вырвалось у Семенова.

Сосед все тем же тоном, как учитель на уроке, охотно сообщил:

— Меры предупреждения возможной демонстрации протеста со стороны публики против приговора.

— А как вы думаете, что их ожидает?

— Пророчествовать не могу, поскольку не имею права, но по опыту предполагаю, что каторжных работ не миновать. Со статьей 102 шутки плохи-с. Учитывая военную обстановку, лет по десять наверняка получат. Прокурор очень озлоблен-с на Муранова. Этому, пожалуй, годика два еще накинут. Малиновский словно чувствовал — вовремя убрался из думы.

— Упоминали его на суде? — поинтересовался Сергей Иванович.

— Как будто нет.

Сергей Иванович все посматривал вниз, на подсудимых. К ним часто подходили родственники и защитники, только Керенский делал вид, что его больше всего на свете интересует книга, которую он изредка перелистывал.

Скоро полночь, а судьи все еще совещаются. И вдруг раздалось: «Суд идет!» В зале мертвая тишина. Крашенинников глухим голосом прочитал приговор: «...Члены Государственной думы Петровский, Муранов, Бадаев, Шагов, Самойлов, а также Яковлев, Линде на основании части первой сто второй статьи уголовного уложения приговариваются...»

Крашенинников сделал паузу. Слышно, как скрипнул сапог, видно, переступил конвойный.

«...к ссылке на поселение».

В зале гул. Конца приговора о Гавриловой, осужденной за недонесение к полутора годам крепости, почти не слышно. Председатель сердито стучит и продолжает: «Приговор по вступлении его в законную силу будет представлен на высочайшее благоусмотрение. В окончательной форме приговор будет объявлен 20 февраля. Мера пресечения по отношению ко всем подсудимым оставлена без изменений».

Крашенинников, а за ним все члены суда покидают зал.

К осужденным подошел конвойный офицер.

— Попрошу следовать за мной.

* * *

Еще раз Сергей Иванович увидел Самойлова четвертого июня 1915 года. Вечером Семенова вызвали к проходной. Торопливо шагая, Сергей Иванович с беспокойством думал, кому он потребовался.

Вера сказала только два слова, и Сергей Иванович понял все.

— Высылают. Сегодня.

Сергей Иванович сбегал в дежурку и, отпросившись у старшего, направился вместе с Верой на Николаевский вокзал. По дороге Вера рассказала все подробности:

— Бадаева с Самойловой вчера в тюрьме начальство спрашивали, когда их отправка. Сказали — седьмого, а сами, окаянные, сегодня отправляют.

У вокзала — на Знаменской площади, около памятника Александру III, в начале Лиговки и Гончарной — ходили группами и в одиночку рабочие. У подъезда вокзала кучкой стояли родственники депутатов. Городовой, устав повторять одно и то же: «Расходитесь, расходитесь!», отошел на угол Невского. В половине десятого у подъезда встали два железнодорожных жандарма — оба высокие, красномордые, усатые. Еще через полчаса подъезд оцепили городовые. Вскоре подъехал большой закрытый автомобиль. Как ни старались городовые и жандармы оттеснить рабочих и родственников, все же люди прорвали цепь.

Депутатов повели к пассажирскому вагону с решетками, стоявшему на запасном пути. Федор Самойлов показал на свой вещевой мешок и попросил Шагова:

— Подержи минуточку мой депутатский портфель.

— С удовольствием, господин депутат.

Кто-то из провожающих крикнул:

— Когда вас в арестантское обрядили?

Бадаев помахал серой суконной шапкой.

— Недавно... Берегут нашу одежду, казенную дали.

Провожающие долго стояли поодаль от арестантского вагона, пытаясь рассмотреть через густую решетку окон дорогие лица. В полночь вагон прицепили к поезду, уходящему на Вологду.

* * *

Дома Сергея Ивановича дожидался распространитель партийной литературы Севастьянов.

— Жду тебя второй час. На вот, получи. Только что прибыла.

Сергей Иванович взял номер «Социал-демократа». Посмотрел на дату — 26 марта.

— Долго к нам почта от Ильича идет. Больше двух месяцев.

— Что ж поделаешь, война,— вздохнул Севастьянов.— Ты представь, во скольких странах эта газета побывала, пока к нам дошла. В десяти, наверное, не меньше. И все-таки доходит. Ну, бывайте здоровы. Мне надо еще в три места успеть.

Сергей Иванович развернул газету:

— Смотри, Верочка, это о них, кого мы только что проводили. — И он начал читать статью Ленина «Что доказал суд над российской социал-демократической фракцией».

— Послушай, Верочка, как верно сказано: «Правительство надеется запугать рабочих отправкой в Сибирь членов российской социал-демократической фракции. Оно ошибается. Рабочие не испугаются, а лучше поймут свои задачи, задачи рабочей партии...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Почти всю зиму в задней половине домика Аграфены Ивановны Рогалевой кипела работа — пилили, строгали, сколачивали ульи для агрономического поля. Заказ был куда выгоднее, чем пилка дров для Шафердинова. Платили за ульи сносно, а самое главное — работали в тепле.

Фрунзе как-то смастерил хозяйке небольшой шкафчик для посуды. Аграфена Ивановна похвалилась подарком перед соседками, и коммуне посыпались заказы на табуретки, столы. Слух о столярной мастерской ссыльных разошелся по окрестным деревням.

Вскоре рогалевская коммуна разжилась еще двумя ружьями. Чаще других на охоту ходил Михаил и никогда не возвращался пустым. Случалось, приносил по пять-шесть зайцев. Однажды поставил рекорд — выложил перед изумленными товарищами одиннадцать беляков.

В избе в это время был старый охотник из далекой заимки, приехавший получить свой заказ. Он молча потрогал зайцев, осмотрел ружье и с уважением сказал:

— Дельный ты парень.

Михаил, смущенный похвалой, улыбаясь, ответил:

— Стараюсь, семья у нас большая.

Иногда втроем — с Дубравиным и Гамбургом — ходили на реку Манзурку, ловить из-подо льда рыбу. Аграфена Ивановна жарила зайцев — перед обедом иногда выпивали по рюмочке, все-таки хоть скучно, но можно было жить. Оставалось — работать, ходить на охоту и читать, читать без конца, запоем, все, что можно было достать в этой глуши.

По вечерам в домике Рогалевой собирались ссыльные из всей Манзурки. Началось с невинного — пели песни, готовили постановку чеховской «Свадьбы». Михаил написал стихи:

Северный ветер в окно завывает,
Зданье тюрьмы все дрожит.
В муках на койке узник рыдает,
Сон от больного страдальца бежит.
Вот ему чудится образ родимый.
Вся в седине голова
Тихо склонилась с улыбкой печальной,
Мягко коснулась рукою чела...

Стихи положили на музыку. Ежевечерне, спев десяток песен, с особым подъемом исполняли «Мишину песню».

Случалось, и не редко, без стука открывалась дверь и входил сам становой пристав, коллежский секретарь, его благородие Николай Николаевич Витковский. Входил один, но за дверью явственно слышался топот — в сенях ожидали стражники. Все стихало.

— Как живете, господа? Шел мимо, дай, думаю, зайду посмотрю, как веселитесь.

Никто не отвечал ни слова. Смотрели на Фрунзе, что скажет он. Михаил вежливо сдувал с табуретки невидимую пыль, ставил ее у порога и приглашал:

— Прошу садиться, ваше благородие.

Повертывался к гостю спиной и, подняв руки, как дирижер, запевал:

— У попа была собака!

Хор торжественно-печально подпевал:

— Он ее любил...

Становой поднимался и милостиво говорил:

— Продолжайте, господа, продолжайте. Я, пожалуй, пойду.

Хлопала дверь. Вдогонку становому неслось:

— Она съела кусок мяса, он ее убил...

К полуночи оставались только самые близкие люди, и тогда начинались споры, главным образом о войне. Как-то еще в январе Дубравин, страшно тосковавший по семье, мечтательно произнес:

— Вот кончится к маю война, на радостях амнистию объявят, и я на свою Кубань поеду.

Михаил осторожно, не желая его обидеть, пошутил:

— Твоими бы устами да мед пить.

— Вот увидишь, — упрямился Дубравин. — Весной война обязательно кончится.

— Нет, не кончится, — уже не шутя, сказал Фрунзе. — Она года три-четыре пройдет, не меньше.

Друзья с интересом смотрели на Фрунзе. Они уже не раз убеждались в правильности его суждений о войне.

— Это вздор! — горячился Дубравин. — Война обязательно кончится весной!

— Нельзя выдавать желаемое за совершившееся, товарищ Дубравин. Оттого, что тебе хочется скорее попасть домой, война кончиться не может. У нее есть свои законы. Она кончится тогда, когда одна сторона окончательно разорится, выдохнется экономически и победитель сочтет достигнутыми цели войны. А до этого еще очень далеко. И не надо забывать: в войну Америка еще не вступила. Она обязательно вступит в войну, будет помогать добивать своего главного конкурента — Германию. Правда, все планы империалистов могут рухнуть. Их может сорвать революция. А революция может произойти только в России.

— Почему ты так думаешь? — все еще не сдаваясь, спросил Дубравин.

— Причин много. Наш народ больше других понесет жертв в этой войне. Руководители социалистических партий во Франции, Бельгии, Германии предали рабочий класс. Наша партия не предавала, она живет и борется. И не забывайте: русско-японская война была одной из причин 1905 года. Это война посерьезнее, серьезнее будет и революционная волна. На фронте миллионы рабочих и крестьян. У них в руках оружие. И если уж говорить о нашем личном участии в будущих событиях, то нам надо надеяться не на амнистию по случаю победы, а помогать тому, чтобы солдаты повернули штыки против царя и буржуазии.

Вот об этих разговорах узнал становой. Не зная, как действовать дальше, он сообщил начальству в Иркутск. Начальство ответило:

— Наблюдать!

Прошла, наконец, долгая сибирская зима с ее сорокаградусными морозами, буйными снегопадами в феврале и марте. Наступила короткая весна. Аграфена Ивановна уже готовила жильцам «дымокуры» от гнуса, отравлявшего всю прелесть весны. Но еще больше томила Фрунзе тоска по родным местам, милому сердцу Иваново-Вознесенску. Петроград, институт, студенческие сходки, походы в театр казались совсем уже несбыточной мечтой.

Письма от родных приходили редко, и хотя никто — ни мать, ни сестры, ни брат Костя — никогда не писал о своей трудной жизни, все же их письма волновали Михаила, огорчали тем, что он ничем не может помочь семье.

Еще реже приходили письма из Иваново-Вознесенска. Пока был жив Павел Гусев, через него держалась связь с его братом Николкой. Павел умер от туберкулеза на каторге. Узнав о гибели друга, Михаил надолго потерял покой.

Выдался и радостный день — получил письмо от иваново-вознесенца Жиделева, депутата первого Совета на Талке, бывшего члена второй Государственной думы. Николай Андреевич жил в ссылке неподалеку, в Качуге, и усиленно приглашал в гости.

И все же товарищи по коммуне никогда не видели Фрунзе унывающим. Он всегда был весел, охотно участвовал во всех начинаниях ссыльнопоселенцев. И это были не только спевки хора или репетиции пьески, а организация ссыльных в единый, сплоченный коллектив, который мог бы помогать материально нуждающемуся, а кое-кому — бежать. Бежать так, чтобы ни одна полицейская ищейка не нашла, куда делся человек, и не только из Манзурки, а из всего Верхоленского уезда.

И об этом через станового узнало начальство в Иркутске.

В ночь на 31 июля в домик Аграфены Ивановны постучали жандармы.

Фрунзе не спал. Пока хозяйка впускала непрошеных гостей, он успел в мелкие клочья изорвать устав тайной организации ссыльных. Но опытный жандармский ротмистр, производивший обыск и арест, наклеил клочки на папиросную бумагу.

К утру в коридоре канцелярии станового пристава сидели под охраной жандармов пятнадцать ссыльных, арестованных ночью. Подали подводы и повезли в Иркутск.

* * *

От Оёка до Иркутска тридцать пять верст. В Оёке последняя пересыльная тюрьма, значит, и последняя ночевка. Еще один переход — и Иркутск.

Конвойный роздал баланду. Пообедали. Тюрьма стихла. Фрунзе лежал на нарах, закинув по привычке руки за голову. Подошли двое. Не сразу разобрал кто:

— А, это вы, товарищи.

Заговорили шепотом:

— Тебе надо бежать. Просто необходимо. Позади у тебя два смертных приговора. А сейчас обвинение в противоправительственной организации ссыльных и пораженческой пропаганде.

— Этого они не знают.

— А вдруг? Время военное. Отдадут под военно-полевой. И конец. Понимаешь?

— Все понимаю. Но бежать почти невозможно.

— «Почти» — это еще не «совсем». Слушай внимательно. Ротмистр уехал вперед, торопится доложить начальству. Жандармы тюхи, в лицо всех нас не знают, путают. Мы уже проверили. Конвойные — не в счет. Мы тебя перекинем через забор. Он невысокий. Не бойся, не разобьем. На поверке за тебя откликнется Кириллов, а за него согласился один уголовник. Если хватятся, будут искать Кириллова, сообщат его приметы, а они с твоими не сходятся.

Фрунзе уже сидел, а не лежал.

— Спасибо, товарищи! Но обман откроется, и Кириллову всыплют.

— А нам все равно всем всыплют, но не так, как тебе. Тебе, сам понимаешь, смерть. Мы собрали все деньги, у кого сколько было. Спрячь получше...

Долго шумели, требовали вечернюю прогулку. Дежурный доложил смотрителю. Тот, понятно, рявкнул:

— Не выпускать!

— Кричат, что задыхаются.

— Черт с ними, выпустите во двор!

Походили. Спели песню. Дубравин заговорил с надзирателем, угостил папиросами, раздобытыми уголовниками. Осторожно подошли поближе к забору. Затянули «Дубинушку». Фрунзе наклонился. Его подхватили крепкие руки.

Эх, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет.

Качнули и подбросили. И сразу загалдели.

— Эй, надзиратель, веди в помещение. Темно стало. Да и свежо.

Шли не торопясь. Разговаривали о том, как рано холодает в этом краю. «Начало августа, а того и гляди иней покажется». Никто не обернулся. Как будто ничего не случилось.

Выстроились на поверку.

— Гамбург?

— Есть.

— Дубравин?

— Есть.

— Фрунзе?

— Есть.

— Кириллов?

Маленькая пауза.

— Кириллов?

Голос с хрипотцой ответил:

— Здесь.

— Ты что, не слышишь?

— Глуховат, ваше благородие...

— То-то у меня. Чернов?

— Есть.

* * *

Боже ты мой, как кричал на ротмистра Жилинского начальник губернского жандармского управления полковник Красавин.

— Вы понимаете, что вы натворили? Кто просил вас торопиться с докладом? Оставили арестованных на попечение этих олухов! Привезти какого-то Кириллова, а Фрунзе упустить! Олухи! Ничего нельзя доверить. Я все должен делать только сам. Соедините меня с начальником жандармского управления Сибирской дороги.

Жилинский повертел ручку, назвал номер.

— Готово, Алексей Васильевич.

Полковник взял трубку.

— Это вы, Леонид Александрович? Что? Простите.— Бросил трубку, уничтожающе посмотрел на ротмистра.— Я же забыл, что вам нельзя ничего поручать. С кем вы меня соединили? Я просил с начальником жандармского управления Сибирской дороги. Си-би-ир-ской! Понимаете? А вы вызвали начальника жандармского управления Забайкальской дороги. Зачем мне

полковник Григорович, когда мне нужен полковник Бардин. Неужели вы думаете, что Фрунзе поедет на восток. Что ему там делать? Он же едет на запад — в Москву, в Петроград, наконец, в свой Иваново-Вознесенск. Вы хоть прочли его дело?

Ротмистр позвонил еще раз. Начальнически крикнул на телефонистку: «Быстрее, барышня!» Протянул трубку: «Пожалуйста, Алексей Васильевич, у телефона полковник Бардин».

Красавин взял трубку.

— Извините, Леонид Александрович, за беспокойство. Но дело не терпит отлагательств. Очень прошу дать по всей линии телеграмму о задержании государственного преступника Михаила Фрунзе. Приметы? Сейчас принесут. По имеющимся сведениям выехал из Иркутска на запад по направлению к Москве или вчера вечером, или сегодня утром...

...«Государственный преступник», обходя стороной села и города, где пешком, где на подводах, а где и на поезде, притаившись на тормозной площадке, двигался на восток. В самую последнюю минуту друзья снабдили явкой в Читу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В начале февраля 1915 года в Восточной Пруссии несколько дней бушевала снежная буря. Потом все стихло, и выдался на редкость солнечный, безветренный день. Ярко искрились наметенные бураном сугробы. Словно по уговору не стреляли ни немцы, ни русские — очищали от снега окопы и ходы сообщения.

После полудня солдатский телеграф принес сообщение, что обозы 208-го полка получили приказ «приготовиться к движению». Через десять минут вся рота пришла к единодушному выводу — подготовка к наступлению не велась, значит, будем отступать.

Вскоре еще одна весть долетела до солдат: 208-й Волжский полк вместе со всей дивизией переходит из 3-го корпуса в 20-й. И эта новость тотчас же была обсуждена. Все сошлись на мнении, что это к лучшему. Командиром 20-го корпуса был генерал с русской фамилией — Булгаков. Солдаты откровенно, даже при офицерах, начали говорить:

— Этот, слава богу, наш, а не немец. С ним не пропадем.

Солдаты не могли знать, что волю командира корпуса давно сковали нелепые, разноречивые приказы штаба армии, фронта и ставки.

Потом известия посыпались, как горох из туго набитого мешка. К вечеру стало известно, что сосед полка справа — 73-я дивизия — уходит на восток, оставив в окопах два батальона пехоты и казачью сотню. А ночью узнали о другом — 73-я дивизия

ушла вся, никого не оставив. На рассвете разведка донесла: в окопах, ранее занимаемых соседом, появились немцы.

Яков точнее других знал о происходящих передвижениях. Подпоручика Юрасова, месяц назад сразу произведенного в капитаны, назначили начальником связи, и он взял Якова к себе ординарцем. Как ни осторожно вел себя Савватеев, как ни скрытно беседовал он с солдатами, капитан, видимо, догадался о его настроении. Как-то, оставшись наедине, Юрасов неожиданно спросил:

— Ты, Савватеев, в тюрьме, случайно, не сидел?

— За что, ваше благородие? — притворился непонимающим Яков.

— За политику.

— Не сидел, ваше благородие.

— Не попался?

— Мне, ваше благородие, попадаться не за что. Я человек честный, не убийца и не вор.

Капитан чуть заметно усмехнулся.

— Выходит, по-твоему, в тюрьму только убийц да воров сажают. А политиков?

— Не могу знать, ваше благородие. Сроду не занимался.

— Иди. И смотри у меня. Будешь при Осинине разговорами заниматься — военно-полевой суд тебе обеспечен.

Унтер-офицера второго разряда Осинина солдаты не любили за грубость и жестокость. Яков вспомнил, что неделю назад он увлекся разговором с тремя солдатами из второго взвода и заметил Осинина только после предупредительных покашливаний слушателей.

Сначала Яков воспринял слова капитана как выговор. Выйдя из блиндажа, он подумал: «Как он сказал: будешь при Осинине разговорами заниматься — суда не миновать! При Осинине? А без Осинина? Нет, тут что-то не так. Видно, неспроста так сказал. Кто же он такой?»

Какими путями солдаты узнавали биографии своих офицеров, никто бы сказать не мог. Но даже самый скрытный человек не мог долго хранить в тайне свою прошлую жизнь. Сведения просачивались от штабных писарей, от земляков и бывших сослуживцев. Не избежали этой участи и офицеры 208-го полка. Солдаты знали, что командир служит в полку почти десять лет, родом он из Польши и что небольшое имение его отца занято немцами.

Адъютанта штаба полка солдаты называли «Каша». Это был безвольный человек, большой любитель поспать. Он только числился адъютантом штаба, а на самом деле все его обязанности исполнял капитан Юрасов.

Все солдаты знали, что капитан — сын начальника 42-й дивизии генерала Юрасова, поэтому он и держится так независимо.

О командире второй роты Бритове знали, что он из купеческого дома. Его отец в Сызрани владел мельницами и хлебными складами. Знали, что Бритова бросила жена и он поэтому «зашибает».

* * *

Весь день 11 февраля 208-й полк выдерживал натиск немцев. Неприятель вел усиленный артиллерийский обстрел, потом поднимался из окопов и шел в атаку, и каждый раз под ружейным огнем русских возвращался обратно, устилая поле трупами.

И в 208-м полку были большие потери. Уже не хватало санитарных повозок. Для отправки раненых использовались патронные двуколки и сани. Убитых не хоронили. Они лежали запорошенные снегом.

Приказ об отступлении получили ночью. Выла вьюга, засыпая дорогу, по которой уходили с обжитого места батареи артиллерийского дивизиона и батальоны пехоты. Арьергард, прикрывая отход, вел по немцам ружейный и пулеметный огонь. Немцы освещали арьергард прожекторами, пускали светящиеся ракеты. Впереди то исчезало, то вновь вспыхивало зарево пожара. Горела подожженная артиллерийским огнем немцев деревня.

Яков шел рядом с капитаном, впереди первого батальона, с трудом рассматривая два ряда ветел, по которым только и можно было угадать дорогу.

Встречный ветер все усиливался, грозился перейти в буран. Люди шли молча, наклонив головы, чтобы как-нибудь защитить лицо от хлеставшего снега.

На третьи сутки полк, отступая с боями, дошел до русской границы и после короткого отдыха направился на Сувалки. Солдаты еле передвигали ноги от усталости и голода. Кроме ржаных сухарей, никакой другой еды не было, да и тех выдавали по две штуки. И еще одна беда навалилась на полк — выдался ясный, солнечный денек и началась оттепель. Солдаты, обутые в валенки, хотя и старались обходить лужи, все же промочили ноги до портянок. Запас сапог, сберегаемых на весну, находился в обозе, и только в Сувалках узнали, что обоз отбит немцами.

Утром следующего дня еще одно известие дошло до солдат. Все санитарные и штабные повозки, груженные офицерскими вещами, направились по шоссе на город Августов, и больше их никто не видел. В пропавшей повозке командира полка находились все карты, в том числе и двухверстные.

Двадцать дней бродил полк в Августовских лесах, пытаясь выбраться из окружения. Иногда он натыкался на другие части 20-го корпуса, также искавшие выхода. Случалось и совсем уж страшное — по ошибке били по своим.

И все же в этих на редкость тяжелых условиях, несмотря на нехватку боеприпасов, уставший, полуголодный полк наносил противнику сильные удары, брал пленных, отбирал у врага орудия и пулеметы. Особенно большие трофеи достались полку в отбитой у немцев деревне Серский Лес.

* * *

После краткого отдыха в Серском Лесу полк еще две недели бродил по Августовским лесам. Эти две недели Яков находился как будто во сне. Все события слились в одно — занесенная снегом дорога, скрип колес единственной уцелевшей двуколки и неожиданные стычки с противником. Полк таял, как льдина в половодье, от которой при ударе отламываются большие куски.

Особенно большой урон людьми полк понес при выходе из Августовских лесов у деревни Млынок. Немногие уцелевшие от бешеного огня немцев солдаты кучками сдавались в плен, и только девять рядовых, командир полка, начальник связи Юрасов и знаменщик укрылись в лесу. Яков пристал к этой группе в самую последнюю минуту. Командир полка выстроил свой крохотный отряд и обратился к нему с речью:

— Друзья! Нас осталось немного. Но мы русские солдаты, верные своей присяге. С нами наша святыня — полковое георгиевское знамя. Видите на нем надпись: «За Севастополь. 1854—55 годы». Наш старый полк храбро сражался и в те далекие годы. Я принял решение — зарыть знамя в лесу, чтобы оно не попало к врагу. Каждый из нас, кто доберется до своих, обязан сообщить об этом месте. Дадим же клятву, что ни один из нас не укажет врагам, где зарыто знамя.

Полковник встал на колено и перекрестился. За ним опустились все остальные.

Пока Яков и знаменщик разогревали костром землю, копали яму, полковник отделил знамя от древка, бережно завернул его в непромокаемый плащ, отданный Юрасовым. Древко распилили на три части, положили поверх знамени. Закидали яму землей, хорошо утрамбовали, затоптали снег — и стала поляна как поляна. Была солдатская стоянка, вон и следы от костра.

Наметили два ориентира: большой валун и старый дуб. Замерили расстояние до места, где зарыли знамя. Каждый записал цифры. Когда все сделали, полковник поровну разделил припасы и приказал по двое пробираться в крепость Гродно. Вытянули жребий — кому с кем идти. Начальнику связи Юрасову досталось идти с Яковом.

— Пошли, Савватеев!

* * *

К полудню добрались до деревни Жабицке. Дальше днем идти опасались — дорога тянулась через поля, могли заметить немцы. До ночи скрывались в овине. Яков обошел несколько

пустых домов. В одном ему повезло: нашел в подполье большую кучу крупного картофеля. В другом — под лавкой стояла бутылка с постным маслом. В этом же доме на печке лежали хотя и подшитые, но крепкие валенки. Яков вспомнил про худые, сбитые сапоги Юрасова, прихватил и валенки. С наступлением темноты развели в овине небольшой костер. Испекли в золе картошку. Начальник связи — отдохнувший, обутый в теплые, сухие валенки, перекидывая в руках горячую картошку, восхищенно говорил:

— Ну и повезло мне, Савватеев. Золотой ты человек!

Яков очистил картошку, измял ее ложкой в котелке, полил маслом, посолил и, отделив половину офицеру, пошутил:

— К этому бы вареву да маленькую чарочку...

Юрасов болтнул флягой, достал стальной раздвижной стаканчик и наполнил его наполовину.

— Держи. Эту посудину мне отец подарил. Из Франции привез.

Яков выпил крепкую, вкусную жидкость.

— Хорошо, ваше благородие. Что это такое?

— Коньяк, Савватеев. Настоящий французский коньяк.

— Теперь мне и умирать можно, — снова пошутил Яков. — Французского вина попробовал.

Из овина вышли темной ночью. Благополучно добрались до проселочной дороги, пересекавшей деревню. У моста через неглубокий овражек случайный немецкий дозор открыл по ним огонь.

Юрасов крикнул:

— Подожди, Савватеев, я, кажется, ранен.

Яков упал рядом с ним. Где-то совсем недалеко стукнул выстрел. Якову ожгло ногу, как будто ее проткнули толстой иглой. Юрасов лежал и не двигался.

— Ваше благородие, — позвал его Яков. Юрасов молчал. Выстрелов больше не было. Савватеев перевернул офицера на спину. Капитан застонал и не открыл глаз. Кое-как перевязав офицера, Яков надел на себя его сумку, поудобнее пристроил винтовку, поднял тяжелое тело офицера к себе на плечо и зашагал, с трудом передвигая раненую ногу.

От усталости, а еще больше от боли он часто останавливался. Пройдя версты две, он опустил офицера на снег и сел рядом, вытянув одеревеневшую ногу. Юрасов, придя в себя, сказал:

— Иди, Савватеев, один, а то оба пропадем.

Яков махнул рукой:

— Чудак вы, ваше благородие!

Отдохнув, он снял шинель и положил на нее Юрасова. Потом из всех ремней, своих и офицерских, соорудил постромки и привязал их к рукавам шинели.

— Я вас повезу, ваше благородие, а ваше дело с шинели не сползать, держитесь крепче за воротник.

Так идти было уже легче. Если бы не снегопад, слепивший глаза, было бы совсем хорошо. С рассветом Яков затащил капитана в лес и, наломав елочных веток, устроил что-то вроде шалаша. К полудню Юрасов оправился и попросил поесть. Яков отдал ему последние три печеные картошки и налил остатки коньяка. Сам съел сухарь и несколько комочков снега.

С наступлением темноты они двинулись дальше. Но как только они выбрались из леса на дорогу, послышались выстрелы. Яков упал, не сказав ни слова. Пуля попала ему в голову, чуть пониже виска. Юрасова ранило еще раз — в ногу.

Через час их нашли разведчики из крепости Гродно.

* * *

Всю весну и большую часть лета 1915 года Яков Савватеев пролежал в лазарете, в городе Орше.

Придя в себя по-настоящему, Яков из разговоров соседей по палате узнал, что без памяти он был около месяца и что ему надо поставить своему ангелу-хранителю по меньшей мере десятирублевую свечу за спасение, так как из 20-го корпуса, окруженного немцами в Августовских лесах, уцелело всего около тысячи человек. Все остальные или убиты, или попали в плен, а это, пожалуй, хуже смерти.

Сосед справа, ратник первого разряда вологодец Тимофей Лещуков, цокая, говорил:

— Благодари бога, что тебя волки не съели.

Яков написал Груне. Ответа не получил. Он, понятно, не предполагал, что письмо попало на перлюстрацию к помощнику начальника губернского жандармского управления по Шуйскому уезду. Груня в мае была внесена в список лиц, всю корреспонденцию которых просматривал унтер-офицер Собакин. Собакин, вскрывая конверт, повредил его и, чтобы скрыть следы своей неосторожности, изорвал письмо и бросил клочки в мусорную корзину.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Последний раз Наташа ездила в Ярославль в конце декабря 1914 года. И на этот раз, как и во все предыдущие приезды, повидать Степана не удалось. Больше того, дежурный надзиратель вернул всю передачу.

— Напрасно, баба, стараешься. Кормят у нас хорошо. Вези домой ребятишкам.

— Скажите мне, — со слезами спросила Наташа, — жив ли он?

— А чего ему делается? — равнодушно ответил надзиратель. — Конечно, жив. Кабы умер, сказали бы.

После долгих просьб надзиратель принял десять рублей, обещав половину передать Степану. Подобрев немного, надзиратель посоветовал:

— Не траться попусту. Все равно свидания тебе не дадут, передачи не примут, а деньги лучше почтой присылай.

Он, понятно, не сказал, что свирепствовавший в «Коровниках» в это время сыпной тиф уносил ежедневно по нескольку человек и что Степан, заболев одним из первых, с трудом перенес болезнь и лежал в палате выздоравливающих.

Еще до этого Наташа страдала от приступов страшной, невыносимой тоски, которая темной пеленой окутывала ее душу. Случались дни, когда она не произносила ни одного слова, кроме тех, что требовала от нее работа у самотаски печатной машины на фабрике Куваева. А говорить там приходилось мало, больше выслушивать беспричинную брань печатного мастера, два-три раза в смену поднимавшегося в сушилку.

Одна Груня умела расшевелить подружку и вызвать у нее улыбку, которая, впрочем, тотчас же исчезала. По возвращении из последней поездки в Ярославль Наташа еле отвечала на расспросы Груни. Груня, поняв ее душевное состояние, тоже замолчала. Только в первый вечер, услышав, как Наташа тихо плачет, уткнувшись в подушку, Груня обняла ее и, ласково, как мать, поглаживая ей голову, повторяла одно и то же:

— Поплачь, Наташенька, сестренка моя, поплачь.

Больше Наташа не плакала. Но она начала жить странной, ей самой непонятной жизнью. Вовремя просыпалась, одевалась, умывалась, даже тщательнее, чем раньше, расчесывала волосы. Ставила самовар, варила картофель, завтракала — и все это, как во сне, механически, без всякого желания. Позавтракав, будила Груню, уходившую попозднее, в дневную смену, и неторопливо шла по протоптанной в глубоком сугробе тропинке на фабрику.

Иногда ее догоняли соседки, заговаривали с ней. Она отвечала и тут же забывала, о чем ее спрашивали.

Она стала реже вспоминать Степана и совсем перестала думать о Дашеньке. Товарки по фабрике сначала называли ее между собой «рассеянной», а потом кто-то сказал про нее «тронутая». Но работала она хорошо, аккуратно, и печатный мастер стал браниться реже.

Дома она вела себя, как чужая, и Груня, не выдержав, предложила ей:

— Может, тебе не нравится жить у меня? Ты не стесняйся, скажи. Я тебе другую квартиру подыщу.

Наташа не обиделась, только подняла свои огромные глаза и глухо сказала:

— Что ты, Грушенька. Куда я от тебя уйду. — Подумав, спросила: — Может, я тебе мешаю?

Груня тихонько чертыхнулась:

— Лечиться тебе, Наталья, надо.

В первое же воскресенье Груня повела ее к врачу. Тот задал привычный вопрос: «На что жалуетесь? Разденьтесь». Наташа, машинально расстегивая кнопки у кофточки, словно удивляясь этому вопросу, ответила:

— Я жалуюсь? Я ни на что не жалуюсь.

Груня незаметно для нее что-то шепнула врачу.

— Ну, давайте я послушаю.

— Тоскует она у нас, — объяснила Груня вслух.

— Тоску я не лечу, — ответил врач. — Не по моей части. Я больше желудком да печенкой интересуюсь.

Он внимательно осмотрел Наташу и сел писать рецепты.

— Со стороны сердца и других внутренних органов я никаких отклонений не нахожу. Тоны, правда, глуховатые, чувствуется переутомление. Питаетесь-то как?

— Как все,— ответила за Наташу Груня.— Щи да каша, но пока досыта. Кринку молока на три дня у соседки берем.

— Молоко, это хорошо, — согласился доктор. — Молоко ей полезно. Закажите микстурку, порошочки. Все ваше недомогание, милая, за счет переутомления нервной системы. Принимайте лекарство, — я думаю, пройдет.

Груня протянула доктору два рубля, но он отстранил ее руку, шепнув: «Пусть она одевается», — увел Груню в другую комнату.

— Что с ней, доктор?

— Она очень больна. Вы в глаза ей посмотрите. Совсем потухли. И вялость эта, бледность. Страшное малокровие. Но это не главное.

Доктор покрутил пальцем возле виска.

— Тут у нее не все в порядке. Поглядывайте за ней. И старайтесь ничем не раздражать. Покой для нее самое лучшее средство. Покажите ее мне недельки через две...

В начале марта Груня выпросила у Наташи адрес сестры Степана в Нижнем Новгороде и тайно послала ей письмо. Ответа не было долго, но в апреле пришло сразу два письма — от сестры и от брата Степана — Андрея, которому сестра переслала письмо Груни.

«Уважаемая Аграфена Васильевна! — писал Андрей. — Сердце мое облилось кровью, когда я узнал о плохом здоровье драгоценной сношки моей Натальи Матвеевны. Низко кланяюсь я вам за это письмо, хотя оно и горестное. Но все же правду я узнал о Наташе, а то ведь мы совсем потеряли ее из виду. Хорошо бы, понятно, отправить Наташу к нам, в Алексино, но только наших там никого не осталось, и дом наш стоит, по слухам, заколоченный. Маманя наша Анфиса Петровна осенью умерла, и жить в деревне некому. Пишите мне о здоровье Наташи обязательно. А если что узнаете о моем брательнике, тоже сообщите.

Мы о нем ничего не знаем. Адрес мой временный: город Вологда, лазарет попечительного общества, выздоравливающему солдату 479-го Кадниковского полка Андрею Важеватову».

Сестра сообщила, что соберется в Иваново-Вознесенск проведать Наташу.

Груня покаялась, что сама, без спросу, завязала переписку с родными, и показала письма Наташе. Но она и к этому отнеслась равнодушно. Только прочитав о смерти Анфисы Петровны, горько сказала: «Так я ее больше и не увидела».

В начале мая Груня по пути домой забежала в магазин Чернова. Только она пристроилась к длинному «хвосту» в рыбный отдел, как кто-то сзади закрыл ее глаза большими, жесткими ладонями.

— А ну, угадай?

— Пусти, леший.

Женщины, стоявшие в очереди, подзадорили:

— Не пускай! Пусть узнает.

Груня вывернулась из цепких рук и обомлела — перед ней, в солдатской форме, с двумя Георгиями на защитной гимнастерке, стоял, улыбаясь, Василий.

— Васенька! Да откуда ты появился?

— В отпуске, Грушенька. За второй крест десять дней, без дороги, дали. Я в Шуе неделю погостил, послезавтра ехать...

Умиленные неожиданной на их глазах встречей женщины без очереди пустили Груню к прилавку.

— Бери селедку, Аграфена Васильевна, воблы прихватывай, а «одеколончик», поди, дома найдется.

Василий хлопнул себя по карману:

— У георгиевского кавалера свой запас.

Дорогой Груня рассказала Василию о всех близких.

— Разлетелись все в разные стороны. Кто в Сибири, кто на фронте. Я так рада, что тебя встретила. Может, и Наталью мою ты хоть немножко всколыхнешь.

Наташа не видела Василия девять лет, с осени 1906 года, а встретила его так, как будто только вчера с ним рассталась: не удивилась неожиданному гостю и не обрадовалась.

— А, Вася! Здравствуй. Давненько мы не виделись, давненько. Садись, Вася, давай с нами чай пить.

Василию было о чем рассказать — почти с первого дня он находился на передовой, много раз ходил в разведку.

Груня не удержалась, объявила:

— За царя-батюшку головой рискуешь? Кресты зарабатываешь?

Василий серьезно ответил:

— Многие мне так говорят. Только они, как и ты, ошибаются. Я, Груня, как был большевик, так им и остался. И мои кресты не мешают мне, а помогают. Когда я с солдатами разгова-

риваю про тайное, они видят, что с ними не трус, а такой же, как они, солдат. А трусов на фронте не любят.

Наташа, пока ставила самовар, чистила селедку, все смотрела на Василия, как будто внимательно слушала его. Но когда он о чем-то спросил ее, ответила невпопад. Уходя, Василий у калитки спросил Груню:

— Что это с ней?

Груня заплакала.

— Все замечают. Пропадает моя Наташа. Очень она Дашу свою и Степана любила, а теперь всего лишилась...

* * *

И местные и губернские власти с тревогой ждали мая 1915 года. Десять лет назад в эти дни вспыхнула знаменитая стачка, начал заседать на Талке Совет рабочих депутатов. Вдруг возьмут да и отметят десятую годовщину? Конечно, нет сейчас в городе ни «Отца», ни Дунаева, ни Балашова. Нет и этого — Трифоныча — Арсения. Мало осталось на свободе депутатов первого Совета, а те, что остались, попритихли, помалкивают. А все же, чем черт не шутит, пока губернатор спит?

Но губернатор как раз не спал. В начале мая он покинул уютный особняк во Владимире, неподалеку от древних соборов, и прикатил в крамольный, черт его подери, Иваново-Вознесенск. Загонял полицмейстера Авчинникова и всех его помощников до седьмого пота. Дважды в день вызывал для совета помощника начальника губернского жандармского управления по Шуйскому уезду. Тот вконец задергал агентуру, роздал за неделю полугодовой «поощрительный» фонд. Недавно заагентуренные новички, робея перед начальством, притаскивали донесения из двух-трех фраз: «Васька Чугунов матерно честил дороговизну, а больше ничего такого в моем присутствии не произносилось». Ротмистр бешено, заикаясь от гнева, кричал на них, молотил кулаком по столу и под конец давал пинка. Натасканные, умудренные многолетним опытом агенты, вспоминая прошлые синяки и бездоходные дни, плели совсем несусветное о шайке террористов, «только вчера уехавшей в Москву», о «готовящейся якобы гражданской панихиде об «Отце» и Оле Генкиной». Агент Моисей Нейман, беженец из-под Варшавы, принес листовку подпольного комитета Бунда, хотя Бундом в Иваново-Вознесенске никогда и не пахло. Прижатый ротмистром к стенке, Нейман сознался, что листовку изготовил сам, надеясь получить за находку приличное вознаграждение.

Взбудоражились не только власти. Тревога охватила семьи фабрикантов — не начали бы, как десять лет назад, палить дачи. А тут, как на грех, разные знамения — к Бурылиным в столовую змея заползла. Может, и не заползла, а подбросили какие-нибудь озорники, а все же тревожно. На фоминой неделе

ночью вдруг заговорили колокола на соборной звоннице. Сторож с городовым кинулись по крутой винтовой лестнице. Добрались до самого верху — никого. Только спустились на каменные плиты, как опять тихонько загудел главный колокол.

В поселке Фрянькове, за железнодорожной линией, родила баба тройню. Конечно, ничего особенного тут нет, хоть и редко, но случалось и раньше такое. Но, говорят, один из младенцев мужского пола сразу заговорил про войну, про Гришку Распутина и про забастовку.

На открытие сезона в летнем помещении «Клуба господ приказчиков» в графском саду пригласили из Одессы куплетиста Смеляковского. Когда он, долговязый, худой, губастый, впервые появился перед публикой, его встретили жиденькими аплодисментами. Куплетист подошел к рампе и запел надтреснутым, но на редкость выразительным голосом:

Шумел, гремел пожар Европы,
С земли стирались города.
И новый бич, исчадье злобы
Он всюду сеял без труда.

Смеляковский протянул длинную руку за кулису. Ему подали что-то, покрытое черным платком. Зрители не успели мигнуть, а на куплетисте — лакированная каска. Под носом выросли пикообразные усы. Ни дать ни взять германский кайзер Вильгельм II. Надтреснутый голос пел:

А он в зловещей черной каске,
Усы вскрутивши до ушей,
Смотрел на мир как дьявол в маске,
Смеясь над муками людей.

Смеляковскому хлопали долго, пока он не повторил. А утром его нашли в номере мертвым с перерезанным бритвой горлом. По городу пополз слух, что куплетиста изничтожили немецкие шпионы за издевку над их императором. Правда, на поверку вышло, что Смеляковского зарезал его компаньон и не по артистической деятельности, а по торговле порнографическими снимками и наркотическими средствами.

Все это было нехорошо, непривычно, тягостно.

* * *

И все же власти просмотрели. Городская управа под нажимом торговцев 25 мая отменила таксы на продовольствие, установленные зимой по требованию рабочих. Цены сразу прыгнули. На следующий же день фабрики остановились. Начались выборы уполномоченных. Запахло 1905 годом. К ивановознесенцам через два часа присоединились шуяне. Они потребовали проверить вместе с полицией склады у торговцев: не прячут ли

Носковы, Турушины, братья Кочешковы муку, пшено и сахар, чтобы потом еще взвинтить цены. Нашли, в общем, немного. Тогда ивановознесенцы и шуяне потребовали от губернатора:

— Почему запасов мало? Голодом морить собираетесь?

Городские управы обоих городов отпустили средства для закупки продовольствия. Через день-два пригнали три эшелона муки. Фабрики снова заработали.

Первые летние месяцы прошли спокойно, и местные знатоки упрямо твердили:

— Больше в этом году забастовок не будет. Овощи пошли — лук, огурцы, картошка. Теперь наши озорники сыты.

В середине июня в соседней Костроме на улицу вышла демонстрация против дороговизны. Полиция выхватила из первых рядов несколько демонстрантов и отправила в тюрьму. Рабочие потребовали освобождения арестованных. В толпу стреляли. На запрос об этом в Государственной думе товарищ министра внутренних дел ответил:

— Прискорбное событие действительно имело место. Убито двенадцать, ранено сорок пять!

Груня прибегала домой разгоряченная, торопливо съедала приготовленный Наташей обед и исчезала. Теперь она не рассказывала подружке о происходящем в городе, зная наперед, что Наташа выслушает, зябко поводя плечами, и ни о чем не расспросит, ничего не скажет.

Через несколько дней после костромского расстрела Груню навестил Михаил Кадыков.

— Как твои бабы? — спросил. — Готовы на забастовку?

— Поддержат.

Кадыков подал ей пачку листовок.

— Раздай!

Груня сама с волнением прочитала листовку. В ее руки попадали брошюры, газеты, изданные за границей, а своей, иваново-вознесенской листовки после выхода из тюрьмы она еще не видела. Эта была первой.

«Товарищи рабочие и солдаты!

Братоубийственная война все разрастается и разрастается. Все, что есть цветущего, здорового и трудоспособного, принесено уже на алтарь войны в интересах буржуазии. Льются слезы вдов, сирот, отцов и матерей. Голод, нищета, разорение и произвол царят повсюду. Правительству мало тех миллионов регулярных воинов, запасных перворатников и новобранцев, которых погнали в первую очередь и уже уложили на поле брани. Оно забирает 18-летних юношей, а за ними погонят ратников второго разряда. На убой отправляют последних работников, кормильцев семей. За что пролито море народной крови?

Надо смести всех палачей — от царя и министра до урядника. Надо на развалинах деспотизма и варварства водрузить знамя свободы, мира и братства народов. Будем прислушиваться

к голосу социал-демократии и при первом же удобном случае повернем оружие против нашего настоящего врага — правительства, превратим братоубийственную войну в гражданскую войну — революцию. Чем помирать за врагов своих, помрем на баррикадах за постоянный мир, за свободу!

Довольно крови за врагов своих!

Долой самодержавие!

Да здравствует демократическая республика!

Временный Иваново-Вознесенский областной комитет РСДРП (большевиков)».

На Груню так и пахнуло юностью, Талкой.

— Неужели, товарищ Кадыков, в Иванове напечатали?

— Нет, Аграфена Васильевна, до этого мы еще не выросли, чтобы листовки печатать. Москва помогла.

Всю ночь полиция соскабливала со стен листовки.

Почти весь день десятого августа Груня провела на митингах, которые один за другим возникали на фабричном дворе. В полдень она забежала домой поесть и очень удивилась, не застав Наташу дома. Но ей все объяснила записка: «У нас тоже бастуют. Молоко в погребе».

Выйдя из калитки, Груня столкнулась с городовым. Он мазал большой малярной кистью верею:

— Вы зачем мне ворота пачкаете?

— Не шуми, — огрызнулся городовой, наклеивая беленькое квадратное объявление. — Почитай лучше. Тебя тоже касается.

Груня прочитала объявление губернатора, запрещающее забастовку, собрания и демонстрации. Концовка у объявления была угрожающей: «Пусть всякий знает, что в подавлении беспорядков я не остановлюсь принять самые крайние меры».

Груня посмотрела вдоль пустынной улицы. Белые квадратики виднелись на многих заборах. Городовой мазал кистью верею у соседей. Груня помчалась на фабрику.

* * *

На площадь перед городской управой демонстранты собрались к вечеру. Один за другим выступали ораторы. Из окон управы, как и десять лет назад, смотрели губернатор, полицмейстер, члены управы. Во дворе стояли спешенные казаки. За соборной оградой — солдаты.

Особенно хорошо говорил на городской площади Андрей Рябинин.

— Что же это происходит, товарищи? Мы тут начинаем помаленьку с голодухи пухнуть, в окопах солдаты вшей кормят и жизни лишаются, а им, нашим хозяевам, все мало. Сегодня

ночью арестовали больше двухсот человек. Скажите, где сейчас Михаил Кадыков? В тюрьме. Где Рахов? Где Рыбаков? Тоже в тюрьме. Что-то и Наумова не видно среди нас. Тоже, наверное, в тюрьме...

Потом на трибуну поднялась женщина, и Груня с ужасом узнала Наташу: «Господи! Видно, совсем тронулась!» Она начала пробираться ближе к бочке, сначала даже не слушая, что говорила Наташа. А та стояла на бочке, обводя толпу суровым взглядом. Платок у нее съехал на плечи, лицо побледнело. Она прижала руки к груди и с тоской произнесла:

— Товарищи! Дорогие товарищи! Все у меня было, как у людей. Были отец и мать, был брат, был муж и была доченька — Дашенька, очень хорошая девочка. А теперь у меня никого нет. Брата убили. Отец и мать раньше, чем положено, от горя в могилу ушли. Муж все по тюрьмам мучается. А Дашенька умерла. И все мое горе от них, от этих вот негодяев. Товарищи! Не поддавайтесь им. Не бойтесь их!

Груня пробралась к самой бочке в тот самый момент, когда Наташа, кончив речь, спрыгнула, поддерживаемая товарищами, на землю.

— Груня, милая!

Перед Груней была прежняя Наташа, с яркими, горящими глазами. Она облизала запекшиеся губы.

— Попить бы мне. Да не смотри ты на меня, как на дурочку...

А на бочке Егор Зиновьев, он же «товарищ Федор».

— Товарищи! Время уже позднее. Давайте до темноты расходиться.

От тюрьмы «Кокуй» бежали люди и кричали:

— Увозят! Всех арестованных увозят. Спасать надо!

Толпа двинулась с площади на Приказный мост. Зиновьев соскочил с бочки, пристроился в первый ряд. Груня с Наташей оказались позади него.

Поперек дороги, неподалеку от моста, выстроился взвод солдат. Зиновьев вышел вперед, поднял руку.

— Товарищи солдаты!

Послышался полицейский свисток, потом второй.

Солдаты взяли винтовки на изготовку.

— Товарищи солдаты! Вы видите, мы безоружны...

Третий свисток был особенно резким, и вслед за ним раздался залп. Зиновьев упал. Стало тихо. Заходящее солнце освещало розовым светом купола собора.

В тишине, длившейся несколько секунд, раздались крики:

— Не бойтесь, товарищи! Это холостыми.

Второй залп, третий. Люди падали. Со двора управы карьером вылетели казаки.

Наташа сидела на мостовой, держа на коленях голову Зиновьева. Левый рукав белой кофточки был весь в крови.

Груня схватила ее.

— Наталья! В овраг...

Она помогла Наташе спуститься через перила моста в овраг. По его скользкому от грязи дну бежали люди, несли раненых.

— Рука у тебя цела?

Наташа мотнула головой.

— Жжет.. Ничего, Грушенька, заживет.

Ночью полиция с фонарями убирала трупы. Пожарные смыли с мостовой кровь. Кто-то позаботился — распорядился посыпать свежего, желтого песочка. Ночью же начались аресты. Груня, опасаясь за Наташу, уговорила ее уехать в Петроград, к Вере и Сергею Ивановичу. До Кохмы подружки шли пешком.

— Если будет какая весточка от Степы, тут же сообщай. Он ведь не будет знать, где я, и ему сообщить нельзя.

— Все сделаю, Наташенька. Не сомневайся. Я так рада, что ты поправилась.

— А ты знаешь, кто меня вылечил? Зиновьев. Он меня утром встретил: «Что ж ты, Важеватова, такая невеселая? Скоро твой Степан вернется, а ты печалишься. Радоваться надо. Скоро всей этой сволочи крышка». И так он это сказал, что я ему поверила: «Неужели, — говорю, — скоро?» А он смеется: «Помяни мое слово — года не пройдет, как Николку скинут. Гляди, народ поднимается».

Подошли к станции. Груня крепко расцеловала подружку, помахала платочком.

— Пиши.

Около дома Груню поджидали два городовых, один в штатском и высокий офицер с черными усами. Хрипел от ярости во дворе пес.

— Собирайся, Савватеева! Хватит тебе людей мутить. А где твоя квартирантка?

Груня усмехнулась.

— Придется вам, господа хорошие, поскучать со мной. Квартирантку мою вам не догнать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

В середине августа 1915 года с Якова Савватеева сняли повязки, а через неделю первый раз пустили в город. Накануне он прочитал в газетах небольшую заметку об иваново-вознесенских событиях, заканчивавшуюся тревожной фразой: «Есть убитые и раненые», — и очень разволновался: не попала ли под обстрел Груня?

Дежурный по госпиталю, выдав ему увольнительную, строго предупредил:

— Погуляй до восьми и домой. Не вздумай к «Варваре» заходить.

«Варварой» в госпитале называли шинок, который любители выпить отыскали где-то на окраине Орши. Солдаты дознались, что хозяйка шинка старуха Варвара за день до запрещения продажи водки перетащила к себе в подполье весь запас из казенной винной лавки, где сидельцем служил ее сын. Сейчас старуха брала за полбутылку, сколько в мирное время не брали и за ведро, зато выносила водку неразбавленную, с казенной сургучной печатью.

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Не занимаюсь.

— Ну и молодец. Можешь в электротеатр зайти, на солдатские места.

Яков, выйдя из госпиталя, прошел небольшую, тихую улочку и вскоре добрался до почты, до отказа набитой военными. Купил бумаги и конвертов и, дождавшись, когда освободится место у столика, написал письма Груне и Егору Зиновьеву с просьбой сообщить, что случилось с женой и Наташей, почему они молчат.

Опуская письма в ящик, он услышал:

— Попрошу еще один бланк.

Яков посмотрел на говорившего. Человек в штатском с небольшой курчавой бородкой, стоя у окошка, писал телеграмму. На левой руке у него висела толстая дорогая трость. Он взял бланк:

— Спасибо. Можно еще один?

Яков пошел к выходу. Человек у окошечка повернулся к нему в профиль и недовольно заметил стоявшему рядом с ним солдату:

— Не напирай, солдат. Видишь — у меня дело.

Якову от удивления сделалось на мгновение даже нехорошо, и он прислонился к стенке — в человеке, покупавшем телеграфные бланки, он узнал Игоря Кручинина.

Смятение охватило Якова: «Что делать? Он сейчас уйдет! Пойти за ним! А вдруг он заметит? А зачем он мне? Как зачем? Надо узнать, под какой фамилией и где он живет».

Он торопливо сбежал по лестнице и встал у выхода ждать Кручинина. Прошло несколько человек, а Кручинин все не показывался. Наконец спустился и он, пряча на ходу в карман футляр с очками. Он окинул Якова равнодушным взглядом, неторопливо вышел на улицу, прихрамывая, перешел через дорогу и скрылся в подъезде гостиницы. Яков, выждав немного, последовал за ним. Он вынул из кармана кошелек и спросил у швейцара:

— Скажите, пожалуйста, сейчас барин вошел, как его фамилия? Хромает немножко, с тростью ходит.

Швейцар подозрительно спросил:

— А для чего это тебе знать?

Яков показал кошелек.

— По-моему, это он сейчас на почте обронил.

— А ну покажи!

— Нет, я сам.

— Леший с тобой, иди. Восьмой нумер. А зовут его Виктор Борисович Гроздинский.

— Что, он из поляков?

— Должно быть. Он у нас каждый месяц бывает. Деловой мужчина. В Варшаве, говорят, большой магазин имел, а сейчас в Минске. Галантереей занимается.

Яков поднялся на второй этаж и, найдя дверь с цифрой «8», постучал. Женский голос с нерусским акцентом недовольно спросил:

— Кто там, войдите!

Яков толкнул дверь и очутился в маленькой передней. На него вопросительно смотрела молодая высокая женщина с большой копной светлых волос. От нее шел сильный запах духов.

— Кто вам нужен?

— Господин Гроздинский здесь живет?

— Это тебя, Виктор, — по-русски сказала женщина и что-то добавила по-польски.

Кручинин вышел в переднюю. Сейчас, без шляпы, в расстегнутой рубахе, он совсем походил на прежнего студента.

— В чем дело? — несколько тревожно спросил он.

— Это не вы, ваше благородие, случайно кошелек на почте обронили?

Кручинин взял кошелек, посмотрел и, улыбаясь, протянул обратно.

— Спасибо, но это не мой.

— Ну тогда, значит, он мой будет, — в тон ему сказал Яков. — Извините за беспокойство. Теперь я жене в Иваново-Вознесенск могу рублишек двадцать послать.

Хотя в передней было не особенно светло, Яков все же увидел, какой испуг промелькнул в глазах Кручинина. Но, видно, сказалась многолетняя тренировка, он овладел собой и, по-прежнему улыбаясь, спросил:

— Может, у пана солдата не хватает? Могу немного добавить!

— Премного благодарен, ваше благородие. Будьте здоровы.

— Дзенкую, пан. И вам того же.

Швейцар внизу с любопытством спросил:

— Взял?

— Еще бы не взять, — махнул рукой Яков. — Паны деньги любят.

* * *

Не успел Яков войти во двор госпиталя, как навстречу ему выбежал дневальный.

— Куда ты запропастился? Начальник разыскивает.

В канцелярии делопроизводитель сообщил:

— Тебя, Савватеев, в ставку верховного главнокомандующего требуют. Завтра поедешь в Могилев.

— Кто меня требует?

— Бумага пришла. Подписана начальником канцелярии генерал-квартирмейстера. Приказано одеть тебя в новое обмундирование. Иди получай. Потом покажись.

Когда Яков, одетый в наглаженные, подогнанные по росту брюки и гимнастерку, в ярко начищенных сапогах, подпоясанный новеньким ремнем, заявился в палату, соседи ахнули:

— Где это тебя так нарядили? Чисто офицер!

И начались обычные солдатские разговоры — кто во что горазд.

— В ставку требуют! Да ты знаешь ли, кто теперь верховный главнокомандующий? Сам царь. Может, тебя к нему вызывают. Держись, Савватеев!

Но никто толком не мог объяснить — зачем понадобился Яков генерал-квартирмейстеру.

Утром Якову выдали документы и деньги, и он, простившись с друзьями по палате, держа на руке новенькую шинель, зашагал на вокзал. Несколько раз его останавливали офицеры. Один постучал стеком по шинели.

— Ты разве не знаешь, что нижним чинам так носить не положено. Увольнительную!

Яков показал свидетельство. Слова «следует в ставку в распоряжение генерал-квартирмейстера» произвели на офицера необычайное впечатление.

— Иди, братец, иди...

Проходя мимо гостиницы, Яков вспомнил о Кручинине. Он козырнул швейцару:

— Здорово, борода! Пан-то мой спит?

— Хватился. Твой пан еще вчера вскорости после тебя в Минск уехал. Первого класса не было, в третьем покатил.

* * *

Ставка верховного главнокомандующего занимала здание могилевского губернского правления. Рядом, во втором этаже губернаторского дома, жил царь. Первый этаж занимали министр двора Фредерикс и его зять дворцовый комендант Воейков. Чины свиты, министерства, двора и ставки занимали гостиницы «Метрополь», «Франция», «Англия». В бывшем кафешантане при гостинице «Бристоль» помещалось штабное офицерское собрание.

Военные с меньшими званиями, чиновники штаба и управлений ютились по обывательским квартирам. Кому-кому, а владельцам домов и домишек пребывание ставки в Могилеве при-

носило огромные барыши: даже за теплые чуланы хозяева драли плату, как за номер в «Астории».

Никогда еще за всю свою историю небольшой, тихий Могилев не видел такого большого количества титулованных особ, генералов, полковников, военных атташе союзных и нейтральных государств, корреспондентов русской и иностранной прессы. По улицам этого провинциального города запросто разгуливали великие князья, князья, графы и бароны.

В самых обыкновенных бакалейных лавочках, где до войны хозяйки до хрипоты торговались за каждую копейку, висели новенькие вывески: «Поставщик двора его императорского величества». Там, где когда-то плотовщики и крестьяне покупали дунаевскую полукрупку, а парни разорялись на шестикопеечный «Трезвон», можно было приобрести самые дорогие сигары и наилучшие папиросы «Каприз». В ресторанах и в трактирах, срочно переименованных в «Савой», «Британию» и в «Белую розу», посетителей обслуживали вежливо-степенные официанты из столичного «Додона» и «Медведя». Несмотря на запрет казенной продажи питий, здесь подавали любой напиток, в том числе и простую водку в бутылках из-под французского вина. В «Белой розе» водку приносили в небольших, на пять стаканов, самоварах.

На перекрестках центральных улиц стояли попарно полевые жандармы и городовые. Вокруг губернаторского дома сновали личности в штатском с подозрительно оттопыренными задними карманами. Дворцовый комендант Воейков привез с собой полный штат самых натасканных, быстроногих агентов наружного наблюдения.

Яков, сойдя с поезда, направился по адресу, указанному железнодорожным комендантом. Ему часто приходилось печатать шаг и становиться во фронт — навстречу на каждом шагу попадались офицеры. Казалось, Могилев населен одними офицерами. Несколько раз обгоняли черные и темно-синие сверкающие лаком автомобили. Поближе к центру Яков несколько минут шел сзади двух штатских, одетых в одинаковые чесучовые пиджаки и полосатые брюки, и невольно прислушивался к их разговору. Маленький толстяк, то и дело вытирая потную шею, возбужденно говорил:

— Вы знаете, сколько Прохоров за год отхватил? Не меньше тринадцати миллионов! Он шесть миллионов банковских обязательств покрыл да семь миллионов припрятал. На ситчике он столько не заработал бы. Это ему «шрапнелька» принесла. А возьмите Гужона. Цена на колючую проволоку самое большое по шести рублей за пуд, а он по двенадцати сбывает. Нет, батенька, что вы ни говорите, а я до самого военного министра Поливанова доберусь. На каком основании мой заказ аннулирован? Почему Кольчугину передали?

Второй, оглянувшись и увидев солдата, тихо произнес:

— Вам, Александр Петрович, Поливанов не поможет. Надо через Григория действовать. Есть при нем бойкий человечек, вроде секретаря, фамилия Симанович...

Толстяк замахал руками:

— Через Распутина! Ни за что!

Оглянулся и остановился, пропуская Якова. До Савватеева донеслись последние слова:

— Обдерет, как медведь козу!..

* * *

Дежурный офицер канцелярии генерал-квартирмейстера, взяв документы Савватеева, с любопытством посмотрел на него и непривычно для Якова обратился к нему на «вы».

— Вам придется обождать. Вы прямо с поезда? — Он подал Якову картонку с цифрой и печатью: — Спуститесь вниз, позавтракайте.

В небольшой столовой за круглым столом, покрытым белой скатертью, сидел знаменщик 208-го Волжского полка Евстигней Сумароков, тоже в новеньком с иголочки обмундировании.

— Давно здесь? — спросил Яков, присаживаясь.

— Со вчера. С передовой вызвали. В баню сгоняли. Потом одели, обули. Не иначе, как большому начальству показывать собираются.

Солдат в белой курточке, надетой поверх гимнастерки, подал им котлеты, рисовую кашу и какао.

— Здорово вас тут кормят, — сказал ему Сумароков, беря из плетеной корзинки пшеничный хлеб.

— Ты давай ешь быстрее,— посоветовал солдат.— В десять часов офицеры придут.

Наверху, в приемной, Якова окликнули:

— Здравствуй, Савватеев!

Перед зеркалом причесывался Юрасов.

— Здравия желаю, ваше благородие, — ответил Яков и тут же поправился, — ваше высокоблагородие, — на Юрасове были погоны подполковника.

— Ну, как твое здоровье, Савватеев? Вид у тебя лихой, хоть сейчас в строй. Подожди меня здесь.

Юрасов, позвякивая шпорами, прошел в канцелярию. И еще одна встреча состоялась в это необычное утро — в приемную вошел командир 208-го полка, которого Яков последний раз видел в Августовском лесу около зарытого знамени. Оба солдата вытянулись перед полковником, а он, к их удивлению, по очереди обнял каждого, взволнованно повторяя:

— Здравствуй, голубчик! Здравствуй!

Потом им выдали направление и приказали идти в общежитие при гостинице «Метрополь», где уже находились еще три солдата 208-го полка. Они наперебой стали рассказывать новости. Зарытое знамя 208-го полка нашли разведчики и доставили

в ставку, завтра сам царь будет вручать его оставшимся в живых офицерам и солдатам. А в живых осталось всего пять солдат, подполковник Юрасов и поручик Бритов, который приехал три дня назад и беспробудно пьет.

* * *

И на этот раз беспроволочный солдатский телеграф не обманул. Церемония вручения знамени состоялась на другой день. В половине десятого утра солдат ввели во двор губернаторского дома, где стоял, блестя трубами на солнце, оркестр. Солдат выстроили неподалеку от ворот. Вскоре к ним подошли Юрасов и бледный, опухший поручик Бритов. Двор постепенно заполнялся чинами ставки.

Сосед Якова, москвич Рыжакин, тихонько объяснил:

— Видишь высокий такой, с попом разговаривает? Это великий князь Андрей Владимирович, а поп — самый главный, дворцовый — протопресвитер Щавельский. Толстенький ремень на животе держит, с бородой — Воейков.

На крыльцо губернаторского дома вышел флигель-адъютант. Во дворе стихло. Музыканты подняли трубы. Капельмейстер повернулся спиной к оркестру. Флигель-адъютант остановился у крыльца, держа руку под козырек. Из дома один за другим выходили генералы и становились несколько позади флигель-адъютанта. Яков, не сводивший глаз с крыльца, даже не заметил, как впереди их маленького строя стал командир полка.

Послышалась команда: «Под знамя, смирно!» Рослый, с Якова, офицер собственного его величества конвоя вынес знамя 208-го полка. По обеим сторонам от него шли еще два офицера. Оркестр заиграл гимн, и на крыльцо вышел царь в белом кителе. За ним показались начальник штаба Алексеев, генерал-квартирмейстер Пустовойтенко и дряхлый министр двора Фредерикс.

Николай, щурясь от яркого света, неторопливо прошел несколько шагов и стал неподалеку от знамени. Позади остановились Алексеев и Пустовойтенко. Оркестр умолк. Флигель-адъютант сделал знак офицеру со знаменем, и тот подошел к царю ближе.

Командир полка негромко подал команду: «Шагом марш!» — и, печатая шаг, пошел вперед. За ним двинулись остатки 208-го полка. Не доходя двух шагов до знамени, полковник остановился.

Николай протянул руку, и офицер пододвинул ему древко. Чуть прикоснувшись к нему, Николай, стараясь смотреть не на высокого полковника, а на маленького Бритова, ровным глухим голосом произнес:

— Вручаю боевое знамя. Выражаю уверенность, что доблестный полк ваш с честью послужит отечеству.

Полковник шагнул, и знамя очутилось в его руках. Он опустился на одно колено и припал губами к старой, пахнувшей землей материи.

Знаменщик Сумароков встал рядом и привычно поднял знамя на плечо. Оркестр снова заиграл гимн. Николай в сопровождении флигель-адъютанта с подносом в руках подошел к солдатам. Он поднял на Якова свои водянистые глаза и спросил:

— Как фамилия?

— Савватеев, ваше императорское величество, — по уставу ответил Яков.

Николай взял с подноса Георгиевский крест и положил Якову в руку.

— Как фамилия? — спросил он следующего.

— Рыжакин, ваше императорское величество.

Раздав солдатам Георгии, царь, пожимая руку полковнику, сказал ему несколько слов и ушел под звуки оркестра в дом. Во дворе сразу стало шумно. Офицеры толпились около Юрасова и Бритова, поздравляли их. Особенно шумно поздравляли полковника, приглашенного царем на обед. Солдаты со знаменем стояли, ожидая команды. Яков услышал, как полковник ответил кому-то:

— Теперь в Тверь, на формирование.

Попозднее, когда офицеры наконец вспомнили о солдатах и распорядились отнести знамя туда, где оно находилось до церемонии, в канцелярию генерал-квартирмейстера, к Якову подошли Юрасов и с ним какой-то генерал.

— Вот, папа, мой Савватеев.

— Ну что ж, молодец. Спасибо вам за сына. Поздравляю с наградой.

— Покорно благодарю, ваше превосходительство, — снова по уставу отрапортовал Яков.

— Вольно, голубчик, вольно, — разрешил генерал и отошел.

Юрасов угостил Якова папиросой и неожиданно предложил:

— Хочешь, Савватеев, со мной служить?

— Как прикажете, ваше высокоблагородие.

— Будем здесь служить, в управлении. Завтра приходи ко мне.

Он дал Якову адрес.

— От жены ничего нет. Надо бы домой съездить.

— Похлопочу. Может, выйдет.

* * *

Дня через три Яков получил десятидневный отпуск и выехал в Иваново-Вознесенск. Всю дорогу он думал о предстоящем свидании с Груней и о том, кому сообщить об Игоре Кручинине. Он сам толком не знал, зачем ему надо рассказать, но чувствовал: рассказать надо, эта встреча ничего хорошего не сулила.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Заведующий землеустройством и переселенческим делом Забайкальской области Дмитрий Михайлович Головачев свято соблюдал «четверги». Они случались интересными — то сам хозяин увлекательно расскажет о работе географического общества, то художники принесут новые эскизы и тут же делают портретные зарисовки. Под конец госпожа Лярская-Горская с господином Тамаровым прелестно исполнит сцену у фонтана из «Бориса Годунова» или господин Хохлов с комиком-простаком Чинаровым представит отрывки из «Леса».

В полночь подадут казенные тройки — развозить гостей по домам, а кое-кого и в ресторан «Волну».

Даже в войну «четверги» не прекратились. Конечно, и закуски не те, и разговоры другие, и троек не подают. А все же приятно посидеть в веселой компании, выпить чаю, правда, без лимона, отвести душу в разговорах о неудачах на фронте и все о нем же, проклятом тобольском мужике Гришке Распутине.

Много новых людей посещало «четверги» — интеллигентные беженцы из западных губерний, выздоравливающие офицеры, молодежь. До чего же незаметно летит время — давно ли Сонечка Попова совсем была девочкой, а сейчас, смотрите, пожалуйста, Софья Алексеевна, сотрудница статистического отдела, подчиненного Дмитрию Михайловичу.

Появился еще один молодой человек весьма приятной наружности, вежливый, воспитанный и, по глазам видно, очень умный. Коллеги по управлению землеустройством и переселенческим делом души не чаяли во Владимире Григорьевиче Василенко. Остроумен, находчив и, что особенно важно для девушек, превосходно танцует. Молодые люди тоже довольны Василенко — не дает почувствовать свое превосходство, ровен в обращении, не брезгает, когда подают вместо запрещенной казенной водки «самоделку».

И еще — стреляет в цель, как цирковой артист. Содержатель тира в городском саду чуть не разорился, когда к нему с приятелями заглянул этот читинский Вильгельм Телль. В какие-нибудь пятнадцать минут забрал все самые ценные призы вплоть до главных — самовара и тульской двустволки. Правда, кончив забавляться, Василенко пододвинул изумленному владельцу все призы, в том числе самовар и двустволку.

— Убирайте! Мне ничего этого не нужно.

Спутники, понятно, удивились.

— Владимир Григорьевич! Это еще что?

Василенко, смеясь, отмахнулся.

— Зачем старика обижать.

Когда господина Головачева спрашивали, откуда появился его новый сотрудник, Дмитрий Михайлович охотно признавался.

— Принял, откровенно говоря, по протекции, так сказать, как дальнего родственника.

Родственник снимал комнату в доме Михайловича, на Уссурийской улице. Недалеко, на другой стороне, находилось полицейское управление. Утром, направляясь в статистическое отделение, помещавшееся на Сунгарийской, господин Василенко частенько встречал Грузинова, полицмейстера города Читы. Полицмейстер имел обыкновение ходить на службу пешком, пугая встречных приготовишек огромными, опущенными вниз черными «хохлацкими» усами.

После одного происшествия в начале января 1916 года они стали раскланиваться.

Стоял лютый мороз. Василенко шел на службу. Улицу поперек переходила стайка гимназисток-первоклассниц, отпущенных с уроков из-за холода. Неожиданно из ворот большого дома вырвался рысак, запряженный в легкие сани. Разворачиваясь, он сильно ударил санками по толстой чугунной тумбе. Полетели щепки. Лошадь понеслась на гимназисток, а они, тоже насмерть перепуганные, заметались, как цыплята. Из ворот с криком бежал кучер в распахнутом тулупе.

Василенко бросился к коню, схватил его под уздцы. Рысак, почувствовал властную руку, сдался, однако не сразу. Он разворотился на одном месте, считая санками тумбы, и рванулся в обратную сторону. Василенко с вожжами в руках вскочил в санки. Пробежав пол-улицы, рысак наконец остановился. Василенко перебросил подоспевшему кучеру вожжи, подошел к коню, похлопал по шее.

— Что ты, дурашка?

Рысак косил глазом, чуть подрагивал. Подошли любопытные. Кучер, стоя в санках, снял шапку.

— Премного благодарен, барин.

Василенко тронул за рукав городовой.

— Вас просят, ваше благородие.

На тротуаре дожидался Грузинов. Козырнув, вежливо осведомился:

— С кем имею честь?

Василенко назвал себя.

— Восхищен вашим мужеством. Если бы не вы, мог произойти печальный случай. Вам направо?

— К сожалению, налево, — приподнял шапку Василенко, — тороплюсь в присутствие.

* * *

С некоторых пор сослуживцы начали замечать, что наибольшее предпочтение господин Василенко оказывает Софье Алексеевне Поповой. Сначала молодые люди ходили со службы чуть поодаль друг от друга, потом бок о бок, под ручку. Их часто

стали видеть вместе на катке, в электроиллюзионе «Фурор» и в зимнем театре.

Иногда Василенко уезжал на две-три недели обследовать горные округа Забайкалья и возвращался всегда с содержательными докладами. Правда, Дмитрий Михайлович Головачев, просматривая доклады, частенько хмурился, старательно зачеркивая отдельные страницы красным карандашом. Однажды не выдержал, вызвал Василенко для внушения.

— Милостивый государь, что вы там сочинили? Да если я ваши выводы в комитет пошлю, нам обоим головы не сносить. Ваше дело, милостивый государь, сбор сведений, фактов, примеров. Выводы оставьте при себе. Вы только послушайте: «Денежное обеспечение крестьян Нерчинского округа в среднем на одну душу составило в зиму 1915 года три рубля сорок семь копеек».

— Подсчет верный, Дмитрий Михайлович.

— Я не об этом. Дальше что вы пишете: «Это меньше, чем отпускается на одну арестанскую душу». Каково? Но это еще цветочки, ягодки впереди: «Приходится удивляться выносливости сельского населения округа и тому, как оно не погибает от систематического недоедания». Приходится удивляться, сударь, зачем вы лезете не в свои дела. Время военное, строгое...

* * *

И никто не знал, что позади у господина Василенко два смертных приговора, несколько лет каторжных работ, ссылка и побег и зовут его Михаил Васильевич Фрунзе.

Однажды он чуть не попался. Объезжая лютой зимой Нерчинский округ, остановился в земской избе. Под вечер разыгралась метель — в двух шагах ничего не видно. Ветер выл, словно собака по покойнику. Пришлось заночевать.

Только Михаил напился чаю и собрался спать, как в избу ввалился еще один ночлежник, закутанный в огромную доху. Из-под башлыка торчала большая, седая борода. Скинув доху, старик внушительным басом приказал подать ужин и водки. Ему принесли пельменей и бутылку «Очищенной». Старик налил большую рюмку, опрокинул в рот. Потом проглотил, крякнул, налил вторую и, словно оправдываясь, пояснил:

— Зуб, проклятый, разболелся. — И предложил: — Может, разделите компанию? Я прикажу подать пельмешков.

Михаил пробовал отказаться, ссылаясь на усталость, но старик оказался настойчивым и поднял его с кровати.

— Давай познакомимся. Ребров, Леонтий Макарович, коллежский советник.

Узнав, что Михаил служит под начальством Дмитрия Михайловика Головачева, старик насмешливо спросил:

— Ну, как ваш говорун? Все, поди, говорит. Либерал из подворотни.

— Как вы сказали?

— Либерал из подворотни. Есть такие собачки, маленькие, злые и трусливые. Лают из подворотни, захлебываются. Кинь в нее камнем или палкой погрози, уползет на брюхе. Вот и ваш патрон — шумит, болтает, а как городового увидит — лапки кверху.

Он наполнил рюмки.

— Ваше здоровье, молодой человек. Простите, не расслышал вашу фамилию?

— Василенко, Владимир.

— А по батюшке?

— Григорьевич.

Старик поставил рюмку.

— Григория Александровича сынок? Из Троицкосавска?

Михаил вспомнил: в паспорте значилось, что его владелец родом действительно из Троицкосавска. Обдумывать ответы старику, так некстати оказавшемуся знакомым настоящего Василенко, времени не было. Надо или выдавать себя за Василенко из Троицкосавска, или придумать что-нибудь другое. Но паспорт сдан смотрителю земской избы, и любопытный старик в любую минуту может поинтересоваться.

— Совершенно верно. Сын Григория Александровича.

— Дружили мы с ним в молодости, — пустился в воспоминания Ребров. — Здоровяк был, а вот поди ж ты, рано убрался. Сколько лет, как он преставился?

— Много, — неопределенно отозвался Михаил.

— Вы еще маленьким были, — посочувствовал старик. — Хорошо, что папенька кое-что оставил, а то бы труба вам. Семьища-то какая? Сколько у вас сестер?

— Пять, — уверенно ответил Михаил.

— А братьев ни одного. Сережа ребенком умер. Хороший был мальчик, умненький. Не могу вспомнить, как вашу старшую сестру звали.

— Катя.

— Да нет, Катя вторая. Я тоже своих сестер путаю. Вспомнил — Лиза! Где она сейчас?

— Замужем.

— Второй раз, значит, вышла. Первого мужа я знал. Ничего был, только зашибал.

Старик опять наполнил рюмки.

— За приятную встречу! А вы еще не женаты?

— Все выбираю, — пошутил Михаил, думая об одном — как отделаться от разговорчивого собеседника. — Вы извините, у меня голова чертовски разболелась. Я, пожалуй, прилягу.

— Ради бога. Выпейте рюмочку и заваливайтесь. А я посижу. Зубы погрею.

Михаил торопливо выпил рюмку, наскоро закусил, извинился и вышел в сени. В половине смотрителя горел свет. Михаил постучал. Вся семья смотрителя ужинала.

— Садитесь с нами, — пригласила жена смотрителя.

— Спасибо, — ответил Михаил и радостно подумал: «Посижу-ка я здесь. Может, старче уснет».

Но не тут-то было. Не прошло и минуты, как появился старик.

— Куда вы убежали, Володечка? Как будто спать хотели.

— Не спится. Хочу попросить чего-нибудь почитать на сон грядущий.

Дочь смотрителя подала томик Миллера «Русские писатели после Гоголя».

— Хотите?

— С удовольствием...

Михаил, возвратившись к себе, лег, положив книгу под подушку.

— Очень голова болит. Попробую уснуть.

Старик тоже начал устраиваться. Он пододвинул ближе к своему изголовью недопитую бутылку, перенес туда же лампу и лег поверх одеяла.

— А мне сегодня, видно, не уснуть. Зуб не даст... А маменька ваша жива?

— Умерла, — решительно похоронил Михаил неизвестную ему госпожу Василенко. — Вы извините меня, я с головой накроюсь. С детства так спать привык.

— Спите, спите.

Михаил отвернулся к стенке, мысленно чертыхая товарищей, всучивших ему ненадежный паспорт. «Надо что-то предпринять. А так, чем черт не шутит, на родную сестру нарвешься. Расплодил покойник Григорий Александрович. Пять штук. Как их там — Лиза, Катя, Маруся».

Не шевелясь, пролежал он до трех ночи. Старик долго возился, звенел рюмкой, полоскал рот водкой, потом привернул лампу, и вскоре храп возвестил, что зубная боль успокоилась. Михаил прислушался: об отъезде не могло быть и речи — ветер не утихал, а совсем взбесившись, гремел железными листами крыши.

Утром, умываясь в сенях ледяной водой, Михаил услышал:

— Доброе утро, Владимир Григорьевич! Погодка-то! Прелесть.

— Да, слава богу, утихло. Можно ехать. Вам куда?

— В Путятино.

— Жаль, что не вместе. Мне в Озерки.

— А по-моему, вы рады, что не вместе

— Помилуйте, чего же мне радоваться? Вдвоем все-таки веселее... Как ваш зуб?

Старик поманил его из сеней.

— Вы мне зубы не заговаривайте, молодой человек. По-моему, вы такой же Василенко, как я английский король Георг...

— С чего вы взяли!..— попробовал возмутиться Михаил.

— Взял и все,— невозмутимо продолжал старик.— Дело в том, что настоящего Владимира Василенко, того самого, паспортом которого вы обладаете, я знал лучше вас. Кстати, маменька его благополучно здравствует в Красноярске, живет у старшей дочери, которую зовут не Лиза, а Нина. Мне это тоже отлично известно, поскольку я прихожусь ей крестным. Если вы не знаете — могу вам сообщить: Володя Василенко скончался в 1913 году. Ваше счастье, что нарвались на меня...

— Как же вы намерены поступить?

— А никак. Я здесь временно. Знать вас не знаю и в глаза не видал.

— Спасибо.

— Не стоит благодарности. Не желаете посошок на дорожку?

Старик наполнил рюмки.

— Будьте здоровы, Владимир Григорьевич...

Уже одетый, Михаил, повязывая башлык, спросил:

— Леонтий Макарович, вы на меня не обидитесь за один вопрос?

— Смотря какой...

— Буду откровенен. Я действительно не Василенко, и вы сами понимаете, стоит вам сказать уряднику, и я...

— Понимаю. Вы хотите знать, насколько серьезно мое обещание молчать?

— Да.

Старик поднялся и строго посмотрел на Фрунзе.

— Вы меня оскорбили сударь. Но знайте — в роду Ребровых доносчиков не было.

— Простите. Но вы должны понять меня.

— Понимаю. Лучше, чем вы думаете.— Старик шагнул к нему, протянул руку.— Вы даже не спросили, почему я здесь очутился. Еду от сына. Его, вроде вас, долго по матушке России с чужими паспортами носило. А теперь приструнили, пристроили в ссылку, куда Макар телят не гонял.

Он вытер слезы и налил рюмки.

— Ну, еще по одной. На дорожку. Дай вам бог здоровья.

Михаил крепко пожал ему руку.

* * *

К весне 1916 года жизнь в Чите стала Фрунзе невмоготу. Так спокойно он никогда себя еще не чувствовал. Было все, что полагается иметь человеку,— работа, любимая девушка, друзья-единомышленники. Вышло несколько номеров еженедельной газеты «Восточное обозрение», в которой он принимал участие

как редактор и автор. Комнатку в доме Михайловича частенько навещали ссыльные. Он готовил публичный реферат на военные темы, в котором можно незаметно для начальства рассказать о положениях, резко расходящихся с официальными взглядами на войну.

Все это нужно, полезно для дела, но главное не в этом, и не здесь решалась судьба страны и народа, не в Чите. Мечта попасть в Петроград или Москву, а лучше всего в действующую армию, не давала покоя. Там, в армии, широкое поле для работы. Вот где надо агитировать за превращение империалистической войны в гражданскую. Сильнейший удар по самодержавию могут нанести солдаты.

Все ускорил случай. Фрунзе по делам на несколько дней попал в Иркутск. Уезжая, просил Софью Алексеевну как можно чаще писать ему до востребования.

В первый же час по приезде он прошел на почтамт: нет ли весточки до востребования? Ему дали телеграмму: «Были гости. Горевали, что не застали». О том, кто такие гости, догадаться труда не составляло. Возвращаться в Читу не имело смысла. Было ясно, что жандармы дознались, кто живет с паспортом господина Василенко.

* * *

Через день в вагоне третьего класса почтового поезда Иркутск — Москва миловидная женщина заботливо укутывала своего спутника легким одеялом. На расспросы пассажиров молодая особа тихо отвечала, что везет больного брата на консультацию к известному профессору Владимиру Петровичу Сербскому.

— Но вот беда, говорят, он сам себя плохо чувствует и уже не принимает больных. Ну что ж, не удастся попасть к Сербскому, повезу дальше — в Питер, к Бехтереву...

«Братец» лежал, помалкивая, и, «засыпая» перед каждой большой станцией, повертывался лицом к стенке.

Иркутские товарищи блестяще организовали отъезд. Дали отличную явку в Петроград, а в провожатые — великолепного конспиратора Лидию Сосину.

В Москве, идя с ней под руку по Николаевскому вокзалу, Михаил размечтался:

— Ты только подумай, сестрица. Я могу сейчас перейти на Ярославский вокзал — вот он, совсем рядом. Могу купить билет, сесть в поезд и утром буду в Иваново-Вознесенске. Ты понимаешь? Я не был в нем почти десять лет. Если бы ты знала, как мне хочется побывать там.

— Успеешь! А сейчас там к тебе опять гости пожалуют. Уж очень ты им полюбился. Раззвонили, наверно, по всей матушке России.

— Не стоит так преувеличивать мои достоинства. А в Иваново-Вознесенск мне чертовски хочется.

В Петрограде задержаться не пришлось. Петроградский комитет снабдил новым паспортом и порекомендовал выехать на западный фронт.

— Приедешь в Минск, иди по этому адресу. Товарищи помогут устроиться в местном комитете земского союза. А уж там — карты в руки. Дел там, на фронте, по горло.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Не будь при Якове документов на бланке ставки, он, возможно, весь свой десятидневный отпуск провел бы в пути.

Первую невольную пересадку ему пришлось сделать на станции Чаусы, где вагон отцепили из-за неисправности. Солдаты, высаженные из вагона, во главе с унтер-офицером с тремя Георгиями толпой ввалились к дежурному по станции.

Дежурный, молодой человек с серебряными только что введенными для железнодорожников погонами, поднял утомленные, красные от бессонницы глаза.

— Отправляйте, ваше благородие,— заявил унтер-офицер под молчаливое одобрение остальных.— В отпуск едем. Больные есть, из госпиталей, на поправку домой следуют.

— Придется подождать,— устало ответил дежурный.— На проходящий поезд не сядете, битком забит, а наш пойдет послезавтра к вечеру.

— Это что же такое? Нам по десять ден отпуска дали, а мы тут будем прохлаждаться. Отправляй!

— Не могу. Нет ни вагонов, ни паровозов.

— Мы найдем.

— Ищите.

Сзади крикнули:

— Сволочи! Тыловые крысы.

Дежурный встал, незаметно нажав кнопку. В дежурку, расталкав солдат, вошли железнодорожные жандармы:

— А ну, разойдись!

Унтер, напирая грудью на жандарма, терял, видно, власть над собой.

— Ты кто такой кричать на меня? На паровозе верхом ездишь! В трактире сидишь! Ты поди в окопе посиди. Наели морды, дьяволы!

Двое жандармов подхватили унтера под руки и молча поволокли на перрон.

— Пустите, дьяволы,— крикнул унтер и забился в эпилептическом припадке.

Жандармы положили его на грязный, заплеванный пол и в смущении отошли. Солдаты наклонились над припадочным:

— Голову ему держи! Голову! Разобьет всю.

Пожилой солдат с рукой на перевязи угрюмо объяснял:

— Теперь такие припадочные почти в каждой роте. Мозги артиллерийского огня не выдерживают. У нас один совсем свихнулся — вылез из окопа, побежал на четвереньках и затявкал.

Солдат, удивительно похожий на царя, такой же курносый, с русой бородкой, махнул рукой на стоявшие на запасных путях вагоны:

— Вагонов у них нет. Мы бы и в телеге доехали, не баре.

— Чудак ты, братец,— объяснил раненый.— В этих вагонах людей набито, как сельдей в бочке. Беженцы живут. Дежурный давеча сказывал: по всей России сто тысяч вагонов под жилье занято. Здесь только товарные, а я видел в классных живут: все тут — и варят и пекут.

На второй день Якову удалось на ходу вскочить в санитарный поезд. Он с трудом уговорил начальника поезда не высаживать его. Спасло его не столько удостоверение из ставки, сколько обещание бегать на станциях за кипятком. Но это обещание Якову пришлось выполнять не часто — на многих станциях кипятку не было совсем.

На какой-то большой станции Яков, гремя ведрами, подбежал к кипятильнику, торопливо отвернул кран с надписью «Кипяток», но на него брызнула ледяная вода. Старуха сторожиха, одетая, несмотря на теплый день, в желтый дубленый с оборванными унтер-офицерскими погонами полушубок, прошамкала:

— Холодная водица, соколик, холодная.

— Кипяченая?

— Нет, соколик, прямо из трубы.

— Чего же ты не вскипятишь?

— Дров, соколик, нету. Вторую неделю как нет...

Яков, чертыхаясь, понесся в буфет, надеясь хоть там разжиться кипятком. Буфетчица, толстая рябая баба, ухватилась рукой за кран огромного самовара:

— Еще одного принесло! Проваливай. Я уж и так третий самовар ставлю.

— Налей за деньги.

— И за деньги не налью.

Так с пустыми ведрами и воротился Яков в вагон. Сестра милосердия успокоила его:

— Не волнуйтесь. Мы уж к этому привыкли.

Вечером, когда раненые успокоились, сестра рассказала Якову про санитарные поезда.

— У нас, видите, самые дрянные вагоны. Кипятильник один на весь поезд, бинтов не хватает, только и знаем старые стирать. Йоду — и того нет. Вместо компрессной бумаги газеты. Другого растрясет, больно ему, накрик кричит. А успокоить нечем — медикаментов в обрез. У нас раненные в живот или ни-

же живота. А перед нами поезд прошел — вагоны хорошие, всего у них вдосталь. У них раненные только не ниже груди, и все легко.

— Кто же это так сортирует?

— Тот поезд именной, находится под покровительством княгини Щербатовой и едет кружным путем в Петроград. Там раненые поступят в госпиталь той же княгини Щербатовой, или светлейшей княгини Ливен, или, не дай им бог, в Зимний дворец.

— А разве там госпиталь?

— Три зала — аванзал, Николаевский и концертный для нижних чинов отведены, два зала поменьше — для офицеров.

— Выходит, потеснился наш царь.

Сестра посмотрела на Якова, словно спрашивая: «А кто ты такой? Можно ли с тобой откровенничать?»

— Потеснился! Из тысячи комнат — пять отдали. В этих госпиталях светские дамы и барышни сестрами работают, им неудобно, видишь ли, раненных ниже живота смотреть, не положено. Вот и подбирают раненых поприличнее да полегче. А нам достаются всякие,— мы их и поим сырой водой. Потом на нас кричат — дизентерию развели. Слышите, это опять сибиряк кричит. Не доедет он до Москвы, умрет...

* * *

В Иваново-Вознесенске Яков в начале своей улицы встретил соседку.

— Господи! Яков Иванович!— удивилась она и заплакала.

— Что с Груней?— побледнев, крикнул Яков.— Ну, говорите, что с ней стряслось?

— Посадили,— вытирая слезы, сообщила соседка.— На другой день после убийства. Постреляли тут народу немало.

Она воротилась вместе с Яковом, путано рассказывая что-то про Наташу. Яков толкнул калитку и сразу почувствовал нестерпимый запах падали.

Соседка сбегала домой, принесла ключи.

— Что это тут так пахнет?— спросил Яков.

— Полкан околел. Без тебя собаку Аграфена завела. Когда ее арестовали, она впопыхах пса не отвязала. А кто ж его накормит? Я хотела было отвязать его да выпустить, он, как бешеный, бросался. Кости я ему кидала через забор — не брал. Несколько дней выл. Из полиции приходили, стреляли в него, так и не попали. Потом он залез под сарай и сдох.

Яков вошел в дом, а в нем — как после погрома. На полу валялись Грунины платья и пиджак Якова. В углу на полу грудой были свалены книжки. У поставленного на попа сундука оторвана крышка. Возле печи грудой лежали ухваты. Перевернутая икона свисала с крючка. На столе, покрытом клеенкой, на комоде плотный слой пыли. В доме пахло нежилым. Яков раскрыл окно, подобрал с пола вещи, кое-как сунул их в сундук.

«Вот и приехал домой,— с горечью подумал он.— А зачем и сам не знаю. Что я тут без Грушеньки делать буду?»

А соседка все рассказывала:

— Ей даже пальто взять не разрешили, так в одном платье и увели. Записку хотела тебе написать — не дали.

«Господи, какая тоска!» — думал Яков. Он дернул ворот гимнастерки. Посыпались вырванные с мясом пуговицы.

— Кто брал ее?— хрипло спросил он.

— Новенький какой-то. Высокий такой, черноусый.

Яков переоделся в гимнастерку с Георгием и пошел в полицейское управление. Его окликнул знакомый машинист Ветров, он в ответ только махнул рукой.

Дежурный надзиратель с ним говорить не стал, а вызвал помощника полицмейстера. Он оказался высоким, черноусым, и Яков подумал: «Вот этот красавчик арестовал мою Грушеньку».

Офицер, увидев Георгия, вежливо спросил:

— Чего кавалер хочет?

— Куда мою жену запрятали? Аграфену Савватееву?

Вся вежливость слетела с офицера.

— Савватееву? А тебе какое дело?

— Как это так? Хочу жену повидать. Я с фронта приехал, а не с обыска.

— Не выйдет, кавалер. Следствие еще не кончено.

Яков положил кулаки на барьер и со злостью крикнул:

— А я говорю: выведи жену! Окопались тут, дьяволы, в тылу. Кровь из людей пьете.

Офицер ушел в соседнюю комнату. Слышно было, как он крутил ручкой телефона, кому-то отдавал приказание:

— Пришли Фонарева и Степина.

Дежурный зашептал Якову:

— Уходи, Савватеев. Сейчас придут. Фонарев не таких обламывал. Изобьют. А женке я передам, что ты приехал.

— Мне уезжать послезавтра.

— Все скажу.

Яков достал из кошелька двадцать рублей.

— Тебе три, остальное ей. Передашь?

— Не обману. Иди.

На крыльцо поднимались двое огромных городовых. От них сильно несло спиртным.

* * *

Соседка прибрала в доме, чисто вымыла полы, принесла жареной картошки, огурцов, потом сбегала за селедкой. А Якову, оттого что в комнате хлопотала посторонняя женщина, стало еще тоскливее. Собрались соседи. Пришел машинист Ветров. Он поставил на стол бутылку с мутной жидкостью.

— Выпьем, Яша, с горя.

Яков отвык от спиртного и быстро захмелел. Сначала он поплакал немножко, потом им овладела ярость, и он кричал:

— Когда же, Вася, все это кончится?

Ветров принес еще полбутылки и все подливал в рюмку, распаливал насмешками.

— Ты у нас доброволец! Георгия тебе нацепили.

— Я вот приеду и брошу ему прямо в рыжую морду.

— Кому, Яша?

— Николке.

— Ты потише, Яша. За эти слова недолго и на виселицу...

— Нам ничего не страшно. Мы такое видели.

* * *

Утром Яков проснулся от стука в окно. В голове у него шумело, мучительно болел висок. Под окном стоял почтальон.

— Письмо получите.

Яков протянул в окно руку и принял свое собственное письмо, посланное Груне. От Орши до Иваново-Вознесенска оно шло больше двух недель.

Савватеев умылся, выпил залпом ковш холодной воды и полез под сарай — надо было закопать дохлого Полкана.

Он все в этот день делал молча. И только отдавая соседке ключ от дома, сказал:

— Подыщи жильцов, а то зимой пропадет дом, охолодает. Вернемся — разберемся.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Подполковнику Юрасову, прикомандированному к начальнику управления военных сообщений штаба верховного главнокомандующего, полагался только денщик. Зная, что Яков, как георгиевский кавалер, сможет отказаться от обязанностей денщика, Юрасов оставил его при себе «для поручений». Сделать это труда не составляло: отец — генерал, с чинами штаба — добрые отношения. Это помогло, и Якова исключили из списков 208-го полка. Редко кто из офицеров штаба и управлений не имел, кроме денщиков, сверхштатных адъютантов, посыльных, вестовых и порученцев. В ставке болтались без всякого дела генералы царской свиты, титулованные особы, они задавали тон, им подражали. Дворцовый комендант Воейков носил звание «главнонаблюдающего за физическим воспитанием народонаселения Российской империи». Все, в том числе и начальник штаба Алексеев, отлично понимали, что Воейков больше всего интересуется своей «Кувакой» и к физическому воспитанию никакого отношения не имеет. И все же при нем состояло несколько офицеров, а при них денщики, посыльные, вестовые. Алексеев только покрякивал, разглядывая сводку личного со-

става нижних чинов при ставке. Иногда количество нижних чинов, обслуживающих нужды господ офицеров, доходило до трех тысяч.

В обязанности Якова входило два раза в день заходить с черной кожаной папкой в управление дежурного генерала, в военно-морское управление и, получив там толстые синие пакеты, относить их Юрасову. Позднее, к концу дня, он шел в управление генерал-квартирмейстера и сдавал дежурному под расписку такой же большой пакет.

Часа два в день у Якова уходило на подшивку бумаг, которых управление военных сообщений получало огромное количество. Все остальное время Яков проводил в комнате нижних чинов, ожидая вызова подполковника.

Отслужив неделю, Яков высказал подполковнику сомнение в полезности своего пребывания в ставке:

— Тут, ваше высокородие, от безделья ошалеешь.

Юрасов удивленно посмотрел на него.

— На передовую хочешь? Это удовольствие я тебе, Савватеев, в два счета устрою. Я полагал, что ты сыт окопной жизнью...

Иногда Юрасов выезжал на фронт, чаще других на юго-западный и западный. Каждый раз подполковник брал с собой Якова. Сначала Савватеев только присутствовал при разговорах с железнодорожным начальством, а потом, привыкнув, начал выполнять задания Юрасова: осматривал депо, проверял склады топлива, подсчитывал вагоны на запасных путях.

Больше всего Якова угнетало отсутствие сведений о Груне. Соседка, обещавшая писать часто, молчала до февраля 1916 года, а потом прислала одно письмо, в котором коротко сообщила, что «о супруге вашей Аграфене Васильевне известий пока нет».

И не с кем было поделиться своим горем. Единственный человек, с которым Якову вне службы приходилось общаться чаще, чем с другими, был денщик подполковника Егор Воблин, работавший до призыва официантом в ресторане «Иртыш». Он называл себя, особенно перед девушками, Жоржем, произнося фамилию с ударением на последнем слове — Воблúн. Это был на редкость пронырливый, хитрый парень, лживый и жадный, больше всего на свете боявшийся отправки на передовые позиции. Он курил папиросы Юрасова, носил его белье и беззастенчиво обсчитывал его. К Якову он с первого же дня относился враждебно, делал мелкие пакости. Как-то Яков не стерпел и сказал Юрасову свое мнение о денщике. Подполковник усмехнулся:

— Благородные люди, Савватеев, в денщики не идут. Этот хоть не так много ворует и не пьет. И на том спасибо.

Так и не с кем было Якову поговорить. А мысли Якову приходили подчас нелепые, странные. Первое время после возвращения из Иваново-Вознесенска его недели три не оставляла

мысль убить царя. Он подолгу не засыпал, представляя себе, как это сделает: «Возьму три ручные гранаты и пойду прямо во двор. Царь часто в штабной электротеатр ходит. Любит, говорят, себя смотреть, недаром его почти ежедневно снимают. Первую гранату — в охрану. Разбегутся, дьяволы. Вторую — в него, последнюю — себе под ноги». Потом, услышав случайно, что только на одном западном фронте в бегах числится больше пяти тысяч солдат, он стал мечтать об отряде: «Собрать бы человек пятьсот, прихватить побольше пулеметов, да и в ставку ударить по генералам. А потом к немцам — давай, немец, кончай войну». Чаще всего он думал: «Как бы узнать, где сейчас моя Груня? Наверное, уже в Сибири. Поехать бы к ней, выкрасть из тюрьмы».

Мечты так и оставались мечтами. Наступало утро, начинался очередной день — безделье, хождение в управление генерал-квартирмейстера, «козыряние» офицерам, попадавшимся на каждом шагу.

О своем начальнике он держался определенного мнения: «Хороший, видно, человек, добрый, но генеральский сын».

Неожиданно Юрасов предстал в совершенно новом освещении.

В начале осени 1916 года, вернувшись из очередной поездки на юго-западный фронт, Юрасов и Яков не нашли дома Егора Воблина. Посланный подполковником на розыски, Яков узнал, что денщика арестовали за ношение офицерской формы. Оказалось, что Воблин по вечерам навещал знакомых девиц в мундире подполковника. Это ему долго сходило с рук, но на этот раз, проводив Юрасова и Якова, денщик прицепил к мундиру командира все его ордена и в полном парадном виде явился в кафешантан при гостинице «Тульская» и нарвался на офицерский патруль.

— Ну что ж, Савватеев,— сказал, выслушав доклад, Юрасов.— Пока найдем нового Воблина, будь добр, помоги мне.

На другой день Юрасов пришел из управления раньше обычного и, даже не умывшись, начал лихорадочно рыться в своих бумагах. На вопрос Якова, что он ищет, офицер только махнул рукой и коротко бросил: «Важный пакет!» Он перетряхнул все чемоданы и, очевидно, не найдя то, что искал, взволнованный умчался в управление. Яков после его ухода тщательно пересмотрел заполненную обрывками мусорную корзинку. Потом он подвинул от стены письменный стол, шкаф, но никакого пакета не обнаружил. Решив прибрать номер, Яков спросил у дежурного половую щетку, начал подметать пол. Приученный Груней к аккуратности, он несколько раз провел щеткой под кроватью и неожиданно вымел толстую клеенчатую тетрадь.

Не подозревая, что именно эту тетрадь искал Юрасов, Яков присел на корточки и начал листать страницы, исписанные мелким, четким почерком:

«12. Папа рассказал, на северо-западном фронте солдаты голодают. Для XI армии в Млаву отправили одиннадцать тысяч пудов хлеба. Командование не выслало вовремя в Млаву обозы. Железнодорожники отправили хлеб обратно. Он испорчен. Господи, когда же кончится царство дураков и карьеристов.

15. Алексеев доложил царю о гибели в Галиции 50 000 войск. Во время доклада царь рассматривал карикатуру в английском журнале и, не дослушав до конца, показал журнал Алексееву: «Не правда ли, очень мило?» Потом, видно, поняв свою бестактность, вздохнул и поправился: «Жаль. Очень жаль. Но потери, к несчастью, неизбежны». А самый глупый в этой истории — я. Почему я возмущаюсь? Как будто не понимаю, каков наш «Ники».

25. Сколько развелось покорных слуг всякой мерзости! Приехал генерал Лахтиновский. Все знают, что генералом он стал по милости Распутина, начальником дивизии — по его совету, ордена получает за особые заслуги перед ним. И этот пошляк ходит, задрав нос. И самое главное — с ним здороваются, жмут ему руку. Впрочем, чему удивляться.

Не то еще увидит Россия под скипетром Романовых.

29. Я, наивный человек, был убежден, что одно из необходимейших условий успешной войны — хорошо поставленное снабжение фронта боевыми припасами. Между прочим, этому нас учили и в академии. Боже мой, как я бестолков. Вчера вся ставка, от царя до последнего денщика, встречала икону, присланную сюда царицей по указанию Григория Распутина. Икона ехала в отдельном вагоне. Два вагона занимали духовенство и хор певчих. Первым к иконе приложился царь...

2. Отец рассказал: в остроленский продовольственный магазин доставили для северо-западного фронта 11 000 пудов битого мяса. В дело пошла только тысяча пудов. Остальное закопали — протухло. Оказывается, армейским интендантам невыгодно получать битое мясо. Они хотят покупать скот живьем. Больше нагреют руки. Папа возмущен до глубины души. Ходил к Пустовойтенко. Тот пожал плечами: «Все воруют!» Бедная, несчастная Россия! Нужен не ветер, а ураган, чтобы смести всю эту нечисть...»

Яков, поняв, что это дневник Юрасова, не стал больше читать и осторожно, словно она была живая, положил тетрадь на письменный стол. «Так вот ты какой!» — подумал он о Юрасове. В коридоре послышались шаги подполковника. «Надо бросить ее на прежнее место,— мелькнуло у Якова.— А то он поймет, что я читал». Он схватил тетрадь и забросил ее под кровать.

Юрасов вошел молча. Обычно приветливый, ровный, он зло накинулся на Якова:

— Не мог до сих пор убрать!

— Сейчас кончаю, ваше высокоблагородие.

— Поторапливайтесь!— сердито бросил подполковник и лег на диван.

— Не нашли пакет, ваше высокоблагородие?

Юрасов сразу не ответил. Помолчал и сказал с горечью:

— Таких дураков, Савватеев, как я, не пашут, не жнут, они сами родятся. Найдет кто-нибудь мой пакет — будет мне заботы...

Яков, орудуя щеткой, успокаивал:

— Может, еще сыщется.

Он вымел тетрадь и, как будто увидев ее впервые, равнодушно сказал:

— Вот, что не надо, само под руку лезет.

Юрасов повернулся и, увидев тетрадь, вскочил, вскрикнув:

— Где ты ее нашел? Где?

— Из-под кровати вымел...

Офицер уже овладел собой, спрятал тетрадь в ящик письменного стола и спокойно произнес:

— Спасибо, Савватеев! Возможно, и пакет где-нибудь валяется. Завтра поищем. А сейчас ты свободен, Яков Иванович. Если хочешь, иди в электротеатр. Сегодня там интересно. Показывают «Женщину, которая изобрела любовь», отличная вещь! Сходи.

Глаза у подполковника сияли от радости. Яков понял — нашлось!

* * *

Между ними установились странные отношения. О настоящей, товарищеской дружбе не могло быть и речи — два просвета в погонах подполковника оставались внушительным барьером. На людях Юрасов называл Якова по фамилии, разговаривал вежливо, но только в официальном тоне. Но едва они оставались вдвоем, казенное «Савватеев» сменялось на добрососедское «Яков Иванович». Юрасов, узнав о любви Якова к чтению, начал приносить из библиотеки офицерского собрания пачки книг. Он составил ему список, куда включил многих классиков и современных писателей. Яков поблагодарил его и, рассматривая список, спросил:

— А кто такой Блок?

— Это поэт, Яков Иванович. Хороший поэт, почитай его обязательно.— И продекламировал:

Петроградское небо мутилось дождем,
    На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
    Наполнял за вагоном вагон.
В этом поезде тысячью жизней цвели
    Боль разлуки, тревоги, любви,
Сила, юность, надежда... В закатной дали
    Были дымные тучи в крови...

— Ну, как? Хорошо? Нравится?

— Очень,— ответил Яков.

Юрасов продолжал:

И, садясь, запевали «Варяга» одни,
А другие — не в лад — «Ермака»,
И кричали «ура», и шутили они,
И тихонько крестила рука...

— Это настоящий поэт, Яков Иванович. Мало их осталось на святой Руси. Все мельчает у нас: поэты, генералы и министры...

Это был единственный разговор, когда офицер поделился своими мыслями, спрятанными от посторонних в дневнике.

Яков, поразмыслив над поведением Юрасова, пришел к выводу: «А почему он должен мне, нижнему чину, все выкладывать?» И все же он был доволен подполковником. Мучали только мысли — где-то, неведомо где, наверное, идет другая жизнь. «Не может же быть, чтобы все большевики гнили в Сибири. Есть же они в армии. Есть! А я здесь одиночка».

Недели через две после случая с тетрадью Юрасов с Яковом, возвращаясь с западного фронта, остановились в Минске. Найдя жилье, Яков направился за подполковником, ожидавшим его в кабинете начальника станции.

Проходя привокзальной площадью, Яков обратил внимание на двух человек в форме Земгора[1]. Один из них — крепыш с небольшой, начинавшейся почти от висков бородкой и пушистыми усами — показался Якову знакомым. Не заговори он, Савватеев так и прошел бы мимо. Но крепыш сказал несколько слов, и Яков остановился.

— Я не понимаю, Иван Павлович, вашего упрямства,— доносился до Савватеева поразивший его голос.— Почему вам не зайти к Коробкову. Просите три теплушки. Вдруг не откажет?

И они разошлись в разные стороны. Яков пошел сзади прапорщика. Тот неожиданно остановился, повернулся, и Яков сразу узнал Фрунзе.

Михаил Васильевич, делая вид рассеянного человека, старательно обшаривающего карманы шинели, быстро проговорил:

— Ничему не удивляйся. Моя фамилия Михайлов, Михаил Александрович... Ну подходи же ко мне, подходи. Здоровайся. Ты как? Савватеев?

Яков широко распахнул объятия.

— Миша? Какими судьбами?

Они обнялись, расцеловались. Яков шепнул: «Я, Миша, как был,— Савватеев».

---

[1] Земгор — сокращенное название объединенного комитета Всероссийского земского и городского союзов. Организация, занимавшаяся снабжением фронта.

Мимо проходили все больше военные. Какой-то поручик приветливо крикнул Фрунзе:

— Добрый день, Михаил Александрович! Кого это ты встретил?

— Родню случайно нашел...

Яков и Фрунзе смотрели друг на друга, улыбались.

— Ну что же мы стали? Пошли, Яша.

— Не могу, Миша. Начальство на станции ждет.

Уговорились встретиться попозднее в садике у духовной семинарии, занятой под гостиницу для господ офицеров.

* * *

Фрунзе и Яков сидели в садике у семинарии. Расспросив Савватеева об Иваново-Вознесенске, о старых друзьях и знакомых, Фрунзе внимательно посмотрел на своего собеседника:

— А как ты себя, Яша, чувствуешь?

Яков догадался, о чем спрашивает его Михаил.

— Что я тебе скажу? Твое право верить мне или не верить, но убеждений своих я не изменил. И очень рад встрече с тобой. Может, и я теперь настоящим делом займусь...

— Обязательно,— протянул ему руку Фрунзе.— Ну, а что за человек твой подполковник?

Яков рассказал все, что думал и знал о Юрасове, не позабыв и про дневник.

Фрунзе усмехнулся.

— И я встречал таких господ дворян, царем-батюшкой недовольных. Посмотрим, как они себя поведут, когда буря грянет.

— А будет она, Миша?

— Будет. И скоро. Разве ты не видишь, что творится в России. Долго так продолжаться не может.

Под конец Яков рассказал все, что знал про Игоря Кручинина, как парни осматривали могилу, о встрече в Орше.

— А ты не обознался?

— Нет, Миша. Это он.

— Интересно... А ну пошли.

— Куда?

— К нему в магазин.

— Поздно. Наверное, уже закрыто. Да и стоит ли теперь ему на глаза показываться? Вдруг он старым делом промышляет? В охранке состоит?

— Он меня не узнает.

— А вдруг? Зачем же рисковать?

Фрунзе усмехнулся.

— Очень бы интересно на него посмотреть. Многое я повидал, а вот с воскресшим покойником встречаться не приходилось. Побледнел, говоришь, когда ты про Иваново-Вознесенск

упомянул? И в тот же вечер укатил? Стало быть, нам его бояться нечего. Если бы он по-прежнему состоял в агентах, он бы повел себя иначе. Я обязательно зайду в магазин... Ну, а теперь, Яша, разойдемся. Мне ведь надо в Ивенец, штаб-квартира у меня там.

Фрунзе встал, помолчал несколько секунд, видимо обдумывая что-то, и снова сел:

— Слушай, Яша. Запомни такие слова: «Я к вам прямо из госпиталя». Если в Могилеве кто-нибудь к тебе подойдет и эти слова скажет, ты отвечай: «Как там мой земляк?» Человек тебе должен ответить: «Слава богу, дело на поправку идет». Запомнил? Повтори.

Яков повторил.

— Хорошо, Яша. Знай — этот человек будет от меня. Принимай, как родного, и помогай всем, чем можешь. А теперь давай прощаться...

* * *

Через три дня Фрунзе снова был в Минске и первым делом отыскал «Модный магазин» Гроздинского.

Молоденькой продавщице прискучило смотреть, как этот, видно, небогатый, а может, и скуповатый военный долго, почти полчаса, выбирал себе кожаный бумажник. Он пристально рассматривал каждый шов, подносил поближе к свету, примерял к карману и брался за другой.

«Словно корову или дом покупает»,— раздраженно подумала продавщица. Она уже хотела обидеть канительного покупателя, но раздвинулась бархатная портьера, и в магазин вошел хозяин. Продавщица заметила: военный, вертя в руках ярко-желтый бумажник, в упор смотрел на Виктора Борисовича. Хозяин, заметив груду бумажников, нахмурил брови: он не любил беспорядка на прилавке.

— Выбрали?— спросил хозяин у покупателя, строго посмотрев на продавщицу.

— Благодарю вас, выбрал,— ответил покупатель и, достав из кармана кошелек, обратился к продавщице: — Сколько с меня?

Но продавщице было уже не до покупателя. Она с испугом смотрела на хозяина. Тот, бледный, дрожащими руками смахивал с прилавка бумажники на пол, прямо себе под ноги. Потом, словно очнувшись, зашагал по ним и скрылся за портьерой.

— Сколько с меня?— переспросил покупатель, провожая хозяина настойчивым взглядом.

Девушка сказала цену. Военный уплатил, взял первый подвернувшийся под руку бумажник из тех, что еще оставались на прилавке, и, козырнув, вышел.

* * *

Еще через два дня начальник минского губернского жандармского управления читал напечатанное на машинке анонимное заявление:

«...Вынужденный в силу ряда причин скрывать свое имя, отчество и фамилию, я все же не могу умолчать о том, что вышеупомянутый опасный государственный преступник безусловно проживает в городе Минске нелегально.

Приметы его следующие: рост средний, лицо круглое, красивое, глаза серые, небольшая каштановая борода начинается высоко, почти у висков. Усы пышные, красивые, соединяются с бородой. Волосы на голове густые, с еле заметной сединой. Лоб высокий, чистый, фуражку носит чуть-чуть налево. Фотографии Фрунзе можно раздобыть в Петроградском политехническом институте, где он состоял студентом в 1904 году, а также в жандармских управлениях города Владимира и Иваново-Вознесенска».

Под заявлением стояла подпись: «Верноподданный его величества и дворянин». Затем шла приписка: «Обо всем дальнейшем буду сообщать неукоснительно».

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Благонамеренный, верноподданный российский обыватель снова мог возмущаться беспредельно.

Еще бы не ворчать! В сиятельнейшем Санкт-Петербурге (по-новому — в Петрограде), в столице, резиденции благоверного императора и самодержца Всероссийского, царя Польского, великого князя Финляндского и прочая, и прочая, и прочая, там, где совет министров, правительствующий Сенат и святейший правительствующий Синод;

там, где Государственный совет, собственная его величества канцелярия, министерство императорского двора и уделов;

там, где дипломатический корпус, Адмиралтейство, Исаакий, Петропавловская крепость, банки: Государственный, Русско-Французский, Международный коммерческий, Петроградский учетно-ссудный и прочие и прочие;

там, где биржа и Государственная дума, центральный военно-промышленный комитет, где председателем уважаемый Александр Иванович Гучков, а членами не менее уважаемые солидные люди Коновалов и Терещенко, — в Петрограде не стало хлеба.

Добро бы чего-нибудь другого — сушек, например, печений или, бог уж с ними, пирожных. А тут — хлеба! За простым ржаным надо посылать прислугу с полуночи, иначе не только завтракать, а даже обедать придется без хлеба. Да и с обедом как-то неладно получается. Конечно, теперь не до райских на-

слаждений — о вестфальской ветчине, о семге и лососине на закуску и мечтать не приходится. Скажи спасибо, что еще селедкой Елисеев торгует. Сейчас даже самой обыкновенной сборной солянки не соорудить — огурцы, понятно, еще есть, а вот каперсов уже нет — товар привозный, из Италии. И маслин не достать. И чашечки кофе не достанешь. Не нынешний ячменный — кто его только выдумал,— а настоящий, ароматный, крепкий. Без кофе, конечно, скучно, но хоть понятно, почему его нет,— окаянный германский адмирал Тирпиц выпустил во все моря и океаны подводные лодки. Они, говорят, так и ходят, чуть не косяками, как селедки, и не дают проходу ни одному пароходу. Чуть заметят — топят без предупреждения. Помните «Лузитанию»? Американский пассажирский пароход. Мина не разбирает, кто нейтральный, а кто неприятель, и потопила этакую громадину. В «Русских ведомостях» про «Титаника» вспомнили, который еще в 1912 году затонул. Болтают, будто «Титаник» погиб не оттого, что на ледяную гору наскочил, а от немецкой мины, хотя войны никакой не было. Вот когда тевтоны начали злодейства.

Впрочем, газетам вообще нельзя верить. Если доверять газетной статистике, то на сегодняшний день в Германии, Австро-Венгрии и Турции не осталось ни одного жителя, кроме кайзера и султана. Все на войне перебиты. А война идет и идет — третий год!

«Биржевые ведомости» разыскали не то в Кимрах, не то в Костроме стодвухлетнего вещего человека Ивана Анисимовича Чердакова. Поместили в январе 1916 года на самом видном месте радостное предсказание старичка о победоносном окончании войны не позднее святой недели. Черта два, кончилась!

Весь год русские армии только тем и занимались, что союзников выручали. В самую мартовскую распутицу четыре русские армии начали наступление на немцев под Двинском и у озера Нарочь. Сколько было потерь, известно только ставке. Для чего это затеяли? Надо было оттянуть немецкие полки из-под Вердена,— тяжеловато там приходилось французам. Недаром ихний посол господин Морис Палеолог по пять раз на день министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова посещал.

А в мае итальянцам худо пришлось. Навалились на них австровенгерцы. Тут уж сам сэр Джордж Бьюкенен, посол его величества короля Англии, к царю прикатил в ставку. «Надо спасать итальянцев, ваше величество!»

Спасли. Преждевременно, не подготовившись как следует, начали на юго-западном фронте наступление. Сорок пехотных и пятнадцать кавалерийских дивизий в дело включили, взяли Луцк, заняли всю Буковину, разгромили четыре австрийские армии. Австрияки только убитыми и ранеными потеряли миллион человек, да в плен попало полмиллиона.

Немцы под Верденом прекратили огонь, им в пору было только от русских Австрию оборонять. Союзники воспользовались и начали наступление на Сомме. Именно на этой Сомме и появились какие-то чудовища: похожи, говорят, на автомобили, только вместо колес у них железная обмотка — ползает, словно гусеница. Зовут их по-чудному — «танк».

Немцы объявили о создании «независимой Польши» под германским протекторатом. Пришлось царю подтвердить свое решение «образовать целокупную Польшу из всех польских земель под скипетром русского царя».

В Англии вместо нерешительного премьер-министра Асквита пришел к власти Ллойд-Джордж. Этот будет поэнергичнее. В Америке в президенты снова выбрали Вудро Вильсона. Он хоть и богобоязненный, но «Лузитанию» немцам не простит — того и гляди объявит тевтонам войну.

Слава богу, на кавказском фронте бывший верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич порадовал — отнял у турок Эрзрум и Трапезунд. Мы люди маленькие, не наше, понятно, дело распоряжения высшей власти осуждать, а все же сказать можно: не к чему было государю императору верховным главнокомандующим становиться. Куда ему до дядюшки Николая Николаевича — тот и ростом чуть пониже Петра Великого.

Говорят, царь хорошо воспитанный — с дворцовой прислугой чуть не первый раскланивается — вот и сидел бы в своем Царском Селе: по утрам колол бы березовые дрова, играл бы в четыре руки на фортепьяно с Аннушкой Вырубовой, а самое главное — утешал бы супругу свою Александру Федоровну от безысходной скорби. Нет в живых ее дорогого друга Григория Ефимовича Распутина. Охраняли восемнадцать филеров, берегли, как высочайшую особу, и все-таки не уберегли.

Последний раз филеры видели старца вечером 16 декабря 1916 года — вылезал из военного автомобиля у подъезда дома Юсупова. А потом как в воду канул. Три дня искали и нашли действительно в воде — в проруби.

А министры как при Гришке летели, так и без него летят кувырком. Бывало, до войны по нескольку лет на постах сидели. А сейчас? Не успеет в должность вступить, как уже готов высочайший рескрипт: «Высоко ценя ваши труды и усердие, пребываю к вам неизменно благосклонный Николай». И прощай министерский пост.

А вы посмотрите, что на Путиловском творится? В пятом году тоже там началось.

Мы 1905 год не забыли, знаем, на что братцы рабочие способны: у них свои лозунги — «фабрики нам, а землю — крестьянам». Эти господа хуже немцев. С Гинденбургом или с Людендорфом как-нибудь сговоримся, а вот с господином Лениным — никогда!

И сейчас все оттуда, от застав, гарью несет. В четверг, 29 февраля (по новому стилю 8 марта), тысяч тридцать на Невский явились справлять свой праздник — Международный женский день.

Бабы злые, как черти, на городовых кидаются, в морду им плюют, а те только орут, а стрелять не стреляют.

О дороговизне говорят все, эта тема, после военной и распутинской, самая любимая. Во многих домах завели обычай: кто заговаривал про дороговизну, платил штраф, и не бумажными деньгами или, не приведи господи, марками, а серебром.

Кандидатов в царские советчики — легион. Губернаторы, предводители дворянства, игумены и игуменьи одолевали предложениями: то в Вологде, то в Сызрани, то в Нижнем Новгороде открывают старцев праведной жизни, изумительной святости. Каждый покровитель пропихивает к трону своего: «Наш вашего святее. Ваш,— говорит,— водку хлещет, а наш восприимет одну святую воду, да и то два раза в седьмицу».

И опять верноподданным пища для пересудов:

— Смотрите, чем высшие власти занимаются! Что же это такое? А в столице даже керосина не стало. О сахаре лучше не вспоминать! Трактирщик Дубосуков на Выборгской стороне в ночном для извозчиков зале подвесил под лампой на суровой нитке кусок рафинаду и картонку с объявлением: «Не внакладку, а вприглядку!» Ситец — по цене чуть ли не бархата. На худой конец можно обойтись и без телеги, как-нибудь на старой проездим. Без ситца тоже проживем — сами холстов наткем. А вот без соли не проживешь, а она стоит вровень с сахаром. Без картошки тоже не прожить, а она дороже груш дюшес.

Раньше хоть дорого, но все было. А сейчас — в феврале — пропало, как корова языком слизнула. Мороз все лютеет. Ночью метели, и днем метет. А в «хвосты» у магазинов становятся целыми семьями — по очереди бегают отогреваться. Одежонка поизносилась — парнишки все больше в отцовских фронтовых папахах из хлопчатобумажного каракуля. И так всю ночь. Слава богу, утро. Поднимают железные шторы, скрипят обледенелые двери — какие это приятные звуки — наконец открывают!..

И вдруг — не открыли. В Петрограде не было хлеба.

* * *

В Центральных полицейских частях — Адмиралтейской, Коломенской, Литейной — до рассвета горел свет. У подъездов дожидались автомобили, без умолку трезвонили телефоны.

В министерстве внутренних дел у Чернышева моста свет горел весь день — в суматохе забыли погасить. И здесь звонили телефоны, дежурили автомобили. У окон, выходящих на Фонтанку, наготове стояли пулеметы — оставалось только приподнять на широкие, двухаршинные подоконники, ткнуть тупым рыльцем в стекло — и веди огонь по мосту.

По приказу военного министра Беляева, согласованному со ставкой, Петроград выделили в самостоятельный военный округ. Командующий округом генерал Хабалов вместе с Протопоповым лично указал, где еще поставить пулеметы.

Пулеметы стояли по чердакам. На Невском в доме компании «Зингер», на башне городской думы, в гостинице «Северной», на Московском вокзале. Пулеметы стояли на Большой Морской, в Главном штабе, в гостинице «Астория», в министерстве финансов и даже в министерстве просвещения.

На окраинах — за Невской и Нарвской заставами, на Выборгской стороне — полицейские словно вымерли. Туда не только пристава или околоточные, а даже простые городовые не смели показываться в форме.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Сергею Ивановичу Семенову спать в эти дни приходилось мало, но он все же хоть на пару часов, но заглядывал домой. Теперь это можно было делать без прежнего риска. Утром, выходя, тоже не нужно было оглядываться — не ждет ли за афишной тумбой добровольный провожатый. Дворник и тот, встретив, уже не свистел постового, а торопливо хватался за шапку: чем черт не шутит, вдруг поднадзорного в думу выберут!

На рассвете 24 февраля Наташа, жившая по приезде в Петроград у Семеновых, ушла за хлебом. Сергей Иванович сквозь сон слышал, как она сказала Вере:

— Мне Степанида Волкова с вечера очередь заняла. Если к шести не приду — смени.

Она вскоре вернулась и с порога крикнула:

— Хлеба не будет. Бабы лавки громят.

Сергей Иванович вскочил, оделся и побежал на улицу. От рынка у Огородного переулка доносились крики, звон разбиваемых стекол. Потом хлопнул выстрел, за ним другой. Крики усилились. Навстречу Сергею Ивановичу бежал человек в штатском. Заметив Семенова, он свернул с тротуара на мостовую. Хотя было еще не совсем светло, но Сергей Иванович сразу узнал помощника начальника сыскного отделения петергофской полицейской части Удальцова, приходившего с обыском к соседям.

— Стой! — крикнул Сергей Иванович и бросился наперерез Удальцову.

Офицер перебежал на другую сторону, ткнулся в ворота, оказались запертыми. Тогда, желая отделаться от неожиданного преследователя, Удальцов на ходу выстрелил в Сергея Ивановича, но не попал и остановился, подняв руку с револьвером.

Второго выстрела ему сделать не пришлось. Сзади на него навалились выскочившие из ворот парни. Подбежали женщины от рынка, подростки, и сразу образовалась толпа. Пожилая работница в стеганой ватной телогрейке, с корзинкой все кричала на Удальцова:

— Он стрелял! Он! Анну Горшкову ранил! — И все пыталась ударить полицейского корзинкой.

Парни отдали Сергею Ивановичу отнятый у полицейского револьвер и две запасные обоймы с патронами. Он с радостью ощутил холодную сталь и все же спросил:

— Не жалко?

Парни ухмыльнулись и вытащили из карманов наганы. Один для большей убедительности дополнительно показал кольт.

— Разжились!

Полицейского под охраной парней поволокли к проходной конторе завода, где еще с вечера сидело несколько обезоруженных городовых. Сергей Иванович пошел с толпой женщин на рынок. А там уже вскрывали третий подвал. В первых двух женщины, предводительствуемые легкораненой солдаткой Анной Горшковой, обнаружили мешки с мукой. Анна, с наспех перевязанной ситцевым платком рукой, стоя у люка, считала выкидываемые наверх мешки.

— Сорок девять... Пятьдесят... Несите, бабы, в лавку. Сами торговать будем...

Весь этот бурно начатый день прошел у Сергея Ивановича в необычайных хлопотах, возникавших каждую минуту.

Путиловцы бастовали второй день, но в мастерских находилось около трех тысяч солдат, прикомандированных к заводу для работы. На предложение присоединиться к забастовке солдаты хмуро отвечали:

— Вам что, рассчитают — и все, а нас под военный суд.

В мастерских рядом с иконами висело распоряжение директора завода генерал-майора Дубницкого, относящееся к нижним чинам.

В полдень Сергей Иванович попал на Счастливую улицу, в дом, где происходило собрание большевиков. Когда он вошел, оратор, незнакомый ему человек в солдатской шинели без погон, говорил:

— Пока солдаты на заводе, успокаиваться нельзя!

Выскочил паренек и задорно крикнул:

— Надо электростанцию взорвать, турбины порушить! Тогда крышка! Все остановится, и солдаты уйдут, делать им будет нечего.

На паренька цыкнули, прогнали с трибуны:

— Дурак! А мы потом что делать будем?

Решили послать к солдатам депутацию большевиков, поговорить, может, послушают, уйдут с завода. В делегацию выбрали семь человек, в том числе и Сергея Ивановича.

* * *

Солдаты сами взялись за ум, выбрали свою депутацию и послали ее к воинскому начальнику завода, Фортунато, просить винтовок.

— Зачем вам винтовки? — подозрительно спросил Фортунато.

— Как зачем, ваше благородие! — удивился глава депутации, солдат-большевик Эртман. — Нас рабочие принуждают бастовать, а мы не хотим, будем отбиваться.

— Так я вам и поверил, — ехидно ответил Фортунато.

Часа через два в шрапнельной собрался солдатский митинг. Сергею Ивановичу долго говорить не пришлось. Солдаты один за другим влезали на станки, кричали: «Бросай работу! Что мы — каторжные!» Начальство не показалось. Прибежал один Фортунато. Покричал что-то про военный суд, пригрозил всех отправить на фронт. Рябой солдат в разорванной шинели с оторванным хлястиком, без ремня поводил под носом воинского начальника огромным, испачканным в мазуте кулаком, потом сделал дулю.

— Видел, ваше благородие? Нас фронтом не испугать. Бывали. Воевали. Теперь давай ты.— И дал Фортунато по шее.

Через час все солдаты ушли с завода. Многие из них разбрелись по квартирам рабочих — накрепко, видно, сдружились в мастерских.

Утром 25 февраля рабочие поснимали всю заводскую охрану. В конторе по делам рабочих и служащих собрался только что организованный большевиками Временный революционный комитет. Около главной конторы, где обнаружили всего-навсего одного старика сторожа, раздавали оружие. Его было много. Непонятно, откуда оно появилось. Василий Изюмов из турбинной мастерской деловито командовал раздачей, инструктировал командиров групп. Ему помогал рябой солдат, тот самый, что в шрапнельной разговаривал с Фортунато. Хлястик у него был пришит, поскрипывал новенький желтый ремень. На папахе — красная полоска. Уже узнали его фамилию — Лазарев. Все время слышалось: «Товарищ Лазарев! А нам куда идти?»

Сергея Ивановича знали как Мельникова — по нелегальной фамилии.

Лазарев, увидев Сергея Ивановича в ревкоме, подошел к нему с планом завода.

— Я вас давно ищу, товарищ Мельников. Мне сказали, что вы в пожарной охране работали. Помогите посты наметить.

Они вошли в заводской двор — необычно тихий, заснеженный. Не успели сделать и десяти шагов, как Сергея Ивановича окликнул посыльный из ревкома.

— Требуют!

Член ревкома, большевик Алексеев, передал ему приказ немедленно явиться в районный комитет. Сергей Иванович забежал к себе предупредить Веру. Ее, как всегда, дома не оказалось: как ушла утром в университет, так и не возвращалась.

Зато Наташа встретила радостной вестью:

— Нашлась Грушенька!

И показала пересланное соседкой из Иваново-Вознесенска письмо от Груни.

«Драгоценная моя Наташенька, — писала Груня. — Снова еду по знакомой дороге в Красноярск. Срок мой — пять лет каторги, но думается, что на этот раз я вернусь раньше: или сбегу, или освободят товарищи».

— Правда, освободят? — допытывалась Наташа. — Это ведь настоящая революция началась? А вдруг, как в пятом году, опять сомнут?

Наташа ни слова не промолвила о Степане, но Сергей Иванович понял ее состояние и уверенно сказал:

— Нет, на этот раз у них ничего не выйдет. Жди в скором времени гостей...

В районном комитете Сергей Иванович узнал, что на 28-е назначены выборы в Петроградский Совет рабочих депутатов. Но его вызвали не по этому делу. Член райкома Осип Смирнов, рабочий с Тентелевского химического завода, торопливо объяснил:

— Бери группу парней и в Адмиралтейство. Поможете арестовать генералов. Потом иди в Таврический дворец, Петербургский комитет рекомендовал тебя помощником коменданта. Учти — комендантом там полковник Перетц. Не то эсер, не то меньшевик. Поглядывай!

* * *

Дворцовый комендант Воейков безжалостно вычеркнул из списка больше половины фамилий. В Петроград из ставки рвались все, а мест в царском и свитском поездах для всех не хватало. Подполковника Юрасова Воейков сначала тоже вычеркнул, но потом, вспомнил, что он не только сын генерала Юрасова, а еще и специалист по связи, снова надписал его фамилию красным карандашом.

Дежурный офицер у вагона свитского поезда, пропустив подполковника, строго остановил Якова:

— Пропуск?

— Он со мной, — объяснил Юрасов.

— Нужен пропуск.

— Вы же видите, что это мой помощник. А если потребуется восстановить связь? Я же без него как без рук.

— Давайте быстрее,— сменил офицер гнев на милость.— Только прошу — помалкивайте.

Но он предупредил, очевидно, ради формы. Вагон был забит

до отказа. Офицеры прихватили с собой под видом ординарцев петербургских знакомых, наводнивших в конце года ставку.

Первым в четыре часа утра ушел из Могилева императорский поезд. За ним через час отправился свитский. С каждой станцией — все больше и больше слухов. Офицеры бегали из вагона в вагон, перешептывались, но удержать секреты не было никакой возможности.

В Шклове узнали, что войска в Петрограде легко переходят на сторону восставших. Все мосты в руках рабочих.

В Орше рассказывали об аресте министров. К Юрасову прибежал его однокашник по академии генерального штаба Спасский и, наклонившись к самому уху, зашептал:

— Зимний грабят! Эрмитаж взорван! Горит окружной суд.

Правильным было только одно — окружной суд действительно горел.

В Смоленске узнали, что царский поезд встречали губернатор, предводитель дворянства, архиерей с соборным хором. Царь выходил из вагона, отстоял молебен.

И все новые и новые слухи, один другого удивительнее, распространялись в поезде.

— Арестованы все министры. Взят Арсенал на Литейном. Организован какой-то комитет Государственной думы. Передавали даже состав комитета: Родзянко, Керенский, Шульгин, Милюков, князь Львов...

Опять прибегал Спасский, шептал в ухо:

— Львов — это хорошо! Это умница. И все же князь, а не беспардонный анархист.

В самую последнюю минуту перед отходом из Смоленска — новая оглушительная весть: образовался Совет рабочих и солдатских депутатов. Председателем избран член Государственной думы Чхеидзе, товарищами председателя — Керенский и Скобелев.

Юрасов поделился этой новостью с Яковом.

— Ну как, Савватеев, что скажешь?

— Пока не разобрался, ваше высокоблагородие, — уклонился от прямого ответа Яков.

У солдат был свой «телеграф». В Ярцеве к Якову подошел ординарец полковника Борисова и, отведя в сторону, начал рассказывать:

— Слышал? Генерала Иванова царь назначил командующим Петроградским округом. Дал, говорят, ему такие права — может поднимать на воздух всю столицу. Тихеньким наш царек притворяется, а без драки власть не уступит. На вот, почитай.

— Что это?

— Ребята наши телеграмму для царицы в Вязьме перехватили.

Яков торопливо пробежал записанный синим карандашом текст:

«Выехали сегодня утром в пять. Мысленно всегда вместе. Великолепная погода. Надеюсь, чувствуете себя хорошо и спокойно. Много войск послано с фронта. Любящий нежно Ники».

— Понял? «Много войск послано с фронта». Мы эту телеграмму на всякий случай в Питер передали, в Совет. Может, сгодится...

Чем ближе к столице, тем меньше почетных встречающих. Ни губернаторов, ни архиереев. Одни урядники стоят на станциях.

Проехали Ржев, Торжок. Наконец Лихославль — вот она, прямая Николаевская дорога. Через несколько часов Бологое, а там, слава богу, и Петроград.

В Лихославле прибежал перепуганный Спасский без погон и академического значка, поделился новостью: в столице будто уже есть новое, Временное правительство во главе с этим противным толстяком Родзянко. Но это еще полбеды — есть новости пострашнее: какой-то Бубликов, не то член Государственной думы, не то просто анархист, разослал по всем дорогам телеграмму с приказом не пускать царя в Петроград.

— А что? Возьмут, да и не пустят.

— Царя, а не нас, — пошутил Юрасов.

Но Спасскому явно было не до шуток. Он побледнел и не сказал, а выкрикнул:

— Не понимаю, подполковник, вашего тона. Недостойно!..

Юрасов тоже вспылил:

— Прошу не забываться, капитан... Впрочем, я даже не знаю вашего звания — погоны снять поторопились. — И, позабыв, что не в кабинете у себя, а в вагоне, приказал: — Савватеев! Проводи их благородие.

В Вышнем Волочке нагнали императорский поезд и встали рядом на соседнем пути. И тотчас же раздалась команда:

— Из вагонов не выходить!

Все прильнули к окнам, старались рассмотреть, что происходит в царском поезде. Но он словно вымер, не видно ни души. Кто-то тихо сказал:

— Его величество отдыхает.

Яков, стоя в тамбуре, увидел: напротив, в окне царского поезда, шевельнулась розовая шелковая занавеска, потом ее отдернули, и к стеклу приблизилось знакомое лицо. Яков узнал лейб-медика Федорова, которого не раз видел в ставке.

В тамбур вышел Юрасов.

— Не туда смотришь, Савватеев.

Он избоченился, посмотрел вперед.

— Вот куда смотри.

Яков чуть приоткрыл дверь. В коридоре между двумя поездами стоял Николай II. Он был в черкеске защитного цвета — в форме пластунского кубанского полка, на плечах алый башлык, черная папаха надвинута на лоб. Рядом с ним, почтительно

наклонив голову, внимательно слушал его Воейков. Николай, вытянув руку, ловил лениво падавшие снежинки, потом снял папаху, пригладил волосы.

Из-под вагона, словно из-под земли, вылез офицер в форме конвоя его величества. Зло шепнул Якову:

— Что, команды не слышал? Закрой!

Юрасов уступил место Якову:

— Посмотри, как царь гуляет,— и оглянувшись, добавил:— Кто его знает, может, в последний...

От Вышнего Волочка первым отошел свитский поезд. За ним пустили императорский. В Бологом узнали, что впереди, в Любани, стоят войска с орудиями и пулеметами и что им дан приказ поезда дальше не пропускать. В Малой Вишере сведения о Любани подтвердились. Узнали и другое — генерал Иванов в Петроград не прорвался, застрял на станции Вырица. Командующий Петроградским военным округом мог командовать только своим конвоем. И еще узнали — войска в Любани подчиняются приказу Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Это было посерьезнее телеграммы Бубликова.

Была глубокая ночь, но в поезде никто не спал. Гадали: куда поедем? Прорываться в Петроград или в Псков, где находится штаб генерала Рузского? Яков слышал, как офицеры хвалили генерала:

— Умный, рассудительный и не даст государя в обиду.

В третьем часу ночи подошел императорский поезд. Воейков разбудил Николая, доложил, как обстоят дела. Царь, сидя на кровати в халате, безразлично заявил:

— Ну что ж, поедемте до ближайшего юза.

— Юз есть в Пскове, ваше величество.

— Поедемте в Псков...

Пока совещались, связывались с Псковом и к хвостовым вагонам прицепляли паровозы — прошло около двух часов. Начался мутный рассвет. Поезда опять стояли рядом, но никто уже не запрещал гулять между ними. Ординарец полковника Борисова отыскал Якова.

— Твой подполковник что думает делать? В Питер ехать или в Псков?

— Ничего не говорил.

— А ты узнай. Мой хочет с царем до последнего, а мне это ни к чему. Я в Питер хочу...

Яков увидел Юрасова возле штабного вагона.

— Ты что, Савватеев?

— Разрешите спросить, ваше высокоблагородие?

— Не спрашивай, Савватеев. Не отвечу. Я сам ничего не знаю. Но одно ясно — это революция. Ты только подумай: царя, самого царя не пускают в столицу...

* * *

Поехали назад к Бологому. От него свернули с прямой Николаевской дороги на второстепенную линию. Мелькали станции: Валдай, Лычково, Марфино, Старая Русса, Дно...

Иногда царский поезд догонял свитский. Тогда узнавали: «Царь чувствует себя прилично. Спит, кушает и даже занимает разговорами ближайших лиц».

В Дно прибыли к шести вечера. Кто-то пошутил: «Дальше ехать некуда, спустились на самое Дно». Горькая шутка облетела весь поезд. Поручик Олифер, задорный, как молодой петух, вызвал на дуэль поручика Плавского, повторившего при нем эту шутку.

— Я не позволю в моем присутствии...

Разгоревшийся скандал погасили, уговорив отложить поединок до приезда в Петроград.

Здесь же, в Дне, узнали: в Петрограде арестован военный министр Беляев, сожгли дом министра двора Фредерикса.

Только ушли из Дна, по телеграфу вызвало Царское Село. Телеграфист принял: «Его императорскому величеству. Величайшая низость и подлость неслыханная в истории — задерживать своего государя. Если тебя принудят к уступкам, ни в коем случае не исполняй. Дети поправляются. Бэби чувствует себя хорошо. Я могу телефонировать только в Зимний. Бог поможет, и твоя слава вернется. Целую бесконечно. Твоя Алис».

Телеграфист помчался к начальнику станции. А у того в кабинете два солдата с револьверами... У обоих на папахах красные ленточки. Перелистывают какие-то бумаги. Один строго спросил:

— В чем дело?

— Вот получил. Как быть?

Оба солдата уткнулись в телеграмму, переглянулись. Строгий на клочке написал, протянул телеграфисту:

— Отстукай.

Телеграфист прочитал, улыбнулся, побежал в аппаратную. Застучал ключом:

«Царское Село. Ее императорскому величеству. Ваша телеграмма не вручена тчк адресат выбыл неизвестном направлении тчк».

* * *

В Пскове от прислуги императорского поезда узнали, что царю доставлена куча телеграмм: от великого князя Николая Николаевича, начальника штаба Алексеева, генерала Брусилова, Эверта, Сахарова. Все просят отречься от престола и передать его наследнику, при регенте великом князе Михаиле.

Дворцовый комендант Воейков не выходил из аппаратной, а царь опять гулял между поездами, как будто ничего особен-

ного не происходит. Яков слышал, как Юрасов говорил соседу офицеру:

— Ничего не понимаю. Или он бездушный манекен, или у него страшная воля.

Сосед помолчал, а потом махнул рукой:

— Нет, тут другое. Он сейчас в сомнамбулическом сне. Лунатик!..

К вечеру разнеслось: приехали и прошли в царский вагон уполномоченные Временного правительства — Гучков и Шульгин.

В свитском поезде разговаривали шепотом, как говорят в доме, где лежит покойник. Прошел час, второй. Никто из царского вагона не выходил. У дверей неотлучно находились лейб-медик Федоров и Воейков.

Прошел еще час. Гучков и Шульгин вышли, стали прогуливаться вдоль поезда, иногда перебрасываясь фразами. На них смотрели с любопытством. Кто-то рассказал, как царица однажды в очередном приступе ярости сказала про Гучкова: «А нельзя ли этого господина повесить?»

Ночью в вагон вошел казачий полковник Белышев. Молча стал собирать свои вещи. Кто-то спросил:

— Что нового, полковник?

Белышев ответил одним словом, которого ждали, и все же оно поразило:

— Отрекся.

И отвернулся к окну, чтобы не увидели слез.

Утром императорский поезд ушел в Могилев, в ставку. Проводив его, Юрасов вернулся в вагон.

— Собирайся, Савватеев. Поедем в Петроград.

Яков быстро вынес чемодан подполковника. Они долго добирались до теплушки, забитой офицерами. По дороге Яков, остановившись передохнуть, спросил:

— Может, теперь, ваше высокородие, поскорее с немцем замиримся?

Юрасов внимательно осмотрел своего порученца.

— Я теперь, Савватеев, уже не ваше высокородие. Отменено! Разрешаю называть меня попросту — господин подполковник. А насчет войны ты не прав. Мы теперь нашу свободную Россию немцам на поругание не отдадим...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Степан Важеватов в 1916 году трижды сидел в карцере — два раза за препирательство с начальником тюрьмы Кобляковым и за то, что назвал ненавидимого всеми заключенными врача Сущева сукиным сыном. Каждый раз, попадая в темный, холодный, с сырым полом карцер, Степан жалел лишь об од-

ном: нельзя читать. Как ни ослаб к 1917 году режим в «Коровниках», Степан в конце февраля снова попал в карцер за попытку уговорить уголовника, убиравшего его камеру, принести газету. Степан, понятно, не знал, что уголовник докладывает все начальнику тюрьмы. Сначала Степану дали десять суток, но, после того как он крикнул старшему надзирателю: «Передай, подлюга, своему Коблякову, что он скотина»,— ему добавили еще неделю.

Пройдя под конвоем трех надзирателей мимо знакомой двери карцера, Степан привычно остановился. Надзиратель толкнул его в спину:

— Не сюда!

Его провели по узенькой лестнице еще ниже, в сводчатый низкий коридор, по которому тянулись трубы и провода. Заскрипела железная дверь, и Степана впихнули в густую темноту.

Он протянул руки, сразу натолкнулся на скользкую стену и вспомнил, как покойный большевик Носов рассказывал ему о каменном гробе.

— Вот попал,— вслух сказал Степан.— Ну что ж, будем сидеть.

Но сесть по-обычному не пришлось — ногам не хватило места.

— Ах, сволочи,— выругался он и устроился, поджав ноги. Стояла мертвая тишина, только где-то, очевидно, за дверью, капала вода.

— Ну, Степан Ильич, — обращаясь к себе, как к собеседнику, сказал Важеватов, — давай думать, что будем делать. Как только баланду к ужину принесут — поешь и сразу спать. Немедленно, без всяких разговоров. Утром до кипятку: «На месте, шагом марш!» После кипятку читай стихи, потом опять: «Шагом марш!» А там споешь чего-нибудь, а затем подумаешь. Только, брат, не рассусоливайся. Спокойнее, Степан Ильич, спокойнее...

Вскоре надзиратель просунул в дверь миску с баландой и кусок хлеба.

— Важеватов! Что в городе творится...

— Что? Расскажи!

— Городовых бьют. Солдаты с фабричными в обнимку ходят...

— Врешь! Расскажи.

— После приду.

Надзиратель захлопнул дверь. Степан забарабанил в нее. Отбил все кулаки, стучал ногами — никто к нему больше не пришел. И только утром открылась дверь:

— Выходи!

Когда проходили коридором первого этажа, Степан жадно вслушивался в крики, доносившиеся из камер. Вся тюрьма гу-

дела от шума. На втором этаже Важеватов услышал, как в одной камере пели: «Смело, товарищи, в ногу...»

Надзиратель, не тот, что приходил вчера в карцер, а другой, старик, торопился, подгонял Степана:

— Быстрее, быстрее.

Вот и его — сто восьмая. Надзиратель гремит ключами.

— Да скажите вы что-нибудь! Почему такой шум стоит?

— Давай входи.

Хлопнула дверь. Опять один. Постучал в обе стенки — молчат, пустые, значит, камеры. Ах, дьяволы! Что же там в городе?

В коридоре топот ног. Крики: «Куда ты его привел? В контору его надо». Слышен голос надзирателя: «Ну ошибся, подумаешь. Вещи-то у него тут».

Дверь распахнута. В ее раме много веселых незнакомых лиц.

— Товарищ Важеватов! Вы свободны. Идемте в контору.

Кто-то собрал его вещи. И хотя Степан мог идти сам, его подхватили под руки, почти несли. И он вдруг почувствовал — ноги отказываются двигаться.

В конторе много заключенных. Один сидит на полу, протянув ноги. Тюремный слесарь снимает с него кандалы. За столом прокурор тюрьмы, два чиновника. Тут же несколько рабочих и студентов. Пожилой рабочий крепко сжал Степану руку.

— Поздравляю, товарищ Важеватов!

Прокурор рассматривает постатейный список Степана. И только тут, увидев за спиной прокурора ненавистное лицо начальника тюрьмы Коблякова, Важеватов, не сдержавшись, кричит:

— А этот подлюга что тут делает?

Прокурор торопливо сунул Степану удостоверение и миролюбиво сказал:

— Разберемся, господин Важеватов, не волнуйтесь. Идите, получайте одежду и деньги.

И вот Степан идет. На нем черная теплая тужурка на вате, новые валенки с галошами, шапка, шарф. Из кармана торчат шерстяные варежки — красные с белым.

В коридоре две гимназистки обнимают, целуют пожилого человека в пенсне.

— Папочка! Милый...

Кругом сияющие лица, радостные голоса. К Степану подошли студенты.

— Вас проводить?

— Спасибо, молодые люди. Чего-чего, а выход из этого места я сам найду.

— Куда вы сейчас?

Важеватов остановился: «На самом деле — куда? В Иваново-Вознесенск? А может, Наташи там уже нет. Скоро год, как не присылала писем».

Он повернул в контору. Прокурор безупречно вежливо осведомился:

— Что вы хотите сказать, господин Важеватов?

— Я год не получал писем. Хочу выяснить...

— Одну минуточку. — Прокурор порылся в папке. — К сожалению, для вас писем не поступало... Извините, есть телеграмма. Получите, пожалуйста.

Степан чуть не вырвал голубой листок: «Сообщите заключенному Важеватову Степану Ильичу. Его жена Наталья Матвеевна проживает сейчас в Петрограде, Елизаветинская улица, дом пять. Член Петроградского Совета рабочих депутатов, помощник коменданта Таврического дворца Сергей Семенов».

Студенты вначале испуганно шарахнулись, когда Важеватов стремительно подлетел к ним.

— Други! Помогите уехать в Питер! Сегодня же, сию минуту!..

* * *

Первым в Таврический дворец доставили бывшего председателя совета министров Штюрмера. На нем поверх ночной сорочки был накинут придворный мундир обер-камергера. По приказу коменданта дворца полковника Перетца Штюрмера провели в министерский павильон, временно превращенный в гауптвахту для высокопоставленных арестантов. Старик плюхнулся в кресло и сквозь слезы повторял:

— Господа! Мне семьдесят лет, господа! Честное благородное слово — семьдесят.

Дворец заполнили рабочие, солдаты. В огромном Екатерининском зале у стен стояли в козлах винтовки. В середине зала шел митинг.

Кто-то сообщил, что напротив Таврического сада, в доме на углу Потемкинской и Фурдштатской живет генерал Курлов, товарищ министра внутренних дел. За ним послали наряд рабочих и солдат. Через полчаса толстый Курлов сидел рядом со Штюрмером, кричал ему в ухо:

— Как себя чувствуете, Борис Владимирович?

Под строгим конвоем привезли митрополита Питирима. Митрополит переругивался с солдатами, как самый обыкновенный сельский дьякон. Войдя в полуциркульный зал, владыко притих. Его под руки довели до дверей министерского павильона. Он сел на пол, крестился, охал. Потом к нему подошли двое духовных, подали какую-то бумагу. Питирим вскочил, бешено закричал, затопал ногами. Духовные все гудели ему в уши. Он затих, подписал бумагу,— добровольно отрекся от митрополичьего сана.

Арестованных стали привозить сразу по нескольку человек. Сергей Иванович едва успевал заполнять протоколы. Привезли бывших министров, в том числе Макарова и Добровольского.

В автомобиле доставили одного из последних председателей совета министров — Горемыкина.

У некоторых нашли оружие; его, понятно, отобрали. Арестованные тихо сидели в комнатах министерского павильона. Разговаривать между собой им запретили, разрешалось только изредка вставать и немного походить.

К вечеру в павильон влетел министр юстиции Временного правительства Керенский. Остановился на пороге, прищурился, заложил руку за борт пиджака. К нему подскочил Перетц, доложил об арестованных.

— Где Протопопов? Пока здесь нет Протопопова — революция в опасности! — и, повернувшись на каблуках, ушел.

Сергей Иванович вспомнил рассказы о новоиспеченном министре юстиции. Его считали позером. Семенов усмехнулся: «Чудак господин Керенский. Разве может какой-то Протопопов помешать революции!»

И ночью не затихал Таврический. Все время поступали телеграммы Петроградскому Совету рабочих депутатов. Некоторые были длинные, слов в триста, в них больше говорилось о чувствах населения. Но были и краткие: «Эшелон с хлебом вышел со станции Тверь».

Подходили, сменяя друг друга, воинские части. К ним выходили министры Временного правительства, хриплыми голосами произносили речи. Рядом всегда стоял Чхеидзе, что-то кричал, потрясая сухоньким кулачком.

Проходя Екатерининским залом, Сергей Иванович удивился неожиданной сцене.

Посредине стоял Родзянко, а перед ним в окружении адмиралов и чинов гвардейского флотского экипажа вытянулся великий князь Кирилл Владимирович — двоюродный брат бывшего царя — и рапортовал:

— Имею честь доложить вашему высокопревосходительству, что я и весь гвардейский экипаж в полном распоряжении народа и Временного правительства.

На лестнице, ведущей в зал заседаний думы, стояли солдаты. Кто-то из них гаркнул:

— А на кой черт ты нам нужен!

Родзянко даже не обернулся. Только крепко пожал руку великому князю.

Ночью на Шпалерной улице против электростанции жгли костер. Огромные языки пламени поднимались в небо. Высоко взлетали искры. Сергей Иванович послал солдата узнать, в чем дело. Тот, вернувшись, объяснил:

— Орлов царских жгут, товарищ Семенов. Поснимали, где только могли, с вывесок, с домов...

День выдался ясный, солнечный. С утра уже капало с крыш. В полдень всю Шпалерную заполнили манифестанты: с Нарвской, Выборгской, с Васильевского острова. У каждого на гру-

ди алели бантики. Колыхались красные знамена. Гремели военные оркестры. Солдаты шли строем, но уже не по-прежнему, чувствовалась в походке какая-то вольность. И у них на шинелях алели, как гвоздики, бантики.

Сергей Иванович поднялся на тумбу. Ему махали руками — шли путиловцы. В одном из рядов он увидел Наташу. Она его не заметила — с увлечением пела.

То ли от музыки, игравшей знакомый марш, или от обилия красных полотнищ Сергей Иванович вдруг разволновался, подбежал к путиловцам:

— Я с вами, товарищи! С вами...

* * *

В Цюрихе в этот день тоже была ясная погода. Солнце ярко освещало письменный стол с ворохом газет на нем. Владимир Ильич Ленин, как всегда, быстро писал. Ложились на клетчатую бумагу синие ровные строчки:

«Первая революция, порожденная всемирной империалистической войной, разразилась. Эта первая революция, наверно, не будет последней...»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

За полтора года ссылки Федор Никитич Самойлов — не по своей, понятно, воле — сменил несколько сел и городов. Сначала его вместе с другими загнали в село Монастырское далекого Туруханского края. Почти полторы тысячи верст на север от Красноярска прошли депутаты. И только устроились, немного обжились, подружились с Яковом Михайловичем Свердловым, нашли себе занятия,— получили предписание начальства: пожалуйте в село Яланское. Из Яланского погнали в Енисейск. Летом 1916 года Федор Никитич один, без товарищей, попал на юг Красноярской губернии — в Минусинск. Вскоре туда приехал Шагов. Началась обычная жизнь ссыльных с хождением к исправнику на отметку, с неожиданными визитами полицейских чинов: «А ну-ка, господин Самойлов, позвольте осмотреть ваше жилье. А что у вас в той корзиночке? А тут что?»

Городок маленький, степной. До ближайшей станции железной дороги — Ачинска — полтысячи верст. Нет ни фабрик, ни заводов, одни мастерские по выделке кож, тулупов и валенок. Весной в половодье по Протоке, рукаву Енисея, ходили маленькие суденышки. Тогда на пристани становилось шумно. А так жизнь в городке — тихая, сонная. В банке, городской управе да в больнице люди работали годами, держались за места. Федору Никитичу повезло, устроился в городскую управу распределять населению по только что введенным карточкам

сахар. Должность, правда, беспокойная, но оплачивалась недурно — шестьдесят рублей в месяц. По минусинским невысоким по сравнению с большими городами ценам на продукты с таким жалованьем можно было сводить концы с концами. Повезло и Шагову — взяли в потребительское общество заведовать магазином.

Зимой Федора Никитича вызвал городской голова. Начал разговор издалека: как живете, как здоровье, на что жалуетесь, а кончил предложением подать заявление об увольнении.

— Извините, но я вас держать на таком ответственном посту не могу. Есть жалобы...

Втихомолку сообщил:

— Губернатор распорядился не допускать ссыльных, особенно большевиков, на государственную службу.

Хорошо, выручил Шагов, взял к себе в кооперативный магазин.

Вскоре после нового, 1917 года к Федору Никитичу ночью пожаловали с очередным визитом жандармы. Ничего предосудительного не нашли, но намекнули, что при обыске у других политических ссыльных обнаружены документы, говорящие о том, что господин Самойлов замешан в весьма преступном деле — состоит членом нелегальной кассы взаимопомощи. Жандармский ротмистр без всяких обиняков дал понять, что господину Самойлову, пожалуй, снова придется податься на север...

И вдруг сам господин ротмистр полетел вверх тормашками.

Началось все первого марта с телеграммы, полученной исправником от иркутского генерал-губернатора. Телеграмма была очень странная: «Сведения о событиях не оглашайте, помните присягу». Хотя перепуганный исправник и помнил о присяге, но через пару часов о телеграмме знал весь город и в первую очередь ссыльные, потому что именно к ссыльным, как наиболее понимающим людям, исправник обратился за разъяснениями:

— Что же это происходит, господа?

Начались бурные споры, и все же никто по-настоящему не знал, что происходит в центре России. На другой день к одному из ссыльных эсеров пришла телеграмма, сплошь состоящая из поздравительных слов: «Обнимаю, целую, поздравляю, ждем домой». Эта телеграмма еще больше взволновала, а некоторых ссыльных обозлила.

— Чертовы эсеры! И тут не могут без восклицаний. Сообщили бы лучше, что там произошло.

К ночи все разъяснилось. Пришла телеграмма из Петрограда о падении самодержавия и образовании Временного правительства и Совета рабочих депутатов.

Эту новость Федору Никитичу принес Шагов. Он забарабанил в дверь, а войдя в комнату, налетел на Самойлова.

— Ты спишь? Разве можно спать, когда пришла революция! Ты понимаешь, Федя? Революция!..

Еще пять дней прожили Самойлов и Шагов в Минусинске. Все дни они находились в каком-то счастливом угаре — выступали на многочисленных митингах, участвовали в организации комитета общественной безопасности, в разоружении полицейских, в создании милиции.

Седьмого марта на квартиру к Федору Никитичу пожаловал исправник, оставленный «за либерализм» на своей должности. Сейчас исправник при встречах козырял, кланялся, чуть не становился во фронт.

— Разрешите? — козырнул он. — Телеграммочка насчет вас поступила. От самого Временного правительства. Предписано обеспечить почетное возвращение в Петроград депутатам Государственной думы. Вам и господину Шагову. Когда предполагаете выехать? Желательно узнать ваше мнение — сколько подавать лошадей?

Через три дня тройка резвых лошадей уносила Самойлова и Шагова в Ачинск — к железнодорожной станции Сибирской магистрали. Местные власти постарались, обставили возвращение с почетом. Почти в каждом селе извещенные о проезде депутатов крестьяне встречали с хлебом-солью. На пятые сутки усталые, охрипшие от речей на бесчисленных митингах депутаты подлетели в Ачинске прямо к привокзальной площади. На ней как раз проходил митинг. Посреди толпы на бочке стояла женщина в короткой, видно, с чужого плеча шубке. Голос уже был слегка с хрипотцой, чувствовалось, не впервые за этот день вышла она на трибуну.

— Дорогие, милые товарищи! — звучал над площадью ее голос, показавшийся Федору Никитичу знакомым. — Дорогие товарищи! Вы себя спросите — сможет ли новое правительство дать народу желанный мир?

— Да ведь это Груня! — удивился Федор Никитич. Он выскочил из повозки и побежал по лужам.

Груня, повернувшись к ним, тоже узнала Федора Никитича и, не закончив речи, выкрикнула:

— Я вам всего все равно объяснить не сумею. Предоставляю слово депутату Государственной думы товарищу Самойлову.

Волей-неволей пришлось Федору Никитичу подниматься на бочку. Зато какими аплодисментами встретили его!

Вскоре Федор Никитич, Шагов и Груня и еще несколько политических ссыльных и каторжан, возвращающихся в родные места, сидели в зале первого класса, окруженные железнодорожниками и солдатами. Их наперебой угощали пельменями, чаем. Какой-то не в меру горячий молоденький купчик сунулся было к ним с бутылкой шампанского.

— Выпьем за новую, свободную Россию!

— Не пьем, — сухо ответил Шагов и, подумав, добавил: — То есть смотря с кем. С буржуазией не пьем!

За полчаса до поезда в зал явились представители местного комитета общественной безопасности, уговаривали Груню хоть немножко побыть в Ачинске. Один из них, пожилой рабочий, принялся уговаривать Федора Никитича:

— Вы, говорят, земляк товарищу Савватеевой. Очень просим — воздействуйте на нее. Пусть у нас поживет.

— Зачем она вам? — улыбаясь, спрашивал Самойлов. — Что у вас, своих ораторов не хватает?

— Даже слишком много. Только все не те, что нам нужны. Все больше эсеры, меньшевики, октябристы, прогрессисты — сам черт не разберет. Большевиков мало, а большевичек совсем нет. А она горячо говорит.

— Она у вас и так почти неделю прожила. Ей домой надо. Поймите, чудаки вы этакие, она же только из тюрьмы выпущена...

— Может, останешься, товарищ Савватеева?

— Нет, не останусь. Тороплюсь домой, в Иваново-Вознесенск. И еще скажу, скрывать не буду, — хочется поскорее мужа разыскать. С 1914 года не видались...

* * *

Никогда еще, наверное, по Сибирской магистрали не проносился такой удивительный поезд. На паровозе — алое полотнище. На вагонах — красные флаги. И люди в вагонах особенные: все худые, плохо одетые и как будто все слегка хмельные — глаза горят, говорят громко, обнимаются, поют. Ходят из вагона в вагон, разыскивают друзей, близких.

— Иван Васильевич! Ты ли это?

— Я, Гриша, я. Вот тебя, брат, действительно трудно узнать.

— О Тимофее ничего не слышал?

— Впереди нас едет.

— Что о Свердлове слышно?

— Говорят, проехал. А где Алексей Парамонов?

— Не дожил Алеша. В прошлом году похоронили.

— Жаль Алешу.

— А разве один он? Сколько народу в каторге сгнило...

И почти на каждой станции — новые пассажиры с котомками, кое на ком остатки арестантского — брюки, сапоги.

— Товарищи! Найдется местечко?

— Товарищи! Да ведь это Петр Савин! Петро, давай к нам.

Объятия, поцелуи. Крепкие мужские рукопожатия. Слезы на глазах, — ничего не поделаешь, поистрепались в тюрьмах нервы.

И на каждой станции митинги.

— Давай, товарищ, говори. Столько лет молчали!

И на каждой станции хлеб-соль, песни, торжественная медь оркестров:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе...

Все ближе, ближе Москва.

Груня пропадала из своего вагона на много часов. После Новониколаевска даже не ночевала «дома», всю ночь просидела у подружек. Отыскала во втором вагоне иваново-вознесенских ткачих.

На третьи сутки Шагов, вернувшись в свое купе, рассказал Самойлову:

— Ну и удалая же твоя Аграфена! После митинга гармонист заиграл. Она танцевать пошла, с платочком. Чуть от поезда не отстала.

Вошла Груня — счастливая, веселая. Румянец во всю щеку. Платок с головы съехал.

— Ну и погодка, Федор Никитич. Теплынь. Весна. Откройте, товарищи, окошко!..

Самойлову стало худо. Старая, коварная болезнь давала себя знать. Устал от речей, притом волновался. А его все требуют. Просят выступить чуть ли не на каждой станции. Груня сразу сообразила и организовала «охрану».

— Нет, товарищи, не просите. Товарищ Самойлов болен.

Особенно упорных выпроваживала совсем уж невежливо:

— Вы хотите, чтобы товарищ Самойлов прямо из ссылки в больницу попал? Вы будете революции радоваться, а он на койке лежать?

Вот и Москва. Груня выглянула из окна. Увидела на платформе тысячи людей, множество красных флагов. На большом транспаранте белыми буквами написано: «Привет героическим борцам революции! Да здравствует революция!»

— Боже ты мой! Неужели это нас так встречают?

У выхода из вагона веселая, ликующая толпа подхватывала приехавших на руки. Многие, понятно, умолили, их отпустили, а кое-кого так и понесли на Каланчевскую площадь, заполненную народом. Груню, как она ни отбивалась, подхватили какие-то железнодорожники. Она сверху крикнула Самойлову:

— Федор Никитич, я сейчас вернусь!

Его и Шагова узнали, подхватили и понесли. Они поплыли над толпой. У Шагова шапка слетела с головы. Ему тут же протянули другую — серую солдатскую папаху.

Неподалеку от вокзала на трибуне, обвитой кумачом, оратор — представительный, с роскошной бородой, в солидной шубе с бобровым воротником — потрясал зажатой в кулак «боярской» шапкой.

— Свободная Москва приветствует борцов за святое дело народа... Мы говорим: «Мы рады вам, наши родные герои. Вы страдали за народ, и мы страдали вместе с вами. Вы носили

кандалы, и мы их носили вместе с вами. Они сковывали наши сердца».

Груню наконец опустили на землю. Она спросила:

— Кто этот краснобай, что мои кандалы в своем сердце носил?

— Шабалин.

— Кто он такой?

— Черт его разберет. В городской управе что-то делает. Адвокат.

Оратор сбросил с плеч шубу.

— Вы поможете нам, дорогие наши герои, повести русский народ к его светлому будущему, победоносно закончить войну с подлыми тевтонами...

Груня начала пробираться поближе к трибуне. На ступеньках стояли двое в штатском.

— Куда, гражданка! Нельзя!

— Как это нельзя? — Она кивнула на оратора. — Ему можно, а мне нет? Я с этим поездом приехала.

— Все равно нельзя!

Вступились железнодорожники:

— А ну, молодцы, пропустите гражданку!

Груня поднялась на трибуну. Оратор покосился на нее и продолжал:

— Мы не сложим оружия до тех пор, пока не восстановим всех законных прав России...

Груня сняла с перил тяжелую шубу и подала ее оратору. Тот, не поняв сначала, что она хочет, грубо выкрикнул:

— Что вам надо?

— Одевайтесь, — попросила Груня. — А то простудитесь и не доживете до полной победы над тевтонами...

В толпе засмеялись. Послышались хлопки. Кто-то, очевидно из приехавших, крикнул:

— Молодец, Аграфена Васильевна!

Груня накинула Шабалину шубу на плечи. Он, придерживая рукой полу, попытался продолжить речь, но его уже не слушали, все смотрели на Груню. Она пододвинулась к перилам, подняла руку.

— Товарищи! Я одна из тех, кто приехал сейчас с этим поездом. Предыдущий оратор заявил, что он очень рад нашему приезду. Выходит, что он носил в своем сердце кандалы, которые многие из нас носили на руках и на ногах. Ну что ж, спасибо ему за то, что помог нам... Он возлагает на нас большие надежды, уверен, что мы поможем повести народ к светлому будущему, до полной победы над подлыми тевтонами. Я тоже уверена, что народ пойдет к своему светлому будущему, но только своим путем. Напрасно надеетесь, господин хороший. У вас с нами разные пути. Вам, я вижу, воевать охота. Вы, наверное, воевали тоже сердцем. Кандалы за вас носили другие, на фаб-

рикax спины гнули другие, в окопах умирали за вас другие. Вам очень хочется, чтобы и впредь так же было. Так знайте — так не будет!

Шабалин стоял на ступеньках. Он что-то пытался кричать, но его не было слышно — вся площадь гремела рукоплесканиями.

— Огонь с водой никогда не подружатся, — наклонившись через перила, говорила Груня. — У вас, господин хороший, на уме одно, у нас — другое. Мы хотим мира. Мы, большевики, хотим, чтобы высохли слезы у миллионов жен и матерей. Мы многого хотим, чего вы не хотите, и мы знаем, вы стеной встанете на нашем пути...

Через толпу протискивался высокий плечистый солдат в серой папахе. На него кричали, его отпихивали назад, а он со счастливой улыбкой на бородатом лице молча продирался к трибуне.

И вдруг удивленная толпа ахнула. Ораторша остановилась на полуслове, протянула руки и радостно, трепетно крикнула:

— Яшенька!

Солдат еще сильнее заработал локтями. Но люди, догадавшись, что происходит какая-то необычная, но, видно, хорошая встреча, расступились перед ним, с любопытством посматривали на сбежавшую по ступенькам ораторшу.

— Груня!

Они на виду у всей толпы крепко расцеловались. Груня взяла мужа под руку, подвела к трибуне:

— Подожди, Яшенька, я договорить должна...

Шабалин бросил ей вслед:

— Спектакль разыгрываете, мелодраму...

Груня поднялась на трибуну, встала на прежнее место у перил.

— Извините, дорогие товарищи, за вынужденный перерыв...

Ей снова захлопали, сильнее, чем прежде. Она посмотрела на людей таким спокойным, глубоким взглядом, что вокруг притихли.

— Сейчас вот господин, который до меня выступал, сказал, что я спектакли разыгрываю, мелодрамы. Это он про мою с мужем встречу так выразился. Ну что ж, у меня спектакль получился с благополучным концом. Мы с мужем с 1914 года не виделись: он в окопах пропадал, а я в Красноярской тюрьме голодала. Два года мы друг о друге ничего не знали, а вот сегодня случайно встретились, а как видите, ни о чем еще не успели поговорить. Да, я счастливая, мужа нашла, и он целый: руки и ноги на месте. А каково тем, к кому без рук, без ног мужья да сыновья возвращаются? Вы меня оскорбили, господин хороший, про спектакль упомянули. А вы подумали о тех, к кому с войны весточки о смерти мужа, сына, брата приходят? Как это, по-вашему, называется? Спектакль?

Груня обвела толпу глазами, поискала Шабалина.

— Куда вы спрятались, господин хороший? Поднимайтесь, давайте поговорим. Где же вы?

Груня помолчала, словно поджидая: не отзовется ли предыдущий оратор. Но он, видно, не посмел больше подняться на трибуну. И Груня махнула рукой:

— Удрал! Так вот, дорогие товарищи, я и кончу свою речь тем, чем начала: уж если им очень воевать хочется — пусть шубы поснимают, да и лезут в окопы. А мы, большевики, хотим мира. Вот и все, товарищи! Дайте я теперь с мужем поговорю...

Груне долго хлопали, до тех пор, пока она не скрылась с Яковом в толпе. К ней подошли Самойлов с Шаговым вместе с человеком, одетым в смешанную одежду: шинель на нем была солдатская, а фуражка студенческая. Он протянул Груне руку:

— Смородинов, из Московского комитета. А вы молодец, товарищ. Как вы этого кадета отчитали! Не посмел с вами лезть в спор. Молодец вы, товарищ Савватеева!

— Что я думаю, то и говорю,— отозвалась Груня.— Вы куда сейчас, Федор Никитич?

— На Николаевский вокзал, приказано в Петроград явиться. А вы?

— Я, как Яша, — посмотрела Груня на мужа. — Мы с ним двух слов еще не сказали.

— Я, Грушенька, тебя разыскивать ехал. Отпуск у меня две недели, а потом надо в Петроград.

— Может, сразу махнем? — предложил Самойлов. — Компанией веселее...

— Разве можно? — удивилась Груня. — Мне обязательно надо в Иваново-Вознесенск. Может, попозднее с Яшей в Питер наведаюсь. А сейчас — домой.

Друзья попрощались на Каланчевской площади и разошлись в разные стороны, на разные вокзалы.

Наконец-то Савватеевы остались одни.

Люди добродушно посмеивались, увидев, как высокий, плечистый солдат, обняв крепко, целует молодую, красивую женщину с арестантской котомкой за плечами, с серой папахой в руках, видно, упала у солдата с головы.

Много в те дни было таких неожиданных, счастливых встреч.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Наташа уговаривала Степана отдохнуть, а он, пробыв дома один день, больше не выдержал — попросился с Сергеем Ивановичем в Таврический дворец. Наташа немного обиделась, но, проводив мужа, сама умчалась в районный комитет партии, на совещание заведующих питательными пунктами.

В коридоре Таврического дворца у входа в зал к Сергею Ивановичу подошел член Петроградского комитета.

— Вам, товарищ Семенов, два поручения. Первое — раздобыть какой-нибудь стол и поставить его... где же мы его поставим? Да вот хотя бы тут. Второе поручение получите после того, как появится стол.

Сергей Иванович засмеялся, сказал Степану: «Подожди меня» — и, позвав проходившего мимо солдата, пошел разыскивать стол. Вскоре они принесли простой канцелярский стол с двумя ящиками.

— Хорош? — спросил Семенов.

Член комитета, держа в руках стул, по-хозяйски осмотрел стол.

— Годится.

И начал прикреплять плакат: «Секретариат ЦК РСДРП (большевиков)». Сел за стол и, вынув записную книжку, спросил у Сергея Ивановича:

— Николая Ильича Подвойского знаешь?

— Знаю.

— Назначаешься в его распоряжение.

— А кто здесь останется?

— Кого рекомендуешь?

Сергей Иванович посмотрел на Важеватова, словно прикидывая, справится ли он с хлопотливыми обязанностями помощника коменданта дворца.

— Можно товарища Важеватова.

— Большевик? — спросил член комитета.

— С давних пор. Только что из «Коровников».

— С военным делом знаком, товарищ Важеватов? — обратился к Степану член комитета.

— Так точно, — по-военному ответил Степан.

— В гвардии служил, в кавалергардах, — добавил Сергей Иванович.

И Степан стал помощником коменданта Таврического дворца. Семенов свел его в министерский павильон, представил полковнику Перетцу. На прощание снял с себя ремень с кобурой, из которой торчала ручка нагана.

— Принимай! Дома поговорим поподробнее.

Через какой-нибудь час Степан, обходя дворец, увидел: в коридоре, около канцелярского стола, толпятся солдаты, матросы, рабочие. Много народу сидело прямо на полу, прислонившись к стене. Подойдя ближе, Степан рассмотрел: за столом сидела просто одетая женщина с голубыми глазами, излучавшими такой теплый свет, что от них трудно было оторваться. Люди называли ее по-разному: одни просто Еленой, другие Еленой Дмитриевной, а некоторые товарищем Стасовой. Степан услышал, как бородатый солдат в опаленной, мятой шинели, сильно окая, расспрашивал Стасову:

— Значит, еще не приехал Яков Михайлович? Очень повидать хотелось. Семь лет не виделись.

— Скоро приедет, — улыбаясь, ответила Стасова. — Наведывайтесь.

— На фронт завтра еду...

Потом к Стасовой подошла девушка в меховой шапочке.

— Ну как? — спросила Елена Дмитриевна.

— Нигде нет. Хоть какую-нибудь раздобыть бы. Я бы одним пальцем стала печатать.

Степан догадался, что они ищут пишущую машинку.

А люди к Стасовой все подходили и подходили. Рослый, широкоплечий человек в короткой дохе и унтах не подошел, а подбежал, оставляя на паркете мокрые следы.

— Елена Дмитриевна! Голубушка!

Стасова обняла его, расцеловала.

— Я прямо с поезда.

— Кто еще прибыл?

— Многие. Сейчас явятся.

* * *

На место отправленных в Петропавловскую крепость первых обитателей министерского павильона в него доставляли все новых и новых арестованных сановников, генералов, жандармских офицеров, видных чиновников правительственных учреждений. Под усиленным конвоем привезли бывшего председателя совета министров князя Голицына, финляндского генерал-губернатора Зейна, генерала Рененкампфа. В одном автомобиле доставили начальника петроградского охранного отделения Глобачева, его помощника Комиссарова и начальника департамента полиции Климовича.

Принимая арестованных, проверяя караулы, Степан не заметил, как пролетел день. Он несколько раз вспоминал о Наташе: «Вот, поди, тревожится, куда я пропал». Он все собирался съездить повидать жену, да и голод его мучил, но привозили очередного арестанта, и о доме нечего было и думать.

Совсем уже смеркалось, и Степану сказали, что его ждет у входа женщина. «Наташа!» — подумал он и полетел в вестибюль. Там действительно с узелком в руках стояла жена.

— Наташенька! Прости, не мог предупредить...

— А мне Сергей Иванович сказал. — Она жестом попросила его наклониться и шепнула: — Соскучилась я. Голодный ты, наверно? Я поесть принесла...

Они пошли в комендантскую. Там Наташа развернула узелок и подала мужу мисочку с вареным картофелем и пару яиц.

— Откуда у тебя такое богатство? — пошутил Степан, с аппетитом посматривая на картошку.

— На питательном пункте подарили. Отнеси, говорят, мужу, наголодался, наверное, в тюрьме...

В комендантскую вбежал солдат-преображенец.

— Римана привели, товарищ Важеватов! Идите принимайте.

В первой комнате министерского павильона гордо топорщил солдатские, в щетку, усы высокий старик в оборванной солдатской шинели без погон. Рядом с ним испуганно куталась в серую пуховую шаль пожилая женщина с маленькой коричневой собачкой на руках.

Солдат, сопровождающий эту пару, объяснил:

— Их в Торнео задержали. По документам они Рогачевы. Он доктор, а она его жена. А железнодорожники подсказали: «Это,— говорят,— генерал Риман. Когда еще полковником был, в Москве в пятом году народ расстреливал...» Мы их, значит, сюда.

Степан с любопытством посмотрел на злое, желчное лицо генерала.

— Кто же вы? Рогачев или Риман?

— А вы кто такой, чтобы меня допрашивать?

— Я помощник коменданта Таврического дворца и нахожусь при исполнении своих служебных обязанностей. Прошу отвечать.

— Я военный врач Рогачев. Я не понимаю, почему меня задержали.

— Одну минуточку, господин Рогачев. — сказал Степан и шепнул несколько слов дежурному. Тот усмехнулся и, ответив: «Сию секунду», выбежал из комнаты.

— Садитесь, господа, — пригласил Степан супружескую пару. — Если вы действительно Рогачевы, вас немедленно освободят.

В комнату ввели арестованного днем генерала Григорьева.

— Скажите, генерал, — обратился к нему Степан, — кто этот господин?

Григорьев изумленно пожал плечами:

— Странный вопрос. Это генерал Риман. Кто ж его не знает...

Риман хрипло выкрикнул:

— Подлец!

Григорьев смущенно посмотрел на Римана.

— Я, кажется, допустил... оплошность. Я не знал, генерал...

— Ничего, — успокоил его Степан. — Не вы, так кто-нибудь другой опознал бы Римана.

Григорьева увели. Важеватов достал бланк протокола.

Так и не удалось Степану вернуться к Наташе. Он еще не закончил допроса Римана, как привели сенатора Крашенинникова и тучного генерал-лейтенанта.

— Ваша фамилия, генерал? — спросил Степан.

— Фон Геллерн.

Степан вспомнил: зал в Санкт-Петербургском военном ок-

ружном суде; председательствующий скрипучим, равнодушным голосом спрашивает его:

— Подсудимый, на предварительном следствии вы утверждали, что в ночь с тридцать первого декабря 1904 года на первое января 1905 года были в гостях у ваших знакомых. Назовите, кто там был?

А ему, Степану Важеватову, сказать нечего. В живых из участников вечеринки только он, Наташа и Фрунзе. Все остальные на том свете...

— Моя фамилия фон Геллерн, — повторил генерал.

— Слышу, — ответил Степан. — Ваше имя, отчество, год рождения?

Генерал отвечал охотно, потом, очевидно, почувствовав легкое замешательство Степана в начале допроса, осведомился:

— Мы с вами прежде не встречались?

— Не приходилось... Какие имеете награды?

Только под утро заглянул Степан к Наташе. Она спала на диване, укрытая солдатской шинелью. На блюдечке лежали два очищенных яйца. Степан осторожно поцеловал ее и, наконец, принялся за ужин.

* * *

На рассвете прошел слух, что в Таврический везут арестованную в Царском Селе бывшую императрицу Александру Федоровну, а следом за ней прибудет и сам Николай.

Степан сказал солдатам:

— Места хватит.

Но привезли не царя, а дворцового коменданта Воейкова. На полушубке у него были свитские погоны с вензелем Николая. После допроса Степан посоветовал ему:

— Сняли бы буковки, господин Воейков. Лишние они теперь.

«Генерал от кувакерии» попросил ножницы, но ему дали перочинный ножик. Он, орудуя им, спорол вензеля, а потом, махнув рукой, срезал погоны.

— Так будет лучше, — деловито сказал он и, встав, попросил: — Тестя моего Фредерикса привезли? Очень прошу, рассадите нас по разным комнатам.

В полдень появились председатель Петроградского Совета рабочих депутатов Чхеидзе и Керенский. Чхеидзе остался в дежурной комнате, а Керенский обошел весь павильон. Степан заметил, с каким удовольствием отвечал министр на почтительные поклоны арестованных.

В дежурной Керенский, натягивая желтые перчатки, приказал Важеватову:

— Приготовьте место для Анны Александровны.

— Для кого?

— Для Анны Александровны Вырубовой.
— Поместим.
— Я сказал: приготовить отдельную комнату.
— Я этого не слышал, — ответил Степан.
— Товарищ! Имейте в виду — революция не отменила дисциплину.
Чхеидзе молча барабанил по столу пальцами. Степан взялся за ручку двери.
— Я вам говорю! Слышите! — повысил голос Керенский.
— А я не хочу слушать. Не люблю, когда на меня кричат.
— Я отрешаю вас от должности!
— Не вы ставили, не вы и отрешать будете, — повернулся к нему Степан. — А госпожу Вырубову, не волнуйтесь, устроим вместе с женой Сухомлинова.
Вечером, попав домой, Степан страшно обрадовался, застав Сергея Ивановича, и рассказал ему о стычке с Керенским.
— Почему он так перед ними рассыпается? Кричит: «Почему сенатору Белецкому не доставили сигар?» Какую-то мадам Толь привезли — по-русски ни бельмеса, только по-немецки, хотя девичья фамилия у нее Нарышкина. Пожаловалась, что забыла дома французские духи. Погнал посыльного. А Чхеидзе молчит. Что же это такое? Председатель Совета рабочих депутатов!..
Сергей Иванович только посмеивался.
— Ты, Степан Ильич, на Керенского внимания много не обращай. Ему кажется, — главнее его теперь никого нет на свете. А выскочки всегда перед титулованными трепетали.
Вера с Наташей с трудом заставили их присесть к столу. Под конец Степан взмолился:
— И вообще, Сергей Иванович, не мое это дело — протоколы писать, с господами разговаривать. Не умею.
— А я, думаешь, в артиллерии хорошо разбираюсь? А вот послали же... Потерпи немного. Долго в Таврическом быть не придется, наши все во дворец Кшесинской перебираются. Подыщем тебе новую работу.
Сергей Иванович вынул из кармана газету.
— Видел? — спросил он Степана.
— Что это?
— «Правда». Первый номер. Только что вышел.
Степан с любопытством развернул пахнувший краской лист. «Манифест Российской социал-демократической партии. Ко всем гражданам России», — прочел он крупный заголовок. — «Граждане! Твердыни русского царизма пали... Громадными усилиями, кровью и жизнями русский народ стряхнул с себя вековое рабство... Временное революционное правительство должно взять на себя создание временных законов, защищающих все права и вольности народа, конфискацию монастырских, помещичьих, кабинетских и удельных земель и передачу их народу, введение 8-часового рабочего дня...»

* * *

Прочитав через несколько дней в «Правде» статью Каменева «Без тайной дипломатии», Степан удивился ее тону. «Война идет. Великая русская революция не прервала ее. И никто не питает надежд, что она кончится завтра или послезавтра...»

— Что же это такое, Наташенька? Ни одного слова о Временном правительстве. Выходит, большевики должны ему помогать! Кому? Львову? Гучкову? Как же это так? А Керенский, как вьюн, вертится. Вчера в Царское Село ездил, проверял, хорошо ли Николку Романова обслуживают. Родзянко великих князей принимает. Мне сегодня приказали целую шайку генералов выпустить. Представить себе не можешь, кого я сегодня освободил.

— Кого, Степа?

— Фон Геллерна, который меня к смертной казни приговорил. А ведь он не только мне петлю готовил. За ним четыреста смертных приговоров числится. Что же это, Наташенька?

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Боже ты мой! Как хорошо чувствовал себя Яков в Иваново-Вознесенске рядом с Груней! Правда, жена дома почти не бывала, все больше по митингам да собраниям. Но и Якова затаскали по фабрикам, он выступал, рассказывал о фронте, о ставке, и чаще всего спрашивали его, как же будет с войной. Он отвечал коротко: «Мы, фронтовики, войной сыты! С нас хватит!»

Слушали его внимательно, здорово хлопали. Случалось, натыкался он и на противников. Кричали: «Изменник! Дезертир!»

Где бы ни пропадали они с Груней днем, а вечером все же были вместе, в своем родном домике на улице Путанке. Жильцы, снявшие их дом осенью 1915 года, оказались людьми хорошими, заботливыми — дом сберегли и даже квартирную плату, как и было условлено, аккуратно отдавали соседке. Пришлось, понятно, добрых людей потеснить, на время отпуска Якова заняла Груня комнату, а жильцам отдала кухоньку.

До чего же весело было дома по вечерам! Почти каждый день прибывали из тюрем и ссылок друзья-товарищи, редко кто заходил к Груне на третьи или четвертые сутки — все норовили заглянуть к ней тотчас. А некоторые, растеряв близких, прямо с поезда приходили к Савватеевым. Как-то ночью, правда, никто еще в домике не спал, осторожно стукнули в окошко.

— Кого-то еще бог несет, — произнес сидевший у Савватеевых Ефрем Зайцев, только вчера приехавший из Туруханского края.

Груня вышла в сени, и Яков, не поняв сначала, в чем дело, даже испугался, услышав ее крик.

— Яшенька! Ты только посмотри...

В комнату вошел Семен Иванович Балашов. Постарел он, прибавилось морщин, заметно полысел — видно, недаром прошли десятилетние скитания по тюрьмам да ссылкам.

— Откуда ты, Семен Иванович?

— А все оттуда же, из матушки Сибири.

— Да ведь в это время и поездов нет?

— Я на товарном от Новок. Пассажирский, сказали, только к вечеру пустят, а мне не терпелось...

И снова, как при каждом вновь прибывшем, начались расспросы: «А где Николай Колотилов? Жив ли Осип Костылев? Где «Труба»? Балашов, улыбаясь, рассказал про Евлампия Дунаева:

— Жив наш Евлампий. Стою я позавчера в Нижнем Новгороде у вагона, а он идет... Звал я его сюда. Отказался: «Не могу, — говорит, — избран товарищем председателя Совета рабочих и солдатских депутатов». Но наведаться обещал. Мне потом рассказали, как он нижегородского губернатора арестовывал. Пришел к нему с сормовскими ребятами: «Давайте, ваше превосходительство, поменяемся. Я для вас местечко в тюрьме нагрел...»

Вспомнили погибших «Отца», «Станко», Павла Гусева, Акима Клещева.

— Жалко Арсения, — вздохнул Балашов. — Не дожил...

Яков взволновался:

— Что с ним? От кого ты узнал?

— В вагоне рассказывали, будто его в прошлом году убили...

— Ну и напугал ты меня, Семен Иванович, — облегченно сказал Яков. — Жив Арсений. Я в январе с ним в Минске виделся.

Балашов вскочил и заходил по комнате, потирая руки.

— Вот спасибо, Яша! Ну, мы его сюда обязательно перетащим. А где наш «Шаляпин» — Степан Важеватов?

Груня показала Семену Ивановичу письмо от Наташи. Балашов прочитал, засмеялся: «Смотри, куда залетел! В Таврический...»

И все же отпуск у Якова пролетел, как один день. Пора было собираться в Петроград, к Юрасову, произведенному перед отъездом Якова в полковники и назначенному офицером связи к военному министру Гучкову.

Груня, заметив, как неохотно муж собирался в дорогу, попыталась его успокоить:

— Я думаю, ненадолго мы теперь расстаемся.

— Кто знает, — задумчиво ответил Яков.

В день отъезда мужа Груня пришла с новостью:

— Семен Иванович велит мне в Шую перебираться. Здесь,

говорит, большевиков порядочно понаехало, а там — не больше тридцати. Эсеры да кадеты верховодят. Председателем думы помещика Романова выбрали, а комиссаром Временного правительства назначили кадета Невского. Как ты, Яшенька, посоветуешь? Ехать?

— А как же, Грушенька? Если Семен Иванович велит, значит, надо.

Яков поехал через Новки. Груня проводила его до Шуи.

В Петрограде Якова тоже ждали новости. Юрасов протянул ему руку:

— Поздравляю, Яков Иванович, с офицерским званием.

И показал приказ военного министра о производстве унтер-офицера Савватеева «за особые заслуги, храбрость и верность Родине» в прапорщики.

— Идите, Яков Иванович, получайте обмундирование с новыми погонами. Только теперь бриться надо каждый день, не забывайте.

— Кто же это обо мне позаботился, господин полковник?

— Новая власть, прапорщик. Молодой России нужны преданные офицеры. Но вы как будто недовольны?

— Как же можно, господин полковник, я очень рад.

— Будете служить со мной. У вас есть где переночевать? Завтра явитесь в военное министерство, к капитану Денисову, получите все необходимое. Сегодня вы свободны.

Яков отправился разыскивать Важеватовых. Ему повезло — застал дома всех: Степана, Наташу, Сергея Ивановича и Веру. После объятий и поцелуев начали подсчитывать, сколько лет не виделись Степан с Яковом.

— Я же тебя последний раз в тюремной церкви во время венчания видел, — вспомнил Яков. — Это же в 1906 году было? Выходит, мы с тобой одиннадцать лет не встречались. А ты ничего, не сдал. Все такой же. Только кудрей вроде поубавилось.

— Куда там, — засмеялся Степан. — В гвардию уже не гожусь.

— Смотря в какую... — загадочно, как показалось Якову, заметил Сергей Иванович.

Яков рассказал ивановские новости, про Балашова и заговорил о Фрунзе.

— Вчера из Минска товарищи приезжали, рассказывали о нем, — сказал Сергей Иванович. — Он у них один за семерых — начальник милиции, в Совете председательствует, газету редактирует. Товарищи не знают, когда он спит. Очень хочется его повидать.

— А я в Минске одного фрукта встретил, Кручинина... — начал было Яков и осекся, посмотрев на Веру.

Она, побледнев, произнесла:

— Продолжайте, Яков Иванович.

Но больше всех волновался Степан.

— Как же это? Как он уцелел?

— А это мы у него спросим, — твердо ответил Яков. — Он все равно от наших рук не уйдет.

Под конец Яков рассказал о себе.

— Посоветуйте, что мне делать? Отказываться от офицерского звания или служить господину Гучкову?

Семенов переглянулся со Степаном, и они в один голос сказали:

— Служить!

Сергей Иванович разъяснил удивленному Якову:

— Ты даже не представляешь, как это здорово получилось. Николай Ильич Подвойский будет очень доволен. При военном министре — и вдруг наш человек, большевик!

Беседу друзей прервал путиловец Колесов. Он так стремительно вошел в комнату, словно за ним гналась сразу дюжина филеров.

— Товарищ Семенов! Только что сообщили: сегодня вечером приезжает Владимир Ильич Ленин...

* * *

Темная апрельская ночь. Лучи прожекторов шарят по зданиям, окружающим площадь перед Финляндским вокзалом. Иногда полосы света пробегают совсем низко, и тогда становится ясно, почему такой гул стоит над площадью — на ней море человеческих голов. Ближние улицы — Симбирскую, Тихвинскую, Нижегородскую — заполняют тысячи людей. Колышутся дымные факелы. А люди все идут и идут. По Литейному мосту к центру не пройти — весь запружен народом. Обычно тихая Боткинская улица тоже вся в огнях, на нее свертывают колонны с Сампсониевского проспекта.

Повсюду красные полотнища с надписями: «Привет товарищу Ленину!», «Добро пожаловать, дорогой товарищ Ленин!»

По одежде можно угадать, кто встречает Ленина. Котелков совсем нет, шляп немного. Все больше кепки, фуражки, картузы. Курят тоже не сигары и папиросы, а все больше махорку. Многие по тюремной привычке с трубками. И всюду вперемежку с картузами да кепками матросские бескозырки, солдатские фуражки, а кое-где даже папахи, не успели снять зимнего обмундирования, видно, не до того было, митинговали в казармах весь март.

Прошел час, другой. Поезда все нет. Начались тревожные расспросы: «Что случилось?», «Кто задержал поезд?» Послали делегацию к железнодорожному начальству выяснить причину опоздания. Какой-то великан взобрался на крыло броневика, сверхъестественным басом возгласил:

— Все в порядке, товарищи! Товарища Ленина задержали в Белоострове встречающие. И вообще его на каждой станции

встречают — отсюда и опоздания. Передайте тем, кто позади, чтоб не волновались!

— Все в порядке! — понеслось с площади в улицы и переулки до самой набережной.— Все в порядке!

Наташа и Яков с трудом протиснулись поближе к вокзалу. Степан пойти не смог — в девять вечера должен был быть в Таврическом. Яков увидел окруженного матросами Самойлова и, сложив руки рупором, крикнул:

— Архипыч!

Федор Никитич покрутил головой и, найдя иванововознесенцев, пробрался к ним:

— Вот это встреча, товарищи!

Послышался прерывистый долгий свисток паровоза.

Прошло еще несколько томительных минут, и на привокзальную площадь вышел Ленин. Люди поднимали головы, старались рассмотреть того, кого они так долго, с нетерпением ждали. Приветствия, рукоплескания — все слилось в радостный громкий гул.

Матросы подхватили Ленина, подняли его на броневик. Пальто у Ильича распахнулось, из кармана торчала кепка.

— Товарищи!..

На площади стало тихо. Только где-то далеко, на путях, шипел, выпуская пар, паровоз. Наташа речи Ленина не расслышала, ее оттеснили назад.

Ленин кончил свою речь возгласом: «Да здравствует социалистическая революция!»

Люди теснились у броневика. Окруженная толпой машина тихо двинулась по площади.

Сергей Иванович собирал вокруг себя друзей.

— Пошли, товарищи, ко дворцу Кшесинской. Говорят, Ильич выступать будет еще раз.

На углу Симбирской и Нижегородской раздавались громкие крики. У Михайловской артиллерийской академии друзья при свете фонаря увидели, как молодые рабочие стаскивали с ограды человека в студенческой шинели, цепко ухватившегося за железный переплет ограды. Он кричал:

— Нашли кого встречать. Спросите вашего Ленина — кто его через Германию пропустил!..

Наташа испуганно схватила Сергея Ивановича за руку.

— Что он, с ума сошел?

— Нет, — серьезно ответил Сергей Иванович. — Это только начало. Кому-кому, а буржуям приезд Ленина — острый нож...

* * *

На другой день в Таврическом происходило Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов. Федор Самойлов нашел Степана в коридоре:

— Идем на хоры. Будет выступать Ленин.

На лестнице они встретили Владимира Ильича. Это было так неожиданно, что Степан сначала даже не поверил глазам. Ленин, тотчас узнав Самойлова и улыбаясь, протянул ему руку:

— Здравствуйте, Федор Никитич. Дайте я на вас посмотрю... Как чувствуете себя?

Федор Никитич, тронутый внимательностью Ленина, ответил:

— Хорошо, Владимир Ильич. Даже отлично!

Но Ленин, участливо всматриваясь, не отпускал его руки:

— Как перенесли ссылку? Как здоровье? Лечитесь? Где? У кого?

— Недавно приехал, Владимир Ильич. Еще не успел...

— Э, батенька, так не годится. Здоровье для вас самое главное. Мой совет — обратитесь к хорошему, знающему профессору. Посоветуйтесь с товарищами, как это устроить.

Степан только сейчас понял, что именно с ним, с Лениным, он разговаривал в декабре 1905 года в доме на Рождественской улице. Важеватову очень хотелось подойти к Ильичу, пожать ему руку, но он не решился. Ленина ждали. «Сюда, Владимир Ильич, пожалуйста, сюда», — слышались голоса.

В большой комнате на втором этаже не хватило стульев, сидели на подоконниках, многие стояли. Ильича встретили аплодисментами. Он укоризненно покачал головой, поднял руки, наступила тишина.

— Бумага у тебя есть? — шепнул Степану Сергей Иванович. — Записывать не на чем.

Степан молча протянул ему блокнот со штампом «Канцелярия Государственной думы».

Ленин начал речь просто, так, как будто он давно уже разговаривал с этими людьми:

— Я наметил несколько тезисов, которые снабжу некоторыми комментариями. Я не мог за недостатком времени представить обстоятельный, систематический доклад. Основной вопрос — отношение к войне. Основное, что выдвигается на первый план, когда читаешь о России и видишь здесь, — это победа оборончества, победа изменников социализму, обман масс буржуазией... Новое правительство империалистично, как и прежнее, несмотря на обещание республики, — насквозь империалистично.

Чем дольше слушал Степан, тем все больше понимал, что Ленин говорит то, о чем он сам, Важеватов, все время думал, пытаясь разобраться в происходивших событиях, но у него не хватало слов сказать вот так же просто и ясно.

— Но основной вопрос: какой класс ведет войну? Класс капиталистов, связанный с банками, никакой другой войны, кроме империалистической, вести не может...

Степан вспомнил темный карцер в «Коровниках». Носов, кашляя, говорил: «Эта война, товарищ Важеватов, выгодна только буржуазии».

— К народу надо подходить без латинских слов, просто, понятно... Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний... Не парламентская республика, возвращение к ней от Советов рабочих депутатов было бы шагом назад, а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов. Революции делались, а полиция оставалась, революции делались, а все чиновники и прочие оставались. В этом причина гибели революций...

Степан вспомнил Керенского. Шумит, кричит, а бывших министров и генералов выпускает на свободу, даже заискивает перед ними.

Ленин, помолчав долю секунды, обвел слушателей взглядом.

— Лично от себя предлагаю, — сказал Ленин, — переменить название партии, назвать Коммунистической партией. Название «коммунистическая» народ поймет. Большинство официальных социал-демократов изменило, предало социализм. Вы боитесь изменить старым воспоминаниям. Но чтобы переменить белье, надо снять грязную рубашку и надеть чистую... Слово «социал-демократия» неточно. Не цепляйтесь за старое слово, которое насквозь прогнило...

Ленин закончил речь, собрал со столика листочки. Его тотчас же окружили.

— Владимир Ильич, вас просят повторить ваши тезисы на совещании всех социал-демократических делегатов конференции. Будут и большевики и меньшевики. Вы согласны?

— Когда?

— Сегодня же.

— Согласен.

В вестибюле Важеватова нагнал Сергей Иванович.

— Из Петроградского комитета передали — твою просьбу приняли во внимание, направляешься в распоряжение военной организации, к товарищу Подвойскому. Поздравляю!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Удивительное это было время — весна 1917 года. Иногда казалось, что ничего особенного не произошло. Романовых, действительно, свергнули, образовано Временное правительство, с каждым днем митингов стало больше. А так — все как будто по-старому. Афиши извещали о выезде труппы Александринского театра на гастроли в Москву и приезде в Петроград Малого театра. Москвичам предоставлялась возможность посмотреть премьеров «Александринки» Васильева, Лерского, Аполлонского и госпожу Тиме. Петроградцы могли насладиться игрой Садовской, Лешковской, Южина, Максимова.

От афиш так несло старым, привычным петербургским бытом: по-прежнему премьеры, гастроли, бенефисы... Литейный, Троицкий театры миниатюр, премьера в «Паластеатре».

Появились во множестве афишки разных цветов: желтые, синие, зеленые. Заклеены все стены и заборы, назойливо лезут в глаза в трамваях, магазинах: «К вам, граждане свободной России, к тем, кому дорого будущее нашей родины, обращаем мы наш горячий призыв. Подписывайтесь на заем свободы!»

Дальше шли подписи: министр-председатель князь Львов, министры — финансов Терещенко, иностранных дел Милюков, земледелия Шингарев, путей сообщения Некрасов, торговли и промышленности Коновалов, военно-морской Гучков, просвещения Мануйлов, юстиции Керенский, управляющий делами Временного правительства Набоков.

«Вечерние биржевые», именуемые попросту «Биржевкой», сообщали:

«Артист императорских театров Федор Иванович Шаляпин подписался на «заем свободы»... 100 000 рублей... Кто следующий?»

Та же «Биржевка» сообщает: «Переименовали боевые корабли: «Пантелеймону» вернули старое, грозное по 1905 году имя «Потемкин Таврический», «Цесаревича» перекрестили в «Гражданина». Поступили как будто по-революционному. И в этот же день указ: назначить сенаторами какого-то барона и князя Урусова. Как это понимать?

С хлебом было трудно до переворота и сейчас не легче: по-прежнему у булочных «хвосты». Не хватало и угля. Администрация Электрического общества 1886 года первый раз за тридцать лет прекратила отпуск электрического освещения.

Опубликовали списки провокаторов, сотрудничавших с охранным отделением. Многовато, оказывается, их было. Всякие фамилии: совсем неизвестные, малоизвестные и такие, что на всю Россию гремели. Многих считали достойными общественными деятелями, а они, подняв воротники, бегали на свидания к жандармским офицерам. Среди имен провокаторов мелькнуло и знакомое Якову имя «Кручинин»...

В делах внутренних можно было хоть как-нибудь разобраться. Но многих удивляло, что иностранные державы стали относиться к России, словно она не великая держава, а что-то вроде Испании. Скажем, по всем правилам полагалось сообщить о вступлении в войну, посол должен был испросить у министра иностранных дел аудиенции. А посол Северо-Американских Соединенных Штатов мистер Фрэнсис даже не поехал к Милюкову, а вызвал к себе 24 марта репортера «Речи» и сказал:

— Сообщите, что с сего числа Америка вступила в войну против Германии.

И это все. Никакого тебе почтения. Однако деловыми вопросами интересовались: сенатор Рут приезжал, проявил интерес

к состоянию русских финансов, Стивенсон пожаловал для обследования железных дорог.

В лондонском «Таймсе» писали, что три державы — Америка, Франция и Англия — ведут переговоры о разделе сфер влияния в России. Америка хочет заняться нашими железными дорогами (недаром Стивенсон их обследовал), Франция «берет на себя заботу об армии», а Англия — о морском транспорте. Говорят, даже наметились разногласия. Англия якобы хочет в придачу к морскому транспорту получить право опекать новую Мурманскую железную дорогу.

Приехал французский министр господин Альбер Тома. Говорит: «Плохо воюете! Надо бы лучше! Хватит митинговать! Пора наступать!»

А у новых министров нелады. Военно-морского министра Гучкова вначале хвалили: «Умен. Стратег. Бескорыстный». Однако продержали недолго. Вдогонку ему заулюлюкали: «Не свое место занимал!»

На его место назначили Керенского. А какой же он военный министр? К юстиции, как адвокат, имел некоторое отношение. А что он понимает в стратегии и тактике? Придумал себе форму — френч, галифе, желтые кожаные гетры, желтые перчатки. Златоуст! Начнет речь, зальется, не знает, как кончить. Как только назначили министром, поскакал галопом по фронтам. День в Минске, полдня в Киеве, час в Одессе. А какие спектакли разыгрывает. В Киеве, во время смотра кавалерийского полка, какой-то подхалим сорвал со своей груди Георгиевский крест и подал ему с криком: «На, носи! Ты его больше достоин!» Керенский поцеловал крест, возвратил, сказав с дрожью в голосе: «Благодарю тебя, герой! Но я не достоин такой чести!..»

Не успел министр уехать из Киева — за ним делегация из семи человек, с челобитной: «По поручению собрания георгиевских кавалеров — офицеров и солдат 3-го кавалерийского армейского корпуса в количестве 134 человек под председательством генерал-майора Шуберского просим первого гражданина, министра революционных войск и флота, А. Ф. Керенского принять Георгиевский крест 2-й степени № 27087, тот самый, который гражданин солдат Виноградов сорвал со своей груди и передал вам».

За Керенским гонялась делегация по всем городам. Он в Могилев — и они за ним, он в Псков — и они туда же. Так он их на своем хвосте в Петроград и приволок. К чему все это?

Супруга его О. Л. Керенская по примеру высочайших особ устроила в Михайловском театре концерт в пользу освобожденных политических ссыльных. В ложе сидели французский гость Альбер Тома, министры Милюков и Керенский. Оба выступили с речами и — удивительное дело! — оба в один голос неодобрительно отзывались о большевиках.

Временный командующий петроградским военным округом

поручик Казьмин посетил Царское Село, проверил, крепко ли охраняют гражданина Николая Александровича Романова с семейством. Доложил правительству: «Охрана плоха. Много разговаривает. Караулы сменяются без разводящего».

Затем подробно рассказал, как чувствуют себя царственные узники, что едят, что пьют, какими играми развлекаются. Конечно, интересно знать, как бывший царь в городки играет, но ведь дело-то теперь не в нем...

Пока Временное правительство занимается бывшим царем, большевики действуют. «Правда» прямо, без всяких обиняков, заявила: «Вне социализма нет спасения человечеству от войн, от голода, от гибели еще миллионов и миллионов людей».

В «Речи» или в газете «День» пишут таким языком, как будто эти газеты одни профессора читают. Простому человеку ни за что не понять. А в «Правде» все ясно и просто. «Как относиться к восстановлению монархии?» И тут же ответ: «Безусловно против какого бы то ни было восстановления монархии».

Новый вопрос: «Надо ли, чтобы офицеры выбирались солдатами?» И новый ответ: «Не только надо выбирать, но каждый шаг офицера или генерала должны проверять особые выборные от солдат».

А вот еще вопрос: «Нужно ли государству чиновничество обычного типа?» Пожалуйте ответ: «Безусловно не нужно. Необходима не только выборность, но сменяемость в любое время всех чиновников и всех депутатов».

«Надо ли поддерживать Временное правительство?» — «Не надо. Пусть его капиталисты поддерживают. Нам надо готовить весь народ к всевластию и единовластию Советов рабочих, солдатских и других депутатов».

«Надо ли свергать всех монархов?» — «Надо!»

«Надо ли крестьянам тотчас брать все помещичьи земли?» — «Надо».

Все обдумано, все ясно, как божий день.

Комиссар Временного правительства полковник Пепеляев попробовал было в Кронштадте перед матросами заикнуться. «Не верьте, — говорит, — Ленину...» В ту же секунду с трибуны согнали!

Зал в Морском корпусе огромнейший, ширины необычайной — ротная колонна проходит развернутым строем. Набилось туда матросов и рабочих несколько тысяч. Говорит большевик, слушают, не перебивают, хлопают, словно стреляют. А кто за Временное правительство и особенно за войну — сразу галдеж, крики: «Долой временных! Долой!» А тут же, в зале, начали «Окопную правду» продавать. Боже ты мой, никто меньшевиков и слушать не стал, кинулись за газетой.

На любом собрании — врачей, студентов, приказчиков, почтальонов, домашней прислуги, трамвайщиков, где бы оно ни происходило, всегда найдутся большевики и обязательно высту-

пят с речами. Случается, сначала слушают плохо, перебивают, а потом стихнут и не отпускают. И откуда у них такие ораторы? Хотя дело не в ораторском искусстве, а в том, что у каждого человека на уме. Как быть с войной, с землей, с фабриками и заводами?

Понятно, почему Временное правительство вкупе с меньшевиками из Петроградского Совета ненавидит большевиков и распускает о них лживые слухи.

Не успел Ленин сойти с поезда, как почти все газеты начали печатать заметки о том, как же это германцы пропустили его с товарищами через Германию.

Ленин на второй же день после приезда на заседании исполнительного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов сделал заявление: «Как мы доехали». Все в этом заявлении четко, ясно. Но ни одна газета, кроме «Правды», это заявление не напечатала.

Посмотрим, что Первый съезд Советов рабочих и солдатских депутатов скажет. Говорят, соберется в Петрограде третьего июня.

* * *

Беседа с Подвойским происходила в одной из комнат первого этажа бывшего дворца балерины Кшесинской. Дворец Кшесинской на Каменноостровском проспекте, подаренный ей Николаем Вторым, был захвачен солдатами отдельного броневого дивизиона еще в первые дни Февральской революции. Незадолго до приезда Ленина солдаты передали дворец Петроградскому комитету большевиков. В самом большом зале были оборудованы солдатский клуб и читальня.

Увидев Степана впервые, Николай Ильич Подвойский, крепко пожимая ему руку, сказал:

— Хорош дядя. Небось в гвардии служили?

— Служил.

— Мне Семенов о вас рассказывал. Наша военная организация очень заинтересована, чтобы ты, — Подвойский перешел на «ты», — чтобы ты перебрался в Выборгский район. Но тебе надо есть, пить и содержать семью, а денег мы тебе платить не можем. Их у нас попросту нет. Поэтому тебе надо поступить на какой-нибудь завод. Хорошо бы, понятно, на большой. Можно к Эриксону, Парвиайнену. Можно на «Айваз», на «Старый Лесснер». Семенов тоже в этот район перебирается.

И вот Степан на «Нобеле» слесарем в механической мастерской. Как не сказать спасибо «Коровникам», — научили слесарному ремеслу. Наташа устроилась по соседству на Сампсониевскую мануфактуру. Сняли комнату в Нейшлотском переулке, недалеко от товарной станции Финляндской железной дороги, и началась у Важеватовых новая жизнь.

Виделись они редко, только по вечерам да утром перед работой перекидывались несколькими словами. Но дружили они крепче, чем когда-либо. Случается, и нередко, что не только годы, а даже месяцы разлуки ложатся перед мужем и женой непроходимой пропастью. Расстались одни, а встретились другие, говорят, словно на разных языках, раздражаются из-за пустяков.

А Важеватовых разлука еще сильнее сдружила. Наташа, как только могла, заботилась о Степане. Понимая, как приятно ему будет знать, где находятся его сестры и брат Андрей, она начала розыски их, и в скором времени от родных стали приходить письма.

Наташа перестала пить чай с сахаром — в то время его купить было очень трудно — и все оставляла мужу. Но он сразу понял ее хитрости.

В одно из воскресений Степан, не сказав Наташе ни слова, отправился на Сенной рынок, продал полученные при выходе из тюрьмы зимние вещи и купил жене материал на платье и хорошенькие ботиночки. Наташа при виде подарков сначала нахмурилась, а потом крепко поцеловала Степана и после обеда, попросив у соседки швейную машинку, принялась шить себе платье.

Заработки у них были небольшие, а все дорожало, но они не думали о трудности, жили надеждами на будущее.

Как-то к ним заглянул Яков и, пробыв весь вечер, позавидовал:

— Вы словно молодожены...

Об одном только Важеватовы по молчаливому уговору не вспоминали — о Дашеньке. Однажды Наташа подняла на мужа заплаканные глаза и попросила:

— Давай, Степа, съездим туда.

Степан ласково обнял жену и пообещал.

— Обязательно, родная, навестим. Вот немножко утрясется жизнь, и поедем.

Но жизнь властно врывалась в семью Важеватовых, требовала свое. Отработав смену на заводе, Степан шел на угол Фризового переулка и Сампсониевского проспекта. Здесь, напротив церкви лейб-гвардии Московского полка, находилась его вторая работа — нелегальный склад оружия и патронов. О складе знали несколько человек, в том числе Сергей Иванович и Подвойский. Оружие поступило к Степану из Сестрорецка, кое-что добыли в Петропавловской крепости и Кронштадте. На склад попала почти половина оружия, отобранного рабочими у полиции в февральские дни. Патроны доставили верные люди с Петроградского патронного завода, находившегося здесь же, на Выборгской стороне.

Были у Степана три помощника — все молчаливые здоровяки: Леша, Филя и Геня. Они приносили оружие и патроны, они же его и раздавали по указанию Степана.

Была у Степана еще третья работа. Два раза в неделю сначала трамваем, а потом пешком добирался он до Сосновки, и тут, в лесу, неподалеку от Политехнического института, ждали своего командира рабочие парни со «Старого Леснера», с Эриксона, с «Феникса» — сводный отряд Выборгской стороны. Начиналась боевая учеба — стрельба по мишени, перебежки — все, что нужно знать для боя.

Два раза в месяц Степан заходил во дворец Кшесинской, разыскивал Подвойского, докладывал, как идут дела, и получал новые задания.

Как-то, дожидаясь, пока Подвойский закончит беседу с другим посетителем, Степан начал рассматривать на потолке причудливую лепку. Подвойский, заметив это, похвалил дворец:

— Хороший дом. Недаром его бывшая хозяйка судится с нами. Ее адвокат пять раз к министру юстиции приезжал.

— А как вы думаете, нас не выселят? — простодушно спросил Степан.

Подвойский засмеялся.

— Пусть попробуют.

Второго июня в самом начале смены большевик Ефим Арсеньев передал Степану поручение прийти в районный комитет партии. Районный комитет большевиков помещался в одной комнате, в доме № 62 по Большому Сампсониевскому проспекту. Степан, войдя, увидел двух человек. Оба они старательно считали бумажные деньги. Один, облегченно вздохнув, сказал:

— Ну вот теперь правильно. Получи.

Второй положил деньги в чемоданчик и ответил:

— Побегу во дворец Кшесинской. Где Стасову искать?

— На втором этаже. В бывшей ванной. Она ее под склад литературы приспособила.

Человек с чемоданчиком сорвался и побежал. Тот, что остался, восхищенно сказал:

— Самый лучший продавец «Правды». Вчера три тысячи продал. Побежал к Стасовой за брошюрами. А к тебе, товарищ Важеватов, важное дело. Завтра открывается Первый съезд рабочих и солдатских депутатов. Тебе там надо быть и держаться поблизости от большевистских депутатов. На всякий случай. Вот тебе три гостевых билета. Подбери еще двух парней посерьезнее...

Выйдя из районного комитета, Степан увидел необычную картину. По Большому Сампсониевскому проспекту в сторону Клинической улицы под оркестр шагал отряд. Только два офицера впереди были мужчины, а все рядовые — женщины. Они шли, старательно смотря прямо перед собой, часто сбиваясь с шага. Правофланговая — высокая, с большим носом девица нелепо размахивала длинными руками. Из-под большого солдатского, видно, не по размеру подобранного картуза, выбивались рыжие космы.

В толпе любопытных, скопившихся на тротуаре, раздавались смех и иронические возгласы:

— Баб в солдаты забрали? Ну, теперь немцу крышка!

Старуха перекрестилась, потом сплюнула:

— Откуда этих галок набрали? Сидели бы, дуры, дома, набивали мужьям папиросы...

Черноусый полотер стукнул щетками.

— Что ты, бабка? Какие у них мужья? Они все из развеселого заведения...

Отряд давно уже свернул на Клиническую улицу, а народ все еще обсуждал — в диковину был первый ударный женский батальон.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

К двенадцати часам дня третьего июня делегаты Первого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов и многочисленные гости заполнили бывший дворец князя Меншикова. Не было только меньшевиков, с десяти часов утра заседавших в первом кадетском корпусе. В половине первого в зале поднялся гул, слышались хлопки. За столом президиума появился высокий худощавый человек с совершенно лысой головой и глухим голосом объявил, что открытие съезда откладывается на неопределенное время. В зале закричали: «В чем дело? На сколько?»

Лысый развел руками: «Возможно, часа на два».

Прошло два часа. Зал, устав гудеть, притих. Иногородние делегаты, особенно дальние, намучившись за дорогу, спали. К концу третьего часа зал охватило возмущение: «Что они там мудрят? Кого ждут? Это вам не царское время над народными избранниками измываться?»

Снова появился лысый и сердито объявил: «Меньшевиков нет. Совещаются!»

К меньшевикам в кадетский корпус послали депутацию — узнать, скоро ли они кончат свое фракционное заседание. Депутация, вернувшись, рассказала: «Ни черта не узнали. Шум стоит у них, как на вокзале».

Потом прошел слух — ждут Керенского, который якобы не успел приготовить речь. Большевики этот слух опровергли: «А зачем ему готовиться? Он без подготовки чешет сколько хочешь...»

Потом прошел еще слух — ждут министра-председателя князя Львова, а он беседует с английским и французским послами.

Степан прикинул на глаз делегатов-большевиков, занявших места в середине зала. Получилось мало. Он поделился своими соображениями с Сергеем Ивановичем, делегатом из Петрограда. Семенов объяснил:

— Наш Жохов в регистратуре работает. По его приблизительному подсчету, большевиков не больше сотни, а всего съехалось около восьмисот. Больше всего эсеров, потом идут меньшевики. Так что нам туго придется.

— Ты об этом так говоришь, как будто все в порядке, — удивился Степан.

— А это и есть порядок. Нормальный ход событий, — пошутил Семенов. — Ты на Ленина посмотри — сразу успокоишься.

Поговорив немного, они разошлись. Сергей Иванович, увидев своих путиловских, присоединился к ним, а Степан, поднявшись на ступеньку лестницы, стал искать глазами Ленина. Кто-то сзади закрыл ему глаза ладонями.

— Кто это?

— Угадай...

Степан освободил голову, оглянулся. На ступеньках стоял Фрунзе.

— Миша! Михаил Васильевич!

— А ну поворотись, сынку, — улыбаясь, говорил Фрунзе. — Дай посмотрю, какой ты вырос. Степан, дорогой, здравствуй!

Они обнялись, расцеловались.

— Жив, Степан? Выжил?

— Выжил, Михаил Васильевич. Еще как выжил. Какая досада, только что с Сергеем Ивановичем разговаривали.

— Найдем и его.

Они уселись на подоконнике.

— Ты делегат, Михаил Васильевич?

— Нет, Степан Ильич. Я на крестьянском съезде был, а сейчас задержался по делам, ну вот и попал сюда. Смотри, Семенов идет. Не видит нас.

Но Семенов уже бежал к ним. На их шумные, радостные восклицания, дружеские объятия стали оглядываться: одни с улыбкой, понимая, что встретились самые близкие товарищи, другие с явным неудовольствием — как это так, в столь почтенном собрании и вдруг такие разговоры: «Постой, постой, да ведь мы с тобой последний раз в Новониколаевской тюрьме виделись...»

В семь часов за столом президиума появился Чхеидзе и объявил заседание открытым.

— Наконец-то! — с насмешкой крикнули в зале.

Чхеидзе, не обращая внимания на возгласы, начал с того, что ровно десять лет назад царем была разогнана вторая Государственная дума, а вот сейчас в столице заседает съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

В последних рядах неожиданно раздались аплодисменты. По широкому проходу, заложив правую руку за борт защитного цвета френча, быстро шел Керенский. Слегка сутулясь, он поднялся на возвышение. Керенский повернулся лицом к залу и,

подняв руку, повелительным жестом прекратил аплодисменты. Степан услышал, как Фрунзе презрительно произнес:

— Фигляр! Любит эффектные выходы. Бонапартик.

Заседание длилось недолго и как только кончилось, Степан предложил Фрунзе:

— Пошли, Михаил Васильевич, к нам. Ты даже представить себе не можешь, как Наташа обрадуется.

— С огромным удовольствием, Степан Ильич, но невозможно — сегодня уезжаю в Минск. Побуду там немного и в родные края...

— Это куда, в Пишпек?

— В Иваново-Вознесенск.

* * *

Весь второй день съезда Степан и Сергей Иванович сидели рядом, недалеко от Ленина. Владимир Ильич внимательно слушал ораторов, изредка записывая что-то в блокнот.

Вечером выступил Церетели. Он говорил долго, скучно, словно нехотя читал неинтересную лекцию. Даже меньшевики, обычно встречавшие его восторженными возгласами, удивленно переглядывались: «Что это сегодня с нашим Ираклием?»

— Я скажу прямо, товарищи, что в настоящий момент, когда мы ведем нашу международную политику, подкрепляя ее боевыми действиями нашего фронта, находятся люди...

Степан увидел — при этих словах Ленин встал и, приподняв голову, внимательно, в упор посмотрел на Церетели, и тот кое-как дожевал фразу. Ленин сел и продолжал сосредоточенно писать.

Церетели перешел к внутреннему положению.

— Мы знаем, что в настоящий момент в России происходит упорная, ожесточенная борьба за власть. В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место. Такой партии в России нет...

И вдруг в тишине раздалось:

— Есть такая партия!

Степан вздрогнул от неожиданности и, повернувшись на этот возглас, увидел: Владимир Ильич Ленин стоял посреди зала, слегка подняв правую руку.

Зал замер.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Золотые погоны не спасли Якова от пренебрежительных взглядов сослуживцев. Многие из них знали, что он недавно был нижним чином, и руки при встрече не подавали. В столовой Яков всегда сидел один — никто из офицеров к нему за стол не присаживался.

Полковник Юрасов, догадавшись об атмосфере, окружавшей Савватеева, успокоил его:

— Не обращайте внимания, Яков Иванович, на этих маменькиных сынков.

Словно назло коллегам, Юрасов через отца, служившего дежурным генералом при начальнике главного штаба, добился для Якова нового повышения в чине. В июне на погонах Якова блестели не две, а сразу четыре звездочки.

Когда Яков впервые появился у Важеватовых в новом звании, Степан шутливо заметил:

— Быстро шагаешь. Если так и дальше пойдешь, ты, чего доброго, скоро генеральские нацепишь. Это все твой Юрасов старается?

— Он, — ответил Яков и поделился с Важеватовыми своими наблюдениями о Юрасове. — Никак я его до конца не раскушу. Кто я ему? Никто. А мне он офицерские погоны добыл, службу хорошую. Ведь если по-ихнему, по-офицерски, рассуждать, мне ничего лучшего и желать нельзя.

— А я понимаю, — сказала Наташа. — Ты его от смерти спас, и он хочет твоим благодетелем быть. А чины ему для тебя добывать нетрудно — папа-то генерал.

— А по-моему, — промолвил Степан, — он еще потребует с тебя полностью за все его милости. Не верю я в барское бескорыстие.

Степан оказался прав. В конце июня, когда окончательно захлебнулось наступление русских войск, с такой помпой начатое Керенским, Юрасов пригласил Якова к себе. Пообедав, они прошли в кабинет. Начался незначительный короткий разговор о служебных делах, и вдруг Юрасов, не сводя глаз с Якова, неожиданно спросил:

— Яков Иванович, вы любите Россию?

Савватеев попробовал было отшутиться:

— С вашей помощью, Юрий Сергеевич, я стал ее больше любить.

Юрасов положил папиросу, встал.

— Я с вами, Яков Иванович, говорю вполне серьезно.

Яков тоже встал.

— И я говорю всерьез, Юрий Сергеевич. Как же мне Россию не любить, если я русский.

— Русские разные бывают, — резко сказал Юрасов. — Ленин тоже русский, говорят, даже дворянин, а немцам продался.

«Вот ты каков», — подумал Яков, поняв, что разговор сейчас пойдет действительно серьезный. Вслух он сказал:

— Я свою любовь к России доказывал у вас на глазах, Юрий Сергеевич.

— Знаю. Поэтому и буду с вами откровенен. Вы же видите, что происходит в нашем министерстве. Был Гучков торгаш, он и есть торгаш. А сейчас адвокатишка армией и флотом пытает-

ся командовать. Одно дело, Яков Иванович, речи в суде произносить, и другое — разгадывать замыслы неприятеля. Вы офицер, Яков Иванович, и я беру с вас честное слово русского офицера, что разговор останется между нами...

— Разумеется, — охотно подтвердил Яков.

— Так долго продолжаться не может. Пока партийные лидеры грызутся между собой, враг не дремлет. Россия, если ее не спасет сильная рука твердого вождя, легко может стать немецкой колонией. Наша организация, название и благородные цели которой я вам объясню позднее, поручила мне спросить у вас: согласны ли вы на подвиг во имя России?

«Ах, черт возьми, не успел посоветоваться со Степаном», — снова подумал Яков. И, чутьем поняв, как ему надо себя вести, четко ответил:

— Для блага России, Юрий Сергеевич, я жизни не пожалею...

— Спасибо, Яков Иванович. Я так и знал. А теперь слушайте. Завтра вы получите от меня два пакета и повезете их на юго-западный фронт. Один пакет вы лично вручите комиссару фронта Борису Викторовичу Савинкову, второй — тоже лично — командующему восьмой армией генералу Корнилову. Само собой разумеется, что официально ваша поездка будет носить иной характер. И последнее — за сохранность писем вы отвечаете головой. Согласны?

— Согласен.

— Спасибо, Яков Иванович. А сейчас можете идти. Письма получите тоже здесь, в шесть часов.

Прямо от Юрасова Яков пошел к Важеватовым. Степан, выслушав друга, послал Наташу за Семеновым.

— Пусть немедленно едет сюда. Скажи, дело очень серьезное.

Яков еще раз повторил свой рассказ Сергею Ивановичу. Семенов, выслушав, крепко пожал ему руку.

— Молодец, Яков Иванович. Правильно себя вел. Я сегодня же все доложу товарищу Подвойскому. Сомневаться не приходится — таким, как Юрасов, надоела болтовня Керенского. Они ищут себе вождя, и первым кандидатом, очевидно, будет генерал Корнилов.

— А что, если Яков письма сначала сюда принесет? — предложил Степан.

— Бесполезно,— ответил Сергей Иванович.— Письма, безусловно, шифрованные, и мы их все равно не поймем, а Якова можем подвести. Юрасов к нему завтра же обязательно негласных провожатых приставит...

* * *

Следующий день был для Якова полон самых неожиданных событий. Рано утром его послали дежурить по связи в прием-

ную к Керенскому. До этого дежурить у министра ему не приходилось, и Яков понял, что организация, о которой говорил Юрасов, теперь считает его своим и какой-то неизвестный, но, видно, важный человек распоряжается его судьбой.

В приемной министра, за столом дежурного офицера сидел молоденький поручик. Раньше поручик проходил мимо Якова, не обращая на него никакого внимания, а сейчас с понимающей улыбкой протянул ему руку и старательно объяснил обязанности дежурного по связи. В полдень в приемную заглянул Юрасов и, приветливо поздоровавшись, спросил:

— Вы не забыли? В шесть у меня.

Через час Якова позвали к дежурному генералу. Тот подал ему толстый пакет.

— Поезжайте в английское посольство.

В автомобиле сидел Юрасов. Яков сказал адрес, но шофер посмотрел на полковника и повел машину не к посольству, а на Екатерингофский проспект и остановился у небольшого серого дома. Юрасов тихо сказал:

— За мной, капитан.

Они вошли в темную переднюю. Там их встретил человек в штатском. Он нетерпеливо спросил:

— Ну?

Юрасов взял у Якова пакет и тихо ответил:

— В нашем распоряжении двадцать минут. Не больше.

— Успею,— сказал штатский и ушел с пакетом.

Юрасов сидел молча, курил, часто посматривая на часы. Потом он постучал в дверь. Недовольный голос крикнул:

— Сейчас!

Юрасов настойчиво напомнил:

— Время истекло.

Вышел штатский. Воротничок сорочки у него был расстегнут. Отдал пакет Юрасову и, вытирая со лба пот, хрипло сказал:

— Попробуйте сами за двадцать минут...

Юрасов зажег свет, осмотрел пакет и отдал его Якову:

— Если в посольстве спросят, почему долго везли, скажите— отказал мотор.

Шофер дремал в автомобиле. Юрасов козырнул Якову:

— Желаю удачи, капитан. Я к себе.

Все сошло благополучно. В английском посольстве Якова ни о чем не спросили, и он, получив расписку, вручил ее дежурному генералу. Генерал глянул на расписку, похвалил Якова:

— Молодец, капитан. Быстро управились...

* * *

Ровно в шесть Яков был у Юрасова. Полковник, одетый в белоснежный китель, встретил его дружеским рукопожатием.

— Мне поручили вас поблагодарить.

— За что? И кто именно?

— Настоящие русские люди. А поездка ваша отложена. Поедет другой человек. Вы можете понадобиться здесь.

Поздно вечером Яков постучал к Важеватовым. Степан открыл дверь, удивился:

— Ты? Не уехал?

Снова Наташа сбегала за Семеновым. Сергей Иванович подвел итог этому беспокойному для Якова дню.

— Ты, товарищ Савватеев, невольно попал в участники какого-то заговора. В чем тут дело, пока сказать трудно, но одно ясно — заговор этот, конечно, против революции. Я посоветуюсь, как тебе держать себя дальше. Но помни — выдержка и еще раз выдержка. Смотри, не сорвись.

* * *

И Яков не выдержал, сорвался.

В конце рабочего дня третьего июня по управлениям и отделам военного министерства объявили приказ: «Всем остаться на местах. До особого распоряжения министерства не покидать».

Приказ застал Якова в приемной министра, где он, как это часто случалось за последнее время, дежурил по связи. Расписываясь под приказом, Яков спросил дежурного офицера, что это означает. Тот торопливо сообщил:

— Большевики что-то задумали. Ну, а в ответ их ждет кровопускание.

Взволнованный этим сообщением, Яков не знал, что ему делать. Уйти из министерства без разрешения Юрасова он не мог. Это сразу навлекло бы на него подозрение. Впрочем, долго размышлять ему не пришлось, вошел Юрасов и приказал:

— Идите в мой кабинет, капитан. Будете принимать сообщения. Только не задерживайте, немедленно с вестовым шлите сюда.

Прошло полчаса — телефон молчал. Потом он затрещал, и далекий голос сообщил: «В первом пулеметном полку полное неповиновение командирам. Полк вышел на улицу. Несут лозунги: «Вся власть Советам! Долой Временное правительство!»

Затем телефон трещал почти без перерыва. Разные голоса тревожно передавали сообщения со всех концов города: «К дворцу Кшесинской подошло четыре пехотных полка со знаменами и лозунгами «Вся власть Советам!». Перед ними выступил какой-то большевик. Слушали очень внимательно».

«На Выборгской стороне среди демонстрантов много солдат. Есть даже офицеры. Лозунги «Вся власть Советам!».

Вестовой то и дело относил сообщения Юрасову. Наконец он пришел сам, а следом за ним еще полковник и генерал.

В одиннадцатом часу вечера Яков записал:

«Толпа в несколько тысяч человек, на глаз определить трудно, движется к Таврическому дворцу. В толпе много солдат. Идут спокойно».

В полночь Юрасов уехал в министерство внутренних дел, а Яков всю ночь провел у телефона. По коротким сообщениям он чувствовал — в огромном городе происходит что-то необычное. На рассвете в кабинет снова с тем же генералом вошел Юрасов. Полковника трудно было узнать. Обычная уравновешенность покинула его, и он с непривычной раздражительностью почти выкрикнул:

— Лучше не спрашивайте, генерал. Вы думаете, они сразу решили его арестовать? Болтали целых три часа. И я уверен — пока они соберутся это сделать, большевики его спрячут.

Генерал вздыхал, сидя в кресле, потом поднялся и, уходя, сказал:

— Я, полковник, ничего не понимаю. Видимо, старею.

Юрасов, выждав, когда за генералом захлопнулась дверь, со злостью бросил:

— Шел бы в отставку. Погубил Россию.

Яков подал ему сообщения, полученные за ночь.

— Кого это хотят арестовать, Юрий Сергеевич?

— Ленина, — ответил Юрасов, просматривая донесения. — Пока этот господин не будет за решеткой, Петроград не успокоится. — Юрасов оторвался от донесений. — Все зло от него. Что с вами, Савватеев? На вас лица нет!

— Устал, Юрий Сергеевич. Не спал всю ночь. Хорошо бы сейчас подышать свежим воздухом. Разрешите удалиться?

— Идите. Впрочем, подождите. Чем вы так взволнованы, Савватеев?

А у Якова одна мысль: «Надо предупредить! Надо».

— Куда вы, Савватеев?

— Устал я, Юрий Сергеевич. Голова трещит. Пойду я.

— Прилягте на диван...

— Нет, я пойду...

И Юрасов догадался. Встал, загородил дверь. Белыми от гнева губами, почему-то шепотом, сказал:

— Никуда ты, сволочь, не уйдешь. Руки вверх!

Правой рукой он расстегнул кобуру, левой потянулся к телефону. Но Яков предупредил — рукоятью нагана ударил полковника по голове. Юрасов рухнул на пол, успев что-то крикнуть. Яков перерезал ножницами телефонный шнур, перешагнул через неподвижно лежавшего полковника и вышел, закрыв дверь на ключ.

У подъезда в автомобиле сидел шофер, тот самый, с которым Савватеев ездил в английское посольство. Яков спокойно открыл дверцу.

— Куда, господин капитан?

— На Выборгскую. В артиллерийскую академию. Быстро.

Отпустив машину около академии, Яков вскочил в трамвай и через несколько минут уже стучался к Важеватовым.

Степан, торопливо одеваясь, говорил:

— Я сейчас побегу во дворец Кшесинской. А ты меня здесь жди. Наташа, дай ему чего-нибудь поесть. Снимай, Яша, погоны. Все. Кончилась твоя офицерская служба. Теперь туда возвращаться нельзя. Переходи на нелегальное положение...

Наташа, зажигая керосинку, спросила:

— Как же это, Яша, получилось? Неужели ты Юрасова убил?

— Живой. Очухается. Я, как только услышал, что Ленина хотят арестовать, стал сам не свой. Попади Владимир Ильич к таким, как Юрасов, тут же убьют. Если бы ты видела, как он на меня зашипел, аж побелел весь от злости. И понимаешь, Наташа, тут-то я и почувствовал, как я его ненавижу.

* * *

Яков прожил у Важеватовых безвыходно пять дней, узнавая о событиях от Наташи и Степана.

События катились лавиной. В демонстрации четвертого июля участвовало около миллиона человек. В демонстрацию стреляли. Особенно много убитых было на углу Садовой и Невского, где безоружную толпу расстреливали из пулеметов.

Арестовывали большевиков. Ночью с четвертого на пятое юнкера разгромили «Правду» и «Солдатскую правду». Ленин за полчаса до налета был в типографии. Задержись он немного — как бы обрадовались враги.

Министр-председатель Временного правительства князь Львов ушел в отставку. Главой правительства стал Керенский. Степан принес домой газету «Речь». Яков с жадностью набросился на газету. Прочитав о том, что Керенский переехал в Зимний дворец и занял царские комнаты, Яков сказал:

— Вот тебе и адвокат! Куда лезет...

— Он еще покажет себя, — ответил Степан. — Сегодня восстановил смертную казнь на фронте. За братанье — расстрел, за речи о мире — расстрел.

Но одна заметка в газете больше всего взволновала Якова: «Дознание контрразведки о деятельности Ленина закончено. Дело передано прокурору петроградской судебной палаты Каринскому. Следствие будет вести следователь по особо важным делам Александров под наблюдением товарища прокурора Пенского».

Яков вопросительно посмотрел на Степана.

— Ну, что ты на меня так уставился?

— Где Ленин? Арестован?

Степан усмехнулся.

— Руки коротки.

Вечером восьмого июля Яков, переодетый в штатское, перебрался на квартиру к рабочему завода «Старый Леснер» Егору Казакову. На другой же день Яков узнал, что Выборгский районный комитет партии назначил его военным инструктором. В записке, присланной Семеновым, говорилось:

«Желаю, Яша, удачи. Теперь начинается самое главное».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Каждый год, наголодавшись за последние зимние месяцы и весну, рабочие Шуи, Иваново-Вознесенска — всей ситце-ткацкой округи с нетерпением ждали свежих овощей. В хорошее, в меру дождливое теплое лето, к концу июля поспевали огурцы, можно было выдергивать морковь, свеклу. На огородах появлялась картошка-скороспелка с прозрачной бледно-фиолетовой шелухой. А это да еще плюс зеленый лук было уже совсем роскошной пищей.

Весна 1917 года выдалась особенно тяжелая. В магазинах совсем исчезли пшено, гречневая крупа и постоянный спутник всего съестного — постное масло. Все надежды оставались на картошку, но и ее было мало. В мае на базаре возле возов с картошкой вырастали длинные хвосты. То и дело раздавались крики: «Много не давай!», «Хватит по одному ведерку!». Наиболее дальновидные покупатели пытались встречать возы за городом, но мужики упрямились, не торопились продавать, как бы не продешевить, спешили в город узнать настоящую цену.

Весь апрель и май стояла необычная теплынь, даже сушь. Картошку и овощи сажали в серую, как зола, пыльную землю. А потом начались холода и дожди. Они шли с небольшими перерывами почти весь июнь и июль — и это было несчастьем: на залитых водой полях ничего не росло. Начинался август, а картошка была мелкая, как горох.

И тогда на базарах появились ближайшие предвестники голода—большие, серые плиты жмыха. Их называли по-разному— кто «колоб», кто «дуранда». К жмыху, которым в хорошие времена кормили скот, добавляли немного муки и пекли темные лепешки. Через час после выпечки они становились каменными.

А тут еще совсем почти исчезли: соль, керосин, спички.

Одна за другой останавливались фабрики — не хватало хлопка, нефти и угля.

Соседки по квартире, подружки завидовали Груне: «Тебе что, ты одна — ни мужа дома, ни детей. Попробуй повертись, как мы крутимся день-деньской».

Но и Груне приходилось нелегко. Ткачихой в Шуе найти работу не удалось, местные гуляли без дела. С трудом удалось устроиться к Павлову на ситцевую, на самую что ни на есть старушечью работу — разбирать лоскут. Первой получки, так назы-

ваемой «дачки», хватало только заплатить хозяйке за комнату, а второй получки, «в расчет», не хватало даже на хлеб.

А тут еще неожиданно навалилась неприятность — сгорел в Иваново-Вознесенске среди бела дня ее дом. Загорелось в полдень, вскоре после того как квартиранты ушли на фабрику. Пока прискакали пожарные — остались одни головешки. Огонь не пощадил и сарая.

Причины пожара выяснить не удалось. Правда, соседи слышали, как незадачливый ухажер Митька Бархатов, выпивши, похвалялся отплатить «большевичке» за давнюю обиду.

Груня вспомнила, как покойный отец принес когда-то красивую жестянку, на которой золотыми буквами значилось: «Страховое общество «Россия». Отец прибил жестянку над слуховым окном и гордо сказал: «Ну, таперича мы застрахованные. Можем гореть». Обращение в страховое общество ничего, кроме огорчения, не принесло. Вежливый служащий только посочувствовал Груне и порывшись в папках, сообщил, что страхование прекращено ввиду давней задолженности и неуплаты взносов.

Вынула Груня из подпечья ухваты с полуобгоревшими черенками, два чугунка да сковородку, поплакала и отнесла соседке. С собой взяла только белое с синим блюдце от материной любимой чашки, случайно найденное на пожарище.

В поезде до Шуи ей все казалось, что колеса выстукивают: «Был дом, был дом». Но прошло два-три дня, и Груня забыла о своей беде — нашлись дела поважнее.

Пока в марте — апреле возвращались один за другим из тюрем и ссылок большевики, казалось, что этот поток неиссякаем. Вспоминали: «Вот приедет Николай Сизов, Баландина еще нет. Малышев где-то застрял».

Но Сизов, как и многие другие, так и не вернулся — остался в безвестной могиле, вырытой чужими людьми в холодной сибирской земле.

Больше ждать было некого, и оказалось, что старых большевиков в Шуе собралось мало, а дела по горло. Надо было думать о новых людях, особенно о женщинах.

У кадетов своя типография, газета «Шуйские известия», листовки и опытные ораторы — председатель городской думы помещик Романов, ветеринарный врач Невский. У них же были субсидии общества фабрикантов и заводчиков.

У эсеров в руках уездный Совет крестьянских депутатов и уездное земство. Есть такие говоруны, вроде вечного студента Львова, — на любую тему могут разговаривать часами, цветисто, со ссылками на историю и великие имена. Вдобавок появился в Шуе поэт Константин Бальмонт. Давно не бывал в родных краях, а тут прикатил и выступает на всех митингах. Трудно его понять, за кого он — за эсеров, за анархистов или за кадетов. На собрании общества фабрикантов и заводчиков ратовал за свободу деловой инициативы, в городской управе под хмельком

разошелся и выкрикивал что-то о Кропоткине. Но ни разу — ни в трезвом виде, ни в слегка подвыпившем — не высказался господин декадент в пользу большевиков. Случилось, спросили его на митинге: как он относится к большевикам? Бальмонт тряхнул рыжеватой гривой и с иронической улыбочкой развел руками:

— Не слыхал-с! Чего не слышал, того не слышал.

У шуйских большевиков не было ни своей типографии, ни газеты. Петроградская «Правда» и московский «Социал-демократ» поступали в небольшом количестве и нерегулярно. Ораторов опытных совсем не было, если не считать Игнатия Волкова, а что он один мог сделать против десятка опытных краснобаев.

А после июльских событий на большевиков посыпались обвинения одно страшнее другого. Торговец Гундобин привез из столицы газету «Живое слово» с заметкой: «Ленин, Панецкий и К° — шпионы». В заметке бывший член второй Государственной думы Алексинский и эсер Панкратов заявили: «Считаем своим долгом опубликовать выдержки из только что полученных нами документов, из которых русские граждане увидят, откуда и какая опасность грозит русской свободе». Затем шла выдержка из протокола допроса какого-то Ермоленко, прапорщика 16-го Сибирского полка. Ермоленко якобы сознался, что он был взят в плен, а затем переброшен немцами в Россию, для того чтобы вести в войсках агитацию в пользу скорейшего заключения сепаратного мира с Германией. Немецкие офицеры ему сообщили, что Ленину поручено всеми силами подрывать доверие народа к Временному правительству. И ему на это выданы миллионы рублей.

Все это кончилось припиской Алексинского, что по техническим условиям подлинные документы будут опубликованы дополнительно.

Боже ты мой, как обрадовались этому бреду шуйские кадеты. В тот же день перепечатали всю заметку отдельной листовкой и раздавали ее повсюду: у фабричных ворот, на базаре, у церквей.

Груня, не подозревая о листовке, выступила на митинге в зале дома трудолюбия, где собрались члены фабричных, заводских и уличных комитетов. Она как раз говорила о мире: «Только наша партия добивается мира для народа». На трибуну вскочил верзила в голубой косоворотке и рявкнул:

— Слыхали? Да разве вы не видите, что она такая же немецкая шпионка, как и ее Ленин! Нате, читайте!

И выбросил в зал пачку листовок.

— Читайте! Немцам продались. Иуды!..

Он схватил Груню за чисто выстиранную, отглаженную ситцевую кофточку и завопил:

— Шелковая! На немецкие деньги куплена.

И бросил вторую пачку листовок. Кто-то в зале истерически крикнул:

— Берегись! Сейчас бомбу бросят!

Началась паника. Люди стали прыгать в окна. Митинг сорвали.

На другой день «Шуйские известия» на первой странице сообщили: «В Петрограде арестован Ленин».

Груня, прочитав страшную весть, помчалась к Волкову.

— Что же это такое, Игнатий Парфентьевич?! Как же его не уберегли?

— Кого, Грунюшка? — спокойно спросил Волков.

— Как кого? Что ты, газет не читал?

— Это враки, товарищ Савватеева. Я утром с Балашовым по телефону разговаривал. Они с Москвой связывались — не подтвердилось. Вот другое действительно подтвердилось — Керенский распорядился закрыть «Правду», запретил митинги на фронте. И еще одно — верховным главнокомандующим назначен генерал Корнилов, а товарищем военного министра Савинков.

— Что ж тут опасного?

— Корнилов монархист, а Савинков — эсер. Понимаешь, куда они тянут армию? Нам здесь, конечно, не все ясно. Но ничего, скоро светлее будет. Должны вернуться с Шестого съезда партии наши делегаты, расскажут, что нам делать.

* * *

И вдруг неожиданная радость. Вечером десятого августа к Груне прибежала Настя Баландина и, запыхавшись, с порога заговорила:

— Игнатий Парфентьевич из Иванова приехал и тебя требует. Сказал, чтоб все бросала и шла немедленно.

Не доходя двух домов до квартиры Волкова, Груня встретила торговца газетами Максима Галкина. Он бежал, размахивая руками, без фуражки, в опорках на босу ногу.

— Что случилось? — спросила Груня.

Максим в ответ улыбнулся и помчался, крикнув на ходу:

— Иди, давай, иди...

И Волков, всегда немного сумрачный, деловитый, встретил Груню ликующей улыбкой.

— Приезжает. Завтра. Беги на фабрику, оповещай.

— Да ты скажи, кто приезжает?

— Арсений приезжает... Михаил Васильевич Фрунзе.

— Кто тебе сказал?

— Он. Два часа назад я с ним в Иванове разговаривал.

* * *

Утро выдалось великолепное. На рассвете тихий теплый дождь омыл зелень, прибил пыль на улицах. Первыми в стан-

ционный садик пришли во главе с Груней ситцевики с Павловской фабрики. Следом за ними подошли с Терентьевской и Балинской. К девяти часам, казалось, вся рабочая Шуя с красными знаменами собралась у вокзала. В половине десятого на Большой мост через Тезу вступил сводный воинский отряд. Солдаты двух полков шли без винтовок, но с оркестром. Конечно, впереди, как всегда, бежали мальчишки. Сойдя с моста на Ильинскую площадь, на другой день переименованную в площадь Революции, отряд «взял ногу» и четко зашагал под торжественный марш.

В Ильинской церкви шла служба. Привлеченные звуками оркестра, богомольцы высыпали на улицу. Церковь опустела. Даже причт высунулся из дверей — посмотреть, что там происходит.

Последним к вокзалу приехал в пролетке председатель городской думы Романов. Рядом с ним бочком пристроился редактор «Шуйских известий».

На площади шел митинг. Выступил депутат второй Государственной думы Николай Жиделев.

— Мы встречаем дорогого товарища Арсения, которого десять лет назад закованного в кандалы провожали на этом же месте в царскую тюрьму.

Машинист Дмитрий Ветров, тот самый, что когда-то возил Арсения из Иваново-Вознесенска в Шую на паровозе, не доезжая до семафора, замедлил ход. Вдоль пути, почти от самого села Мельничного стояли жители ближних улиц и поселка Дубки. Поезд шел словно по широкому, живому коридору.

Фрунзе вышел в тамбур, снял фуражку, махал ею. Иван Лобович, ехавший с ним, увидел, как он украдкой смахнул с глаз слезы,— растрогался от такой неожиданной встречи.

Пробежали мимо домики Заречья, промелькнула водокачка. Вот и низкое, приземистое здание вокзала с черными буквами на фронтоне — «Шуя».

Люди бегут за вагоном, что-то кричат. Сколько дорогих, милых лиц на перроне. Игнатий Волков — сосед по каторжной камере, Николай Шувалов. Боже мой, да ведь это Груня! А это кто пробирается через толпу, размахивает кепкой? Да ведь это Роман Баландин. Конечно, он, только усы отрастил, как у запорожца.

Фрунзе не дали вступить на землю. Сняли с подножки, подняли на руки, понесли.

— Товарищи! У меня ноги есть. Товарищи! Ах вы, черти полосатые. Да я же сам ходить могу...

Донесли до трибуны — за ночь сколотили плотники с Небурчиловской фабрики — осторожно опустили. Жиделев поднял руку. Народ затих.

— Слово предоставляется Михаилу Васильевичу Фрунзе, известному шуянам под его партийной кличкой Арсений.

Раз десять, не меньше, пытался Фрунзе начать речь — ему все не давали, аплодировали.

— Товарищи! Много лет я мечтал о возвращении в Шую...

Романов, стоя в пролетке, криво усмехаясь, бросил редактору:

— Мечтал! Черт принес его сюда. Да что вы все записываете? Дайте завтра в газете пять строк. Приехал, и все. Хватит с него.

А Фрунзе уже справился с охватившим его волнением. Голос его окреп:

— Скоро полгода, как русский революционный рабочий класс и войска свергли Николая Романова и посадили его под замок. Но трудящиеся люди не стали полными хозяевами своей жизни. Временное правительство, защищающее интересы капиталистов и помещиков, продолжает империалистическую войну...

Груня огляделась — слушают внимательно, на площади тишина. Только когда загремела по мостовой пролетка господина Романова, кто-то крикнул: «Не понравилось!» И все, больше никого не заинтересовал поспешный отъезд председателя городской думы.

— Правительство Керенского хочет задушить большевиков, зовущих народ на борьбу за социализм. Ничего не выйдет у этих господ. Пулей голодных не накормить. Казацкой плетью не отереть слез матерей и жен. Штыком народ не успокоить.

Фрунзе кончил речь, спрыгнул с трибуны. Его окружили, жали руки, обнимали.

— Вот я и дома, товарищи!

Только поздно ночью удалось Фрунзе остаться с близкими друзьями.

— Ты как к нам приехал — по собственному желанию или тебя послали? — спросила Груня.

— И так и этак, — засмеялся Фрунзе. — Очень хотел побыть здесь, а получилось, вам я это могу сказать, товарищи, что это совпало с желаниями Центрального Комитета и товарища Ленина.

— И надолго ты к нам? — не отставала Груня.

— Пока не прогоните,— отшутился Фрунзе.— На днях только съезжу в Минск, отчитаюсь там перед товарищами и сюда. Жить пока буду в Шуе, а там сообща решим.

* * *

Вечером городской Совет рабочих и солдатских депутатов объявил свое решение: «В связи с возвращением дорогого товарища Арсения считать завтрашний день, субботу, 12 августа — нерабочим. Все на митинг!»

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Тем временем контрреволюция готовила удар. Двенадцатого августа в Москве, в Большом театре, открылось государственное совещание.

На него съехались около двух тысяч делегатов. Большевики призвали московских рабочих к однодневной забастовке. Московский Совет, состоявший из меньшевиков, отказался поддержать забастовку, но четыреста тысяч рабочих пошли за большевиками. Газета «Социал-демократ» вышла с лозунгом: «Пусть не работает ни один завод, пусть станет трамвай, пусть погаснет электричество, пусть окруженное тьмой будет заседать собрание мракобесов контрреволюции».

И заводы действительно не работали, стал трамвай, погасло электричество. Государственное совещание открылось в три часа дня речью Керенского. На столе президиума мерцали керосиновые лампы. Керенский — бледный, с измученным лицом — то повышал свой голос до истерического крика, то понижал до трагического шепота. Сто минут продолжалась его речь, и все это время около трибуны, не двигаясь, как статуи, стояли два офицера в походной форме, при оружии. Кто-то бросил к трибуне записку. Офицеры картинно схватились за револьверы. Один из них носком сапога скинул записку в оркестр с таким видом, словно это была бомба огромной силы.

В один из наиболее эффектных моментов речи Керенского, когда он призывал покарать супостатов, насмешливый голос откуда-то сверху крикнул:

— Эй вы, балерина! Бросьте паясничать!

Керенский на секунду оцепенел, растерянно глянул вверх и выкрикнул: «Пусть знают все, кто пытался в июле в Петрограде поднять руку на нашу народную власть,— пусть знают, что их попытки будут прекращены железом и кровью».

Тот же насмешливый голос бросил сверху: «Не пугай! Не из пугливых!»

Из театра Керенского в его резиденцию провожали взвод драгун и сотня казаков. Даже Милюков и тот, стоя у колонны, горько пошутил:

— Удивительно, как это Александр Федорович не вызвал с фронта дивизию...

Дивизия потребовалась на следующий день. В полдень к перрону Александровского вокзала подошел поезд генерала Корнилова. На платформе с распущенными знаменами стояли юнкера военных училищ, хор песенников, депутации союза офицеров армии и флота, георгиевские кавалеры и женская команда. Вся площадь перед вокзалом была заставлена войсками. Выделялась черная форма женского батальона смерти. Едва Корнилов опустил ногу на перрон, хор грянул гимн. Корнилову подали автомобиль, украшенный цветами. Он недовольно по-

морщился. Его монгольское лицо с опущенными книзу усами нервно передернулось.

— Я не кокотка,— с раздражением сказал он. Атаман Донского войска Каледин, встречавший его, что-то шепнул генералу Зайончковскому. На автомобиле укрепили георгиевский флаг. Цветы убрали. Их с восторгом расхватали дамы в светлых платьях, стоявшие плотной шеренгой около вокзала. Впрочем, автомобиль не потребовался. Генералу подвели белого текинского жеребца. Пока происходила вся эта канитель, появился думский златоуст Родичев и заговорил, прижимая руки к груди:

— Вы, генерал, символ нашего единства. Мы верим, вы поведете армию к победам над врагом. Клич «Да здравствует генерал Корнилов!» — теперь клич нашей надежды. Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас!

К Корнилову подбежала миллионерша Морозова, опустилась перед ним на колени. Всплеснула по-бабьи руками, взвизгнула, как деревенская кликуша:

— Лавр Георгиевич! Спасите!..

Кого просила спасать Морозова, окружающие не расслышали. Личные конвойцы генерала, текинцы в ярко-красных халатах, приняв, очевидно, миллионершу за террористку, стремительно подхватили ее под руки и оттащили от генерала. Городской голова Руднев крикнул комиссару Временного правительства в Москве Кишкину: «Что они делают?» Морозову отпустили. Она, застегивая разорванное платье, деловито ругалась:

— Дурачье! Свинтусы...

На белом жеребце генерал Корнилов под крики «ура» ехал по Тверской к Иверской часовне, приложиться к чудотворной иконе. За ним в полосатых халатах и косматых папахах шагом двигался его личный конвой — текинцы.

Больше никуда Корнилов в этот день из своего вагона не выходил. Приезжали к нему Милюков, банкир Вышнеградский, Каледин, Пуришкевич... С Керенским генерал встретиться не пожелал. И сразу по Москве поползли слухи — между ними трения, военная власть вступила в борьбу с гражданской.

Поздно вечером Корнилова посетил министр путей сообщения Юренев и передал приказ Керенского: «Выступление генерала Корнилова на государственном совещании назначено 14 августа. Генерал имеет право говорить только о состоянии армии и стратегическом положении».

Корнилов прищурил и без того узкие карие глаза и как отрубил:

— Поговорили...

Ночью Керенский вызвал генерала к телефону, подтвердил свой приказ. Корнилов с досадой ответил:

— Не учите меня, Александр Федорович. Я выскажу то, что подскажет мне мое русское сердце.

И повесил трубку. Он не услышал, как Керенский стукнул по столу кулаком и хрипло выкрикнул:

— Азиат!

Свою речь Корнилов читал по записке, с трудом произнося длинные, запутанные фразы. Слушателям было ясно — генерал высказывает чужие мысли. Он только жалкая марионетка. За ниточку дергали другие.

* * *

Газетные отчеты об окончании государственного совещания пришли в Шую через день. Городской комитет созвал большевиков на собрание. На нем выступил Фрунзе.

— Все ясно, товарищи. Контрреволюция задумала новое наступление, передачу власти военному диктатору. Рабочий класс должен быть готов ко всяким неожиданностям. Против нас двинут все — заговоры, суды, расстрелы, карательные экспедиции, клевету, убийства из-за угла. — Фрунзе внимательно посмотрел в зал. — Нас ждут трудные дела. Сейчас нам надо быть стойкими и мужественными, и мы победим.

Он вынул из кармана газету, показал ее слушателям.

— Видите, жива наша «Правда». Пусть на ней другое название — но это наша «Правда». И вот сегодня в ней есть небольшая заметка, но она говорит больше любой статьи. В ней говорится об итогах выборов в Петроградскую городскую думу. Большевики больше всех получили голосов. На втором месте эсеры, а наши постоянные недоброжелатели меньшевики получили меньше нас почти в десять раз. В десять раз, товарищи. Вдумайтесь в эти цифры, и вы поймете, за кем идет сегодня рабочий класс. Придет и наш день, товарищи, день нашей окончательной победы.

И люди — полуголодные, плохо одетые, с красными от бессонницы глазами, небольшая кучка людей — поднялись и запели:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Конец августа, сентябрь и октябрь были до того заполнены событиями, что люди не успевали в них разбираться.

Вскоре после государственного совещания в Москве стало известно, что в ставке, находившейся по-прежнему в Могилеве, происходило совещание об установлении военной диктатуры. Фамилии генералов, причастных к этому,— Деникина, Дидерихса, Багратиона, Долгорукова — говорили о том, что от военной диктатуры недалеко и до восстановления монархии.

Через несколько дней внимание всех приковало трагическое известие — немцы прорвали рижский фронт и овладели Ригой.

Двадцать пятого августа Корнилов обратился к войскам с контрреволюционным воззванием и двинул на Петроград корпус под командованием генерала Крымова при начальнике штаба Дидерихсе.

В состав корпуса входили казачьи полки и знаменитая «дикая дивизия», сформированная еще в 1916 году из добровольных горских народов Кавказа. Большинство из них было неграмотно и слепо верило Корнилову. Впереди дивизии шел отряд броневиков, их вели офицеры.

По Петрограду бегали подозрительные личности, мелом отмечали двери квартир, где жили большевики и передовые рабочие.

На другой день бывший министр-председатель Временного правительства князь Львов обратился к Керенскому от имени Корнилова с требованием вручить генералу всю полноту власти. Вечером Львов по приказу Керенского был арестован. Все министры-кадеты вышли из правительства. В Петрограде объявили военное положение. Генерал-губернатором столицы назначили Бориса Савинкова. Он пробыл в этой должности три дня — стало известно, что именно он был посредником в переговорах Керенского с Корниловым. Поползли слухи — и они были точными — Керенский знал о намерениях Корнилова, помогал ему и сманеврировал только в самый последний момент — понял, что генерал, захватив власть, рассчитается с ним.

Большевики разъясняли населению Петрограда и гарнизону, чего можно ждать от Корнилова. Тысячи людей вышли рыть окопы. За два дня были созданы и вооружены отряды Красной гвардии. Навстречу войскам мятежного генерала вышли сотни агитаторов — большевиков, рабочих. Даже «дикая дивизия» и та под давлением большевиков повернула обратно на фронт.

Двадцать девятого августа командующий корпусом генерал Крымов был арестован. Через два дня он покончил самоубийством.

Временное правительство объявило Корнилова изменником родины. Первого сентября генерал Алексеев прибыл в Могилев и арестовал Корнилова и его ближайших помощников генералов Лукомского, Романовского. Через две недели были отрешены от должностей высшие военные начальники Деникин, Марков, Ванновский, Эрдели.

В дни корниловского мятежа Керенский, перепуганный близкой перспективой потерять власть и превратиться в лучшем случае снова в присяжного поверенного, был готов принять даже помощь от тех, кого он больше всего ненавидел,— от большевиков. Двадцать седьмого августа, получив известие о продвижении корпуса Крымова, он в отчаянии крикнул своим при-

ближенным: «Попросите большевиков воздействовать на войска. Они их послушаются!»

Но как только угроза миновала, Керенский, провозгласив себя тридцатого августа верховным главнокомандующим, снова взялся за большевиков. Но он уже ничего не мог поделать — влияние большевиков росло с каждым днем. Во многих городах — в Красноярске, Ташкенте, Луганске — власть перешла в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. В отличие от Советов, существовавших весной и летом под сильным влиянием меньшевиков и эсеров, теперь в них верховодили большевики.

Временное правительство объявило Россию Российской Республикой. В Москве, Кронштадте, Минске, Тамбове, Царицыне, Одессе создавались отряды Красной гвардии. Они-то и были той силой, которая вступила в борьбу с надвигающейся контрреволюцией.

Большевики победили на перевыборах Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Девятнадцатого сентября был избран новый, полностью большевистский исполнительный комитет Московского Совета.

В России по-прежнему были две власти — Временное правительство и Советы рабочих депутатов; правительство все больше теряло почву под ногами. Лозунг большевиков «Вся власть Советам!» привлекал широкие народные массы. В ответ на требование большевиков созвать в сентябре второй съезд Советов меньшевики и эсеры, имевшие большинство голосов в Центральном Исполнительном Комитете Советов, вместо съезда Советов созвали Демократическое совещание.

Из речи Церетели на совещании, открывшемся 14 сентября в Александринском театре, стало ясно, что меньшевики хотят создать новое коалиционное правительство из кадетов, эсеров и меньшевиков. Демократическое совещание выделило свой постоянный представительный орган при Временном правительстве — Совет Российской Республики, который тотчас же окрестили «Предпарламентом».

Это была еще одна попытка соглашательских партий помочь буржуазии взять полную власть над народом.

В Предпарламент вошло пятьсот пятьдесят пять человек.

Первый раз Совет Российской Республики собрался 7 октября в Мариинском дворце, где когда-то заседал Государственный совет.

Вместо кресел, обитых малиновым бархатом, в зале стояли простые венские стулья. Государственный герб Русской империи снять не успели, а только завесили полотнищем. Завешена была и картина Ильи Репина «Заседание Государственного совета».

В первом ряду сидели генерал Алексеев, «бабушка русской революции», живая икона эсеров Брешко-Брешковская. Вера

Фигнер. На министерских местах рядом с Керенским сидел новый военный министр Верховский.

Керенский, как всегда в защитном френче, поднялся на возвышение, театрально засунув правую руку за борт френча. Сделал вид, что он не знал о присутствии в зале Брешко-Брешковской, и протянул к ней руки:

— Екатерина Константиновна! Бесценная! Ваше место в президиуме.

Брешко-Брешковская, совершенно седая, но, несмотря на свои семьдесят три года, очень подвижная старушка, поднялась к Керенскому. Он, искоса поглядывая на кинооператоров, почтительно склонился, поцеловал Брешко-Брешковской руку, а она обняла его и прижала его голову к плечу. Растроганные депутаты аплодировали чувствительной сцене.

Потом начались выборы председателя. Почти единогласно прошел эсер Авксентьев.

Все шло гладко, приятно. Так бы и закончился этот торжественный для меньшевиков и эсеров день, не появись в зале делегация большевиков. Вошли и наговорили неприятных, обидных для организаторов слов о том, что и эта новая затея обмануть народ обречена на провал. Под конец в роскошном зале хотя и с занавешенным, но все же царским гербом прозвучали слова: «Вся власть Советам!» Обнародовав свою декларацию, большевики ушли. Вслед им с задних рядов крикнули: «Выбирайте для себя фонари!»

Большевик, шедший последним, оглянулся. И все в зале увидели — на его лице не было ни испуга, ни даже гнева — он весело засмеялся.

* * *

Во вторник, 24 октября, было холодно. Ветер гнал с Балтики большие рваные тучи. Утром выпал снег. Он лежал узкими полосками на гранитных парапетах набережных, на стволах пушек, стоявших у Зимнего.

Утром, как обычно, заседал Предпарламент. В зале было шумно. Оратора — грузного человека, скучно оглашавшего какие-то цифры, слушали плохо. В зал вошел Шульгин. Устроился рядом с генералом Спиридоновым в последнем ряду, задрал голову, посмотрел на оратора.

— Кто говорит, генерал?

— Вы, Василий Витальевич, министров перестали узнавать. Это министр внутренних дел Никитин.

— Не узнал. Слишком часто меняются. О чем это он?

— О продовольственном вопросе. Плохи наши дела. А что там? — кивнул генерал, подмигнув в сторону окон.

— По-моему, генерал, большевики начали действовать. Да, слышали последнюю новость? У банкира Крафта анархисты ук-

рали девятилетнего сына. Требуют выкуп — сто пятьдесят тысяч...

Никитина сменил на трибуне министр иностранных дел Терещенко: попытался подвести итог вчерашним прениям по внешнеполитическим вопросам. Едва он произнес первую фразу, с левой стороны закричали: «В отставку! Вам надо в гимназию! В пятый класс!»

Под всеобщий шум на трибуну выскочил неожиданно появившийся Керенский. Он, видимо, торопился, поглядывал на часы. Не заговорил, а забормотал что-то о большевистском восстании, о самовольной раздаче патронов. Его не слушали, шумели. И только когда он упомянул Ленина, все смолкло.

— Министр юстиции Малянтович только что доложил мне, что он дал категорическое предписание прокурору судебной палаты немедленно арестовать Ленина.

В зале стало совсем тихо.

— До сведения правительства дошло, что Ленин скрывается в Петроградской губернии... Он будет арестован!

Керенский посмотрел на часы, убежал с трибуны.

— Александр Федорович,— крикнул председатель. — Одну минуточку.

Керенский махнул рукой, скрылся в дверях. За ним рысью бежали два адъютанта. У одного через руку было перекинуто серое пальто министра-председателя.

Генерал Спиридонов встал и равнодушно сказал Шульгину:

— Я думал, они его уже поймали...

И вышел покурить. Вернувшись, увидел на трибуне управляющего делами Временного правительства.

— Господа! Одну минуточку. На ваше одобрение вносится решение Временного правительства считать имение Павловск личной собственностью князя Иоанна Константиновича. Я думаю, возражений не поступит?

— Па-аз-вольте? — послышалось с левой стороны. — Я возражаю!

— Голосую,—гремя колокольчиком, крикнул председатель.

Шульгин, красный от гнева, побежал к выходу.

— Россия погибает, а они...

* * *

Утром Сергея Ивановича и Степана вызвали к Подвойскому. Они еле пробрались через толпу, запрудившую длинные коридоры Смольного. Подвойский, веселый, с блестящими глазами, спросил:

— План с собой?

Степан достал копию плана Зимнего, снятую Наташей с подлинника.

— Вот первый этаж, вот второй.

Подвойский ткнул в план красным карандашом.

— Смотрите внимательно. Это так называемый Салтыковский подъезд. Он против Адмиралтейства.

— Я знаю,— сказал Степан. — Приходилось стоять в карауле.

— Тем лучше,— похвалил Подвойский. — Ваш отряд вместе с матросским должен штурмовать подъезд. Попадете в коридор, его называют Кутузовским. Поднимайтесь по лестнице. Не доходя до второго этажа, на площадке дверь в дежурную комнату. Потом попадете в длинный темный коридор. В нем висит много портретов. Дальше будет большой зал — не круглый и не квадратный...

— Ротонда,— подсказал Степан.

— Ты смотри,— удивился Подвойский,— как в своем доме разбирается.

— И тут стоять приходилось. У дверей Арапского зала.

— Верно. Он рядом. Ну, а дальше Малахитовый зал — там они и заседают... Из Малахитового зала повертывайте налево. Вот видите, узкая угловая комната—это кабинет бывшего царя. А это его библиотека. Тут Керенский, говорят, любит принимать министров. Учтите, в этих вот трех залах — концертном, Николаевском и аванзале — госпиталь. Юнкера скопились в залах, выходящих окнами на Дворцовую площадь. К ним будем подбираться через другой подъезд, он называется «подъезд ее величества»... Все ясно, товарищи?

— Ручных гранат маловато,— заметил Сергей Иванович,— а они в ближнем бою, говорят, полезная вещь.

— Вероятно,— согласился Подвойский и написал на бланке Военно-революционного комитета несколько слов.

— В Петропавловскую крепость, к комиссару Благонравову. Если у него нет — к Тер-Арутюнянцу в Кронверкский арсенал. Вы на чем сюда добирались? На трамвае?

— Мы теперь богатые. Нам шофер господина Нобеля добровольно хозяйский автомобиль подарил,— усмехнулся Сергей Иванович.— В долгосрочное пользование...

— Ну молодцы,— протянул руку Подвойский. — Желаю успеха. Впрочем, подождите,— забыл самое главное — Владимир Ильич просил всем передать: как можно меньше жертв. И еще одно его требование: дворец и все, что в нем,— народное достояние. Надо все сберечь. Грабежей не допускать. А могут быть грабежи. В суматохе примажутся мародеры. Ну, еще раз желаю успеха!

* * *

Площадка первого этажа и вестибюль Смольного были до отказа забиты солдатами и матросами. Пожилой солдат в накинутой на плечи шинели, с большим чайником без крышки весело покрикивал:

— А ну, кому еще кипяточку?

Из коридора вывернулся Чхеидзе — бледный, шляпа на затылке. За ним с галстуком в руках, сорванным, очевидно, в пылу спора, шел Дан, повторяя одно и то же:

— Это безумие! Они не позволят.

Толпа на лестнице расступилась. Матрос осторожно отвел руку с кружкой, сделал галантный жест:

— Пропустите. Осторожненько, как бы не обварить.

Степан и Сергей Иванович протиснулись к выходу. Не сразу нашли свой автомобиль. Шофер предупредил:

— Говорят, Литейный мост развели. Махнем через центр?

— Как хочешь.

По Суворовскому проспекту выехали на Невский. На нем ничто не напоминало о близком восстании. Многолюдно. Звенят трамваи. Только проскочили Знаменскую площадь, отказал мотор. Шофер, чертыхаясь, достал инструмент.

— Разве это бензин. Мазут!

Около машины сразу собралась толпа. Сергей Иванович выскочил на торцовую мостовую.

— Я за папиросами.

Степан подошел к шоферу, посочувствовал. Тот, обозленный неудачными попытками исправить мотор, снова чертыхнулся: «Отойди, не мешай!»

Важеватов шагнул на тротуар, стал ждать Семенова. От нечего делать начал читать афиши, которыми залепили все стены.

«Электротеатр «Париззиана». Сегодня «Женщина с прошлым». В главных ролях Лысенко, Мозжухин».

Другая афиша извещала, что завтра, в среду 25 октября, в ознаменование двадцатичетырехлетней годовщины со дня смерти композитора Чайковского после панихиды состоится концерт.

Рядом с этой афишей висели удивившие Степана объявления. Первая строчка, отпечатанная жирным шрифтом, гласила: «Плачу дороже всех». Дальше сообщалось, что Штальберг, проживающий в гостинице «Европейская», платит в иностранной валюте дороже всех за бриллианты, старинный фарфор, гобелены, гравюры, табакерки, золото. Прием круглые сутки. Указывались номера двух телефонов.

Подошел Семенов. Степан показал ему объявление:

— Видел? Скупает, стервец, за бумажки. Потом увезет за границу.

Пробежал газетчик с криком: «Экстренный выпуск!» Сергей Иванович достал коричневую керенку.

Развернул газету, ища экстренное. Но газета оказалась утренней. Газетчик уже бежал по другой стороне Невского.

— Надул, паршивец!

Делать нечего — стал читать: «Вести из ставки. На фронтах северном, западном, юго-западном — затишье. Действия разве-

дывательных партий. На румынском фронте отмечены перестрелки. На многих участках фронтов братанье».

Зафыркал мотор. Шофер, стараясь скрыть радость, сердито крикнул:

— А ну, пассажиры, давай поехали!

Доехали до Дворцового моста. Стоп — разведен. Повернули налево, к Николаевскому. У моста отряд матросов. Командир с расстегнутой кобурой на длинном ремне строго спросил:

— Куда? Кто такие?

Сергей Иванович показал мандат Военно-революционного комитета. Степан прочитал у командира на ленточке: «Аврора».

— Пропусти!

Влетели на мост и сразу увидели крейсер. Он стоял — одного цвета с невской водой, только на носу чернела кучка матросов.

— Пришел! — крикнул, обернувшись, шофер. — Вчера стоял у Франко-Русского завода. Сам видел. Ну и будет же им, буржуям, сегодня!..

* * *

Без происшествий добрались до Большого Сампсониевского проспекта.

— Куда вас?

— В штаб.

Чайная на первом этаже забита красногвардейцами. В дальнем углу «музыкальный ящик» играет марш «Под двуглавым орлом». Густо накурено.

Сергей Иванович и Степан прошли через большой зал в маленькую комнатку. У телефона стучал на машинке дежурный, токарь с Парвиайнена, Николай Баженов. Степан остановился у двери, крикнул:

— Командиры рот, ко мне!

* * *

Поздно вечером связной из Военно-революционного комитета привез приказ: «Утром быть наготове!» Степан вышел в большой зал. Попросил слова:

— Товарищи! Всем, кроме дежурных, отдыхать. Завтра день серьезный...

Вернувшись в комнату, Степан сказал Семенову:

— Сходил бы домой.

Вера ходила последние дни, ждала ребенка.

Сергей Иванович улыбнулся.

— Я бы рад. Но там твоя Наталья. Она меня вчера так турнула.

В половине одиннадцатого Сергей Иванович, вернувшись из районного комитета, тревожно сообщил:

— Ленина дома нет.

И рассказал, что последние дни Владимир Ильич жил на Выборгской стороне, на Сердобольской улице. А вот сейчас квартирная хозяйка пришла к Крупской и сказала, что Ильич ушел. И никто не знает, где он.

В два часа ночи примчался на мотоцикле еще один связной от Подвойского. Передавая пакет, радостно сообщил:

— Ленин в Смольном.

— Правда?

— Зачем мне врать? Сам видел. Собственными глазами.

Степан вскрыл пакет. Подвойский просил выделить роту красногвардейцев и выслать ее к 8 утра к Мариинскому дворцу. Важеватов разбудил Семенова. Сергей Иванович прочитал, повернулся на другой бок.

— Ясно. Завтра Предпарламенту конец. Пошли роту Якова Савватеева.

* * *

И вот он пришел, этот день — последний день Российской буржуазно-демократической республики.

Было холодно. Ветер, как и вчера, гнал с Балтики тучи. Они ползли низко, задевая шпиль Петропавловской крепости. Над Невой метались чайки.

На рассвете ушла рота Якова. Пожимая ему руку, Степан шутливо сказал:

— Может, Юрасова, полковничка своего, там увидишь. Кланяйся...

— Ему теперь не до меня. Он в Москве. Помощник начальника штаба командующего Московским военным округом.

Степан уже по-деловому приказал:

— Освободишься, шли связного.

Только проводили роту, примчалась Наташа. С порога объявила:

— Поздравляю, Сергей Иванович, с сыном. Хороший мальчик. Весь в тебя, чуть ли не с бородой.

Семенов схватился за шапку. Степан заметил:

— Сходи домой. Успеешь.

Сергей Иванович по пути поцеловал Наташу в щеку: «Спасибо!» — и ушел. Наташа сразу притихла. Степан догадался — вспомнила Дашеньку. Обнял жену за плечи:

— Родненькая моя!

Через полчаса Сергей Иванович вернулся. Смущенно сказал Наташе:

— Не показали.

В час дня Степана позвали к телефону. Он выслушал, кратко ответил: «Слушаюсь» — и, положив трубку, подал команду строиться. Спросил Семенова:

— Говорить будешь?

— Надо бы.

Они вышли, встали перед строем. Сергей Иванович снял зачем-то шапку.

— Товарищи! Мы по приказу Военно-революционного комитета идем свергать Временное правительство.

Слушали серьезно, молча. Семенов быстро закончил речь.

— Все, товарищи, ясно?

И вдруг раздался ломающийся, мальчишеский голос:

— Всех буржуев будем бить или по выбору?

— Кто вопрос задал? Два шага вперед!

Вышел Константин Сухов, парнишка с Парвиайнена, в матросском бушлате и солдатской фуражке.

— Положи винтовку!

— Это почему же?

— Положи. Налево! Шагом марш! Командир роты Тарасов, после разъясните красногвардейцу Сухову задачи пролетариата на текущий момент. Есть еще вопросы?

— Где сейчас товарищ Ленин?

— Товарищ Ленин в Смольном. Все ясно?

Больше вопросов не было.

— Направо! Шагом марш!

Отряд зашагал по проспекту. У ворот стояла кучка женщин, среди них Наташа. Семенов, проходя мимо, спросил:

— Вы куда?

— С вами.

— Не к чему. Только мешать будете.

Наташа, не обращая на него внимания, пошла за отрядом.

— Наталья! Не дури... Степана крикну. Иди к Вере.

* * *

В три часа отряд занял часть набережной около Адмиралтейства. Отсюда хорошо был виден Салтыковский подъезд, выходящий в сад при Зимнем дворце.

В половине четвертого подошла рота Якова Савватеева. Яков, смеясь, рассказал, что происходило в Мариинском дворце.

— Главное, им сунуться было некуда. Пока они там совещались, солдаты заняли все выходы, вошли в зал. А там на трибуне какой-то оратор разоряется. Чудновский, командир наш, подошел к нему и говорит: «Кончайте, гражданин, ваше время истекло!» Они сначала гвалт подняли: «Кто вы такие? Как вы смеете?» Пошумели малость и начали выходить. Сначала автомобили требовали, ссылались на усталость. А Чудновский им в ответ: «Прогуляйтесь, господа. Перед обедом это полезно для аппетита».

Посыпались вопросы: «Где министры?» Яков отвечал:

— А черт их знает. Там их не было. В Зимнем, наверно.

* * *

Из окон Малахитового зала Зимнего дворца хорошо видны биржа, ростральные колонны, чуть правее — Петропавловская крепость. Если встать из-за стола и подойти ближе к окну — видна Нева, мосты: Дворцовый, Биржевой.

У окна тихо беседуют два министра: юстиции — Малянтович и морской — Вердеревский.

— Скажите, адмирал, если они осуществят свою угрозу и откроют огонь с «Авроры», что будет с дворцом?

— Превратится в кучу развалин. У «Авроры» башни выше мостов. Может уничтожить дворец, не повредив больше ни одного здания. Дворец расположен удобно. Прицел хороший...

Отошли от окна. Походили, посмотрели на коллег, занятых неизвестно чем.

Появился бледный Коновалов.

— Александр Федорович Керенский уехал из Петрограда на фронт. Собирать силы. Я, как его заместитель, предлагаю объявить наше заседание непрерывным, до полного разрешения кризиса. Первый вопрос — назначение уполномоченного Временного правительства по охране Петрограда.

— Предлагаю назначить на этот пост министра государственного призрения...

Машинально проголосовали назначение Кишкина.

— Сергей Николаевич, возьмите на себя труд изготовить указ. Простите, мы забыли определить помощников уполномоченного.

Министр иностранных дел Терещенко, прислушиваясь к шуму в соседних залах, говорит:

— Надо спросить у самого господина Кишкина, кого он хочет?

Кишкин, тоже частенько поглядывая на дверь, отвечает:

— Прошу утвердить инженера Пальчинского и Рутенберга.

Военный министр Маниковский с иронией осведомляется:

— Они еще здесь?

— Здесь.

Проходит час, другой. Министрам ровным счетом нечего делать. Они то сидят, то гуляют по залу. Вердеревский поманил Малянтовича. Оба отошли к окну.

— Долго мы тут будем сидеть? Надо что-то делать?

— Что вы предлагаете?

— Ничего.

Вечером кто-то принес последнюю малоприятную новость. У дворца стояла батарея Михайловского училища. Это была единственная артиллерийская часть, оставшаяся верной Временному правительству. Батарея ушла, не сделав ни одного выстрела.

Терещенко с грустью развел руками:
— Это ужасно.
— У нас есть еще пулеметы,— успокоил его Маниковский.
Принесли еще новость — ушел женский батальон смерти. Во дворце остались только юнкера. А вдруг и они уйдут? Может, собрать их, поговорить. Юнкеров собрали в Александровском зале. Драгоценный пол закрыт брезентом. Везде окурки, бутылки. В углу навалена гора матрацев. Молодые, но хмурые лица. Смотрят на министров исподлобья.
Раздается хриплый голос:
— Мы хотим знать, кого мы защищаем?
Первым ответил Коновалов:
— Мы — законное правительство России. Вы, юнкера, не только воины, но и граждане. Решайте сами, на чьей стороне вы должны быть?
Маниковский шепотом сказал министру труда меньшевику Гвоздеву, чересчур близко стоявшему у окна.
— Куда вы? Могут стрелять.
Гвоздев стал в простенок. Юнкера засмеялись. Кто-то съязвил: «Боитесь — убьют?»
Вернулись в Малахитовый зал. Министр исповедания Карташев подвел итог:
— Напрасно разговаривали с ними. Мальчишки.
Стемнело. Вердеревский посмотрел на часы.
— А не перейти ли нам, господа, во внутренние покои? Здесь мы под обстрелом.
Все сразу согласились. Торопливо перешли в соседнюю небольшую комнату — столовую бывшего царя. Окна в ней выходили во двор. Уселись за овальный большой стол.
Вошел взволнованный Кишкин.
— Господа, нам предъявлен ультиматум. Если мы не сдадимся в течение двадцати минут, крейсер «Аврора» откроет огонь. Что делать, господа?
На часах было десять минут девятого вечера.

* * *

К Важеватову и Сергею Ивановичу часто подходили красногвардейцы:
— В чем дело, командиры?
— Нет сигнала.
Наконец близко, как будто совсем рядом, громыхнула «Аврора». Потом заговорили орудия Петропавловской крепости. Во дворце погас свет.
— За мной, товарищи!
Степан бежал, низко пригнувшись. Рядом Сергей Иванович. Вот и решетка сада. Из окон дворца бил пулемет. Степан, добежав до стены, оглянулся — красногвардейцы и матросы заполнили сад. Взорвалась граната, другая.

* * *

Все было кончено во втором часу ночи. Степан со своими красногвардейцами стоял в ротонде, у арки в Арапский зал. Через арку поодиночке вели министров. Они, поняв, что им не угрожает немедленная расправа, оправились от испуга. Коновалов прошел с поднятой головой, презрительно оттопырив губы. Терещенко мял пальцами незажженную папиросу. У министра внутренних дел Никитина отнялись от страха ноги. Его вели под руки два матроса. Министров считали: один, два, три...

Степан и Семенов вместе с другими вошли в царскую столовую. На маленьком столике одиноко светила настольная лампа, прикрытая газетой.

— Здесь их взяли,— сказал солдат, добровольно взявший на себя роль экскурсовода.

Вбежал с револьвером в руках матрос.

— Приказано очистить дворец. Идите вниз, товарищи.

В небольшой комнате неподалеку от Малахитового зала Степан увидел Якова. Он, взяв за грудь здоровенного верзилу, стукал его затылком об стену, приговаривая:

— Я тебе покажу штиблеты!

— В чем дело, товарищ Савватеев?

— Видал поганца! Кожу с кресел срезывал. На штиблеты. Марш отсюда, пока цел.

* * *

Большая часть выборгского отряда ушла из Зимнего на рассвете. Вместе с отрядом матросов они всю ночь осматривали дворец, выгоняли подозрительных лиц, помогали служителям запирать комнаты. Расставили караулы.

Степан и Яков вышли вместе, через «подъезд ее величества». Постояли на площади, покурили. Яков, посматривая на дворец, подвел итог:

— Богато жили!

На площадь, давя ледок на лужах, влетел грузовой автомобиль. Из него выбросили пачку листовок. Степан поймал одну и при слабом свете начинающегося утра прочитал: «К гражданам России. Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства,— это дело обеспечено...»

Степан спрятал листовку в карман.

— Покажу дома Наташе...

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Зимний был взят. Министры Временного правительства сидели в Петропавловской крепости. Второй съезд Советов, открывшийся поздно вечером 25 октября, сформировал новое правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с председателем Владимиром Ильичем Лениным.

Это были факты не только общерусского, а мирового значения. Перед новой властью тотчас же, на другое утро, открылась жизнь со всеми ее противоречиями и трудностями. Большевикам надо было приниматься за множество дел. Самые важные среди них: укрепление власти, распространение ее на всю огромную страну; защита первого в мире государства рабочих и крестьян от немецкого империализма, борьба с внутренней контрреволюцией.

Были и обыкновенные, будничные дела. Люди, независимо от того, какой флаг развевался над Зимним дворцом, хотели есть и пить. Нужно было, чтобы в столице, да и не только в ней, торговали магазины, ходили поезда и трамваи, открылись школы, действовали больницы. Надо было, чтобы работали заводы, фабрики, пекарни, бани. Приближались холода — нужно было топливо.

И ленинская большевистская партия на второй же день после победы над Временным правительством стала посылать большевиков на самые трудные посты. Слова «он человек опытный» или что-нибудь в этом роде тогда не произносили — опыта управлять страной у большевиков не было. Говорили другое: «Этот не подведет, верный человек». Характеристика человека складывалась из наблюдений по подпольной работе и по тому, как вел себя человек на допросах, на суде, в тюрьме.

Сергея Ивановича Семенова в коридоре Смольного увидел Теодорович, сам только что назначенный народным комиссаром продовольствия, и безапелляционно заявил: «Ты мне нужен». Семенов хотел было сказать, что ему больше по душе другая работа, но Теодорович еще более решительно сказал: «Я уже говорил о тебе со Стасовой. Она согласна». Через час Семенова «отвоевал» у Теодоровича член комитета по военно-морским делам и забрал к себе. Еще через час Сергей Иванович, успев только на несколько минут заехать к своим, уехал в Кронштадт. Надо было готовить крепостную артиллерию, чтобы как следует встретить войска Керенского.

Якову Савватееву очень хотелось попасть в родные места. В кармане у него уже две недели лежало письмо от Груни. Она писала, что Михаил Васильевич просит Якова, если он может, приехать в Шую. «А уж обо мне, Яшенька, как я тебя жду,— нечего и говорить. Приезжай, родной, поскорее».

Яков пришел к Важеватовым посоветоваться со Степаном.

— Может, вместе махнем к Михаилу Васильевичу?

Степан в ответ показал только что полученный в Смольном приказ Военно-революционного комитета о назначении его начальником штаба сводного отряда Красной гвардии.

— Завтра уезжаю под Гатчину,— сказал Важеватов, и Яков только тут понял, почему у Наташи заплаканные глаза.

— Что же мне делать, Степа? — спросил Яков.

— Иди в Смольный и скажи, что хочешь работать с Фрунзе. Тебе помогут уехать.

Яков так и сделал. Но уехать из Петрограда так просто, одному, было невозможно даже с пропуском, который Яков получил в Смольном. В Москве шли упорные уличные бои. Савватеев пристроился к отряду матросов, отправляемых в помощь красногвардейцам и солдатам в Москву.

Тридцатого октября Степан на несколько часов приезжал в Петроград, и они совершенно случайно встретились на квартире у Важеватовых. Оба торопились и даже как следует не попрощались. Только Наташа крепко поцеловала Якова и попросила: «Обними за меня мою Грушеньку».

* * *

Длинный смешанный состав из пассажирских и товарных вагонов тащился еле-еле. Вагоны были так переполнены, что казалось — встань все пассажиры одновременно, расправь плечи, и деревянная коробочка не выдержит, разлетится. На крышах, несмотря на отчаянный холод, тоже ехали люди, и все с большими мешками.

За Бологим на паровозе не хватило дров. Матросы со смехом и прибаутками быстро разобрали и распилили пустой, заколоченный дом, стоявший около пути. Заодно прихватили и сарай.

В Москву приехали рано утром. Вместо колокольного звона, которым обычно встречала Москва, услышали орудийные выстрелы. Командир собрал отряд в пустом, гулком вокзале. Молодой человек в студенческой фуражке, показав командиру мандат уполномоченного Военно-революционного комитета, обратился к отряду с речью:

— Товарищи матросы! Спасибо вам за помощь. Она нам очень нужна. Юнкера и белогвардейцы упорствуют и не сдаются. Мы их, в общем, разгромили, но они еще держат в своих руках Кремль и частично центр города...

Прямо с вокзала отряд пошел в бой. Матросы только успели выпить по кружке кипятку.

* * *

Известия о свержении Временного правительства пришли в Шую вечером 26 октября. В это время в Доме народа, как теперь называли бывшее дворянское собрание, происходило заседание Совета рабочих и солдатских депутатов. Михаил Васильевич, ведший заседание, первым заметил вошедшего за кулисы связного красногвардейца с телеграфа и, предчувствуя, какую весть он принес, выбежал к нему навстречу. Прочитав телеграмму, он подошел к трибуне и остановил оратора, эсера Максимовича. Тот недовольно буркнул: «Договорить не дадут»,— но все же уступил место. Фрунзе поднял руку с телеграммой.

— Товарищи! Временного правительства больше не существует. Власть в руках Советов. Ура, товарищи!

Люди в зале кричали «ура», аплодировали, требовали, чтобы Фрунзе прочел всю телеграмму. Он ее прочитал один раз, попросили еще — он прочитал еще. Большинством голосов при трех воздержавшихся была принята резолюция: «Приветствуем переход власти в руки Советов, как единственный выход из создавшегося положения, обещаем новому правительству всякую поддержку в борьбе со старым контрреволюционным правительством».

После голосования трое воздержавшихся под насмешливые замечания покинули зал. Это были беспартийный зубной врач и два меньшевика — больше меньшевиков в Совете не было.

Тут же выбрали Военно-революционный комитет из пяти человек. Председателем единогласно утвердили Фрунзе.

Через час Фрунзе позвали к телефону, висевшему за кулисами. В зале отчетливо было слышно, что он говорил:

— Это я, товарищ Балашов. Да, нам все уже известно. А мы вас, иваново-вознесенцев, тоже поздравляем. А это кто? Это ты, Федор Никитич? У вас тоже идет заседание? Спасибо, Федор Никитич, передам. Кто-то еще хочет говорить. Марья Наговицина? Давай ее, давай. Здравствуй, Марья Федоровна. И я тебя поздравляю. Передам...

Фрунзе подошел к рампе:

— Товарищи депутаты! Сейчас в Иваново-Вознесенске заседает Совет. Иваново-вознесенские товарищи шлют нам свой братский привет. Особенно просили вас поздравить с долгожданной победой бывший член Государственной думы, председатель Совета Федор Никитич Самойлов и Марья Федоровна Наговицина. Оба они члены первого рабочего Совета на Талке...

Аплодисментам, казалось, не будет конца.

* * *

Тревожные вести стали поступать из Москвы еще двадцать девятого. Приезжие рассказывали о событиях по-разному, но одно было совершенно ясно — бои в Москве затягиваются.

Тридцатого телеграфная и телефонная связь с Москвой прервалась, но пришел поезд, и пассажиры привезли тяжелые вести — идут ожесточенные уличные сражения, грохочет артиллерия.

Ночью на тридцать первое Фрунзе долго не ложился спать. Поздно закончилось заседание Совета, потом заседал Военно-революционный комитет. Была еще одна причина — семейного характера: приехал верный друг, жена Софья Алексеевна. Просидели с близкими друзьями до глубокой ночи.

В четыре часа утра позвонил из Иваново-Вознесенска Федор Самойлов, рассказал, что удалось связаться с Москвой — надо туда посылать подмогу.

В шесть утра на квартире у Фрунзе собрался Военно-революционный комитет. Михаил Васильевич доложил обстановку.

— Не поможем Москве, поможем контрреволюции.

Игнатий Волков — городской голова — вспомнил про 1905 год.

— Тогда помогали, а сейчас и тем более.

Без прений приняли решение — отправить в Москву отряд. Включить в него солдат 89-го и 237-го полков и красногвардейцев.

Фрунзе тут же написал приказ и, передавая его Волкову, сказал:

— Отправить отряд завтра в час дня. А я сейчас в Москву на разведку. Отряд прибудет, будем знать, что делать. Встречу вас в Москве на вокзале.

* * *

Фрунзе приехал на Курский вокзал рано утром, но в бывший дом генерал-губернатора на Тверской, где находился Московский военно-революционный комитет, он добрался только через два часа. Идти пришлось в обход — в центре шли бои.

Площадь перед ревкомом, двор были заполнены вооруженными рабочими и солдатами. Пока Фрунзе добирался до комнаты, где непрерывно заседал Военно-революционный комитет, у него несколько раз проверили документы. Накануне в дом пробрались переодетые в штатское юнкера, и охрана штаба революционной Москвы была усилена.

Член Военно-революционного комитета в оборванной солдатской шинели, выслушав Фрунзе, радостно сказал трем своим товарищам, склонившимся над планом Кремля:

— Вы слышите, товарищи? Идет подмога.

Он отвел Фрунзе в соседнюю комнату, на дверях которой висела самодельная табличка с краткой надписью «Штаб».

И здесь сообщение Фрунзе о том, что завтра прибудет отряд, вызвало радость. Только пожилой рабочий в коротком дубленом полушубке заметил:

— Лучше бы сегодня. Тяжело сейчас у «Метрополя».

Договорившись о действиях на завтрашний день, Фрунзе пошел вниз, решив пробраться поближе к Кремлю, посмотреть, что там происходит.

Во дворе строился небольшой отряд.

Фрунзе подошел к командиру, показал документы.

— Можно с вами?

Командир хмуро осмотрел его с ног до головы.

— А кто ты такой? Кто тебя рекомендовать может?

— Никто. Я ивановововознесенец.

— Тогда можно. Кротов, дай ему винтовку. Где этот-то, что от матросов к нам приходил?

— Здесь! — крикнул Яков и, увидев Фрунзе, бросился к нему.— Яша! Ты как тут очутился?

— Мимо ехал, задержался. А ты?

— Тоже задержался.

Красногвардейцы засмеялись:

— Встретились дружки.

Послышалась команда: «Становись!»

Отряд пересек площадь, спустился по Столешникову переулку до Большой Дмитровки, через пробитые в стенах проходы добрался до Большого театра. Слышалась непрерывная стрельба пулеметов и винтовочные выстрелы. Это юнкера, сидящие в «Метрополе» и городской думе, вели жестокий огонь.

У задней стены Большого театра разместился перевязочный пункт. Санитары приносят на носилках раненых.

Командир отряда ушел за распоряжениями. Фрунзе и Яков пристроились на крыльце дома.

— Ты давно из Шуи?

— Сегодня.

— Как там моя Груня?

— Вчера видел. Завтра приедет сюда с отрядом. Она молодец. Всем питанием заведует. Где она только его достает? Бабы за ней табуном ходят.

Прошло около часа. Командир отряда вернулся и снова ушел, успев только сказать:

— Приказано быть в резерве.

Фрунзе и Яков поговорили, кажется, обо всем на свете.

— О Кручинине знаешь?

— Знаю,— без всякой охоты ответил Фрунзе,— попались мне в руки документы минской охранки. Он при ней состоял, кстати, писал доносы на меня. И кончил, как полагается иуде.

— Знаю. Повесился еще в мае, как только объявили списки

провокаторов. Я сам читал в газете. Думаю, на этот раз его основательно похоронили...

Стрельба продолжалась, но теперь слабее, чем прежде. Подошел командир отряда, и с ним солдат с рукой на перевязи.

— Нужен охотник пробраться в «Метрополь». Кто хочет?

— Я пойду,— сказал Яков.

Солдат коротко спросил:

— Фронтовик?

— Верно.

— Тогда иди. У них два пулемета. Оба замолчали. Надо выяснить, в чем дело. Если подвох, сам понимаешь, будут немалые потери. Возьми две гранаты.

* * *

Яков благополучно пересек Петровку. Юнкера не стреляли. Непонятно — то ли они ушли через пролом, то ли выжидают. Прижимаясь к стенам Малого театра, он добрался до угла. Выстрелов не было. Узкий Театральный проезд Яков перебежал даже не пригибаясь. Он с ходу вскочил в подъезд. На него тут же навалились юнкера, совсем мальчишки. Стараясь выгадать время, Яков крикнул:

— Свой я! Свой... Я офицер.

Юнкера отпустили его. Один, постарше, сказал:

— Черт его знает, господа. Возможно, он не врет.

Якова повели на второй этаж. В раскрытую дверь комнаты он увидел: на окне пулемет, около — куча юнкеров.

В соседней комнате яростно крутил ручку телефона офицер в шинели с перевязанной головой.

— Господин полковник,— сказал юнкер. — Перебежчик... — И не договорил, изумленный тем, что произошло.

Юнкер, оставшийся в живых, уверял после, что полковник оглянулся и засмеялся. «Да, именно засмеялся, хотя, сами понимаете, господа, нам было не до смеха. Потом полковник Юрасов сказал: «Что же мне с тобой делать, Яков Иванович?» И пошел к нему. Пленник засунул руку в карман, размахнулся и бросил под ноги полковнику гранату». Юнкер после еще уверял, но ему мало кто верил, что пленник сам остался жив, но все лицо у него было в крови. Он вбежал в соседнюю комнату и бросил вторую гранату в пулемет... «Вот тогда мы снова открыли бешеный огонь. Но пулемет уже замолчал всерьез, навсегда. А потом в «Метрополь» ворвались солдаты и рабочие». Юнкер еще рассказывал: когда его выводили, он видел, что человек лет тридцати в солдатской форме стоял на коленях около тела того, кто бросил гранаты, и все звал его:

— Эх, Яша, Яша...

* * *

Якова Савватеева хоронили вместе с другими в огромной братской могиле на Красной площади. Гроб у него был, как у всех,— сколоченный из плохо отесанных досок, окрашенный в красный цвет.

После того как могилу засыпали, мимо нее долго шли рабочие, солдаты. Несли знамена и траурные флаги, везли пушки. Пролетарская Москва прощалась со своими героями.

Прошел по площади со своим знаменем и иваново-вознесенский отряд. Груня стояла у Кремлевской стены и сухими, уставшими плакать глазами все смотрела на коричневую землю, которую покрывал свежий снежок.

ЭПИЛОГ

Шел май 1925 года. В Москве, в Большом театре, заседал Третий съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик.

Во втором ряду ложи бельэтажа сидел военный с тремя ромбами в петлицах. На груди поблескивали три ордена боевого Красного Знамени. По внешнему виду командиру корпуса можно было дать лет тридцать пять — тридцать восемь. Впечатление моложавости создавалось потому, что в волнистых белокурых волосах была неприметна седина.

В первом ряду, положив руку на барьер, вполоборота к военному сидела женщина средних лет, с чуть седеющими, гладко зачесанными волосами. К ней очень шла белая кофточка с кружевным воротничком.

Когда в перерывах военный выходил поразмяться, он невольно обращал на себя внимание — уж очень он был высок, плечист.

В один из перерывов в ложу зашел совершенно седой человек с солдатскими усами «щеткой».

— Привет иваново-вознесенскому пролетариату! — шутливо поздоровался он с женщиной.— А заодно и Красной Армии!

Он сел рядом с военным, улыбаясь, посматривая на него.

— Все молодеешь, Степан Ильич? А как ты, красная губернаторша, поживаешь? Выступать собираешься?

— Собираюсь, Сергей Иванович. И уж извини — о вас скажу.

— В чем мы, Аграфена Васильевна, перед тобой провинились?

Груня засмеялась.

— Передо мной ты давно виноват. Почему Веру ко мне в гости не отпускаешь? Этот важный вопрос мы уж как-нибудь с тобой уладим. Съезду я об этом сообщать не буду. А вот как ваши ленинградские заводы нас подводят, расскажу. По-

нимаешь, Степан Ильич, мы бывшую Витовскую фабрику переименовали в фабрику имени Федора Афанасьевича Афанасьева. Я накануне митинга Сергею Ивановичу в Ленинград позвонила, спросила, когда смогут нам новое оборудование отгрузить. Мы вентиляцию там задумали всю заменить. Помнишь, какая там духота. Ну вот, этот мил друг наобещал: «Все сделаем». Я поверила и в свою очередь работницам на митинге наобещала... А они...

— Сделаем, Аграфена Васильевна.

— Когда? Мы шестнадцатого июня будем двадцатую годовщину расстрела на Талке отмечать. К нам гостей понаедет со всех концов. В этот день памятник «Отцу» открывать будем, а в цехах дышать нечем. Скоро будем новую фабрику неподалеку строить, «Красную Талку». Проект уже готов — дворец, а не фабрика. Вы опять нам оборудование будете в час по чайной ложке выдавать?

Важеватов рассмеялся:

— Ты уж не ссорься с ней лучше, Сергей Иванович. А то она тебя живьем съест...

Перерыв кончился. Председательствующий Михаил Иванович Калинин объявил:

— Слово для доклада о Красной Армии предоставляется народному комиссару по военно-морским делам, председателю Революционного Военного Совета Михаилу Васильевичу Фрунзе.

И, улыбаясь, повернулся к кулисам:

— Пожалуйста, Михаил Васильевич, прошу!

Фрунзе долго не давали начать речь. И, кажется, громче всех слышались аплодисменты из правой ложи бельэтажа.

Наконец зал стих.

— Товарищи, — раздался спокойный голос Михаила Васильевича. — Основатель нашего государства, дорогой Владимир Ильич Ленин учил постоянно заботиться о вооруженных силах. Партия большевиков всегда считала своей первоочередной задачей укрепление нашей Красной Армии...

Важеватов посмотрел на большой портрет Ленина и почему-то вспомнил Ивана Никитина — первого большевика, встретившегося ему на жизненном пути.

Он наклонился к Груне и шепнул:

— «Отца» бы сюда, Федора Афанасьевича.

Груня поняла, о чем он думает, и тихо ответила:

— Многих тут не хватает...

Степан вспомнил «Станко», погибшего в «Коровниках» Носова, Якова Савватеева и многих других, отдавших жизни за рабочее дело под Уфой, в песках Туркестана, под Перекопом...

А Фрунзе говорил:

— Мы построили наш советский дом крепко, навсегда, навечно. У нас нет оснований сомневаться, что наш советский дом

будет уменьшаться. У нас есть все основания думать, что он будет расти, расширяться...

Закончив доклад, Фрунзе легко сошел с трибуны, сел на крайнем стуле, улыбаясь, что-то говорил Калинину.

Когда аплодисменты стихли, Калинин сказал:

— Объявляется перерыв.

Делегаты съезда поднялись и двинулись из зала в широко распахнутые двери.

— Пойдем и мы,— сказал Важеватов Сергею Ивановичу.— А ты, Груня?

— Может, зайдем к нему? — сказала она, не называя имени дорогого им человека. Важеватов знал, о ком она говорит.

— Пошли.

Они прошли за кулисы. Навстречу шел Фрунзе. Увидел, протянул руки:

— Дорогие мои земляки!..

СОДЕРЖАНИЕ

Аркадий Николаевич Васильев

Есть такая партия

Редактор *С. Бабинская*
Оформление художника *Г. Сотскова*
Художественный редактор *Г. Гречихо*
Технический редактор *Е. Коновалова*
Корректор *Б. Шигалова*

* * *

Сдано в набор 30.7.71. Г-12728. Подписано к печати 7/VII.72 г. Формат бумаги 60×90¹/₁₆=47 п. л. 47 усл. п. л.+1 вкл. ¹/₈ п. л. 0,25 усл. п. л. 52,069 уч.-изд. л. Бумага типографская № 1.
Тираж 100 000 экз.

Изд. № 4/5168 *Цена 1 р. 97 к.* Зак. 2-247.

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство
Министерства обороны СССР.
Отпечатано с матриц 2-й типографии Воениздата, Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10, на Книжной ф-ке им. М. В. Фрунзе Государственного комитета Совета Министров УССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.

Васильев А. Н.

В19 Есть такая партия! Роман-трилогия. М., Воениздат, 1972.

752 стр.

Читатель хорошо знаком с Аркадием Николаевичем Васильевым. Его романы: «Есть такая партия!», «Понедельник — день тяжелый», «Вопросов больше нет», «В час дня, ваше превосходительство...» — широко известны.

Роман-трилогия «Есть такая партия!» охватывает жизнь России с 1905 по 1925 год, раскрывает незабываемые страницы истории Коммунистической партии и Советского государства.

Одним из главных героев книги является соратник В. И. Ленина — Михаил Васильевич Фрунзе.

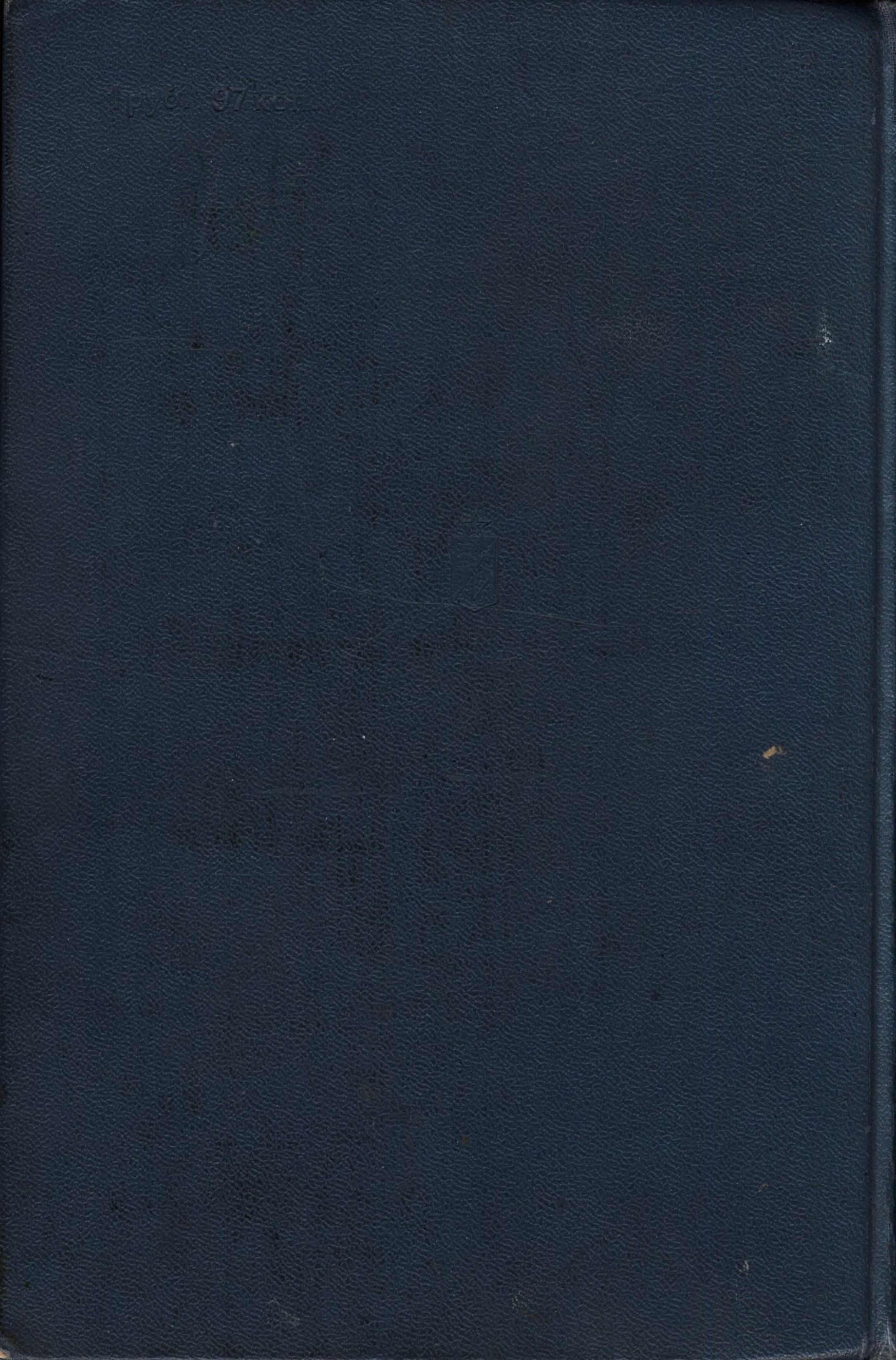
7-3-2
208-72

Р2



2.80

&


97 коп.


АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВ
ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!